россия в мемуарах



Ф.Ф. Фидлер
ИЗ МИРА ЛИТЕРАТОРОВ

Новое
Литературное
Обозрение

…graphischen von Schriftstellern …
einzelnen Blättern aufgeklebt,
…ten; solche Blätter sind über
zwanzig Jahre alt. Nun findet sich i…
…schriftband d. „Kirch. Wedom." …
…der Tschackow betreffend). Darau…
5 hatte (die höchste Nummer!). …
…deutsch kannte. Ich hatte mehrfa…
…angefangen. In einem dieser Hefte (…
…Beweis dafür. Möglich, daß Tsch. …
…der deutsche Umgangs-Brocken …
…zu dem Dr. Schwörer: „Ich sterbe…"
…Flasche einen Sekt hatte?.. Sie; …
…

[illegible]

[illegible] registriert und in einen großen Kor[illegible]

[illegible] B. [illegible]

5 ([illegible]) [illegible]; ich sammle [illegible]
[illegible] kann ich jetzt nicht bringen [illegible]
[illegible] B. [illegible]

21. [illegible]

[illegible]

[illegible] religiös-[illegible]

[illegible]

[illegible] (das Wort 5). [illegible]

[illegible]

[illegible] ein [illegible]

d. 8 April 20.

[illegible]

россия в мемуарах



Новое
Литературное
Обозрение

россия в мемуарах

Российская Академия наук
Институт русской литературы (Пушкинский дом)

Ф.Ф. ФИДЛЕР

ИЗ МИРА ЛИТЕРАТОРОВ: ХАРАКТЕРЫ И СУЖДЕНИЯ

Издание подготовил
Константин Азадовский

Новое Литературное Обозрение
Москва
2008

УДК 821.161.1.09(47)"188/190"(093.3)
ББК 83.3(2=Рус)5.14
Ф 50

Вступительная статья, составление, перевод с немецкого,
примечания, указатели и подбор иллюстраций
К.М. Азадовского

Серия выходит под редакцией
А.И. Рейтблата

Художник тома
С. Кистенев

Фидлер Ф.Ф.

Ф 50 Из мира литераторов: Характеры и суждения / Вступ. статья, сост., пер. с нем., примеч., указатели и подбор иллюстраций К.М. Азадовского. М.: Новое литературное обозрение, 2008. — 864 с.

Впервые публикуется на русском языке дневник переводчика, коллекционера и педагога Ф.Ф. Фидлера (1859—1917) — одной из центральных фигур петербургской литературной жизни 1880-х — 1910-х годов. Дневник запечатлел колоритные (подчас интимные) подробности литературного быта и частной жизни русских писателей того времени: Н. Лескова, Я. Полонского, К. Фофанова, А. Чехова, Д. Мамина-Сибиряка, А. Куприна, Л. Андреева, Вяч. Иванова, З. Гиппиус, Д. Мережковского, Ф. Сологуба, М. Кузмина и многих других.

УДК 821.161.1.09(47)"188/190"(093.3)
ББК 83.3(2=Рус)5.14

ISBN 978-5-86793-544-3

«РЫЦАРЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

История культуры, особенно русской, изобилует несправедливостями, устранять которые приходится потомству. Незаслуженное забвение — обычная доля многих замечательных русских людей как в давние, так и в новейшие времена. Не избежал этой участи и Ф.Ф. Фидлер.

Личность колоритная и во многих отношениях удивительная, Фидлер получил при жизни немалую известность и в Германии, и в России. Он был знаком и состоял в переписке с выдающимися писателями и деятелями культуры; в его дом почти ежедневно приходили люди, чтобы познакомиться с собранной им уникальной литературной коллекцией. О нем и его «музее» писали в журналах и газетах.

Так было в начале века. Потом все изменилось: наступила новая эпоха. Собственно, она наступила сразу же после смерти Фидлера, буквально на другой день. Февральская революция 1917 г., за ней — Октябрьская... Имя Фидлера — одного из достойнейших представителей дореволюционной российской интеллигенции — оказалось (наряду с множеством других имен) попросту вычеркнутым из памяти нескольких поколений. Лишь в самые последние десятилетия оно вновь упоминается, притом все чаще, в отдельных монографиях, публикациях и статьях. Впрочем, и современная эпоха не принесла Фидлеру должного признания[1].

Печальной оказалась и судьба дневников Фидлера — его записей, которые он вел изо дня в день в течение многих лет своей жизни. Чудом уцелевшие, надолго похороненные в государственном архиве, они лишь недавно были целиком прочитаны и стали, хотя и фрагментарно, появляться в печати. Дневники Фидлера — своего рода памятник, содержательный и уникальный, охватывающий сотни имен, событий и фактов — огромный литературный мир в его многообразии, пестроте и противоречивости...

Но расскажем обо всем по порядку.

***

«...Деды мои были французские подданные, — сообщает Фидлер в одной из своих автобиографий (1900). — В 1812 году под Москвой они, офицеры, были взяты в плен, женились на немках и поселились навсегда в России»[2]. Отец Фидлера, часовых дел мастер, принадлежал к немецкой лютеранской общине селения Екатериненштадт Николаевского уезда Самарской губернии; мать его Александрина Берта также была лютеран-

[1] Имя Фидлера отсутствует, например, в сб. «Немцы Санкт-Петербурга: наука, культура, образование» (СПб., 2005), в тематических сб. «Немцы в России» (СПб., 1998—2003) и др. аналогичных изданиях.

[2] ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 7. Ед. хр. 3694.

кой[3]. Фидлер родился 4 ноября 1859 г.[4] в Петербурге, куда переселились его родители, и получил при крещении имя Фридрих (полное имя — Фридрих Людвиг Конрад). Впрочем, в России, даже в официальных бумагах, его называли Федором Федоровичем. Родители Фидлера говорили по-немецки, но он воспитывался — уже в раннем детстве — на русской литературе. В письме к П.В. Быкову от 3 декабря 1903 г. Фидлер вспоминал: «Зачатки моей любви к русской литературе вложила в меня моя мать (и ныне здравствующая), рассказывая мне, ребенку, русские сказки и напевая русские песни»[5]. Пристрастившись к литературе, Фидлер много и охотно читает; впоследствии современники не раз отмечали его поразительную начитанность.

Среднее образование Фидлер получил в петербургском Реформатском училище (Училище при Реформатской церкви), классическое отделение которого он окончил в 1879 году. «Мои отроческие и полуюношеские годы, — вспоминал Фидлер, — были отравлены — математикой. Кроме того, в гимназии <...> всякое поэтическое творчество и самостоятельное чтение поэтов строго преследовалось. Сколько мне попало за моего любимца Гейне! Сколько мне пришлось выслушать насмешек со стороны преподавателей за мое стремление "dahin, dahin!"[6] Но я не унывал и шел своей дорогой»[7].

Именно в стенах училища Фидлер всерьез увлекается переводом русской поэзии на немецкий язык и уже в те годы пытается выступать в печати. Литературный дебют Фидлера состоялся 31 августа 1878 г., когда в столичной немецкой газете «St. Petersburger Herold» появился (за подписью Flieder) его перевод лермонтовского стихотворения «Благодарность»[8]. В ноябре того же года выходит в свет отдельным изданием книга поэтических переводов Фидлера[9], которую он, однако, «в продажу не пустил»[10] и позднее предпочитал не указывать в перечне своих литературных работ.

В 1879 г. Фидлер поступает на историко-филологический факультет С.-Петербургского университета. Движимый горячей любовью к литературе, он желает всецело посвятить себя ее изучению. С живым интересом посещает Фидлер лекции известных в то время профессоров и приват-доцентов — А.Н. Веселовского, В.И. Ламанского, О.Ф. Миллера, М.И. Сухомлинова; слушает также И.И. Срезневского, И.Е. Троицкого,

---

[3] Сведения заимствованы из университетского дела Фидлера (Центральный гос. исторический архив С.-Петербурга. Ф. 14. Оп. 3 (2). Ед. хр. 20941).

[4] Все даты здесь и далее (в публикуемом тексте фидлеровского дневника) приводятся по старому (русскому) стилю. В записях, сделанных за границей или на территории Финляндии, Фидлер обычно указывал обе даты (см. также примеч. 202 к дневнику). Этот принцип сохранен и в настоящем издании (за исключением писем из Германии, публикуемых по дневнику Фидлера).

[5] РНБ. Ф. 118. Ед. хр. 881.

[6] «Туда, туда!» (из гетевской «Песни Миньоны»).

[7] ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 7. Ед. хр. 3694.

[8] Feuilleton-Beiblatt des St. Petersburger Herold. 1878. Nr. 35. 31. August. [S. 1].

[9] Dichtungen von Puschkin, Kryloff, Koizoff und Lermontow / Ins Deutsche übertragen von Friedrich Fiedler. St. Petersburg, 1879.

[10] ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 7. Ед. хр. 3694.

И.В. Ягича и других. Особо следует упомянуть А.Ф. Видерта, по рекомендации которого Фидлер еще студентом вошел в семью педагога В.И. Водовозова, давая уроки немецкого языка его сыну Николаю. В этом петербургском доме и началось, собственно, общение Фидлера с русскими писателями и учеными (Фидлер встретил здесь, например, Н.К. Михайловского и С.А. Венгерова). Немаловажную роль в судьбе Фидлера сыграло также его знакомство с Е.М. Гаршиным, младшим братом писателя, в то время студентом историко-филологического факультета. В октябре 1883 г. он познакомил Фидлера со Всеволодом Гаршиным, который, в свою очередь, ввел молодого человека в круг поэтов, группировавшихся вокруг Я.П. Полонского. На известных «пятницах» в квартире Полонского Фидлер мог видеть именитых русских литераторов и слышать их рассказы о «днях минувших». Не прерывалась тем временем и его активная переводческая деятельность. Отдельные записи в дневнике Фидлера рассказывают о его связях с признанными переводчиками русской поэзии и в России (А. Видерт, Л. фон Остен), и в Германии (Ф. Боденштедт, В. Генкель). Наряду со стихами Фидлер переводит и прозаические сочинения русских авторов, например, рассказы Достоевского («Мальчик у Христа на елке») и Гаршина («Красный цветок»), опубликованные в 1882—1883 гг. в журнале «Auf der Höhe».

К 1883 г. относится едва ли не единственная его попытка оригинального творчества — стихотворная драма «Нерон», написанная по-немецки, но увидевшая свет лишь в русском переводе Д.А. Мансфельда[11]. Впоследствии Фидлер уже не сочинял пьес, а лишь переводил на немецкий драматические произведения русских авторов («Недоросль» Фонвизина, «Борис Годунов» и маленькие трагедии Пушкина, «Ревизор» Гоголя, «Чужие» И.Н. Потапенко и др.). Увлечение театром Фидлер сохранил до конца своих дней. Он регулярно посещал премьеры русских и иностранных пьес на больших и малых петербургских сценах, не пропускал гастролей зарубежных трупп, в особенности немецких (его дневник напоминает, в частности, о знаменитых гастролях в России Мейнингенской труппы в 1890 г.), но главное — регулярно помещал в газете «St. Petersburger Herold» рецензии и отклики на новые драматические произведения и события театральной жизни. Количество газетных выступлений Фидлера на эту тему уже к 1900 г. значительно превышало цифру 100.

Весной 1894 г. Фидлер сдал последние университетские экзамены и осенью того же года получил место преподавателя немецкого языка в петербургской женской гимназии княгини Оболенской. С 1890 г. он преподает, кроме того, в гимназии и реальном училище Я.Г. Гуревича, с 1892 г. — в Училище ордена св. Екатерины. На педагогическом поприще Фидлер трудился около тридцати лет и, дослужившись до чина статского советника, был уволен, согласно собственному прошению, в апреле 1913 г. Немало известных в будущем людей обязано своими первыми познаниями в немецком именно Фидлеру,

[11] См.: Нерон, или Хлеба и зрелищ: Трагедия в 4 действиях. Соч. Ф. Фидлера. Перевод и переделка для русской сцены Д.А. Мансфельда. М., 1884. (Перевод выполнен прозой. Впоследствии Фидлер не раз возмущался этой публикацией, усматривая в ней нарушение своих авторских прав.)

пытавшемуся привить своим воспитанникам любовь к немецкому языку и немецкой литературе[12]. Фидлер составил также и напечатал учебник немецкой грамматики[13], о котором позднее упоминал лишь как о курьезе, «сокрушаясь о напрасно потраченном времени»[14].

И все же педагогическая работа была для Фидлера в первую очередь «службой» — необходимостью зарабатывать хлеб насущный и содержать семью. Его подлинным призванием всегда оставалась художественная литература. К ней устремлялись все помыслы Фидлера, ей была отдана вся его творческая энергия. Значительным представляется и собственный вклад Фидлера в литературу — его переводы русских поэтов на немецкий язык.

***

Увлекшись художественным переводом еще на гимназической скамье, Фидлер не оставлял любимого занятия до последних дней своей жизни. Кого же переводил Фидлер? Назовем прежде всего «народных» писателей. Захваченный народническими настроениями, характерными для либерально-демократической части российского общества во второй половине XIX века, Фидлер искренне тянулся к «народу» и всегда проявлял особенное внимание к так называемым «самородкам» — писателям из народной гущи. Когда его дочери Маргарите исполнилось девятнадцать лет, Фидлер подарил ей альбом и открыл его напутствием, своего рода кредо: «...Ритуша, люби литературу, люби ее вообще, а в частности — многострадальную русскую литературу! Она и только она освободит многомиллионный народ от чудовищного векового рабства духа и плоти»[15].

Первым из «народных поэтов», чьим творчеством увлекся Фидлер, был Алексей Кольцов, стихотворения которого, им переведенные, были опубликованы в 1885 г. отдельной книгой, посвященной Фридриху Боденштедту[16]. Именно эта ранняя работа принесла Фидлеру заслуженное признание. Воодушевленный успехом, он печатает через несколько лет — в том же лейпцигском издательстве Филиппа Реклама — сборник переведенных им стихотворений И.С. Никитина (1891). Вслед за тем, в 1893—1894 гг.,

[12] Ср. запись в одном из альбомов Фидлера, сделанную его бывшей ученицей М.Е. Лёвберг 21 ноября 1915 г.:

«Еще мое я помню детство:
От лет докучливых ученья
Любовь к поэзии — и Гейне —
От Вас я приняла в наследство.

Глубокоуважаемому и милому учителю Мария Левберг» (ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 10).

[13] Deutsche Grammatik für russische Lehranstalten von Fr. Fiedler. St. Petersburg, 1899 (учебник составлен на русском и немецком языках).

[14] ИРЛИ, Ф. 377. Оп. 7. Ед. хр. 3694.

[15] Альбом за 1906—1913 гг., принадлежавший М.Ф. Фидлер, хранится ныне в Литературном музее (Москва).

[16] Gedichte von Alexei Kolzow. Deutsch von Friedrich Fiedler. Leipzig, [1885].

Фидлер усиленно работает над переложением русских эпических песен (былин) — к весне 1894 г. у него насчитывалось уже 13 тысяч стихов[17] (в печати, насколько известно, появилась лишь одна былина[18]). Позднее Фидлер переводит стихи крестьянского поэта С.Д. Дрожжина и публикует их в газете «St. Petersburger Herold» (1902). Интерес Фидлера к писателям-«самородкам» способствовал также его сближению с Максимом Горьким, знакомству с Клюевым и Есениным и т.д.

Разумеется, литературные вкусы Фидлера не ограничивались одними «народными» поэтами. Напротив: его переводческая деятельность отличается прежде всего широчайшим охватом. В поле зрения Фидлера находилась, собственно, вся русская литература — и классическая, и современная. В 1890-е гг. и в начале 1900-х гг. в издательстве Реклама выходят одна за другой небольшие книжечки переведенных Фидлером русских поэтов: Лермонтова (1893), А.К. Толстого (1895), Пушкина (1897), Некрасова (1902), Тютчева (1905). Отдельными изданиями публиковались также в переводе Фидлера стихотворения Надсона (1898), Фофанова (1900), Майкова (1901), Полонского (1901), Фета (1903) — этих поэтов Фидлер знал лично. «За 25 лет, — подытоживал в конце 1900 года Н.И. Позняков, — он [Фидлер] перевел на немецкий язык всех выдающихся русских поэтов (не брал он только псевдоклассических бездарностей XVIII века)»[19]. Сотрудничество Фидлера с Рекламом завершается выпущенной в 1907 г. книжечкой «Русские поэтессы», представлявшей двадцать имен (новых в большинстве своем для немецкого читателя). Следует добавить, что каждое из этих изданий открывалось кратким очерком Фидлера, написанным старательно и со знанием дела; оно содержало краткие биографические сведения о поэте, его литературную характеристику и т.д.

В 1889 г., собрав переведенные им стихи русских поэтов под одной обложкой, Фидлер издает антологию, озаглавленную «Русский Парнас» (в книгу вошло 183 стихотворения 58 авторов)[20]. Целый ряд откликов на это издание (и в Германии, и в России) свидетельствует о том, что труд Фидлера привлек к себе внимание современников и был воспринят как несомненная удача талантливого переводчика[21].

---

[17] В письме к В.П. Авенариусу от 31 декабря 1893 г. Фидлер рассказывал о своей работе над «Былинами»: «...Я встаю ежедневно в 4 часа утра (вернее, ночи) и работаю до наступления сумерек, то есть приблизительно 12 часов. Кроме того, я хотел бы закончить «Былины» к лету, чтобы взять рукопись с собой за границу, где мне предстоит найти хорошего издателя» (ИРЛИ. Ф. 1. Ед. хр. 10255; в оригинале — на немецком языке).

[18] См.: Привет!: Художественно-научно-литературный сборник / Издан Обществом вспомоществования нуждающимся ученицам Василеостровской женской гимназии. СПб., 1898. С. 49—50.

[19] *Позняков Н.И.* Друг русской литературы // Новости и Биржевая газета. 1903. № 241. 2 сент. С. 2.

[20] Der russische Parnass: Anthologie russischer Lyriker von Friedrich Fiedler. Dresden; Leipzig, 1889 (2-е изд. — 1901).

[21] Отзывы о переводах Фидлера не всегда совпадали. «Поразительна точность его переводов. Он переводит не только слово в слово, но и размером подлинника...», — утверждал безымянный автор (видимо, И.И. Ясинский) в журнале «Беседа» (1903. № 4. С. 46—47). «...Его переводы хуже боденштедтовских, — утверждал другой критик, разбирая выполненные Фидлером

Фидлер охотно переводил и малоизвестных русских поэтов, а также тех, кто недавно вступил на литературное поприще. Он явно стремился дать немецким читателям максимально полное представление о русской поэзии и разных ее течениях. Значительную часть своих переводов Фидлер помещал в петербургском «Herold» (в рубрике «Современные русские поэты», которую вел в течение многих лет, поддерживая этот отдел, представленный в 1870-е годы прежде всего переводами Л. фон Остена). Конечной целью Фидлера было издание антологии под названием «Русская поэзия от древнейших времен до наших дней...»[22]. Ряд записей в дневнике Фидлера рассказывает о его тщетных попытках найти в Германии издателя для готового тома.

Стремление Фидлера переводить всех русских поэтов «подряд» могло бы, естественно, вызвать упрек в его неразборчивости, «всеядности» — упрек, однако же, не вполне справедливый. Фидлер не был равнодушным ремесленником-профессионалом. К каждому из переводимых авторов у него было особое отношение. Правда, уже сам факт принадлежности человека к писательскому цеху воспринимался Фидлером как свидетельство его «избранности», как проявление заложенной в нем «искры божьей». Любой «пишущий» виделся ему существом высшим, отличным от «простых смертных», вызывал в нем чувство неподдельного восхищения. (В его дневнике совершенно отчетливо обозначен этот водораздел между «писателями» и «не-писателями».) Поэтому Фидлер мог переводить (и, случалось, переводил) поэтов, которые были ему не слишком близки.

Нельзя не сказать и о том, что художественный вкус Фидлера отличался известным консерватизмом. Приверженцу русской классической литературы, воспитанному на стихах Пушкина и Лермонтова, прозе Тургенева и Гончарова, Фидлеру порой не сразу удавалось по достоинству оценить писателя-новатора (например, он скептически относился одно время к Достоевскому, признал Чехова лишь после того, как тот стал широко известен, и т.д.). Один из инициаторов создания петербургского кружка «Вечера Случевского», объединявшего прежде всего поэтов-традиционалистов, Фидлер, как и большинство «случевцев», настороженно относился поначалу к писателям-«декадентам», примкнувшим к кружку и посещавшим его заседания. Однако это не мешало ему поддерживать тесное и даже дружеское общение с Мережковскими, Федором Сологубом, Вячеславом Ивановым и переводить их стихи. В составленной Фидлером «Антологии русских поэтов...» их имена (а также Бальмонта, Брюсова, Блока, Андрея Белого, Ремизова, Ахматовой, Гумилева и др.) соседствуют с именами поэтов совершенно иной, подчас противоположной идейно-художественной ориентации (Бунина, Максима Горького, Скитальца,

---

переводы из Лермонтова и Кольцова. — Немецкий язык у него какой-то тяжелый, не изящный, устарелый...» (*Тальский М.* Русская поэзия в немецких переводах // Рус. мысль. 1901. № 11. С. 129; кто укрылся за псевдонимом М. Тальский, — не выявлено).

[22] Полное название антологии: Russische Lyrik von den ältesten Zeiten bis zur jüngsten Gegenwart. Gesammelt, mit biographischen Notizen versehen und im Versmass des Originals verdeutscht von Friedrich Fiedler. В этой книге объемом в 600 страниц было представлено 257 русских поэтов (сведения заимствованы из статьи: *Pohrt H.* Friedrich Fiedler und die russische Literatur: Aus dem Leben und Wirken des Übersetzers 1878—1917 // Zeitschrift für Slawistik. 1970. Bd. XV. H. 5. S. 711).

Игоря Северянина, Фруга и т.д.). При этом широко известные авторы нередко оказываются у Фидлера рядом с теми, чьи фамилии затруднительно отыскать в каком-либо справочнике по истории русской литературы или энциклопедическом словаре.

Фидлер продолжал переводить и в годы Первой мировой войны, когда силою обстоятельств прекратились все контакты с Германией и был закрыт (в декабре 1914 г.) «St. Petersburger Herold». Последнее, что переводил Фидлер, — поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и «Руслан и Людмила»[23].

***

С большинством современных поэтов, которых он переводил на немецкий язык, Фидлер был знаком лично, а нередко и дружен. Боготворивший литературу в целом, и особенно русскую, Фидлер испытывал неподдельный живой интерес к любому литератору, с которым ему доводилось встречаться, а также — к любому явлению литературной жизни. Он был неизменным и увлеченным участником всех наиболее значимых событий в столичном литературном и театральном мире; без его присутствия не обходилось ни одно собрание, ни один банкет или ужин. Он появлялся на юбилейных торжествах писателя, отмечавшего (что было принято в ту эпоху) 25 или 30 лет своей писательской деятельности, на именинах, похоронах и поминках. Кроме того, Фидлер состоял практически во всех литературных объединениях, действовавших тогда в Петербурге (некоторые из них возникали по его инициативе). В феврале 1889 г. он становится членом Русского литературного общества, в начале 1900-х гг. избирается в правление Кассы взаимопомощи литераторов и ученых при Литературном фонде. В 1907—1908 гг. Фидлер — секретарь Петербургского литературного общества. Он был создателем, председателем и «душой» своеобразного литературного клуба Товарищеские обеды[24], продолжавшие с 1902 г. чеховские Обеды беллетристов. Кроме того, Фидлер — один из бессменных руководителей (председатель, позднее — товарищ председателя) упомянутого выше поэтического кружка «Вечера Случевского».

Знакомясь или встречаясь со знакомым писателем, Фидлер считал необходимым запечатлеть, «увековечить» это событие. Появляясь в обществе, он неизменно держал наготове небольшой альбом, заведенный для того или иного случая («В гостях», «В ресторане», «В пути», «Товарищеские обеды», «Поминки» и т.д.), и настойчиво просил об

[23] См. сообщение в «Известиях Вольфа» (1916. № 7/8. С. 97). Там же уточнялось: «Неутомимый переводчик твердо верит, что по окончании войны интерес к русской литературе в Германии значительно усилится и что спрос на немецкие переводы классических произведений русской литературы неминуем».

[24] Их называли также Обедами литераторов или, по имени их учредителя, — Фидлеровскими обедами. См.: *Старцев Г.* Заметки дня // Телеграф. 1907. № 4. 24 января. С. 3.

О самом Фидлере в статье Старцева сказано, что это — «удивительный человек. Немец, не русский, но он так полюбил русскую литературу, как дай Бог, чтобы ее любили все русские люди. Немец, он учит русских любить русскую литературу, ценить ее, дорожить ею. Он любит ее любовью фанатика, любит целиком, как есть она, со всеми недостатками ее, со всеми мелочами».

«автографе». Один из альбомов, предназначенный для гостей, назывался «У меня»; другой — «4. XI» (в этот день у Фидлера на квартире собирался «весь Петербург»[25]; поздравляя хозяина с днем рождения, гости преподносили ему «литературные» подарки: рукописи, фотографии, книги с автографами).

«...Усердным собирателем автографов специально писателей является известный поэт-переводчик Ф.Ф. Фидлер, — рассказывал в 1916 г. С.Ф. Либрович. — У него не один альбом — а целые десятки: когда наполнятся страницы одного альбома, Фидлер заводит другой, третий и т.д. В кармане у Фидлера всегдас собою альбом. И, встретив кого-либо из писателей в собрании, в театре, в ресторане, на прогулке и пр., Фидлер непременно заставляет своего собеседника написать что-нибудь в альбом, отмечая при этом тщательно, где, когда и при каких обстоятельствах сделана запись. Благодаря общим симпатиям, которыми пользуется Фидлер в литературных кружках, редкий из писателей отказывает ему в его просьбе. Альбомы Фидлера составляют самостоятельный отдел его огромной и действительно ценной коллекции писательских автографов»[26].

В своем стремлении получить тот или иной автограф Фидлер проявлял порой не только упорство, но прямо-таки назойливость; некоторые писатели испытывали раздражение и начинали сторониться Фидлера; иные пожимали плечами и отпускали остроты насчет «литературного маньяка»; третьи покорно продолжали писать. «Он неотступен, он ужасен! — такие, например, строки посвятил Фидлеру С.М. Городецкий. — / Альбомов фабрика при нем. — / Сто раз автографы даем, / И о пощаде вопль напрасен»[27].

Кого же из русских писателей знал Фидлер лично, с кем общался чаще и охотнее всего? Ответить на этот вопрос затруднительно, ибо Фидлер, фигура не слишком крупная на литературной сцене своего времени, сумел, тем не менее, оказаться в самом центре русской литературы рубежа XIX и XX вв.; во всяком случае, он поддерживал знакомство со всеми более или менее известными петербургскими писателями. При этом следует помнить, что Фидлер вступил в литературу лишь в середине 1880-х гг., когда самые заметные ее представители — такие как Тургенев и Достоевский, Тютчев и А.К. Толстой, — уже со-

[25] «Вчера в квартире Ф.Ф. Фидлера царило необыкновенное оживление, — рассказывала, например, 5 ноября 1913 г. петербургская газета «День». — Были предстаалены почти все отрасли художественного творчества» (№ 300. С. 2). А хорошо осведомленные «Известия Вольфа» сообщали по тому же поводу: «В этом году число гостей Фидлера достигло 150 человек! Были налицо все звезды и звездочки литературного небосклона» (1913. № 12. С. 202).

[26] *Лукиан Сильный* [*С.Ф. Либрович*]. Кое-что об альбомах писательских автографов // Вестник литературы. 1916. № 4. С. 97—98. Об этих альбомах упоминается и в воспоминаниях Н.Н. Ходотова: «Маленькая фигурка его [Фидлера] в аккуратном старом сюртучке постоянно присутствовала на всех литературных юбилейных чествованиях, обедах и ужинах с неизменным альбомом в кармане для автографов, зарисовок...'И кто только не писал ему в них из лиц, причастных к литературе, науке и искусству. Там были стихи, изречения, сатиры, карикатуры, ноты, рисунки, ему все было ценно, все на руку» (*Ходотов Н.Н.* Близкое — далекое. Л.; М., 1962. С. 207).

[27] ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 57 об. Запись сделана в альбоме Фидлера под названием «Всероссийское литературное общество»; дата записи — 10/11 января 1914 г. (т.е. в ночь с 10 на 11 января).

шли в могилу. Однако были живы еще признанные и маститые поэты (А. Майков, Фет, Полонский, Плещеев, Случевский), прозаики (Лесков, Короленко, Г. Успенский, Гаршин), критики (Михайловский, Стасов); Фидлер успел «захватить» это поколение русских литераторов: со многими из них он встречался лично. В 1880—1890-е гг. в русской литературе заявила о себе новая плеяда писателей — Чехов, Мамин-Сибиряк, Мережковский, Максим Горький, Бунин; чуть позднее — Федор Сологуб, Куприн, Леонид Андреев. С некоторыми из них у Фидлера складываются тесные отношения. Впрочем, если говорить о писателях знаменитых, Фидлер был по-настоящему дружен лишь с Маминым-Сибиряком и (в меньшей степени) с Куприным. Принадлежавшие к ближайшему окружению Фидлера (и весьма популярные в свое время) М.Н. Альбов, К.С. Баранцевич, И.Н. Потапенко ныне почти забыты и известны главным образом историкам русской литературы.

Единственный из столпов российской словесности, с кем Фидлеру, несмотря на все усилия с его стороны, так и не довелось встретиться, был Лев Толстой, постоянно проживавший в Москве или Ясной Поляне. Тем не менее Фидлер переписывался с Толстым и его близкими, упоминания о нем встречаются в фидлеровском дневнике достаточно часто, а материалы, связанные с Толстым, занимали в его собрании видное место[28].

Фидлер не был аполитичен. Сын своего времени и своей среды, он отличался свободолюбивыми настроениями, явно тяготел к либеральному крылу русской интеллигенции и не скрывал своего резко отрицательного отношения к таким одиозным фигурам, как, например, К.П. Победоносцев, князь В.П. Мещерский, В.П. Буренин и др. Однако верноподданнические настроения отдельных писателей во многом искупались в глазах Фидлера их литературными заслугами. Словесность была для Фидлера неизмеримо выше идеологии. Поэтому он не избегал общения с писателями чуждых ему воззрений, пытаясь, насколько возможно, не акцентировать идейных разногласий. Он встречался и поддерживал знакомство с известными деятелями революционного движения (П.Ф. Якубович, Н.А. Морозов, Н.В. Чайковский и др.), общаясь в то же время с А.С. Сувориным (главой «Нового времени»), К.К. Случевским (редактором официального «Правительственного вестника») и князем Д.П. Голицыным (членом Государственного совета). В своих беседах с писателями Фидлер старался скорее слушать или задавать вопросы, нежели спорить и убеждать. Н.А. Лейкин, посетив Фидлера 30 декабря 1892 г., отметил в своем дневнике, что поэт-переводчик «стоит вне партий»[29]. То же можно сказать и о литературных взглядах Фидлера: они отличались широтой и терпимостью. Фидлер умел объединять и мирить литературных противников. Не случайно вечером 4 ноября в его доме можно было встретить писателей, принадлежавших к совершенно противоположным течениям и школам. «Вы здесь увидите, — рассказывал один из посетителей, — ярого декадента в беседе со старым критиком, отстаивающим былую школу и вчера еще

[28] В одной из газетных заметок упоминалось о «толстовской коллекции» Фидлера: «У него очень много писем Л.Н., великое множество его портретов, огромная литература о нем» (*Аякс* [*А.А. Измайлов*]. Лев Толстой в кинематографе // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1910. № 12037. 23 ноября. С. 3).

[29] Из дневника Н.А. Лейкина / Публ. Н.И. Гитович // Лит. наследство. М., 1960. Т. 68. С. 501.

"разделавшим" его в фельетоне; мистика с позитивистом; сотрудника "Знания" и вкладчика в "Скорпиона"»[30].

Крайне разнообразен был круг знакомств Фидлера и среди немецких литераторов. Изданные им в Германии книги Фидлер имел обыкновение посылать именитым немецким авторам, преследуя при этом двоякую цель: добиться авторитетного отзыва о своей работе и получить в то же время новый автограф для своей коллекции. Так Фидлеру удалось завязать отношения со многими деятелями немецкой культуры. Эпистолярное общение с ними Фидлер стремился подкрепить и очным знакомством (свой служебный отпуск он почти ежегодно использовал для путешествия за границу). Фидлеровский дневник содержит богатейший материал, отражающий его знакомство и переписку с писателями Западной Европы, в первую очередь, — Германии. Чествуя Фидлера в конце 1903 г. (в связи с 25-летием его литературной деятельности), одна из главных петербургских газет отмечала, что «его [Фидлера] огромные заслуги <...> признают лучшие писатели и критики, и в том числе Куно Фишер, Макс Нордау, Георг Брандес и др.»[31].

Встречаясь или переписываясь с писателями в России и Германии, Фидлер не упускал возможности получить от них сведения биографического порядка. В этом он походил на своего друга, библиографа и историка русской литературы С.А. Венгерова (который, кстати сказать, привлек Фидлера к работе для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона — в качестве автора статей о немецких писателях). Внимание к конкретной дате, мелкому факту, различным бытовым подробностям жизни писателя — характернейшая черта Фидлера, воспринимавшего литературный процесс как совокупность «деталей» (прежде всего — биографического порядка). Стремясь обогатить представление русской публики о современной литературе, Фидлер в 1909 г. распространил составленный им «вопросный лист» из 25 вопросов. Ответы 54-х писателей образовали известный сборник автобиографий, выпущенный в 1911 г.[32]. Это издание не утратило своей ценности до настоящего времени.

***

Любимым детищем и главным смыслом многолетней деятельности Фидлера во славу русской литературы была его богатейшая коллекция: Фидлер начал ее составлять еще учеником Реформатского училища. С годами коллекционирование становится его всепоглощающей страстью. Все, что имело хоть малейшее отношение к литературе, — портреты писателей, их письма, автографы, рукописи, личные вещи и т.д., — находило себе место в относительно небольшой, четырехкомнатной квартире Фидлера, превратившейся со временем в подлинное хранилище литературных редкостей. Живописное изображение фидлеровского «музея» можно найти, например, в воспоминаниях С.М. Городецкого:

[30] Литературный слет у Фидлера // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1910. № 12006. 5 ноября. С. 3.

[31] С.-Петербургские ведомости. 1903. № 350. 22 декабря. С. 4 (раздел «Хроника»).

[32] Первые литературные шаги: Автобиографии современных русских писателей / Собрал Ф.Ф. Фидлер. М., 1911.

«Жил он [Фидлер] в обычной квартиренке на Николаевской улице и всю жизнь боялся пожара, который мог уничтожить его сокровища. Все стены четырех комнат были сплошь заставлены книгами и завешаны фотографиями с автографами. Всюду прилажено бесконечное количество витрин, ящиков, полок для хранения писем, рукописей и фотографий. Я не помню каталога, но не было, кажется, ни одного крупного писателя, который так или иначе не был бы представлен у Фидлера. Изобретательность его по изысканию материалов была изумительна. Он выискивал, выпрашивал, выменивал, покупал, можно сказать, охотился за рукописями. Литературных партий, течений, кружков для него не существовало, он любил литературу и очень чутко умел нащупывать ее основное русло»[33].

Начиная с 1907—1908 гг. сообщения (более или менее подробные) о музее Фидлера систематически появляются в русской периодике. Так, например, московская газета «Раннее утро» рассказывала читателям:

«Музей Фидлера не указан ни в одном из справочников города Петербурга.

Да оно и понятно.

Этот музей — учреждение частное.

Название — музей — в данном случае носит несколько преувеличенный характер.

Тем не менее, этот музей в своем роде — замечательное явление.

Характерно, что он создан инициативой не русского, а немца.

Ф.Ф. Фидлер — немец.

Но редко кто из русских любит так, как он, русскую литературу.

Во-первых, им сделано очень много в смысле ознакомления Германии с русскими писателями.

Им переведены на немецкий язык произведения целого ряда русских писателей.

Во-вторых, и это — самое главное, им в течение долгих лет собрана замечательная коллекция автографов, портретов, изречений, дневников и рукописей русских писателей.

Эта коллекция настолько богата, что ее не без основания называют музеем.

И кого здесь только нет?..

Здесь Михайловский, Щедрин, Некрасов, Герцен, Тургенев, Достоевский.

А о нынешних писателях и говорить нечего. <...>

Каждый из пишущих, посетив Фидлера, непременно должен расписаться в особой, специально для этого предназначенной книге.

Кроме того у Фидлера имеется еще альбом, в который гости его записывают свои изречения.

Коллекционерство Фидлера доходит в этом отношении почти до курьезов.

Так, например, он собирает окурки, выкуренные у него дома теми или иными писателями. <...>

Кроме рукописей, автографов, писем и дневников у Фидлера имеется еще целый ряд закрытых писем и пакетов, на которые имеются надписи тех или иных авторов: “Вскрыть после моей смерти”»[34].

---

[33] *Городецкий С.* Три венка // Кавказское слово. 1917. № 145. 2 июля. С. 3.

[34] *Влас* [*В.М. Дорошевич*]. К писательской выставке: (От нашего корреспондента) // Раннее утро. 1910. № 201. 1 сентября. С. 2.

Какие же сокровища содержал в себе музей Фидлера? Прежде всего — изобразительные материалы: портреты и фотографии писателей (украшенные, как правило, автографами), их рисунки, карикатуры на них. «В одной из комнат фидлеровской квартиры, — рассказывал очевидец, — все стены от потолка до самого почти пола увешаны портретами русских писателей за последние 25 лет. Это целый писательский "Пантеон"»[35].

На обороте портрета Фидлер нередко делал запись: когда, где и при каких обстоятельствах данный «экспонат» поступил в его коллекцию; на фотографиях — проставлял дату, а на групповом снимке — перечислял всех, кто сфотографировался. Число такого рода материалов уже в 1911 г. достигало десятков тысяч, причем большинство из них никогда в печати не появлялось; многие документы были уникальными (т.е. существовали в единственном экземпляре). «Здесь можно видеть, — рассказывал об этой части фидлеровского собрания один из посетителей, — весьма курьезные снимки, — известную поэтессу в 18-ти декадентских костюмах и позах[36], серьезного критика, одетого грозным черкесом[37], группу беллетристов в виде хора тирольцев, молодого беллетриста в костюме бродяги[38] и т.д.»[39].

Особую часть отдела изобразительных материалов составляли открытки с портретами писателей — их Фидлер тщательно подбирал и в России, и во время своих путешествий за границу. «В Петербурге, Москве, за границей — в Берлине, и Вене, Стокгольме и Риме, Брюсселе и Париже, — рассказывал о Фидлере А.И. Измайлов, — он неутомимо переходит из одной лавчонки открыток в другую, из другой — в третью. Сейчас в его альбомах более 5000 открыток, из них 2000 приходится на долю русского писателя»[40].

Далее, в музее Фидлера находилось множество писательских автографов (рукописи, черновики, корректурные листы с авторской правкой); некоторые из них являли собой бесспорную историко-литературную ценность. Среди «жемчужин» музея следует назвать не раз упоминавшийся в русских газетах автограф Генриха Гейне, полученный от сестры поэта[41], затем — рукопись второй части «Мертвых душ» с собственноручными поправками Гоголя, строфы из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», не вошедшие

[35] Литературный музей и его основатель // Всемирная панорама. 1909. № 31. 20 ноября. С. 3.

[36] Имеется в виду З.Н. Гиппиус.

[37] Имеется в виду Н.К. Михайловский.

[38] Имеется в виду А.И. Свирский. Эта фотография воспроизведена в журнале «Солнце России» (1911. № 47 (87). Сентябрь. С. 3).

[39] *Л-ин М.* Фидлеровский музей русских литераторов // Там же. С. 2.

[40] *А. И*[*змайлов*]. Литературный музей Ф.Ф. Фидлера // Огонек. 1912. 2 июня. № 23. [С. 7].

[41] «Этот автограф даровитый переводчик русской поэзии считает своей святынею, и он висит у него в особой раме на самом видном месте, — писал автор первой (и единственной до настоящего времени) брошюры о Фидлере (*Либрович С.Ф.* Фидлеровский музей русских литераторов. СПб., [1906]. С. 22).

(в изданиях того времени) в основной текст, герценовские материалы, нигде не напечатанное стихотворение Карамзина и т.д.

Еще бóльшим разнообразием и богатством отличалась собранная Фидлером коллекции писем. В 1916 г. их насчитывалось более четырнадцати тысяч. Разумеется, лишь незначительная их часть была адресована самому Фидлеру; остальные поступали в его «музей» от других адресатов — «жертвователей», как называл их Фидлер. Щедрейшим из них был, видимо, А.А. Измайлов, передавший к 1 января 1915 г. в музей Фидлера, согласно составленному списку, более полутора тысяч писем; в том же списке значились и А.А. Коринфский (721 письмо), Б.А. Лазаревский (719), Н.А. Котляревский (164), Ф. Сологуб (129), А.И. Куприн (83), Максим Горький (48) и др.[42] В конце концов на хранении у Фидлера оказались письма Аксаковых, кн. П.А. Вяземского, Гоголя, Вл.С. Соловьева, Чехова, Корнея Чуковского... Многие из них представляли крупный общественный интерес (например, письмо Рылеева, написанное им за двадцать минут до казни), иные — чисто биографический... «Тут так много интимного, — говорил Фидлер, что если бы теперь опубликовать все это, вся русская литература перессорилась бы»[43].

Иначе обстояло дело с письмами немецких писателей; найти их в России было не просто. Фидлер, как упоминалось, достигал этой цели, посылая в дар немецким литераторам свои переводы, изданные в Германии, или обращаясь к ним с разного рода биографическими и библиографическими вопросами. В конце концов в его архиве скопилось немало писем от видных немецких писателей, критиков, переводчиков, издателей, в том числе от П. Гейзе, К.Ф. Мейера, Ф. Боденштедта, Т. Фонтане, Г. Гауптмана, Р.М. Рильке, Г. Манна, Т. Манна и др. Некоторые из них Фидлер при случае копировал в своем дневнике. Хорошо знавший Фидлера Оскар Гросберг называет точное число немецких писем в «музее» — 600[44]. Реже попадались в собрании Фидлера письма от писателей других западноевропейских стран (Э. Золя, Г. Брандес).

Особый отдел составляли так называемые писательские «реликвии», хранившиеся в особом шкафу: чубук, из которого курил Пушкин; стол-конторка Чернышевского; кошелек Чехова; перья Горького и Л. Андреева; посмертная маска Ницше; и др. Доходило до курьезов: Фидлер собирал, например, такие «сувениры», как юбилейные коробки конфет или бутылочные этикетки с портретами писателей, куски земли, обломки крестов или засохшие цветы с писательских могил, окурки папирос, выкуренных тем или иным писателем, любимый стакан какой-либо знаменитости и т.п.

Коллекционерская мания Фидлера вызывала в литературных кругах как восхищение, так и недоумение, а то и просто насмешки. «Трудолюбивый немец! Собрал много. Но и суконен по-немецки», — отметила, например, в своем дневнике Е.П. Казанович, сотруд-

---

[42] Список «щедрейших жертвователей писем писателей в “Литературный музей” Ф. Фидлера» содержится среди его писем к И.И. Ясинскому (РНБ. Ф. 901. Оп. 3. Ед. хр. 895. Л. 6, 12). См. также: РГАЛИ. Ф 95. Оп. 1. Ед. хр. 1107; Ф. 518. Оп. 3. Ед. хр. 23 (последний список — наиболее подробный).

[43] Цит. по: *Кожевников П.* Музей русских литераторов // Руль. 1910. № 266. 26 декабря. С. 2.

[44] *Grosberg O.* Das Fiedlersche Museum // Deutsches Leben im alten St. Petersburg. Ein Buch der Erinnerung / Herausgegeben von Heinrich Pantenius und Oscar Grosberg. Riga, 1930. S. 81.

ница Пушкинского Дома, осмотрев 30 октября 1913 г. коллекцию Фидлера[45]. Впрочем, игнорировать его «музей» стало со временем невозможно. 1 апреля 1907 г. в столичной газете «Слово» появилась любопытная первоапрельская шутка. Ее автор, писатель И.Л. Щеглов, укрывшийся под псевдонимом Петр Зудотешкин, обнародовал «слух» о том, что «известный коллекционер литературной корреспонденции и устроитель литературных обедов Ф.Ф. Фидлер вошел в городскую думу с ходатайством о бесплатном отводе ему участка земли для постройки "Фидлеровского литературного музея" для помещения в таковом своей обильной литературной коллекции. При музее предполагается устроить небольшой ресторан с читальней, кегельбаном и мюнхенским пивом; а также странноприимное отделение для душевнобольных писателей, нуждающихся в уходе или рекламе»[46]. Ясно, что с помощью этой шуточной заметки И.Л. Щеглов пытался привлечь общественное внимание к весьма нешуточному начинанию Фидлера.

С литературным музеем соседствовала у Фидлера громадная библиотека в несколько тысяч томов. Почти все книги были с авторской надписью — петербургские литераторы хорошо знали, что, отправляясь к Фидлеру в гости, особенно вечером 4 ноября (в день его рождения), они должны захватить с собой издания своих стихов, повестей или пьес, выпущенные за последний год. Отсутствие литературного подарка могло обидеть и огорчить хозяина. Если же кто-то из посетителей приходил с пустыми руками, Фидлер брал с него слово прислать книги в ближайшем будущем и не отступался до тех пор, пока не получал обещанного[47]. Принимая в дар какую-нибудь книгу, Фидлер обычно просил отметить наиболее удавшиеся, с авторской точки зрения, произведения. Многие книги содержали также пометы самого Фидлера: наблюдения, уточнения, реплики.

Нужно упомянуть, наконец, и о многочисленных тетрадях и папках, в которые Фидлер вклеивал или вкладывал газетные вырезки: статьи, заметки и сообщения на литературную тему. Весь этот богатейший и ценнейший (прежде всего — с историко-литературной точки зрения) материал был разделен Фидлером на две части: «Русские писатели» и «Иностранные писатели». В конце 1910 г. число тетрадей с газетными вырезками равнялось, если верить газетному сообщению, тридцати пяти.

Следует подчеркнуть, что литературная коллекция Фидлера создавалась исключительно его собственными усилиями. Собрание пополнялось главным образом за счет подарков и подношений. Однако многие экспонаты Фидлер оплачивал из собственных средств. Вынужденный существовать на скромное жалованье гимназического учителя,

---

[45] Из дневников Е.П. Казанович / Публ. В.Н. Сажина // Пушкинский Дом. Статьи. Документы. Библиография. Л., 1982. С. 162.

[46] Слово. 1907. № 114. 1 апр. С. 3.

[47] Журналист Эдгар Мешинг сообщал немецким читателям: «К музею примыкает также удивительная библиотека, состоящая из экземпляров, надписанных авторами. Дело в том, что Фидлер ежегодно отмечает день своего рождения; он устраивает ужин, на который неизменно является весь литературный Петербург. И уже сложилась многолетняя традиция, по которой каждый из гостей вручает любезному хозяину в качестве подарка все свои книги, изданные за последний год. Так формировалась со временем эта любопытная библиотека...» (*Mesching E.* Friedrich Fiedlers Literatur-Museum // Berliner Morgenpost. 1913. Nr. 28. 29. Januar).

он — насколько известно — никогда не обращался за помощью ни к частным лицам, ни в государственные учреждения.

«...Сегодня у меня обедал Фидлер, — рассказывал Б.А. Лазаревский издателю В.С. Миролюбову, — по выражению Ант[она] Чехова это: “неугасимая лампада перед иконой русской литературы”. По словам же Куприна, Фидлер — это “сосиска с крыльями бабочки”. По-моему же это: ходячая энциклопедия всех сведений о всех русских современных писателях, он знает биографии всех, кто, когда и где начал работать. У него более 2000 книг с автографами и до 500 портретов. У него 122 письма А.П. Чехова, у него духовные завещания, рукописи. Сам он пролетарий — учитель немецкого языка, и с грошей он уделяет бóльшую половину на свой музей. К этому нужно добавить, что у Фидлера еще молодая жена, разбитая параличом, не встающая с кресла. И такого человека не поддерживают ни правительство, ни частные меценаты. Ценные вещи, принадлежавшие писателям, он принужден хранить в коробках из-под конфект, портреты уже висят на печке, т.к. нет места... И эта аккуратнейщая неугасимая лампада с горя наливается вместо масла — пивом»[48].

Уникальность фидлеровского «литературного музея» — первого и единственного в те годы в России — сознавали и другие современники. «Можно смело держать пари, — уверял А.И. Измайлов, — что другой такой коллекции по этой специальности не существует не только в России, но и на целом свете»[49]. «Как по количеству собранных предметов, так и по их разнообразию, — сообщала одна из русских газет, — литературный музей Ф.Ф. Фидлера, по мнению специалистов-коллекционеров, является единственным в своем роде в мире. Но он представляет интерес не только в смысле хорошо подобранной коллекции, но и как богатый источник для историко-литературных трудов»[50]. О печальной судьбе этого выдающегося собрания, которое было создано и в течение многих лет пополнялось и поддерживалось одним человеком, будет сказано в конце очерка.

***

Круг интересов и занятий Фидлера не ограничивается одной лишь его преподавательской или литературно-общественной деятельностью, переводами, собирательством, перепиской... Неотъемлемой частью повседневного бытия Фидлера был также его дневник, который он вел по-немецки на протяжении почти трех десятилетий. Насчитывающий несколько тысяч страниц, этот дневник, наряду с «музеем», можно расценивать как выдающийся вклад Фидлера в русскую (и отчасти немецкую) культуру.

Фидлер начал вести дневник еще на студенческой скамье. В ту раннюю пору это был, впрочем, еще не столько дневник, сколько «ежедневник» — ряд ежедневных записей («Tägliche Notizen»). Эти записи до настоящего времени не обнаружены; правда, многие из них Фидлер переносил впоследствии — по мере надобности — в свой дневник.

[48] ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 700. Л. 42 об. — 43. Письмо от 10 июня 1906 г.

[49] *А. И*[*змайлов*]. Литературный музей Ф.Ф. Фидлера // Огонек. 1912. № 23. 2 июня. [С. 7].

[50] Фидлеровский музей русских литераторов // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1916. № 15858. 12 октября. С. 4.

Дневник Фидлера представляет собой своеобразный памятник, не похожий на известные дневники писателей в России или Западной Европе (достаточно вспомнить, например, многотомные, насыщенные богатейшим фактическим материалом дневники А.В. Никитенко, братьев Гонкуров, Андре Жида и др.). Фидлеровский дневник иного рода; он имеет свой неповторимый облик, свой стиль и характер. Во-первых, он весь, от начала и до конца, посвящен исключительно писателям, их делам и заботам, зачастую сугубо личным, их мнениям и отзывам о литературе и друг о друге. (Эту специфику точно отражает название дневника: «Из мира литераторов. Характеры и суждения, собранные Фидлером».) Во-вторых, дневниковые записи Фидлера весьма скупо сообщают о нем самом. О себе, своей работе, своих переживаниях и мыслях Фидлер упоминает крайне редко и, как правило, вскользь: ровно столько, сколько нужно, чтобы обозначить время и место события («Был там-то...», «Зашел к тому-то...», «Спросил о том-то...» и т.д.), уточнить мысль или исправить явную оплошность своего собеседника[51]. В-третьих, дневник предельно конкретен: внимание Фидлера неизменно приковано к незначительному на первый взгляд факту, эпизоду, происшествию (в сущности, Фидлер не слишком хорошо различал «значительное» и «незначительное», когда речь шла о писателе и его окружении). И наконец, следует подчеркнуть явное тяготение Фидлера к «подцензурным» событиям и литературным явлениям: автор дневника стремился запечатлеть все, что было в ту пору запрещенным, политически острым или неприемлемым для обнародования с точки зрения общественной морали: язвительные эпиграммы, эротические, подчас скабрезные стихи, интимные подробности личной жизни... В этом смысле фидлеровский дневник воистину уникален — он содержит сведения, которые невозможно получить из других источников. Острым, проницательным взглядом Фидлер подмечал и фиксировал подробности, ускользающие, как правило, от внимания других хроникеров или мемуаристов. Где жил тот или иной писатель? В каких условиях? Как рано поднимался? Как держал себя в обществе? Как выглядел его письменный стол? Сколько рюмок осушил за обедом? Какие у него склонности и тайные увлечения? Особо интересовался Фидлер гонорарами — отражавшими, с его точки зрения, авторитет и значение того или иного писателя.

Тем не менее, несмотря на свою полноту и скрупулезность, дневник Фидлера отличается известной односторонностью. Литература предстаалена здесь в основном как *быт*, то есть бесконечная череда конкретных лиц, их собраний, встреч и бесед друг с другом или друг о друге, тогда как подлинная литературная жизнь с ее перипетиями, идейными битвами, противоборством старого и нового, накалом общественных страстей отсутствует почти полностью. К истории русской *литературы* (в общепринятом смысле этого понятия) дневник Фидлера имеет отдаленное отношение. Зато в нем обильно запечатлелось другое: характерные черты писателей, их повседневная жизнь, нравы литературного сообщества, привкус и аромат времени. Последнее обстоятельство представляется особенно значимым, если вспомнить, что эпоха русской жизни, отображенная в дневнике Фид-

[51] Исключение составляет дневник 1911—1912 гг., повествующий о личных отношениях Фидлера с поэтессой Н.В. Грушко.

лера, подходила в то время к концу. Тип русских интеллигентных людей, увековеченный Фидлером, петербургская писательская среда, ее уклад и обычаи — все это непоправимо рухнуло после 1917 г., распылилось и стало достоянием русской истории. Несмотря на специфическое и в целом ограниченное видение Фидлером литературы и «мира литераторов», познавательная ценность его дневника — огромна.

Особый вопрос — достоверность фидлеровского дневника. Его надежность, казалось бы, не вызывает сомнений. Фидлер честно и точно воспроизводил то, что ему приходилось слышать, причем делал это немедленно — в тот же вечер или, в крайнем случае, на другой день. «Я стараюсь дать только голые факты, — подчеркивал Фидлер, — записанные мною не через 5, 10, 15, 25 лет, — а через 5, 10, 15, 25 часов, а иногда даже минут после встречи и беседы с писателем. Таким образом, невольным неточностям тут нет места»[52].

Но «невольные неточности» все же встречаются и вовсе не потому, что Фидлер был забывчив или недостаточно аккуратен. Напротив, он отличался, как уже отмечалось, повышенным педантизмом, необычайной приверженностью к мелочам и деталям. Однако, дословно записывая чужие высказывания, Фидлер как бы ограничивается ролью писца-хроникера. Лишь изредка, когда требуется обратить внимание на явную неточность в словах собеседника, он позволяет себе (как правило, в скобках) недоуменную или ироническую реплику. Между тем совершенно ясно, что никакое мнение, высказанное случайно или «под хмельком», не способно претендовать на полную достоверность. Даже предельно точно, «слово в слово» записанный устный текст может содержать неточные сведения. Особенно если речь идет о «братьях-писателях», чьи мнения друг о друге нередко оказываются предвзятыми, а порой — намеренно искаженными. Разность или общность позиций, зависть, недоброжелательство, честолюбие — такого рода амбиции, характерные для писательской среды, предопределяют содержание многих отзывов, воспоминаний и рассказов, тщательно воспроизведенных Фидлером. Тем более что некоторые его собеседники, как свидетельствуют дневниковые записи, воспринимали его самого иронически, не слишком откровенничали, а то и просто «играли» с ним.

Таким образом, дневник Фидлера гарантирует только *аутентичность* (точность воспроизведения), но никак не достоверность (истинность) приведенных в нем «суждений» и «мнений». Знакомясь с этим богатейшим собранием фактов и сведений, пересудов и сплетен, читатель отнюдь не должен принимать на веру содержание каждой записи; в противном случае его ждут горькие разочарования. Дневник Фидлера — скорее, панорама литературного быта русской (петербургской) литературы конца XIX — начала XX вв., нежели подлинная ее история.

Записи строятся по определенной схеме. Фидлер подробно описывает внешность писателя, его жилье, манеру поведения, особенности его речи. Вопросы Фидлера, особенно при первой встрече, также стереотипны: о начале литературной деятельности того или иного писателя, количестве им написанного, отношении к своим произведениям (например, какое из них сам автор считает наиболее удачным), гонораре... К концу бе-

[52] Литературные силуэты: Из воспоминаний Ф.Ф. Фидлера // Новое слово. 1914. № 1. С. 68.

седы Фидлер неизменно просит своего собеседника о портрете с дарственной надписью или автографе в альбом. Узнав о чьей-либо смерти, Фидлер тут же отмечает в своем дневнике степень своего знакомства с покойным, приводит его письма, анкетные данные (если таковые сохранились в его «музее») и т.д. Поэтому, при всем разнообразии и множестве лиц, мелькающих на страницах фидлеровского дневника, записи производят подчас впечатление монотонности, однообразия, повторяемости. Кстати, сам Фидлер был не склонен преувеличивать значение своего труда и подчеркивал, что дает «только моменты, штрихи, наброски, анекдоты, т.е. только материал для создания будущих биографий и характеристик писателей»[53]. В этом с ним трудно ие согласиться.

О литературном дневнике Фидлера знали лишь немногие из его знакомых; только тем, кто пользовался его особым доверием, он позволял порой заглянуть в свои «синие тетради». Правда, упоминания о таинственном дневнике все же проникали в печать. Так, 1 февраля 1908 г. в московской газете «Русское слово» А.А. Измайлов поведал читателям о «синих тетрадях» Фидлера. «В эти тетради, которые лучше назвать томами, — сообщал критик, — с изумительной и трогательной внимательностью Фидлер вот уже много лет заносит все услышанное им о русском писателе, мертвом и живом <...>. Я провел прекрасный вечер за чтением, вместе с автором, в этих интереснейших "синих тетрадях" всего, что в них занесено о Некрасове. Многое, хотя и интересное, еще не вовсе своевременно рассказывать. Во всяком случае, это дело автора»[54]. Журнал «Известия Вольфа» в 1911 г. указывал на «синие тетради» Фидлера, «куда он заносит все виденное и слышанное о русских писателях», и подчеркивал, ссылаясь на А.А. Измайлова, что эти тетради — «тайна от современников» еще на 25 лет[55].

Эту скрытую сторону жизни Фидлера подробнее других осветил Вас.И. Немирович-Данченко. «Сам Фидлер, — читаем в его воспоминаниях, — с аккуратностью образцового аптекаря вел дневник о встречах и беседах с нашим писательским миром. Каждый вечер, прежде чем лечь в постель, он записывал все, что ему казалось интересным или метким в своих разговорах с нами. Вся эта летопись — на немецком языке. Он рассчитывал впоследствии издать ее, когда нас уже не будет. <...> Эти дневники чуть не за двадцать пять лет — истинные сокровища для закулисной истории русской печати. Тут были памятки не об одних художественных и культурных течениях. Целые главы — интимной жизни, где наш мирок выступал так выпукло и красочно, как ни в одной монографии»[56].

Конечно, Фидлер и сам сознавал, что владеет сокровищами. В последние годы жизни он начал понемногу «приоткрывать» материалы своего собрания, в том числе — дневники. Используя записи разных лет, он составил и опубликовал ряд мемуарных очерков о видных русских писателях. Первой публикацией в этом ряду была «Стасовская дача» —

[53] Литературные силуэты: Из воспоминаний Ф.Ф. Фидлера // Новое слово. 1914. № 1. С. 68.

[54] *Измайлов А.* Просыпанный бисер: (Неизданные стихи Некрасова) // Рус. слово. 1908. № 27. 1 февраля. С. 2.

[55] [*Либрович С. Ф*]. Синие тетради Фидлера // Известия Вольфа. 1911. № 11. С. 173.

[56] *Немирович-Данченко Вас.И.* На кладбищах: Воспоминания и впечатления. М., 2001. С. 93 (первое изд.— Ревель, 1921).

воспоминания Фидлера о его встречах с В.В. Стасовым[57]. Затем, пять лет спустя, последовала серия «Литературные силуэты» — воспоминания о Гаршине, Надсоне, Полонском, А.Н. Майкове, Фете, Плещееве, Лескове[58]. В 1914—1915 гг. Фидлер работал над мемуарами, посвященными Мамину-Сибиряку — одному из главных персонажей его дневника. Законченная начерно, эта работа (объемом более 300 страниц) так и осталась в рукописи[59]. Наконец, в 1916 г., также опираясь на свои дневниковые записи, Фидлер написал воспоминания о К.М. Фофанове[60].

***

С годами имя и дело Фидлера приобретают в России немалую известность. Его самоотверженное, почти фанатическое «служение» русской литературе воспринимается с пониманием и даже восхищением. Все щедрее становятся пожертвования в музей Фидлера; они стекаются в 1910-е гг. буквально со всех концов России. Современники не устают славословить Фидлера — жреца во храме русской литературы (так Фидлер сам называл себя). «Ваше дело, Федор Федорович, дело великое, святое», — написал ему некогда Глеб Успенский[61]. «Немец, каких немного»[62], «рыцарь русской литературы»[63] — такие отзывы о Фидлере все чаще появляются на страницах русской периодической печати. Нередко цитируется и фраза Чехова, назвавшего однажды Фидлера «неугасимой лампадой перед иконой русской литературы» (см. дневниковую запись от 11 февраля 1895 г.).

Сохранился также ряд посвященных Фидлеру шутливых стихотворений как на русском, так и на немецком языках. Вот лишь один из них — его сочинил талантливый острослов и мастер стихотворного экспромта Ф.В. Черниговец-Вишневский: «Наш Фриц совсем не иноземец. / Кто ж он? — не думец и не земец, / Не дипломат и не бурсак? / Он просто славный русский немец / Иль онемеченный русак»[64].

Затрагивался в печати и неизбежный вопрос о судьбе фидлеровского собрания. Считалось, что именно оно станет фундаментом будущего Всероссийского литературного музея. «Он положил основание тому литературному музею, — писал о Фидлере Г. Старцев, — который должен быть у нас, — если только для русского общества не звук пустой родная литература»[65].

---

[57] См.: Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову: Сб. воспоминаний. СПб., [1908]. С. 286—289.

[58] Эти очерки публиковались в газете «Биржевые ведомости», затем — в журнале «Новое слово» (1914. № 1, 5, 6, 8).

[59] РГАЛИ. Ф. 518. Оп. 3. Ед. хр. 18.

[60] *Фидлер Ф.* Черты из жизни Фофанова: (По моим литературным дневникам) // Биржевые ведомости. Утр. вып. 1916. № 15565. 18 мая. С. 2—3.

[61] Цитируется по записи в дневнике Фидлера (ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 131).

[62] Так озаглавлена анонимная статья о Фидлере в журнале «Задушевное слово» (1909. № 5. 20 ноября. С. 1—2).

[63] Слова из статьи сибирского писателя Г.А. Вяткина, посетившего музей Фидлера в сентябре 1913 г. (см.: Сибирская жизнь. 1913. № 237. 29 октября. С. 3).

[64] Русь. 1903. № 12. 22 декабря. С. 1 (заметка без подписи, озаглавленная «Юбилей Ф.Ф. Фидлера»).

[65] Телеграф. 1907. № 4. 27 января. С. 3.

Задумывался над судьбой своего музея и сам Фидлер. В 1909 г. он составил завещание, согласно которому его собрание должно было после его смерти поступить в Публичную библиотеку в Петербурге. «Весь огромный материал по смерти владельца поступает в Императорскую Публичную библиотеку, — писал А.А. Измайлов. — Это обстоятельство заставляет собратьев-писателей видеть в частном деле Фидлера дело общественное»[66]. В случае отказа Публичной библиотеки (или Библиотеки Академии наук) Фидлер просил (в завещании 1909 г.) передать собранные им материалы Берлинской Королевской библиотеке.

Однако начавшаяся война перечеркнула все планы Фидлера; да и собственная его жизнь изменилась коренным образом. Для «рыцаря русской литературы», всегда гордившегося своей принадлежностью к немецкой нации, наступили трудные времена. Некоторые из прежних знакомых, захваченные антигерманской истерией, вовсе отвернулись от Фидлера; «немец», бесконечно преданный русской литературе, становится жертвой клеветы и злословия. «В годы Первой мировой войны, — вспоминал В.М. Саянов, — кем-то из петроградских обывателей был пущен слух, что Фидлер — старый немецкий шпион, и его репутации был нанесен страшный удар. Перед ним закрылись двери знакомых домов, многие больше не здоровались с ним и, встречаясь на улицах, сворачивали в сторону, чтобы ненароком не столкнуться лицом к лицу с человеком, заклейменным общественным мнением»[67]. Ранее весьма снисходительный к «слабостям» своих друзей, позволявших себе недружелюбные высказывания по поводу Германии и немцев, Фидлер весьма болезненно реагирует теперь на любой антигерманский выпад, решительно осуждает «ретроградов» и «черносотенцев». Встречаясь с людьми, он стремится первым делом уточнить их отношение к официальной ура-патриотической пропаганде, захлестнувшей российскую печать. Прекращаются и многолюдные собрания в квартире Фидлера вечером 4 ноября — начиная с 1914 г., он сдвигает свой праздник на день или два и приглашает к себе домой лишь самых близких людей.

Все это оказалось для Фидлера потрясением, от которого ему не удалось оправиться до конца своих дней. Записи в его дневнике за 1914—1916 гг. отчасти передают его душевную трагедию того времени[68].

Разразившаяся война (а также — забота о дочери) побудили Фидлера изменить свое завещание, что окончательно было им сделано за день до смерти — 23 февраля 1917 г. «Литературный музей» состоял, согласно последнему волеизъявлению его владельца, из

[66] *А. И*[*змайлов*]. Литературный музей Ф.Ф. Фидлера // Огонек. 1912. № 23. 2 июня. [С. 7]. О том же сообщалось ранее в статье П.Кожевникова «Музей русских литераторов»: «Уже составлено Ф. Ф[идлером] завещание, в силу которого все поступает в СПб. Публичную библиотеку и 25 лет спустя после смерти владельца становится доступным для исследователей» (Руль. 1910. № 266. 26 декабря. С. 2).

[67] *Саянов В.* Фет, Бунин и Фидлер: (К вопросу о новаторстве) // *Саянов В.* Статьи и воспоминания. Л., 1958. С. 14.

[68] Впрочем, «музей» продолжал пополняться и в 1914—1916 гг. «Война не отразилась на росте музея», — отмечал Ю.Н. Зубовский (*Зубовский Ю.* Фидлеровский музей: (Письмо из Петрограда) // Эпоха. 1915. № 10. 5 апреля. С. 12).

следующих отделов: 1. Письма русских и иностранных писателей к самому Фидлеру; 2. Письма к другим лицам, переданные в полную собственность Фидлера; 3. Портреты русских и иностранных писателей; 4. Собрание карикатур на русских писателей; 5. Книги редкие в библиографическом отношении; 6. Книги русских и иностранных писателей с автографами; 7. Мемуары, озаглавленные «Из мира литераторов. Характеры и суждения»; 8. Наклеенные в тетрадки вырезки из газет и журналов; 9. Наклеенные на отдельных листках вырезки из газет и журналов, касающиеся русской и иностранной литературы; 10. Альбомы с автографами русских и иностранных писателей; 11. Альбомы открытых писем с портретами русских и иностранных писателей и 12. Предметы разного рода, являющиеся воспоминаниями о писателях. «Ввиду громадной духовной стоимости означенного музея» Фидлер просил свою дочь Маргариту, единственную его наследницу, сделать все от нее зависящее, чтобы его музей был приобретен Императорской Академией Наук или Публичной библиотекой. В случае отказа этих учреждений М.Ф. Фидлер получала право «продать музей в частные руки». Душеприказчиками «специально по делу музея» назначались С.А. Венгеров и А.А. Измайлов. Завещание было записано под диктовку И.М. Булацелем и засвидетельствовано друзьями Фидлера — К.С. Баранцевичем, А.Е. Зариным и А.А. Измайловым[69].

На другой день Фидлер умер. «Сегодня в литературе большое событие, — записал в своем дневнике Б.А. Лазаревский, — умер Федор Федорович Фидлер. Конечно, он Фридрих, но сделал для русской литературы очень, очень много, больше, чем кто-нибудь из русских... <...> Сокровищница литературных его реликвий неоценима — там кусочки души и жизни интимной, начиная с Достоевского и до наших смутных дней <...>. Куда все это поступит: в Академию Наук или в Публичную библиотеку...»[70] Впрочем, эта запись скорее исключение: на фоне Февральской революции и других событий тех дней смерть Фидлера прошла почти незамеченной. На похороны человека, в доме которого некогда собирался весь литературный Петербург, явилось лишь несколько человек, и это было воспринято родственниками и друзьями Фидлера как горькая обида. Впрочем, в преждевременной смерти Фидлера таилась и другая, бо́льшая несправедливость, о которой упомянул впоследствии Вас.И. Немирович-Данченко: «Скромная, незаметная смерть, и какой в ней трагизм: Ф.Ф[идлер] всю жизнь верил в грядущую русскую свободу, молился надвигавшейся революции, которая должна будет раскрепостить все народы от позорных кандалов правового рабства... И — смежил глаза в канун ее торжественного победного набата»[71].

Нам неизвестны все перипетии, развернувшиеся вокруг наследства Фидлера весной, летом и осенью 1917 г. — в самый разгар революционных потрясений. Неясно, в частности, почему и на каком основании Публичная библиотека и Академия Наук не приняли участия в судьбе фидлеровской коллекции. Достоверен лишь следующий факт: незадолго до Октябрьского переворота М.Ф. Фидлер продала значительную (наиболее ценную) часть отцовского музея петроградскому антиквару и букинисту А.Е. Бурцеву,

[69] РГАЛИ. Ф. 518. Оп. 4. Ед. хр. 23. Л. 4—5.
[70] ИРЛИ. Ф. 145. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 199—198 об.
[71] *Немирович-Данченко Вас.И.* Указ. соч. С. 101.

заплатившему за него огромную сумму (впрочем, через несколько недель деньги полностью обесценились). Любопытно, что Бурцев, подобно Фидлеру, мечтал о создании — на основе своего богатейшего собрания — Музея русского искусства и литературы. Однако его мечтаниям также не суждено было сбыться: лишившись после революции всей недвижимости и прочих богатств, Бурцев начал в 1920-е гг. распродавать свою коллекцию (в середине 1930-х гг. он вместе с семьей был выслан из Ленинграда)[72]. Некоторые из приобретенных им фидлеровских материалов попали в Институт русской литературы (Пушкинский Дом), где находятся и в настоящее время. Другие документы из фидлеровского музея хранятся ныне в государственных архивах Москвы[73] или в частных собраниях. Однако немалая часть того, что некогда принадлежало страстному любителю русской литературы, не выявлена до сих пор.

20 сентября 1924 г. А.А. Коринфский писал С.Д. Дрожжину (из Ленинграда): «Ты спрашиваешь о музее покойного (тоже, тоже покойного!!!) Ф.Ф. Фидлера? Дочь его Маргарита (где она теперь, я не знаю, но видел ее раза два в революционное уже время) продала весь его музей коллекционеру А.Е. Бурцеву, миллионеру до революции, а потом перебивавшемуся книжно-антикварной торговлей в лавке отнятого у него громадного дома. Где и что он теперь — не знаю. Фриц наш, вместо Публичной библиотеки, оставил музей и все свое по завещанию дочери (она продала музей, кажется, за 30 тысяч — настоящих, а не большевистских, еще до Октябрьской революции, а Фидлер сам похоронен в первый день Февральской ("Да святится имя ея!") Революции. Наш милый друг, наш незабвенный "немец" перехитрил перед своей смертью всех нас — несших в его сокровищницу литературы свои вклады!.. Да простит ему Господь этот грех!.. Он так любил литературу, как никто, — воистину был ее любовником, верным ей до преддверия своей могилы на Волковом кладбище, теперь наполовину запустелом, замусоренном и ограбленном... Кажется, кто-то говорил, что и крест Фидлера (как и А.М. Сальникова, нашего с тобой друга) тоже пошел на топливо...»[74]

И музей Фидлера, и его могила оказались разрушенными, имя его — забытым почти на полстолетия. Первые робкие попытки в Советском Союзе воскресить труд Фидлера, восстановить его могилу и освежить память о нем относятся к началу 1960-х — 1970-м гг.[75].

---

[72] *Петрицкий В. А.* История одного заблуждения: Петербургский библиофил А.Е. Бурцев (1863—1938) // Русская демократическая книга: Книжное дело Петербурга — Петрограда — Ленинграда. Л., 1983. С. 62.

[73] В.Д. Бонч-Бруевич, директор Литературного музея в Москве, писал 8 сентября 1933 г. М.Ф. Фидлер: «Часть архива Фидлера поступила в наш музей, его приобрели у разных лиц, и мне бы хотелось собрать все целиком» (РГБ. Ф. 369. Карт. 217. Ед. хр. 44. Л. 3). Материалы, приобретенные в 1930-е гг. Литературным музеем, хранятся ныне в РГАЛИ.

[74] Цит. по: *Иванова Л.Н.* Архив С.Д. Дрожжина // Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб., 1994. С. 74—75.

[75] См.: *Данилевский Р.Ю.* Переводчик русских поэтов Ф.Ф.Фидлер // Рус. литература. 1960. № 3. С. 174—177; *Рейсер С.А.* Из альбомов Фидлера // Звезда. 1961. № 2. С. 208—209; *Фидлер Ф.Ф.* Из дневника // В кн.: Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. Свердловск, 1962.

***

Обширные части фидлеровского дневника, публикуемые ниже, написаны на немецком языке и охватывают период с 26 февраля 1888 г. до февраля 1917 г. (записи, относящиеся к последним неделям жизни Фидлера, сохранились в виде карандашных набросков на разрозненных листках бумаги). Дневник занимает двадцать девять тетрадей (первые из них сброшюрованы и соединены вместе под одним переплетом). Все тетради хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в С.-Петербурге в фонде Ф.Ф. Фидлера (Ф. 649. Оп. 1. Ед. хр. 1—20, 25; последняя тетрадь не закончена).

Некоторые из дневниковых записей частично публиковались нами в 1982—2003 гг.[76]; в 1996 г. состоялось отдельное издание на немецком языке[77]. Однако данное издание совпадает с немецким далеко не полностью: изъяты значительные фрагменты, повествующие о встречах и беседах Фидлера с немецкими издателями и литераторами; с другой стороны, включены новые записи, в которых упоминаются малоизвестные русские авторы. Ряд фактов, которые обнаружит читатель в публикуемом дневнике, а также отдельные скопированные Фидлером историко-литературные тексты (письма, стихи, дарственные надписи и др.) не являются новыми с нынешней точки зрения; они могли публиковаться ранее другими исследователями по другим источникам.

По своему объему публикуемый том представляет собой приблизительно половину сохранившегося дневника. Мы стремились выбрать наиболее существенные, содержательные, интересные фрагменты, исключив описания, содержащие повторы, или записи второстепенного характера, повествующие, например, о частных делах и сугубо личных обстоятельствах жизни того или иного писателя. Отсюда — многочисленные купюры в тексте; впрочем, многие из них сделаны с таким расчетом, чтобы читатель без труда догадался о содержании изъятых частей.

Текст дневника при подготовке его к печати унифицирован: сокращенные Фидлером слова (как правило, служебные) всюду пишутся полностью; то же касается имен собствен-

---

С. 239—247; *Данилевский Р.Ю.* В.Я. Брюсов и Ф.Ф. Фидлер // Международные связи русской литературы. М.; Л., 1963. С. 411—416; *Тумановский Р.* Фидлеровский музей // Лит. газета. 1967. № 3. 18 января. С. 6; *Тумановский Р.* Музей «крохобора» // В мире книг. 1975. № 6. С. 92—93.

[76] На русском языке нами опубликован ряд фрагментов из дневника Фидлера, посвященных таким писателям, как Достоевский, Л.Н. Толстой, Чехов, Максим Горький, Гумилев, Вяч. Иванов и др. Приводим перечень основных публикаций: Лит. наследство. 1982. Т. 92, кн. 3. С. 831—838; Вопросы литературы. 1983. № 11. С. 270—273; Лит. обозрение. 1984. № 8. С. 100—107; Новый мир. 1985. № 8. С. 213—219; Ленинградская панорама. Л., 1988. С. 366—377. Рус. литература. 1988. № 2. С. 171—186 (в соавторстве с Р.Д. Тименчиком); Лит. наследство. 1991. Т. 98, кн. 1. С. 411—423; НЛО. 1994. № 10. С. 115—136; Труды гос. музея истории Санкт-Петербурга. СПб., 1999. Вып. 4. С. 63—87; Всемирное слово. 2003. № 16. С. 23—38; и др. Отдельные подготовленные нами записи фидлеровского дневника предоставлялись для публикации другим исследователям (см., например: *Иванова Л.Н.* К биографии Л.Н. Андреева (по материалам коллекции Ф.Ф. Фидлера) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 36—51).

[77] *Fiedler Friedrich.* Aus der Literatenwelt. Charakterzüge und Urteile. Tagebuch / Herausgegeben von Konstantin Asadowski. Göttingen, 1996.

ных (фамилий). В тех случаях, когда полная форма казалась сомнительной, восстановленные части слов или имен взяты в квадратные скобки. Тем же способом отмечены и все конъектуры, сделанные в цитируемых Фидлером письмах или записях других лиц.

В тех случаях, когда написание в дневнике Фидлера обнаруживает непоследовательность, нам пришлось — в целях унификации — выбирать один из вариантов. Так, говоря о своем собрании, Фидлер писал либо *музей*, либо *«музей»* (мы отдали предпочтение второму варианту); различно выглядит у Фидлера и прозвище жены Д.Н. Мамина-Сибиряка (*Тетя Оля* и *«Тетя Оля»*) — в этом случае мы также ставим кавычки.

О датировках, принятых в настоящем издании, см. примеч. 4.

Дневник Фидлера — петербургский; почти все записи в нем сделаны на берегах Невы. В связи с этим мы указываем место записи только в тех случаях, когда она произведена за границей или в других российских городах (например, в Пятигорске или Кисловодске). В отношении записей, сделанных в пригородах Петербурга (Коломяги, Куоккала, Павловск, Старожиловка и т.д.), сохраняется общий принцип.

Фамилию каждого писателя, упомянутого на страницах его дневника, Фидлер, как правило, подчеркивал (с тем, чтобы легче ориентироваться в тексте). Мы сочли возможным отойти от этого принципа. Сохранены, тем не менее, некоторые особенности дневника, в частности, — система тире, которой пользовался Фидлер, отмечая смысловую границу внутри одной записи и употребляя, по своему усмотрению, либо один, либо два, либо три знака.

Описки и орфографические ошибки, допущенные Фидлером, исправлены без оговорок. Смысловые и фактические неточности отмечены знаком (sic! — *К.А.*).

Отдельные слова, фразы и текстовые фрагменты, написанные в оригинале по-русски, выделены курсивом. При этом в отдельных случаях нам пришлось изменить падежную форму приведенного в оригинале русского слова или имени собственного — в соответствии с грамматическим строем целого предложения.

Собранные Фидлером «характеры и суждения», бесспорно, нуждаются в подробном комментарии. Ввиду того, что комментировать пришлось бы едва ли не каждую дневниковую запись, мы ограничились лишь краткими пояснениями, необходимыми для понимания текста: переведены все иностранные слова и выражения, указано большинство цитируемых источников, отмечены или исправлены явные несоответствия (например, имена, неверно понятые «на слух») и т.п. Неполнота комментария восполняется — разумеется, лишь отчасти — именным и двумя предметными указателями.

Пометы в тексте, принадлежащие самому Фидлеру, отмечены инициалом *Ф.* (так он сам обозначал свои «вставки»).

Иллюстративный материал восходит в основной своей части к коллекции фотографий, собранной Фидлером (ныне — в Музее Пушкинского Дома).

Завершая многолетнюю работу над литературным дневником Фидлера, считаю своим приятным долгом выразить благодарность сотрудникам Рукописного отдела и Музея Пушкинского Дома (в первую очередь — Л.Н. Ивановой и В.С. Логиновой) за всестороннюю помощь и сотрудничество.

К. Азадовский

Россия в мемуарах

Ф.Ф. ФИДЛЕР

ИЗ МИРА ЛИТЕРАТОРОВ:
характеры и суждения

26 февраля 1888

От русских писателей я узнал, что некто Сергей Александрович Бердяев не только пишет русские стихи, но и публикует в немецких журналах свои переводы русских поэтов. Вполне понятно, что я проявил к нему интерес и выразил желание с ним познакомиться.

И вот в минувший понедельник пришел ко мне человек моего возраста, представился Бердяевым и сказал, что ему только что повстречались В.И. Бибиков и И.И. Ясинский (псевд. — Максим Белинский) и сообщили, что я хочу с ним познакомиться; это, сказал он, очень кстати, потому что и он, со своей стороны, давно уже ищет со мной знакомства.

Я пригласил его в свой кабинет. «Не выпьете ли пива?» — «О, с удовольствием», — ответил он. Внешность его произвела на меня впечатление довольно сомнительное: круглое свежевыбритое артистическое лицо, постоянно меняющее свое выражение; серый поношенный костюм; брюки наполовину расстегнуты. Едва обменявшись с ним несколькими словами, мы с Любой поняли, что перед нами — до наивности открытый человек. О его стихах на русском и немецком, — он декламировал их, выразительно поводя глазами, — не могу высказать никакого мнения, потому что не способен воспринимать на слух ни чужую декламацию, ни даже собственное чтение, за исключением тех случаев, когда мне раньше уже приходилось видеть этот текст напечатанным.

Вот некоторые из его суждений о русских писателях:

«Все современные русские поэты заняты самолюбованием; каждый уверен, что истинный свет только в его окошке».

«Стихотворения Фофанова — *лучезарная чепуха*».

«Стихи Надсона привлекают читателя своей сердечностью; но лишь благодаря нападкам Буренина он стал таким знаменитым».

«Минский — более философ, нежели поэт».

«Все, что написал Плещеев, — однообразно и скучно. А кроме того старик — злопамятен и коварен (мы с Любой, естественно, не могли скрыть удивления). Да, да, он преследует меня и пытается вредить мне на каждом шагу. Узнав, что какая-то редакция готовится напечатать мои стихи, он мчится туда и убеждает их не делать этого».

«Не следует судить о Буренине как о человеке по его скандальным статьям. В глубине души он добр и охотно помогает бедствующим... На его письменном столе я видел недавно Вашего "Кольцова". Он готовится посвятить Вашим переводам одну из своих статей. Конечно, он воспользуется этой возможностью

для того, чтобы побольнее задеть русских поэтов, раздавая удары направо и налево».

«От Иеронима Лорма (Ландесмана) — Бердяев провел несколько лет в Германии и любит все немецкое — и графа Бутурлина я знаю, что Боденштедт плохо отзывается о Ваших переводах: утверждает, будто Вы не в ладах с грамматикой и даже с этимологией, не справляетесь с придаточными... Конечно, все это лишь черная зависть, и Лорм решительно возражал ему... И в самом деле: Ваши переводы в большинстве своем просто превосходны! Восхитительно у Вас, например, некрасовское "Умру я скоро. Жалкое наследство..."»

Суббота, 27 февраля 1888

Бердяев пригласил меня на свой субботний журфикс. Я зашел сперва к А. Рейнгольдту, и он с четверть часа консультировал меня по поводу нескольких неясных мест в «Недоросле» Фонвизина, рассказывая при этом о своих похождениях последних дней. Он переводит «Слепого музыканта» Короленко... «Ты знаешь, я предложил Рекламу несколько повестей в моем переводе; а он пишет, что не может заплатить гонорар. Разумеется, он ничего от меня не получит; я вообще даю лишь тогда, когда мне дают».

Потом поехал к Бердяеву — с нехорошим предчувствием. Звоню в дверь. «Господ нету дома». Раздосадованный, я повернул обратно. Во дворе столкнулся с Минским — он тоже шел на журфикс. «Это на него похоже!» — воскликнул он. Мы выпили по стакану пива. «Что он за человек? — спросил я. — Я разговаривал с ним только раз, но он показался мне весьма сомнительным...» — «Бердяев? Очень добродушный и столь же ненадежный человек. В литературе он выступал под самыми различными знаменами, примыкая сегодня к одному, а завтра к другому направлению. Вы ведь помните его нападки на Надсона — вскоре после смерти поэта — и последовавшее вслед за этим его собственное публичное самобичевание?..»[1] — «Конечно. А скажите: можно ли доверять его словам?» — «С величайшей осторожностью. Он лжет — не для выгоды, а удовольствия ради. В его воображении внезапно возникают невероятнейшие истории, которые он тут же выкладывает своему собеседнику. Но стоит его уличить, он смеется и говорит: это мистификация». (Я вспомнил про отзыв Боденштедта о моих переводах.) — «Как же так можно: сперва пригласить, а потом не принять?» — «Он так поступает не в первый раз. Вероятно, у него просто нет денег, и он не хочет в этом признаться. Обычно он принимает гостей весьма радушно: паштеты, дорогие вина... Ну а нынче, наверное, не может себе этого позволить. У него бывает чрезвычайно уютно. Вы знакомы с его женой?» — «Нет». — «Обворожительная женщина! Его приятель Тихонов (автор пьес "*Козырь*" и "*Байбак*"; я видел его дважды у Ясинского) влюбился в нее и заявил об

этом Бердяеву, после чего, конечно, ему было отказано от дома... А сколько он может выпить — прямо удивительно!»

Минский подарил мне свою пьесу «Осада Тульчина».

2 марта 1888

Вчера, во вторник, я был на журфиксе у Виктора Петровича Острогорского. Он, признанный педагог, малозначителен как писатель; но все его любят и уважают как человека. В особенности — русская молодежь: он относится с искренней симпатией к ее идеалам и бурным устремлениям, а когда разговаривает с молодыми людьми, то и сам молодеет. В нем есть необыкновенная свежесть, чистота, одухотворенность; они пронизывают все его существо и вызывают сердечный отклик. Почти не обладая голосом, он с глубоким чувством поет песни Беранже. — Я увидел у него среди прочих поэта .Семена Григорьевича Фруга, с которым познакомился несколько лет назад в мирно почившем Пушкинском кружке. Он посетил меня 26 февраля 1886 года. Привожу запись, сделанную в тот день в моем «Ежедневнике»:

«Тихим, но хорошо поставленным голосом он прочитал мне несколько своих стихотворений; буду его тоже переводить. Он никогда не учился в школе, но его поэзия (в особенности с тех пор, как он перестал писать тенденциозные стихи с исключительно еврейской тематикой) выдает в нем высокообразованного человека. Начал говорить по-русски лишь в шестнадцать лет, зато теперь (в ноябре ему исполнилось, как и мне, двадцать шесть) владеет этим языком в совершенстве. Одет прямо-таки щегольски, но при этом — подлинный настоящий поэт». Правда, теперь, после того как я прочитал минувшим летом его стихотворный сборник[2] и перевел из него два стихотворения («Жизнь и надежда» и «В капище»), я должен признать эту свою оценку слишком поспешной и завышенной. — Вчера я наблюдал за ним, и у меня сложилось впечатление, что он — холодный эгоист, не способный на теплое чувство к кому-либо или чему-либо. О стихах Фофанова он сказал: «*Обстановочная поэзия*», а о пьесе Минского «Осада Тульчина» отозвался так: «Это не настоящая драма, потому что действие в ней развивается скачками и преобладает случайность».

22 марта 1888

Узнал, что Всеволода Гаршина постиг тяжелый удар судьбы. В течение девяти месяцев он мучался тяжелой меланхолией, впадая то в пессимизм, то в полную апатию, и даже самые искусные психиатры ничем не могли ему помочь. (Эта болезнь, начавшаяся уже после того, как с ним впервые случился припадок безумия, возобновляется ежегодно и длится несколько недель, а то и два-

три месяца; но еще ни разу она не была столь продолжительной, как теперь!) Но вот сумеречное состояние его духа прояснилось, и он собрался поехать на Кавказ и побыть там подольше. Казалось, это дело решенное. Уже были уложены чемоданы, и на другой день назначен отъезд. Все произошло в субботу. Гаршин на короткое время вышел из квартиры. Вдруг домашние слышат какой-то шум на лестнице, открывают дверь — Гаршин лежит, стонет и говорит жене: «Я не разбился насмерть, а всего лишь сломал ногу». Тотчас же послали за доктором Рейером, известным хирургом, и тот установил перелом ноги в трех местах с раздроблением кости. Но то обстоятельство, что больной вовсе не ощущал боли, заставило доктора заподозрить начало лихорадки. Больного доставили в госпиталь, где он скоро впал в бессознательное состояние, продолжающееся уже около тридцати часов. Врачи опасаются за его жизнь.

Все это я узнал сегодня в гимназии княгини Оболенской от лиц, близких к несчастному (например, А.Я. Герда). Желая, однако, узнать подробности, я отправился к Гаршину на квартиру. <...>

Как я познакомился с ним?

Вот моя запись, сделанная в воскресенье 9 октября 1883:

«У Веселовского специализируется также Евгений Гаршин, брат знаменитого Всеволода Гаршина. В пятницу он сообщил мне, что брат его написал новый рассказ (“Красный цветок”), который многие называют шедевром и который 15 октября появится в “Отечественных записках”. “Не перевести ли мне этот рассказ?” — спросил я себя (и заодно — его). — “В чем же дело?” — ответил он. И вот вчера получаю от него письмо, в котором между прочим сказано:

“Мой брат Всеволод будет рад познакомиться с Вами и просит без всяких церемоний посетить его в это воскресенье (9 октября); он будет ждать Вас до часу дня”.

В 11 часов я поехал к нему. (Он жил тогда по адресу: Пески, угол Дегтярной, дом 20/37, кв. 10.)

Ему 28 лет, и облик его производит, на первый взгляд, неприятное впечатление, но постепенно он располагает к себе глубокомыслием и одухотворенностью. Со мной он вел себя по-товарищески просто, радушно, скромно и искренне. Подарил мне экземпляр “Рассказов” (с дарственной надписью), а я ему — моего “Нерона”. Кроме того, он передал мне рукопись “Красного цветка”, который я намерен перевести и послать Захер-Мазоху. — Мы говорили о новейшей русской литературе, пили кофе, курили и расстались, пообещав друг другу обменяться визитами».

Запись от 18 октября 1883:

«Сегодня закончил свой перевод “Красного цветка” и поехал к Гаршину.

Он держался весьма доброжелательно и доверительно, и моя симпатия к нему еще более возросла.

Я прочитал ему свой перевод, и он его полностью одобрил; многократно благодарил меня.

Жена у него не уродливая, хотя и не красавица; во всяком случае, интересна и, кажется, умна».

Четверг, 24 марта 1888

В ночь на сегодня, в четыре часа утра, умер — в расцвете лет — Всеволод Гаршин. Эта страшная весть настигла меня, когда я был в гимназии, и лишь с огромным трудом я заставил себя продолжать занятия.

Продолжаю цитировать мой тогдашний дневник:

1 декабря 1883:

«Вместе с Ропенбергом я навестил сегодня В. Гаршина (вчера он был у меня недолгое время).

Он служит секретарем в железнодорожной компании и занят лишь три-четыре часа в день (контора находилась тогда в здании Александринского театра).

Он нигде не учился, но был одно время вольнослушателем в нашем университете.

Мы заговорили о "Красном цветке". "Был ли у Вас такой же объект наблюдения?" — "Да, я сам". Я не вполне его понял и вопросительно на него посмотрел; он опустил голову и мрачно сказал: "Когда мне было 18 и 25 лет, я страдал от умопомешательства; но меня вылечили... Докуривая сигарету, я касался языком остывшего пепла и говорил о мазях и кислотах — совсем как герой моего рассказа... Однажды началась ужасная гроза; я боялся, что погибнет весь дом и, чтобы избежать этого, распахнул окно и стал держать палку у крыши (моя комната находилась в верхнем этаже) — я хотел сделать мое тело громоотводом".

Он прост, откровенен и радушен, хотя мне (и Гуго) порой казалось, что он не вполне излечился от своей болезни.

Тип внешности у него, скорее, восточный, нежели русский; но он уверяет, что он — чистокровный русский. Татары и евреи заговаривают с ним на улице на своем родной языке, думая, что перед ними — представитель их национальности.

У него своеобразная манера сидеть. У меня дома (4 ноября, в день моего рождения) я обратил внимание, что он сидит на корточках, т.е. взобравшись с ногами на стул и опустив туловище, — казалось, сидит безногий человек. Точно так же, поджав ноги, сидел он и сегодня в углу широкого дивана».

Понедельник, 6 февраля 1884:

«Провел вечер у Всеволода Гаршина. Прочел ему свой перевод его великолепной аллегории "Attalea princeps" (который собираюсь отправить Бауэру в "Nordische Rundschau"), и он остался весьма доволен».



11 февраля 1884 (суббота):

«Вчера заехал за Всеволодом Гаршиным и отправился вместе с ним к известному писателю Якову Петровичу Полонскому. По дороге он признался, что его — с этим согласен и психиатр — может каждый день настигнуть припадок его застарелой, однажды излеченной болезни — умопомешательства. Рассказал мне о своих наблюдениях за симптомами, описал ощущения, которые вызывает в нем нарастающая болезнь, и сердце мое трепетало от сострадания к несчастному».

5 марта 1884 (понедельник):

«Журфикс у Всеволода Гаршина.

Его предрасположенность к безумию счастливо миновала — очередной кризис не разразился. Он, конечно, радовался моему переводу "Attalea princeps" и очень благодарил меня за то, что я хлопочу о переводе прочих его рассказов (д-р Баумбах)».

Другие записи в моих дневниках, по-видимому, отсутствуют.

Был сегодня вечером в морге больницы Красного Креста. Гаршин покоится в сладком забвении и, кажется, видит какой-то приятный сон; черты его лица — просветленные; нет и следа безумия и страдания. Я никогда не целую мертвых; но его поцеловал в лоб. (Насколько помню, я второй раз в жизни прикоснулся губами к покойнику; в первый раз это случилось семь лет назад — у гроба Достоевского.)

25 марта 1888

Русские газеты сообщают не вполне верные сведения о жизни и смерти Гаршина; все, что здесь изложено мною, полностью соответствует действительности.

Несколько воспоминаний о покойном.

Я встречался с ним еще примерно пятнадцать раз; я навещал его с моей женой, он меня — со своей. Я получил от него также несколько писем, но они не содержат ничего особенного. — Он был приветливым, тихим человеком, доверчивым и способным вызвать доверие, но его нельзя назвать сердечным; я ни разу не видел его смеющимся — лишь улыбающимся; не помню, чтобы он хоть раз говорил о своей радости или боли — эти чувства никогда не отражались на его лице; ни разу не слышал, чтобы он удивленно воскликнул, поморщился от недовольства, выразил восхищение — он всегда оставался ровным. В моей памяти сохранились лишь очень немногие из его отзывов о русских писателях. Он принимал талант Минского, но не слишком любил его как человека; Надсона же признавал и как поэта, и как человека; посмеивался над стихами Случевского, особенно — над его искусственным языком и надуманной формой.

В журнале «Nordische Rundschau» за март 1884 года был напечатан мой перевод его рассказа «Attalea princeps», который я назвал «аллегорической сказ-

кой». Я считал и до сих пор считаю, что это аллегория. Гаршин же утверждал, что в его замысел вовсе не входило писать аллегорию.

Около года назад (4 февраля) состоялись похороны его близкого друга С.Я. Надсона. Мы с Любой были уже на кладбище, как вдруг подъехал фиакр; с него соскочили Гаршин и Плещеев и подошли к нам. Я долго прогуливался с Гаршиным по так называемым «Литераторским мосткам»[3], мы осматривали могилы Белинского, Писарева, Добролюбова и др.; мог ли я думать, что не пройдет и года, как он тоже будет здесь похоронен!.. Позже он стал читать своим тихим маловыразительным голосом стихотворение Полонского на смерть Надсона; читал наизусть, сбился на середине и отошел в сторону. Когда тело поднесли к могиле, мы все стояли, поддерживая друг друга, на железной ограде. Кто-то из молодежи стал срывать себе на память цветы и листья с многочисленных венков, и Гаршин вслух возмущался этим «варварством», что, впрочем, не помогло.

Его любимым домашним занятием было переплетать книги; для этого он имел все необходимые инструменты. Нередко он занимался этим и тогда, когда у него сидели гости; он слушал, рассказывал и сшивал отдельные листы.

На юбилее Плещеева (15 января 1886) он взял мою визитную карточку и положил на обеденный стол рядом с тем местом, где сидел сам. Именно он предложил тогда, чтобы я прочитал «Вперед! без страха и сомненья!..»[4]; он уговорил меня выступить, подбодрил, не медля подошел к Вейнбергу и договорился с ним о дальнейшем.

10 апреля прошлого года я ехал на империале, как вдруг на углу Литейной и Невского вошел Гаршин. Он только что вернулся из поездки по Кавказу и Крыму, и я обрадовался, увидев его загорелое, дышащее здоровьем лицо. В руке он держал что-то небрежно завернутое в бумагу и напоминавшее венок. «Что это у Вас?» — спросил я. — «А, это листья с пушкинского дерева в Гурзуфе...[5] Я собираюсь подарить их нынче вечером Полонскому и сказать стихами, что мне явилась тень Пушкина и велела передать этот венок ему, Полонскому». Вечером мы сидели на юбилее Полонского. Один тост сменяет другой, произносятся речи — Гаршин сидит как ни в чем не бывало. Когда я спросил его, чего же он медлит, он ответил: «Нет, не буду. Ведь это так нескромно: *мне* явилась тень Пушкина!» На том и кончилось.

В последний раз я виделся и говорил с Гаршиным в начале ноября. Я шел из гимназии и, встретив его на углу Итальянской[6] и Литейной (возле аптеки), отшатнулся: лицо у него было исхудавшее и пепельное, осанка — сутулая, глаза же — запавшие, мрачные и безумные. Мы пошли вместе, и я проводил его до дома (в злосчастном Поварском переулке). <...>

За последние девять месяцев я ни разу не навестил его, потому что во время болезни нельзя было тревожить визитами его душевное и духовное равновесие. В последний раз я был у него (он жил на Невском, в доме Бенардаки,

№ 84, кв. 52) 22 мая 1887 года; я принес ему мою только что напечатанную в «Herold» рецензию на издание его рассказов в переводе Генкеля. Безмолвно, но с благодарным выражением своих неизменно меланхолических глаз, которые так очаровывали женщин, он крепко пожал мне руку.

Год назад он принялся старательно и всесторонне изучать петровскую эпоху; он собирался написать роман из жизни Петра Великого.

Живопись он понимал и любил, музыку — нет.

Его жена была для него не только искренне любящей супругой, но и — эти слова следует выделить жирным шрифтом — заботливой сиделкой. <...>

Суббота, 26 марта 1888

В 9 часов утра тело Гаршина в сопровождении тысячеголовой толпы было перенесено из часовни (Бронницкая улица) на Волково кладбище, причем всю дорогу гроб несли на руках. Если бы я взялся приводить здесь уже готовые в моей голове или занесенные в «Ежедневник» характеристики тех писателей, с которыми я сегодня раскланивался, то эта тетрадь оказалась бы исписанной до последнего листа.

Над гробом говорил Анатолий Леман — в духе графа Толстого, которого он, желая изучить его характер, дважды навещал в Москве; совсем недавно он (Леман) тяжело заболел; он лежал, страдая от нервной лихорадки, и его посетил отец Иоанн Кронштадтский. Говорил и Иероним Ясинский, вернее, пытался говорить, но смог произнести лишь несколько отрывочных, еле слышных незначительных фраз — он был слишком удручен и взволнован. В четверг, когда я сообщил ему о смерти его друга, он был глубоко потрясен. Потом Минский стал читать свое стихотворение, при этом неоднократно останавливался, закрывал лицо руками и всхлипывал, что мне — и другим — показалось притворством; стихотворение заканчивалось патетическими словами, обращенными к Гаршину и Надсону: «Без вас нам тяжело, без вас нам стыдно жить!» — Это совершенно безответственная фраза, и вообще слишком много шумят о покойном как о писателе: и как его только не именуют — звездой, освещающей путь к истине, апостолом любви к ближнему и т.д.! Вполне вероятно, что Гаршин был (так гласит надпись на одном из венков) «безупречным человеком», возможно, также, что русская литература утратила в нем, как сказал профессор Сергеевич, свои лучшие надежды, — покойный, бесспорно, являл собой многообещающий талант, однако вехой в развитии русской литературы он не был и никогда не будет.

На кладбище мы поздоровались с Я.П. Полонским, опиравшимся одной рукой на костыль, а другой — на палку, и обменялись с ним парой незначительных слов. «Он не так любезен, как раньше, — сердится, что ты не навещаешь

его!» — укоризненно сказала мне Люба. Это правда: я не был у него больше года, хотя он множество раз просил меня навестить его и упрекал за то, что я этого не делаю. На его юбилее, когда я подошел к нему, он сказал: «Могу ли я, должен ли я подать Вам руку — ведь, несмотря на все мои просьбы, Вы не были у меня уже целых два месяца? Или Вам хочется, чтобы я, старый больной человек, сам пришел к Вам?.. И все-таки я готов пожать Вашу руку, раз Вы навестили меня хотя бы в этот праздничный день!»

Воскресенье, 27 марта 1888

<...> Несколько слов о Владимире Соловьеве, единственном именитом русском философе, коего рекомендовал мне Фруг.

В моем дневнике есть запись от 18 февраля 1882 года:

«От трех до четырех читал свою "Философию истории" Владимир Соловьев, внезапно ставший столь знаменитым. Актовый зал был до отказа заполнен студентами[7]. Когда он вошел, со всех сторон послышались оживленные хлопки. При ходьбе он сутулится. У него вытянутое интеллигентное удивительное лицо, поражающее своей бледностью; густая шевелюра: черные, зачесанные назад волосы. Он выглядит как Христос или А. Додэ, и один его внешний вид вызывает жгучий интерес. Он говорил громко, внятно и медленно. Лекция состояла исключительно из выводов и посылок. Его идеи самостоятельны, оригинальны и кажутся порой настолько фантастическими, что вызывают желание вступить с ним в спор. Когда он закончил лекцию, снова раздались громкие аплодисменты. Некоторые студенты стали возражать ему; но я торопился домой».

Среда, 30 марта 1888

Кое-что о поэте Сергее Аркадьевиче Андреевском. Я познакомился с ним 18 апреля 1886 года у Н.М. Минского и назвал его тогда в моем дневнике «ртутью в человеческом облике». Действительно: каждая жилка в нем — perpetuum mobile[8]. Кроме того, он произвел на меня впечатление пресыщенно-высокомерного человека. Он — адвокат и говорит так, словно держит речь. — Потом я видел его и разговаривал с ним на юбилее Полонского. Сказал ему о своем замысле издать антологию русской поэзии, и он признался в своем желании, чтобы я перевел несколько отрывков из его длинного стихотворения «Сумерки». Критика, дескать, обошла вниманием это произведение, но настанет время, когда высказанные в нем глубокие мысли станут предметом пристального внимания. 16 апреля он прислал мне с дочерью-гимназисткой (моей ученицей) свои «Стихотворения», подчеркнув те из них, которые считает лучшими, например: «В теплой тучке звездочка светила...», «Мадригал», «Май», «Пигмей», «Dolo-

rosa»[9], «Обрученные» и др. Летом я прочитал их, и они все показались мне довольно рассудочными и скучными. Приличия ради я все же перевел первое из названных стихотворений и еще «Из доброго времени...»; они напечатаны в «Herold» 17 сентября прошлого года.

Вчера я беседовал с ним у Ясинского. Я спросил, понравились ли ему мои переводы, и он сказал: «Они великолепны, но в Вашей антологии они не смогут дать полного представления обо мне как поэте. Возьмите все-таки “Мадригал” и “Dolorosa”!..» Я попросил его сообщить мне некоторые автобиографические сведения, и он воскликнул: «Ах, такие просьбы ужасны! Мне всегда кажется, будто готовится мой некролог! Спросите лучше у Венгерова... Да и все эти юбилеи для меня чрезвычайно мучительны; какое-то похоронное торжество, на котором бедному юбиляру повторяют: memento mori[10]!.. Было довольно много гостей (я привел Рейнгольдта), среди них — прозаики Баранцевич и Альбов, с которыми я бегло познакомился. Какой-то господин читал четвертый акт из неоконченной драмы Гаршина (она должна была называться «Деньги»), и все сошлись во мнении, что в психологическом отношении драма не слишком убедительна. Анатолий Леман читал отрывки из запрещенного духовной цензурой философского трактата Л. Толстого «Жизнь»[11]. Много верного, но есть и совершенно нелепые места, например: несчастного удерживает от самоубийства лишь мысль о том, что его несчастье — заслуженное возмездие. — Ясинский производит странное впечатление: обладая троглодитообразной фигурой, говорит тихо, как чахоточный; грубость играет немалую роль в его произведениях, зато в жизни он нежен как стыдливая девушка. При встрече сильно и долго пожимает мне руку. Когда я недавно принес ему свой перевод его стихотворения «Вальс», он обнял и поцеловал меня благодарно и расстроганно. Я увидел его в первый раз 29 декабря 1884 года. Вот моя запись, сделанная в тот день:

«Максим Белинский читал короткий рассказ, который мне вовсе не понравился своим топорным реализмом, лишенным мотивов и психологии, но публика ему аплодировала (художник — впрочем, весьма образованный, — рассказывает свою любовную историю). Сам Ясинский с виду довольно симпатичен, хотя и простоват: богатырского сложения, голова и лицо сплошь покрыты космами черных волос, жилетка будто из прошлого столетия, неряшливо сидящий фрак, и воротничок, симметрично вздымающийся с обеих сторон». (Это было в Пушкинском кружке, мирно почившем несколько лет назад.)... Ближе я познакомился с ним на похоронах Надсона. Он посетил меня в конце прошлого года и принес в подарок несколько своих книг с весьма любезными надписями; а надпись на своем портрете завершил словами: «...от почитателя его таланта». В этом году я был у него на журфиксах не менее шести раз.

В феврале этого года меня посетил Виктор Бибиков (я завязал с ним знакомство у Полонского и возобновил у Фофанова). Он подарил мне свои книги «Чи-

стая любовь» и «Дуэль»; на последней он сделал такую надпись: «Идеальному переводчику русских поэтов...» Рассказал про Ясинского, с которым его связывает тесная дружба (оба на «ты»), следующее. Он женился в Киеве на девушке, обесчещенной его знакомым, — только для того, чтобы спасти ее репутацию; но неблагодарностью платит мир поэту[12]: она стала путаться с кем попало. Тогда Ясинский вступил в близкие отношения с одной молоденькой девушкой; плодом этого союза стали двое детей. Она живет в Киеве, потому что и ей, и детям крайне вреден здешний климат. Ясинский чуть ли не ежедневно пишет матери своих детей нежнейшие любовные письма, часто в стихах...

Я тоже имел возможность убедиться в его любви к «жене» и детям. Это было 23 марта. Я посетил его в этот день; мы были вдвоем. Он ничего не сказал о «жене» (над его письменным столом висит портрет красивой женщины с невероятно привлекательным, благородным и одухотворенным выражением лица; на коленях она держит очаровательного двухгодовалого ребенка), но говорил о сыне, и прямо-таки с трогательной отцовской любовью. «Это было летом, в саду. Я сел на стул и свалился с него. Тут ко мне подскочил мой мальчик: на лице его был испуг, в глазах показались слезы; своими ручонками он схватил меня за руку и стал тянуть изо всех сил, пытаясь помочь мне подняться... А теперь я так далек от моих любимых!.. Но увы! я не могу их привезти сюда: здешний климат для них губителен»... Позже, когда я спросил его, курил ли он когда-либо (сейчас не курит), он ответил: «Да, и очень сильно... Но бросил, потому что начал привыкать к табачному дыму, — он сделался для меня потребностью, почти страстью... Я не курю уже много лет и все-таки не могу полностью подавить в себе эту застарелую привычку... Ведь когда Вас мучит жажда, Вам снится, что Вы пьете взахлеб. Так вот и я страдаю иногда по ночам; жадными глотками втягиваю клубы табачного дыма... и когда просыпаюсь, чувствую счастливое облегчение: ведь это только сон. Есть особая сладость в сознании, что ты сумел побороть себя... Да, я надеюсь, что смогу и впредь противиться этому соблазну».

27 апреля 1888

Журфикс у Ясинского. Критика Арсения Ивановича Введенского я впервые увидел 14 мая 1884 года у В.Р. Щиглёва и отметил тогда в своем дневнике, что у него «чрезвычайно интересные и одухотворенные черты» (подписываюсь под этим и сейчас). Он сохранил ту же своеобразную манеру речи: ураганный рокот внезапно сменяется зефирными дуновениями. Сегодня он страстно спорил о русских писателях и их критиках, из коих признает лишь Пушкина и Белинского, так что я процитировал ему: «Да Вы — воплощенный пушкинский “дух отрицанья, дух сомненья”[13]». Однако мои взгляды на Тургенева, изложенные в моей

книге, все еще ожидающей своего издателя[14], совпали с его мнениями; особенно мы сошлись с ним в оценке художественного значения романов «Накануне» и «Рудин». Когда же я высказал свои сомнения в гениальности Пушкина, он попытался их опровергнуть. Но это ему не удалось, потому что говорил он в туманно отвлеченных выражениях и постоянно цитировал словцо Белинского «пафос», что для меня — пустая фраза из заоблачных высей. — Виктор Бибиков поразил меня огромным количеством стихов, которые он знает наизусть; могу поспорить, что он, если бы до этого дошло дело, мог бы выучить наизусть всю «Махабхарату» (разумеется, в русском переводе!). «Это свою способность я в последнее время несколько запустил; а когда-то знал наизусть всего “Онегина”»... Его литературный талант, судя по «Дуэли» и «Чистой любви», неоспорим. Его «Воспоминания о Всеволоде Гаршине» содержат ряд неточностей.

Суббота, 30 апреля 1888

Торжество по поводу 50-летия писательской деятельности А.Н. Майкова[15]. Во время официального чествования я сидел рядом с С.А. Венгеровым. У русских нет своего «Литературного календаря» Кюршнера, но они в нем не слишком-то и нуждаются, пока жив Венгеров: не сходя с места, он даст любую биографическую справку, укажет любую библиографическую подробность. Венгеров всеведущ! Я познакомился с ним 30 марта 1882 года у Водовозовых; вот моя запись того дня:

«Ехал домой вместе с Венгеровым; он рассказывал о Боденштедте, с которым недавно познакомился в Вене. Боденштедт был навеселе и сказал: “Наука о России кончится здесь с моей смертью... В Германии меня знает каждый ребенок!.. Моя поездка в Америку напоминала триумфальное шествие. Я приехал в Милуоки в 11 часов вечера, и меня ждала уже огромная толпа в десять тысяч человек... За одну строчку мне платят сто гульденов!.. Мою книгу об Америке читают во всем мире!..” Тургенева и Л. Толстого назвал шутами».

Во время обеда я сидел рядом с Висковатовым, известным знатоком Лермонтова. «Я нашел нового, подлинного “Демона”, который по художественным достоинствам значительно превосходит другого; опубликую его в Москве, в новом шеститомном издании Лермонтова». — «А как обстоит дело с маленькими, написанными в эпиграмматическом духе стихотворениями Лермонтова, сохранившимися лишь в переводе Боденштедта?» — «Оригиналов не найдено, да и не могло быть найдено, поскольку в ответ на мою настойчивую просьбу Боденштедт, в конце концов, написал мне, что эти стихи — его собственные и никогда не существовали по-русски; от Лермонтова же, по его словам, он получил лишь устное побуждение!!..»

«Скажите, господин профессор, Вы немец?» — «Я — немец? Слава Богу, я русский!» — «Слава Богу? Я бы гордился, будь я настоящим немцем! Самая

поверхная критика отдаст немцам предпочтение перед русскими! А кроме того Вы, ведь, не чистокровный русский!» — «Да, есть во мне немного немецкой крови, но из чего Вы это заключили?» — «Из очертаний Вашего лица, из Ваших голубых глаз и светлых волос проступает германский тип, выдающий Ваше происхождение». — «Какая досада! А мне б так хотелось походить на русского!» Признаться, я не могу понять такого предпочтения...

После обеда разговаривал, между прочим, с В.П. Бурениным. Я подошел к нему: «Вчера, во время представления Вашей “Агриппины”[16], мы сидели в соседних креслах». — «Да, и Вы что-то записывали». — «Хм... Я собираюсь написать о Вашей пьесе нескольким немецким драматургам — авторам пьес о Нероне, например, Вильбрандту, Херригу, Бунге, Вайзеру». — «Драму Вильбрандта я, к сожалению, не получил, зато других, как Вы, наверное, заметили, слегка обобрал». — «Вы согласитесь, что этот сюжет, по природе своей, слишком эпичен и поэтому труден для драматургического воплощения. Мне это стало ясно, когда я писал своего “Нерона»!” — «Верно, я читал Вашу пьесу... Сюжет противится драматургической обработке». — «Скажите, пожалуйста, Вы знаете Бердяева?» — «Да». — «Значит, хоть это, по меньшей мере, не ложь». — «О да, он горазд на выдумки!» — «Давал ли он Вам моего “Бориса Годунова”?» — «Нет». — «Он говорил, что Вы собираетесь посвятить моим переводам критическую статью». — «Это неправда хотя бы потому, что я не осмеливаюсь высказывать суждение в этой области... Но Вы, тем не менее, очень обяжете меня, если пришлете мне Ваши переводы».

Распорядителем празднества был граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов. — «Мне было бы интересно узнать Ваше мнение о моем переводе Ваших стихов». — «О Вашем переводе моих стихов?» — «Да, они были напечатаны в “Herold”. — «В “Herold”?» — «Разве господин Йессен не сказал Вам об этом?» — «Ни слова!»...

Это — чистая зависть со стороны Йессена, другого объяснения у меня нет! Он близко знаком с графом, получает «Herold», постоянно читает (сам не раз говорил мне об этом) мои переводы, предоставил мне для моей «Антологии» абсолютно достоверные биографические сведения о Голенищеве-Кутузове и — ни словом ему не обмолвился о появлении моих переводов.

Мое беглое знакомство с Голенищевым-Кутузовым состоялось на одном из журфиксов у Полонского; я впервые попал в общество, состоящее из одних писателей, среди которых никто не являл собой такую противоположность «поэту», как именно граф с его невыразительным лицом и непоэтической полнотой. — Когда на юбилее Плещеева я продекламировал свой перевод «Вперед! без страха и сомненья...» и буря аплодисментов стихла, ко мне подошел Голенищев-Кутузов и прошептал: «Знаете, что все кругом говорят: Ваш перевод лучше оригинала!..»

9 мая 1888

Некто Вейгаузен представил меня сегодня Платону Александровичу Кускову. От его архитектурно старомодной квартиры веет холодом скуки, и вся ее обстановка проникнута педантично мелочным духом. Кусков сразу же принялся говорить о себе, прочитал шестнадцать страниц своего перевода сонетов Шекспира, бранил переводы Вейнберга и Боденштедта и хвалил собственные. Подарил мне свой перевод «Отелло» и собрание своих стихов, не предназначенное для продажи[17]; по поводу последнего он сказал: «Если кто-нибудь из Ваших знакомых заинтересуется этой книгой, то я готов предоставить Вам любое количество экземпляров». Затем вложил книги в конверт, какими пользуются в канцеляриях, и тщательно запечатал его — в каждом жесте русский чиновник!

На портрете, что украшает собрание его стихов, он выглядит моложе, красивее и эстетичнее, чем в действительности. Маленький подвижный человечек всецело находится под башмаком у своей жены — это я заключил из сотни мелочей. Он дал мне такой совет: «Приглашайте к себе поменьше гостей. А ежели кто придет, сделайте вид, что Вы как раз собрались уходить. Люди приходят для того, чтобы настроить жену против мужа, и это им всегда удается».

18 мая 1888

Во время похорон Надсона было мгновение, когда собравшаяся многочисленная публика пришла в замешательство. К еще открытому гробу приблизилась, качаясь, юношеская фигура в легком поношенном пальто, с потертым цилиндром на голове, из-под которого выбивались наружу длинные пряди волос грязно-желтого цвета. «Надсон, — прокричал он сдавленным голосом, дико взмахивая руками, — я любил тебя! Я хотел с тобой познакомиться, а теперь ты умер! Надсон, я любил тебя!» Прокричав и качнувшись назад, он затерялся в изумленно расступившейся перед ним толпе. «Кто этот эксцентрик?» — спросил я стоявшего рядом со мной Всеволода Гаршина (мы с ним держали венок из искусственных цветов). — «Поэт Константин Михайлович Фофанов». — «Не знаю такого». — «Не знаете? О, вокруг него сложилась уже целая секта поклонников его музы!» — «Но он выглядит прямо как сумасшедший! Или это поэтическое безумие?» — «Он ведет кошмарный образ жизни. Рассказывают вещи, от которых волосы дыбом становятся». <...>

Мой коллега по гимназии, учитель рисования К.Н. Воронов, видится с Фофановым каждую неделю у художника И.Е. Репина. Он передал ему мое пожелание — встретиться у меня, чтобы обсудить мои переводы его стихов. И вот как-то вечером в декабре прошлого года явился Фофанов. Разговор пришлось почти полностью вести мне одному, потому что он давал лишь однослож-

ные ответы, а в основном молча пялился на моего «Кольцова». (Да и в обществе, например, у Ясинского, я обычно видел его лишь безмолвно сидящим в углу дивана.) — «Скажите, стихотворение “С плачем ребенок родился на свет...”, — действительно Ваше от начала и до конца?» — «Хм, хм...» — «Думаю, все же не Ваше!» — «Идея заимствована у одного восточного поэта». — «А Вы не ошибаетесь? Точно такое же четверостишие есть у Уланда». — «Я лишь с трудом могу читать и понимать немецкие книги, а кто такой Уланд — знать не знаю». — «А как имя восточного поэта?» — «Не помню».

Мы выпили пива. Я принес мой альбом с портретами, и он стал медленно его перелистывать. Каждый женский портрет он разглядывал с величайшим безразличием, даже на секунду не задерживая на нем внимания; зато каждый мужской портрет, особенно если изображен был безбородый юноша, неизменно пробуждал в нем живой интерес; он спрашивал, кто это и как зовут, и в глазах у него мерцали сладострастные искорки, <...>.

29 сентября 1888

Сегодня в гимназии из разговора с инспектором А.Я. Гердом узнал, что В. Гаршин был весной эксгумирован и прах его покоится теперь на «Литераторских мостках» напротив Костомарова. «А что делает Вера Михайловна?» — спросил я. «Получила место в Орле». — «А Евгений Гаршин? Это была, ведь, довольно грязная история!» — «Да, он и недавно позволил себе несколько нечистоплотных выходок!» — «А именно?» — «Еще тогда, когда я ехал со Всеволодом в Крым, он в вагоне сказал мне, что намерен составить завещание, согласно которому весь доход от обеих книжек его рассказов будет получать жена. Вернувшись в Петербург, он купил себе нужную для завещания бумагу, но посовещался с нотариусом Утиным и сообщил нам о его сомнении (то есть сомнение выразил Гаршин), что завещание психически неполноценного человека вряд ли будет иметь законную силу. Потом он внезапно умер. Евгений тотчас же заявил о своей претензии на две трети дохода от произведений Всеволода (они приносят в год примерно 300 рублей). Я и другие отправились к нему и разъяснили, что юридически он, конечно, имеет право — поскольку нет завещания — предоставить вдове только треть дохода, но с моральной точки зрения обязан отдать ей всю сумму, поскольку они, то есть посредники, могут поклясться, что Всеволод собирался составить завещание именно в таком духе и лишь внезапная смерть помешала ему осуществить это намерение. Но Евгений и слушать не хотел, отказался от третейского суда и в итоге получил то, чего добивался». — «Да, не ожидал я от него ничего подобного — ведь мы сидели с ним бок о бок на университетской скамье, и он казался таким добродушным — не то что муху, даже травинку не обидит!» — «А недавно он опять вы-

кинул штуку: не говоря ни слова Надежде Михайловне, целиком напечатал намеченную ею к изданию третью книжку мелких произведений Всеволода, тогда как никто, кроме вдовы, не должен распоряжаться литературным наследием. Она подала жалобу в связи с действиями Евгения, на что он нагло заявил: "А кто докажет, что это издано *мной*?" Тем не менее это было доказано, и на издание книги наложили арест».

30 сентября 1888

За последнее время мне не пришлось толком поговорить ни с одним русским писателем. 10 сентября был в Александринском театре на премьере пьесы Боборыкина «Клеймо». После первого действия я спросил П. Гайдебурова, издателя «Недели» (в свое время я познакомился с ним у Я.П. Полонского), нравится ли ему пьеса. «Великолепно... Превосходная завязка... Но Боборыкин обыкновенно начинает за здравие, а кончает за упокой»... Тогда же обменялся парой слов и с С.А. Андреевским. «Где и как Вы провели лето?» — «Замечательно, за границей». — «А что поделывают представители российской словесности?» — «Боборыкин наполовину ослеп, а Бибиков помешался». — «Бибиков помешался?». — «Да». — «Он, ведь, сидел уже раз в сумасшедшем доме». — «Тогда его вылечили, а теперь дела у него совсем плохи».

Несколько дней назад меня навестила моя бывшая ученица Александра Лаврова. Она нашла место за 25 рублей в месяц, рабочий день составляет три-четыре часа ежедневно, и происходит все это — у И.И. Ясинского, диктующего ей свои повести. Она жаловалась моей жене, что у него на письменном столе разложены, наподобие игральных карт, изображения обнаженных женщин, зачастую — в непристойных позах и положениях, и он прибегает к их помощи при описании натурщицы (героиня его последней повести с итальянским именем). — — —

Вчера меня посетил Василий Иванович Семевский, автор исторического сочинения о русских крестьянах[18]. Рассказывал, что А.М. Скабичевский развелся с женой; Южаков — тоже. Да, поведение русских писателей в браке, с точки зрения морали, весьма сомнительное (это говорю я. — *Ф.*). Н.М. Михайловский живет с женой известного музыканта Давыдова, жена Минского бросила своего мужа, у самого В.И. Семевского еще при жизни В.И. Водовозова был роман с Елизаветой Николаевной, и плодом этого.романа оказался Николай Водовозов, коему завтра исполнится восемнадцать лет (мой бывший ученик*). Могу еще вспомнить Ясинского и Евгения Гаршина. Достоевский был известен своей половой распущенностью; у Гончарова — двое детей от его кухарки[19]; Некра-

* Отцом Николая, как уточнили мне знающие люди, был на самом деле старик Водовозов.

сов жил с публичной женщиной[20]; да и брак Плещеева имеет внебрачную романтическую окраску[21] и т.п.

Сегодня, после двухлетнего перерыва, посетил, наконец, Я.П. Полонского, но время было выбрано неудачно: во-первых, не застал дома его самого, во-вторых, не увидел ни одного посетителя, поскольку пятницы еще не начались. Мне, точнее, нам обоим (я пришел с Любой) пришлось остаться к чаю и вести беседы с Жозефиной Антоновной Полонской. Она сказала, что безумие В. Гаршина возрастало от чрезмерно пристального внимания к нему: Надежда Михайловна ни на минуту не отпускала его от себя, наблюдала за каждым шагом, взвешивала, как на весах, каждое слово — в общем, больному постоянно напоминали о его состоянии, и навязчивая идея о неизлечимости его временного заболевания все более овладевала им. — Кроме того, она рассказала о драме Аверкиева «Теофано», восторженно принятой, по ее словам, всеми членами Драматического общества... Об этом Аверкиеве я слышал следующее (27 апреля у Ясинского). «Будут ли на торжестве у Майкова устроены такие же танцы, как на юбилее Полонского?» — спросил я Бибикова. — «Вряд ли, ведь у Полонского приключился небольшой скандал... Вы не знаете...» — «Нет; я рано уехал». — «А было так: начались танцы. Аверкиев, выпив лишнего, подошел ко мне, поднял меня на руки, как ребенка (он невероятно силен), перенес на глазах у публики, онемевшей от ужаса, с одного конца зала в другой, и опустил на ноги перед какой-то молоденькой девушкой со словами: “Вот Вам, барышня, кавалер для кадрили”».

К Полонскому меня ввел Всеволод Гаршин 10 февраля 1884 года. Вот моя дневниковая запись того дня:

«Полонский принял меня очень любезно, поблагодарил за перевод (“То в темную бездну, то в светлую бездну...”; переведено мной 7 февраля по желанию Гаршина, которому эти стихи чрезвычайно понравились, и он показал мой перевод Полонскому), сказал, что очень доволен, и представил меня присутствующим. Были: художник и писатель Каразин (болтун и обманщик), поэты Минский (настоящая фамилия — Виленкин; крайне несимпатичный еврейский юноша) и князь Цертелев (очень симпатичен и красив, как Адонис). Поначалу я чувствовал себя стесненно и неуютно и довольствовался ролью безмолвного наблюдателя, но Полонский старался не оставлять меня вниманием, и мы разговорились. Он долго и подробно рассказывал мне о своих знакомствах с писателями: Лермонтова он никогда не видел, зато видел Пушкина; лично знал Белинского, Добролюбова, Писарева, Аполлона Григорьева, Некрасова, Жуковского, Достоевского и особенно близко — Тургенева. Его простота, искренность и дружелюбие приятно тронули меня».

Запись от 25 февраля 1884:

«Вчера — журфикс у Полонского. Среди прочих присутствовали: граф Голенищев-Кутузов, поэт, и Гайдебуров, редактор “Недели”. (Первый из них

внешне совсем не похож ни на графа, ни на поэта, но производит приятное впечатление.) Полонский представил меня как пропагандиста русской поэзии в Германии. Оба моих перевода ("На скамье в тени прозрачной..." ("Лунный свет") и "Пришли и стали тени ночи...") были прочитаны и признаны замечательными. Среди гостей была также жена драматурга Аверкиева, кажется, весьма эксцентричная особа, и восхитительная мадам Давыдова (жена профессора-виолончелиста). Говорили, разумеется, главным образом о писателях. Господин по фамилии Христианович рассказал следующую историю: "У меня был щенок, совсем маленький, еще зубы не прорезались. А тут вернулся из-за границы Писемский и заходит ко мне. Собачка залаяла на него, он прыгнул на диван и закричал в страхе: «Вот проклятые собаки!.. Как спокойно чувствовал я себя в Германии!.. Там все они бегают в намордниках... А в России намордники надевают только на писателей!»"».

Полонский рассказывал о критике Аполлоне Григорьеве: «Как известно, белая горячка имеет три стадии: в первой мерещатся чертики, во второй — зеленый змий, а венец всему — адская дева; но добраться до этого завершительного состояния удавалось лишь немногим счастливцам; апоплексический удар наступает обычно уже на втором этапе. Идеалом Григорьева была последняя стадия, и он не раз жаловался мне, что все еще не может достичь ее. Он пил словно изнуренный жаждой, с какой-то невероятной жадностью — но так и умер, не узрев адской девы».

Однажды меня навестил Леопольд Бернштам, увидел мой сонет «Wozu ein Gott mit kungstgeweihtem Walten...»[22], взял его, чтобы показать Гончарову (он лепил тогда его бюст), и вернул мне 10 февраля 1882 года, сказав, что сонет весьма понравился Гончарову, за исключением строк C — D — C. К стихотворению была приложена записка (по-немецки): «И он (Гончаров) приветствует и благодарит талантливого поэта». Желая узнать, не является ли приписка фальсификацией, я попросил Полонского узнать об этом и получил от него 5 марта 1884 года следующее письмо (по-русски):

«Глубокоуважаемый Федор Федорович! Иван Александрович Гончаров с явным удовольствием еще раз прочитал Ваше стихотворение. Он превосходно знает немецкий язык и сказал мне, что получил это стихотворение примерно два года назад и, сделав к нему приписку, просил показать ее Вам. Таким образом, подтверждаю, что эта приписка действительно сделана рукою Ивана Александровича. Остаюсь Вам преданный Я. Полонский».

Запись от 10 марта 1884:

«Закончив перевод "Мраморного сердца" (в стихах Полонского слишком преобладает рефлексия, и недостаток чувства не вызывает в читателе вообще никакого чувства), я отправился к Полонскому, встретившему меня радостным "А!". Никого из тех, кого можно безусловно причислить к бессмертным, у него

не было. — “Вы присутствовали на приеме в честь Шпильгагена?”— спросил я Каразина, на что он возмущенно воскликнул: “Чтобы я пошел туда, где чествуют столь посредственного писателя, не принесшего ни малейшей пользы нашей литературе и никак на нее не повлиявшего? Чтобы я стал чествовать иностранного писателя, да еще той нации, которая, как никакая другая, ненавистна и враждебна русским? Ни за что!” — “Писатель принадлежит всем нациям!” — сказал я и, удовольствовавшись этой репликой, прекратил разговор с недоумком... Зато очень приятным оказался мой разговор с Христиановичем, который знал и знает большинство русских писателей; с величайшей любезностью он согласился дать их характеристики. С Гончаровым невозможно разговаривать: либо жалуется на свои болезни, либо говорит о своих романах. Достоевский всегда проповедовал терпимость, но был нетерпимейшим человеком на свете, не признававшим рядом с собой никаких других богов. Островский в разговоре бывает прямо-таки невыносим; он говорит каждому: “Что вы в этом понимаете?!” Если кто-то назовет портвейн в стакане портвейном, он непременно возразит и скажет, что это херес. Начнешь доказывать обратное — перебьет возгласом: “Во-первых, вы изменили свое мнение, ибо сперва утверждали, что это херес, а теперь утверждаете, что это портвейн, а, во-вторых, вы всегда возражаете: я, ведь, сказал, что это портвейн, а вы по незнанию говорили, что херес!”... Никто так не завистлив к своему ближнему, как русский писатель! — заключил Христианович».

Запись от 28 апреля 1884:

«Был у Полонского. Он встретил меня с такой дружелюбной сердечностью, даже радостью, что я смутился. Среди гостей были: артистка М.Г. Савина, пианистка Сипягина и мой “друг” Леопольд Бернштам».

Запись от 9 февраля 1885:

«Вечером был у Полонского. Он приветствовал меня радостным “А!” и так долго держал мою руку в своей, что мое положение (точней, со-стояние) стало прямо-таки невыносимым. Он подарил мне свой портрет. Всячески расхваливал моего “Кольцова”. Он все еще не вполне здоров и никого не зовет на свои журфиксы; поэтому я не застал у него ни одного русского писателя, о чем весьма сожалею».

Понедельник, 26 августа 1885:

«Встретил в субботу Я.П. Полонского, который в течение всего нашего разговора не выпускал мою руку из своей (когда я встречаю Плещеева, он обнимает меня и идет со мной рука об руку, куда бы я ни направлялся) и пригласил меня сегодня к себе. — Я пошел. — Он подарил мне первый том Полного собрания своих сочинений, но взял с меня слово, что я никому не покажу книги: он обещал своему издателю никому ее не дарить. Делая мне обычную надпись, он услышал шаги возле двери кабинета, перестал писать и захлопнул книгу со

словами: "Кажется, моя жена..." Разумеется, я никоим образом, даже намеком, не просил его об этом подарке. — Он рассказал мне о своих знакомствах среди писателей, показал несколько весьма удачных своих картин и восхитительный бюст Тургенева, выполненный его женой. Я обещал навестить его в скором времени и приходить к нему часто».

Запись от 11 апреля 1886:

«Перевел в четверг три стихотворения Полонского:

1) "Магомет перед омовением"; 2) "Зари догорающей пламя..."; 3) "Я ль первый отойду из мира в вечность — ты ли...". Я не раз уже отмечал, что вкуса у него, на мой взгляд, немного; тоже "изъеден рефлексией" и предлагает одни идеи, подчас неясные и незначительные, но оформленные искре́нне и пластично».

Запись от 17 апреля 1886:

«Вчера у меня был Полонский; подарил второй том своих сочинений. Прежде всего он взял в руки альбом с портретами и очень обрадовался, когда увидел, что сидит напротив М.Э. делле Грацие. "Вот уж никак не думал, что буду на склоне дней целоваться с такой красивой девушкой!", — воскликнул он. Потом стал читать в свойственной ему манере, резко чеканя каждый слог, свое длинное стихотворение "У Сатаны"; при этом он клал мне то на колено, то на плечо свою холодную руку или хватал мою правую руку, был каждый раз счастлив, когда я хвалил что-нибудь, и машинально повторял слова похвалы. О своем стихотворении "*Зимний путь*" он сказал, что Достоевский был глубоко растроган, когда прочитал его в первый раз, возвращаясь из Сибири. Тургенев же был очарован стихотворением "Иная зима" и знал его наизусть; "дурачок" в последней строчке — сам Полонский. В "Мельнике" он хотел создать русского "Лесного царя"; сын мельника — это молодое русское поколение, над которым суеверие уже не имеет роковой власти. Язычник в "Сне язычника" — сам Полонский, не желающий отрекаться (в поэзии) от своей веры. То, что русская критика не увидела в обоих этих стихотворениях основной мысли, побуждает его отрицать наличие в России серьезной критики вообще. "Похороны моего сердца" ему не очень понравились — в переводе чувствуется не дух, а манера Гейне».

Запись от 18 октября 1886:

«У Полонского мы (я и Люба) застали Всеволода Гаршина, критика Страхова, Н.Н. Каразина, пианистку Сипягину и др. Полонский был сама любезность; он пригласил нас обоих в мастерскую своей жены, показал нам свои картины и дал необходимые объяснения. "Редко бывает, — сказал я, — чтобы поэзия и живопись находили одновременно столь достойное выражение в одном человеке, как это произошло с Вами". — "Нет, — возразил он, — талантом художника обладали также Гете, Пушкин, Лермонтов и т.д., но они не стали развивать в себе этот дар, вполне довольствуясь результатами своего литера-

турного творчества; я же, напротив, сомневаясь в своем писательском призвании, начал усиленно заниматься живописью, поскольку думал найти в ней свою подлинную стихию — оттого-то мне и удалось написать относительно неплохие картины". На Любино замечание, что мальчик в рассказе "Статуя весны" кажется неестественным, он ответил: "Полагаю, что нет, ибо этот мальчик — я сам, и могу Вас заверить, что все, что и Вы, и другие находят в нем неестественного, на самом деле случилось со мной в действительности. Каждая трещина в обоях казалась мне контуром рисунка и часто, когда я лежал в кровати, мне чудилось, что в ногах у себя я вижу человеческую голову"».

24 октября 1888

Навестил И.И. Ясинского — он как раз диктовал Лавровой свой новый роман «Свет погас» и, пытаясь загладить передо мной свою вину за долгое отсутствие, поцеловал меня и подарил собрание своих повестей (четыре тома)[23]. Теперь у него собственная квартира (Бассейная[24], 8), состоящая из кухни и двух комнат и крайне неприятная своей старомодностью: кресло и диван конца прошлого века, принадлежавшие каким-то аристократам, а рядом с ними — современные стул и стол, бывшая собственность небогатого мещанина; во всем — какая-то трухлявая жизнь, все асимметрично, пустынно и холодно. В одной из комнат — широкая кровать без подушек. «Где и когда появятся Ваши записки о русских писателях?» — «Возможно, они вообще не появятся; слишком уж многих я задеваю — пришлось бы со всеми перессориться, а этого мне не хочется». — «Как дела у русских писателей? Я почти никого не вижу». — «И я вижу очень немногих». — «Прошел ли у Бибикова приступ безумия?» — «Его вовсе не было». — «Мне сказал об этом Андреевский в театре». — «Слух, который распространил сам Бибиков, — хочет, чтобы о нем говорили... Вы ведь знаете, я его больше не пускаю к себе: болтая бог весть что, он посеял раздор между мной и другими, например, Ильей Ефимовичем Репиным». — —

Позавчера меня навестил Осип Константинович Нотович, редактор «Новостей». Наше знакомство состоялось на юбилее Плещеева. Вот выдержка из моих «Ежедневных записей» от 26 февраля 1886:

«В этом году "Новости" напечатали ряд философских антитолстовских статей, вызвавших большую сенсацию. Позавчера они вышли отдельной книжкой. Автор называет себя "Маркиз О'Квич"»; за этим псевдонимом скрывается не кто иной, как сам редактор "Новостей" — Осип Константинович Нотович... Через Роберта Ильиша (Le Flâneur) он сделал мне предложение перевести его книгу. Вчера я был у него. Он сказал, что многие переводчики предлагают ему свои услуги, но он хочет только меня, поскольку восхищен моими переводами.

Предложил мне 20 рублей за лист, что в целом составит 125 рублей...» 10 апреля он выплатил мне в точности 125 руб. 75 коп. —

Книга была встречена со всех сторон бранью и насмешками, чего вполне заслуживает. Автор всегда производил на меня впечатление плоского и поверхностного, бесстыдно выставляющего себя напоказ еврея. Так было и позавчера, когда он превозносил до небес свою последнюю совсем вздорную книгу "Любовь"[25], которую намерен преподнести "необразованным" немцам как некое откровение; по этой причине просил меня перевести из нее несколько глав. "Я не прочитал ни одной книги о любви, — воскликнул он («Оно и видно!» — подумал я); здесь все — плод моей авторской мысли!" ("Нетрудно заметить!" — подумал я.) Книга до того наивна, что любой немецкий втброклассник написал бы "более философское" сочинение!»

7 ноября 1888

Вчера, в три часа пополудни, скончался Людвиг фон Йессен (Остен). Привожу несколько выдержек из моих «Ежедневных записей» о знакомстве с ним:

10 октября 1880:

«...Гезеллиус... посоветовал мне послать экземпляр моей книги[26] вместе с сопроводительным письмом переводчику Л. фон Остену и выразил надежду, что этот господин, в силу своей открытости, сообщит свое мнение и мне удастся завязать с ним знакомство».

На следующий день я написал ему:

«Милостивый государь!

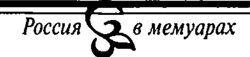
По совету господина Гезеллиуса осмеливаюсь послать Вам первый плод моей музы с убедительной просьбой — сообщить Ваше мнение, которое чрезвычайно ценю.

Автор этих строк — студент-филолог, питающий горячую любовь к литературе.

Основное внимание я уделял Кольцову, предаваясь переводу этого великого народного поэта с чрезвычайным усердием. Прилагаемая книжица, напечатанная исключительно в виде опыта и не поступившая ни на один книжный прилавок, содержит лишь небольшое количество стихотворений названного поэта; в рукописи же у меня — 67. Кроме того, хочу заметить, что и напечатанное к настоящему времени существенно мною улучшено.

Профессора О. Миллер и А. фон Видерт одобрили мою работу; но мне страстно хотелось бы услышать именно Ваше мнение — суждение поэта.

Господин редактор заверил меня в том, что Вы со свойственной Вам любезностью откликнетесь на мою просьбу; я же, со своей стороны, ничуть не со-



мневаясь в Вашей доброте, остаюсь уважающий Вас и весьма Вам преданный...» <...>

Четверг, 16 октября 1880:

«Сегодня в половине пятого я впервые был у Л. фон Йессена. Как сильно трепетало мое сердце, когда я дергал звонок! Слуга открыл дверь, я подал мою визитную карточку, мне предложили войти. Навстречу мне вышел высокий, стройный господин, лет 50—55, с продолговатым лицом, изогнутым носом, на котором были очки, и приветливым взглядом; он пожал мне руку и сказал: "А, господин Фидлер! Очень рад познакомиться с Вами. Пожалуйста, пройдите!" Я последовал за ним в кабинет; мы уселись. Он стал расспрашивать обо мне. Бранил переводчика А. Вальда и еще более — жалкую подобострастную критику. Потом взял экземпляр моей книги и стал говорить (что именно? об этом завтра). Тут вошла мадам Йессен и попросила нас к столу. Я извинился, сказал, что уже обедал, что спешу на Московский вокзал и что мне очень неловко. "Ах, пустяки!" — воскликнула мадам Йессен. — "Да, да! Идемте же!" — сказал и он. Волей-неволей я вынужден был следовать за ними. Мы прошли через залу. Но войдя через распахнутую дверь в столовую, я увидел множество людей, среди них несколько молодых девушек, и — стремительно повернулся, сделал три шага и оказался в прихожей. Йессен поспешил за мной. "Простите мою невоспитанность!" — пролепетал я. Но он улыбнулся подкупающей улыбкой и сказал: "Ничего особенного! Очень хорошо понимаю Вашу робость. Это пройдет. Надеюсь, Вы вскоре опять навестите меня и не так коротко!"» <...>

Запись от 30 октября [1880]:

«Стихи Остена-Йессена нравятся мне мало (вернее сказать: совсем не нравятся). Все банально, отвлеченно, бессодержательно, тривиально, высокопарно и блекло. Хороши лишь несколько стихотворений с персидского, обращенных к Хильдмете (то есть Матильде, его милой супруге) и Боденштедту. Языком он владеет в совершенстве. Гольдшмидт был прав, когда сказал мне: "Йессена знают за границей лучше, чем меня, но — благодаря плохим стихам"». <...>

Запись от 17 декабря 1880:

«Был у Йессена. Он все подробно рассказал обо мне Боденштедту и передал ему мою просьбу — о разрешении посвятить ему книгу. Но Йессен считает, что Мирза-Шафи[27] вряд ли напишет предисловие, поскольку он совсем недавно обжегся. Произошло следующее. Какой-то москвич перевел на русский "Песни Мирза-Шафи", и, отправив автору несколько образцов своего перевода, попросил разрешения посвятить ему книгу. Боденштедт ответил ему письменно, похвалил переводы и согласился на посвящение. Переводчик не придумал ничего лучше, как поместить в своем предисловии похвальный отзыв Боденштедта, критика же разнесла его работу в пух и прах... В итоге посрамленным оказался Мирза-Шафи...[28] С радостно пылающим взором Мирза-Йессен

рассказывал мне о веселых днях, которые он провел со своим большим другом-поэтом в Нидер-Валлуфе на Рейне и описал прогулки, во время которых и создавался совместными усилиями пролог к “Наследию Мирзы-Шафи”... Я поведал ему о мошенничестве издателя, и он сказал, чтобы я подождал с изданием “Кольцова” до следующего Рождества. А мне тем временем следует неустанно шлифовать текст, ибо нет на свете ничего хорошего, что нельзя было бы улучшить. Вызвался просмотреть всю рукопись, слово за словом, и сделать, если потребуется, какие-либо улучшения. Рекомендовал мне в любом случае послать Боденштедту несколько образцов моего перевода и обратиться к нему с просьбой о посвящении». <...>

10 марта 1883 года я написал ему: «Многоуважаемый господин фон Йессен! Неоднократно убедившись в том, что Вам небезразличны мои литературные начинания, смею надеяться, что Вы и теперь милостиво позволите мне предложить Вашему вниманию прилагаемую тетрадку с моей квазидрамой “Нерон”. Прошу Вас прочитать — насколько Вам позволит время — мою пьесу и подчеркнуть все слова, которые требуют переделки... Благоволите известить меня, многоуважаемый господин фон Йессен, в какой день и час я могу явиться к Вам, чтобы выслушать Вашу “благосклонную” критику!.. Захер-Мазох все еще не издал моего “Кольцова”... Он благодарит Вас и заверяет в своем уважении».

15 марта 1883 года он ответил: «Уважаемый господин Фидлер, не могли бы Вы зайти ко мне послезавтра, в четверг, около четырех часов дня, чтобы забрать Вашу рукопись, которую я просмотрел с большим интересом? С наилучшими пожеланиями, преданный Вам Л. Йессен».

В назначенное время я пришел к нему. Согласно моей записи от 17 марта, он сказал следующее:

«Ваша вещь чрезвычайно заинтересовала и захватила меня; я прочитал ее своей жене, и ей тоже понравилось... Я — дилетант в области драматургии, а потому не могу судить о технической стороне. Язык достойный, свободный и увлекательный; я изменил бы лишь отдельные выражения». — «А что Вы скажете о фигуре Нерона?» — «Весьма удалась и последовательно выдержана — от начала и до конца; да и остальные персонажи выписаны старательно». — «А убедительны ли отношения между Акте и Кларусом? Я имею в виду ту сцену, где она отдается из сострадания?» — «Конечно». — «Мне кажется, что ее побуждение выглядит недостаточно оправданным с психологической точки зрения». — «Вовсе нет. Мотив хорошо проработан и психологически убедителен... Вы уже показывали пьесу знатокам?» — «Да. Например, Гольдшмидту». — «Ну... Это литературный моллюск без щупальцев!» — «Затем Петрику». — «Да, этот кое-что понимает!» — «Что Вы мне посоветуете: следует ли мне продолжать писать драмы или нет?» — «Конечно, продолжайте: у Вас большой талант». <...>

Запись от 21 января 1883:

«Навестил Л. фон Йессена, которого не видел целую вечность; он был, казалось, обрадован моим визитом. Я подарил ему "Кольцова" в элегантном переплете и с надписью: "Господину Людвигу фон Йессену, крестному отцу этого питомца моей музы, с благодарностью и уважением от переводчика". Он действительно просмотрел около тридцати стихотворений и предложил сделать ряд исправлений, которые были мной частично приняты <...>. Кроме того, именно Йессен дал мне совет посвятить книгу его другу Боденштедту».

Запись от 16 декабря 1885:

«Похвалы, которые расточает Йессен по моему адресу ("Исторический вестник", май 1885), искренне меня порадовали, — ведь я считаю его самым искусным переводчиком с русского языка (хотя от него и веет каким-то филистерством)».

Ничего другого о Йессене в моих «Ежедневных записях» нет.

30 сентября 1886 года он прислал мне свою книгу «Eine Dichtung von Graf A. Golenischtschew-Kutusow»[29] с надписью: «Переводчику Кольцова — от переводчика других русских поэтов». А 22 сентября 1887 года он между прочим написал мне (я спрашивал у него адрес Голенищева-Кутузова): «Буду рад прочитать Ваши переводы поэта, чей язык более всего приближается к пушкинскому».

В последний раз я видел его на юбилее Майкова; мы выпили по рюмке английского биттерна[30], но не сказали друг другу и пятнадцати слов... Он был — по крайней мере, в своем отношении ко мне — добрым, мягким, любезным и услужливым человеком, которому я обязан парой хороших советов. При разговоре он слегка шепелявил; в обхождении был прост и доступен. Как переводчик он отличался невероятной тщательностью и именно поэтому слишком часто грешил педантизмом, то есть — не достигал чисто поэтического эффекта; он воспроизводил лишь форму и цвет, но не запах цветка. В среду, девятого, я непременно пойду на похороны — из благодарности за его неизменную готовность помочь и ряд полезных советов относительно «Кольцова» и «Нерона».

5 января 1889

Был вчера, в среду, на журфиксе у Александра Михайловича Скабичевского (на Песках[31]). Я познакомился с ним еще студентом у Водовозовых, посещать же его начал только этой зимой. Его вечера носят холостяцкий характер, на этот раз, однако, присутствовала его жена, с виду — могучий колосс. В физическом отношении он — совершенная флегма, но говорит так быстро и тихо, что понимаешь его с большим трудом. Его устные отзывы звучат мягко, как будто в русском словаре нет ни одного бранного слова; но в письменной форме они порой весьма энергичны. Ему недостает крупного критического дарования, зато

он обладает другим качеством, почему-то отсутствующим у русских критиков (особенно современных): честность и справедливость. Это видно из его сегодняшней статьи, где он отзывается о писателях, ему близких; это видно из его рецензии на мой «Русский Парнас», в первой своей части насквозь хвалебной, во второй — сплошь ругательной (в «Новостях» за 18 декабря 1888 года)... Вчера познакомился у него с Владимиром Сергеевичем Лихачевым, переводчиком «Тартюфа», обещавшим прислать мне свою последнюю книгу «Двадцать лет»[32]. Страдает болезненной нервозностью... Разговаривал также с Казимиром Станиславовичем Баранцевичем, знакомство с которым я свел у Ясинского вскоре после смерти Гаршина; недавно я беседовал с ним во время представления «Тартюфа» в Александринском театре. 23 декабря 1888 года он прислал мне свою только что изданную книгу «Новые рассказы»; некоторые кажутся мне маленькими произведениями искусства; хочу писать на нее рецензию в «Herold». Я высказал ему свое восхищение рассказами «Что сделал северный ветер» и «Мыши», но разругал в то же время «Конь и чиновник», «Дразнит» и др. Ночью (было уже два часа) мы все еще прогуливались по совершенно пустынной 3-й улице Песков, непрерывно провожая друг друга от перекрестка до его дома (№ 4). Ему приходится каждое утро вставать в шесть часов и идти на службу в Первую конно-железнодорожную компанию, где он, отец шестерых детей, до 11 утра распределяет билеты и выполняет прочую конторскую работу. Когда я выразил сожаление по поводу того, что свой талант, который, бесспорно, выше, чем у Чехова и Ясинского, он не пытается употребить на создание романа, он ответил: «Я и собираюсь написать роман — “Домашний очаг”; его основная мысль заключается в том, что человек с задатками гениальности гибнет в бездействии из-за своей семьи, которую нежно любит, как и она его». Мы расстались, сердечно пожав друг другу руки и взяв друг с друга слово обменяться визитами. — — —

Сегодня, около 12 часов, посетил В.И. Бибикова, разбудив его своим приходом. Мы вели беседу я — сидя в кресле, он — лежа в постели. «Чехов идет вперед семимильными шагами и уже оставил Владимира Короленко далеко позади. Вы читали “Степь”? Нет? Прочитайте. Этот шедевр приведет Вас в восхищение!» — «Что Вы думаете об Анатолии Лемане?» — «Столь же бездарен, сколь и несимпатичен!» — «Он кажется мне психопатом». — «Он и в самом деле таков».

От Бибикова пошел к Ясинскому, который был занят тем, что готовил к печати — в связи с новым изданием — сборник своих стихов. Собирался уйти через десять минут, но он не отпустил меня, уговорив пообедать вместе. «Я очень удивился, узнав, что Вы в Петербурге. Вы, ведь, собирались провести праздничные дни дома», — сказал я. «У меня нет дома!» — ответил он горестно. «А как Ваши?» — «Не знаю, они ни разу не написали!» — вздохнул он... Чувство такта

не позволило мне продолжить. Подозреваю, что его жена, то есть мать его детей, коих он так обожает, живет уже не одна, а с кем-нибудь, за что, впрочем, ее нельзя винить: женщине нужен мужчина, а Иероним был для нее таковым лишь тридцать дней в году... Мы заговорили о писателях и перешли на тех, которые много пишут. «Мне не раз приходилось выслушивать упрек, что я, мол, слишком писучий. Упрек необоснованный: если работать каждый день регулярно по три-пять часов, то за год можно написать два романа и несколько повестей. Я — писучий?! Что ж говорить тогда о Михайлове-Шеллере, чьи произведения уже сейчас насчитывают 55 томов! Он и в самом деле пишет так много, что для него стало непростым делом придумывать новые заглавия для своих повестей и романов. Много пишет и Василий Иванович Немирович-Данченко; он разъезжает по Европе в поисках новых впечатлений, затем уединяется в каком-нибудь безлюдном месте и через две недели — роман готов! Да и Боборыкин... Вы знаете: у бедняги вытек только глаз, ему грозит опасность потерять и второй». — «Сегодня у Бибикова я видел рисунок Репина; у Гончарова тоже остался один левый глаз». — «Бибиков... Он снова посещает меня, но мы перешли на Вы — старую дружбу уже не воротишь... Вы ведь знаете Лемана?» — «Этого психопата? Знаю». — «С ним мне тоже пришлось порвать. Однажды он явился ко мне с бесчестным предложением, на что я не мог сдержаться и прямо сказал ему: "Анатолий Иванович, простите, но отныне Вы мне неприятны, и я заявляю о прекращении наших отношений..." Хочу рассказать Вам, что он предложил мне. Я крайне нуждался тогда в деньгах, и вот является Леман и предлагает 500 руб. с условием, что мне удастся убедить какого-нибудь пьяного купца выложить пару тысяч на издание журнала и назначить нас обоих редакторами. Я высказал ему, что об этом думаю; он преспокойно забрал свои деньги и ушел. И у него еще хватает наглости, когда мы встречаемся, спрашивать, почему я его не навещаю!» — «Да, у меня он никогда не вызывал симпатии». — «Нет ни одного человека, который бы ему симпатизировал. Гаршин буквально ненавидел его... то есть этот добрый, мягкосердечный человек вообще не мог кого-либо ненавидеть, но Леман был ему неприятен до отвращения. Он навещал меня лишь тогда, когда знал, что не столкнется с ним. Но однажды он случайно зашел ко мне в тот момент, когда у меня сидел Леман; мы читали с ним рассказ Лескова. И теперь Леман пишет в своих воспоминаниях, что Гаршин сидел с выражением какой-то брезгливости на лице (см. это место на стр. 67 его "Рассказов"[33]. — *Ф.*). Знал бы он, кому адресовано его отвращение!.. В тот вечер, казалось, Гаршин был чем-то угнетен. "Мне нужно поговорить с Вами", — сказал он мне подавленно. К нам тут же подскочил Леман. "Всеволод Михайлович хочет мне кое-что сообщить!" — сказал я. На что Леман ответил: "Мы ведь друзья, какие тут могут быть секреты!" Так я и не узнал, что хотел сказать Гаршин». — «Это не просто наглая, но еще и глупая выходка!» — «Да,

умной ее не назовешь... А знаете: он ведь каждого считает глупцом, даже Гончарова и Толстого!» — «Что?! Он, который исповедует толстовство?» — «Он лишь прикидывается толстовцем. В разговоре со мной, без свидетелей, он назвал его полным *дураком*. Ого, подумал я, если уж ты самого Толстого зовешь дураком, то я наверное кажусь тебе идиотом!.. Короче, я рад, что мы разошлись!» — —

Я поделился с ним некоторыми из моих воспоминаний о Гаршине, и он нашел их в высшей степени достоверными и настойчиво рекомендовал мне опубликовать их. «Лучше всего в “Новом времени” — эту газету более других читают в России... Да, Буренин чувствует себя задетым, поскольку Вы не включили в свой “Парнас” ни одного его стихотворения. Именно благодаря ему Булгаков написал о Вашей книге столь прохладно». — «Я вижу у Вас книгу Лихачева». — «Одни выпускают книгу, чтобы упрочить свою репутацию; Лихачев же тем самым ее лишился. Как можно писать такие стихи!» — Затем он прочитал мне несколько новых стихотворений, я высказал свои замечания, и он пометил ряд мест. Стихотворение «*Витязь*», которое кажется ему одним из наиболее удачных, я вынужден был назвать слабым романтическим изделием. Переведенный мною «Вальс» он посвятил мне... Он встретил и проводил меня поцелуем, при этом я смог лишь с трудом добраться до его губ сквозь густые заросли.

6 января 1889

Из воспоминаний о Всеволоде Гаршине.

Это было однажды вечером у Полонского. Мы стояли у письменного стола, и Гаршин вдруг говорит: «Представьте себе две горящих свечи — одна большая, другая маленькая. Какую из них следует погасить, чтобы обе стали одинаковой длины?» — «Большую!» — мигом ответил я. — «На этом попадается почти каждый!» — улыбнулся он. В другой раз — у него дома — он спросил меня: «Можете придумать рифму к слову “Америка”»? — «Валерика». — «Что это значит?» — «Родительный от “Валерик”». — «Нет, нужно в именительном». — «Тогда не знаю». — «Истерика».

22 ноября отмечался год со дня рождения моей дочери. У нас обедал Ясинский. Перед этим он прислал такое письмо: «Ваше превосходительство Маргарита Федоровна Фидлер. — Дорогая Риточка! Поздравляю Вас с днем рождения и хочу одновременно сделать Вам следующее предложение: не желаете ли выйти замуж за одного из моих сыновей — Максима или Якова? Оба — восхитительные юноши и мечтают о женитьбе. Ваш И. Ясинский»... Мы говорили о Фофанове. «Когда мы с ним были в Киеве и осматривали пещеры, Фофанов сказал: “Как знать, может, в этих мощах еще теплится жизнь?”»

К этим словам Ясинского могу сделать следующее уточнение. 21 ноября, примерно в одиннадцать часов утра, Фофанов зашел ко мне и просидел до шести вечера. Мы обедали, причем он не выпил ни капли водки, зато потом мы выпили — с ним вдвоем — восемь бутылок пива. Он прочитал мне и Любе множество своих стихов, и я сказал ему: «Вы очень выделяетесь среди русских поэтов; Ваша муза не русская, а немецкая — душой и телом...» Потом мы стали философствовать, и Фофанов высказался в том духе, что человек умирает не сразу, а лишь спустя десятилетия, так что жизнь его продолжается и в могиле, медленно иссякая по капле. — — —

26 декабря я навестил Вейнберга, снимающего роскошную меблированную комнату в какой-то семье. Мы говорили с ним большею частью о моем «Русском Парнасе». Мои переводы он оценил как образцовые, сказав, что они лучше, чем у Боденштедта, но разбранил меня за состав книги. «Из державинских стихов Вы взяли пустую и патетическую оду “Бог”, перевод из Галлера, и не включили ни “Вельможу”, ни “На смерть князя Мещерского”. Пушкина можно было вообще не брать — настолько он превосходит остальную компанию; и зачем надо было переводить “Талисман”? Некрасов представлен восемью стихотворениями, а следовало бы — восемнадцатью: совершенно отсутствует гражданская лирика! Лермонтов подобран у Вас удачно. Для чего переводить Кукольника, Мерзлякова, Красова, Василия Пушкина, Цыганова, Дурова, Водовозова? Меня Вы включили, а Василий Курочкин отсутствует! Следовало бы включить и Буренина... Нет, книга составлена неудачно, и я буду говорить об этом в моей рецензии, конечно, не в таких резких выражениях...» У него есть тетрадь с воспоминаниями о русских писателях — он ведет ее уже в течение ряда лет. <...>

21 февраля 1889

На протяжении последних месяцев русские писатели не раз приглашали меня вступить в Русское литературное общество. В первых числах этого месяца я, наконец, решился и подал заявление. 13 февраля я был избран членом Общества. — В пятницу, 17-го, я навестил Фофанова, и он сообщил мне, что я не получил ни одного черного шара. Сказал, что вместе со мной баллотировались также Бердяев и А. Леман, но оба провалились (Плещеев заявил, что сложит с себя звание почетного члена, если будет избран Бердяев; впрочем, и другие этого не хотели...) Минский якобы тоже баллотировался около года назад, но потерпел фиаско.

В четверть девятого я был в помещении Общества (Гороховая, 33). Один за другим явились: А. Майков (выразил удовлетворение по поводу моих переводов его стихов), Тихонов, Лихачев (переводчик «Тартюфа»; заявил, что совершенно согласен с моей напечатанной в «Herold» рецензией на его книгу «Двад-

цать лет»), А. Лейкин (sic! — *К.А.*), Фофанов, князь Голицын-Муравлин, Бибиков, Полонский, профессор Вагнер (Кот Мурлыка), Андреевский, Ясинский и прочие. Мережковский читал свою романтическую драму, сюжет которой заимствован у Кальдерона («Жизнь есть сон»). Гекзаметр чередовался с александринским стихом и пятистопным ямбом, совсем как у Шлегеля. Чрезвычайно мелодичные стихи. Много идейного содержания, но никакого развития действия и характеров. Сплошная лирика. Обилие анахронизмов... Перед каждым лежал лист чистой бумаги и карандаш, и я записал себе эти замечания... Чтение оказалось утомительно долгим, так что многие общались между собой «письменно» или рисовали, а когда оно закончилось, начался устный разбор, который я также записал вкратце. Лихачев сказал: «Смешаны три элемента: фантастический, политический и современно-полемический; множество анахронизмов. Ваше страстное восклицание “Хочу я в руки взять твою головку” звучит двусмысленно»... Полонский: «Ужасно лирично. Чересчур длинно. Все монологи — в одной и той же тональности. Отдельные лирические фрагменты — превосходны»... Андреевский: «Впечатление такое: это философская концепция, напоминающая своими основными положениями о Фаусте и Манфреде. В целом философия аллегорична и далека от реальности. Абстрактный элемент, томительный для слушателей. Стиль эклектичен. Что касается содержания: мысли глубокие и замечательные; богатые поэтические россыпи. Все персонажи — резонеры»... Аполлон Майков: «Озадачивает внезапность психологических переходов. Это — собрание лирических стихов»... Ясинский: «Это — ряд блестящих стихотворений, они могли бы составить великолепную книгу. Но драмы совершенно не получилось».

28 февраля 1889

Вчерашний литературный вечер в Обществе был малолюдным; среди прочих присутствовали: граф А.А. Толенищев-Кутузов, Мережковский (почти ни с кем, как обычно, не разговаривал), Андреевский, проф. Вагнер, Фофанов, Ясинский, князь Голицын-Муравлин, Н.А. Лейкин, П.А. Кусков. — Лихачев читал свой перевод двух первых актов комедии Мольера «L'école des femmes»[34]. После короткой и незначительной дискуссии, которую особенно поддерживал адвокат князь Урусов, Фофанов продекламировал свое стихотворение «Старая музыкантша», а артист В.Н. Давыдов — «Раздел» Манюэля (в переводе Лихачева); Андреевский восторженно превозносил Пушкина как поэта и прочитал вслух несколько его стихотворений, испытывая, казалось, физическое наслаждение от каждой строчки; назвал наше Общество братством, поклоняющимся богу Пушкину, и в качестве вечерней молитвы предложил читать после каждого собрания одно стихотворение этого гениальнейшего из поэтов. В заключение мне

пришлось — по общему пожеланию — прочесть мой перевод «Я вас любил, любовь еще, быть может...», что вызвало со всех сторон одобрение, выраженное в словах и аплодисментах.

Суббота, 18 марта 1889

В прошлое воскресенье меня посетил Фофанов, однако нам удалось обменяться лишь несколькими словами, ибо кругом были люди, разбирающиеся в литературе, — употребим русское выражение, — как свинья в апельсинах. Разговор коснулся А. Лемана, и Фофанов сказал: «Странно: его почти все не любят, хотя он очень добродушный и добросердечный человек!..»

Вчера — журфикс у Полонского. Было приблизительно пятьдесят человек, в том числе Н. Лесков, И.Е. Репин, Сипягина, Я. Гуревич и др. Когда я вошел в кабинет, Полонский воскликнул: «А, наш талантливый переводчик! Разрешите вам представить...» В эту минуту поднялся Афанасий Афанасьевич Фет-Шеншин, взял меня за руку и сказал: «Вы поистине художник! Читая какой-либо Ваш перевод, я каждый раз не могу найти слов, чтобы передать свое восхищение...» Я чувствовал себя в высшей степени неудобно, поскольку он долго говорил свое похвальное слово, не выпуская моей руки из своей; мы с ним стояли, а все кругом смотрели на нас с безмолвным изумлением. Наконец, я поблагодарил его за то, что он рекомендовал меня в «Neuer Kosmos», и таким образом выпутался из неловкой ситуации — разговор тут же завертелся вокруг этого многообещающего нового журнала... Я подошел к Н.Н. Каразину. «Ну, что Ваш процесс с Гезеллиусом?» — спросил я[35]. «Он должен выплатить около двух тысяч рублей». — «Но он собирается подать в Сенат». — «Если он выиграет процесс с помощью таких продажных душонок, как Урусов, Спасович и Таганцев, тогда (тут лицо его приняло такое зверское выражение, что я невольно отшатнулся)... я всажу ему нож в брюхо и выпущу из него кишки... Вы удивлены? Да, под этим черным сюртуком скрывается дикий азиат, который становится зверем, если его раздразнить... Мне уже не впервые приходится защищать себя таким способом... Гезеллиус должен меня остерегаться, ежели дорожит своими внутренностями! Выпустить из него пару кишек мне ничего не стоит!..» В этот момент подошел Данилевский и сказал: «Значит, Вы надеетесь выиграть процесс? Это было бы великолепно. Я тоже хотел бы поквитаться с Гезеллиусом. Дело в том, что в январе-феврале “Herold” напечатал мой роман “Сожженнная Москва”». — «Но ведь перевод авторизован», — возразил я. — «Ничего подобного». — «Мне сказали в редакции, что у них имеется авторизация, собственноручно Вами подписанная». — «Это не так». — «Да, надобно проучить этого наглого немца!» — воскликнул Каразин. — «А разве публикация “Голоса крови” затрагивает и Ваши финансовые интересы?» — спросил я. — «Еще бы! Если

бы я заказал перевод и выпустил его отдельной книгой, это принесло бы мне около двух тысяч рублей; точно такую сумму и должен мне выплатить этот грабитель по приговору окружного суда». — «Но разве Вы можете знать наверняка, что книга продавалась бы столь успешно?» — «Да, знаю наверняка! Все, буквально все мои романы и повести переведены на немецкий, французский и английский языки, и каждая книга расходилась и расходится с ошеломительным успехом!» — — —

Сегодня в двенадцать посетил Фета («Европейская гостиница», комната 18) и принес ему «Русский Парнас». Он обещал прислать мне из Москвы том своих стихотворений. Я пробыл у него лишь несколько минут, поскольку он готовился к отъезду. <...>

Сегодня вечером меня навестил Семен Афанасьевич Венгеров и принес мне пятнадцать первых выпусков своего «Критико-биографического словаря» (буква А). — «Когда же Вы надеетесь завершить сей гигантский труд?» — спросил я. — «Приблизительно через пятнадцать лет». — «Да ведь это будет что-то вроде Брокгауза!» — «Конечно, я, собственно, так и рассчитываю». — «Но есть ли у Вас сотрудники для специальных отделов — таких, как медицина, богословие, педагогика и т.д.?..» — «Теперь есть, хотя весь первый том я составил сам. Об отдельных писателях Вы найдете не более пяти строк, а то и три строчки, но я, тем не менее, обязан был прочитать все ими написанное». — «Но у иных ведь бывают сочинения в десятки толстенных томов!» — «Я их насквозь проштудировал. Чтобы закончить работу над буквой А, мне пришлось прочесть более двух тысяч книг».

Когда я открыл ему свой секрет, сообщив о существовании этого дневника, он одобрил мой замысел и пообещал мне множество разных историй из жизни русских писателей, а также их характеристики; у него собраны автобиографии всех современников, собственноручно ими написанные.

Вторник, 21 марта 1889

Вчера — вечер в Русском литературном обществе. Профессор Вагнер (Кот Мурлыка) читал бесконечно длинные отрывки из своего последнего романа «Темный путь» — бессвязное и такое скучное сочинение, что слушатели зевали, жестикулировали и болтали... Бибиков сказал мне: «Вы разругали в “Herold” Дедлова за его книгу “Мы”, — и совершенно напрасно! “Гости”, например, — восхитительный рассказ!»... Фофанов пришел сильно пьяный, уселся с горящей сигарой (он всегда появляется перед обществом с сигарой во рту; обычно же, как я заметил, он курит сигареты), несколько раз безвольно кивнул головой и спустя примерно десять минут покинул ресторан, не раскланявшись ни с одним человеком. Кроме того, присутствовали: Данилевский, Случевский, Гуревич,

переводчик Толстого на датский язык П. Ганзен (я познакомился с ним у Острогорского), Лейкин, Андреевский, Тихонов, Лихачев и др. (был также доктор Лев Бертенсон, который лечил Тургенева). Я разговаривал с каждым, но никто не сказал ничего такого, что следовало бы здесь отметить.

28 марта 1889

Вчерашний вечер в Обществе был довольно скучным. Князь Цертелев читал какую-то драму из Зенд-Авесты, которая — отчасти из-за его манеры чтения, отчасти из-за внутреннего своего содержания — осталась совершенно непонятой, зато не оставляла сомнений в том, что это — бездушная и бессодержательная затея. Да и несколько стихотворений, которые прочитал Цертелев, не имели ни малейшего успеха... Вечер стал уютнее лишь после того, как Фофанов, Бибиков, Андреевский, граф Голенищев-Кутузов, Лейкин, Данилевский и князь Урусов (известный адвокат, невероятно образованный по части литературы и к тому же критически мыслящий) образовали небольшой кружок в библиотечной комнате. Опять начали превозносить Пушкина; Бибиков патетически, с выражением декламировал «Анчар», после чего я прочитал мой перевод, который всем чрезвычайно понравился. Разговор зашел о живописи, и Данилевский сказал: «Все вы знаете эффект, достигнутый Бруни в его "Медном змие": где бы ни стоял зритель, — к нему всегда обращены подошвы мальчика, лежащего в центре. У меня есть серия фамильных портретов, которые постигла странная участь. Комната, в которой висели портреты (мы жили тогда в Малороссии) ежедневно топилась, и истопник жаловался нам, что ему страшно заниматься своим делом в одиночку: куда ни встань, всюду глядят на тебя глаза с портретов. Однажды мы вошли в комнату и застыли как громом пораженные: наши деды и бабушки были безглазыми — суеверный парень со страха выжег им глаза раскаленной кочергой!.. Лишь с огромным трудом удалось реставрировать картины».

Суббота, 1 апреля 1889

22 марта я получил из Москвы от Фета пять его стихотворных сборников (что вызвало зависть многих русских писателей) с надписью: «*Любезному и высокоталантливому Федору Федоровичу Фидлеру на память от автора*». Письмо, полученное тогда же, заканчивается словами: «*Позвольте заверить Вас в симпатиях почитателя Вашего прекрасного таланта А. Шеншин*»... 21 января меня посетил Фофанов, подаривший мне только что вышедший том своих стихотворений с надписью: «*Глубокоуважаемому Федору Федоровичу Фидлеру, переводам которого я желаю от всего сердца не только "прорубить окно в Европу", но и распахнуть*

настежь все двери и соединить блеск "Русского Парнаса" с блеском "Немецкого Парнаса". Искренне ему преданный и глубоко его уважающий авт[ор] К. Фофанов»... —

Несколько слов о моем знакомстве с А.Н. Плещеевым.

Запись от 8 декабря 1884:

«Литературный вечер у княгини (Оболенской). Стихи читали, среди других, поэты Плещеев, Мережковский, П.И. Вейнберг, В. Гаршин и актриса Стрепетова. — Гаршин представил меня присутствующим. Плещеев оказался очаровательным стариком, он обнял меня и пригласил к себе. Вейнберг, сам великолепный переводчик, прочитал несколько моих переводов из Кольцова, расхвалил их и пообещал написать рецензию на книгу. Гаршин тоже обещал помочь с рецензиями в русской печати».

Запись от 20 декабря 1884:

«Одновременно с "Восторгом святым пламенея..." Жемчужникова перевел также "Прости, прости, настало время!.." Плещеева и недавно послал ему. Вчера он прислал мне свое пользующееся огромным успехом стихотворение "Среди гнетущих ум сомнений..." (обещал прислать его еще 8 декабря) с такой припиской: "*Простите, что так затянул с отправкой этого стихотворения. Я ужасно трудно пишу письма. Благодарю Вас от всей души за присланный Вами превосходный перевод моего стихотворения, совершенно не заслуживающего такой чести*"».

Запись от 28 декабря 1884:

«Литературный вечер в гимназии. Среди прочих читал и Плещеев; он сразу обнял меня и поблагодарил за перевод стихотворения "Среди гнетущих ум сомнений...", назвав его превосходным...».

Запись от 3 февраля 1885 года:

«Посетил Плещеева, желая вручить ему моего "Кольцова". Он пожал обеими руками мою правую руку и подарил свой портрет со следующей надписью: "*Федору Федоровичу Фидлеру на память от одного из тех авторов, которых он так прекрасно переводил...*" Обещал способствовать пропаганде "Кольцова" и сказал, что, возможно, и сам напишет рецензию. Возмущался, что Реклам не заплатил мне гонорар».

Запись от 4 февраля 1885:

«Сегодня меня навестил Алексей Николаевич Плещеев и просидел у меня два часа. Рылся в моей библиотеке; я рекомендовал ему для перевода "Наброски" Йенсена и заинтриговал его знакомством с Ропенбергом; хвалил моего "Кольцова" и пообещал поместить заметку о книге в "Петербургской газете". Обращался со мной самым сердечным образом, да и я не чувствовал ни малейшего стеснения... Мог ли я предположить шесть лет назад, что меня навестит такой знаменитый человек!»

17 мая 1885:

«Был у А.Н. Плещеева, который принял меня с обычной любезностью. — У Гаршина опять душевное заболевание; Надсон в Монтрё, где его снова будут оперировать, хотя благополучный исход сомнителен». <...>

11 января 1886 года я получил от него следующие строки:

«Глубокоуважаемый Федор Федорович!.. Стихотворение "Вперед! без страха и сомненья..." в журналах не печаталось, а появилось впервые в 1846 году в собрании моих сочинений, выпущенном в Москве (sic! — *К.А.*). *Что же касается стихотворения "Среди гнетущих ум сомнений...", то оно было напечатано в юбилейном выпуске московской газеты "Развлечение", основанной покойным поэтом Федором Богдановичем Миллером, если не ошибаюсь, в конце 1884 или в начале 1885 года — наверняка же боюсь сказать.*

Ваш всецело

А. Плещеев».

Он подарил мне и сборник своих стихотворений, изданный в 1887 году; на титульном листе написано: «*Моему даровитому переводчику Федору Федоровичу Фидлеру в знак сердечной признательности. А. Плещеев*».

3 апреля 1889

С Семеном Яковлевичем Надсоном я познакомился у Всеволода Гаршина в понедельник 23 апреля 1884 года. Он носил усы; офицерский мундир был ему очень к лицу. Не подозревая, что в будущем он станет так знаменит, я ограничился в записях того дня лишь одной пометой: «Держится просто, сердечно и мило». Помню лишь, что он читал вслух свое стихотворение «Герострат» и демонстрировал с помощью Гаршина способ чтения мыслей. Намеренно говорю: способ. Каждый из присутствующих должен был записать на бумаге короткий вопрос и аккуратно сложить листок; Надсон собрал все билетики, заложил руки за спину, затем вынул один билетик, приложил его ко лбу, придал своему лицу задумчиво таинственное выражение, произнес какой-то ответ, затем развернул листок и прочитал вопрос, который в точности соответствовал ответу, — эффект был огромен. Уступив нашим просьбам, они разъяснили, в чем здесь хитрость. Гаршин уже заранее сообщил читателю мыслей, какой вопрос он напишет на листке бумаги, и Надсон положил этот листок на самый низ; взяв билетик сверху, он отвечал на предыдущий вопрос, а новый вопрос запоминал и отвечал на него в следующий раз. Эта изящная игра требует немалой сноровки, которой вполне обладал Надсон... Мы возвращались домой en deux[36], и я помню поразившие меня слова Надсона о том, что у него чахотка и через несколько лет

он умрет; его жизнерадостный и лукавый вид никак не вязался с этим. На одном из перекрестков он взял извозчика и уехал.

Запись от 4 февраля 1887 года:

«Сегодня на Волковом кладбище хоронили Надсона — русский литературный мир и интеллигентные круги русского общества проявили по отношению к нему завидное чувство любви и уважения.

Мое личное знакомство с ним состоялось около двух лет назад у Всеволода Гаршина; я выразил удивление по поводу болезненного звучания стихов, написанных человеком, который выглядит так бодро. "Я скоро умру, — сказал он на это, — у меня чахотка"». <...>

С К.К. Случевским я познакомился на юбилее Майкова. Спустя несколько дней я навестил его (на Знаменской[37]). Он встретил меня в какой-то военной шинели и повел в свой кабинет, заполненный разного рода диковинками: оружием, монетами, минералами, старыми гравюрами, мебелью в стиле рококо, статуэтками, одеждой инородцев и прочими редкостями. Это было 30 апреля 1887 года. Он подарил мне том своих стихотворений с надписью: «Ф.Ф. Фидлеру, собрату по Аполлону, на добрую память от автора». Вскоре он нанес мне ответный визит — в памяти моей сохранились лишь ругательства, коими он осыпал жителей балтийских провинций, да сообщенный им рецепт изготовления хорошего киевского ликера. <...>

11 марта 1889 года раздался звонок и ко мне в кабинет вошел молодой еврей, в перчатках; он представился как Осип Григорьевич Этингер и передал мне свою книгу «Карикатуры любви» — с просьбой написать рецензию в «Herold». Просил не судить его строго и уверял, что «Дневник молодой девушки» — правда, а не вымысел; ему не принадлежит якобы ни одной строчки. В ближайшие дни в «Herold» появится моя рецензия, из которой будет видно, насколько я поверил его словам. Книга опубликована под псевдонимом Сергей Сутугин. — —

Года два назад у Ясинского я встретил Владимира Людвиговича Кигна, с которым почти не был знаком. В январе я получил в редакции «Herold» сборник его рассказов «Мы», изданный под псевдонимом Дедлов. 29 января в «Herold» появилась моя рецензия. Я похвалил «Негодного мальчика», однако отметил, что рассказ «Чудак» можно было бы с равным успехом озаглавить «Ливерная из Камеруна», а рассказ «Гости» — «Абракадабра».

Пару дней спустя я получил в редакции «Herold» еще один экземпляр той же книги. С удивлением раскрыв ее, я прочитал следующий написанный по-немецки текст (привожу, не меняя в нем ни одного слова):

«Господину Фридриху Фидлеру от гордого отца "Негодного мальчика" и огорченного — дочерей "Абракадабра" и "Ливерная из Камеруна", урожд. Дедлов 29 января 1889».

18 апреля 1889

Вчера, в понедельник, — заседание Русского литературного общества. Вейнберг читал «Дон Жуана» в переводе Козлова[38], подвергнув его резкой и в основном — судя по прочитанным отрывкам — справедливой критике. Попутно разбранил перевод «Фауста», выполненный Фетом, назвал Минаева-переводчика наглым халтурщиком и, между прочим, сказал, что Жуковский, хотя и замечательный переводчик, но вовсе не значительный поэт (этим он хотел опровергнуть распространенное мнение: выдающийся переводчик должен быть большим поэтом). Против этого выступил В.И. Бибиков, но говорил лишь общие пустые слова, на которые со всех сторон посыпались возражения; и поскольку его апология Жуковского не встретила ни малейшего сочувствия, он тотчас же испарился. Позднее Вейнберг стал превозносить мой переводческий талант. Ап.Н. Майков подошел ко мне и стал просить перевести его «Странника» на немецкий язык... Кроме того присутствовали: граф А.А. Голенищев-Кутузов, Кусков, Я. Полонский, Фофанов, Загуляев, Слепцов, Мережковский, Лейкин и художник И.Е. Репин.

8 июня 1889

Разные обстоятельства помешали мне вести регулярные записи. Надеюсь в ближайшее время восполнить эти пробелы.

Меня многократно навещал Фофанов. После того как появился литературно-варварский (преимущественно) отзыв Скабичевского о его стихах, он явился на другой день и стал горько и язвительно, что вполне оправдано, жаловаться на эту рецензию[39]. Записал для меня следующую эпиграмму:

Мутна вода столицы невской;
но та, которой Скабичевский
разводит чушь[40] своих статей —
еще безвкусней и мутней.

27 апреля я посетил поэта Василия Величко, который не так давно нанес мне визит. Его квартиру украшают сплошь портреты знаменитых людей (Айвазовский, Н. Лесков и др.), и каждого из них он аттестовал мне как своего «близкого друга»; при этом его лицо и голос, казалось, выражали одно: «Неужели Вам это неизвестно? Какой стыд!» Очень вкусны были его ликеры; стихи (коих он выдал мне примерно двадцать порций) понравились мне куда меньше... Вообще говоря, я люблю есть собственными руками и зубами и не нахожу вкуса в еде, которую мне кладут в рот разжеванной.

18 июня 1889

Здесь, в Коломягах[41], я почти ежедневно вижу Казимира Станиславовича Баранцевича, которого очень высоко ценю как новеллиста. В двенадцать или в час пополудни он проходит мимо нашего дома, возвращаясь со станции, а примерно в восемь вечера снова торопится на вокзал. Недавно он сидел у меня около часа и рассказывал о своей жизни, которой не позавидуешь. В течение целого года у него нет ни одного выходного дня, даже в Рождество и на Пасху он занят: ему приходится ежедневно, с шести утра до одиннадцати, сидеть в конторке Первой конно-железнодорожной компании, продавать билеты и вести бухгалтерию; за это он получает 1500 рублей в год. Ему 38 лет, шестнадцать лет назад он женился, у него шестеро детей. «Иногда мне кажется, что я упустил свое истинное призвание — быть отцом семейства. Могу Вас, впрочем, заверить, что я нежно люблю жену и детей и почти никогда не возвращаюсь к ним домой без подарка. Но если на несколько дней я отрываюсь от дома, — так было, например, прошлым летом, когда я гостил у А. Чехова на юге России, — я совершенно забываю о своей семье, и только письмо, полученное из дому, напоминает мне, что я — супруг и отец... Да-да, я хотел бы, если бы мог, меньше любить семью: тогда мне не пришлось бы работать урывками, сочиняя небольшие рассказы, зато я мог бы писать романы — некоторые из них уже сложились, по главам, у меня в голове».

Сегодня я навестил его. Он представил меня своей жене, которая на первый взгляд производит впечатление деревенской бабы — и манерой одеваться, и своим неэстетичным крестьянским обликом, да и по детям не скажешь, что их родители принадлежат к интеллигенции. Баранцевич, между прочим, сказал: «Удивительное дело: пессимистические умонастроения русских писателей коренятся по преимуществу — в испорченном желудке! Я тоже страдаю от геморроя, так что у меня бывают приступы, а по ночам — галлюцинации. (Я тотчас же рекомендовал ему радикальное лечение: френгула, и советовал бросить Гуниади-Янос[42].) Как только Альбов чувствует, что боль у него в желудке утихает, все его брюзжание мигом проходит, и, воспрянув духом, он весело взирает на мир». Мы заговорили о влиянии физических процессов на духовное творчество, и он сказал: «Баня оказывает благотворное воздействие на мое писательство. Когда я раздеваюсь, моюсь — а моюсь я всегда сам — и парюсь на верхних полках, в этом участвует лишь мое тело, дух же витает где-то вдалеке. Чисто механически я совершаю все нужные движения, в то время как в моей голове возникает идея и разрастается в целую новеллу. Лучшие мои рассказы возникли в бане... Мы живем, как Вы знаете, в деревянном доме, и в квартире у нас бывает очень холодно — температура не поднимается выше семи-восьми градусов. Лучше всего мне работается ночью: все спят, никто не мешает. И вот я заметил:

чем более холодеют мои ноги, — под столом сквозит со всех сторон, — тем жарче становится у меня в голове, тем живее я ощущаю то, что описываю. Говорят, один английский писатель — забыл фамилию! — мог работать лишь погрузив ноги в таз, наполненный холодной водой».

Разговор зашел об Антоне Чехове. «Это у нас самый талантливый писатель, он создаст со временем нечто великое... Я был бы счастлив, если б мне удалось написать такое произведение, как "Степь"! Сколько поэзии в этом повествовании!..» Об Ясинском сказал: «Не могу к нему привыкнуть. Слышал с разных сторон, что он поддерживает с человеком добрые отношения лишь до тех пор, пока видит в нем какую-то пользу для себя. Ясинский стал литератором на моих и Альбова глазах: мы были первыми прочитавшими его первый литературный опыт и подвергли его критике. Теперь он не видит в нас никакой пользы и все же относится ко мне любезно и дружески; мы друг с другом на "ты", и я зову его не иначе как "Жером". Но мне что-то не нравится в нем. Если мы сидим вместе и беседуем, говорю только я, тогда как он молча слушает; я изливаю перед ним душу, а он сидит безучастно или внезапно перебивает меня вопросом, не имеющим отношения к теме разговора, причем, как правило, практического порядка: о каком-то издателе, о моих гонорарах и т.д. Я веду себя с ним теперь крайне осторожно и боюсь обронить хоть одно необдуманное слово». — —

Почти напротив нашего дома живет Рейнгольдт. Он строго придерживается принципа: «Ubi bene, ubi patria»[43]; именно так он и высказался: «Я — русский, поскольку Россия приносит мне пользу». — «И только?» — спросил я. — «И только». — «Значит, твоя русскость не слишком глубокая; если бы ты дал себе труд мысленно сопоставить Россию и Германию, ты должен был бы гордиться тем, что носишь немецкую фамилию». — «Да что я с этого имею?...» Недавно он опубликовал в «Новостях» (анонимно) заметку, посвященную жизни в Коломягах, в которой утверждал, будто немцы занимаются только тем, что пьют пиво и играют в кегли[44]. Помимо того, что этот пассаж постоянно используется самыми омерзительными авторами самых омерзительных русских газет, он содержит и самую откровенную ложь, — о чем я и сказал ему прямо в лицо, но он, пожав плечами, ответил: «Так я ведь и не подписал своим именем!»... Вот несколько доказательств его добросовестности как критика. В той же самой заметке он расхваливает одну актрису, которая... никогда не выступала на сцене; он сам сказал мне об этом, цинично ухмыляясь. Затем, 14 июня, он опубликовал в «Новостях» статью, посвященную... «Neuer Kosmos»[45]. Он читал мне ее в рукописи, причем я имел возможность исправить одну ошибку: он бранил Гольдшмидта за его перевод... «Обломова», а потом сказал, что в сущности не так уж и важно, «Обломов» ли это или «Обрыв»; сам же перевод — могу утверждать это, положа руку на сердце, — он и в глаза не видел... В той же статье он расточает похвалы в мой адрес, заявляя, что нет ничего равного моим перево-

дам из Пушкина или Лермонтова, — отзыв, за который он не может нести ответственности, поскольку не читал этих поэтов в моем переводе («Русского Парнаса» у него нет)... Однажды, когда он работал над своей «Историей русской литературы», он посетил меня как-то вечером и сообщил, что ему предстоит теперь писать о лирике Полонского. «А ты читал его стихи?» — спросил я. — «Да, кое-что». — «А, ну так я могу помочь тебе: вот возьми его стихи!» — «Такой тяжелый том — как же я понесу его домой! Нет, не надо!» — «Да, но как же ты будешь о нем писать?» — «А у меня есть книга Чуйко о современных русских поэтах»[46]... От изумления я не мог вымолвить ни слова. Лишь когда я купил его «Историю русской литературы», у меня открылись глаза. Из произведений, которые там упомянуты, он прочитал, наверное, лишь сотую часть: все мнения, — позволю себе это утверждать, — попросту выкрадены из самых различных источников по истории русской литературы, ибо он всего-навсего перевел большинство суждений на немецкий язык, привел их, умолчав о том, кто является подлинным автором, и выдал перевод за собственный текст. В данный момент у меня нет под рукой этой книги, но могу указать на пассаж, посвященный Тургеневу, — этот пассаж дословно заимствован у Добролюбова.

23 октября 1889

Сегодня — первое после летнего перерыва заседание Русского литературного общества. С.А. Андреевский прочитал интересный и местами довольно убедительный реферат о Некрасове. Гневно возражая ему, П.Д. Боборыкин заявил, что нельзя развенчивать критику с научных позиций. — После доклада ко мне подошел Леонид Николаевич Майков, представился и передал предложение академика Грота: занять место профессора русской литературы в Гельсингфорсском университете; недолго подумав, я поблагодарил за честь и — отказался.

5 ноября 1889

Вчера мне исполнилось тридцать лет, и сегодня я отпраздновал свой день рождения, устроив у себя завтрак, в котором приняло участие 25 человек, среди них — пять писателей: Баранцевич, Ясинский, Фофанов, Рейнгольдт и Дукмейер. Выпили очень сильно. Могучая фигура Ясинского с черной львиной головой возбуждала всеобщее любопытство, и гости шепотом называли его «Джек-потрошитель». В интимной беседе со мной Ясинский признался, что у него было намерение обесчестить Лаврову и сделать ее таким образом своей постоянной домашней любовницей. В декабре к нему приедет жена с обоими детьми и останется здесь жить постоянно; она не соблюдала в отношении него верность, но он считает это естественным и простительным — ведь он был ей

супругом только на Рождество и в летние месяцы. Он попросил, чтобы я пригласил его крестить моего сына, который должен родиться в январе, и я пообещал, что так и будет. Скромно и мило держался, как всегда, Баранцевич; под аккомпанемент на рояле он спел позже несколько русских песен. С ним, Ясинским и Фофановым я выпил на брудершафт. Последний, как и опасалась моя жена, забыл о границах приличия. Он затеял ожесточенный спор с Баранцевичем относительно «еврея» Рубинштейна, которого всячески обличал, а его защитника назвал дураком; не без труда удалось развести обоих. Затем, без всякой на то причины, он обозвал присутствующих дам (мою мать, мою тетку, жену Баранцевича и мою свояченицу) — шлюхами. «Побойся Бога, Фофанов», — воскликнул Баранцевич, в то время как Ясинский стал успокаивающе меня обнимать. Я мог лишь сказать: «Прощаю его, потому что он болен». Тут Фофанов схватился за голову и, придя в чувство, ответил: «Прости меня, я забылся!..» В большой комнате запели немецкую песню. Фофанов внезапно вскочил, издал гортанное «брр-льр-льрл», пробормотал: «Хватит петь по-немецки!», подошел к лампе, чтобы прикурить от нее папиросу, сильно дунув носом, загасил лампу и, как ни в чем не бывало, уселся на свое место, тогда как все вокруг захихикали. Ясинский стал читать какое-то стихотворение, а Фофанов в это время, сильно жестикулируя, бросал вокруг себя яростные взгляды. День наверняка завершился бы печально, если бы вдруг не появился deus ex machina[47] в виде служанки, которую мадам Фофанова отправила со строжайшим наказом: не возвращаться домой без хозяина и господина. Тяжело вздыхая, Фофанов натянул на себя пальто, оба удалились, и все вздохнули с облегчением... Дукмейер, которого и так трудно воспринимать всерьез, изрядно захмелел, что весьма усугубило комическое впечатление; он невольно оказался в роли гансвурста[48]... Я познакомился с ним 18 апреля сего года, когда он посетил меня, чтобы вручить мне свою драму «Spurius Carvilius Ruga»[49]. С тех пор он неоднократно заходил к нам, своей неуклюжестью и робостью вызывая у всех нас жалостно комическое впечатление.

26 декабря 1889

Навестил Ясинского. К нему приехала жена с обоими мальчиками; старший, Максим, — очаровательное существо, вылитый отец. Познакомиться с Марией Николаевной не удалось, поскольку она не пожелала выйти; Ясинский тщетно звал ее — она даже не откликнулась. «Она у меня очень робкая!» Я просидел почти целый час, но разговор совсем не клеился, и я чувствовал себя словно втиснутым в корсет. Лишь войдя в квартиру Баранцевича, я вздохнул свободно. О себе он сообщил только то, что поругался с Нотовичем и не является отныне сотрудником «Новостей». Зато рассказал несколько характерных историй из психопатической жизни Фофанова. <...>

Каждый раз, когда первого января я прихожу к Полонскому с новогодним визитом, он сокрушается: «Что ж Вы не заходите ко мне 26 декабря в день моих именин? Здесь собирается весь Петербург!»... И вот нынче вечером я отправился к нему. Собралось действительно более ста человек: много высокопоставленных чиновников, несколько князей и графов, музыканты, художники и скульпторы (Рубинштейн, Репин, Чижов), актеры, но более всего — писатели. Характерные разговоры, не стоящие того, чтобы их записывать. Жена Мережковского — привлекательное юное существо; выглядит совсем девочкой и кокетливо это подчеркивает. У нее необычные глаза: то стыдливо задумчивые, как фиалки, то страстно пламенные, как розы. Высказывала столь либеральные взгляды по поводу брака, что мысленно мне пришлось несколько раз всплеснуть руками; нет сомнений, что муж ее в скором времени станет рогоносцем... Черта, характерная для Обломова-Гончарова: известно, что он и Полонский были «заклятыми» друзьями. И вот на обратной стороне одного из портретов в кабинете Полонского я читаю надпись: «Якову **Александровичу** Полонскому...»! Рубинштейн играл сонату quasi una fantasia[50] и «Лесного царя» Шуберта—Листа с таким совершенством, какого я не слышал ни у одного исполнителя (да и у него самого). Всем вообще показалось, что сегодня он особенно *в ударе*. Однако прежде чем сесть за рояль, он несколько часов просидел за карточным столом, предаваясь своей любимой страсти.

28 марта 1890

За последнее время я всего два раза был в Литературном обществе: по понедельникам мне приходится либо сидеть в театре, либо писать рецензию... Вот новости русской литературной жизни:

Примерно две недели назад произошло то, чего все давно опасались: Фофанов помешался. Говорят, накануне вечером он выпил 25 бутылок пива; ночью стал буйствовать и собирался убить обоих своих детей. Незадолго до этого он был у Ясинского, которому сказал: «Я пришел, чтобы завещать мой талант самому достойному; это — ты». В настоящее время он находится в лечебнице св. Николая; к нему никого не пускают. Часами, а то и целых полдня, он стоит порой, подняв руку с вытянутым вверх пальцем, и говорит: «Пока я держу палец вот так, мир существует; стоит мне согнуть палец — мир рухнет!» Впрочем, врачи надеются на выздоровление.

В среду, 21 февраля, крестили моего сына Валентина. Крестным был Ясинский; крестницей — Альма Борман. Баранцевич беседовал с ней так долго, что я обратил на это внимание Ясинского, а тот заметил по этому поводу (игра слов, которую невозможно перевести на немецкий): «*Он не столько влюбчив, как влипчив...*»

Позавчера был у Баранцевича. Он хворает и настроен мрачно. «Жене Альбова сделали трахеотомию, после чего она умерла при родах от прогрессирующей чахотки». — «Как долго они были женаты?» — «С прошлого лета». — «А ребенок?» — «Мальчик еще жив»...

26 июля 1890

Утром отправился с Баранцевичем на пароходе вверх по Неве до станции Ивановская[51], где находится усадьба Н.А. Лейкина; у его жены — добродушной, но довольно грубой особы по имени Прасковья Никифоровна — был нынче день ангела. В очерке Баранцевича «На отдыхе» (в сегодняшних «Новостях», раздел «Обмолвки») я фигурирую под фамилией Тыквин; я и в самом деле послал ему с горничной несколько недель назад письмо, где нарисован бильярд и поставлен вопросительный знак; Живчиков — живущий здесь адвокат С.П. Елисеев, непоседливый человек и страстный фехтовальщик; постоянно действует мне на нервы... Поездка длилась два с половиной часа и могла доставить все, что угодно, кроме удовольствия от живописных пейзажей. На веранде своего сада, утопающего в цветах и украшенного статуями, нас встретил Лейкин — без сюртука и в штанах, заношенных внизу до бахромы; он и позже не потрудился сменить свое облачение, несмотря на то, что присутствовали дамы. Стал немедля показывать нам свой огород, который воистину можно назвать образцовым. С разных сторон я слышал, что Лейкин чрезвычайно скуп, хоть знать этого сам не мог: на тридцатилетнем юбилее его писательской деятельности, в котором я принимал участие, гостей кормили прямо-таки до отвала. Его скупость выразилась сегодня в следующем (если отвлечься от скромного угощения, отнюдь не соответствующего дню ангела): он выставил лишь три бутылки самого обыкновенного пива, а когда я, истомясь от жажды, налил себе несколько капель красного (которое обыкновенно не пью, ибо плохо переношу), то оно оказалось, — как всех заверил трактирщик, брат Лейкина, — вином дешевого сорта; однако хозяин сказал: «Это отличное вино, и надо признаться, я весьма неохотно ставлю его на стол». Я, разумеется, деликатным образом отодвинул от себя стакан. К вечеру у нас кончились сигареты, и когда кто-то, попросив покурить, получил отказ, Прасковья Никифоровна воскликнула: «Послушай, Николай, не жадничай! Тебе что, пары сигарет жалко?» Лишь после этого Лейкин молча встал с места, проковылял в соседнюю комнату и принес сигареты... Презабавно жестикулируя, изображал концерт. Он взял на руки свою таксу, жалостливо скривил лицо, поскреб собачке живот и запричитал, растягивая звуки: «Пиго, мой Пиго, бедный, бедный Пиго! Пиго, Пигуля!» И собачка тотчас же начала жалобно повизгивать и постанывать, а три других стали ей подвывать; одну из его собаченок зовут *Бздинка (Динка)*... Разговор перешел на Василия Ивановича

Немировича-Данченко, и Лейкин сказал: «Да, теперь он — знаменитый писатель. Но когда-то давно занимался тем, что брал у изготовителей под залог рояли и фортепьяно, а затем продавал их или закладывал, и был за это выдворен из Петербурга. А все-таки стал человеком!»... Присутствовала также Капитолина Валерьяновна Назарьева, остроумная женщина с подстриженными в кружок волосами. Говорят, она каждый год меняет мужей. Но держала себя пристойно, совсем не походила — ни обликом, ни суждениями — на голубой чулок и впечатление произвела симпатичное. Она тоже живет в Ивановской; подарила мне свою драму «*Два полюса*».

14 сентября 1890

Посетил обоих «моржей»[52], как довольно метко называет их Баранцевич, — Альбова и Соловьева-Несмелова. Они снимают в одном семействе две комнаты, расположенные друг против друга и разделенные коридором.

Комната Соловьева-Несмелова весьма просторная, но холостяцкая: мебель и особенно книги — в немыслимом беспорядке. Комнатка Альбова размером не более моего книжного шкафа; не понимаю, как он умудряется писать на маленьком и крайне неудобном столе; все вещи разбросаны; спертый воздух, потому что окно никогда не открывается и всегда занавешено. Разговор шел, как выражается Гейне, «общеевропейский». Мы пили пиво и водку (приобщен был и Баранцевич), а затем отправились в трактир на Знаменской площади[53] (в том самом доме, где некогда находился Пушкинский кружок); там мы продолжали нашу попойку и играли в бильярд. Я преподал Альбову первый урок этого искусства, способствующего гибкости тела.

3 октября 1890

Меня посетил Ясинский и, когда мы расцеловывались, от него пахнуло сладким ароматом духов. Вопреки обыкновению говорил очень много; может, потому, что мы были одни. «Меня упрекают в том, что я слишком много пишу. А на самом деле я пишу не более часа в день, самое большее иногда — полтора часа. Конечно, после этого я несколько часов не могу избавиться от темы». Очень наглядно описывал ощущения курильщика опиума; говорит, что три раза в жизни пробовал гашиш. Совсем не пьет, даже вино. О Баранцевиче сказал: «Его симпатичный облик принес ему в литературе куда больше пользы, нежели его произведения, ибо талант у него чрезвычайно скромный, если он вообще обладает таковым. Он совсем не умеет изображать внутренний мир, он чувствует головой и “сочиняет”, то есть выдумывает; начало его рассказов, скажем так, красного цвета, а концовка — зеленого, в целом же все — серое». Я, разумеется, горячо возражал. Об Альбове он сказал: «У него совсем отсутствует дар

наблюдения, и жизнь ему ничего не дает; свои темы, впечатления и идеи он черпает при чтении других произведений. Зато у него есть талант». — «Каких современных русских романистов ты считаешь наиболее значительными?» — спросил я, и он, засмеявшись, ответил: «Себя самого, потом Альбова, Короленко и Чехова». — «А что ты думаешь о Познякове?» — «Воплощенная бездарность! Его "Тайна" — сплошной сухой вымысел, потому что из институтов выходит куда меньше публичных или "падших" женщин, чем из гимназий; поэтому и повесть Альбова "Воспитание Лельки" — тоже ложь и преувеличение». «А Бибиков?» — «Он называет меня своим учителем и обещал давать мне в рукописи все свои произведения на просмотр и на отзыв, однако ни разу этого не сделал. С моральной точки зрения он ведет себя, как известно, весьма предосудительно. Но меня глубоко трогает его любовь к литературе; к тому же у него поразительная память». — «А что поделывает Фофанов?» — «Примерно неделю назад его выпустили из сумасшедшего дома, полагая, что он излечился, но сам он еще считает себя больным и двигается и разговаривает так вкрадчиво и осторожно, что кажется: он вот-вот набросится на тебя сзади с ножом. Собирается навестить тебя в скором времени».

22 октября 1890

Вечер в Русском литературном обществе. Свой перевод «Парка Лили» Вейнберг предварил некоторыми биографическими сведениями о Гете; И.Е. Репин тем временем набросал его портрет, который подарил мне. Все были крайне удивлены поразительно уловленным сходством, и многие, в том числе сам Вейнберг, просили меня уступить им портрет; но я не поддался на уговоры. Потом В.Л. Величко читал около двадцати своих стихотворений, но никто даже не шевельнулся, чтобы ему похлопать: за исключением нескольких обработанных им восточных мотивов все остальное — скучно и безвкусно. — Из Общества отправились к Лейнеру: Каразин, Аверкиев, Михневич и я. Разговор в целом был нецензурно порнографический; чаще всего цитировали Баркова. В полтретьего ночи я вернулся домой с недопившим Аверкиевым и угостил его парой бутылок. «Вы несправедливы, обвиняя меня в ненависти к немцам; я обязан немцам всем своим образованием». — «Когда же мы увидим на сцене "Теофано"?» — «Когда Всеволожский перестанет командовать»... Он просидел до четырех утра, но разговор был малоинтересен и не клеился. Я позевывал.

8 ноября 1890

День рождения (39 лет) и день именин Альбова. Я пришел в четверть десятого. Все кинулись ко мне с вопросом: «Почему так поздно?», Альбов же не

менее десяти раз повторил: «Ты меня совсем доконал! До конца жизни не простил бы тебе, если бы ты не пришел!» С самого утра приходили поздравители, и с каждым из них ему пришлось выпить. Вечером были только Баранцевич и братья Святловские (один — врач, феноменальный толстяк, другой — штабс-капитан, или, как называет его Баранцевич, шнапс-капитан). Баранцевич рассыпался в восторженных выражениях, восхищаясь гениальным Кохом. Позже он посадил Альбова к себе на колени, заложил руки за спину и стал декламировать монолог умирающего Бориса Годунова, а невидимый Альбов протягивал руки и делал комические жесты; шутка удалась на славу. Все пели русские песни, а Альбов прыгал по дивану, как мячик, вскидывая свои худенькие, паучьи ручки и ножки и двигаясь всем телом туда-сюда, наподобие каучукового человечка. Потом он открыл форточку и хотел во что бы то ни стало выбросить на улицу свои часы; мне с трудом удалось их отобрать у него.

15 ноября 1890

Ко мне зашел Фофанов; сидел недолго, так как я собирался в театр. «Может, хочешь пива?» — Он (нерешительно): «Нет... лучше воды». — «Как продвигается твой роман?» — «“Воспоминания неврастеника”?» — «Да». — «Я еще не начал писать, хотя план в уме уже готов». — «А раньше ты писал прозу?» — «Конечно. Рассказы и повести под псевдонимами “Лидин” и “Каев” (К.Ф.)». — «А чем ты еще занимаешься?» — «Английским. Два раза в неделю беру частные уроки». — «А скоро ли выйдет новый том стихотворений?» — «Материала более чем достаточно; но еще не распроданы триста экземпляров последнего издания».

Рассказывал о своем пребывании в сумасшедшем доме. «Я сомневаюсь, что болен психически; наверное, у меня был тиф... Врачи ничего не понимают и с помощью персонала, который просто ужасен, могут превратить совершенно здорового человека в больного. Ах, как они над мной издевались! А потом меня одолевали галлюцинации. Я мчался, не ощущая собственного тела, с невероятной высоты в бездонную пропасть».

В театре (бенефис Писарева: давали «Горькую судьбину» Писемского) разговаривал, между прочим, с Бибиковым. «Я очень болен. Бертенсон сказал мне, что весь капитал моего здоровья уже растрачен вместе с процентами, и если я не уеду на родимый Юг, то через год разорюсь окончательно!» — «А что Вы скажете о пьесе?» — «Смотрю ее в третий или четвертый раз и не устаю восхищаться ее достоинствами; она каждый раз потрясает меня до глубины души, и я едва могу сдержать слезы. Это — произведение искусства! Каждое слово — золото! “Власть тьмы” уступает “Горькой судьбине”». В.П. Острогорский, стоявший рядом, согласился. Образовалась группа писателей, и Острогорский

спросил: «Слышал ли кто-нибудь про Альбова? Что с ним? Неужто пьет попрежнему?»

19 ноября 1890

Приходил Бибиков и просил под вексель 300 рублей, которые я, естественно, не мог ему дать. Долго и длинно о чем-то говорил, но тема была коммерческого порядка, так что я почти ничего не понял и отправил его к одному из моих знакомых (Ф. Шифлеру), который ссуживает под проценты.

В Русском литературном обществе я провел лишь несколько минут. Аверкиев нагло заявил, что в Дании нет ни одного значительного поэта. Когда я назвал ему Хольберга, Андерсена, Эленшлегера, Хейберга, Палюдан-Мюллера и Драхмана, выяснилось, что он не знает ни одного из них, даже Андерсена. «Помилуйте, — воскликнул Мережковский, — да мне один Андерсен дороже, чем Корнель и Расин, вместе взятые!»... Фофанов подарил мне свой портрет с надписью (он писал стоя и очень торопился, поскольку докладчик уже занял свое место):

Тому, кто переводит чувство,
Моей поэзии мечты,
Мои духовные черты
На иноземное искусство[54].

Я спешил в редакцию детского журнала «Игрушечка», куда недели две назад меня ввел Соловьев-Несмелов: он давно уже приставал ко мне с просьбой о сотрудничестве в этом журнале и предлагал, в частности, взять на себя немецкий отдел; я, в конце концов, согласился. Как и в прошлый раз, меня приняли нынче прямо-таки с сердечной любезностью, которой особенно отличалась издательница А.Н. Тюфяева-Толиверова, дама чарующе мягких очертаний и задушевного нрава. Н.С. Лесков читал свою великолепную сатирическую сказку «Король Добротвор и трое святых». Затем он прочитал письмо князя Хилкова ко Льву Толстому, где чудотворец Иоанн Кронштадтский предстает в подлинном свете. «По-видимому, Толстой согласен с князем в его оценке отца Иоанна?» — спросил я. «Да», — ответил Лесков, уставившись на меня; а потом вдруг, переходя почти на крик, раздраженно спросил меня: «А Вы христианин?» — «Хм, да». — «Нет, Вы не христианин, иначе Вы знали бы, что Священное Писание позволяет именовать отцом только Бога и собственного отца!» — «Но позвольте...» — «К тому же Вы — лютеранин! Отец!» — «Я употребил это слово в кавычках, как nom de guerre[55]...» С этими словами я отвернулся от грубияна, а когда ужин закончился, он сам подошел ко мне и попросил прощения... При-

сутствовал также поэт и переводчик Д.Л. Михаловский, чей мягкий и спокойно рассудительный вид произвел на меня весьма благоприятное впечатление.

5 декабря 1890

Вчера в Александринском театре ко мне обратился Лейкин: «Знаете, я давно уже хотел Вам сказать: как можно принимать у себя в семейном доме такого, как Бибиков!! Это — закоренелый мерзавец, которому ни один порядочный человек не подаст руки! Остерегайтесь его!»

Сегодня меня посетил В. Сидоров (Отрадин) и принес вторую часть своих «Драматических сочинений». Первую я еле-еле осилил: изделие бездарного сумасброда. Уверял, что все пьесы, вошедшие в этот том, не были пропущены цензурой, даже такие выражения, как «Да благословит Господь тебя и детей твоих» или «Слава Богу». Я познакомился с ним шесть или семь лет назад в Никирке, имении княгини Оболенской, — он декламировал там свою идиотскую драму «Мелузина». Позднее часто встречал его у княгини, причем каждый раз он производил на меня впечатление невменяемого рифмоплета. Потом он прислал мне свои стихотворения и первую часть своих драм. Дрянь!

6 декабря 1890

Сегодня умер Григорий Петрович Данилевский. Я познакомился с ним на юбилее Плещеева, неоднократно разговаривал с ним у Полонского, в Русском литературном обществе и на обедах у новостийцев[56]. Узнав, что я не включил его в «Русский Парнас», он перестал со мной разговаривать и смягчился только тогда, когда 18 февраля сего года в «Herold» появился мой перевод его сказки «Снегурочка». Особенно понравилась ему строчка «Plötzlich schwankt sie, plötzlich wankt sie...»[57] 8 февраля он прислал мне седьмой том своих сочинений и сборник «Из Украйны. Сказки и повести»[58] — обе книги, к сожалению, без автографа. Желая наверстать упущенное, он сказал мне 2 ноября в Михайловском театре (давали «Симфонию» Чайковского[59]), чтобы я занес ему книги; я намеревался зайти к нему, но не успел. Тогда я видел его и говорил с ним в последний раз. По окончании представления я увидел его в гардеробе: он подвязал себе платком подбородок, покрыл уши и сделал узел на темени. Жалкая комическая фигурка поразила меня. Он оставил во мне впечатление жизнерадостного, здорового, приветливого и симпатичного человека. <...>

12 декабря 1890

Сегодня меня навестил мой двоюродный брат Людвиг Фидлер по прозвищу «*Божия Коровка*» (так его зовут уже около пятнадцати лет; с названием

комедии Боборыкина это прозвище не имеет ничего общего). Он рассказал: «Недавно я рылся в книгах у одного антиквара и обнаружил "Новые рассказы" Баранцевича». — «И ты купил?» — «Да». — «А сколько заплатил?» — «Рубль». — «Новая книга стоит, полагаю, больше». — «Полтора. Но я с удовольствием заплатил бы за этот экземпляр и три рубля!» — «Но ведь это вовсе не библиографическая редкость?!» — «Напротив! На титульном листе книги написано: "Иерониму Иеронимовичу Ясинскому на добрую память от автора"». — «Что?!?!» — «Да!!!»

16 декабря 1890

Вчера до трех часов ночи у меня сидели оба «тюленя» вместе с Баранцевичем. Альбов назвал меня шовинистом, на что я весьма откровенно предъявил ему упрек в квасном патриотизме. По своему обыкновению, он почти ничего не говорил или произносил какие-то отрывочные междометия. Баранцевич называл черных тараканов «провидческими» насекомыми и уверял, что их нужно откармливать. Затем он закутался в белую простыню, надел на голову шляпку моей жены, загримировал себе жженой пробкой лицо под Мефистофеля и спел серенаду из «Фауста». Потом оба декламировали и исполняли в лицах то же, что здесь уже описано[60]. Соловьев-Несмелов говорил, как обычно, лишь о журнале «Игрушечка».

26 декабря 1890

Именины Полонского. Присутствовало около семидесяти пяти человек, среди них — Победоносцев, стыд и позор русской духовной жизни XIX столетия; впрочем, с ним почти никто и не разговаривал. В целом все прошло пристойно; мужчины были во фраках, никто не докучал друг другу, дамы в вечерних туалетах почти ничего не ели или же чинно-чопорно прикасались к еде — с обычным жеманством. Андреевский изливался в похвалах Пушкину, на что Венгеров заметил, что Пушкину как поэту вряд ли удастся завоевать себе право европейского гражданства. Позже Мережковский — за ужином мы сидели с ним рядом — согласился со мной, что талант Андреевского (он показал при этом на пустую тарелку) — tabula rasa[61]. Жена Мережковского, Зинаида Николаевна, по обыкновению, жеманилась как девица. Говорили про Альбова (его самого, впрочем, не было), и большинство признало за ним талант более крупный, чем у Баранцевича. Сам Полонский ничего не ел и не пил, лишь ковылял, зажав меж пальцами незажженную сигару, от одной группы к другой, изрекая обычные любезные фразы.

15 января 1891

Сегодня у меня был Фофанов. Прочел несколько своих стихотворений — в кармане сюртука и пальто у него была их целая пачка; среди них — маленькое стихотворение «Она», в котором описание деталей исполнено своеобразного очарования, а также юмористическое, до сих пор нигде не опубликованное стихотворение «Две блохи». Потом записал для меня эпиграмму на Фруга; вот ее текст:

Давным-давно я знал, что Фруг ты,
Что ходишь на Парнас по мед, —
Но нам с него несешь не фрукты,
А поэтический помет.

Я вышел на миг из кабинета, затем вернулся и увидел, как он задумчиво стряхивает пальцем пепел с папиросы. Он сказал: «Тургенев написал "Дым", Баранцевич — "Муть", почему бы мне не написать "Пепел"?» — «*Валяй!*» — подбодрил я его. Он взял бумагу и перо, на пару минут задумался, затем стал писать. В половине десятого стихотворение было начато, в десять — закончено. Он сидел за письменным столом, я — справа от него на оттоманке, наблюдая за ним. Казалось, он рисует арабески: рассматривал написанное издали — то справа, то слева. «Можно я посвящу это тебе?» — «Прошу тебя!»

Он переписал стихотворение набело и подарил мне черновик, предварительно вписав в него посвящение. Возможно, это стихотворение появится в одно из ближайших воскресений в «Новом Времени»[62]!

2 марта 1891

31 января на Успенском кладбище состоялось погребение моего маленького сына Валентина. Ясинский явился незадолго до выноса тела из квартиры, с затуманенными глазами поцеловал ручку ребенка и возложил на гробик маленький фарфоровый венок. В церкви, пока шла заупокойная служба, он стоял, глубоко задумавшись; после обеда в ресторане все (кроме меня и Ясинского) отправились к свежей могилке. «Нет ли у тебя бумаги и карандаша?» — спросил он. — «Нет, но сейчас достану. А зачем тебе?» «Хочу записать стихотворение, которое сочинил в церкви».

Я принес карандаш, он подумал минуту и записал на счете, полученном в конторе кладбища:

ПАМЯТИ ВАЛИ ФИДЛЕРА

Бессильны в горести слова —
Им смерть свирепая не внемлет.

Угасла жизнь, блеснув едва,
И вечный мрак ее объемлет.

И верю: в этот самый миг,
Когда у гроба мы тоскуем
И сердцу милый бледный лик
С безмолвным ропотом целуем, —

Предвечных сил бессмертный хор,
Парящий в небе над звездами,
В раздумье долу клонит лик
И не коснется арф перстами.

Во вторник, 26 февраля, я устроил у себя завтрак с блинами. За столом царило оживление. Альбов, настроенный весьма филантропически, предавался игре слов. Кто-то сравнил его рассказы с пушкинскими, и он сказал: «То был Пушкин, а я — Хлопушкин»... «Я не пью водки, — сказал он, — а пью “Экау” — высший сорт доппель-кюммеля[63]; остальные не любят этот напиток и хлещут обычную водку». — «Да ты эгоист», — воскликнул Баранцевич, на что Альбов возразил: «Не эгоист, а экауист!»... Позднее Баранцевич играл на скрипке, мой брат подыгрывал ему на пианино; пели и танцевали (Соловьев-Несмелов топтался, как медведь, перед моей матерью: они исполняли русский деревенский танец). В конце концов, мы все поехали в «Хижину дяди Тома». По дороге Баранцевич дал мне честное слово, что отправится летом не на Кавказ, а со мной — за границу.

Вчера — журфикс у Венгерова. «Ну, что Вы теперь скажете о моей библиотеке? Неужто Ваша все еще больше моей? Собственно говоря, мои книжные богатства — Ваша заслуга: пару лет назад Вы похвалялись своей библиотекой, и когда я ее увидел, мне пришлось признать свое поражение. Это разозлило меня, и я решил оспорить у Вас первенство. Ну и — кто теперь первый?» — «Теперь, бесспорно, Вы». — «Ну, слава Богу, теперь я спокоен!.. Могу похвастаться еще кое-чем, чего у Вас нету: вот, видите это собрание портретов знаменитых людей?» — «А сколько их здесь всего?» — «Ну, примерно 75; я получил их в подарок от Шапиро». — «Всего 75!» — «А что, неужели у Вас больше?» — «Примерно раз в пять». — «Что-о?» — «Да».

Этот литературный всезнайка был особенно мил, когда однажды я осмелился усомниться в одной из сообщенных им дат (у Полонского; он сидел за его письменным столом): скорбно растопырив пальцы, он слегка наклонил голову вбок и, сочувственно улыбаясь, произнес смиреннейшим тоном: «Со мной не следует спорить!» Все вокруг засмеялись и согласились с ним. Его память и в самом деле изумительна.

Не менее поразительна и память Бибикова: он держит в голове целую библиотеку стихов. Желая его проверить, я сказал: «Вы как-то раз читали у меня стихотворные посвящения, написанные Ясинским и Минским. Как они звучат?» Он на миг задумался, а затем дословно процитировал: «*Сторонник пива, и друг вина...*» и «*К супругам молодым в приют любви...*» Он вошел в столовую Венгерова вслед за великаном Ясинским, держа себя как его услужливый паж, причем покровитель обращался с ним весьма пренебрежительно. Отвратительны его лживые, выжидательные, нервные взгляды. Довольно неприятен и Минский в своем себялюбии; восторженно превозносил Ибсена и хвалил Готфрида Келлера. Флексер-Волынский, философ из «Северного Вестника», благодарил меня за рецензию на «Спинозу»[64], однако сокрушенно посетовал на ее краткость. «Целых два года потратил я на этот труд, а снискал лишь мимолетное признание как составитель; это больно!» Он производит впечатление двадцатилетнего юноши, хотя ему тридцать; для такого возраста у него немало заслуг...

Баранцевич собирается вспрыскивать себе спермин по рецепту Броуна-Секара.

Был также Анатолий Леман, подозрительный субъект. В.Р. Щиглев рассказывал мне: «Однажды я встретил его в обществе — это было у Скабичевского; мы сели играть в преферанс, но нам не хватало четвертого. Леман стал жаловаться: во-первых, у него нет денег, а во-вторых, он не умеет играть. Ему разъяснили правила игры, он внимательно выслушал, сел за игру, и мы поразились: он играл лучше всех! Загадочно улыбаясь, он предложил раздать карты таким образом, чтобы каждый из нас получил определенную карту. Он, видно, карточный шулер!»

7 марта 1891

Меня посетил Василий Михайлович Михеев — бесформенно круглая человеческая фигура; рядом с ним я выгляжу как восклицательный знак. Мы заключили следующее соглашение: я перевожу на немецкий его четырехактную пьесу «*Тайга*», и он платит мне за эту работу 200 руб. А если пьесу поставят за границей (в Берлине я попытаюсь ее пристроить в театр «Freie Bühne»), то я получаю сверх того треть гонорара. Он — автор стихотворного сборника «Песни из Сибири»[65], о котором покойный Гаршин высказывался в разговоре со мной крайне одобрительно.

11 марта 1891

Познакомился в Александринском театре на представлении «Жаворонка»[66] с Германом Баром. Хотя я никогда не видел его портрета, но опознал его среди публики, сидящей в партере, по лицу и одежде (светлосерые брюки и волнис-

тый галстук); кроме того, я знал, что он приехал в Петербург в качестве корреспондента — писать о немецких гастролях. Госпожа Бок представила нас. «А, Вы печатаетесь в “Freie Bühne”?» — спросил я. — «Откуда Вам это известно? Вы знаете этот журнал?» — «Разумеется». — «Теперь я буду писать не для “Freie Bühne”, а для “Moderne Kunst”, это иллюстрированный журнал...» — «Рихарда Бонга?» — «Вы это тоже знаете?» — «Конечно. А скоро ли будет поставлена Ваша пьеса “Мать”?» — «Как, Вы и это знаете?» — «Хм, да. Как Вам нравится Петербург?» — «О, чрезвычайно! Ваш Эрмитаж!! Нечто подобное я видел только в Мадриде!» — «Не выпить ли нам пива?» — «Нет, пива я не пью со студенческих лет; в романских странах, где я жил последнее время, я совсем от него отвык». — «Ну, тогда русской водки?» — «Хм, да».

Мы выпили, и он опрокинул рюмку, не закусив бутербродом. В этот момент закончился антракт, мы отправились на свои места, и я потерял его из виду.

19 марта 1891

Скромные именины жены Баранцевича. Сам он не слишком любезен и общителен — страдает от сильной головной боли. Постоянно сжимает на горле сонные артерии. Среди присутствующих — разумеется, оба «тюленя», а также Иван Леонтьевич Леонтьев (Щеглов), очень приятный, но, кажется, малообразованный человек. «Теперь я согласен, чтоб меня сослали на Сахалин, ведь глаза мои видели Элеонору Дузе (в роли Клеопатры)! Теперь в течение семи лет не буду ходить в театр! Боже, какая гениальная артистка! Не нахожу слов! Никогда еще не испытывал такого небесного блаженства и никогда его более не испытаю! Нет, не спрашивайте, а то совсем разойдусь и буду часами петь вам ликующие гимны!»... Разговор перешел на мейнингенцев[67], и он сказал: «Статисты чересчур много кричат, например: “Слава Юлию **Цезарусу**!” Удалась, впрочем, сцена заседания сената с колонной, изображающей *Юпитера*»... Разговор продолжался, и он сказал: «Да, заграница. Вот у меня есть знакомый, который принципиально туда не ездит: чувствует, что у него не хватит сил вернуться в Россию; сколько раз он оказывался за границей, но всегда было для него величайшей мукой отправиться в обратный путь». — (Я:) «Есть одно прекрасное стихотворение — Вы ведь знаете немецкий?» — «Да, немного». — «Там сказано: “На Рейн, на Рейн, на далекий Рейн не езжай, сынок...”»[68] — «Простите, не понял!»

25 марта 1891

Вчера ужинал у Морозова[69] в компании актеров. Присутствовали также Рафаэль Левенфельд и Герман Бар. Левенфельд — кривоносый еврей, хорошо говорящий по-русски; он жаловался, описывая хлопоты, предпринятые им для

того, чтобы его не выдворили из Петербурга как еврея. Бар не просто любезничал с актрисой Ниной Зандов, а вел себя по отношению к ней с неприкрытой откровенностью.

Сегодня он завтракал у меня вместе с актером Эмануэлем Райхером. Было очень интересно. Все, записанное ниже, рассказывал Бар. Разговор зашел о Линдау и Шабельской. «Некогда существовал закон: если студент бил фонари и его ловили за этим занятием, он должен был платить за все разбитые в городе фонари до тех пор, пока не ловили другого студента, коего постигала та же участь. Так обстоит дело и с Линдау. Это наивный человек без каких бы то ни было нравственных колебаний; он и понятия не имеет о последствиях своих поступков. Шабельская — совершенно неинтересная женщина: вся одежда на ней болтается, лицо — расплывчато-дряблое и накрашенное»... «Знаете ли Вы Марриот? Нет? Ее настоящее имя — Матая. О, Вы должны непременно прочесть ее "Духовную смерть", это очень значительное произведение! Она — несчастная старая дева, невероятно бесцеремонная: если кто-то в обществе ей не нравится, она подходит к нему и говорит: "Вы мне не нравитесь, я не желаю находиться в одной комнате с Вами, не желаете ли уйти отсюда?" Или идет с ней кто-нибудь по улице и оживленно беседует — внезапно она останавливается и говорит: "Ну, хватит; Вы мне изрядно надоели, к тому же мне в голову пришла мысль, и я хотела бы побыть одна"»... «Самый крупный современный поэт — Лилиенкрон. Он и понятия не имеет о своей гениальности, сам же — скромнейший человек на свете; но каждый, кто не причастен к искусству, кажется ему подонком; при этом он не стесняется брать у "подонка" в долг, желая доказать ему, что быть его (Лилиенкрона) кредитором — большая честь. Он служил одно время управляющим на каком-то маленьком острове в Северном море, но вскоре его пришлось отозвать, поскольку жители этого острова писали в Берлин одну жалобу за другой. И они были правы, — как утверждает Хайберг, — ибо на острове не осталось ни одного мужчины, у коего он не занял бы в долг, и ни одной женщины, которую он не сделал бы матерью. Его легкомыслие бесподобно. Он носит дырявые башмаки, но ездит в первом классе, у него в кармане всего несколько марок, на которые он должен обедать в течение целой недели, но он тратит их на шампанское — пьет вместе с "друзьями", которых и видел-то, наверно, всего раз в жизни. Ему сутками приходилось голодать, и его многократно спасали от голода, но помочь ему, вообще говоря, невозможно. А, ведь, какой гениальный поэт! Даже его случайные письма — у меня их множество! — бесценны».

Разговор перешел на Элеонору Дузе, и Бар воскликнул: «Вы знаете, я видел величайших европейских актрис, но таких, как она, — ни одной! Вольтер считается самой значительной немецкой актрисой, но даже произносить ее имя рядом с именем Дузе — преступно! Моя поездка в Петербург стократ оправда-

лась благодаря тому наслаждению, которое я почти каждый вечер мог получать в Малом театре».

Вот перечень 16-ти (sic! — *К.А.)* лиц, к которым он дал мне рекомендации: Авенариус, Карпелес, Лилиенкрон, Конрад, Нойман-Хофер, Товоте, Гауптман, Максимилиан Гарден, Шпильгаген, Шлаф, Хольц, Штеттенхайм, Хайберг, Зудерман, Зоозман, Фритц Маутнер и Карл Прёль.

Он — превосходный рассказчик; его характеристика Лилиенкрона — прямо психологическая новелла.

17 мая 1891

У меня был Ясинский. Он коротко подстриг свою львиную гриву и укоротил начавшую седеть бороду — à la Генрих IV в юности. Принес с собой оттиски стихотворения на смерть моего сына, которое только что появилось в «Живописном Обозрении»[70]. Разговор зашел о Потапенко, и он сказал: «Этот человек повторяет идеи, которые отстаивали писатели шестидесятых и семидесятых годов; он верит в идеалы и бьется за них. Это старо и не оригинально. Новое слово сказали лишь трое: Альбов, я и Чехов. Мы не верим в идеалы, то есть мы не отрицаем их, однако, не находя их в современной жизни, описываем безрадостную действительность такой, какова она есть; только реализм имеет оправдание в искусстве. Критика нас не понимает»...

Рассказывал о Бибикове: «Мне опять пришлось выручать этого мерзавца из беды! Да, мы все больно раним женщин, но мы золотим рану, и вскоре она заживает. Однако нанести рану, а потом еще брать за это деньги, причиняя ущерб и сердцу, и карману, — подлость! А Бибиков это сделал. Увел от мужа женщину с тремя детьми (старшая из них — девушка, которой около двадцати лет) и долгое время с ней жил. Он всегда жаловался, что содержание этой семьи обходится ему очень дорого, а что теперь выясняется? Воспользовавшись отъездом семьи, он продал всю мебель, заложил серебро и умчался в Киев! Бедная женщина пошла к Суворину и излила ему свое горе; он дал ей пятьдесят рублей и пообещал рассказать эту грязную историю читателям «Нового Времени» — подробно и откровенно. Мне с трудом удалось убедить его подождать до тех пор, пока дело не прояснится. Ибо женщина тоже не вполне безупречна: бросила своего первого мужа ради второго, а затем ушла к Бибикову...» Позже он сказал: «Я мог бы уже стать дедушкой, ведь моей покойной дочери было бы теперь двадцать; я женился в девятнадцать лет».

[Люцерн,] 9/21 июля 1891

Гулял сегодня с Альмой Борман около львиного памятника[71] и встретил Буренина. Щегольски одетый, он грациозно вышагивал рядом с элегантной

молодой женщиной. Мы поздоровались и остановились. «Итак, Вы были в Италии? Хм, успешно ли подвигается Ваша работа над Данте?» — Я ответил (после паузы, вызванной моим изумлением): «Хм... да... Впрочем, я изучаю, скорее, современных русских поэтов». — «И охота Вам!.. Я покинул Петербург почти одновременно с Вами и проехался по Германии; роскошные города у этих немцев!» Мы простились. — — — <...>

31 августа 1891

Вчера у Острогорского видел Михеева, совершенно восхищенного моим переводом его «Тайги». Он написал мне в альбом:

Посреднику меж мной и миром европейским
Пишу я здесь немного слабых строк. —
Взгляд кинуть к берегам ангарским, енисейским
Он жителям Германии помог.
А всякий, кто меж родиной моею
И лучшею Европою — стоит,
Подняв, как знамя, человечества идею,
Тот мною никогда не будет позабыт!

Этот экспромт он сочинил за пять минут. Драма выйдет у Реклама; автор именует себя на титульном листе — Ангарин. Он выпил за завтраком пять рюмок водки и несколько стаканов пива, не захмелев при этом даже самую малость.

Острогорский был, как всегда, мил и любезен. Написал мне в альбом:

«*Немец, так глубоко постигший нашего Лермонтова, Пушкина, Кольцова, которых передал он чудными стихами, близок русскому сердцу, умеющему биться благодарной любовью к переводчику-поэту, дорогому Федору Федоровичу Фидлеру*».

С января будущего года он начинает редактировать «Мир Божий», журнал для юношества, и приглашал меня в нем сотрудничать.

Затем мы отправились ко мне, где уже находился Фофанов, который летящим почерком написал мне в альбом:

«*Любезному другу Федору Федоровичу Фидлеру. Пусть наши сердца просторнее этаго листка, на котором я заношу несколько слов на память*».

За ужином дело чуть было не дошло до первого столкновения между ними. Фофанов сказал что-то о «презренных евреях», Острогорский же осыпал его градом упреков, порицая за нетерпимость и невежество. Затем он сделал ему несколько серьезных и убедительных упреков по поводу его необразованности: ведь Фофанов даже не слыхал имен Голдсмита и Филдинга! Мне постоянно приходилось успокаивающе класть руку на плечо Фофанова. В конце концов, они все же обнялись и поцеловались. Острогорский проникновенно, с глубо-

ким чувством прочитал вслух сказку Фофанова о Кощее Бессмертном, притом что ранее никогда ее не читал; Фофанов был чрезвычайно удивлен.

Без повода и причины Фофанов неожиданно предсказал мне: «Ты умрешь раньше, чем твой отец!» Он был в ударе. — —

Сегодня вечером зашел к Альбову (Троицкая, 27, кв. 5), он снимает меблированную комнату в немецком семействе за 25 рублей в месяц. Он спал. «Ну, как живется в новой квартире?» — спросил я. «*Ужасная тоска, человека нет!*» До этого он всегда жил вместе с Соловьевым-Несмеловым, переехавшим теперь в квартиру писательницы Лебедевой на Греческом проспекте (д. 13, кв. 1). Я спросил: «Но ведь как редактор “Северного Вестника” ты будешь теперь регулярно получать этот журнал?» На это он возразил: «Не стоит того! Редактор! *Курам на смех!*» Мы пошли прогуляться (внизу ждала Люба). Вблизи Аничкова моста нас остановили Минский и Мережковский с женой. Чета Мережковских только что вернулась из Тверской губернии; они рассказывали о своем путешествии в Италию, Швейцарию и Париж. Я пригласил всех троих (Альбов пошел домой) к себе на чай, и они приняли приглашение.

Лицо Минского по-прежнему напоминает дьявольскую маску, все его существо отмечено холодным эгоизмом, его ясный пронзительный голос производит неприятное впечатление. Разговор зашел о Пушкинском кружке, и он рассказал со смехом: «Никогда не забуду, какой прием мы оказали тогда Шпильгагену. Ему забыли послать входной билет, так что билетеры, стоявшие у входа в зал, не хотели его впускать. Когда недоразумение разъяснилось, были приглашены владеющие немецким языком Лейкин и Вейнберг и Шпильгагену прочитали диплом о присуждении ему звания почетного члена; тут из задних рядов неожиданно послышался громкий шум, и пьяный Фофанов проревел: “Пустите меня! По лысине, я хочу погладить его по лысине! Пустите меня!” Но до этого не дошло. Затем Шпильгаген указал на скульптурный бюст и спросил, кто это. “Пушкин”, — ответили ему. Он подошел ближе, и у него хватило такта не выдать своего изумления: кто-то углем подрисовал Пушкину усы и вставил ему в губы папиросный окурок!»

Жена Мережковского, урожденная Гиппиус, пишет и публикует свои стихи и прозу под своей девической фамилией. Поэтому я предложил ей увековечить себя в моем альбоме. «Нет, я еще недостаточно знаменита! Но это скоро произойдет — через несколько месяцев!» — «Тогда я хочу Вам сделать следующее предложение: напишите сегодня внизу страницы одно Ваше имя; через месяц — пардон, уже через неделю! — Вы напишете над ним одну стихотворную строчку; через две недели — вторую, через три — третью и т.д.; и получится так, что за короткое время Вы не только увековечили себя в моем альбоме, но и написали в высшей степени оригинальное стихотворение: снизу наверх!»

Засмеявшись, она согласилась и написала свое имя.

Она, как обычно, изображала из себя наивную и кокетливую девушку-подростка. Вела себя с Минским весьма интимно; кажется, она вообще непрочь...

Прежде мне не нравилась в Мережковском его жеманно-напыщенная манера; но это, возможно, была лишь юношеская самоуверенность: anch'io sono pittore![72] Теперь он держится просто и любезно, и к нему вполне приложимо выражение homo sum[73]. Он курил и даже немного выпил, чего никогда не делал ранее. «Ну что же мне написать Вам? "Как Вы живете? Будьте здоровы!" Я совсем не умею писать стихи по заказу!» Но все-таки написал:

Чужое сердце — мир чужой,
И нет к нему пути:
В него и любящей душой
Не можешь ты войти.

Минский:

Когда земной борьбы нам видеть не дано,
Рождение и смерть для нас равно чудесны.
Прикованы к земле, мы знаем лишь одно —
Что в нашем сердце скрыт огонь небесный.
Восторг божественный горит на дне души:
Так искру сталь таит и песню мира,
Добудь святой огонь, сам для себя сверши,
Что Прометей свершил для мира!

19 сентября 1891

Позавчера — Любины именины. Пришли: Евгений Гаршин, Введенский, Венгеров, Свободин, Альбов, Баранцевич, Острогорский с женой, Фофанов, Рейнгольдт, Мережковский с женой и Минским, Любовь Яковлевна Гуревич с Волынским-Флексером, Гуревич старший и др. Минский прислал отказ, но все же явился вместе с Мережковскими, так что моя жена изумленно воскликнула: «Решились-таки! А, понимаю! Спасибо Вам, Зинаида Николаевна!» Мадам Мережковская не удостоила дамское общество и десятком слов; тотчас покинув гостиную, она удалилась в мой кабинет, где весьма игриво беседовала то с одним, то с другим мужчиной; тряпка-муж лишь скрежетал зубами на противоположном конце стола, когда Зиночка заняла место между Гуревичем и Минским, причем оба оказывали ей знаки внимания. Гуревич произнес тост в мою честь — одну из своих блестящих импровизированных речей, ни разу не запнувшись и выводя одну мысль из другой изящнейшим и в то же время естественнейшим образом. Баранцевич, входя в гостиную, выглядел хмуро; Дарья Николаевна была одета как кухарка и не могла ни с кем даже словом перемолвиться; я пригласил ее при-

личия ради в тайной надежде, что она проявит скромность и не придет — но она явилась, хотя и знала, что застанет у меня общество весьма образованных дам. Далее записывать нечего: собралось около тридцати человек, я должен был исполнять роль любезного хозяина и носился как угорелый.

Ясинский не пришел, хотя написал мне следующее письмо (разобрать его почерк мне удалось лишь с чужой помощью):

«Дорогой Фидлер. Не стыдно ли тебе делать мне упреки? И почему ты не веришь, что я очень занят? Или ты считаешь делами только свои дела? Я пишу роман, пишу по пятницам фельетоны для “Биржевых Ведомостей” и редактирую Лермонтова (третий том, самый трудный). К вечеру совершенно изнемогаю от чтения корректур. Но денег нет как нет, потому что нет журналов с литературными редакторами. Привет твоей жене. Конечно, конечно, приду»[74].

26 октября 1891

Посетил В.Л. Величко. Он был, конечно, одет с иголочки — изящно, à quatre épingles[75]. На стенах — картины в рамках, слившиеся в необозримое целое. Все его переводы восточных поэтов исполнены по чужому дословному подстрочнику, ибо сам он не знает языков, с которых переводит. В мой альбом он срисовал две строчки из книги персидских народных песен (написав под чертой дословный русский перевод). Восхищается Омаром Хайямом и называет его «смесью Вольтера с Анакреоном». На мой вопрос, почему он только переводит и заимствует, а не пишет собственные стихи, он ответил: «Знаете ли, вульгарность жизни, окружающая человека, сковывает любое проявление чувств и побуждает обратиться к философской лирике с общественной тенденцией. Впрочем, в моих стихах — там, где не указан конкретный источник, — заимствован только дух, а содержание и форма принадлежат мне».

10 ноября 1891

Вчера праздновал свое 32-летие. Ясинский был щегольски одет. Он курил и выпил несколько стопок наливки и рома, но, так сказать, исподтишка: отстраняя руку, готовую налить ему по новой, он сам подливал себе во время общего разговора; утверждал между прочим, что у него пропало очень старое издание Катулла с владельческой записью «А. Пушкин»: «Бибиков украл, наверно». Баранцевич собирался заглянуть на часок, просидел, однако, до половины четвертого и был сильно навеселе. «У кого еще семеро детей, как у меня, дурака? Вот у вас, осторожных и практичных немцев, такая система: не более двух детей! Опрятная, культурная нация! Даже в постели строите планы на двадцать лет вперед! А мы вот — варвары! Не то что о будущем — даже о настоящем не за-

ботимся. Я знаю, отчего Коля болеет: оттого что мы пускали его на двор без штанов!» Альбов и Соловьев (оба тоже весьма наклюкались) разглагольствовали и бахвалились, рассуждая как заправские шовинисты и квасные патриоты: «Кому обязана Германия своим существованием? Нам! Если б не мы, татары не оставили бы у вас камня на камне! А в случае войны мы задушим и задавим вас нашим численным превосходством!..» Рассуждая о загробной жизни, Баранцевич предавался безутешному пессимизму и нигилизму, тогда как Альбов защищал бессмертие души, причем в форме метампсихоза. Мысль не получила развития, ибо рядом оказалась бутылка с ромом.

Со Щегловым (Леонтьевым), который принес мне четыре своих книги, я смог поговорить лишь кратко. Он произвел на всех очень симпатичное впечатление. О себе сообщил лишь, что его комедии, которые ставятся главным образом на провинциальной сцене, приносят ему неплохие деньги. Он был военным, теперь же нигде не служит и занимается только литературой.

28 ноября 1891

Вчера меня посетил В.Л. Величко. Из сюртука и портфеля были извлечены на божий свет стихотворения и поэмы, и началось долгое бессмысленное чтение. Разговор зашел о безвкусной поэзии великого князя Константина Константиновича (К.Р.), и Величко изрек следующий экспромт:

Да... сказать Вам без утайки...
Etwas komisch ist der Herr[76]:
На бесструнной балалайке
Упражняется К.Р.

Когда я прятал эти стихи в письменный стол, он с тревогой попросил меня никому их не показывать: выпад против столь высокопоставленного лица может его (Величко) скомпрометировать. Очень смешно изображал еврейский акцент Минского, читающего «Выхожу один я на дорогу...» на лермонтовском вечере. По поводу щедрого пожертвования в двадцать две тысячи марок, которое берлинцы собрали для голодающих жителей России, он заметил в чисто русском духе: «Двадцать две тысячи! Вот скупердяи!» — —

Сегодня был Альбов. Рассказывал: «В детстве мне доставляло огромную радость ставить свечной огарок в колясочку и разъезжать в ней по совершенно темной комнате; я мог часами разглядывать, как мечутся, то вырастая, то уменьшаясь, тени, которые стол, комод и стулья отбрасывают на стену и потолок».

15 числа сего месяца мы, выпив энный бокал пунша, завели разговор о Боге и бессмертии; он верит в это как бы инстинктивно, поскольку не может ниче-



го возразить на логические опровержения. Он сказал: «Если нет никакого бога, почему же мой взгляд, когда мной овладевает доброе и красивое чувство, непроизвольно поднимается к небу? И почему я опускаю свой взор, когда в моей душе просыпаются дурные инстинкты?» — «Стало быть, существует и дьявол?!» — сказал я. Он недовольно пожал плечами и промолчал.

15 декабря 1891

Пять часов утра. Справа за моей спиной лежит и храпит на оттоманке Фофанов. Он явился вчера около восьми и принес мне сборник своих стихотворений, выпущенный в свет лишь несколько часов назад: «*Тени и тайны*».

В течение ряда лет меня интриговало его четверостишие «*С плачем ребенок родился на свет...*», ибо та же самая мысль встречается у Уланда, Манюэля и других; я спросил его, как она у него возникла, и он ответил: «Покойный энциклопедист Макаров высказал эту мысль несколько лет назад, поднимая за обедом тост; он приписал ее тогда какому-то индийскому или персидскому, во всяком случае, восточному поэту. Ну, а я — переложил ее стихами». В оглавлении он подчеркнул свои любимые стихи. Когда я, перелистывая книгу, тщетно пытался прочитать вслух стихотворение на с. 96 «*Ночь повила мир уснувший...*», он сказал, что этот размер — подражание Кантемиру и читается без труда; я предсказал ему брань со стороны критики. Открывает книгу короткое стихотворение «Идеал и поэт» — оно было написано у меня и по моему побуждению 12 января 1889 года. Когда я прочитал ему свой перевод его восхитительного пасхального стихотворения «*Под напев молитв пасхальных...*», он пришел в восхищение от строк «Meeresblauend strahlt der Himmel, himmelsstrahlend blaut das Meer»[77]. Потом стали пить чай и пиво. После третьей бутылки он начал — то запинаясь, то рыгая — декламировать свои стихи, которые помнит наизусть все до одного. Это продолжалось два часа; к одиннадцати я устал настолько, что не выдержал и отправился спать. В полпервого проснулся оттого, что из столовой доносилось все то же монотонно-патетическое чтение. Кажется, мой брат подыгрывал ему на пианино; лишь в три часа ночи он доковылял до постели.

Недавно он явился в Русское литературное общество в совершенно пьяном состоянии, исподлобья оглядел присутствующих идиотски сияющими глазами, стал лихорадочно теребить пушок у себя на подбородке и примерно через три минуты вышел из зала шатающейся походкой, согнувшись дугой. Все покачали головами и после доклада сошлись во мнении, что он вот-вот снова попадет в лечебницу для душевнобольных. Готов поверить. Примерно месяц назад, в одиннадцать вечера, когда я уже спал, Люба была в театре, а горничная ненадолго отлучилась, в нашей квартире раздался громкий звонок. Дома находилась лишь моя свояченица Вера, которая перепугалась, подошла к двери и спросила, не открывая: «Кто там?» — «Я!» — «Кто?» — «Я!» — «А кто Вы?» — «Фофа-

нов». (Она открыла дверь). «Федор Федорович дома?» — «Да, но он уже спит». — «Так рано?» — «Не так уж и рано: двенадцатый час». — «Что? Не может этого быть!» — «Уверяю Вас». — «Но всего лишь полчаса назад, когда я расстался с моим знакомым, было восемь!» Повернулся и ушел.

Находясь с ним рядом долгое время, начинаешь чувствовать себя нервнобольным; нет уверенности, что он не сорвется и не позволит себе — словом или делом — какую-нибудь внезапную сумасшедшую выходку. К тому же — его взбудораженность и нервозность в голосе, взгляде и каждом движении! Вчера он выкурил, нет, высосал в моем присутствии по крайней мере пятьдесят сигарет: губы его ни на секунду не оставались неподвижными. <...>

9 января 1892

Был позавчера на именинах Щеглова. Наибольший интерес среди присутствующих вызывал Чехов — его непрерывно чествовали. Весь его облик дышит простотой и естественностью, но есть в нем какая-то мягкая и спокойная самоуверенность. Я спросил у него, почему он пишет только одноактные пьесы. «Потому что большие драмы отнимают слишком много времени и усилий; это неблагодарное дело. Успех же часто зависит от погоды: если, скажем, на улице холодно и сыро, то публика в партере и на галерке все время кашляет, а это невыносимо для актеров...» Он любит Петербург больше, чем Москву, но не хотел бы жить в этом городе постоянно, «чтобы не перестать его любить». Записал мне в альбом прямо после своего покровителя А.С. Суворина: «*Примечание к автографу А.С. Суворина: слово "изречение" пишется через **е**, а не через **ять***».

Вчера зашел к Мережковским. Все изысканно! На письменном столе: икра, швейцарский сыр, сардины, страсбургский гусиный паштет и прочие аристократические яства, несколько бутылок вина и ни капли плебейской водки. Пол в гостиной покрыт коврами; барские диваны и пуфы из пестрого шелка; разноцветный китайский фонарь, приглушенный свет которого придает комнате какой-то кокетливый французский оттенок. Он назвал Ибсена «большим и грубым, и безжизненным, как роговица». Вчера он спросил меня: «Получила ли Ваша жена приглашение от моей жены на завтра?» — «Да, спасибо». — «А Вы тоже придете?» — «Разумеется, не станет же моя жена в одиночку наносить визиты!» — «Вы поступаете верно, тут у нас ее легко испортят!». Он произнес это не иронически негодующе, а страдальчески убежденно и — отвернулся. Как знать, возможно, образ покорного мужа, находящегося под башмаком у жены, — всего лишь маска, возможно, в душе он глубоко страдает! В скором времени супруги уезжают в Италию...

Молодой Скриба (Соловьев) превозносил Андреевского до небес, называя его критические статьи гениальными. Тот благосклонно принимал комплименты и очень ярко, в своей обычной красочной манере, отзывался о разных по-

этах. Немирович-Данченко, по его словам, — «одеколон», последний сборник стихов Фофанова — «россыпь драгоценных камней». Минский весьма самоуверенно выказывал Зинаиде Николаевне свою почтительность. Рассказывал, что позавчера, на обеде у новостийцев, сильно пьяный Далматов избил не менее пьяного Мамина; в общей неразберихе он наносил удары вслепую и орал: «Ужас! Не вижу, кого я бью, какой он национальности!»

19 января 1892

Навестил Альбова. Комната, в которой он живет, опять соседствует с комнатой Соловьева-Несмелова. «Северный Вестник» собирается выпустить альманах в пользу голодающих, состоящий из произведений только иностранных авторов[78]. В качестве редактора он просил меня обеспечить немецкую часть. Я написал письма нескольким современным олимпийцам и получил от некоторых нужный материал. Когда мы заговорили об этом, Альбов воскликнул: «Да мы честь оказываем этим несчастным немецким *писателишкам*!» Я лишь с сожалением пожал плечами. Он, кажется, почувствовал свою неправоту, потому что за целый вечер не проронил более ни слова и сидел, опустив глаза. Оба окна в его комнате были, разумеется, плотно занавешены.

10 марта 1892

Дела в Русском литературном обществе принимают, кажется, нехороший оборот, чему виною, в немалой степени, Зина Мережковская: своим рафинированно стыдливым кокетством она добилась того, что участвовать в собраниях могут теперь и женщины. Кроме того, Исакову взбрело в голову не устраивать по понедельникам докладов на определенную тему; каждый может говорить ad libitum[79]. Зал, из которого вынесли зеленые столы и кафедру, имеет теперь вид танцевального салона. Вчера это случилось в первый раз и вызвало всеобщее изумление. Явилось всего-навсего девять человек, в том числе — В.П. Авенариус, добродушный пожилой человек, глядя на которого не скажешь, что некогда он написал язвительный роман «*Поветрие*». Он вписал мне в альбом свой перевод лермонтовского «*Слышу ли голос твой...*» — привожу его в доказательство того, насколько он владеет немецким:

Sprichst du so klingend weich,
So voller Lust und Scherz,
Springt einem Vogel gleich
Mir in der Brust das Herz.

Blickst du mich an so gross,
Himmelblau, himmelrein, —

Zieht es mich willenlos
In diesen Himmel ein.

Bald musst' ich lachen, bald
Vor dir in Tränen fliehn,
Bald dich mit Allgewalt
An meinen Busen ziehn.

Сам же он назвал свой перевод вольным и лишь с трудом вспомнил две последние строфы.

Был еще В.П. Клюшников; он жаловался, что редактирование «Нивы» отнимает у него все время. «Уже десять — нет, целых двенадцать лет я вынашиваю роман; плод за это время окостенел во мне так, что не могу разродиться».

14 апреля 1892

У меня был Ф.А. Червинский. Войдя в мой кабинет, он воскликнул: «Ах, это истинное святилище! И Вы все это читали?» — «Ну, большей частью». — «Боже, какое легкомыслие!»... Разглядывая большие портреты Шиллера и Гете, он сказал: «Даже по внешнему виду можно с первого взгляда определить, кто из них более велик! Воистину Гете — царь всех поэтов!» Перед портретом Величко он процитировал пушкинского Воротынского: «Лукавый царедворец!»[80] О Баранцевиче сказал: «Сколько в нем простоты! Золотое сердце!» О Мережковских (о нем и о ней): «Если бы их поставить на окно, сквозь них просвечивало бы солнце: настолько они чисты!» О Фофанове: «Из десяти его стихотворений восемь — бессмыслица, а два — шедевры». Когда я в присутствии моей дочери прочитал ему несколько идиотских стихов Кускова, он попросил: «Уберите ребенка, Вы же насильно портите ей вкус!» А когда я положил перед ним папку с портретами знаменитых людей, он сказал: «Ах, когда я смотрю на них, меня всякий раз охватывает зависть!» — —

11 числа сего месяца я был в редакции «Севера» и разговаривал с его редактором В.А. Тихоновым. «Сегодня у меня жуткое похмелье: вчера до глубокой ночи мариновался в "Паганистане"!» — «Где?» — «Хм, в "Афганистане"»... Я заметил в журнале портрет Чехова, и он сказал: «Да это он, милый человек! Хитрый, изворотливый *хохол*! Но все-таки я ужасно люблю его; ведь он талантливей всех!» Подарил мне два тома своих рассказов[81], а мне пришлось пообещать, что пришлю ему портрет Боденштедта и напишу о нем некролог.

25 апреля 1892

Был у Н.С. Лескова (23-го числа). В изумлении остановившись в первой комнате, я подумал, что попал в музей: сверху и снизу, справа и слева — ста-

ринные картины, оружие, статуэтки, книги, часы со звоном... Перегружено до неприличия, утомительно. Он сидел, съежившись, в мягком кресле у окна, а на его коленях сидели два маленьких шелковистых пуделя. «А это опять кайзер Фридрих III!» — «Да. Наверно, единственный кайзер, кого я люблю и ценю, он ведь подлинный мученик! Он был не от мира сего, был слишком хорош для мира сего, потому и умер. Сколько мог бы он сделать одновременно с Александром III? Нет, он не принадлежал своему времени!» Жаловался на астму и боли, вызванные ангиной, и я предложил ему ездить на велосипеде. «Это мне не поможет, ведь причина моего заболевания — душевный недуг. Может ли человек остаться здоровым, если всю жизнь был предметом *травли*; и даже в преклонном возрасте ему запрещают издать шестой том его сочинений?!.. Русская литература! Вот Вы назвали Вашу книгу "Русский Парнас". Смешно. Нет в России никакого Парнаса, одна только Лысая гора, на которой пляшут сатанинские танцы и звучит единственный русский гимн: "*Ах ты, сукин сын, комаринский мужик!*" — Ту же мысль он занес и в мой альбом: «*Ф.Ф. Фидлер хорошо делает, что знакомит европейцев с русскими поэтами, но он нехорошо сделал, что назвал книгу "Русский Парнас", ибо Парнаса у нас нет, а самая фантастическая из русских гор есть* ***Лысая гора****. Да худо и то, что в той книге не переведен самый основной русский народный гимн:*

"Ты, рассукин сын, комаринский мужик".
"И это тебе, немчик, вина!"

Николай Лесков».

О Фофанове сказал: «Это поэт с головы до пят, непосредственный, в нем нет ничего надуманного и деланного; он сочиняет, независимо от своего желания. А кроме того, надо ж ему иметь какое-то другое занятие, которое отвлекало бы его от пьянства. В свое время я предложил Суворину дать ему службу в издательстве, но мой план рухнул: Репин женил его. А что вытворяет его любимая супруга? Пока он был в лечебнице для душевнобольных, она продала его книги и письменный стол и приобрела пианино, на котором играет. Нет, лучший брак для поэта — это внебрачная связь с девушкой из народа. Пусть оба живут посвоему и один не вмешивается в дела другого... Однако Фофанова ждет печальный конец!»

Затем говорил загадочно-убежденно о внушении и мистицизме и издевался над «попом Иваном Кронштадтским».

13 мая 1892

Около четверти часа болтал с А.С. Сувориным. Я спросил, читал ли он рецензию на «Татьяну Репину», появившуюся в первом номере журнала «Theater-Revue für Bühne und Welt»[82]. «Да, читал. Написано каким-то мракобесом, и по-

нятия не имеющим о русской литературе, но позволяющим себе судить о ней. Он ставит меня в ряд знаменитых *драматургов* — да он просто глупец! Я — журналист и лишь в исключительных случаях — сочинитель; мои пьесы и моя проза — как раз сейчас я пишу роман — возникли случайно. Меня возмущает беспринципность этого субъекта! Он расхвалил в журнале “Татьяну Репину”, зато разругал ее, как я недавно узнал, в другом месте, называя безнравственным произведением!»...

Мы заговорили о журнале «Freie Bühne» и Молодой Германии[83]. Я слежу довольно внимательно за новинками немецкой литературы (Вольф прислал мне недавно счет за издания, которые я получил с января до конца апреля, — более 400 рублей!), но не могу сказать, что нахожу в ней нечто значительное. Дело не в том, что меня не устраивает тенденциозность отдельных авторов — о нет! я люблю молодежь, ее бурные порывания освежают меня... да я вовсе и не обязан разделять их взгляды, могу даже относиться к ним враждебно... но я вижу устремленность к намеченной цели, самоотверженное безрассудство: в этом есть свое очарование, свой *букет*, как Вы выражаетесь... Однако современная немецкая литература не обещает, мне кажется, ничего особенного: все это в основном подражания скандинавам — Ибсену, Стринбергу. Кто мне очень нравится — это Максимилиан Гарден как “Apostata”[84]».

Такого просторного и благородного кабинета, такой огромной и отборной библиотеки я не видел ни у одного частного лица.

12 августа 1892

Недавно вернул В.Р. Зотову лечебную книгу Кнейпа, присланную его женой. Эта пара вовсе не употребляет вина, каково же было мое удивление, когда на столе появилась огромная бутыль красного (туда вошло бы по меньшей мере три обычных бутылки). Он считает куренье порочной привычкой, хотя сам ни разу не пробовал. В его библиотеке собраны все запрещенные издания (иностранные и отечественные), относящиеся к России; среди них — полный комплект «Колокола», который попадается крайне редко. Рассказывал о Лермонтове: «Я был тогда учеником Царскосельского Лицея, и Лермонтов часто навещал нас. Мы сидели на свежем воздухе и курили; небрежно перебросив через плечо свою гусарскую шинель, Лермонтов любил декламировать нам непристойные стихи; никто из нас не мог и предположить, что он обладает более чистым и возвышенным даром. Он сутулился, а черты его лица были *язвительно*-насмешливые. Хороши были только его большие выразительные глаза».

Шестого числа сего месяца был в городе. У Альбова (т.е. Соловьева-Несмелова) встретил Мамина-Сибиряка, который у них ночевал и с похмелья держался заносчиво. В довольно презрительном тоне говорил о собственных сочине-

ниях; не придает им ни малейшего значения. Выпил с ним у Черепенникова макаровского красного вина. К сожалению, разговор шел исключительно о его жене, актрисе, умершей весной при родах; он прожил с ней вместе всего пятнадцать месяцев, но был очень счастлив; эта потеря потрясла его глубочайшим образом. <...>

23 августа 1892

<...> Вчера меня навестил Арсений Введенский. Сперва, разумеется, говорил о своих изданиях классиков и своих врагах, затем — о распаде современной русской литературы, об астрономии, а под конец стал на чем свет стоит бранить евреев. Приведу лишь отдельные из его высказываний. «Евреи — подлейшая и вреднейшая нация. Да, я верю в то, что они пьют христианскую кровь, и готов даже вооружиться, чтобы их давить! Они портят русский язык». «Как поэт Гейне тоже был насквозь евреем, об этом говорит его лирика, в ней есть разлагающее начало. Лассаль — *прохвост*. Я почитаю только Спинозу»... «Шелгунов — совершенно необразованный и наглый писатель, ему следовало бы оставаться в своем лесничестве»... «Я знаю лишь одного гениального мыслителя и поэта — Шекспира; Гете был гениальный мыслитель и очень талантливый поэт, это можно видеть по “Фаусту” и “Избранному сродству”»... «Полонский талантлив, но глуп (*Богом обижен*)»... «Каждому беллетристу, поскольку он не критик, следовало бы стать редактором: он постоянно читает чужие произведения так, словно сам написал их»... «Я — самый молодой среди русских писателей, ведь я вступил на литературную стезю в 1879 году... Я — сын бедного деревенского дьякона; в семинарии меня часто били розгами; будучи самоучкой, сдал вступительный экзамен в университет; посещал три факультета, а закончил один юридический»... «Приехав в Петербург, я оказался в страшной нужде: целый месяц ночевал на улице. Очень туго пришлось мне и тогда, когда я — уже имея жену — находился под надзором полиции; меня подозревали в симпатиях социализму...»

7 сентября 1892

Посетил Василия Ивановича Немировича-Данченко (отель «Англетер», № 35). Я пришел после двенадцати; он только что встал и одевался в соседней комнате. На столе перед софой — пять больших и толстых альбомов с портретами актрис; на письменном и другом столе — сплошь театрально подстриженные женщины (портреты кабинетного формата). На трюмо — флаконы с духами. Он вышел ко мне с возгласом: «А, коллега!» — «Вы еще меня помните?» — «Конечно. Мы познакомились на обеде у новостийцев, а кроме того виделись у Н.А. Лейкина. Я хорошо помню, что должен Вам подарить мои стихи. Но

книга распродана, и у меня самого нет ни одного экземпляра. Вскоре появится новый сборник моих стихов; а покамест позвольте вручить Вам взамен кое-что другое». И он подарил мне: «*В тюрьмах*», «*Незаметные герои*» и «*Кама и Урал*». Надписывая книги, он держал перо почти горизонтально. Был очень любезен и заставил меня выпить с ним «утренний» кофе. Я спросил, знает ли он, что его романы «Цари биржи» и «За кулисами»[85] переведены на немецкий язык. — «Конечно, эти книги у меня есть... вот они. "Царей биржи" хвалили, "Кулисы" же в основном ругали. Меня удивляет, что переводчики выбрали именно эти вещи. Наиболее удачными из своих произведений считаю короткие рассказы, вошедшие в книги "*Впотьмах*" и "*Незаметные герои*". А вот англичане перевели почти все, что я написал». — «Да ведь это получается небольшая библиотека!» — «Конечно. На одном только русском языке у меня появилось 54 книги». — «А когда Вы начали писать?» — «В 1874 году». — «А Вам не в тягость бесконечные путешествия?» — «Вовсе нет — я умею путешествовать. В конце сентября или начале октября я снова отправлюсь в Италию. Этим летом в Палермо я познакомился с Зудерманом; красота этого человека произвела на меня впечатление».— «Как и когда Вы пишете?» — «Во-первых, я надолго задерживаюсь в одном месте, скажем, Мадриде или Севилье, а во-вторых, хотя я довольно долго осваиваю внутри себя какую-либо тему, но переношу ее потом на бумагу с невероятной легкостью и скоростью; я полностью освоил технику». — «И, путешествуя, Вы, конечно, ведете записи, что тоже, ведь, отнимает немало времени?» — «Разумеется. Об одной Испании у меня целых двенадцать томов таких записей, из них я использовал только четыре». — «А как Вы изъясняетесь в разных странах?» — «Когда я приехал в Петербург, я знал только русский, а теперь я владею шестью языками». — «Вы наверняка пережили немало интересных приключений». — «О, великое множество! Еще ребенком я прикоснулся на Кавказе к опасностям военной жизни: часто, просыпаясь в палатке, я слышал грохот орудийных снарядов». — — — Мы заговорили о литературе; привожу некоторые из его суждений. «Фофанов ужасно талантлив (он несколько раз повторил слово «ужасно»), *но не он владеет образами, а образы владеют им*». — Коринфский тоже очень одарен. Это робкий юноша, он не пьет и не курит и женат (или был женат); у него завелись деньги, и он, влюбившись где-то в Царицыне в одну актрису, стал театральным антрепренером; но дела шли плохо, и его возлюбленная от него убежала»... Майков (А.Н.) — сама посредственность и аккуратность; говорят, что он каждую субботу записывал, что и когда он должен сделать на предстоящей неделе; он заранее намечал даже день и час своего совокупления с супругой, а потом в точности исполнял намеченное». — «Как мог Глеб Успенский растратить капитал своих детей? Ходил в Москве от одного нотариуса к другому, пытаясь найти законный способ защиты от разбазаривания восемнадцати тысяч рублей». — «Старик Вейнберг все еще гоняется за дамами с не меньшим усердием, чем наш брат».

23 октября 1892

Вчера — у Мамина-Сибиряка; там был и Альбов. Мамин рассказывал удивительные истории, какие-то волшебные сказки о красоте природы и подземных сокровищах Урала, его родного края. Потом — о своем писательстве. Его продуктивность удивительна. Он начал писать в 1873 году и опубликовал к настоящему времени шестьсот печатных листов; еще четыреста листов — в рукописи (среди них — множество драм, которые он переделывал по два-три раза, зато ни одного стихотворения: не владеет стихотворной техникой). Пишет в год не меньше пятидесяти листов (Альбов все время сидел, смущенно опустив голову и не говоря ни слова). Затем стал показывать нам свои редкости: окаменевший кусок дубового дерева, рукописный указ XVI века, старые монеты, редкие драгоценные камни и др. В гостиной и кабинете висят, стоят и лежат — в полный рост и в миниатюре — портреты его жены, потеря которой для него — безутешное горе; не может говорить о ней иначе, как со слезами в глазах и голосе; в ближайшие дни ее эксгумируют и перезахоронят в новом склепе. Трогательно и нежно привязан к своему семимесячному ребенку — Аленушке. Подарил мне оригинал своей повести «Братья Гордеевы» — рукопись, о которой никто не скажет, что это черновик: не зачеркнуто ни одного слова; все его рукописи кажутся аккуратнейшими копиями, а на самом деле — черновики, которые затем печатаются слово в слово. Только в драмах он кое-что меняет, но не уточняя отдельных выражений, а вводя совершенно новые сцены, а то и целые действия; особо хочу подчеркнуть: он пишет пол-листа за четыре часа). Сперва он написал вверху: «*Эта статья написана в пору любви и счастья... Да будет вечная память той, которая любила автора и которую любил автор... Дарю эту рукопись другу Федору Фед*[*оровичу*]» и т.д.; потом страстно поцеловал рукопись и передал ее мне.

Затем говорили о дуэлях, которые он горячо защищает. Гете для него не гений, но считает таковым Шекспира; Шиллера называет фразером и терпеть его не может... — — —

19 августа, в половину первого ночи, в ресторане «Медведь» состоялась вечеринка памяти Кольцова. Был и Михельсон, который владеет немецким, как я французским; мой правильный немецкий в переводах Кольцова кажется ему чудовищным, а в своем переводе, вернее, перевирании малообразованного Кольцова, он воспроизвел даже неверные грамматические формы. Держа в руке стакан шампанского, он подошел ко мне и представился не как конкурент, а как соратник в общем великом деле. Все захлопали. Позже, когда на нас уже никто не смотрел, он сказал, что мой перевод Кольцова страдает излишним изяществом формы и что он (Михельсон) не таков, как другие переводчики, работающие ради денег. Знал бы он, что переводами на немецкий я не заработал себе даже черствой корочки!

После ужина ко мне пришел Мамин. В прошлый раз он рассказывал, что в Екатеринбурге, его родном городе, за три года было продано всего два экземпляра его романа. Мы пили наливку, и на часах было уже семь, когда мы расстались. По дороге он зашел во Владимирский собор, «*помолился и поплакал*» и вернулся домой в свою одинокую квартиру, где каждый предмет (на туалете стоят еще медицинские склянки) напоминает ему о его незабвенной красавице Марусе. Я видел ее лишь однажды: 29 декабря 1891 года у Любови Яковлевны Гуревич, где и познакомился с Маминым, оставившим в моем альбоме такую запись: «*Собирание автографов, как всякая другая страсть коллекционировать, относится к области маленького психического расстройства*». Лишь после того как я обратил его внимание на то, что он сделал мне этим плохой комплимент, он со смехом переправил точку на запятую и добавил: «*которое я разделяю*». Непомерная полнота его беременной жены возбуждала в тот вечер всеобщее внимание.

29 октября 1892

Вчера говорил с Маминым. «Современные русские беллетристы, такие, как Альбов, Баранцевич, Чехов, Короленко, пишут своими нервами для будущих поколений; а меня эти будущие ничуть не волнуют, я пишу свежо и энергично, ведь у меня здоровые нервы. Впрочем, Альбов может плохо кончить!»

Альбов был в подавленном состоянии — таким я видел его крайне редко. Профессор Мержеевский сказал, что у него неврастения в опасной форме. Поэтому на следующей неделе он уезжает на месяц или два к Евгению Святловскому в Полтаву, где надеется отдохнуть и успокоить нервы. «Когда утром я просыпаюсь, голова у меня тяжелая, как свинец, и, словно идиот, я пялюсь часами в одну точку... Я слишком труслив, чтобы совершить самоубийство, — боюсь физической боли; нирвана же меня совсем не пугает... Нет, ты ошибаешься, говоря, что со смертью жены закатилось мое солнце, — никакого солнца у меня никогда не было; мой брак был лишь *прицепкой* к жизни, попыткой существования. Смерть все разрушила, жизнь стала мне в тягость — но я слишком труслив!»

Разговор происходил в ресторане «Бель-Вю» за бутылкой коньяка. Впрочем, такие же или почти такие же речи он произносит и за стаканом самого обыкновенного чая.

5 ноября 1892

Сегодня трехчасовым поездом (в спальном вагоне 3-го класса) Альбов уехал в Полтаву. Его провожали Баранцевич, Соловьев-Несмелов, Мамин, Флексер и Любовь Гуревич. С двумя последними Мамин не поздоровался: не желает иметь

с ними дела, потому что они не выдали ему аванса, необходимого на похороны жены. В одном купе с Альбовым случайно оказался и А.П. Чехов, который пробыл здесь всего несколько дней; в качестве врача он консультировал больного Лескова (почечная болезнь и сердечная недостаточность) и предсказал ему всего-навсего год жизни. Эта встреча, похоже, пришлась Альбову не по душе; недавно он провел с ним (Чеховым) час-другой и заявил во вторник (то есть в среду, поскольку еще в семь утра мы сидели и пили вино на моем 33-летии), что Чехов ему несимпатичен: у него, мол, *«мазурницкие глаза»*. Мамин в ту ночь оказался плохим собутыльником: ссылаясь на срочную работу, он пил одну медовуху, а когда провозгласили тост за мое здоровье, выпил стопочку красного; сколько его ни уговаривали, он стоял на своем. Видя это, слабовольный Баранцевич, конечно, разозлился, и когда Мамин ушел, принялся его бранить за силу воли, а себя — за безволие. Впрочем, он был в приподнятом настроении: пел, танцевал и кувыркался на моей оттоманке. Все трое (Альбов, Баранцевич и Соловьев-Несмелов) сидели и пили за моим письменным столом, как уже сказано, до семи утра, пока я не встал и не крикнул: «А ну, выметайтесь!»

8 декабря 1892

Сегодня меня посетил Владимир Николаевич Ладыженский. Он — помещик в Пензенской губернии, наезжающий сюда время от времени, благо средства ему это позволяют. По его внешнему виду не скажешь, что он сочиняет маленькие стихотворения, не лишенные аромата поэзии, как например, нижеследующее, написанное им в альбом Елены Алексеевны Плещеевой и нигде не публиковавшееся:

К весенним грезам нет возврата,
Им сердца вновь не оживить,
Как солнцу в поздний час заката
Лучами льда не растопить.
Я песни грустные слагаю,
Невольный данник красоты,
Я в Ваш венок теперь вплетаю
Грозою смятые цветы.

А в альбом тетки Величко он написал (после партии в винт):

Играли в винт мы. Перед нами
Смешною пестрою толпой
Мелькали дамы с королями,
Таясь от двойки козырной.
Но мы от жизненной печали



Игрой забыться не могли:
Все так же дамы изменяли
И были глупы короли.

У него — очень милый импровизационный талант, который вопреки всем ожиданиям проступает лишь под конец и производит тем более комическое впечатление, что свои экспромты он произносит сухим тоном. В начале беседы с ним или в середине совершенно не знаешь, каков будет конец. Замечательно прозвучал его рассказ «Как стать поэтом» — в духе новозаветной притчи про юношу, желавшего попасть в царство небесное; он говорил в елейном тоне и эффектно завершил фразой: «Тогда лучше стану гусаром!» Взяв в руки стихотворения Минского[86], он открыл их на с. 158 и прочитал строчку: «"Здорово, дед!" — "Спасибо!"» — «Неужто он не обиделся бы, если бы, встретив меня на улице и сказав мне "Доброе утро!", услышал в ответ "Спасибо!"?» Сказал о стихах Льдова, что они «изготовлены на маргарине». Сам пишет очень мало, потому что поэт, по его словам, должен писать лишь тогда, когда ощущает в этом неодолимую потребность, и только о том, что сам испытал и хорошо знает.

Позавчера был Мамин. Когда я упрекнул его в том, что финал его романа «Золото» сильно запутан, он стал извиняться: «Я дописывал его в больнице, когда в соседней комнате рожала моя жена».

28 декабря 1892

22 числа сего месяца я посетил Скабичевского, который, ничуть не стесняясь, живет со вдовой доктора Топорова (приятеля Тургенева). После долгого раздумья он, стоя у конторки, сделал в моем альбоме следующую запись:

По ремеслу я критик и биограф,
Но и экспромтом в добрый час
Могу почтить охотно вас.
Вот вам и весь автограф.

Он подарил мне свою «Историю русской литературы»[87] и посетовал, что книга совсем не расходится: за месяц удается продать лишь шесть экземпляров.

До этого был у Засодимского (я познакомился с ним 6 декабря у Н.К. Михайловского). Увидев в моем альбоме фотографию Виктора Гюго с его собственноручной подписью, Засодимский сказал, что и он обладает редкостью, и показал мне фотографию Росси; они общались с помощью переводчика, который говорил по-французски (не по-итальянски). В его облике есть что-то привлекательно чистое и успокаивающее.

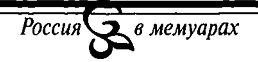
Вчера был у Лейкина; он защищал диалог в романах и новеллах, поскольку автору, по его словам, нельзя приписать в этом случае определенные суждения и сентенции, что почти неизбежно при *отсебятине*. Чехов развивал свой план дешевого ежемесячника стоимостью два рубля в год: при числе подписчиков сто тысяч человек это принесло бы десять тысяч рублей чистой прибыли. Денежного вопроса он касался неоднократно и с подлинной страстью. Брак сковывает творческую силу художника (Ясинский, конечно, радостно согласился с ним). «Будь у меня деньги, я постоянно бы путешествовал; вот Немирович-Данченко — счастливчик! И все-таки я не смог бы навсегда расстаться с Россией: она необходима мне как носовой платок»... Настойчиво рекомендовал мне прочитать очерк Гарина «В деревне»; народная среда, по его словам, редко получает столь прекрасное воплощение. «Я пишу не много; восемь месяцев в году я отдыхаю». — — —

Ясинский рассказал мне о двух своих романах с замужними женщинами. Теперь он живет на даче Громова (в пристройке) возле Новой Деревни. Дети чувствуют себя там великолепно. Ничего не пил. «Стоит мне вечером выпить, ночью меня одолевает *кошмар*»... Фруг не произнес почти ни слова, проявляя интерес лишь к игре в карты. А.Н. Чермный, автор книги «Море и моряки», заявил, что половина того, о чем пишет в своих морских романах Марриет, — чистый вымысел.

Лейкин сказал (впрочем, еще в понедельник в Русском литературном обществе), что Альбов, чья роль в редакции «Северного Вестника» — весьма пассивная, это «*кот в лабазе*»: он сидит там только для украшения.

30 декабря 1892

Вчера, спустя много лет, вновь посетил Водовозовых (Семевских). За ужином сидел рядом с Н.Н. Златовратским. Петербург нравится ему гораздо больше, чем Москва, где вообще нет литературной жизни. Он занят сейчас большой работой, которая, по всей видимости, получит заглавие «*Дети освобождения*»[88]. Пессимизм Ибсена не найдет, по его словам, ни малейшего понимания у русских: даже самый большой пессимист в России не теряет оптимистических надежд. В похоронах Фета не участвовал: «У меня с ним ничего общего». Никуда не ездит без сопровождения, потому что подвержен обморокам. Мамин обнял меня и, расцеловав, воскликнул: «Федя, ангел!» — эти слова он повторил за вечер не менее двадцати раз; расхваливал меня перед другими (в моем присутствии) и называл «фанатиком литературы». Златовратскому говорит «ты». Михайловский (Н.К.) сказал мне: «Недавно вместе с сыном читал Вашего “Кольцова” и сравнивал с оригиналом: верность оригиналу и поэтическая красота воистину поразительны!»



1 января 1893

Позавчера у меня собралось литературное общество (более двадцати человек). Вместе со Златовратским явилась какая-то маленькая фигурка, вся укутанная платками; близорукие глаза глядели сквозь металлические очки, укрепленные на переносице белой ниткой. Во всей ее внешности было нечто беспомощное и жалкое. «Это со мной!» — сказал Златовратский, и ни слова более. Загадочный незнакомец возбуждал всеобщее любопытство; меня спрашивали, кто это такой, я не знал, что сказать, и в связи с этим было немало шуток. Златовратский попросил меня перевести ему написанные по-немецки автографы из моего альбома и говорил, покачивая головой: «Ну вот, опять философия!» Потом стал выпрашивать мои переводы: «Сам-то я не смогу их прочесть, но с помощью моих детей мне удастся, наверное, уловить красоты Ваших переводов, которые все так хвалят». Он пил водку, пиво и вино и танцевал кадриль. Чехов переходил, так сказать, из рук в руки. Он остановился, как обычно, у Суворина и, вероятно, пробудет в Петербурге долгое время. «Сейчас я совсем без денег и хотел бы осуществить какую-нибудь большую работу, чтобы уехать в Чикаго. Думаю поселиться где-нибудь возле Новой Деревни; ну а если мне и там не дадут работать, вернусь обратно в свое имение».

Юлия Безродная произвела на всех какое угодно, но только не благоприятное впечатление. В обществе и в письмах принято употреблять ее псевдоним, но она не скрывает и своей фамилии по мужу: Виленкина. Не соглашается на законный развод с Минским: «Это ни к чему, я чувствую себя и так совершенно свободной»; живет в течение нескольких лет с другим, которого, однако, зовут не Мамин (у него немецко-еврейская фамилия*); жена моя случайно слышала, как оба говорили друг другу «ты». Временно (постоянное местожительство — Саратов) живет в доме, где помещается редакция «*Мира Божьего*». «Впрочем, Вы можете в любое время дня застать нас у Давыдовых, у себя в квартире мы только ночуем». Михайловский пришел рано и ушел рано — ему предстояло посетить еще одно собрание. Моя роль хозяина привела к тому, что с каждым из гостей мне удалось перемолвиться лишь парой слов: приходилось метаться от одной группы к другой. Но я слышал, как он (Михайловский) говорил о культуре Японии и защищал поэзию Фофанова (которого, как и Минского, не было). С обычным выражением лица, безо всякой злобы, он расспрашивал меня про Альбова (еще не вернувшегося из Полтавы), однако на щеках у него появилась краска, когда Лейкин сказал, что Альбов — это «*кот в лабазе*», и всю ответственность за него возложил на «*жиденка*» (читай: Волынского, который, конечно, отсутствовал)[89]. Ясинский почти ничего не говорил, лишь энергично

* Его зовут Ганейзер.

шевелил губами, склонившись над тарелкой с дичью; то было зрелище, достойное созерцания. Он принес мне свой портрет и книгу «*Осенние листы*» (правильней было бы «*листья*»!). Чермный тоже подарил мне свою книгу — «*Море и моряки*»; в отличие от Ясинского он задумчиво подносил к губам один бокал за другим, но я не сказал бы, что он выпил больше, чем требуется для утоления жажды; внешне, во всяком случае, это никак не проявилось. Он — английского происхождения; его настоящая фамилия — Черман. Баранцевич по обыкновению был скромен и мил и спросил меня, откуда я набрал столько писателей. Действительно, откуда? Лучше других на этот вопрос мог бы ответить Мамин. Вот как получился этот импровизированный вечер. В воскресенье у Лейкина Чехов спросил меня, когда ко мне можно зайти. Понедельник и вторник у меня уже были заняты, значит, — в среду. О своем визите ко мне Чехов говорил в присутствии Ясинского и Чермного, поэтому я был вынужден пригласить их обоих. Потом, вспомнив, что Лейкины все равно должны заглянуть ко мне на этой неделе, я пригласил и их. Чехову же пообещал, что познакомлю его с Маминым, и написал об этом последнему. Ничего не подозревая, зашел к Семевским, а там — Мамин, и кричит: «Знаешь, кого я завтра к тебе приведу? Златовратского! Прекрасный человек!» Я, разумеется, с радостью согласился. Когда я беседовал с Безродной, он подошел ко мне и воскликнул: «Федя, ангел, ты ведь Юлию Ивановну тоже пригласишь?» Затем отвел меня в сторону и напомнил: «Ты должен пригласить и Давыдовых!*» Я пригласил. «А Михайловского пригласил?» — «Н-нет». — «Ах, Федя, ангел, разве ты не знаешь, что Александра Аркадьевна с ним дружит!» Таким же образом попали в число приглашенных и Семевские. Все произошло молниеносно, так что я не смог его предупредить, что придет и Лейкин. Вечером Мамин отвел мою жену в сторону и посетовал: «Что ж это Федя ничего не сказал мне о Лейкине?..» И с какой стати все они ополчились против Лейкина? Конечно, Лейкин не «красный», но во всех его писаниях нет ни одной строки, за которую его можно было бы упрекнуть в ретроградстве; а по отношению к церкви он держится даже весьма либерально. Пускай его сочинения последних лет поверхностны и лишены художественности, но ведь он создал и прекрасные вещи, как, например, «Христову невесту». Или же люди завидуют его успеху, который принес ему не только славу, но и немалые деньги? Этот факт отрицать невозможно: он — самый популярный из русских писателей (вижу перед собой, как живого, великого Майкова в Русском литературном обществе, который, лучась от удовольствия, перелистывает книги Лейкина и жадно ищет рассказ «Именины кухарки», называя его «*прелестная вещица, ужасно смешная!*»)... При этом я начинаю думать, что общество, для которого писатель вроде Лейкина недостаточно либерален, почувствовало бы

* Отсутствующую Александру Аркадьевну через ее детей Лидию и Николая.

себя шокированным от присутствия цензоров Майкова и Полонского. А ведь оба — поэты и художники милостью божьей, и у них собирается вся петербургская интеллигенция... Правда, Лейкин там не появляется. Зато он общается с такими людьми, как Чехов, Лесков, Гнедич, Немирович-Данченко и другими, а их-то никто не назовет лакеями. Кроме того, у него множество писем умерших писателей первой величины. Действительно: в своих воспоминаниях и речах он несколько ординарен... вот почему, возможно, поддерживать с ним знакомство считается «mauvaus genre»[90]. При случае поговорю об этом с Маминым.

В заключение хотел бы отметить для ясности характерную деталь. Народу было такое множество, что наша кухарка совсем выбилась из сил. Был и один-единственный немец — мой родственник Шёберг; он оставался до самого конца. Когда измученная Марфа подала ему шубу, он сунул ей двадцать копеек, и она растроганно воскликнула: «Спасибо, барин! Вы поблагодарили меня за всех — ни один из писателей не дал мне ни копейки!»

2 января 1893

Что, собственно, представляет из себя Мамин? Какую роль он играет? В Петербурге он относительно недавно и вращается, насколько я мог заметить, в узком кругу, причем держится всякий раз как старинный и близкий друг дома. Года не прошло с тех пор, как он был избит Далматовым и стал на короткое время героем дня. Прошу прощения: согласно записи в этой тетради я познакомился с ним 29 декабря 1891 года у Гуревич (в июле—августе он опубликовал в «Северном Вестнике» своего «Верного раба»), где он уделял внимание главным образом своей жене и держал себя очень скромно, совсем незаметно. Никому из русских писателей, с которыми я знаком, он был до этого времени почти не известен, иначе его имя упоминалось бы в моем дневнике (я веду его с 26 февраля 1888 года), где оно ни разу не встречается, как и в моих «Ежедневных записях». В середине или в конце лета он часто появлялся у Соловьева-Несмелова (т.е. Альбова), уговорившего его сотрудничать в «*Нашем Времени*» (с 18 июля там публиковался его рассказ «*Дети*»). С тех пор он с ними на «ты», ночует у них. Он без приглашения явился ко мне 17 сентября; не замечая меня, вошел вихляющей походкой в гостиную и скучающим взором принялся разглядывать картины на стене; мы выпили с ним на брудершафт. 19 октября на ужине в честь Кольцова он наклонился к моей жене и стал ей доверительно что-то шептать. Потом я дважды встречал его у Н.К. Михайловского (15 ноября и 6 декабря), где он держался более чем непринужденно: обнимал мужчин и любезничал с дамами. 6 декабря сопровождал Давыдову, навестившую нас. (Уже на пороге она восторженно воскликнула: «Я принесла Вам “*Мир Божий*”! Прочтите “*Последнюю требу*” Мамина!» В русской литературе не было за последний год

подобного шедевра! Вы непременно должны перевести этот рассказ на немецкий — непременно, непременно!!» — «Но Александра Аркадьевна, — возразил я, улыбаясь, — Мамина нужно переводить не столько на немецкий, сколько сперва на русский!».) Спустя неделю мы нанесли ответный визит. Там же был Мамин, который вел себя как хозяин дома и втихомолку шушукался то с одной, то с другой женщиной; отправился провожать докторшу Пименову; но перед уходом нежно поцеловал руку Давыдовой (та, как влитая, сидела в кресле), и она шепотом ему напомнила: «Нынче вечером!», на что он молча кивнул головой (этот кивок мог означать либо снисходительность: «Мол, ладно!», либо покорность: «Как же я могу не придти!»). Не менее развязно вел он себя и у Семевских-Водовозовых. При этом в его действиях нет ничего высокомерного или вызывающего; напротив, они непроизвольно естественны. Все видят, что он в своей стихии, и принимают это как нечто самой собой разумеющееся. Но с женщинами он ведет себя так, будто состоит с каждой из них в интимнейших отношениях.

7 января 1893

<...> Был у Мамина. Он долго жаловался на нехватку денег; своими писаниями он зарабатывает более чем достаточно, но все уходит на покрытие старых долгов, воспитание ребенка, поддержку Марусиного отца[91], литературные обеды и т.д., тогда как сам вынужден носить в мороз легкие штиблеты; внешние его потребности чрезвычайно скромны — может обойтись десятью рублями в месяц. В воскресенье он был у Лейкина. — «Ты не последователен: раз ты что-то имеешь против него, так не надо к нему ходить». — «Ах, друг мой, я ведь хожу и в самые обыкновенные пивные или бордели!» — «Но объясни, чем это вам всем так не нравится Лейкин?..» И я произнес защитную речь. «Совершенно с тобой согласен. Но ты и представить себе не можешь, до какой степени мы, русские писатели, — варвары и азиаты! Нет никакого единства, одни *кружки*, и стоит двум писателям сойтись вместе, как тут же возникают три группы. Праздничный обед в “Неделе” (25 декабря) и юбилей Гайдебурова-Вейнберга чуть было не закончились скандалом; а недавно у Оппелей разыгралась неприятная сцена между Н.К. Михайловским и Владимиром Соловьевым. Давыдовы ничего не имеют против Лейкина; однако Безродная опасалась встречи с Ясинским — между ними в свое время что-то было — что именно, не знаю. Я, наверное, единственный, кто представляет собой исключение из правила: я вхож во все кружки». — «Как давно ты живешь в Петербурге?» — «Скоро два года: Маруся умерла 22 марта, а 21 марта мы приехали сюда». — «Ты сказал, что ходишь в бордели. Зачем тебе это? У тебя ведь так много знакомых женщин...» — «Ангел мой, я вижу, ты еще довольно неопытен. Никогда, никогда нельзя вступать

в связь с женщиной, с которой встречаешься в обществе: можешь говорить с ними о самых деликатных материях, но не путайся с ними, если не хочешь потерять свободу и навлечь на себя множество неприятностей. Всегда самый лучший выход — довольствоваться публичными девицами; в этом случае не несешь никакой ответственности и нет никаких последствий, за исключением нравственного похмелья, которое каждый раз меня сильно мучает».

У него сидел Златовратский. Он написал повесть, посвященную рабочему вопросу, но ее не пропускает цензура. И вот он предложил мне перевести ее на немецкий с тем, чтобы сразу же появился русский лжеперевод. Я придал разговору другое направление. — — —

Разговаривал недавно с Флексером—Волынским. Когда я заметил, что Мережковский отнюдь не глуп, он перебил меня: «Но и не умен. Я не знаю его критических работ, но по стихам видно: не он владеет материалом, а материал владеет им».

14 января 1893

Сегодня вместе с Альбовым, Баранцевичем и Чеховым был в ресторане «Ломач» (у Морозова). Альбов вернулся лишь вчера — глядя на него, не скажешь, что он хорошо отдохнул. За это время он, хотя и не пил, все равно ничего не написал, а лишь читал английские романы (конечно, по-русски).

Чехов пил очень умеренно: красное вино с сельтерской. Утверждал, что никогда в жизни не напивался и не испытывал похмелья (а потому и не выбалтывал никому своих секретов). Литературную деятельность он начал в 1879 году и писал в ту пору небольшие романы, выдавая их за переводы с немецкого; кроме того он сочинял исторические анекдоты, не имеющие под собой никакой фактической основы[92]. Высказал предположение, что декадентство в русской литературе одержит победу, «и тогда, — сказал он, повернувшись к Альбову и Баранцевичу, — мы будем получать всего-навсего тридцать рублей за печатный лист». Он разделяет мою привычку — есть один раз в день, зато основательно, рано ложиться спать и вставать в четыре часа утра. Затем мы с ним вдвоем отправились к Черепенникову. В минувшем году его книги принесли ему пять с половиной тысяч дохода, однако три из них ушли на уплату счетов суворинской типографии (в сущности, он сам издает свои произведения, а не Суворин, как указывается на обложках его книг), а остальная часть — на погашение долга, который он все еще выплачивает за свое имение под Москвой. «Я пишу очень мало, каких-нибудь десять листов в год и заработал всеми своими сочинениями в целом не более сорока тысяч. Сюжетов у меня предостаточно. Ранее, однако, я был весьма плодовит; должно быть, я написал около пятисот маленьких рассказов, но не могу собрать их вместе: они разбросаны по различ-

ным журналам и газетам, экземпляры которых я не сохранил. Как же мне их теперь отыскать?!» (впрочем, это он рассказывал еще в «Ломаче», а не у Черепенникова). Попросил у меня учебник Эртеля, по которому изучал немецкий язык в Таганрогской гимназии, и сказал, что хочет освежить свои знания и что немецкий забыт им не полностью. При этом он произнес несколько существительных, перепутав артикли. <...>

17 января 1893

Вчера вечером у меня были Альбов и Баранцевич. <...> Около двенадцати, когда разговор был в самом разгаре, раздался звонок, и в дверь вошел Чехов. Оба буквально втянули головы в плечи и почти ничего более не могли сказать, тогда как Чехов говорил все время — живо, хотя бесстрастно, без какого бы то ни было лирического волнения, но все же не сухо. О книге Мережковского «Упадок в русской литературе»[93] сказал, что она во многом наивна, но отличается свежестью и оригинальностью взгляда и увлекательно написана. «Однако бог, которого он так выпячивает, это русский бог жранья и питья, который приведет Россию к гибели». Потом рассказывал о своем пребывании на Цейлоне, своей медицинской практике, своем имении и уговаривал нас провести это лето рядом с ним (близ станции Лопасня Московско-Курской железной дороги). По-немецки не говорит вовсе, а по-французски — и того меньше. Прежде чем отправиться в Чикаго (конец мая), он хотел бы немного поупражняться в немецком языке; поэтому огорчился, узнав, что у меня нет Эртеля. Я предложил ему другой учебник, но он ответил: «Нет, мне пришлось бы учить его с самого начала, а Эртеля я уже знаю: мне достаточно лишь перечитать его пару раз, потому что многие фразы еще остались в моей памяти, например, "Ein Bliender saß am Wege und beetelte"[94]». Он любит путешествовать, но его тянет домой, в свое имение, которое ему очень дорого — он затратил на него немало сил и стараний. «Да и жить по-настоящему можно только в России: такой еды, как у нас, вы не найдете нигде». Я спросил его, является ли он врачом по убеждению, и он ответил, помедлив: «Да... я почти уверен и знаю по собственному опыту, что медицина в одних случаях может значительно облегчать страдания, а в других — удлинять человеческую жизнь». Ужасно страдает от геморроя и намерен оперироваться в Серпухове. Произойдет это, видимо, скоро, ибо уже во вторник он уезжает из Петербурга. «Я должен, наконец, приступить к работе; здесь мне это никак не удавалось». Вчера у него был день рождения, а сегодня — именины; в связи с этим он пригласил нас в «Палкин», но на часах уже было около трех.

В записи от 14 января я забыл привести анекдотическую историю, рассказанную Чеховым: «Типограф Голике сказал, что Полонский просил его привести меня к нему. Вскоре после этого приглашения мы в один прекрасный день от-

правились к нему. Голике подает служанке свою визитную карточку. Мы входим. Мой спутник счел излишним представлять меня. Садимся. Началась частная беседа, во время которой Полонский постоянно обращается к Голике, меня же полностью игнорирует. Это смутило не только меня, но и самого Голике, и он довольно искусно обратил внимание Полонского на мое присутствие и назвал мое имя. Изумленный Полонский поднимается и говорит: "Так, значит, Вы — Чехов? *Скажите!* А я-то думал, что Вы — и здесь он посмотрел на визитную карточку — "Гуликóв"!!" И долго еще знакомые называли меня: "Гуликóв"».

19 января 1893

Вчера в Русском литературном обществе состоялся доклад сказителя И.Т. Рябинина. Я пришел первым и вслед за мной — Д.В. Григорович. Мы представились друг другу. Неожиданно он увидел портрет Данилевского и воскликнул: «И здесь повесили эдакого *негодяя*!» Позже он рассказывал — в присутствии других лиц — о процессе Исеева—Клевера и добавил: «Это еще и продукт нашей русской *распущенности*!» Стоило мне упомянуть о моем альбоме, как он чрезвычайно любезно согласился оставить в нем свой автограф. Во время монотонного доклада Рябинина он писал карандашом на отдельном листке (который я сохранил), а потом — переписал чернилами в мой альбом:

Родишься — вскрикнешь — и живешь!
Живя, скучаешь — и умрешь.

Новый ресторан Общества расположен на верхнем этаже, в связи с этим Григорович сказал: «Вот уж, право, истинный Парнас: выдохнешься из сил, прежде чем туда попадешь!»

Мережковский был очень мил, шутил — в нем почти не осталось прежней жеманности. «Вы читали ибсеновского "Строителя"[95]?» — спросил он. — «Нет, еще не читал; говорят, нечто сверхсимволическое». — «Говорят! Да это его лучшее произведение!»... — «Возможно, и лучшее, — добавил Аверкиев, — поскольку остальные мало пригодны». Кто-то высказал предположение, что драмы приносят ему (Аверкиеву) немалый доход. «Да, огромный доход! За три года — семьдесят рублей от императорского театра, да иногда — пять рублей от частного!» Зиночка Мережковская очень исхудала, на щеках у нее появился подозрительный румянец. «У меня чахотка», — сказала она полушутя, полусерьезно. Прическа à la Мария Башкирцева придает ей необычный вид. Весьма интимно держала себя с Червинским.

П.В. Быков пишет уже более тридцати лет; имеет множество стихотворных переводов и перевел, в частности, всю «Книгу песен» Гейне, которую, однако,

не собирается издавать. «Какой из меня поэт! Я — библиограф, со школьной скамьи!» Занятия библиографией, а также редакторская деятельность отнимают у него все время и страшно действуют ему на нервы, так что у него часто бывают обмороки (по этой причине жена крайне редко отпускает его вечерами одного в гости). Мы говорили о «Ниве»; ее новому редактору, князю Волконскому, «следовало бы сперва обзавестись русской грамматикой и научиться правильно писать по-русски. Все думали, что место Клюшникова займет Введенский. Но это немыслимо: уже через пару недель он переругался бы со всеми сотрудниками».

Авенариус сказал, что мне следует переводить русские былины. «Я переписывался по этому поводу с Боденштедтом, но он, во-первых, испугался трудоемкого кропотливого труда, а во-вторых, забыл русский язык». Когда я поблагодарил Дедлова (Кигна) за его надпись на книге «Мы», он ответил: «Мне совестно от Ваших слов! Могу себе представить, какое обилие ошибок в моем немецком!» Теперь он перебрался сюда на постоянное жительство.

Чехов не собирался идти (мы говорили с ним об этом в субботу): «Я должник: три года не плачу членские взносы»; однако — пришел. Я обратил его внимание на обширную критическую статью, посвященную «*Палате*», в приложении к «Неделе»[96], и он сказал: «Я не читаю длинных рецензий: зачем портить себе кровь?» Величко попросил меня познакомить его с Чеховым, причем в такой форме: «Вы хотите, чтобы я Вас представил?» — «Представить? Нет, познакомить».

Аверкиев познакомил меня с Алексеем Антоновичем Потехиным, который держался очень любезно. «Как-то раз Вы посетили меня и не застали дома. Простите, что я не ответил на Ваш визит; я не знал Вашего адреса». С величайшей готовностью увековечил себя в моем альбоме:

«*Встретился с Вами в первый раз, в памятный для меня день, 18 января 1893 года, когда мы вместе слушали нашего русского рапсода И.Т. Рябинина*».

Впрочем, доклад рапсода показался ему однообразным.

22 января 1893

Разговаривал сегодня в редакции «*Нашего Времени*» с Аполлоном Аполлоновичем Коринфским. Я знаком с ним уже два года — по крайней мере, он сам удостоверил это на экземпляре «Отче наш» (приблизительный перевод Лютеровой песни, которому досталось от русской цензуры), подаренном мне несколько недель назад. Я встречал его довольно часто у Соловьева-Несмелова, но ни разу не мог завязать с ним более или менее продолжительный разговор: кругом были люди, да и он держался до робости скромно. Он начал писать в 1887 году и, живя в Симбирске, публиковал в самарских и казанских газетах рецензии на

журналы. В середине 1888 года стал с увлечением писать стихи, однако в печать они попали не ранее 1890-го. К настоящему времени его стихи появились уже в двадцати журналах. <...>

Вечером ко мне зашел Мережковский в двойном облачении: в обычном зимнем пальто на ватной подкладке и с меховым воротником и таким же точно пальто поверх (на улице было двадцать пять градусов). Принес мне «*Символы*», «*Об упадке современной русской литературы*» и свой портрет, по которому никак не скажешь, что предмет изображения — автор столь едкого памфлета. Сказал, что ибсеновский «Строитель Сольнес» — «самое великое, что он написал; это воплощенный символ и, значит, самое высокое, на что способно искусство. Символ — от рождения, он воспроизводит сам себя, тогда как аллегория создается художником, когда ему недостает силы чувства, мысли и выразительности»... «Герхарт Гауптман — могучий писатель, который немного подражает Толстому; впрочем, его “Ткачей” я так и не понял из-за диалекта»... «Шиллер мне отвратителен своей слащавой сентиментальностью. Поэзия не бурный протест, а тихое отречение»... «Гений не бывает остроумным, это — свойство таланта; пример: Гейне». — — — Мы разглядывали иллюстрированный атлас Кённеке, и я был чрезвычайно удивлен его обширными познаниями в области литературы, причем отнюдь не поверхностными: знает в мельчайших деталях жизнь и творчество Гете, которого называет богом. Я невольно воскликнул: «Еще ни разу в моей квартире не звучало из уст русского писателя так много имен иностранных писателей, как сегодня!» Он усмехнулся: «Да, в том, что касается иностранной литературы, русские писатели страшно необразованны». — «Когда же Вы успели так много прочесть?» — «О, я читаю крайне выборочно и лишь то, что меня интересует; Писемского, например, почти не знаю»... Мы заговорили о музыке. «Музыку я терпеть не могу, потому что ничего в ней не смыслю»... Своим высоким громким голосом он буквально забрасывает собеседника афоризмами и парадоксами, например: «Мои друзья — мои враги». За ужином он воскликнул: «Ах, если бы и у нас дома царил такой же порядок! Но моя жена совсем не домохозяйка!» — «Зато писательница», — сказала Люба. — «Я бы предпочел, чтобы она бросила писанину и посвятила себя хозяйству!»... Весьма презрительно отозвался об Андреевском: «*Адвокатишка*! Его литературное образование — совсем поверхностное; но он берет красиво звучащими фразами; впрочем, у него острый критический *нюх*; а стихи его довольно бездарны».

16 февраля 1893

Вчера был Мамин; сидел четыре часа, не умолкая ни на минуту. «Обилие материала душит меня: у меня в запасе более сотни сюжетов — хватит по меньшей мере на пятьсот листов; и все это — не плод фантазии, а результат ежедневных наблюдений, рассказы знакомых за стаканом вина о их судьбах и

приключениях. Вот недавно один человек, имеющий колоссальный успех у женщин, рассказывал мне о своей связи с молодой женщиной, которая пригласила его к себе и развлекалась с ним в присутствии своего еще молодого, но слепого супруга. Ну чем не сюжет?!» — «У тебя, наверное, уже страшно много написано!» — «Да, правда, я — человек труда и обязан Уралу не только силой, свежестью и выдержкой, но и всеми духовными и душевными порывами — вообще, всем, всем!.. Впрочем, я пишу довольно обычно. Если я ежедневно работаю только два часа, то в месяц выходит примерно шесть листов, причем с часу дня я уже свободен». — «Погоди, погоди: у меня плохая память на числа. Будучи аккуратным немцем, я предпочитаю записывать цифры». Я взял лист бумаги и записал под его диктовку следующее: «В течение десяти лет я опубликовал в "*Русской Мысли*" около сотни листов. За четыре с половиной месяца — с середины августа по декабрь 1883 года — были созданы романы "*Жилка*"[97] и "*Горное гнездо*", а также повесть "*Переводчица на приисках*" — в целом тридцать восемь листов». — «А ты уже давно в Петербурге?» — «Я жил здесь с 1872 года по 1877-ой и в течение примерно четырех лет давал репортажи в газеты "*Русский Мир*", "*Петербургский Листок*" и "*Новости*". Тогда же я напечатал под псевдонимом "Томский" роман "*В водовороте страстей*"». — «А стихов не писал?» — «Ни строчки, зато сочинял пьесы! Пять лежат совершенно готовые, да еще десять вариантов первого акта "*Завоевание Петербурга*" (провинциалами)». — «Какая из твоих вещей нравится тебе больше всего?» — «Никакая, я ведь не придаю им особого значения. Впрочем... ты читал "*Любовь*"? — «Нет». — «Вот это хорошая вещь!»

Собирается ехать в Москву, чтобы поговорить с актером Абрамовым, овдовевшим мужем Маруси, о судьбе Аленушки <...>.

Между прочим сказал: «Можете разрезать меня на мелкие кусочки, но я не понимаю Пушкина! Могу понять величие Гете и Лермонтова, но не верю в мнимую гениальность Пушкина!»

Вероятно, отправится за границу (где еще не был), чтобы заняться там воспитанием Аленушки. Летом будет жить скорее всего в Павловске, по соседству с А.А. Давыдовой, проявившей величайшую заботу о нем во время Марусиной болезни и кончины и одолжившей ему тогда тысячу рублей, из которых он уже отработал и вернул четыреста; он бесконечно ей благодарен.

Прочий разговор вертелся вокруг его похождений с певичками из варьете <...>.

18 февраля 1893

Вчера возвращался домой из Александринского театра вместе с Виктором Крыловым (Александровым). «Два первых акта "Свадьбы в Валени"[98] недурны, зато остальные — неудачны. Труппа Бока (Клейн, Лотте Витт, Дюмон) велико-

лепна; я был бы счастлив, будь у меня такая же!». — «Почему Вы перестали писать рецензии для “Новостей”? — «Они отнимают у меня слишком много времени». — «Рецензии?» — «Да, потому что я всякий раз пытаюсь придумать что-то новое и примечательное и трачу на это столько же времени, сколько и на любую другую работу». — «Может, не меньше, чем на целую драму?» — спросил я, улыбаясь. «Ну, не настолько, однако на это целиком уходит все утро». — «Наверно, теперь Вы прислушаетесь к писателям, открыто жалующимся на то, что их драмы покрываются плесенью в театральном архиве?» — «Ну, разве это драмы?! Такое дерьмо следует отправлять не в архив, а в отхожее место!» — — —

В театре разговаривал с Норденом (Хассельблатом), чью комедию «Образец добродетели» собирается вскоре поставить Бок. — «Вы публикуетесь в русских газетах?» — «Да». — «Тогда можно ли предложить Вашей милости мою пьесу?» — «Ради Бога, но при условии, что во всех актах не прозвучит ни единого выстрела!» — «Я вижу, Вы плохо меня знаете. У меня не бывает дешевых эффектов». — «Вы на десять процентов выросли в моих глазах!»

С этим господином я познакомился около трех лет назад (в театре, во время гастролей мейнингенской труппы); он всегда держался заносчиво. Прошлым летом я столкнулся с ним на станции Удельная; мы оба ехали в город. Я занял место в вагоне третьего класса, в то время как он небрежно зашел в первый. Перед этим он спросил меня: «Что вы сейчас переводите?» — «Лермонтова». — «Так, так. Собираетесь переплюнуть Боденштедта?» — «Да, собираюсь!»

28 февраля 1893

Вчера сидел с Альбовым в трактире «Царьград» (на Слоновой[99]) перед аквариумом, который послужил ему материалом для «*Рыбьих стонов*»[100]. Уезжая в Полтаву, он дал своей цыганке сто рублей с тем, чтобы она прекратила вести жизнь уличной женщины и сняла себе квартиру; она так и сделала, поселила в квартире проститутку, а сама спит рядом с кухней. Он все еще поддерживает ее ежемесячно, так что она больше не распутничает. «Она *втюрилась* в меня всерьез, и это мне не слишком приятно: хочется еще пожить своей жизнью — я ведь еще могу жениться!»

В четверг в Александринском театре во время представления пьесы Вильденбруха «Мастер Бальцер» разговаривал с П.И. Вейнбергом. Актеры были превосходны, и я сказал: «Разве не прекрасно играют?» — «Играют очень хорошо, зато пишут очень плохо», — ответил он.

15 марта 1893

Вчера мы с Любой обедали у Баранцевича. Неожиданно зазвонил звонок, и по голосам я узнал Соловьева и Альбова. <...>

Мы с Баранцевичем отправились к Черепенникову, где выпили бутылку красного вина. <...> Баранцевич намерен отправиться летом на Белое море — в поисках материала для своих писаний; намеревается также открыть комиссионный книжный магазин. Иллюзии! Сказал о Чехове: «Он — дипломат и умеет ладить со всеми».

25 марта 1893

В ночь с 23-го на 24-е умер Константин фон Юргенс, театральный критик «St. Petersburger Zeitung» и корреспондент ряда заграничных немецких изданий. Он отличался образованностью, знанием и вкусом, что заметно в его критических статьях. Мы часто сиживали с ним вместе в ресторане и пару раз навестили друг друга. Близости между нами не было; ему нравилось относиться ко мне как к начинающему, и он пытался расположить меня к себе, но я неизменно пресекал эти его попытки. В то же время ни один из нас не сказал другому обидного слова. Он держал себя всегда дружески и сердечно. Я хотел, чтобы мы посещали друг друга семьями, но он сказал: «Моя жена не появляется в обществе; приходите сперва к нам со своей женой». Но Люба не захотела идти первой. В последний раз мы виделись с ним 3 ноября прошлого года, когда я праздновал свой день рождения. Он пришел в шесть и провел около часа (торопился на спектакль в «Пальме»); мне хотелось задержать его до вечера, и я пообещал ему знакомство с несколькими русскими писателями, однако он сказал: «Вот к этому-то я стремлюсь менее всего». (Он вообще был настроен против всего русского и поддерживал все немецкое.) В тот раз он подарил мне сочинения Клингера. В его лице я потерял последнего немца, с которым мог увлеченно говорить об европейской литературе. Следовательно, я потерял очень много!

Я посетил дом умершего (почки, сердечная недостаточность, водянка). Вдова, взиравшая на происходящее как-то беспечно-безмятежно, сказала легко: «Что ж, должен ведь человек когда-нибудь умереть!»

Затем зашел к Мамину, вернувшемуся в воскресенье из Москвы; он не застал Марусиного мужа, зато успешно провернул свои дела с «Русской Мыслью» и «Русскими Ведомостями». Обещал свои произведения шестнадцати журналам (прочитал мне их названия). «Я теперь перестроился. Перехожу от этнографических повестей и романов к чисто поэтическим сюжетам и намерен написать серию ноктюрнов — маленьких психологических зарисовок». Чехова он ставит очень высоко, Короленко ему совершенно чужд, а Виктор Гюго для него целиком и полностью — «*тарабарская грамота*». Предполагает написать летом роман в тридцать листов. Жить собирается в Павловске: там много врачей, и ребенок будет отдыхать в прекрасном парке. «А еще музыка! Вокруг меня непременно должно быть движение человеческой толпы. Входя в переполненный театр или

концертный зал, я чувствую себя бодрее и крепче... Да, я знаю: публика называет меня этнографом. Странно, почему так не называют Гоголя? Я этнограф в той же степени, как и он». («Но не в такой степени художник, как он!» — подумалось мне.) У него много забот с новым надгробием для Маруси; позавчера ее эксгумировали; металлический гроб еще не опущен в землю: его полируют и запаивают. С восторгом рассказывал о предстоящей пасхальной ночи на кладбище: на каждой могиле зажигают свечку в маленькой лампадке. Он очень религиозен; иногда встает в четыре часа утра и идет молиться в Исаакиевский собор. — — — <...>

24 мая 1893

Гулял с Баранцевичем. «Скоро заканчиваю “Семейный очаг”. Пишу одну главу за другой». — «Это очень неудобно для читателя — ему нужны ведь паузы для передышки и отдыха». — «А у меня написанная глава уже растянулась на целый печатный лист». — «Ну, для меня такие длинноты невыносимы; мне стоило величайших усилий прочитать “Братьев Карамазовых”, где несколько больших страниц не имеют подчас ни единого абзаца». — «А вот я часами с упоением читал Достоевского, пока голова не начинала болеть!» — «Ничего себе наслаждение!» — «Литература должна не только давать наслаждение, но и...» — «Ты ведь имеешь в виду художественную литературу?» — «Да... ибо она создается тяжелым трудом, ибо она — наука». — «Литература — наука?» — «Да, ибо она должна просвещать нас и обогащать наши познания. Так, в романах различные персонажи побуждают нас к размышлениям и раскрывают нам, что такое человеческая душа...»

Лермонтов для него не слишком значителен, тогда как Пушкина он ставит, напротив, очень высоко, я же — как раз наоборот, поэтому он сказал: «Когда-нибудь мы с тобой поссоримся из-за Пушкина!»

Смешно получилось вчера: в присутствии Альбова я спросил у него про афоризм, который он недавно изрек у Горбачева, но текст я забыл. Я спросил: «Как же там было? Поэт зависит от обстоятельств?» — «Нет, обстоятельства зависят от поэта». Альбов совершенно наивно спросил: «Какой набитый дурак это сказал?» Я поклонился в сторону Баранцевича, а он — в сторону Альбова. Общий добродушный смех. —

Несколько заметок по поводу Альбова, — я записывал их от случая к случаю на маленьких листочках и вкладывал в эту тетрадь. — Он сказал в шутку: «А есть ли у немцев душа? У них ведь только *козлиный пар*!» 29 апреля: «Цель искусства — облагораживать человечество». Он не читал «Марию Стюарт» Шиллера (имею в виду: даже по-русски), тем более удивительно, что, увидев моего Ленау, он воскликнул: «Это тот, который сошел с ума?» — Роман «*Пшеницыны*» он отдал поначалу в «*Отечественные Записки*», но Салтыков вернул ему

рукопись со словами: «Длинноты просто невыносимы!» Потом роман появился в журнале «Дело», который редактировал Михайлов-Шеллер. —

В июне Альбов уезжает в Полтавскую губернию.

11 июня 1893

Вчера, на Любином 25-летии, среди других гостей был и Альбов. Ужасно подавлен, потому что хочет совершить путешествие по Волге, а Гуревич не дает ему необходимых двухсот рублей; однако после ужина танцевал со мной кадриль на песчаной садовой дорожке. В связи с предстоящим 50-летием писательской деятельности Мора Иокая сказал: «Это жалкий бульварный писака, вроде нашего Александра Соколова. Я читал три его вещи, но совершенно не помню их содержания. Помню лишь, что в эпоху Николая у него разъезжают по Петербургу в золоченых санях, запряженных оленями. Ну до чего же наглый народ эти иностранцы!» — «Подобные промахи допускает и Захер-Мазох. Что ты думаешь о нем?» — «Бездарный человек, пишет отвратительным стилем».

14 сентября 1893

Сегодня вместе с Альбовым и Маминым посетил кладбище Александро-Невской лавры и созерцал бренные останки различных русских святых; перед ларцем с мощами Мамин пылко осенил себя крестным знамением (за Альбовым я не наблюдал). Когда мы бродили среди могил, я, желая привлечь внимание моей дочери к жуткому надгробью (бронзовая женская фигура на коленях), сказал по-немецки: «Смотри, какая там лежит тетя!» На что Альбов сухо заметил: «На русских кладбищах не говорят по-немецки». Я не удостоил его ответом. Сперва Мамин расхваливал православие, говоря при этом: «Немцы стоят перед Бисмарком и сидят перед Богом». Затем перешел на болтовню в духе квасного патриотизма. Сказал: «Для русских было бы полезнее быть побежденными, нежели победить; и все же они победят немцев... разотрут их в прах, как плевок ногой... а Берлин станет русским областным городом». — Я молчал, глядя вдаль и, так сказать, поигрывая глазами. Альбов высказал свое заветное желание: Петербург должен исчезнуть с лица земли и превратиться в болото, каковым он некогда был. Оба отправились в Павловск на закрытие сезона и звали меня с собой; я поблагодарил «за оказанную честь».

1 октября 1893

Альбов сфотографировался (для «Нашего времени») и сказал сегодня, что он выглядит на этой фотографии как «старый буйный мандрил»... Он прочитал в

«Новостях» рассказ Захера-Мазоха «Hyäne der Pussta»[101] и возмущался «полнейшей бездарностью» автора. Зато расхваливал Марлит («Вторая жена» и «Золотая Эльза») и Вернер («В добрый час!») — он читал их по-русски.

Баранцевич полностью поддержал его мнение о Захер-Мазохе. Затем сказал: «Такой шум подняли вокруг Мопассана! А ведь он недостоин развязать ремень сандалии у нашего Чехова!» Еще сказал: «Если все немецкие писатели, от которых ты получил письма по поводу твоего Лермонтова, такие же, как Захер-Мазох, то мне жаль немецкую литературу!»

Да, я знаю, что какой-нибудь Захер-Мазох может превратить в их глазах всех немецких писателей прошлого и настоящего в заурядных писак. И знаю, что при первой же возможности они с удовольствием и злорадством используют имя Захер-Мазоха, чтобы ополчиться на всю немецкую литературу.

7 октября 1893

<...> Что касается Георга Брандеса, приведу запись от 10 апреля 1887 года из моего «Ежедневника»:

«Юбилей Полонского в связи с 50-летием его литературной деятельности. В шесть часов — обед в “Благородном собрании”[102] (по 12 руб. с человека). Общество, сверкающее бриллиантами. Познакомился с Георгом Брандесом. Он взял меня под руку и каждый свободный миг использовал для разговора со мной. Сожалел, что не ответил письменно на моего “Нерона”: его прямо-таки бомбардируют книжными посылками. Жаловался, что визиты неугомонных репортеров отнимают у него время, предназначенное для подготовки к предстоящим (здешним) лекциям. Пригласил меня к себе».

На его приглашение я никак не откликнулся — из робости и по недостатку времени. Приведенную запись могу дополнить по памяти несколькими деталями. Во время обеда он поднял бокал и произнес в честь юбиляра (коего не читал ни строчки, ибо не знает русского) французскую речь, в которой была такая фраза: «Le connaître — c’est l’aimer, et je l’aime”[103].

Рука об руку мы прогуливались с ним взад-вперед по большому залу и говорили то по-немецки, то по-французски. Он заметил, что все присутствующие дамы одеты безвкусно: «Русские женщины не умеют одеваться!» Я же, напротив, должен сказать, что туалеты были самими изысканными, которые я когда-либо видел.

Все русские писатели были возмущены самонадеянностью, которую он проявил в своих лекциях, особенно в отношении русской литературы: с величайшим апломбом изрекал величайшие банальности. Помню, что и газеты сильно негодовали по поводу столь надменного отношения к публике.



10 октября 1893

Вчера вечером у меня был Мамин, на днях вернувшийся из Москвы, где он, по его словам, «выдал замуж собственную невесту». Мечтает основать в Москве детский журнал (намеревается, кроме того, купить в рассрочку какое-нибудь имение): «Это — наивыгоднейшее дело! Несчастные три листа в месяц — да я напишу их и положу себе в карман пятнадцать тысяч чистыми за год!» Хвалил свою память: «Я не веду записей; пять-шесть отдельных слов — этого мне вполне достаточно для того, чтобы представить себе план целого романа и характеристику всех персонажей. Всего целесообразней, полагаю, работать ежедневно над двумя романами: утром над одним, вечером над другим. Такой переход позволяет сохранить свежими и фантазию, и силы». Собирается написать ряд исторических повестей, но до этого напишет еще одну («Черты из жизни Пепко»), изобразив в ней психологию поэтического творчества и неудачи начинающего автора. «Я начал писать в девятнадцать лет, и все мои работы в течение десяти лет редакции возвращали мне обратно, сочтя их незрелыми». Потом говорил о своей драке с Далматовым. «Я уже не помню деталей: мы оба были слишком пьяны... Он — добродушный человек, через несколько дней мы с ним помирились...» <...>

27 октября 1893

Вчера — именины Мамина (позавчера — его день рождения); он устроил праздник с таким количеством еды и питья, что можно было бы накормить и напоить еще человек пятьдесят (гостей было не более двенадцати человек). Баранцевич сидел у стены и угрюмо молчал; но с ним никто и не заговаривал. Михайловский попросил меня показать ему письма немецких писателей и сказал, что хочет написать о моих переводах Лермонтова и особо отметить, как воспринимают русского поэта за границей; я возражал против комплиментов в мой адрес, и Михайловский обещал этого не делать. Вовсю расхваливал мои переводы и противопоставлял их другим. «Вчера читал его “Калашникова”; *это какой-то фокусник!*» Он (Михайловский) протянул Ватсон (она жаловалась на грубость Виктора Крылова), разумеется, не намеренно, треснутый бокал с вином, а когда заметил свою оплошность, взял его сам, залпом выпил вино и раздавил бокал ладонью, при этом ничуть не поранившись; следует отметить, что он был вовсе не пьян — лишь много часов спустя, осушив в одиночку целую бутылку джинджера, он, кажется, заметно захмелел. Когда он разговаривал с Давыдовой, у нее вырвалось давно привычное «ты». Ватсон особенно возмущалась тем, что Крылов назвал переводчицу «Свадьбы в Валени» Мари Ватсон: «Умоляю Вас, я ведь не цирковая наездница и не мисс Флора!»

Сегодня за завтраком у похмелявшегося Мамина видел Гольцева (Виктора Александровича), приехавшего из Москвы на похороны Чайковского. Он выразил свое полное отвращение к комедии братания во Франции[104]; приписывает французам исключительно корыстные побуждения. Зато к немецкой культуре и духовной жизни относится с огромным уважением. Говорил о Плещееве: «Я очень любил его до тех пор, пока он не унаследовал миллионы, *потом же я горько в нем разочаровался*. Он, на собственном опыте познавший, что такое бедность, и всегда защищавший права обездоленных, — неужели не мог он пожертвовать целый миллион вместо того, чтобы отдать его своим сыновьям, которые все промотают?! У них и так остался бы миллион. А он, который всегда поддерживал Литературный фонд, завещал ему какие-то тридцать или сорок тысяч — разве такой подарок соответствует его средствам?»

Просидел наедине с Маминым целых два часа, осушив две или три бутылки вина; как всегда, говорил только Мамин: описывал Урал — страну несметных богатств, свою жизнь на родине, свои приключения с женщинами, но в его рассказах не чувствовалось жизнерадостно-теплого тона. Лишь о своей покойной жене он говорил с трогательной искренностью, и видно было, что он просто боготворит дочь Аленушку. В целом же общение с ним оставило меня, как обычно, равнодушным и безразличным. Считает свои «Ноктюрны» и «Детские тени» чрезвычайно удавшимися произведениями. Пишет сейчас «Аленушкины сказки».

28 октября 1893

Сегодня на похоронах Чайковского я сказал Виктору Крылову: «Нахожу бестактным, что Модест Чайковский не обратился к Вам с просьбой отменить сегодняшнее представление его “Предрассудков”». — «Напротив: я сам ездил к нему с этим предложением, он же настоял на том, чтобы представление состоялось».

2 ноября 1893

Встретил Мамина. Мрачен. «Что с тобой?» — «Свет меркнет для меня! Заболела Аленушка: совсем бледная, ничего не ест... я готов кормить ее собственной плотью! Вместе с Давыдовой я снял дом в Лесном и на днях переезжаю туда». — «А как твои дела вообще?» — «Плохо. Я поручился за одного из своих хороших знакомых и должен теперь заплатить 150 рублей. А другой приятель украл у меня часы, каналья!» — «Кто ж тебя заставляет иметь таких друзей?!» — «Ах, у меня куча друзей, которых можно назвать канальями!»... Мы посмеялись.

<...>

15 ноября 1893

Вчера был у Мережковских. Он пишет роман «Юлиан Отступник»; уже готово двенадцать листов. «Поскольку наша цензура будет, по-видимому, изымать страницами, очень прошу Вас похлопотать о переводе на немецкий язык. Вы сами не переводите прозу, знаю; но у Вас хорошие отношения с зарубежными писателями и издателями». Зинаида Николаевна занята повестью из жизни кухарок. Я сказал, что эта область ей, наверно, довольно чужда, но он возразил: «Она тщательно изучает свою тему, ведь она — натуралистка[105]. Она умеет внушить этим людям доверие, и нередко у нас на кухне сидят какие-то кухарки и сообщают ей все свои секреты». — «Она, вероятно, стала писательницей благодаря Вам?» — «Нет, она писала еще до того, как я познакомился с ней...» Его тянет за границу: «В этом рабском воздухе можно задохнуться!» Мы заговорили о его путешествиях, и Люба упомянула про чудесные пейзажи Капри. «Такие игры природы мне не по душе: все выглядит как искусственная декорация. Природа прекрасна лишь в своей простоте и величественности».

О «Цезаре и галлилеяне» Ибсена он сказал: «Первая часть замечательная, вторая — очень слабая». Статью Андреевского о Мопассане назвал «очень легкомысленной работой»[106].

7 декабря 1893

Вчера — именины Михайловского, который представил меня всем присутствующим как «*фокусника* перевода»; я не знал, куда деваться от смущения. Множество гостей; застолье началось в полдень и продолжается, наверное, до сих пор (сейчас, когда я это пишу, четыре часа утра или ночи). Всеобщий интерес вызывал несчастный Глеб Успенский. Уже три недели, как он в Петербурге; его признали «выздоровевшим». Преждевременная надежда: он все еще болен! Он почти ничего не говорил или же произносил отдельные слова, но так тихо, что ничего нельзя было разобрать; его взгляд принимал то болезненно сострадательное, то совершенно безучастное, то беспокойное выражение: казалось, он сознает, что за ним наблюдают. Он пил вино (кто-то из гостей шепотом советовал не наливать ему, но народу было слишком много; один уходил, другой приходил) и непрерывно курил — одну папиросу за другой. Наедине с собой он закрывал глаза и что-то шептал, шевеля губами. Я сказал ему, что в журнале «Magazin...» появился в прошлом году один из его рассказов. Название рассказа и номер журнала я забыл, но обещал, что завтра же (то есть уже сегодня) сообщу ему и то, и другое. «Да, приходите!.. Я подарю Вам свои сочинения... три тома». Михайловский попросил его (я сам не осмелился) сделать какую-нибудь запись в моем альбоме, и он с готовностью согласился. Я видел, как он

сидел четверть часа в маленькой комнате слева, задумчиво приподняв голову. В итоге он написал всего две строчки: «*Ваше дело, Федор Федорович, общее дело, общечеловеческое, великое*».

Ватсон принесла мне пять листочков с неопубликованными стихами Надсона. <...>

Теперь кое-что о двух других гостях.

Михеев расхваливал меня направо и налево. «Немецкий для него как русский!»; при этом он постоянно добавлял pro domo sua[107]: «Как здорово он перевел мою драму!» Сперва он пил красное вино, сразу вслед за тем — обычную водку, потом — белое вино и потом — зубровку; кажется, он напился как следует, хотя по его речам это было трудно заметить. Но я видел, как он сидел в кресле-качалке, закрыв глаза, в маленькой комнате справа. Мамин со своей неизменной короткой трубкой пил, пел, обнимал разных женщин и с грохотом свалился со стула. —

Был еще драматург Карпов; он говорил о своих пьесах.

8 декабря 1893

Вчера в половине четвертого, с трудом поднимаясь по лестнице к Глебу Успенскому (Васильевский остров, 9-я линия, дом 22, квартира 27, прямо во дворе, четвертый этаж), я чувствовал себя не в своей тарелке. «А вдруг он меня не узнает, — думал я. — Или же меня не пустят к нему?» Я позвонил; молодая девушка, видимо, его дочь, открыла мне дверь. «Глеб Иванович дома?» — спросил я. Ничего не сказав, она удивленно глянула на меня. Но я уже стоял в крохотной передней и увидел накрытый обеденный стол, за которым сидело трое детей, дама и молодой господин. Девушка исчезла, общество за столом безмолвствовало, я стоял в полной растерянности. В этот момент появился он. «Здравствуйте, Глеб Иванович!» — сказал я. Он посмотрел мне в лицо (в прихожей было очень темно, но свет падал от лампы, горевшей над обеденным столом) и протянул мне свою узкую руку: «А!.. Пожалуйста, входите, прошу Вас!» Он двинулся впереди меня, я мигом скинул шубу и хотел последовать за ним, но он вдруг свернул из столовой в какую-то комнату слева. Я вошел в столовую, дама поднялась, все стали смотреть на меня, я молча поздоровался, думая, что должен следовать за Успенским, однако у двери, ведущей в длинную узкую комнату, я увидел, что он там переодевается. Я повернулся в сторону столовой, общество продолжало безмолвно изучать меня недоверчивым взглядом — я чувствовал себя в высшей степени неуютно. Тут он вернулся, прикрывая рукой на шее не застегнутый доверху сюртук, из-под которого выглядывала ночная рубашка. «Моя жена...», — сказал он, не называя меня по имени. Я представился. «Доктор...» Я поздоровался. «Извините за беспокойство, Вы как раз обедае-

те!» — сказал я. «Да нет, ради Бога... Не желаете ли с нами...?» — «Спасибо, меня ждут дома».

Он вошел в ту же самую комнату слева, я последовал за ним, и мы сели у письменного стола, беспорядочно заваленного бумагами и газетами. Он взял в руки книгу: «У меня только третий том, но я непременно пришлю Вам и оба первых... завтра!» Я поблагодарил его и попросил надписать книгу. Он написал на обороте титульного листа: «*Дорогому Федору Федоровичу на добрую память Гл*[*еб*] *Успенский. 7 декабря* [*18*]*93. СПб.*» Итак, он не забыл моего имени! Я подарил ему моего «Лермонтова», которого он тотчас, не глядя, быстро сунул в ящик письменного стола. Затем я вынул лист, на котором у меня были записаны номера журнала с его рассказом и посвященной ему статьей Стычинского[108], и прочитал вслух. Тут вошла его жена и спросила: «Не могли бы Вы достать для меня эти номера? Я читаю по-немецки и переведу ему». (Еще у Михайловского он сказал кому-то, кто расхваливал меня как переводчика: «Я совсем не знаю немецкого языка».) Я пообещал. Потом спросил его: «Авторизован ли перевод Вашей "Бедной старухи"?» Он вопросительно посмотрел на меня, видимо, не понимая слова «авторизован». Я попытался выразиться яснее: «Просил ли Вас переводчик о разрешении?» — «Да, да... я получил какое-то письмо из-за границы... А Вы переводили что-нибудь из произведений Владимира Галактионовича (то есть Короленко. — *Ф.*)». — «Нет». — «У него есть замечательные вещи!.. Вот "*Секрет*"[109] (указывая пальцем; я как раз раскрыл его книгу на той странице, где находился указатель содержания)... о Достоевском... его речь во время чествования Пушкина... потом это... ("*На Кавказе*" и "*В Царь-граде*")». Я не вполне понял, что он хотел сказать, и спросил: «Вы считаете, что эти вещи Вам более всего удались?» — «Да... И потом это ("*Чуткое сердце*")... и это ("*Памятливый*")... Я пришлю Вам и оба первых тома, не сомневайтесь!» — Я попросил у него портрет. Он поднялся в задумчивости и повернул голову в направлении столовой. «В альбоме», — раздался голос его жены. Он открыл альбом, вынул из него фотографию и написал внизу: «*Дорогому Федору Федоровичу на добрую память 7 ноя*» (последнее слово неразборчиво, должно быть, *7 декабря*). Потом приписал сбоку: «*Рисунок сына*». Это домашняя фотография с большой картины, висящей в столовой. «Да, это сделал Саша!.. Приходите, пожалуйста, в воскресенье... на Сашины именины... Николай Константинович (то есть Михайловский. — *Ф.*) тоже придет... Прошу Вас, пожалуйста!» — «А в котором часу? — «Да, у Вас, наверное, будет бал... Может быть, к завтраку... Я еще напишу Вам, к тому же книги...» — «Мой адрес...» — «Я Вам... Вы дали мне вчера Вашу карточку... А это портрет Шильдер... А это — Паисия, который путешествовал вместе с Ашиновым...»

Я стал прощаться, а он тем временем рассказал, что покинул вчера Михайловского «вместе с Сашей» в два часа ночи, когда праздник был в полном разгаре. В передней он сильно пожал мне руку и сказал: «Благодарю Вас... Пожалуйста в воскресенье!.. А книги завтра».

Кто-то спросил его у Михайловского, с какого времени они дружат, и он, немного подумав, ответил: «С 1868 года». В этот момент подошел Михайловский, подтвердил правильность даты и сказал: «А помните, Глеб Иванович, Вы жили тогда под Курочкиным и каждый раз, желая, чтобы поставили самовар, стучали в потолок». Усталая улыбка скользнула по лицу Успенского. «Я пью за этот союз головы и сердца! — воскликнул Михеев. — Вы, Николай Константинович, — голова, Вы, Глеб Иванович, — сердце. Да здравствуют Николай Константинович и Глеб Иванович!!» Бокалы звякнули, и друзья поцеловались.

2 января 1894

Сегодня, в воскресенье, — похороны Гайдебурова. Ровно неделю назад я видел его у Полонского, причем моя беседа с ним свелась к следующему. «Появилась ли в “Неделе” рецензия на моего “Лермонтова”?» — «Да, в последнем номере». — «Вы были строги или снисходительны?»... Ответа не последовало. Я повторил свой вопрос — опять никакого ответа. Я был убежден, что рецензия отрицательная и он молчит от смущения. На самом деле рецензия оказалась похвальной.

Несколько дней назад я рассказал об этой встрече Венгерову, и он ответил: «Он сердится на Вас за то, что Вы уделяете его журналу так мало внимания».

Он (Венгеров) продиктовал мне эпиграмму покойного Д.Д. Минаева на скупого Пятковского:

С таким, как он, скупцом
Сам Плюшкин не сравняется:
Он собственным яйцом
На Пасху разговляется.

На лестнице разговаривал с Михайловым (Шеллером). Собрание его сочинений будет издано в пятнадцати томах. «Я должен отредактировать его при жизни, ибо после моей смерти... правда, мне всего пятьдесят шесть лет, но для России и это очень много». — «Будет ли собрание сочинений полным?» — «Нет. В него не войдут научные статьи и всякая *дрянь*, например, стихи. И я смогу, наконец, уплатить Вам мой долг: пришлю первый том».

4 января 1894

Новый год начался для русской литературы не слишком утешительно. Умер и Иванов-Классик. Я знал его в течение многих лет и очень часто разговаривал с ним еще в ту пору, когда был театральным рецензентом в «Herold». Он всегда

сидел на одном и том же месте: последний ряд кресел, первое кресло слева от входа. Он всегда выпивал в буфете бутылку вина, причем в начале каждого акта служитель забирал у него постепенно пустеющую бутылку и снова ставил ее перед ним в следующем антракте. Так продолжалось в течение ряда лет. Я часто видел его в «Царской славянке», не раз — на ежемесячном обеде новостийцев. Он всегда держался тихо, спокойно, скромно и весьма симпатично. 7 декабря 1891 года он сделал у Лейкина следующую запись в мой альбом:

В досужий час декабрьской ночки,
Пока друзей здесь льется речь,
Пишу я Вам четыре строчки —
На память наших добрых встреч...

Он был у меня 5 февраля 1892 года. Почему я знаю это точно — ведь в этих тетрадях он ни разу не упоминается? Об этом свидетельствует посвящение на книге «*Стихотворения*», которую он принес мне в тот день. От этого посещения в памяти у меня осталось лишь восторженное описание его путешествия на Кавказ. Другую свою книгу «*На рассвете*» он принес мне в Александринский театр 12 декабря 1889 года. В прошлом году я перевел для него, по его просьбе, примерно двадцать стихотворений Ады Кристен («Песни потерянной»): слово за словом, с указанием размера (он совсем не знал немецкого). В прошлом же году, в апреле, когда издатель «Нашего Времени» Федоров устроил завтрак по случаю начавшего второго года издания (этот завтрак ему ничего не стоил, поскольку мы, сотрудники юбилейного номера, предоставили ему — по почину Соловьева-Несмелова — все наши материалы бесплатно), мы все сфотографировались группой; на этой фотографии — лучший из портретов покойного. В своих стихах он выступал, скорее, сатириком-юмористом, нежели поэтом; он любил воспевать банкеты и юбилеи, однако, насколько я его помню, был очень хорошим человеком. — —

Зашел к Владимиру Тихонову. Было одиннадцать часов, но он еще спал. <...> О Владимире Стасове он сказал: «Можно думать о его взглядах все, что угодно, но у него есть принципы, а это в наше время не так уж мало!.. Однажды он назвал Григоровича “кровожадным голубем”».

Навестив Владимира, отправился к Алексею Тихонову (Луговому). На его столе лежали сочинения Ницше (по-немецки). «Я старательно его изучаю, и потому чувствую, как он мне близок; еще гимназистом я высказывал сходные мысли в моих школьных тетрадях». На стене красуется несколько цитат, которые служат ему жизненными правилами. «*Поэт, не дорожи любовию народной*» (Пушкин)[110], «*Двух станов не боец*» (А. Толстой)[111] и «Сегодня *компромисс*, завтра уступка, а послезавтра — готовый мерзавец» (Терпигорев). «Если писа-

тель хочет быть свободным художником, он не должен заботиться о хлебе насущном. Я же часто не знаю, на что буду жить завтра; слава Богу, что лавочник мне еще отпускает в долг, причем в течение ряда лет, и что находятся люди, у которых я могу занять сотню-другую! Я вырос в роскоши, в моем распоряжении всегда были лошади, и меня часто тянет прокатиться на тройке. Теперь же я хочу всего-навсего издать свои сочинения, которые составили бы три тома ефремовского издания Лермонтова». Рассказывал мне о своей пьесе «Озимь»: «Эта драма стоила мне трех лет моей жизни, и только благодаря моей энергии и настойчивости ее удалось поставить на императорской сцене. Директор, как и мерзавец Потехин*, причинили мне немало забот, так что в конце концов пришлось им пригрозить, что я дойду до самого царя».

Он продиктовал мне эпиграммы на Потехина:

Вот холопов покровитель,
Вот дряхлеющий сатир,
Дарований всех гонитель,
Всех бездарностей кумир!

Но, знать, молвится не мимо:
«Кара грешника найдет!»
По седалищу незримо
Сам Господь его сечет.

Дело в том, что Потехин страдает ишиасом. А «сатиром» он назван потому, что преследует всех актрис и даже от толстой Левкеевой требовал, чтобы она появлялась в глубоком декольте.

Дух века угадавши тонко,
Готов позорить, не жалея,
Он свой мундир камер-лакея,
Прослыть желая либералом.
Да жаль, под всяким покрывалом
Сквозит лакейская душонка.
Потехин Алексей
И в тоге Брута — все лакей!

Я не стал расспрашивать о его отношениях с «*Северным вестником*», но, чтобы проверить слух, будто оба брата враждуют друг с другом, спросил его, почему он не публикует свои вещи в «*Севере*». «Я и мой брат, *мы не в ладах;* мы никогда не были близки, а сейчас — тем более».

* Алексей Антипович.

5 января 1894

То, что происходило сегодня, менее всего похоже на писательские похороны! Я провожал тело А.Ф. Иванова от его дома до Обводного канала. Катафалк выглядел сам по себе очень безвкусно, хотя и был украшен несколькими красивыми венками; среди «скорбящих» (около сорока человек) я не увидел ни испитых лиц газетчиков, ни «джентльменов» — членов речного яхт-клуба, приславшего самые дорогие венки (усопший был бардом этого клуба); из писателей — только двое: С.В. Максимов и А.А. Коринфский. Пока процессия двигалась вдоль Лиговки, я забежал в контору Общества конно-железных дорог к Баранцевичу и предложил ему присоединиться; но он в самом деле был очень занят. Я пожаловался ему на отсутствие литераторов и попытался смягчить их вину ранним часом (половина десятого), но он сказал: «Вчера, в восемь вечера, на панихиде я тоже не видел ни одного писателя. Зато слышал, как одна женщина говорила другой: “Они приходили и *спаивали* его, а теперь никто и не позаботится о сиротах!...” Когда я в последний раз публично читал с ним вместе, он уже совсем *осунулся*, так что я, придя домой, сказал жене: “Он наверняка долго не протянет!”»

Иванов умер холостяком; но я видел, что за гробом шли две бедно одетые девочки-сиротки.

Среди провожающих я увидел высокого юношу с бледным лицом, курчавыми волосами и восторженным взором — лицо подлинного поэта; на плечах его была крылатка. Никто с ним не разговаривал точно так же, как и на похоронах Гайдебурова, где он невольно привлекал к себе внимание. Я спросил Коринфского, знаком ли он с ним. «Нет, знаю лишь, что его зовут Емельян, что он бегает из одной редакции в другую, где ему возвращают все его рукописи, и что он всегда, кто бы из писателей ни умер, присутствует на похоронах».

Отмечаю и это, — ведь нельзя знать наперед...

14 января 1894

Вчера вечером у меня были: Владимир Тихонов, Кигн (Дедлов) и сын Аполлона Григорьева (Александр Аполлонович, почтительный поклонник своего отца и человек, чрезвычайно начитанный в современной литературе; 9-го мы пили вместе шампанское).

Увидев на моем столе Гейне, Тихонов воскликнул: «А, Гейне! Когда-то он был моим любимым поэтом, и я знал множество его стихов наизусть; я ведь раньше неплохо знал немецкий».

За столом говорили про юбилей Григоровича, и Тихонов сказал: «Конечно, он этого не заслужил, — («Мой отец не признавал за ним никакого таланта», —

ввернул Григорьев), — но я охотно туда пошел, чтобы увеличить — хотя бы на одного человека — число участников торжества. Для литературного сословия чрезвычайно важно, чтобы публика говорила о Григоровиче как можно больше — *в пику* всем именитым чиновникам и генералам, занявшим своими юбилеями все место в газетах.

У меня всего три страсти: любовь к моим детям, любовь к литературе и любовь к Кигну. В русской литературе я поклоняюсь трем божествам: Богу-Отцу Толстому (Льву), Богу-Сыну (Достоевскому) и Богу-Святому Духу Пушкину... Некрасов отнюдь не был таким плохим, как об этом болтают; во всяком случае, он по-настоящему и глубоко страдал. Альбов — *глубоко глупый* человек и совершенно бездарный; "*День итога*" списан у Достоевского. То, что он хоть как-то известен, объясняется тем обстоятельством, что его фамилия начинается на А... У Баранцевича таланта немного, но во всяком случае, больше, чем у Альбова; кроме того, я ставлю его очень высоко в человеческом отношении. Подумайте, восемь детей, ради которых он трудится! Мне известен, например, человек, отдавший своих шестерых детей в приют!» — «Я знаю, кого Вы имеете в виду», — сказал я, и он молча кивнул и подтвердил взглядом*.

Чем больше он пил, тем любезнее, проще и веселее становился; в нем пульсировала сама жизнь, так что я сказал ему: «Какой контраст между Вами и, например, Альбовым. Там — психический недуг, патология, у Вас же — физическое и душевное здоровье!» — «Федор Федорович, я благодарю Вас за эти слова! Давайте выпьем на брудершафт!»... Выпили.

Он прочел свою пародию на Фофанова — поразительно удачное стихотворение, которое вызвало всеобщее веселье (не привожу его здесь потому, что оно уже напечатано). Пытался копировать облик и прическу Альбова, но менее удачно. <...>

Кигн говорил очень мало и не сказал ничего достойного записи. Лишь увидев на моем письменном столе больший камень, похожий на мрамор, спросил: «Это, вероятно, кусок буренинской критики?»... Выпил на брудершафт и с ним. — — — <...>

5 февраля 1894

Вчерашний вечер (до половины четвертого ночи) у меня провел Мамин. Моя жена спросила, помнит ли он имена всех героев своих произведений, и он ответил: «О нет! Сейчас я пишу одновременно три романа. Это ж просто невозможно!» Был и Тихонов со своей Асей. <...> Мамин сказал, что хотел бы уехать в Швецию или Швейцарию, чтобы там натурализоваться. «Этому негодяю Аб-

* Он имел в виду своего брата Лугового.

рамову может придти в голову забрать у меня Аленушку, и суд примет его сторону; но тогда он получит от меня нож в брюхо! Проживу и в Сибири!»

Тихонов сказал о Савиной: «Она раздает автографы: "Сцена — моя жизнь"; но было б лучше, если б она написала: "Я — смерть для сцены!"»... Он пел, танцевал лезгинку и трепак и канканировал пристойно и грациозно.

Оба (Тихонов и Мамин) пели, хотя у обоих нет ни малейшего слуха; правда, Тихонов состоял некогда в опереточной труппе.

9 марта 1894

Вчера в Александринском театре — «Право любить» Нордау. Гнедич сказал: «Вещь малосценична, но очень *литературна*»... Рейнгольдт рассказывал: «Я слышал позавчера, как Крылов-Александров кому-то сказал про Дюмон, что она "дузирует". Я подхватил это выражение и использовал его в своей рецензии; прочитав ее сегодня, Крылов, надо думать, немало удивился!» — —

Четвертого сего месяца мы были у А.А. Слепцова на последнем журфиксе; присутствовало около пятидесяти человек. Очень славно. Введенский рассказывал (называя меня на «ты»), что не в состоянии жить далее со своей женой: они, мол, воюют друг с другом со дня свадьбы. Впрочем, он говорил так тихо (а вокруг шумели), что я почти ничего не мог расслышать и потому сомневаюсь, стоит ли записывать здесь другие подробности. Михайловский сказал мне, что все надежды на выздоровление Введенского улетучились; дело явно катится под гору. Острогорский спел свою любимую «Чашку шоколада»: мелодия состояла исключительно из (непреднамеренно) непристойных звуков. Уехал в два часа — Мамин уговорил меня отправиться вместе с ним к Баранцевичу на именины. Там, конечно, все уже были навеселе. Сальников удивился, что я ничего не слышал об «известном» русском писателе Дрианском и отправился в соседнюю комнату, чтобы позвать Альбова в качестве эксперта, который, однако, громко прокричал ему по моему адресу: «Скажи ему, что он — *дурак*». Сальников исполнил поручение. «А ты передай ему, что он — *болван*», — ответил я и удалился... Пора мне прекратить отношения с этим наглым татарином! — —

Шестого сего месяца меня посетил А.А. Коринфский; пробыл недолго, потому что мы должны были уходить. На второй рюмке водки, которую он выпил наполовину, у него выступили на глазах слезы. «Ужасно сильная водка!» — сказал он; это была самая обычная водка, от которой еще ни один из моих знакомых не морщился. Отмечаю это, потому что *тюлени* неоднократно называли его скрытым пьяницей. — Жулик Д.Д. Федоров, бывший редактор жалкого «Нашего Времени», задолжал ему 297 рублей, а в последние месяцы (Коринфский был секретарем редакции) вообще ничего не платил. Отмечаю это также в оправдание Коринфского. Он задумал перевести всего Мирзу-Шафи («Песни и изре-



чения») и просил меня перевести ему слово в слово еще несколько маленьких стихотворений Лейтхольда (точно так же, как я перевел ему стихотворение «Тихие песни развеяны ветром...»[112]).

20 марта 1894

Вчера встретил Нордена. «Вы еще пишете в "Herold"»? — «Нет, не пишу». — «А я хотел отправить Вам на рецензию три своих только что изданных драмы... Одну из них недавно поставили в Ревеле с колоссальным успехом; они купили кота в мешке: не спросили о содержании, взяли, заплатили, готово! Бум!»

Вечером зашел Мамин. «У меня плохое настроение, пошли, выпьем по одной!» Мы отправились в «Москву», съели солянку, я заказал какую-то органную вещь, и он сказал: «Чего я совершенно не понимаю, это музыки!» <...> Не мог найти слов, чтобы выразить свое восхищение повестью Флобера «Искушение св. Антония»: «Это альпийская вершина всей беллетристики!» (я вспомнил, с каким восторгом говорил мне об этой повести Всеволод Гаршин; он даже собирался ее перевести). Затем мы поехали в кабаре «Альказар» у Симеоновского моста[113], где к нашему столу сразу же подсели две проститутки, его приятельницы; у одной из них была разорвана ноздря (он так и называл ее: «*Рваная ноздря*»). Вся эта компания вызывала во мне отвращение, и я уехал домой. — —

У «Даши», жены Баранцевича, были вчера именины; однако я поступил, как намеревался, то есть не поехал к нему, потому что Альбов, увидев меня, наверняка стал бы скандалить. Я уже около месяца не навещал его. Хватит!

11 мая 1894

Сегодня Шеллер прислал мне первый том своих сочинений с надписью:

Ф. Фидлеру (переводчику произведений русских поэтов)

В мир чужого нам искусства,
На язык, чужой для нас,
Наши мысли, наши чувства
Разносите в добрый час
С твердой верой, что возможно
Лишь по этому пути
Всем народам бестревожно
К братству общему дойти.

10 мая 1894 *А. Шеллер.*

Сегодня же на Симеоновском мосту видел проезжавшего в коляске Полонского; в шубе (весьма убогого вида), на коленях — плед: дряхлая фигура.

11 августа 1894

Вчера у меня был Мамин. «Есть только одна женщина, которую я бранил: Колобрьер, жена Потапенко (не венчанная), — она бесстыдно его использует. Ну на что ей Париж? Она, ведь, там — исключительно в роли горничной! Зато Потапенко — джентльмен: от него не услышишь ни единой жалобы, и он благородно идет ко дну. Чтобы оплачивать самые безрассудные расходы своей жены, он превратился в бумагомарателя и растрачивает свой *крепкий*, хотя и не *крупный* талант, так что двери журналов постепенно закрываются перед ним и ему остается лишь одно: повеситься». Эртель — единственный из русских писателей, который, по его мнению, ведет разумный образ жизни. Чехов — литературный слон, и тем не менее — сравни его «Сахалин» с книгой Максимова «Год на Севере»; это (т.е. «Год на Севере») воистину классическое произведение!.. «Когда я (Мамин) услышал в Москве, как спорят Чехов и Потапенко, я пришел к убеждению, что они — как все не-аристократы — вовсе не умеют разговаривать: бестактные вопросы и ответы, неумение собеседников понимать друг друга с полуслова и читать между строк. А какое, напротив, удовольствие слушать, как разговаривают между собой подлинные аристократы! Почему? Да потому, что каждый аристократ — интеллигент с колыбели... Толстой — лжец; в “Войне и мире” он все выдумал, и роковой год описан у него исторически неверно; куда больше усилий он положил на то, чтобы изобразить вовсе недостойный сюжет: дела амурные. “Вальдфрид” Ауэрбаха и “В раю” П. Гейзе — подлые произведения, потому что воспевают кулачное право». <...> Увидев сочинения Ясинского, сказал: «И ты все это читал?» — «Конечно». — «Несчастный человек!.. У Шиллера я не могу понять даже двух строк; может, я *дикарь*, но все, что он написал, для меня — *чушь* и *болотина*; а вот Гете, напротив, люблю».

«Жаль, что ты не поехал на Рейн!» — «Да что мне там делать? В Париже был некогда один эскимос; жил роскошно, ел сытно и развлекался вволю; но все время стонал: “Отпустите меня обратно в мою ледяную пустыню!” Так чувствовал бы себя и я... Да что вы носитесь со своим Рейном! Наша Чусовая в тысячу раз красивее! Или хотя бы Днепр!» — «На Днепре я не был, а ты был на Рейне?» — «Нет». — «Тогда нам стоит продолжить диспут, когда мы увидим обе реки!»

Вообще казалось вчера, что все немецкое для него будто кость в горле. «Немцы — фальсификаторы по натуре». Разглядывал на стене портреты немецких писателей. «Отвратительно! Одни вызывающие позы, одна неестественность! Вот этот, например (показывая на М. Ринга), — ну чего он схватился рукой за трость? А эта *морда*! (П. Гейзе). А этот — *холуй* (Ю. Штинде); не хватает только салфетки под мышкой!»

«В Липецке я *чуть-чуть* не женился. Она не красавица, немка, зовут Маргарита Гофман (в родстве с «гофмановскими каплями»[114]), но в ней есть то, чего я не встречал после Маруси ни в одной женщине, — порода!» <...> «Ну и что же ты не женился?» — «А как же Аленушка? Тогда я перестану принадлежать ей!»

Рассказывал, что имел библиотеку в пять раз больше моей, но подарил ее своей первой «жене», некоей Алексеевой; он прожил с ней тринадцать лет и отзывается о ней весьма восторженно: "*Какая умница!*"»

Кроме того, сказал: «Если когда-нибудь позволят средства, буду писать только детские книжки. Как согревает сознание того, что тебя читают тысячи детей, получая при этом непосредственное и чистое удовольствие, — без предвзятого мнения, без придирчивой критики!»

Говорил опять так быстро, тихо и невнятно, что мне и Любе то и дело приходилось его переспрашивать; сплошь и рядом проскальзывали чисто крестьянские выражения и ударения. Когда он, полупьяный, с опущенной головой, вдруг поднимает глаза, в его лице появляется что-то калмыцкое.

21 августа 1894

Вчера у меня был Мамин. Задумал написать серию исторических рассказов. — «А материал-то у тебя есть?» — «Конечно! Я ведь опубликовал в "Новостях" под псевдонимом Баш-Курт немало этнографических и исторических "Писем с Урала"; и еще в каком-то журнале — историю Урала... Я стал писателем по недоразумению: мне бы скакать на коне по бескрайней степи, а не писательством заниматься». Отказывает Венгерову в каких бы то ни было идеальных побуждениях и называет его наглым евреем, который, не обладая ни талантом, ни критическим чутьем, проник в русскую литературу. Я горячо возражал ему, ибо если есть на свете самоотверженный фанатик литературы, то это — Венгеров.

28 августа 1894

Сидел вчера в «Генисарете» (другое название — «Капернаум»), когда явился Б.Б. Глинский, пьяный (я в последнее время другим его и не видел), в сопровождении человека (совершенно трезвого), которого он представил мне как поэта Владимира Петровича Мартова, а меня ему — как «известного переводчика». «Переводы на немецкий! Да у этой нации вообще нет будущего! И за немецкий язык я гроша ломаного не дам: ужасно скуден в сравнении с русским и звучит отвратительно. Ну что это, например, за звуки: Chimel (Himmel), Mettchen (Mädchen), gein (gehen), stein (stehn)!»[115] — «Я советовал бы Вам взять у меня пару уроков в подготовительном классе гимназии Гуревича: Вы произ-

носите по-еврейски!» — «Позвольте, мне говорили в Вене, что у меня отличное произношение. Но сам язык ужасен, и в немецкой литературе вовсе нет больших поэтов. Разве что у Гете и Гейне есть несколько красивых стихов...» — «Ну до чего ж Вы великодушны!» — «Вот немцы гордятся, например, своим Лессингом. А я скажу: Михайловский как критик гораздо выше его!» — «Да Вы и представления не имеете ни о немецком языке, ни о немецкой литературе!» — «Ого! Да я, если захочу, могу писать стихи по-немецки!.. Вот я сейчас прочту Вам стихотворение "Где?", мой перевод из Гейне, это лучше, чем в оригинале!» — «Валяйте! (он стал читать, глотая последние слоги). Помилуйте, у Вас же нет рифм!» — «Как это нет?» — «Уж не считаете ли Вы за рифму "последней" и "Рейне"?» — «Конечно, рифма не полноценная, но в этом ассонансе есть своя гармоническая прелесть!» — «С равным успехом Вы могли бы зарифмовать "чернила" и "свеча"!» — «Вы, однако ж, строгий судья!» — «А какое место Вам кажется удачнее оригинала?» — «Последняя строфа. У Гейне: "Небо меня обнимет", а у меня: "Я буду лежать в объятьях неба!"». — «Очень поэтично, но в то же время и пустословно! А вместо "колеблющихся лампад" у Вас просто "мерцающие звезды"? Извините, но перевод Ваш никуда не годится!» — «Нет, Вы судите слишком строго! Эти стихи появятся в сентябрьском номере "*Вестника Европы*"»[116].

Мы (то есть я и Мартов; Глинский еще ранее нетвердым шагом отправился домой) поехали ко мне, и началось бесконечное чтение стихов. Он полистал «Русский Парнас» и сказал: «Конечно: нашего Вы ничего не включили!» — «Ну, есть и другие, которые не вошли, например, Червинский...» — «Ах, это просто дрянь!»

Мне в альбом он написал следующее:

У всякого народа мы, русские, возьмем, что прекрасно, что сильно...

ПАМЯТИ КОШУТА

Хвала великому Кошуту,
Он был велик как славянин,
Когда под знаменем свободы
Он из славян стоял один...

Он звал, народ заколебался
С венгерским знаменем в руках —
Как часовой он оставался
У врат свободы на часах.

Хвала великому Кошуту!
Теперь славян готова рать,
Прибив свой щит к вратам свободы
Не распахнуть их, а взорвать.

«Только смотрите, чтобы этими стихами я не погубил Ваш альбом: ни одна редакция не посмела их напечатать!».

Листая альбом, он торопливо переворачивал каждую страницу, на которой был немецкий шрифт; когда он стал разглядывать портреты русских писателей на стене, я заметил ему шутливо: «Да это ведь Ваши любимые немцы!», и он резко отвернулся, не бросив на них более ни единого взгляда.

Настоящее имя этого бездарного и нагловатого господина — Михайлов; он — приват-доцент на кафедре физиологии здешнего университета. Хорош университет!»

Им написана эпиграмма на Евгения Маркова:

У Евгения у Маркова,
Сколь хочешь слога яркого;
Но у Маркова Евгения
Не ищи ты развлечения!

Он продиктовал мне также эпиграмму своего покойного друга Садовникова (очень хвалил его «Стеньку Разина»):

И камер-юнкера стихи,
И измышленья камергера —
Весь склад придворной чепухи
Не стоит сломанного хера.

Под камер-юнкером следует понимать Голенищева-Кутузова, под камергером — Случевского...

Кроме того, Мартов сказал (он еще в ресторане показался мне скупердяем): «Если однажды выйдет собрание моих стихотворений, Вы получите один экземпляр *даром... даром*!»

24 сентября 1894

Пришел Владимир Тихонов и непременно хотел, чтобы я осмотрел его новую квартиру (Сергиевская[117], 60, кв. 15) <...> Говорили о Баранцевиче. «У него нет ни наблюдательности, ни психологии; и вообще он — *круглая* бездарность. Я очень люблю и ценю его как человека, но не как писателя. Когда Гаршин умер, то попал на небо и стал стучаться в ворота. Петр отворил их, но отказался впустить его: "Писателей принципиально не принимаем!" — "Но я вижу незанятый стул с надписью «Баранцевич»!" — "Извините, но ведь Баранцевич не писатель", — ответил Петр. Весьма точно охарактеризовал русских литераторов Чехов: "Один пишет умно и благородно, но бездарно; другой умно и

талантливо, но неблагородно; третий — благородно и талантливо, но глупо". Баранцевич принадлежит к первой группе; даже Альбов, которого я терпеть не могу, и тот талантливее. Настоящий писатель, который отвечает всем трем требованиям, — сам Чехов».

29 сентября 1894

Вчера, наконец, навестил Мережковских — они неоднократно звали к себе. Мы не предупредили их заранее о нашем появлении, а потому застали Зинаиду Николаевну врасплох — она сидела у рояля в простом домашнем платье и штопала одежду. Оба приняли нас весьма сердечно. Она говорила, что теряется и становится беззащитной всякий раз, когда сталкивается с хамством: некто Биншток (отвратительный назойливый человек, докучающий им своими визитами) встретился ей на улице, взял у нее из рук покупки, посадил в экипаж и катался с ней два часа подряд на островах; она была настолько поражена, что за все это время не могла даже слово вымолвить. (Недавно я встретил ее на Невском и подошел к ней — она, близорукая, буквально оцепенела от страха.) —

Мережковский — большой почитатель Ницше; сожалел, что в этом году не смог во время своего заграничного путешествия заехать в Наумбург, чтобы по крайней мере засвидетельствовать свое почтение матери великого человека и осмотреть его дом. <...>

Жаловался на переводчика Шелли по имени Бальмонт, который вместе с женой, похожей на служанку (впрочем, он уже с ней развелся), надоедал им и бесстыдно сидел часами за его письменным столом, в то время как он (Мережковский) спокойно, — то есть, разумеется, неспокойно — продолжал работать.

Он намерен издать все выполненные им переводы греческих драматических образцов. Роман «Юлиан Отступник» готов; пять лет ушло у него на предварительную работу и писание. Сомневается, что найдет издателя; а если и найдет — цензура многое вычеркнет. Поэтому ему страстно хочется, чтобы роман был переведен на немецкий, и он просил меня найти для него переводчика (он знает, что я перевожу лишь стихи): «Только немцы сумеют оценить этот роман».

Червинский к ним больше не ходит. «Он был влюблен в мою жену, и они поругались — не знаю из-за чего. А я был бы рад видеть его у себя: он — *добрый мальчик*». <...>

О Баранцевиче Мережковский высказался так: «У него отсутствует даже малейший талант; Альбов — колосс по сравнению с ним. Я ставлю его (Альбова) выше Потапенко и даже, как бы странно это для Вас ни звучало, выше Шпильгагена; его "*Неведомая улица*" — просто шедевр!» Когда Мережковский направился в комнату Зинаиды Николаевны, чтобы написать там несколько строк, она бросилась за ним вслед: «Ах, он откроет мой письменный стол!» С сентября прошлого года и до марта она заработала пером 1400 руб.

2 октября 1894

Вчера я получил от Владимира Тихонова следующее послание:

«Дорогой Федор Федорович!

В субботу 1-го октября Потапенко и я придем к тебе в 12 ½ часов для завтракать (sic! — *К.А.*).

Твой В.А. Тихонов».

Вчера в 12 часов пришел Баранцевич. «Ты знаешь, я всегда *недолюбливал* Потапенко. Но вчера я встретил его на Невском, и он спросил, приму ли я участие в Обеде беллетристов. Я сказал, что нет: по отсутствию денег. "Могу одолжить Вам пять рублей, — сказал он, — я как раз получил от «Нивы» пятьдесят рублей". Я хотел лишь проверить его товарищеское чувство — пять рублей-то у меня, конечно, было — и сказал: "Пожалуйста!" Он тотчас же вынул бумажник. Это мне очень понравилось, и я примирился с ним».

В половине первого явились двое других. Тихонов (он сейчас лечится: сердце) выпил лишь стакан красного вина; Потапенко тоже пил умеренно (все еще болит голова после Обеда беллетристов). За завтраком говорили на общие темы. Кто-то сказал, что Чехов якобы обязан своей популярностью еще и Лейкину, в «*Осколках*» которого он выдвинулся как писатель. Однако Потапенко возразил: «А может, дело обстоит как раз наоборот: именно благодаря Чехову Лейкин приобрел столь многих читателей. Во всяком случае своей известностью Чехов обязан только самому себе: настоящий талант всегда пробьет себе дорогу». Выяснилось, что после Обеда беллетристов все трое зашли в Артистический кружок. «Возмутительно! — воскликнул Потапенко. — Творческие люди объединяются для того, чтобы играть в макао[118]! Я туда больше не ходок!» Я спросил, когда он в основном работает: днем или ночью? — «И днем, и ночью, так что голова кругом идет». — «Вы сами пишете?» — «Да». — «А Вы не пытались диктовать?» — «Одно время пытался, но это так ужасно: поверять мысли и чувства, которые в этот момент в тебе рождаются, непосвященным ушам. Любое художественное созидание стыдливо и тяготеет к тайне. Я испытал такое наслаждение, когда снова стал писать сам!» Говорили о стиле, и Потапенко сказал: «Лев Толстой *сгубил* русский язык; наилучший стиль я обнаружил у Лермонтова в «*Тамани*»: прямо гомеровская простота. С другой стороны, мне непонятно, почему нельзя вводить в русский язык новые словообразования и выражения, если они в действительности обогащают словарь; я делаю это без колебаний»... Похоже, он знает свои сочинения наизусть; когда я цитировал тот или иной пассаж, он поправлял меня, причем каждый раз все сводилось к какому-нибудь незначительному эпитету.

Кроме того, он яростно защищался от всех моих упреков. «У Вас написано: “Они сидели в пивной до полуночи”. Но ведь пивные закрываются уже в одиннадцать». — «Я и не говорю, что они пришли после одиннадцати; они просто сидели до полуночи». — «Извините, но все гости должны ровно в одиннадцать покинуть помещение». — «Возможно, теперь это и так». — «Нет, это правило существовало уже в ту пору, когда Вы писали “*Святое искусство*”, оно вообще существует все то время, что я посещаю пивные, то есть около пятнадцати лет». — «Ну почему Вы толкуете слово в его непосредственном смысле? Под “пивной” я мог иметь в виду вообще любой ресторан». — «Еще у Вас о ком-то сказано, что он целый час висел вниз головой и остался жив!» — «Это говорю не я, это вложено в уста кому-то другому». — «Вот Вы пишете: “Теперь осталось надеяться только на плохое”. Но ведь надеяться можно только на то, чего желаешь!» — «А почему нельзя надеяться на что-то дурное?» — «Дурного либо ожидают, либо опасаются!..» Баранцевич и Тихонов согласились со мной, и Потапенко замолчал, с сомнением пожав плечами.

Завтрак длился с часу до трех. Потому он записал мне в альбом: «*1-го октября 1894 г. от 1 часу до 3 дня я был совершенно счастлив*».

В четверг мы с Любой приглашены на его первый журфикс.

7 октября 1894

Вчера у Потапенко. Большая, совсем еще не обставленная квартира, за которую он платит 1400 руб. Сначала — о Марье Андреевне Колобрьер, его «жене»: невысокого роста подвижная особа, с обнаженными руками; без стеснения бросается в кресло и на кушетку, закидывая ногу за ногу; пикантное и немного дерзкое лицо, обрамленное копной подстриженных волос; блуждающие глаза, под которыми косметика еле-еле скрывает морщинки; речевой аппарат работает безостановочно, оглушая и отупляя собеседника; ни сердечности, ни приветливости — лишь парижская любезность и жеманство. С компаньонкой, гувернанткой и кокетливой женой Алексея Алексеевича Суворина болтала исключительно по-французски: вспоминала Париж и рассказывала пикантные анекдоты; живое участие в разговоре принимали Сыромятников (барон Сигма) и психиатр Томашевский. На меня и Любу эта дама произвела малоприятное впечатление; постараемся, чтобы наши отношения не вышли за рамки формального знакомства.

Тем более понравился нам Игнатий Николаевич. Все его существо дышит простотой и приветливостью; за ужином он был сама любезность: гостеприимный хозяин. Потом звучным голосом пел романсы, сопровождая свое пение игрой на рояле. «Я провел в консерватории шесть лет и до сих пор отравлен музыкой». На письменном столе лежал лист бумаги, усеянный мелкими буква-

ми: если разбирать, что написано, можно ослепнуть через четверть часа. «Это — глава из "Любви"; а писал я без малейшего напряжения, потому что у меня великолепные глаза; но и в типографии набрали почти без ошибок. Впрочем, теперь я снова пишу нормально». Он отрезал часть листа и подарил мне в качестве курьеза для моего литературного «музея». Мы стояли одни в столовой и пили; я заговорил о его многообещающем таланте, на что он сказал, печально покачав головой: «Да, был когда-то талант, подававший надежды, но... Ах, что я сделал со своим талантом!» Я принялся его утешать, мы поцеловались, и он сделал мне надпись на большом портрете: «*Да будет вечно мое единение с Федором Федоровичем Фидлером, которое случилось 6-го октября 1894 г. в моей столовой на Николаевской ул.*[119]*, 61*».

За ужином рядом со мной, как обычно, сидел Баранцевич. «Ты знаешь, что Альбов вернулся?» — «Когда?» — «Четвертого; и в тот же день мы с ним нализались. Он ничуть не изменился: все такой же. Я сказал, что в каждом человеке есть частица поэта, пусть даже самая малая; он пришел в ярость, напустился на меня и, не доходя до ресторана, попросту меня бросил. Что нашел он оскорбительного в моих словах — этого, клянусь Богом, до сих не пойму!» — «Да, нелегкое дело — с ним ладить! А много ли он написал за это время?» — «Думаю, ни строчки. Зато получил в Москве 600 рублей аванса». — «Не знаешь ли, когда он собирается нас навестить?» — «А с чего ты взял, что он собирается?» — «Ну, раз он меня любит...» — «А кто тебе сказал, что он тебя любит?» — «Кто? Да ты сам... и он тоже не раз говорил». — «Хм... А почему *ты сам* не пошел к нему?» — «Я? Во-первых, не знал, что он приехал; во-вторых, чего ради я должен идти к нему первым? Он уехал из Петербурга, отсутствовал почти полгода, теперь вернулся — значит, он и должен навещать старых знакомых, если желает продолжать с ними общение. Ну, а кроме того: раз я, выходит, заблуждался в отношении его симпатий ко мне, значит, я не пойду первым».

Доктор Томашевский предложил поехать к Палкину, где будет и Мамин. «Ну, если Мамин, тогда поеду», — заявила мадам Потапенко. Было три часа, когда мы отправились. Все кабинеты были заняты, но в коридоре мы столкнулись с Маминым; он пригласил нас всех в свой кабинет. Мы с Любой вошли — нас встретили радушнейшим образом. Прошло пять минут — остальных нет. Я вышел в коридор и увидел, что они спускаются по лестнице. «Вы куда? Вас ждут, вы же хотели зайти!» — «Нет, не пойдем, — капризно заявила Марья Андреевна, — неужели дамы не могли выйти к нам в коридор? Нет, не пойдем!» — «Но поймите, в какое положение вы меня ставите?! Мне-то что делать?» — «Подать руку своей жене и увести ее из этого кабинета!» — сказала мадам Потапенко. — «Да ведь это скандал!» — «Или мы, или они!» — воскликнул Баранцевич; он терпеть не может Александру Аркадьевну Давыдову за то, что она не напечатала в «*Мире Божьем*» какую-то его повесть. В кабинете, кроме Любы, Мамина и

Томашевского, сидели: Михайловский, Южаков, Давыдова, Пименова и еще одна малопривлекательная дама в очках по фамилии Попова. Южаков (как обычно, в пестром пиджаке) яростно упрекал нас в том, что мы не ответили на его визит. Михайловский бесстыдно целовался с Давыдовой; потом обнял обеих женщин и, прижав их головы к своей груди, воскликнул: «*Милые вы мои*!» Когда мы пришли, пирушка уже заканчивалась; подали счет на 48 рублей; Южаков заплатил шестнадцать, Михайловский тридцать два, а Мамин — ни копейки.

9 октября 1894

Вчера меня навестила чета Мережковских. Все записи в моем альбоме оба (он — в особенности) сочли неостроумными и глупыми. Она записала вторую строфу одного своего стихотворения, которое привожу здесь полностью, ибо сомневаюсь, что кто-либо его когда-нибудь напечатает:

Небеса унылы и низки —
Но я знаю, дух мой высок;
Мы с тобою так странно близки —
И каждый из нас одинок.

Беспощадна моя дорога,
Она меня к смерти ведет...
Но люблю я себя как Бога,
Любовь мою душу спасет.

Если я на пути устану,
Начну малодушно роптать,
Если я на себя восстану
И счастья осмелюсь желать —

Не покинь меня без возврата
В туманные трудные дни,
Умоляю, слабого брата
Утешь, пожалей, обмани...

Мы с тобою единственно близки,
Мы оба идем на восток —
Небеса злорадны и низки,
Но верю я: дух наш высок![120]

Зинаида Николаевна рассказывала: «Плещеев однажды написал мне, что Потапенко, не будучи с ним знакомым, обратился к нему с письмом, в котором просил пять тысяч франков: дескать, ему не на что вернуться в Россию. Возму-

щенный такой наглостью, Плещеев послал ему всего тысячу франков, и Потапенко отправился — в Париж». — (Он:) «Зачем ты это рассказываешь? Ты ведь даже мне не должна говорить об этом!» (Я:) «Вы все равно узнали бы из письма!» — (Он:) «Я никогда не читаю писем моей жены, а она — моих. Мы хотим быть свободными; один из нас может даже влюбиться!»

Мережковский не желает признать таланта ни за одним из современных русских писателей; он хвалит только Чехова и превозносит Фофанова («Его душа словно аромат розы!»).

12 октября 1894

Сегодня у нас был Мамин. Принес мне две своих книги («*Детские тени*» и «*Упрямый козел*») и одолжил мою *фуфайку* (он еще не выкупил свою шубу, которую заложил за шестнадцать рублей), чтобы ехать на Васильевский остров к Б.Б. Глинскому. У него три тысячи рублей долгу, «но у меня есть капитал — двадцать ненапечатанных книг». В настоящее время пишет одновременно три повести и три рассказа. Аленушка прекрасно отдохнула в Царском Селе, где он теперь и живет (Колпинская[121], напротив Сенной площади, дом Вейч, № 43). В последнее время у него много неприятностей: с мужем какой-то польки, его возлюбленной; кроме того, денежные затруднения. Мы говорили о том, что произошло у Палкина, и Мамин сказал: «Я очень люблю Михайловского, и он меня тоже любит, но у него я не чувствую себя как дома, — я, ведь, вращаюсь в среде, где думают иначе, а он — *кружковщик* и начисто игнорирует всех, кто не принадлежит к его кругу». <...> Прочие его суждения о русских писателях: «Я очень люблю Короленко, но как писатель он незначителен: ни подлинного чувства, ни глубокой мысли, все выдумано и препарировано на книжный манер, как, например, “Слепой музыкант”; он — *чистоплюй*, его пятак состоит из одних грошей. — Чехов обладает огромным богатством и удивительно талантлив; он словно Крез, вокруг которого разбросаны неисчислимые сокровища, а он даже не подозревает, как он богат. К сожалению, его повестям и рассказам недостает действия и симметрии отдельных частей. — Что же касается меня, Мамина, то я даю только темы. Меня радует, что Баранцевич не стоит на месте, а движется вперед. Писатель подобен канатоходцу: стоит ему в сомнении остановиться, как он рухнет вниз или уже рухнул в глазах публики». <...>

18 октября 1894

«Южаков яростно упрекал нас»... и т.д.[122] И вот сегодня мы отправились в «Пале Рояль»; на часах было полдвенадцатого, когда мы постучали в его дверь. <...> Мы пили чай, Южаков был необыкновенно любезен. Сказал, что В.Г. Ко-

роленко сейчас здесь; я выразил желание познакомиться с ним, и он послал горничную в четырнадцатый номер. Вскоре пришел Короленко. Он моего роста (я всегда представлял его себе — по изображениям — высоким человеком, с длинной черной бородой и мрачными глазами), темной бородой средней длины и светлыми, хотя и немного холодными глазами; всей своей внешностью он напоминает русского мужичка, который держится просто, но при этом *сам себе на уме*. Он просидел всего лишь четверть часа, и разговор шел не слишком характерный: он говорил о Нижнем Новгороде, я — о переводах его сочинений на немецкий. Следующей осенью он намерен окончательно переселиться со своей семьей в Петербург (в Царское Село). Я пригласил его к себе, мы стали обсуждать, когда кто свободен, и выяснилось, что встречи не получится, потому что он уже завтра уезжает. «Тогда прошу Вас, по крайней мере, увековечить себя в моем альбоме; я пришлю его Вам». — «Спасибо, не надо. Мне легче написать целую повесть, чем страницу в альбом. Следующей осенью — с удовольствием». И ушел.

Мы с Южаковым отправились в «Капернаум», сняли пальто, и он остался в своем немыслимом костюме. Пили сначала водку, потом — пиво, потом — бенедиктин, потом — снова пиво, потом — водку и так далее, мешая одно с другим; конечно, я не в силах соперничать с этим гигантом (уверяет, что у него никогда не было похмелья). Рассказывал о Короленко: «У него лишь один большой недостаток: он не пьет; самое большее — стаканчик-другой вина!.. Мы взяли с него обязательство — писать только для “Русского Богатства” и не печататься ни в одной газете, кроме “Русских Ведомостей”». <...>

7 ноября 1894

С весны благодаря Венгерову я состою сотрудником Русского энциклопедического словаря. Чтобы получить точные биографические и библиографические сведения, я уже в сентябре начал рассылать немецким писателям запрос следующего содержания:

«Многоуважаемый господин! Как Вам, может быть, известно, Брокгауз приступил здесь к изданию Русского энциклопедического словаря. Немецкая литература находится по преимуществу в моем ведении, поэтому позволяю себе задать вопрос: содержит ли статья о Вас в лексиконах Брокгауза, Мейера или Брюммера данные, которые Вы хотели бы исправить или уточнить?»

А лицам, о которых в названных выше источниках ничего не имеется, я сформулировал последний вопрос так: «Где можно найти достоверные биографические данные о Вас?»

При случае перепишу здесь полученные ответы. <...>



11 ноября 1894

Вчера у меня был Мамин. В полном восторге от Москвы: «Боже, какие там люди! У каждого — золотое сердце! За девять дней собрал тысячу двадцать рублей. А в этом проклятом Петербурге приходится бегать девять недель, чтобы набрать двадцать рублей!» Выглядит сильно опухшим и по этой причине избегает пить пиво; пил водку, английский биттерн и красное. Страдает неврастенией: «Мне долго не выдержать! Я не Альбов, который ни за что не решится! Сделаю раз — два — три — и готово! Фединька, мое состояние — ужасающее!» — «Альбов страдает оттого, что считает себя недостаточно признанным, ты же не можешь пожаловаться: то, что ты пишешь, имеет успех!» — «Ах, я — грешный человек, но грех авторского самолюбия меня миновал!» — «Альбов страдает еще и потому, что не может писать, а ты...» — «А я пишу слишком много. Наверное, поэтому... Нет, черт знает, это что-то другое... Да и Аленушка ужасно меня беспокоит: хромает на левую ногу».

В его сборнике «Детские песни» всего удачнее, по его мнению, «*Он*» и в особенности «*Папа*». Совершенно восхищен романом Лейкина, публикуемым сейчас в «*Петербургской газете*»[123]. «Все описывают скупость как факт, не указывая на причины явления, что в сущности — самое главное. Лейкин же развертывает перед нами всю историю болезни с момента ее зарождения». Я сообщил ему, что познакомился с Короленко, и он сказал: «Это тебе совсем ничего не даст, потому что он — холодный и расчетливый человек, который не слишком-то раскрывает другим свое сердце». Самым остроумным русским писателем считает В.А. Гольцева. «Что это у тебя за книга?» — спросил он меня. — «Потапенко». — «Ты ее читаешь?» — «Да». — «Ну, я тебе не завидую». О Чехове в Москве говорят, будто чахотка у него прогрессирует (наследственность). Жить ему, по мнению врачей, осталось не более года.

Очень мешает, когда беседуешь с ним, его быстрая и тихая речь; к тому же он пропускает то подлежащее, то сказуемое.

О Златовратском сказал: «Это идеально добрый человек; он предложил мне денег, чтобы я обзавелся имением рядом с его собственным». — — —

26 ноября 1894

Сегодня провел часок с Рейнгольдтом. Он стал, насколько это возможно, еще практичней после того, как появилась надежда, что скоро станет отцом. Когда я рассказал ему, что не смог найти за границей издателя для моих «Былин», и добавил, что их собирается печатать Академия наук, он спросил: «Разве плохо?» — «Тогда мне придется посвятить свой труд К.Р.» — «Ну, и в чем

же дело?» — «Не могу решиться!» — «Ах, пустяки! Ведь для тебя это выгодно!» Сейчас он сочиняет марш для коронации. Конечно, он имеет в виду лишь выгоду.

Никак не могу привыкнуть к этому человеку!

2 декабря 1894

Вчера день рождения Марии Валентиновны Ватсон. Михайловский явился, конечно, с Пименовой, любезничал с Давыдовой и пил не водку, а только пиво, держа стакан дрожащей рукой. Уехал вместе с Пименовой, причем (мы с Любой брали извозчика одновременно с ним) в направлении, совершенно противоположном той улице, на которой мы оба живем. Мережковский наседал на меня: «Измените же хоть раз своему правилу: переведите прозаическое произведение. Но нет, это не проза — это высочайшая поэзия, самое замечательное стихотворение в прозе, которое я когда-либо читал. Появился новый великий поэт: Ф. Сологуб (Тетерников)! Переведите же его "Тени"! А Вам (повернувшись к Меньшикову, критику из "Недели") непременно следует написать об этом!» — (Меньшиков:) «Это ж, наверное, символизм?» — «Да, но в удивительном исполнении!» — «Нет уж, благодарю покорно»... Он и она (Мережковские) настоятельно зазывали нас в гости. «Но мы можем предложить Вам только чай с булкой; у нас совершенно нет денег! Мы заложили все свое серебро, осталось всего две ложки, и если Вы придете, еще две надо будет занять у соседей! Но уже скоро, скоро это жуткое положение кончится: есть журнал, который готов напечатать моего "Юлиана"». — — Мадам Семевская (Водовозова) прошептала мне, кивая в сторону Зиночки Мережковской: «Воплощенное декадентство!» — Присутствовала еще некая госпожа Граве, написавшая под псевдонимом Снежина драму «Муж и жена»; она уже бабушка, но выглядит на редкость молодо (не прибегая при этом ни к каким искусственным средствам); я даже счел ее сестрой двух моих бывших учениц, в то время как она — их мать. — — Мамин не ел за ужином ничего вкусного, только капусту; ночевал у нас, а сегодня утром сказал: «Хотел бы я знать немецкий язык, чтобы читать в оригинале Гейне и "Фауста"». Живет в Царском Селе и усердно работает над своим романом «Хлеб»; написал за одну неделю три с половиной листа. Да и у нас за завтраком ел только капусту и давал моей жене различные дешевые рецепты: «Это предрассудок — думать, будто дешевое и плохое — одно и то же». Есть продукты, которые стоят всего несколько копеек, но так же вкусны и питательны, как и те, что стоят рубль. Купите в лавке лососиную голову, она стоит десять копеек, и вы получите превосходные щи, без мяса!» — — —

7 декабря 1894

Вчера у Н.К. Михайловского снова дым коромыслом: он праздновал свои именины. Народ то уходил, то приходил. Гул голосов, смех, пение, хлопанье пробок, звон стаканов — каждый делал, что хотел; за день с поздравлениями явилось, пожалуй, более ста человек. В суете мне так и не удалось ни с кем перемолвиться: нас перебивали и телесно, и словесно. Присутствовали, в частности: В.Г. Короленко — холодный, равнодушный человек, *«хитрый мужик»*, как назвал его Баранцевич; Гарин (Николай Георгиевич Михайловский) — сама любезность и сердечность; поэт Александр Александрович Ольхин — симпатичная и скорбная фигура; известная промышленница и благотворительница Морозова*, не венчанная жена профессора Соболевского, который тоже присутствовал, наряду с профессором Чупровым. Философ Владимир Викторович Лесевич с докрасна раскаленным круглым фонарем вместо носа, который, однако, ничего не пил, а произнося речь, потирал руками так, что чуть не содрал с ладоней кожу; затем Мамин, который был в ударе, яростно бранил кого-то и, сжимая кулаки с криком «*Во!*», то и дело поминал «мать» (впрочем, мы стояли одни в углу); кто, собственно, его обидел, так и не удалось выяснить. В шесть почти все разошлись, чтобы поспать часок и набраться сил для продолжения попойки (в семь предполагалось начать сначала с тем, чтобы, как обычно, завершить ее к четырем или к пяти ночи, вернее, утра).

Михайловский (пил только вино) тоже лег отдохнуть. Мы с Баранцевичем отправились сыграть две партии в бильярд. Судя по его болтливости, он стареет. Прекрасно зная, что я не пригласил Лейкина на свой день рождения из-за его грубого поведения, он все же недавно его спросил: «Почему Вы не пришли к Фидлеру?» — «Когда?» — «Четвертого ноября, была куча гостей». — «Он не пригласил нас». — — —

Сегодня, по договоренности, зашел к Лесевичу, который показал мне редкую коллекцию буддистских божков и назойливо просвещал меня по части буддизма.

13 декабря 1894

Вчера у меня был Фофанов. Продиктовал мне несколько эпиграмм на молодого критика Медведского, который разнес в «Севере» книгу «*Символы*» и даже *фигу* истолковал как символ:

Наш Медведский, критик детский,
Нет забавнее его:

* Изображена Михневичем в его романе «*Москвичка*» и частично Боборыкиным в «*Китай-городе*».



Смотрит в книгу, видит фигу,
Где не видно ничего.

Последняя строчка указывает на пустоту этой книги Мережковского. <...>

29 декабря 1894

Вчера у меня обедали: Альбов, Мамин (со своим братом Владимиром), Н.К. Михайловский и Южаков. К сожалению, я и теперь не располагаю материалом. Чрезвычайно мил был Потапенко: он играл на рояле, спел что-то из Шуберта и Глинки и станцевал несколько па. Когда я рассказал, что позавчера в «Капернауме» Баранцевич отказался передать мне солонку, Потапенко молвил: «Я тоже не свободен от предрассудков: утром, например, когда я вижу, что мои туфли стоят наоборот, то есть сперва правый, а за ним — левый, я знаю, что в этот день со мной случится какая-нибудь неприятность». Он ставит ударение в своей фамилии на второй, а не на третий слог: «Это выдумал Буренин, чтобы рифмовать Потапе́нко — Глупе́нко!» Южакова спросили, как он сам называет себя: Южа́ков или Южако́в, и он ответил: Южако́в. Он был, само собой разумеется, «готов» (да и все мы, собственно, находились в приподнятом настроении). Сильней всех напился Мамин. Под аккомпанемент Потапенко, сидевшего за пианино, — он исполнил с моей женой цыганский танец; при этом немало пришлось претерпеть цветам на подоконнике и трюмо, а также бонбоньеркам на новогодней елке. Подарил мне свою книгу «*Сибирские рассказы*» и сказал (когда я с удивлением заметил, что не читал ни одного из рассказов): «*Я тебе, батенька, еще не такие Калифорнии преподнесу, подожди только!*»; около полуночи он чуть ли не силком потащил меня сперва в «Капернаум», где всячески выдавал себя за лучшего в мире игрока на бильярде (хотя я и обыграл его), затем — к Палкину, откуда мне удалось скрыться sans adieu[124]; Альбов молча пил водку, красное вино и коньяк, а когда Баранцевич и Потапенко затянули песню «*Много песен слыхал...*» (я аккомпанировал), он пытался преждевременно пропеть заключительную строфу: «*Но настанет пора, наш проснется мужик...*» Я спросил Потапенко, выйдет ли его роман «*Не герой*» отдельным изданием; он ответил отрицательно: «Не могу же я заполонить моими произведениями весь книжный рынок!» Михайловский держался приветливо и просто, прилежно пил пиво, белое вино и коньяк (но не водку — он полностью от нее отказался после последнего большого застолья в «Капернауме»), мирно болтал с Потапенко (о сцене у Палкина не было упомянуто ни единым словом; я пригласил обоих, как и Южакова, имея в виду помирить их друг с другом) и рассказывал о Мартове, который — это подтверждает и профессор Манасеин — на самом деле рехнулся: он способен безо всякого повода пырнуть человека ножом в живот.

Этого Мартова я видел потом в «Капернауме» в невменяемом состоянии (кажется, он сидит там круглые сутки: всякий раз, когда я прихожу, он уже там, а когда ухожу, он все еще сидит за своей кружкой пива, тупо уставясь перед собой); он скулил, что ему надо уехать на неделю, но у него нет денег, и просил меня порекомендовать ему кого-нибудь, кто мог бы одолжить ему под проценты 25 или 50 рублей; я мог указать ему, как некогда покойному Бибикову, лишь на Шифлера, ибо не вожу знакомства с ростовщиками. Мартов попросил официанта отозвать меня от бильярда, а через пять минут, когда я вернулся, Мамин стал бушевать по поводу моего долгого отсутствия и успокоился лишь тогда, когда ему принесли его любимое блюдо: жареную навагу.

6 января 1895

Вчера вечером — у Мережковских. В углу — елка, без каких бы то ни было украшений: «для запаха». Среди гостей — несколько молодых декадентов. На столе — ростбиф, швейцарский сыр, копченый сиг, икра, четыре бутылки вина и фрукты. Учтиво и чинно; общество, опьяненное собственной трезвостью; занавешенные лампы, на потолке — разноцветный, загадочно мерцающий фонарь. За чаем вели себя эстетски. Говорили о суевериях, и Мережковский заметил, что не может видеть друг возле друга не только три зажженных свечи, но и три спичечных коробка; сказал, что встречи с попами помогли ему постичь целую астрологию; Андреевский утверждал, что видеть во сне царскую семью — к добру (а не наоборот, как считают многие). Он, Андреевский, вел себя, по обыкновению, напыщенно. «Вы ко мне невнимательны! Я вынужден держать ноги на крашеном полу!», — обратился он к Зинаиде Николаевне, и ему тотчас же принесли коврик для ног. Пол был так нагрет, что можно было сидеть без чулок. Потом стал читать Пушкина: «Каменного гостя», «Русалку» и отрывки из «Онегина» — без выражения, с подчеркнутой простотой. Однако Мережковский был в восторге: «Так замечательно не прочтет ни один актер на свете!» Мережковский ставит Пушкина наравне с Шекспиром; он выдернул елочную иголку и воскликнул: «Подобно тому, как эта иголка — ель, точно так же Пушкин — Шекспир!» Опустившись на колени, Мережковский прочитал пушкинское стихотворение. Когда я заявил, что одним из величайших поэтов всех времен и народов является Гейне, Мережковский во́зразил: «Он не может быть великим поэтом хотя бы потому, что он — еврей». Кроме того присутствовали: московский поэт Федоров[125], не сказавший за целый вечер ни слова, и Тетерников (Ф. Сологуб), автор совершенно незначительной книжки «Тени»[126]; менее всего похож на писателя. Зинаида Афанасьевна Венгерова призналась: «Я читала Пушкина так давно, что почти ничего не помню».

В целом — довольно неинтересно и скучно; куда живее и уютнее бывает у Мережковских, когда они одни.

Минский лечится за границей (кровохарканье), и Андреевский сказал: «Мне очень не хватает его в нашем Шекспировском кружке: он обладает знаниями, вкусом и умом».

9 января 1895

Беседовал вчера с Острогорским. Он рассказал: «Я только что закончил для Маркса мою речь на юбилее “Нивы”. К сожалению, не все, что я тогда говорил, может быть напечатано. Например, я, русский человек, утверждал, что глупо или подло упрекать немцев в том, будто они высосали Россию, и указал на Маркса как на тип идеального предпринимателя. Воистину, дай Бог России побольше таких немцев!»

Проходя мимо дома Потапенко, я увидел, что он стоит у окна, поглядывая то на какую-то лошадку, то на свои пальцы. Он заметил меня и кивком пригласил зайти; это была лошадка, которую он вылепил из воска. Я сообщил ему, что его «Генеральская дочь» появилась в ганноверской газете, и он сказал: «Ну да, меня переводят больше, чем Чехова; это оттого, что переводить меня просто, тогда как Чехов — очень тонкий художник». — — <...>

12 января 1895

Встретил сегодня на улице Потапенко: «Куда?» — «Стричь волосы». — «Они и так хороши». — «Дамы не *одобряют*». — «Для Вас должна существовать лишь одна дама — муза!» — «*Ох, уж мне эта муза*!»

Он рассказал: «Зашел я недавно к Суворину и наткнулся в коридоре на Буренина. Мы протянули друг другу руки, но он, кажется, не узнал меня. “Похо́менко!”*[127] — представился я. — «Был он *смущен*?» — «По-видимому, да». — «Неужели этот человек еще способен смущаться?» — «Ну, может, ради приличия».

Он скоро едет в Москву — за деньгами. — — —

22 января 1895

Сегодня у меня ночевал Мамин. Говорили о его книге «Сибирские рассказы», и я сказал, что его темы анекдотичны. «Конечно, это лишь силуэты». Лучшей историей я назвал последнюю («Мизгирь») и предположил, что именно так

* Под таким псевдонимом Буренин высмеял Потапенко в «Новом Времени».

все и происходило в реальной жизни. «Напротив: я это выдумал от начала и до конца». — «У тебя есть такие рассказы?» — «О, множество». — «А ты ленив, то есть охотно ли принимаешься за работу?» — «Нет, могу в любую минуту начать писать и чувствую себя за этим занятием вполне свободно и уверенно».

Мы подсчитали, что если бы он издал все свои напечатанные произведения отдельными книгами, получилось бы собрание, превышающее тридцать томов (по двадцать листов в каждом томе).

С двенадцати до пяти мы играли в бильярд в трактире «Аркадия» (на другой стороне нашей улицы, слева), причем я выиграл всего две партии. Держа кий, Мамин, как правило, свободно приподнимал его в воздухе тремя пальцами правой руки, к немалому удивлению публики.

8 февраля 1895

Вчера ужинал у Лейнера с Антоном Чеховым, Потапенко и Баранцевичем. Вид у Чехова совсем не чахоточный; подозрительно лишь его постоянное покашливание. «Это у меня уже несколько лет, а излечиться нельзя — только *скапутиться*. Мои легкие...» Он зарабатывает совсем не так много, как можно подумать, зная тиражи его книг. «Я пишу ежегодно не более десяти листов, это приносит мне две тысячи пятьсот рублей; шестьсот рублей ежегодно приносят мне мои водевили — итого три тысячи сто рублей». — «Ну, а Ваши книги?» — «Лишь теперь, когда я полностью рассчитался с Сувориным, они будут приносить мне около двухсот рублей ежемесячно». — «Кстати о Суворине: ходили слухи, будто Вы собиратесь жениться на его дочери Насте?» — «Я? На Насте? Во-первых, она слишком молода для меня, во-вторых, психопатка и, вероятно, застрелится, а в-третьих, я женюсь только по любви...»

Когда в половине третьего ночи пришла пора расплачиваться и я вынул пятирублевый билет, Чехов и Потапенко сказали: «Нет, мы Вас пригласили, мы и угощаем!» — «Было бы куда лучше, если бы вы угостили меня вашими книгами!» — «Ну, это от Вас не уйдет!» Чехов (к Потапенко): «Видишь, что такое любитель литературы! А ты до сих пор ни разу не попросил у меня моей новой книги!» Потапенко: «Это потому, что я сам не могу дарить своих новых книг. Недавно встречаю в театре знакомого, которому я должен ни много ни мало три тысячи рублей; он и говорит мне в шутку: "Придется на Вас рукой махнуть, но подарите мне, по крайней мере, Ваши сочинения!" — «Ничего не поделаешь, придется для него купить!» — «Разве Вы ничего не привезли из Москвы от Сытина?» — «Нет, зато взял у "Артиста" семьсот рублей задатка, и представьте себе мою радость: на другой день было объявлено, что журнал пойдет с молотка!» — «Спасибо им, ведь семьсот рублей не мелочь!»... Потапенко заявил, что его жена — «психопатка». Мы много смеялись и шутили. Потапенко и Чехов думали, что тешка — какой-то особый вид рыбы, и были удивлены, когда я

объяснил им значение этого слова[128]. «*Ох уж эти немцы!*» Вместо «ничуть», «ни следа» и т.д. Чехов употребляет выражение «*ни хера*».

11 февраля 1895

Вчера в час дня, как и было условлено, мы собрались у Чехова — он живет в кабинете А.С. Суворина. (У Суворина — самая замечательная частная библиотека, которую я когда-либо видел.) В тот момент, когда я пришел, его писал какой-то молодой художник[129]. Отправились к Палкину и заняли там отдельный кабинет. Я чувствовал себя плохо (меня знобило и мучала головная боль) и сказал Чехову: «Ежели завтра после выпивки я буду чувствовать себя еще хуже, то Вам как доктору...» — «Я фельдшер!» — «Неважно, Вам придется меня бесплатно лечить!» — «Нет, уж лучше я пришлю Вам врача за собственный счет — мне совсем не хочется терять в Вашем лице своего читателя и поклонника!» — «Вы так редко практикуете?» — «Почти вовсе не практикую; лишь когда наступает холера, земство поручает мне какой-нибудь район». — «Разве Вы — земский врач?!» — «Нет...» О своей диете рассказал следующее: «Если я плотно поем или выпью рюмку водки, то уже не могу работать; поэтому за обедом я съедаю лишь несколько ложек супа, но зато как следует ужинаю и затем сразу же ложусь спать». — «Но ведь это очень вредно!» — «Вовсе нет: это дело привычки»... Потапенко дал ему сорок копеек, которые Чехов, улыбнувшись, сунул в карман со словами: «Дают — бери!» (А произошло вот что: вчера оба были у Лейкина; требовалось проводить домой Авилову, но ни одному из них не хотелось; в конце концов, Чехов согласился; теперь Потапенко вернул ему сорок копеек, которые Чехов дополнительно заплатил извозчику от Николаевской до Эртелева переулка[130]; для Потапенко это был способ ускользнуть от Авиловой, живущей на Николаевской недалеко от его дома. Все добродушно посмеялись над практичностью Чехова). Потапенко попросил меня сыграть на рояле что-нибудь классическое, Чехов — что-нибудь веселое: «Цыганского барона!» — Потапенко: «Ну, только не “Цыганского барона”!» Я сыграл из «Тангейзера», потом — Штрауса. Потапенко несколько раз подходил сзади к моему стулу, лил мне в рот fine champagne[131], а потом совал мне между зубов мятную лепешку. Говорили о Короленко, и Чехов сказал: «Я хотел бы, чтобы он запил или попал в руки падшей женщины, — тогда он создаст великое произведение». Долго говорили о журнале, который следует основать (этим планом Чехов делился со мной еще два года назад): чтобы издатели не обманывали сотрудников, писателям придется взять это дело в свои руки; гонорар не должен быть ниже, чем 450 руб. за лист; Потапенко вызвался раздобыть для начала 10 000 руб., но издателем должен числиться Чехов, тогда, мол, никакие кредиторы не смогут посягнуть на журнал... В пять часов Потапенко собрался уходить. «Куда?» — «На вокзал, мой брат уезжает». — «Но потом Вы сразу вернетесь?» — «Нет, я обещал детям, что возьму

их с собой». — «А Марья Андреевна?» — «Она болеет, вот уже десять дней». — «Да бросьте Вы!» — «Нет, не выйдет: я должен доставить детям удовольствие, тем более что обещал. Но я приду от восьми до девяти, только куда?» — «В “Кавказский”». — «Хорошо».

Он вышел, примерно через две минуты втолкнул к нам в кабинет Осипа Ильича Фельдмана и снова исчез. Целых четверть часа гипнотизер трещал без умолку, потом улетучился. Мы остались втроем. Чехов пил умеренно; он собирался посетить еще один дом. Баранцевич повернулся ко мне: «А знаешь, как назвал тебя Антон Павлович, когда мы возвращались от Лейнера? *Неугасимая лампадка перед лицом русской литературы!*» — «Правда?» Чехов: «Да, это про Вас!» Баранцевич: «Он это непременно запишет, ведь он ведет...» — «Казимир!» — «Да, есть у него такие голубые тетрадки...» — «Послушай-ка, милый, вот что мне пришло в голову: смотрю я, как вы тут по-приятельски друг с другом болтаете, любите и цените друг друга уже много лет... а почему бы вам не выпить на брудершафт?» Баранцевич: «Вот это мысль! Давайте?» Чехов: «С удовольствием...» Они скрестили друг с другом руки, выпили и расцеловались. Чуть позже Баранцевич попросил Чехова быть крестным отцом его девятого ребенка, и тот сразу же согласился. В ближайшее воскресенье он собирается отсюда уехать, видимо, в Таганрог, чтобы там поработать. «Здесь я не могу писать, а ведь я приехал, собственно, ради этого!». Еще он сказал: «Я, вероятно, никогда не женюсь, потому что могу жениться только по любви. После постановки “Иванова” я переспал не менее чем с 92 (девяносто двумя) женщинами; я воображал, что люблю их и выслушивал их любовные клятвы; но проходила ночь, и я понимал, что мы оба глубоко заблуждались». Он имеет дело почти исключительно с замужними, так сказать, приличными женщинами; два года назад он говорил мне, что никогда еще не лишил невинности ни одну девушку.

Едва Чехов ушел, Баранцевич стал хныкать: «Ну вот, опять я *дурака свалял* — первый предложил ему выпить на брудершафт!» Впрочем, братание привело его в состояние радостного возбуждения и, расцеловавшись с Чеховым, он совсем захмелел. «До чего ж я напился!», — стонал он, когда мы ели в «Кавказском» шашлык и пили вино. Ровно в полдевятого явился Потапенко, но застолье с Баранцевичем длилось недолго. «Не могу больше! Домой!» — воскликнул он и выбежал из ресторана. Я остался вдвоем с Потапенко. <...>

22 февраля 1895

Владимир Тихонов письменно пригласил меня навестить его сегодня вечером (новый адрес: Коломенская, 31, кв. 3); но поскольку я вечером занят, то зашел к нему днем, застав врасплох и его, и какую-то молодую особу: они ели блины с икрой. На столе стояли листовка[132], английское пиво, белое и красное

вино; позднее появились конфеты и фисташковый мусс. Оказалось, что у его молодой «жены» день рождения и «новобрачный» решил подарить ей пианино. Они живут вместе с 11 января нынешнего года, хотя уже почти год как состоят в супружеских отношениях; ее портрет я видел в прошлый раз на письменном столе Тихонова. Ее зовут Екатерина Владимировна (урожд. Зенгер), она привлекательна, но у нее птичье лицо (напоминает французскую актрису Мокур*); держится приветливо и просто; пишет под псевдонимом Барвинок: напечатала какой-то рассказ в «Живописном Обозрении»[133]. Он сказал: «Нам пришлось пережить бурные недели, и лишь теперь наступил покой, так что сегодня каждый из нас мог впервые что-то написать». Об Анне Ивановне: «Приближается весна, и пора подумать о том, чтобы снять дачу; я написал ей об этом и предложил деньги — никакого ответа! Так ведь она совсем погубит детей! А отказаться от них не хочет, потому что знает, с какой охотой мы оба взяли бы малышей к себе! Она просто мстит мне!»

12 марта 1895

Позавчера в гимназии Гуревича разговаривал с Б.Б. Глинским. Он сказал, что Мартов уже два или три раза сидел в сумасшедшем доме, где, видно, и кончит свои дни.

Вчера днем пришел Потапенко и принес мне десять рублей. «Удался ли твой визит к Баранцевичу?» — «Нет, он мог дать мне только десять рублей, и половина этой суммы тотчас же осталась на рынке. Я начал было сомневаться в своем финансовом гении, как вдруг мне в голову пришла спасительная мысль: Шубинский!» — «Ну и что?» — «И он дал мне 225 руб. аванса, из которых 125 я тотчас отправил в Париж». — «Ты же говорил про 125 франков?» — «Да, но как минимум». — —

Вечером пришли Мережковские. Зинаида Николаевна занимается теперь английским у какого-то англичанина и итальянским — у итальянки. Я дал ей Данте и Шелли и попросил прочесть и перевести; она успешно выдержала экзамен. Заявила, что итальянцы — самые отвратительные люди на свете, а он сказал, что англичане — самые замечательные люди (и те, и другие — generis masculini[134]); назвал английский язык самым прекрасным, богатым и благозвучным. Потом сказал, что лето можно проводить только под Петербургом: чудеснее его окрестностей не найти в целом свете, особенно что касается красочных эффектов равнинного пейзажа. Назвал Шелли холодным и искусственным; Флексер, по его словам, — образованный человек, который признает только Христа, Спинозу, отчасти Толстого и самого себя. Она подтвердила: «Да, но он

* А также 26-летнего Шиллера на рисунке Доры Шток.

тонко маскирует свое чувство; он как холодное пламя». Продиктовала мне эпиграмму Минского на Флексера:

Святости доза,
Нахальства мера;
Не то Спиноза,
Не то холера.

О Минском Зинаида Николаевна отозвалась так: «У него жирный рассудок, который местами проступает наружу». Его стихотворение «Портрет» (в мартовской книжке «Северного Вестника»[135]) относится, скорей всего, к ней.

Наедине друг с другом оба ведут себя естественно и непринужденно; но стоит кому-либо оказаться рядом, начинается жеманство. Присутствовал Владимир Тихонов (пришел без своей Катерины Владимировны; у нее воспаление пузыря, — осложнение после гриппа). В Русском литературном обществе Червинский читал недавно отрывки из своих «Иллюзий», которые Мережковский назвал слабыми, а Тихонов признался, что чуть было не заснул. Он, как обычно, остроумно шутил, так что все смеялись, и безобидно играл словами, например: почему Волконского зовут Вол-Конский, а не Бык-Лошадинский?»

Мы уже сидели за ужином, когда пришел Потапенко. С Тихоновым и Мережковским поздоровался как со старыми знакомыми, а Зинаиде Николаевне сказал: «Мы однажды виделись», на что она свысока и презрительно ответила: «Верю». Он почти не участвовал в разговоре, сидел, оперев голову на левую руку, и карандашом рисовал портрет на скатерти. После двенадцати он не сдержался: «Марья Андреевна больна (кровотечение), я обещал, что вернусь сразу после двенадцати, не могу заставлять ее ждать». В его отношении к этой женщине, которая его разорила и которую он не любит, есть что-то джентльменски-рыцарское, и это делает его еще более привлекательным. — —

Сегодня провел часок у Венгерова. Стихотворение Минского «Портрет» кажется ему неточным, поскольку Зинаида Николаевна, по его словам, — совершенно идеальная красавица, в ней нет ничего вакхического и ни в ком из мужчин она не пробуждает грешных помыслов. (Вчера, сидя у нас, призналась, что любит, когда в нее влюбляются.) Собирается осенью поехать на Корфу — к дочери Белинского, о котором должен писать: надеется получить от нее новые материалы. Не может видеть решетки — тут же испытывает головокружение. На похоронах Лескова его не было, потому что он (Венгеров) однажды резко его (Лескова) разнес; его последнее волеизъявление имеет немало общего с гоголевским[136]. «Оба были лицемерами до конца своих дней». Брат Евгения Гаршина застрелился; «Евгений, полагаю, закончит тем же, поскольку и он не нормален». Подарил мне свой портрет и четвертый том «Критико-библиографического словаря», в котором помещена длинная статья о Боборыкине. «Он был у меня не-

давно, и я читал ему эту статью, но ему не слишком понравилось, потому что я его там *немножко высек*!» Продиктовал мне две эпиграммы, автор которых неизвестен. Первая — на Победоносцева:

Победоносцев для Синода,
Он — Доносцев для царя,
Бедоносцев для народа,
Рогоносцев для себя.

Говорили, что жена Победоносцева наставляла ему рога. А финансист Островский сделал рогоносцем Феоктистова:

Островский Феоктистову
На то рога и дал,
Чтоб ими он неистово
Печать всю забодал.

15 марта 1895

Вчера вечером у меня был Мамин. Заметил полушутя, полусерьезно: «Проклятые немцы празднуют день рождения не только ближайших родственников, но еще и тетушек и дядюшек, двоюродных сестер и братьев и т.д. Подумаешь, редкий случай: немец родился!» — — Он накупил себе в Москве русских книг на двести рублей. «Четыре раза в жизни я терял все свое имущество!» Очень любит сельское хозяйство; принес с собой жареных трюфелей, щавелю, лесной земляники и пр. и стал расхваливать всю эту еду, которую где-то купил. Утверждал, что никогда не слыхал о таком писателе, как Лихачев. Уговорил меня сыграть с ним в бильярд.
<...>

18 марта 1895

Вчера вечером у меня часок сидел Мамин. «Твой “Хлеб” хвалят». — «Ничего особенного. Но погоди, третья часть будет что надо!» — «Сколько листов публикует “Русская Мысль” ежемесячно?» — «Это меня не волнует». — «Как это? Ты же должен знать, сколько ты получишь за месяц и сколько сможешь истратить!» — «Я не получил за этот роман ни гроша: все уходит на уплату долгов».

«Нравится ли тебе “*Хозяин и работник*”?» — «Нет, потому что Толстой не дал здесь ничего нового: все это уже есть в его ранних вещах, только сделано куда лучше».

Я рассказал ему о медовых месяцах Тихонова и посоветовал ему тоже обзавестись какой-нибудь дамочкой. «Спасибо! Я не знаю, как *отделаться* от слу-

чайных связей, а тут — приковать себя к какой-нибудь одной, без любви, без страсти! Нет! А кроме того у меня ребенок, которого я люблю!» — — —

19 марта 1895

Впервые участвовал вчера в Обеде беллетристов, состоявшемся в ресторане «Донон». Присутствовали (перечисляю в том порядке, в каком сидели за столом): Сыромятников (барон Сигма), Вентцель (Юрьин), я, Потапенко, Гарин, Мамин, Василий Немирович-Данченко, Гнедич, Зарин; на другом конце стола — Чермный, Позняк, Вагнер (Кот Мурлыка), А.С. Суворин, Мордовцев, Авенариус, Луговой, князь Голицын (Муравлин) и напротив — князь Э. Ухтомский. Общий, мало-мальски серьезный разговор совершенно не ладился, но настроение, хотя выпили не так уж много, было приподнятое. Шутки и остроты так и порхали взад-вперед, один подтрунивал над другим. Взрослые люди вели себя как дети или школьники — впрочем, не имею в виду ничего предосудительного; один старик Мордовцев хватил лишку: стал употреблять циничные, а то и просто *похабные* выражения. Оба князя держали себя с достоинством, сдержанно, но отнюдь не высокомерно; если кто-то с ними заговаривал, отвечали приветливо и просто. Только Чермный жеманился, как обычно. Худая фигура Позняка напоминает о чопорных графах Миттервурцера, а его манера речи — поток французских слов, скрипучим голосом, в нос — невольно производит комическое впечатление. Ухтомский жаловался на невежество Брунхофера, который переводит «Путешествие наследника»[137]. Так, фразу «*Народ спускается в гигантскую купель*» (реки Ганг) он перевел как «Народ поднимается под самый купол». Для альбома наших собраний мы стали сочинять трагедию: каждый должен написать несколько строк диалога — пару реплик в свободной форме; само собой разумеется, что и пресловутые «безумные надежды»[138] тоже нашли свое место.

Поздно вечером Мамин, Владимир Тихонов, Потапенко и я отправились к Вольфу (Лежену), где играли в бильярд (Потапенко вел себя несдержанно, совсем как ребенок); затем — к Палкину. — — —

25 марта 1895

Вчера мне нанес визит князь Дмитрий Петрович Голицын (Муравлин). «В четверг поеду в Москву — просто так, чтобы *проветриться*; когда ежедневно имеешь дело с разными министрами, под конец становится невмоготу». — «Но ведь со временем, как я слышал, Вы сами собираетесь стать министром...» — «Это правда. Но тогда я буду сам себе хозяин; люблю свою службу, хотя она все же утомляет меня!» — «Зато Вы каждое лето свободны». — «Ну, не каждое.

Например, нынешнее. То есть я буду все время жить в Меррекюле...»[139]. — «Вот видите». — «Да, но ежедневно будут приезжать курьеры с бумагами, которые я должен подписывать. А потом — что за дачная жизнь в Меррекюле? Ведь море там — просто лужа!» — «Конечно, коли Вы отдыхали и купались на африканском побережье...» — «Моя натура требует воистину настоящей жары. Впрочем, всего охотнее я живу в Тироле, где можно неделями бродить и странствовать; однажды я пешком добрался от Инсбрука до Милана». — «А на Рейне Вы были?» — «О да, я долго жил в Рюдесгейме». — «И Вам там понравилось?» — «Все, кроме одного: знакомые буквально заставляют тебя пить белое вино. Правда, вино замечательное, но я не люблю, когда много». — Заговорили о переводах его произведений. «Французские довольно точны, но выдержаны в каком-то ужасно вульгарном тоне. Немецкие читаются неплохо, зато смысл нередко искажен полностью. Эта Адель Бергер — очаровательная девушка... Вена, второй район, Зелинкагассе десять...» — «Как, Вы помните даже адрес?» — «Да, ведь она — восхитительное создание! Одну из книг я отправил ей, испещренную на полях моими исправлениями, которые будут учтены во втором издании».

Пришла моя дочь. «У меня тоже есть семилетний сын, которого я безмерно люблю, однако ж не балую. Все знакомые смеются над моими нежными отцовскими чувствами». — «А еще у Вас есть дети?» — «Нет; впрочем, и *одного* ребенка вполне достаточно».

Свободно и очень красиво говорит по-немецки.

Продиктовал мне несколько своих пародий, которые в свое время появились в какой-то газете (об этом его просил один знакомый, написавший критическую статью), однако без имени автора.

На Фофанова:

Круча жизни светом дышит,
Мрак трепещет, холод бел,
Тихий шепот ум колышет
К удивленью Изабелл.

Чу! Собака видит падаль,
Свищет злой локомотив...
Вам сотрудника не надо ль
На загадочный мотив?

На Сафонова:

Полюби меня, дева, люби же меня,
Полюби же!
Взор мой полон до края любви и огня —
Стань же ближе!

Сядем вместе с тобой на лихого коня
Мы в Париже!
Видишь взор многоцветный угасшего дня?
Солнце ниже!

На Минского:

Не говори, что в мире нет прогресса:
Я получал за строчку четвертак,
А ныне мной получена промесса[140]:
Что мне дадут за строчку рублик!.. Так
И мой народ, стремяся к Ханаану,
Хоть и зашел в Бердичев по пути,
Однако может, лгать тебе не стану,
И до Камчатки весело дойти.

28 марта 1895

Нанес вчера ответный визит Голицыну. Множество достопримечательных, но невидимых предметов, поскольку огромный кабинет освещен лишь на четверть. На письменном столе — терракотовый бюст Александра III (очень похож); показал мне несколько карандашных зарисовок, сделанных нынешним императором (в то время — наследником) и великим князем Владимиром во время заседаний Государственного совета, а также — карикатуру на Победоносцева. Под каждой фигурой — имя автора, год, месяц и день, проставленные рукой Голицына. «Да, это редкость!» — «Вам это досталось от самих рисовальщиков?» — «Нет. Как только они покидали свое место, я подбегал и забирал листок». — «В общем как у нас в Гороховом Обществе[141] с рисунками Репина!»

Он подарил мне свою книгу «*Перепевы*», не предназначенную для продажи, и показал различные переводы своих сочинений, где автором значится Galitzin. — «Разве следует писать так, а не Golitzin?» — «Нет, в иностранных языках форма Galitzin — единственно правильная»... Я спросил его, много ли он пишет стихов. «Теперь почти только пародии и эпиграммы, а раньше писал много». — «Они где-нибудь публиковались?» — «Большей частью в “Живописном Обозрении” либо под моей фамилией, либо под псевдонимом Чертков». — «А Вы не собираетесь издать их отдельным сборником?» — «Нет, они этого не достойны». — «Вы диктуете Вашу прозу?» — «Нет, на это я не способен; пользуюсь пишущей машиной, причем записываю лишь тщательно составленные фразы и то, что глубоко продумано»... Он крестил у Тихоновых ребенка и отлично знает все семейные обстоятельства. Поэтому я спросил, кого он считает виновной стороной. «Оба хороши! Когда он зарабатывал в “Севере” приличные

деньги, то проматывал их, она же ничуть не заботилась о том, чтобы создать ему уютное жилье». — «Он очень тоскует по своим детям». — «Разве можно тосковать по детям и одновременно пьянствовать, петь и танцевать». — «Но, вступив в новый брак, он буквально сияет от счастья». — «О, я уже не раз видел его таким сияющим!»... Мережковских (обоих) недолюбливает: «В них одно притворство!.. Да и как можно стремиться к тому, чтобы стать писателем, и при этом общаться только с самими писателями, не соприкасаясь с прочими людьми? Я лично общаюсь с писателями очень мало, зато как раз пытаюсь ближе узнать людей»... Если он спит один, в комнате непременно должен гореть свет: «Иначе у меня галлюцинации».

Были еще какой-то остзейский барон и министерский чиновник, обсуждавшие за чаем собственные дела, в то время как я беседовал с княгиней (поговаривают, бывшей портнихой): она чуть глуховата, но молода и мила и вовсе не изображает из себя знатную госпожу. Впрочем, и сам Голицын — скромный приветливый человек.

1 апреля 1895

Вчера пришел Мамин, и мы отправились в «Капернаум» играть в бильярд. Вскоре туда явились Баранцевич и Анатолий Святловский. Мамин так безмерно восхвалял свое бильярдное мастерство, что стало тошно; даже то, что он проиграл мне, не умерило его хвастовства. Затем отправились в «Москву» ужинать. Кто-то заказал итальянские макароны; когда их подали, я сказал, что в Милане мне доводилось вкушать совсем иное. Тут Мамин начал грубейшим, примитивнейшим образом поносить немцев, да и меня тоже. От изумления я потерял дар речи: ведь для этого выпада не было ни малейшего повода. Рассудительный Святловский стал урезонивать и упрекать наглого хама, Баранцевич же сидел, как и всегда в таких случаях, исполненный иезуитского спокойствия; а когда я назвал его дипломатом*, послал меня к е.... матери. Позже пьяный Мамин просил у меня прощения.

В «Капернауме» появился также Южаков, совершенно пьяный, со следами блевотины на бороде, и полез ко мне целоваться своим терпко пахучим ртом; еще немного — и меня самого бы вырвало. — —

Сегодня ко мне зашел Венгеров. Он получает в год около пяти тысяч, но тратит на свои нужды не менее четырехсот рублей в месяц. За одно обучение своих пяти детей (скоро, в этом месяце, появится шестой) он платит ежемесячно восемьдесят рублей. «Я уже забыл, когда последний раз был в театре. Одежда

* Мамин как раз бранил Бисмарка, и в этот момент я показал на Баранцевича со словами: «А вот сидит истинный дипломат!»

покупается исключительно для детей: у моей жены всего два платья, у меня — одна пара брюк и два сюртука — этот и еще один, черный». «Критико-биографический словарь» не приносит ему ни заработка, ни убытка.

Он полистал мой альбом автографов и дошел до А. Ольхина. «Вот тебе кое-что еще про запас. В самом первом номере “Земли и Воли” есть неподписанное стихотворение “У гроба Мезенцова”. Его автор — Ольхин».

Мы говорили преимущественно по-немецки.

После нравственно возмутительной сцены моя беседа с Венгеровым была для меня подлинной усладой.

3 апреля 1895

Сегодня — юбилей Александра Николаевича Веселовского: двадцать пять лет профессорской деятельности. Он — крупный ученый, а кроме того — человек, достойный любви и всяческого уважения; зато преподавательский талант у него, по-моему, вообще отсутствует или же весьма незначителен. Поскольку я выбрал, поступив в университет, романо-германскую филологию (кафедры общей истории литературы — единственной, которой меня привлекала, — в то время не было), мне пришлось у него «специализироваться» и зубрить англосаксонскую, провансальскую и староиспанскую грамматику, которую он читал убийственно скучно. На экзамене я переводил из «Беофульфа» и «Песни о Сиде»; то, что я с треском не проваливался, следует отнести исключительно на счет его снисходительной доброжелательности. Ему (точнее, его подписи) я также обязан тем, что мне выдали — без специального экзамена — диплом гимназического преподавателя по специальности «немецкий язык и литература». Не только как бывший ученик, но и как член основанного им Неофилологического общества (заседания которого я ни разу не посетил, ибо мне ненавистно любое буквоедство, да и вступил-то я в это общество поневоле: во время какого-то веселого застолья Я.Г. Гуревич отдал за меня Ф. Брауну членский взнос в 10 руб.; деньги я вернул ему, разумеется, на другой день в гимназии) я подписал оба адреса и вместе с обеими депутациями отправился на квартиру юбиляра. Сплошь сухари-филологи, педантичные любители суффиксов и префиксов; из живых писателей — лишь двое: Пыпин и Леонид Майков, которые не медля отделились от общества и вели друг с другом беседу в соседней комнате. Веселовский живет очень скромно, без каких бы то ни было внешних украшений: на стенах, например, висят олеографии из «Нивы». Было совсем неинтересно. Хватит!

10 апреля 1895

Вчера пришел Мамин и в качестве «искупительной жертвы» принес мне несколько своих книг (он ни за что не хотел их приносить, требуя, чтобы я сам

забрал их из Царского). Указав на книгу «*Рассказы и сказки для детей*», сказал: «Все, что я написал, умрет вместе со мной, а эта книга меня переживет. В ней я оставил Аленушке огромный капитал!» В течение ближайших лет намерен выпустить пятнадцать книг. Непременно хотел сыграть со мной в бильярд, но Люба и М.В. Ватсон энергично этому воспротивились, ведь на другой день я должен был экзаменовать в Екатерининском институте. Он куда-то ушел, пообещав, что вернется на ночь, но не вернулся. Рассказ «*Медведко*» в упомянутой книге назвал слабым. Кроме того, просил: «На днях у Тихонова Баранцевич держался крайне неприветливо; по-видимому, зол на меня. Скажи ему и дай от моего имени честное слово, что я совершенно неповинен во всей этой истории». — «Какой истории?» — «Да в "Мире Божием", где меня расхвалили, а его разругали, причем упоминалось о его службе и о том, что он женат на кухарке». — «Но ведь это подло! Как могла Давыдова допустить такое?!» — «Наверняка положилась на Острогорского». — «Тогда это полная безответственность с его стороны. Ведь Баранцевич его приятель!» — «Да он, наверное, и не читал статьи!» — «Старательный редактор!» — «Н-да!»

28 апреля 1895

Сегодня — часок у Владимира Тихонова. <...> Они как раз обедали; на столе стояло три сорта перца, три сорта горчицы, два сорта уксуса, маринованные грибы и луковицы и прочие пряности. Собираются совершить летом путешествие по Волге и, кроме того, посетить Тифлис: оказывается, его жена, которая находится в тамошнем сумасшедшем доме, не умерла, а наоборот — выздоровела; таким образом будет легче добиться развода. Он выпросил у «Рептильного фонда»[142] (но еще не получил) 1200 рублей. Называет Бетховена Шекспиром музыки, а Глинку — Пушкиным. Буренин, по его словам, не художественно-научный критик, а великолепный *вышучиватель;* он никогда не хвалил его в печати (но и не бранил), «к счастью для меня, потому что хвалить он не умеет, и его похвала делает писателя — разумеется, не классика литературы — просто смешным в глазах публики; если бы он написал про меня и принялся бы хвалить, скажем, за счет Чехова, которого он не любит, — со мной было бы кончено; я подарил ему как-то две своих книги и через несколько дней увидел их у него на столе с карандашной пометой: «*Похвалить!*» Что и было сделано, но уже другим рецензентом». Его (Буренина) нерасторжимый союз с Сувориным существует с давних пор, когда Суворин, измученный нищетой и болезнью своих детей, явился к Буренину и попросил его о помощи, и тот, сам не будучи богат, дал Суворину двести рублей из своих последних трехсот... Тихонов опубликовал уже столько рассказов, повестей и романов, что этого хватит на шесть томов, но он не может найти издателя. О своем брате Луговом (он ввел его в

литературу и придумал ему псевдоним) сказал: «Все знают, что я терпеть его не могу, но я готов выйти на открытую площадь и кричать, что Маркс не найдет для "Нивы" более дельного редактора»... Котик сияла: она только что получила письмо от Владимира Соловьева, в котором он хвалит ее последний рассказ (в рукописи) и предсказывает ей успешную литературную карьеру.

— — —

Сегодня четверть часа провел у Случевского, подарившего мне свои «*Исторические картинки*». Собирается издать одной книгой избранное из четырех своих стихотворных книг[143], добавив самые последние стихотворения. В остальном — ничего такого, что стоило бы записать. Он познакомил меня со своим музейным собранием и показал древнейшие языческие и современные христианские изваяния, осколок с «Русалки»[144], кусок стекла от окна разбитой кареты, в которой находился Александр II в момент покушения, замок и ключ, которые настолько расплавились во время страшного пожара, бушевавшего здесь в 1862 году, что превратились в единый слиток, и другие подобные диковины.

25 мая 1895

Ехал на конке и встретил Э.Э. Ухтомского. Отправляется вскоре в Лейпциг к Брокгаузу (ездит туда по два-три раза в год), чтобы обсудить с ним «Путешествие наследника», которое тот выпускает на немецком. Я спросил: «А все последующие выпуски тоже будет переводить Брунхофер?» — «К сожалению, да. Во-первых, его имя уже стоит на первых выпусках, а во-вторых, он беден. Гонорар, который я плачу ему, он, говоря по совести, должен бы платить мне, ведь мне приходится вычитывать и выправлять каждую написанную им строчку». — «Издание вряд ли окажется прибыльным — уж больно роскошно оформлено!» — «К настоящему времени у меня пятнадцать тысяч рублей убытку». — «У Вас самого? Вы ведь всего-навсего редактор!» — «А также издатель — на собственный страх и риск». — «Но Вы, наверное, получили субсидию?» — «Ни гроша». — «Но ведь у императора есть эта книга?» — «Конечно». — «Неужели ему неинтересно, как обстоят дела?» — «Я неоднократно говорил с ним об этом, но он ни единым словом не обмолвился о денежной стороне вопроса».

<...>

14 августа 1895

Вчера — у Баранцевича в Коломягах. Играли в кегли, потом — в бильярд. <...>

Еще до Нового года Люба перевела рассказ Ольги Вольбрюк «Праздник св. Иордана», но, просмотрев рукопись, три редактора вернули ее обратно: Булгаков (без сопроводительного письма), Острогорский и Гайдебуров. <...>



Ил. 1. Ф.Ф. Фидлер на заседании Русского литературного общества. Карандашный рисунок И.Е. Репина. 19.IV.1893



Илл. 2. В.М. Гаршин. Фотография К.А. Шапиро. 1883.
Надпись на обороте: «Федору Федоровичу Фидлеру на память от Всеволода Гаршина. 1884»; помета Фидлера (синий карандаш): «18 мая (1884)»; рукой Фидлера (чернила): «р. 2. Febr. 1855 † 24 марта 1888»



Илл. 3. Фридрих Боденштедт. Портрет В. фон Каульбаха. «Herrn Simon Nadson von F. Bodenstedt» («Господину Семену Надсону от Ф. Боденштедта». — *нем.*). На обороте (рукой Боденштедта): «"Das Wort ist ein Hauch, / doch kann man es wägen, // Das Hauch wird zum Wort / erst wenn wir ihn prägen, // Und wie es geschieht, / bringt's Fluch oder Segen"». Friedrich von Bodenstedt. Wiesbaden, 28. Oktober [18]84» («Слово — это дыханье, но его можно уловить, // Дыханье становится словом лишь когда мы его произносим, // А то, как оно сказано, обернется проклятьем или благословеньем. Фридрих фон Боденштедт. Висбаден, 28 октября [18]84». — *нем.*).



Илл. 4. Д.С. Мережковский. Фотография К.А. Шапиро.
1880-е —1890-е гг.
На обороте помета Фидлера: «*Д.С. Мережковский.*
Из коллекции С.Я. Надсона. Подарок мне М.В. Ватсон. 4 марта [19]06»



Илл. 5. К.С. Баранцевич. Фотография К.А. Шапиро. 1890 (?).
«Доброму немцу и добрейшему другу на память о лете 1890 года в Коломягах. К. Баранцевич. 27.XI. [18]90 г.»



Илл. 6. Вас.И. Немирович-Данченко. Фотография К.А. Фишера, бывшая Дьяговченко (Москва). Ок. 1890 г.
«Дорогому и уважаемому товарищу по перу Ф.Ф. Фидлеру от Немировича-Данченко. 1.XI.1892. СПб.»



Илл. 7. А.А. Коринфский. Фотография А. Семененко. Начало 1890-х гг. «Дорогому Федору Федоровичу Фидлеру на добрую память Апол[лон] Коринфский. 22.I.[18]93». Надпись на обороте: «Многоуважаемому и симпатичнейшему Федору Федоровичу Фидлеру, поэтически пересадившему цветы русского Парнаса на тевтонскую почву. Апол[лон] Коринфский. СПб., 16 января 1893 г.»



Ил. 8. И.Н. Потапенко. Фотография М.П. Бортняевой (Коломна). Начало 1890-х гг.
«Да будет вечно мое единение с Федором Федоровичем Фидлером, которое случилось 6-го октября 1894 г. в моей столовой на Николаевской ул. 61. И. Потапенко»



Илл. 9. А.Е. Зарин. Фотография Д.С. Здобнова. Начало 1890-х гг.
«На добрую память уважаемому Федору Федоровичу Фидлеру. А. Зарин.
14.XII.[18]94»



Илл. 10. С.А. Венгеров. Фотография А. Елкина.
Первая половина 1890-х гг.
«Доброму приятелю Фридриху Фидлеру от любящего его С. Венгерова.
12 марта 1895»



Илл. 11. М.В. Ватсон. Фотография ателье «Шерер, Набгольц и К°» (Москва). 1880-е гг.
«Федору Федоровичу Фидлеру от М. Ватсон. 23 сент[ября] 1895 г.»



Илл. 12. С.А. Андреевский. Фотография Д.С. Здобнова. 1895.
«Многоуважаемому Ф.Ф. Фидлеру С. Андреевский 3 февр[аля 18]96»



Ил. 13. В.А. Тихонов и Е.В. Тихонова. Фотография К.Е. фон Ган и К°
(Царское Село). Середина 1890-х гг.
«Дорогому Федору Федоровичу Фидлеру от одного большого
бумагомарателя и от одной маленькой бумагомаратсльницы
на добрую память. К. Тихонова (Барвинок).
Влад[имир] Тихонов. 30.XII.1897. СПб.»



Илл. 14. З.Н. Гиппиус. Фотография Р. Шарля. 1897.
«4 ноября [18]98 г. Неподражаемому Федору Федоровичу Фидлеру от его адмиратера З. Гиппиуса» («адмиратёр», т.е. поклонник; *франц.* admirateur). На обороте помета Фидлера:
«Зинаида Николаевна Мережковская (Гиппиус). 1897»



Илл. 15. М. Горький. Фотография М.П. Дмитриева. 1890-е гг.
«Федору Федоровичу Фидлер М. Горький. 1899. Ноябрь 7»



Илл. 16. А.Н. Будищев. Фотография И. Ягельского. 1890-е гг. «Многоуважаемому Федору Федоровичу Фидлеру на память. 20-го ноября 1899 года. Ал. Будищев»

Своей специальностью в университете я выбрал, наряду с германо-романской филологией, историю русской литературы и потому часто посещал лекции профессора Ореста Миллера. Студенты прозвали его «Cri-cri» (эта игрушка тогда грассировала)[145] и «маленьким человеком с большими претензиями». Он не был большим ученым, зато — великодушным человеком, и потому студенты, которым он часто отдавал последнюю копейку, носили его на руках не только в переносном, но и — порой — в буквальном значении слова. Маленький, проворно семенящий человечек-горбун всегда читал свои лекции стоя (а когда садился, его было совсем не видно за кафедрой), изящно поглаживая бороду левой рукой; речь его была образной и богатой, но не вполне содержательной... Подробнее расскажу о нем как-нибудь в другой связи, здесь же воспроизвожу лишь то, что написано его рукой...

Летом 1882 года я письменно попросил у него редкое и, кажется, даже запрещенное издание «Легенд» Афанасьева (Гольдшмидт собирался их переводить); одновременно я спрашивал, не подыщет ли он для меня место домашнего учителя в семье, отправляющейся в путешествие. Он ответил:

«"Легенд" Афанасьева нет у меня, г. Фидлер. Что касается уроков в отъезд, то в настоящее время их тоже не представляется, если же будут, то извещу Вас.

Готовый к Вашим услугам

Ор. Миллер

9-го июня [18]82
Павловск».

Когда Мансфельд напечатал в Москве мою драму «Нерон» (я расскажу со временем об этой тягостной истории[146]), я, случайно оказавшись в Павловске, навестил его (Миллера; он жил в доме Пистолькорс), поделился с ним моим горем, и он направил меня к профессору Таганцеву, написав на своей визитной карточке следующее:

[*Орест Федорович Миллер*][147]

покорнейше просит многоуважаемого Николая Степановича дать кандидату нашего университета г. Фидлеру совет, как ему действовать против нарушения прав его авторской собственности». — — <...>

31 августа 1895

Встретил вчера Венгерова. Он сильно похудел. «Я почти не сплю». — «Почему?» — «Все нервы!» — «Ты болен?» — «Еще как! Внешне я спокоен, а внутри меня все бурлит и бродит. Мои нервы как тесто»... На Невском мы столкнулись с Минским, который, увидев Венгерова, «крайне вежливо, но холодно»

приподнял шляпу, Венгеров же в этот момент очень сдержанно и прохладно поздоровался с ним. «Ну и ну! — удивился я. — А мне-то казалось, что вы — друзья?» — «Мы теперь в ссоре». (Пауза.) — «А знаешь ли ты его (Минского) адрес?» — «Нет». — (В этот момент мы уже сидели в «Капернауме» за стаканом пива.) «А чем он занимается?» — «Он — адвокат и зарабатывает около трех тысяч в год; мог бы зарабатывать и двадцать пять, если бы больше интересовался своей профессией». — «Он и пишет мало». — «Он переводит "Илиаду" и получает от Солдатенкова сто пятьдесят рублей за каждую песню».

Он (Венгеров) стал говорить о своем нервном заболевании. Пока он рассказывал, в «Капернауме» появился Мамин. Разговор сделался неинтересным: они беседовали о покойном докторе Елисееве и шахматном турнире в Гастингсе. Потом Венгеров ушел, и мы сыграли в бильярд. Мамин уговорил меня отправиться в Царское Село. На станции мы наняли извозчика; мимо нас проехал нарядный экипаж, и Мамин убежденно сказал: «Через три года у меня будет собственный дом и экипаж на резиновых колесах. Я работаю как проклятый: пишу в год по пятьдесят листов!» Обосновался весьма уютно (Колпинская улица, 43, дом Вейч). Его домоправительница и бонна (с лошадиной внешностью) Ольга Францевна Гувале, которую он зовет «Тетя Оля», имеет на него, похоже, некоторое влияние (Аленушка исхудавшая, «почти не может стоять на ножке» и разговаривает, несмотря на свои три с половиной года, как двухлетнее дитя); он рассказал ей о всех событиях минувшего дня, где и сколько партий в бильярд мы сыграли и сколько выпили. Обзавелся библиотекой (русские классики), которая стоит больше 400 руб. «Это не для меня, а для Аленушки». Показал мне множество гравюр, монет, драгоценных камней и археологических редкостей и подарил мне, между прочим, свои только что напечатанные романы: «*Весенние грозы*» и «*Три конца*»; в этом году должны выйти отдельным изданием еще два романа: «Хлеб» и «Пепко», а в следующем году рассчитывает выпустить на книжный рынок не менее двенадцати книг. Прочитал мне список своих опубликованных романов, повестей и рассказов, в котором более двухсот названий. Наибольший финансовый успех он ожидает от книги своих ранних произведений, а также от «*Сказок и рассказов*»: «Это — моя *кормилица*, с ней я всегда буду сыт!» Бранил жюри здешнего Фребелевского общества за то, что оно не отметило премией его рассказы «*Постойко*» и «*Старый воробей!*»

5 сентября 1895

Вчера вечером пришел Мамин и остался у нас на ночь.

«От остальных современных русских романистов меня отличает то, что я никогда не высасываю свои сюжеты из пальца — я сам их все пережил. Кем я только не был: охотником, владельцем рудника, учителем (в течение целого года

я давал ежедневно по двенадцать частных уроков), репортером и даже — в последнее время — специалистом по борьбе на ринге (я ощупывал руки, бедра и икры у Моора и сидел на особом помосте с мясником Трусовым). Несколько лет изучал медицину и право. Бывал очень богат и очень беден, посещал дворцы и притоны. Знался с людьми разных сословий и разного общественного положения, видел разные людские характеры — и вот полнота этих впечатлений буквально душит меня, а материал властно просится наружу. К тому же мне оказывает добрую службу великолепная память: я прекрасно запоминаю цифры, а также отдельные выражения или фразы, которые мне когда-либо довелось слышать; я забываю лишь имена, и у меня нет никакой филологической памяти (два-три раза я штудировал от корки до корки Оллендорфа и Марго и все равно ничего не знаю по-французски). Да, я — труженик литературы! Десять лет подряд редакции возвращали мне мои вещи, а я все-таки не пал духом». Позже он сказал: «Я только теперь узнал себе цену: я — потрясающий человек, честное слово! Я ни разу не изменил ни одной женщине, потому что ни одной из них никогда не говорил, что люблю (кроме Маруси); даже в самые сладостные мгновения я отвечал "Нет!" на вопрос женщины, люблю ли я ее. Любовь всегда была для меня святым словом, как и Аленушка — священный придел моего сердца. Ради нее я никогда не женюсь, хотя во мне очень развит семейный инстинкт». — «А как обстоит дело с твоей первой женой[148]?» — «Я прожил с ней тринадцать лет, был невероятно счастлив, ибо она была замечательной, умной женщиной...» — «Ну и...» — «Слишком долго рассказывать!»

Когда Люба стала упрекать его в том, что недавно в Зоологическом саду он пропил вместе с Южаковым 70 рублей, он ответил: «Это неправда; не 70, а всего 36; сегодня, когда я был у него, выяснилось, что я задолжал ему 18 рублей». — «А не привирает ли порой Южаков?» — «Нет. Возможно, он просто потерял остальное. Я никогда не трачу в ресторане много денег. Однажды у меня было в кармане — я точно это помню — 140 рублей, а когда я проснулся, то обнаружил лишь 30: меня просто-напросто обокрали». — — <...>

25 сентября 1895

Владимир Тихонов и его Котик вернулись в Петербург. Позавчера они заходили к нам, но никого не застали. Вчера я зашел к ним на полчаса (Николаевская, 50, кв. 18). Они восторженно рассказывали о своем путешествии по Волге (поездка на пароходе им не стоила ни копейки; он получил от Фонда 600 руб.) и о сельской жизни на Иматре в пансионе «Рауха». Там в течение нескольких недель жил также Георг Брандес, «мерзкий еврейчик», весьма озабоченный своей славой и завидующий славе Владимира Сергеевича Соловьева. «Он написал тебе?» — «Нет еще». — «Странно, ведь он собирался это сделать и даже на память сказал нам твой адрес; я дал ему твой новый».

С 27 мая он (Тихонов) не пьет и уверял, что его даже не тянет к вину: врач строго-строго запретил ему пить, в противном случае ему грозит смерть от апоплексического удара. (У него склероз сосудов.)

15 октября 1895

Вчера нас навестил Мережковский (она не пришла: ангина) и принес свой роман «Юлиан Отступник». Держал себя, как всегда наедине с нами: просто, сердечно и весело. Зарабатывает литературным трудом (вместе с Зинаидой Николаевной) в среднем лишь сто рублей в месяц. — «Как же Вы можете на это жить?!» — «Я ежемесячно получаю, кроме того, сто пятьдесят рублей от отца»... Его предок был есаул из Малороссии по имени Мережка; «многие, однако, утверждают, что у меня еврейский тип...» Разглядывая портреты на стене над оттоманкой, назвал князя Ухтомского «полнейшей бездарностью» и сказал, что Зарин подделывал подписи сотрудников «Звезды» на расписках в получении денег. С Минским они разошлись: «Он хотел своей болтовней рассорить меня и мою жену с “Северным Вестником”; в таких случаях я никогда не устраиваю скандала, то есть не затеваю перебранки с человеком, а просто без лишних слов порываю с ним». Фета, Апухтина и Надсона как поэтов он не любит и собирается в ближайшее время выступить с острой статьей о последнем[149]: «Хоть мы и были товарищами... Однако статья появится после четвертого ноября, чтобы Ватсон не убила меня в этот день, а потом сама не повесилась». Заметил попутно, что не признает за Острогорским и Писемским вообще никакого таланта.

Мы заговорили о бесконечных историях с девушками, которых обесчестил Ясинский, и Мережковский стал его за это расхваливать: «Он мне импонирует, у него есть сила воли и мужество, ибо он поступает вопреки закону!» Я рассказал, что он (Ясинский) обесчестил среди прочих и мою бывшую ученицу Александру Лаврову (она сама сообщила мне об этом), дав ей какое-то усыпляющее средство; я назвал это трусливым убийством из-за угла, но Мережковский возразил: «Ну и что? Он ведь получил при этом удовольствие! И разве потеря невинности такое уж большое несчастье? Предрассудки!» — «Это Вы серьезно?» — в ужасе воскликнула моя жена. — «Совершенно серьезно!.. Если бы я мог, я влюблялся бы по десять раз в год, причем только пять раз — платонически».

Владимир Тихонов опубликовал в «Новом Времени» статью, посвященную Андерсену; она написана со слов Георга Брандеса (несколько дней они провели вместе в пансионе «Рауха»). Он описал поэтическое тщеславие Андерсена и его страх смерти, который был настолько велик, что он, получив от своего почитателя из какой-нибудь экзотической страны что-либо съестное, отдавал это — от страха, что еда отравлена, — своим друзьям, а через несколько дней

осведомлялся, здоровы ли они. Мы осудили такой эгоизм, но Мережковский сказал: «Это — великий жест! Ибо наше себялюбие пренебрежительно-мелочно, полно безволия и сомнений. Гениальные люди — такие, как Александр Македонский и Наполеон, — были величайшими эгоистами!» — — —

Еще о Мережковском. Войдя ко мне в кабинет, он устремился к письменному столу, на котором лежали «Fliegende Blätter». «А, “Fliegende Blätter”! Ужасно люблю их. Особенно картинки без подписи»... Назвал Гейне «еврейским, а не немецким поэтом»... Сделал выписки из нового Брокгауза относительно семейства Сфорца (заготовки к роману «Леонардо да Винчи»). «В Петербурге чувствуешь себя оторванным от всего цивилизованного мира, ведь в Публичной библиотеке почти ничего нельзя получить. Зато в Париже, Берлине или Лондоне — там пребываешь одновременно и в мире прошлого, и в мире настоящего». Хотел, не откладывая, заказать себе несколько книг в магазине Риккера: «Но завтра магазины закрыты... значит, во вторник!» — «Отчего же не в понедельник?» — «По понедельникам я не занимаюсь делами».

17 октября 1895

Вчера — премьера «Власти тьмы» Толстого в Малом театре. У меня не сложилось почти никакого впечатления — настолько автор беспомощен как драматург; убийство ребенка не тронуло публику из-за вмешательства цензуры и безликой инсценировки: пьесу следовало бы сократить, по меньшей мере, на четверть. Когда ее читаешь — впечатление более сильное. Много писателей; с каждым обменялся парой слов. Дольше других разговаривал с Баранцевичем. Презрительное отношение больного Петра к своей Анисье он сравнил, засмеявшись, с отношением к нему Дарьи Николаевны во время его мнимых болезней. <...>

Студенты в театре собирались устроить Суворину овацию, поскольку он добился постановки толстовской пьесы; они вызывали его на сцену, но он не вышел. «Почему Вы не вышли», — спросил я его в гардеробе». — «*А ну их к черту*!»

24 октября 1895

Вчера у нас был Мамин. Считает, что его роман «Три конца» весьма удался, «хотя в нем нет ни конца, ни начала»; но лучшим своим произведением считает «*Детские тени*», которые за полгода разошлись в количестве 3500 экземпляров. Собирается преподнести мне роман «Хлеб» не в виде книги, а в корректурных листах: «За этот год мне пришлось раздарить около трех тысяч экземпляров моих книг». Не находит слов, чтобы выразить свое восхищение пьесой Гауптмана «Ганнеле»: «Читая, я плакал, в самом деле плакал! Да, мы, русские, справедливы: мы умеем ценить то воистину хорошее, что приходит к

нам из Германии!» В меньшей степени восхищается Зудерманом и Ибсеном (впрочем, что касается Ибсена, он читал, кажется, только «Нору»).

Я предложил ему провести нынешнее лето вместе с нами на Рейне, и он пришел в неописуемый восторг — таким я еще ни разу его не видел. Он дал честное слово, что поедет с нами, и выражал свою благодарность объятьями и поцелуями. «Федя, ты открываешь мне такие горизонты! Моя Аленушка, за которую я с радостью отдал бы последние капли своей крови, — я поведу ее ко всем немецким светилам в области медицины! Ведь русские врачи ничего не смыслят! Я, варвар, попаду к цивилизованным людям! Это мне и нужно: здесь меня охватывают приступы бешенства! Да и “Тете Оле” необходимо съездить в Германию! Она, бедняга, уже который год сидит в этой *конуре*!» — «Скажи, когда же ты женишься на своей “Тете Оле”?» — «Никогда! Я знаю, что об этом судачат, но это — безумие! Конечно, она заменяет моей Аленушке мать и отлично ведет хозяйство (я отдаю ей все мои деньги) — но ей недостает женственности! А мне в первую очередь нужна женщина! Никогда!»

Он собирался к ночи вернуться в Царское, чтобы взять у «Тети Оли» 350 руб., поскольку завтра (т.е. сегодня) должен заплатить за рояль, купленный им в рассрочку за 550 руб. Но мы уговорили его отправиться к моим родителям: моя мать праздновала свое шестидесятилетие. В половине четвертого мы вернулись домой, а когда я проснулся в половине десятого, его уже не было — он ушел, не выпив чаю (на столе стоял полный стакан) и — не умывшись.

29 октября 1895

Вчера — именины Арсения Введенского. Всего два писателя (помимо Бирюковича, но он не беллетрист), зато много молодежи: гимназисты и студенты, буквально облепившие Наташу; она уединялась в своей комнате то с одним, то с другим и, кажется, была счастлива в своем уединении. Арсений был весьма возбужден: лишь раз или два пожаловался на интриги своих сослуживцев, увлеченно излагал астрономические гипотезы, превозносил талант Альбова и сыграл на рояле несколько тактов из русской церковной песни. — Фирсов (барон Форселлес) — безобидный милый господин финско-шведского происхождения (напоминает лицом Мережковского). Рассказал об оплошности, которую допустил при переводе пьесы Зудермана «Госпожа Забота»: встретив выражение «Geld pumpen», он перевел его как «*накача́ть деньги*»[150]. Он нигде не служит, живет на гонорары и проценты с небольшого состояния. — Баранцевич (которому Фирсов очень понравился) старательно изучает борьбу на ринге — намеревается описать ее в одном из своих произведений: осенью он неоднократно наблюдал в общедоступных садах грубые рукопашные схватки; посещал борцов Пытлясинского и Кравченко (который еще и художник), раздобыл шестьдесят

моментальных фотографий, на которых изображены полуобнаженные борющиеся мужчины, и пытается теперь разобраться в какой-то немецкой брошюре на эту тему.

6 ноября 1895

Вчера на моем 36-летии было 37 человек, среди них: Позняков, гипнотизер Фельдман, Рейнгольдт с женой, Сыромятников (Сигма), Венгеров с сестрой Зинаидой Афанасьевной, Владимир Тихонов (она — больна), мадам Луговая (он — болен), мадам Введенская (он — болен), Южаков, Ватсон, Михайловский с Пименовой, Виницкая, Слепцов с женой, М.Ю. Гольдштейн, Зарин, доктор Томашевский, Мережковский с женой, Потапенко с женой, Мамин, Браун, Острогорский с женой и Фирсов (барон Форселлес).

Что я могу и должен записать?

На Южакове были безупречный черный сюртук и туфли, причем та, что на левой ноге, выглядела так, будто ее стянули с ноги уличного нищего: кожа сверху порвалась, и виднелся носок. Степень его опьянения можно назвать весьма умеренной. Тихонов не выпил ничего, кроме чая, — даже капли разбавленного красного вина. Виницкая явилась без приглашения; проходя мимо, я слышал, как она о чем-то трещала, а другие смеялись; говорят, что она психически ненормальная, но весьма интересная особа. Недопустимо вела себя мадам Потапенко: с обществом не разговаривала, зато несколько часов просидела в Любиной спальне, не отпуская от себя Сигму (Сыромятникова), который был вовсе непрочь остаться в гостиной; стоило к ней кому-то приблизиться, она делала недовольное лицо; не знаю, о чем они между собой шушукались, но она заявила Баранцевичу, что Сыромятников ее обидел, и потребовала, чтобы Баранцевич вызвал его на дуэль, что тот, между прочим, и сделал, пригласив себе в секунданты Мамина и Томашевского; вчера он (Баранцевич), Мамин и Потапенко завтракали у меня, и последний заявил, что Марья Андреевна всего-навсего пошутила; Баранцевич ужасно злился по поводу «этой мистификации». За завтраком, вчера утром, Мамин распространялся о загранице, высказывая убогие суждения в духе квасного патриотизма, за которые Потапенко назвал его «необразованным дураком»; впрочем, гармония не была нарушена. Зато позавчера, примерно в три часа ночи, дело едва не дошло до скандала: во время ужина Острогорский произнес тост в мою честь, а потом — за Потапенко (в связи с его драмой «Чужие»); а в своем третьем тосте стал говорить о молодом журналисте, уличая его в низменном образе мыслей. «Эта речь направлена против меня», — вспылил Сыромятников. Не знаю, каким образом все уладилось: я, выступая в роли любезного хозяина, спешил из гостиной в кабинет, где также ели и пили. Сыромятников явился в новомодном сюртуке, который я поначалу принял за

демисезонное пальто; он ходил надутый, как индюк, и все нашли его чопорным и малоприятным. Под конец Позняков затянул русскую народную песню; Баранцевич и Острогорский тоже запели. А когда профессор Гольдштейн заиграл «Лунную сонату» Бетховена (чудесно! У меня выступили на глазах слезы, настоящие, соленые, а не сладко-пьяные — ведь мне так и не удалось хоть что-нибудь выпить!), Острогорский опустился рядом с его стулом на пол и сложил руки; в этот миг он удивительно напоминал молящегося дервиша. Были и танцы, причем Баранцевич, стоя посередине гостиной, придерживал бронзовые кисточки на лампе, висевшей слишком низко, — чтобы никто их не задел и не ушибся.

Венгеров подарил мне письмо Льва Толстого, где говорится и обо мне. Дело в том, что я просил у Толстого (желая получить от него автограф для моего альбома) разрешения посвятить ему мои переводы Пушкина, которые скоро выйдут в свет, и послал ему свои переводы Лермонтова и Алексея Толстого; о том же просил его и Венгеров, который одновременно хотел получить от него адрес какого-то Бондарева. <...>.

Привожу пассаж, относящийся ко мне, поскольку это — самое примечательное в его письме:

«*Передайте г-ну Фидлеру мою благодарность за книги и желание посвятить мне нечто такое. — Я никогда не понимал, к чему и зачем пишутся все эти посвящения, и потому предпочел бы, чтобы он мне ничего не посвящал*».

Пушкин для него «нечто такое!..» <...>

14 ноября 1895

Вчера пришел Мамин. Мой кабинет расположен рядом с прихожей; когда он вошел, входная дверь случайно осталась незапертой. Мамин сел за письменный стол и собрался дать волю своей нелюбви к жене Потапенко. «Я только что был у них, и она хотела со мной “серьезно” поговорить; Марья Андреевна...» — «Что случилось с Марьей Андреевной?» — раздался мягкий голос, и перед нами появился Потапенко. «Я рассказывал, что она хотела серьезно поговорить со мной», — ответил Мамин совершенно спокойно.

Потапенко пробыл часа полтора и выпил за ужином всего две рюмки коньяка; сказал, что ему еще надо как следует поработать. <...>

Когда Потапенко ушел, Мамин сказал: «Нет, я ведь чуть было не вляпался! Только-только собрался разнести как следует Марью Андреевну — а он уже стоит рядом! Но меня не так-то просто застать врасплох... Впрочем, есть еще одна каналья, Зинка Мережковская!» Мы оба (Люба и я) пытались развеять его неприязнь к последней. Комично выглядела его жалкая физиономия, когда он рассказывал о своем визите (в минувшую субботу) к Ольге Шапир: «Полтора

года не был у них, и чем они меня угостили? Стаканом чая и яблоком!» — «*Не в коня корм*!» — заметил я, и он согласился, печально кивнув головой.

19 ноября 1895

Вчера Мамин заночевал у меня. Он любит уснащать свою речь обрывками латинских изречений, например, unum quasi fantasia или carabum (именительный: carabus — египетский жук-скарабей). Я заговорил о его персонажах, и он сказал: «Ни один из них не доведен до конца, я оставляю массу сырого материала, потому что вывожу их всегда только *оптом*». Сказал, что Короленко — пирог ни с чем (без начинки). Стал утверждать, что Михайловский — *злой*; чем неприятнее человек, тем вежливее он с ним обращается. Я спросил его, читал ли он Фирсова. «Нет, я так мало знаком с современной русской литературой, что на днях подписал свой фельетон в “Новом Слове” псевдонимом “Седой”, не зная, что такой псевдоним уже существует и принадлежит Александру Чехову — его жалоба уже появилась в почтовом ящике “Нового Времени”». Говорил о своих легендах, которые все время собирается написать (их действие происходит в будущем): «Я уже двадцать лет собираю материал и боюсь, что умру — самой смерти я не боюсь — и не успею осуществить этот мой самый сокровенный замысел».

23 ноября 1895

<...> Вчера Потапенко устроил роскошный ужин в честь актеров, участвовавших в спектакле по его пьесе «Чужие». Общество — тридцать человек — собралось около полуночи. Потапенко оказался любезнейшим хозяином. <...> Тем временем мы вчетвером (он, Мамин, доктор Томашевский и я) сидели в столовой и пили. Из писателей были сначала Карпов и Григорий Градовский, а также — профессор Иностранцев. Лихо танцевали; я играл на рояле. Оттуда Мамин поехал прямо в Царское и потащил меня с собой на вокзал, так что я вернулся домой — horribile dictu[151] — только к десяти утра.

2 декабря 1895

Вчера — день рождения Ватсон. Я спросил Мамина: «Как дела?» — «Какие дела! Плохо! Должен сесть и написать за четыре дня роман для январской книжки “*Мира Божьего*”; а у меня еще ни названия, ни персонажей, ни даже сюжета». — «Ну, и что ты думаешь делать?» — «Пустяки! Что-нибудь придумаю!»

Пименова рассказывала про Южакова (впрочем, это подлинный факт). Однажды он был у нее по какому-то случаю и так набрался, что, надевая шубу, обратился к Михайловскому и пробормотал: «Вы за все заплатили? А на чай дали? Сколько я Вам должен?» Он думал, что находится в ресторане.

4 декабря 1895

Зашел вчера к Владимиру Тихонову. По-прежнему очень нежно целуется с Котиком. По-прежнему не пьет ни капли, но при этом, как и прежде, приветлив и духовно свеж. Издевался над Андреевским и Мережковским за то, что оба опьяняются красотой и склонны к позированию. «Так и хочется положить их обоих, а меж ними Зиночку, и хлестать их розгами, при этом вздымая руку жестом, исполненным пластики, и столь же грациозно ее опуская». Сказал, что Мережковский «не человек, а энциклопедия». Назвал Брандеса «сладострастным старым павианом», ибо тот развращал в пансионе «Рауха» юную Маковскую своими проповедями свободной любви и первобытного брака. Об Ясинском, который разнес в пух и прах — под псевдонимом «*Рыцарь зеркал*» — всех современных русских писателей, сказал, что тот мог бы спокойно отбросить три первых буквы второго слова и пользоваться псевдонимом «*Рыцарь кал*». Видит высшую миссию человека в воспитании детей: ребенок, по его словам, — самое драгоценное, что есть на земле. «Если бы у меня родился ребенок и мне бы сказали, что его жизнь — пусть даже длиной в три дня — может быть куплена ценою всего Шекспира, Шиллера и Пушкина, которые в этом случае погибнут для мира, я бы, не колеблясь ни минуты, выбрал спасение ребенка». Из дальнейшей беседы выяснилось, что его брат Луговой отдал в приют двух младенцев, хотя и рожденных не от нынешней жены (она ему никого не родила); да и сам он был тогда зеленым юнцом.

6 декабря 1895

Вчера вечером у нас — Тихонов с Котиком. Я прочел вслух одноактную драму Фульды «Вундеркинд», переложенную моей женой на русский язык, и он сделал ряд замечаний, верных в психологическом и сценическом отношениях. Разговор перешел на детей в целом. «Могу себе представить, каким отцом оказался бы Мережковский с его пропагандой эгоизма: "Шмякните ребенка головой о печку — он мешает мне вдохновенно творить!"» Люба сказала, что Зиночка, будь она матерью, стала бы совершенно другим человеком. «Сомневаюсь, — возразил Тихонов. — Во всяком случае, он (Мережковский) вопил бы, указывая театральным жестом на детскую комнату: "С нею все кончено!"»... Мы говорили о Г. Брандесе. «Из-за моего фельетона об Андерсене его теперь бранят по всей Дании. Недавно он утверждал в "Politiken", что вовсе не говорил со мной об Андерсене: мол, я краем уха слышал разговор, который он вел на другом конце стола. Низкая ложь, и я это докажу! Рассказывая про Андерсена, он назвал несколько немецких фамилий, которые я не мог разобрать, — он говорит очень невнятно, — и я попросил его записать их для меня. Что он и сделал, и теперь у меня в руках автограф!»... <...>



29 декабря 1895

<...> Был позавчера на похоронах Горбунова, но ушел, не дождавшись конца церемонии. Сколько б я ни видел и ни слышал покойного — превосходного исполнителя сцен из народной жизни, сколько б ни говорил с ним, он был всегда под хмельком. И вот на кладбище я услышал разговоры о том, что в феврале нынешнего года врач строго-настрого запретил ему алкоголь. И он стал пить молоко — однако все в том же ресторане «Афганистан» (на Невском, напротив Гостиного Двора), где он обычно сидел и тянул «хмельной драконов яд»[152]. — —

Сегодня у нас была Елена Васильевна Введенская. Арсений все еще болен, скоро уже два месяца. <...> Тут пришел Мамин. Недавно он читал (первое публичное выступление) в пользу переселенцев и при этом, как я слышал с разных сторон, так тихо, что никто ничего не мог расслышать. Я посоветовал ему завтра (он опять читает — в пользу Литературного Фонда), говорить погромче, поскольку публика... — «Да что мне публика! Плевал я на публику! Я — писатель, а не акробат! Пусть принимают меня таким, каков я есть! Но эти психопатки требуют, чтобы я перед ними *кривлялся*! Я — писатель, а не клоун! Плевать я хотел на публику!» — «Но ведь писатель существует ради публики?!» — вставила Елена Васильевна. — «Нет!» — «А для кого Вы пишете?» — «Для самого себя!» — «Так что же Вы не оставляете Ваши сочинения в ящике письменнного стола?» Вместо ответа он что-то пробормотал. Я, со своей стороны, должен сказать, что его презрение к публике имеет под собой очень слабое основание, поскольку он весьма готовился к лекции: брал уроки декламации у артистки Глама-Мещерской, о чем сообщил мне и Баранцевичу у Южакова 17 числа сего месяца. Он противоречил сам себе: сказал (это звучало как оправдание), что читал впервые и не мог приспособить свой голос к помещению («Но ведь сейчас Вы говорите очень громко», — перебила его Елена), что в верхней челюсти у него не хватает нескольких зубов и т.д. Едва она ушла, как он (Мамин) заявил, что ему хотелось схватить ее за ноги и шмякнуть головой об стену!

<...> Он не остался у нас на ночь, сказав, что ему нужно писать. «В последние дни я дал свои новогодние рассказы в семь журналов!» — — <...>

6 января 1896

Сегодня у меня был Венгеров. Я показал ему письмо Линденберга и попросил удостоить его включения в Словарь[153]; Венгеров обещал. Я показывал ему разные новые книги, с авторскими надписями, в том числе — «Черные розы» Коринфского. «Флексер его ужасно разнес». — «Наверное, зря?!» — «Кажется, между ними что-то произошло». — «Разве Флексер исходит из личных отношений?» — «Да он только из этого и исходит». — «Ты видел посвящение, которым

открывается книга Мережковской "Новые люди"?» — «Да». — «Она что, совсем с ума сошла? Или это лесть?» — «Я знаю одно: этим посвящением *она себя зарезала*». — «Конечно! Я знал, что у Флексера есть враги, но что враги есть и у нее, это для меня новость. Она кривляется, и поэтому он, Мережковский, выглядит рядом с нею более естественным. Я как-то ему сказал: "Вы ведь добрый человек, зачем же Вы корчите из себя интересного негодяя?"»... — «Чем занята Зинаида Афанасьевна?» — «Продолжает *декадентствовать* и собирается издать отдельной книгой свои литературно-исторические очерки».

Мы заговорили о пагубном воздействии Марьи Андреевны на талант Потапенко. «Мне кажется, Потапенко пишет сейчас не лучше и не хуже, чем в начале своей литературной деятельности. Если он на этом остановится, будет сам виноват. Можно отнять у человека его состояние, здоровье и даже жизнь, но уничтожить талант невозможно — талант от Бога и не поддается никакому внешнему воздействию. Если писатель имеет что сказать, он это скажет, какие бы препятствия ни возникали на его пути! Рихард Вагнер написал свои лучшие вещи, сидя на парижской мансарде, а позднее в своей богатой квартире, располагающей к творчеству, не смог создать ничего подобного. Кущевский был чернорабочим и толкал тачку по берегу Невы, но однажды свалился в воду, простудился и попал в больницу; там, продавая соседям по палате часть своей еды за копейки, он купил себе на эти деньги свечек и бумаги и в таких условиях стал писать свой известный роман[154]; позже, живя в весьма приличных условиях, он не написал ничего достойного внимания. Да и все они, Помяловский, Левитов, Якушкин, Глеб и Николай Успенские и другие, хотя и напивались до упаду, но только физически, а талант их не претерпевал от этого никакого ущерба. Все это — предрассудок: талант нельзя уничтожить!» — — — <...>

13 января 1896

Вчерашний Обед беллетристов был малоинтересен. Присутствовали: Немирович-Данченко, слева от него — Антон Чехов, дальше — Потапенко, А.С. Суворин, Мордовцев, я, Черниговец-Вишневский, Величко, Мясоедов, Позняк, Сыромятников, Полевой, Авенариус, Лейкин, Седой (Александр Павлович Чехов), Быков и Гнедич. С Чеховым мне не удалось обменяться и десятком слов; завтра он должен срочно ехать в Москву. С возгласом «Ты общаешься с Баранцевичем!» Потапенко протянул мне палец (боится заразиться; впрочем, мальчика уже в прошлое воскресенье выписали из больницы совершенно здоровым[155]) и поспешил занять место между Чеховым и Сувориным. Брат Чехова Александр (псевдоним — Седой), распределявший в гавани вспомоществование пострадавшим от ноябрьского наводнения (благотворители посылали в «Новое Время» одежду и деньги), жаловался на то, как обошлись с ним лентяи-фабрич-

ные и бродяги-пьяницы из других районов города: его силком выволокли из саней, оторвав при этом правый рукав шубы. Мордовцев, как обычно, рассказывал о принадлежащем ему кубке Карла XII. Полевой — редкий гость в Петербурге; он живет в Новгородской губернии, в ста верстах от железнодорожной станции, где «великолепно пишется»; очень красиво изъясняется по-немецки и выглядит лет на сорок, хотя на четыре года старше своего друга Авенариуса (оба обращаются друг к другу на «ты»). Авенариус с удовлетворением сообщил мне, что его сказки переведены на датский язык. Лейкин говорил о своем геморрое и признался, что *пьянствовал* в течение тридцати пяти лет; и хотя теперь он воздерживается от возлияний, но становится все толще и неповоротливее.

Больше, к сожалению, совершенно не о чем сообщить! — — <...>

15 января 1896

Вчера с Баранцевичем в «Капернауме». «У меня только что был Введенский». — «Ну и что он сказал хорошего?» — «Ничего; просил у меня бронзовый вексель»[156]. — «Что? Пресловутые пятьдесят рублей?» — «Пятьдесят он просил, когда стоял еще не на столь высокой ступени иерархической лестницы; а теперь мне пришлось подписать ему вексель на сто рублей! Он ведь получает четырнадцать тысяч жалованья! И Зацимовский, чей адрес он спрашивал у меня, тоже, конечно, выдаст ему такой вексель. Впрочем, от меня он направился прямиком к тебе».

Мы заговорили о братьях Чеховых. «Антон добился известности, потому что вел себя как трезвый политик; Александр более талантлив, но ничего не добьется: он — человек настроения и неумеренно пьет. А как хороши его рождественские рассказы!» — «А что поделывает твоя “Елочка?”» — «Да я прочитал ее еще раз другим людям и совершенно сбит с толку. Разумеется, ее нельзя включать ни в одну книгу, иначе меня окрестят плагиатором!»

Говорили о Фофанове. «Ну и времена! Он подал заявление в “Рептильный фонд” с просьбой о помощи и теперь получает пожизненную пенсию — 500 рублей ежемесячно. Точнее, получает не он, а его жена — Позняков устроил это весьма разумно. Давно ли он прямо призывал к убийству императора? Это произошло в тот раз, когда он, будучи с Ясинским у Виницкой, назвал ее обезьяной; на обратном пути, возле дворца, он выкрикнул: “Повесить императора!” Когда Ясинский зажимал ему рот, он *грыз* ему палец. А теперь?!»

Никто пока не может точно сказать, где находится Альбов: в Москве или на Кавказе у доктора Святловского; он никому не пишет. Своей тетке Татьяне Михайловне Башмаковой он прислал ко дню ангела поздравительную телеграмму из Пятигорска — Баранцевич был у нее в этот день (12 числа сего месяца): старуха горестно сокрушалась, что ее «Миня» не появился; скоро год, как она

его не видела... Баранцевич рассказал следующий факт из жизни Альбова. Однажды он зашел с какой-то потаскушкой в гостиницу (конечно, навеселе). Видимо, портье отворил ему дверь с легким презрением, поскольку Альбов, завершив свои занятия с девицей, разменял в буфете трехрублевый билет на одну медь и, выходя из гостиницы, стал пригоршнями швырять монеты в лицо портье со словами: «Вот тебе на чай!»

25 января 1896

С умершим вчера Николаем Николаевичем Страховым я был знаком столь мало, да и в обществе говорили о нем столь редко, что имя его ни разу не упоминается в этих тетрадях (во всяком случае, его нет в индексе). Несколько лет назад я пару раз бегло говорил с ним (мы встречались только на именинах Полонского), так что мне абсолютно нечего сообщить о нем. Зато у меня есть от него письмо. Если кто-нибудь через пятьдесят лет прочтет эти строки, он, наверное, лишь посмеется надо мной, литературным психопатом.

Обстоятельства дела заключались, собственно, в следующем.

Страхов отсутствовал в моем альбоме автографов. Чтобы восполнить этот пробел, я (зная, что он страдает от рака) написал ему недавно письмо и задал вопрос: не разрешит ли он моему (не существующему) приятелю по фамилии Зигер, который живет в Кельне и не знает его адреса, перевести на немецкий его книгу «Борьба с Западом»[157].

Его ответ гласил:

«Многоуважаемый Федор Федорович,

Очень для меня лестно желание вашего знакомого перевести мою “Борьбу” на немецкий язык. Немцы — предмет моего поклонения, иногда тайного, но всегда глубокого. Поэтому я с великим удовольствием соглашаюсь на перевод. Однако же:

1. Будет ли перевод хорош?

2. Не подвергнется ли подлинник переменам, сокращениям?

3. Если все три книжки будут переведены, то необходимо будет переставить статьи. Напр[имер], все статьи о Ренане и Тэне — вместе. Все статьи об Русск[ой] Литературе или полемика об книге «Россия и Европа» тоже вместе и т.д.

4. Недавно я получил предложение на перевод по-французски “России и Европы” Данилевского. Не согласится ли ваш знакомый на подобные же условия?

5. Существует в рукописи перевод моей книги “Мир как целое” одной моей русской знакомой, знающей немецкий язык как родной. Я проверил этот перевод с начала и до 400-й страницы книги. Остается еще проверить страниц полтораста. Прошу вас, подумайте, как пристроить этот тщательный перевод?

К несчастию, мне нездоровится, и я выезжаю с большими предосторожностями. Не будете ли добры, не пожалуете ли ко мне? Утром до трех часов я всегда дома, кроме понедельника. Сделайте мне одолжение, навестите меня, чтобы переговорить обо всех этих делах. Я — большой поклонник ваших изумительных стихотворных переводов.

Простите

вашего искренно преданного

Н. Страхова

10 янв[*аря*] *1896*
СПб.»

И вот я оказался в положении человека, имеющего талан и не знающего, как его употребить! Не говоря уже о том, что в предложенное им время я должен исполнять мои скучные педагогические обязанности, — что даст мне эта встреча? В перспективе мне виделось чтение ста пятидесяти страниц чужого перевода и любезное обещание пристроить книгу в какое-нибудь немецкое издательство! К тому же — пришлось бы сохранять серьезно-правдоподобное выражение лица при моей шутливо-лживой игре. Это было выше моих сил. Как выбраться из этой лужи? Ровно шесть дней я пребывал в нерешительности; затем, разом решившись, я умертвил моего бедного друга Зигера. Я письменно известил Страхова («с сокрушенным сердцем») о том, что только что получил «ужасающую» новость: Зигер скоропостижно скончался в Кельне от апоплексического удара!

Последствия моего письма представлялись мне более безобидными; я думал, что получу в ответ короткий отказ или согласие, а что вышло?! Как я ни призывал на помощь свою изобретательность — для Зигера не нашлось спасительного выхода! «Пора тебе уйти — твой пробил час!»[158] Тем более с учетом следующего обстоятельства: одновременно с письмом к Страхову я, неосторожный человек, направил аналогичный запрос и старому Александру Николаевичу Пыпину, которого видел всего два раза в жизни (на похоронах Гайдебурова и на юбилее Веселовского), не обменявшись с ним ни единым словом.

Вот его ответ:

«Вас[*ильевский*] *О*[*стров*], *2-я л*[*иния*], *41*
11 янв[*аря*] *1896*

Милостивый государь,

Я не имею ничего против появления моих "Характеристик"[159] *в немецком переводе; но для более определенного ответа я желал бы иметь и более определенный во-*

прос, — Вы, напр[имер], совсем не указали, о ком идет речь как предполагаемом переводчике. Есть и некоторые другие подробности, которые было бы желательно выяснить. Поэтому не будете ли так добры навестить меня, чтобы поговорить обстоятельно.

Утром я бываю свободен с 1 ¼ ч[аса], вечером не дома по субботам; в среду от 11 до 1 ч[аса] бываю в редакции "В[естника] Евр[опы]". Всего лучше, если бы Вы меня вперед известили, когда думали бы быть у меня, — так как я могу не быть дома случайно.

Вам преданный и готовый к услугам

А. Пыпин».

Он даже намекает на гонорар за «Характеристики»! Одновременно с письмом к Страхову я отправил Пыпину точно такое же объявление о смерти Зигера. «Да, в том проклятье темного деянья, что непрерывно порождает зло!»[160] Но зато теперь у меня есть автограф!!.. Впрочем, ручаюсь и даю честное слово, что во всех этих тетрадях нет и следа намеренного искажения истины! Горько просчитается тот, кто пожелает сделать какие-либо выводы в отношении моей личности из этого невинного маневра, который следует воспринимать лишь комически!

30 января 1896

Вчера меня посетил Александр Дмитриевич Мясоедов и принес свою книгу «Иван Стамезкин»[161]. «Прочитайте только первую повесть; две остальные можете спокойно опустить». Он начал писать примерно лет восемь назад. Нигде не служит, живет со своего капитала. Во время Русско-турецкой войны участвовал как истинный спортсмен в трех сражениях: купил себе коня и верхом, в гражданском платье, с моноклем в глазу и биноклем в руке, двигался вслед за армией; награжден медалью. В Париже он чуть было не стал жертвой взрыва на Rue des bons enfants[162]. Читал мне вслух множество французских стихов. Напоминает, скорее, франта, нежели писателя.

31 января 1896

Вчера — прощальный вечер у Мережковских: они уезжают в следующий вторник в Италию (до Вены — спальным вагоном первого класса, цена билета — 66 руб.); вернутся обратно лишь в сентябре или октябре; квартира вместе с мебелью на это время сдана. Он сообщил, что Зинаида публикует в февральской книжке «Северного Вестника» новый роман, озаглавленный

«Златоцвет» (золотой цветок, хризантема): «Не правда ли красивое, мистическое заглавие? Местами — нечто воистину символистско-декадентское!» Я спросил, почему она не включила в книгу «Новые люди» свой рассказ «В гостиной и в людской». «Мне он совсем не нравится, там есть похожий рассказ “Простая жизнь”». Лучшими считает первый и последний рассказы, кроме того, ей нравится «Совесть». Оба держали себя по отношению к нам обоим чрезвычайно приветливо и дружелюбно. К Михаилу Альбертовичу Кавосу, очень симпатичному и уже немолодому господину, великолепному знатоку литературы да и вообще очень образованному человеку, Зинаида обращалась на «ты»; «но у нас какая-то *однобортная* дружба». Вейнберг рассказал, что недавно у него обедал Андреевский и сидел за столом в высоких галошах; он тут же принялся уверять, что не переносит насморка, а потому вынужден всячески беречься и держать ноги в тепле. Когда мы спускались вниз и служанка освещала нам лестницу, Вейнберг изрек:

Так прекрасна эта рампа,
Что совсем не нужна лампа!

За чаем Андреевский жаловался на «чиновников, гражданских и прочую *чернь*» — все они, по его словам, лишают жизнь какого бы то ни было своеобразия. Боборыкин назвал Антона Чехова (тот, впрочем, отсутствовал) самым значительным среди современных русских писателей, а Ясинский, согласившись с ним, выразил сожаление, что деревня его так *суживает*. Он обращался ко мне на «ты», однако мы с Любой уклонились от продолжительной беседы.

Флексер-Волынский сообщил мне, что его книга «Русские критики» представляет собой основательную переработку его статей на эту тему, публиковавшихся в «Северном Вестнике»; в целом же он совсем не участвовал в разговоре. Безмолвствовал и художник Репин. Кроме того, присутствовали два юных декадента: П. Перцов и Владимир Гиппиус (его дед и дед Зинаиды были родными братьями); он — студент здешнего университета; похож на Фофанова верхней частью лица. Слегка завывая, декламировал что-то насчет ненавистных звезд и хищных воронов; его немыслимые стихотворные размеры вызвали восхищение Андреевского и досаду Вейнберга, покинувшего комнату со словами: «Убейте меня, если я хоть что-нибудь понял!» Люба призналась, что и она почти ничего не поняла, а Андреевский принялся ее поучать: мол, в этом-то и заключается истинная поэзия.

Из рук в руки передавались две фотографии размером с эту страницу: «Леда с лебедем» Веронезе и Микеланджело (?); о картине последнего Мережковский сказал, что это гимн сладострастию.



19 февраля 1896

Вчера завтракал у Сыромятникова-Сигмы. Он играл словами на детский лад, например: «Этот сиг — часть меня самого: Сиг-ма»; кто-то заговорил про *«грусть»* и *«любовь»*, и Сыромятников спросил: *«Какой груздь, соленый?»*

Присутствовал поэт Владимир Шуф, о котором мне нечего сказать, поскольку он не произнес ничего примечательного. Он рассказывал о Д.Д. Минаеве, который пришел однажды к своему приятелю и, усевшись на софу, произнес такую импровизацию:

И жестка твоя софа,
Как Случевского строфа!

Рядом со мной сидел князь Ухтомский. Его стихи (в немецком издании книги о путешествии бывшего наследника) частично переведены им самим. «Вы так хорошо владеете немецким языком?» — «В совершенстве». — — —

<...>

3 марта 1896

Вчера меня посетил Шуф. Настоятельно рекомендовал мне прочесть «Quo vadis?»[163] Сенкевича: «Роман замечательный, каких мало в мировой литературе. Не уступает толстовским!»

До этого был Потапенко. Планирует отправиться в путешествие (в конце апреля), проехать через Вену в Венецию и Рим, а затем — на лечение во Франценсбад (то есть Карлсбад). Суворин предоставил ему шестинедельный отпуск.

Вместе с ним и Маминым (он не навещал меня примерно два месяца: моя дочь болела ветрянкой, и он боялся заразить Аленушку; по той же причине долгое время не заходил и Потапенко) мы отправились в Кредитное общество — на литературный вечер в пользу семьи Глеба Успенского, страдающего неизлечимой душевной болезнью. Зал был полон, чего не случалось уже долгое, долгое время (на завтрашний, то есть сегодняшний концерт Древинг продали билетов всего на семь рублей). Особо притягательной силой обладает, по-видимому, Владимир Короленко, впервые выступавший в Петербурге. Когда он появился, все захлопали и продолжали хлопать не менее трех минут — дружно и оживленно; когда он сошел, его вызывали семь раз. Не такой шумный, зато более радушный прием выпал на долю Мамина; он вышел на сцену как дрессированный молодой медведь, выпущенный на свободу, без малейшего принуждения, раскланивался, улыбаясь, направо и налево, доверительно кивая то одному, то другому из публики («у меня здесь около сотни знакомых»), читал довольно громко и старался говорить внятно; его вызывали пять раз. Баранцеви-

ча (единственного, кто надел фрак) вызвали только дважды. Потапенко читал предпоследним и потому сильно волновался; кроме того, он надел по ошибке один кожаный и один парусиновый туфель, и это его беспокоило, хотя разница была заметна только посвященным. Он не смог сразу ответить на аплодисменты, поскольку Михайловский совершил бестактность и вышел на сцену, когда Потапенко еще хлопали. Тут разразилась буря аплодисментов и приветственных возгласов — овация, не стихавшая целых пять минут; мы (Потапенко, Мамин, Баранцевич и Карпов, изящно читавший рассказ Успенского) не стали дожидаться конца и отправились ужинать в ресторан Неменчинского. Карпов посетовал, что старику К.К. Арсеньеву пришлось выступать первым: «Он ведь — один из наших самых крупных критиков!» По поводу Короленко (мне удалось обменяться с ним лишь двумя-тремя незначащими словами) он сказал: «Весьма посредственный автор и, кроме того, подражает в своей манере полякам». Забыл отметить, что вчера, будучи у меня, Потапенко отозвался о Короленко следующим образом: «Каждое его слово, сказанное или написанное, хорошо рассчитано».

Мамин пошел ко мне ночевать, лег в четыре, а встал уже в восемь, чтобы ехать в Царское — сменить «Тетю Олю»: «Снова родился какой-то немец, на горе мне, и она должна там быть!». С заграничным путешествием ничего не выходит; собирается провести все лето в Гунгербурге[164] под Нарвой. «С Рождества и по сей день я написал на тысячу рублей аванса!» Рассказывал, что Златовратский одно время нищенствовал и был арестован за бродяжничество; в рассказах, озаглавленных «*В артели*», он изобразил якобы самого себя. В том, что касается выпивки, он (Златовратский) был некогда неподражаем; впрочем, еще и сегодня не всякий юнец сумеет его перепить. Хвалил его доброту и сердечность.

12 марта 1896

Сегодня был приглашен на обед к Потапенко. Владимир Короленко выпил полрюмки водки и столько же шампанского, более ни капли вина или пива. Он говорил только о Мултанском процессе[165]. Кроме того, сказал: «Немецкий язык станет когда-нибудь всемирным, поэтому я отдаю ему предпочтение перед французским». Он ушел первым. Был также подполковник Жиркевич, который печатается под псевдонимом Нивин, приятель Фофанова. Рассказывал, что Фофанов живет теперь в Гатчине, напротив кладбища, и пребывает в неизменно мрачном настроении. У него пятеро детей; жена его более не содержит школу; она получает пятьдесят рублей в месяц от «Рептильного фонда» и столько же от Суворина. Своего мужа отпускает в город крайне редко, поскольку он тут же

пропивает весь гонорар, полученный в разных редакциях. Он пьет и в Гатчине — но относительно мало. Правда, и там с ним случались истории. Например, недавно он обменялся одеждой с чумазым оборванным чернорабочим, пошел по кабакам самого низкого пошиба и, напившись, явился — финал всегда тот же! — в участок, где стал выкрикивать: «Как вы смеете меня задерживать? Я — поэт Фофанов!» Психиатры полагают, что в недалеком будущем он наверняка попадет в сумасшедший дом, где, скорее всего, и окончит свои дни. <...>

22 марта 1896

Пока я это пишу, в нашей квартире спит (и громко храпит) Мамин. Вчера вечером он явился с возгласом: «Феденька, мы едем на Рейн». — «Разве не в Нарву?» — «На Рейн, честное слово, на Рейн!» — О нашем плане путешествия по Финляндии, Скандинавии и Дании и слышать не хочет. «Я отправляюсь экспрессом прямо на Рейн!» — «А как же Берлин?» — «Берлин? Убей меня, если я задержусь там хоть на пять минут!.. Что, table d'hôte[166]? Значит, кто-то будет мне указывать, когда и где я должен есть? Н-нет!» («Ты с ним намаешься в сотню раз больше, чем тогда со мной!», — сказал Баранцевич, сидевший рядом.) «Я дописался до того, что у меня начались приступы бешенства, мне следует отдохнуть!»... Ни с того, ни с сего принялся вновь расхваливать немецкую культуру и немецкий характер, а о русских сказал: «Чем больше любишь русского, тем больше жди от него подлостей». Пушкина он терпеть не может и считает его жалким рифмачом... Бранил последними словами Марью Андреевну.

Перемолвился двумя словами с Венгеровым. Он все еще глубоко подавлен кончиной своей старшей дочери, умершей в январе, — добродушной, но феноменально уродливой, косоглазой девушки. — Кулачное право в редакционной жизни совершенствуется: сперва братья Половцевы избили князя Владимира Мещерского палкой и нагайкой[167], затем Шелгунов набросился на Любовь Гуревич[168], а позавчера, в среду, в редакцию «Недели» явился некто Жеденов — он выстрелил в Меньшикова, заместителя находящегося за границей редактора В.П. Гайдебурова, и ранил его в левое плечо. Ровно за сутки до этого покушения Меньшиков заходил к Венгерову, они говорили об истории с Мещерским и Гуревич, и Меньшиков сказал, что никогда не станет ни с кем стреляться: «Если кто-то хочет меня застрелить, пусть стреляет в меня; а я этого не сделаю!» Конечно, он и понятия не имел об ожидавшей его участи, ибо Жеденев явился издалека, из Пермской губернии*.

* Возможно, он все же что-то подозревал, ибо за несколько дней до покушения Жеденов подослал к нему двух человек, потребовавших опровержения. См. интервью А. Фаресова в сегодняшнем «Новом Времени» (от 23 марта).

25 марта 1896

Сегодня у меня был Форселлес-Фирсов. Он не понимает, как некоторые писатели могут отдать свое произведение в печать, не доведя его до конца. «Каждый опубликованный мною рассказ лежал два года в ящике моего письменного стола». Мамин, по его словам, разменял свой большой талант на ремесленные поделки; среди его ранних произведений классически прекрасен «*Сплав на Чусовой*»... «Как человек Баранцевич мне очень симпатичен, но его “Борцы” — *из рук вон* слабое сочинение; а рядом с ним в февральской книжке[169] — великолепный очерк Короленки: лучшее, что он написал». Рассказал следующее. В тот самый день, когда Гуревич получила плевок в лицо (Шелгунов, терзаясь раскаянием, сидел дома и не находил себе места), она написала ему, что наполовину его оправдывает и просит лишь об одном: обратиться в редакцию с кротким извинительным письмом, чтобы хоть таким образом поднять число подписчиков «Северного Вестника». Осмелевший Шелгунов не стал писать подобного письма, но сохранил этот постыдный документ, чтобы использовать его при удобном случае как оружие. Все это рассказал Форселлес, а он — закадычный друг Шелгунова. — —

Вчера вечером вместе с Баранцевичем зашел к Потапенко. Несмотря на то, что был первый день Пасхи и в гостиной у него сидели гости за чаем, он расхаживал взад-вперед по своему кабинету и диктовал Кононенко рассказ (или роман — точно не знаю), который она печатала на ремингтоне с удивительной скоростью (540 знаков в минуту). Оправдывается поговорка: «С ремеслом не пропадешь!»

30 марта 1896

Вчера пил вино с Баранцевичем в ресторане «Кавказский» (Л. Дгебуадзе). Он угощал — ведь позавчера он получил в «Русском Богатстве» более четырехсот рублей, в целом — более тысячи, и получит еще более четырехсот (за «Борцов»). «За этим романом я сидел всего два месяца!» Очень живо (его устная речь вообще много занимательней, чем письменная, во всяком случае, в последние годы) характеризовал членов бывшего Пушкинского кружка. «Да, все изменились, только я застыл в той форме, в которой создан». — Тут пришел Южаков еще с одним господином, похожим на покойного Андраши и держащимся весьма симпатично: его зовут Семен Иванович Васюков, а его жена — примадонна в итальянской опере в Гельсингфорсе и осенью будет выступать здесь (ее сценический псевдоним — Бруно). Подобно Южакову, побывал в Сибири — «за счет правительства». (Когда я спросил последнего, что представляет собой Иванчин-Писарев, совершенно не известный в литературе, но играющую боль-

шую роль в редакции «Русского Богатства», тот ответил: «О, он был сослан в Сибирь!») Васюков был близко знаком со Златовратским (до сих пор страдающим боязнью пространства). Не раз навещал и Толстого. Я спросил: «Правда ли, что он не так равнодушен к хуле и похвале, как о том говорят?» — «Однажды я сидел у него (он шил сапог, держа в зубах деревянные гвоздики), и в это время слуга принес ему несколько писем; он жадно распечатал конверт, на котором была наклеена американская марка, и стал читать. Эта была газетная вырезка с какой-то рецензией. Когда, отвечая на его вопрос, я сказал, что не понимаю по-английски, он перевел мне всю статью; при этом в тех местах, где о нем говорилось особенно похвально, на лице его появлялось нескрываемое удовольствие, а в глазах — искорки». — «Как он держится по отношению к незнакомым посетителям?» — «О, весьма просто и любезно, болтает с ними и шутит»... Здесь в разговор вступил Южаков: «Вы, конечно, знаете, что Толстой стремится максимально приблизиться к природе, а потому пренебрегает всеми удобствами, созданными культурой. <...>» — «Недавно, — продолжал Васюков, — он написал письмо своему другу Льву Павловичу Никифорову (истинно природному человеку, который постоянно живет в деревне и может быть назван идеалом непритязательности; Баранцевич, знакомый с ним лично, часто рассказывал мне о нем); он написал, что завидует образу жизни Никифорова и что его одолевают сомнения: правильно ли он живет сам? Кроме того, он сетует на то, что работа (писательская), какую он прежде мог выполнить за одно утро, отнимает у него теперь от двух до трех дней. Смерть младшего сына до сих пор тяжело сказывается на его душевном состоянии». — «А есть ли у него определенные часы приема?» — «Этого как раз нет; он, как правило, бывает свободен во второй половине дня, между шестью и семью часами. При знакомстве с неизвестным ему посетителем он обычно сверлит его испытующим взглядом и, убедившись, что перед ним простой человек, заводит с ним приветливый разговор».

С Толстого разговор перешел на Тургенева. Вспомнили его собственный (устный) рассказ о том, как мужичок из Орловской губернии описывал императора (очевидно, Александра II). Жителям деревни стало известно, что император в карете едет через их места, и они выстроились по обе стороны дороги. Дул ветер, и всю карету обволокло огромным пыльным облаком. Но мужичок все же разглядел «гигантскую руку с вытянутым пальцем» и услышал голос: «*Подчиняться*!» Говорят, что Тургенев умел чудесно передать интонацию и мимику мужичка. Баранцевич вспомнил, как Тургенев говорил о Пыпине: «Ну до чего скучный человек. Одно имя навевает невыразимую скуку: Пыыы-пин, Пыпииин».

Пока я отмечал для себя все эти анекдоты, делая на ресторанном меню записи из одного-двух слов, Южаков воскликнул: «Ага! Значит, Мамин говорил

нам правду: “В то время как мы пьем, он записывает наши разговоры, а если сам напьется, так ничего не записывает; и выходит, что всякий раз, когда он что-то про нас запишет, мы были пьяны!” Так оно и есть! Вот сейчас: Вы трезвы, а я пьян!»

Ну а пьян был он здорово. Стал требовать, чтобы мы отправились в другой ресторан. Он поехал с Баранцевичем, а я — с Васюковым. Мы говорили о Короленко. «Его значение ужасно *взмылено*! У него очень ограниченные взгляды, и он теперь ничего не напишет лучше того, что уже написал».

В «Афганистане» Южаков окончательно набрался. Заявил, что не верит в Бога, зато верит в вещую силу снов. «Я люблю тебя!» — сто раз повторял он мне, хныча, сжимая меня в объятиях и вскрикивая: «Давай поцелуемся!» Если бы взамен каждого поцелуя (к счастью, только в щеку) я получал по сторублевке, то был бы теперь богачом. Он шатался, когда мы вышли на Невский, и хотел заглянуть еще в какую-нибудь пивную; но мы (Баранцевич и я), насилу избавившись от него, отправились играть в бильярд.

В «Афганистане» Васюков неоднократно принимался читать нам отрывки из своей драмы «*Ошибка*», написанной без рифм, пяти-, шести— и семистопным ямбом. Но Южаков то и дело перебивал его: «Хватит! Бросьте! Прекратите! Довольно!» — —

Сегодня у меня был Баранцевич. Сказал, что Луговой — *чистоплюй*, у которого «амуниции на грош, а амбиции на рубль»... Его покойный друг Новосильцев, опубликовавший в «Вестнике Европы» несколько рассказов под псевдонимом Нельсон (он же — автор прелестной музыки к «Осени» А. Толстого — не путать с музыкой Клема), часто и много рассказывал ему о Левитове, с которым был дружен. Левитов отличался лирически мягким складом души; напившись, он садился на колени к одному из своих собутыльников и плакал, плакал. Он женился на совершенно заурядной неграмотной женщине, так называемой *дворничихе* (хозяйке постоялого двора); когда в доме не было денег, она заставляла мужа писать таким образом: брала своей лапищей его тонкую руку и, вложив в нее перо, рьяно водила ею взад-вперед по листу бумаги. Вместе со своим другом Вороновым Левитов написал и опубликовал роман «*Московские норы и трущобы*»[170]. Однажды оба оказались в Москве без копейки денег и предложили какому-то необразованному купцу приобрести рукопись романа за триста рублей. Купец пригласил их на другой день в трактир; после сильной попойки покупатель отсчитал им триста рублей, получил увесистый пакет, перевязанный бечевой и запечатанный сургучом, и, придя домой, обнаружил в нем кучу старых газет.

Об И.Ф. Горбунове бытует такой анекдот. Много лет назад он оказался в Нижнем Новгороде во время ярмарки. Промотав все свои деньги, Горбунов отправился в большой трактир, где было полно загулявших купцов. Здесь он

начал исполнять свои «сценки»; успех был столь оглушительным, что Горбунов с шапкой в руках, в которую ему бросали медные и серебряные монеты, обошел, как это делают арфистки, всю залу от стола к столу и собрал изрядную сумму.

13 апреля 1896

Вчера у нас был Южаков. Выпил (без меня) десять рюмок водки, а в нашем присутствии — семь бутылок пива. С 1879 по 1882 год он находился в Сибири — за участие в политических беспорядках (в детали он не вдавался)... <...> Говорили о Зиночке Мережковской, и Южаков сказал: «Недавно мне рассказывал Вейнберг (насколько ему, конечно, можно верить; впрочем, любое декадентское высказывание в устах Зинаиды Николаевны — правдоподобно): мол, она самá утверждала в разговоре с ним, что отвергает *чувственное, половое наслаждение* и признает лишь одно *сладострастие*». — — — <...>

28 апреля 1896

Во вторник, 30 апреля, Потапенки уезжают за границу. Он показал мне чек Лионского кредита на 2 700 франков и сказал, что это далеко не все: с такой суммой путешествовать невозможно! — — —

Вчера Позняков праздновал свое сорокалетие. Придав своему лицу наивное выражение, я спросил, почему нет Баранцевича. «Я очень его люблю, но к нам он не вхож... Тут своего рода семейная история!...» Присутствовал Шеллер-Михайлов; он опирается на костыль, но цвет лица у него при этом довольно свежий и розовый. «Чем лучше я выгляжу, тем сильнее одолевает меня невралгия. Вся правая сторона у меня парализована; два пальца на правой руке почти полностью потеряли чувствительность». Жаловался, что собрание его сочинений почти ничего ему не приносит, в чем весьма повинен Суворин: слишком мало анонсов, слишком трудно распродается.

Потом рассказывал про Фофанова. Ровно неделю назад, в девять часов утра, Фофанов (расставшись со мной в гимназии Гуревича) явился к нему, вручил стихотворение, взял у него пять рублей и принялся целовать ему руку. Желая от него отделаться, Шеллер спешно удалился в соседнее помещение. Примерно через десять минут он услышал в приемной страшный шум, бросился туда и увидел, что Фофанов в дикой ярости замахивается стулом на Михаила Майкова. Поэт Лебедев пытался его сдержать и успокоить, разговаривая с ним тихо и мягко; это в конце концов удалось. Что же произошло? При появлении Майкова (не путать со стариком Аполлоном Майковым) Фофанов вонзился в него взглядом, потом воскликнул: «Вы жеденовец (см. запись от 22 марта), Вы тоже

против Меньшикова?» и схватил стул. Майков, конечно, не мог прийти в себя от удивления. В связи с этим еще одно дополнение относительно Фофанова, который рассказал мне следующее: «Я собирался к тебе и не знаю, каким образом оказался на Ивановской[171]. У входа в “Неделю”, у парадного подъезда стоял в обычной позе швейцар. Я спросил его, не жеденовец ли он, он ответил мне презрительным взглядом, и тогда я повелел ему: в первый же раз, когда сюда снова придет Меньшиков, ползти за ним на четвереньках и целовать все ступени, которых коснется его нога, всю лестницу до самого верху, до самого верху, до самого верху... и целовать, целовать, целовать!»

Явился Ясинский, всем пожал руку и расцеловался с Шеллером. Я говорил с ним примерно полчаса — ничего достойного упоминания! Мамин не едет на Рейн: «Больно уж далеко!» — — — <...>

2 мая 1896

<...> За день до своего отъезда явился Потапенко, поручил мне забрать из цензуры драму Чехова «Чайка» и передать ее в Театрально-литературный комитет; при этом передал мне и прошение Чехова от 15 марта. Дружеская услуга, разумеется, запоздала: Комитет прервал свою деятельность до осени. — — —

Сегодня был у Венгерова. Он нашел издателя для своего биобиблиографического словаря: здешнюю Академию наук. Она бесплатно напечатает его труд и будет в течение четырех лет выплачивать ему шесть тысяч рублей: «Это не покроет даже моих расходов на материалы: я истратил больше восьми тысяч, не говоря уже о том, что не получил за свою работу ни копейки гонорара. А сейчас мне придется выложить из собственного кармана еще семьсот рублей — за переписку четырехсот тысяч карточек. И все же теперь я спокоен: я знаю, что могу сегодня умереть, а мой гигантский труд все равно будет опубликован. Все академики (Бычков, Л. Майков, Сухомлинов, Веселовский и др.) приходили ко мне и были поражены обилием собранного материала».

Считает Андреевского очень посредственным поэтом, зато весьма значительным критиком.

25 июля 1896

Вчера, по пути в город, встретил художника Скиргелло. Владимир Тихонов все еще живет со своим Котиком в Царском Селе; она пишет *на всех парах* какую-то повесть, чтобы Воля мог на ее гонорар съездить в Ригу и отдохнуть. — —

Зашел к Потапенко. Он сидел в одной рубахе и подштанниках и писал. Ему не удалось найти другую квартиру, поэтому он продолжает жить в этой. За границу, к семье, живущей во Фридрихрода[172], он вряд ли сможет поехать: его не

отпускает «Новое Время», заставляя писать фельетоны, заметки и пр., поскольку Сыромятников (Сигма) уезжает в Карлсбад. Кроме того, он должен написать несколько рассказов для «Русской Мысли», «Нивы» и «Вестника Европы». Собирается также приступить к работе над своей нюрнбергской драмой и просил, чтобы я самым тщательным образом подготовил для него материал: купил ему книги, рассказывающие об истории Нюрнберга XV века, о духе того времени, о придворном быте, евреях, алхимии, костюмах, обычаях и т.д. и т.п., а затем перевел самые важные отрывки на русский.

Мамин, ночевавший у него позавчера, живет в Гунгербурге. В Петербург приезжает крайне редко, поскольку Давыдова (она тоже живет там) просто не дает ему денег и отпускает его исключительно по делам. Но тогда он несколько дней подряд предается безудержному веселью, дабы вволю вознаградить себя за вынужденный пост!

3 августа 1896

Вчера мне понадобилось заехать в город. Зашел к Потапенко. Он, конечно, что-то писал. Все-таки он снял новую квартиру: прямо над гимназией княгини Оболенской; шесть комнат с дровами, цена — 1900 рублей в год. Собирается в начале сентября отправиться на две недели за границу и побывать в Дрезденской галерее, которую покажет ему художник Кравченко. «Ну, а что нового в литературе?» — спросил я, на что он в разочарованно-юмористическом тоне ответил: «Не знаю, совсем *отстал* от литературы...» (Забыл отметить, что Чехов все-таки написал ему летом и сообщил, что не сможет путешествовать вместе с нами. «Ich habe nicht Geld»[173] (по-немецки и тут же по-русски): «Если не поймешь этой фразы, попроси Фидлера, он переведет».)

Я сказал ему, что хочу провести нынешний вечер с Баранцевичем в Зоологическом саду.

В пять часов мы (я и Баранцевич) встретились в Зоологическом саду; он взял с собой своего Колю, который еще ни разу здесь не был. <...>

В девять пришел Потапенко. Невзначай вытащил из своего кармана целую груду наклеенных на картон билетов. «Это что такое?» — «Билеты для тотализатора — те, что ничего не выиграли на скачках». — «Ты разве всегда проигрываешь?» — «В последний раз выиграл два рубля, а недавно в один присест проиграл шестьдесят, а затем еще девяносто; виноват Томашевский: он выдает себя за великого знатока лошадей и строит самые невероятные комбинации». — «Ты часто ходишь в Зоологический сад?» — «Я здесь третий раз в жизни: девятнадцать лет назад я пришел сюда ради зверей; вторично — ради девушек, а теперь — ради друзей».

Он пишет повесть, в которой один из персонажей — гробовщик; и вот ему пришлось изучать это ремесло, и притом весьма обстоятельно, — у гробовщика Архипова.

Моя мать спросила у Потапенко, учил ли он летом немецкий. «Нет, этот язык мне не по силам. К тому же в нем начисто отсутствуют звуки, характерные для других языков; соединение гласных и согласных лишено выразительности».

30 августа 1896

Сегодня меня навестил Форселлес—Фирсов. Жил летом в течение целого месяца в Гейдельберге, где занимался демонологией. «Как писателя меня мало знают, зато я известен как гипполог!» Весь Григорович, по его словам, надуман и абсолютно бездарен; он — *прихвостень* Тургенева, Гончарова и Толстого и только благодаря им проник в литературу.

7 сентября 1896

Сегодня на Невском мы с Любой встретили Зинаиду Николаевну Мережковскую. Издалека и вблизи выглядит как десятирублевая женщина. «Как? — воскликнули мы. — Вы уже вернулись? Вы ведь собирались пробыть за границей до сентября?!» — «Да, но у нас кончились деньги — впрочем, это страшная тайна! — и мы здесь уже с июня и провели все лето на даче в Сиверской»... Моя жена уверяет, что она красится. <...>

О том, до какой степени Мережковские молчат о своем преждевременном возвращении, свидетельствует следующее обстоятельство. Примерно неделю назад мне встретился Михаил Альбертович Кавос, их близкий друг, с которым Зинаида Николаевна на «ты», и спросил меня: «Нет ли у Вас вестей от Мережковских? Не знаете ли, когда они возвращаются? Они ничего не пишут!»

14 сентября 1896

Вчера зашел к Венгерову (Бронницкая, 3; платит за квартиру сто рублей ежемесячно, с дровами). Роза Александровна опять беременна. Он считает, что Зинаида Мережковская очень талантлива, более, чем он (Мережковский); Зинаида Афанасьевна, которая случайно оказалась там же, разделяет это мнение. Она сердилась на сегодняшний (вчерашний) выпад Буренина, который произнес ее фамилию с неверным ударением: Ве́нгерова. Рассказала также, что раньше презирала всех пьяниц, но больше не презирает, потому что вчера (т.е. позавчера) сама сильно захмелела: пила коньяк и пунш; оказалось, что это очень

приятное состояние. Минский, по ее словам, совершенно напился и читал «Отчаянье» Коцебу[174]. Отмечаю это, поскольку до сих пор казалось невероятным, что Минский может однажды напиться. Он без любви женился на девушке, которая его страстно любит (Вилькина). —

Вчера вечером у нас были Мережковские. Я спросил его, не является ли то место в его стихотворении, которое вчера (позавчера) высмеивал Буренин («*в лесу запах удушающего меха*»), опечаткой или недоразумением; он горячо отрицал это и уверял, что на самом деле вдыхал в ночном лесу запах меха; сказал, что каждый запах — это субъективное восприятие и что сущности запаха, играющего в духовной жизни человека чрезвычайно важную роль, в литературе не уделялось подобающего внимания. «Буренин не заметил у меня великолепной рифмы: *запах — лапах*!»[175] Заговорили о Скабичевском, и Мережковский сказал: «Не могу простить ему одного: как он мог назвать меня необразованным! Возможно, у меня нет ни малейшего поэтического таланта... но говорить, что мне недостает образования!..» Потом он стал сокрушаться: «Нет больше разврата, истинного, страстного разврата! В наше время люди даже скучают, предаваясь половым излишествам... Да, вокруг царит одна лишь смертельная скука!»... Затем еще одна восторженная тирада, посвященная Леонардо да Винчи, которого он назвал «вожатым от человеческого к божественному». Он почти закончил сбор материалов о Леонардо да Винчи.

Зинаида Николаевна уверяла, что Флексер — абсолютно нравственная натура (у него никогда не было физической близости с Любовью Гуревич, как все утверждают) и безгранично доверчив, что красноречиво свидетельствует о неиспорченности его характера. Мережковский согласился с ней: «Если Вы ему скажете, что в изысканном обществе принято пить вино из туфли, он примет это за чистую монету и будет убеждать себя в том, что ему тоже следует пить вино из туфли».

Зинаида Николаевна рассказывала моей жене о Минском. Он был пламенно в нее влюблен (и влюблен до сих пор), в то время как его обожает Зинаида Афанасьевна Венгерова. Узнав о грязной сплетне, она, Зинаида Николаевна, письменно сообщила ему, что прекращает с ним знакомство. После этого он женился на Вилькиной.

Был и Баранцевич, который сперва не желал приходить — из-за «макак», как он именует Мережковских (заранее известивших нас о своем визите). Но после того как они ушли, он заявил, что они куда естественней, чем он думал.

19 сентября 1896

Вчера был Мамин. Говорил о количестве своих сочинений: написал уже около ста томов — «одни заготовки; материала у меня хватит еще на десять

лет; ни один персонаж не выдуман». Его первый роман назывался «*Приваловские миллионы*» («*Мой первородный грех!*»). Он начал писать уже задолго до этого, но все эти работы редакции возвращали ему обратно. Собирается писать историческую драму. «У меня лежит уже вон сколько драм, но ни одна не годится для сцены, хотя я по десять раз переделываю каждый акт. За время, потраченное на улучшение моих драм, я мог бы заработать десять тысяч рублей романами и новеллами — их-то пишу сразу набело и даже не перечитываю перед тем, как отдать в печать». — «А была ли поставлена хоть одна из твоих пьес?» — «Да, и провалилась: "*Золотопромышленники*" в московском театре Корша...» Мы говорили о Н.К. Михайловском, уезжающем на лечение в Крым: у него *угнетенное состояние*; страдает обмороками: «В этом повинны женщины»... Он, по мнению Мамина, публицист, а не критик, и очень тонкий, расчетливый дипломат. «В прошлом и настоящем русской литературы для него существуют лишь два гениальных писателя: Глеб Успенский и Короленко. Меня и других считает пигмеями по сравнению с ними. И все-таки я люблю его!»... Сказал, что Южаков превосходит Михайловского как характером, так и умом и талантом.

Маленькая Аленушка попросила его недавно: «Папа, женись, а то ведь у меня нет мамы»! На днях она лежала в кроватке и болтала голыми ножками. «Тетя Оля» сделала ей замечание, но она успокоила ее, сказав серьезным голосом: «Ах, тетя Оля, здесь же нет мужчин!»

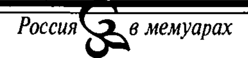
Мамин рассказывал это с нежной любовью.

Впрочем, несмотря на всю свою любовь к Аленушке, Мамин, по его словам, не внес ее в свое завещание как наследницу, получающую доход со всех его сочинений. «Общеизвестный факт: сыновья-наследники становятся гуляками, а дочки-наследницы — проститутками. Родители, умирая, должны завещать свое состояние не детям, а какому-нибудь благотворительному фонду. Детям следует так же, как некогда их родителям, потрудиться в борьбе за существование. Правда, до своего совершеннолетия Аленушка будет получать определенную сумму, а там уж — пусть сама пробивается!»

Мы отправились в «Капернаум» играть в бильярд и упражнялись в этой благородной гимнастике около двух часов, причем Мамин каждые три минуты называл себя чемпионом, а меня — мазилой. Мы сыграли четыре партии, из которых я выиграл три, да и в первой партии все решилось лишь с последним шаром.

Изрек: «Самые ужасные существа на свете: женщины, дети, старики и педагоги».

Он ночевал у нас, а сегодня утром проводил меня до гимназии. По дороге болтал всякие пошлости: о соитии и женских гениталиях.



29 сентября 1896

Провел вчерашний вечер у Мережковских. Он показал мне целую библиотеку итальянских, немецких, французских и английских сочинений, посвященных Леонардо да Винчи и его эпохе; все это стоило ему более четырехсот рублей. Ставит Тютчева выше Гейне (назвал его клумбой, на которой растут прекрасные цветы, источающие дурной сигарный запах) и выше Ленау, а как автора некоторых стихотворений — наравне с Гете. Когда я заметил, что Тютчев обобрал Ленау и Гете и выдал переведенный текст за оригинальные стихи, он сказал: «Всегда и везде поэты заимствовали друг у друга; это — огромный ангельский хор, где херувимы начинают песню, которую только что закончили серафимы; от небес до земли звучит один лишь хвалебный гимн». Пока я сидел с ним в кабинете, Люба беседовала с Зинаидой Николаевной в ее комнате, устланной коврами и увешанной портьерами, и слушала ее разоблачительные речи. Минский уехал в Киев, чтобы развестись со своей женой (Юлией Безродной). На Изабелле Вилькиной он не женат, просто живет с ней вместе; раньше он ее не любил, теперь влюбился. До этого «жил» с ее матерью. С Зинаидой Венгеровой у него тоже была любовная связь, но она порвалась, когда он признался, что жил с ее сестрой (т.е. госпожой Вилькиной, матерью Изабеллы); теперь они просто друзья. Откуда она это знает? Да сам Минский и рассказал.

За чаем (подали немного печенья, фрукты и сыр) сидели: Флексер (сказал о моем переводе Никитина, что он гораздо лучше оригинала), Ясинский (все время молчал) и Владимир Гиппиус; он выпускает в ближайшее время сборник «Песни», из коих еще ни одна не появлялась в печати: «Ни в одном журнале не берут моих стихов». Все добродушно посмеялись над его декадентством, особенно Зинаида Николаевна, а ведь она сама — декадентка pur sang[176]. Мережковский сказал: «Символизм был всегда и будет жить вечно, а декадентство, к счастью, уже сыграло свою роль». Узнав, что я перевожу Надсона, Мережковский неодобрительно покачал головой. Шутили много и безобидно, но в общем и целом недоставало главного — настроения.

4 октября 1896

Вчера хоронили жену инспектора Екатерининского института по фамилии Мандельштам (умерла от диабета). Старику Вейнбергу (он стоял у ее гроба, опустив голову, и постоянно проводил дрожащей рукой по лбу и глазам) придется теперь в одиночестве прогуливаться по Невскому между двумя и четырьмя. Он — друг семьи Мандельштамов, и почти каждый раз, уходя в четыре часа из Екатерининского института, я встречал Вейнберга в сопровождении Варвары Дмитриевны (инспектор в это время еще был в Институте). Поведение и того, и другой выдавало их невинную дружбу. — —

Марию Валентиновну Ватсон постигла крупная неприятность. Перед отъездом в Берлин на женский конгресс она заказала скульптору две надписи: одну, из Библии, предполагалось высечь на надгробии ее покойного мужа, а строчку из Надсона («Не говорите мне “Он умер” — он живет!») — на могиле самого поэта. Недавно вернувшись, она обнаружила, что обе надписи высечены на могильном памятнике ее мужа. Пришлось устранять этот стих, столь мало соответствующий скромным заслугам Эрнеста Карловича, отчего камень, разумеется, весьма пострадал. — —

От учителя французского языка по имени Де-ла-Барт, двоюродного брата Величко, я узнал, что тот примерно семь лет женат, но уже два-три года не живет со своей женой.

15 октября 1896

В последнее время не раз встречал на улице В.Г. Короленко; беглые приветствия и несколько совершенно поверхностных фраз; он обещал мне свой портрет, но просил за ним зайти. Сегодня во время перерыва я зашел к нему из гимназии Гуревича (он живет на 5-й Рождественской, 2, кв. 18, напротив Греческой церкви); провел у него самое большее восемь минут. Поскольку я был во фраке с золочеными пуговицами, он, немного смутившись, спросил меня, должен ли и он в случае ответного визита надеть фрак; разумеется, я ответил «нет» и попросил вообще не наносить мне официальных визитов; сказал, что жду его у себя в начале ноября. Он принял приглашение, но добавил: «Я — такой *нелюдим*!» Сказал, что чрезвычайно занят, потому что Михайловский сейчас в Крыму. Ошибочное сообщение в «Смоленских Ведомостях» о болезни Михайловского привело к тому, что он решил немедля вернуться, «хотя мы и пишем ему, чтобы он оставался там подольше и как следует отдохнул; потому что отдых для него, по словам врачей, — наилучшее лекарство»... Потом рассказал про московского писателя Саблина. Тот якобы крестится на каждую церковь, причем однажды был такой случай: оба ехали на извозчике, и Саблин, сказав: «Посмотрите, какая милая девушка идет мимо церкви!», осенил себя крестным знамением. Всегда имеет в кармане пятьдесят копеек мелочью, которые раздает нищим у входа в церковь.

На большом портрете, который он подарил мне, взгляд у него куда теплее, чем в жизни. — —

Точно так же, во время десятиминутного перерыва, забежал из гимназии Оболенской к Потапенко (прямо напротив — дверь в дверь). Он сообщил, что вот уже несколько дней, как Чехов находится здесь; приехал ради премьеры своей «Чайки», которая состоится послезавтра; все время торчит на репетициях, и Потапенко вместе с ним (так было и вчера). По его словам, Чехов неверо-

ятно расхваливает Короленко актрисам Александринского театра... Марья Андреевна прямо-таки в восторге от «Чайки».

29 октября 1896

Сегодня разговаривал с Потапенко. Пишет новую драму — «*Волшебная сказка*». Спросил у него, как воспринял Чехов провал своей «Чайки» (в четверг, 17 октября, в Александринском театре, в бенефис Левкеевой). «Он был чрезвычайно *угнетен* и ушел из театра уже в 10 часов, задолго до окончания спектакля. На следующий день, в пятницу, в 12 часов дня он уехал поездом в Москву (об этом знал только я, который пришел его проводить)». Потапенко согласился, что драма как таковая (в техническом отношении) не удалась, но как художественное произведение она, по его мнению, обладает очень большими достоинствами. — —

6 ноября 1896

Празднование моего 37-го дня рождения прошло позавчера менее оживленно, чем обычно. Наша квартира напоминала маленький лазарет для выздоравливающих. До ужина ушли: Владимир Тихонов с женой (Котиком), Алексей Тихонов (Луговой) с женой, Михайловский с Пименовой, Потапенко с Марьей Андреевной и Мордовцев. Но и другие — Баранцевич, Немирович-Данченко, Водовозов, Фирсов и Мережковские — почти ничего (или совсем ничего) не пили. Первым пришел Владимир Тихонов с Котиком (она — с подведенными тушью ресницами, прямо до неприличия). Он рассказал, что написал три детских рассказа (история трех животных на войне)[177]; уверял, что это — истинные шедевры, которые будут одновременно издаваться в Париже, во французском переводе и богато иллюстрированные. Не желает более издавать свои произведения в книжном формате, разве что собрание своих сочинений в двенадцати томах. Предложил гостям, сидевшим у меня в кабинете, написать смешное стихотворение: каждый записывает строчку, которая в данный момент придет ему в голову.

Он начал: *Пей, кто может, я пить не могу.* За ним продолжили:

Баранцевич: *Много жил — наконец надоело.*

Потапенко: *Лучше ешь из печенки рагу.*

Немирович-Данченко: *И люби, коли выдержит тело.*

Мамин: *Люблю немцев, когда они спят.*

Позняков: *Но не спящих люблю лишь французов.*

Мережковский спокойно, с достоинством, отклонил предложение принять участие в осквернении поэзии.

Мордовцев принес мне свою книгу «*Новые люди*» с надписью:

«Многоуважаемому Ф.Ф. Фидлеру, талантливому культуртрегеру, одевающему диких скифов в культурные тевтонские ризы, — от скифа Мордовцева».

Фирсов (Форселлес) подарил мне свою книгу: «Русская лошадь в древности и теперь. Исторически-гиппологический этюд» (на русском языке). То, что он говорил, было тягуче-скучным.

Луговой жаловался, что работа в редакции «Нивы» не оставляет ему возможности для собственного творчества.

Михайловский сразу же направился в маленькое квадратное пространство моей библиотеки (она в обычное время служит мне спальней), где сидела его компания (Южаков, Мамин, Пименова и Слепцова) и пила (разумеется, только мужчины) пиво «Лесной за́мок». Он, стоя, прихлебывал чай из стакана. Ничего не ел, ибо довольствуется тем, чем питается моя дочь, оправляясь от болезни: геркулесовую кашу.

Острогорскому не удалось выпить как следует: за ним наблюдала его жена, которая в два часа ночи увела его домой.

Василий Иванович Немирович-Данченко пил только сельтерскую; он сказал: «Я никогда не ужинаю, но остаюсь в гостях, потому что все равно страдаю от бессонницы!» Тем не менее, перепробовал все консервы и указал, как истинный гурман, на их характерные отличия.

Южаков был в черном грязном сюртуке, на котором недоставало двух пуговиц; перед ним все время стоял пустой (т.е. моментально пустевший) стакан. Он заливался смехом в обществе Познякова, Арсения Введенского, Венгерова (оба были как-то необычно веселы: их тянуло выпить) и психиатра Томашевского. Я выпил с Южаковым на брудершафт.

Не знаю, что еще записать, поскольку, будучи хозяином, я буквально разрывался: правая нога в одной комнате, левая — в другой. Марья Андреевна была не в настроении; она то и дело удалялась в Любин будуар, где вела беседы с Луговым; но разговор у них явно не клеился.

Южаков и Михайловский уверяли меня, что Короленко непременно хотел прийти; однако он не пришел и ничего не сообщил письменно. Он должен был участвовать в заседании Литературного фонда и, видимо, счел неприличным впервые являться в незнакомый дом так поздно (после полуночи); во всяком случае, он высказывал такое мнение Южакову и Михайловскому. Оба сказали, что заседание — вопреки ожиданиям — могло затянуться, так что и для визита, и для письма уже слишком поздно. <...>

Мамин остался ночевать; вчера мы с ним вместе завтракали. Он поругался с Давыдовой. О Мережковских сказал: «Я лишь вчера познакомился с Зинаидой Николаевной и сожалею, что раньше думал о ней так плохо: мы очень мило болтали, и держалась она совсем не так напыщенно, как мне всегда казалось; он же расхаживал с таким видом, будто забыл дома свой носовой платок!» Ког-

да мой отец заговорил (по-немецки) о каком-то господине «с длинной черной бородой», Мамин воскликнул: «Ага! Я понял! *Длинная черная борода*! Не зря, ведь, я что-то слышал про Шварцвальд и лангобардов!» Пока мы сидели и смеялись, пришел Баранцевич и, плача, сообщил, что у Жени менингит. Мамин, который должен был куда-то идти за деньгами, взял его (Баранцевича) с собой к знакомому врачу, доктору Жихареву (я его тоже знаю; он был женат на моей ученице Кобызевой, Любиной подруге, умершей несколько лет назад от чахотки). — — <...>

9 ноября 1896

В первом классе гимназии Гуревича у меня есть два ученика: малыши Николай и Антон Чеховы, сыновья Александра Чехова, пишущего под псевдонимом «Седой». Мальчики очень симпатичны, но ужасно неразвиты; почти все учителя выставляют им неудовлетворительные оценки. Говорят, что их (не родная) мать — совершенно необразованная особа; она ненавидит — безо всякой на то причины — Николая, старшего мальчика, уделяя все свое внимание младшему, Антону. Отец, по слухам, периодически страдает запоями. —

В мае прошлого года окончил курс реального училища сын Петра Исаевича[178], один из самых неприятных учеников, которые у меня когда-либо были: ленивый, коварный, лживый и наглый. Он жил у своей матери, с которой Петр Исаевич развелся; она была виновной стороной, но он взял вину на себя, лишь бы от нее избавиться. Она вышла замуж за некоего Штейнгарта. — —

<...>

17 ноября 1896

Позавчера, во время торжества в гимназии Оболенской, я говорил с дочерью Салтыкова-Щедрина (ныне — баронесса Дистерло). Я спросил ее о пресловутом сочинении (под названием «Аничкин мост»), и она стала утверждать, что ее отец пошутил: не он, а она сама — автор этого сочинения, за которое Дружинин поставил ей не тройку, а четверку. — —

Позавчера — день рождения Михайловского. Я пришел в двенадцать часов дня — на стол как раз ставили съестное и откупоривали бесконечное множество бутылок. Взяв в руку сочный кусок ростбифа, Михайловский кормил любимого кота Ваську. «Он прибился ко мне, как множество других зверей и пернатых: собаки, воробьи, голуби, канарейка... А как-то раз занесло даже целого индюка. Владелец не объявился ни в доме, ни во всей округе». — «А что Вы с ним сделали?» — «Съел, конечно!.. В русском народе есть поверье, что если животное само приходит в дом, это означает скорую смерть хозяина; ну, меня эти

зловещие посетители навещают уже много лет!» Один за другим (одна за другой) начали появляться гости. Южаков, с коим недавно (у себя дома) я пил на брудершафт, вскоре набрался так, что ходил, пошатываясь; лез обниматься и целоваться то ко мне, то к Короленко; но в то время как я бессильно покорялся судьбе, Короленко спокойным жестом высвобождался из его объятий. Попросил у меня прощения за то, что не пришел[179]; сказал, что было уже слишком поздно, а он, мол, никак не может избавиться от провинциальной робости. Как вел себя Мамин? Пил, сосал свою трубку и отпускал двусмысленные комплименты дамам. Был также актер Модест Иванович Писарев со своей «приятельницей» — актрисой и писательницей Ниной Павловной Анненковой-Бернар; она держалась весьма жеманно и просила Писарева проводить ее домой. Он, сидя за бутылкой белого вина, сперва деликатно отказывался: «Погодите еще немного» или «Идите, я Вас скоро догоню», но в конце концов злобно рявкнул: «*Убирайся, я не пойду с тобой!*» Она отпрянула, бросилась в другую комнату и упала в обморок. — —

Лесевич просил меня зайти к нему сегодня: в течение долгого времени он был секретарем Литературного фонда и решил теперь передать мне письма разных писателей, касающиеся дел Фонда. Вручил мне целый пакет, в основном — совершенно невыразительные записки каких-то иксов и игреков; встречаются, однако, и очень интересные документы, которые со временем я перепишу в свой дневник... Он поведал мне, что Литературный фонд чрезвычайно многим обязан М.К. Ватсон, одной из самых активных его деятельниц. Сообщил также, что Мартов уже несколько месяцев находится в сумасшедшем доме.

Не помню, успел ли я где-нибудь отметить, что и Александр Аполлонович Григорьев, сын критика, также сидит несколько месяцев в сумасшедшем доме.

Он (Лесевич) посетовал, что не может подарить мне еще одну пачку крайне интересных писем к нему (например, Некрасова): «Когда меня арестовали, все письма были конфискованы и теперь находятся в Третьем отделении». — «Почему же Вы их оттуда не заберете?» — «Не желаю напоминать этим господам о своем существовании!»

21 ноября 1896

В ночь на сегодня умер Женя Баранцевич. <...>

Позавчера — несмотря на то, что болезнь мальчика приняла в высшей степени угрожающий характер, — Баранцевич читал в зале Кредитного общества на вечере в пользу Литературного фонда. Рассказывал о Мережковской: она была вызывающе одета: стиль ампир, белое платье с серебряными блестками, по плечам — будто два крыла. Когда она начала читать свое скандальное «*Небеса унылы и низки...*», публика стала смеяться; когда же она дошла до места «*Но*

люблю я себя как Бога», — всеобщее «ха-ха-ха» смешалось с громким шипением. — —

В свое время, прочитав мне это стихотворение, она выразила желание, чтобы я перевел его. Я перевел. Поскольку перевод, выполненный мною исключительно в порядке курьеза, никогда не будет опубликован (разве что через пятьдесят лет после моей смерти), привожу его здесь; боюсь, что он лучше, т.е. литературнее, чем оригинал (вплоть до рифм!). <...>

Не помню, отметил ли я в этих тетрадях, что она (Мережковская) — когда я прочитал ей этот перевод, выполненный на ужасном немецком языке, — пришла в восхищение.

23 ноября 1896

Сегодня на углу Литейного встретил Зинаиду Николаевну Мережковскую; она переходила Итальянскую улицу. Я подкрался к ней сзади и прошептал: «Барышня, позвольте Вас проводить!..» Она остановилась, окинула меня исподволь взглядом, и, не подымая глаз, произнесла — медленно и повелительно: «*Проходите*!» Я продолжал: «Позвольте хотя бы взять Вас под руку!» Она выпрямилась еще горделивей, и в ее полуоткрытых глазах сквозило глубочайшее презрение. «Зинаида Николаевна!», — сказал я тогда своим голосом; она бросила на меня взгляд, узнала и с радостным «А!» протянула мне руку. «Это просто неподражаемо!» — воскликнула она, смеясь от души. «А я не испугал Вас?» — «Ничуть: я привыкла!»

«Вы были во вторник в зале Кредитного общества?» — «Нет». — «Но Вы, наверное, слышали об этом вечере?» — «Вы были одеты ангелом». — «Это — само собой. Нет, я спрашиваю о скандале». — «Вы читали “Небеса унылы и низки...”» — «Да... кстати, Ваш перевод великолепен; сама-то я — несмотря на мое немецкое имя — почти не понимаю по-немецки, но я дала Ваш перевод одному немцу, и он был в восторге... Так вот, когда я читала, в зале образовались две партии: одна аплодировала, другая шумела и смеялась — колоссальный скандал!» — «А почему не читал Ваш муж?» — «Не хотел в компании с Короленко и Михайловским». — «А как же Вы?» — «Вейнберг меня очень просил. Для того только, *чтобы я, как говорится, рылом взяла*».

«Напечатал ли Ваш однофамилец Гиппиус свои стихи?» — «Да; но из четырехсот экземпляров ни один не поступил в книжные магазины. За две бессонные ночи он пришел к убеждению, что его стихи никому не нужны. Впрочем, в этом он прав». — — —

Хочу посвятить несколько строк одному русскому поэту, о котором во всех этих тетрадях ни разу не упоминается. Летом 1884 года я жил, будучи домашним учителем в доме Оболенских, в их имении Красная Мыза в Никирке

(Финляндия). Большой дом на берегу озера они сдавали Павлу Михайловичу Ковалевскому. Мы познакомились. Он имел великолепную конюшню, жена его держалась как великая княгиня, и оба до смешного обожали и баловали свою семнадцатилетнюю дочь Ольгу, страдавшую нервным расстройством. Вот несколько выдержек из моих «Ежедневных записей» того времени:

«Его превосходительство господин Ковалевский нанес мне визит и тепло поблагодарил меня за то, что я обещал его дочурке сочинения Тургенева, успокоительно действующего на нервы».

«Сегодня — именины Ольги Павловны Ковалевской, мнимой красавицы. Долго разговаривал с Павлом Михайловичем. Он лично знал всех писателей; был знаком с Некрасовым, Тургеневым, Чернышевским и т.д. Все, что Ламанский рассказывал мне о Некрасове, — чистая правда. Воспетая им Зина — самая обыкновенная шлюха: весьма миловидна, но совершенно необразованна и глупа; находясь на смертном одре, он обручился с ней и завещал ей весь свой капитал, который превышал сто тысяч рублей; но просил ее никому об этом не говорить — чтобы мир не узнал, что он, всегда во всеуслышанье защищавший бедных, был богачом. Свои покаянные и правдивые лирические стихи, лишенные всякой тенденции, он показывал лишь самым близким друзьям; другие подняли бы его насмех. — Тургенев был исключительно чистой, наивной, добросердечной и невероятно привлекательной личностью. Все, что Ламанский рассказывал о Достоевском, — тоже правда. Ковалевский собирается записать свои воспоминания о выдающихся людях. Три года назад он потерял свою шестнадцатилетнюю дочь; она умерла от дифтерита. Его боль проявилась в стихах, но особенно в том, что он заказал портрет умершей, на котором она изображена в виде святой, а лик ее окружен нимбом».

«Ковалевский дал мне свои стихи. Чепуха! Посредственные мысли в посредственной форме. Как пример того, насколько немузыкальны его строфы, приведу лишь две строчки в оригинале:

И далеко у опушки
Закукукали кукушки

<...>

Если бы за строки, насыщенные аллитерациями, присуждали ордена, Ковалевский получил бы, конечно, орден самой высокой степени».

Его стихи, насколько мне известно, никогда не выходили отдельным сборником. Публикация его воспоминаний в “Вестнике Европы” была, по-моему, приостановлена цензурным запретом; он уже тогда высказывал мне свои опасения по этому поводу. — — —

У профессора Владимира Ивановича Ламанского я учился в университете (славянские диалекты и польская литература); теперь его дочь, толстое, добродушное, но совершенно бесцветное, заурядное существо — моя ученица в гимназии Оболенской (5-й класс). Приведу (как пояснение к предыдущей странице) выдержку из моих «Ежедневных записей» от 31 мая 1884 года:

«В пять часов вечера я уехал из Петербурга (т.е. в Никирку, где должен был занять место домашнего учителя у Оболенских). На станции встретил профессора Ламанского, который пригласил меня сесть с ним рядом. В дороге он рассказал мне следующее:

«Некрасов был крайне нечистоплотный человек; в юности он разорил одного богатого купца, выиграв у него в карты несколько тысяч с помощью женщины из публичного дома, которая была в него влюблена; он остался карточным шулером до конца своих дней. — Достоевский был прямо-таки невыносим в обществе: чрезвычайно обидчив и легко возбудим. Он страдал эпилепсией и имел обыкновение описывать каждый припадок в мельчайших подробностях: ему доставляло наслаждение наблюдать, как слушателя охватывает волнение, и тогда он еще более сгущал краски».

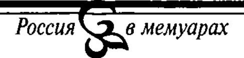
В моих «Ежедневных записях» есть еще несколько заметок о Достоевском. 16 декабря 1879 года, в воскресенье, я присутствовал на литературном утреннике в Благородном собрании. «Когда дошла очередь до Достоевского, его встретил такой шквал рукоплесканий, что он долго не мог начать чтение. Его рассказ ("Мальчик у Христа на елке") настолько правдив и трогателен, что прекрасный пол обливался слезами. Его вызывали восемь раз, и я тоже хлопал, как сумасшедший»[180]. <...>

27 ноября 1896

Позавчера вечером пришел Мамин. Сказал, что «Черты из жизни Пепко» — самый удачный его роман, правда, он отдал его в типографию, ни разу не перечитав написанного. Считает Чехова самым значительным из современных русских писателей.

Остался у нас ночевать.

Вчера, в десять часов утра, как раз в тот момент, когда Мамин заявил, что хотел бы изучить немецкий язык только затем, чтобы читать в оригинале Гейне и «Фауста», пришел Потапенко. Рассказывал анекдотическую историю, напечатанную о нем в какой-то русской провинциальной газете <...> Цель его визита заключалась в том, чтобы сообщить мне в подробностях о содержании задуманной им нюрнбергской драмы — но сделать этого не удалось, поскольку у меня был Мамин. Мы решили втроем поиграть в бильярд, и Мамин предложил отправиться в Сергиевский трактир, где завсегдатаем был композитор Глин-



ка. Потапенко поддержал это предложение: «Девятнадцать лет назад, когда я приехал в Петербург, я там в первый раз отобедал». Я съездил за Баранцевичем, и мы играли в бильярд четыре часа подряд. <...>

2 декабря 1896

Вчера — день рождения Ватсон. Я спросил Вейнберга, не собирается ли он печатать свои оригинальные стихи. «Нет; во-первых, они никому не интересны, а во-вторых, невозможно найти издателя». «А Ваши поэтические переводы?» — «Тоже нет, ведь их у меня примерно две сотни листов. Сейчас, правда, перевожу “Фауста” прозой»... К Василию Павловичу Гайдебурову я обратился с вопросом, появятся ли в его журнале произведения Потапенко? «Вряд ли. Однажды он дал нам повесть, но она оказалась настолько слабой, что мне пришлось ее вернуть. Впрочем, он и так задолжал нам одну вещь». — «Понимаю: аванс?» — «Ну да!»... Михайловский был весьма оживлен, выпил две рюмки водки, потом белого и красного вина, потешался над умственными способностями находившегося тут же Серошевского, да и вообще шутил со всеми соседями по столу. Он заявил: «Я уже давно не грешил, но сегодня буду грешить!» При этом он выразительно посмотрел на сидевшую рядом с ним Пименову; она ответила ему томным взглядом. Короленко держался холодно и чопорно и быстро испарился; цензура задержала его повесть «*В Жигулях*».

8 декабря 1896

Позавчера — именины Михайловского. Сущий хаос, в котором ничего не разберешь. Уже к половине первого дня на столах и подоконнике стояло пятьдесят бутылок (включая водку, ликеры и пиво); к половине шестого все они были «кончены», и появилась новая батарея из тридцати четырех бутылок, да и те пустели буквально на глазах, когда в восемь вечера я покидал этот даровой ресторан. Сколько бутылок осушили после моего ухода (гости сидели, как я узнал вчера, до четырех утра) — кто сочтет?! <...>

18 декабря 1896

Вчера — день рождения Южакова. Примечательного — немного. Множество гостей, оставшихся голодными, поскольку еды было маловато. Мамин в одиночку съел две тарелки маринованных *рыжиков* — все очень веселились по этому поводу. Короленко пил глоточками белое вино; от водки же решительно отказался. «Раньше я пил слишком много. Когда в Нижнем мне предлагали выпить

водки, я всегда говорил, что страдаю от *запоя* и должен опасаться первой рюмки; лишь тогда от меня отвязывались».

Хочу записать еще кое-что о Михайловском и его именинах шестого декабря. Люди приходили и уходили непрерывно. Здороваясь, он каждый раз делал взмах рукой: «Прошу Вас к столу!» Когда я его спрашивал, как зовут того или другого человека, он — в отношении одних людей — отвечал мне после некоторого раздумья, в отношении же других — уверял, что где-то их однажды видел, но как их зовут, не знает.

6 января 1897

Был вчера у Мамина в Царском Селе. Он приобрел верстак и строгает деревянные игрушки для Аленушки. Были также Баранцевич, Потапенко и Владимир Тихонов (мастерски рассказывал анекдоты и изображал смешные сценки). Абсолютно ничего, что стоило бы записать!

11 февраля 1897

Лев Толстой в Петербурге (остановился: набережная Фонтанки, 14, напротив Инженерного замка, в квартире Олсуфьева) и пробудет здесь до пятницы. Вряд ли мне удастся завязать с ним знакомство, поскольку его с утра до вечера одолевают посетители; я же в эти оставшиеся дни должен вести занятия: завтра с девяти утра до шести и послезавтра до четырех; таким образом, у меня даже нет времени, чтобы попросить его, как это сделали другие, назначить мне явиться в определенный час. Он приехал с тем, чтобы добиться освобождения некоего Владимира Григорьевича Черткова, которого собираются отправить в Сибирь. Этот Чертков — один из самых истовых его последователей. Некогда был офицером, но, следуя своим убеждениям, добровольно оставил службу. (Щеглов высмеял его в своем романе-памфлете *«Около истины»*[181].) Он нелегально выпускал брошюры против войны и воинской присяги и пытался тайком проникнуть в казармы, однако был схвачен; теперь его должны отдать под надзор. Говорят, что Толстой добивается аудиенции у императора... Интересно, в какой одежде он перед ним предстанет?! — — —

13 февраля 1897

Вчера в половине четвертого я предпринял попытку навестить Толстого, но швейцар сказал мне, что он ушел и что позднее, сегодня же, уезжает семичасовым поездом в Москву. — Черткова не сошлют в Сибирь, а вышлют за границу, и Толстой, оказывается, приезжал не для того, чтобы добиться его освобож-

дения, а чтобы проститься с ним: об аудиенции у императора не могло быть и речи. (Все это, разумеется, я узнал не от швейцара, а от других лиц.)

21 февраля 1897

Вчера у меня был завтрак с блинами. Я пригласил лишь троих — наиболее близких. Мамин не явился. Как объяснил мне его приятель, врач Степан Сергеевич Жихарев (его привел Баранцевич), Мамин находится сейчас в Москве, где собирается «подлечиться» (во время масленицы?! Знаем мы это «лечение»!) Потапенко был очень весел и, как всегда, прост; трунил над собой: мол, берет авансы и пишет, пишет... Все от души смеялись — так иронично он подавал самого себя. Рассказывал: «Попробуй-ка состязаться со мной! Однажды я преподавал французский язык, не зная ни слова по-французски. Я должен был репетировать мальчика-гимназиста по всем предметам, а среди них оказался французский!» — «Ну, и как же ты выкрутился?» — «Очень просто: хотя мой ученик говорил по-французски уже довольно бегло, в школе у него проходили еще первые параграфы учебника. Ему задавали § 1, а я учил дома § 1 и § 2; ему задавали § 2, а я уже знал § 3 и т.д. Но я благоразумно остерегался говорить по-французски — в основном предлагал ему читать текст и лишь изредка поправлял неверное произношение или ударение... т.е. он, возможно, произносил это слово совершенно верно, но ведь я должен был дать ему почувствовать, что знаю больше, чем он! На всякий случай я обзавелся очками с темными стеклами, чтобы не виден был стыд в моих глазах». <...>

11 марта 1897

Сегодня — похороны Аполлона Майкова (умер восьмого от крупозного воспаления легких). Около трехсот «скорбящих», примерно двадцать венков — прямо-таки нищенское погребение в сравнении с похоронами Тургенева или Достоевского, где толпа исчислялась тысячами, а венки — сотнями. Множество треуголок с перьями, шитых золотом мундиров, звезд и орденских лент; очень мало студентов и учеников обоего пола. У открытого гроба — четыре речи — обычная комедия: «всемирно известный поэт»; «миллионы оплакивают его в эту минуту». Из либералов — один Короленко. Присутствовали также: Леонид, брат Майкова (он даже не поднялся в квартиру покойного, а по пути на кладбище Ново-Девичьего монастыря и на самом кладбище держался в стороне — с абсолютно безучастным, скучающим выражением лица), Крылов-Александров, Григорович, Потапенко (прошел со всеми примерно лишь полпути, потому что спешил к Кононенко), Д.Л. Михаловский, Кусков, Случевский (в мундире), С.В. Максимов, Авенариус, Сыромятников (дней через десять уезжает на шесть

месяцев в Китай, где должен открыться Китайско-русский банк), Далин (Линев), Голенищев-Кутузов, Волконский и Загуляев*.

Луговой сказал, что остается редактором «Нивы» лишь до конца марта; его «жена» сообщила мне, что сам он за два года ничего не написал, а она не желает, чтобы он отставал от других; деньги, которые они теперь потеряют, не играют роли, потому что они, по ее словам, и без того прожили все до последней копейки. Коринфский жаловался, что, редактируя «Север», никак не может приступить к собственной работе; на то же жаловался и Гнедич, редактор «Всеобщей истории искусств»[182]; он сказал, что собирается полностью переделать последний акт своей драмы «*Разгром*». На недостаток времени жаловался и Быков, редактор «Всемирной Иллюстрации»; сказал, что не придает своим стихам ни малейшего значения, и уверял (разумеется, в шутку), что автор стихов, опубликованных за подписью «П. Быков», — какой-то его однофамилец; «я — библиограф и ничего более». <...> Познакомился с Александром Митрофановичем Федоровым. Немного напоминает Надсона, когда тот еще был военным и коротко подстригал волосы и бороду. «Это мне уже многие говорили»... Рассказывал о Мережковских: «Они не явились, потому что у него с Майковым были порваны отношения. Майков сам рассказывал мне об этом. Мережковский совсем не талантлив, лишь немного одарен, зато страдает себялюбием и пытается *кривляньем* привлечь к себе внимание публики; он (Мережковский) так много наболтал ему (Майкову) про символизм, называя его единственно подлинной поэзией, что у Майкова лопнуло, наконец, терпение и он возразил, что каждый настоящий поэт — символист, который, однако, не опускается до гримас и притворства; с тех пор между ними и наступил разрыв». — После похорон провел у него с четверть часа. <...> О Коринфском отозвался так: «На вид он скромен и безобиден, а на самом деле — *пролаз*, который умудряется проникнуть в каждую щель; несколько лет назад, в Москве, мы были закадычными друзьями, а теперь враги; впрочем, сегодня на кладбище он первый протянул мне руку».

О Флексере он (Федоров) сказал: «Поначалу мы были на дружеской ноге: он написал благосклонную рецензию на первый сборник моих стихов и печатал меня в “Северном Вестнике”; но после истории с Мережковской[183] мы разошлись; он оказался злобным и мстительным человеком».

Майков рассказывал ему следующее. Однажды у Белинского собралось общество. Белинский отстаивал социальные мотивы в поэзии, а потом обратился к Майкову (который в это время стоял у горящего камина, и, приподняв ногу, сплевывал через нее в огонь) и сказал тихо, но убедительно: «Ну а ты — “Иди

* Больше никого из тех, кого я знаю в лицо (а я знаю почти всех). Присутствовали, кроме того: Луговой, Коринфский, Гнедич, Быков, Зарин и Федоров.

дорогою свободной, иди, куда тебя влечет свободный ум!"» (из пушкинского «К поэту»).

4 апреля 1897

Разговаривал с Баранцевичем. Он, Градовский, Песковский и Глинский собираются издавать новую газету «*Мир*»[184]. «Как один из главных редакторов я стану получать тогда 300—400 рублей в месяц и смогу, наконец, бросить проклятую службу в Конно-железнодорожной компании». — «А что еще нового?» — «Русской литературе грозит огромная потеря: Антон Чехов смертельно болен!» «Не может быть?!» — «Да. Вчера я встретил его брата Александра (Седого) — он ехал на велосипеде. Он остановился и рассказал мне, что Суворин был недавно в Москве и отправился вместе с Чеховым в ресторан обедать. Внезапно у Чехова началось такое страшное кровохарканье (как раз в тот момент, когда подали еду), что его немедленно отвезли в Остроумовскую больницу, где он и находится». Потом разговаривал с Потапенко. Суворин говорил ему то же самое. Смертельной опасности, правда, нет, по крайней мере — пока. Оказывается, Чехов давно уже болен чахоткой (знает об этом) и страдает кровохарканьем.

7 апреля 1897

<...> Мамин до сих пор не появлялся. Позавчера я видел его у доктора Жихарева, где он флиртовал со Слепцовой. Сперва он изображал, что держится от меня на почтительном расстоянии, но потом стало ясно, что он не приходит из страха: у моего брата, живущего вместе с нами, ангина*, и он боится заразиться. Был (у Жихарева) и весельчак Позняков: рассказывал анекдоты и пел вместе с Баранцевичем.

11 августа 1897

Потапенко снова в Петербурге: вчера я получил от него письмо (об этом — при случае!). Он прошел курс лечения в Карлсбаде (о его письме ко мне и о том, как он играл в Монте-Карло, — также в другой раз, когда начну заносить сюда в хронологическом порядке обращенные ко мне письма русских писателей) и побывал в Стокгольме. Как бы он ни мечтал о загранице, но всякий раз, как только заходит речь о Германии, в нем проглядывает завистливый русский хам. Вчера в «Новом Времени» появился его фельетон, подписанный, как обычно, «Фингал». То, что он пишет о Берлине, будто там даже ночевать не хочется, —

* Ложная тревога!

это ладно; дело вкуса, вернее, — извращенного его вкуса. Но когда он с одобрением пишет о работающем «на совесть» карлсбадском источнике и тут же добавляет, что это — «единственное, что с незапамятных времен осталось от хваленой немецкой добросовестности», — на хорошем немецком языке это называется словом «Infamie»[185] — — — <...>

26 августа 1897

Учитель русского языка Тычинкин, доверенное лицо Сувориных, рассказал мне, что Чехов (Антон) вот уже целую неделю живет у Сувориных, однако инкогнито: не желает видеть ни одного из своих знакомых, потому что каждый визит приводит его в волнение; он едет в Биарриц лечиться и, вероятно, проведет целый год за границей. — Когда я рассказал сегодня Потапенко, что Чехов здесь (ведь я был почти убежден, что друзья уже виделись, тем более что они живут в двух шагах друг от друга), он с большим трудом подавил свое раздражение и стал нервно ходить по кабинету взад-вперед. Затем написал ему следующее письмо (прочитал мне вслух): «Антон Павлович. Я только что узнал, что ты уже несколько дней находишься здесь. Мне жаль, что ты не проявил желания увидеть меня. Счастливого пути! Я сегодня тоже уезжаю — в Финляндию».

28 августа 1897

Вчера у нас был Мамин. Провел лето в Гунгербурге и очень скучал в окружении немцев. Однако ругал их на этот раз как-то странно — не то чтобы ругал, а даже превозносил за счет русских: мол, его соотечественники вообще не имеют ни науки (кроме Менделеева), ни культуры. «Я — немецкого происхождения: мой предок был Воинсвенский, швед, который при Петре Первом приехал на Урал колонистом». С Давыдовой он вполне ладит, «но для ее журнала ничего не дам! Не собираюсь больше писать для толстых журналов». Опубликовал за лето двенадцать печатных листов: рассказы для юношества и фельетоны. «Пушкина я не люблю и не понимаю... Да и вообще поэзию! Вот обычно цитируют: "*Стих пронзительно унылый ударит по сердцам с неведомою силой!*"[186] Что это значит? Слово "*пронзительный*" выражает действие, а "*унылый*" — состояние». В Кронштадте он участвовал в приеме Фора: «Из любопытства — не из патриотизма». Его антирусские настроения заходят так далеко, что он предъявляет упрек даже своей родной речи, утверждая, что она звучит жестко и негармонично; бранил Тургенева за его панегирик (последнее из «Стихотворений в прозе»). — — —

Вечером пришел Острогорский, уже под хмельком. После ужина разнес меня в пух и прах за то, что я перевожу Фофанова, причем возмущался не

столько моим «плохим вкусом», сколько отсутствием у Фофанова социальных мотивов: мол, воспевает природу в такую эпоху, которая менее всего приспособлена для «чистого искусства». Даже то, что я перевел Алексея Толстого, вызвало, по его словам, негодование всей Москвы, «и ни “Русская Мысль”, ни “Русские Ведомости” не захотели поместить мою рецензию на твой перевод!» Потом стал кричать, что я не слишком разборчив в моих писательских знакомствах: «Вот два года назад ты позвал к себе на день рождения мерзавца Сыромятникова! Стыдись!» Эта ругань (которую я слушал с улыбкой, поскольку она извергалась из пьяных уст) чередовалась с поцелуями и восторженными заверениями: «Ты — ге—ни—аль—ный человек!» Тут появилась наша огромная дворняга (мы дали ей кличку Цензор). Острогорский опустился рядом с ней на колени и обнял ее за шею, так что она вылизала ему своим могучим языком не только бороду, щеки, нос и глаза, но даже губы и рот! Тщетно пыталась моя жена оттащить его от собаки — он, расчувствовавшись, лепетал: «Дайте мне поговорить с ней *по-собачьи*!.. Куттики! Фруттики! Муттики! Путтики!» Потом хотел поцеловать меня и мою жену, но мы ловко уклонились от его губ.

Что касается его нападок на Фофанова, я объясняю это главным образом тем, что Фофанов печатает свои стихи также и в «Новом Времени». Он ненавидит сотрудников этой газеты, в том числе и Сыромятникова (чья писательская продукция два года назад была еще безупречной), поскольку «Новое Время» в лице Буренина прямо-таки уничтожающе писало о нем (Острогорском) два года назад (когда он праздновал свой писательский юбилей). Deinde ira![187] Столь же неглубоки и корни его либерализма. То, что он однажды явился ко мне на день рождения с орденом св. Анны (прямо из крепости — с похорон Александра III), — это еще можно понять: он был в составе депутации. Более характерен другой случай, который я забыл отметить ранее в этих тетрадях. Когда Позняков праздновал сорокалетие своей писательской деятельности, Острогорский произнес за ужином одну из своих либерально окрашенных речей; после чего поднялся д-р Фейт, публично назвал его пустым и лживым болтуном и упрекнул в том, что он либеральничает лишь из стремления к популярности, а на самом деле труслив и равнодушен. Вскоре этот д-р Фейт был арестован за свои социалистические увлечения и помещен в здешнюю крепость, где сидит и поныне.

1 сентября 1897

Вернувшись вчера в 11 часов вечера из путешествия на Иматру, нашел у себя два письма от Потапенко с настоятельной просьбой о деньгах. Поскольку в данный момент я никому не способен ссудить даже копейки, то с утра отправился к нему, чтобы сказать об этом. Его семья живет сейчас под Выборгом у снохи

старика Суворина — без подушек и постельного белья. Именно это, а также немного денег он должен был сегодня им отправить, но не смог раздобыть даже самой малости (вся его наличность составляет 37 копеек). Тогда он набрал серебряных ложек на три с половиной фунта и отправился их закладывать.

Сегодня он обязан представить в Академию отзыв на роман Раменского «*Братья изгои*» (поданного в Академию наук на соискание Пушкинской премии[188]), но ни единой строчки еще не написано: «Эти господа должны иметь снисхождение к моей неточности — они ведь сами русские, а значит, не слишком аккуратны... Боже, сколько всего мне надо написать в этом месяце! Уму непостижимо!»

Видел у него фотографию Чехова (прошлогоднюю) с надписью: «*Антоний Цесарю*».

26 сентября 1897

Вчера провел у Венгерова несколько приятных успокоительных часов. Его кабинет производит на меня впечатление литературного храма. Я спросил про «Amor» — почти безумное сочинение, квазиновелла, которую Флексер написал совместно с Лу Андреас-Саломе[189]. «Думаю, что Флексер все писал сам, она ведь не знает русского языка: читает, но говорить не может». — «А ты с ней знаком?» — «Да. Она хотела навестить мою сестру Зину; но та уже уехала (дело было минувшим летом), и ей пришлось довольствоваться визитом ко мне. Она была явно разочарована, поскольку не нашла во мне единомышленника; я так и сказал ей: «Зина — единственная декадентка и символистка в нашей семье». — «Вы говорили по-немецки?» — «Да. Она очень интересная и остроумная женщина, лет тридцати пяти, со следами былой красоты. Родилась в Петербурге, зовут ее Луиза (отсюда — Лу) Саломе, потом вышла замуж за какого-то Андреаса. За пятнадцать лет, проведенные в Германии, совершенно забыла русский язык. Когда я сказал ей, что Мережковский страстно желает с ней познакомиться (он настоятельно просил меня посодействовать ему в этом), она тотчас с радостью согласилась; но когда я сказал ей, что его жена — красавица, за которой увиваются мужчины, в ее лице что-то дрогнуло и, вместо того чтобы ехать к Мережковскому, она умчалась — в Берлин».

19 октября 1897

Сегодня — журфикс у Введенских. Ни одного писателя. Он сказал: «Есть писатели, у которых гениальный мозг и заурядный дар — к ним принадлежит Гете; есть и другие, у которых гениальный дар, но заурядный мозг — к ним принадлежит Лев Толстой». Рассказывал про Мамина: «В начале своей писатель-

ской карьеры он годами обивал пороги самых разных редакций — все безуспешно; наконец, один журнал опубликовал его рассказ “Чусовая”; я похвалил его в каком-то журнале, и в результате моего похвального отзыва все редакции разом распахнули перед ним двери, так что ему удалось пристроить и старые вещи. Своей карьерой он обязан **мне**. И Потапенко открыл тоже **я**!» <...>

Сегодня нас навестила Зиночка Мережковская с ближайшей своей подругой Зиночкой Венгеровой (последняя, похоже, влюблена в первую: не раз посылала ей цветы, букеты лилий и роз, о чем нам как-то рассказывала З. Мережковская; недавно Венгерова провела несколько недель у Мережковских в Шевино[190]). Мережковские вернулись с дачи лишь несколько дней назад. Он пишет с утра до вечера своего «Леонардо да Винчи» и не дает себе ни минуты отдыха; так будет продолжаться еще целый год. Ей — по утверждению врачей — осталось жить всего три месяца: сухой плеврит. Каждый вечер перед сном у нее температура 39°, поэтому вечерами она не выходит из дому. Все это она поведала нам без малейшей грусти, напротив: легко и весело. Да и вообще все это время мы больше смеялись, нежели говорили всерьез. Это был естественный, детский, непринужденный смех: неприхотливые шуточки и безобидное подтрунивание друг над другом. Она (Мережковская) рассказывала про своего швейцара: «Я описала его, и вот он умер!» Несмотря на совершенно поверхностную беседу, постоянно прерывавшуюся взрывами хохота, обнаружилось, что Венгерова глубоко знает зарубежную литературу; лично знакома со многими иностранными (особенно немецкими) писателями.

22 октября 1897

Вчера просидел с часок у Потапенко. Он почти ничего не говорил, но внимательно слушал Марью Андреевну — та расказывала про Лу Андреас-Саломе. Часть биографическая совпадает с рассказом Венгерова. Они познакомились в Париже три-четыре года назад. Потом Марья Андреевна встретила ее под Цюрихом вместе с бородатым мужчиной, русским врачом (крещеный еврей по фамилии Корнгольд, практикующий теперь в Париже). Оба гуляли босиком по траве. Они прочитали ей совместно написанную драму о женщине, живущей в **одном** доме одновременно с **двумя** мужчинами, которые дружески делят ее между собой; при этом ребенка, ею рожденного, каждый считает наполовину своим (да и мать того же мнения), и все трое живут в величайшей гармонии. — Вблизи места, где они (Марья Андреевна, Лу и ее спутник) однажды сидели, находилась пасека, и вокруг летало множество пчел; некоторые садились им прямо на колени, и Лу сказала, что одна пчела — душа Ольги, а другая — душа Анны (две героини ее драмы); а врач утверждал, что именно эти пчелы, а не какие-нибудь другие, прилетают сюда каждый вечер и садятся к ним на колени. Марья Анд-

реевна полагает, что связь обоих была исключительно идейной близостью; по крайней мере, врач ей признался, что хотел однажды поцеловать Лу в шею, но она строго его одернула. За своего Андреаса она вышла не по любви, а потому, что он грозил покончить самоубийством, если она не станет его женой. Несколько месяцев в году она живет с ним, потом вдруг бросает и оказывается в Вене, Париже или Швейцарии в обществе какого-нибудь другого мужчины, с коим ее связывает идейная близость; так было и с Ницше — Марья Андреевна собственными глазами видела фотографию, на которой Ницше везет Лу на ручной тележке. К тому же она — рослая, дородная и неуклюжая, словно кариатида (таковы вообще все немецкие женщины, заметила попутно Марья Андреевна), но у нее красивая шея и изящные ноги. Запас ее русских слов скуден, но объясниться она в состоянии. С женщинами она не водится, только с мужчинами, которым даже чинит белье; но вдруг ни с того, ни с сего их бросает и спешит обратно в Берлин, чтобы вновь — впрочем, недолгое время — опекать своего покинутого супруга.

27 октября 1897

Вчера — именины Мамина. Очень славное угощение. За обедом Михеев несколько раз громогласно заявлял, что влюблен в мою жену и по этой причине не навещает меня. Он хотел к ней приблизиться, но это было не просто: ее осаждал Южаков, который довел ее, держа перед ней в течение почти двух часов социально-политическую речь, до нервного состояния. Владимир Николаевич Ладыженский произнес стихотворный тост в честь меня и моей жены; но я не успел записать его экспромт, поскольку находился в этот момент в соседней комнате, где по просьбе Давыдовой играл «Да здравствует...»[191] Мамин (опухшее лицо, покрытое красными прыщами) танцевал с Аленушкой. Баранцевич пел. Михайловский почти все время разговаривал со своей Пименовой. Присутствовал также писатель Бунин, с которым я успел обменяться лишь парой слов.

6 ноября 1897

Позавчера — день моего 38-летия. Несмотря на бурю и наводнение явилось более тридцати человек. Торжество протекало оживленно; последние гости ушли в шесть утра. Позняков, когда я спросил его, как он живет, ответил: «Никак: времени нет, чтобы жить». Он пел и рассказывал истории. Владимир Тихонов пел и танцевал со своим Котиком <...>. Луговой так развеселился, что даже пил пиво! За это лето он написал двадцать листов. Говорил ли он с Лихачевым (с которым я выпил на брудершафт), — не заметил.

Острогорский поднял первый тост в мою честь, превознося за вкус, с каким я выбираю русских поэтов для перевода (но ни словом не обмолвившись о Фофанове), потом — за мою жену, которую назвал самой пристойной из всех собравшихся здесь дам, единственной, которая ни разу не изменила мужу; присутствующие, делая хорошую мину при плохой игре, смеялись и чокались. Никто не помнит, чтобы Михайловский был в таком приподнятом расположении духа: болтал со всеми, шутил и смеялся, пил водку и вино и танцевал мазурку со Слепцовой. Мережковский сидел за ужином рядом с ним, ел и даже пил; я спросил, собираются ли они провести в Шевинó и следующее лето. «Возможно, мне там очень понравилось; но Зина не слишком довольна». (Она не явилась, потому что ей нездоровится, а за окном снова бушует снежная вьюга.) Увидев портрет Грюнвальд-Церковиц, Мережковский восхищенно воскликнул: «Вот женщина, в которую я мог бы безумно влюбиться! Как восхитителен этот косящий взгляд!» Муж и жена Введенские в ссоре друг с другом, а потому явились и ушли порознь. Ничего не могу записать о Баранцевиче, Мамине, Потапенко, Венгерове, Карпове (держался удивительно просто и мило), Зарине, Бунине, а также о дамах: Пименовой, Ватсон, Зинаиде Венгеровой, Вере Томашевской, Семевской (Водовозовой). Кроме того присутствовали: врачи Томашевский и Жихарев, жена Острогорского, жена Лугового и др. <...>

Из приглашенных (кроме Зиночки Мережковской) не пришли: Южаков (недавно оперировался), Форселлес-Фирсов (под предлогом важного дела), Лодыженский и Михеев (оба в этот день уезжали в Пензу, вернее, в Москву), Василий Иванович Семевский (болен) и Шеллер (единственный, кто не ответил на приглашение). — <...>

18 ноября 1897

Получив устное и письменное приглашение, посетил сегодня Ольгу Николаевну Чюмину, о которой могу сказать лишь одно: любезнейшая хозяйка. Ее супруг — весьма приветливый и скромный офицер (по фамилии Михайлов) — относится к ней с величайшей предупредительностью и нежностью; но он, кажется, играет в доме вторую скрипку. Кроме Баранцевича и нескольких дам, присутствовал Сергей Александрович Сафонов (псевдоним — Печорин); я видел его второй раз. Он — самый искусный оратор из всех известных мне русских писателей; для каждой темы у него — особый язык. Очень интересный, образованный и красивый молодой человек. Уже полтора месяца употребляет ежедневно по три бутылки кефира, ибо ничего другого — ни крошки, ни капли (даже чая или белого хлеба) — его желудок не принимает. Если же в его организм попадает хотя бы микроскопическая частица самой невинной пищи, у него начинаются нестерпимо жгучая боль и рвота. Это — результат многолетнего

пьянства; у него была привычка выпивать утром, еще в постели, несколько рюмок водки и лишь после этого приниматься за «клеветон» (то есть обличительный газетный фельетон). Он был спиритом (правда, не фанатичным) и описал свои впечатления от спиритизма в повести *«Одержимые»*, которая появится в «Живописном Обозрении». Рассказывал чрезвычайно характерные истории из области спиритизма.

29 ноября 1897

Я вступил в Союз взаимопомощи русских писателей и вчера впервые присутствовал на собрании. Южаков устроил небольшой скандал секретарю Леониду Егоровичу Оболенскому: тот якобы не полностью занес в протокол его мнение относительно литературной конвенции[192], которую следует либо заключить, либо игнорировать. Другие тоже протестовали по этому поводу, но деликатно, не в столь грубой и беззастенчивой форме, как Южаков, который исступленно визжал, жестикулировал и дрожал (я сидел с ним рядом). Симпатии примерно шестидесяти человек были на стороне Оболенского, заявившего, что он хочет сложить с себя секретарские обязанности. Оскорбленного удалось успокоить, и постепенно воцарилась тишина.

Познакомился с Дмитрием Александровичем Далиным (Линевым). Ничего достойного записи.

Михневич после своей болезни совсем исхудал и пожелтел лицом. «Да, сказывается разрушительный образ жизни, который я вел в юности! Теперь я больше не пью — а ведь как пил раньше!!»

Коринфский сказал, что переводит стихи Боккаччо стихами. «А кто переводит их для Вас прозой?» — спросил я. — «Это делают в редакции “Иностранной Литературы”, строчку за строчкой и слово за словом»... Рассказывал, что Фофанов вновь стал отцом, и завтра ему (Коринфскому) придется крестить его шестого ребенка. Неделю назад Коринфский затащил его к фотографу, и сегодня в «Севере» появится его портрет. Я рассказал ему об упорном молчании Фофанова в течение всего лета и спросил, не сердится ли он на меня. «О нет! Это либо случайность, либо недоразумение. Всякий раз, когда я упоминаю Ваше имя, лицо его проясняется; еще совсем недавно он отзывался о Вас наилучшим образом».

Из Союза — на именины доктора Жихарева (его мать — дочь (sic! — *К.А.*) Данзаса, секунданта Пушкина на дуэли). Когда Баранцевич пародировал якобы мертвую Джульетту, а Позняков — умирающего Ромео, Мамин стал хохотать своим сочным заразительным хо-хо-хо, так что по щекам у него катились слезы. Была также Марья Романовна Познякова, она притворялась, что не знакома с Баранцевичем; я не мог отказать себе в удовольствии представить их друг другу, — но и тут на ее лице не дрогнул ни один мускул.

Был и Брешко-Брешковский. Я никогда не слышал от него ничего, кроме любезностей, и тем не менее (точнее: именно поэтому) он мне в высшей степени неприятен. Его неизменно льстивые слова вызывают во мне прямо-таки физическое отвращение. Восхищенно заводя глаза, он говорит всем одни комплименты. Омерзительна и та дружеская снисходительность, с которой он отзывается о писателях, случайно удостоившихся его рукопожатием. При этом угодливость уживается в нем с заносчивостью. Что-то еврейское таится в этом многообещающем молодом человеке. Баранцевич его защищает: «Нынче такое время, когда нужно вести борьбу за существование; иначе не сделаешь карьеры!»

Для подхалима и лицемера Брешко-Брешковского характерен ответ, который он дал у Жихарева моей жене, предложившей ему билет на благотворительный концерт: «Зачем платить деньги, когда я могу и так *проникнуть*?»

В тот раз Мамин остался ночевать у Жихарева. На другое утро они, само собой, с аппетитом позавтракали и как следует опохмелились. Поскольку Баранцевич живет совсем рядом, за ним отправили слугу Устина. За время игры на бильярде было выпито три бутылки водки. Без малейшей причины Мамин оскорбил деликатного Киреевского, неожиданно заявив, что не может играть с непорядочными людьми; спустя полчаса он искренне просил его о прощении. Затем веселая компания отправилась в “Кавказский”, где Мамин со слезами на глазах говорил о недавно умершем Ольхине. Об этом мне рассказал Баранцевич (исправление сделано несколькими днями позже[193]).

18 декабря 1897

Вчера — день рождения Южакова (48 лет). Все говорили главным образом о внезапной кончине «Нового Слова»: журнал, к которому никогда не было ни единой претензии, запрещен навсегда. Мамин сказал, что если к минусу прибавить минус получится плюс; Антонович возразил, что лишь минус, помноженный на минус, дает плюс, а Короленко заметил: «Нет, если сложить два минуса, тоже получится плюс: надо лишь из двух черточек сделать крест». — У Скабичевского руки были в перчатках (экзема); он усердно ел и пил и почти ничего не говорил. За столом, где сидели Мамин, Михайловский, Елпатьевский, Николай Федорович Анненский, Пименова и Слепцова, стоял непрерывный хохот, так что и слова нельзя было расслышать. — Более ничего примечательного.

19 декабря 1897

Навестил сегодня Василия Ивановича Немировича-Данченко. Он живет уже не в гостинице «Англетер», а по адресу: Невский, угол Малой Морской, 11, кв. 20, комната 9. Я пришел в половине одиннадцатого, но портье сказал мне,

что он еще спит, потому что вернулся домой в четыре часа утра. Около двенадцати я пришел снова. Он сидел в белой фланелевой пижаме, надетой поверх рубашки из красного шелка, — это придавало ему весьма живописный и привлекательный вид. Приветствовал меня поцелуем. Ему нездоровилось («я вчера простудился»), он принял фенацетин, а градусник, который он держал слева под мышкой, показывал 38, 4°. Он занимает две с половиной комнаты, которые выглядят очень элегантно, и платит за них (без пансиона) 180 рублей в месяц!!! «Моя хозяйка, старая немка, уверяет, что здесь жил Тургенев; она хотела поставить здесь его бюст, но я упросил ее этого не делать: не хочу, чтобы разные журналисты из мелких газет позволяли себе язвительные сопоставления». — «Много ли Вы писали за границей?» — «На этот раз привез с собой три романа». — «А сколько книг Вами уже издано?» — «Девяносто». — «А сколько они стоят, если покупать по магазинной цене?» — «Примерно 190 рублей». — «Вы так много путешествуете, что Вас, наверное, уже знают на границе?» — «Конечно. Таможенные инспекторы тут же начинают со мной разговор о моих последних произведениях. Они никогда не требуют, чтобы я открыл чемоданы, ибо доверяют мне: собственно, я никогда не злоупотребляю их доверием. Вот и теперь я им честно сказал, что везу с собой кусок шелковой ткани, который весит столько-то фунтов (при покупке я просил его взвесить), и они поверили мне на слово и сказали, что мне следует уплатить 40 рублей». — «Да, я совсем забыл поблагодарить Вас за присланные Вами цветы с могилы Герцена — весьма любезно с Вашей стороны! А в Ницце Вы, наверно, встречались с Чеховым». — «Разумеется. Он чувствует себя превосходно, от кровохарканья и следа не осталось! Правда, он ведет поразительно размеренный образ жизни! Играет в Монте-Карло и после каждого выигрыша делает хладнокровно и взвешенно новую ставку!». — «А Вы?» — «Проиграл в этот раз пятьсот рублей». — «Пишет ли Чехов что-нибудь?» — «Да. Своего “Патагонца” он написал, так сказать, в моем присутствии. А знаете, как он пишет? Сидит часами в темной комнате и что-то обдумывает, потом выходит, записывает несколько строк и удаляется обратно».

Заговорили о политике. «России следует объединяться не с Францией, а с Германией... конечно, Германия не должна смотреть на нас сверху вниз, как на своих вассалов — в этом случае три нации создадут самую могущественную в мире коалицию и заткнут рот этой подлой Англии!» — «В Вашем романе “На разных дорогах” Вы прекрасно высмеяли франко-русский фарс!» — «Да, и весьма сожалею, что немецкий перевод выполнен не по книге, а по “Северному Вестнику”, где вся эта сатира отсутствует». — «Почему?» — «Потому что Гуревич не решилась этого напечатать». — «А что Вы скажете по поводу Маркса, который издает всего Тургенева в качестве приложения к своей “Ниве”? — «Скажу, что неверно называть русскую натуру *широкой*. Нет, если уж есть че-

ловек “широкой натуры”, так это немец Маркс! Честь ему и хвала!»... Говорил также о негритянках, уверяя, что некоторые из тех, кого он видел, были подлинные «Венеры из эбенового дерева».

Он повел меня в самую заднюю комнатку (чтобы вручить несколько своих книг), и я увидел там, как и на туалетном столике в большой спальне, по меньшей мере пятьдесят флаконов, баночек и ящичков с разными парфюмерными средствами. — — —

У него был также писатель Алексей Иванович Свирский. С ним вместе я отправился в ресторан Перетца, где в последний раз сидел с Немировичем. Мы пили водку и пиво, закусывали, и он рассказывал о своей жизни, представляющей собой истинную одиссею. Однако сперва я спросил, не знает ли он, что это позвякивает у Немировича на груди под рубашкой, когда он делает резкие движения. «О, это какие-то реликвии — в память о Кочетовой, его первой (sic! — *К.А.*) жене, которую он безгранично любил».

Потом он (Свирский) стал рассказывать прямо-таки удивительные вещи, которые из-за обилия материала я могу записать здесь лишь частично. Он — сын кухарки, был каменщиком, фабричным рабочим и т.п. Был на волосок от голодной смерти. Уничтожил все бумаги, удостоверяющие его личность, сказался в полиции бродягой, *не помнящим родства*, и был этапирован в Туркестан (чтение «Записок из мертвого дома» Достоевского так сильно подействовало на него, что он решил посвятить себя изучению души преступника и с этой целью добился того, что его посадили в тюрьму). Однажды ему пришлось плыть две с половиной мили в Балтийском море, прежде чем его заметил и подобрал какой-то рыбак на лодке. На одном русском корабле он встретился с государственным преступником Дегаевым (его до сих пор разыскивает полиция); им пришлось заночевать в доме тамошнего полицейского, который опознал Дегаева; на другое утро он повез его на телеге в ближайший городок, но по дороге Дегаев слез, якобы по нужде, швырнул в глаза полицейскому пригоршню песка, взял его лошадь и повозку и скрылся в лесу; после этого полицейский три дня избивал Свирского, требуя, чтобы тот назвал место, где укрылся Дегаев; однако он не мог этого сделать, поскольку лишь теперь узнал, кто был его случайный попутчик. — Он женат на вдове, первый муж которой принадлежал к социалистам и был убит в Москве агентами. После этого она устроилась простой работницей на Осмоловской табачной фабрике в Ростове-на-Дону, а со временем стала управляющей на той же фабрике, получая ежегодно 8000 рублей дохода. Однажды в квартире случился пожар, ее мать сгорела заживо, а ее саму, всю в ожогах, Свирскому удалось вынести из огня. Он женился на ней, она же, по его желанию, отказалась от доходного места на фабрике. «Мне не хотелось, чтобы люди говорили, что я живу на средства моей жены».

Конечно, я не могу сказать, насколько все эти приключения имели место на самом деле. Внешне он — бойкий еврей, которого выдает его произношение, а также то обстоятельство, что он старательно изучает Талмуд. Однако он утверждает, что происходит из греческой семьи Атаки... Хм... сомневаюсь... А может, он — греческий еврей?

Заговорили о Линеве (Далине). «Он — выкрест. Ему пришлось хлебнуть тюремной жизни — за сокрытие или подделку документов». — «Как? — воскликнул я в ужасе, — он совершил такое преступление?» — «Да, и ряд других! За границей он несколько раз заключал фиктивные браки с графинями, маркизами и т.д. О, все мошенники знали его под кличкой Мишка Арапчик!» — «Откуда Вам все это известно?» — «Да разве Вы не знаете его книгу "Исповедь преступника"[194]? В ней он с полнейшей откровенностью рассказал о всех своих похождениях. Эта книга вызвала в свое время чудовищный шум». — «Значит, вот какой он человек?!» — «Нет, теперь это совсем другой человек — абсолютно честный. Он глубоко погрузился в свою преступную душу, очистился через страдание и заслуживает теперь больше уважения, чем тот, чью голову ни разу не посетила ни одна преступная мысль».

25 января 1898

<...> Позавчера явился Мамин и заночевал у нас. На другое утро (24-го) мы завтракали с ним вместе. По отношению к немцам он опять настроен весьма дружелюбно и разделяет утопию историка Иловайского, полагающего, что через тридцать лет начнется война между Германией и Россией, причем российский колосс будет разгромлен: от него отпадут Финляндия, Польша и прибалтийские провинции. Говорил, что у него издано уже двадцать книг и заготовлено печатного материала еще на тридцать. Моя жена выразила желание иметь маленькое поместье, и Мамин точас же набросал план во всех подробностях, подсчитал стоимость материалов и строительных работ и надолго погрузился в фантазии беллетристического порядка: о том, как мы все будем выглядеть в пожилом возрасте, о визите нашей замужней дочери, о внучке, окруженной восторженными велосипедистами, о беседующих с нами соседях — вплоть до мельчайших деталей, касающихся разведения овощей и птицы. Изобразил, как я рассказываю жене о своих прежних литературных знакомых (давая им по забывчивости искаженно-комические характеристики) и т.п.

Мы весело смеялись. Потом отправились в «Капернаум» играть в бильярд. <...> После игры он увлек меня к себе в Царское Село, подарил свою книгу «Легенды» и свой последний портрет с надписью «Моему любимому, дорогому, старому другу» (разумеется, по-русски). Аленушка произвела на меня впечатление совершенно ненормального существа.

22 февраля 1898

Сегодня, наконец, нанес ответный визит Минскому. Он очень любезен и прост. Потащил меня в «Капернаум», куда явилась и Вилькина (Юрьева) и выпила рюмку водки и портер. Совершенно беспомощна в хозяйственных делах и чувствует к ним отвращение. Они живут на Ямской (д. 13, кв. 2); питаются в ресторанах. Он рассказал, что Флексер (Волынский) стал пить: прочитав «Рождение трагедии» Ницше, он якобы пришел к убеждению, что алкоголь — непременный атрибут писательского ремесла. Минский был навеселе (хотя уверял, что алкоголь не оказывает на него ни малейшего воздействия и после четвертой рюмки он способен пить водку как воду) и начал откровенничать (относительно источника своего наследства), но прекрасная Изабелла потащила его с собой на выставку. В остальном — одна болтовня да ухмылки.

1 марта 1898

О вчерашнем Обеде беллетристов менее всего можно сказать, что было интересно. Я сидел рядом с Авенариусом. Он сказал, что у него много оригинальных стихов на немецком языке, но из стихотворных переводов опубликован только один в «Herold»: «Крокет в Виндзоре» Тургенева[195]; потом он читал разные смешные ходатайства на высочайшее имя. Михневич предложил мне не тянуть с визитом к нему (в частности для того, чтобы забрать портрет), поскольку он, по его словам, скоро умрет. Вишневский (Черниговец) сказал мне, что Амфитеатров (который отсутствовал) сердится на меня: я разбранил его недавно в «Herold» за пьесу «Отравленная совесть» и выпад против Гейне. Кроме того, в обеде участвовали: Баранцевич, Грибовский, Коринфский, Луговой, Гнедич, Василевский (Буква), Каразин, Григорович, Василий Немирович-Данченко, Гарин, Крушеван, Лейкин, Мордовцев, Случевский и Билибин. О них мне сказать нечего.

Мордовцев дал мне на несколько дней альбом участников Обедов. В нем — различные карикатуры (рисунки Мордовцева и акварели юного Стеллецкого) и множество автографов; самые интересные из них привожу ниже. Должен заметить, что, решив начать этот альбом, все участники твердо решили писать в нем только глупости: на обедах должны царить исключительно веселье и смех. <...>

7 марта 1898

Был сегодня у Станюковича, чтобы забрать обещанный портрет. Провел у него пять минут. Он писал, сидя в низком маленьком кресле перед круглым (не письменным!) столом. У его сына температура по-прежнему 40°, поэтому он

спешил в больницу, а затем снова домой (пишет газетную статью). Фотограф Ренц намеревается издать портретную серию русских писателей, запечатлев каждого в рабочем кабинете. «Затея провалится! Кого в России это может интересовать! Вот если бы он снимал актрис и проституток и пускал в продажу их фотографии — это принесло б ему прибыль!»

14 марта 1898

Несколько частных записей. Десятого числа сего месяца умер пятнадцатилетний Станюкович, единственный сын писателя, учившийся в заведении Гуревича (учителя единодушно скорбят о его смерти; моим учеником он не был, поскольку я не преподаю в реальном училище). Во время моего визита Станюкович сказал, что его сын уже третью неделю болен брюшным тифом: «К счастью, его распространение не связано теперь с опасностью для жизни; кроме того, мальчик находится в прекрасных условиях; словом, требуется лишь одно: набраться терпения!»

Посетил на днях Марью Андреевну. Потапенко провел в Париже всего один день. Сейчас он в Ницце, где превосходно чувствует себя в обществе Антона Чехова и князя Сумбатова-Южина. Последний проиграл недавно в Монте-Карло семь тысяч франков за один вечер. Потапенко тоже играет, но — безуспешно. — — <...>

В гимназии Гуревича преподает историю Вячеслав Михайлович Грибовский, автор книги «*Студенческие рассказы*»[196]. Коллеги его не любят и никогда с ним не заговаривают, лишь отвечают на его вопросы; впрочем, он, как правило, молчит, расхаживая взад-вперед по учительской комнате. Они называют его наглым выскочкой и недолюбливают, по их словам, за то, что он допустил выпад против профессоров здешнего университета (где он — приват-доцент); я же полагаю, что их раздражение вызвано прежде всего тем, что он — писатель, которого хвалят рецензенты. Эти далекие от поэзии люди ненавидят все, что хоть немного выходит за рамки обыденной повседневности (они и меня воспринимают как ренегата, поскольку меня ни в малейшей мере не интересуют преподавательские пересуды относительно окружных инспекторов и нового министра просвещения[197]; на переменах я читаю обычно какую-нибудь книгу и вовсе не прислушиваюсь к их пустой болтовне). О Грибовском же могу сказать скорее хорошее, чем плохое: по отношению ко мне он держится приветливо, скромно и любезно; я — почти единственный, с кем он общается.

16 марта 1898

<...> Зашел к Марье Андреевне. Потапенко в Ницце, чувствует себя превосходно. О игре в Монте-Карло почти ничего не пишет: значит, речь может идти

лишь о пустяках. Так же играет и Чехов: всего лишь petit jeu[198]; устает уже после короткой прогулки. Сумбатов (Южин) оставил Ниццу, проиграв двенадцать тысяч франков. Потапенко тоже возвращается — к Пасхе. — — <...>

26 марта 1898

Сегодня играл в бильярд с Баранцевичем. Он сказал: «А еще говорят о Николае II и его единоуправстве! Не дай Бог, к власти придут наши либералы! Это совершенно бездушные эгоисты, которых меньше всего беспокоит наше благополучие! Если власть окажется в руках всех этих короленок и михайловских, то из бархатных лапок покажутся тигриные когти!» — —

Позавчера — вечер у доктора Жихарева. Позняков пел песню, которая начинается со слов:

Пошла наша Дуня
В огород гуляти,

а каждая ее строфа заканчивается припевом:

Вере, вере, вере, вере — вяшки!
Шатилы, мотилы, винди — шаты,
Виндиша, виндиша, бур — бар — ха,
Шары, бары, язык прокуратор,
Рас — Дунай!

Он, Позняков, секретарь «Рептильного фонда», играющий немаловажную роль при распределении денежных субсидий, рассказал, что Фофанов обратился в Фонд с прошением и получил 100 рублей. Кроме того, Виницкая получила согласие Фонда на выплату ей годового вспомоществования в размере 600 рублей. Она очень тепло поблагодарила Познякова за его участие, но через пару недель начала ни с того ни с сего бомбардировать письмами доктора Жихарева: мол, Позняков — негодяй, мерзавец, подонок и т.д. Жихарев в разговоре со мной подтвердил рассказ Познякова и даже показал одно письмо, причем заявил, что она (Виницкая) — психопатка и он может обосновать это с научной точки зрения.

Мамин спросил меня, какой из его рассказов мне нравится больше всего, и я сказал: «*Великий грешник*». Тогда он обнял меня и воскликнул: «Да, ты прав; только ты да еще одна женщина попали в точку! Это воистину шекспировские образы!» Одной из своих самых удачных вещей считает также «Последнюю муху» (из «Аленушкиных сказок»). «Еще ни один писатель не затрагивал этой темы, а ведь в ней столько жизненной правды!» — Недавно он был в Москве и слышал

там анекдот про Льва Толстого: приходит к нему американец и начинает его восхвалять, уверяя, что в Америке признают только трех благодетелей человечества: Иисуса, Конфуция и его, Толстого; на что Толстой удивленно спрашивает: «А при чем тут Конфуций?!» — — —

Позавчера Баранцевич был на Волковом кладбище, чтобы присутствовать на панихиде, — исполнилось десять лет со дня смерти Всеволода Гаршина. Он пришел всего через пять минут после назначенного времени — служба уже заканчивалась. По дороге к могиле (в обществе Венгерова) он встретил Евгения Гаршина, какого-то студента и трех репортеров — вот и вся публика! А десять лет назад!!! На могиле — ни одного венка, даже от Литературного фонда, который получил крупную прибыль от издания произведений покойного[199]. Баранцевич заготовил речь, но не смог ее произнести: у могилы не было никого, перед кем он мог бы ее держать. — —

На днях я упрекнул Евгения Гаршина в том, что он не позаботился об устройстве литературного вечера памяти брата. Он возразил: «Этим следовало заняться **вам**, друзьям Всеволода, — ведь десять лет назад вы все, буквально все, обливали меня *помоями*! А теперь требуете от меня... Эх, не стоит больше говорить об этом!»

28 марта 1898

Вчера — заседание в Союзе. Главная тема, которая обсуждалась: прошение министру внутренних дел по поводу цензурных послаблений[200]. Множество людей, но почти никого из тех, о ком сейчас я мог бы хоть что-нибудь записать. Мамин тронул золотую цепь от часов доктора Томашевского и произнес с сухим юмором: «*Златая цепь на дубе том...*» <...>

10 апреля 1898

Позавчера состоялось отпевание моего отца. Из писателей явились: Мамин (прямо от гроба, с покрасневшими от слез веками он зашел в магазин), Баранцевич и, что было для меня приятной неожиданностью, — Венгеров. Мамин выразил сожаление, что не сможет на другой день (т.е. вчера) присутствовать при погребении.

Потапенко отсутствовал как при отпевании, так и при погребении «старого Генриха Кнабе», выведенного им в рассказе «Развязанный узел», где описан эпизод из жизни моего отца (разумеется, с долей авторской фантазии). <...> В Монте-Карло он выиграл семьсот франков: «Система, которую ты знаешь, мало годится: можно просидеть двенадцать часов подряд и выиграть только пять франков; мы же с Чеховым придумали нечто совершенно другое, о!..» <...>

На Успенском кладбище я познакомился с Петром, братом Фофанова (он время от времени тоже печатается), который на первый взгляд производит впечатление алкоголика. Его дядя, играющий какую-то роль в дирекции этого кладбища, пожаловался мне, что этот его племянник (он на три года моложе своего брата Константина) целыми днями ничего не делает: только пьет и спит. Он, Петр Фофанов, очень похож на Константина, причем не только характерными чертами лица, но также жестикуляцией и манерой речи. Рассказывал, что жена Фофанова находится в безнадежном состоянии; она сошла с ума, потому что ей «молоко ударило в голову».

27 мая 1898

На вчерашней панихиде по Белинскому (в связи с пятидесятилетием его кончины) я, к сожалению, не мог присутствовать: в этот час я должен был находиться в Екатерининском институте, где в присутствии императорской семьи отмечалось столетие этого заведения. Но я все же успел на Волково кладбище, где разговаривал с Баранцевичем, Зариным, Венгеровым, Михайловским, Короленко, Меньшиковым, Максимовым (С.В.), Вейнбергом и другими. <...> У ворот кладбища мой фиакр повстречался с фиакром, в котором ехал Мамин вместе с Николаем, сыном Михайловского. Мы выскочили и расцеловались. Он сказал: «Ты мне очень нужен: моя честь под угрозой, и тебе предстоит восстановить мою репутацию. Впрочем, я тебе еще напишу». — «Где будешь летом?» — «В Гунгербурге». — Мы расстались. — —

22 июня 1898

Помимо приведенных выше[201] у меня есть еще письма и от других немецких писателей, которые при случае я перепишу в дневник, — все без исключения, независимо от того, насколько они малозначительны или даже просто бессодержательны. Излишек аккуратности и мелочности здесь не повредит: как в судебном процессе самая, казалось бы, ничтожная деталь может порой оказаться решающей, так и в этих тетрадях, по которым, возможно, история литературы будет однажды вершить свой суд. Не надо мной, разумеется, ибо я неизменно придерживался строжайшей объективности! Лишь совершенно беспристрастные свидетельства очевидцев должны присутствовать в этих тетрадях! Правда, для истории немецкой литературы они, опасаюсь, не будут иметь особого значения; но льщу себя надеждой, что в отношении русской литературы здесь найдется не одна любопытная иллюстрация, способная украсить галерею мировой словесности. Со временем собираюсь также переписать и все обращенные ко мне письма русских писателей, сопроводив русский оригинал переводом... <...>



6/18 августа 1898[202]

Второго числа сего месяца мы вернулись из Ижор в Петербург, но проведем еще две недели у моей матери в Райвола (Финляндия). На одной улице с нами живет Форселлес-Фирсов; сегодня я ходил с ним на прогулку в лес. <...> Когда я сказал, что никогда не читаю художественное произведение, продолжение которого появится через несколько дней или, тем более, в следующем месяце, он ответил: «А я читаю. Я могу читать повесть прямо с середины. Если мне нравится, я думаю: как же хороши должны быть предыдущий и последующий номера! А если не нравится, думаю: предыдущий и последующий номера наверняка лучше». Он перевел поэму Рунеберга (стихами, коих вообще-то не признает).

7/19 августа 1898

Гулял с Форселлесом. Он долго распространялся насчет хинококков[203], говорил об Антоне Чехове, ранние вещи которого очень высоко ценит, и сетовал на распад русского языка у современных литераторов. «Народ говорит гораздо правильней, чем интеллигенция; в народе, например, всегда говорят *потому*, а не *потому что*». Лучший русский язык был, по его мнению, у Жуковского. <...>.

17 августа 1898

Был вчера у Баранцевича в Коломягах. Рассказал ему о Фофанове и той безвыходной ситуации, в которой оказалась его сестра, и Баранцевич возмутился: «Суворин, когда я был у него, обещал позаботиться о ней, то есть выплачивать ей ежемесячно примерно 300 рублей (столько она зарабатывала на фабрике), и что же?!..» Говорили об Антоне Чехове. Баранцевич считает, что хорошо отделаны у него только детали...О себе самом сказал так: «Я — писчее перо, из которого вынули сердце, превратив в ресторанную зубочистку!» — — —

28 августа 1898

<...> Вчера пришел Мамин. Увидев на стене свой портрет, сказал: «Сразу видно, что это настоящий писатель, которого много читают, — только у такого может быть столь роскошная шуба!» За лето, проведенное в Гунгербурге, написал десять листов. «Я очень религиозен, но не христианин, а буддист». О Льве Толстом сказал: «Не выношу его, потому что он — лжец!» <...>

29 августа 1898

Вчера — семидесятилетие Толстого. В связи с этим я принес в редакцию «Herold» мой перевод фофановского стихотворения, в котором восхваляется Толстой; но редактор сказал, что не сможет его напечатать, поскольку Главное управление по делам печати строго-настрого приказало всем журналам не помещать 28 августа ни слова о Толстом. И все промолчали — за исключением «Нивы». —

Из редакции направился к моим старым и любимым знакомым — в семейство Борман (в свое время я чуть было не женился на Альме Борман). Альфред Борман хочет развестись со своей женой (урожд. Тырковой): она позволяет старику К.М. Станюковичу увиваться за ней.

Мне в руки попался листок из старого русского отрывного календаря, где рассказывается такая история: сидит однажды Островский в театре рядом с известным актером и немцеедом Провом Михайловичем Садовским. Играют «Марту» Флотова. Садовский в полном восторге, то и дело восклицает: «Замечательно! Бесподобно!» Островский спрашивает, с каких это пор он стал любителем немцев. Садовский оторопел. Выясняется, что его обмануло окончание «-ов», и он решил, что Флотов — русский. После того как Островский указал на его ошибку, Садовский ответил: «Немец?.. То-то я слушаю и думаю: до чего бессмысленная вещь!»

12 сентября 1898

Я буду записывать также литературные анекдоты, за достоверность которых, конечно, не могу отвечать. Но однажды наступит день, «и на этом стуле будет сидеть и говорить мудрый человек».

Когда Константин Николаевич Батюшков уже впал в безумие, к нему пришел Шевырев и прочитал свое только что написанное стихотворение. Присутствовали и другие гости, приглашенные к обеду. Батюшков слушал, в глазах его внезапно мелькнуло осмысленное выражение, и он произнес импровизацию:

В твоих стихах лишь пользы три:
Читай, зевай и ж... три.

Это мне рассказали сегодня. Но в последние годы я — причем из разных источников — слышал другую историю. Когда Петр Исаевич Вейнберг еще был учителем (кажется, в местной Коломенской гимназии), он дал ученицам такую тему для сочинения: «Вечерняя прогулка». Одна юная девица закончила работу словами: «Был час ночи, *когда я пришла домой*», но допустила ошибку и вместо

«домой» написала *«дамой»*. Вейнберг сделал помету на полях тетради: «Роковая и непоправимая ошибка!»* — —

14 сентября 1898

Вчера — у Мамина в Царском. Он приобрел себе несколько старых русских икон, среди них одну с изображением головы Христа; ее древностью он особенно гордится. С невиннейшим выражением лица я сказал, что эта икона написана, возможно, еще до Рождества Христова, на что Мамин простодушно возразил: «Ну, вряд ли!» <...>

18 сентября 1898

Вчера, по случаю именин моей жены, был Мамин. Его мать, проведя несколько недель у него в Царском, вернулась домой в Екатеринбург. <...> Пришли также Баранцевич с Сальниковым. <...> Перед тем, как я вернулся из гимназии, явился с поздравлениями Южаков и выпил solo[204] полбутылки наливки; вечером примчался его сын, разыскивая пропавшего отца. —

Сегодня встретил на улице Льдова. Летом он выступал в разных городах России с докладами на тему «Религиозный элемент у Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Фета» и едва смог покрыть свои расходы. На днях собирается ехать в Палестину, чтобы освещать пребывание там кайзера Вильгельма. — —

22 сентября 1898

<...> Сегодня утром, в половине девятого, направляясь по Малой Итальянской в гимназию, увидел Короленко — он ехал на велосипеде. Заметив меня, он легко спрыгнул на мостовую (прошлой весной на него, велосипедиста, наехала машина, и он сломал себе ногу). Я сделал ему комплимент, сказав, что у него свежий вид. «Да, этим я обязан велосипеду и ежедневному душу. Раньше я мог спать всего три-четыре часа, теперь же у меня великолепный сон!»

26 сентября 1898

Вчера в Союзе было очень скучно. Пришло лишь шесть человек — сплошь безвестные лица. Пантелеев рассказывал о Салтыкове <...>: Михайловский говорил об Острогорском: тот однажды признался ему, что беседовал с двумя

* Сегодня, 24 сентября, сын Вейнберга, Борис, учитель физики в гимназии Гуревича, решительно заверил меня в том, что в этой истории нет ни слова правды.

русскими императорами, и каждый из них якобы сказал ему одно и то же слово: *«Дурак!»*

Отправился с Михайловским в «Кавказский», где мы выпили две бутылки белого вина. Он рассказал, что Марья Андреевна Потапенко* написала летом в «Мир Божий» и «Русское Богатство», будто муж не дает ей денег; одно из этих писем Михайловский видел собственными глазами... О Мамине сказал: «Из всех русских писателей он более других наделен литературной естественностью: он сама непосредственность и наивность, он творит неосознанно, всегда и всюду! У него огромный и непосредственный талант, это не подлежит сомнению. А как он оригинален и свеж, как естественно комичен!»

О Льве Толстом: «Прежде, когда он был только художником, я принадлежал к числу его горячих поклонников, и тем горьше для меня разочарование в нем как в человеке. Ведь сделавшись проповедником, он ведет неправильную игру. Еще в пору "Отечественных Записок" я опубликовал в этом журнале весьма хвалебную статью о нем[205], в связи с чем он с признательностью отзывается обо мне в одном из своих писем к Некрасову (Некрасов показывал мне это письмо[206]). Когда я впервые приехал в Ясную Поляну, он встретил меня словами: "Должен Вам заметить, что если Вы и написали обо мне что-нибудь, я не знаю этой статьи, потому что принципиально не читаю ни строчки о себе!"... В другой раз, узнав, что я был сослан в Любань за речь перед студентами, он (Толстой), обращаясь к жене, воскликнул с напускным отчаянием: "Какую же речь мне следует произнести, чтобы и меня, наконец, куда-нибудь сослали?!"... В третий раз, беседуя с ним о его теории *несопротивления злу*, я спросил его, что он сделает, если пьяный мужик станет избивать беспомощного ребенка. "Пойду дальше своей дорогой". — "И не употребите силу, чтобы вырвать ребенка у мужика?" — "Нет, ибо это означало бы подавлять зло злом, использовать силу против силы". — "И Вы не станете защищаться, если кто-нибудь нападет на Вас?" — "Нет". — "Но ведь если я проведу Вам рукой по глазам, Вы все равно закроете глаза, то есть будете защищаться инстинктивно?!" На это он не ответил, но продолжал, выдержав паузу: "Можете нанести мне удар... по голове, в лицо, куда хотите... Ударьте! Прошу Вас об этом!.. И Вы увидите, я не стану противиться!"... Мне оставалось лишь улыбнуться на этот наивный аргумент».

6 октября 1898

Вчера был Мамин и остался у нас на ночь. Я прочитал ему относящийся к нему пассаж, и он сказал: «Да, Михайловский *оценил* меня лишь тогда, когда

* Нет, не Марья Андреевна, а законная жена Потапенко!

я перестал писать для его журнала («Русское Богатство») и начал писать для Александры Аркадьевны[207] («Мир Божий»). Чем хуже обходишься *с русским человеком*, тем лучше он к тебе относится, и наоборот. Он не умел ценить меня, когда я буквально спасал его: случалось, что в последний момент цензура снимала чью-либо статью, он просил меня дать ему рассказ и я писал его *в каких-нибудь* несколько дней... Да, у меня есть преимущество перед многими русскими писателями: я — *хорроооший работник*!.. Обилие материала подавляет меня!.. Я не пишу так, как пишут Чехов и Короленко: я просто рассказываю, воспроизвожу. У меня *нигде нет отделки*, и я не употребляю красивых слов». — Об Арсении Введенском сказал: «У него в голове зайцы прыгают!» <...>

17 октября 1898

Вчера — в Союзе. Присутствовало около ста человек, поскольку Боборыкин читал доклад об Италии, точнее, о своей готовящейся поездке в эту страну; имя «Лессинг» он выговаривал как «Лэссúнг». О Вейнберге, деловито сновавшем взад-вперед, Боборыкин сказал: «Когда я учился в Дерпте, там был цирк, директор которого именовал себя maître de manège[208]; вот такой же maître de manège и наш Петр Исаевич!»... Последний (т.е. Вейнберг) решительно опроверг историю с сочинением: мол, никогда не держал в руках ученической тетрадки. Кто-то сказал, что Полонский смертельно болен, и Вейнберг, немного помолчав, произнес: «Ну, разве я не практичный человек? Я как раз прикидывал, сколько может принести литературный вечер его памяти нашему Литературного фонду»... Владимир Тихонов (живет в Павловске) сказал мне: «Теперь ты наверняка убьешь меня. Я разразился целой статьей против немцев — здорово! Даже “Новое Время” не решилось ее напечатать! Но я пригрозил, что в этом случае никогда не дам им больше ни строчки!... В Риге я получил одиннадцать анонимных писем — мне угрожали смертью. В день моего отъезда, сидя за табльдотом, я обратился к обществу: “Господа, вы желаете меня убить. Тогда делайте это скорее — я очень спешу: через час отходит мой поезд!” Поднялся крик, я встал, раскланялся и покинул залу». <...>

Познакомился с Фальковским (вернее, он познакомился со мной, представившись мне сам); Баранцевич очень высоко ставит его талант, сравнивая с мопассановским. — — —

Сегодня в редакции «Нивы» встретил ее редактора Сементковского; он спросил меня про доклад Боборыкина. Когда я ответил, что Боборыкин говорил больше о себе, чем об Италии, он сказал: «Он всегда говорит только о себе, но его умение наблюдать при этом за другими просто поразительно».

19 октября 1898

Вчера умер Я.П. Полонский. Сегодня в восемь часов был на панихиде. Одно из его стихотворений «*В одной знакомой улице...*» стало народной песней, в связи с чем Жозефина Антоновна рассказывала вдове Майкова (я стоял рядом): «Когда Наташа (их дочь, ныне — госпожа Елачич [— *Ф.*]) была еще совсем маленькой, у нее была няня. Однажды, когда девочка стала петь: "*В одной знакомой улице...*", няня воскликнула: "И не стыдно тебе петь такую *срамную* песню?" Яков Петрович опешил, я же спросила: "А ты знаешь, кто сочинил эту песню?", на что она сердито сказала: "*Вестимо*, какой-то сибирский *каторжник*!" Яков Петрович так и покатился со смеху».

Присутствовали: Лихачев, Владимир Стасов, Кайгородов, Шейн (собиратель народных песен), Ясинский (предложил мне навестить его), Загуляев, Д.Л. Михаловский (Н.К. Михайловский, ясное дело, отсутствовал — ведь Полонский был цензором), Зинаида Венгерова, Быков, Щеглов и Мережковские. Они (оба) опустились у гроба на колени, перекрестились и поцеловали крест, вложенный в руки Полонского. Я спросил Дмитрия Сергеевича, скоро ли он закончит своего «Леонардо да Винчи». «Скоро. Впрочем, спешить мне некуда, все равно этот роман не примут ни в одной редакции; а я, ведь, отдал бы его в любой журнал, который согласился бы напечатать. Потому что роман этот слишком длинный и слишком серьезный». Когда я напомнил ему про четвертое ноября, он спросил: «А не будет ли Флексера? Тогда наверняка не приду». — «Конечно, нет», — ответил я... Других писателей я, наверное, не заметил. Лицо у покойника было темнокоричневого цвета, маленькое и ужасно исхудавшее. Перед его письменным столом свешивается со стула плед, с которым он не расставался даже если в комнате было около двадцати градусов по Реомюру; позади стоят два его костыля, прислоненные к шкафу.

22 октября 1898

Вчера в два часа дня — панихида по Полонскому, на которую среди прочих явился великий князь Константин (К.Р.) в сопровождении профессора А.Н. Веселовского и Победоносцева. Проходя мимо Лихачева, великий князь протянул ему руку; Лихачев рассказал мне потом, что некогда читал у него (К.Р.) в присутствии Грота, Майкова и Полонского свою драму «Жизнь Илимова»; «троих уже нет, теперь очередь за мной!»... Оба сына Полонского подтвердили мне, что отец родился не в 1820, а в 1819 году. С Коринфским, Черниговцем (Вишневским), С.В. Максимовым и П.А. Крушеваном отправился обедать в «Афганистан»; пили белое вино и шампанское. Крушеван не отказал себе в удовольствии заплатить за всех. Внешне напоминает графа Эмериха фон Штадиона. Он приехал на не-

сколько дней из Кишинева, где издает газету «Бессарабец», — собирается приобрести для своей типографии типографские станки и литеры на сумму десять тысяч рублей; металлический венок Полонскому, который он заказал у Цвернера, обошелся ему в 55 рублей. Я спросил, имеет ли сюжет его романа «Дело Артабанова» реальную подоплеку. «Нет, все — сплошной вымысел».

Коринфский продиктовал мне три четверостишия Фофанова:

a

Хотя я пью вино как воду,
Но в этом нет большой беды:
Ведь даже и без денег в оду
Не подбавляю я воды.

b

Мой лаконичен стих и краткий.
Я, если одою грешу,
То после игрека искраткой,
А перед игрек икс пишу.

(Русское народное выражение для пениса).

c

Запас к худому не ведет,
Ни есть, ни пить себе не просит...
Монах, пожалуй, не е...
*Но х... на всякий случай носит**.

<...>

Вчера в квартире Полонского познакомился с известным собирателем народных песен Павлом Васильевичем Шейном; он попросил принести ему моего «Пушкина». Сегодня я исполнил его желание. Старик (ему 70 лет) вышел ко мне, опираясь на костыли, с приветливой улыбкой на лице, обрамленном седыми волосами, и протянул мне мягкие скрюченные пальцы правой руки (левая была перевязана). Сразу же принялся рассказывать про свою жизнь, причем наполовину по-русски, наполовину по-немецки. «Я вовсе не скрываю своего еврейского происхождения. До семнадцати лет я не знал ни слова по-русски, ни слова по-немецки. Оба эти языка я выучил за три года, проведенные в больнице». Школьное образование он получил в Москве. В университете учился

* Сегодня (25 октября) доктор Жихарев сказал, что это четверостишие не принадлежит Фофанову: оно было известно еще деду Жихарева († 1881).

всего один год; слышал лекции Шевырева. За границей завел знакомство с В. Вольфзоном, А. Больцем, Ауэрбахом, Якобом Гриммом и географами Кипертом и К. Риттером. Его друг Ферман, пастор в здешней церкви св. Петра, окрестил его в протестантскую веру. Я спросил: «Вы — член Академии?» — «Нет. В течение двадцати лет Академия печатает мои труды, а я даже не член-корреспондент»!» Целых семь лет был учителем немецкого языка в Витебске. В 1861 году Толстой пригласил его в Ясную Поляну — преподавать деревенским детям русский язык. «Но я выдержал всего две недели, потому что Толстой человечен только на бумаге».

27 октября 1898

Сегодня заглянул на минутку к Потапенко. Он весьма удовлетворен вчерашней премьерой своей «Волшебной сказки». Успех пьесы привел его в такое возбужденно-приподнятое состояние, что сегодня ночью он спал всего четыре часа. «Если бы я захотел, я мог бы выйти к публике не восемь, а пятнадцать раз». Бранил рецензентов за несправедливые отзывы об актерах, у которых есть собственное понимание роли и которые вложили в изучение ролей всю душу.

Вчера — на именинах Мамина в Царском. Он (Мамин) поднял тост за здоровье Михайловского (тот предпочел общество Слепцовой и Пименовой). Более ничего достойного записи. Владимир Тихонов читал вслух смешные сценки и сообщил, что вызван 4 ноября к мировому судье в связи с тем, что задолжал лавочнику 105 рублей за продукты. Из писателей — более никого.

31 октября 1898

Вчера, когда я спешил из гимназии Оболенской в Екатерининский институт, подъехал Потапенко. «Читал в “Новостях” рецензию на мою “Волшебную сказку”? Ничего более чудовищного нельзя придумать! Кое-кто из писателей даже посетил меня, чтобы выразить сочувствие»[209]. — — —

В день похорон Полонского Случевский предложил — продолжать пятницы покойного у себя, причем собираться у него вечерами должны исключительно «поэты» (те, кто пишет стихи). Странно, но я тоже получил приглашение; и вот вчера я посетил первый из таких вечеров. Его квартира, обставленная в высшей степени элегантно, представляет собой поистине собрание редкостей; не знаешь, на чем остановить взгляд, а для того, чтобы как следует все обозреть, потребовалось бы много дней. Когда я высказал ему свое восхищение, он заметил: «Да, но я-то смотрю на все это каждый день с чувством возрастающей горечи. Когда я умру, все это пойдет с молотка. Ведь у нас, русских, нет пиетета!..» Фофанов явился совершенно трезвым и выглядел, если не считать слегка

помятого воротничка рубашки, вполне пристойно. Он сидел молча, слушал и отвечал на обращенные к нему вопросы. Но курил непрерывно, притом замечательные, хотя и очень сильные сигары Случевского, все более и более возбуждаясь. Когда Мережковский сказал, что Тютчев своим талантом подобен Гете, Фофанов крикнул: «Да он бездарный дурак!» Бальмонту пришлось повторить одно из своих (весьма риторических) стихотворений, и Фофанов поспешил воскликнуть: «Голова моя как *шарманка*: Ваши стихи сперва мне понравились, а теперь вижу, что это *набор* фраз, лишенных поэзии!» Затем ощупывал руки Мережковского и что-то мямлил насчет того, какие они тонкие. За ужином (он выпил всего пять стаканов пива), когда Лихачев вынул из кармана длинный мундштук, Фофанов воскликнул: «Как можно в присутствии дам вынимать такую длинную *штуку*?» Дамы ретировались в большую комнату. До этого он декламировал стихи, вызвавшие всеобщее шумное одобрение; ему пришлось повторить их четыре раза. Стихи заканчиваются строками:

Жизнь — сновидение без сна,
А смерть, смерть — сон без сновидений.

Он записал мне стихотворную эпиграмму на министра финансов Витте и введенную им монополию на алкоголь:

ЭКСПРОМТ НА «КАЗЕННУЮ АПТЕКУ»

«Веселье Руси пити»,
Сказал Владимир-князь,
Но вот почтенный Вите (sic! — *К.А.*)
Прервал теперь с ним связь.
Воскликнул он: «Ich bitte[210]*,*
Посуду мне не бить!»
Еще прибавил Вите:
«Умереннее пить!»

Посуда не разбита,
Но все ж мы без узды,
И та же пляска Вита
Без витевой воды.

Он (Фофанов) сказал, что, конечно, не является автором стихотворения «*Запас к худому*»[211]. Случевский искусно и дипломатично устроил так, что Фофанов отправился домой в Гатчину с последним поездом; во всяком случае, он покинул общество в одиночку*.

* Он не поехал домой, ибо на следующий день, в семь или восемь утра, явился совершенно пьяный в редакцию «Севера» (об этом мне рассказал Коринфский 4 ноября).

Два своих неврастенических стихотворения читала также Мирра Александровна Лохвицкая. Поскольку она почти исключительно, и притом сладострастно, воспевает супружеские достоинства своего мужа (что, впрочем, не помешало Коринфскому заехать за ней перед ужином, а потом проводить домой), Лихачев прошептал мне на ухо свою эпиграмму на нее (муж отвечает ей):

Оставь, оставь меня в покое,
Не умножай моих седин:
Ведь нас не трое и не двое —
Ведь я один, как перст один!

Все заявили, что она (Лохвицкая) — поэтесса pur sang, пишет — в отличие от Чюминой — нервами и наяву переживает каждое свое стихотворение. Зиночка Мережковская, читая, морщила носик; ее волосы, закрывавшие уши, свисали спереди тонкими локонами; курила за ужином. Вейнберг рассказывал, что переводит прозой «Фауста» Гете и хотел бы также приняться за перевод кукольной комедии[212]; Бальмонт (в длинном сюртуке à la Эдмон Ростан, держался весьма претенциозно и почти ничего не говорил) сказал, что было бы неплохо перевести на русский язык все немецкие драмы о Фаусте и создать у нас таким образом литературу, посвященную Фаусту. Мне пришлось прочитать мой перевод пушкинского «Я вас любил...» (Фофанов, услышав об этом, восторженно воскликнул: «А! Ich libbte ddich![213], а затем пролепетал и последнюю строчку так, что даже я, ее автор, ничего не понял. Все улыбались и хихикали.) Когда я кончил читать и кругом послышались одобрительные возгласы, Вейнберг сказал: «Да... Но ему (т.е. мне. — *Ф.*) я никогда не прощу одного: ведь он перевел еще и “Черную шаль”[214]!» Ему стали возражать: мол, исходя из историко-литературных соображений, я не мог не включить это стихотворение в мою пушкинскую подборку... Когда, войдя в зал, я увидел среди присутствующих старого Д.Л. Михаловского, то готов был обратиться в бегство: при каждой встрече этот человек спрашивает меня с упреком: «Вы так ничего и не перевели из моих стихов?!»; это произошло и сегодня. Ясинский с длинной седой бородой выглядел как высокого роста Мейссонье; почти ничего не говорил. Абсолютно ничего достойного записи не произнесли также: князь Ухтомский, поэт Лебедев (очень симпатичный), Сологуб (Тетерников), Чюмина, Черниговец (Вишневский) и Коринфский.

Следует в заключение отметить, что Случевский представлял каждого гостя присутствующим (как и гостю — присутствующих), лишь по фамилии (господин такой-то), а не по имени и отчеству. Этим его нынешняя первая пятница немного напоминает вечера у Полонского, но только этим и ничем другим... Впрочем, нет — еще одним: забывчивостью хозяина. Бальмонта, например, он представил всем как Лебедева.



1 ноября 1898

Сегодня нанес визит Лохвицкой (мадам Жибер). Уже семь лет как она замужем; у нее трое детей. Ее муж служит в страховой компании и, судя по портретам, вполне заслуживает тех похвал, коими его осыпает жена. Она сказала: «У меня много врагов и очень мало друзей. Надо мной смеются, потому что моя лирика эротична; существует множество эпиграмм на мои стихи». — «Считаете ли Вы, что второй том Ваших стихотворений лучше первого?» — «Во втором такое количество эротики, что *это просто неприлично*!»

6 ноября 1898

Позавчера — мой день рождения (39 лет). Пришло (в основном без приглашения) около сорока человек. Не пришли: Потапенко (ангина, по словам Марьи Андреевны, явившейся меня поздравить), Острогорский (написал, что болен), Михневич (то же самое), Владимир Тихонов с женой (должны идти на чью-то свадьбу), Минский и его жена (больны, о чем она письменно известила меня), Венгеров (написал, что разболелась жена) и Зинаида Мережковская (больна).

Присутствовали (наряду с прочими): Вишневский-Черниговец, Василий Иванович Семевский, Зарин, Коринфский, Сальников, Ватсон, З.А. Венгерова, Луговой с супругой. Михайловский (пришел с Пименовой) направился по привычке направо, но, оторопев, остановился: вместо моего кабинета перед ним оказался будуар моей жены (мы с Любой поменялись комнатами). Я успокоил его, сказав, что наша спальня, как и раньше, используется как распивочная и может прямо сейчас сойти за редакцию “Русского Богатства”. Михайловский тотчас же направился в спальню и покинул ее лишь для того, чтобы перейти в гостиную и приступить к ужину; в другие комнаты он даже не заглянул. Подарил мне свой портрет той поры, когда был гимназистом. Южаков пришел навеселе, а уходя, еле держался на ногах. Мамин, заночевавший у нас, подарил мне свою повесть «*Не то...*» и при этом сказал: «Начало очень удачное, но с середины и до конца кот хвостом намарал». Когда кто-то заметил, что у Христа А. Дюрера (висит у меня в гостиной) жестокое лицо, Мережковский сказал: «Да, ибо Христос был жесток». Вейнберг с завистью посмотрел на автограф Гейне и признался, что у него нет такого богатого собрания портретов русских писателей с автографами. Стихи читали: Лохвицкая, Чюмина, Лихачев и Позняков. Последний разыграл вместе с Баранцевичем пародийную сценку «Ромео — Джульетта». Мария Романовна, все время сидевшая возле жены доктора Жихарева, призналась ей, что изменяла мужу с Баранцевичем; Лихачев якобы тоже добивался ее благосклонности, но ему она отказала: он ей не симпатичен. Свирский пел разные арестантские и рабочие песни, при этом сильно утрируя. Всем

очень понравился Е.П. Карпов; он пел красивые песни и читал вслух «сцены». Введенский напился, стал браниться с Баранцевичем, потому что у того на визитной карточке красуется корона, и назвал его «*холоп*»; их с трудом развели, причем симпатии присутствующих были на стороне Баранцевича. Обескураженному Введенскому, от которого все отвернулись, ничего не оставалось, как отправиться домой, демонстрируя всем своим видом вызывающую дерзость и презрение к обществу. (Когда я с мягким укором сказал ему: «Тебе не следовало так грубо отвечать Баранцевичу», он накинулся на меня: «Никто не имеет права давать мне советы!») Его замужняя, хотя и не живущая с мужем дочь Наташа недавно родила мальчика. К Баранцевичу вскоре вернулось хорошее настроение: он пел и танцевал. Чюмина томно спросила меня: «Вы еще ничего не перевели из моих стихов?» Брешко-Брешковскому удалось в конце концов уломать меня: он тоже присутствовал, причем вместе со своим другом Ф.Н. Фальковским; оба осыпали меня комплиментами по любому поводу, так что у меня, как говорят русские, «стали уши вянуть».

23 декабря — 25-летний юбилей писательской деятельности Баранцевича. Я решил устроить ему большое торжество и собрал за вечер 23 подписи.

14 ноября 1898

Позавчера — минутный разговор с Потапенко. «Нет, не устраивай мне никакого юбилейного торжества!.. Впрочем, в нем примут участие самое большее десять человек, и все будут превозносить меня за мою... плодовитость».

Вчера — поэтический вечер у Случевского. Меня неприятно задело то, что он в присутствии своего сына (ему лет двадцать) рассуждал о весьма интимных половых отношениях и все называл своими словами. Когда кто-то предложил употребить в одном стихотворении менее сильное выражение, Случевский возразил: «Нет, это означало бы *обезмудить* автора!» Рассказывал о пьянстве Льва Панютина (Нил Адмирари) и его распущенности: однажды он навестил его около одиннадцати часов утра и увидел, что тот лежит на груди обнаженной женщины, уткнувшись лицом в собственную блевотину; оба храпели. «Я тоже застал его однажды в точно такой же позе, только его заблеванная борода приклеилась к груди», — добавил Черниговец-Вишневский. Кто-то сказал, что во время пребывания здесь Сары Бернар за ней пытался ухаживать Немирович-Данченко (Василий); по этому поводу Черниговец-Вишневский сочинил:

Дыша, вздымал я носом полог,
Тряслись полы и потолки,
Летели сковороды с полок —
Так фараона тощих телок
Е...и тучные быки.

Когда я произнес: «Non licet bovi, quod licet Jovi»[215], он сказал: «Quod licet Jovi, non licet Jehovi»[216].

Ясинский ел за ужином только сыр и капусту; тем не менее, все еще любит женщин. Он предложил, чтобы каждую пятницу читал свои произведения только один поэт, причем лишь те стихи, которые, на его взгляд, определяют его творческую физиономию; а в следующую пятницу тот, на кого падет жребий, должен их критически разобрать. Предложение было единодушно принято. Представлять обществу в следующую пятницу свои стихи выпало на долю Коринфского (Случевский зовет его не иначе как «Аполлоний»). Н.М. Соколов, переводчик Канта и Шопенгауэра (и одновременно — цензор), со смешным носом, сказал мне, что старается втиснуть каждое свое стихотворение в восемь строк. Скромно и просто, вызывая к себе симпатию, держался Лебедев. Бальмонт удивился, узнав, что я являюсь обладателем его первого поэтического сборника («*Сборник стихотворений*», 1890): «Я сжег почти весь тираж». Лучше всего он знает немецкий язык, который ему ближе других, ведь «в жилах моих течет немецкая кровь».

Лохвицкая прислала следующее непристойное стихотворение (воспроизвожу по рукописи):

КОЛЬЧАТЫЙ ЗМЕЙ

Ты сегодня так долго ласкаешь меня,
О мой кольчатый змей!
Ты не видишь? Предвестница яркого дня
Расцветила узоры по келье моей;
Сквозь морозные окна алеет туман —
Мы с тобой — как виденья полуденных стран,
О мой кольчатый змей.

Я слабею под тяжестью влажной твоей,
Ты погубишь меня!
Разгораются очи твои зеленей...
Ты не слышишь? Прислужники скучного дня
В наши двери стучат все сильней и сильней,
О мой гибкий, мой цепкий, мой кольчатый змей,
Ты погубишь меня!

Мне так больно, так страшно!·О дай мне вздохнуть,
Мой чешуйчатый змей!
Ты кольцом окружаешь усталую грудь,
Обвиваешься крепко вкруг шеи моей.
Я бледнею, я таю, как воск от огня.
Ты сжимаешь, ты жалишь, ты душишь меня,
Мой чешуйчатый змей!



Это говорит она; он отвечает:

Тише спи! Под шум и свист метели
Мы с тобой свились в стальной клубок.
Мне тепло в пуху твоей постели,
Мне уютно в мягкой колыбели,
На ветвях твоих прекрасных ног.

Я сомкну серебряные звенья,
Сжав тебя в объятьях ледяных;
В сладком тренье дам тебе забвенье,
И сменится вечностью мгновенье,
Вечностью бессмертных ласк моих.

Жизнь и смерть! С концом слилось начало.
Посмотри: ласкаясь и шутя,
Я вонзаю трепетное жало...
Глубже, глубже...Что ж ты замолчала?
Ты уснула? — Бедное дитя!

Когда это стихотворение было прочитано, мы с Ясинским в один голос воскликнули: «Саламбо!»[217] Лихачев на миг задумался, а потом продекламировал, под впечатлением этого стихотворения:

Над черною бездной, кудрявою бездной
В безмолвном восторге стою.
И крепну, все крепну, как шкворень железный,
И слезы молочные лью.

Еще раньше он прочитал свой перевод шестой сатиры Ювенала, где у него встречается красивое выражение: «*Августейшая блудница*». Но читались, само собой разумеется, и серьезные, чисто лирические стихи. — —

До этого был в Союзе. Пантелеев показал мне на фотографию Салтыкова (Щедрина) и рассказал: «Я был с ним тогда у фотографа Левицкого. Перед тем как фотографироваться Салтыков обратился к нему: “На Ваших фотографиях я всегда похож на черта!” — “В этот раз я сделаю из Вас ангела!” — “Нет уж, лучше сделайте из меня черта!”»

20 ноября 1898

Вчера — день рождения Лохвицкой; ей исполнилось 28 лет. Она говорила, что испытывает физическое отвращение к Флексеру и не в состоянии понять, как он может нравиться другим женщинам (например, Гуревич и Зинаиде Мереж-

ковской). Желая прочесть своего знаменитого «*Кольчатого змея*», она отвела дам (то есть Чюмину и мою жену) к себе в кабинет, но одновременно и Федора Сологуба (Тетерникова), который всем своим видом (исключая бороду) и впрямь напоминает евнуха. За весь вечер он не произнес и десяти слов, да и те лишь тогда, когда ему приходилось отвечать на вопросы, заданные напрямик. Чюмина, похожая лицом на мопса, держалась, как обычно, просто и мило. Почти ни слова не произнес и Коринфский; он вздыхал, бросая на Лохвицкую похотливые взгляды. Она оказывала ему (правда, незначительные) знаки внимания, хотя по отношению к Бальмонту вела себя куда откровеннее (говорят, она «живет» с ним). За ужином он напился и стонал, когда Лохвицкая — на этот раз для всех — стала декламировать своего «*Кольчатого змея*»; он пялился на нее как загипнотизированный. Когда он (Бальмонт) читал свое запрещенное цензурой стихотворение «Бесконечность», Минский громко и бестактно шептал своей «Белле» про «восхитительный» талант Федора Сологуба и не смущался возгласами, требующими тишины. Бальмонт в одном сюртуке проводил меня до улицы и расцеловал, расточая мне восторженные комплименты. Ни у кого в этом обществе не вызвало удивления, что день рождения Лохвицкой празднуется без ее мужа; было три часа ночи, когда мы разошлись, а его так никто и не видел. Лохвицкая разрешила мне выписать из ее тетради два непечатных стихотворения:

1

На бледных цветах анемона
Пурпуровый отблеск погас. —
То были не вздохи, а стоны
В вечерний томительный час.

И смех, и зубов скрежетанье,
И струн обрывавшихся звон
В блаженном сливались рыданьи,
И ночь промелькнула как сон.

Миндальной струей повилики
Насытился воздух сырой.
То были не стоны, а крики
Предутренней сладкой порой.

2

Нет, мне не надо краде́ного счастья,
Одну лишь ночь, молю, мне подари.
Хочу я длить забавы сладострастья
С заката дня до утренней зари.

Мне чужд восторг мгновений торопливых,
Дай мне одну, но сказочную ночь,

Чтоб в вихре ласк, бесстыдных и стыдливых,
От пресыщенья изнемочь.

21 ноября 1898

Вчера принимал участие в Обеде беллетристов. Явилось двадцать два человека. С.Н. Филиппов (он заехал за мной) рассказывал, что Бальмонт — сладострастный психопат; несколько лет назад он выбросился из окна на улицу. Он (т.е. Бальмонт) поднялся во время обеда и предложил пригласить к участию в наших собраниях «самую талантливую из всех русских поэтесс» — Лохвицкую; это предложение было единодушно отклонено. Если слушать его с закрытыми глазами, создается впечатление, что слышишь голос и бормотание Фофанова. Он самодовольно дал мне ощупать свои сильные рельефные мускулы. В связи с предстоящим пушкинским юбилеем Л. Оболенский предложил обставить самым торжественным образом обращение в высшие инстанции о смягчении цензурных строгостей. Случевский, который только что говорил о том, что недавно советовался с великим князем Константином, Победоносцевым и другими высокопоставленными лицами по поводу пушкинского праздника, — тот самый Случевский, камергер и редактор «Правительственного Вестника», чью помощь и подразумевал Оболенский в своем предложении, смущенно опустил глаза. Более того: все общество за столом ответило на это предложение мертвой тишиной.

С обеда отправился к Случевскому на поэтический вечер. Провел у него не более часа, поскольку спешил в Союз, чтобы агитировать в пользу юбилея Баранцевича. Не знаю, читала ли Лохвицкая своего «*Кольчатого змея*»; во всяком случае, когда все общество стало ее об этом просить, она ответила отказом. Декламировала другие свои стихи, причем Зина Мережковская — во время чтения — отвернулась с выражением плохо скрываемой зависти. Она (Мережковская) любезнейшим образом беседовала с Минским, который пожирал ее томными взглядами и пытался принимать грациозные позы. Мило и просто держал себя граф А.А. Голенищев-Кутузов. Сын Случевского (военный) лежал, напившись, на кровати — ругался, кричал и орал. Все видели, что отцу это в высшей степени неприятно.

В Союзе Баранцевич сообщил мне, что он с сегодняшнего (т.е. со вчерашнего) дня стал вегетерианцем, в частности — под влиянием «Этики обыденной жизни» Ясинского[218].

Возвращаюсь к Обеду беллетристов. Я сказал Лейкину о предстоящем юбилее Баранцевича, и он, будучи организатором Обедов, предложил устроить следующий (26 декабря) обед в честь Баранцевича, т.е. пригласить его в качестве гостя. Предложение было принято. Но как раз в этот момент кто-то вспомнил,

что именно теперь отмечается 45-летие писательской деятельности Сергея Васильевича Максимова. Ему была отправлена приветственная телеграмма.

Я спросил Амфитеатрова (Old Gentleman): «Чем кончилась Ваша история с Бурениным?»[219] — «О, все хорошо: он передо мной извинился».

В обеде принимал участие и В.О. Михневич: он чуть-чуть поковырялся у себя в тарелке и выпил стакан квасу. Желтый, как воск, с выпирающими скулами, заострившимся носом и впадинами вместо глаз, он ужасающе напоминал бездыханный труп.

25 ноября 1898

Вчера нас навестил Мамин. «Если что во мне и заслуживает похвалы, так лишь то, что я — надежный и прилежный труженик!.. Главное в нашей работе — память и умение собраться с мыслями, направив их в одну точку. Я могу участвовать в общей беседе, задавать вопросы и отвечать, но при этом думать о другом, постороннем предмете, мысленно подвергая его литературной обработке. А когда я пишу, то могу остановиться на середине предложения и снова вернуться к нему через неделю, чтобы дописать до конца, — как будто я и не откладывал перо в сторону. Этому искусству всегда держать свои мысли в собранном виде я научился в духовной семинарии, где мы жили по шестнадцать человек в комнате и где я заразился тифом».— «А ты был казенный ученик?» — «Нет, *своекоштный*».

«Странный человек, этот Михайловский! Все носится с моим “гением”! Сперва был Глеб Успенский, потом Короленко (который не оправдал, однако, возложенных на него надежд), теперь — я». — «А почему 15-го у него не было Брешко-Брешковского?» — «У Михайловского были основания отнестись к нему с интересом; ведь он очень хорошо знал его мать, пострадавшую за участие в политических событиях. Ну а теперь он больше не рискует приходить к нему! Ведь он (т.е. Брешко-Брешковский) *всем насолил!*»

«Когда Лохвицкая читала тогда у тебя свои стихи, мне казалось, она читает их с таким чувством, будто у нее вот-вот упадут панталоны».

Он (Мамин) еще в 1891 году получал за печатную строку пять копеек. — —

В журнале «Осколки» (1896, № 26) я только что обнаружил два выпада против Потапенко. Под рубрикой «Литературные новости» сказано: «Фельетонист Фингал собирается вставить себе зубы». А далее следует:

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РИФМЫ

Пота́пенко, Потапе́нко,
Потапе́нко не Пота́пенко, —



Гонорар ему, что пенка,
А таланта в нем лишь крапинка.

Мур[220].

2 декабря 1898

Вчера — день рождения Ватсон. Ничего интересного. Писарев декламировал стихи Некрасова, Карпов пел народные песни, Мамин употреблял ex abrupto[221] народные выражения, над которыми Михайловский смеялся от всего сердца; Елпатьевский рассказывал про дом, который строит в Ялте на взятые в долг деньги.

Мамин «ночевал» у нас; мы позавтракали и отправились в «Капернаум» играть в бильярд. Он пишет для «Русского Богатства» роман, который, однако, не хотел бы так именовать: «Буду по крайней мере свободен от разных технических обязательств и смогу, по обыкновению, *скомкать* конец». Из своих романов он любит «Золото», «Хлеб» и «Три конца»; ему не нравятся «Горное гнездо» и «Приваловские миллионы». О последнем романе сказал: «Стекляшки в мешке».

5 декабря 1898

Вчера — поэтический вечер у Случевского. Мало интересного. Читались в основном стихи покойного Садовникова — с успехом. Случевский добился у главного цензора Соловьева, чтобы до сих пор запрещенная «Гефсиманская ночь» Минского появилась в Пушкинском сборнике[222]. Минский опровергал мнение Андреевского относительно упадка поэзии; современные писатели, по его словам, стремятся выразить Невыразимое, что более всех удалось Метерлинку, «самому тонкому из всех современных поэтов»; перед русской литературой — еще неизведанная область оптимизма (изучение пессимистической поэзии в школах — прямо-таки возмутительно), и Пушкин с Лермонтовым вовсе не были столь наивны, как это представляет себе Андреевский. Присутствующие согласились с ним. Н. Соколов сказал, что благо литературы будущего заключено в русском народе, то есть в русском крестьянине; ему возражали. Бальмонт подарил мне свою книгу «*В безбрежности*». «Я не люблю этот стихотворный сборник»; тем не менее он подчеркнул не менее двадцати стихотворений, которые ему нравятся. <...>

Присутствовали также: Чюмина, Сергей Сафонов-Печорин (говорил мне «ты», хотя мы никогда не пили на брудершафт), Лихачев, Позняков и Сологуб (Тетерников), не проронивший за вечер ни единого слова; и даже свои последние

стихи он просил прочитать других (что, впрочем, случается каждый раз). Автором приведенного здесь ранее стихотворения «*Позор и стыд для всей Европы*»[223] был единодушно признан П.А. Козлов, покойный переводчик Байрона. — —

Перед тем — в Союзе. На заседание Комитета явился — о чудо! — Потапенко. Держался со мной дружелюбно. Сказал, что в кармане у него 20 копеек, а дома — ни гроша. — Из писателей было еще трое иксов.

Дополнение к вечеру у Случевского. Цензор, переводчик филологических сочинений и поэт Соколов читал (с очень неприятным выговором) балладу Садовникова «Стенька Разин». Потом Лихачев сымпровизировал:

Наш Соколов разнообразен:
То цензор он, то Стенька Разин.

Коринфский его подправил:

Наш Соколов однообразен:
И цензор он, и Стенька Разин.

6 декабря 1898

Сегодня — вечер у Чюминой. Отвечая на мои расспросы, Сологуб сообщил, что он — учитель математики в небольшом «городском училище» на Песках; преподает двадцать четыре часа в неделю. «Математика и поэзия, — спросил я, — как же их совместить?» — спросил я. «Очень просто: и там, и здесь — абстрактное мышление; кроме того, геометрические фигуры могут быть пластически даже очень красивыми». — «А зачем Вы взяли себе псевдоним, напоминающий об авторе “Тарантаса”?» — «Мне дали его в “Северном Вестнике”, когда я принес туда свои первые стихи. Нельзя, по-моему, давать фамилию самому себе. Это должно исходить от Бога, либо от других людей; придумайте мне еще какой-нибудь псевдоним, и я приму его, но сам этого делать не стану». — «А почему было выбрано написание Сологуб вместо Соллогуб, как у автора “Тарантаса”?» — «Не знаю». Мечтательно: «Можно было бы и Салогуб... Или с двумя “л”... Или Залогуб... Или Зологуб... Или Салогуп... Или Салогупь...» И он погрузился в задумчивость.

Мережковская (он — болен гриппом) декламировала (с муфтой в руках, но без шубы, в одном платье) свои стихи по-русски и по-французски (в собственном переводе); ее сопровождала мисс Овербек, с которой она недавно приехала из Италии. Она, то есть Мережковская, рассказывала про Зинаиду Венгерову (та стояла рядом и смеялась), превратившуюся «из критикессы в поэтессу»: написала за лето свое первое четверостишие (в Елизаветино, на даче у Мережковских); после чего, дождливым осенним днем, они стали сочинять стихи вмес-

те: одна писала первое четверостишие, другая — второе и т.д... Минский дружески болтал с Мережковской, но пожирал ее взглядами, когда она декламировала стихи. Он не стал возражать, когда она поехала домой с англичанкой. Не провожал он и Зинаиду Венгерову — она уехала с Сологубом, вызвавшимся ее проводить. Минский рассказывал о Надсоне. Когда Надсон вернулся из-за границы, друзья встречали его на вокзале. Оказалось, что в дороге Надсон все время читал Гете, и, когда он вышел из вагона, первые его слова были: «Ах, этот Гете! Холодный человек, отравил мне все путешествие!»

Говорили о Фофанове. Минский заявил, что это огромный талант, однако страдающий графоманией. Коринфский же превозносил Фофанова как гениальное и естественное дитя природы, которому все современные поэты не достойны даже развязать шнурок на ботинке. Бальмонт не сказал по этому поводу ни слова. Он и его друг Коринфский появились, в безупречных фраках, лишь около часу ночи: оба приехали из Думы, где читали стихи в пользу жителей Симбирска. Этим Коринфский удивил меня: ведь еще пару недель назад он не мог преодолеть робость и прочитать у Случевского, в тесном товарищеском кругу, хотя бы одно свое стихотворение; теперь выясняется, что и в ближайшие недели он снова будет выступать публично. Сологуб тоже молчал, когда тот восхвалял Фофанова. Перед ужином я спросил Сологуба, достаточно ли у него напечатанных стихов для отдельного тома. «Достаточно для четырех. А ненапечатанных — во сколько!» (он раздвинул ладони на расстояние, равное величине, то есть высоте этой тетради).

7 декабря 1898

Вчера заскочил на миг к Зинаиде Венгеровой, чтобы передать ей разные статьи и очерки, посвященные Берте фон Зутнер. Она пишет о ней; на ее письменном столе — несколько произведений Б. фон Зутнер. Я спросил: «Вы купили эти книги?» — «Нет, взяла их на несколько дней, чтобы просмотреть». — «Но ведь разрезанные экземпляры не принимают обратно?!» — «А я их не разрезаю: просто перелистываю»... Voilà, comme on fait la critique![224] Теперь меня, конечно, не удивляет, что, рецензируя моего «Пушкина», она упрекнула меня в том, что я не перевел стихотворение «Роза» (оно помещено на стр. 21!).

От нее — к Михайловскому, который праздновал свои именины. Право, не знаю, что отметить, поскольку было довольно скучно. Разве что следующее: в клозете на двери появился крючок. Пришло и ушло примерно человек шестьдесят. Учащаяся молодежь отсутствовала полностью. Было самое большее три студента, да и те пришли к старшему сыну Михайловского, тоже имениннику.

12 декабря 1898

Вчера был в Союзе и у Случевского, в обоих местах — недолго, потому что занят сбором денег на подарок, который будет вручен Баранцевичу 23 числа этого месяца. У Случевского впервые увидел декадента Валерия Брюсова: он преподнес Случевскому сборник своих стихотворений «Chefs d'oeuvre» и сидел безмолвно, с видом помешанного. Потом прочел свое стихотворение «*На новый колокол*», причем слова «*Пожертвуйте, православные*» произнес нараспев. Когда он закончил, поднялся Сафонов (Печорин) и воскликнул: «Не знаю, что это — новое слово в поэзии или шарлатанство?!» Затем он стал с жаром нападать на стихи, лишенные рифмы и размера, и сослался на Пушкина, «который каждым своим словом бросает на стол звенящую золотую монету». Ему единодушно возражали (я указал на «Северное море» Гейне), но согласились с тем, что в отдельных случаях стихи без рифмы и размера вполне допустимы. К сожалению, я должен был уйти.

19 декабря 1898

Вчера недолго у Случевского. Коринфский говорил о том, что в его душе сосуществуют два литературных течения: одно — декадентское, а другое — пушкинское, и между обоими идет непрерывная вражда. Минский сказал мне, что приготовил для меня третий том своих стихотворений и даже собирался написать на нем «*от преданного, но не переданного*», но это выглядело бы так, будто он навязывается — желает, чтобы я его перевел. Бальмонт рассказал мне, что в марте 1890 года в Москве он выбросился с третьего этажа на улицу, сломал себе при этом правую руку и левую ногу и вынужден был целый год провести в больнице; у него до сих пор сохранился шрам на лбу. Он не сообщил мне, что послужило причиной попытки самоубийства, но сказал, что это был заранее подготовленный план: он выбрал именно этот вид смерти, поскольку все другие сомнительны. Его самый любимый сборник (который он подарил мне) — «Под Северным Небом». Как поэта его особенно вдохновляют болото и море. — —
<...>

2 января 1899

Вчера — именины Пименовой. Примерно 75 человек (в прошлом году было сто). Мамин беседовал с немкой-домоуправительницей, причем на все ее вопросы отвечал односложно: «Donnerwetter... Flasche Bier!.. Kolossal!.. Schwamm drüber!.. Mein Liebchen, was kosten paar Schuh? Ein Taler, zwei Groschen, ein Küsschen dazu!»[225] Все смеялись, но смех перерос в гомерический, когда он стал

танцевать лезгинку. Он исполнил танец с грацией дрессированного слона, нарочно выставляя себя в смешном свете, а для этого требуется бесконечно много добродушия и писательской самоиронии. — — —

5 января 1899

Вчера пришел Мамин и принес свою книгу «*Светлячки*». Собирается со временем переработать ее и расширить, особенно подчеркнув при этом основную тему: ночная жизнь природы. Его писания принесли ему за истекший год 7 609 руб., включая сумму, вырученную за продажу уже ранее изданных сочинений. Так, доход от «Аленушкиных сказок» составил за год 600 руб. «Меня кормят мои сочинения, написанные в молодости!» Считает своим лучшим романом «Хлеб»; указал с явным удовлетворением на три различных персонажа и сказал: «Тем не менее, никто из рецензентов ни единой строчкой не откликнулся на этот роман, когда он появился в журнале». Шпажинский и Владимир Александров советовали ему в Москве превратить роман в драму. «Драма! Да из него можно сделать пять драм! Чего стоит один только доктор, страдающий галлюцинациями!»... Смеялся: «*И за что только меня женщины так любят?!*»... «Да, они все меня любят и охотно со мной целуются, но ни одной каналье не придет в голову отдаться мне, вот я и вынужден *таскаться* по борделям. Они думают, я все время шучу... А вот Михайловский, ему они все дают!» Играли в бильярд. — —

9 января 1899

Вчера — вечер поэтов у Случевского. Каждый раз забываю отметить, что стены его столовой украшают заключенные в рамку меню царских и великокняжеских обедов. Мазуркевич читал фрагменты своего перевода «Человеческой трагедии» Мадача; произведение (не перевод) не нашло почти никакого отклика. Зинаида Мережковская держала перед правым глазом лорнет, выпрямив его во всю длину, и разглядывала через стекло присутствующих; рядом, вытянувшись в качалке, сидел Андреевский с чванливо любопытствующим видом и пялился на верхний край каминного зеркала. Кто-то сказал: «Никогда в жизни!», и Мережковский поправил: «Никогда в смерти!» Позднее он утверждал, что смерть — тоже жизнь и даже сильнее жизни, потому что смерть — это вечность. Дописывает сейчас последние главы своего романа «Леонардо да Винчи». Возможно, будет редактором (хотя и неофициально) ежемесячного журнала, который якобы собираются издавать князь Тенишев и миллионер Дервиз. Граф Голенищев-Кутузов «живо» (ибо в этом человеке трудно найти что-либо живое) расхваливал план такого издания, поскольку, по его словам, уже и не знаешь, где пе-

чататься; более он ничего не сказал и ушел до ужина. За ужином супруги Мережковские закурили; при этом они время от времени отправляли себе в рот крошки черного хлеба; когда Дмитрий уцепил кончиком вилки телячье желе, Зиночка в ужасе воскликнула: «Ты ешь желе?» Потом начался бесконечный разговор на религиозно-философскую тему. Мережковский назвал Библию книгой *дерзости*, а не *смирения* и согласился с цензором Н.М. Соколовым в том, что огнем и мечом следует не только защищать, но и насаждать веру; Грибовский гневно осуждал это «средневековое варварство». Потом Соколов сказал, что благодаря греко-православной вере русская нация будет существовать вечно. Он без конца произносил цитаты на церковно-славянском; все чрезвычайно одобрили это наречие. Минский (он почти не разговаривал с Зиночкой) поучительно говорил, что *двоица* вместо троицы — такого рода религиозные идеи никогда не померкнут в сознании христианского народа. Сафонов расхваливал обветшалую деревенскую церквушку с закопченными иконами, Мережковский — мраморный храм с классически прекрасной живописью. Позже Мережковский уверял, что готов публиковать свои вещи даже в «Новом Времени» (где его постоянно бранят), поскольку главное в том, чтобы твои чувства и мысли получили распространение в печатной форме. <...>

16 января 1899

Вчера — у Случевского. Черниговец-Вишневский пришел от Жозефины Антоновны Полонской, где сложил такую импровизацию:

Вновь мы здесь... Но где ж хозяин?
А давно ль, бывало, тут
С Юга, с Севера, с окраин
На поклон сходился люд?
Каждый был здесь — словно дома,
Встретив ласку и привет,
И гостей хозяйке дома
Поручал седой поэт...
И теперь хозяйка с нами,
Та же зала, тот же чай,
Та же ласковость с гостями,
К чаю тот же каравай. —
То же — всё!.. Но где ж хозяин?
Пуст уютный кабинет!..
Из заоблачных окраин
Слышу я его привет!

Когда Владимир Соловьев упомянул о своем (прошлым летом) путешествии в Трою, Черниговец сымпровизировал:



Мы проезжали мимо Трои
И водку пили так, что страх.
И хоть нас в лодке было трое —
У всех двоилося в глазах.

Черниговец (он сам — отставной генерал) неожиданно сказал следующий афоризм: «Право каждого генерала — быть дураком за казенный счет». Я попросил его фотографию. «У меня нет — я никогда не фотографируюсь в одиночку; только в группе. Даже когда я вижу свое лицо в зеркале (а это происходит лишь тогда, когда я бреюсь), оно не просто смущает меня — оно кажется мне страшным». Говорили о могиле Пушкина, которую может засыпать стоящая перед ней гора, и Черниговец сказал: «Если есть такая опасность, значит, надо влить в гору несколько бутылок касторки, чтобы она облегчилась».

Владимир Соловьев в значительной степени утратил свой нимб, придававший ему сходство с Христом, но его обрамленное седой гривой, одухотворенное лицо с затуманенным взором все равно полно своеобразного очарования. (Ясинский во многом на него похож, но весь облик Соловьева гораздо тоньше.) Я спросил его, не он ли автор стихотворения «*Я на Везувии стоял...*». «Нет, Владимир Тихонов. Я, правда, несколько раз читал это стихотворение, но сочинить его не мог уже хотя бы по той причине, что никогда не пишу эпиграмм на женщин». Перед ужином и после ужина он перекрестился (чего ни разу не делал в моем присутствии ни один русский писатель, иначе я отметил бы это в одной из своих тетрадей). Водки не пил (он и не курит), зато выпил три стакана пива. Ел (и притом усердно) рыбу (из гигиенических соображений), на что Мережковский заметил: «Вы — ихтиофаг!» — «А Вы... Вы... саркофаг!» При этом он засмеялся, и Мережковский ответил ему, тоже смеясь: «Игра слов — вот Ваша истинная стихия!» Зинаида Мережковская сказала, вернее, напомнила Соловьеву их разговор о греческом философе, которому упала на голову черепаха, отчего тот умер[226]. На это Соловьев сказал: «Лучше уж умереть от черепахи, чем — от рака!» Я спросил его (Соловьева), как ему недавно понравился Георг Брандес в пансионе «Рауха». «Не очень. Особенно не понравилась его страсть просвещать пятнадцатилетних девушек в области интимных отношений». — «А доводил ли он это до конечного результата?» — «Нет, этого не было»... Зинаида Мережковская рассказала, что они встретили Брандеса в Сицилии, но им так и не удалось познакомиться лично. Одна англичанка жаловалась им, что Брандес, занимавший соседнюю комнату в гостинице, совершенно не дает ей спать: всю ночь расхаживает в сапогах взад и вперед по комнате, наталкиваясь на стену; после замечаний хозяйки он стал, правда, снимать обувь, но удары о стену так и не прекратились.

Соловьев произвел на меня приятное впечатление; он понравился мне своей простотой и почти приветливостью. Мне в альбом он вписал шутливое

стихотворение, которое тринадцать лет назад анонимно появилось в «Новом Времени». Коринфский разговаривал с Лохвицкой, держась от нее на некотором отдалении; за ужином он ни за что не хотел сесть с ней рядом и не выразил ни малейшего желания проводить ее домой, так что ей пришлось возвращаться одной. Я спросил его (Коринфского), знает ли он Ратгауза. «Он присылает свои стихи в “Север” и предлагает напечатать их безвозмездно, но я отправляю их в мусорную корзину». — «Он написал мне, что Чайковский положил некоторые из его стихов на музыку». — «Конечно, но лишь из признательности, потому что педераст Чайковский им пользовался». Кто-то сказал по поводу одного стихотворения, что оно слишком трансцедентально, на что Мережковский с жаром возразил: «Чем трансцедентальней, тем поэтичней». Смеялись над Льдовым: не имея отношения к поэтическому кружку Случевского, он прислал вчера с *посыльным* письмо, в котором сообщил, что находится якобы **проездом в Петербурге**, и просил разрешения принять участие в поэтическом вечере. Письмо пришло к Случевскому во время его послеобеденного сна, так что никакого ответа не последовало и Льдов сегодня не появился.

Помимо упомянутых лиц, присутствовали также Быков и Чюмина. — — —

23 января 1899

Вчера — недолго в Союзе. Заседанию Комитета (членом которого он состоит) Мамин предпочел бутылку пива. Он вытащил из правого кармана сюртука пригоршню золотых монет вперемешку с содовыми палочками. Я спросил, скоро ли двадцатипятилетие его литературной деятельности, и он сказал, что его первое опубликованное художественное произведение («*В камнях*») было помещено в журнале «Дело» в 1883 году — месяца он не помнит, так как в том же году его рассказы и повести печатались и в других журналах; во всяком случае, «В камнях» появилось раньше. Правда, он и до этого, в течение ряда лет, что-то публиковал, но исключительно газетные очерки.

Познакомился с толстовцем П. Сергеенко. Он рассказывал, что заключил с издателем Марксом следующий договор по поручению Чехова: Маркс приобретает за 75 (семьдесят пять) тысяч рублей права собственности на все его уже напечатанные произведения и платит ему за каждую новую книгу 250 руб. (за печатный лист) — сумма, которая через пять лет должна возрасти до 500 руб. Услышав об этом, Потапенко безнадежно махнул рукой и поспешно вышел в соседнюю комнату. Баранцевич сказал, что Льдов по поручению Альбова тоже вел переговоры с Марксом (об издании сочинений Альбова) и Маркс предложил ему (Альбову) за все про все 3500 рублей. Однако через несколько дней Маркс заявил, что обдумал это дело как следует и не будет издавать Альбова.

Из Союза — к Случевскому. Почти весь вчерашний (т.е. позавчерашний) день он пролежал в обморочном состоянии, тем не менее, весь вечер, до часу ночи, провел со своими гостями. Когда я пришел, Фофанов уже был нетрезв (конечно, он и явился в таком виде к Случевскому, поскольку ужин подают на стол лишь около полуночи, а до этого предлагают лишь безобидный чай и сладкие фрукты). Он прочитал четверостишие на себя самого:

НА СЕБЯ

Я мудрый, трезвый Фофанов,
Люблю я водку белую,
Но делаюсь от штофа нов —
И даже глупость делаю!

Когда Лохвицкая читала одно из своих стихотворений, он сидел, задумчиво теребя волосы на подбородке, а потом воскликнул: «У меня экспромт!» Коринфский озабоченно поспешил к нему, и мы вышли втроем в другую комнату, где Фофанов записал для меня:

НА Л[ОХВИЦКУЮ]

Страдаю непонятную (-ою. — Ф.)
Замашкою мужицкою, —
Обнявши необъятную (-ое. — Ф.),
Обнять ли мне Лохвицкою (-ую. — Ф.)?

Эта импровизация не была прочитана. Случевский, очевидно, надеялся, что Фофанов уйдет до ужина. Но поскольку он не ушел, со стола внезапно исчезли две бутылки с водкой. Каждый пытался деликатным образом избежать соседства с Фофановым, так что ему пришлось сидеть за столом рядом с Ф. Сологубом, который вообще никогда ничего не говорит. Зато Фофанов говорил за двоих. Так, он постоянно перебивал читавшую стихи Зинаиду Мережковскую, что возмутило всех присутствующих. Он выпил так много пива и выкурил так много сигарет, что скоро стал совсем невменяемым. Выпятив нижнюю челюсть, он произносил своим беззубым ртом какие-то нечленораздельные звуки. Сперва говорили о «Жизни» — журнале марксистов, и Фофанов сказал: «А зачем марксистам собственный журнал? Разве они не могут печататься у Маркса (издателя “Нивы”. — *Ф.*)»? Его жена чувствует себя лучше: она уже узнает посетителей, но ей нужно еще побыть в клинике для душевнобольных. —

Мережковский сказал мне, что задуманный новый журнал, редактором которого он собирался стать, не осуществится; однако с явным удовлетворением сообщил, что его «Леонардо да Винчи» будет печататься в «Начале», хотя роман и не завершен. Супруги ели без ограничений и пили пиво.

От Черниговца-Вишневского узнал следующее. По поводу пушкинского стихотворения «Птичка Божия не знает....» (из «Цыган») (или, может быть, «В чужбине свято наблюдая...» — *Ф.*) Полонский говорил, будто Соболевский, друг Пушкина, утверждал, что на аналогичную тему (о птичке) можно написать двадцать стихотворений; и он действительно сразу написал двадцать, из которых Полонскому запомнилось лишь нижеследующее:

Я попугаю волю дал,
Он выскочил, вскочил на ветку
И о свободе закричал —
А сам, дурак, все смотрит в клетку.

Присутствовали также: Чюмина, Минский, Сафонов, граф Голенищев-Кутузов, Гайдебуров, Мазуркевич и Allegro (то есть Поликсена Сергеевна Соловьева, сестра философа и поэта Владимира Сергеевича Соловьева), которая за весь вечер не произнесла почти ни слова.

28 января 1899

Зашел на десять минут к Потапенко — он пишет новую драму. Его «Волшебная сказка» уже принесла ему здесь 1825, а в Москве — 1175 рублей, итого 3000 рублей; к тому же он получил за нее в свое время довольно крупный аванс. — Марья Андреевна становится моим конкурентом: тоже собирается завести «Голубые тетради» (аналогичные моим «Из литературного мира»). На мои слова, что она вряд ли сумеет подойти к делу достаточно объективно, Потапенко ответил: «Сперва она будет записывать голые факты и лишь потом разбавлять их собственными наблюдениями. Книгу опубликуют после моей смерти, и она принесет доход моим детям». В последнее время он регулярно посещает по пятницам заседания Комитета в Союзе. Может, он, со своей стороны, собирает материал для Марьи Андреевны?.. Хочет написать Чехову поздравительное письмо по поводу семидесяти пяти тысяч. «Знаю наверняка: он думает, я завидую его успехам». — — —

6 февраля 1899

Вчера у Случевского. <...> Андреевский с апломбом сказал: «Истинно хорошее стихотворение невозможно понять, читáя его впервые».

Грибовский прочитал эпиграмму Медведского на триумвират Полонский — Майков — Фет:

Три наследника Пегаса
Музам-девам служат ровно

И таскают нам с Парнасса (sic! — *К.А.*)
Поэтические говна.

Бальмонт (он ездил в Москву, где выступал с докладом о Кальдероне) прочитал одно из своих надмирных стихотворений; Лихачев удалился в соседнюю комнату и написал следующую пародию (сохранив размер и манеру Бальмонта):

Смутное волнение,
Знойное томление,
Чуткое смятение
Призраков толпы.
Ночи безотрадные,
Муки беспощадные,
Блохи кровожадные —
И клопы, клопы!

Позже Лихачев процитировал двустишие Буренина — импровизацию на Плещеева, который однажды бесконечно долго мочился:

Плещеев, стоя у березы,
Из члена тихо точит слезы.

Вот еще два стихотворения Черниговца-Вишневского (впрочем, отсутствовавшего вчера у Случевского):

В молодые лета
Много было ето.

Кто-то предложил ему найти рифму на слово «образ», и Черниговец тут же произнес:

В душе живет твой милый образ,
Полна тобой душа моя...
Я девку с Невского у...б раз —
И, как шальной, ходил три дня.

Бальмонт рассказал мне, что написал свое первое стихотворение, когда ему было десять лет, а следующее — лишь в семнадцать.

Присутствовали также: Лохвицкая, граф А.А. Голенищев-Кутузов, Льдов (во фраке), Соколов, Мазуркевич, Коринфский и Петр Федорович Порфиров (сказал, что знал меня еще в ту пору, когда был студентом, познакомившись со мной у Соловьева-Несмелова, который жил тогда напротив Греческой церкви).

С Коринфским, Бальмонтом и Льдовым отправился к «Палкину». Выпил с Бальмонтом на брудершафт. Льдов пил только квас; подтвердил все, что расска-

зывал Баранцевич относительно Альбова. Произвел на всех малоприятное впечатление — он холоден по своей природе.

7 февраля 1899

Сегодня у меня завтракали: Баранцевич, Бальмонт, Черниговец (Вишневский) и Арсений Введенский. Последний явился в любом смысле «незваным гостем» и своим высокомерием произвел на всех самое неблагоприятное впечатление. Черниговец, вернувшись домой, написал по поводу бестактности Фофанова (см. выше) следующее:

Забытый музой, пьяный лирик
Молчать и слушать не хотел
И, как болезненный пупырик,
В ушах назойливо зудел.
Болтая вздор назло приличью,
Он пал до уровня шута
И извергали дичь за дичью
Незаткновенные уста.

Когда моя жена сказала, что, болея гриппом, читала Гейнце, Черниговец произнес импровизацию:

Поддавшись инфлуэнце,
Читала даже Гейнце!

Он предложил рифму к «Потапенко» — *крапинка.*

Увидев на стене портрет Лугового, сказал: «У него такое лицо, будто его усы дурно пахнут». Говорили о характерных особенностях немцев и русских, и Черниговец рассказал анекдот: «Повздорили Шульце и Мюллер. Кто-то спрашивает у Шульце: “Знаете ли Вы Мюллера?” — “Конечно, — отвечает Шульце, — кто ж не знает этого достойного человека?» А Иванов с Петровым мирно посидели и выпили, потом разошлись. Кто-то, случайно встретив Иванова, спрашивает: “Знаете ли Вы Петрова?” — “Конечно, — отвечает Иванов, — кто ж не знает этого *прохвоста*?!»

Говорили о Фете. Бальмонт назвал его гениальным поэтом, и Черниговец подтвердил: «Он стоит *одиноко* в целой Европе».

Бальмонт отозвался о Баранцевиче (когда тот, разумеется, не мог этого слышать): «Милый человек, но весьма скромное дарование».

Говорили о русском языке и сошлись в том, что его звучание совсем не гармонично. В качестве примера Бальмонт привел пассаж из своей записной книжки, придуманный явно для этой цели: «*Несчастная, тщедушная ящерица,*

наевшаяся щей, страшащаяся щук, с тщательностью ищущая щемящих ощущений».

Бальмонт сказал: «Утверждают, что Лохвицкая проста как природа. Да, она как сама природа — то есть *сложна*, ибо нет ничего сложнее природы. “Простота природы” — пустое выражение». Когда моя жена предложила Бальмонту тарелку с рыбой, он не отказался и при этом сказал: «*Никто так не прожорлив, как поэт*».

Он (Бальмонт) продиктовал мне два нижеследующих своих стихотворения, которые не могут быть напечатаны (хочу раз и навсегда отметить, что все стихи, занесенные в эти тетради, записаны не по памяти, а под диктовку, или — скопированы):

СЛАДОСТРАСТИЕ

Манящий взор. Крутой изгиб бедра.
Волна кудрей. Раскинутые руки.
Я снова твой, как был твоим вчера,
Исполнен я ненасытимой муки.
Пусть нам несет полночная пора
Восторг любви, а не тоску разлуки!
Пусть слышатся немолчно до утра
Гортанные ликующие звуки!
Одной рукой сжимая грудь твою,
Другой тебе я шею обовью;
И с плачем, задыхаяся от счастья,
Ко мне прильнешь ты, как к земле листок,
И задрожишь от головы до ног
В вакхическом бесстыдстве сладострастья.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Мы с тобой сплетались в забытьи,
Ты, как нимфа, лежа на диване,
Я — прижав к тебе уста мои,
На коленях в чувственном тумане.
Спущены тяжелые драпри,
Из угла нам светят канделябры.
Я увижу волны, блеск зари,
Рыб морских чуть дышащие жабры;
Белых ног, прижавшихся к щекам,
Красоту и негу без предела,
Отданное стиснутым рукам
Судорожно бьющееся тело.
Раковины мягкий мрак любя,
Дальних глаз твоих ища глазами,
Буду жечь, впивать, вбирать в себя
Жадными, несытными губами.

Солнце вспыхнет — свет его умрет.
Чтó нам солнце, разума угрозы!
Тот, кто любит, влажный мед сберет
С венчика раскрытой, скрытой розы.

Сверху, с левой стороны от стихотворения, он приписал: «*Мое лучшее стихотворение*».

После завтрака (выпито было немало) Бальмонт потащил меня к себе. Он занимает вместе с женой (непривлекательная особа высокого роста, которая вскоре удалилась) изящно обставленную квартиру из трех комнат на Малой Итальянской, 41. На столе появилось пиво, и Бальмонт принялся рассказывать о себе. Ему тридцать два года. Двадцатилетним юношей он женился в Москве, но через несколько лет они разошлись. От этого брака было двое детей: девочка, которая умерла, и мальчик, который живет сейчас с матерью. При разводе он взял всю вину на себя, но заключить брак с его нынешней женой (ее зовут Екатерина Алексеевна) ему удалось лишь с помощью поддельного документа. Уже несколько лет живет с Лохвицкой. Она, по его словам, артистка сладострастия и так ненасытна, что однажды они занимались любовью целых четыре часа подряд. Вместе с тем она очень стыдлива и всегда накрывает обнаженную грудь красным покрывалом. <...> Бальмонт ставит сладострастие превыше всего в мире и опьяняется его «красотой». В этом — разъяснение и сомнительной ситуации в стихотворении «Бесконечность», и «раскрытой скрытой розы», с венчика которой он сбирает «влажный мед». <...> Бальмонт проводил меня вниз по лестнице вплоть до входной двери и несколько раз поцеловал на прощанье.

13 февраля 1899

Вчера — вечер поэтов у Случевского. Он завел толстый альбом, в котором каждую пятницу будут писать присутствующие. Для своего музея редкостей ему страшно хочется приобрести дьявольский суп, который фигурировал недавно как доказательство в процессе против фанатичного католического священника Белякевича. Андреевский выступал в роли оракула: «Все в жизни — тайна». Потом рассказывал про Спасовича: тот якобы изрек в Шекспировском кружке: «*У Гете никогда не было регул*[227]*, никогда*!»; а в другой раз сказал: «*Соловей своей соловице куры строит*». Мережковский читал несколько глав из своего романа «Леонардо да Винчи», прекрасных в художественном отношении; в них описывается Вальпургиева ночь. Он сказал: «Теперь, закончив моего “Леонардо”, я отдалился от него на тысячи миль и полностью погрузился в “Петра Великого”[228]». Потом воскликнул в экстазе: «Я поклоняюсь Пушкину, но и он обратится в Ничто перед тем, кто грядет и приближение чьих шагов слышится все явственней». Однако не сказал, кого имеет в виду.

О своем стихотворении «Женщине» (отсутствует в его сборниках; мой перевод тоже не напечатан) и о «Сакья-Муни» высказался следующим образом: «Они отвратительны мне до такой степени, что я сам себе готов дать пощечину!» Когда я предложил выпить за здоровье Шпильгагена (отметившего вчера свое семидесятилетие), со мной хотя и чокнулись, но без малейшего энтузиазма; мол, его талант сродни таланту Михайлова-Шеллера, и о нем как писателе точно так же забудут; при этом Мережковский обратился ко мне: «Да Вы переводите лучше, чем Шпильгаген пишет!» Потом он заговорил об итальянском поэте Никколини и сказал про него: *«холуй»*, а Черниговец-Вишневский при этом заметил: «Значит, его стихи — poésie cholesque![229]» Потом он употребил слово *«читабельно»*. Первая часть его фамилии вовсе не псевдоним — у него двойная фамилия. Когда заговорили об умершем профессоре русской литературы Незеленове, он произнес импровизацию:

Много пил вина зеленого,
Но не слышал Незеленова.

Я спросил его, где он учил немецкий язык, и он ответил: «В борделях». Когда он наливал мне пива, я воспротивился пене, сказав, что пена — это обман, на что Черниговец сказал: «Нет, пена — это видимость», а Мережковский добавил: «А видимость — это истина». (Оба — по-немецки.)

Кроме того, присутствовали: Льдов (все время увивался вокруг Лохвицкой), Ясинский, Соколов, Порфиров, Быков, Коринфский, Лихачев, Грибовский, Мережковская, Allegro (сестра Владимира Сергеевича Соловьева) и Бальмонт. Я на санях повез Лохвицкую домой (мы живем по соседству). Когда я заговорил о Бальмонте, она воскликнула в сильном раздражении: «Черт знает, где он шляется!» Когда же я сказал о Коринфском, что он — славный человек, она убежденно согласилась со мной: «Да, да, очень славный!»... У Случевского, перед нашим уходом, Бальмонт бросил на нее странный взгляд и предложил проводить домой, но она с насмешкой отказалась. Когда я сказал Коринфскому, что Лохвицкая ценит его очень высоко, он жадно спросил: «За что?» — «За твою услужливость и скромность». — «И только?!»

От меня только что ушел И.Л. Щеглов. На юбилее Баранцевича мы выпили с ним на брудершафт, но он так и не может заставить себя говорить мне «ты». «Даже к своей кошке я обращаюсь на “Вы”!». Говорил безостановочно два часа подряд. Его комедии приносят ему ежегодно доход от шестисот до семисот рублей. Московский Театральный комитет разбранил одну из его пьес, в частности, за то, что выведенная в ней москвичка ежедневно кушает конфеты от Берена, тогда как кондитерская с таким названием находится в Петербурге, а не в Москве. Сказал, что совершенно беден: нет денег. Утверждал, что есть умные и

глупые квартиры. «В некоторых квартирах при всем желании ничего не напишешь, а в других не хочется выпускать перо из рук; например, в Кокоревке в Москве я мог бы заработать пером много тысяч». Мамин, по его словам, — необыкновенно талантлив, а Чехов — чрезвычайно умен и проницателен: он сразу же видит человека насквозь и, как потом выясняется, никогда не ошибается в своих суждениях. Из всех русских писателей он (Щеглов) не любит лишь одного Виктора Крылова: мол, делец и эгоист наихудшего сорта; в неопубликованных воспоминаниях Островского он читал горчайшие жалобы на Крылова. С Надсоном он (Щеглов) был очень дружен. Когда они вместе жили в Павловске, Надсон написал в присутствии Щеглова целый ряд стихотворений. Строчка «Колонны спят, как точно дети», над которой потешался Надсон, принадлежит не Минскому (как утверждает Ватсон в своей биографии Надсона), а Мережковскому. — Щеглов производит очень приятное впечатление.

21 февраля 1899

Был вчера у Лихачева, подарившего мне разные писательские рукописи. Хочу привести здесь фрагмент пушкинского стихотворения, который обнаружил покойный профессор Незеленов среди пушкинских бумаг в Румянцевском музее; в свое время он докладывал об этом в Русском литературном обществе:

ПОЭТ

Поэт идет; открыты вежды,
А он не видит никого,
А между тем за край одежды
Тихонько дергают его.

. . . .

Таков поэт: как аквилон,
Что хочет, то уносит он —
Увядший лист, прах площадной,
Иль купол —

. . . .

И не спросясь ни у кого,
Как Дездемона, избирает
Кумир для сердца своего[230].

25 февраля 1899

Говорил вчера с доктором Евгением Святловским, приехавшим сюда на несколько дней из Екатеринослава (он играл там до последнего времени доволь-

но видную роль в газете «Приднестровский край»[231]). Вчера явился Мамин, обрушившийся на меня со словами: «Федор, это подлость, низость, гадость! Я пришел специально тебя распечь! Почему ты ушел из *Союза* в прошлую пятницу? А куда ты пошел? К Случевскому! В общество этих литературных сифилитиков, на задворки, к этим ничтожествам, *тлям*, в эту *слякоть*!». И он еще долго бранился в своей добродушно-грубой манере, способной лишь посмешить меня да и его самого. <...>

3 марта 1899

Сегодня — пять минут у Потапенко. Учительница танцев, приходящая к Дине, спросила меня, какого я вероисповедания. Я ответил «лютеранского», и Потапенко сказал: «Он — лютый». — —

Давно уже хотел привести здесь один случай, явственно выявляющий бескультурность русских писателей. Несколько недель назад в Петербурге находился приехавший на пару дней юморист Джером Джером, произведения которого так много и часто переводят на русский. Ну, и как его чествовали? Вообще никак. Госпожа Жаринцева, его переводчица, дама, совершенно неизвестная в широких кругах (даже в Союзе не состоит), встретила его на вокзале, предоставила в его распоряжение свою квартиру, показала достопримечательности Петербурга и проводила обратно на поезд. Если бы «Новое Время» не поместило его портрет, никто бы даже не знал, как он выглядит; ни один из русских писателей, кого я знаю лично, никогда не видел его в лицо. Союз не устроил вечер Джерома, не пригласил гостя на ужин в узком кругу — короче, не сделал абсолютно ничего.

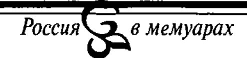
5 марта 1899

Вчера — именины Баранцевича. Он заявил: «Я — марксист». За ужином Лихачев произнес импровизированный тост, в котором намекает на прилет грачей (согласно профессору Кайгородову, — первая примета наступившей весны):

Когда к нам жалуют грачи
И Кайгородов нам весну вещает —
В сей дом иных грачей орава налетает...
Ну, Дарья Николавна, хлопочи!

Говорили о рифме, которую Черниговец придумал к «Фидлеру», и о том, как трудно подобрать рифму к «Федору». Лихачев изрек:

О Федор Фидлер, Фидлер Федор!
Завиден воровской его дар!



6 марта 1899

Вчера вечером — у Случевского. До ужина ушли: Чюмина, Allegro (Поликсена Соловьева), граф Голенищев-Кутузов, Быков, Мазуркевич, Михаловский, Андреевский и Порфиров. Читали стихи — ничего особенного. Хозяин дома читал свою одноактную пьесу «Поверженный Пушкин» — апофеоз поэта и одновременно всей России в политическом плане; время — будущее; Австрии больше нет, Германия в три раза увеличила свою территорию, Россия победила своего кровного врага — Англию. Впервые отверз уста Сологуб, прочитавший несколько своих стихотворений. Почти весь разговор за ужином был исключительно веселый. Мережковский всерьез заявил, что хорошая сигара таит в себе нечто божественное и распространяет, если ее воскурить, фимиам всему растительному миру: это — единственная роскошь, которую он якобы позволяет себе, и он еще напишет об этом целую статью. Потом он заявил: «Не пишущих гениев куда больше, чем пишущих». Считает Альбова гораздо более крупным писателем, чем Антона Чехова.

Когда в качестве пепельницы нам подали настоящий человеческий череп, Лихачев произнес импровизацию:

При жизни пил он или не пил —
Но в нем был мозг, теперь же пепел.

Черниговец назвал Ницше «философским гулякой» (по-немецки). Когда я, отвечая на чей-то вопрос, сказал, что не знаю нот и играю по слуху, он повернулся ко мне и сказал: «Sie sind also nicht benötigt»[232]. Потом он декламировал народную песню, которую где-то слышал:

Никогда тебя я, стерва,
Так жестоко не любил,
Как в ту пору, как другому
За косушку уступил.

<...>

Случевский предложил сыграть в «Колокольный звон» — эта игра имеет свои правила. Он сказал: «Четверть блина, четверть блина, четверть блина!», затем подал знак рукой, и все за столом стали повторять эти слова, в то время как он скандировал «Пол-блина, пол-блина, пол-блина!», и все общество стало повторять «пол-блина», а он в это время говорил уже «Блин, блин, блин!» Эта невинная детская игра сменилась своего рода буриме. Льдов написал три стихотворные строчки, из которых только две первые были в рифму, сложил лист бумаги так, что можно было прочесть лишь третью строчку; его сосед должен

был сочинить четвертую рифмованную строчку, затем сложить лист и прибавить пятую. И так далее. В результате возникло следующее:

Я слышал вас, колокола!
И песня ваша мне была
Неизъяснимо так отрадна Льдов

Я тем словам внимаю жадно,
И между тем я пиво пью Сологуб

И привязав штандарт к копью,
Иду на бой с одной бутылкой Шуф

Не знавшись никогда с Курилкой,
Я жив, простите, я живу, — Бальмонт

И, выпив, брежу наяву,
И в голове — ни капли смысла Черниговец

На языке так горько-кисло,
Так сладко, сладко на душе! я

Но силы нет в карандаше,
И я писать уже не в силах; Мережковский

Не кровь — огонь струится в жилах,
А на душе и мрак, и скорбь Лихачев

Но ты души своей не горбь
И в честь мамзели Лорелеи Случевский

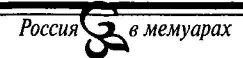
Царице фей, хоть и не фее
Из современных наших дам Коринфский

Всегда идя по их следам,
Я вижу в сумраке ночном Грибовский

Виденья в свете неземном,
И в страхе странном и невольном
О звоне вспомним колокольном Льдов

Так как по недосмотру возникло четыре мужских рифмы, то позже Лихачев вставил между «*Всегдя идя...*» и «*Я вижу...*» строчку «*Топча гуманные идеи...*».

Вчера получил от Шпильгагена следующее письмо:



«[3]/15 марта 1899

Шарлоттенбург, Берлин,
Кантштрассе, 165

Милостивый государь,
русский Союз писателей выразил мне высокое почтение и доставил мне глубокую радость, поздравив меня с семидесятилетием. Прошу Вас, милостивый государь, о большой любезности — передать Союзу мою глубокую благодарность, а также сообщить, что я придаю величайшее значение благосклонности русских писателей, моих товарищей по перу, на понимание которых смею рассчитывать при любых обстоятельствах.

С товарищеским приветом

Ваш Фридрих Шпильгаген».

13 марта 1899

Вчера — ужин у Случевского. Бальмонт рассказал мне, что после вечера у Чюминой он несколько часов шатался по улицам, сам не зная где; когда он, в конце концов, спросил полицейского, далеко ли до Итальянской, где он живет (у него не было при себе ни копейки денег), то услышал в ответ: «Ну, примерно верст восемь». Продиктовал мне следующее стихотворение:

Как жадно я люблю твои уста!
Не те, что всякий видит, — но другие:
Те скрытые, где красота — не та, —
Для губ моих желанно дорогие!
В них сладость неожиданных отрад,
В них больше тайн и больше неги влажной;
В них свежий, пряный, пьяный аромат —
Как в брызгах волн, как в песне волн протяжной.
Дремотная в них вечно тает мгла,
Как в келье, в них и тесно, и уютно,
И глубина их ласково-тепла,
И сила их растет ежеминутно.
Их поцелуй не преходящ, как сон;
И гасну я, так жадно их целуя,
Еще... еще... Я все не побежден...
А! Что за боль!.. А, как тебя люблю я!..

Бальмонт пояснил: «Я написал это стихотворение — возможно, самое мое лучшее — вчера. Обрати внимание: я не говорю: "Ах!" — я говорю "А!" Это гораздо выразительней!» — «А ты читал его Лохвицкой?» — «Нет, tout est fini!»[233]

Когда он прочел это стихотворение Лихачеву, тот стал импровизировать:

Люблю срамные губы я,
Немые и беззубые!

Обо мне Лихачев сказал: «Литературный Иван Калита». На лестнице, когда мы готовились разойтись, Лихачев произнес такую импровизацию:

Мирра, Мирра, мне она
Слаще мира и вина!

Была также Татьяна Львовна Щепкина-Куперник — невысокая (ростом мне до плеча), забавная, миловидная юная дамочка. За ужином декламировала свои строки:

Коль разум с сердцем в бой вступает —
Они равны в борьбе своей;
Но разум скоро уступает:
Ведь он умней!

Тут Лихачев неожиданно поднял за нее (Щепкину-Куперник) тост:

Пью за птичку-невеличку,
Нашу милую москвичку!

(Она постоянно живет в Москве и приехала сюда лишь на пару дней.) Затем он шепнул мне на ухо:

Наверное, уж Щепкина
Тебе не скажет: щепки на!

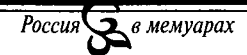
Кроме того, вчера, сидя на службе, он сочинил:

Перед бумагой чистой
Бездейственно сижу,
Но, как чиновник истый,
Считаю, что служу.

(Хочу раз и навсегда отметить: все приведенные здесь стихи записаны либо под диктовку авторов, либо по рукописи.)

За столом каждый должен был прочитать какое-либо из своих стихотворений. Когда очередь дошла до Порфирова, Лихачев сказал:

Пусть, яму сопернику вырыв,
Стихи прочитает Порфиров!



Случевский сидел между Льдовым и Бальмонтом (всех троих зовут Константин) и импровизировал:

На протяжение полутора аршина
Теперь читают здесь три Константина!

Разговор зашел о Минаеве, и Черниговец рассказал следующее. Они сидели однажды в ресторане «Капернаум» (тогда он еще назывался «Назарет»), и какой-то немец стал им жаловаться, говоря, что болен, что лечился у самых разных врачей, но только Боткин сумел ему помочь. Тогда Минаев протянул ему рюмку водки со словами:

Немец, рюмку водки на!
За здоровье Боткина!

В другой раз Минаев (в том же «Капернауме») сильно напился и, расхаживая нетвердым шагом взад-вперед по комнате, придумал такое четверостишие:

Смотрите на Минаева!
Идет, едва скользя:
От крепкого вина его
Узнать почти нельзя.

Я вспомнил известную эпиграмму Минаева на Буренина («*По улице бежит собака...*»), но Черниговец упрямо и твердо стоял на том, что ее автор — не Минаев, а Аверкиев.

Бальмонт огласил придуманный им афоризм: «*Русалка — девушка, утратившая свою ценность*». Черниговец возразил: «*Русалка — девушка, возвысившая свою ценность*». А Коринфский шепнул мне: «*Русалка — девушка, утратившая свою цельность*».

Зинаида Мережковская была в сером платье и выглядела гораздо женственнее (во всех отношениях), чем недавно у Чюминой. Рассказала, что Вейнберг однажды написал ей:

Хоть у Вас седьмой этаж,
Но любовь моя все та ж,
Как была бы, если [б]Вы
Жили ниже дна Невы! '

Однажды Вейнберг прислал ей цветы, и она ответила ему:

Всегда, всегда любила я седины,
И наконец пришла моя пора:



Не устояло сердце робкой Зины
Перед цветами Вейнберга Петра.

На книге своих рассказов «Новые люди», подаренной покойному (умер прошлой осенью) Михаилу Альбертовичу Кавосу (участники ужина, знавшие его лично, всячески его хвалили; в юности он писал стихи), она сделала такую надпись:

Тому, кто в дни своей весны
Воспел начельник белоснежный,
Хранитель юной старины,
Поэт таинственный и нежный,
Тому, кто сердцу вечно мил...
Тебе, о Кавос Михаил!

Присутствовали также: Мережковский, Мазуркевич, Лохвицкая (не обменялась с Бальмонтом ни единым словом), Чюмина, князь Владимир Владимирович Барятинский (прочел стихи нескольких русских поэтов в своем переводе на французский), Быков (ушел до ужина), Андреевский (ушел до ужина) и Вейнберг (ушел до ужина). Последний сказал мне: «Я пришел прямо с заседания Союза, там читалось письмо Шпильгагена к Вам. Я чуть было не воскликнул “Ура!”, но вспомнил, какое неприятное впечатление он произвел на меня и других русских писателей во время своего пребывания в Петербурге. Он держался не просто холодно и гордо — он держался высокомерно. Я был тогда устроителем торжества. Он не проявил ни малейшего интереса к русским писателям, а все славословия воспринимал как олимпиец».

17 марта 1899

У меня нет ни времени, ни желания распространяться здесь по поводу Суворина, который в последнее время навлек на себя своими «Маленькими письмами» (о студенческих беспорядках в здешнем университете) справедливое негодование со стороны всех честно думающих людей. В течение всей своей жизни он был нравственным уродом, а его «Новое Время» — продажной, неразборчивой шлюхой в ряду русских газет. И стар, и млад — все в конце концов были возмущены и объявили бойкот этому позорному и скандальному листку. В прошлую пятницу (12 числа сего месяца) Комитет Союза постановил: предать Суворина суду чести. Потапенко и Баранцевич (последний был избран недавно секретарем Комитета, но собирается, дабы избежать лишних хлопот, отказаться от этой должности) подписали — после некоторых колебаний — этот протокол вместе с остальными. Потапенко сообщил мне вчера, что теряет теперь, ли-

шившись работы в «Новом Времени», пять тысяч рублей ежегодно, но чувство чести не позволяет ему далее сотрудничать в этой газете — и не потому, что он подписал протокол, а потому, что спустя несколько дней газета выступила уже совершенно невообразимым образом. (Баранцевич рассказал мне 13-го, что после заседания он вместе с Потапенко зашел в Соловьевский ресторан и Потапенко просил его, секретаря, положить протокол, если можно, «под сукно», — что означает по-русски замять дело или отправить его в долгий ящик.)

20 марта 1899

Вчера совсем недолго был у Случевского. Когда я сказал ему, что по лестнице поднимается Фофанов и что он, кажется, навеселе, Случевский воскликнул испуганно и раздраженно: «Бог ты мой!» Но когда Фофанов вошел в кабинет, он приветствовал его с распростертыми объятьями и сказал, здороваясь: «А, очень рад!» Фофанов был под хмельком. Одет безупречно; на безукоризненно отутюженной рубашке — белый галстук; с роскошной золотой цепочки свисают золотые часы. Читал бесконечную, нудную поэму, предназначенную для «Пушкинского сборника», который скоро появится. На столе прямо перед его рукописью стояла бронзовая статуэтка Пушкина, и он воскликнул: «Как же я буду читать, когда Пушкин повернулся ко мне *ж...ой*?!» А ведь рядом с ним сидела сестра Владимира Соловьева Поликсена Сергеевна, Allegro!.. Жену Фофанова выпустили, сочтя излечившейся, из сумасшедшего дома, и теперь она опять живет вместе с ним... Мережковский рассказал, что его первое стихотворение появилось в печати (во «Всемирной Иллюстрации»), когда ему было тринадцать лет. Чюмина явно предпочитала говорить со мной по-немецки. Бальмонт тихо и настойчиво беседовал о чем-то с Лохвицкой, восседавшей с ним рядом; на ней была высоченная шляпа. Также присутствовали: Валерий Брюсов (сидел с идиотским видом), Сологуб, Быков, Коринфский, князь Цертелев, Шуф, Мазуркевич, Лихачев и Позняков; с последним я отправился к Баранцевичу (на именины Дарьи Николаевны). Позняков ругал всех и вся. «Уже целых три недели я не разговариваю с моей женой. Ведь жена писателя не должна быть солдаткой, кухаркой, булочницей! У нее ни малейшего интереса к моим духовным запросам! Ей нужны только деньги, деньги и снова деньги!»

27 марта 1899

Вчера — у Случевского. Я пришел первым, чтобы переписать стихотворения, сочиненные в прошлую пятницу за ужином, когда меня не было (пришлось ехать на именины жены Баранцевича). Это был «ужин-состязание», поскольку Случевский предложил тему «Весна». Стихотворения частично записаны на

отдельных листках, частично же переписаны (рукою авторов, разумеется) в «Альбом», который Случевский завел несколько месяцев назад и откуда я постепенно буду копировать для себя все наиболее интересное.

Случевский:

По шестьдесят второму разу
Сквозь холод чую я тепло...
К молитве, что ли, иль к намазу
Меня влечет? Себе назло
Хочу молчать, себя уверить,
Что глупо без толку мечтать,
Что тут термометр должен мерить
И должен Кайгородов знать...
А все, как будто, не спокойно,
Как будто молодею я,
И в сердце так же шумно, знойно,
Как и на урне бытия.

Черниговец:

Весна!.. Но где ж у нас трава?
Весною это звать неловко!
Весной в застое голова,
Пока стоит еще головка.

***

Ах, весна подобна олову,
Нагнетает мысль и голову,
И мой член, как старый пьяница,
К той же все посуде тянется!

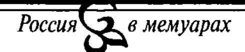
***

Не Скалозуба, а Баркова
Мне под руку попалось слово!

<...>

А теперь — подробно о вчерашнем собрании.

Коринфский прочитал неопубликованное письмо Пушкина (автограф) и сказал растроганно: «Мне стыдно прикасаться руками к этой реликвии». Мережковский сказал: «Памятник Пушкину будет позорить его память, ведь он сам написал: “*Я памятник себе воздвиг нерукотворный*”». После чего Сологуб прочитал стихотворение Корина (коему Сологуб покровительствует), и Мережковский принялся его восторженно расхваливать:



ПУШКИН

Сбылось! По всей Руси великой
Крылатый стих твой облетел
И в сердце черни полудикой
Ответным эхом прогудел.

И вот, кощунственно играя
Священным именем твоим,
Тебе несет толпа тупая
Своих кадильниц чад и дым.

Восстань, поэт! Как прежде, смело
Возвысь пред ними гордый глас:
«Подите прочь! Какое дело
Поэту мирному до вас!»

Мережковский сказал, что есть человеческие лица, подобные логарифмической линейке: нужно долго их изучать, чтобы найти искомый ответ. Потом утверждал, что воспринимает собственные стихи как — *мерзость*. О Ницше отозвался следующим образом: «После Достоевского это самый великий человек в современной и будущей Европе, и так будет многие столетия, потому что он выше, чем Ибсен и Лев Толстой».

До ужина ушли: Д.Л. Михаловский, Бальмонт и Лохвицкая (последние — врозь).

Зинаида Мережковская рассказывала, что некогда взяла у Вейнберга том Мюрже и замотала его, на что Вейнберг написал ей:

Был у меня Мюрже,
Но лишь "Vie de Bohême"[234]*,*
И нет его уже:
Похищен... Je vous aime![235]

Черниговец сообщил, что первое его стихотворение было опубликовано в 1857 году. Когда стали шутить по поводу того, что я записываю стихи, и говорить, что мои наследники сколотят себе на этом капитал, Черниговец сымпровизировал:

Его потомки
Пойдут без котомки.

Случевский рассказывал о личном знакомстве с Эдуардом фон Гартманом и признался, что не видел писателя, который так расходился бы со своими писаниями: Гартман — оптимист и большой весельчак.

Говорили о таланте импровизации, который Мережковский назвал милым, и Шуф тотчас же отпарировал:

Милый дар сей — пуф.
Им страдает Шуф.

А Лебедев в ответ сказал:

Как стихи напишет Шуф —
Почитаешь, скажешь: уффф!

Тот же Лебедев записал в альбом Случевского:

Поэты! Жарьте
Свои стихи...
В посту вам, в марте
Простят грехи!..

Случевский с удовлетворением отметил, что его «пятницы» пустили корни, и выразил надежду, что поэты будут держаться вместе. Шуф тут же передал эту мысль стихами; в их основе — притча о пучке прутьев, который нельзя сломать:

Мои мечты едва ли смелы,
Хвалю я пятницы не зря:
Мы ими связаны как стрелы
В пучке у скифского царя.

На это Мазуркевич ответил:

Сравненье это очень метко
И обосновано вполне:
Как стрелы, мы остры нередко
И ядовиты, как оне.

Это позволило Случевскому предложить тему «Стрелы» для поэтического состязания. Все, кроме Грибовского и четы Мережковских, написали за двадцать минут.

Черниговец:

Я смолоду попал в постреп
И на пути удачу встреп;
Теперь же я лишь устареп,
Людьми забытый самостреп
Без цели, меты и без стреп!

Лихачев:

Пусть я стрела; но не хочу я
Вонзаться, ранить, убивать;
Хочу, мирской соблазн минуя,
Ей в прямизне соревновать.

Лебедев:

Мои стихи весьма несмелы,
Но тем смущаться мне ужель?
Пусть будут связаны те стрелы,
Лишь попадали б только в цель!

Allegro:

Лишь властелину — рассылать
Стрелою меткие удары,
Я — раб, судьба мне умирать
Под властью мрачного анчара.

Льдов:

Притупились наши стрелы,
И ослаб тугой наш лук,
Наши скучные пределы
Не прострелит меткий звук.

Случевский:

Одни мне страшны были стрелы —
Те в сердце быстрые пострелы.
Теперь, почтенный генерал,
Я их давно в пучок связал, —
Зато нет ни пучка волос...
Ну... что-с?

Порфиров:

Не знаю, что писать про стрелы.
Напрасно голову ломать!
Четыре строчки им пострелы*
Все не дают себя поймать.
Пусть Мазуркевич плодовитый
Язвит стрелами ядовито —
А я... мне совестно читать.

Сологуб:

Стрела, стрела, лети скорее
И прямо в сердце поражай.

---

*То есть другим рифмачам.

Твои лобзанья мне милее,
Чем черный ад и милый рай,
Очень длинная стрела,
Ты ужасно мне мила,
И пряма ты, и светла.

Эта бессмысленная, бессвязная чепуха вызвала продолжительный смех. Правда, Сологуб уже осушил шесть рюмок водки и пару стаканов пива.

Написанное Коринфским я не смог разобрать.

Шуф, однако, сочинил еще три четверостишия:

a. Зинаида Николаевна (т.е. Мережковская):

На экспромты смотрит хмуро.
Позабыла своенравно
И стрелу она Амура.

b.

Стрела певучая звенит,
Сразила скифа, негра,
И с луком стала на гранит
Дианою Allegro.

c.

Лук звенит, стрела трепещет
И, клубясь, издох Пифон,
И стрелок победой блещет —
Мережковский, это он!

Мазуркевич тоже написал на заданную тему три коротких стишка, которые передал мне украдкой как нецензурные:

a

Нужны порой мужские стрелки
Для женщин, — в частности для целки.

b.

Скажу я в рифмах смелых —
Писали мы о стрелах;
И мигом все поэты
Окончили куплеты.
Но дамы нас смущают
И вводят в размышленье:
Они при всем уменье
На «стрелах» не «кончают».

c.

Скажу, хоть и старо, —
У каждой стрелки есть перо;
А три стрелы всегда, ура,
Имеют также три пера.

Забыл отметить, что я обнаружил в альбоме листок бумаги, на котором Черниговец записал стихотворение на обозначенную выше тему:

Я не сердит, но я в раздумье:
Ужели это остроумье?
Оно хотя природы дар,
Но ведь не всем дается даром:
Тот чует лишь его удар,
Кто сам владеет этим даром.
А без него — свой рот запри
И не остри спроста не в меру,
А внемли старику Вольтеру:
«Ce n'est que l'esprit qui fait l'esprit[236]».
Спирт — c'est l'esprit — и если в ком
Такой же свой esprit найдется —
Он с ним в единый дух сольется
И будет два угодья в том.

Была уже половина второго ночи, но Шуф настоял на том, чтобы я вместе с остальными поехал к нему. Пили водку, ликер, пиво и вино; курили сигары. Изъяснялись исключительно стихами. Ассонансы сыпались прямо каскадом. Порфиров сидел (полулежа) на оттоманке рядом с Сологубом (его зовут Федор Кузьмич, а называют просто «Кузьмич») и импровизировал:

Теперь весь мир мне нипочем:
Лежу я рядом с Кузьмичем!

Лебедев спросил:

А говорите вы о чем?

Льдов ответил:

Так, скопом рифмы мы печем.

Коринфский подправил:

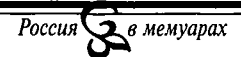
Нет, трем мы ж — ы кирпичом,

А Мазуркевич добавил:

Свернувшись вместе калачом.

По поводу нашего позднего визита Лихачев сымпровизировал:

Прощай, святыня очага!
Едва лишь с фронта или тыла
Ее порог переступила
Поэта вольная нога!



Коринфский, однако, уточнил:

Но, шер ами, помилуй Бог,
Ведь не одна, а двадцать ног!

Коринфский уверял, что в третьем издании стихотворений Минского встречаются следующие непристойно звучащие строки:

И битвою душу измучили мы —
Нас рать здесь была не большая.

А Александр Круглов опубликовал якобы в 1892 году (в «Труде») стихотворение, в котором сказано:

И близко ты, и далеко,
Мне за тебя, мой друг, обидно.

Льдов произнес по адресу Сологуба:

И Кузьмич
Тож дает дичь,

и тот ответил:

А Льдов,
Не находит умных слов.

Льдов принес с собой кучу своих книжек (стихотворных), чтобы подарить по одному экземпляру каждому из знакомых. По этому поводу Лихачев сказал: «*Нечего ему разносить, потому что все равно разнесут!*».

Коринфский произнес тост в честь Лихачева:

Он перевел Мольера лихо,
И в этом нет ни капли лиха.
Он Лихачев, но не лихач:
Он никогда не мчался вскачь
В полях литературы нашей.
А потому мы дружной чашей
Все разом выпьем за него!
И больше... Больше ничего!

Льдов прибавил:

Не мчался вскачь, но без усилья
Его влекли на небо крылья.

Лихачев ответил:

Я не лихач — простой извозчик:
Чужих поэтов переводчик.

Мазуркевич:

Пусть он извозчик, но краса
Он все же нашего Парнаса:
Взнуздал он русского Пегаса
И с ним взлетел на небеса.

Порфиров еще до этого произнес тост в честь Лихачева:

Сегодня здесь в гостях у Шуфа,
Позвольте выпить мне пивца
За переводчика «Тартюфа»,
За всем нам милого певца!

Коринфский сымпровизировал:

Сейчас просил бы я сугубо
За Кузьмича, за Сологуба,
Поставив крест плохим стихам,
Покуда терпит Бог грехам,
Хотя немного выпить нам.

Коринфский удалился на несколько минут, и Льдов сказал:

Посетил места зловоний
Наш Коринфский Аполлоний.

Лихачев стал благодарить за произнесенные тосты:

Как ни польщен я и ни тронут,
Но буду нем
Затем,
Что все слова в сердечном чувстве тонут.

Затем он (Лихачев) сказал:

Приходит время петухам —
Пора нам братцы по домам!

Было уже и вправду четыре утра.

Забыл упомянуть, что Черниговец сказал про себя (у Случевского): «*У меня член недостойный, потому что не может до-стоять!*».

2 апреля 1899

Вчера — вечеринка у Мережковских. Зинаида Николаевна передала мне следующее стихотворение Вейнберга (он все время старался быть поближе к ней, а когда она стала читать, не сводил с нее глаз):

Ах, какая мне обида,
Дорогая Зинаида
Николаевна!
У меня внутри сегодня —
Это кара мне Господня —
Неисправно;
И не будь такой причины,
Я принес бы в именины
Поздравленья,
Не смущаясь мыслью даже,
Что в подоблачном этаже...

Дальше стихотворение не пошло. Написано это к Зининым именинам (11 октября 1898).

К отъезду Мережковских за границу (в начале прошлого или позапрошлого года) Вейнберг сочинил:

ЭКСПРОМТ ВЗВОЛНОВАННОЙ ДУШИ

В Таормину, в Таормину
Провожают дивно-Зину
Все ее друзья.
Провожают в горьком плаче,
Но меж ними наипаче
Горько плачу я.

Таормина, Таормина!
О, тобой какая мина
Нам подведена!
С злобой, равною Аиду,
Похищает Зинаиду
Чуждая страна!

К Таормине, к Таормине
Будем мы в тоске-кручине
Обращая взгляд,
Восклицать: загладь обиду,
Зинаиду, Зинаиду
Возврати назад!

Петр

Прошлым летом Мережковские жили в Елизаветино (дача «Аврора»), а Вейнберг — в Меррекюле. 4 июля он написал ей из Петербурга следующее:

Спешу до сведенья прелестной сицильянки
Довесть, что временно меня с брегов Фонтанки

Ремонт прогнал — и нынче адрес мой:
По Малой Итальянской, пятьдесят седьмой.

С восторгом пламенного барда
Я жажду лицезреть ее!
Вас также сердце ждет мое,
Биограф милый Леонарда!
Назначьте сами день и час,
Когда вы можете пожаловать к обеду,
Иль к ужину, иль просто на беседу —
Зависит все единственно от Вас.
Быть может, ветреный, как ветр,
Но вместе тверд, как камень, —

Петр

<...> И, наконец, Вейнберг пишет из Меррекюля 30 июня 1898 года:

Давно уж мистером Шекспиром
Ваш пол «прекрасный» перед миром
Как пол «коварный» заклеймен;
И, вторя мистеру Шекспиру,
На тот же тон настроить лиру
Я Зинаидой принужден.
Конечно, я при этом в горе,
Что ей пришлось хворать в «Авроре»...
И, этих ощущений полн,
Пущусь я первого июля
В обратный путь из Меррекюля —
Страны лесов, утесов, волн.
Там буду на брегах Фонтанки
Ждать появления тиранки —
Но ждать недолго: предо мной
(Таков мой план дальнейший) вскоре
Надеюсь «развернется море»
Вновь «бесконечной белизной»[237].
А ежели в стенах столицы
Я не дождусь своей царицы,
То, снова предпринявши путь,
Приду, как пилигрим, к «Авроре»[238],
Чтоб в Вашем лучезарном взоре
Миры блаженства почерпнуть, —
И с сердцем, ставшим легче тюля,
Вступить на берег Меррекюля,
Чтоб ждать мгновения того,
Когда из Трубецких владений
Источник чудных наслаждений
Примчит поэту божество.

Петр.

(«Трубецких владений» — вилла «Аврора» принадлежит княгине Трубецкой.)

Сологуб считает Случевского (он тоже присутствовал) более крупным поэтом, чем Фофанов, хотя и тот, по его словам, очень талантлив.

Бальмонт (явился с женой) прекратил свою связь с Лохвицкой (ее не было). «Она мне надоела; мной же овладела безумная страсть к книгам. Кроме того, у меня сейчас безденежье: наши совместные оргии всегда стоили кучу денег. Теперь она занимается cunni-lingus с какой-то дамой». Стихотворение «Как жадно...» не имеет к Лохвицкой никакого отношения; это всего лишь фантазия.

Мережковский назвал Григоровича (который отсутствовал) «литературным недоразумением» и пустым местом в литературе.

Присутствовали также: Чюмина, Венгерова, Андреевский и столпы русского марксизма — П. Струве и Туган-Барановский. — — <...>

3 апреля 1899

Вчера у Случевского. Когда я пришел, двое присутствующих уже запечатлели себя в «Альбоме» такими строками:

Лихачев:

Нет поэту гонорара,
Нет и творческого жара!

Черниговец:

Не в стакане — в пипе ус
Омочив мадерою,
Выпил бы за Гиппиус
Полной русской мерою!

Пипа — старое русское слово, означающее «бочонок».

<...>

В половине второго ночи, под вспышки магния, мы стали фотографироваться группой, в связи с чем появились строки Шуфа:

Всей семьею поэтической
Были в день фотографический;
С миной умной или глупою
Мы снимались целой группою.

И поскольку кое-кто из мужчин в этой группе расположился у дамских ног, я за ужином предложил тему для поэтического состязания: *У ног твоих*. Судейство и присуждение призов взяли на себя Щепкина-Куперник и Лохвицкая. Они читали вслух текст, на котором отсутствовало имя автора, и выставляли оценку (высший балл — 12). Низший балл (5) получил Случевский за такие стихи:

И я лежу у ног твоих!
Машинной обуви ботинки
Внедрить в зеницы ок моих
Сразили в сердце все первинки
Чувств бесконечно дорогих!
Зачем машинные ботинки
Сразили чувств моих первинки?
Затем, чтоб воплотился стих
У ног твоих!

Мазуркевич получил шесть баллов за:

У ног твоих...
Когда б я знал, —
Мой пылкий стих
Не то б сказал.
Но мой язык
Не смог сказать;
Я не привык
У ног лежать.

Предлог «у», не заметив подвоха, прочитали без ударения. Впрочем, Мазуркевич тут же изготовил еще одно четверостишие, за которое получил 11 ½:

Лежать у ног твоих! О нет!
Я не мечтал о том:
Ведь это значило б, мой свет,
Лежать... под башмачком.

Коринфский получил девять баллов за:

Нет в мыслях ничего: совсем затих мой стих,
Ни рифм, ни музыки... Печален мой удел —
Когда у этих ног, у милых ног твоих
Чудак, я только пропотел!

Я тоже получил девять баллов и хочу увековечить себя:

У ног твоих
Сижу я тих;
Но будь я лих,
Я мог бы их
Обнять, — но их
Бин Фредерих!

Шуф получил десять баллов за:

В Москве, в Твери, в Уфе ли я, —
У ног твоих, Офелия,
Шум жизни позабыв, гам лет,
Прилечь готов я, как Гамлет.

Одиннадцать баллов — у Гайдебурова:

Твой взор пылал, манил, искрился,
Но как загадочно утих,
Когда, смущенный, я склонился
У ног твоих!

Душа души внимала зною,
Ловила дрожь страстей живых...
О если б мог я быть — тобою
У ног твоих!

На 11 ½ был оценен Черниговец:

И прозою скажу и повторю в стихах —
Не буду я у ног, покуда на ногах;
Когда ж при случае начну писать мыслете[239]*,*
Паду — но мимо ног — чтоб погрузиться в Лете!
Забвение мне даст забвения поток,
Что леживал и я у милых женских ног.

Сологуб получил 11 ½ за:

У ног твоих есть башмаки
И есть чулки, —
Зачем же преклоняться мне
У ног твоих,
Чтоб целовать наедине
Товар у мастерских?
Лишь то, что сотворил сам Бог,
Я целовать бы мог.

Порфирову тоже выставили 11½:

Сегодня счастлив был я несколько мгновений:
У ножек наших поэтесс
Познал я таинства чудес
И сладость дивных вдохновений.

Лебедев получил 11 ¾ за:

У ног твоих — я так начну! —
Мне рай и благодать.
Но все ж устану и вздохну:
Позволь мне... встать!

Двенадцати баллов был удостоен князь Барятинский за сонет:

«У НОГ ТВОИХ». ШВЕЙЦАРСКАЯ КАРТИНКА.

Предложен нам сюжет хороший:
«У ваших ног», «У ног твоих».

И мой сонет стихов других
Не будет, я уверен, плоше.
У ног твоих я зрел калоши,
Взирая молча на размер,
И думал: кто сей дромадер,
Владелец столь тяжелой ноши?
Но в этот миг пришел твой муж. —
(О, если б мне талант твой, Буш,
Хотя б в размере, видном в лупы!)
Глазами вкруг себя обвел
Супруг и, вставив в мокроступы
Свои конечности, ушел.

Бальмонт также получил двенадцать баллов:

У ног твоих я понял в первый раз,
Что красота объятий и лобзаний —
Не в ласках губ, не в жадном блеске глаз —
А в блеске незабвенных трепетаний.

Когда глаза — в далекие глаза
Глядят, как коршун смотрит опьяненный, —
Когда в душе нависшая гроза
Излилась в буре странно измененной, —

Когда в душе, как перепевный стих,
Услышанный от властного поэта,
Дрожжит любовь — ко тьме — у ног твоих —
Ко тьме — и мгле — нежней, чем ласка света!

Двенадцать баллов получил и Лихачев:

У ног твоих не знаю, как мне быть:
Быть паинькой — до одури наскучишь,
А пожелай тебя развеселить —
Того гляди, затрещину получишь!

Победителям состязания был признан Льдов (12 +++):

Закат погас. Сгустились тени,
Махнула ночь своим крылом.
У ног твоих, склонив колени,
Я плакал долго о былом.

Нет, не обижен я судьбою!
Мне слаще радостей былых —
И воскресать перед тобою
И умирать у ног твоих!

Шуф сочинил такую «концовку»:

Кто б ни был в баллах мой соперник —
Воспой-ка Щепкину-Куперник!
Пади пред нею тотчас ниц
Хотя б из страха единиц!

И тотчас — другую, посвященную Лохвицкой:

Прекрасна Мира! (sic — *К.А.*)
Ее — admiro![240]
Ее сейчас — уж нет ли, так ли —
Готов зачислить я в «миракли».

Мазуркевич и Коринфский передали мне украдкой такое четверостишие:

Что за тема «быть у ног?»
Будь одни мы, то наверно
Все из нас нелицемерно
Изменили бы предлог.

Коринфский (на меня):

Писав для этих и для сих,
Пиcнуть теперь у ног твоих
Хотел бы я, о немец милый,
С такой неведомою силой,
Чтоб ты, пленясь стихом моим,
Совсем описался пред ним!

Коринфский письменно уведомил всех участников Пятниц о том, что состоится фотографическая съемка, — за исключением одного Н.М. Соколова, поскольку тот насмехается над поэтическими вечерами в целом и над Случевским в частности. Однако Соколов явился, и Случевский принял его наилюбезнейшим образом.

Мережковский пожаловался мне, что с позавчерашнего вечера у них в доме ему и Зине нездоровится, хотя он еще в присутствии гостей удалился и лег в постель. «Я дал ей (т.е. Зине) знак, чтобы она не задерживала гостей, но она не обратила на это внимания». (Обратившись к Зине:) «Прошу, чтобы это не повторялось! Если я сказал в своем доме хоть слово, оно должно быть *принято к сведению*!» Зина, виновато поглядывая, молчала.

Князь Цертелев настолько потерял чувство такта, что привел с собой цензурное начальство в лице Соловьева. Все были этим крайне удивлены, даже хозяин. К счастью, этот подонок пробыл не более часа.

Щепкина-Куперник передала мне свое стихотворение, сочиненное за ужином и не предназначенное для оглашения вслух. Пока я его разворачивал, Льдов, подойдя сзади, заговорил со мной, протянул руку через мое плечо, вырвал из

моих рук бумагу и разорвал. Все были возмущены этой грубостью, а Черниговец сказал: «Да врежьте Вы как следует этому наглому еврею!»

Присутствовали также: Allegro, Быков, Михайловский и Андреевский. Отсутствовали: Фофанов, князь Ухтомский, граф Голенищев-Кутузов, Вейнберг, Чюмина, Позняков, Грибовский, Сафонов, Минский (говорят, у него кровохарканье), Ясинский, Владимир Соловьев, Брюсов и Бунин.

4 апреля 1899

Вчера в Мариинском театре состоялся Пушкинский вечер. Присутствовал почти весь писательский мир: частично в зале, частично на сцене (Мамина, Михайловского и Короленко не было ни здесь, ни там). По сцене расхаживал Виктор Крылов в обнимку с Карповым. В момент апофеоза (мы стояли слева и справа от памятника) на сцену вышла Зиночка Мережковская и принялась разглядывать памятник через лорнет; затем, когда занавес поднялся во второй раз, она расположилась у ног Пушкина вместе с Чюминой и Лохвицкой. Позднее, когда занавес окончательно опустился, Вейнберг, крича и кипятясь, стал резко упрекать Мережковскую за эти выходки с лорнетом; при этом он ее передразнивал и копировал ее движения. Она не ответила ему ни единым словом, лишь на щеках у нее проступили белые пятна. — —

10 апреля 1899

Вчера — у Случевского. Последний поэтический вечер в этом году. <...> Бальмонт декламировал стихотворение «Демоны пыли» своего друга Валерия Брюсова (который отсутствовал) и прочий декадентский вздор, им сочиненный, и рассердился, когда все вокруг стали улыбаться и смеяться.

16 апреля 1899

Вчера князь Барятинский нанес мне визит. Рассыпáлся в похвалах своей супруге, актрисе Яворской: скромно умолчав об ее таланте, превозносил ее за предприимчивость и энергию. Он литераторствует, чтобы не быть «le mari de la reine»[241]. Рассказывал о своем посещении покойного Дюма-сына: тот якобы недолюбливал русских и презирал женщин: но взор его застилали слезы, когда он смотрел на портрет девушки, послужившей прототипом его дамы с камелиями (Арман Дюваль — это он сам, и сцена с отцом происходила в действительности; впрочем, та, с кого была написана Маргарита Готье, никогда не любила камелий). — — —

Сегодня меня навестил Виктор Крылов. Его пьеса, озаглавленная в переводе Г. фон Мозера «Der Sklave»[242], называется в оригинале «*На хлебах из милос-*

ти» — Крылов, со своей стороны, позаимствовал ее из французского источника. «Никто из русских писателей не разбирается в сценической технике так, как я, и в целой России нет никого, кто знал бы лучше меня, какая роль особенно подойдет для той или другой актрисы. Говорю это без всякого хвастовства... У меня нет вообще никакой наблюдательности, я даже глуп, — но когда я сажусь за письменный стол, меня выручает мой отличный *нюх*». Что касается драмы «Сыны Израиля», то ему принадлежат и сама идея, и ее исполнение; Литвин-Эфрон контролировал, так сказать, лишь этнографическую сторону, и он собирается поместить его имя на программке для того, чтобы избежать упрека, будто он (Крылов) не знает еврейской жизни (хотя изучал ее и по книгам, и в реальности). У него готова еще одна весьма эффектная драма — «Идиот» (по одноименному роману Достоевского): материал в сыром виде он получил от Этингера (Сутугина, автора «Карикатур любви»). Кроме того, он пишет комедию, которую «можно смотреть любой приличной девушке». Однако он распорядился, чтобы ее ставили под вымышленным именем, иначе «рептильная пресса» разнесет его в пух и прах за то, что он выпускает в свет три пьесы за один сезон. О Карпове сказал: «Бездарный, глупый *махер*[243]». — Принес мне для просмотра первый акт переведенной им драмы «Фиеско»[244].

25 апреля 1899

Позавчера — в Союзе взаимопомощи. Впервые явилась Лохвицкая, которая в разговоре со мной насмешливо отзывалась почти обо всех членах Союза; лишь Михайловского назвала «интересным». Он как раз проходил мимо нас, и я представил их друг другу. Она покраснела и позднее сказала мне раздраженно: «Зачем Вы нас познакомили?! Разве Вы не знаете, как “Русское Богатство” разнесло мои стихи? В одной из рецензий сказано: “Хотелось бы знать, в каком *положении* находится госпожа Лохвицкая, когда пишет стихи...” Конечно, я пребываю в каком-то “положении”, точнее, лежу поутру в постели, с карандашом и тетрадкой в руках...» Потом стала намекать на песню Фауста в сцене Вальпургиевой ночи («Однажды мне приснился сон»), но я не стал отвечать последующими строчками Мефистофеля и старухи, хотя она явно на это рассчитывала[245]. — — —

К сожалению, Лу простудилась и вчера не смогла прийти (она сейчас в Петербурге вместе со своим мужем), зато пришел ее паж, Раймунд (sic! — *К.А.*) Мария Рильке, симпатичный двадцатитрехлетний юноша, знающий литературу и искусство. Он не курит и не пьет и настолько впечатлителен, что не посещает людных собраний и знаком лишь с немногими немецкими писателями. Йенсен, по его словам, весьма популярен в Мюнхене; от Бара можно всего ожидать (я рассказал ему о своей истории с пьесой Потапенко «Чужие»). Недав-

но вместе с четой Андреас он посетил в Москве Толстого, который якобы говорит по-немецки как немец, лишь изредка вплетая в речь какое-нибудь французское слово. — —

Вчера в ресторане «Пивато» — обед в честь Лихачева (30-летие писательской деятельности). Присутствовало около пятидесяти человек, в том числе — Случевский, Коринфский, князь Цертелев, Грибовский, Порфиров, Мазуркевич, Позняков, Венгеров, Гнедич, Антонович, Мордовцев, Щеглов, Соколов, Сологуб, Лохвицкая, Соловьева (Allegro), Гриневская, Назарьева, Скабичевский (отведав тминной водки, сказал: «*Допил и плюнул*») и Черниговец (в разговоре о переводческих курьезах предложил перевести «погода разгулялась» как «Das Wetter hat sich auseinanderspaziert»). Поздравления прислали: В.П. Острогорский, Потехин, С.В. Максимов, Михайловский, князь Барятинский, Фофанов (от первой до последней буквы нормальное письмо) и — Баранцевич, который не счел нужным лично посетить торжество в честь своего старого приятеля. Написал, что не может прийти: у него якобы приступ ревматизма. Это — какое-то совершенно внезапное заболевание, тем более удивительное, что позачера в Союзе он бодро пил пиво; я ушел около двенадцати (к маме на именины), а он еще оставался, не желая идти с другими в ресторан ужинать.

3 мая 1899

Вчера у Мамина в Царском. Потом — на концерт в Павловск[246], где в ресторане встретили Южакова. <...> Он (Южаков) сказал, что Салтыков-Щедрин с каждым годом становится все понятнее для читателей, поскольку сбылись все его предсказания; а через сто лет Щедрина будут читать как Евангелие. Южаков не читает теперь «Новое Время» (бойкот), да и раньше, по его словам, покупал эту газету лишь «тайком». Когда Южаков ушел, Мамин сказал: «Он умнее всех, кого я знаю, а таланта у него на двадцать человек!» Потом принялся разносить всех поэтов, которые собираются по пятницам у Случевского: царедворцы, льстецы, иуды, жалкие виршеплеты, «высасывающие рифмы из носа друг у друга». <...> На эти его бесконечные выпады мы с доктором Жихаревым могли отвечать лишь улыбками или смехом, и Мамин этим вполне удовлетворился: ему ведь так и не удалось скрыть присущее ему добродушие под маской злости и ненависти; все это — одна комедия. <...>

11 мая 1899

Только что от нас ушли Лу Андреас-Саломе и Рильке (они друг с другом на «ты»). Вид у нее малопривлекательный: без воротничка, в просторном платье, сквозь которое просвечивали бедра, в остальном же — никакого декадентско-

символистского перехлеста. Ей около сорока; следы увядания. Ведет себя чуть-чуть вызывающе. Интересовалась адресом Флексера. Когда я ответил, что не знаю и что вряд ли хоть один из здешних писателей знает его адрес, поскольку во всем литературном Петербурге нет человека, более для всех ненавистного, чем Флексер, она сказала, решительно протестуя: «Как и все яркие люди... Его “Русских критиков”[247] я прочла с огромным удовольствием». Я спросил, как обстояло дело с новеллой «Amor», которую она написала вместе с Флексером. «Ах, это довольно неприятная история! Во время моего пребывания в Петербурге мы обсудили тему, и он предложил придать ей литературную форму. Я набросала, по его предложению, отдельные детали и сказала, что смогу, вероятно, написать всю новеллу. И я действительно ее написала и отправила в “Северный Вестник”, где она и появилась в переводе Флексера с деталями, мною отклоненными, да еще за двумя фамилиями. Узнав об этом, я очень рассердилась. Два автора для такой безделицы!..» Я ошеломил ее, спросив, опубликована ли пьеса, написанная ею совместно с доктором Корнгольдом. «Нет... Впрочем, мы писали ее отнюдь не совместно, хотя и одновременно. То есть он писал сам (по-русски), а я сразу переводила, страницу за страницей, на немецкий. Пьеса предполагалась к постановке в одном из немецких театров, но дело провалилось». Я спросил, знакома ли она с Ибсеном. Она сказала: «Нет.. Когда мы были в Риме, наши знакомые вызвались представить нас друг другу, но я не захотела, и вот почему: когда его о чем-то спрашивают, он не слышит; а если слышит, то не отвечает; а если отвечает, то ничего нельзя понять; а если что и поймешь, то это грубость». Она попросила снять со стены портреты русских писательниц и стала их молча разглядывать, причем в углах ее широкого рта играла с трудом сдерживаемая улыбка. Странным образом она нашла сходство (глядя на портреты) между Луговым и Короленко, Потапенко и Полонским. Последнего (Полонского) она совсем не знает (как и вообще всех других), однажды видела Лугового, а с Потапенками познакомилась в Париже. Интересовалась лишь Короленко и Минским; к первому я дал ей рекомендательное письмо, а ко второму — нет, потому что Минский, по слухам, в отъезде. К Венгерову она не желает идти. «Я с ним знакома: он издевается над символистами. Зато я хотела бы познакомиться с его сестрой Зинаидой, но она сейчас в Берлине». Завтра или послезавтра они (т.е. она и Рильке) собираются на несколько дней в Москву; затем проведут здесь (предположительно) дни пушкинского юбилея и примерно к середине июня отправятся домой в Шмаргендорф.

По-русски она не произнесла ни слова; лишь перевела для Рильке имя нашей собачки: Дрянь — Schund, Dreck. <...>

Забыл упомянуть, что Андреас-Саломе с величайшем уважением отзывалась о Любови Гуревич как человеке. <...>.

16 мая 1899

Вчера у Жихаревых — первая годовщина их свадьбы. Лихачев внезапно изрек:

Люблю тебя, Федька!..
В альбоме отметь-ка!

Два года назад, когда Жихарев и Позняков вместе путешествовали пароходом по Волге, они отправили Мамину телеграмму (текст придумал Позняков):

Из Самары для Дмитрия Мамина
Шлем почтенье мужское и дамино.

На пароходе было несколько знакомых дам. Телеграфист исправил «дамино» на «*дамское*».

10 августа 1899

Вчера явился Мамин: лицо красное; сомнительное, серое в крапинку, пальто; а шапка на голове — не то с приказчика, не то с мошенника. Однако мил и добродушен. И, как всегда, комичен. За лето написал десять листов. Мы сели завтракать. Он — большой поклонник Вильгельма II, которого называет «гениальным». Зато Толстого зовет лжецом, *юродивым, кликушей* и ужасным человеком; ничего не читал из его последних вещей; главную роль в 1812 году играл, по его словам, русский крестьянин, а Толстой стал вместо него прославлять всяческих князей. Мы отправились в редакцию «Русского Богатства», где он отдал свой роман «Падающие звезды» и взял пятьдесят рублей. Оттуда — в редакцию «Журнала для всех», но редактора не было на месте, и Мамин не получил таким образом ожидаемых денег. Под конец — в гостиницу «Северная», где сыграли две партии в бильярд. Потом, как и было условлено, пришел Михайловский, и мы стали обедать. Его веснушчатая правая рука дрожит, когда он подносит ко рту стакан с английским биттером или пивом. Был крайне несдержан в отношении Короленко: мол, очень небрежен в присылке рукописей, и только благодаря ему задерживается том беллетристики «Русского Богатства»[248] (запрещенного на три месяца)[249]; о постоянном недомогании Короленко отозвался иронически. Горького считает очень талантливым. «Семейное счастье» Толстого, по его словам, «пустое и поверхностное произведение». Крайне уничижительно отозвался о Баранцевиче: «Все, что он написал за последние пятнадцать лет, совершенно бездарно... А его путевые очерки в "России"! Не могу представить себе ничего более скучного и глупого!.. Короче говоря: у меня раньше

ше были сомнения в отношении него; теперь их нет!» Мамин расстался с нами, чтобы ехать к себе за город, а Михайловский стал всячески расхваливать его как человека и писателя. Но и побранил — за то, что он всегда *скомкивает* развязку в своих повестях и романах. Это происходит оттого, что он недостаточно экономно распределяет материал; когда ж его просят задуматься над тем, что роман, если и далее вести события в таком темпе, грозит разрастись так, что придется его продолжать и в будущем журнальном году, он со смехом отвечает, имея в виду своих персонажей: «Ну, тогда я просто прикончу этих мерзавцев!»... Затем Михайловский сказал про Мамина, что хотя он и нравится всем женщинам, но до известного результата дело никогда не доходит, поскольку они не принимают его всерьез. — — —

Сегодня навестил Венгерова. В июне он путешествовал по Германии. «Для меня там все, так сказать, слишком чисто; немцы пусты и мелочны. То, что они не знают Пушкина, — это можно было предвидеть; но что они не знают и своего Шиллера, — это меня удивляет!» Для своего готовящегося издания Шиллера он искал в самых разных немецких городах его портреты и собрал целый музей, изумивший меня. Предлагал различным поэтам перевести то или иное стихотворение; двое отказались: Лохвицкая — она вообще ничего не желает переводить, и Бальмонт — он считает Шиллера незначительным, ужасно переоцененным поэтом (!!!)... В Гомбурге он застал: свою сестру Зинаиду, чету Мережковских, Андреевского и Минского с Изабеллой Вилькиной. «Да это прямо собачья свадьба!» — непроизвольно воскликнул я, и Венгеров, засмеявшись, кивнул в подтверждение. Минский лечится в Фалькенштейне и платит за это ежедневно восемнадцать марок (и столько же за Беллу, которая не лечится), хотя это еще не все расходы. В Веймаре он (Венгеров) хотел посетить Ницше и долго разговаривал с его сестрой, которая, однако, не позволила ему взглянуть на брата... Вошла пухлая и розовая Зинаида Венгерова. В журнале «Magazin...» она опубликовала статью («Молодая Россия»)[250]. «Много ли они в ней исправили?» — «Ни слова!» Чрезвычайно удивлена тем, что у немецких писателей столь жалкие гонорары. Знакома со многими писателями, например, с Якобовским, который мечтает, чтобы о нем узнали в России, и с Арно Хольцем. Рассказывала о последнем: он настолько беден, что его поэтические «питомцы», посещая его, приносят с собой бутерброды; каждый из них купил для себя стул и поставил его в квартире Хольца. Он зарабатывает себе на жизнь главным образом тем, что придумывает различные игрушки, а потом продает идею какому-нибудь фабриканту. Познакомилась также с Мутером и Куно Фишером (с последним, подозреваю, лишь на его лекции в университетской аудитории). — —

Зашел к Коринфскому в редакцию «Правительственного Вестника». За лето он написал всего одиннадцать стихотворений, но тем больше, ради заработка,

этнографических статей. Подарил мне роскошный экземпляр своей книги «*Бывальщины*»[251] и сказал, что переплет лучше, чем содержание. <...>

18 августа 1899

Вчера в «Капернауме» случайно встретил Мамина. К нему в гости приехала мать, проделав для этого шестидневное путешествие. Она держит его в строгости: на столе не должно быть даже стакана пива. Она до сих пор не может оправиться от тех страшных сцен, которые устраивал ее отец, горький пьяница.

Он (Мамин) пишет теперь одновременно четыре вещи; поработав с час, идет прогуляться, чтобы обдумать дальнейшее. За лето он собирался написать две пьесы, используя наиболее характерные фигуры своих произведений; замысел остался не осуществленным. Теперь он одержим мыслью написать ряд повестей под общим названием «*Медвяные* (sic! — *К.А.*) *реки*»[252]. Беллетристика Чехова в целом не вызывает у него особого восхищения, однако стиль кажется ему «прекраснейшим со времен Лермонтова». — —

21 августа 1899

<...> Сегодня у меня был Мамин. Конечно, отправились играть на бильярде. «Не понимаю, — сказал он об Альбове, — как Святловские могут его так долго терпеть: у него очень трудный характер. Мне кажется, он меня *недолюбливает*»... Уговаривал сдать ему две пустующие у нас комнаты — отчасти для работы (во время его частых приездов в Петербург, когда ему удается выкроить несколько свободных часов), отчасти для приема посетителей, в том числе — юной графини Регины Потоцкой, с которой у него роман; я не мог дать ему определенного ответа, поскольку эти комнаты займет, по всей видимости, Альбов. Он поехал на Царскосельский вокзал, высадив меня у нашей парадной; дома я нашел благодарственное письмо от Альбова, изъявившего готовность занять комнаты, и тотчас помчался на вокзал, где и застал Мамина в буфете, за столиком, на котором, словно кисет с табаком, лежала его мертвая голова и стояла бутылка пива. Он искренне огорчился, узнав, что его план с квартирой не удался, и сообщил мне, что отправил экспресс[253] Потоцкой и она должна появиться с минуты на минуту. И она появилась и стала его обнимать и целовать на глазах у публики. Графского в ней ни капли, это следует приписать исключительно фантазии Мамина. Ей двадцать лет, изящно сложена; лицом, особенно в скулах, напоминает калмычку, но в остальном красива; доверчивые глаза и наивная болтовня с польским акцентом; в целом — очень симпатична. Парочка скоро покинула ресторан.

24 августа 1899

Альбов воистину неистощим в своих рассказах о том, что касается его собственной персоны; память у него поразительная: самые незначительные события давно забытого прошлого он способен восстановить в строго хронологической последовательности. <...> Два месяца не курил, причем не столько ради здоровья, сколько для того, чтобы испытать силу характера.

Совершенно не выносит, когда ему возражают; а когда пьян, от него можно услышать либо «Если я говорю!..», либо «Тебе этого не понять!»

Я предложил ему почитать Гейне (разумеется, по-русски). «Терпеть его не могу!» — «Но ведь ты его совсем не знаешь!» — «Да я и знать не хочу, этого еврея, шпиона!»

О Льве Толстом: «Ненавижу его как человека, потому что он — лицемер и фарисей!»

Из так называемых «молодых» современных русских писателей он (Альбов) не признает никого: они, мол, не способны сказать ничего нового; самым одаренным из них считает Мамина и сожалеет, что в спешке он не успевает, как следует, художественно обработать свои сюжеты; Чехов, по его словам, — это модный товар, а Короленко он вообще не может читать: ему претит его сентиментальный лиризм.

Уверяет, что никогда не любил. «А твоя жена?» — спросил я. — «Ах, это было, скорее, *мозговое дело*». <...>

16 сентября 1899

<....> Альбов недоволен своей латинской фамилией. Его дед (с отцовской стороны), *причетчик* в деревне Озера (Тихвинский уезд Новгородской губернии), носил фамилию Озерской. Так же звали и его отца — до того, как он поступил в духовное училище. Тогда было модно переделывать фамилии на латинский и греческий лад, и его окрестили — из-за белизны лица — Альбовым. — —

Утром и вечером Альбову подают самовар, и он по старой привычке проводит перед ним около двух часов, погрузившись в раздумья. Только так, ему кажется, и можно пить чай. При этом нельзя не упомянуть о главном: он требует, чтобы ему приносили уже кипящий самовар, и вот он сидит и слушает самоварную музыку: кипенье, клокотанье, шипенье, пенье, свист и шепот.

Позавчера мы выпили с ним в «Дерби» бутылку вина. Он чрезвычайно доволен: ему прекрасно живется у нас — на полном пансионе. Прямо-таки материнская забота, которой окружила его моя жена, даже *стесняет* его. — —

Недавно на Невском мы встретили Лугового. Он сообщил, что живет в Луге, и Баранцевич сказал: «Так вот почему Луговой!» — «Боже, я только и слышу по

всему Невскому эту фразу, но при этом господа русские писатели не знают, что прилагательное от "Луга" будет...» — «Лужский», — перебил я. «Вот именно, а не Луговой! *Ай да немец*!» <...>

5 октября 1899

<...> В редакции журнала «Жизнь» собралось вчера около ста человек; были также сотрудники «Русского Богатства» и «Мира Божьего». Когда пили шампанское, провозглашен был тост за братание народников с марксистами. Нескончаемые речи показались Альбову непритворно напыщенными и притворно лживыми. Рядом с ним сидела Зинаида Мережковская, которую Альбов считает куда более естественной и, значит, более привлекательной, чем она обычно выставляет себя. Когда за ужином на первое подали суп (!), она обернулась к мужу со словами: «Не ешь суп — опять *живот заболит!*». Затем, повернувшись к Альбову и указав на стоящий перед ней горшок с хризантемами, сказала: «Они так невинны, что даже не пахнут». Помимо братания, чествовали Горького (псевдоним Алексея Максимовича Пешкова), находящегося сейчас в Петербурге. Отвечая на обращенный к нему тост, встреченный бурными аплодисментами, Горький допустил неловкость, простительную для неопытного оратора; он сказал, что «*на безлюдье и Фома — дворянин*». Однако никто на него не обиделся; все поняли, что именно он пытался выразить: что среди множества провинциальных писателей лишь он один почему-то привлекает к себе внимание.

Альбов превозносит его за скромность и естественность. Когда он (Альбов) вместе с Баранцевичем, которому Горький недавно нанес визит, уходил из редакции, Горький, провожая их, вышел на улицу, где долго стоял с ними под сильным дождем, без пальто и головного убора. — — —

Встретил сегодня в книжном магазине «Нового Времени» Вейнберга; он назвал покойного Минаева *подлецом* — за его неверные переводы Гейне. Ему стоило огромных усилий переложить на русский язык «старые злые песни» Гейне. Зато «Битва с драконом» Шиллера удалось ему, по его словам, превосходно: почти дословно.

На Невском мне повстречались Свирский (в поношенном костюме) и Брешко-Брешковский (одет элегантно, на голове — цилиндр). Он (Брешко-Брешковский) бросился мне навстречу с возгласом «желанный», но я отвернулся в сторону; тогда он поспешил за Альбовым, который от него мигом ворчливо отделался.

Альбов по-прежнему ненавидит все немецкое. Конечно, он слишком воспитан для того, чтобы открыто выражать свои чувства, — но тем более выдает его все, что написано у него на лице: стоит заговорить о чем-нибудь немецком, оно становится либо скучным, либо холодным и мрачным; в его присутствии (ска-

жем, во время общего обеда) у нас давно уже не звучит немецкая речь — из деликатности с нашей стороны. Я обладаю довольно большим собранием видовых открыток, и он как-то раз с интересом рассматривал виды Швейцарии и Верхней Италии; но как только дело дошло до Германии, он сморщился и положил пакет с открытками на стол. Сегодня я получил из книжного магазина целую кипу немецких иллюстрированных журналов. Увидев цветные обложки (но не успев еще прочитать название), он заинтересованно воскликнул «А!» и взял в руки журнал. Но вскоре его разочарованный взгляд угас. Первый журнал он пролистал тщательно, во втором смотрел сначала на подпись и лишь потом — в том случае, если фамилия художника была не немецкого звучания, — на изображение; остальные номера его вообще не заинтересовали. Обнаружив какую-нибудь особенно красивую иллюстрацию, я протягивал ее ему через стол со словами: «Ну, посмотри, какая прелесть!» На это он либо спокойно отвечал: «*Плохо* вижу», или же, если нельзя было отвертеться (например, при больших цветных иллюстрациях), сухо говорил «Н-да» и отворачивался. Вот еще пример. Я подписан на «*Новый журнал иностранной литературы*». Недавно получил сентябрьскую и октябрьскую книжки. Он взял их к себе домой. Когда же сегодня я захотел посмотреть эти номера, то обнаружил, что все страницы в них аккуратно разрезаны, кроме тех, где напечатана статья о Гете, украшенная несколькими иллюстрациями! Да, для немца, каковым я ощущаю себя всей душой (и даже с любовью), нелегко общаться порой с таким закоснелым русаком, как Альбов.

7 октября 1899

Сегодня к обеду у меня был Горький (А.М. Пешков). Он высок и костляв, с лица — неинтеллигентный мастеровой, однако держится просто и естественно. Много рассказывал о своей жизни: прямо-таки одиссея! Ему тридцать один год. Первая публикация — 26 октября 1892 года в газете «Кавказ» (рассказ «Макар Чудра»). В тот же день арестован в связи с политическими беспорядками. Удивительным образом то же самое случилось с ним и при появлении первого тома его сочинений: в десять вечера он получил книгу, а в двенадцать уже сидел в тюрьме. Чтению его обучил дед по старой псалтири. Посещал *городское училище*, но всего лишь пять месяцев, так как дед отдал его в учение к *маляру*. После этого он перепробовал множество профессий. Особенно яркие впечатления дала будущему писателю его работа посудником на волжском корабле. На его фантазию сильно повлияли не только ночные плаванья по Волге, но и рассказы повара *Смурого*, который познакомил его со своей библиотекой, состоявшей преимущественно из мистиков (среди них был и Гоголь с его фантастическими повестями). Смурый был очень силен; он поднимал плотного крепкого мальчика за шиворот, тряс его и приговаривал: «Читай! Читай!» (Позднее он, напившись,

свалился в трюм и сломал себе позвоночник.) Однако самое большое влияние на него (Горького) оказал и поныне живущий в Нижнем Новгороде присяжный поверенный Александр Иванович Ланин; он и сейчас пропагандирует революционные идеи. Горький сам провел некоторое время среди «бывших людей» и пережил все описанное им впоследствии. (Позднее Кувалда безо всякой причины зарезал двух людей.) Исходил пешком всю южную Россию, повсюду занимаясь самым тяжелым и простым трудом. Одиннадцать месяцев он изготовлял крендели, причем ему приходилось по двадцати одному часу месить тесто ногами и тяжестью собственного тела (быть своего рода давильной машиной); с тех пор он не ест кренделей. В 1887 году в Казани, когда многие из студентов, его ближайших друзей, были арестованы, он, разочаровавшись в жизни, покушался на самоубийство; пуля пробила ему левое легкое и вышла со спины. Врач сказал, что он вряд ли протянет до утра, однако через полтора месяца он был уже совершенно здоров (последствия выстрела до сих пор не давали о себе знать). Потом устроился грузчиком на пароход, таскал на берег ящики и растянул при этом сухожилие на левой ноге. Уже три года как женат, имеет сына. В Петербурге он не хотел бы жить: никакой природы, плохой климат, нет настоящих людей, одни сатиры и фавны, именующие себя писателями! Только в провинции можно встретить людей, живущих подлинной жизнью, и читателей, относящихся к писателю с любовью и пониманием, да и то среди простого народа: крестьян, ремесленников и поденщиков. Он — социал-демократ до последней капли крови и оптимист. «Добрых людей на свете больше, чем злых!» Другое его изречение: «Если убийство совершает культурный человек, то он в десять раз аморальнее, чем убийца из народа, ибо поступок простого человека определяется его инстинктом, природой». Жаловался, что его не оставляют в покое: мол, друзья постоянно таскают его по разным компаниям, где все на него глазеют и таращатся — «как будто я — двухголовый телец; но это не без пользы; публика сама идет к тому, кто должен идти к ней!» О своем неудачном тосте в понедельник сказал: «Конечно, это была оговорка, но за такие оговорки *получают в шею*!» Когда ему что-то не нравится, он, покачивая опущенной головой, говорит нараспев: «*Не хóрошó*» (он сильно окает). Его двухлетний сын «научился от меня бранным словам, — когда я ругаюсь с женой». Например, он сказал однажды: «Где же *анафема манишка*?» Отец его отчитал. Тогда малыш вышел из комнаты, но на пороге все-таки обернулся и прокричал своему родителю: «Черт!»

10 октября 1899

Пока Горький рассказывал историю своей жизни, Альбов сидел, опустив голову и не говоря ни слова; выражение лица у него было чрезвычайно мрачное. Я тоже говорил мало, увлеченно слушая рассказчика. Беседу поддерживал Баранцевич, которого я пригласил на обед именно для этой цели. Когда без четверти

восемь Горький ушел (он спешил в Александринский театр, в ложу своих знакомых), мы все трое отправились играть в бильярд. Альбов тоже принял участие, причем играл он впервые в жизни, вцепившись своими паукообразными пальчиками в кий, направленный острым концом к шару. Потом Баранцевич отправился домой, а мы вдвоем выпили по стакану дурдинского портера. Альбов разразился горькими жалобами на свою неудавшуюся жизнь. «Если бы ты знал, как я завидую Горькому, его силе и энергии! Вот каким должен быть настоящий писатель! Я же ничего больше не сделаю, не смогу сделать. Только брак мог бы спасти меня... но, нет, и это не помогло бы, потому что я безнадежно потерян! Остается лишь покончить с собой... но и на этот шаг мне никогда не решиться, потому что я не только эгоист, но еще и трус!» Я тщетно пытался его утешить. Если даже его «Сироту»[254] где-либо и примут на предполагаемых условиях, — это все равно не изменит ситуации. Поэтому он заявил, что не хочет больше лечиться и оставляет без внимания письмо Острогорского <...>

Забыл отметить, что позавчера в Союзе слышал чье-то утверждение, будто Антон Чехов женится вскоре на московской драматической актрисе Книппер. День бракосочетания был уже якобы объявлен, но жених заболел. — — — <...>

11 октября 1899

Сегодня встретил Седого (Александра Чехова). Спросил его, действительно ли его брат Антон женится. «Другие его женят вот уже, наверно, в сотый раз; а на самом деле в этом нет ни слова правды!»

Провел вчерашний вечер у Лихачева. По его словам, на нем лежит вина за то, что Потапенко вынужден был прекратить свое сотрудничество в «Новом Времени». После заседания Комитета, состоявшегося 12 марта, он (Потапенко) еще продолжал писать для газеты — он якобы сказал Суворину, что отказался подписать протокол. Лихачев узнал об этом позднее, иначе не сообщил бы Буренину, что все произошло как раз наоборот. После чего Потапенко уволили.

Щепкина-Куперник посвятила Лихачеву — в связи с его юбилеем — следующее стихотворение:

Как Вам известно, я — москвичка.
Слывет наивною Москва...
У нас есть скверная привычка
Любить забытые слова.
Мы помним то, что «позабыто»,
То, что у Вас зовут «избито»;
И если б были Вы москвич,
Звучал сильнее бы мой спич.
Я Вам сказала б честь и славу,
Что тридцать лет трудились Вы,

В искусстве видя не забаву,
Не ловлю денег и молвы...
Что Вы искали наслажденья
В восторгах честного труда,
Что Вы святые убежденья
Не предавали никогда...
Но нет! Пусть в городе туманном
Поймут меня на этот раз.
Пускай не будет нежеланным
Все то, что я скажу для Вас.
Уж больше спорить нам не нужно,
Согласье заслужили Вы!
Примите же привет наш дружно
От Петербурга и Москвы!

<...>

21 октября 1899

Сегодня меня навестил П.И. Вейнберг — хотел взглянуть на мое собрание русских переводов Гейне, поскольку готовит собственное издание. Он никогда не писал драм, за исключением комедии «*Полтинник и два жилета*», которую сочинил еще гимназистом; она осталась неопубликованной. Когда он был совсем маленьким, кто-то в Одессе показал ему на улице Гоголя. Очень хорошо знал Некрасова. Рассказывал: «Прежде всего это был необыкновенно умный человек. С людьми, которых он любил, он мог быть обворожительно любезным; но когда он разговаривал с теми, кого недолюбливал, во всем его существе проступало нечто змеиное». — «Правда ли, что он был заядлый игрок?» — «Да». — «Шулер?» — «О нет! Однажды он рассказал мне, что, находясь в Берлине, он и один его знакомый познакомились с русским, у которого была полная шкатулка золотых монет. “Мы так долго его *обхаживали*, пока она вовсе не опустела!” Тургенев отзывался о нем чрезвычайно дурно; однажды в Париже он сказал мне: “Моя правая рука никогда не осквернится рукопожатием Некрасова!” — «А ему действительно приходилось голодать и ночевать на улице?» — «Он всегда уверял, что так и было. Зато Григорович утверждает, что он (Некрасов) приехал в Петербург не только с достаточным количеством денег, но еще и с прислугой». — «Вы никогда не вели литературных записей?» — «Нет, но сейчас пишу воспоминания». <...>

6 ноября 1899

Отпраздновать мое сорокалетие пришло вчера сорок человек, причем две трети — без приглашения. Баранцевич выступал недавно с чтением своих произ-

ведений в Новгороде и разговаривал там с лечащим врачом Глеба Успенского. Он растолстел, о выздоровлении и говорить не приходится. Как-то раз на больничный двор привезли освежеванную тушу забитого быка, и Успенский, печально глядя из окна на эту гору мяса, воскликнул: «Бедный Потапенко, как же тебя отделали!» Южаков, в безукоризненном черном сюртуке, любовно похлопал меня по рукам и голове; в течение всего ужина визгливым голосом болтал со своей соседкой Гриневской. Вопреки ожиданию явилась и Введенская (он, конечно, не пришел, поскольку я недавно отказался выдать ему бронзовый вексель и тем самым утратил в его глазах какое бы то ни было право на существование). Потапенко пробыл всего час и ушел, сославшись на срочную работу (Марья Андреевна не явилась, чему я был искренне рад). Недолго пробыл и Мережковский (она — больна); на этих днях они снова отправляются в Италию. Сильно нализавшийся Коринфский вел себя со всеми фамильярно, впрочем, — в рамках приличия. А.М. Федоров рассказывал, что Савина и Яворская бьются за право постановки его драмы «*Бурелом*», в основе которой — эпоха шестидесятых годов. Когда я сказал об одном человеке (не писателе), что он не достоин развязать шнурки другому человеку (писателю), Мамин добавил: «Он недостоин целовать след блохи, укусившей околевшую собаку писателя!» Позняков (явился вместе с Марией Романовной) внезапно почувствовал себя нехорошо; ему пришлось принять тридцать капель болдрианы[255]; ушел сразу же после ужина, так ничего и не спев. Щеглов (Леонтьев) сидел возле Альбова, и оба жаловались друг другу на свои нервные болезни; Щеглов иногда разражался смехом, напоминавшим уханье совенка. П.А. Сергеенко сказал, что собирается посвятить мне свою только что завершенную драму «Сократ»: рассказывал, что Толстой пожертвовал все когда-либо присланные ему книги на благотворительные цели; при этом он сперва вырвал все листы с надписями и составил из них целый большой том. Чюминой после ужина тоже вдруг сделалось нехорошо; с лицом, побелевшим, как полотно, она, покачиваясь, спустилась по лестнице: сказала, что это — от стакана вина, пить которое она не привыкла, однако доктор Жихарев приписал это слишком сильной шнуровке. Карпов (с женой) пришел из театра после часу ночи и веселил всех своим пением. Актер М.И. Писарев не отходил, конечно, от своей Анненковой-Бернар. Обе соперницы, Слепцова и Пименова, сидели рядом, доверительно беседуя друг с другом; Пименова столь резко порвала с Михайловским, что переехала на другую квартиру (Николаевская, 16); она показывала ему письма Слепцовой к ней, в которой та бранит Михайловского (Слепцова сама сообщила об этом моей жене); но в прошлое воскресенье она (Пименова) помирилась с Михайловским. Его самого не было: уехал отдохнуть в Кострому. Кроме того, отсутствовали: Ватсон (написала, что больна), Острогорский (тоже) и Луговой (прислал мне из Луги четвертый том своих сочинений и поздравительную телеграмму). Не пришла и Лохвицкая, хотя твердо обещала приехать после

полуночи из другого собрания. Присутствовали также (из писателей): Пантелеев, Зарин, Венгеров с сестрой Зинаидой, Лихачев (с женой) и Сальников.

7 ноября 1899

<...> Альбов рассказал сегодня следующее. Однажды он сидел с покойным Терпигоревым (Атава) у Палкина. За соседним столом расположилась компания инженеров; они громко судачили по поводу «Нового Времени» и называли Суворина «продажной душой». Терпигорев, повернувшись, прогнусавил: «Неправда! Суворин не продается!» Господа инженеры попросили его не вмешиваться в их разговор, однако Терпигорев повторил свои слова. Тогда один из них воскликнул: «Да кто Вы такой? Почему себе позволяете?..» Терпигорев протянул им свою визитную карточку. Тут они все вскочили с места: «А, Терпигорев! Атава!», стали пожимать ему руку, заверять в своем уважении к нему, и конфликтная ситуация обернулась приятным времяпровождением. Когда Альбов прощался с Терпигоревым, тот сказал поучительным тоном: «Вот видите, это и есть жизнь, ее-то и нужно описывать, а не копаться в собственных внутренностях».

9 ноября 1899

Вчера — день рождения Альбова (49 лет) и одновременно — день его именин. Острогорский весьма пренебрежительно говорил о сегодняшней молодежи и сказал, что о Чехове невозможно составить себе определенного мнения, поскольку у него отсутствует собственное лицо; драмы же — и вовсе непонятны. Позняков (Мария Романовна отправилась на чьи-то именины) утверждал, что не читал ничего более возмутительного по мысли, чем «Мужики» Чехова. Острогорский пел «Скажи, кто придумал часы...» на очень приятный, им же сочиненный мотив. Баранцевич пел «*Дитятко*» Пасхалова (текст Огарева), причем с неослабевающим вдохновением. Присутствовали также: Сальников и В.Ф. Максимов, старый приятель Альбова. Было славно и уютно. Альбов уверял, что Позняков был в прошлые годы совсем другим, нежели теперь: стоит ему выпить, он становится злым и задиристым. По болезни отсутствовали Лихачев и Мамин, приславшие поздравительные телеграммы.

13 ноября 1899

Вчера — вечер у Случевского. В прошлую пятницу (я отсутствовал) решено было издавать маленький сатирический журнал «Словцо». За ужином была предложена такая же тема для стихов: «Словцо». Коринфский сохранил для меня написанные тексты; вот они:

Случевский:

Живой листок нам явит внове
Словесных прелестей лицо,
И в ком же, как не в Лихачеве
Найдется складное словцо?
Да, господа, не шутки ради
В листке поэзии мечты
Раскинут кос роскошных пряди,
Откроют грудь не в стиле б...и,
А в стиле чистой красоты.

Лихачев (избранный редактором «Словца»):

Будь борцом,
Молодцом,
Наглеца и лжеца
Бей словцом,
Копьецом,
Не в лицо —
Так в яйцо!

Его же, не имеющее отношения к теме:

От послеобеденной тупости
Не в силах сказать я и глупости.

Быков:

а)

Я утром вышел на крыльцо,
Красой сияла вся природа —
Воскликнул я тогда словцо
Такого пламенного рода,
Что ветер мне пахнул в лицо
И донеслось из огорода:
О ты, тлетворная свобода!
Продеть бы в нос тебе кольцо!

b)

Играет роль во всей вселенной
Яйцо —
А в раздраженьи мысли пленной
Словцо!

c)

Возвеселись весь берег невский!
Вот эта новость налицо:
В одну из пятниц наш Случевский
Родил веселое «Словцо».

Мазуркевич:

a)

С алой краскою лица
Напишу я что-нибудь.
Но боюсь, что в честь «Словца»
Мне «словечка» не загнуть.

b)

Юмористическим журналам
Родится новое бельмо.
«Словцо» наполнится не калом,
А лишь удачными bon-mots[256].

c)

Я крикну, выйдя на крыльцо,
Друзьям и всем врагам заклятым:
Пусть станет в будущем «Словцо»
Словцом «крылатым»!

Барятинский:

a)

Словцов людских бывает тьма.
Друзья, пример сказати ли?
От славного l'état c'est moi[257]
И до е...й м...и.

b)

Слова! Слова! Сказал Гамлет
Через Василия Шекспира.
Словцо! Словцо! Кричим в ответ
На удивленье всего мира.

Шуф:

a)

Словцо нам не ново —
Мы знаем дорогу:
В начале бе слово
И слово бе к Богу.

b)

Желаю для «Словца»
Словец ловца.
Увы! по-русски jeu de mots[258] *—*
Дерь — мо!

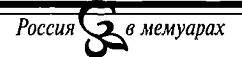
Сологуб:

a)

У каждого молодца
Есть два я...а,
Но не у каждого молодца
Найдутся два словца.

b)

Слагать стихи кой-как,
Конечно, не годится,



Словцо не обиняк
И на х.. не садится.*

Коринфский:

Мой товар налицо:
Есть словцо и «Словцо»!
Бросит в пот от иного,
Хоть оно и не ново.

Вчера была предложена тема «Моя эпитафия».

Крылов-Александров (был в первый раз; после часового раздумья):

Писатель здесь лежит, для Пятницы негодный,
Зане в кампаньи превосходной
Не в состояньи сочинять
В тот час, когда привык он спать.

Будищев (тоже был в первый раз, и я впервые его увидел):

На кладбище сельском так тихо,
У гумен мне сладко лежать;
На кладбище ходят ребятки,
И лошади бегают ср...ь.

Сологуб:

a) *Я лежу под сей плитою,*
В сем гробу.
Рядом с мертвою женою —
Но уже не е...у.

b) *На эту страшную могилу,*
Прохожий, не наплюй,—
Пускай подобен ты Ахиллу,
Но ведь истлеет и твой х...!

c) *Я лежу в спокойном гробе.*
Мне отрадно почивать —
Пищи нет в моей утробе,
И меня не будет рвать!

d) *Здесь почиет Федор Сологуб,*
Книзу зад, а кверху пуп.

* Вспомнить анекдот о слепне, попе и его дочери.

Порфиров:

Прохожий, хоть на миг остановись, взгляни,
Здесь мир вкусил поэт, писавший для «Словца»...
Во царствии Отца,
Господь, невинного греха не помяни!

Коринфский:

a) *За все пред собою самим я в ответе:*
Умру — похоронят, как пожил на свете.*

b) *Эпитафия моя:*
Много сделать он хотел,
Был всю жизнь он не у дел
И не нажил ни х...я!

Мазуркевич:

a) *Смущу свой вечный сон я надписью надгробной:*
Лежу в могиле здесь я в позе неудобной;
Задравши кверху нос в молчанье на спине,
Покоиться в гробу — нет, не в привычку мне.
И вспоминаю я о некой милой стерве...
Ах, нет ее теперь — и член мне лижут черви!

b) *Лишился жизни я от огорченья:*
Не потому, что я стихи писал,
Но потому, что сам свои творенья
Нечаянно однажды прочитал.

c) *На погосте средь могил*
Я скажу свой стих зоилу:
Женский член меня родил,
А мужской вогнал в могилу.

«Да, но **чей** мужской член?» — неожиданно спросил Лихачев, и все кругом засмеялись. Черниговец произнес импровизацию:

Вот неожиданное блюдо:
Он принял Вас за мудоблюда!

d) (Мазуркевич:)

Прочтите мою эпитафию,
Я сам же себя загубил
Затем, что отвергнул ра́тафию[259]
И водку казенную пил.

e) *Когда бы я сказать посмел —*
Сказал бы я без слов излишка

* Возможно также: не жил.

Живым и мертвым — мне удел
Всегда один и тот же: «Крышка».

Лебедев:

Лейтесь, рифмы-чаровницы,
Лейтесь, лейтесь без конца:
Ведь сотрудник я «Денницы»
И сотрудник я «Словца».

Лихачев:

Слава Богу, жил я, слава Богу, умер,
И в таблице жизни выбыл лишний нумер.

Шуф:

Был сердцем слаб —
Погиб от баб.

Гнедич нарисовал обычный старомодный деревянный крест с надписью: «*Гнедич Летиратор*».

Гайдебуров:

Редактор и плохой поэт,
Здесь почивает в цвете лет:
Он в тягость был богам иль бесам,
Земле ж легко: его скелет
Не тяготит кладбища весом.

Льдов:

a) *Певец лирических поэм,*
Лежит здесь, слава Богу, нем:
При жизни был никем,
По смерти стал ничем.

b) *Меня напрасно вы зовете*
Отжившим в горестном краю;
Я здесь живу, как вы живете:
Гнию.

c) *Лежу, как прежде, на постели,*
Хандрой бесстрастною объят:
Меня при жизни люди ели,
По смерти черви пусть едят.

Случевский:

а)

Хотелось бы мне эпитафии
Такой, чтобы с силой ратафии
Она горячила людей,
Затем, что в могиле лежание,
Изведавши существование,
Ей-Богу, всего веселей!

b)

Моя эпитафия в шелесте утра,
В созданьях живого его перламутра,
В молчании ночи и пении птицы
И в ярком сполохе лиловой зарницы,
В рыданьи глубоком и в мысли младой...
Не шутка, подумаешь, вот я какой!

Черниговец-Вишневский:

Попав случайно на кладбище,
Но в роли мертвеца,
Я думаю, что скучно здесь без пищи,
Без водки и винца.

Тот же Черниговец сказал: «Немцам следует видеть в России свою родину, ведь они видят ее повсюду, где звучат “материнские слова”[260]... а где чаще упоминают “мать”, чем у нас?»

Чюмина (ушла до ужина) сказала мне, что будет переводить «Божественную комедию» не терцинами, а свободным стихом; «Родина» платит ей тысячу рублей за каждую часть[261]. Грибовский и Сафонов ничего не написали за ужином. Сафонов летом лечился в Вене (промывание желудка и пр.), но врачи, по его словам, потеряв надежду, махнули на него рукой, и он пришел к убеждению, что лучше уж наполнять желудок алкоголем, чем морфием. — —

До этого был недолго в Союзе. Сергеенко умиленно показывал мне фотографии своих восьми детей. Толстой, по его словам, очень интересуется Горьким, находит у него талант, но называет его немного *лохматым*.

Дополнение к состязанию на тему «Эпитафия». Поскольку Сафонов ничего не хотел написать, Шуф сочинил от его имени:

Смертельной не боюсь косы, —
Она на мне утратит силу:
И рад бы лечь в могилу,
Да не пройдут усы.

17 ноября 1899

Позавчера — день рождения Михайловского. Все меньше людей, все меньше оживления, хотя в газетах было объявлено, что он отмечает сорокалетний

юбилей своей писательской деятельности (неверно: юбилей состоится лишь в июне или июле будущего года, поскольку именно в один из этих месяцев в каком-то журнале появилась его первая статья; он уверяет, что не помнит его названия). На конторке лежало около пятнадцати телеграмм, поздравлявших его с юбилеем, большей частью — от неизвестных лиц. Была предпринята робкая попытка что-то спеть и станцевать, но уже через пять минут воцарилась прежняя апатия. Да и пели в этот раз гораздо меньше обычного. Южаков набрался как следует. Короленко пришел, увидел и, никого не победив, удалился. Хочу еще записать стихотворение, которым покойный Плещеев украсил свой портрет, подаренный им редакции журнала «Русское Богатство», где он и поныне красуется в рамке (я списал его уже 10 августа с.г., но до сего дня забывал перенести в эту тетрадь):

На память преподносит
Свой престарелый лик
Экс-секретарь журнала
Annales patriotiques[262].

Мамина в течение нескольких часов ждал на улице его «лихач» (извозчик первого класса), который — несмотря на ужасную оттепель — вмиг домчал нас в санях до гостиницы «Северной» (по дороге Мамин радостно повторял: «До чего ж я люблю быструю езду!»), где мы играли в бильярд. — —

Вчера — вечеринка у Чюминой. Ее муж, хотя и бывший военный, чрезвычайно любезен, прост и мил; она — тоже. Лохвицкая пришла с Гайдебуровым (у них, поговаривают, роман); они все время держались вместе. Венгеров утверждал, что Гриневской (она, как обычно, вела себя по-девичьи жеманно), по крайней мере, сорок два года: он познакомился с ней двадцать один год назад, причем она и тогда уже не была юным существом. Кроме того, присутствовали (из писателей): Лихачев, Случевский, Мазуркевич и Зинаида Венгерова, а также — художник Лагорио.

20 ноября 1899

Вчера — у Случевского. Разговоры на финансовую тему в связи с изданием «Словца». Лохвицкая явилась в белом кашемировом платье и сообщила, что у нее сегодня день рождения. Шуф тут же изрек:

Поздравляю с днем рожденья,
Но не ангела, а генья.

В начале ужина, когда стало известно о новой победе буров[263], Лихачев произнес тост:

Дела домашние забудем мы на время.
За буров, господа, за доблестное племя!

Когда кто-то упрекнул Мазуркевича в том, что он не знает Библию, он ответил: «Да, я не пошел дальше Содома и Гоморры».

Импровизация на этот раз заключалась в том, что каждый предлагает своему соседу четыре слова, парно рифмующиеся; а тот должен приписать нечто осмысленное.

Случевский:

Спою я песнь о па́харе,
Та песня мне по ха́ре,
Ей не вариться в са́харе
И не звучать в Саха́ре.

Порфиров:

а)

От любимой дачи
Уезжал поэт
На убогой кляче.
До свиданья, Кэт!

b)

Русская поэзия
Жарит без пардону,
Прет нас, как магнезия,
Как Цимлянский с Дону.

Шуф:

а)

Приходи, голубка Груша!
Для любви суха нам суша,
И не лучше ль con amore[264]
Между волн прилечь нам в море.

b)

В Туркестане есть адат[265]*,*
Но приди туда солдат
И нагайкой только «брызни», —
Ни адата нет, ни жизни.

Коринфский:

Тридцать пять виршеплетиц... Но где ж поэтесса?!
Если б мышью была, не поймал бы ее здесь и кот.
Но Грибовский готов был всем ради прогресса
Всюду вход им открыть, всюда дать им всем вход.

Мазуркевич:

а)

Глухая ночь, я сел у тусклого костра
И, бутерброд с кавказским сыром сделав,

Следил, как ярких звезд лучистая игра
Бросала тихий свет без меры и пределов.

b)

Заплетал тебе я локон,
Вдалеке сверкала Кама;
Ах, твой локон, как широк он,
А сама ты прелесть — дама.

c)

Некий очень дерзкий шкипер
Дернул зá хвост какаду,
Какаду же мигом выпер
Смрадный запах, как в аду.

d)

Америкой бита Испания,
Пошла от испанцев испарина,
Так точно, как шел раз из бани я,
Испарину видя из барина.

Будищев:

a)

Какая еще там Испания?
Со мной от стихов уж испарина,
Как будто бы вышел из бани я
И дух сейчас выйдет из барина.

b)

Засосало болото
В замогильную даль,
Засосало кого-то;
Сверху плавает шаль.

c)

Седой отшельник,
Немой затворник
Пьет в понедельник,
Да и во вторник.

Кроме того, были выбраны псевдонимы для «Словца».

Коринфский — Сморгонский академик[266] (предложил сам)

Случевский — майор Дум-Дум[267] (предложил сам)

Шуф — Барон Шуфалов (предложено другими)

Грибовский — Сморчок (то же)

Порфиров — Порфирий Вампиров (то же)

Будищев — Abbat sans gêne[268] (то же)

Мазуркевич — Ci-devant[269] (то же)

Гайдебуров — Boer, т.е. Бур (то же)

Лихачев — Li Hung Chang (то же)

Mea tenuitas[270] — Friedrich Herein (то же), Скрипач[271] (мое предложение). — — —

Сегодня ко мне зашел Лихачев, чтобы выбрать материал для «Словца». Из всех стихов в этой тетради, принадлежащих перу поэтов — посетителей «Пятниц», он счел достойными опубликования только четыре. Большего я и не ожидал.

Будищев прислал мне сегодня свой портрет, а также сборник своих рассказов «*Степные волки*». Он не снабдил книгу автографом, поскольку считает эти рассказы слабыми. Однако Лихачев, Альбов и Баранцевич утверждают, что он весьма талантлив.

Лихачев рассказал, что Терпигорев (Атава) накупил себе различных жуков из папье-маше, поместил их в стеклянные колбочки и, показывая их своим посетителям, утверждал, что это — бациллы, увеличенные в миллион раз.

3 декабря 1899

На днях разговаривал с Александром Чеховым (Седым). Он говорит, что Антон стоит одной ногой в могиле и сам это хорошо знает, ибо ежедневно отхаркивает по три унции крови. Мысль о женитьбе ему и в голову не приходит. Однако позавчера на дне рождения у Ватсон доктор Елпатьевский, его приятель, постоянно живущий в Ялте, рассказал мне, что Чехов чувствует себя хорошо, а потеря крови происходит от другого заболевания: геморроя... Михайловский сказал, что говорить о кротости голубей — это предрассудок: они очень коварны, и это видно якобы из того, что они — чего не делает ни одна другая птица — пытаются бить своего противника крыльями по голове. <...>

Альбов любит, когда ему снятся страшные сны, — просыпаясь, он чувствует себя невероятно счастливым.

4 декабря 1899

Вчера — у Случевского. Я спросил Виктора Крылова (Александрова), действительно ли его драмы приносят ему ежегодно десять тысяч рублей. «Ну, де-

сять — нет, а восемь — да». Жаловался, что императорские театры им вовсе пренебрегают; его новая драма, которой восхищается в Москве Федотова, желая во что бы то ни стало заполучить для спектакля в свой бенефис, не была одобрена Театральным комитетом, в особенности — Алексеем Потехиным, который ему многим обязан: по желанию Потехина Крылов создал инсценировку его романов «*Около денег*» и «*Хворая*». Критика всегда относилась к нему враждебно. Уверял, что выполненные им переводы оперетт («Прекрасная Елена», «Перикола», «Орфей в аду»[272] и др.) оказывают куда менее опасное нравственное воздействие, чем современные пьесы, особенно французские.

Черниговец подобрал рифму к своей фамилии:

Я не пас свиней, я не стриг овец,
А писал все плохие стихи я,
И подписывал я их Черниговец,
И плохие стихи — мне стихия.

<...>

7 декабря 1899

Вчера — именины Михайловского. Ничего достойного внимания, кроме, пожалуй, одного обстоятельства: когда появилась Слепцова, он стал непрерывно расхаживать с ней взад-вперед, положив ей руку на талию и не проявляя более интереса к своим гостям. В семь вечера я отправился с Маминым играть в бильярд. Сегодня встретил Короленко. Он сказал, что вчера к ночи у Михайловского (чей старший сын, студент, тоже был именинником) собралась толпа студентов и курсисток; читались ли адреса, Короленко не знает, поскольку ушел в половине первого. — — <...>

20 декабря 1899

Мой брат Александр, изучавший право в здешнем университете, рассказывал мне, что экзаменовался одновременно с Мазуркевичем у профессора Сергеевича (по уголовному праву). Сергеевич все время цеплялся к нему и, в конце концов, пригрозил Мазуркевичу провалом, если тот не ответит на последний вопрос: как квалифицировать убийство новорожденного ребенка-уродца? «Точно так же, господин профессор, — отвечал Мазуркевич, — как если Вы уничтожите одного из Ваших питомцев». Что было дальше, мой брат не помнит. —

В гимназии Гуревича у меня есть коллега — учитель французского языка Пилисье (не Пелисье). Однажды, это было в 1879 или 1880 году, он разговаривал у Серезоля, бывшего президента Швейцарской конфедерации, с Виктором Гюго. Его спросили, пользовался ли он подъемной машиной до Глиона, и Гюго

ответил: «Je n'ai pas vu cet omnibus, mais j'attend un autre omnibus qui doit me mener plus haut»[273].

23 декабря 1899

Вчера приходил Мамин; сперва играли в бильярд, потом ужинали в «Капернауме». Я предложил ему поехать весной вместе с нами за границу. «Хо-хо! Что ты думаешь? Я буду чувствовать себя там еще *более дома*, чем ты! И останусь там навсегда! Потому что для меня *нет ничего заветного*. Я всех люблю, и все любят меня. Но когда я нахожусь вдали от моих друзей, я о них *никогда не вспоминаю*, потому что находятся новые друзья...» Не слишком лестно отзывается о Давыдовой: «Конечно, я видел от нее немало хорошего, но и она от меня — еще больше. Я принес ей не меньше пяти тысяч рублей, ведь она годами печатала мои вещи по 75 рублей за печатный лист». Уверяет, что не лишил невинности ни одной девушки. <...> Мы заговорили об умершем вчера Григоровиче, и Мамин сказал: «Он, наверное, притворяется по своему обыкновению»; его любезность, по словам Мамина, была только маской. И он (Мамин) на ходу сочинил две строчки, посвященные Григоровичу:

И кроткою звездой
Блистал полвека над землей.

<...>

6 января 1900

Сегодня меня посетил народный поэт Спиридон Дмитриевич Дрожжин из деревни Низовка Тверской губернии, где живет постоянно; он — простой крестьянин (его старшая дочь замужем за крестьянским парнем, две другие зарабатывают ежемесячно по пять рублей позументной работой). Кормится в основном тем, что дает труд на поле, поскольку литературная работа приносит ежегодно лишь какие-нибудь сто рублей. И все же за деньги, так тяжко им заработанные, он приобрел здесь у Вольфа, в «Новом Мире» которого напечатаны его стихи (говорит, что может их писать лишь тогда, когда они просятся из души наружу), томик Гейне: он — самоучка, но обожает этого поэта и зовет его Хэнье. Очень мил, естественен и доверчив, хотя и не лишен самодовольства, вызванного его литературными успехами. Испытал в жизни немало горя и рассказывал о многих случаях такого рода, которые, впрочем, уже напечатаны в его автобиографии[274]. Когда он работал приказчиком в одной из московских книжных лавок, его навестил сам Лев Толстой и держал себя по отношению к нему весьма дружественно. Но Дрожжин не толстовец: он, правда, не курит, зато ест мясо и пьет водку и пиво.

25 января 1900

Вчера — именины жены Жихарева. Мамин по секрету сообщил мне, что вскоре (вероятно, 6 февраля) он женится — на Ольге Францевне Гувале («Тетя Оля»), которая преданно заботится о его дочери и превосходно ведет хозяйство (он всегда отдает ей все свои деньги). Ей — 43 года, ему — 48. Сбылось то, что я не раз предрекал ему много лет назад. Он мотивирует этот шаг таким образом: «Об африканской страсти нет, конечно, и речи! Но я думаю иногда о собственной смерти (кому я все оставлю, когда моя родня — далеко?), а еще — о судьбе Аленушки». Ужасающе рассуждает о «немцах», то есть чинно-учтивых родственниках Ольги Францевны, требующих, чтобы он приходил к ним и официально представлялся, а, кроме того, в день обручения облачился во фрак, а она — в белое подвенечное платье. Просит поэтому всех своих друзей не присутствовать на церемонии, дабы они не видели *«торжество моего позора»*. <...>

16 февраля 1900

Посетил сегодня Алексея Михайловича Жемчужникова (Троицкая, 8, кв. 16), чтобы задним числом поздравить его с писательским юбилеем, отмечавшимся в этом месяце десятого числа. Несмотря на свой преклонный возраст (родился в 1821 году) он все еще очень бодр — и телом, и духом. «В дни моего торжества я совершенно не чувствовал тяжести лет. Меня особенно тронуло письмо Льва Толстого. С самого начала нашего знакомства мы стали называть друг друга на “ты”, хотя и не пили на брудершафт. С Тургеневым я тоже был дружен, но в течение всей его жизни мы продолжали говорить друг другу “вы”». — «Не собираетесь ли записать свои воспоминания? Они получились бы, конечно, очень интересными». — «Нет, я пишу теперь с огромным усилием». — «Но ведь Вы диктуете Вашей дочери Настасье Алексеевне?» — «Диктовать? Нет, этого я не могу!» Я не видел его (Жемчужникова) добрых двенадцать лет, но он сам в подробностях помнит встречу со мной и моей женой в Финляндии, в имении его родственницы, покойной княгини Оболенской.

21 февраля 1900

Семнадцатого числа сего месяца я фотографировался у Д.С. Здобнова: он давно уже просил меня зайти, поскольку желает иметь мое изображение в своем собрании писательских портретов. Он — большой любитель литературы и втайне пишет стихи. Одну тетрадку его стихов взял себе в 1892 или 1893 году Сафонов (Печорин) и сказал, что посодействует их публикации. Этого не случилось, а тетрадка — несмотря на многократные напоминания — так и не вернулась к владельцу. Здобнов чрезвычайно сердит на Сафонова и называет его «вообще бессовестным человеком». — —

Вчера — у Мамина. «Молодые» уже говорят друг другу «ты». У него напечатано столько, что хватит на пятнадцать томов. Теперь хочет взяться за писание драм. Стол, казалось, вот-вот рухнет под тяжестью превосходных яств и напитков; тем не менее было чрезвычайно скучно. <...>

4 марта 1900

Вчера — у Случевского. Новые псевдонимы для 11-го номера «Словца»: Бур — Гайдебуров; Ибис — Гнедич; Он же — Гнедич; Nemo — Вентцель-Юрьин.

Величко потребовал, чтобы его имя вычеркнули из списка сотрудников «Словца», потому что Лихачев не опубликовал его (Величко) стихотворение, защищающее князя Мещерского. В своем письме (как, впрочем, и обычно) он проявляет себя задиристо и высокомерно.

Лихачев передал мне то, что было написано в прошлую пятницу.

Гайдебуров:

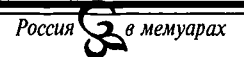
Коль Мазуркевич, Шуф или другой Владимир,
Барятинский иль Лихачев,
Блестят игривостью стихов,
Мы рады: юмор жив, не умер.

Когда же гений Сологуба
Дарит нам стихотворный спич, —
Мы восхищаемся сугубо:
У нас — второй Прутков Кузьмич.

Сологуб:

Когда я был Аркадским принцем,
Мне оплеуху некто дал.
Я недоволен был гостинцем
И зарыдал.
И к полковому командиру
Я приглашен был в тот же день.
— Здесь оскорбление мундиру,
На честь полка ложится тень.
И потому-то супостата
Вам надо вызвать на дуэль. —
Я зарыдал, позвал собрата,
Дерусь, — я все же не кисель.
И вот убит я на дуэли,
Попала пуля прямо в лоб.
И вот на целых три недели
Я лег в холодный гроб.

Барятинский (на себя самого; во второй строфе — на Величко):



На севере диком белиберду пишет
Угрюмый редактор Вово,
И дремлет, качаясь, с тоскою во взоре
Читатель унылый его.

И снится Вово, что в Тифлисе далеком,
В том крае, где солнца восход,
Такую ж белиберду Вася Величко
В своем официозе несет.

Барятинский (против Мещерского):

Нет крепостных... Из всех газет
Я «Гражданин» всегда храню.
Как бледный призрак прошлых лет
Он дупу радует мою.

И задним преданный страстям,
Не мог его я затерять.
Так хам «гражданственный» — все хам
И педераст — все та же б...ь.

«Дупа» по-польски — задница.

Мазуркевич:

Какая лень, какая скука!
Мне лень лежать, мне лень сидеть,
И, если правду молвить, — мука
Мне даже изредка п...ь.

Мазуркевич (на Лелянова, председателя Думы, отвечавшего недавно на все вопросы молчанием):

«Голова, ты слышишь шум?
Отвечай нам, ну-ка!»
Голова сидит угрюм —
И в ответ ни звука.
Что ж! Поверивши молве,
Крикнем все при шуме:
Нету думы в голове,
Головы нет в думе.

Сологуб:

Когда я был мужчиной,
Что было так давно,
Я был тому причиной,
Что было суждено.

Когда же был я бабой,
Что нынче все равно,

Я был причиной слабой
Тому, что суждено.

А если б я был девой,
Что мне уж мудрено,
То было бы хитрой Евой
И мне быть суждено.

Грибовский предложил говорить вместо *декаденты — дикоденты.*

Владимир Соловьев декламировал собственные и чужие стихи сатирического содержания. Когда кто-то шутил, он смеялся, широко открывая рот, и слышалось ха-ха-ха-ха-ха, подобное совиному плачу. За ужином он съел рыбу и гору кислой капусты; выпил кроме того стакан пива.

5 марта 1900

Вчера — именины Баранцевича. Был Свирский, коего дерзость вызвала всеобщее возмущение (назвал, например, *прохвостом* отсутствующего Потапенко). Выпивки опять не хватило, так что группе гостей пришлось пойти к Палкину. Причина тому — не скупость или нехватка денег, а неуважение к гостям...

Альбов рассказывал сегодня, что когда он в первый раз отправился в Полтаву, с ним вместе ехал Чехов. «Он такой скупой: на станциях, где мы ели и пили, ни разу не дал на чай ни одной копейки; мне было стыдно перед официантами».

Потом зашел Брешко-Брешковский — разумеется, не ко мне, а к Альбову; он принес ему рукопись своей повести, просил прочитать и высказать авторитетное мнение. И Альбов, которому Брешко-Брешковский омерзителен до крайности, исполнит его просьбу, поскольку это льстит его самолюбию: нашелся хоть один, кто считается с его мнением. Я сомневаюсь, что Брешко действительно «считается» с мнением Альбова; просто хочет, чтобы у него стало одним врагом меньше. За обедом (приличия ради я вынужден был пригласить и Брешко к столу) Альбов обратился к нему и сказал: «Хоть Свирский и Ваш приятель, но должен признаться: я с удовольствием бы его повесил; да, мне даже кажется, что он крал носовые платки!» — — —

11 марта 1900

Вчера — у Случевского. На лестнице встретил Лохвицкую, весьма возбужденную. Выяснилось: ей было предложено написать, наконец, хоть что-нибудь для «Словца», но она обиженно возразила: «Вы ведь знаете, что я не выношу само это



слово — “Словцо”!» Тогда Грибовский в шутку сказал: «Ну, мы все равно поместим что-нибудь Ваше: например, шарж на Вас» (во вчерашнем номере появился шаржированный портрет Владимира Соловьева, выполненный художником Соломко). Тогда она встала, вышла из комнаты и покинула квартиру.

Что еще?

Владимир Соловьев (за ужином он ел рыбный майонез[275], получив заверение, что в нем нет раков) продекламировал следующее стихотворение Федора Львовича Соллогуба (племянника автора «Тарантаса»):

Мой сосед вернулся поздно.
«Где ты был?» — спросил я грозно.
Он молчал — но под окном
Шесть собак прошли гуськом.

Льдов не был уже целую вечность, да и имя его за все это время не упоминалось ни разу. Я спросил Коринфского о причине его отсутствия, и он объяснил, что Льдов, исполнявший должность секретаря в «Северном Курьере», уволен Барятинским и потому не хочет встречаться с ним у Случевского. — —

Недавно разговаривал с Потапенко. Собирается в большой фабричный город под Москвой (Иваново-Вознесенск), чтобы изучать быт рабочих; это нужно ему для задуманной пьесы. Считает, что Горький невероятно одарен; усматривает его талант не столько в двух первых томах его сочинений, сколько в «Фоме Гордееве». — —

Вчера явился Мамин — с женой и дочерью. Моя жена (я еще не вернулся) предложила ему стакан пива, но «Тетя Оля» попросила: «Пожалуйста, не угощайте его: дома он и так ничего не делает — лишь пьет пиво да спит». Мамин на это ничего не сказал, но тотчас отправился к Альбову, где тайком упросил служанку дать ему бутылку пива. Я предложил ему отправиться вместе с нами в Париж на Всемирную выставку, но Мамин сказал: «Ладно, но только кораблем до Гавра!» — «Почему?» — «Чтобы нога моя не ступала на немецкую землю!.. Берлин... Этот город — прусская казарма! А если мне все же придется ехать на поезде, я возьму прямой вагон до Парижа, чтобы в Берлине мне даже из купе не пришлось глядеть на этот город!»... Тщетно пытались моя и его жена убедить его в том, что он заблуждается, напрасно я показывал ему разные виды Берлина — он упрямо и неколебимо стоял на своем: казарменный город.

20 марта 1900

<...> Позавчера был у доктора Жихарева. Видел — впервые после четвертого марта — Баранцевича. Он сидел в зале, болтая с дамами, и холодно протянул

мне руку. Я прошел в кабинет Жихарева, где беседовал с художником Соломко. Тут стали звать к столу. Когда я вошел в столовую, почти все уже сидели и ужинали. Мне отвели место рядом с Александром Александровичем Слепцовым; по правую руку от него сидел Баранцевич. <...>

Меня упрекнули в том, что я посещаю «Пятницы» Случевского. Я объяснил, что желаю не понаслышке знать о различных группировках и направлениях в русском писательском мире; Баранцевич же перебил меня и громко, так что все общество, собравшееся за ужином (за столом сидело около тридцати человек), могло слышать, сказал: «Чтобы вести хронику в “Голубых тетрадях”, в которых ты отражаешь каждую встречу с писателем и записываешь каждое слово, какое тот произнесет!»

Тягостное молчание всего общества. Я тоже лишился дара речи от этого низкого предательства. Тут взял слово Слепцов: «Случевский — подлец, что подтверждается документом, которым я располагаю!» (Я:) «Нельзя ли ознакомиться?» — (Слепцов:) «Чтобы он попал в Ваши “Голубые тетради”? Ну уж, ннет!»... Я молча пожал плечами, тогда как Баранцевич с хамской, злорадной улыбкой опустил глаза.

Моя жена (он имел дерзость сказать ей: «“Голубые тетради” — это подлость! Как можно записывать сказанное кем-то в пьяном состоянии!») стала уговаривать меня ехать домой, и я удалился, незаметно попрощавшись с хозяевами. С этим... ничтожеством я не обменялся более ни единым словом.

Вчера были именины его жены. Я, само собой разумеется, не поехал. Хватит! Со всех сторон мне приходится слышать вполне оправданное замечание: мол, это я виноват в том, что Баранцевич катится в пропасть. Незачем было устраивать ему юбилейное торжество! — —

<...>

Вчера я рассказал Альбову (у Жихарева его не было — он обещал Давыдовой закончить свой новый роман до конца этого месяца) о лжи и предательстве Баранцевича; Альбов считает, что он тем более не прав, поскольку устроил всю эту сцену в трезвом состоянии. Потом отправился на завтрак к Жихареву, где застал Мамина (он там ночевал). Все осуждают Баранцевича.

Мы играли в бильярд, и Мамин заявил, что поедет со мной за границу. Восторженно и увлеченно говорил о будущем путешествии, потом обнял и поцеловал меня. — — <...>

26 марта 1900

Вчера после заседания «Похоронной кассы» (меня выбрали членом Совета) сидел в ресторане «Москва» с Иваном Михайловичем Булацелем и другими. Он

бегло говорит по-немецки. Учился в Гейдельберге, где в течение четырех месяцев успел наделать долгов на пять тысяч талеров; после этого отец вернул его домой и отдал в гусары. Предпочитает иметь не сына, а дочь: «Потому что из сына вырастет мерзавец вроде меня». Рассказывал, что несколько лет назад он двое суток пьянствовал в Павловске вместе с Маминым; в какой-то момент он вышел из-за стола, а когда вернулся на свое место, Мамин глянул на него дикими глазами и сказал, чтобы он шел своей дорогой, поскольку это место занято. А потом стал на него кричать: «Убирайтесь вон, это место моего друга Булацеля!..» Обратившись ко мне, Булацель сказал: «Все так любят Вас, поэтому прошу: выпейте со мной на брудершафт!» Пришлось исполнить его желание. <...>

4 августа 1900

Позавчера, возвращаясь в Россию, я прочитал в поезде сообщение о смерти Владимира Сергеевича Соловьева, последовавшей 31 июля под Москвой. Вчера, в день погребения, в час пополудни состоялась поминальная служба во Владимирском соборе. Вейнберг, несмотря на жару, был в плаще, а на левой руке у него висел плед. Д.Л. Михаловский снова подошел ко мне с мольбой во взгляде и спросил, когда же появятся его стихи в моем переводе; когда я сказал, что они были напечатаны в «Herold» во время моего отсутствия и что я пришлю ему один экземпляр газеты, он был крайне удивлен. Чюмина носит траур по своему недавно скончавшемуся отцу. Сильно поседевший Луговой беседовал с Юлией Загуляевой — в этот момент ее рот доставал ему как раз до пупа. Присутствовали также: А.Ф. Кони, Гнедич, Слонимский и Венгеров. С последним я отправился в «Капернаум», где мы провели приятный увлекательный час. Его старший сын уже печатается в «Неделе» — ежемесячно пишет критический обзор русских журналов. — — —

Вечером пришел Мамин, случайно узнавший о моем возвращении. Ищет себе квартиру. О себе самом — ни слова. О моей поездке в Париж, куда я, само собой, взял жену и дочь, он высказался (разумеется, в шутку): «Кто ж ездит в Тулу со своим самоваром!» (имея в виду, что в Париже много доступных женщин). Также в шутку произнесено было следующее: когда мы поехали играть в бильярд, перед нашей коляской выскочил велосипедист, и Мамин закричал кучеру: «Дави негодяя!» Самодовольно усмехнувшись, кучер ответил: «Я недавно уже задавил одного!» Но Мамин не унимался: «Ну и что! Дави еще одного! Больше получишь на чай!»

Еще штрих. Когда мы вчера выходили из церкви, я заметил Ясинского, стоящего в притворе; восхитительно красивая мужская фигура с живописной гривой длинных седых волос. Наверное, он и поныне наносит женскому полу одну рану за другой.

Дополнение к Мамину. Он выглядит не таким рыхлым, как раньше; на лице — никаких следов boutons d'amour[276], нос утратил свою подозрительную окраску, волосы коротко подстрижены, и глаженая крахмальная рубашка с весьма пристойным галстуком покрывают его грудь. С внешней стороны брак оказал на него благотворное воздействие. В остальном же Мамин остался таким, каким был всегда: часами повторяет одну и ту же фразу или одно и то же слово. Невозможно поколебать его уверенность в том, что Берлин — это сплошная казарма безвкусного стиля.

10 августа 1900

Несмотря на небывало прекрасную погоду, Альбов чувствует себя как обычно: вздыхает и непрестанно повторяет: «Боже мой! Боже мой!» Мы совершили с ним сегодня прогулку в Удельную; он повел меня на Грязовецкую улицу[277] и самодовольно показал дом, где его некогда посещала жена Познякова (семья жила в то время в Шувалово). (Дом расположен рядом с конторой пасеки.) Несколько дней назад он где-то шлялся с Позняковым, после чего подцепил в Зоологическом саду женщину, с которой провел, даже не прикоснувшись к ней, всю ночь на софе. Это случается с ним в последнее время: как только напьется, у него пропадает половой инстинкт. Мамин рассказывал ему, что был в Крыму свидетелем того, сколь подобострастно держался Горький по отношению к Чехову и сколь высокомерно стал вести себя Чехов по отношению ко всем остальным. На это Альбов сказал: «Это доказывает, что Чехов — большой *холоп*. Чем большего успеха добивается благородный человек, тем деликатнее ведет он себя по отношению к остальным людям». <...>

14 августа 1900

<...> Умер Ницше. Я был в Веймаре две с половиной недели назад. Миновав «Погребок в скале», я поднялся на Зильберблик[278] и увидел его издалека — он сидел на балконе, опустив голову. Я даже не пытался проникнуть в дом, заранее зная, что не получится: госпожа Фёрстер никому не показывает своего брата. На обратном пути (в сопровождении жены и дочери) я позволил себе развлечься и стал спрашивать каждого встречного (и мужчин, и женщин), где живет Ницше. Дело вот в чем. Ранее я посетил два самых крупных веймарских книжных магазина, где рассчитывал приобрести открытки с портретами писателей. Я был убежден, что именно в Веймаре мне удастся собрать богатый урожай, но обнаружил удивительно мало из того, что касается классиков, в особенности — Виланда, Гердера и Шиллера (я ведь собираю не только портреты писателей, но также изображения зданий, где они родились и умерли, памятников... короче, все, что имеет к ним хотя бы отдаленное отношение). Куда



больше нашлось материала, связанного с Гете, — вероятно, остатки от юбилея, который праздновали в прошлом году; правда, еще в Берлине, Франкфурте и Швейцарии мне удалось все же купить открытки, на которые веймарские книготорговцы взирали с изумлением. Портрета Ницше я не нашел нигде; вместо него предлагали целые серии каких-то неведомых актеров и актрис, гастролировавших в Веймаре. И что же получилось? Из тридцати человек, которые мне повстречались, только восемь имели смутное представление о Ницше. А ведь это были большей частью изящно одетые господа и дамы (ничего не знавшие)! В ответ я слышал: «А кто это такой?» или «А чем он торгует?» Те, кому я говорил, что Веймар в настоящее время обязан Ницше своей мировой известностью, порой смущенно улыбались, а порой презрительно пожимали плечами: нет пророка в своем отечестве! И что самое поразительное: на вопрос, где живет Ницше, мне ответили лишь три человека, а именно: гимназист и две самые обыкновенные женщины; остальные пять или шесть слышали, что в их городе есть какой-то Ницше (но и эти были одеты отнюдь не «изящно»). Словом, от «страны мыслителей и поэтов» я ожидал куда большего (и не только в отношении Ницше). Справедливости ради должен сказать: русские знают своих поэтов (по крайней мере, в кругах, с которыми я соприкасаюсь, или те незнакомые люди, с которыми мне приходилось обмениваться парой слов) гораздо лучше, чем немцы.

25 августа 1900

Сегодня меня посетил Петр Филиппович Якубович (П.Я. или Мельшин). С февраля он живет на Удельной (Удельный проспект, 36, кв. 3) и останется там до того времени, пока его вновь не отправят в Сибирь, где ему предстоит провести еще семь лет. Здесь ему разрешили задержаться только на время, чтобы пройти курс лечения. <...> Он находится под полицейским надзором, а потому избегает встреч со знакомыми. Я спросил, могу ли я публиковать его стихи, переведенные мною, под фамилией Якубович. «Нет, прошу Вас, не надо — ради моей книги, где я выступаю под инициалами П.Я; иначе станет известно, кто автор стихов. Напишите "Мельшин"». Сообщил, что Короленко сейчас на Урале: изучает край, людей и архивы и собирается написать повесть из эпохи Пугачевского восстания. Он считает Короленко настоящим писателем, умеющим возвысить и развить любую, даже, казалось бы, незначительную тему. Горький написал ему недавно более чем странное письмо: как только он приведет в порядок свои дела, он, дескать, плюнет на литературу и отправится в Китай, чтобы с удовольствием наблюдать, как европейцы бьют китайцев, а китайцы «*бьют подлецов европейцов*». Он (Якубович) полагает, что Горький исписался и способен создавать лишь вариации своих босяков; собственно, он не создает босяков, а лишь наделяет каждого из них своим собственным романтическим духом;

каждый из них — сам Горький. Его «Фома Гордеев» — чрезвычайно слабое произведение. Самым значительным из современных поэтов считает Минского. В Бальмонте, по его словам, нет ничего оригинального: все, за исключением безвкусных декадентских стихов, — подражание чужеземным поэтам; его перевод «Затонувшего колокола» настолько плох, что Гауптман вырвал бы у себя последние волосы на голове, если бы прочитал. <...> То, что пишет Лохвицкая, — скорее порнография, чем поэзия. У Мережковского — все только *делано.* У Случевского сплошь и рядом проскальзывает неплохая мысль, но своими неуклюжими стихами он способен дать ей лишь превратное выражение. Из декадентов самый талантливый — Сологуб. Да и вообще, мой «Neuer russicher Parnass»[242] окажет плохую услугу как немцам, так и русским.

У него (Якубовича) есть жена и сын, которому три с половиной года. Зарабатывает себе на жизнь исключительно тем, что пишет. Недавно он получил официальную бумагу: оказывается, политические подчиняются теперь не Департаменту полиции, а городской полиции, т.е. градоначальнику, благодаря чему произвол стал совершенно неограниченным, так что ему в самом скором времени грозит отправка обратно в Сибирь.

По поводу включения Лихачева в «Neuer russicher Parnass»[279] он сказал: «Выбросьте Вы его, хотя бы потому, что он редактировал “Словцо”!» Когда я провожал его домой, он спросил: «Вы, кажется, не поклонник стихов, имеющих общественное звучание?» — «Нет, ибо они большей частью тенденциозны и лишены художественности». — <...>

15 сентября 1900

Когда сегодня в половине первого я пришел навестить Альбова, швейцар сказал мне, что он вообще не ночевал дома и до сих пор не вернулся. Вчера мы с ним прогуливались, и его вдруг прорвало. Он рассказал следующее (со слов Голяховского, редактора «Всходов», который часто и близко общается с редакцией «Жизни»): Евгений Соловьев (Скриба), критик из журнала «Жизнь», написал рассказ, который Поссе, редактор беллетристического отдела, не захотел печатать; как-то раз, когда Поссе пришлось уехать и его должность на время перешла к Соловьеву, он опубликовал свой рассказ под другим названием («*Хорошая минута*») и под псевдонимом «Март». <...>

16 октября 1900

<...> Придя домой, обнаружил письмо от Потапенко, который расторгает нашу «дружбу». Поэтому хочу привести здесь все его письма как в оригинале, так и в переводе <...>

№ 12. 28 января 1896 г.

Не приду, сейчас уезжаю из дому. В шесть часов буду дома, может быть — без дам. Приходи обедать. Будет Чехов. Твой И. Потапенко.

<...>

№ 17. Получено в Берлине 21/9 мая 1896 г.

Carlsbad, Bahnhofstrasse, Hôtel Fassman

Это — мой адрес. Вокзал здесь далеко от города, но я живу недалеко от него (вокз[ала]), как видно из названия улицы. Вчера отправил Чехову письмо с объяснением. Без сомнения, ты ни в чем не виноват. Я зову его сюда, чтобы вместе совершить путешествие. Но не хватит недели, чтобы этот талантливый медведь решился покинуть свою берлогу <...>

Твой И. Потапенко <...>

25 октября 1900

Сегодня встретил Мережковскую. Прическа в прерафаэлитском духе, почти целиком обрамляющая ей щеки. Я спросил, примет ли она с мужем участие в юбилее Боборыкина. «Нет, мы *рассорились*».

7 декабря 1900

Вчера — именины Михайловского. Празднование происходило не у него в квартире, а в редакции «Русского Богатства». Его сын Марк рассказал мне, что в связи с юбилеем получено около двухсот адресов и свыше трехсот телеграмм и писем... Очень много народу и очень мало известных писателей: Мамин, Баранцевич, Вербицкая, Дорошевич. Была, конечно, и Майзель (Майская); она пила и танцевала соло. Потом эта парочка[280] вместе покинула помещение редакции. Горнфельд рассказал, что видел у одного знакомого экземпляр «*Оправдания добра*», в который Владимир Соловьев собственноручно вписал следующее посвящение:

Родился я под знаком Водолея.
Читатель, смело эту книгу пей!
Она не из меня, ее нашел в скале я,
Из камня истины сочится сей ручей.

Есть и пить начали в двенадцать часов дня, и все это продолжалось до половины третьего ночи. — — — <...>

11 декабря 1900

Позавчера в Союзе. Мачтет навсегда переселился сюда. Очень мило говорит по-немецки. Его предок, служивший при Карле XII, попал в плен к Петру Великому. <...>

Вчера, как было условлено, посетил Вербицкую (Пушкинская, 14, меблированные комнаты). Она очень высоко ценит Мамина — как писателя. <...> Сегодня Вербицкая нанесла мне ответный визит. Принесла мне свои книги. Восхищалась моим собранием портретов, книг и автографов. Восторженно отзывается о своеобразной красоте Гиппиус-Мережковской. Считает Лохвицкую подлинной поэтессой, от головы до ног. Попросила меня прочесть ее скандально известного «*Кольчатого змея*»; я выполнил ее просьбу и прочитал вдобавок еще три сладострастных стихотворения Бальмонта. Она была в восторге, и мне пришлось пообещать, что я перепишу для нее все эти стихи и отправлю ей в Москву. Она замужем; у нее есть дети. На вид ей года сорок два, но хорошо сохранилась. Во время своих наездов в Петербург она, по слухам (я слышал об этом с самых разных сторон), поддерживала интимную связь с Брешко-Брешковским. — — <...>

Родители Поля Пилисье, моего коллеги по гимназии Гуревича, очень дружили с семьей Алексея Толстого (сына Перовского-Погорельского и его единоутробной сестры). В 1882 году, когда П. Пилисье был в Красном Роге, графиня дала ему скопировать следующее (неопубликованное) стихотворение своего покойного мужа:

Когда являлася весна,
Когда природа воскресала
От продолжительного сна,
Когда ручьи текли обильно
И распускалися цветы, —
Младое сердце билось сильно,
Кипели весело мечты.
С какою радостию чистой
Я вновь встречал в бору сыром
Кувшинчик синий и лучистый
С его мохнатым стебельком.
Какими чувствами родными,
Меня манил, как старый друг,
Звездами полный золотыми
Еще никем не смятый луг!
Потом пришла пора иная,
И с каждой новою весной,
Былое счастье вспоминая,
Грустней я делался порой.

Когда темнели неба своды,
Едва шептались тростники,
Звучней ручья струились воды,
Жужжали поздние жуки:
Казалось мне, что мне недаром
Грустить весною суждено,
Что неожиданным ударом
Блаженство кончиться должно.

Строчка «*Когда природа воскресала*» не имеет парной рифмы. Возможно, Пилисье пропустил ее, переписывая стихотворение, — не знаю.

19 января 1901

Вчера зашел к Мережковским, чтобы пригласить их принять участие в вечере, который я провожу в Екатерининском институте. Оба очень жалели Барятинского[281]; когда я, говоря о нем, предположил, что он умер, Мережковский широко перекрестился и несколько раз повторил: «*Господи, помилуй*».

Когда я пришел, Мережковский как раз прилег отдохнуть, и я болтал с Зиночкой в ее комнате. Да, мы «болтали» — только так и можно назвать простую, непринужденную и приятную беседу с ней. Она хохотала и даже один раз ударила себя правой рукой по бедру. «Вы ведь знаете, что я — декадентка!» — воскликнула она со смехом. Конечно, среди ее стихотворений нет ни одного, пригодного для исполнения в институте, поэтому я предложил ей прочитать «Рождественскую елку», написанную ее мужем (в русском оригинале: «Детям»). Она сразу же согласилась: «Я люблю читать Митины стихи»; смеясь, согласилась и с тем, что я укажу ее на программке как автора этого стихотворения. Когда я сказал ей, что, пролистывая недавно собрание стихотворений ее мужа, я сделал для себя неожиданное открытие, что он — автор песенки «*Голубка моя, умчимся в края!..*», которую в России поют во всех увеселительных заведениях (в сущности, это перевод из Бодлера, и только начальные строки поются на слова Мережковского), — она воскликнула, забавно испугавшись: «Ради Бога, никому об этом не говорите. Однажды приходит Митя домой, крайне возбужденный, и жалуется: “Представь себе, только что на улице хватает меня за рукав какой-то подвыпивший мастеровой и орет мне в ухо: *Голубка моя, умчимся в края!* Вот ужас-то!”»... Кроме того, рассказала, что Боборыкин и Андреевский, дружившие в течение двадцати лет, насмерть поругались, и вот почему: на юбилее Боборыкина Андреевский произнес речь (я упоминаю об этом на с. 373[282], не сообщая о содержании речи) и пытался в ней доказать, что Боборыкин потому лишь не получил заслуженного признания, что ему недостает души. Боборыкин понял это превратно и попытался письменно убедить Андреевского в

том, что слово «душа» встречается в его писаниях довольно часто. Завязалась продолжительная переписка, пока Андреевский в конце концов не написал, что пора положить этому конец и он намерен посещать Боборыкина, как и раньше. Но вскоре он получил послание от госпожи Боборыкиной: ее супруг, писала она, возмущен тем, что Андреевский защищал в московском суде миллионера Елагина, неслыханным образом истязавшего свою приемную дочь. (Эта сенсационная история наделала тогда много шуму, и, несмотря на блистательную защиту Андреевского, Елагин был осужден. — *Ф.*)

Тут пришел Мережковский. Сказал, что готов выступить с чтением стихов, но не желает и слышать о своей «Сакья Муни»: «Эта вещь мне смертельно надоела!» Охотно согласился прочитать «*Снега*» своей супруги. Я предложил ему прочитать «Монаха». Поначалу он не мог вспомнить, о чем идет речь, когда же я попросил у него второй том его стихотворений («*Символы*»), чтобы он мог убедиться в существовании этого стихотворения, оказалось, что у него не осталось ни одного экземпляра. Насмешливо и шутливо сказал, что прочитает вместо «Монаха» — к моему и всеобщему удивлению — свою томно-чувственную «Леду». Когда он нерешительно заявил, что у него есть фрак, но с дыркой, Зиночка успокоила его: «Я заштопаю!» Обещала, что появится в самом простом наряде, который только бывает; у нее, мол, вообще для выхода только два платья.

На столе у них горит электрическая лампа, которая, по ее словам, очень удобна, но стоит дорого (плата за освещение). Когда я подошел к другому столу, на котором стояла такая же лампа, и хотел взглянуть на несколько портретов, она сперва сказала: «Митя, зажги свет», а через пять минут, когда я все осмотрел: «Митя, погаси!»

О Боборыкине сказала так: «Он чувствует благоухание фиалок, прежде чем они появятся на земной поверхности».

Я провел у Мережковских, которые, кажется, нежно любят друг друга, очень приятный час. Все это, кстати, адресовано тем, кто «общается» с ними лишь в обществе посторонних людей и вне их уютной квартирки, а потому принимает их манеру держать себя за душевный излом. Думаю, все их декадентство не более чем мистификация. <...>

29 января 1901

Вчера состоялся устроенный мною литературный вечер в Екатерининском институте. Мордовцев перед выступлением чрезвычайно нервничал. Несмотря на море электрического света в зале и две свечи, стоявшие на столе, он видел так плохо, что постоянно прерывал чтение: то сдвигал свечи, то подносил их поочередно к книге — смотреть на это было просто мучительно; тем не менее

и он сам, и его рассказ «Кто он?» были встречены аплодисментами. Особенно понравился всем В.А. Крылов, читавший пятый акт и эпилог своего «Петра Великого». Но как он страдал за полчаса перед выступлением! С потерянным видом он бродил взад-вперед, отказался от чая и сельтерской и отправился, наконец, в туалет при учительской комнате. «Но как только я выхожу на кафедру, моя нервозность мгновенно исчезает». Впрочем, мгновенно она не исчезла, ибо поначалу он читал запинаясь; однако выступление его прошло блистательно. Мережковский декламировал своего «Монаха», но ни аплодисменты, ни просьбы начальницы (так ее зовут в Институте) не могли заставить его прочитать еще что-нибудь. Зиночка привлекала всеобщее внимание и произвела прямо-таки ошеломляющее впечатление как своим внешним обликом (белое платье, плотно облегающее фигуру, и лента с драгоценными камнями вокруг головы — в таком виде она явилась недавно и к Случевскому), так и своей декламацией и выбором самих стихов. Она читала, выделяя звучание, свои «*Снежные хлопья*», затем — стихи своего мужа («*Задумчивый сентябрь*» и «*Возвращение*») и, в заключение, свое собственное «*Окно мое высоко над землею...*», что естественно вызвало улыбки и шушуканье. Ученицы окружили ее и поднесли ей огромный букет живых цветов (мне же они доверительно сказали, что она — ярко выраженная декадентка). Она читала по моему экземпляру своей книги, которую подарила мне и в которой я, по своему обыкновению, сделал на полях ряд карандашных помет. Рядом с последним стихотворением я приписал, что оно по форме представляет собой подражание Бальмонту, но она возразила: «Стихотворение написано в 1893 году, в то время я еще не знала Бальмонта». А прочитав в книге мою помету к стихотворению «*Однообразие*» (я отметил, что в этом стихотворении тринадцать рифм с окончанием —*енья*), она воскликнула: «Тринадцать!?! Я не допустила б этого, если б знала!» Минский прислал письменный отказ, сославшись на болезнь, но Зиночка сообщила мне, что он заходил к ней несколько часов назад и заявил, что вообще не может читать публично: дескать, он слишком впечатлителен, а кроме того, Зиночка сама говорила ему, насколько он непривлекателен. — —

Сегодня в институте меня окружили ученицы, благодарили за вчерашний вечер и говорили, что Зиночка восхитительна, хотя и — декадентка. — — <...>

25 февраля 1901

Вчера — в Союзе. Был Горький в своей черной рубахе, подпоясанной кожаным ремнем с серебряным узором; постоянно поправлял свои длинные пряди, отбрасывая их рукой. Держался по отношению к остальным очень сдержанно и спокойно и, как нечто само собой разумеющееся, принимал со всех сторон любезности; когда Ватсон попросила меня представить ее Горькому и я взялся

выполнить ее поручение, он холодно отказался. — Потом — к Палкину. Михайловский высказал свое недовольство тем, что в Союзе много людей, почти ничего не написавших или же сомнительных с писательской и нравственной точки зрения. Мамин сказал, что старается обходиться с Баранцевичем как можно осторожней: он такой подозрительный. Когда я пришел, оба уже пили джинджер. До этого, в Союзе, Мамин прилежно пил пиво. <...>

25 марта 1901

Сегодня был у Жихарева, где встретил Лихачева, пригласившего меня к себе на завтрак. О поведении Фофанова на юбилее «Нового Времени»[283] рассказал то, что уже здесь записано, плюс следующее. В Малом театре находился великий князь Владимир Александрович. Столкнувшись с ним в фойе, Фофанов принял его за великого князя Константина Константиновича (К. Р.) и воскликнул:

Вот Великий Князь,
Но пиита малый.

Дальнейшая импровизация не состоялась — его увели буквально силой. Но когда какой-то старый генерал спросил его, можно ли здесь курить, Фофанов ответил: «Можно, только прикурите от моего члена!»

Позавчера у Случевского был, среди прочих, Бальмонт. У него родилась дочь[284], и он стал с тех пор гораздо мягче и обходительней. «Он излучает тепло», — сказал Лихачев. Он не курит, и когда он попытался закурить сигарету (у нас принято говорить «папиросы»), Лихачев сочинил импровизацию:

В устах Бальмонта папироса —
Что поклоненье папе Росса.

А когда «пятничников» пригласили к столу, Лихачев произнес:

Помочиться ль перед ужином?
Иль посцать потом наружи нам?

Случевский читал стихотворение о первом свидании, за которым последовало второе (и последнее). Лихачев сымпровизировал:

После первого свиданья
Не пойду я на второе;
Уплатил тебе всю дань я —
И оставь меня в покое!

Все это — из уст Лихачева, ибо меня самого не было позавчера у Случевского.

<....>

Из моих «Ежедневных записей»...

8 декабря 1884:

«Литературный вечер в гимназии княгини Оболенской для учениц шестого, седьмого и восьмого классов. Свои стихи читали среди прочих Плещеев, Мережковский, Вейнберг и Гаршин (Всеволод). Последний представил меня всем остальным. Плещеев — очаровательный старик; он обнял меня и пригласил к себе. Вейнберг прочитал несколько моих переводов из Кольцова, расхвалил их и пообещал написать рецензию на мою книжку. Гаршин также обещал, что будет способствовать откликам на нее в русской печати».

27 марта 1885:

«Отправился вчера вечером к Водовозовым; у них был ежегодный пасхальный бал. Среди прочих писателей был и знаменитый Михайловский, с которым я долго разговаривал. Узнал от Водовозова, что Видерт весьма недоволен, что ни в одном из русских журналов, откликнувшихся на моего «Кольцова», не было упомянуто об его переводах».

12 декабря 1885:

«Минский просил позволить ему — в том случае, если я сам того не пожелаю, — рассказать в печати о моем визите к Паулю Гейзе, ибо каждое суждение этого человека пользуется в России, по словам Минского, особым уважением. Я отказался».

30 января 1881:

«Зашел в час дня на квартиру Достоевского, скончавшегося в среду (28-го). На лестнице стоял долгое время рядом с романистом Гончаровым, наблюдая его благородные черты. Я даже прикоснулся к его шубе в суеверной надежде, что частица его творческой силы перейдет ко мне. В кабинете Достоевского я благоговейно отломал кусочек дерева от стола, за которым покойный писал свои бессмертные романы. Потом сквозь толпу людей протиснулся к гробу. Достоевский лежал, утопая в цветах, и только лицо его было открыто. Я погрузился в созерцание его мирно дремлющих черт, упокоенных поцелуем смерти и облагораженных музами. И я совершил то, чего никогда не делаю: поцеловал его ледяное чело. Дочь писателя, вылитый портрет своего отца, стояла в изголовьи; она взяла из гроба несколько цветов и протянула их мне: ими одаривали почти всех присутствующих. Видел также Григоровича».

31 января 1881:

«Сегодня в 11 часов тело Достоевского перенесли в Александро-Невскую лавру. Представители и представительницы всех учебных заведений и ученых обществ несли на шестах шестьдесят огромных венков из живых цветов. Студенты образовали сплошную живую цепь, сдерживая натиск стекавшейся публики, тогда как целый легион полицейских мешал шествию. Гроб был обвит длинной благоухающей гирляндой в форме квадрата. Эти толпы людей собрались не из любопытства, а для того, чтобы отдать дань глубокого уважения и любви великому писателю. Особенно много было наших профессоров. Главным оратором был Орест Миллер, раздававший студентам факсимиле подписи писателя; мне тоже достался листок. Григорович остановился возле меня, похлопал по плечу и сказал несколько слов по поводу живой цепи. Я проводил тело до самой Лавры, но в церковь не вошел, опасаясь, что меня раздавят. Газеты выражали глубокую скорбь.

24 сентября 1883:

«Поскольку доступ на панихиду и похороны Тургенева был открыт лишь избранным, я поехал за разрешением на постоянно действующую выставку[285]. Поначалу Григорович решительно отказался дать мне пропуск. Но когда я сказал ему, что писал про юбилей Фонвизина и Жуковского (в журнале Захер-Мазоха), а профессор Таганцев закричал: “Дайте же! Дайте!”, Григорович написал мое имя на обратной стороне пропуска, получить который было для многих заветной мечтой».

27 сентября 1883:

«Прямо со свадьбы, даже на мгновение не сомкнув глаз, отправился на Варшавский вокзал, где ожидали прибытия останков Тургенева. Вся процессия выглядела прекрасно — с эстетической точки зрения; на похоронах Достоевского она была прекрасной в своей естественности и оттого еще более захватывающей и возвышенной. Но когда я увидел ящик (не гроб), в котором покоился Тургенев, мне стало просто страшно».

27 марта 1901

Встретил вчера Сергея Филиппова. Вино в «Дерби» подогрело его, и он вел себя менее сдержанно, чем обычно. Рассказывал, что был на днях свидетелем тому, как публика, представлявшая собой все круги общества, устроила на выставке манифестацию перед репинским портретом Толстого: украсила картину венками, с воодушевлением кричала «браво» и стала аплодировать, когда с галереи дождем посыпались цветы. Графиня Софья Андреевна однажды сообщила



Илл. 17. Фидлер в дорожном костюме. Фотография. 1890-е гг.



Илл. 18. Ф.А. Вишневский-Черниговец. Фотография. 1890-е гг.
«Dem deutschen Fritz vom russischen Fritz Tschernigovetz. 3.III.1900»
(«Немецкому Фритцу от русского Фритца Черниговца.
3.III.1900». — *нем.*)»



Илл. 19. А.Н. Кремлев. Фотография Г. Вестли. 1901.
«Многоуважаемому Федору Федоровичу Фидлеру 1/14 февр[аля] 1901.

О, проснись же, толпа равнодушных рабов,
Позабывших о всем, чтó так дорого миру!
Или свергни своих беззаконных богов,
Иль разбей мне свободную, гордую лиру!

Ан. Кремлев»



Илл. 20. В.С. Лихачев. Фотография. Ок. 1900 г.
«Дорогому товарищу и другу Федору Федоровичу Фидлеру Лихачев
25 марта 1901»



Илл. 21. И.А. Гриневская. Фотография. 1890-е гг.
«Милому и дорогому Федору Федоровичу Фидлеру на память
от И. Гриневской. 4-ое ноября 1901 г.»



Илл. 22. В.А. Мазуркевич. Фотография Д.С. Здобнова. Ок. 1900 г. «Многоуважаемому и милейшему Федору Федоровичу Фидлеру, проникновенному переводчику и талантливому поэту от искренно преданного В. Мазуркевича. 23.II.[1]902 г.»



Илл. 23. В.А. Шуф. Фотография С.Л. Левицкого. Ок. 1900 г.

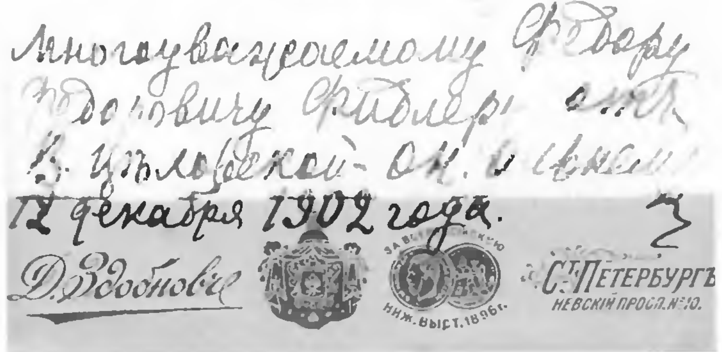
«От Шуфа — Фидлеру-поэту,
Времен новейших Боденштедту.

19 апреля 1902 г. СПб.»



Ил. 24. С.Я. Елпатьевский. Фотография ателье «Юг». 1902.
«Ф.Ф. Фидлеру С. Елпатьевский. Ялта, 5-е августа 1902 г.»
На обороте помета Фидлера:
«Ялта. Понед[ельник] 5 авг[уста] 1902»





Илл. 25. О.Н. Ольнем. Фотография Д.С. Злобнова. Ок. 1900 г.
«Многоуважаемому Федору Федоровичу Фидлеру от В. Цеховской — О.Н. Ольнем. 12 декабря 1902 года»



Илл. 26. Г.С. Петров. Фотография Дж.Е. Макферсона. 1902.
«Высшая красота и поэзия жизни — красота добра, поэзия Христовой любви и евангельской правды. Священник Г. Петров.
Дорогому Федору Федоровичу Фидлеру от любящего его священника Г. Петрова. 21 декабря 1902 год»



Илл. 27. Группа писателей. Фотография К.А. Фишера (Москва). 1902.
Слева направо: Скиталец, Л.Н. Андреев, М. Горький, Н.Д. Телешов, Ф.И. Шаляпин, Е.Н. Чириков, И.А. Бунин. На обороте помета Фидлера: «Подарок Ник[олая] Дм[итриевича] *Телешова*. 16 янв[аря] 1907. Ф. Фидлер»



Илл. 28. А.М. Хирьяков. Фотография Д.С. Здобнова. Ок. 1900. Надпись на обороте: «Дорогому Федору Федоровичу Фидлеру на добрую память А. Хирьяков. 27 января 1903 г.»



Илл. 29. С.Н. Филиппов. Фотография К.А. Фишера. Ок. 1900. «Ф.Ф. Фидлеру на дружескую память от Сергея Филиппова 28.VI. [1]904. Дуббельн»

Ф.Ф. Фидлеру на память отъ В.П.
Лебедева,



поэта, учившагося въ нѣмецкой
школѣ и любящаго все нѣмецкое, на-
чиная отъ колбасы и кончая по-
эзiей. Гельсингфорсъ, 2 дек. 1904 г.

Daniel Nyblin

Ил. 30. В.П. Лебедев. Фотография ателье «Даниэль Нюблин».
Начало 1900-х гг.
«Ф.Ф. Фидлеру на память от В.П. Лебедева, поэта, учившегося в немецкой школе и любящего все немецкое, начиная от колбасы и кончая поэзией. Гельсингфорс, 2 дек[абря] 1904 г.»



Ил. 31. Е.А. Чебышева-Дмитриева. Фотография Е. Вестли. 1904 (?).
«Искренно уважаемому Федору Федоровичу Фидлеру от товарища по литературе и печати Е. Чебышевой-Дмитриевой.
14 декабря 1904 г.»



Илл. 32. М.Ф. и Л.М. Фидлер.
Фотография. Начало 1900-х г.

ему, что передала на хранение Румянцевскому музею в Москве пять или шесть ящиков с рукописями ее мужа, среди которых находится якобы и завершенный роман «Декабристы». О самом Толстом Филиппов сказал, что у него «рентгеновский взгляд»: он пронизывает человека до глубины души, так что приходится говорить лишь чистейшую правду. Разговаривая с Антоном Чеховым, Толстой сказал, что у него, Чехова, отсутствует талант драматурга; Шекспир, которого он недолюбливает, все же увлекает его, тогда как чеховская драма вызывает в нем такое чувство, будто автор, а также зритель (или читатель) лежат... О Потапенко Филиппов сказал: «Бессовестный фабрикант». Горький, по словам Филиппова, бесспорно, обладает талантом, но уже исписался; его «босяки» — не более чем вымысел, совершенно не отвечающий реальной жизни...

Минаев однажды сочинил такую импровизацию:

Ценят золото по весу,
А по пошлости повесу.

А в другой раз, когда в каком-то обществе шел за ужином разговор о патриотизме, пьяный Минаев произнес экспромт:

Патриотизм у женщин всех отличней,
Сильна у них к отечеству любовь:
Оне все до того патриотичны,
Что ежемесячно льют за отчизну кровь.

А нижеследующие строки относятся к Павлу Андреевскому (Павлику, как его называли, брату Сергея Аркадьевича), издававшему в свое время газету «Заря», в которой одно время участвовал Надсон:

В дни раздора и войны
Меж собой разлучены
Муж — клинок, жена — ножны.
В дни же общей тишины
Снова ищет муж жены,
И клинок идет в ножны.

25 апреля 1901

Навестил Венгерова. Ровно неделю назад в его квартире, с семи часов утра до двух часов дня, шесть лиц производили обыск. Нашли целую кипу устаревших прокламаций, представляющих собой интерес лишь с культурно-исторической точки зрения. Кроме этого, ничего компрометирующего не обнаружили. Забрали, тем не менее, более пятисот писем, политически вполне

безобидных, но чрезвычайно важных для самого Венгерова, поскольку они образуют фундамент для его «Словаря русских писателей». Не обошлось без курьезов. Старший, барон Энгельгардт, наткнулся на корректурные листы «Заговора Фиеско»; Венгеров дал ему несколько минут для торжества, а затем показал оригинал — пьесу Шиллера. (Удивительно: примерно пятнадцать лет назад Щиглев, псевдоним — Романыч, сочинил водевиль под названием «Заговор Фески», и претензии к нему основывались на том же недоразумении.) Венгеров был заключен под домашний арест: в его квартире день и ночь дежурил городовой, которого он — с либеральным радушием — угощал, позволял ему спать на своем диване и давал чаевые. Ему (Венгерову) было запрещено отлучаться из дома даже на минуту. Зато его сестра Зинаида и другая его сестра, Изабелла, пианистка (обе живут вместе с ним на Разъезжей) могли выходить, сколько им вздумается. Разрешалось писать и получать письма. Да и гости могли приходить к нему в неограниченном количестве. (Так, вчера и сегодня я был у него, в то время как на кухне сидел городовой.) Сегодня же примчалась неожиданно старая служанка, радостно размахивая руками: ее хозяин свободен, городовой только что получил приказ снять осаду. Так оно и было. Между тем в сопроводительной бумаге, которую Венгеров должен был подписать, ни слова не говорилось о том, что домашний арест прекращен, поэтому он пока еще остается дома.

В последние дни проводились обыски и у других: Лесевича, Ватсон, Бальмонта, Калмыковой, Хирьякова, Вересаева (уволен из больницы, где работал врачом, за то, что подписал обращение Союза к министрам) и Пантелеева (он сам находился в отъезде, но посетители перерыли все, что можно, и были возмущены, обнаружив, что у него в клозете висят портреты не только Буренина и Мещерского, но также Победоносцева и Сипягина). — Вне дома задержаны: Ангел Богданович, Мякотин, Владимир Поссе и в Нижнем — Горький. (Этот список я получил от Венгерова.) <...>

27 апреля 1901

Сегодня зашел к Мережковским: принес напечатанный в «Herold» перевод нескольких его стихотворений. Он прочитал одно-другое, сказал «Переведено идеально!», потом добавил: «Я больше не люблю мои стихи, а переведенное Вами “Неужто ты еще не понимаешь...” вообще никогда не любил». (В собрание своих стихотворений он включил из него лишь небольшой фрагмент.) Держался необычайно сухо и говорил скупо. Тем более приветливой и общительной оказалась **она**. Была половина второго; они завтракали; были поданы четыре сосиски с картофельным пюре и ничего более (хотя за столом сидела еще и мать Зиночки, простая женщина; она грызла корочку белого хлеба); он съел полто-

ры сосиски, она — полсосиски; оставшееся унесли обратно на кухню. Во время еды он ни произнес ни слова и вскоре удалился в своей кабинет; мы же остались за столом. Вечер в Институте (28 января) ей чрезвычайно понравился: «Все было так светло, так юно, и мне очень хотелось устроить какую-нибудь детскую шалость». Она родилась не в 1867 году, как значится в разных ее биографиях, а в ноябре 1868-го; кроме того, ее предки — выходцы из Англии, а не из Швеции. Вербицкая произвела на обоих весьма неблагоприятное впечатление. «По ее портретам вообще не поймешь, где у нее перед, где зад» (Зиночка). Он бранил составленную Сальниковым антологию «*Русские поэты*»: «Либеральная поэзия и прочий вздор!» Зиночка сказала, что «Сирота» Альбова очень скучна, а он добавил: «Еще скучнее, чем Горький». Она обещала передать со временем в мой «музей» пародии и эпиграммы на современных русских поэтов; «некоторые из них даже непристойны!». Случевского оба считают «довольно хитрым, но весьма глупым». Почти не посещают его «Пятниц» с тех пор, как он стал окружать себя в эти дни «разной сволочью» (его, а не ее слова). — — —

29 апреля 1901

Вчера Бальмонт повел меня в отвратительный трактир на углу Загородного проспекта и Щербакова переулка. «Я чувствую себя здесь куда уютнее, чем в каком-нибудь изысканном ресторане: здесь все гораздо естественнее». Впрочем, мы скоро отправились в «Москву». В технике стихосложения он достиг такого мастерства, что переводит стихи Кальдерона прямо набело и лишь потом чуть-чуть их шлифует. «Мой мозг — скрытая лаборатория, где работа совершается без бумаги». Сочинил экспромтом стихотворение, в котором одно слово оканчивается «ером», в качестве рифмы к нему поставил букву «ъ», а в следующей строке сравнил свое настроение с бесполезностью этого знака; получилась превосходная и вполне естественная параллель. Он полагает, что его литературная деятельность началась лишь со сборника «*Под северным небом*»; все опубликованное ранее ему ненавистно, и он это скупает, чтобы сжечь. Не слишком лестно отзывается об Альбове как человеке; в прошлом году они столкнулись в «Москве», и Альбов сказал ему (Бальмонту): «Вы, юный старик, с бородкой коммивояжера». Он хмелел все сильнее. Уверял, что влюблен в проститутку — девушку по имени Мелитта; недавно он провел у нее в публичном доме несколько ночей и дней и написал оттуда извинительное письмо своей жене. Продиктовал мне два своих стихотворения, которые не пропустила цензура[286]. <...> В конце концов он так напился, что официанты отказались принести ему еще стакан. Я предоставил его попечительству Булацеля и Коринфского и покинул заведение.

9 сентября 1901

Встретил на Николаевском мосту Ф.К. Сологуба. Говорит, что написал в августе за один день не менее четырнадцати стихотворений; самое маленькое — в двенадцать строк, самое длинное — в тридцать шесть. «А где Вы их опубликуете?» — спросил я. — «Нигде, меня ведь нигде не публикуют». Невероятно любит Петербург (никогда не бывал за границей), любит его «нежно», сильнее, чем природу, и чувствует себя безмерно счастливым, когда в первый раз попадает на улицу, на которой никогда не был. Читает одновременно несколько книг: «Так полезнее для работы ума». — — — <...>

18 октября 1901

У меня хранится немало писем русских писателей, обращенных не ко мне лично, — я получил их в дар от адресатов несколько лет назад. Например: письмо (недатированное) Владимира Соловьева к П.В. Засодимскому:

Милостивый государь Павел Владимирович,

Если, как я слышал, вологодский сборник не состоится, будьте так добры, передайте посланное Вам стихотворение М.Н. Альбову.

Искренно Вас уважающий
Влад. Соловьев

Письмо относится к тому времени, когда Альбов был редактором «Северного Вестника». <...>

31 декабря 1901

В течение ряда лет я не принимал участия в Обедах беллетристов: слишком скучно. И вот образуется фракция, во главе которой стоят Василий Немирович-Данченко, князь Барятинский, Мордовцев, Мамин, Потапенко и Баранцевич. Последний устроил вчера неофициальный обед у Палкина; правда, Немирович-Данченко и Потапенко не пришли. Каждое слово, произнесенное (трезвым) Маминым, было непристойное. Другие сначала улыбались понимающе, затем — смущенно, и, в конце концов, стали взирать на происходящее с серьезным и даже скучающим выражением лица, ибо одно и то же ругательство повторялось бесконечное число раз. Он (Мамин) рассказал, что ложится спать в четыре часа дня и встает в три часа ночи. Он ушел в восемь, не поддавшись на уговоры сыграть партию в бильярд (то есть предаться любимой страсти). Альбов не произ-

нес ни слова. Елпатьевский и Александр Иванович Куприн (я познакомился с ним 6 декабря у Михайловского) беседовали о конском мясе, приготовлении пельменей, сибирских морозах и прочих малоинтересных материях. В восемь мы встали — трезвы телом, духом и душой. Молодой Куприн держался столь естественно, будто всю жизнь провел исключительно среди именитых писателей — ему, новичку, следовало бы проявлять больше робости. — — Баранцевич расстроился, когда я выиграл у него две партии в бильярд (разумеется, мы играли не на деньги — этого мы никогда не делаем).

4 января 1902

Василий Васильевич Огарков давно бросил писать и целиком отдался театральной деятельности. Теперь его опять тянет к литературе, и по этому поводу вчера состоялся изысканный обед, после которого он потчевал нас целой коллекцией порнографических картинок и предметов. Некоторые дублеты Баранцевич сунул себе за пазуху. Мамин — тоже <...>. Он (Мамин) держал за обедом кваспатриотические речи. Недалеко то время, рассуждал он, когда русские превратят Германию в одну огромную пустыню, а в Кельнском соборе будут служить по православному обряду; кроме того, бранил немцев за их «варварский набег» на Китай. Затем, взяв стекло от лампы, стал имитировать (подчас весьма удачно) ворчание молодого медведя, которого дразнят, и рык льва во время и после совокупления. Был также Владимир Васильевич Уманов-Каплуновский. Его внешний и внутренний облик (лицо и речь) столь невыразительны, что мне казалось, будто я встретил совершенно незнакомого человека; однако он уверял, что мы познакомились в день похорон Полонского (на поминках у Палкина). <...>

13 января 1902

Вчера у Палкина — Товарищеский обед. Кто-то спросил Немировича-Данченко, сколько ему лет (никто не знает этого в точности), и он ответил: «Немировичу — двадцать шесть, а Данченко — двадцать семь». Он и Потапенко признают в Горьком большой талант и сомневаются в одаренности Леонида Андреева (отмечу на всякий случай, что ни Горького, ни Андреева не было).

Присутствали также: Мордовцев, Мамин и Куприн. С последним (безымянный новичок) все обращались как с равным: без оттенка снисходительности и опеки. Потапенко болтал со мной так, словно между нами ничего не произошло. О чем еще сообщить, не знаю. Это было безобидное уютное собрание, все много смеялись, особенно по поводу Немировича-Данченко и его таинствен-

ных «кузин», и сам он вместе с другими смеялся над этими шутками. Затем полчаса провел с Маминым в «Капернауме». Неподалеку от нас сидел какой-то захмелевший человек. Мамин, наблюдавший за ним, сказал озабоченно: «А ведь ему нужно еще добраться до дому!» Когда гуляка встал из-за стола и неровной походкой направился к двери, Мамин посмотрел на него прямо-таки с ужасом и произнес: «А вдруг его дома ждет жена!» И тотчас же уехал домой, отклонив мое предложение сыграть партию в бильярд. «Тетя Оля» может гордиться: блестящие результаты ее воспитательной работы!

Дома меня ожидала большая радость: портрет Льва Толстого с его собственноручной надписью: «*Лев Толстой Федору Федоровичу Фидлеру 1902, 6 января*» (без точек). И — сопроводительное письмо от Ольги Толстой (дочери, точнее, невестки):

«*6 января 1902*

Милостивый государь,
Федор Федорович,

Пишу Вам по поручению Льва Николаевича, который опять болен и не имеет сил лично ответить Вам. Он получил Вашу книгу "Gedichte von Maikow"[287] *и благодарит Вас за присылку ее.*

Последние два месяца он болел очень часто, а эти несколько дней чувствует себя опять нехорошо — большая слабость сердца и боли печени. Поэтому он не может писать Вам, но не желая больше откладывать, исполняет другую Вашу просьбу — посылает Вам свой портрет с надписью, причем свидетельствует Вам свое почтение.

Ольга Толстая».

26 января 1902

Вчера у Случевского познакомился с тремя поэтами: 1) Иваном Ивановичем Соколовым; 2) Виктором Карловичем Мюром (похож на Фета в юности) и 3) Верой Ивановной Рудич. Последняя некрасива: лицо, изрытое оспой; когда нас представили друг другу, сказала, что прекрасно помнит меня, потому что лет четырнадцать назад я учил ее немецкому языку (в пансионе Князевой-Шуйской).

Ничего мистического в этот раз не было. Свои стихи читали: Сологуб, Мюр и Лейтенант С. (сын Случевского Константин); Мазуркевич прочел несколько стихотворений Рудич. За ужином (после ухода Рудич) читали неприличную поэму Василия Пушкина «Опасный сосед» (ее принес Авенариус). «Сочинительством» не занимались — ни единой поэтической строчки. Говорили о Владими-

ре Сергеевиче Соловьеве и его странностях. Случевский рассказал следующую историю. Семь лет назад он навестил его (Соловьева) — тот жил тогда на углу Шпалерной, недалеко от Таврического сада. Открыв дверь в его квартиру, Случевский застал Соловьева в старом дырявом халате, с охапкой дров в руках (он сам топил себе печь). Едва они поздоровались, вошел какой-то студент, которого он раньше никогда не видел, и сказал, что у него нет денег заплатить за квартиру. Соловьев полез в карман халата, вытащил несколько смятых банкнот и, не считая, сунул их студенту, который поблагодарил и удалился. Затем они прошли в комнаты; та, что слева, была совершенно пустая. «Кабинет» тоже пустовал, если не считать письменного стола, заваленного книгами, журналами и бумагами, неубранной постели, стула и кресла. Случевский сел в это кресло, но сиденье проломилось под ним, так что он сам не мог выбраться и Соловьеву пришлось его *вытрясти*. — Минский рассказал другую историю. Дело было в Париже. Соловьев возвращался из гостей. Он шел пешком, чтобы сэкономить два франка на фиакре. Но по дороге раздал девушкам, предлагавшим ему свои услуги, — двести франков. — Грибовский рассказал еще одну историю. Соловьев снимал номер в отеле «Англетер». Когда пришел срок платить, оказалось, что деньги он сможет достать лишь через две недели. Тогда он запер комнату и — уехал в Финляндию. Через две недели у него появились деньги, и он заплатил за два номера. — — —

Присутствовали также Шуф, Зарин и Льдов.

2 февраля 1902

Вчера — Товарищеский обед у Палкина. Князь В.В. Барятинский был восхитителен: элегантен и прост в словах и манере держаться — идеал аристократа (вообще-то я низкого мнения о людях такого сорта). Толстой смертельно болен. Три дня назад, во время спектакля в его (Барятинского) театре[288], явилась полиция и потребовала убрать бюст Толстого, стоящий в фойе (полиция опасалась, что с минуты на минуту может поступить известие о смерти Толстого и публика устроит перед его бюстом манифестацию). В самом начале театрального сезона ему (Барятинскому) пришлось снять висевшую в фойе известную картину Наумова «Белинский перед смертью» (с жандармом в дверях). Газета («Северный Курьер») обошлась ему (Барятинскому) в 325 000 рублей, однако разорение принесла ему, собственно, не сама газета, а внезапное падение различных ценных бумаг. В двух своих пьесах («*Перекаты*» и «*Карьера Наблоцкого*»), которые идут сейчас с большим успехом, он вовсе не собирался вывести, как поговаривают, министра Сипягина; «это невозможно хотя бы потому, что мой Наблоцкий — умный человек». К двум этим пьесам прибавится скоро еще одна: «Его Превосходительство». <...> Обед проходил весьма оживленно. В невинном

разговоре принимали также участие Потапенко, Баранцевич, Немирович-Данченко и Мордовцев.

Обеды протекают совершенно непринужденно: каждый заказывает себе, что желает. Меня избрали «устроителем» обедов — вместо неаккуратного Баранцевича. Перед вторым обедом он прислал мне приглашение, в котором просил известить о том же и Альбова. Видимо, Альбову это не слишком понравилось, и он не пришел. Нынче, когда я шутки ради послал Альбову по своему адресу открытку с обычным приглашением, он так же ответил мне открыткой, но испортил игру: дал мне прочитать ее, прежде чем бросить в почтовый ящик.

7 февраля 1902

<...>Сегодня зашел к Мамину. <...> Он (Мамин) сказал про Короленко и Горького, что они — *сволочь*, а не писатели. Лишь один якобы обладал талантом — Чехов, но и тот израсходовал его по мелочам: «Словно капелька ртути, которая, падая, распадается на мельчайшие частицы». Мамин сказал мне: «Люблю тебя за верность». Вчера был день его свадьбы; на празднестве присутствовали одни немцы, ни одного русского (все явились без приглашения). Вчера же он получил радостную весть — телеграмму из Томска: Абрамов отказывается от всех прав на Аленушку и дает ему, Мамину, право удочерить ее. «Целых десять лет нависал надо мною этот Дамоклов меч!.. Сколько я пережил!.. Если б он не согласился, я б его прикончил — ведь я азиат!» Рассказал, что в ту пору, когда он был семинаристом в Перми, отец давал ему ежемесячно всего четыре рубля; из них полтора рубля уходило на жилье в каком-то подвале, а два с половиной — на «manger, boire et sortir»[289]. Он жил впроголодь, по его словам, целых тринадцать лет и потому испортил себе желудок. — —

Амфитеатров находится в Минусинске (в Сибири), о чем мне недавно сообщил Сальников, узнавший об этом от его «жены» (Райской). — —

9 февраля 1902

Пишу эти строки в девять часов утра в Екатерининском институте, пока мои ученицы (первого общего класса) пишут сочинение на тему: «Встреча Иоанны с Лионелем»[290]. Вчера был у Случевского. От прежней «поэзии» не осталось и следа: никто не читал, а за ужином никто не писал стихов. Когда я пришел, Льдов как раз читал доклад о Тютчеве, которого объявил лучшим поэтом не только России, но и всего мира. За ужином он продолжил переоценку всех ценностей: Тютчев, по его словам, несоизмеримо выше Пушкина, да и Баратынский в некотором отношении превосходит Пушкина. В «Евгении Онегине» нет ни одного живого лица, зато в «Капитанской дочке» все полно жизни. Затем он

(Льдов) обрушился на Некрасова, назвав его типичным графоманом; мол, в трех томах его стихов столько же поэзии, сколько в любом *среднем* читателе, любителе поэзии, не написавшем за жизнь ни строчки. Его стихи — *труха*, и его (Некрасова) значение в русской литературе такое же, как Сумарокова и Озерова. Майков, по его словам, — *рифмоплет*, и цена его слову — грош. Зато Фофанов — настоящий поэт, и Некрасов недостоин даже целовать его грязную калошу. Лейкин талантливее, чем Горький, и более литературен, чем он. А Полонский — чист, как слеза младенца. «*Развязный*, как штабной писарь или господский лакей», — шепнул мне про него Черниговец. О «Трех сестрах» Чехова Черниговец сказал, что в драматическом отношении эта пьеса — «незавершенный минет». Затем он (Черниговец) сказал: «*Грустно* быть русским патриотом». Мюр договорился до утверждения: «Все человечество сольется однажды в русское море!», на что Черниговец холодно заметил: «В русском море только свиней купать». Чюмина сообщила мне слова Боборыкина, сказавшего ей однажды, что Мережковский ударился в религиозную мистику исключительно из *озорства*, подобно тому как некогда из либерала сделался декадентом. — — Присутствовали также: Лохвицкая, Рудич, Лихачев, Д.Л. Михаловский, Порфиров, Мазуркевич, Сологуб, И.И. Соколов, Минский, Зарин, Грибовский и Михневич (Тамбовский).

Льдов сымпровизировал:

Желаю Вам поэта лучшего,
А мне довольно — Тютчева.

<...>

17 февраля 1902

Вчера — Товарищеский обед. Немирович-Данченко был весел и подвижен, как восемнадцатилетний юноша, и пихал Мамина в живот; тот смеялся над его страстью «шляться по крышам» (как молодые мартовские коты по любовным делам). Мордовцев сообщил, что продал «Северу» 24 тома своих сочинений при условии, что получит с каждого подписчика 30 коп.; журнал печатается тиражом в 16 000 экземпляров. Кто-то заметил ему, что он заключил невыгодную сделку, однако Мордовцев сказал, что этого ему достаточно: во-первых, у него есть небольшой капитал, а во-вторых, у него есть старший брат-миллионер, который холост и не раз уже предлагал ему совсем переселиться к нему, дабы избавиться от всех жизненных забот. Потапенко рассказал, что продал свои сочинения Марксу за 65 000 рублей; при этом ему **придется** — согласно договору — предоставлять Марксу для публикации все, что он впредь напишет, по 100 рублей за лист (значит, ранее, с чьих-то слов, я неверно сообщил, что Маркс

вправе приобрести за 100 рублей то, что ему понравится). Я исполнил просьбу Познякова, с которой он сегодня обратился ко мне, — предложил избрать его участником наших Обедов. Все согласились, кроме Потапенко, заявившего, что Позняков болен и в его присутствии он уже не сможет говорить столь же свободно, как всегда. И Познякова не избрали. Присутствовали также: Баранцевич, Куприн, художник Щербов (Old Judge) и доктор Томашевский, психиатр. Сначала перекидывались невинно-детскими шутками, к концу перешли на серьезные мужские разговоры о политике. На столе появилось шампанское, но я ушел, потому что чувствовал себя неважно.

3 марта 1902

Вчера у нас была Клавдия Лукашевич. Рассказывала о М.О. Меньшикове, который, по слухам, имеет капитал в 60 000 рублей, но при этом, воспитывая сына, приучает его к самостоятельности и подавляет в нем собственнический инстинкт; будучи шестилетним мальчиком, сын сам ездил из Царского в Петербург и выполнял разные поручения в редакции отца. Говорит, что отношения с Микулич у Меньшикова — чисто дружеские. Горбунья Юлия Загуляева, похожая на обезьянку, при виде которой я неизменно испытываю отвращение, словно вижу перед собой полураздавленного паука, и которая всегда одевается по последней моде, настолько, по словам Лукашевич, остроумна и оригинальна в беседе, что молодые красивые мужчины добиваются ее благосклонности; якобы старик Каразин все еще состоит с ней в интимных отношениях. Присутствовал и Баранцевич. Случайно зашел Лихачев. (Они не поздоровались и за ужином не обменялись друг с другом ни единым словом.) За свою «Мамусю»[291] он уже получил от здешней Дирекции императорских театров 1065 рублей. Пишет в «Новом Времени» рецензии на новые книги под псевдонимом В. Эссель.

9 марта 1902

Вчера у Случевского. Рассказывали: министр Сипягин доложил царю, что избрание Горького академиком — невозможно (согласно административному распоряжению, Горький лишен права проживания в столичных городах); избрание было аннулировано[292].

Я пришел в половине двенадцатого, и ровно в полночь начался ужин. Никакого «стихотворчества». Василий Немирович-Данченко радостно уверял, что всеобщая революция в России, сходная с Французской революцией XVIII века, — не за горами. Другие это отрицали. Говорили, вообще, только о политике и уличной демонстрации, состоявшейся третьего числа нынешнего месяца. Немирович-Данченко утверждал, что совсем не умеет выступать с

чтением собственных вещей (другое дело — говорить публично, без всякой подготовки); сказал, что во время Русско-турецкой войны он не знал такого страха, какой испытал однажды при чтении своих стихов. Сказал также, что его череп по своему строению — череп идиота. Лихачев сочинил четверостишие:

Пишущий люд на цензуру
Сетует сдуру:
Явное дело, что пресса
Требует пресса.

Присутствовали также: Минский, Кусков (впервые), И.И. Соколов, Шуф, Льдов, Сологуб, Зарин, Порфиров, Мазуркевич, Грибовский, Вентцель (Юрьин) и Рудич... У Коринфского высыпала на лице сыпь — видимо, результат запоя, как пояснил Случевский.

23 марта 1902

Вчера у Случевского. Он прочитал ряд своих «*Загробных песен*» — абсолютно рассудочная рифмованная метафизика; прочитал также «Песню», в которой речь идет о жителях Сатурна (а не Марса). Черниговец быстро ушел, шепнув мне: «Это для меня слишком!» За ужином присутствовали: Д.Л. Михаловский, Мережковский с Зиночкой, Сологуб, Шуф, Мазуркевича, Грибовский, И.И. Соколов, Тамбовский (псевдоним Михневича), Авенариус и еще несколько лиц, упомянутых ниже. Кто-то вспомнил относящийся ко мне стих «*В штанах поставить единицу*», и Вентцель-Юрьин сымпровизировал:

А на низу, в запасе бойко,
Уж болтается двойка.

Я указал ему на contraditio in adjecto[293] во второй строчке, и он исправил:

Уже подтянутая двойка.

По пути домой Порфиров советовался со мной, стоит ли ему жениться; она — девица 27 лет, из весьма обеспеченной семьи, подруга его юности. Опасается, что не сможет принести ей счастья по причине своей половой распущенности.

Коринфский в этот раз отсутствовал. Случевский сообщил, что он, будучи в пьяном состоянии, повредил себе руку. По его словам, он (Коринфский) вообще пьет слишком много, и сколько он ни увещевает его как друг и как начальник, — ничто не помогает. Если этот порок его окончательно погубит, бу-

дет тем более досадно, ибо он — исполнительный и усердный работник (в редакции).

27 марта 1902

Вчера хоронили Глеба Успенского. Он выглядел в гробу (я увидел его в церкви на Волковом кладбище) совсем иначе, чем в жизни: на его лице лежала печать какой-то нерешительности и строгой серьезности; под высоким выпуклым лбом — высоко взнесенные брови; плотно сжатые губы; каштаново-коричневая борода. Он умер 24-го, в день смерти Гаршина (получилось так, что я стоял на занесенной снегом гаршинской могиле, не подозревая об этом, и лишь случайно прочел надпись на кресте). Около двухсот человек. Из поэтов видел лишь Сафонова, да и тот был уже навеселе. Из круга Случевского — никого. В похоронах принимала участие вся либеральная литература. Полиция создавала большие — и, разумеется, нелепые — сложности, которые затем, без всякого повода, сама же и устраняла. Множество венков, среди них — один серебряный с красной лентой: от редакции «Русского Богатства». У гроба — всего две речи, произнесенные неизвестными лицами. Скверная погода.

17 апреля 1902

Позавчера моя жена была у Чюминой, и та рассказала ей о своей близкой знакомой Книппер (жене Чехова). Примерно две недели назад она избавилась здесь от шестинедельного плода. При этом в течение Великого Поста она играла здесь в труппе Станиславского, а еще раньше — в Москве, тогда как ее супруг жил в это время в Ялте. — <...>

28 апреля 1902

Вчера — Товарищеский обед в «Кюба». Сперва говорили про убийцу Сипягина, а потом сплошь дурачились. Немирович-Данченко сделал предметом своих острот мое мнимое любовное приключение в Екатерининском институте и сказал (после того как доктор Томашевский упомянул озеро Титикака): «Счастливец Фидлер! Ему достались тити, а нам — кака!» Мордовцев рассказал следующее. Когда он проходил тщательное обследование у профессора Полотебнова и разделся донага, у него неожиданно началась эрекция, и Полотебнов с удивлением воскликнул: «Да у Вас, оказывается, hujus maximum!»... При упоминании имени Нины Александровны (Булатовой) Потапенко сказал, что однажды использовал это звучное имя в одном из своих сочинений, но где именно, — не мог вспомнить.

Присутствовали также художник Щербов и Баранцевич. <...>

9 мая 1902

Сегодня, во время суеты по поводу бессмысленного и бездуховного франко-русского альянса[294] встретил на Невском Вейнберга. Поскольку каждый неинтеллигент (и мужского, и женского пола) украсил себя флажком, кокардой, медалью и так далее, я подошел к нему с вопросом: «Si vieux et pas decoré?»[295] Он ответил, показывая на светски разодетый плебс: «Возмутительно! Но еще возмутительней ведет себя наша печать!»... Вернувшись из Одессы (недавно), он думал, что умрет: несколько дней мочился кровью и очень страдал... Он прожил в Одессе 18 лет и ни разу не был в Крыму... Кажется, в этот раз он не кутался в свой неизменный плед. <...>

18 мая 1902

Вчера благодарили Случевского за его Пятницы сверхпятничным ужином у Палкина. Я выпил на брудершафт с Василием Немировичем-Данченко. Шуф произнес:

Кому священны ласки Музы,
Тот гонорара не берет.
Она дала ему вперед,
И бескорыстны эти узы.

В комнате ресторана на одной из картин, украшавших стены, была изображена женщина: казалось, она мастурбирует. Черниговец назвал ее, сравнивая с другими женщинами на картинах, — Неёба (Ниобея). <...>

Когда нас фотографировали, Льдов сказал, что детский журнал — это журнал с указаниями, как делать детей. Лихачев сымпровизировал, имея в виду 18 участников ужина:

Здесь девять пар нас.
Вот весь Парнас.

Сказал также про Случевского младшего (Лейтенант С.):

Как юн! На него я с восторгом взираю.
Весь мир ему Божий открыт!
Он сам за себя постоит ли, не знаю,
Но член за него постоит.

Кроме того, присутствовали: Авенариус, Грибовский, Коринфский, Д.Л. Михаловский, Порфиров, Зарин, Соколов И.И., Сологуб и Вентцель (фамилия пишется, согласно его собственному разъяснению, с «тц»).

Случевский одолжил мне на неделю свой пятничный альбом, в котором вчера оставили запись:

Вентцель (Юрьин):

a)

«Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей...»[296]
Так я исполнен ожиданья
Перед осенней пятницей.

b)

Из зол и бедствий бездны я,
Когда б в края надзвездные
Взноситься смело мог, —
То чувства непритворные
Я в формы стихотворные
Сейчас же бы облек.
Но в формы тискать «чувствия»
Ах, не силен в искусстве я,
Хоть дожил до седин...
Отсюда что же явствует?
Скажу одно: «Да здравствует
Случевский Константин!»

Черниговец:

Отдаваясь блудным бредням,
Опоздал, — пишу последним.
<...>

23 мая 1902

Поскольку у меня сейчас много времени и я хочу поскорее закончить эту тетрадь, привожу здесь отдельные записи из моего «Ежедневника»:

1884, 4 мая:

«Написал письмо Виктору Гюго, в котором просил его прислать мне один из его последних портретов».

1884, 18 мая:

«Сегодня получил из Парижа следующее письмо:

Monsieur,

M. Victor Hugo s'est interessé à votre lettre. Il me charge de vous faire parvenir son portrait à l'eau forte qui est un de plus ressemblants qu'on a fait de lui.

Croyez à mes meilleurs sentiments

Richard Lesclide[297].

К сожалению, копии моего письма у меня не сохранилось».

1885, 16 июля (н. стиля), Берлин:

«Был вчера у Шпильгагена, но не застал его дома; пришлось понапрасну проделать немалый путь. Неудачи такого рода лишают меня охоты совершать намеченные визиты к писателям.

Сегодня утром вновь отправился к Шпильгагену. "Я хотел бы поговорить с господином Шпильгагеном", — сказал я решительным, не терпящим возражения тоном хорошенькой горничной, которая открыла мне дверь. "В это время господин обычно никого не принимает", — сказала она, помедлив. "Тогда передайте ему: я буду дожидаться ответа", — спокойно сказал я и передал ей визитку Пауля Гейзе и свою собственную. Прошло примерно две минуты; за это время по лестнице поднялась и вошла в переднюю какая-то дама, держа в руке два незаклеенных письма (видимо, рекомендательных), что меня весьма возмутило. В эту минуту поспешно вошел Шпильгаген; он молча и нерешительно остановился перед нами, явно не рассчитывая застать посетительницу. Наконец он обернулся ко мне: "Ах, пожалуйста, пройдите в комнату..."; затем, повернувшись к даме, взял у нее из рук письма, бросил на них беглый взгляд и сказал: "Сейчас буду к Вашим услугам". Рассерженный, я шагнул в его кабинет и не успел даже окинуть взглядом окружающую меня роскошь, как Шпильгаген торопливо вошел следом, протянул мне руку и подвел меня к маленькому круглому столику, где мы уселись на низкие бархатные стулья. "Я ужасно занят: должен закончить к сроку одну работу, поэтому... Значит, Вы были у Гейзе... Как он?" — "У его жены случилось кровотечение, он теперь, по-видимому, в Швейцарии". — "Ах, у бедняги всегда несчастья в семье; но этого следовало ожидать, она так... выглядела... Вы постоянно живете в Петербурге?" — "Да... Вам дружеский привет от господина Петрика". — "Хм... Значит, Вы его знаете?.. А что Вы изучали?" — "Всеобщую историю литературы". — "Так... Вы тоже писатель?" — "И да, и нет". — "Ну-ну, к чему такая скромность?!.. Да, сожалею, что не могу уделить Вам больше времени. Не оставите ли Вашего адреса? Вы ведь пробудете здесь еще пару дней?" — "Да, еще около трех дней". — "Тогда прошу Вас... Вы живете?.." — "Улица Кёниггретцер, 115" — (Записывая:) "Кёниггретцер, 115... Я хотел бы, чтобы Вы зашли к нам на часок".

С этими словами он поднялся и проводил меня к двери, пожал мне руку и сказал ожидавшей даме: "Пожалуйста". Она скрылась с ним в его кабинете, а я вышел на лестницу.

Вот и вся беседа. Он находился, казалось, в лихорадочной спешке и говорил очень торопливо. У него энергичное лицо, в глазах светится ум, а все движения говорят о том, что в нем не угас жар юности».

1885, 2 февраля:

«Посетил Минского (Виленкина); он обрадовался моему “Кольцову” и несколько раз воскликнул: “Это *событие* в русской литературе! Это делает честь России!” Дал мне несколько конкретных редакторских советов. (Я познакомился с ним год назад у В. Гаршина.)»

1881, 18 сентября:

«Вчера повстречался в университете с доцентом Августом фон Видертом, преподавателем немецкого языка. “Вы не хотели бы давать частные уроки?” — “Охотно”. — “Тогда зайдите к писателю Василию Ивановичу Водовозову”... — Я зашел к нему, и мы условились таким образом: уроки немецкого для гимназиста Николая Водовозова, три раза в неделю по часу, полтора рубля за одно занятие. <...>»

1885, 2 февраля:

«Зашел сегодня к Роберту Ильишу (известный фельетонист, псевдоним — Le Flâneur). Ему, очевидно, показалось, что перед ним — один из его многочисленных недругов, поскольку он смерил меня недоверчивым взглядом и, указав на стул, тихо спросил: “Чего изволите?” Я вынул из кармана сюртука моего “Кольцова” и протянул ему книжку со словами: “Вашего отзыва, если возможно”. Черты его лица тотчас разгладились, он заговорил со мной любезнейшим образом, задал ряд вопросов и пообещал, что непременно напишет. Мы распрощались, крепко пожав друг другу руки».

1886, 15 января:

«Был в пятницу у Ильиша и просил его поместить мои переводы стихотворений Плещеева “Вперед! Без страха и сомненья...” и “Среди гнетущих ум сомнений...” в сегодняшнем номере «Herold» (сегодня отмечается сорокалетний юбилей писательской деятельности Плещеева). Он очень любезно обещал выполнить мою просьбу и сообщил, что видел в различных иностранных изданиях перепечатку своей рецензии на моего “Кольцова”, обогащенную лишь несколькими цитатами; все, по его словам, меня хвалят».

1886, 17 января (в связи с юбилеем Плещеева Ильиш пишет в «Herold»):

«Затем господин Фидлер с большим чувством прочитал прекрасно переведенное им пламенное стихотворение Плещеева “Вперед! Без страха и сомненья...” (его перевод приведен в моей последней статье) — публика восторженно и долго аплодировала. Каждая строфа вызывала взрыв восторга, а господин Плещеев растроганно поблагодарил молодого талантливого переводчика. У гос-

подина Плещеева всегда было сокровенное желание: видеть свои сочинения в немецком переводе».

1886, 25 февраля:

«Несколько дней назад я принес Ильишу следующие стихотворения Тургенева: “Баллада”, “Когда давно забытое названье...”, “Весенний вечер” и “Безлунная ночь”. Сегодня они появились в “Herold” и притом весьма броско — на первой странице; такой чести не удостаивалось в этой газете еще ни одно стихотворение».

1886, 1 октября:

«Примерно неделю назад получил последний корректурный лист “Бориса Годунова”. Ильиш попросил меня предоставить ему весь текст; я так и сделал. Он собирается пойти с ним к Боку: может быть, 29 января, в день пятидесятой годовщины со дня смерти Пушкина, Боку удастся что-либо поставить на сцене». (Ничего не вышло... *Ф.* Май 1902 г.) В моих «Ежедневных записях» можно найти и другие различные его отзывы на мои переводы — в целом хвалебные, что для него не характерно. Кроме того, все рецензии на мои труды, которые мне удалось собрать, вклеены у меня в две тетрадки; среди них — и его рецензии.) — —

1886, 15 января (в связи с юбилеем Плешеева):

«Обед (по восемь рублей с человека) состоялся в половине шестого в ресторане Понсе (Дюссо). Присутствовал почти весь писательский мир Петербурга — 120 человек. Одна речь следовала за другой, и настроение гостей постепенно падало: в конце концов, все стали болтать друг с другом, не обращая внимания на ораторов. Тогда снова вышел П.И. Вейнберг и громким голосом, так, что всем было слышно, сказал: “Господа! Вы слышали пока лишь звуки русской речи. Послушайте же стихотворение нашего юбиляра “*Вперед, без страха и сомненья...*” на немецком языке в переводе господина Фидлера!...” Кругом раздалось удивленное “А!”, и внезапно воцарилась полная тишина. Я быстро допил бокал шампанского и твердым голосом начал читать “Вперед! Без страха...” После каждой строфы звучало “Браво!”, а когда я кончил читать, со всех сторон поднялась буря аплодисментов, так что я совсем растерялся. Плещеев обнял меня. Григорович пожал мне руку. Все хлопали и кричали “Браво!” Я благодарил, кланяясь то влево, то вправо, и пытался пробраться на свое место. Это удавалось с трудом, поскольку все, мимо кого я проходил, останавливали меня, жали мне руку, говорили самые лестные любезности и поздравляли с огромным успехом. Я был в полном упоении. Актриса Стрепетова, эксцентричная и нервная особа, подбежала ко мне с возгласом: “До сих пор я враждовала с немецким

языком — но Вам удалось меня с ним примирить!” Граф Голенищев-Кутузов тихо сказал мне: “А знаете, о чем говорят втихомолку? О том, что Ваш перевод лучше оригинала!” Минский обнял меня и воскликнул: “Ну, дорогой мой, сегодня у Вас такой успех, что и сам Плещеев может Вам позавидовать! Вы — истинный герой нынешнего вечера!” И так, словно некая редкость, я переходил из рук в руки, из одних объятий в другие — и воистину торжествовал победу, какой у меня, возможно, никогда в жизни больше не будет!» — — — <...>

[Пятигорск,] 12 июня 1902

Сегодня познакомился с протоиереем Василием Эрастовым, коему после смерти Лермонтова выпала на долю весьма печальная роль: он отказался хоронить покойного по церковному обряду. Ему 87 лет (родился 19 февраля 1815 года), но неплохо сохранился; приветливо-улыбчив; напоминает старика Суворина. Поскольку он решительно отказался совершить над телом Лермонтова обычную церковную службу, поэта пришлось хоронить на городском кладбище без отпевания и поминальной молитвы. Поп живет в собственном доме на Дворянской улице. Напротив него, на углу, справа наискосок (разговаривая со мной, он высунулся из окна, а я опирался правой рукой на подоконник), — надо только перейти улицу — стоит (сильно перестроенный) дом Шан-Гирея, где жила генеральша Верзилина и в котором 14 июня 1841 года Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. «Почти каждый вечер там собиралось общество: звучала музыка, слышалось пение, танцевали». Эрастов лично не знал Лермонтова. «Никто и не догадывался, что среди нас живет великий человек. Его стихи имели хождение лишь в узком кругу его знакомых. Конечно, я должен был не раз его видеть — ведь он проходил под моими окнами. Но тогда здесь было множество офицеров! Его смерть не вызвала ни малейшей *сенсации*, на похоронах было очень мало народу. Я наблюдал за похоронной процессией издалека*. Но отец Павел, мой покойный коллега, был на кладбище; он не отпевал, хотя и намеревался. Я был тогда молод, всего 26 лет, и придерживался мнения, что погибшему на дуэли, равно как самоубийце, не подобает торжественное богослужение. Но я присутствовал, когда выкапывали тело, и прочитал короткую молитву, хотя и не служил панихиду».

[Пятигорск,] 13 июня 1902

Сегодня я отправился в *Свиную балку* к Ивану Андреевичу Чухнину — единственному местному жителю, лично знавшему Лермонтова. Тогда он был куче-

* При этом он указал рукой направо — вверх по улице, в ту сторону, где расположено кладбище.

ром и занимался извозом; теперь иногда возит глину. Ему 87 лет, но на вид не больше 75-ти; хорошо видит и слышит. Уверяет, что памятник в городском саду совсем не похож на Лермонтова: «Он был худой, а вовсе не *толстомордый*». Чухнин часто возил его и всегда получал *щедрое* вознаграждение; Лермонтов вообще был *мягкий человек*. Я удивился, впервые услышав от него, что Лермонтов не рухнул беззвучно на землю и не умер сразу же (как пишут биографы), а лежал под дождем на месте дуэли еще примерно час, пока не появился Чухнин с повозкой. По пути в Пятигорск Лермонтов все время стонал и умер лишь дома, когда его положили на постель. И еще одна новая (для меня) деталь: Лермонтов первым выстрелил в Мартынова, но его рука сильно дрожала (об этом Чухнину сообщили очевидцы; имен он не помнит). Здесь распространился слух, будто Лермонтов упал с лошади и смертельно повредил себе грудь. По его словам, не было никакой грозы, шел самый обыкновенный дождь. Смерть Лермонтова не вызвала шума — его здесь почти никто не знал. Впрочем, Пятигорск того времени нельзя сравнивать с нынешним: город состоял тогда из нескольких улиц и нескольких деревянных домов. Мне показалось, что я неверно понял Чухнина, утверждавшего, что поэт был еще жив, когда он доставил его домой, и я повторил мой вопрос другими словами. Ответ был точно такой же. Когда же я сказал, что он, возможно, что-то забыл, он улыбнулся: «Такое не забывается! Нет, это я помню наверняка!... Правда, я не могу утверждать, что он тоже выстрелил; но мне рассказывали!» Я сфотографировал старика.

[Кисловодск,] 14 июня 1902

Мы теперь в Кисловодске: моей жене предстоит лечебный курс. Нынче утром, в половине девятого, прогуливаясь по Нарзанной галерее, я встретил Н.К. Михайловского. Мы расцеловались, но смогли обменяться лишь парой незначащих слов, поскольку он был с двумя дамами. — —

В двенадцать мы встретили его одного. Уже две недели, как он здесь, — принимает нарзанные ванны. Кроме того, доктор Подановский лечит его электричеством. Но он чувствует себя далеко не столь «жизнерадостно», как несколько лет тому назад, когда приезжал сюда. Провел меня почти по всему парку и показал дом вдовы (художника) Ярошенко. Прямо под ним некогда находился ресторан, и здесь валялись в траве Михайловский, Максим Ковалевский, Соболевский и Глеб Успенский, а также несколько дам. «Постепенно они вытеснили всех остальных посетителей ресторана, но хозяин вполне мог существовать за счет этой веселой компании». Мы сидели возле «Парк-ресторана» — месте, историческом для русской литературы, ибо здесь, как утверждают, и состоялся решающий разговор между Грушницким и Печориным. Он рассказывал про поэта Вербова, который не только пишет стихи, но и служит ветерина-

ром и инспектором пятигорской скотобойни. Свои воспоминания об Успенском, напечатанные в «Русских Ведомостях», Елпатьевский послал сначала в «Русское Богатство», но Михайловский отклонил его статью — во-первых, ему не понравилась ее тональность, а во-вторых, он нашел в ней слишком много искусственного и надуманного. Он (Михайловский) пробудет здесь, очевидно, до конца июля, но писать ничего не собирается.

Вечером в галерее встретил профессора Владимира Ивановича Ламанского: он лечится здесь от подагры и атонии кишечника. Приехал сюда из Крыма, где, пользуясь случаем, впервые навестил Л. Толстого. «Вообще-то, я против таких визитов, но оказавшись близ графа Милютина, не мог устоять перед искушением». Толстой сидел в кресле. Жаловался на распад русской литературы. Он против чеховских драм, в которых нет никакого действия и никакой борьбы, одно настроение. «Если бы я участвовал в выборах Горького в Академию, то положил бы ему черный шар», — заявил Толстой. После того как Горького постыдным образом исключили из числа академиков, он (Толстой) и не подумал заявить о своем выходе. Ламанский же при голосовании (как он мне сам сообщил) положил Горькому черный шар. Говорят, что К.Р. (великий князь Константин Константинович) сошел с ума.

Узнал из «Нового Времени», что 8 числа сего месяца умер Рейнгольдт.

[Кисловодск,] 23 июня 1902

Гулял с Ламанским и узнал от него следующее. <...> Когда Тютчев был женат во второй раз, он влюбился (уже под семьдесят лет) в свояченицу Александра Ивановича Георгиевского; когда она умерла (похоронена на Ново-Девичьем кладбище, где и семейная усыпальница Ламанских), его часто видели на ее могиле: он лежал там и плакал. Однажды Ламанский встретил на Васильевском острове критика Писарева, и тот сообщил ему, что его только что выпустили из лечебницы для душевнобольных. С Чернышевским Ламанский тоже был хорошо знаком. Он просил Якова Карловича Грота, имевшего доступ ко двору, обратиться к царю с ходатайством об освобождении Чернышевского, но Грот отказался: «Чернышевский — опасный человек!» Грот часто украшал свои работы писаниями других авторов и пожинал урожай там, где не сеял; он был совсем незначительный ученый.

Однажды незадолго до своего брака с Анной Григорьевной к нему пришел Достоевский и сказал, что собирается совершить «преступление», за которым непременно последует «наказание». Он мучился в то время припадками. Как-то раз, когда Ламанский был у него в гостях, он начал описывать ему один из своих припадков, и притом с такими физиологическими и психологическими под-

робностями, что Ламанскому стало не по себе. Заметив это, Достоевский принялся еще более сгущать краски: он повел его в коридор и уборную и показал то место, где лежал на полу. Он видел, что рассказ его мучителен для Ламанского, и это, казалось, доставляло ему сатанинское наслаждение. В разговоре он бывал весьма нетерпим. Однажды покойный брат Ламанского, управляющий Государственным банком, устроил у себя бал. Достоевский и Ламанский находились в зале для курящих, где шла игра в карты; а из соседнего зала доносилась танцевальная музыка. Достоевский долго распространялся насчет Апокалипсиса, утверждая, что седьмой зверь — это Америка. Анна Григорьевна, до того как они поженились, была его секретаршей, она писала под его диктовку. А писал он очень много, ведь ему приходилось среди прочего оплачивать долги своего брата Михаила. Однажды, связавшись со Стелловским, издателем-кровопийцей, он чуть было не попал впросак. Этот издатель заключил с Достоевским контракт: если роман, который должен представить ему Достоевский, не будет готов к определенному часу определенного дня, то права на издание этого произведения переходят к нему навечно. Закончив роман за день до истечения срока, Достоевский отправился к Стелловскому. Однако тот уехал, не оставив адреса. Тогда Достоевский пошел к нотариусу и засвидетельствовал день и час, когда он представил готовый роман[298]. И только так спас себя от издателя.

[Кисловодск,] 29 июня 1902

Ходил с Михайловским на Голубые Горы. Мир зверей, растений и минералов ему совершенно чужд. Здесь, в Кисловодске, живет писатель Захарьин (Якунин). Я спросил Михайловского, знаком ли он с ним. «Весьма поверхностно. Кажется, *порядочная дрянь*». Сборник его стихов разругали в «Русском Богатстве». Он написал протест. Михайловский не хотел его публиковать, но все же был вынужден это сделать в соответствии с цензурным распоряжением. Через месяц (раньше запрещено правилами) Михайловский напечатал свой комментарий к его протесту. Затем, во время какого-то публичного чтения (так называемый «литературный вечер») Захарьин-Якунин подошел к Михайловскому и заявил, что желает с ним побеседовать. Но в этот момент подошел кто-то еще, и беседа не состоялась. С тех пор Михайловский не встречал своего оппонента. — Ужинали у Гукасова. Говорили о предчувствиях. Михайловский в них верит, обосновывая их существование чисто научными доводами. Его предчувствия по большей части сбывались. Вот пример: Ему было в то время двадцать два года («последний раз, когда я молился»), и он любил одну девушку. Однажды ночью он почувствовал неодолимое желание ее увидеть. Он знал, что это в данный момент невозможно, и, обливаясь слезами, молил Бога, чтобы она явилась.

Тут зазвонили в дверь... один... два... десять раз. Никто не вышел в коридор, чтобы открыть. Михайловский *почему-то* тоже не вышел, хотя предчувствие подсказывало ему, что это **она**. На другой день выяснилось, что это была именно **она**. (Почему он в ту ночь молился в **последний** раз, он не пояснил; впрочем, я и не спрашивал.) О Достоевском, чей литературный талант он (Михайловский) ставит очень высоко, сказал, что как человек он был *негодяем*... Однажды, после какого-то публичного вечера, Михайловский и Горький прощались друг с другом. Последний поцеловал у Михайловского руку, и Михайловский непроизвольно поцеловал руку у Горького.

[Кисловодск,] 6 июля 1902

У нас был Михайловский. Однажды, во время вечеринки у покойного художника Ярошенко было предложено: пусть каждый открыто расскажет о своем поступке, которого он больше всего стыдится. Михайловский стал рассказывать, как однажды зимой — много-много лет тому назад — он отправился с какой-то компанией в Кронштадт, при этом они заглядывали по пути в каждую пивную, так что, в конце концов, достигнув цели своего путешествия, сильно захмелели. Они пошли в театр (там играл покойный П.А. Гайдебуров, тогда еще молодой), и Михайловскому взбрело в голову устроить в своей ложе пляску. Часть публики стала аплодировать, другая — шипеть. Явились представители Святой Германдад[299] и предложили танцору покинуть ложу. Он заявил, что не сделает этого, и тогда его удалили насильно.

У него есть кот, которого он очень любит, а тот его — как раз напротив. Когда кот, удобно устроившись на письменном столе, ложится на лист бумаги, на котором пишет в этот момент Михайловский, — то он, дабы не нарушать его покоя, прерывает свою работу.

Однажды к нему (Михайловскому) влетела через открытое окно канарейка. Она свободно порхала по комнате, и нужно было внимательно следить за тем, чтобы она не попала коту в лапы. Когда Михайловский стал с этой целью закрывать дверь в соседнюю комнату, то насмерть раздавил птичку, которая именно в эту секунду оказалась в двери. — Лицо Михайловского, когда он рассказывал эту историю, выражало глубокое сожаление и ужас.

«Любите ли Вы Тютчева?» — спросил я. — «Нет», — ответил он резко. — «У него ведь такие замечательные образы природы!» — «Да, но...»

[Кисловодск,] 12 июля 1902

Михайловский ежедневно совершает многочасовые прогулки (тем временем я перевожу Полонского и Тютчева), причем не ради моциона: он обдумывает

то, что напишет вечером. Вот уже полторы недели, как он снова пишет, потому что его тянет к письменному столу; устал от безделья. — —

Гулял с Мордовцевым. Из собственных произведений ему особенно нравится «Царь и гетман». «Но больше читают “Знамения времени” — в течение тридцати лет этот роман находился под цензурным запретом». Он учился одновременно с Ламанским (в Петербургском университете). Профессором истории у них был М. Куторга, требовавший, чтобы слушатели и вечером приходили к нему домой — для дискуссий. Они оба старались этого не делать. «Он не умел нас разговорить». На экзамене Мордовцев получил четверку, а Ламанский — тройку. Когда они потом переезжали через Неву (был ледоход), Ламанский сказал, что либо бросится в реку, либо переведется в Московский университет. За свое кандидатское сочинение («О языке “Русской Правды”») Мордовцев получил золотую медаль, а Ламанский — только серебряную. Почувствовав себя оскорбленным, Ламанский не явился на торжественную церемонию, но позднее, когда Мордовцев объяснил ему, что медаль можно отдать в заклад по крайней мере за пятнадцать рублей, все-таки забрал ее в университетской канцелярии... Он рассказал мне об этом, поскольку я хотел знать подробности: за время пребывания здесь Ламанского он неоднократно в моем присутствии добродушно-шутливо подтрунивал над ним... Да, странно распорядилась судьба: Ламанский стал знаменитым ученым, а Мордовцев не сделал никакой научной карьеры.

Мордовцев с неослабевающим усердием пишет новый роман, надеясь его здесь и закончить (к середине августа).

[Кисловодск,] 14 июля 1902

Вчера — с семи до половины первого — у нас сидел Михайловский. Ужинали на балконе. Разговор шел исключительно на общественно-политические темы. Упоминания заслуживает, пожалуй, лишь следующее. Недавно его пригласили на домашний концерт, но он не пошел. «Меня охватывает порой зверское (но не звериное!) желание укрыться от людей в какую-нибудь пещеру». Когда я прочел ему тютчевское стихотворение «*Есть в светлости осенних вечеров...*», он сказал уклончиво: «Это мне *чуждо*». Он знает Тютчева лишь по нескольким широко известным стихотворениям. Его дважды высылали из Петербурга, причем каждый раз — без какой бы то ни было серьезной причины... К половине первого он был уже настолько хорош, что моей жене пришлось вести его под руку вниз (мы живем на небольшом возвышении слева от санатория; первый дом наискосок от нас — тот, в котором жил Лермонтов; владельца зовут Колпинский, он — наследник Реброва)... Из этого, впрочем, видно, что я был еще более «хорош».

3 сентября 1902

Вчера у меня был Баранцевич. Недоволен своим загородным домом в Саблино. Заплатил за участок 400 рублей, за дом — 2600. Все земли вокруг принадлежат семье Хитрово и А. Толстому[300]. Ставит Будищева много выше Горького и почти на один уровень с Достоевским. Один из рассказов Будищева привел его в такое восхищение, что он написал автору восторженное письмо. Когда он встретил потом его «жену», она сказала, что его письмо спасло Будищеву жизнь: оказывается, он давно решил, что застрелится в день, когда ему исполнится сорок два года; а теперь к нему вернулось мужество, и он снова поверил в свой талант. — Издатель журнала «Живописное Обозрение» предложил ему (Баранцевичу) заменить Зарина в качестве главного редактора; ежемесячное жалованье — 250 рублей. Он в принципе согласился, но выдвинул условие: жалованье Зарина не должно сократиться, а его самолюбие не должно быть задето. Однако ему предстоит еще утверждение в Управлении по делам печати[301]. — <...>

Сегодня встретил Венгерова. Из Царского они переехали в город — на Николаевскую, 16; но он сохранил и квартиру на Разъезжей: там он будет жить со своей семьей, здесь — заниматься литературными делами. Его любовь к литературе и аккуратность, доходящая до педантизма, подтверждаются таким фактом: в собрании сочинений Белинского под его редакцией, точнее, в томе, выходящем в ближайшие дни, есть небольшое примечание о том, что стихотворение, которое Пушкин объявил подражанием Данте, на самом деле — оригинальное пушкинское стихотворение[302]. Чтобы утверждать это с чистой совестью, он (Венгеров) перечитал всего Данте — от А до Я. — —

Дополнение к Баранцевичу. Наговорившись всласть (он — неутомимый рассказчик; мы просидели с ним целых семь часов), он попросил почитать ему что-нибудь из «Голубых тетрадей» и затем похвалил меня, назвав мои записи интересными и полезными. — —

Сегодня у нас был Альбов. Завтра он уезжает в Крым. Навещать Чехова не собирается; Елпатьевский, по его словам, выслан из Ялты. <...>

5 октября 1902

Вчера — первая в этом сезоне «пятница» у Случевского. Он назвал меня «Фединька» и сказал, что теперь свободен: как только я напишу ему, он навестит меня. (Я никогда не приглашаю его к себе — ни устно, ни письменно; моя жена его недолюбливает.) Он больше не редактирует «Правительственный Вестник», зато ему назначена пенсия; если бы ее не было, он не мог бы продолжать «Пятницы». (Коринфский мне недавно рассказывал, что у Случевского осложнились отношения с министром Плеве; сколько бы Плеве ни звонил в

редакцию, Случевского никогда не оказывалось на месте.) В парке его усадьбы (в Гунгербурге) установлены в нескольких аллеях таблички с именами «пятничников», посетивших «уголок» или (точнее: и) его воспевших. Шуф читал небольшую поэму «Крестоносец» (Танкред[303]). Перед тем как он начал, И.И. Соколов попросил минуточку подождать и удалился в «Министерство внутренних дел»[304]; «Он хочет сполна насладиться», — сказал Случевский; «Напротив, облегчиться», — возразил Лихачев. Затем Мазуркевич прочел смешную эротическую поэму «Паук»; цензура ее вряд ли пропустит. Затем Вентцель (Юрьин) читал два стихотворения, тоже вызвавшие у цензуры возражения (без явной политической подоплеки). Лихачев огласил несколько непристойностей Пирона, а Сологуб прочитал декадентское стихотворение, в котором, обращаясь к дьяволу, называет его «отец». Коринфский ничего не пил и молчал: был мрачно настроен. И.И. Соколов начал читать свое стихотворение «*Утром встало*» (вместо «*Утро встало*»). Лихачев дополнил:

Утром — встало, в ночь легло,
Как мочало, мне назло!

Он произнес и такую импровизацию: «*Не могу поебать — видно, надо погибать!*» Говорили о том, как трудно найти рифму на мое имя, и Мазуркевич, подумав, произнес:

На Неве, а не на Одере,
Я всегда мечтал о Федоре.

О моей незабываемой ученице Нине Булатовой, окончившей институт в мае нынешнего года, он сказал мне (по-немецки): «В жизни не встречал более восхитительной девушки! Ее бы целовать, целовать, целовать!»

Присутствовал также Порфиров.

19 октября 1902

Вчера — у Случевского. Я, по обыкновению, пришел после одиннадцати. Лейтенант С. как раз читал вторую часть своей (еще не законченной) поэмы, заслужившей непритворное одобрение. До ужина ушли: Авенариус, Лохвицкая, Рудич, Луговой и Мережковский. Шуф сказал мне, что мечтает поехать в Германию (он был проездом лишь в Берлине и Кельне), в особенности — на Рейн и в Штуттгарт, откуда происходят его предки, немецкие лютеране; его прадед был приглашен в Петербург Анной Иоанновной в качестве библиотекаря. Зарин рассказывал о Фофанове. Этой весной он (Фофанов) пил несколько дней подряд. Однажды утром он проснулся и услышал на улице торжественное пе-

ние: это была церковная процессия. Фофанов мигом выпрыгнул из постели и поспешил, накрывшись одним одеялом, на улицу. Посредине улицы он остановился и благословляющим жестом вытянул навстречу процессии обе руки; при этом он, разумеется, «оголился» (ему казалось, что он — Христос и верующие его ищут; чтобы вернуть его домой, полицейским пришлось применить физическую силу)... Некогда Зарин и Коринфский жили на одной и той же улице, друг против друга; если один из них пьянствовал с Фофановым до поздней ночи и тот не успевал на последний поезд в Гатчину, то он «*подкидывал*» его своему соседу. <...> После случая с церковной процессией (о котором Зарину поведала в редакции «Живописного Обозрения» жена Фофанова), Фофанов пытался повеситься: он сделал петлю из полотенца, и спасти его удалось лишь в последний момент, ибо в комнату вошел его сын.

Льдов ушел до окончания ужина. Коринфский и в этот раз ничего не пил. Сологуб прочитал следующее стихотворение:

Когда я был царем в Содоме,
Я презирал Господен гнев.
В моем раззолоченном доме
Не много было юных дев.
Наложниц я имел лишь двести.
Для упражнения едва.
Я чаще спал с кобылой вместе
Или ласкал ручного льва.
Но чем я славен был в рассказах
И в мыслях содомлян велик, —
То был мальчишек черномазых
Забавно-радостный цветник.

Присутствовали также: Лейтенант С. (недавно вернулся из Дании), А.М. Федоров (с успехом прочитал несколько своих экзотических стихотворений), Мазуркевич (снова поинтересовался у меня насчет Нины Булатовой), Грибовский, И.И. Соколов (ничего не пил, ел только рыбу и курил сигару).

13 ноября 1902

Вчера состоялся организованный мной юбилей Щеглова: ужин в ресторане Максимова (Садовая, 14). Ужин был назначен на десять, но юбиляр явился только в одиннадцать. Участвовали 36 человек, в том числе — писатели: Баранцевич, Будищев, Потапенко (ничего не пил и не ел), Ясинский (передал, со своей стороны, подарок — прибор из трех письменных принадлежностей; ко всеобщему удивлению, пил водку, пиво и шампанское), Измайлов (прочитал приветственное стихотворение отсутствовавшего Быкова), Брешко-Брешков-

ский, Свирский, Булацель (мне пришлось доплатить за него один рубль), Альбов, Позняков (и за него я доплатил рубль, поскольку он, как и Булацель, явился без денег), А.А. Плещеев, Шах-Паронианц, Билибин, В.В. Протопопов, Латернер, Меньшиков, Горленко и Кугель (Homo Novus). Официант передал мне визитную карточку Черниговца, написавшего на ней следующее:

За долг лишенный гонорара,
Сражен я этою бедой
И неспособен юбиляра
Почтить совместною едой!
Клянусь! — я был бы рад-раденек
С другими чествовать его:
Не уважения, а денег
Мне не хватило для того!
Тот на себя несчастье кличет,
Кто в черный день берет аванс!..
Жестоко бьет нежданный вычет...
Honny soit qui mal y pense![305]

Он (Черниговец) ждал ответа в общей зале; конечно, я пригласил его на ужин и заплатил за него четыре рубля — из суммы, оставшейся у меня после всех расходов (подарок, адрес, ужин, чаевые и т.д.); в итоге у меня все равно получился излишек в двадцать рублей, которые я вручил Щеглову и сказал, чтобы он сам сделал себе дополнительный подарок. Остальные участники ужина были либо не-писатели, как, например, Писарев, Фельдман, художники Денисов и Новоскольцев, или же — личные знакомые юбиляра. Хотели прийти и не явились: Лихачев, М.А. Суворин, Розанов, князь Барятинский, Зарин. На подарок (серебряный бювар) пожертвовали по два рубля следующие лица (помимо меня): Баранцевич, Измайлов, А.М. Федоров, Льдов, Свирский, Потапенко, Булацель, Лихачев, Альбов, Позняков, князь Д.П. Голицын, М.А. Суворин, Зарин, А.А. Плещеев, В.В. Билибин, Меньшиков, Розанов, Шах-Паронианц, Шенрок, Стороженко и Боборыкин, художники Репин и Кравченко, а также М.И. Писарев и Жулева (и еще какие-то безымянные лица)...

Поступили следующие телеграммы:
от Антона Чехова (из Москвы): «*Дорогого Ивана Леонтьевича дружески приветствую*».

Лейкин:

Шлю теплый привет и поздравления собрату по перу в день двадцатипятилетия литературной деятельности.

Боборыкин:

Примите сердечный привет от старого собрата, который приветствовал и четверть века назад Ваше появление в ряду русских беллетристов.

Лихачев:

Томясь, как свойственно больному,
В бездейственной тиши,
Шлю юбиляру дорогому
Привет от всей души.

Щеглов сказал про меня:

Сам Грибоедов предсказал,
Что нам от немцев нет спасенья.
Отсюда ясно заключенье:
За Феди Фидлера волненья
Я поднимаю свой бокал.

<...>

16 ноября 1902

Вчера — день рождения Михайловского. Вейнберг прочитал следующее стихотворение:

Собралися мы Вас поздравлять,
Съединившись в свободе и братстве
Вкруг властителя в «Русском Богатстве».
И кричим мы: «Ура, Николай!»
А судьбе говорим: «Посылай
Михайловскому многие лета, —
В утешенье российского света!
Наложи навсегда остракизм
На его плечевой ревматизм;
Пусть все то, что лишь пахнет недугом,
От него убегает с испугом;
Пусть пред ним преклоняются ниц
Легионы и жен, и девиц
(Как бывало и в прежние годы);
Пусть в кармане и сердце невзгоды
Не находят приюта себе;
Пусть подписчики в дружной гурьбе
Притекают в контору журнала;
Пусть избавится бич Ювенала
Навсегда от бича цензоров!
Будь же долго и жив, и здоров;
Не клонись перед бешенством бури
Вместе с нами при светлой лазури:
Рано ль, поздно ль прийдет к нам она;
Не затопит нас вражья волна,
Не сожрет нас с тобой Змей Горыныч!
Не робей, Николай Константиныч!

Был и Горький в своей знаменитой блузе (он остановился в квартире Пятницкого, Николаевская, 4). Я успел обменяться с ним лишь несколькими незначащими словами, потому что его все время окружали люди. Посещение столиц ему вовсе не запрещено. У него холодный, пресыщенный взгляд, и он крайне редко удостаивает своих поклонников беглой улыбкой. Рассказал мне, что связан контрактом с переводчиком Августом Шольцем, которому обязан присылать в рукописи свои драмы и новеллы; «*На дне*» печатается в Германии на русском языке. Произносит: Бе́рлин (!). Многократно упомянул о том, что такого рода отношения с иностранными издателями для него особенно удобны, ибо приносят кучу денег. Я тем более удивился, когда он сказал мне, что Антон Чехов просил его передать мне два рубля (на подарок Щеглову), однако денег при себе у него сейчас нет; не было при нем и часов — он спросил меня, который час. Особенно долго с ним беседовал Якубович. Но я не видел, чтобы с ним разговаривали Баранцевич и Мамин; они почти не покидали столовой, тогда как остальное многочисленное общество сидело в кабинете вокруг накрытого стола. Присутствовали, кроме того: Скабичевский, Леткова (Султанова), Шапир, Куприн, Мякотин, Ватсон, Семевские, Южаков. Вейнберг укоризненно сказал мне: «Вы читали адрес Щеглову!..» (Тут я вспомнил слова Свирского, сказанные мне на юбилейном вечере: «Я стал еще более уважать Вас за то, что Вы осмелились устроить этот юбилей прямо перед днем рождения Михайловского!»)

Михайловский встретил меня чрезвычайно дружелюбно, а мою жену — еще дружелюбнее. Мы ушли в семь вечера; за это время пришло и ушло, вероятно, человек шестьдесят.

8 декабря 1902

Сегодня Мамин крестил моего племянника (второго сына моего брата). Изгнание беса из души новорожденного (во время крещения, когда крестный должен дунуть и плюнуть) он счел не только в порядке вещей, но даже заявил, что у него в сей торжественный миг всякий раз навертываются на глаза слезы; поп, обнаружив единомышленника, пришел, разумеется, в восхищение, я же, пораженный этим обскурантизмом, прямо-таки лишился дара речи. Я ничего не сказал и тогда, когда он стал поносить немцев, корча при этом гримасы, как умалишенный. А когда я подверг сомнению его слова о том, что бифштекс в Германии стоит дороже четырех марок (два рубля), он ко всеобщему изумлению накинулся на меня: «**Ты** врешь; а вот мой знакомый, рассказавший мне об этом, не соврал!» Я не ответил, и инцидент был исчерпан. — —

Брат сказал мне сегодня, что его вчерашние гости полностью разочаровались в Мамине: все ожидали увидеть настоящего писателя, а увидели — полупьяно-

го, полусумасбродного *приказчика*. — — Дополнение: он (Мамин) сказал мне, что 15 ноября не поздоровался с Горьким: пройдя мимо, он лишь издалека ему холодно кивнул. Горький, дескать, слишком высокого мнения о себе и слишком избалован. Несколько лет тому назад он (Мамин), живя в Ялте, имел печальный опыт общения с Чеховым. Они встретились на набережной, и Чехов чуть ли не силой затащил его к себе в Аутку[306]; а затем моментально исчез в соседней комнате и больше не появлялся. Тем временем сестра Чехова жаловалась сидящему в столовой Мамину на то, что ее брата каждый день осаждают назойливые посетители! Тогда Мамин встал и ушел, не попрощавшись с Чеховым. С того самого дня он не желает иметь дела с обеими знаменитостями. «Все они таковы!»

20 декабря 1902

Часок в «Капернауме» с Коринфским. После смерти его первой жены нынешняя ежедневно приходила к нему и сидела порой до двух часов ночи; это постоянное возбуждение и побудило его поспешить со свадьбой. Венчание состоялось в церкви на Сенной площади, поскольку все прочие церкви отказались их обвенчать (он подкупил дьякона, сунув ему 25 рублей, и заплатил вдвойне за весь остальной спектакль); дело в том, что она — полька (Марианна Ясинская) и ее документы не в порядке: поскольку она выходит замуж за русского, ксендз отказался выдать ей свидетельство о последнем причастии. После венчания в квартире молодоженов состоялся малолюдный, но обильный ужин, после чего оба укатили в Москву (в купе первого класса). Грехопадение произошло сразу же, причем, желая поужинать, она уже в Любани отправилась в ресторан; все расходы он покрывал из собственного кармана, ибо у невесты нет ни гроша. Она мучает его ревностью к его покойной жене, так что ему пришлось убрать с ее глаз даже сборник «Черные розы». Он все еще выплачивает долги, которые оставила ему покойница. Кажется, новая супруга совсем прибрала его (Коринфского) к рукам: он не хотел, чтобы дома знали, что он провел часок со мной в ресторане. Рассказывал о вечерах («Пятницах») у Случевского. В последний раз Мережковский, его жена, Брюсов и Минский стали защищать мысль о том, что воскресение после смерти дается не только людям, но и клопам, *мокрицам* и дождевым червям. И этот вопрос всерьез обсуждался (во время ужина!). Мережковский, который верит в дьявола и адские муки после смерти, сказал (опять-таки совершенно серьезно), что для него не может быть ничего ужаснее, чем попасть за гробом в бочку с клопами. Потом утверждал, что в жужжании умирающей мухи слышится мука всего человечества. (Я же полагаю, что Мережковские, ослепленные желанием прославиться, стремятся лишь к популярно-

сти: они ведь слишком здоровые люди для того, чтобы открыто проповедовать такие нелепицы. — *Ф.*).

<...>

26 декабря 1902

Сегодня провел часок у моего славного Венгерова (на Разъезжей, где размещается его великолепная библиотека и живет его сестра; у него есть еще одна квартира, для семьи, — на Николаевской, 16). «Я работаю за троих». У него ровно миллион карточек для его «Критико-биографического словаря писателей» (заставил меня пересчитать коробки). Его работоспособность и любовь к предмету достойны восхищения; ложится спать каждый день лишь в четыре утра. Зинаида закончила в моем присутствии критическую статью о современных русских писателях — на английском языке для отправки в Лондон. — —

Позавчера пришли ко мне на рождественскую елку Альбов и Баранцевич. Последний сказал, что Леонид Андреев гораздо талантливее Горького. Альбов не произнес ничего, достойного внимания. Мы расстались ночью в четыре часа. Были также Жихаревы. Баранцевич с упреком выговаривал мне, почему я не протестовал против избрания певцов Шаляпина и Яковлева участниками Товарищеских обедов. Альбов сказал, что священник Петров — «*шельма*».

28 декабря 1902

Вчера — у Случевского, который был со мной подчеркнуто мил и упрекал за то, что я не появлялся у него в течение многих недель. Рассказывал о Некрасове (умершем 25 лет тому назад): он, Случевский, был тогда (в 1861 году) молодым офицером. В январской книжке «Современника» были помещены шесть его стихотворений, среди них — печально известное «*Ходит ветер подбочась...*», и Некрасов заплатил ему целых сто рублей[307]; это был его первый гонорар. Больше о Некрасове ничего не говорили: никаких воспоминаний, никакого обмена мнениями. Впрочем, Лихачев заявил, что терпеть не может некрасовских стихов. Прочитал свое подражание Вольтеру:

Змею Буренин раздавить хотел,
Но был ужален ею в тело.
И что ж? Буренин здрав и цел,
Змея ж на месте околела.

Был также Владимир Петрович Мятлев, чьи сатирические стихи против царя и министров передаются по всей России из рук в руки. Некоторые из них он

читал вслух; весьма остроумно. Едва лишь Черниговец закончил читать свое (см. в этой тетради) стихотворение «*Любуясь зрелой красотою...*»), как Мятлев его дополнил:

И тем прославился б в отчизне
Я без особого труда,
Где царь сидит под древом жизни
И ждет законного плода.

Присутствовали также поэтессы: Вера Романова, «племянница» Порфирова, который ввел ее в литературу и отправился провожать «только до извозчика» (она ушла перед ужином, торопясь на последний поезд в Царское), но отсутствовал целый час, и — Лидия Петровна Лебедева; кроме того: Авенариус, Вентцель-Юрьин, Мейснер, Мазуркевич, Шуф, И.И. Соколов и Сологуб. Последний то и дело признавался мне в любви: «Вы одержали победу! — Должен признаться, что я довольно высокого мнения о моих стихах; но Ваш перевод моего стихотворения "В кузнице" лучше оригинала: Вы сказали то, что я хотел сказать, но не смог. И за это я люблю Вас!» Затем, уже после ужина, в два часа ночи (приведенное выше признание он сделал мне в санях, а не у Случевского) он потащил меня к Палкину, где велел принести шампанского. Рассказывал о своей исключительно эстетической любви к мальчикам от тринадцати до шестнадцати лет. Он заставляет своих учеников раздеваться донага и созерцает их прелести, приходя при этом в «божественный экстаз». Женщины в обнаженном виде, по его словам, далеко не столь привлекательны и — холодны на ощупь. Сказал не без досады, что, созерцая и трогая их, он вовсе не испытывает сексуального влечения. Для удовлетворения этого чувства ему достаточно — себя, одного себя. Затем стал проповедовать бесполый садизм. <...>

Сегодня — Товарищеский обед у Палкина. Явились лишь Альбов, Мордовцев, Немирович-Данченко (дремал на диване, потому что провел бессонную ночь: вчера, в его присутствии, внезапно умер его друг, художник Егорнов, в возрасте 58 лет), Хирьяков, Барятинский и Потапенко. Было невыносимо скучно, так что даже нечего записать. — Отправился с Альбовым в «Капернаум». При посредничестве Измайлова издатель Сойкин приобрел у него за 250 руб. права на «Сироту». Говорили об Антоне Чехове и Горьком как драматургах. О первом Альбов сказал, что он глубок, о втором, что широк. Резко отозвался о Леониде Андрееве: «Он ищет душу человека *в заднем проходе*». — — — <...>

В Обедах беллетристов участвовали, кроме здесь уже названных: Вентцель-Юрьин, князь Волконский, Горленко, Грибовский, А. Зарин, Каразин, Лихачев, Порфиров, Сигма, Авенариус, Амфитеатров, Дорошевич, Будищев, Коринфский, Величко, Кайгородов. Да и некоторые участники наших Товарищеских обедов появлялись ранее на Обедах.беллетристов, но отдельные лица — особен-

но Волконский, А.С. Суворин и Величко — стали кое-кого раздражать, и тогда родились наши Товарищеские обеды. Впрочем, Обеды беллетристов тоже распадаются, поскольку хозяин «Донона» заявил: людей приходит так мало, что для проведения Обедов ему приходится докладывать из собственного кармана. Вопрос о том, прекратятся ли Обеды беллетристов или будут продолжены, должен окончательно решиться 4 января 1903 года (в ресторане Морозова).

3 января 1903

Только что от меня ушел Елпатьевский. Восхищался моим «музеем», сказал, что невероятно меня уважает и что только немец способен осуществить столь изнурительную собирательскую работу. <...> Показал мне целую серию семейных фотографий Льва Толстого. Весной, когда Толстой опасно заболел, он (Елпатьевский) ездил через день из Ялты в Гаспру и дежурил у его постели с восьми вечера до восьми утра: впрыскивал ему камфору, давал дигиталис и шампанское. Благодаря этому Толстой выжил. Убежденный в том, что он скоро умрет (он любит жизнь и боится смерти), Толстой поначалу рассказал Елпатьевскому про одного своего хорошего знакомого, у которого была карета, сверху донизу покрытая грязью; когда Толстой посоветовал ему удалить грязь, знакомый ответил, что карета держится только благодаря этой грязи — стоит ее удалить и карета развалится. Точно так же, сказал Толстой, он непременно умрет, если все его болезни исчезнут. Когда же смертельная опасность миновала, Толстой посетовал, что остался жить: мол, он уже так славно подготовился к смерти — и физически, и духовно! При этом он цепляется за жизнь всеми фибрами своей души. Толстой — чрезвычайно умный и чрезвычайно лукавый человек, типичный «бурмистр» эпохи отмены крепостного права. Для современной литературы он точно «идолище поганое»: хотел бы поглотить всех, кто пытается, хотя бы мимоходом, бросить тень на его славу; признает только мертвых. Не принимает, например, Ибсена. Несколько лет тому назад Короленко написал ему письмо, в котором высказался против его (Толстого) финансово-хозяйственных теорий. Весной Короленко был в Ялте, и Елпатьевский устроил их встречу в Гаспре. Разговор протекал «культурно», но чувствовалось, что оба сделаны из совершенно разного теста и исповедуют совершенно разные взгляды. О Горьком Толстой отзывается так, что его слова, ввиду их сугубо откровенного характера, даже и передать нельзя; а его заявление о том, что он положил бы Горькому «черный шар», совершенно невинно. Да и вообще, уверял Елпатьевский, многие разговоры за время последней тяжелой болезни Толстого (особенно разговоры между супругами) до такой степени сенсационны, что предать их огласке было бы высшей бестактностью. — — <...>

До этого навестил, наконец, Зою Яковлеву. Живет весьма изысканно. В гостиной полно живописи и фарфоровых безделушек; всюду ковры. У нее две обезьянки. Да и сама она выглядит как круглая, вроде пузыря, обезьянка. Наивна и мила. Упрекнула меня в том, что никогда раньше, встречая ее в обществе, я не заговаривал с ней. Ее покойный муж имел, помимо основного капитала, ежегодный доход в тридцать тысяч рублей. Но он был очень доверчив и готов был поручиться за других людей, так что после смерти свекрови Зое пришлось заплатить 250 000 рублей. Свекровь умерла недавно и завещала весь свой капитал в размере трех миллионов рублей своей внучке (или внуку), так что Зоя осталась ни с чем; намеревается начать процесс по поводу этого завещания, чтобы вернуть себе хотя бы 250 000 рублей. Тем не менее, уверяет, что денег у нее относительно мало и приходится подрабатывать пером; недавно получила две тысячи за свой роман. У нее есть еще одна квартира — в Гатчине, куда она каждую неделю уезжает на четыре дня, чтобы работать там без помех.

11 января 1903

Вчера — у Случевского. Я пришел, как обычно, в половине двенадцатого. До ужина ушли: Лебедева, Коринфский (спешил в редакцию «Правительственного Вестника» на ночную работу: Кулаковский, новый главный редактор, очень строг) и князь Касаткин-Ростовский. Когда я, желая сесть за стол и приступить к ужину, проходил мимо Мережковского, он взял меня за руку, привлек к себе, поцеловал и сказал: «Вы знаете, как сердце у меня *к Вам лежит*! Но, честное слово — не могу выбрать время, чтобы зайти к Вам!» Завязался разговор политического содержания. Кто-то сказал, что самодержавие в России должно сохраниться во имя народа, но министры, ведущие страну к гибели, должны покинуть свои посты, а на их место должны явиться народные избранники. Мережковский пропагандировал «бюрократическую охлократию». Черниговец (он и Василий Немирович-Данченко друг с другом на «ты») сказал, что теперь царит «хамократия» (хам — лакей, поставленный над прочими слугами, холоп... — *Ф.*) и мы переживаем процесс *самоохамления*. Кто-то сказал, что Россия еще не созрела для того, чтобы быть автократией. «Нет, перезрела», — возразил Мережковский. Он заявил также: «*Верх теперь низ*». Остальная часть носила неполитический характер. Зинаиду Мережковскую спросили, кто является цензором ее домашнего печатного органа «Новый Путь», и она ответила: «Наш дворник». Мережковский сказал, что стихи «для нас» — излишество, «как цветы и роса», хотя публике они «*необходимы, но не нужны*». Потом говорили о черте, о котором Мережковский сказал, что он вовсе не князь, а хам (лакей, повелевающий покорными слугами). Горького он (Мережковский) называет «типичным продуктом нашего времени»

и считает, что тот очень талантлив. Но гораздо талантливее, чем Горький, — Леонид Андреев в своей повести «В тумане».

·Кроме того, присутствовали (за ужином): Лейтенант С., Порфиров со своей племянницей (?) Романовой (не произнесла ни единого слова), Грибовский, Сологуб и Allegro (набросала в моем альбоме несколько портретов присутствующих, совершенно лишенных сходства).

19 января 1903

Вчера на минутку заглянул к Мережковским. Он показал мне переводы своего «Юлиана» и «Леонардо» на немецкий язык, удовлетворенно поведал о том, что Мутер назвал его «Леонардо» лучшей книгой об этом художнике, и усердно искал издательский каталог, в котором он стоит в одном ряду с Эберсом и Сенкевичем. «Хм... мое тщеславие идет несколько дальше!» В столовой рядом с Зиночкой сидели — Минский и Зинаида Венгерова. Мы болтали и смеялись, но всего лишь несколько минут, так как я спешил на Товарищеский обед.

В обеде приняли участие: Мамин (рассказывал неприличные анекдоты, выпил семь рюмок водки и три бутылки пива и покинул нас уже в восемь вечера: мол, надо ехать домой в Царское. Дрессировка возымела действие!), Баранцевич, священник Петров, С.Н. Кривенко, Потапенко, Хирьяков (только что вернулся из Ясной Поляны; Толстой чувствует себя хорошо и работает; книг Мережковского, ему посвященных, он не читает: они, на его взгляд, слишком большие и пространные), доктор Томашевский, Барятинский (похлопал Хирьякова по голове и поцеловал его; подробно рассказывал о своих и своей жены неприятностях: Плеве убежден, что они оба подстрекают студентов к выступлениям против правительства; под конец сильно охмелел от шампанского), Елпатьевский и Куприн (третьего числа сего месяца стал отцом; выпил со мной на брудершафт и был в конце концов настолько хорош, что на ногах не держался). Безобидная болтовня вперемешку с шутками. — — —

Сегодня к завтраку у меня были:

Случевский. Он прочел свою только что завершенную кантату на двухсотлетие города Петербурга. Потом предложил отметить пятилетие «Пятниц» изданием коллективного стихотворного сборника, на что Мазуркевич (собирается в актеры), недолго подумав, сказал:

Пейте, други, вкусный пунш
(мы пили кофе со шведским пуншем),
Я же выскажу мой вунш[308]*:*
Чтобы пятниц наших сборник
Появился хоть во вторник.

Когда Сологуб собрался уходить (ушел раньше, потому что пишет роман), Мазуркевич сказал:

Не хочет он в кругу приятелей
Еще болтать.
Спешит на пагубу читателей
Роман писать.

Кроме того, были: Лейтенант С., Черниговец (игра вокруг слова «централизация» принадлежит ему, а не Минаеву, как я, помнится, записал где-то в этих тетрадях), Сологуб, Вентцель, Шуф и И.И. Соколов. Было весьма оживленно. <...>

9 февраля 1903

Вчера — в связи с юбилеем Университета — был в ресторане «Медведь» на обеде, устроенном романо-германской кафедрой. Присутствовало около тридцати человек. Из писателей только Вейнберг, Батюшков и Рафалович. Главой собрания был академик Александр Николаевич Веселовский, который сказал мне, что о своем выходе из Академии, наряду с Короленко, объявил и Антон Чехов (в ответ на исключение Горького). Были преимущественно «ученые», то есть ограниченные люди, лишенные искры Божьей. Я неуютно чувствовал себя в этом обществе, хотя меня восторженно чествовали как «poeta laureatus»[309]. — — <...>

20 февраля 1903

<...> Кажется, я нигде не отметил, что Амфитеатров (Old Gentleman) уже несколько лет живет в Вологде. — —

Вчера пил с Зацимовским и Альбовым — сперва в «Москве», потом у «Шеффера и Фосса». Альбов вел себя весьма раздраженно: затевал спор с моей женой, не терпел возражений, притом что сам постоянно себе противоречил, превозносил самого себя, короче, находился в подавленном состоянии духа. — —

В недавно появившейся книге Измайлова «*Рыбье слово*» помещен на с. 74 рассказ репортера о его знакомстве с Достоевским. Рассказ этот основан на моем «знакомстве» с Достоевским. Я не раз рассказывал эту историю то одному, то другому писателю, так что Измайлов, вероятно, тоже ее слышал. Я неоднократно собирался рассказать об этом и здесь, но забывал — все время возникало что-то другое. Теперь, наконец, записываю, хотя и вкратце.

Я учился тогда в последнем классе гимназии или был уже студентом первого курса. Во всяком случае, дело происходило зимой, поскольку Достоевский

был одет в меховое пальто. Уже в то время я фанатически поклонялся любому писателю. И вот я встретил Достоевского на Невском, перед костелом св. Екатерины, рядом с часовым магазином Винтергальтера. Достоевский стоял, вынув свои золотые часы и сверяя их с круглыми часами в витрине магазина. Я застыл как вкопанный в двух-трех шагах от него и впился в него взглядом. Он бегло оглядел меня, затем снова посмотрел на часы и витрину магазина. Я продолжал стоять, растопырив руки. Он спрятал часы и вновь глянул на меня. Я стоял, пожирая его глазами. Он вздрогнул, снова вынул часы и сделал вид, что смотрит на них. На самом деле это был жест смущения. Я стоял перед ним как перед божеством. Наконец он бросил на меня быстрый гневный взгляд, сплюнул и отвернулся. Я поспешил прочь.

12 марта 1903

Провел вчера около часу с профессором Бороздиным в «Капернауме». Его отец хорошо знал Сухово-Кобылина, вчера скончавшегося. Он (Сухово-Кобылин) вывез из Парижа в Москву некую Диманш, свою возлюбленную. А когда она надоела ему, связался с женщиной по фамилии Нарышкина. В один из идиллических моментов их застала Диманш и нанесла сопернице удар в лицо. Вне себя от ярости, Сухово-Кобылин схватил стоявший на столе тяжелый подсвечник и обрушил его на Диманш, так что она бездыханной рухнула на пол. Затем он уговорил несколько своих крепостных взять вину на себя; за это он обещал дать волю всем своим крестьянам. «Убийцы» были сосланы в Сибирь. Но поскольку Сухово-Кобылин не сдержал своего обещания, они объяснили начальству, как все было на самом деле. Начался затяжной судебный процесс, и Сухово-Кобылин смог избежать приговора лишь благодаря подкупу, на который были затрачены огромные деньги, и вмешательству влиятельных лиц. Это было еще до судебной реформы[310]. — — <...>

10 апреля 1903

Седьмого числа в связи с премьерой горьковской пьесы «На дне» (успех был весьма скромный — см. об этом мою вчерашнюю рецензию в «Herold») разговаривал с Анатолием Федоровичем Кони — он при каждой встрече делает мне комплименты по поводу моих переводов. На этот раз он сказал: «Читаю по воскресеньям Ваши блистательные переводы Полонского. То, что они лучше оригинала, это в Вашем случае разумеется само собой; но я заметил в них еще кое-что: стихи... хм... умнее того, что написал и способен был написать Яков Петрович». (Как известно, Полонский не отличался особым умом. — *Ф.*)

Михайловскому пьеса не понравилась.

Вейнберг покинул театр после третьего акта, совершенно разбитый, и понимающе улыбнулся, когда я спросил его: «Вам **уже** стало плохо?»

Потапенко не примет участия в Товарищеском обеде, который состоится послезавтра: уезжает *к себе в деревню.* На мой вопрос, купил ли он имение, ответил: «Почти». — — — <...>

17 апреля 1903

Позавчера умер Порфиров. Сегодня в одиннадцать я пришел на отпевание (но не дождался начала, потому что должен был срочно вернуться в гимназию Гуревича). Присутствовали: Черниговец, Коринфский и К.А. Максимов. Рассказывали, что в январе Порфиров женился — на дочери торговца сукном Лялина (с приданым в пятьдесят тысяч рублей). Венчание должно было состояться сразу же после (или до) венчания Коринфского; все собрались в церкви к назначенному времени (Случевский — в камергерском мундире), не явились только сами новобрачные; гостям объяснили, что невеста внезапно заболела. В прошлом году он ежедневно ездил к ней в Царское и привозил ей фунт конфет за три рубля; зато у себя в портмоне он носил ее подарок — кольцо с бриллиантом стоимостью в 600 рублей. Я увидел молодую, весьма привлекательную вдову — она стояла у гроба и была, казалось, не слишком подавлена горем.

Я очень часто беседовал с покойным и очень мало его знал. Когда мы впервые встретились (у Случевского), он сказал, что мы уже не раз виделись — у Соловьева-Несмелова; но я не мог даже смутно этого припомнить, настолько он был безликим — как физически, так и в душевном и духовном отношениях. Думаю, что во всех моих тетрадях не найдется ни единой записи, свидетельствующей о какой-либо характерной его черте. Он всегда производил на меня впечатление скромного, до робости, человека; обычно ничего не говорил (ничего достойного внимания) и редко что-либо сочинял (за ужином), а если и сочинял, то, как правило, нечто блеклое, о чем могут свидетельствовать эти тетради.

У меня сохранилась лишь запись, сделанная им на его визитной карточке 12 марта 1902 года. Речь идет о том, что он обещал предоставить мне на время какой-то групповой портрет, но заставил меня тщетно ждать:

Петр Федорович Порфиров.

«весьма сожалею, что благодаря своей дырявой памяти он заставил дорогого Федора Федоровича Фидлера беспокоиться и напрасно прождать целый день. Поэтов-переводчиков вообще обманывать нежелательно.

Душевно преданный и кругом виноватый.

П. Порфиров».

<...>

В моем альбоме он оставил следующую запись (5 февраля 1899 года):

Как мне жаль, что книга юности закрылась,
Что весна веселья не вернется снова,
И певунья-пташка — счастие былого —
Только прилетела и навеки скрылась.

<...>

В гробу он выглядел почти таким же, каким был при жизни, если не считать худобы. Ему сделали операцию на слепой кишке, другими словами, он умер от воспаления брюшины, причем в госпитале Общины св. Евгении. Было несколько очень красивых венков. — Погребение состоится завтра на кладбище Александро-Невской лавры (не смогу присутствовать — принимаю экзамен).

О Коринфском: он собирается оставить службу в «Правительственном Вестнике», поскольку работа в редакции стала для него крайне тяжелой — иногда приходится сидеть по ночам до пяти утра.

[Марстранд, Швеция,] 27 июля/9 августа 1903

Сегодня Жихарев рассказал следующее. Вместо сюртука Терпигорев всегда носил дома красную рубаху с поясом. При этом он не был «красным», хотя не был и антилибералом; он сам говорил о себе: «Ну какой я писатель? Я — историк, изучающий разложение русского дворянства и не принадлежащий ни к одной партии». Его часто упрекали в том, что он сотрудничает в «Новом Времени»; на это он спокойно возражал, что всегда подписывается своим собственным именем и похож на коробку сигарет Шапшаля. Мол, публика доверяет фирме. И не все ли равно, где публика покупает эти сигареты: у самого фабриканта, в изысканном отеле или дешевом борделе?.. (Красноречивый софизм! — *Ф.*)

Кроме того, Жихарев рассказывал о Лескове. Про Тюфяеву-Пешкову, у которой было много мужчин, Лесков говорил, что она — триптих. Так называется трехчастный складной алтарь. Молящийся открывает обе створки и всласть целует изображение святого или святой. Точно так же, в качестве триптиха, любой желающий мог бы, по словам Лескова, использовать ноги Тюфяевой-Пешковой. Когда Лесков был членом Ученого комитета, он написал рассказ, в котором поп крайне непристойно ведет себя в алтаре[311]. Делянов, тогдашний министр просвещения, заявил ему, что отныне Лесков не может занимать официальной должности, и посоветовал написать прошение об отставке. Лесков отказался. Тогда Делянов сказал, что ему придется уволить Лескова в соответствии с третьим параграфом (без объяснения причины, что равносильно волчьему паспорту). Лесков предпочел второй вариант. Удивленный министр спросил его,

в чем дело, и Лесков ответил: «Я думаю о моем и Вашем некрологе». И все же был уволен согласно третьему параграфу. <...>

[Марстранд, Швеция,] 28 июля/10 августа 1903

Жихарев рассказывал про Льва Толстого. Три года назад, когда умер отец Жихарева, на его похороны приехал граф Адлерберг, чье имение находится в трех верстах от Ясной Поляны. Он рассказал, что не так давно вел с Толстым разговор об охоте, и тот уверял его, что полностью подавил в себе эту варварскую страсть. Спустя несколько дней друзья снова встретились, и Толстой рассказал Адлербергу, что совсем недавно он ехал по полю, сопровождаемый двумя борзыми. Неожиданно под ногами лошади оказался заяц, и Толстой, не в силах сдержаться, натравил на него собак и галопом помчался следом; правда, беглецу удалось спастись. «Вот что делает привычка, ставшая страстью!» — усмехнувшись, вздохнул Толстой.

11 августа 1903

Вчера пришел Фаресов, чтобы взять у меня какой-нибудь материал для статьи о Толстом (к 28-ому). Рассказал, что посетил Толстого в Москве и послал ему затем на отзыв статью, в которой приводятся его критические замечания о современных русских писателях; однако Толстой попросил его воздержаться от публикации: «Дайте мне умереть в мире с людьми!» По отношению к некоторым писателям Толстой весьма строг: Короленко и Горький, например, для него «*выдумщики*», а романы Потапенко — «*безнравственная пакость*». Фаресов показал мне письмо Толстого к Лескову, в котором нашла отражение вера Толстого в потустороннюю жизнь.

Вчера был и Альбов. <...>

28 августа 1903

Сегодня, в день семидесятипятилетия Толстого, послал ему телеграмму, которую, как думают многие, не пропустит почтовая цензура. Текст ее — на немецком языке — следующий: «Heil dem allerchristlichsten König der russischen Literatur»[312].

Встретил Свирского. Под дверь его квартиры подбросили младенца мужского пола, и он берет ребенка на воспитание. Написал две драмы: 1) «Тюрьма», в которой изображена совершенно новая среда и которая чрезвычайно понравилась Суворину (старику); однако цензура ставит рогатки; и 2) «Побежденные», действующие лица которой — студент и проститутка. Собирается,

кроме того, писать роман — в сотрудничестве с пятнадцатью другими авторами: каждый напишет по отдельной главе в той последовательности, какую определит жребий.

7 сентября 1903

Получил — в связи с моим юбилеем — множество поздравлений, которые при случае приведу в одной из тетрадей.

Вчера был у Свирского — по его приглашению. Среди прочих присутствовали: Будищев, Измайлов, Позняков, Флексер-Волынский, Брусянин и Бальмонт. (Последний явился ко мне поздним вечером, и я взял его с собой, хотя он и не был знаком со Свирским.) Бальмонт прочел вслух несколько своих декадентских стихотворений и привлек к себе внимание своим странным поведением. Например, стал признаваться в любви к Пружанскому, с которым совсем незнаком, чем поверг его, да и других тоже, в немалое изумление.

26 сентября 1903

Вчера, наконец, откликнулся на приглашение Гриневской и навестил ее. Произошло то, чего я так опасался: она попросила меня перевести ее стихотворную драму «Баб».

Присутствовал также Карпов с женой, который то и дело ворчал. — Сетовал, что русской критики сейчас вообще нет: сплошное кумовство и семейственность. — Сказал о Трахтенберге, что он не *писатель*, а *сочинитель*, который мнит о себе невесть что; Майская же — попросту «липкий пластырь». Рассказывал про Глеба Успенского. Однажды он говорил о вычурно странных названиях, которые Лесков любил давать своим рассказам (например: «*Три праведника и один шерамур*», «*Дама и фефёла*» и др.), и сказал, что собирается написать рассказ, озаглавленный «*Огуречный удав*»: деревенский поп *давится* огурцом... Он (Г. Успенский) любил выпить, а общения с женщинами избегал... Моя жена рассказала следующее: когда она еще лечилась у Нестерова, тот говорил ей, что Фофанов собирается написать поэму «Змея под розовым пеплом».

2 октября 1903

Вчера скоропостижно скончался Владимир Романович Щиглев. Я знал его, еще когда был студентом; часто видел его у Водовозовых-Семевских, часто бывал у него на журфиксах, несколько раз и он навещал меня. В писательских кругах я видел его, кажется, лишь однажды: у Скабичевского, с которым он вскоре после этого порвал отношения. Это был своеобразный человек: несмот-

ря на свой либерализм красного цвета, он совсем не пользовался популярностью у либералов; он не вызывал к себе ненависти, но никто и не любил его; по отношению ко мне он всегда был очень мил и добр, но у меня не лежало к нему сердце. Никто из писателей не общался с ним, хотя он был настоящий писатель. Под псевдонимом Романыч он опубликовал веселый водевиль «Помолвка в Галерной гавани» — эта вещь и поныне с большим успехом ставится на всех сценах. Кроме того, он написал немало стихотворений, бóльшая часть которых не была напечатана в виду их религиозного или политического содержания.

У меня нет его портрета — по той причине, что таковых, вероятно, вообще не существует*. <...>

Он был у меня 3 ноября 1889 года. На моем письменном столе стояла тогда в рамке картина Градлера «Идеализм». Я предложил ему (как и многим другим в то время) прокомментировать эту тему в стихотворной форме. И Щиглев согласился; он начал писать в половине десятого вечера и закончил без четверти десять... (это отмечено на конверте, в котором лежало стихотворение):

Ах, Боже мой, какая группа!
Ведь кавалер — совсем раздет,
Или прикрыт довольно скупо,
Но все равно — костюма нет!
Кто ж эта дама, без конфуза,
Над ним с московским калачом?
Вы не узнали? Это — муза,
А рядом — Шиллер голышом!

В. Щ.

3 февр[аля 18]89» <...>

8 октября 1903

Сегодня встретил на Невском Лихачева. «Я приготовил для тебя 48 моих стихотворений — частично переписал их, частично сделал расклейку из газетных вырезок. Хочу подарить тебе также два перевода из Горького, выполненные Шольцом; для **этого** писателя нет места в моей библиотеке!»

23 октября 1903

Был сегодня у Щепкиной-Куперник (Кирочная, 48, кв. 2). Очень мила и приветлива. Утверждает, что никуда не ходит (только на Философские курсы и к своей близкой приятельнице Марии Всеволодовне Крестовской): сидит яко-

* Нет, есть один портрет, который он обещал мне доставить, — на том дело и кончилось!

бы безвыходно в своей келье и работает, настолько ее отпугивает партийность русских писателей. Я прочитал ей перевод ее стихотворения «Красота», и она с удивлением сказала, что он гораздо лучше, чем оригинал. — — <...>

Позавчера состоялся также юбилейный ужин в честь Пружанского: у кухмистера Соколова (угол Кузнечного и Николаевской) праздновали 35-летие его писательской деятельности. Явилось около 60 человек; устроителем вечера был Свирский. <...> Сальников прочитал адрес. Юбиляр пришел со своим сыном Евгением (гимназист, около десяти лет) и был встречен аплодисментами. Среди прочитанных вслух писем и телеграмм было лишь несколько от писателей: Булацель + Коринфский, Альбов и Нотович. Присутствовали: Измайлов, Гриневская, Лукьянов, А.М. Федоров, Тэффи (иначе мадам Бучинская, то есть сестра Лохвицкой), Будищев, Куприн (вызвавший на дуэль какого-то неизвестного полуидиота Игнатьева), Осип Дымов, Мордовцев, А. Зарин, Брусянин, Позняков, Брешко-Брешковский (не разговаривал со своей возлюбленной Тэффи). Мамин произнес короткую речь, имевшую шумный успех: подлежащие без сказуемых, одни междометия «во все стороны»; затем он набросился на упомянутого Игнатьева — или vice versa[313] — но до вызова на дуэль дело не дошло. Мамин целовался с захмелевшим Флексером-Волынским, который неоднократно целовал и меня. — —

2 декабря 1903

Вчера — день рождения Ватсон. Я сказал, обратившись к Короленко, что он, должно быть, очень устал в день своего юбилея, как и в последующие дни. Он, однако, возразил: «О, ничуть! Во время юбилея я был совершенно спокоен». «Прислал ли Вам телеграмму Антон Чехов?» Он (после короткого раздумья, помедлив): «Дд-а». — «А Горький?» — «Не знаю, еще не прочитал всех телеграмм».

8 декабря 1903

Позавчера — у Баранцевича. Он так восхищен недавней статьей Буренина о современном театре[314], что написал ему благодарственное письмо, подписавшись своим полным именем. Подготовку моего юбилея взял в свои руки старший Гуревич; Баранцевич имеет в Юбилейном комитете всего лишь совещательный голос.

Вчера на дневном представлении «Бедного Генриха»[315] в Малом театре ко мне подошел Буренин (переводчик пьесы) и спросил: «Господин Фидлер?» — «Да». — «Пожалуйста, не будьте ко мне слишком строги! Я отношусь к Гауптману с величайшим почтением и любовью и *дерзнул* сделать из пяти актов четыре отнюдь не из *самомнения*; таково было требование цензуры. Поэтому будьте, пожалуйста, снисходительны!»

Видя эту смиренную кротость, я лишился дара речи. Вместо злобного пса — ласковый котенок!

Затем навестил больного Куприна (брюшной тиф); ему уже лучше; болей в животе нет, зато болит голова, и он держит на темени ледяной компресс. Есть ему нельзя, поэтому он расписывает в своем воображении разные лукулловы яства, например, — жареную телячью печень; но такие видения не причиняют ему страданий. Весьма оживленно толковал про охоту на глухарей. Чехов, по его мнению, стоит сразу же за Достоевским и Толстым. Однажды Чехов сказал ему об Елпатьевском: «Зачем он пишет под этим псевдонимом?» — «Но ведь это не псевдоним, а его настоящее имя». — «Нет, его настоящее имя — Нестор Кукольник!» — — <...>

10 декабря 1903

Сегодня у нас обедал Альбов. Сказал: «Что может быть *хуже* курсистки?!» (Должен заметить, что он выпил лишь рюмку английского биттера.) Чехова не любит. Хотя, по его словам, все сделано у Чехова чрезвычайно тщательно, но ни одна из вещей не производит должного впечатления, так что запоминаются лишь совсем немногие. Время от времени он перечитывает Чехова в Марксовом издании (вечером, лежа в кровати), но может прервать чтение на любой строчке и, повернувшись на бок, заснуть.

30 декабря 1903

Вчера и сегодня я наносил благодарственные визиты писательницам, принявшим участие в юбилейном обеде в мою честь. Некоторых из них я не застал дома и оставил им свою визитную карточку. Лукашевич растроганно рассказала мне (вчера) о том, что во время раздачи подарков в Союзе взаимной поддержки русских женщин среди чахлых, одетых в лохмотья детишек стоял высокий седой человек, державший в руках свертки для детей; это был Пружанский. — Ватсон (вчера) сказала мне, что мне не следовало приезжать к ней и другим исключительно ради того, чтобы выразить благодарность: «Мы — писательницы, а не дамы!» Гриневская говорила (сегодня) о том, что «Новый Путь» печатно обвинил ее в плагиате[316], и уверяла, что из романа Сен-Кентена «Любовь бабиста» (в ее же собственном переводе) она использовала в своей драме каких-нибудь тридцать строк, не больше. А в перечне источников своей драмы она указала, из цензурных соображений, лишь авторов, писавших о бабизме **по-русски**. Если статья Смирнова в «Новом Пути» попадет в газеты, она опубликует в тех же газетах резкое опровержение. Затем она сказала, иронически улыбаясь: «Ведь я энциклопедически образована!» Сказала, что другие писательницы завидуют успеху ее драмы. Она вышла ко мне в утреннем платье и, хотя только встала из постели,

выглядела весьма свежо и моложаво (никакой косметики)... Лохвицкая сказала (сегодня) о Бальмонте, что как поэт он сделался банкротом, причем злостным, поскольку сам **знает**, какую он пишет чушь. З. Венгерова сообщила мне (вчера), что Бальмонт собирался во что бы то ни стало прийти на мой юбилей, но к вечеру набрался до такой степени, что не мог этого сделать... Сегодня я зашел также к Чюминой; уже три с половиной месяца у нее боли в правой коленной чашечке; передвигается, опираясь на палку. Рассказывала о Минском — о его чувствительности и боязни заразиться какой-нибудь болезнью. Однажды, обедая у нее со своей «женой», он трижды чихнул и сказал своей Белочке, что это — признак приближающегося плеврита. После еды он сразу же уехал, велел кучеру поднять верх и целую неделю не выходил из дому. — —

Вот еще юбилейное, volens-nolens[317]!

Вчера швейцар в гимназии Гуревича передал мне следующее письмо от Короленко:

«*Многоуважаемый Федор Федорович.*

Приехав в Полтаву третьего дня, я застал здесь извещение о предстоящем 21 декабря Вашем юбилее. К сожалению, переписку свою, после дорожной усталости, я принялся разбирать только сегодня и вижу, что теперь могу послать лишь это запоздалое приветствие. Желаю Вам от души всего хорошего и много лет бодрой работы.

Искренно уважающий

Вл. Короленко.

22 дек[*абря*] *1903.*
Полтава».

<...>

Кроме того, мне совершенно неясно (разве что виновата наша ужасная почта), почему лица, которым был послан циркуляр, никак на него не отреагировали: Северцев (Полилов), Мережковские, Фаресов, Боборыкин, Владимир Немирович-Данченко, Горький, Златовратский, Антон Чехов, А.М. Федоров, Андреевский, Ламанский, А.Н. Веселовский (оба последних — мои профессора, которым, право, нечего стыдиться своего ученика!), Морозов, Владимир Тихонов, Пименова, Быков (который незадолго до этого настоятельно просил меня предоставить ему мой портрет с основными биобиблиографическими сведениями, что я и сделал, зайдя к нему лично, чтобы сообщить о дне юбилея — ведь он так хотел в нем участвовать!), Ладыженский (говорил, что непременно пришлет телеграмму), Кони, Каразин и др.

Должен заметить, что ко всем этим людям я отношусь исключительно благожелательно: многих из них я переводил (и они были прямо в восторге), и все они при случае выражали мне (устно и письменно) свою глубочайшую благодарность и расточали мне похвалы — как писателю и как человеку. То же гово-

рили мне и все участники юбилейного обеда: «Этот праздник получился в высшей степени гармоничным, и он не мог быть другим! Среди гостей, чествующих юбиляра, всегда есть по меньшей мере один, кто завидует его торжеству. Но у Вас вообще **не может быть** завистников! Все любят Вас за то, что Вы любите всех. Нет ни одного русского писателя, от которого Вы были бы излишне зависимы, да это и невозможно в силу того особого положения, которое Вы занимаете среди нас. Напротив: мы все Вам обязаны». И так далее. Однако все это прихоти судьбы!.. Я не привожу здесь всех тех комплиментов, которые говорили мне русские писатели (особенно перед юбилеем), поскольку в этих тетрадях я обязался полностью исключить себя и записывать лишь общелитературные суждения русских писателей. Ведь многие записи (надеюсь, что большинство) содержат **их**, а не мою характеристику.

3 января 1904

Вчера у меня был Куприн с женой. Оба очень милы. Он бредит Чеховым. «Одним-единственным прилагательным он умеет выразить больше, чем мы силимся сказать на пяти страницах. Мы все по сравнению с ним — глупые дети, сосущие мокрую тряпку». — — — <...>

31 января 1904

Вчера хоронили Михайловского. По иронии судьбы, пока гроб находился в квартире, какая-то монашка, вся в черном, бесконечно тянула свое однообразно-жалобное, искусственное и дурацкое «*Господи, помилуй... Господи, Господи, Господи, Господи, Господи*» (и т.д. — in infinitum![318]). Но таков обряд православной церкви, и живые не могут роптать против его предписаний! Когда монашка увидела, что никто из подошедших к гробу не осенил себя крестным знамением, взгляд у нее сделался удивленно-строгим. И опять-таки ирония судьбы: в половину одиннадцатого, в тот самый момент, когда гроб переносили из квартиры в церковь, расположенную напротив дома, во всех церквах, как обычно, зазвонили к обедне колокола.

Собралась толпа народу, какой я не видел с похорон Тургенева: городовой, окинув площадь опытным взглядом, сказал мне, что здесь от четырех до пяти тысяч человек. Множество студенток и курсисток (одна страшнее другой!). И что было запрещено после похорон Тургенева: весь долгий путь до Волкова кладбища гроб несли на плечах (так что блеск светлого металла был виден издалека и со всех сторон); взявшись за руки, студенты образовали вокруг гроба широкую цепь, тогда как другая толпа учащихся обоего пола шла впереди и всю дорогу пела «*Святый Боже*» и «*Вечная память*»*. Сзади, на катафалке, покрытом балда-

* И для пробы: «*Не бил барабан*».

хином, висел — среди прочих — венок из голубых металлических цветов, украшенный белыми лентами, на которых можно было прочитать надпись: «*От сидящих в доме предварительного заключения*». На балдахине слева — другой крест, увитый красными лентами с надписью: «*От интеллигентного пролетариата*». За катафалком следовали три подводы, доверху груженные венками (в основном — металлическими) с лентами. Полиция (в том числе конная) была сама любезность и ни во что не вмешивалась, так что царил образцовый порядок.

Какое-то время гроб нес и Горький. Длинное пальто с барашковым воротником, такая же высокая барашковая шапка, чуть сдвинутая назад; светло-коричневые (на хорошей подкладке) перчатки; перед тем как крепко пожать мне руку, он снял правую перчатку; я не видел, чтобы он с кем-либо разговаривал: Пятницкий охранял его как Отелло. — Поистине царственное впечатление производил боярский облик Ясинского с его серебряной львиной гривой. — Тех, с кем мне хотелось поговорить, я не мог отыскать на кладбище (например, Альбова). — Старик Суворин спросил Вейнберга: «Ну и где Вы будете здесь лежать?», на что последний спокойно ответил: «Я купил себе место в Александро-Невской лавре».

В сутолоке я не смог видеть самого погребения, а из того, что говорили выступавшие, мне удалось уловить лишь отдельные звуки. Перед входом в церковь, пока внутри шло отпевание, Южаков сообщил мне, что Михайловский оставил завещание в пользу обоих своих сыновей. «Русское Богатство» вовсе не его собственность: ему принадлежит лишь одиннадцатая часть (одиннадцать пайщиков). Журнал пока еще не дает чистого дохода: какая-то прибыль, конечно, есть, но она уходит на оплату прежних долгов.

Потапенко был одет в свое старое, почти совсем изношенное пальто; на голове — такого же вида шапка: мех полностью выгорел и растрепался.

После похорон мы отправились на поминки в «Капернаум». Мамин произнес похвальное слово Михайловскому, при этом у него с языка срывались такие обороты, как «дипломат» или «он держал всех на *почтительном расстоянии*».

Шиле сказала, что знала Михайловского еще совсем молодым человеком. Разойдясь со своей первой (венчанной) женой, он познакомился вскоре с Людмилой Николаевной Левицкой, приемной дочерью Шелгунова, и вступил с ней в близкую связь, плодом которой были дети — Николай и Марк. За это Шелгуновы очень сердились на него. Еще через несколько лет он влюбился в Леткову (Султанову); ее украшенный цветами портрет стоял на его письменном столе. Ревнивая Людмила швырнула портрет на пол, а потом и вовсе бросила Михайловского; примерно через год она вышла замуж за инженера Шуппе. (Она была на похоронах; еще далеко не отцвела.)

Шиле полагает, что отношения между Михайловским и Летковой были платонического свойства.

В «Капернауме», кроме того, присутствовали: Баранцевич, Булацель (почти ничего не ел и не пил), Барро и Бороздин. <...>

27 февраля 1904

Сегодня обедал у Бороздина. Он продиктовал мне следующие неопубликованные стихи, которые ему сообщил его покойный отец: эпиграммы Соболевского (приятеля Пушкина) на Каролину Павлову (урожденную Яниш):

1)

И куда ни взглянешь —
Все любви могила!
Мужа мамзель Яниш
В «яму» посадила[319].
И молила дама,
Слезы лья, у мужа,
Чтоб ему та яма
Была туже, уже, хуже.

2) на Языкова, который за ней ухаживал:

Каролина,
Ты причина,
Что детина
Стал скотина!

26 марта 1904

Вчера был приглашен на обед к Куприным (день рождения Муси). Присутствовали лишь «Тетя Оля» с Аленушкой и приват-доцент Ростовцев с супругой, два заносчивых существа, с которыми хозяева обращались, тем не менее, крайне любезно. Мамин пришел — вместо шести часов — в семь; он ничего не ел и не пил, точнее, выпил полстакана кипяченой воды. В восемь мы с ним отправились в расположенный напротив трактир «Невский», где он заказал себе водки и пива. Несдержанно высказывался по поводу приглашенных Куприным Ростовцевых: «Они считают, кто сколько выпил, а потом делают из мухи слона. Я знаю, меня всюду считают пьяницей, а потому отныне я буду пить только в обществе близких людей». <...> Сказал, что шесть раз был смертельно болен (в юности все врачи находили у него чахотку), теперь же он чувствует, что скоро умрет. — Утверждал, что у него в запасе по меньшей мере сотня сюжетов для повестей и рассказов. «Русскому Богатству» он постоянно дарил сто рублей, получая у них лишь 150 рублей за лист, тогда как в других местах ему платили 250 рублей. — Назвал Баранцевича «фальшивым шляхтичем» и отрицал, будто,

явившись к нему на день рождения, он (Мамин) стал выкрикивать в присутствии Брешко-Брешковского: «Долой Брешко! Бей Брешко!» «Но возможно, — добавил Мамин уступчиво, — я сказал это в шутку» (то, что он в самом деле произнес эти слова, мне подтвердили все члены семьи Баранцевича, а также Жихаревы). — —

Двадцатого числа Дина Потапенко дебютировала в балете «Мнимые дриады»[320]. Газеты писали, что она исполнила свою роль «с большим апломбом». Однако мой брат, который тоже был в театре, назвал этот «апломб» цинизмом и дерзостью. Ни у одной из других танцовщиц не было такого разреза (грудь буквально вываливалась наружу). Она взяла цветок, сунула его себе меж грудей, потом вынула его, поцеловала и протянула своему партнеру, который поднес его к носу и сладострастно возвел к небу глаза. (Был ли этот момент предписан их ролью или нет, мой брат не знает; во всяком случае, это получилось у них совершенно непроизвольно.) При этом Потапенки всем семейством сидели в бельэтажной ложе и восхищались бесстыдством Дины!

1 апреля 1904

Я располагаю следующим письмом от Н. Черногубова из Москвы, близкого приятеля (sic! — *К.А.*) Фета:

«Афанасий Афанасьевич неохотно касался вопроса о своем происхождении, — поэтому неудивительно, что он никогда не говорил Вам о надлежащей транскрипции своей прежней фамилии. Да и писали Вы ему эту фамилию, видно, не всегда одинаково: в письме Вашем от 21.X.86 Ваш перевод двух пьес «Шепот, робкое дыханье...» и «Люди спят...» Вы озаглавили: Aus Fet[321]*. Так же пишет, например, Рейнгольдт; другие — Fett, Feth и т.д. От родных и знакомых Аф[анасия] Аф[анасьевича] слыхал я и различные толкования, в основе которых лежит предположение, что фамилия эта придумана для Аф[анасия] Аф[анасьевича] как незаконнорожденного: Фет происходит будто бы 1) от франц[узского] fête, т.е. «дитя радости»; 2) нем[ецкое] fett, «жировик» — местное (орловское) название незаконных детей, и т.д. В действительности это фамилия первого мужа матери Аф[анасия] Аф[анасьевича]; писать ее надо Foeth. Так писал и сам Аф[анасий] Аф[анасьевич] и близкие к нему люди, напр[имер], И.С. Тургенев. Сообразно с этим, старые официальные документы и друг молодости Аф[анасия] Аф[анасьевича] Ап. А. Григорьев пишут иногда «Фёт». Б.В. Никольскому, раз он пишет «Гёте», следовало бы писать «Фёт». Очень был бы рад и впредь посильно служить Вам своими сведениями. В заключение просьба: если Вам попадется какая-нибудь статья о Фете в нем[ецкой] периодической литературе, не откажите сообщить мне, а если можно, напр[имер], газетный №, и прислать в мой Фетовский музей. Хорошо было [бы], если бы Вы*

сообщили мне и прежние известные Вам немецкие статьи о Фете, переводы из него и т.д. или даже спросили бы об них и у других сведущих лиц. Преданный Вам

Н. Черногубов.

P. S. Простите, что замедлил ответом: был нездоров.
17. XI. 01». — —

Только что вернулся с премьеры «Вишневого сада». Актеров вызывали после каждого акта лишь по три-четыре раза, под конец — восемь раз. А когда кончился спектакль, автора стало требовать около тридцати голосов. Между тем все места были заняты. Пьесу, таким образом, встретили прохладно.

Во втором ряду сидел Горький (в своем обычном костюме), рядом с ним — его оруженосец Пятницкий; во время антрактов он ни разу не покинул своего кресла. Публика наблюдала за ним в бинокль, он же сидел, не поворачивая головы. Я тоже наблюдал за ним и заметил, что он ни разу не аплодировал. Лишь с актрисой М.Ф. Андреевой (она играла в спектакле) он обменялся улыбками. Давно уже не секрет, что он собирается развестись со своей женой, чтобы сочетаться законным браком с Андреевой — после того как она разведется со своим мужем (оба, говорят, очень богаты). — Когда я спросил Трахтенберга, что он думает о пьесе, он тихо ответил: «Если я выскажу свое мнение вслух, меня сочтут варваром в области искусства, но думаю, что девизом этой пьесы могла бы стать гувернантка Шарлотта Ивановна[322] — она вполне подошла бы как устроительница эффектов». — Позади меня сидел Амфитеатров. Сказал, что все рукописи и появившиеся в переводе продолжения его статьи «Господа Обмановы», напечатанной в «России», — апокрифы. «Я поместил в "Освобождении" короткое опровержение, хотя Струве и говорил, что не следует этого делать, поскольку издание преследует полезную цель. Нет, лучше уж я заплачу необходимую сумму, чем буду считаться автором того, что не писал!» Пригласил меня навестить его в Царском — в один из четвергов. — Видел, как Брешко-Брешковский увивался вокруг Буренина, который лишь холодно ему кивнул и отправился на свое место. —

Были: Авсеенко, Ламанский, Чюмина, Андреевский, Майзель (Майская), Фальковский, Гуревич, Нотович, Яблоновский, Тюфяева-Пешкова, Измайлов, Бежецкий (Маслов); успел перемолвиться с Вейнбергом, Гриневской, Вентцелем (Юрьевым), Лейкиным, Карповым (с последними двумя, впрочем, не разговаривал), Далиным, Далматовым, А.А. Плещеевым и Котляревским.

13 апреля 1904

Десять вечера. От меня только что ушел Мамин, тщетно умолявший меня поехать с ним в кафе-шантан у Семеновского (или Симеоновского) моста[323].

«У меня напрочь отсутствует *самолюбие*. Мне совершенно все равно — бранят меня или хвалят. Ибо только время определяет *удельный вес* писателя. На днях учитель Муси (Куприной) мне сказал, что я употребляю какие-то нерусские выражения, например, "*шары*" вместо "*глаза*". Ха-ха! По мне сверяют свой русский язык такие люди, как академик Шахматов или исследователь былин Всеволод Миллер. Последнего я встретил как-то в Гунгербурге с моим романом в руках, и он сказал мне, что изучает русский язык по подчеркнутым выражениям. Например: "*Жалует царь, да не жалует псарь!*" Никто из современных писателей не знает русский язык так, как я! По-настоящему знали русский язык только Лесков, Печерский, С.В. Максимов и Аверкиев*. Остальные не знают русского: это книжный, а не народный язык. Писатели прошлого, Пушкин и другие, говорили сперва на иностранном, а потом на русском. Я терпеть не могу русский язык, поэтому никогда не перечитываю того, что написал, и не правлю корректур; только раз в десять лет случается мне полистать какой-нибудь из моих романов или рассказов. Звучит чудовищно — все эти азиатские "*ты*", "*мы*", "*который*"! А как здорово звучит: "Si vous n'avez rien à me dire"[324] (произношение у Мамина было при этом чисто "азиатское". — *Ф.*) — а наше русское: "*Если вы ничего*!.."» Да еще при объяснении в любви! Нет, русский язык в фонетическом отношении — прямо зверский! Какой издевкой звучит тургеневское завещание: «Любите русский язык!»[325]

Мамин сказал, что кроме четырех выше названных писателей все остальные учили русский язык как иностранный и пишут стилем, похожим на дословный перевод.

Толстой пишет каким угодно, только не русским языком. Тургенев умеет передать музыку языка, но — иностранного. Описания природы у Гоголя, коими все восхищаются, — риторичны; от них веет книжным, а не народным ароматом. Чехов и даже Горький пишут не по-русски. Глеб Успенский владел им худо-бедно, пока не превратился в беллетриста-публициста. Златовратский гораздо талантливее Успенского; он — настоящий писатель, но и он пишет не по-русски. Стиль Альбова — лишь перевод Диккенса на петербургский русский язык, коим давно уже не пользуется ни один человек.

Хорошо, очень хорошо пишет Коринфский, но у него слишком много былинных заимствований.

Я сказал, что Куприн благодаря своему таланту сумеет многого добиться, однако Мамин возразил мне: «Талант — это труд, а Куприн ничего не делает, только шляется!»

Мамин возмущался Потапенкой: «Хорош писатель, который разрешает своей дочери заниматься балетом и с удовлетворением наблюдает, как она крутит п... перед лысыми господами!»

---

* Мамин был весьма удивлен, когда я сказал ему, что Аверкиев еще жив.

Рассказывал о себе, что порой во время прогулки три часа подряд обдумывает одну страницу, прежде чем сесть и написать ее, — зато потом не меняет ни слова.

15 апреля 1904

Сегодня, по приглашению Амфитеатрова, отправился к нему в Царское (дом Витц, угол Конюшенной и Средней). Очень мила и привлекательна (у русских писателей редко бывают красивые жены) спутница его жизни, Иллария Владимировна Райская. Их сыночек, коему два с половиной года, отличается резвостью; у него — немецкая гувернантка. На обед подали кьянти и крюшон — из Вино д'Асти. Темы застольной беседы: кулинария (о лучших заграничных отелях и ресторанах), война и балет. Владимир Тихонов рассказывал о своем брате (Луговом): когда того спрашивают, не брат ли он Владимира, он отвечает: «Нет, это Владимир — мой брат». Хозяйка рассказывала, что недавно видела на улице Горького: в английском пальто, на коротко стриженной голове — модная шляпа; он шел, держа под руку Андрееву. Он живет в Сестрорецке и пишет драму, в которой проповедуется идея красоты. В Нижнем у него есть дом, доставляющий ему, однако, мало радости; его буквально осаждают босяки и требуют у него денег: «Ты разбогател за наш счет!» Говорят, что его книги, ранее изданные, больше не продаются — наверное, потому, что все, кому надо, уже купили.

Вместе с нами обедали: два студента, Снессарев из «Руси» (по будним дням газета выходит тиражом в 35 тысяч, а по воскресным — в 38 тысяч экземпляров), некто Безобразов из Варшавы и мировой судья.

[Майоренгоф[326],] 28 июня 1904

Был сегодня в Дуббельне[327] у С.Н. Филиппова (курхаус[328], главное здание, комната 13; за проживание в течение всего сезона он платит 110 руб.). Никаких книг: только словарь и корректуры его сочинений, готовящихся к изданию; прост, опрятен, обходится без парфюмерии (я явился совсем неожиданно). Родился в 1863 году, в конце сентября. Обладает удивительной памятью: помнит мельчайшие детали нашего знакомства (примерно семь лет назад) и все писательские записи в моем альбоме автографо́в, какие были к тому времени. Очень хорошо знает раннюю историю не только Дуббельна, но и всего Взморья. Водил меня к тому месту, где, по преданию, утонул Д.И. Писарев (невозможно поверить, что Марко Вовчок все глубже затягивала его в воду: в то время здесь жили только немцы и латыши, а нравы были гораздо строже, чем нынче, так что совместное купание мужчин и женщин представляется невероятным; должно

быть, он просто угодил в существовавший в то время и никак не обозначенный водоворот. Купил себе открытку с видом этого места). Филиппов показал мне улицу (Господская, близ Песчаной), где так часто жил Гончаров. Здесь он (Гончаров) нашел себе латышку, которая была у него служанкой, кухаркой, а позже экономкой и женой; впоследствии он прижил с ней двоих детей. (Отчетливо, как будто это было вчера, помню: я встретил его однажды на Литейном проспекте, близ Симеоновской улицы — примерно в том месте, где сейчас книжный магазин Карбасникова; он шел, ведя за одну руку девочку, а за другую — мальчика; второй раз я видел его на Большой Конюшенной, в конце улицы — выйдя из Конюшенной церкви, где совершена была панихида в память о Пушкине, он, уже совсем старик, двигался в сторону Невского; в третий раз я видел его на лестнице перед квартирой только что скончавшегося Достоевского... Получив от скульптора Леопольда Бернштама сделанную Гончаровым приписку (немецкую) к моему стихотворению в его честь, я хотел лично выразить ему свою благодарность; однако никак не мог решиться на этот шаг. Наконец, я собрался с духом и отправился к нему. На Моховой, в доме, где он умер (под арку и направо), я после долгого колебания позвонил в дверь; мне открыла пожилая женщина и на ломаном русском недовольно спросила, чего мне надо; я что-то пролепетал и — бросился наутек)... Филиппов провел меня также в отель Брукмана и показал номера, в которых часто жил Боборыкин (и где он навещал его): сзади, на втором этаже, с верандой, выходящей на реку Аа.

После этого мы отправились в привокзальный буфет и что-то выпили. Филиппов рассказал мне несколько историй про русских писателей, например, про Глеба Успенского. Это было в 1888 году во время французской выставки в Москве. Филиппов, редактор «Русских Ведомостей» Посников, профессор Ю.С. Гамбаров и Успенский отправились в кабаре, где некая Бен-Байя исполняла danse de ventre[329]. Посников смотрел неодобрительно, Гамбаров (восточный человек) краснел, Успенский же был совершенно бледен: он сидел, закинув ногу на ногу, опершись локтем о колено, нервно теребя бороду и грустно приговаривая: «Как такое возможно?! Как такое возможно?!» Филиппов доставил его на фиакре домой (они жили где-то на Лубянке). Жалкий кучер погонял свою жалкую лошаденку ударами кнута (Успенскому слышались одни лишь удары). Он сокрушенно стенал: «Он не должен бить! Скажите ему: он не должен бить!!» При этом, рассказывает Филиппов, Успенский выглядел так, будто кнут истязал его собственную спину. Этот эпизод свидетельствует о тонкой душевной организации Успенского.

Филиппов был дружен с покойным поэтом Лиодором Ивановичем Па́льминым; ударение на первом слоге, а не на втором, как обычно произносят его имя, — об этом говорил Филиппову сам Пальмин. (Отмечаю это, поскольку работаю над новым изданием моего «Русского Парнаса», где фамилии всех пи-

сателей будут даны с ударениями.) В Москве тоже есть Пальмин, управляющий театральным бюро; но он — еврей.

Филиппов рассказал и о своих встречах с Н.К. Михайловским. Однажды вечером они стояли у стойки в ресторане Палкина и пили водку. Михайловский сказал, что однажды он стоял у этой же стойки с А.П. Чеховым. Не проронивший за целый вечер ни слова, Чехов вдруг заметил, что лучшая закуска к водке — кусочек черного хлеба и ничего больше. В другой раз Михайловский и Чехов проезжали зимой мимо Исаакиевского собора; колонны были покрыты инеем, и Чехов сказал, что в таком виде храм особенно прекрасен... Позднее Михайловский признал, что Чехов был прав (как и насчет кусочка черного хлеба). Он говорил об этом Филиппову в подтверждение того, что даже самое незначительное и, казалось бы, неприметное не могло укрыться от внимания Чехова. Впрочем, он (Михайловский) не считал его умным человеком.

Филиппов вспомнил про эпизод в Союзе, не отмеченный мною в этих тетрадях. Это произошло в связи с открытием памятника Мицкевичу в Варшаве. Обсуждался вопрос, должен ли Союз принимать участие в торжестве. Встал Гофштеттер и высказался против. В зале началось большое беспокойство, но Михайловскому удалось предотвратить скандал: он поднялся и спокойно сказал: «Ну, если даже русское правительство простило Мицкевичу настолько, что разрешило возвигнуть ему памятник, то нам тем более подобает прощение!» Все зааплодировали, и инцидент был благополучно улажен.

[Майоренгоф,] 1 июля 1904

Вчера беседовал с Яковлевой-Карич. Рассказывала, что окончила петербургскую Театральную школу (одновременно с Яворской), но близкое знакомство с актерским миром так ее напугало, что она отказалась от артистической карьеры и стала писать. Свой первый рассказ (из актерской жизни) она отнесла в «Живописное Обозрение» Шеллеру-Михайлову, который счел его технически несовершенным, но все-таки напечатал, потому что обнаружил в нем какой-то яркий монолог. Затем она принесла ему свой второй рассказ, который он расценил как удачу и тоже напечатал. «Так вот я и стала — вместо актрисы — писательницей». Шеллер-Михайлов спросил у нее, почему она не захотела стать актрисой, а потом сказал: «Неужели Вы думаете, что в литературном мире дела обстоят иначе?» — — <...>

[Майоренгоф,] 4 июля 1904

«2-го июля в 4 часа дня в Баденвейлере, герцогство Баден, от сердечного удара умер на руках своей жены Антон Павлович Чехов».

Такое сообщение помещено во вчерашнем «Herold», поступившем сюда сегодня. Однако в местных вечерних выпусках я видел вчера телеграммы о том, что Чехов умер в ночь с 2-го на 3-е в 3 часа... Инфаркт, насколько я знаю, — это моментальная смерть. Как же он оказался тогда «на руках своей жены»? А может, это была самая счастливая смерть?.. Правда, у него было очень мало шансов умереть такой смертью, ибо его жена жила большей частью в Москве, а он — в Крыму... Мне вообще совершенно непонятно, как мог он ровно три года назад жениться на этой Книппер. Я помню ее по петербургским гастролям Художественного театра и должен сказать, что она производила на меня очень неблагоприятное впечатление: в ней было что-то холодное и кокетливо злое (разумеется, я не сужу о ней по ее ролям!). Она не была красива или молода, не отличалась особым дарованием и не пользовалась известностью в широких кругах. Чем она очаровала его, который мог ежечасно наслаждаться, по выражению Гейне, «бесплатным любовным счастьем», — остается для меня полной загадкой. Да и верной ему женой она, конечно, тоже не была (кажется, в одной из этих тетрадей у меня об этом написано).

Когда я был в Ялте, меня удивило, что он, врач, приобрел себе участок в таком губительном для здоровья месте: в Аутке под Ялтой, близ мусульманского кладбища, в лощине. Я ехал омнибусом от Ай-Петри (горная дорога была забита туристами и экскурсантами) и в нескольких метрах под собой, прямо у дороги, увидел дом в саду. Все было серым от пыли, которая, клубясь, как облако, поднималась от дороги и оседала внизу. И здесь поселился он — туберкулезный больной!

[Майоренгоф,] 5 июля 1904

<...> Разговор зашел о Чехове. Карич знала его лично. Познакомилась с ним еще тогда, когда он пользовался поддержкой старика Суворина. В то время он, казалось, был влюблен в Яворскую. Три года назад (это было в апреле или начале мая, во всяком случае — весной) Карич была в Ялте, и Бунин предложил ей навестить Чехова. Они так и сделали. Когда они вместе с Чеховым приблизились к дому, она увидела, что на балконе сидит Книппер, его невеста. Не думая ничего худого, она сказала Чехову: «Мы виделись с Вами в последний раз у Яворской». Чехов смутился и быстро ответил: «Это было много лет назад!»

[Майоренгоф,] 9 июля 1904

Сегодня бывший редактор газеты «Развлечение» устроил в Дуббельне, в местной церкви, панихиду по Чехову. В газетах об этом не было объявлено, поэтому собралось лишь двадцать пять человек, в том числе — Карич, адвокат

Гиллерсон и С. Филиппов. Последний рассказывал о Чехове. Это было, вероятно, лет пятнадцать назад. Чехов жил тогда в Москве на Садовой (в Кудрино) в доме, который он из-за его внешнего вида называл «комодом». В комнате находились лишь Филиппов, Чехов и старик Суворин, которым вдруг овладела жажда самобичевания: он стал жаловаться, что публика не понимает его; но с другой стороны, заявил Суворин, он написал и кое-что такое, в чем раскаивается. Чехов слушал его внимательно, а потом сказал, сочувственно глядя на него: «Знаете, что я Вам скажу, Алексей Сергеевич? Это у Вас все — от меценатства!» Суворин прямо обомлел.

Затем Филиппов говорил о том, что Чехов — продукт «Нового Времени». Он не был либералом, держался в высшей степени безразлично. Посмеивался над евреями. Свою книгу «В сумерках» он надписал Филиппову так: «На память о длинноносых» (они вместе провели вечер под Ялтой в обществе татар и евреев). <...>

Я полагал, что на витринах лавок, торгующих открытками, появятся в связи со смертью Чехова его портреты — ничего подобного! Либо мне предлагали самому порыться среди открыток с изображениями писателей (безрезультатно!), либо отвечали, что ничего нет, либо, случалось, с удивлением спрашивали, кто это такой, и уверяли, что никто ни разу не интересовался портретом Чехова.

[Майоренгоф,] 13 июля 1904

<...> Сегодня получил письмо от Отто Бирингера, владельца гостиницы «Зоммер» в Баденвейлере, — ответ на мою просьбу прислать мне открытку с видом его гостиницы, где умер Чехов:

«Уважаемый господин! Одновременно с этим письмом посылаю Вам открытки — все, что у меня пока имеется. Хочу, однако, заметить, что вид, который Вы просите, только сейчас сфотографирован. Господин Чехов жил долгое время в комнате, выходящей на запад, а эта сторона дома ранее не фотографировалась. Во вторник, накануне своей смерти, он пожелал перебраться на второй этаж, в более прохладное помещение. Эту комнату я отметил на проспекте значком, точно так же отмечен его стол в столовой. В немецких газетах встречается ошибочное утверждение, будто господин Чехов выезжал на прогулку. Господин Чехов все время оставался дома и выходил из комнаты только для того, чтобы поесть, пользуясь при этом лифтом. По прибытии сюда он в самые первые дни был очень тих и немногословен; однако вскоре под целительным воздействием воздуха он, казалось, значительно ожил, и даже лицо его стало выразительней. Его внезапная кончина поистине поразила нас.

С уважением

Бирингер».

[Майоренгоф,] 16 июля 1904

Вчера — с Филипповым (в Дуббельне). Он продиктовал мне нижеследующее стихотворение Бальмонта, написанное, когда появился рассказ Филиппова *«Снег идет»*:

Неверной музе шлет письмо с поклоном
«Сирени»[330] *автор молодой:*
Так долго я страдал писательства запором
И разрешился снеговой водой!

Филиппов рассказывал о Пальмине. Тот постоянно потешался над Боборыкиным и придумал глагол «боборыкать»; кроме того, он рассказывал, что однажды Боборыкин остановился у входа в церковь, где начиналась служба; каждый, кто шел мимо, обнажал голову и кланялся (этого требует православный обычай! — *Ф.*), Боборыкину же казалось, что он чрезвычайно знаменит и все его приветствуют. — — Женой Пальмина была обыкновенная уличная женщина, которую он, тем не менее, воспевал в нежнейших любовных песнях[331]. Неверно, что Пальмин подарил лечившему его Чехову духи (как утверждает в своей статье Ежов[332]), это было перо для письма, которым Чехов потом долго пользовался (он писал тогда своих «Хмурых людей»). Он (Пальмин) был неряха и пьяница, но добродушный и остроумный человек.

Самые первые из своих работ Чехов (уверяет Филиппов) сперва публиковал в «Светочах»[333], которые издавал московский цинкограф Давыдов, затем в «Сверчке» и лишь потом в «Осколках» и т.д.

По дороге на Сахалин Чехов написал Филиппову и просил его ответить, ибо весть от него — это «ангельское пение в пустыне». Именно Чехов прочитал первый рассказ Филиппова (в нем описана смерть женщины от чахотки) и кое-что в нем исправил; рассказ до сего дня не опубликован.

Филиппов знавал Потапенко, когда тот — кажется, это было в 1887 году — писал статьи для «Одесского Листка», нападая на городские власти; он получал пять копеек за строчку и был весьма доволен таким гонораром. Кроме того, он служил у городского головы Маразли в качестве личного секретаря.

В 1900 году Филиппов редактировал «Русский Курьер» (в Москве). Издатель, купец Ланин, своевольно упомянул Короленко среди сотрудников газеты в следующем году. Короленко письменно (в крайне вежливых выражениях) попросил вычеркнуть его имя. Письмо представляло собой копию из копировальной тетради, и эта мелочная аккуратность поразила Филиппова. — —

Уже смеркалось, и я по-прежнему сидел в его комнате, когда он вдруг заговорил о себе, возбужденно расхаживая взад и вперед. Жаловался, что жизнь не удалась и уже принадлежит прошлому; что его лучшие планы остались неосуществленными; что в результате постоянного скитальчества он не имеет твер-

дой почвы под ногами, а его любимые вещи, хранящиеся в Москве на Кокоревском складе, давно уже, наверно, изъедены мышами. «Я одинок, совсем одинок!» Я сказал ему: «Вас, должно быть, часто одолевает тоска?» — «О, да еще какая, невыразимая тоска!... А выразить ее не могу потому, что бродячая жизнь, сегодня здесь, завтра там, среди различных народов, научила меня быть осторожным и сдержанным в общении с людьми. И это ошибочно толкуют как холодность! О, если б Вы знали!..»

Он (Филиппов), казалось, только и ждал, что я начну у него допытываться: почему он постоянно путешествует, почему так мало пишет и т.д.; но я чувствовал, что, сделав это, допущу бестактность. Он обнял меня и поцеловал: «Я чувствую, как Вы деликатны, но перед Вами однажды я изолью душу!»... Должен подчеркнуть, что мы не выпили ни капли; он и вообще пьет чрезвычайно мало.

Ранее он изрек относительно полового влечения евреек: «Все их тело — пламя, а голова при этом как лед».

О Мамине: «Настоящий, талантливый, выдающийся писатель, которого наша критика потому и не признает, что он — чистый художник, лишенный тенденциозности».

[Майоренгоф,] 24 июля 1904

Вместе с Филипповым и Карич был сегодня в концертном саду Хорна, затем — на Пушкинской террасе. Филиппов сказал, что наши редакции стали для писателей воистину Прокрустовым ложем: каждого писателя насильственно пытаются втиснуть в тенденциозные рамки. «Русские Ведомости», например, в лице их редакторов Посникова и Соболевского правят и сокращают, ничуть не колеблясь, таких писателей, как Глеб Успенский, и даже самого Толстого. «Одно из самых приятных моих воспоминаний, — вмешалась Карич, — это встреча с Чеховым, одно из самых неприятных — встреча с Толстым. Какие холодные пронзительные глаза у этого человека!...» — «Прямо рентгеновские лучи!» — согласился Филиппов и стал доказывать, что Толстой — рекламирующий себя *кривляка*; его мировая слава — самое главное для него, и он, по словам Филиппова, вздохнул с облегчением, когда узнал, что Гладстон, его соперник по мировой известности, — умер. Однажды Филиппов увидел его в Москве у магазина Дациаро, где как раз в то время был выставлен его новый большой портрет; перед витриной толпились люди, и Толстой, стоя в некотором отдалении, жадно наблюдал за выражением их лиц. <...>.

[Майоренгоф,] 2 августа 1904

Несколько месяцев назад, параллельно с этими тетрадями («Из литературного мира»), я стал вести и другие, которые озаглавил «Газетные вырезки». Да,

это будут исключительно наклеенные на бумагу вырезки из газет и журналов, содержащие биографические сведения о писателях (критические статьи, наклеенные отдельно на листках бумаги, я сложил, предварительно их обработав, в большую корзину; таких листков у меня более пяти тысяч, я собираю их уже около двадцати лет). И вот в третьей тетради серии «Русские писатели. В» оказалась вырезка из газеты «Биржевые Ведомости» от 29 июля, где говорится о чеховском аттестате зрелости, полученном им в гимназии[334]. Из него явствует, что Чехов имел по немецкому языку пятерку (высший балл!). Я, однако, могу решительно заявить, что Чехов не знал немецкого языка. В одной из этих тетрадей (все они сейчас в Петербурге) я привожу доказательство. Возможно, после своего брака с Книппер он выучил несколько обрывочных разговорных фраз; ведь последние его слова, обращенные к доктору Швёреру, были: «Ich sterbe»[335]. Как же могло случиться, что по окончании гимназии он имел пятерку?... Да очень просто: немецкий и французский языки преподают в провинции с немыслимой небрежностью. Учителя стоят на самой низкой ступени не только в общекультурном, но и в профессиональном отношении; они — объект постоянных издевательств и насмешек со стороны учеников, нередко добивающихся удовлетворительной оценки при помощи угроз. О, я мог бы написать об этом целую книгу! Ибо все, что за многие годы моей преподавательской деятельности рассказывали мне в гимназии Гуревича абитуриенты, приехавшие из провинции, — это просто невероятно!.. <...> А ведь это были ученики, приехавшие из более или менее крупных городов; значит, можно себе представить, что за «немцы» преподавали в таком захолустье, как Таганрог!... Характерно, что Чехов уклонился от выпускного экзамена; должно быть, он знал, что за экзаменационным столом сидят в качестве помощников директор и инспектор, которые наверняка понизят пятерку, выставленную учителем, до тройки... Да, изучение в гимназиях одного из двух иностранных языков было и остается обязательным, однако ученик имеет право не являться на выпускной экзамен. Тогда в его аттестате зрелости отсутствует подтверждение оценки по данному языку. Именно так обстояло дело и с Чеховым. Французский, как видно из аттестата, он не изучал.

21 августа 1904

Сегодня в гимназии Гуревича встретил П.А. Сергеенко; он повел меня в свое временное жилье (Кирочная, 34, кв. 25, у госпожи Грюнберг) и показал свою прямо-таки поразительную коллекцию портретов Толстого. Показал мне также несколько групповых портретов, которые постоянно носит с собой в бумажнике, — фотографии девяти его детей (старший сын уже начинает пописывать). Рассказывал о своем посредничестве в переговорах между Марксом и Чеховым

(с которым он был на «ты»). Сперва он посетил Суворина и предложил купить издательские права за меньшую цену, но Суворин воскликнул: «Только сумасшедший может заплатить такую огромную сумму!» Когда же он узнал, что переговоры с Марксом в принципе завершены, то отправил Чехову телеграмму, предложив сто тысяч рублей. Сергеенко знает это из писем Чехова к нему. В них встречаются и другие пассажи, которые еще сильней компрометируют этого старого негодяя Суворина. Сергеенко показал мне длинную, вполне законченную, «в слезах» написанную статью о Чехове, предназначенную для «Нивы». В нее войдут все эти отрывки. Рассказывал о Чехове (своем гимназическом товарище), что тот был чрезвычайно практичным человеком, «совсем как Гете». Но в то же время был весьма деликатен. Он отклонил предложение Суворина, хотя в тот момент его контракт с Марксом еще не был подписан и он был совершенно свободен в своих действиях. Он сделал это отчасти потому, что уже дал согласие Марксу, но прежде всего — из чувства деликатности по отношению к Сергеенко, который был посредником в этом деле. «Вряд ли какой-нибудь другой человек поступил бы так же, тем более что неожиданная прибавка в 25 тысяч была ему очень кстати», — заключил Сергеенко свой рассказ.

29 сентября 1904

Вчера — похороны Случевского. Его невозможно узнать — так исхудал. Собралось не более ста человек. У гроба — ни одной речи. Из писателей: редактор «Правительственного Вестника» Кулаковский (дружески беседовал с Коринфским и просил его написать для газеты что-нибудь о почившем), Далин (Линев), Щеглов, Котляревский, Вейнберг (подал министру внутренних дел прошение о возобновлении Союза), Гнедич, Луговой, Рудич, Авенариус, Мазуркевич, Грибовский, Вентцель-Юрьин, Каразин, старик Суворин, князь Голицын, князь Волконский, Константин Афанасьевич Максимов, Лейтенант С. (сын Случевского: должен был в тот же вечер ехать в Либаву, чтобы нагнать свою эскадру; сказал, что вернется с войны не ранее чем через два года). Лихачев не вполне согласен с моим предложением проводить поэтические собрания в различных домах: «Я, например, никогда не пущу в свою квартиру какого-нибудь Бальмонта или Брюсова!» С кладбища отправились в ресторан «Франкфурт-на-Майне». Черниговец прочитал стихотворение, сочиненное им на кладбище <...>

На кладбище я подошел к Леониду Афанасьеву и представился (видел его впервые в жизни). Он был очень рад, что наконец познакомился со мной. Держался крайне застенчиво. В ресторане он сидел рядом со мной, и я невольно видел вблизи его голову: черные, коротко постриженные волосы, похожие на бархат и словно приклеенные (может, парик?). Николай Матвеевич Соколов

пытался возражать против моего замысла; между прочим, требовал права читать публично свои политические стихи, но я решительно заявил: политика и партийность недопустимы.

В ресторане, кроме того, присутствовали: И.И. Соколов, Сологуб и Ясинский.

3 октября 1904

Сегодня — у П.П. Гнедича, по его приглашению. Просторный кабинет. Он не терпит, чтобы в его квартире было больше трех тысяч книг, а все, что скапливается сверх этого, продает в конце года. Курит лишь по ночам, когда работает. Расказывал о Лебедеве (Морском). Тот зарабатывал очень много, но жил в чердачном помещении и носил драные штаны. Все удивлялись его скупости. Но когда он умер, выяснилось, что денег у него нет. Оказалось, он оплачивал обучение примерно тридцати бедных детей. — Рассказывал о Гончарове, с которым часто встречался на Моховой. Гончаров (он был уже немолод) не раз обращался к нему: «Вы все-таки скажите Исакову, чтобы он не присылал мне повестки на заседания Русского литературного общества!.. Повестки!.. Я достиг теперь такого возраста, когда меня можно оповещать устно!.. Повестки!.. Как будто меня вызывают в суд!» Блаженной памяти Русское литературное общество, имевшее тогда свою театральную школу, устроило выпускной спектакль в театре «Фантазия». Гончаров явился по приглашению Гнедича и был настроен весьма благодушно. Они сидели рядом в зале, и Гончаров спросил, какую дают сегодня пьесу. «Месяц в деревне» — «Что такое "Месяц в деревне". Я не знаю этой вещи». «Пьеса Тургенева». — «Тургенева?» Гончаров встал и ушел. В начале шестидесятых годов он был влюблен в некую Колодкову[336], которая еще жива; она — родственница жены Гончарова и директриса какого-то института в Вильне[337]. Гончаров трижды делал ей предложение; у нее хранится триста его писем, которые, согласно ее завещанию, будут сожжены после ее смерти.

Гнедич рассказывал также (со слов покойного Маркевича) об Алексее Толстом. Тот любил купаться даже зимой. Для этого на речке, протекавшей у Красного Рога, взламывали лед. Толстой сбрасывал шубу, надетую на голое тело, плыл от одного края проруби к другому и обратно, а затем мчался домой, где его закутывали в теплые простыни; волосы на его голове и борода превращались в сплошную ледяную корку. — Толстой — сын Перовского (Погорельского) и его родной сестры. Когда она была уже на седьмом месяце, Перовский выдал ее замуж за своего сослуживца графа Константина Толстого. Тот впервые увидел свою «жену» лишь в день свадьбы, а после свадьбы брат и сестра отправились прямиком за границу.

Гнедич рассказывал также о своем друге Чехове. У него сохранилось несколько его забавных писем; Чехов жалуется в них на любовные домогательства Зои Яковлевой и описывает свои попытки ускользнуть от нее. — —

От Гнедича — в Малый театр к Карпову, где в это время шел дневной спектакль («Гамлет»). Я попросил доложить обо мне и представился: «Федор Федорович». Когда я вошел в его кабинет, Карпов как раз читал новую пьесу (рядом высилась кипа новых драматических сочинений); с радостным удивлением он воскликнул: «Так это ты?! А я-то думал: кто бы это мог быть? Ты ведь для меня не Федор Федорович, а просто Федя!» При этом он обнял и расцеловал меня. — — —

Был Булацель. Говорит, что в субботу вновь едет на театр военных действий. Наверное, врет. Однако не врет, утверждая, что внес плату (45 руб.) за год обучения в гимназии своей крестной дочери Гали; я читал ее письмо к нему, не позволяющее в этом усомниться. Опять принес кое-что для пополнения моего «музея» — в частности несколько стихотворений, которые привожу ниже (автор неизвестен).

Сумбур Всея России дел
Толстой исправить захотел;
В чины правленья своего
Он взял: Заику, Плеве, Дурново...
Ну что ж? При нем Россия не толстеет,
А заикается, плюет, дурнеет!

А вот еще:

Дом покривившийся... Стекла разбитые...
Вместо забора — следы частокола...
Двери и окна для ветра открытые...
А... Это сельская школа!

Домик веселенький на удивленье...
Все так приветливо... Солнышко... Травка...
«Здравствуй, сиделец!» — «Мое Вам почтенье!..»
А это — винная лавка!

Наконец, — эпиграмма на Гриневскую:

Изабелла все скорбела
О судьбе персидских баб...
От скорбенья так набздела,
Что родился бабский «Баб».

6 октября 1904

В Обществе поговаривали, что император объявит конституцию — это ожидалось вчера. Ведь уже много лет тому назад Минаев будто бы сказал Лорис-Меликову:

Дайте, — хоть и куцую, —
Все ж нам конституцию!

16 октября 1904

Только что от меня ушел Сергей Маковский. Одет элегантно, почти щегольски; в течение всего визита не снимал перчатки с левой руки. Много путешествует за границей. Очень любит сонет 1) поскольку это — отличная школа стихотворной техники (полагает, что в этой школе ему удалось уже многое осуществить; со временем же надеется достичь окончательной безупречности) и 2) поскольку он — «*мозговой* поэт».

С ледяной холодностью говорит о своем отце, известном художнике Константине Егоровиче Маковском. Отзывается о нем как о непозволительно (каждый талант, по его словам, — в той или иной степени эгоистичен и имеет полное право быть таковым) бессердечном человеке, которому не хватает лишь малости, чтобы стать преступником. В особенности его возмущает то, что отец за последние годы опустился до уровня ремесленника. Они давно разошлись друг с другом. На улице он с ним не здоровается; говорит, что даже не подает ему руки. «Я желаю смерти моему отцу!»

Во время похорон Случевского я спросил отца, чем занимается его сын. «Не знаю. С тех пор как он сделался декадентом, он меня не признает. Даже на улице не узнает меня».

Маковский был моим учеником в реальной школе Гуревича — с четвертого по седьмой класс (1892/93—1895/96). Его годовые оценки: за 93-й — 5—; за 94-й — 4; за 95-й — 5; за 96-й — 5. На выпускном экзамене он получил за письменную работу 4+, за устный ответ — 5. Он мог бы учиться на одни пятерки. Он был самым талантливым из моих учеников, и не только по немецкому языку — словом, не кукла, а человек с индивидуальными чертами, намного превосходящий разных безликих иксов. Если бы я мог тогда знать, что́ из него выйдет, я уже тогда писал бы о нем в этих тетрадях. При всем своем своеобразии он был скромен. Чтобы поступить в университет, он нанял себе, заканчивая реальное училище, частного репетитора по греческому языку и латыни, и сдал гимназический экзамен (наряду с экзаменом в реальном училище).

Сегодня он (Маковский) рассказал мне, что у Вилькиной, «жены» Минского, незаурядный писательский талант (в прозе); в «Новом Пути» она опубли-

ковала под псевдонимом Бобринский несколько рассказов, которыми восхищается Мережковский (имя настоящего автора ему неизвестно[338]). Это — тайна: ведь если бы Зинаида Мережковская знала, в чем дело, она бы ни за что не допустила, чтобы ее муж печатал ее (Вилькиной) вещи. Зинаида ее ревнует (не к Мережковскому) и поэтому никогда не появляется там, где можно столкнуться с «Белочкой». Зато Минский, по его словам, часто навещает Мережковских.

О Мережковском Маковский сказал так: «Он состоит из множества ящичков, расположенных один в другом; но каждый ящичек — пуст». — — —

Случевский в свое время удостоил меня всеми сборниками своих стихотворений, сделав на каждом дарственную надпись; однако я раздарил их, когда он вручил мне собрание своих сочинений, изданное Марксом. На первом томе этого собрания он написал мне:

Богом хранимому,
Русскими поэтами чтимому,
Весьма любимому,
Незаменимому Ф.Ф. Фидлеру

К. Случевский.

На книге «*Несколько картинок культур и искусств разных народов*» — карандашом:

Дорогому Федору Федоровичу Фидлеру

К. Случевский

1-я пятница 1902—1903: 4 окт[ября].

На книге «Тридцать три рассказа»:

Сотоварищу по перу Ф.Ф. Фидлеру от уважающего его автора
К. Случевского

12 дек[абря] 1888.

На книге «*Песни из уголка*»:

Дорогой Ф.Ф. Фидлер купил эту книжку раньше, чем мне прислал ее издатель! Диво дивное! Должен дать автограф!

Сердечно любящий К. Случевский.

(число неразборчиво) *1901.*

На книге «*Повести и рассказы*» 11 апр[еля 19]03 года:

Милому Ф.Ф. Фидлеру К. Случевский.

На книге «*От поцелуя к поцелую*»[339] — то же самое.

Портретов Случевского (с автографами) у меня два:

1) *Ф.Ф. Фидлеру на добрую память от К. Случевского.*
12 дек[абря] 1888.

2) *Искренно чтимому пятничнику Ф.Ф. Фидлеру на добрую память от*
К. Случевского
8 февраля 1902.

18 октября 1904

Вчера зашел к Альбову. Он рассказывал о Венгерове (расхваливая его любовь к литературе): они вместе учились в 5-й гимназии. В четвертом классе ученики стали издавать рукописный журнал, который назывался «*Вперед!*» (с восклицательным знаком). Было выпущено четыре номера. Альбов поместил в этом журнале под псевдонимом *Запечный беллетрист* рассказ «*Где тонко, там и рвется*». Венгеров писал политические статьи и подписывался *Доморощенный политик.* Он уже тогда создавал свою библиографическую картотеку и записывал все, что касается писательских биографий.

Пришел Баранцевич, и мы — в обществе Евгения Святловского и Зацимовского — отправились впятером в «Москву», где немного выпили.

27 ноября 1904

Вчера, возвращаясь домой по Владимирскому проспекту, встретил Куприна. Он был в демисезонном пальто, на голове — потрепанная летняя шляпа с полями; лицо — опухшее; от него несло алкоголем. Между тем, глядя на него, только посвященный мог бы заподозрить неладное. Рядом с ним шел Коринфский; вид его был безупречен, хотя оба шлялись всю ночь. Мы зашли в калинкинскую пивную лавку в Графском переулке[340]. На мой вопрос, чем он занимается, Куприн ответил: «Пью, развратничаю, пишу». — «Как же ты можешь при этом писать?» — «Могу. Обливаюсь холодной водой и пишу. Сейчас пишу повесть* — ого! Когда она появится, это будет для публики как винт в задницу.

* «Поединок».

Четыре листа уже готовы, осталось написать еще шесть. Я напишу их здесь». — «А долго ты здесь пробудешь?» — «Еще месяц!» — «Ты хочешь написать за месяц шесть листов?!» — «Я могу писать по листу в день. При этом я никогда не веду, как это делают другие, предварительных записей, ничего *не изучаю*. Вот ты хвалишь мою наблюдательность. А я вовсе ничего не наблюдаю — пусть все, что есть, воздействует на меня непосредственно и безо всякого участия с моей стороны. Это остается во мне, словно на *пластинке:* в случае необходимости все воспроизводится». — «Ну, а как тебе вообще живется?» — «Недурно. Только иногда страдаю от одиночества. В журнале "Мир Божий" мне платят самый высокий гонорар, однако просят не посещать их редакционные вечера. Кажется, меня уже не хотят принимать ни в одном приличном обществе. Вот вы с вашими Товарищескими обедами тоже небось меня исключили?» — «Нет. О тебе вообще не было разговора. А что ты еще поделываешь?» — «Пью, шляюсь и — думаю, думаю, думаю! Во мне наметился какой-то *перелом*. Впрочем, я хотел бы принимать не алкоголь, а кокаин или никотин (кокаин я уже пробовал)». — «А как поживает твоя жена?» — «Хорошо. Теперь, освободившись от меня, она снова может вращаться в тех кругах общества, против которых я всегда выступал». — «В писательских кругах?» — «О нет! Среди дам в шелковых платьях. Впрочем, я влюблен в одну женщину, Ростовцеву». — «А твоя дочь?» — «Она превратилась в какого-то *зверя*. Все, что она пожелает, должно быть исполнено». — «Вы ее слишком избаловали — буквально целовали в попку!» — «Это правда. А теперь, когда она видит, что ее желание исполнено, она вытягивает ножку и милостиво разрешает ее поцеловать».

Потом он (Куприн) сказал, что любит иметь дело с двумя женщинами одновременно. Владея одной, он целует и ласкает другую, лежащую рядом; это, по его словам, пробуждает в каждой из женщин необычные чувства, которые проявляются тоже весьма необычно.

Он — сторонник наказания розгами; но усмирять ими следует не крестьян, а актеров и присяжных *поверенных*.

«Пан» Гамсуна, по его словам, так велик, что его нужно читать как Евангелие.

На похоронах Чехова его не было. Но он стоял возле гроба во время заупокойной службы. Рядом с ним стоял Горький. Взглянув на соседний гроб, Куприн прочитал на нем какую-то странную фамилию — одну из тех, которые так любил Чехов. То же сделал и Горький; их взгляды встретились, «и этот безмолвный взгляд сблизил нас, потому что мы поняли друг друга». Тут вышел из толпы толстяк Михеев и произнес одну из своих pro domo[341] либеральных речей, на что Горький, обратившись к Куприну, заметил: «Потонувший колокол, ебёна мать». Это же выражение употребил и Куприн в нашей беседе.

Из пивной (я выпил полбутылки портера, они — бутылку пива на двоих) отправились в «Капернаум». Коринфский (который ни там, ни здесь почти

ничего не говорил) выпил за обедом рюмку водки, затем — стакан пива. Возможно, потом он еще выпил водки — этого я не знаю, поскольку вскоре ушел. А ушел потому, что стало неприятно: Куприн стал приглашать из зала к себе в кабинет разных людей, среди которых были репортеры и такие сомнительные личности, как Быков (разумеется, не П.В.!), Жуков, Муйжуль[342] и наглец Маныч; впрочем, пришел и Каменский.

14 декабря 1904

Вчера — юбилей Познякова. В его квартире. Множество людей. Из писателей только: Баранцевич (прочитал вслух адрес... И вообще выступал в роли главного оратора, хотя организатором юбилея был я), Далин (Линев), Коринфский, В. Рышков, А. Зарин, Сальников, Лихачев, Измайлов, Мамин (войдя в гостиную, допустил удивившую всех бестактность — постоянно спрашивал: «Федор, ты еще не напился?»), Свирский (сообщил, что продал Сытину своего «Рыжика» за 2800 руб.) и драматург Карнеев (полный идиот, лепетавший даже не слова, а какие-то звуки, которых никто не мог понять; к тому же он был пьян).

Известный московский издатель и книготорговец Клюкин сказал, что Мамин поступил правильно, не уступив свои права Марксу за двести тысяч рублей: он бы *продешевил*. Рассказал также, что ему удалось за весь этот год продать всего четыре экземпляра собрания сочинений Горького — то есть в целом двадцать четыре книги.

9 января 1905

Вчера — поэтический вечер у Уманова-Каплуновского. Помимо меня — всего четыре человека: И.И. Соколов, Маковский, Кильштет и Сологуб. Вероятно, пришло бы больше народу, если бы не тревожные слухи об уличных беспорядках. Говорили исключительно о стрельбе картечью 6 января и выступлениях фабричных рабочих. — — —

Сегодня у нас завтракали: Минский, его «жена» Вилькина и Зинаида Венгерова (в последние месяцы она живет в квартире Минского). После бурных событий нынешнего дня, которые можно было предвидеть, мы почти не говорили о литературе, так что никому не удалось даже в малой степени проявить свою индивидуальность. Гости осматривали мой «музей», восхищаясь — подчас крайне наивно — его содержательностью. Когда я демонстрировал отдел «редкие портреты» и все увидели портрет Гиппиус-Мережковской с подписью «Alma», наступило тревожное молчание; особенное беспокойство сквозило в вопрошающих взглядах Вилькиной. Дело в том, что Минский написал драму «Альма», героиня которой, как говорят, списана с Гиппиус-Мережковской. Моя

жена рассеяла общее недоумение, сообщив, что в то время (в 1900 году) художник Бакст написал портрет героини пьесы, на котором она очень похожа на Зинаиду Николаевну; после этого ее стали называть «Alma». Один экземпляр этого рисунка, выполненного сепией, она подарила мне 18 января 1901 года с надписью: *«Федору Федоровичу Фидлеру бледный портрет писательницы с яркими чувствами З. Гиппиус* (Alma)».

Вилькина попросила меня прочитать мой перевод одного из ее сонетов, что я и сделал. Но когда я хотел прочитать стихотворение Минского «Портрет» (считается, что моделью для него послужила опять-таки Гиппиус-Мережковская), также переложенное мной на немецкий, он испуганно воскликнул: «Нет, нет, нет!»

Говорили о том, что Свирский, будучи бездомным сиротой в Житомире, избил как-то гимназиста Флексера, за что получил вознаграждение от его соучеников, и Минский заметил: «Я бы тоже дал *пятачок*!»

О Гриневской Минский с полной уверенностью сказал, что ей сейчас 47 или 48 лет.

Все трое решительно заявили, что уйдут после двух (и действительно ушли): предполагалось, что в два начнутся уличные беспорядки, и они хотели видеть это воочию.

12 января 1905

Сегодня встретил на Невском Мережковского. «Что скажете о последних событиях?» — «Пока ничего». — «Мне поступило предложение от “Neue Freie Presse” — писать за очень неплохой гонорар о беспорядках, однако...» — «У Вас нет времени?» — «Не в этом дело. Но я не смогу писать, что хочу: письма перехватываются». —

Еще раньше встретил Засодимского: «Рабочие собирают деньги на завтрашние похороны своих товарищей. Я дал последнее, что у меня осталось. Завтра будет еще больше шума». (Обошлось без шума; да и вообще все тихо. — *Ф.*).

16 января 1905

Вчера — Товарищеский обед. Присутствовали: Фельдман, художник Кравченко, Елпатьевский (сидел недолго), Кривенко, Мордовцев (попросил меня провести его через весь зал; ел удивительно мало: котлету и дичь вернул нетронутыми), Баранцевич (у него уже больше тысячи подписчиков[343]; потом мы с ним играли в бильярд), Бороздин и Сологуб.

Говорили исключительно о кровавых событиях последней недели.

17 января 1905

Сегодня была Вера Томашевская; она рассказала моей жене (я был в гимназии), что мадам Потапенко, ее приятельница, живет сейчас одна в Ницце. До этого она обитала в какой-то из здешних гостиниц: совместная жизнь с мужем и дочерьми стала для нее невыносимой. — Потапенко же устраивает у себя в ближайшую субботу (22-го) костюмированный бал, на который ассигновал тысячу рублей. Приглашено сто человек; каждый из приглашенных получит у портье (в дар от хозяина) домино и полумаску, а также — живые цветы. Шампанское будет литься рекой. Кто приглашен? Представители и представительницы балетного мира и драматических театров — всем им Потапенко нанес визит вместе с дочерью Диной (танцовщицей, чье имя, однако, вовсе не красуется на афишах)... Бал в нынешнее время!

30 января 1905

Вчера — поэтический вечер у М.Г. Кильштет. Тема разговора — кровавая неделя в Петербурге и война. Грибовский изрек:

Кровь течет, как виноградный сок,
Дворник сыплет на него песок.

Сологуб придумал шутливую импровизацию:

Пусть знает всяк:
Я — декадент.
Дрожу я как
Гирлянда лент.
Я — символист,
И потому
Дрожу как лист
В ночную тьму.

Лихачев дополнил:

Я — порнограф,
И оттого,
Говно набрав,
Сосу его,
Как пепермент[344]*...*
Я — декадент!

В моем альбоме поэтических вечеров Сологуб вычеркнул свое имя (ввиду того, что нынче всюду полно шпионов) под своими крамольными стихами и написал сверху: *Сын Дьявола.*

Кроме того, присутствовали: Авенариус, Мейснер, Афанасьев, И.И. Соколов и Уманов-Каплуновский.

2 февраля 1905

Сегодня — обед у Бороздина. Мы с Немировичем-Данченко то и дело безжалостно подтрунивали друг над другом, так что все общество покатывалось со смеху. Он и сам от души рассмеялся, когда я, например, сказал ему: «Ты совсем забываешь, что сейчас ты не пишешь, а говоришь, — зачем же врать?»

О Вейнберге-переводчике он сказал, что тот превращает самую возвышенную поэзию в самую пошлую прозу. — —

Сегодня — годовое заседание Литературного фонда. Короленко предложил комитету, чтобы тот подал правительству петицию об освобождении Горького, Пешехонова и Якова Яковлевича Гуревича[345]. В середине речи памяти Михайловского, которую произносил Вейнберг, в зал вошел Н.Ф. Анненский, — и вся публика стала аплодировать (Анненский только что освобожден из-под ареста); Вейнберг вынужден был прервать свою речь. На удивленный вопрос, который задавали многие, — почему Чехов не был членом Фонда, Вейнберг пояснил, что он дважды обращался к нему с таким предложением, но Чехов каждый раз отказывался полушутя, полусерьезно. — Жданов сообщил мне, что его настоящее имя — Гельман-Жданов.

13 февраля 1905

Как председатель наших поэтических вечеров я должен был вчера заехать за Зоей Бухаровой (Бассейная, 28, меблированные комнаты, № 37). Я видел ее лишь однажды: на похоронах Полонского, когда его тело вносили в вагон; она стояла под руку с Быковым. (Я попросил его представить меня, на что он резко ответил: «Нет».) Она никогда меня не видела. И все-таки мы знакомы друг с другом: недавно у нас была переписка по одному поводу (расскажу при случае). — Мы договорились, что я заеду за ней, поэтому она была в полной готовности. Молодая, стройная, гибкая, пухленькая; с большими огненно-темными и в то же время чуть застывшими глазами; когда задумывается, левый глаз немного косит в левую сторону. В ней течет панская кровь. Приехала сюда всего на несколько недель. Живет постоянно недалеко от станции Плюсса. Там у нее имение, у ее матери — тоже, и они хотят их продать — поскольку совсем не разбираются в сельском хозяйстве. «У нас ни копейки денег. Все потому что мы — художественные натуры». Имеет двоих детей, но не живет с мужем. «Он вульгарен по своей натуре и никогда не понимал меня». Они познакомились в день похорон Полонского; он был тогда студентом, теперь — земский началь-

ник. Она испытывала передо мной какой-то необъяснимый страх, но, побеседовав десять минут, сказала, что во мне нет ничего ужасного. Сперва мы провели около получаса у меня в кабинете, который ей так понравился, что она никуда не хотела ехать, тем более — в общество незнакомых людей. Однако я доставил ее к И.И. Соколову; там уже ждал ее давний знакомый Черниговец (был некогда влюблен в сестру ее бабушки); он отправился вместе с ней в Малый театр еще до того, как начался ужин. До ужина удалились также Измайлов и Мятлев. Когда явился Грибовский, Лихачев тут же сочинил:

Кто пришел таковский?
Вячеслав Грибовский.

Грибовский похвалил сыр: «*Он со слезой в ноздре*». За ужином обсуждался слух о князе Касаткине-Ростовском, который 9 января на Полицейском мосту[346] якобы командовал ротой стрелявших солдат. Я предложил исключить его из нашего общества. Меня — вопреки ожиданию — живо поддержали Лихачев и Грибовский; оба заявили, что не могут пожимать руку убийцы, запачканную кровью. Однако Мазуркевич и Кильштет сказали, что ему пришлось выполнять свой офицерский долг. Горячо возражали, кроме вышеназванных, Сологуб, Уманов-Каплуновский и А. Зарин. При этом ни слова не произнесли: Рафалович, Авенариус и Вентцель (последний, может быть, потому, что вообще туг на ухо). Решили — прежде чем я совершу решительный шаг — направить к Касаткину-Ростовскому Зарина, чтобы получить из уст самого князя либо подтверждение, либо опровержение этого слуха. <...>

Кроме того, вчера вечером разнесся слух, что Горький убит. Он, как известно, находится сейчас в крепости под арестом. Говорят, что несколько дней назад, когда его вели на допрос, жандармский офицер нанес ему оскорбление; Горький будто бы дал ему пощечину, и тогда офицер достал револьвер и застрелил его.

Рассказывают и такое: камера, в которую поместили Горького, холодная и сырая. Он болен. Жена, приехавшая из Нижнего хлопотать о его освобождении, привезла ему коврик и высокие теплые гетры, но администрация отказалась их передать.

6 марта 1905

Вчера, по договоренности, заехал за Бухаровой, чтобы сопровождать ее на поэтический вечер. По дороге она рассказывала, что ее нынешний «муж» — еврей и больной человек, вызывающий у нее жалость. Многократно упомянула о том, что пользуется среди мужчин неотразимым успехом. К ней являются

даже те, с кем она обмолвилась лишь парой слов. Вчера трижды заезжал Сергеенко и убеждал ее: мол, природа дала ей все для того, чтобы одновременно осчастливить нескольких мужчин; и сделать это — ее долг. Затем приезжали — с недвусмысленными намерениями — И.И. Соколов и Лихачев; последний ей прямо-таки отвратителен.

Поэтический вечер (он состоялся у Сологуба) еще никогда не был столь многолюдным, как вчера. Впервые пришли: Позняков, Вилькина (без мужа) и даже — Мережковский (без жены. Все были очень удивлены, поскольку он явился без приглашения: с 23 декабря я не посылаю ему повесток). Вилькина, он и Allegro все время держались вместе, а за ужином предложили избрать постоянными участниками наших вечеров Александра Блока и Владимира Гиппиуса. Это предложение не встретило поддержки: отчасти потому, что никто не знает обоих ни как писателей, ни как людей, отчасти же потому, что они известны как экстравагантные декаденты. За ужином единодушно решили не исключать (отсутствовавшего) князя Касаткина-Ростовского, поскольку не выяснено, отдавал ли он солдатам приказ стрелять.

Кроме того, присутствовали: И.И. Соколов (провожал домой Бухарову, с которой беззастенчиво флиртовал: она действительно всем очень нравилась и вызывала у дам завистливые взгляды), Уманов-Каплуновский, Шуф, Мазуркевич, Мейснер, Кильштет, Рафалович, Грибовский, А. Зарин, В. Корин (в качестве гостя), Лихачев, Коринфский (уверял, что окончательно бросил пить) и Авенариус. — — — <...>

Добавление ко вчерашнему вечеру. Сологуб живет на Васильевском острове (7-я линия, дом 20, Андреевское городское училище). Имеет как учитель-инспектор бесплатную квартиру из четырех относительно больших комнат, в которых обитает вместе с сестрой, бесплатное отопление и освещение плюс жалованье (55 руб. ежемесячно). Прием гостей обошелся ему, по меньшей мере, в три четверти месячного оклада. Все происходило в классе для рисования, в глубине которого возвышались ряды школьных парт. Стол, накрытый для ужина, напоминал банкетный.

Мережковский держался не то чтобы высокомерно, но в высшей степени сдержанно и прохладно. Со всеми здоровался, но никому не сказал более двух с половиной слов, — за исключением Вилькиной (она вела себя с ним весьма непринужденно) и Allegro: они втроем стояли и сидели вместе. — — —

Вчера вечером (я как раз собирался уходить) явились Альбов с Зацимовским. Я ушел через полчаса.

25 марта 1905

Вчера — поэтический вечер у А. Зарина. Просторная квартира, за которую, включая дрова, он платит сто рублей в месяц. Уманов-Каплуновский сообщил

мнение Амфитеатрова о Брешко-Брешковском: «*Развязный* молодой человек с начитанностью *военного писаря*». Будищев спел, аккомпанируя себе на рояле, свое юмористическое стихотворение «*Тебя я увидел с картонкой*...». Платон Краснов сказал, что стихотворение на с. 163 в его книге[347] — не перевод из Платона, а оригинальное сочинение. Виктор Карлович Мюр прочел свой перевод «Одинокой сосны»[348] и заявил, что по содержанию его перевод богаче оригинала: мол, сосна у него тоскует по грядущей весне, а пальма — по минувшей; такой свободы не найти у Гейне. Я с трудом удержался от смеха. Вентцель читал свою «*Барыню*». Сологуб был мрачен и ушел, даже не расписавшись в альбоме; собирается удалить из него все свои политически нецензурные стихи. Черниговец рассказывал мне о Бухаровой (она отсутствовала). <...> Сказал, что она — испанская еврейка. Все говорили о ней (Бухаровой) чрезвычайно фривольно. Присутствовали также И.И. Соколов, Мазуркевич, Грибовский и Л. Афанасьев.

За ужином кто-то сказал, что завтра (т.е. сегодня) исполняется полгода со дня смерти Случевского и нужно бы посетить его могилу, на что Черниговец возразил: «Я принципиально не хожу к мертвым. Если человек прекратил со мной общаться, — почему я должен ему навязываться?!» — — —

Сегодня у меня обедал Мюр. Мистико-апокалиптически-религиозный тип. Говорит, что носит свою еврейскую бороду лишь для того, чтобы евреи, которым он в Москве проповедует христианство, испытывали к нему большее доверие.

Была также Шиле (урожденная Фомичева); в семнадцать лет она вышла замуж за акварелиста и архитектора Шиле, саксонца.

Продиктовала мне следующее. В первые дни царствования Александра III, когда тот не решался покинуть Гатчину, Щиглев сочинил песенку:

Ах, как наш-то дурачок, дурачок,
Захотел надеть златой колпачок,
Ему выйти из околицы
Больно хочется — да колется.
За околицей-то рыщет волк,
Он зубами-то щелк да щелк.
Разбирает сильный страх дурачка;
Вспоминает он без ног старичка.
Старичок-то все гулял да гулял,
Разгулявшись, колпачок потерял.
Распрекрасны вы, златые колпачки,
Знать, охочи все до вас дурачки!

Она была дружна с Д.Д. Минаевым. Однажды за обедом в Глазово[349] у Ольги Александровны Лепко, пишущей стихи под псевдонимом Охтенская (умерла 1 февраля этого года) он произнес импровизацию:

Не много нас, и мы должны
Держаться друг за друга цепко.
Вдали от невских берегов
Я чествую сегодня Лепко.

<...>

Кроме того, Шиле дружила с Михайловым-Шеллером. Она жила тогда на Большой Московской 14 (угол Свечного) у хозяйки Егоровой, сдававшей внаем меблированные комнаты, стенка в стенку с покойным В.А. Слепцовым. Однажды к ней зашел Михайлов-Шеллер; он был мрачно настроен и произнес:

Позволь смотреть на лоб твой бледный,
Улыбку грусти наблюдать.
И пальцы труженицы бедной
Благоговейно целовать!

Знаменитая «коммуна» В.А. Слепцова находилась на Знаменской, в районе Саперного переулка, в том доме, где теперь баня, собственно, прямо над ней; она занимала целый этаж и состояла примерно из восьми комнат. Общая приемная и общая кухня. Однако утверждение, будто мужчины и женщины жили единым общежитием, — полная чушь. Нет, каждая супружеская пара (брак был свободным) занимала отдельную комнату, — и ничего более. Впрочем, обворожительно красивый Слепцов действительно очень часто посещал женщин.

По поводу возраста Гриневской Шиле полагает, что ей около пятидесяти. Она — еврейка из Вильны, верней сказать, была таковой, когда старик Гриневский уступил свою красавицу-жену финансисту Ламанскому за шестьдесят тысяч и женился на Гриневской, которая была пленительно хороша.

29 марта 1905

Встретил Владимира Тихонова, который стал меня упрекать, почему я позавчера не пригласил его к себе на обед (у меня были Альбов, Зацимовский, доктор В.В. Чехов и случайно зашедший Булацель). Сообщил, что сделался вегетарианцем, ничего не пьет и очень мало курит — это предписал ему доктор Жихарев в связи с его (Тихонова) сердечным заболеванием. Рассказывал о Горьком, которого недавно посетил в Эдинбурге[350] под Ригой. Горький так любил своего (умершего несколько дней тому назад) слугу Захара[351], что обедал с ним за одним столом. Горький чрезвычайно гордится своим острым зрением (замечает мельчайший предмет, лежащий на земле, и потому — превосходный грибник); когда они вместе гуляли по пляжу, Захар часто развлекался тем, что, опередив Горького на несколько шагов, бросал в песок медный пятак, который Горький тут же поднимал и радовался, что так хорошо видит.

11 апреля 1905

Сперва зашел к В.В. Чехову. Он сообщил, что Комиссаржевская назначила Флексера заведующим репертуарной частью ее театра; теперь по ее поручению он будет объезжать европейские столицы, изучая, как ставят современную драму; поедет якобы даже к Ибсену. Флексер счастлив как ребенок.

Затем — к С.Н. Филиппову. Две неожиданности: 1) он писал (об итальянских мистериях страстей Господних в Италии) и 2) угостил меня бутылкой пива. Всесторонне образован и начитан. Сказал, что русские — *недобросовестнейший* народ на свете.

Наконец — к Владимиру Тихонову. У него сидел Иосафат Тихомиров, режиссер театра Комиссаржевской, и просил его побыстрее закончить намеченную к постановке драму. Тихонов сознался, что бывает ленив и придерживается правила: «Не откладывай на завтра, что можно сделать послезавтра!» Впрочем, обещал, что рьяно примется за работу. В связи с этим вспомнил, что Антон Чехов (от которого у него более ста писем) не раз упрекал его в лености. Прочитал вслух несколько мест (я одновременно следил по тексту), из коих действительно явствует, что Тихонов был одним из первых, кто самым решительным образом подтолкнул Чехова к писанию драм. Сам же он, Тихонов, в течение пятнадцати лет, т.е. после «Лучей и облаков», не написал ни одной пьесы; утверждает, что в этой пьесе он пытался выразить что-то новое, но публика не поняла. — — <...>

23 апреля 1905

Вчера — последний поэтический вечер в этом сезоне у И.И. Соколова. Вентцелю предложили подобрать рифму к слову «экспромт», и он моментально ответил: «Wentzel kommt»[352]. — «Кто-то в шутку предложил назвать улицы Петербурга именами участников нашего кружка, и Черниговец-Вишневский сказал: «Одна улица уже носит мое имя: когда провинциал выходит на Невский, ему говорят: “*Вишь, Невский*!”» <...> Обращаясь к Бухаровой, он сымпровизировал:

Не пристало русской даме
Хороводиться с жидами!

Кроме того, присутствовали: Афанасьев, Мазуркевич, Сологуб, Кильштет и Уманов-Каплуновский. — — —

С самого начала я завел альбом поэтических вечеров, в котором отдельные участники каждый раз оставляют запись. Я буду постепенно копировать те места, которые, полагаю, не могут быть напечатаны:

Вентцель-Бенедикт (30 сентября 1904):

Любит он российский мед,
Ест российскую он кашу
И в немецкий огород
Переносит овощь нашу.
Всех поэтов русских он
Знает звук и строй, и вид лир...
От поэтов вам поклон,
Федор Федорович Фидлер.

11 декабря 1904:

В жизни многое мерзко,
Хоть оно нам порой и привычно...
Впрочем, это высказывать дерзко
И весьма нетактично.

Намек на слова императора *(дерзко, нетактично).*

22 декабря 1904:

ЕЩЕ ПОРТ-АРТУР!

Переполнена терпенья чаша!
Наш народ, — оплот и крепость наша, —
Изнывает в тягостной осаде:
Справа, слева, спереди и сзади
Тьмой «начальств» он строгих осаждаем...
Безнадежно мы, бесплодно погибаем,
Как герои гибли в Порт-Артуре...
Ave Caesar! Te salutant morituri![353]

12 февраля 1905:

Хорош сегодня был улов!
Собрал десятка два голов
Иван Иваныч Соколов.

5 марта 1905:

КТО ОН?

Есть остров. Есть на острове том школа,
Там некто свил гнездо. Он Музам люб.
Как истинный мудрец, живет он соло,
И песни вещие с его слетают губ.

Вчера:

1)

Чтоб пополнить страницы альбомные,
Фидлер тащит в места нас укромные,
Там поэта хватает за шиворот,
Дабы вывернуть тотчас навыворот.

2) *Ф.Ф. Фидлеру*

Кружок наш невелик, но дружен, —
Но вот сказать настал момент,
Что для поэтов русских нужен
Немецкий все-таки цемент!

(При этом он поднял за меня тост, после чего все стали чокаться со мной и благодарить меня.)

3) *Да коммт ейн дейтше*
Мит ейнем руссишем пейтше...

(Т.е.: Da kommt ein Deutsch<u>e</u> mit eine<u>m</u> russische<u>m</u> Peitsche.)[354]

29 апреля 1905

24 числа сего месяца я водил к Здобнову поэтов, где все мы (семнадцать человек) сфотографировались группой. Сегодня я повел к нему участников Товарищеских обедов. Присутствовали: Владимир Немирович-Данченко, Сологуб и все те, кто, заняв сперва ресторан «Альберт» (ибо «Палкин» стал в последнее время вызывать всеобщее неудовольствие), отправились к Здобнову: неофит А. Зарин (бесстыдно растянулся после еды на диване и лежа участвовал в разговоре) и Глинский; затем — Куприн (из фотоателье помчался на свидание в Гостиный двор; много пил и разговаривал с большой *развязностью*; ворчливо сообщил мне, что вновь помирился с женой), Позняков (пел непристойные куплеты про гейш), Баранцевич (явился после долгих уговоров с моей стороны), Сухонин, Мазуркевич, С. Филиппов, Коринфский (пил умеренно; принес с собой памятную книгу своей жены и просил всех расписаться в ней) и Владимир Тихонов. Пил много и вперемешку, танцевал, отбивая ногами чечетку, и продиктовал мне следующее стихотворение, написанное им много лет назад и обращенное к его брату Луговому:

Ты начал с «Вестника Европы»,
А я — с «Шута».
Писал ты, не жалея жопы,
А я — шутя.
Ведро чернил, бумаги стопы
Мы извели потом.
Я кончил — вестником Европы,
А ты — шутом!

О чем еще говорили? О лучшем петербургском ресторане, о нации, у которой самая вкусная еда (на первом месте здесь оказались русские, на последнем — немцы), и прочих «интересных» материях.

В заключение я попросил освободить меня — после четырех с половиной лет — от должности устроителя Обедов с тем, чтобы я мог передать бразды правления кому-то другому. Но об этом никто и слышать не хотел. Все говорили: «Мы без тебя как стадо без пастуха! Только ты, немец, способен объединить нас, русских!» и т.п. Я не ответил согласием. — —

<...>

Зашел к Венгерову. Когда я сказал ему, что Гриневская указала мне датой своего рождения 1864-й год, он рассмеялся: «Я познакомился с ней в 1878 году, и она уже была замужем».

3 мая 1905

Вчера, возвращаясь с экзамена, зашел в «Капернаум», чтобы выпить кружку пива; появился Куприн, молча подошел ко мне, перекрестился и поцеловал орден св. Владимира на моей груди. Он был совершенно трезв. Мы поехали ко мне. В моем кабинете есть разные иностранные безделушки практического назначения. Он взял фигурку свиньи, широко разевающей пасть (пепельница), и скалящего зубы крокодила со щетиной на спине (для втыкания перьев), поставил крокодила на свинью и сказал, указывая на последнюю: «Русская литература»; а потом, указывая на крокодила: «Русская цензура». Он был мне весьма благодарен, когда я снял с полки его книгу и обратил его внимание на отдельные подчеркнутые мною места, как, например: «*поднял вверх*», «*опустил вниз*». Он раньше не замечал, что это плеоназмы.

Когда я заговорил о его таланте, он спокойно сказал: «Да, я знаю, что я талантлив»; а когда я сказал, что он еще создаст нечто великое*, он поднялся, крепко пожал мне руку и сказал: «Спасибо, что ты веришь в меня!»

На днях появится его повесть «*Поединок*». Он ожидает крупных неприятностей за «оскорбление» офицерского сословия. Рукопись была искусно преподнесена цензору в тот момент, когда он мог лишь бегло ее просмотреть, а потому пропустил без изъятий. <...>

О Каменском как писателе Куприн отозвался таким образом: «У него *ухватка волчья, укус овечий*».

Я показывал ему разные письма А. Чехова, и, читая, он не раз восклицал: «Милый!.. Хороший!..»

* В чем нисколько не сомневаюсь.

5 мая 1905

Сегодня мы переехали в Райволу (Финляндия), где проведем все лето. <...>

19 мая/1 июня 1905[355]

Был вчера по делам в Петербурге. В «Капернауме» встретил Куприна: живет сейчас на даче (в Сиверской). Сообщил, что хотел было вместе с другими бойкотировать «Капернаум» и перебраться в ресторан Федорова, но план не удался: «Здесь я должен буфетчику, официантам и портье, а там все стали занимать у меня». Я спросил, правда ли, что его антиармейская повесть «Поединок» уже вызвала ожидаемый скандал. «Пока еще нет. Книга[356] расходится вообще куда хуже, чем я надеялся. Тома четвертый и пятый разошлись тиражом от ста до ста пятидесяти тысяч экземпляров, а шестого продано до сих пор всего лишь двадцать пять тысяч».

Чехов рассказывал Куприну следующее. У него (Чехова) есть письмо от старика Суворина, где сказано, что Чехов прав, но дело, начатое «Новым Временем», должно быть доведено до конца. Это относится к процессу Дрейфуса. Суворин пришел к убеждению, что Дрейфус невиновен, однако обвинение в его адрес — согласно тенденции «Нового Времени», разжигающего вражду к евреям, — следовало поддерживать и далее.

28 мая/10 июня 1905

Сегодня поехал в Куоккала. Я спросил начальника станции, где живет Горький, и тот лукаво ответил: «Вон стоит жандарм, он наверняка знает». И тот действительно знал: на вилле Ф. Эрстрема «Линтула». Примерно шесть минут ходьбы от станции прямо. Роскошный дом в роскошном саду. Я застал общество за игрой в крокет. Горький сидел; когда я подошел, он поднялся. Мне показалось, он не сразу узнал меня (солнце светило ему в лицо), и я сказал: «Фидлер». «А, Федор Федорович», — ответил он и тут же повел меня на большую полукруглую веранду, откуда открывался великолепный вид на море. По дороге к дому он закашлялся и сплюнул, отхаркиваясь, на песок. Он был обут в высокие сапоги с заправленными в них черными штанами, на теле — темная куртка, похожая на австрийскую (из рукавов выглядывала белая ночная сорочка), на голове — низкая, круглая, черная и мягкая шапочка из сукна. Под ногтями — исключительная чистота. Он выглядел бледноватым, с чуть выдающимися скулами, но вовсе не больным. Я спросил, как он себя чувствует. «*Да, ничего*». Рассказывал о своем пребывании в крепости. Действительно: начальство отказалось передать ему коврик и теплые высокие носки. В крепости же ужасно холодно,

потому что заключенные размещены на втором этаже, а нижний остается пустым и совершенно не отапливается; было бы целесообразней, если бы один заключенный находился внизу, а другой наверху: тепло распространялось бы равномерней. Он не испытывал по отношению к себе особой несправедливости, то есть с ним обращались ничуть не хуже, чем с другими узниками. «Но и не лучше?» — заметил я. «Нет. Да и зачем?» — «Но ведь Вы были больны». — «Другие, наверное, тоже». — «Но должны же они понимать, что Вы принадлежите не только самому себе, не только России, но и всему миру!..» Он все время расхаживал взад-вперед, однако при этих моих словах остановился и задумчиво посмотрел на меня, как будто такая мысль была для него совершенно новой. Потом хмыкнул полусогласно-полускептически и вновь зашагал из угла в угол. Я упомянул, что у меня есть картинка из итальянского иллюстрированного журнала; на ней изображено, как он идет по крепостному двору в сопровождении двух стражников. На это он сказал: «*Выдумка*! Меня привезли в фургоне и увезли в фургоне. Но вокруг меня нагромождено столько лжи...»

Он хотел бы съездить в Берлин на премьеру своих «Детей солнца» (перевод сделал Шольц, плохо знающий русский язык).

Никаких нелегальных стихов он не сочинял.

«Солнце всходит» в пьесе «На дне» написано им; музыка — сибирского происхождения.

Сказал, что недалеко от меня живет Леонид Андреев, которого он высоко ценит как писателя. В Куоккала должны еще приехать Скиталец, Бунин, Чириков и Елпатьевский («*хороший мужик* — я его очень люблю»). «Вот будет славно, если мы все съездим в Торнио[357] посмотреть на незаходящее солнце». — «А зачем московские писатели хотят переселиться сюда?» — спросил я. «Мы хотим быть ближе друг к другу».

Вчера у него были Куприн и Рукавишников («у него очень хорошие стихи»). Куприн, по его мнению, чрезвычайно талантлив; что же касается его эксцессов, то этого якобы требует время от времени его природа: он еще не перебесился.

Беседуя со мной, он вертел в руках мою трость, купленную в Лейпциге, — она ему очень понравилась, или же крутил пальцами кончики своих коротких усов, закручивая их то вверх, то вниз — к уголкам рта.

Он много курит. В совсем простом кожаном портсигаре он держит папиросы, которые курит с 1899 года (другие сорта не переносит); вот уже шесть лет как нижегородцы поставляют их ему — одну тысячу за четыре рубля, «значительно дешевле себестоимости».

Мы вышли в сад, где общество все еще играло в крокет. Он представил меня своей «жене», Марии Федоровне Андреевой. Глядя на играющих, давал различные советы. Затем сам принял участие в игре. При этом говорил, что любит

собирать грибы — ведь при этом в лесу можно увидеть немало прекрасного. С нетерпением ждал газет. Как только их принесли, все отправились на веранду пить чай. На столе были конфеты, бисквит и фрукты; на стене висел гонг.

Горький пил чай вприкуску. Кусочек сахара он беспечно бросил на скатерть (может статься, служанка опять положит его в сахарницу, а кто-то другой возьмет его и заразится). Потом раскрыл две газеты («Русь» и «Наша Жизнь») и начал читать вслух короткие сообщения о политических беспорядках в стране. Дойдя до описания какого-то бурного митинга, он изменил голос и сделал вид, будто сплюнул на руку и ударил ею по столу.

Сославшись на то, что он осведомлен о положении в России лучше, чем наш брат, я спросил его, какая газета заслуживает, на его взгляд, наибольшего доверия. «Чем радикальнее — тем надежнее».

Кто-то процитировал: «Там хорошо, где нас нет». Я спросил, знают ли присутствующие, кто автор этого выражения. «Наверно, Гейне», — сказала Мария Федоровна. Я объяснил, что это слова из «Странника» Шуберта, а Горький тут же добавил «Их автор — Мюллер, написавший “Песнь странника” и “Песни мельника”». Его «жена» упомянула про вдовствующую императрицу, и Горький тут же вспылил: «Повалить бы ее на землю и дать бы ногой в живот!» Когда Мария Федоровна с улыбкой сказала, что Горький вообще-то обращается с женщинами весьма деликатно, он напустился на нее: «Да какая она женщина! *Сволочь, стерва*!»

Когда он улыбается, лицо его приобретает болезненное, устало-добродушное выражение. Говорит с сильным нажимом на «о» в первых слогах.

Он вышел в сад, но тут же вернулся, держа в руках шляпу какого-то господина, упавшую на землю, и сказал ему: «Вот Ваша шляпа, она без Вас пошла погулять».

Я спросил его, сколько он платит за дачу, и он ответил: «Много. Но сколько, это знает Мария Федоровна».

Мария Федоровна сообщила: «Тысяча двести рублей — в доме десять комнат».

Она стройна, красива, выглядит очень моложавой и привлекательной. Ее слова и поведение весьма энергичны. Сказала, что Московский художественный театр показал в нынешнем сезоне петербуржцам совершенно несвоевременные вещи, например, Чехова: его праздные и ноющие герои могут лишь ослабить жажду действий, характерную для духа сегодняшнего времени. Своего «мужа» зовет Алешей. Неприятное впечатление производит ее (Марии Федоровны) старший сын, который ведет себя весьма нахально. Да и в других детях есть что-то высокомерно-самоуверенное. Второй мальчик[358] разгуливал босиком. — — —

<...>

10/23 июня 1905

Горький сказал мне, что Леонид Андреев очень простой и приятный человек и для знакомства с ним не требуется особых церемоний; и вот сегодня я отправился к нему в Ваммельсуу (Черная Речка). Это в восьми верстах от станции Райвола[359], — там, где речка впадает в море. Дом Андреева (фамилия хозяина — Лыжин) стоит прямо у въезда в деревню справа (от нас), на открытом месте, так что вид открывается далеко во все стороны (но моря не видно). Андреев встретил меня очень приветливо. На нем были белая чесучовая рубаха с поясом и черные штаны, заправленные в высокие сапоги. Он повел меня на застекленную веранду. Неубранный стол с остатками утреннего чая (я приехал в полдень). Я сказал, что здесь совсем нет тени, и он ответил: «Для меня главное — открытый вид. Я люблю небо и могу отсюда смотреть на облака — как они появляются и исчезают. Недавно здесь была буря, и я с удовольствием наблюдал ее от начала и до конца». Он взял мой альбом с автографами и стал читать; дойдя до имен Францоза, Шпильгагена и Штинде, сказал, что очень их любит. На мой вопрос, знает ли он немецкий язык, воскликнул: «Это мое несчастье! Из всех языков знаю только русский!» При виде письма Раковицы он воскликнул: «А, Лассаль!» Читая автограф Юшкевича, с досадой покачал головой, рассерженно произнес: «Ах!» и потом сказал: «У него тоже есть литературный музей. Однажды он забыл у меня свою ручку и тотчас в ужасе написал мне, чтобы я сохранил ее, потому что этой ручкой написан один из его рассказов (не могу вспомнить, какой)». Потом он (Андреев) спросил меня: «Вам стоило, наверное, невероятного труда составить столь ценный альбом автографов?!» «Да», — сказал я и добавил, что почти всякий раз, когда мне в альбом пишут русские писатели, я должен заботиться о том, чтобы они не забыли указать дату и место записи. На это он (Андреев) сказал: «Хорошо, что Вы об этом напомнили: я бы этого тоже на сделал».

Стихов он никогда не писал. И никогда не диктует свои произведения.

Он показал мне через стереоскоп несколько своих портретов (любительская работа), где он снят в самых разных ситуациях; при этом он то и дело давал пояснения: «Вот это — тогда я писал "В тумане"... А здесь — "Фивейского"[360]» и т.д. Когда я сказал, что на одной из фотографий он похож на А.М. Федорова, он ответил, натянуто улыбнувшись: «Это для меня не слишком приятно — я его не люблю».

Взяв альбом, он удалился в свою комнату. Я остался один на веранде и стал разглядывать разбросанные игрушки его двухлетнего сына: тетрадь для рисования, саблю и сломанное ружье. Когда он вернулся, я сказал улыбаясь: «Вы пишете против войны, а в сыне воспитываете воинственные инстинкты!» На это он ответил: «Во-первых, это влияние моих детских лет, когда я запоем читал

Майн-Рида, а во-вторых, я выступаю лишь против войны с людьми, но не со зверьми, к которым отношу полицейских начальников, генерал-губернаторов, великих князей и т.д.» С недавним приемом депутации народных представителей у императора он не связывает особых надежд: они только льстили ему и внушали, будто вся Россия ему доверяет и солидарна с ним[361]. Тем самым он еще более укрепился в своем самообожествлении, а идея народного собрания будет постепенно предана забвению. Или же он поставит в Земском соборе свои креатуры, так что в конце концов получится еще хуже.

Мы заговорили о «Красном смехе», и он сказал: «Мне ставят в упрек, что я изобразил ужасы войны, не побывав на поле военных действий и не видя их собственными глазами. Но так, ведь, вообще нельзя написать ни одного исторического романа!» Я добавил: «И ни одной исторической драмы, как, например, “Юлий Цезарь” (Шекспира) или “Борис Годунов” (Пушкина)». Я напомнил также, что и Шиллер написал «Вильгельма Телля», ни разу не побывав в Швейцарии. Андреев слушал меня с явным удовлетворением.

Потом он сообщил, что собирается написать рассказ «К оружию, граждане!», в котором будет призыв к войне, а именно к войне народа с тиранией правительства. Эту вещь он намерен опубликовать за границей. Но сейчас он не может приняться за столь тяжкую работу, поскольку его нервы еще не совсем в порядке: он сам очень страдал, когда писал «Красный смех».

Он сказал: «Я ни за что не хотел бы жить в шумной Куоккале. Алексей (т.е. Горький. — *Ф.*) любит, чтобы его постоянно окружали люди. А я — нет. Я люблю только тех, которые мне нравятся».

До июля он ничего не собирается писать. Но день у него и так проходит незаметно: он фотографирует, ездит на велосипеде, катается на лодке, стреляет из монтекристо (купил в Выборге) и сооружает воздушного змея для своего сына; ему часто приходится ездить в Куоккала, чтобы позировать Репину, однако портрет не нравится им обоим.

На многих открытках он выглядит эффектнее, красивее. Он моего роста, крупный, с густыми волосами, по-цыгански смуглый; между бровями, прямо под носом, — резко обозначенная горизонтальная черта, словно кто-то прорезал ее ножом. Руки его оказались немытыми — под ногтями, по крайней мере, была видна грязь.

За дом он платит 350 руб. Меблировка включает в себя пианино, на котором, однако, никто не играет.

Вокруг дома — обширная лужайка с клумбами, где не растет ни одного цветка. За домом — несколько грядок, на них растет дикая земляника: он не выпалывает сорняки. «Вы и редиской не интересуетесь?» — спросил я с укоризненной улыбкой. «Нет, зато Алексей (т.е. Горький) весьма интересуется».

С нами сидела его жена: очень юное существо, не слишком красивая, но с привлекательным лицом, худенькая, простая и очень приветливая. Они женаты всего лишь четыре года.

Он (Андреев) зовет Горького не иначе как «Алексей», а она — «Максимыч». Она привела и своего сына, который, едва она сделала ему замечание, замахнулся на нее рукой.

Оба просили меня остаться, но меня ждал извозчик.

Они проводили меня до ворот и пообещали приехать — на велосипеде.

13/26 июня 1905

Вчера решил познакомиться со Степаном Гавриловичем Петровым (Скитальцем) и отправился для этого в Куоккала. Чтобы узнать его адрес, зашел сперва к Горькому. Застал все общество на крокетной площадке. Горький не знал адреса, потому что еще ни разу не был у него, но Мария Федоровна дала мне приблизительные указания. Горький взял мой альбом с автографами и стал читать вслух. На это ушло более часа. Прочел вслух запись Альбова, а его жена перевела. Дойдя до Брюсова, сказал: «Талантливое стихотворение» (так же отозвался недавно и Леонид Андреев). С презрительным смешком прочитал подпись: «Брешко-Брешковский. Хм!» Удовлетворенно прочитал всем (присутствовали еще три безымянных господина) стихотворение Величко. Скептическое «*Вот те на!*» по поводу возвеличивания Яблоновского в записи Гарина. О Бунине нежно: «Ваничка!» О Горбунове-Посадове: «Он иначе не умеет!» Прочитав запись Куприна, посмеялся шутливым рифмам к моему имени. О Лескове скептически-осуждающе: «Ннн-у!» О Минском: «Неприятный человек!» По поводу афоризма Нотовича сказал: «Это неправда!» (афоризм гласит: «Право на эгоизм надлежит обрести»). Прочитал вслух запись Владимира Соловьева, удивившись, что тот писал шутливые стихи. О Сологубе разочарованно: «Так, значит, его настоящее имя — Тетерников?!» О Чехове: «Вот истинный Чехов с его коротким, сухим, добродушным юмором!» (Аналогично отзывались в течение ряда лет все без исключения люди, читавшие эту запись; точно так же все без исключения тут же переворачивали страницу, чтобы прочитать еще раз слова Суворина, поскольку сперва они не видели в них абсолютно ничего примечательного.) Текст обоих автографов:

Суворин: «*Так как Ваш альбом только начинается, то я желаю от всей души, чтобы в нем было побольше людей, над именами и изречениями которых можно было задуматься.*

25 окт[ября 18]91 *А. Суворин*».

Чехов: «*Примечание к автографу А.С. Суворина: слово «изречение» пишется через е, а не через ять.*
[18]92 7/1 *Антон Чехов*».

Имена немецких писателей Горький прочитал, не сделав ни единого замечания.

Украинское стихотворение Мордовцева он стал читать вслух, не услышав, должно быть, моей реплики: «Не надо вслух!» Но никто из присутствующих, кажется, не обратил внимания на неприличное место.

Когда я из вежливости предложил Марии Федоровне что-нибудь написать в альбом, она отказалась: «Я не писательница, и Алексей считает, что это — мое единственное хорошее качество!» — «Да, — ответил Горький, — но черт ее знает: вот умру, а она станет писать обо мне воспоминания, *черт ее дери...*» (то есть Марию Федоровну). Все засмеялись. Был вообще в очень хорошем настроении. «Читаете ли Вы все воспоминания о себе?» — спросил я. «Нет, никогда. Я вообще не люблю читать, что обо мне пишут, — ни похвал, ни ругани». Какой-то господин, вынув газету, заметил: «Сегодня в “Биржевых Ведомостях” есть о Вас заметки какого-то француза»[362]. Горький тотчас схватил газету и пробежал глазами полосу. Мария Федоровна взяла у него газету из рук и сказала: «Француз лжет, утверждая, будто я это говорила. А кроме того, он пишет о твоих лазурных, как морская вода, глазах!» — «А ну-ка, дай посмотреть в твои лазурные глаза», — сказал старший сын Андреевой, опершись рукой на колено Горького и довольно грубо толкнув его в подбородок. Горький не стал протестовать, но своей могучей ручищей схватил младшего сына Андреевой за шею и сказал: «Сейчас я тебя придушу! Это внесет разнообразие в скуку жизни!»

Сказал в шутку: «Каждый порядочный человек в России должен быть государственным преступником!»

Кто-то заметил, что крушение трона теперь уже не остановить, и Горький сказал: «*Трон тронулся*». Он придумывал и другие каламбуры, — какие, я сейчас уже не припомню.

Я сказал, что утверждение Куприна (см. его воспоминания в третьем сборнике «Знания»[363]), будто у Чехова были «умные» уши, — неверно; умными можно назвать, например, руки, говорящие немым, но довольно красноречивым языком. А уши — единственный неподвижный и, следовательно, ничего не выражающий орган человеческого тела. На это Горький сказал полуиронично-полуубежденно: «Ну, значит, надо найти какое-то новое выражение!» Тут между ним и мною завязался такой разговор:

Я: «Пожалуйста, кивните головой!» — Он (изумленно): «Зачем?» — «Сейчас увидите». Он кивнул. «А теперь покачайте головой». Он, помедлив, выполнил мою просьбу. «Кивок означает ведь у всех людей утверждение?» — «Да». — «А

покачивание головой означает несогласие». — «Да». — «Почему же у Вас сказано о Двоеточии: "Кивает, не соглашаясь"?» — «Где это написано». — Я показал ему «Дачников» (с. 126). Он целых две минуты смотрел на указанное мною место, а затем произнес: «Н-да». И после короткой паузы: «Наверное, все-таки можно кивнуть, не соглашаясь».

В последние дни он не покидал дачного участка. «У меня сейчас небольшая *работишка*».

Зимой Мария Федоровна будет играть в Художественном театре, а он будет ставить там своих «Детей солнца». Ему запрещено лишь длительное пребывание в Петербурге и окрестностях.

На нем была белая кепка с кантом и козырьком. — —

Потом я отправился к Скитальцу (Колокольная ул., дом Юргенсона).

Дача, за которую он платит 400 руб., стоит на небольшом возвышении и со всех сторон окружена соснами. Он как раз сидел на балконе (было два часа дня) и пил пиво. Поболтав с ним десять минут, я почувствовал себя как дома. На столе появилось еще несколько бутылок пива, затем началось изучение альбома. Вот его замечания. О Безродной: «Ну и лапища у нее! Не хотел бы быть ее мужем!» О Бунине: «Где же он теперь? Наверное, в имении своего отца — верный знак, что у него нет денег. Получив хоть что-то, он немедленно тратит это в Москве или каком-нибудь другом большом городе». О Фофанове: «Талантливый поэт!» О Коринфском: «Какая у него всегда вычурная и деланная речь!» Дойдя до Вербицкой, он сдержанно хмыкнул, а на мой вопрос, популярна ли она в кругах московских писателей, ответил отрицательно. О Златовратском: «Славный старик! Но он заблуждается, полагая, что мы, молодые писатели, его сторонимся. Он сам сторонится нас. Мы в полной мере признаем то хорошее, что он сделал в свое время для литературы. Он же считает, что все его незаслуженно забыли». — «А как он (Златовратский) живет?» — «Весьма одиноко, в маленькой убогой квартирке». — «Но говорят, он богат». — «Нет, у него лишь маленький участок земли». — «Но зато Гарин — богатый человек?» — «Да; то есть так: он очень много зарабатывает, но все уходит на его обеих жен[364]».

Рядом со мной стоял младший брат Скитальца (ему самому 35 лет) — симпатичный парень, держится естественно; он тоже пописывает. Тут из комнат вторично послышался зычный мужской голос: *«Обедать!»* — «Идите же, отец зовет Вас», — сказал я. — «Отец? Да нет, это мой брат. Семнадцать лет, а поднимает восемь пудов **одной рукой**. Евгений (sic! — *К.А.*), ну-ка, поди сюда!» Из дома вышел молодой деревенский парень — босоногий.

Мне пришлось войти в столовую, где на стене висел большой портрет старого кайзера Вильгельма (собственность хозяина). За столом сидела старая мать Скитальца, его приветливая теща и молодая жена (они поженились три года назад) — в такой тип женщин я раньше всегда готов был влюбляться; за столом

она не произнесла ни слова, лишь изредка поднимала загадочные мечтательные глаза.

Пока он ел суп (*окрошка*), он выпил три рюмки водки, а когда перешли к жаркому из телятины, — еще одну. Потом пили пиво. Потом много шутили. Рассказывал, что написал в двенадцатилетнем возрасте роман из английской жизни, причем наибольшей трудностью для него были имена собственные; но когда он (Скиталец) выписал их из какого-то справочника, «все пошло как по маслу: местный колорит был найден!» Роман назывался «Необитаемый остров»... Через год он написал еще один роман: «Ужасная доля, или Груда драгоценных камней». Рассказывая об этом романе, он произносил во множественном числе то «*камни*», то «*каменья*».

Он не знал, кто такой Гейне из Тамбова (то есть Вейнберг), и не имел представления о его знаменитом «*Он был титулярный советник...*»

Он говорит не совсем бегло, как будто с трудом выговаривая некоторые буквы.

Одет: куртка, черные штаны, заправленные в сапоги с отворотами, и мятая круглая фетровая шляпа черного цвета — обыкновенная.

Я сказал, что на открытках у него другая шляпа — с более широкими полями. «Да, раньше у меня была именно такая, и это — целая история! Я заплатил за нее восемь рублей: отдал мои последние деньги и остался без копейки. Тогда Горький стал упрекать меня за расточительство, так что мы три недели не разговаривали... Как будто он сам не швыряет деньги на ветер!»

Он не может подолгу жить в одном месте, поэтому ему постоянно приходится переезжать, «отчего особенно страдает моя бедная жена».

Кроме русского, Скиталец не владеет ни одним языком. Он переводит стихотворение Беранже, пользуясь подстрочником, который сделал для него какой-то знакомый.

Рассказывал, что Горький избегает бурных оваций, — они не приносят ему ни малейшего удовлетворения, а только раздражают.

За обедом я обронил фразу относительно славы Горького, и старуха-мать коварно заметила: «Слава или популярность? Это две разные вещи! Стать популярным нетрудно, для этого так много возможностей!»

В этот момент зашел почтальон и сообщил, что Скиталец может получить на почте только что поступившие деньги; но требуется паспорт для удостоверения личности. Однако паспорт его потерян. Оказалось, что у него есть и заграничный паспорт, который он не смог найти.

«Как же я теперь уеду?» — воскликнул он. — «Куда?» — «На театр военных действий». — «Зачем?» — «Чтобы вести наблюдения на месте событий. Нельзя же писать “Красный смех”, сидя за печью возле жены!»

Однако теща сообщила мне позднее, что Скиталец будет находиться за пятьсот верст от театра военных действий. Он отправляется по вызову Гарина, устроившегося там по своей инженерной специальности; он-то и выслал ему денег на дорогу.

Двухлетний сынишка Скитальца, босой и без штанов, пытался вскарабкаться по высоким ступеням, ведущим на балкон. Отец взял его правой рукой за ногу, высоко поднял и какое-то мгновение держал головой вниз, как поросенка. Ребенок ликовал.

Тут пришли и стали звать к Горьким. Почти все отправились к ним, я же поспешил на вокзал, опасаясь, что забуду многое из того, что должен был здесь записать.

Московские фотографы придают позирующим писателям героические позы и весьма произвольно ретушируют лица. В облике Скитальца нет ничего театрального: он выглядит как самый обыкновенный, простой человек. В нем даже много наивности.

21 июня/4 июля 1905

Вчера был в городе и зашел к Баранцевичу. <...> Мы отправились в ресторан Соловьева на Николаевской улице. Он заказал рыбу и рюмку водки. Сказал, что не представляет себе, как он выполнит просьбу Измайлова — написать для «Биржевых Ведомостей» воспоминания о Чехове. Его пребывание в гостях у Чехова в Сумах, прошло, дескать, совершенно неинтересно: оба гуляли, ловили и ели раков и вели растительный образ жизни; о литературе не говорили, и Чехов не излагал ему своих литературных или политических воззрений.

Вдруг Баранцевич вспомнил, что несколько дней назад его дочь встретила Альбова, и отправился к нему (тот живет в двух шагах от ресторана). Через полчаса они явились вдвоем. Сперва пошли на мою городскую квартиру, где они выпили бутылку белого вина, затем поехали ко мне за город, где, осушив несколько рюмок водки, выпили четыре бутылки белого вина (я пил только пиво). Мы сидели в саду до половины третьего ночи и пели песни (чего не случалось уже много лет) — из нашего старого репертуара: «*Тихие долины*», «*Негде в маленьком леску*», «*Среди долины ровныя*», «*Не осенний мелкий дождичек*» и т.д. Было очень уютно. Потом пошли спать. <...>

Горький, по словам Альбова, бесспорно талантлив, однако его направленность имеет ложный и вредный характер: ведь именно интеллигенция вызвала современный кризис, а теперь ее теснят хулиганы. Чехов, сказал Альбов, еще талантливей, однако он не понял духа современной ему русской жизни: когда он писал свои вещи, провинция уже не бездействовала и не *ныла*, а готовила нынешнее движение. Баранцевич с ним согласился.

Он (Альбов) все еще получает пособие от Императорского фонда.

3/16 июля 1905

Вчера была первая годовщина смерти Чехова. Думая, что у Горького состоится по этому случаю какое-либо поминальное действо, я отправился в Куоккала.

Я застал общество на веранде за обеденным столом (в половину шестого). Три незнакомых господина (один из них оказался впоследствии переводчиком Августом Шольцом). Затем появился еще один: толстый, семитского типа. Сзади, на балконе, ожидали аудиенции еще двое. На скамейке у балкона сидел седобородый старик, держа в руке страннический посох... И так проходит здесь каждый день (сказали мне служанки) — с утра до вечера.

В общем, мне не удалось сказать Горькому и десяти слов (его постоянно отзывали в сторону). И — ни малейшего намека на чеховские поминки! Я первый заговорил об этом, показав уникальные вещи: две фотографии дома, в котором умер Чехов, а также стол в зале гостиницы «Зоммер», за которым он обедал. Короткий взгляд, брошенный на фотографии, сдержанное «Хм» (без восклицательного знака); несколько большее одобрение было высказано в отношении сделанного мною перевода стихотворения Скитальца «Памяти Чехова», появившегося вчера в «Herold». На этом дело и кончилось — все опять перешли на социал-демократические темы. Должен заметить, что несколько дней назад я письменно известил Куприна и Леонида Андреева, что в день смерти Чехова буду показывать у Горького разные интересные вещи. Не знаю, почему не приехал Андреев. Куприн же, как мне сказали, на Кавказе. «Что он там делает?» — спросил я. «Революцию», — улыбнувшись, ответил Горький.

Задним числом хочу записать некоторые из высказываний Горького:

На веранде у него висят четыре клетки, в них — около десятка птиц. Я спросил, как они называются, и он сообщил их названия, добавив: «Будь я богат, я приобрел бы огромную клетку с множеством разных птиц и проводил бы перед нею ежедневно часа по три».

Кто-то рассказывал про знакомого режиссера, получающего в месяц шесть тысяч рублей. «Черт побери! — воскликнул Горький. — Да я за такую сумму согласен в течение целого месяца публично танцевать на Невском кек-уок...» Недолго подумав, добавил: «Нет, только два раза в месяц».

Совершенно искренне, без какой бы то ни было жеманности, прозвучали его (Горького) слова: «Я не люблю моих “Дачников”. Это — самая слабая из моих пьес; она наименее отделана, тогда как форма чрезвычайно важна. Как мастерски владеет формой Зудерманн в пьесе “Да здравствует жизнь!”, а ведь в ней — почти нет действия!»

Естественно прозвучали также его слова: «Своей известностью я обязан прежде всего Департаменту полиции, который создал мне такую рекламу!» Или:

«Я не жалуюсь на цензуру: она всегда обходилась со мной милостиво. Лишь рассказ “Ошибка” *обкарнала* довольно сильно».

Сказал о евреях, что они приносят России величайшую пользу и нужны ей, как никакой другой стране: ведь они стоят во главе революционного движения.

Роль, которую играет в революции интеллигенция, можно сравнить, по его словам, с ролью на сцене; для интеллигенции это — спорт. С народом у нее мало общего, в сущности ничего. Она лишь сочувствует ему. Но такое отношение является снисходительным, оно исключает *равенство*. Спасения следует ждать от самого народа.

Его снова позвали в комнату и, поскольку наша аудиенция грозила слишком затянуться, я повел Августа Шольца к Скитальцу, с которым Шольц хотел познакомиться. Была половина девятого. Он (Скиталец) еще спал; теща пошла его будить; прошло полчаса, прежде чем он появился. Шольц не мог ждать так долго: он спешил на поезд, а потому ушел ни с чем. Наконец вышел Скиталец. Он сослался на то, что всю прошлую ночь страдал от бессонницы. При этом теща саркастически усмехнулась, а я подумал вместе с Геслером: «За этим кроется нечто другое!»[365] (по-видимому, он спал, чтобы протрезвиться)... Пока он мылся и одевался наверху (и то, и другое было слышно), теща рассказала мне, что в день Петра и Павла они все — то есть Скиталец, Горький и Л. Андреев — ездили в Озерки к Елпатьевскому, на именины его зятя[366]. Общество развлекалось игрой в городки; всего непринужденнее вел себя Горький, так что даже поцарапал себе левую щеку... Кстати, о Горьком! У Скитальца в гостиной висит среди прочих портретов фотография Горького, сделанная Грюном в Риге (Зандштрассе). Это самый похожий портрет Горького из тех, что я знаю.

Он вызвался меня проводить, ибо я торопился, но он сказал, что у нас еще достаточно времени. Я ответил, что мне за ним не угнаться, ведь он — «скиталец» и передвигается семимильными шагами, на что он возразил: «Да, но не пешком, а поездом».

Я показал ему вчерашний номер «Herold». Он с трудом разобрал по буквам собственную фамилию и сказал, что совсем разучился читать по-немецки. Само стихотворение он находит «деланным», и оно ему мало нравится.

О Чехове — ни слова!

Провожая меня, он сказал: «Вот многие утверждают, что я подражаю Горькому. Это неправда. Только в стихах я нахожусь отчасти под его влиянием. А рассказы я писал еще до того, как встретился с Горьким, то есть в ту пору, когда еще не читал ни одной его вещи. И лишь позже я познакомился с ним — писателем и человеком».

Потом рассказал следующее:

Владельцами «Знания» являются К.П. Пятницкий и Горький. Они не получают от этого никакой прибыли — все достается писателям, которых они печатают. Самая низкая плата за печатный лист в их «Сборниках» — 300 руб.; такой

гонорар получил Куприн за «Поединок». Сам Горький получает 500 руб. Единственным исключением был Л. Андреев — за свой «Красный смех» он получил 800 руб. (за лист).

Я сказал, что Горький, вероятно, очень богат (таково всеобщее мнение), но Скиталец ответил (то же говорили мне и другие посвященные), что у него почти ничего нет, ибо он все проживает и оказывает немалую помощь нуждающимся (внес, например, плату за обучение нескольких студентов).

Когда мы вернулись к Горькому (я оставил там несколько чеховских фотографий), Скиталец тут же выпил стакан красного вина и удалился с обещанием прийти еще раз. Мы сидели в столовой. На ужин подали холодную свинину, ростбиф и редиску — все в огромном количестве. Я выпил лишь рюмку водки; Горький — ни капли алкоголя (как и за обедом), только чай. За столом сидело еще два человека, один из них — слепой. Разговоры на общественные и политические темы. Я стал торопиться на поезд. Горький так сильно пожал мне руку, что я почувствовал боль.

Всем новоприбывшим Горький, представляя Андрееву (ее фамилия по мужу — Желябовская (sic! — *К.А.*)), говорил: «Моя жена». Разведена ли она формально со своим мужем, — этого мне Скиталец не мог сообщить.

Ни Горький, ни Скиталец, ни Андреев не взяли с собой за город ни своих произведений, ни своего портрета.

22 июля/4 августа 1905

Поехал сегодня к Горькому, полагая, что у его «жены» — именины. Так оно и было. Общество (родственники Марии Федоровны и незнакомые люди) сидели за столом; подавали шоколад, сладости и разные вина.

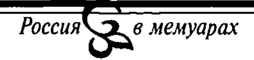
Горький выглядит бледным и измученным. Говорил мало. Рисовал на газете какие-то завитки. Потом заполнил мой автобиографический вопросный лист.

Затем общество рассеялось.

Был Скиталец, который, едва появившись, попросил вина. Кроме того — Елпатьевский. Когда я спросил его, писал ли он когда-нибудь стихи, он перекрестился со словами: «Слава Богу, никогда!» Впрочем, еще гимназистом он написал нерифмованным ямбом стихотворение на заданную тему («Снежная буря»), но оно осталось не опубликованным.

К обеду стали накрывать бесконечно длинный стол, но я поехал домой.

Гости вели себя как в гостинице; после табльдота один встает и уходит, потом другой — в другую сторону; один делает одно, другой — другое... Еда и питье никому не предлагаются; никого не приглашают остаться или приехать еще раз... Непонятно, как Горький при этом великом переселении народов находит время для того, чтобы читать все ежедневно поступающие рукописи.



19 августа 1905

С 16 августа мы опять в городе.

Вчера пришел Альбов. <...> Он (Альбов) не хочет читать «Поединок» Куприна; утверждает, что вся история «выдумана». Горький, по его словам, также не изобразил ни одного живого человека... Он произнес это с особым выражением, в котором явственно звучала завистливая нота. — — —

Встретил сегодня Кугеля (Homo Novus). Летом он был в Германии. «Я езжу туда уже третий год и больше никуда не хочу, потому что очень люблю немецкий порядок и немецкий народ». <...>

21 августа 1905

Вчера — открытие сезона в Малом театре.

Разговаривал: с Зоей Бухаровой (имение продано: в сентябре они переселяются сюда), Дымовым (произнес несколько фраз на чистом немецком), Измайловым (был летом в Киеве), познакомившим меня с Россовским (вот уже 27 лет, как пишет театральные рецензии), Юрием Беляевым.

Поздоровался: с Косоротовым, Фальковским и В. Протопоповым.

Зашел к Карпову в его режиссерскую. Он приветствовал меня долгим поцелуем. Он написал уже три акта новой драмы, когда в конце июня его вызвал в Петербург в связи с театральными делами старик Суворин; и он (Карпов) так здесь и остался и не смог вернуться к своей драме. Много лет тому назад, еще до того, как он стал режиссером, он начал писать роман под названием «*Рабочий человек*»; написал тридцать глав и остановился — из опасения, что цензура не пропустит. Теперь он хотел бы завершить этот роман, но не располагает временем. «Надо *бросать* всю режиссерскую работу и только писать. Денег у меня тогда будет меньше, но больше *покоя*».

22 августа 1905

Вчера в Малом театре зашел во время антракта к Карпову. Говорили об Альбове, которого он очень любит и высоко ставит как писателя (гораздо выше Баранцевича). «Я знал его, когда мне было еще девятнадцать лет. Мы собирались у Ясинского, настроенного в то время весьма радикально, на Троицкой улице[367]. Туда приходили Баранцевич, Осипович (Новодворский), Альбов, Арсений Введенский и другие». Карпов считает, что Мамин намного одареннее, чем Горький и Л. Андреев, которые, впрочем, тоже очень талантливы, но недостаточно образованны. — — <...>



23 августа 1905

Встретил Флексера-Волынского. Он был в Христиании[368], но не посетил Ибсена: «Из пиетета; мне показалось, что это неделикатно». «Русское Слово» предложило ему писать критические фельетоны. «Но ведь их уже пишет Мережковский!» — сказал я. «Ничего, мы уживемся друг с другом! Меня все ненавидят, а я — никого!» — —

Моя ученица Баторская (в Екатерининском институте) рассказала мне сегодня, что провела лето на Черной Речке. По ее словам, в конце июля или в начале нынешнего месяца финны забросали камнями Леонида Андреева, катавшегося вечером на лодке, — так что он несколько дней пролежал в постели. Оказалось, что это недоразумение: камни предназначались какому-то ненавистному рабочему. — —

Сегодня меня посетил Осип Исидорович Дымов (настоящая фамилия — Перельман). Он — немецкий еврей (его отец родом из Кенигсберга). Когда Дымова хотели забрать в солдаты, он стал русским подданным.

Рассказал, что нынешним летом в Беатенберге (на Тунском озере) он написал повесть; действие происходит там же. Сюжет от начала и до конца — чистый вымысел. Но когда он прочитал ее Минскому, выяснилось, что содержание в точности соответствует той горестной истории, что случилась в Беатенберге с его другом Гуревичем. Совпадает даже имя героя. Правда, у Дымова он назван лишь двумя первыми буквами «Гр.»; какая-то неведомая сила удержала Дымова от того, чтобы написать его имя полностью; таким образом, в его повести (она будет называться «*Счастливец*») герой фигурирует лишь под именем «Гр.». Минский полагает, что в повести надо кое-что изменить, — иначе все подумают, что он (Дымов) изобразил в ней Гуревича. Нечто похожее уже происходило: кто-то из рецензентов утверждал, что Дымов в одном из своих рассказов подражает Петеру Альтенбергу, — Дымов же уверяет, что даже понятия не имел о существовании Альтенберга.

По образованию он — лесничий (учился в здешнем Лесном институте).

Вышеназванный Гуревич не имеет ничего общего с нашими Гуревичами.

30 августа 1905

27 августа в Бехтеревской клинике умерла Лохвицкая — от сердечного заболевания, дифтерита и базедовой болезни.

Вчера в Александро-Невской лавре состоялись похороны. Присутствовали лишь немногие писатели, чему причиной был ряд обстоятельств. Объявление о смерти появилось лишь в «Новом Времени» — эту газету многие бойкотируют; жирным шрифтом выделены фамилия Жибер и имя, данное при креще-

нии, — Мария; в назначенный час (и до, и после) с непроглядно серого неба лил сильный дождь.

Оба старших ее сына (гимназисты) держались совсем безучастно. И только вдовец долго плакал над гробом, в котором лежала мертвая с искаженным лицом; он целовал ей лоб, губы и руки. Надежда Александровна Бучинская (Тэффи) была, подобно остальным сестрам, облачена в траур, что никоим образом не отражалось на ее лице.

Перед отпеванием появился Вейнберг — укутанный в плед! (только позавчера вернулся из-за границы). Сказал, что ему было бы неплохо присоединиться к тамошним монахам: мол, он всем для этого подходит — и возрастом, и бородой, и лысиной; тогда он ежедневно потчевал бы писателей обильными яствами, которые употребляют монахи во время поста. Когда я предложил отметить пятьдесят лет со дня смерти Гейне постановкой его «Ратклифа», он сказал: «У Вас получится "Ратклиф", начинающийся с буквы "с"!»

Мазуркевич рассказал, что за лето (проведенное им в Сестрорецке) он много написал и будет теперь работать режиссером в Приказчичьем клубе — вместе с Ратовым. Иван Иванович Соколов провел лето в Саблино; ничего не писал. Сологуб жил в Сиверской; кое-что написал. Будищев — ничего; жил на Фирвальдштетском озере (Веггис, гостиница Баумана), затем — два месяца в Саратове; восхищен Берлином. Позняков — массу разного; в Москве один из его хороших знакомых (не пожелал назвать имени) украл у него золотые часы, подаренные к юбилею.

Я спросил Льдова, этого таинственного незнакомца (он был в поношенном пальто), почему его нигде не видно, и он ответил: «Я никому не нужен, и мне никто не нужен». Я протянул ему мой автобиографический вопросный лист, но он отказался сообщить дату своего рождения: «Разве это важно для публики! У нас с ней нет ничего общего!» Пока пели *вечную память*, он стоял на коленях; лицо его подрагивало, по щекам катились слезы.

После погребения я отправился с Позняковым, И.И. Соколовым, Будищевым и Сологубом в «Капернаум». Двое первых рассказывали грязные непристойные анекдоты, а Позняков, лежа на диване, изобразил даже мимическую сексуальную сценку.

Потом мы вдвоем с Сологубом отправились ко мне домой, где выпили на брудершафт. — — — <...>

5 сентября 1905

Вчера в половине второго пришел Измайлов осмотреть мой «музей»; собирался уйти в четыре, но остался до девяти: столько нашлось для него интерес-

ного. Рассказывал: когда стало известно, что Чехов решил жениться на Книппер, все очень удивились. А когда кто-то из близких к его семье стал его поздравлять, Чехов сказал: «К чему это? Ты же знаешь, что мы уже семь лет живем друг с другом как муж и жена!» <...>

7 сентября 1905

Сегодня приходил Льдов и предлагал мне перевести на немецкий язык несколько его мелких прозаических очерков. Я отложил решение этого вопроса до Рождества.

Подтвердил, что родился 1 мая 1862 года. Сказал, что вечерами не бывает в обществе, поскольку должен заботиться о душевнобольном человеке, очень ему близком. Он пришел из редакции «Биржевых Ведомостей» (где ведает иллюстративной частью... Цензура не разрешила ему поместить портрет Тана) в половине седьмого, собираясь тут же уйти, однако задержался до начала десятого, отчасти потому, что заинтересовался моим «музеем», отчасти потому, что увлекся политическим разговором с моей женой — настолько, что он, который не употребляет ни капли алкоголя, производил подчас впечатление совершенно пьяного. В том, что касается нынешнего общественного движения, он — безнадежнейший пессимист. Россия, по его словам, — гигантский труп, кишащий червями, и это создает впечатление, будто в нем теплится жизнь; поэтому надо спокойно выждать, пока не закончится процесс гниения. Должен явиться другой, чужой народ, чтобы создать новую жизнь. Говорит, что русские — рабы от рождения и хорошо чувствуют себя в своем рабстве. Участники освободительного движения — лишь крохотные пузырьки в этом океанском потоке. И даже в основе переломных событий после 9 января лежит монархическая идея — ведь демонстранты (фабричные рабочие) видели свое спасение только в царе... Так можно ошибиться порой в щенке, видя в нем благородного, породистого зверя, в то время как это — самая обычная дворняжка; в этом убеждаешься лишь со временем, когда у щенка отрастают нос, уши и хвост; сколько ни подрезай — не поможет: дворняжка останется дворняжкой.

Он (Льдов) говорил интересно и нервно, так что моя больная жена реагировала на его слова, как здоровая. — —

Забыл отметить, что четвертого числа нынешнего месяца у меня был также Рафалович. В правом глазу — монокль без шнурка, на левой руке — золотой браслет. Десятого он уезжает в Париж, чтобы обручиться там (или в Швейцарии) со своей *троюродной* сестрой. Зашел на миг, остался же куда дольше, чем хотелось бы Альбову, скрывшемуся на время у моей жены: задержался, осматривая мой «музей».

11 сентября 1905

<...> Карпов начисто отрицает в Горьком какое-либо знание русской души. О Флексере сказал: «Он — *поносный критик*: то *несет его* Шопенгауэром, то Ницше. О Барятинском: «Кто он такой? Просто *блондин, всем своим существом*!» Считает Свирского очень неприятным, подозрительным человеком. Хвалил старика Суворина; говорит, что Суворин помог бесконечному множеству людей выбраться из нужды, причем совершенно не рассчитывая на благодарность. Рассказывал о похоронах Некрасова, где не обошлось без комических моментов. Достоевский сказал: «Некрасов хотя и стоял ниже Пушкина...» Его прервали из толпы (это были в основном студенты): «Выше!» — «Ниже!» — «Выше!» Пауза. Достоевский начал снова: «Некрасов, хотя и стоял ниже...» — «Выше!» Достоевский, иронически кланяясь вправо и влево: «**Ниже** Пушкина, однако...» и т.д. Кто-то порывался произнести речь у открытого гроба, но был так взволнован, что не мог найти слов и, наконец, в отчаянии швырнул в могилу свою шапку. <...>

1 октября 1905

Вчера — первый поэтический вечер. У меня. Он прошел необычно сухо, хотя во время ужина на столе было немало влаги. Перед ужином читали стихи — неохотно и вяло: этим летом мало кто писал стихи. Сологуб прочитал одно стихотворение и ушел до ужина; его уговаривали остаться — безуспешно. Авенариус рассказал мне, что в 1870 году, когда он женился, его жалованье составляло «всего» три тысячи рублей; правда, через несколько лет он получал уже шесть тысяч. Леонид Афанасьев воплощал собой скуку. Очень поздно явилась Кильштет с сообщением, что умер Модест Иванович Писарев. Мейснер тоже что-то читал. Коринфский, как всегда, — ничего. Платон Краснов (ушел до ужина) читал свои переводы, а потом — Сологуба («В кузнице»). Об Уманове-Каплуновском — сказать нечего. Лихачев предложил почтить вставанием память князя С.Н. Трубецкого, скончавшегося позапрошлой ночью, — все охотно встали, даже консервативная Кильштет. Князь Касаткин-Ростовский прочел басню, в которой крот увлекает орла в свою нору (!); при этом мундир его сверкал ненамеренно-вызывающе.

Настроение было прямо-таки подавленное. Многие объясняли это последними событиями — мрачными и тяжелыми. Кроме того, этому способствовали следующие обстоятельства: 1) моя больная жена сидела в кресле-качалке, вызывая всеобщее сочувствие, и 2) я открыл ужин небольшой траурной речью в связи со смертью Лохвицкой и предложил почтить вставанием ее па-

мять, как и память молодого Случевского (что, естественно, было сразу же сделано).

Зато после ужина воцарилась уютная и веселая — почти шаловливая — атмосфера. Черниговец (прочитавший свой перевод стихотворения Гейне «Куда теперь?») произнес за ужином импровизацию, указав на солонки в виде красных раков (я купил их в Берлине):

Сей солью, поданною раком,
Ты угодил и красным, и реакам.

Затем, после ужина, он стал имитировать дирижерскую манеру Рихарда Вагнера и Литольфа, а также изображать походку Глинки (всех троих он видел или знал лично). Пришел Позняков и сказал, обращаясь ко мне: «Я никого не боюсь, кроме Бога, потому что люблю его (крестясь. озираясь и тщетно пытаясь найти взглядом какую-нибудь икону) *анафемски*!» После ужина изображал французскую певицу-шансонетку (я подыграл ему мелодией из Оффенбаха), исполнил, сам себе дирижируя, серенаду Браги и, оседлав И.И. Соколова, въехал на нем из столовой в гостиную. Соколов продемонстрировал, что умеет (очень плохо) играть на пианино. Шуф пытался петь.

Когда Позняков уходил (кстати, он забыл свой портфель) и моя жена сказала ему: «Передайте привет Марии Романовне!», он тоскливо ответил: «Если б Вы могли передать привет другой женщине!» Улыбаясь, Люба сказала: «Ну так передайте привет и ей!» Он схватил ее руки и стал их с благодарностью целовать; глаза его были полны слез.

Я многократно пытался назначить день и место нашего следующего вечера, но никак не мог собрать всех вместе — гости разбрелись по разным комнатам.

3 октября 1905

Вчера — заседание Похоронной кассы. Лихачев сказал мне, что наши поэтические вечера обречены на умирание, потому что в них отсутствует жизненный нерв: вместо социально-политических стихов поэты читают рифмованные восхваления красот природы — подобно детям, декламирующим «*Птичка Божия не знает*». Нет, лозунгом должна стать борьба.

Боборыкин удержал меня за пуговицу сюртука и стал рассказывать о красотах Баден-Бадена. Потом взошел на трибуну и произнес речь, посвященную Лукину, председателю московской Кассы взаимопомощи. Череп совсем как у покойника, черные стекла очков напоминают глазные впадины. Всего интереснее в его речи были разнообразные движения рук, коими он сопровождал свои характеристики. Остальные жесты и голос — как у юноши.

После заседания я отправился с Баранцевичем, Коринфским, Зацимовским, Грековым и Бороздиным в Мариинскую гостиницу. <...>

6 октября 1905

Теперь, кое-что припомнив, я понимаю, почему в прошлую пятницу Сологуб был так недоволен и ушел от меня примерно через полчаса. Причина: Касаткин-Ростовский. Еще в день похорон Лохвицкой он сказал мне в «Капернауме», что общаться с Касаткиным-Ростовским — это позор и что всякий раз, повстречавшись с ним в каком-либо месте, он будет вынужден уйти.

Именно так он и поступил у меня. Когда он пришел, Касаткин-Ростовский уже присутствовал. Сологуб бегло поздоровался со всеми и прошел прямо в комнату моей жены, с которой и беседовал, приняв демонстративно-деловой вид. Его стали звать. Стоя в дверях, я сделал несколько комических движений, будто вызывая духа (он придумал себе псевдоним Сын Дьявола), и тогда он вышел — я буквально вытянул его наружу. Он что-то прочитал и ушел, ко всеобщему изумлению.

9 октября 1905

Сегодня я устроил первый в нынешнем сезоне Товарищеский обед в «Малоярославце». Потапенко принес мне в подарок чеховское письмо к нему. Сказал, что «Всемирная Иллюстрация» больше не выйдет; вместо нее появится другой журнал. Сообщил, что с большим удовольствием пишет теперь новую драму; сюжет подсказала его дочь Туся (моя ученица), и вот отец с обеими дочерьми пытаются дать этой теме драматическое воплощение — прямо-таки состязание. Барятинский рассказал, что его жена учит теперь роль Гедды Габлер одновременно на немецком и английском языках — готовится к выступлению в Америке. Новый театр будет открыт только до Великого поста, а потом они поедут через Японию (где состоятся спектакли) в Америку. Свою дальнейшую жизнь эта супружеская пара предполагает навсегда связать с заграницей. — Владимир Тихонов (не выпил ни капли спиртного) рассуждал о покорности немецкой женщины и о немецкой плохой еде. — Позняков спел похабный куплет про гейшу, что не встретило ни малейшего одобрения. Мазуркевич не заказал для себя ни крошки еды и ни капли питья, ссылаясь, **как всегда**, на отсутствие денег; позже обнаружилось (в момент, когда следовало дать на чай гардеробщику), что его кошелек набит монетами. Присутствовали также: Лихачев (неофит), Будищев, Бороздин и доктор Жихарев.

16 октября 1905

Встретил вчера А.М. Федорова. Мы хотели поиграть в бильярд, но не смогли: не было электрического освещения. Федоров страстно любит игру на бильярде и даже сочинил себе такую эпитафию:

Под сим крестом схоронен бард, —
Но дело то не в барде:
Любил он очень биллиард
И умер на бильярде.

Он побывал недавно на премьере горьковской пьесы «Дети солнца» в театре Комиссаржевской; называет эту вещь «бездарной *пошлостью*» и «*мерзостью*»; возмущен, что Горький поносит интеллигенцию.

Зашел к нему на минутку в «Пале Рояль» (комната 55).

На его письменном столе стоит портрет сына, которого он обожает; каждый раз, приезжая сюда, он берет этот портрет с собой: в бурке и с кавказской папахой на красивой голове.

Когда мы встретились, барашковый воротник его (Федорова) пальто был поднят (несмотря на пять градусов тепла): он кашляет и говорит (полушутливо), что у него чахотка, но он принципиально не пойдет к врачу. — —

Сегодня утром ко мне зашел Баранцевич. У него выходной: кондукторы конно-железной дороги бастуют. Я показал ему три моих альбома с портретами Шиллера. На одной из открыток он прочитал надпись «Zur Erinnerung an das Centenarjubiläum»[369] и спросил удивленно: «А при чем здесь *внутренности* Шиллера?» Я сперва подумал, что он путает слова «Centenar»[370] и «intestins»[371] — однако выяснилось, что он вообще не знает слова «Centenar», а в слове «Erinnerung»[372] понял только «das Innere»[373]. — —

20 октября 1905

Вчера у меня обедали: Василий Немирович-Данченко, А.М. Федоров и священник Петров. Разговор — политический, радикальный, почти революционный. Немирович-Данченко перелистывал мои альбомы с почтовыми открытками, на которых изображены писатели (таких альбомов у меня двадцать четыре), и сказал, увидев свой портрет (большой, на котором его имя написано по-французски, а сам он выглядит как самодовольный франт): «Да ведь это просто печатный дурак!» <...>

Потом Федоров рассказывал об Антоне Чехове, которого он нежно любит. Чехов был очень привязан к своей старой матери (а его, в свою очередь, обо-

жали все члены семьи). Однако он подтрунивал над ее стремлением вести аскетическую жизнь и убеждал, что надо говорить «леригия», а не «религия». Застав ее однажды за чтением, он сказал: «Оставьте Вы, наконец, Четьи-Минеи и почитайте лучше знамени-итого писателя Антона Чехова!..» По отношению к своей жене он вел себя очень деликатно, хотя можно усомниться, действительно ли он ее любил (Немирович-Данченко уверял, что его брат Владимир никогда не состоял с ней в связи). Однажды его сестра, Мария Павловна, испуганно вошла в комнату и сообщила, что служанка разбила любимую чашку Ольги Леонардовны. На это Чехов заявил: он скажет, что это он разбил чашку. Так он и поступил... Один врач, приятель Федорова, рассказывал ему следующее: он прибыл в Баденвейлер, чтобы лично познакомиться с Чеховым, но тот был уже мертв и находился в морге. Врачу разрешили приподнять покрывало. Он приподнял его и в ужасе отшатнулся: правый глаз Чехова совсем выкатился наружу и был размером с бильярдный шар. <...>

13 ноября 1905

Вчера — Товарищеский обед в «Малоярославце». Мамин вошел бодро, хотя и согнувшись. Умственно свеж, как два года назад. Впрочем, повторял свои излюбленные выражения. Подтрунивал надо мной и Василием Немировичем-Данченко. Потапенко собирается издавать иллюстрированный политическо-сатирический журнал «Волшебный фонарь». Рассказывал, что его пьеса «Сон тайного советника» — она скоро будет поставлена в театре Комиссаржевской — заставила всех актеров так неудержимо смеяться, что было решено придерживаться не комического, а строго-серьезного тона. Будищев пел, аккомпанируя себе на рояле, свою песню «*Тебя я увидел с котомкой...*» Мазуркевич ел и выпил полбутылки белого вина. А Тихонов — целую бутылку и сверх того. Когда я предложил избрать Карпова членом наших Обедов (до этого я тайком спросил у каждого, будет ли он за или против), Барятинский сказал, что не возражает, «но ведь я не обязан с ним целоваться?!» Был избран также И.А. Порошин, хотя его имя было знакомо лишь четверти присутствующих; «ради тебя!» — сказали мне остальные три четверти. Присутствовали также: доктор Жихарев, художник Кравченко, священник Петров, Позняков, Измайлов (неофит) и Хирьяков.

Тема разговора — политика и текущие события. Все возмущались тем, что Горький так нападает на интеллигенцию, которая, собственно, и вызвала к жизни нынешнее социальное движение; лишь потом примкнули рабочие... Обсуждался вопрос: какая разница между партией социал-демократов и партией социалистов-революционеров? Ответ: полторы тысячи рублей. Дело в том, что Минский, получив официальное разрешение на издание газеты (она выходит под названием «Новая Жизнь»), хотел продать его партии социалистов-револю-

ционеров, но уступил все же партии социал-демократов, потому что те предложили ему на полторы тысячи больше. После обеда Кравченко, я и Мамин отправились играть в бильярд. <...>

15 декабря 1905

Вчера заглянул на пять минут к Бухаровой. Она рассказала, что Мейснер надоел ей до отвращения: каждый день то приходит к ней, то пишет восторженнейшие письма, в которых умоляет прийти к нему. — —

Поскольку многие выражали желание, чтобы наш вчерашний Товарищеский обед я посвятил 80-летию восстания декабристов, а официанты в ресторанах бастуют, то священник Петров предложил устроить обед у него. Я разослал приглашения.

Никогда еще наш обед не был столь многолюдным. Мы почтили память декабристов и пожелали нынешним московским декабристам большей удачи. Потом говорили о разрушенном сытинском доме (что причинило Сытину убыток в три миллиона рублей); а потери Петрова составляют около пятидесяти тысяч: сгорел склад с его книгами.

В течение четырех лет я был устроителем Товарищеских обедов, многократно пытаясь избавиться от этой разорительной для меня «привилегии» (впрочем, безуспешно), в связи с чем мне подарили вчера кувшин с золотым орнаментом (коим я буду пользоваться не чаще, чем чернильницей, подаренной мне в день моего юбилея, то есть — вообще не буду). В своей благодарственной речи я сказал — «очень вежливо, но холодно»: «Благодарю вас за красивый подарок. Жаль, что не могу присоединить его к моему литературному “музею”!.. Но постойте, я нашел выход: каждый из вас должен сделать глоток из этого кувшина, — приобщив его таким образом к литературе». Я наполнил его пивом наполовину, и кувшин пошел по кругу. Тут началось — под неутихающий смех — настоящее веселье. Немирович-Данченко пил, припав ртом к кувшину, пока тот не опустел (обычно он ничего не пьет, а пиво — лишь рюмками); Сологуб тоже пил не отрываясь, так что я невольно сказал ему в рифму: «*Сологуб, отними от губ*!» Их примеру последовали и другие, и даже те, кто вообще не употребляет пива, сделали по глотку. Мне пришлось постоянно открывать одну бутылку за другой, что оказалось не простым и не быстрым делом, ибо единственный «современный и практичный» штопор оказался отнюдь не практичным. Кончилось тем, что Немирович-Данченко куда-то спрятал кувшин. Я умолял, угрожал (в шутливой форме, конечно) — все смеялись. Затем Немирович-Данченко и Тихонов стали подтрунивать друг над другом.

Присутствовали также: доктора Жихарев, Чехов (недавно вернувшийся с театра военных действий) и Томашевский, художник Кравченко (в качестве

сотрудника «Нового Времени» чувствовал себя крайне неуютно — газету ругали со всех сторон; в этот раз он не зарисовал в моем альбоме ни одного из участников Обедов), Сухонин, Позняков, Барятинский (рядом с ним оказалось единственное свободное место, которое пришлось занять Карпову, появившемуся лишь к десерту; оба поздоровались, однако Барятинский все время беседовал с Лихачевым, своим соседом по левую руку, тогда как справа от Карпова сидел Петров), Баранцевич, Бороздин, Хирьяков, Мазуркевич, Измайлов и Фельдман.

Деньги, собранные по моей инициативе, Петров употребит на нужды бастующих рабочих; каждый пожертвовал столько, сколько истратил бы, если бы наш обед состоялся в ресторане.

18 декабря 1905

Вчера — день рождения Южакова. Он не пришел ко мне 4 ноября, потому что боялся возвращаться домой: «Меня ведь могли застрелить!» Рассказывал, что однажды пригласил Милюкова к сотрудничеству в «Русском Богатстве», но тот отказался: «Не могу быть вторым». Южаков ответил, что он будет равным среди равных, но Милюков добродушно возразил ему: «Нет, я могу быть только первым». Потом сказал, что через несколько дней «Русское Богатство» собирается поместить манифест рабочих (из-за которого уже закрыли около дюжины газет и от публикации которого отказались все ежемесячные журналы, в том числе и «Мир Божий»). Ясно, что и этот журнал прихлопнут, а Короленко придется отсидеть год в крепости; тем не менее на последнем редакционном заседании было решено печатать манифест, причем трое (Южаков, Якубович и Мякотин) голосовали против. Я спросил: «А какова цель? И так поздно — post factum! Да еще в толстом журнале, у которого относительно немного читателей; к тому же они знают манифест из газет! К чему это бессмысленное самоубийство?!» Ответ гласил: редакция дала Союзу рабочих честное слово, что напечатает воззвание, а слово надо держать. «За этим скрывается не столько мораль, сколько реклама!» — подумал я и, как выяснилось из дальнейшего разговора с Южаковым, не слишком ошибся. А именно: если журнал прихлопнут, в свет выйдет его двойник, о появлении которого уже заявлено в Управлении по делам печати; он будет называться «Современные Записки». Кроме того, один из членов редакции будет издавать еженедельник «Русское Богатство», который со временем может стать ежемесячником; другими словами, «Русское Богатство» никуда не исчезнет. В основе такой уловки лежит отнюдь не гипертрофированная честность.

Говорят, что Минский скрылся за границу.

Присутствовали: Скабичевский (не произнес ни слова, а когда ел, пил или курил, лишь выпячивал губы*), Баранцевич (в пять часов пошел с ним играть в бильярд), Короленко, Елпатьевский, Мякотин (наливал себе дрожащей рукой одну рюмку за другой) и Н.Ф. Анненский. Эти четверо сидели рядом, сдвинув головы, и шушукались как истинные заговорщики.

19 декабря 1905

Вчера у меня был Хирьяков (ударение на «я», а не на «ов») (как он, шутки ради, поставил в стихе, записанном в альбом Обедов).

Листая мой альбом с открытками, на которых изображены писатели, он увидел лежащего под деревом и читающего Толстого, и сказал, что точно такую же открытку Толстой получил однажды (как раз когда Хирьяков гостил у него в Ясной Поляне) с обычной руганью по поводу его взглядов, подрывающих устои церкви и государства, и с надписью «свинья под дубом» (намек на басню Крылова).

Хирьяков принес мне в подарок большой портрет Кропоткина.

23 декабря 1905

Вчера — поэтический вечер у Кильштет. Вентцель (Юрьин) сказал о Проппере, редакторе «Биржевых Ведомостей» и «Народной Свободы»:

Наделал много
Наш Проппер дел,
За то газету
Он пропердел.

Произнес:

Все твердил, бывало, встарь я:
Марья! Марья! Марья! Марья!
А теперь твержу уж вновь я:
Софья! Софья! Софья! Софья!

Поднимая тост за хозяйку, сказал:

На улице Церковной[374]
Живет одна Мария.
Живет, держу пари я,
Святой, а не греховной.

* На руках у него были перчатки-митенки (с полуотрезанными пальцами): экзема.

За ужином Сологуб сидел рядом с Бухаровой. И.И. Соколов написал мне по этому поводу:

Распелся что-то Сологуб,
В мечтах хотя быть соло губ.

Но Вентцель исправил:

Не верно, это, Ваня, нет!
Уж тут выходит губ... дуэт!

<...>

31 декабря 1905

Зашел к В. Ладыженскому («Пале Рояль», комната 20). Он долго распространялся насчет положения крестьян в Пензенской губернии и своей работы в тамошнем земстве (в чем я совершенно не разбираюсь). С восхищением говорил о чеховском юморе. Когда Чехова избрали почетным академиком, он известил об этом Ладыженского, а потом приписал: «Тебя тоже хотели назначить академиком, но этому воспротивился митрополит Антоний: мол, пензенских нам не надо». <...>

1 января 1906

Сегодня у меня была Гриневская. Призналась (этого никто не знает), что она — урожденная Фрейдберг (не — [Фр]ой). Жеманилась (как всегда), напрашивалась на комплименты (как всегда) и, стоя в пальто, декламировала свои стихи в прихожей (как всегда). — <...>

5 января 1906

Вчера — Товарищеский обед в «Малоярославце». Пришло так много народу, что за столом было тесно: ели, придвинувшись друг к другу. Когда обед кончился, половина участников переместилась в соседний зал. Я был то здесь, то там и поэтому слышал далеко не все из того, что говорилось. <...>

8 января 1906

Позавчера умер Лейкин в Мариинской больнице. У него образовались на ноге язвы (результат диабета), их многократно оперировали, и началось заражение крови.

Вчера, в два часа, я был на панихиде. Выражение его лица — спокойное. Из писателей присутствовали лишь Авилова, Будищев, Авенариус, Шиле и Баранцевич. Последний уверял, что Альбов, когда он один, разговаривает сам с собой (и уже давно). Обедал у него (Баранцевича). С Дарьей Николаевной он опять «на ты»; неоднократно предлагал ей выпить с ним рюмку водки — милая семейная картина! — —

Во время похорон Тургенева какой-то приказчик, стоявший перед своим магазином, спросил Зарина: «Какого генерала хоронят?» Получив объяснение, он воскликнул: «Боже мой, что же будет на похоронах Лейкина?! Придется закрывать лавочку!»

Он ошибся: на похоронах вчера было самое большее сто пятьдесят человек народу. Из писателей лишь: Будищев (отправился затем к доктору Жихареву: справа на шее у него какая-то опухоль), Билибин, Щеглов, Фофанов (одет убого; примерно три недели назад вновь поселился в Гатчине), Гейнце и те, что упомянуты ниже.

Гнедич рассказывал мне, что актеры не любят играть в пьесах Невежина: у него архаичный язык, написание трудно произнести вслух. Каждую его вещь нужно шлифовать стилистически. — Сказал, что молодой Случевский был женихом Насти Сувориной, но его друг Мясоедов-Иванов, коего он и ввел в дом Сувориных, отбил ее и женился на ней; в качестве приданого старик Суворин отдал дочери все объявления о смерти, печатающиеся на первой странице[375], что приносит ежедневно более ста рублей.

С кладбища мы (т.е. Василий Немирович-Данченко, Измайлов, Баранцевич, Альбов и я) отправились в ресторан «Москва» — на поминки. Однако о Лейкине почти не вспоминали, разве что о его скупости. Немирович-Данченко уверял, что написал больше, чем Лейкин; мы подразнивали друг друга. Альбов сказал, что хочет написать драму «*Красная чепуха*», и объяснил, почему не посещает Товарищеские обеды: 1) потому что отклонили Невежина, которого он предлагал, 2) потому что не утвердили текст телеграммы, составленной у меня Альбовым, Маминым и мною и адресованной Немировичу-Данченко в Маньчжурию и 3) потому что его не привлекли к участию в подарке Немировичу-Данченко. Баранцевич жаловался, что его издатель Корецкий (Баранцевич — редактор в его журнале «*Пробуждение*» и получает за номер 40 рублей) заполнил весь первый номер обнаженными женщинами: «Просто баня, а не журнал!» На что Измайлов добавил: «И назвать его следовало не “*Пробуждение*”, а “*Возбуждение*!”» — —

Дополнение к Фофанову. Я говорил с ним всего минуту. Он сообщил, что его жена родила недавно девятого ребенка. У нее опять был приступ безумия, но все закончилось благополучно.

Дополнение к Немировичу-Данченко. Я водил его на Литераторские мостки — к могилам писателей, которые он еще не видел. Он сказал: «Ты должен написать путеводитель по писательским могилам!» — «А я собираюсь предложить Литературному фонду приобретать здесь различные могилы и продавать их в рассрочку, с ежемесячной выплатой, тем, кто хотел бы однажды быть похороненным на этом кладбище, а то здесь лежат теперь какие-то купцы и торговцы!» — «Недостает еще, чтобы я, пока жив, заботился о моем мертвом теле! Да пусть валяется хоть в *помойной яме*! А кроме того, я надеюсь, что судьба будет ко мне милостива и не даст умереть дома в постели. Прожить такую бурную жизнь и умереть в постели! Нет, я, наверное, умру на улице!»

9 января 1906

Что еще написать о Лейкине? То, что содержится в этих тетрадях, характеризует его достаточно полно. Отсутствие писателей на его похоронах объясняется тем, что его недолюбливали. 4 ноября он праздновал день своей свадьбы; немногие из писателей, навещавшие его в этот день, предпочитали впоследствии, когда эта дата стала ежегодным празднеством, приходить ко мне (в ранние годы я отмечал свой день рождения либо 3, либо 5 или 6 ноября, короче, — в субботу, — с тем чтобы мне на следующий день не пришлось пропускать занятия).

Своим внешним и внутренним обликом, в котором не было абсолютно ничего писательского, он напоминал разбогатевшего мелкотравчатого мещанина. Производил весьма комическое впечатление дерзко выпиравшим брюшком, хромотой и гнусавым голосом; но сам не отличался юмором. Угощая гостей, он любил упомянуть о дороговизне поданных кушаний, словно хотел сказать: «Отдайте должное моему великодушию, но не жрите слишком много!» Стоявшие на столе бутылки с вином были, как правило, не откупорены. Однажды я открыл бутылку с ликером и налил себе стаканчик; он тотчас же поднялся, подошел ко мне со спины, взял бутылку и поставил в буфет.

Во время одного из Обедов беллетристов (распорядителем коих он был) обсуждался вопрос, как должны писатели всего достойней отметить Пушкинский юбилей. Царило приподнятое настроение, неожиданно нарушенное гнусавым голосом Лейкина: «Господа, по четыре восемьдесят с человека! Кто еще не заплатил?» Нас всех будто ледяной водой окатило. Многие были возмущены его меркантильностью и бесцеремонностью.

Он всегда ездил на собственных лошадях и пытался это всячески демонстрировать. Когда хоронили кого-то из писателей и траурная процессия двигалась еще по Расстанной, он пригласил меня сесть в свои сани, и мы промчались, обогнав тех, кто шел пешком. На кладбище он пожелал посетить могилы своих

родителей и родственников. Мы вошли в не огражденный фамильный склеп. Перед каждой гробницей он торжественно склонялся, касался рукой земли и произносил: «*Здравствуйте!*» Я лишь с трудом удержался от смеха.

Свои писательские юбилеи он устраивал сам и каждый раз просил меня рассказать об этом событии в «Herold». <...>

16 января 1906

Вчера вечером у меня были Мамин, «Тетя Оля» и Аленушка.

Он приезжает в Петербург всего раз в месяц; «Тетя Оля» держит его в строгости и разрешает ему лишь бутылку пива в день. Выглядит бодро, но все еще очень забывчив. Так, я сказал, что должен через полчаса отправляться к Измайлову (он не мог вспомнить, кто это такой, в то время как «Тетя Оля» отлично его помнит), и когда я приготовился уходить, он, весьма удивившись, что я куда-то собрался, спросил: «Ты куда?» За ужином он выпил три рюмки английского биттера и съел лишь самую малость, после чего его стало рвать (в туалете). Пива он получил всего две бутылки (по просьбе «Тети Оли»). — — —

Измайлов устроил у себя вечеринку, желая вспрыснуть свою новую квартиру (Васильевский остров, 17-я линия, д. 9), состоящую по меньшей мере из четырех комнат. Всюду — обрамленные портреты русских и иностранных писателей. Все книги — в переплете. Роскошная обстановка для холостяка. Во время ужина (много вкусной еды и отличного питья) он не присел ни на минуту — метался туда-сюда, исполняя хозяйские обязанности. Вокруг длинного стола сидело так много народу (исключительно мужчины), что в беспорядочном шуме голосов мне ничего не удалось выловить для этой тетради. Присутствовали: Мошин (очень скромен; сидел в стороне и почти ничего не говорил, так что я даже не смог с ним познакомиться), Василий Немирович-Данченко (вовсе не отказавшийся от своей ночной ресторанной жизни), который подтрунивал над Брешко-Брешковским, Сальников, Брусянин, В. Рышков, А. Зарин, Иван Порошин, Свирский (молча опрокидывал одну рюмку водки за другой), Будищев, Позняков. Панов попросил у меня (и — через меня — у моей жены) прощения за то, что напился 4 ноября; рассказал, что, оказавшись на улице у входной двери, бросился в снег и расплакался. Кроме того, просил Познякова забыть все, что было раньше, и перестать на него сердиться; но Позняков жестко отклонил его просьбу. После ужина были предложены ликеры, и Баранцевич стал играть на гитаре; пели русские народные песни. Коринфский читал свои переводы из Баумбаха (в частности «Gaudeamus»[376]).

Было около трех ночи. Измайлов, уже ранее предупредивщий некоторых гостей, что должен написать к девяти часам критическую статью, сказал, что в его новой квартире чрезвычайно тонкие стены, к тому же в соседних квартирах

справа и слева есть маленькие дети. Это был, разумеется, деликатный намек на то, что следует прекратить пение, да и вообще расходиться. Но никто этого не понял, особенно Альбов; когда я тихонько сказал ему «Давай уйдем», он заорал на меня: «Нечего мной *распоряжаться*! Уходи, если хочешь, а я останусь!» Он уселся поудобнее и взял в руки стакан. Я ушел.

Был еще один гость, пользующийся дурной репутацией: Маныч. Измайлов отвел меня в пустую комнату и сказал: «Мне очень неловко перед тобой, Баранцевичем, Альбовым и другими уважаемыми гостями, что здесь присутствует Маныч. Но я его не приглашал — его привел Брешко. Какая бестактность!» Пока мы шептались, Брешко кружил вокруг комнаты и пытался подслушивать то у одной, то у другой двери. Он вообще вел себя как шпик, шныряя среди гостей, стоявших группами.

За ужином Маныч обратился ко мне с предложением передать в мой литературный музей два варианта концовки «Поединка». Сказал, что Куприн, когда писал вторую половину повести, жил у него и все время пил. Пятницкий его торопил, требуя окончание, и тогда он попросту решил умертвить своего героя. Поначалу Куприн намеревался оставить Ромашева в живых и вывести его во второй части повести.

19 января 1906

Встретил на Владимирской Жданова, читавшего какую-то бумажку. «Вы и пишете во время ходьбы?» — спросил я. — «Нет, только читаю — смотрю, куда мне идти». Сообщил, что сегодня в «Руси» разнесли его новую пьесу «Вопросы чести», и, улыбаясь, добавил: «*Не привыкать стать!*» Ужасно много работает. В бородке у него появились серебряные волоски.

22 января 1906

Вчера — поэтический вечер у Вентцеля. И.И. Соколов сообщил мне, что за последние недели не написал ни строчки, ибо вся поэзия ему ненавистна: «Нива» (Валериан Светлов) отказалась печатать его стихотворение «Гусляр».

Москвич Мюр (он посетил меня днем и был так восхищен моим переводом его стихов, что вскочил с оттоманки) посвящал Мейснера в тайны спиритизма. Присутствовали также: Авенариус, Кильштет (именно так, а не иначе пишется ее имя)[377], Шуф (рассказывал, что его молочным братом был молодой пудель: когда он родился, у его матери — то есть у матери Шуфа! — оказалось такое обилие молока, что пришлось прикладывать к ее груди брошенную собачку; позже этот пудель тянул тележку, в которой восседал его «брат») и Уманов-Каплуновский. Ужасно скучно. <...>

31 января 1906

Вчера у Вейнберга — заседание Ревизионной комиссии и Комитета Литературного фонда[378]. Ватсон, исполненная боевого задора, спорила то с одним, то с другим — в особенности с Котельниковым, после чего даже плакала втихомолку. Говорили, что час назад «Русское Богатство» прекратило свое существование, а вместо него на свет появились «Современные Записки». Короленко уехал в Мустамяки, дабы избежать ареста. Венгеров сообщил мне, что у него большое горе и сплошные хлопоты: его сын Всеволод сидит вот уже несколько недель за агитацию, и все попытки вызволить его из тюрьмы (этим занимается также А.Ф. Кони) до сих не принесли успеха; к тому же узнику предстоит операция слепой кишки. На мой вопрос, где сейчас Минский*, он неохотно ответил: «За границей». — «Но где?» — «Не знаю. Не интересуюсь мерзавцами. Он хотя и сделался моим племянником, но все равно мерзавец!»

Кроме того, на заседании присутствовали: Леткова (чувствовала себя явно задетой выпадами Ватсон, бросала на других возмущенно-понимающие взгляды, сочувственно пожимала плечами и теребила свое боа... Поскольку речь шла о финансовых вопросах, в которых я ровным счетом ничего не смыслю, не знаю, кто прав), Я.Г. Гуревич, доктор Кадьян, Небольсин, Кузьмин-Караваев, Кареев, Меншуткин, Анненский и милый Котляревский. Баранцевича и мои разоблачительные речи по поводу Свирского вызвали всеобщее возмущение, и было решено: все возможные его прошения о вспомоществовании оставлять без удовлетворения.

3 февраля 1906

Вчера — годовое собрание членов Литературного фонда. Ватсон так горячилась, что постоянно хваталась за голову, после чего ей пришлось приводить в порядок растрепанные волосы. Седой (Александр Чехов) сообщил мне, что лицо, выступающее в письмах Чехова к Лейкину под псевдонимом Алоэ, это — он, Седой; рассказал также, что у его брата в Ялте лежало на письменном столе около тридцати ручек и карандашей, коими он пользовался без разбора. Седой — обыкновенный репортер и в качестве такового постоянно принимает участие в литературных собраниях.

После собрания отправился за Баранцевичем в Новый театр Яворской. Меня тут же окружили и силком навязали роль врача в «Плодах просвещения» Толстого. Премьера состоится в Новом театре 8 числа сего месяца, причем большинство ролей исполняют писатели. Вчера была репетиция, в которой наряду

* 8 февраля в Новом театре З. Венгерова сообщила мне его адрес: Ницца, до востребования.

с другими участвовали: Баранцевич, Барятинский, Хирьяков, Дымов, Allegro и Венгерова.

Оттуда — в «Донон» на обед Комитета и Ревизионной комиссии Литературного фонда. По окончании трапезы меня попросили сыграть. Я исполнил вальс Штрауса; Вейнберг танцевал с Н.Ф. Анненским, профессор Кареев — соло. Котляревский играл (по нотам) Шопена. <...>

5 февраля 1906

Вчера — поэтический вечер у Познякова. Было (по новому стилю) 17-е, то есть пятидесятая годовщина со дня смерти моего кумира Гейне. На повестках я специально отметил этот памятный день. Тем не менее народу пришло немного. Кильштет рассказывала, что в юности находилась под гипнотическим воздействием «Книги песен»; позднее выяснилось, что ее мать, которая умерла через год после ее рождения, тоже всегда держала эту книгу на столе. Соревнуясь со мной, стала читать стихи Гейне (по-немецки), но, разумеется, уступила мне. Грибовский в шутку заметил, что Гейне допустил лишь одну ошибку: ему следовало писать стихи по-русски. Вентцель рассказал следующее: будучи семнадцатилетним гимназистом, он приобрел «Книгу песен» и лишь с этого времени полюбил немецкий язык и стал усердно читать немецкие книги. Он процитировал (в оригинале) несколько строк из Гейне и, барабаня пальцами по столу, прочитал «Я не ропщу...»[379] Под мой аккомпанемент на рояле Грибовский спел по-русски «Двух гренадеров» и по-немецки (я продолжал аккомпанировать) «Лорелею». Уманов-Каплуновский прочел свои стихи, посвященные Гейне; Мейснер тоже. Больше никого не было.

14 февраля 1906

Позавчера, после долгого отсутствия, явился Альбов. Уже четыре месяца, как он не курит, а **потому** (!) не пишет. Рассказывал, кажется, уже в десятый раз (обращаясь главным образом к моей теще) о том, как лет десять назад он пытался бросить (или снова принимался) курить, сопровождая свой рассказ абсолютно неинтересными подробностями: сколько сигарет помещается в одной коробке, какая табачная фабрика их производит и т.д. Всей этой бессмыслице он придает колоссальное значение; мы слушали его, молчаливо умирая от скуки. Становится изо дня в день все мелочнее. — —

Сегодня утром, без четверти девять, по дороге в Екатерининский институт на углу Владимирской[380] и Невского увидел Короленко (он переходил улицу от «Палкина» в направлении «Москвы») и окликнул его. Он взял меня правой рукой под левый локоть, и мы прошли вместе приблизительно сто шагов. Рассказал следующее. Ему предстоит сегодня визит к *судебному приставу* — он дол-

жен дать разъяснения. Если ему заменят предварительное заключение денежным залогом, он внесет нужную сумму, поскольку теперь, в начале подписного года, у «Современных Записок» есть деньги. В течение ближайшего месяца состоится, по-видимому, судебное заседание. Был слух, что его здесь арестовали, но это неправда (некоторые даже уверяли, что он сидит в крепости). Позавчера он вернулся из Мустамяк. — —

Зашел сегодня на три минуты в «Капернаум». Спросил, придет ли Булацель (я не видел его с 22 ноября 1905 года). Буфетчик Егор Иванович ответил: «Нет, не придет, потому что его сюда не пускают».

19 февраля 1906

Вчера — поэтический вечер у Грибовского. Было довольно скучно, в чем, разумеется, было в немалой мере повинно плохое освещение (в конце концов я попросил зажечь свечи в канделябрах). Хозяин представил двух гостей: Тэффи, которая давно уже просилась к нам (я возражал, потому что она враждовала со своей сестрой, Лохвицкой, но теперь, когда та умерла...), а также критика и поэта-переводчика Штейна. За ужином их избрали постоянными членами. Также прошли баллотировку: Блок (его предлагали к избранию уже довольно давно, но возражал Коринфский), Кондратьев, Вячеслав Иванов и Габрилович. Единодушно избрана и Гриневская. Я, согласно ее желанию, предлагал избрать ее членом кружка уже на самом первом поэтическом вечере (у меня, 30 сентября 1904), однако Лихачев и Коринфский были против. Но поскольку оба почти не посещают теперь наших вечеров, то всеобщее желание — видеть ее в наших рядах — все же осуществилось (даже отсутствующие разделяли в течение полутора лет это желание), и вот ее наконец избрали.

Я приехал и уехал с И. И. Соколовым. <...> Присутствовали также: Кильштет, Авенариус, Мейснер, Уманов-Каплуновский, Платон Краснов (ушел до ужина), Шуф, Сологуб и Вентцель.

2 марта 1906

28 февраля с.г. в Москве умер Виктор Крылов.

Он (Виктор Крылов) подарил мне множество своих сочинений. В первом томе его «Драматических сочинений» — надпись:

Dem guten Dichter Fiedler
Der alte Bühnensiedler

Victor Kriloff

18. Okt[ober] 1898[381] <...>

На роскошном издании своего перевода «Натана» Лессинга (его благодарность за мою старательную правку его перевода «Фиеско», который изобиловал ошибками):

AN FRIEDRICH FIEDLER

Zwei Nationen sich vereinen,
Deiner Seele nah verwandt.
Russen-Werke dank den Deinen
Werden deutsch ein Diamant.
Beim poetischen Genusse
Ist die Arbeit Dir ein Scherz
Auch im Deutschen bist Du Russe
Und im Russen deutsches Herz.

Victor Kriloff.

17. Mai 1899[382]. <...>

5 марта 1906

Вчера после панихиды по Я.Г. Гуревичу, скоропостижно скончавшемуся позавчера вечером, Ватсон, желая обогатить мой литературный «музей», привезла меня к себе. Подарила два уникальных портрета Надсона, его карандаш, несколько его писем и писем к нему. В одном письме из Висбадена (она прочла его вслух, но не отдала мне) Надсон описывает свои успехи в изучении немецкого языка; дескать, он уже может выговорить «Selterswasser»[383], но все еще путает Heraus[384] и Herein[385]: когда кто-нибудь стучит к нему в дверь, он кричит «Heraus!», что кажется немцам странным. — Он был атеистом лишь догматически; перед смертью он просил Ватсон перекрестить его. Он называл Ватсон совой, а себя самого — совенком. — — <...>

12 марта 1906

Вчера — вечер поэтов у Авенариуса. Тэффи появилась в сопровождении неофита Габриловича (псевдоним — Леонид Галич), уехавшего вместе с ней домой. Очень мило, можно сказать, безупречно, говорит по-немецки; прочитал стихотворение Тэффи в своем переводе на немецкий язык; его перевод мне кажется весьма удачным (я тоже перевел это стихотворение еще 1 декабря прошлого года). Он закончил гимназический курс в здешней Анненшуле и затем учился в Грейфсвальде и Берлине; знает лично нескольких (мелких) немецких писателей. Судя по всему, талантливый поэт и очень симпатичный человек.

В качестве неофита пришел и Вячеслав Иванов; его голова похожа на голову ацтека, в целом же производит приятное впечатление. Он тоже хорошо говорит по-немецки, и его русская речь была уснащена немецкими цитатами. Вовсе не похож на декадента, каким предстает в своих сочинениях. Ушел до ужина.

Присутствовали: Сологуб, И.И. Соколов (как обычно, рассказывал, когда мы возвращались домой, про свои любовные похождения), Измайлов (ушел до ужина), Штейн (говорит по-немецки, ушел до ужина), Федор Зарин (рассказывал о своих военных впечатлениях), Кильштет, Вентцель, Уманов-Каплуновский, Грибовский, Мейснер и Будищев. Было интересно.

13 марта 1906

Вчера заходил к Найденову. Его адрес: Гончарная, 10, квартира 1; очевидно, снимает комнаты, поскольку на двери висит табличка с фамилией другого жильца. У него маленькая, пухлая, привлекательная жена. Через полторы недели они собираются уехать в Швейцарию — на все лето, а может быть, даже на целый год. Хотели бы в любом случае избежать близкого соседства с Горьким или Леонидом Андреевым. «Вокруг них всегда слишком много людей, так что невозможно работать!» Сообщил, что Чириков переселился в Куоккала; его намерение не посещать более наши Товарищеские обеды было высказано не всерьез.

На столе стояли коньяк и белое вино. Меня просили задержаться, но на улице ждал С.Н. Филиппов (я встретил его на Невском). Найденов тут же спустился к портье и велел привести Филиппова. Филиппов говорил о венецианской школе и рекомендовал разные швейцарские курорты: особенно расхваливал какое-то место на Боденском озере. — —

Немного выпил с Филипповым в маленьком ресторанчике при «Знаменской Гостинице»; затем — у нас. Он жаловался на свою неустроенную жизнь и признался, что имеет интимную связь с одной молодой вдовой, от которой у него четырехлетняя дочь. На мой вопрос, почему он окончательно не переедет к ней, заявил, что слишком любит свободу для того, чтобы связать себя браком, пусть даже гражданским. Филиппов — разносторонне образованный, интересный человек, его нужно только узнать поближе.

22 марта 1906

Вчера у меня был Б.А. Лазаревский. Он изучал право, хотя тяготеет к электротехнике; поэтому одно время работал *машинистом*. Лишь недавно оставил свою службу в Севастополе — был следователем на флоте. Уже двадцать два года ведет дневник. Боготворит Антона Чехова как писателя и как человека (с кото-

рым дружил). Восторгался моим литературным «музеем» (у него тоже небольшой музей) и немного способствовал его пополнению. От одного офицера, который служит в 46-м Днепровском полку, он узнал, как зовут прототипов тех офицеров, что изображены Куприным в «Поединке»: Шульгович — А.Н. Байковский, генерал-майор в Киеве; Петерсон — Плисова (в Киеве); Бек Агамалов — Бек Бузаров в городе Проскуров (Каменец-Подольская (sic! — *К.А.*) губерния)[386]; Осадчий — Гржегоженский[387] (Харьков); Слива — Андрусский; Федоровский — Стемиковский (†), Дорошенко — Дорошевич, Лех — Сивоха (†), Арчаковский — Кочеровский, Тальманы — Волжинские (он — в Проскурове, она — †), Липский — Ващенко. Объяснение перед дуэлью происходило в Волочиске[388]. — —

Сегодня уезжаю за границу[389], где пробуду около трех недель.

9 апреля 1906

Вчера я спешно созвал Товарищеский обед, чтобы обсудить скандал вокруг Горького в Нью-Йорке (удаление из гостиницы в связи с тем, что он выдал Андрееву за свою жену, и отказ Марка Твена устроить банкет в честь Горького). Был составлен протест, направленный против американских святош и, в особенности, против культурного одичания американских писателей; сегодня он будет опубликован в газете «Двадцатый Век». Завязалась долгая дискуссия по поводу стилистического оформления. Все подписали, за исключением Авенариуса, который стал нести вздор насчет святости церковного брака. <...>

4 мая 1906

С 30 апреля мы живем на даче в Старожиловке (Парголово)[390], на берегу озера, дом 11.

Сегодня был в городе. Встретил в «Капернауме» Куприна и обменялся с ним парой слов (он сидел в компании каких-то незнакомых мне господ и ел свое любимое блюдо: раков). Он подошел ко мне. Я спросил, правда ли, что Горький в Петербурге. «Говорят, да». — «А где он живет?» — «Наверное, в Финляндии... Меня он сейчас мало интересует»... Послезавтра Куприны отправляются на все лето в Новгородскую губернию.

20 мая 1906

Прошлую ночь провел в городе у Альбова. Он курит. Берет с собой в Ялту лишь одну книгу: о революционном движении в России и процессе 1 марта 1881 года. Его библиотека очень богата книгами и брошюрами, посвященными со-

временному движению. Собираясь лечь спать, он взял том Чехова (лежа в постели, он должен хотя бы полистать книгу) и сказал: «Беру свои слова обратно: он все же большой писатель!» — — <...>

6 июня 1906

Сегодня был Лазаревский. Я прочитал ему мои краткие карандашные пометы, сделанные в книге его рассказов; он согласился со мной, сказал, что изменит отдельные места и слова во втором издании, и признался, что он — неумелый стилист; зато якобы великолепно владеет украинским. Почти всегда выговаривает «г» как «х». Выпил за обедом несколько рюмок водки (сам себе подливая), а затем мы вместе выпили шесть бутылок пива. Он держит себя весьма развязно, но не от дерзости, а от застенчивости. Рассказывал о своем кумире Чехове; тот несколько раз говорил ему, что надо бы пригласить в Россию Василия Федоровича (так Чехов именовал Вильгельма II), чтобы тот навел порядок в стране, а Николая надо послать в Германию, чтобы немцы узнали, что такое беспорядок. Рассказывал также, что Куприн очень любит окружать себя атлетами (борцами, выступающими на ринге) и приглашает их на ужин, иногда до шести человек — к большому неудовольствию Муси: она терпеть не может этих скотов.

13 июня 1906

Вчера у Лазаревского в Куоккала (дом Наво; платит 140 руб.). Угощал меня украинским супом (кулеш), альпийской водкой, собственноручно приготовленным картофельным салатом и финским пивом. Болтали всякую ерунду. Его жена Лидия Николаевна (27 лет) — немногословна, но красива и обаятельна; у нее пушок на верхней губе (мне это не нравится). Трое славных отчаянных ребятишек.

Хотел посетить и Чирикова, но он в Гельсингфорсе. — — <...>

В течение многих лет я искал случая познакомиться с Владимиром Васильевичем Стасовым (уже более двадцати лет он живет здесь — в двух минутах ходьбы от нас — каждый год в том же доме)[391]. И вот, наконец, сегодня такой случай представился. Я шел с Венгеровым мимо его дома, и Венгеров предложил познакомить нас. Он зашел в дом, я остался ждать снаружи и примерно через три минуты услышал свое имя. Я зашел в сад, и у двери, ведущей на веранду, меня встретил Стасов, который в ответ на мои слова: «Уже целых три года хочу познакомиться с Вами!» ответил: «А я с Вами — уже целых семь лет!» На нем были красные плюшевые штаны и белая украинская рубаха с вышитым красным узором по рукавам и воротничку, перехваченная цветным поясом, на ко-

тором болтались две огромные пестрые кисти; на ногах — сапоги с голенищами. Ему восемьдесят два с половиной года, но я не встречал ни одного шестидесятилетнего человека, более свежего в духовном, душевном и физическом отношениях. Начиная с 1864 года, он регулярно проводит каждое лето близ Парголово. Начал рассказывать. Он лично знал всех русских писателей, кроме Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Белинского. Рассказывал про И.С. Тургенева, который был, по его словам, слишком добродушен. Стасов называл его «маркизом» и говорил ему: «Когда Вам отвинтят голову, Вы так и будете стоять, как склянка с духáми, источая лишь аромат». О Льве Толстом: он очень добросердечен (Венгеров поправил: «Он *добр* головой, но жесток сердцем»; Стасов стал возражать). Когда Стасов ночевал у него в Ясной Поляне (в библиотеке), Толстой собственноручно укрепил в открытом окне рамку, обтянутую марлей, — против комаров; а утром явился к нему в нижнем белье и стал спрашивать, не зажрали ли его комары; потом, когда Стасов стал умываться, он (Толстой) поливал ему на руки. По отношению к своей жене, которую очень любит, он держит себя бесцеремонно — даже в присутствии совсем посторонних людей — и часто *«ошпаривает»* ее; «и при этом он проповедует *непротивление злу*!» Позволяет своим сыновьям заниматься охотой: это, мол, подавляет позывы к онанизму. (Стасов нередко упрекал Тургенева в том, что тот, гуманный человек, предается охотничьей страсти.) Стасов боготворит Пушкина как художника, но называет его *«подлецом»* за сервильное отношение к Николаю I и другим вельможам. О таких стихах, как «*Нет, я не льстец...*», «*В надежде славы и добра...*» и «*Бородинская годовщина*», он не раз повторил: «*Какая гадость!*» С восхищением говорил о мастерстве Пушкина как автора эротических стихов, что проявилось, например, в такой строчке: «*Чтобы ускорить миг последних содроганий...*»[392] «Правда ли, — спросил я, — что Толстой весьма одобрил поэму Гриневской “Баб”?» «Она отправила ему один экземпляр и просила меня вручить ему второй. Когда мы со скульптором Гинцбургом легли спать, Толстой дал мне какую-то книгу и сказал Гинцбургу: “Ну, а что же дать Вам?” И выбрав из груды книг (они поступают к нему ежедневно со всех концов земли) “Баба”, протянул ее Гинцбургу с презрительной гримасой и словами: “Ну вот, почитайте: хорошее снотворное!” А рассказы про какой-то комплимент, который Толстой якобы сделал ей письменно по поводу ее книги, — сущая ложь!» Он (Толстой) признает талант Горького, хотя недолюбливает его самого.

Стасов считает Мопассана самым гениальным французским писателем последнего двадцатипятилетия.

Потом Стасов рассказал: все, что пишут газеты по поводу апоплексического удара, который якобы случился с ним недавно в Публичной библиотеке[393], — неправда. Просто он вдруг утратил в разговоре способность произносить отдельные слова, — но это не имеет ничего общего с параличом, потому что мозг у него

при этом прекрасно функционировал. Он вполне владел собой и уже на извозчике возле Аничкова дворца полностью восстановил свою речь.

Он чуть-чуть глуховат (если не приглядываться, то и не заметишь), читает и пишет без очков. Гуляет мало. Лишь иногда не может вспомнить чью-то фамилию.

17 июня 1906

Был вчера в городе и зашел к А.А. Плещееву, подарившему мне несколько писем к нему и его отцу. В его кабинете — портреты писателей и великое множество портретов представителей и представительниц балетного и театрального мира. Впрочем, есть и другие портреты, в дорогих рамках, с золотой короной наверху: Александра III и великих князей. — —

Сегодня был у Стасова. Пятеро (или четверо) убеленных сединой женщин окружали его; после обеда каждая подошла к нему, чтобы поцеловать. Тема разговора — политика. Его взгляды — ярко-красного цвета, при этом он говорил, что цель нынешнего освободительного движения может быть достигнута не ранее чем лет через тридцать. Читал мой альбом автографов. Произнес, обращаясь к пожилым женщинам, несколько правильных немецких фраз. Никак не хотел отпускать меня. Весь нынешний день шел сильный дождь. Тем не менее он проводил меня в своем (выше описанном) костюме. Поверх рубашки на нем была еще вышитая дамская накидка, и он, седовласый, седобородый старец, выглядел — без шляпы (и без галош) — столь живописно, что все прохожие (дождь тем временем уже час как прекратился) останавливались и с удивлением глядели ему вслед. — —

18 июня 1906

Сегодня у нас был Стасов. В черных бархатно-плюшевых шароварах, высоких сапогах и шелковой розовой рубахе, подпоясанной двумя ремнями: один — вышит серебром, другой — из цветного персидского ситца; он шел, то взбираясь на холм, то спускаясь с холма; в руках у него была шляпа. Я наблюдал из окна, как он приближался к нашему дому. Точно так же он возвращался обратно, при этом прохожие удивленно оглядывались, а несколько служанок в восхищении воскликнули: «Герой!» (В таком же примерно наряде я видел его здесь лет двадцать назад возле его дома.) Он сообщил моей жене, что у него шестнадцать подобных рубашек, вышитых женскими руками. Восторгался видом, открывающимся из нашего сада на озеро; объяснил мне причины своего долголетия и своей бодрости: 1) родился от здоровых родителей, 2) никогда не курил, 3) никогда ничего не пил, кроме молока и кваса (лишь однажды позволил себе

напиться от отчаяния); изредка подливает немного вина в стакан сырой воды, 4) никогда не мастурбировал, 5) начал половую жизнь лишь в возрасте 21 ½ года; потом, однако, дело пошло без помех («Мой организм уже полностью сформировался»). Во Флоренции жил долгое время с двумя женщинами одновременно; последний раз имел половую связь пару месяцев назад («С тех пор меня больше не тянет — но это, наверное, временно!»).

Моя дочь дважды его сфотографировала, причем он пытался принять то одну, то другую скульптурную позу.

Рассказывал о рассеянности Полонского. Он (Стасов) жил под ним — на углу Знаменской и Бассейной. Однажды Полонскому нездоровилось, и он, закутав шею шарфом и надев на голову шапку, спустился к Стасову и довольно долго просидел у него в таком облачении, пока Стасов не обратил на это его внимание. В другой раз — дело было на той же лестнице — Полонский зашел в чужую квартиру, от служанки, которая помогла ему снять пальто, узнал, что *барыни* нет дома, уселся за рояль и стал что-то наигрывать; тут явился хозяин (вся лестница и весь дом, разумеется, знали Полонского в лицо), и Полонский выразил сожаление, что не может принять его достойным образом, так как его жена (то есть Жозефина Антоновна) куда-то вышла.

Полонский рассказывал ему также, что много лет назад, когда он был еще холост, он помог Льву Жемчужникову, брату Алексея Михайловича, похитить у соседского помещика крепостную девушку; парочка в дорожной карете бежала за границу. Красавица, бывшая крепостная, до сих пор здравствует.

Своей открытостью, простотой и скромностью Стасов произвел на мою жену весьма благоприятное впечатление. Разговор был прерван на середине: явились две его дамы и позвали домой. К нему пришли гости: профессор Тарханов с супругой (с которой он, Стасов, расцеловался). — —

До визита Стасова я побывал у Венгерова (вместе с дочерью и фотоаппаратом). Однако запечатлеть его не удалось: его левая щека обвязана платком — простудился от сквозняка в поезде, когда ехал с В.В. Водовозовым (Венгеров говорит не *сквозняк*, а *сквозник*). Сообщил, что слышал от Владимира Соловьева следующее двустишие — эпиграмму на бывшего премьер-министра С.Ю. Витте, у которого, как известно, нос был изуродован люэсом:

Родился он в Тифлисе
И умер в — сифилисе.

13 июля 1906

Вчера — у Будищева. Предполагает написать два романа, связанных друг с другом и в то же время — самостоятельных; первый должен называться «Степь грезит»[394]; описанные в нем юноши и девушки с их политическими мечтания-

ми и идеалами предстанут во втором уже взрослыми людьми. — С легкостью пишет один роман за два месяца. Публикует фельетоны в «Петербургской Газете» (в том числе — «Письма Хлестакова») под своим обычным псевдонимом Ориоль. — Отрицает возможность всероссийской революции; солдаты слепо хранят верность присяге, крестьян же правительству удастся умиротворить ничтожными материальными подачками. — Куприн, по его словам, написал драму, которая его совершенно не удовлетворяет: все герои говорят одним и тем же языком. — —

Вместе с Будищевым посетил живущего рядом с ним Подкольского, умирающего от чахотки. Он лежал в постели (встает, вообще, крайне редко, когда его выводят на балкон); испытывает сильную боль в ногах. Страшно исхудал, стал совсем седой. Спокойно говорит о скором исходе своей болезни. — —

Гулял сегодня с Венгеровым: до Ласточкиного гнезда и потом дальше — в поле. Он рассказывал разное, настойчиво повторяя: «Запиши!» Так, например:

У его сына Алексея есть друг Ди-Сеньи, который что-то пописывает. Шутки ради он поместил недавно в «Новом Времени» такое объявление: «Пожилая, но состоятельная вдова ищет...» и т.д. Среди многочисленных соискателей, изъявивших желание вступить в брак, оказался — Брешко-Брешковский... Однажды в покойном Союзе взаимопомощи Брешко-Брешковский приклеился к Короленко, и тот, когда окончательно от него избавился, сказал Венгерову: «Ну до чего назойливый человек!»... Венгеров убежден, что за свои хвалебные статьи о русских художниках Брешко берет с них деньги.

Венгеров трижды виделся и говорил с Тургеневым. Впервые в 1876 году (вступив с ним до этого в переписку), когда Тургенев приехал в Петербург и пригласил к себе на завтрак в гостиницу Демута его (Венгерова) и старика Суворина (в «Новом Времени» которого Венгеров печатал тогда свои критические статьи). Речь зашла о портрете Григоровича, написанном Крамским, и Тургенев, восхищаясь портретом, воскликнул: «Вот он стоит передо мною словно живой и — лжет!» Говорили также о Василевском, только что начавшем печатать свои статьи под псевдонимом Буква. Кто-то назвал его умным, и Тургенев сказал: «Он настолько умен, что сумел, еще не будучи писателем, изрядно заработать». Дело в том, что Василевский уже тогда давал деньги в рост (под десять процентов); этой деятельностью он занимается и поныне. Венгеров сказал: «Он наполовину миллионер. Получил отцовское наследство, а потом зарабатывал пером до двадцати тысяч рублей в год. Он невероятно скуп. У него есть небольшой каменный дом на Офицерской улице, и там открылась пивная, которая тоже принадлежит ему».

Венгеров много рассказывал о себе. Он крестился в 1887 году. Мысль об этом владела им уже гораздо раньше. Но когда, по представлению профессора Ореста Миллера, он перешел на преподавательскую деятельность в университет, ему

показалось невозможным менять вероисповедание: это сочли бы карьеризмом. По той же причине он не мог этого сделать, когда служил преподавателем истории в теперешней Богдановской гимназии. Лишь полностью освободившись от службы, он принял крещение (в Введенской церкви на Садовой); крестным отцом был Минский. Жена Венгерова Роза Александровна (урожденная Ландау) крестилась лишь два года назад (в Царском Селе), хотя уже в течение многих лет была верующей христианкой (православной). Говорит, что его дети также отличались приверженностью к православию (все они при рождении были крещены), но сейчас это уже не так. Его матери 75 лет, и она живет за границей, будучи ярой сионисткой. «Если в нашей семье и есть литературный талант, то это у нас — от нее». Она пишет воспоминания (по-немецки), отрывки из которых в русском переводе публиковались в газете «Восход»[395]. Унаследовала после смерти мужа примерно тридцать тысяч; кроме того, в течение ряда лет получала от Минского банка пенсию в несколько тысяч рублей. Ее муж (отец Венгерова) был директором Минского банка. Он охотно занимался благотворительностью, так что на его похоронах присутствовало примерно четыре тысячи человек (об этом сообщалось и в газетах).

Минский четыре года состоял с Юлией Безродной в свободном браке. Когда же она заметила, что он путается с другими женщинами, то вынудила его обвенчаться с нею. Свершилось. Одновременно произошло и крещение. Его настоящее имя — Ной. Крестным отцом был покойный Евгений Рапп. Уже стоя в купели, Минский спросил священника, какое у него будет отчество. Услышав «Евгеньевич», он выскочил из чана, потому что не хотел расстаться с привычным для всех «Максимовичем». Но священник успокоил его, сказав, что это можно уладить, и крещение состоялось. — Видя, что муж продолжает ей изменять, Безродная в конце концов влюбилась в Ганейзера и, официально разведясь с Минским, вышла за Ганейзера замуж. А Минский некоторое время спустя сочетался браком (законным) с Изабеллой Вилькиной.

Минский, по словам Венгерова, — это образец распущенности, потому-то и привлекает к себе столь многих девушек и женщин. «Похож на обезьяну и лицом, и похотью». В Киеве он совратил даже монахиню и посвящал ее во все тонкости парижской любви. Вилькина явилась к нему сама — в шубе. Распахнув шубу, она предстала перед ним обнаженной (она была еще девушкой) и предложила себя такими словами: «Вообразите, что перед Вами публичная девка!»... Здесь я неосторожно ввернул: «Говорят, он жил до этого с ее матерью». — «Допускаю», — ответил Венгеров на удивление нерешительно. Впрочем, Вилькина бросилась Минскому на шею не столько от сладострастия (как все еврейки, она индифферентна в половом отношении), сколько оттого, что мечтала о поэте. В юности она писала новеллы — настолько порнографические, что никто не решался их напечатать. На мой удивленный вопрос, как такое возмож-

но, Венгеров ответил, что к этому ее побудил Минский своими непристойными рассказами, но все это, дескать, лишь головная работа.

Прежде чем продолжить, хочу высказать мою неколебимую уверенность: Венгеров никогда не говорит неправды, во всяком случае, — сознательно. Итак:

В последнее время Вилькина посвящает жгучие стихи Мережковскому, так что у Зинаиды Николаевны есть все основания для ревности. Ранее Вилькина испытывала ревность к Зинаиде Николаевне, поскольку Минский за ней ухаживал. «Она была, наверное, его единственной настоящей любовью», — сказал Венгеров.

Зинаида Мережковская — девственница, — уверяет Венгеров. Перед вступлением в брак она и Мережковский якобы договорились жить друг с другом как брат и сестра. Никто (даже Флексер) не имел с ней половой связи. Она — девственница. Но — лесбиянка. Ее возлюбленная — музыкантша Овербек. Она сама (то есть Зинаида) никоим образом этого не скрывает; однажды она устроила Овербек на глазах у всех недвусмысленную сцену ревности. И у нее были для этого основания — Венгеров сам видел любовное письмо Овербек к одной женщине, не оставлявшее никаких сомнений по поводу сексуального содержания их отношений... Венгеров уверяет, что Зинаида Мережковская — эстетически *изящнейшая* женщина из всех, каких он когда-либо видел в жизни или на портрете, и притом — чрезвычайно умная. «Умна и очаровательна, как змея, демон!» И куда талантливее, чем ее муж. Он совершенно ее *высосал* в литературном плане. Оба хотят любой ценой возвыситься над средним человеческим уровнем, не быть как *мещане*. Оба — исключительно рефлектирующие существа.

У Зинаиды Мережковской якобы есть цепь, состоящая из обручальных колец тех мужчин, которые из любви к ней готовы были нарушить супружескую верность. Когда-то Минский рассказывал Венгерову о своем разговоре со Стасовым (это было пять лет назад), и тот поведал ему, что иметь дело с женщинами он начал в 23 года; «а потом пошло-поехало: лежа, сидя, стоя, на рояле и под роялем. Нет ни одной складки на женском теле, которую бы я не вылизал!» — — —

Когда вчера после встречи с Будищевым я отправился домой, то увидел в саду гигантский красный пион. Это был Стасов с двумя своими дамами; одна — его полубезумная племянница[396], другая — домоправительница. Он пригрозил мне дуэлью (в шутку, разумеется) из-за моей жены и вполне серьезно потребовал, чтобы в субботу, 15-го, в день его именин, я доставил ее к нему. Сказал, что только раз в жизни, в течение нескольких минут, он курил сигару, но затем почувствовал себя больным.

Позавчера к нам заходила дочь Стасова (он принципиально не венчался по церковному обряду), седовласая Софья Владимировна Фортунато; была дважды замужем и дважды становилась вдовой. Она приходила и раньше, и, кажется (особенно моей жене), очень полюбила нас. Проникшись к нам доверием,

рассказала, что ее отец чрезвычайно много делает для других и совсем ничего — для своих. Его домоправительница Эрнестина Ивановна Киль — якобы совсем необразованная грубая женщина; намекнула, что отец «живет» с нею.

16 июля 1906

Вчера — именины Стасова. Рубашка из красного шелка, штаны из голубого шелка, желтые сапоги с вышивкой, украшенные пестрыми стразами (подарок домоправительницы).

Моей соседкой по обеденному столу оказалась госпожа Шульговская. Она доказывала мне, что Чюмина в своем переводе «Потерянного рая» Мильтона, удостоенном премии Академии наук[397], вряд ли заглядывала в оригинал, а просто-напросто переложила стихами ее (Шульговской) прозаический перевод, который до этого был опубликован Марксом; ибо в поэтическом переводе нет даже тех характерных эпитетов, которые по недосмотру отсутствуют в прозаическом переводе. При этом Чюмина работала столь поверхностно, что включила в свой стихотворный текст одно из примечаний, которое в ее (Шульговской) переводе стояло внизу страницы.

Репин, знаменитый художник, рассказывал о каком-то южанине, который выдает себя за украинца, а на самом деле — еврей. Я спросил его, знает ли он Брешко-Брешковского, и Репин, презрительно поморщившись, ответил: «Такой же южанин!» — «А разбирается ли он в живописи?» — «У каждого свой вкус. Что касается русской школы, он, видимо, кое-что читал. Но он приводит лишь анекдотические истории. Ему недостает культурного понимания искусства».

Среди прочих присутствовали: гравер Матэ, директор Консерватории Глазунов, скульптор и писатель Гинцбург и Венгеров.

Когда я передал Стасову букет от имени моей жены, он принялся ее расхваливать гостям, предлагая понюхать розы. Прошло около двух часов, и во время обеда, выпив стакан шампанского (бутылки были обернуты красной материей), он повернулся к Венгерову и стал жаловаться: «А Фидлер не пришел! Ну что Вы скажете? Живет в двух шагах от нас, а все равно не пришел!»

31 июля 1906

Вчера у меня — доктор Жихарев с женой. В июне он был в Париже и навестил Амфитеатрова. Вторая книжка «Красного Знамени» вышла тиражом в 8000 экземпляров, из которых 7200 уже раскуплено. И все же Амфитеатров жаловался на нехватку денег, тем более что он готовится приступить к печатанию третьей книжки, которая должна выйти тиражом в 10 000 экземпляров. Горький находится в Америке, чувствует себя там совсем неплохо и вполне доволен амери-

канцами-янки. Инцидент с его «женой» Андреевой улажен; конкурирующие газеты сделали из мухи слона. Впрочем, Горького предупреждали еще на пароходе: можно выдавать Андрееву за свою спутницу, свою знакомую, свою приятельницу, свою возлюбленную, но только не за свою законную жену. И тем не менее он уже в первой гостинице демонстративно написал: Пешков с супругой, тогда как различные газеты подготовили к его прибытию выпуск, где помещена фотография: Горький со своей законной женой и двумя сыновьями[398]. Из-за этого и возник скандал. В целом же Горький очень навредил русскому делу, отказавшись — из мелочно-партийного самолюбия — подписать призыв к американской нации (по поводу сбора денег на революцию) лишь по той причине, что там уже стояла подпись известного социал-демократа (sic! — *К.А.*) Чайковского.

Примерно шесть лет назад я не раз видел у Н.К. Михайловского молодую красивую девушку, Зинаиду Викторовну Готовцеву[399], которую все, начиная с Михайловского, называли «внучкой». Вскоре после этого она вышла в Берлине замуж за француза по имени Лагардель, писателя-публициста, и уехала с ним в Париж, где часто общалась и общается с русскими писателями. Пятого июля я встретил ее у Южакова. Недавно она ночевала у Жихаревых и рассказывала следующее.

О Бальмонте. Живущая в Париже художница Крутикова[400] устраивает у себя лекционные вечера. Бальмонт прочитал какой-то реферат, потом нализался так, что уселся на пол и стал ужасающе ругаться. Его хотели поднять, но он отбивался. Тогда явились портье и его жена, оба вооруженные швабрами, и, осторожно подталкивая Бальмонта сзади, пытались выпихнуть его, в сидячем положении, из квартиры. У него там три возлюбленных, и каждую зовут «женой»; одна — темноволосая, другая — светловолосая, а третья — с пепельно-серыми волосами. Первая, брюнетка, носит только черное; вторая, блондинка, только белое, и третья — соответственное платье.

Мережковские тоже живут в Париже и производят комическое впечатление. Когда она садится, по правую руку от нее сидит ее муж, по левую — Философов. Все держат руки на коленях у Зинаиды, поднимают застывший взгляд кверху и без конца повторяют: «Мы обнажены! Мы обнажены!» и т.д. Хорошее мнение сложится у парижан о русских писателях!

Жихарев рассказал, что года три назад его пациенткой была Вилькина («Белочка» Минского). Чтобы как следует похудеть, она ела мелко истолченное стекло и блевала кровью. Когда он предложил ей раздеться и стал ее обследовать, то увидел, что живот у нее весь в отвислых складках, «как у кенгуру». — —

В половине восьмого приехал Карпов (он был в гостях у актрисы Рощиной-Инсаровой, живущей в Юкках[401]. В одной коляске сидел он сам с А.А. Плеще-

евым, любовником Рощиной-Инсаровой, во второй — она сама с какой-то актрисой. Дамы остались в коляске. Плещеев поздоровался с моей женой, после чего они, все трое, уехали в Шувалово): он рассказывал о своем летнем путешествии по Италии и Швейцарии. Его только что завершенная драма «Недруги» повествует о конфликте шахтеров с владельцами шахты; рабочие устраивают митинг. Карпов сомневается, что пьеса пройдет цензуру. Много говорили о политике. Он заночевал у нас и сегодня утром уехал домой.

Доктор Жихарев сказал, что Альбов (которого он осматривал по поводу желудочного недомогания) совсем не поправил в Крыму свое здоровье, скорее, напротив: похудел на семь фунтов.

17 августа 1906

Вчера в Куоккала. Сперва — у Лазаревского. На границе Черниговской и Полтавской губерний у него есть имение, которое он делит с братьями; ему принадлежит 79 десятин, из них он собирается продать шесть (по 300 рублей за десятину).

Затем — у Чирикова. Его пьеса «Евреи» принесла ему в России уже пять тысяч рублей; из Германии он получил семьсот.

Затем — в Пенатах у Репина, показавшего нам свои отдельно стоящие мастерские — зимнюю и летнюю. Он как раз писал портрет какой-то сидящей дамы[402]. Его «жена», Наталья Борисовна Нордман (пишет под псевдонимом Северова), фотографировала нас всех у Храма Изиды, заставляя принимать различные скульптурные позы (Чириков изображал Самсона между колоннами храма; я — умирающего гладиатора и т.д.); затем фотографировались на камнях между двумя прудами: взявшись за руки, мы делали вид, будто бежим и тянем друг дружку. Чириков тоже позировал: он умоляюще нюхал цветок, стоя перед женой, которая, надувшись, от него отворачивалась.

18 сентября 1906

В пятницу, 15-го, состоялось заседание Союза критиков, на котором присутствовали: Носков, Старк, Бентовин, А.А. Плещеев и Кугель. Последний рассыпался в восторженных похвалах немцам («Каждый раз, приезжая в Германию, я чувствую себя как дома»), превознося их как людей, носителей культуры, покровителей искусства и т.п. — в противоположность французам, которых он назвал «народом парикмахеров и кокоток». — —

Позавчера я созвал первый в этом сезоне Товарищеский обед (в «Малоярославце»). В качестве гостей присутствовали: П.А. Сергеенко (выпил рюмку вод-

ки у буфетной стойки) и толстовец Павел Иванович Бирюков, о котором Сергеенко сказал мне, что его собственные биографические труды о Толстом совершенно незначительны рядом с трудами Бирюкова. Сам Бирюков подарил мне только что появившийся первый том своей биографии Толстого[403], который на три четверти представляет собой автобиографию Толстого. Он ел только вегетарианскую пищу, однако выпил стакан вина; не сказал ни слова. <...> Членом Обедов был избран Черниговец-Вишневский. Познякову (по моему предложению) отправили поздравление... Кроме них присутствовали: А.М. Федоров, Бунин (оба недавно приехали на короткое время в Петербург), Рышков, Измайлов (пробыл самое большее четверть часа, ничего не съев и не выпив), Лихачев, Хирьяков, Сологуб, Будищев, Владимир Тихонов (вернулся на днях из Пунка-Ярви, где провел лето; из-за отсутствия денег не мог уехать оттуда раньше; ничего не ел и выпил лишь две бутылки пива), Бороздин, доктор Жихарев, Кравченко, доктор Чехов, Карпов и Баранцевич. Последний заявил мне: «Завтра я к тебе не приду, а отправлю Любови Михайловне поздравительную телеграмму». — «Почему?» — «Все мои уезжают на дачу». — «Ну и что?» — «Квартира будет свободна». — «Так ведь она была свободна все лето!» — «Да, но...» — —

Вчера — именины моей жены. Баранцевич не пришел и не прислал поздравительной телеграммы. Зацимовский, который завтракал у нас, сказал: «Баранцевич удобно устроился: отправил всю свою семью за город, чтобы не принимать посетителей, которые приходят поздравить обеих его дочерей. Впрочем, семья, наверное, рада, что ей удалось избавиться от такого папаши хотя бы на день!» Я же не сомневаюсь в том, что он не пришел по причине своей скупости (ведь пришлось бы, наверное, купить цветок или фунт конфет); точно так же, исключительно по скаредности, он не поздравил мою жену (крестившую его детей!) по телеграфу (копейка за слово!)!

За завтраком был Булацель; он быстро напился и всем наскучил. Потом пришел Южаков (на лице — омерзительные прыщи). <...> Пришли также: Бороздин с женой, Виницкая с внуком-сорванцом, которого она всюду таскает за собой, Познякова (сказала, что ее муж неизлечимо болен; но она не предлагает ему лечь в больницу: «Он 25 лет трудился ради семьи, теперь это наш семейный долг что-нибудь сделать ради него!» Академия обещает ему поддержку в течение двух иди трех месяцев). Позже ненадолго заглянул Сальников.

Кроме того, на ужине были Жихарев, Альбов (прямо-таки мумия на египетских празднествах!) и А.М. Федоров, который возмутился, узнав, что Шуф посвятил ему стихотворение в своем недавно изданном сборнике сонетов. Возмущался также декадентами Андреем Белым и Блоком (цитировал их в подтверждение своих слов, называя «хулиганами и *жуликами*»). Только ему, Федорову, и удавалось внести какое-то оживление в полуночную скуку, хотя он выпил всего один стакан белого вина (теперь он почти не пьет: «Я уже свое выпил!»). —

Да и во время Товарищеского обеда тоже было бы скучно, если бы Карпов не смешил всех присутствующих, изображая Невежина, которому очень похоже подражал голосом и выражением лица. Невежин хотел баллотироваться, но было заявлено, что сперва он должен назвать мне трех лиц, готовых его рекомендовать. Впрочем, большинство настроено не в его пользу. — —

За вчерашним ужином у нас сидела и жена Карпова, которая позволяла себе откровенности, доходящие до грубости. Ее супруг должен был прийти позже. На часах было около часу ночи, когда внизу открылась и тотчас снова захлопнулась парадная дверь. Федоров произнес экспромт:

Стук послышался мне тихий —
Карпов то идет, Евтихий.

Но это был не он.

25 сентября 1906

Сегодня хоронили Леонида Егоровича Оболенского: из квартиры, в которой он жил (Бассейная, 25, кв. 11), тело перенесли на Волково кладбище. Он недавно вернулся из Екатеринослава[404], где заключил с Копыловым, издателем газеты «Приднепровский Край», выгодный (три тысячи ежегодно) договор о сотрудничестве. Здесь же он продал свой новый роман Стасюлевичу, устроив таким образом свои литературные дела как нельзя лучше. В субботу утром он сам отнес свою почту для «Приднепровского Края» на Николаевский вокзал[405], весь день чувствовал себя хорошо, вечером выпил чаю и отправился к себе в кабинет, чтобы переписать начисто несколько страниц романа. Позже, когда дочь, согласно его пожеланию, позвала его ко второму самовару, а он не откликнулся, она открыла дверь и увидела, что он лежит у письменного стола на спине, судорожно сжав руки, — мертвый. Рядом с ним на полу лежало перо. Он умер от инфаркта.

Я не смог приехать на кладбище, потому что должен был идти в гимназию. Поскольку сегодня понедельник — день, когда либеральные газеты не выходят, — писательский мир был представлен на похоронах весьма скудно. Присутствовали лишь: Лукьянов, Урванцов, Линев (Далин), Яковлева-Карич, Карпов, Н.Ф. Анненский и Шиле. От последней, которая была близка не только с покойным, но и с его семьей, я и узнал все, что записано выше. Кроме того, она рассказала следующее. Оболенский всегда так боялся смерти, что не ходил ни на какие писательские похороны (за исключением похорон Н.К. Михайловского и Глеба Успенского) да и вообще избегал говорить о тех, кто недавно умер. — Кроме того, Шиле рассказывала о Панове, которого навестила после первой операции; ког-

да она уходила, он стал с ней прощаться, не веря, что они смогут еще раз увидеться. Он умер в госпитале для чернорабочих, и его тело, накрытое *рогожей*, лежало между гниющими трупами утопленника и человека, попавшего под колеса, — они две недели лежали в морге, источая зловонный запах. — —

Зашел вчера к А.М. Федорову. Он остановился у своего друга Михаила Васильевича Аверьянова (Невский, 130, кв. 31). В октябре собирается в качестве корреспондента отправиться на несколько недель из Одессы в Нью-Йорк с первым пароходом, везущим русских эмигрантов. Почти ничего не пьет: этим летом в течение семи дней его непрерывно рвало желчью, затем пошла кровь, так что врач запретил ему пить. Рассказывал о своем *кумире* Чехове, письма которого он никак не желает доверить моему «музею» («я передам их сыну как драгоценное наследство»): тот якобы верил в предчувствия и называл их «природным телеграфом».

Явились Бунин и Найденов. Последний похож на актера Далматова и певца Баттистини. Очень доволен своим пребыванием за границей. Вчера только закончил новую драму.

Говорили о диких выходках Бальмонта <...>.

Бунин употреблял самые циничные и непристойные выражения.

Потом все мы отправились обедать в ресторан «Вена».

Речь зашла о Николае II, и Бунин внезапно воскликнул: «Распотрошил бы его!» Взгляд его при этом был устремлен на раков Найденова, так что я не удержался и спросил: «*Рака*?» — «Нет, *ду-рака*», — находчиво ответил Федоров. Из соседней залы вышел Дымов с Бурдесом и молодой дамой. Двое последних прошли мимо, а Дымова остановил Бунин и спросил, кто эта дама. «Скрипачка (sic! — *К.А.*) Гебен», — прозвучало в ответ, на что Бунин съязвил: «Ge-ben Sie mir!»[406]

Сколько еще в этих людях свежести и юношеского задора! Особенно дурачился Бунин, прямо как школьник, даже на улице. Кстати замечу: почти ничего не пили!

2 октября 1906

Вчера к завтраку я позвал на пирог Федорова, Найденова, Бунина и Чирикова. Без приглашения явился Невежин, желавший играть главную роль в застолье. <...> Все были рады, что Невежин рано ушел. Стало веселей. Показав на капустный пирог с рыбой, Федоров изрек (непереводимо): «*Эту немецкую поэму я сейчас переведу на русский язык*». Потом вспомнил, как Чехов сказал ему однажды про В. Ладыженского: «Этому человеку нельзя доверять: у него стеклянные глаза, и он моргает веками». Бунин произнес афоризм: «Лучше быть больным и сытым, чем здоровым и голодным». Потом шутил по поводу Альбо-

ва (как обычно, с совершенно невозмутимым лицом): дескать, тот покоится два часа на Волковом кладбище, часок прогуливается по Невскому, справляется в бюро похоронных услуг о новейших русских писателях и названиях их только что изданных произведений и снова отправляется спать на Волково кладбище.

Бунин изобразил, как Найденов, не знающий иностранных языков, изъяснялся недавно за границей. В Германии: «Kellner — Birr!»[407] и во Франции: «Garçon, ici — Kanják»...[408] Все смеялись, в том числе и Найденов, сидевший рядом с Буниным. Потом все четверо начали искать случая поддеть друг друга и посмеяться над произведениями своего соседа — без малейшей зависти или тайной злобы; на удар следовал ответный удар и тотчас же парировался под общий хохот. Чириков (вопреки ожиданию, пришел со своей женой) имитировал голосом, выговором и видом старого крестьянина.

Было очень весело, и могло бы быть еще веселей, если бы больше выпили. Конечно, мы пили, но умеренно, потому что вечером все должны были ехать (я сказал, что не смогу) к Найденову, собиравшемуся читать свою новую драму.

5 октября 1906

28 сентября умер Подкольский (настоящая фамилия — Пузик). Я почти не был с ним знаком. В моем альбоме автографов он оставил такую запись: «*Автор “Будней” и “Вечером”, бытописатель маленьких сереньких людей и сам такой же маленький серенький человек*

В. Подкольский

15 октября 1902 г.»

А на своем портрете написал: «*Ф.Ф. Фидлеру от В. Подкольского 18/X. 1902*». —

29 октября 1906

Вчера посетил Познякова. Вид у него свежий, но состояние здоровья не улучшается <...>. Академия оставляет за ним его квартиру и по-прежнему выплачивает жалованье. От гимназии за свою двадцатилетнюю службу он будет получать ежегодно 440 рублей, возможно, и больше. Ничего не пишет. Мария Романовна поступила на службу и получает 35 рублей в месяц. — —

Кроме того, вчера состоялся Товарищеский обед. Совсем неожиданно пришел Василий Немирович-Данченко (лишь позавчера вернулся из-за границы). Рассказывал про Потапенко, который живет в Париже и прилежно играет в рулетку в его окрестностях; собирается возвращаться в Россию лишь после того, как наберет сто тысяч рублей, ибо здесь, по словам Потапенко, ему нельзя показаться перед кредиторами. Куприн привел в качестве гостя Александра Се-

рафимовича (монгольский тип; держался просто; говорил мало). В выборах новых постоянных членов приняло участие пятнадцать человек. Баллотировались: Южаков (единогласно) и Невежин (четырнадцать голосов; Куприн был против). А. Зарину предстоит ряд политических процессов (по делам печати); в целом ему грозит три года тюремного заключения. Присутствовали также: священник Петров, С.Н. Филиппов, Измайлов, Баранцевич, Лихачев, Чириков, Аничков (явился впервые и уже поздно, когда многие разошлись), Будищев, Брусянин, Черниговец-Вишневский, Фалеев, Лазаревский, Карпов и доктор Жихарев.

Я прочитал следующее письмо Кравченко (ко мне):

«13 октября 1906

Дорогой Федор Федорович,

По легкомыслию, совершенно не подумав о том, что я делаю, я совершил гадость, которую трудно поправить, а посему не считаю себя вправе оставаться членом Товарищеских обедов и прошу меня вычеркнуть из списка.

Если бы товарищи пожелали меня выслушать — я сделал бы это охотно и только после такого разъяснения, когда, быть может, нашлись бы лица, понявшие мой невольный проступок и извинившие его мне, я мог бы подумать о восстановлении добрых отношений и, выслушавши их совет, попробовать сделать все возможное для восстановления моего доброго имени.

Ежедневно я могу быть свободным до 7 часов вечера или от 10 вечера.

Ваш слуга

Н. Кравченко».

Как рассказал мне Кравченко у Карпова и как разъяснил вчера Карпов всем присутствовавшим, эта история выглядит вкратце следующим образом:

Несколько месяцев назад князь М. Волконский попросил у Кравченко предоставить ему для его готовящегося сатирического журнала «Плювиум» несколько карикатур, уже выполненных художником. Первая картинка: безголовый Витте сидит на лошади (то есть России); вторая картинка: лошадь сбросила Витте; третья картинка: крестьянин поймал и усмирил лошадь (все выдержано, таким образом, в совершенно либеральном духе!). Кравченко согласился, потому что ничего не знал о направлении журнала. Когда же журнал вышел в свет (с двумя первыми картинками) и Кравченко, увидев остальное его содержание, понял, что это издание имеет наихудшую ретроградно-черносотенную тенденцию, он тотчас же отказался от сотрудничества.

Участники Обедов не усмотрели в этом ничего такого, что противоречило бы нашей этике и вере, удовлетворенно восприняли покаянный и искренний

тон письма и объявили, что считают инцидент исчерпанным. Итак, Кравченко остается членом нашего содружества.

Когда появился Немирович-Данченко, все увидели, что его седая бородка коротко пострижена. Выяснилось, что в Милане, пытаясь вскипятить на спиртовке чай, он опалил себе бороду. В течение лета, проведенного за границей, он написал роман «Балмашев», предварительно изучив ряд источников.

У меня есть особый альбом, который называется «4 ноября»; в нем расписываются все гости, посещающие меня в этот день. И вот только сейчас я обнаружил в нем стихотворение Панова, записанное год назад:

Страна родная, нам дорогая,
Коснела долго и спала;
Она проснулась, вся встрепенулась
Для кары нынешнего зла.
В стране свободной на всенародный
Святой, неумолимый суд
Из сильных, властных всех ей опасных
Врагов закона приведут.
Тогда бесправье, свое бесславье
Сознав, шатнется и падет...
К свободе, к свету, под песню эту,
Вперед, вперед! Смелей вперед!

4 ноября 1905 г.

2 ноября 1906

Зашел к Вейнбергу. Он обещал, что придет ко мне послезавтра, если будет чувствовать себя так же хорошо, как сегодня. Постоянно боится упасть в обморок. Сказал, что молодые русские писатели обращаются с ним *пренебрежительно*: недавно в каком-то обществе он встретил несколько совсем молодых поэтов, и ни одному из них не пришло в голову подойти к нему и познакомиться. «Не мог же я сам представляться!» — Он (Вейнберг) вновь утвержден в качестве директора гимназии и реального училища Гуревича; но будет лишь представительствовать в надежде, что следующей осенью власти допустят к директорству Якова Яковлевича Гуревича. По поводу послезавтрашнего дня сказал: «Вы же знаете, как я Вас люблю! Но этот четвертый этаж... во всех комнатах накурено... я ничего не ем и не пью... в одиннадцать ложусь спать... мои обморочные состояния... но даю Вам честное слово: я зайду на часок, если буду чувствовать себя так же, как сейчас». — —

Заходил Мюр. Он надеялся, что мой перевод шести его стихотворений уже напечатан. Но поскольку этого пока не случилось, мне пришлось прочитать ему вслух перевод каждого стихотворения. Я извинился, объяснив, что теперь в

«Herold» публикуются лишь умершие авторы: Панов, Оболенский, Порфиров. «Ну, если Вы будете ждать моей смерти, это дело затянется очень надолго! Ведь я умру в 1941 году — на 89 году жизни». — «Откуда Вам это известно?» — «Я — спирит, и духи сказали мне об этом!» — —

Ко мне пришел А.А. Плещеев с просьбой о помощи. Некто Бальтерман (еврей), укрывшись под псевдонимом Скиталец, выполнил за пять дней заказанный ему перевод драмы Бера «Struense», которая поставлена сейчас в театре Некрасовой-Колчинской. При этом он совершил плагиат, воспользовавшись переводом Плещеева-отца. Я прочитал отдельные места в обоих переводах, сличил их с оригиналом (А.А. Плещеев не знает немецкого) и пришел к выводу, что Скиталец действительно многое украл. Теперь Плещеев просит меня помочь ему разоблачить плагиатора. Через неделю отправлюсь к нему (Плещееву), дабы предпринять дальнейшие разыскания. — —

Дополнение к записи о Вейнберге. Он сказал, что сделал представление в Академию, чтобы существующую (и вот уже много лет преданную забвению) премию за лучшую драму[409] присудили Найденову — за «Детей Ванюшина».

6 ноября 1906

Позавчера — мой день рождения (47 лет). Было шестьдесят человек, среди них: Андрусон, Е.В. Аничков, М. Арцыбашев, Брусянин, Булацель, Будищев, Бороздин, Баранцевич с женой, Фалеев, Галина, Я.Я. Гуревич, Гриневская, Ермилов, Семен Юшкевич с женой (Найденов написал ему — предварительно заручившись моим согласием, — чтобы он приходил; письмо было доставлено через нашего дворника; он находился в театре и явился после двенадцати), Карпов с женой, Н.А. Котляревский, Кремлев, Каменский, Лукашевич, Лазаревский с женой, Лукьянов, Муйжель, Василий Немирович-Данченко (подарил мне хрустальный стакан с цветным гербом Нюрнберга), Невежин (напился), Рукавишников, священник Петров, А. Зарин, Брешко-Брешковский, Лихачев, Серафимович, Сальников, Свитыч (Иллич), Шиле (хлестала мадеру из пивной кружки и так напилась, что ее пришлось уложить на постель; она заснула, и ее невозможно было разбудить. Позор!), Свирский, Южаков, Владимир Тихонов, Чириков с женой (пришел к началу, уже в три часа), Черниговец-Вишневский, Чебышева-Дмитриева, Чюмина, Ватсон, Венгеров с сыном Алексеем и сестрой Зиной.

Мамин был весел и трезв. Он ночевал у нас и утром, в половине девятого, выпил бутылку пива (последнюю из шестидесяти, оставшуюся не выпитой; вчера, в воскресенье, все винные лавки были закрыты до двенадцати часов) и стакан вина; при этом он в высшей степени разумно и тонко рассуждал о стихах Лохвицкой и даже процитировал несколько строк — я прямо онемел от изумления.

Куприн прочитал обращенный «ко мне» адрес:

Многоуважаемый Евгений Васильевич,
Господин Пр[иват]-Доц[ент] Аничков,*

Вы просили нас сегодня, когда Петербург потрясен неожиданной вестью, что Ф³, он же русский немец, усовершенствовавший многих русских авторов германским пересказом, достиг маститого возраста шестидесяти семи лет, в коем он своим титулованным ученицам не столько опасен, сколько полезен, авторам же безвреден, содрав с оных все реликвии вплоть до археологических панталон, а со старцев вплоть до песка, коим они благоговейно посыпали саркофаги великих предшественников,

итак, Вы просили сообщить Вам для ближайшей Вашей лекции в Оксфордском и Кембриджском университетах, Сморгонской академии изящных искусств и гуманитарно-пиротехнических наук, а также и в Царевококшайском[410] *имени Его Императорского Величества Козьмы Пруткова Лицее, сообщить Вам некоторые биографические сведения о Ф.Ф. Фидлере и его подражателях и переводчиках: Конфуции, Гомере, Шекспире, Брешко-Брешковском, Шиллере, Данте, Дмитрии Цензоре, Жорж Занд, Галиной, еще не родившемся поэте Моисее Финкельштейне (Финн) и уже усопшем поэте Аполлоне Коринфском,*

то, исполняя Ваше желание, добросовестно иже свидетельствуем, что оный Фидлер, будучи воспитан во многих женских заведениях (учебных) с нежнейшего возраста до седины в ребре отличался:

1) примерным для хрестоматии безнравственным поведением,

2) аттическим носом,

3) пил пиво,

4) закусывал колбасой, уверяя, что она с крыльями (идеализм немецкий, см. Клопштока),

5) рождался только раз в год

и 6) но несмотря, был горячо любим всеми писателями, как прошедших веков, так и настоящих, а равно и будущих.

Скрепили:

Член многих тайных экспедиций Александр Куприн.

Любитель пиротехнического добровольчества, он же презус Сморгонского общества ревнителей медвежьего просвещения Василий Немирович-Данченко.

Нерукотворный образ калмыцкой Богородицы Анатолий Каменский.

В качестве стороннего свидетеля Г. Петров.

То же и я Ф. Батюшков.

1906 г. Ноября 4 дня.

Писал Иван Яковлев.

* Куприн произнес «Прдоц» и оглянулся на присутствовавших дам.

Текст написан рукой Каменского. — —

Уже за несколько недель я стал опасаться, что ко мне в этот день явится непрошеным гостем хулиган Маныч (мне даже говорили, что у него есть такое намерение). Чтобы это предотвратить, я заранее сообщил разным людям, что не приму его, а в случае необходимости спущу с лестницы. И вот позавчера я получил от него нижеследующее написанное карандашом письмо (адрес на конверте: *Переводчику* и т.д.):

Федор Федорович Фидлер!

Мне передали (лицо вполне реальное), что Вы опасаетесь моего визита к Вам сегодня.

Уверяю Вас, что подобная мысль мне даже в голову не могла придти и, простите меня, я должен упрекнуть Вас в некоторой самомнительности.

Это во-первых — а затем, что это за малодушие — передавать через кого-то что-то и т.д.

Поверьте, если бы Вы незваным явились ко мне на мой семейный праздник, то я, не задумываясь, указал бы Вам на Ваши калоши.

Итак, будьте покойны — я не испорчу своим появлением настроения Вашего литературно-фидлеровского шабаша и упитанные мордасы Тихонова будут в полной безопасности.

Петр Маныч.

Владимирский 10, к. 15.
4 ноя[бря] 1906.

Поздравления прислали: Бухарова, Измайлов, Засодимский, Пантелеев, С.Н. Филиппов, Луговой, Коринфский (телеграмма), Потапенко (телеграмма из Парижа) и Фельдман (телеграмма из Парижа). — —

Вчера на завтрак (для желающих опохмелиться) явились Альбов, Баранцевич, Томашевская, Зацимовский и Жихаревы. Пели и танцевали (Альбов сидел безучастно). Но уже в семь часов я пошел спать: устал как три собаки.

9 ноября 1906

Вчера — именины Альбова. Очень хороший прием. Шутки и смех вызывал Сальников — он, словно гурман, смаковал произнесенное устно и написанное на бумаге (рифмы в стихотворении Баранцевича были придуманы мной). Когда я сказал, что у меня есть листок с пушкинского кипариса в Гурзуфе[411], а Баранцевич добавил, что для моего «музея» мне следовало бы выкопать весь кипарис, Лихачев стал уверять, что у меня есть даже «Три пальмы» Лермонтова и что

когда-нибудь я умру под «Анчаром». А когда Лихачев сказал, что завидует Баранцевичу, живущему по соседству, тот предложил ему переночевать у него и запел (на мотив «*Мой костер в тумане светит...*»): «*Мой диван к твоим услугам, Там ты можешь ночевать...*» И Лихачев моментально дополнил: «*Будешь ты моим супругом...*» Лихачев вполне серьезно сказал по поводу моего перевода его стихов: «Прочитав их, я почувствовал уважение к самому себе как поэту...» Присутствовали также братья Святловские и Измайлов (говорил очень мало и первым ушел после ужина).

12 ноября 1906

Вчера — Товарищеский обед. К началу голосования нас собралось четырнадцать человек. Баллотировались: Ермилов (получил пятнадцать голосов), Косоротов (пятнадцать), Серафимович (пятнадцать), Лукьянов (четырнадцать) и Кремлев (двенадцать).

Присутствовали: Мюр (в качестве гостя), Кравченко (вошел в кабинет с напускной развязностью — следствие робости), Невежин (пил водку, капая себе в рюмку медицинские капли), Будищев (увлеченно пишет какой-то роман), С.Н. Филиппов, Найденов, Чириков, Аничков, Лазаревский (принес второй том своих «Повестей и рассказов» с вклеенными в него фотографиями женщин — прототипов его героинь, и всем их показывал), Фалеев, Владимир Тихонов, Ладыженский, священник Петров (без креста на черной рясе), Хирьяков, Южаков (выпил семь рюмок водки вперемешку с вином и пивом) и доктор Жихарев.

<...>

Уже несколько лет Сологуб просит меня придти к нему в воскресенье на журфикс. Но поскольку я накануне выходного дня почти еженедельно посещаю одно вечернее собрание, которое затягивается до поздней ночи, мне так ни разу и не удалось его навестить. Однако сегодня, в пять часов, я отправился к нему. На мой вопрос, почему он так редко присутствует на наших Товарищеских обедах, Сологуб ответил: «Что это за товарищи, для которых я — *пустое место*?! Баранцевич, например, смотрит на меня свысока — как на *прохвоста* и декадента. Сколько раз я подходил к нему — он отворачивался, не удостоив меня даже вежливо-холодным словом!» Я пытался разубедить его, но он упорно повторял: «Как на прохвоста!.. Как на прохвоста!.. Как на прохвоста!..» И, наверное, лишь его возбужденностью можно объяснить тот факт, что он назвал Льва Толстого «бездарным, глупым и безнравственным человеком». «Лев Толстой?» — переспросил я удивленно. «Да, ваш великий, гениальный Толстой!»... Постепенно он успокоился и рассказал историю про Фофанова. Как-то раз они пили пиво на Караванной. Фофанов начал декламировать свои стихи. Разные полупьяные и полуинтеллигентные посетители придвинулись к нему ближе, Фофанов продолжал читать, а потом ударил себя в грудь и воскликнул: «Я — Фофанов! Меня

читает сам император!»... О Бальмонте же говорят, будто он в Москве на Кузнецком мосту выкрикивал: «Я — *сверх-бог*!»

Помимо трагедии «Дар мудрых пчел», он (Сологуб) написал двухактную драму, которая построена на инцесте (отца с дочерью) и называется «Любви»[412]: «Это можно рассматривать и как множественное число, и как дательный падеж».

Он подарил мне свыше тридцати писательских писем к нему. Несколько пачек он отложил в сторону. Сказал, что я получу их позже, потому что сейчас они нужны ему самому для изучения. Дело в том, что уже около десяти лет он пишет роман из писательской жизни.

14 ноября 1906

Навестил Венгерова. К нему только что заходила жена Сильчевского и просила, чтобы Литературный фонд оказал ей поддержку. Говорит, что ее супруг сошел с ума: бегает по улицам Лесного в ночной рубашке, надев на голову цилиндр, и бьет в домах оконные стекла.

18 ноября 1906

Желая поставить своими силами новый спектакль, писатели собрались вчера в Драматической школе Юрьева[413]. Зоя Яковлева рассказала мне, что похоронила в саду своего имения на берегу Невы двенадцать обезьянок; теперь у нее вместо обезьянок — аффенпинчер. Присутствовали также: Баранцевич, Фальковский, Чириков с женой, Найденов, Тихонов, Ермилов и Дымов. В половине двенадцатого все отправились к Н.Н. Ходотову, у которого было уже множество гостей.

Во время ужина речь шла о том, что описание национального *быта* и нравов нынче уже не имеет права на существование; литература должна обратиться к человеку как таковому. Это сказал Дымов; его поддержал Чириков, начисто отрицавший при этом все заслуги Островского в изображении людей. Далматов возражал ему и заявил, что ненавидит Эдисона за то, что тот изобрел электричество; прежде, при сальных свечах, писалось куда лучше. Рукавишников сказал, что значение писателя зависит от того, насколько его переводят и известен ли он за границей; кроме того, требовал, чтобы из музеев убрали все картины, на которых изображены цветы и фрукты: мол, натюрморт как жанр никому не нужен. Все живущие ныне русские писатели старшего поколения оказались в этом споре попросту вынесенными за скобки; будущее принадлежит якобы лишь молодым.

Чириков рассказал, что ему пишут из Германии о том, что его пьеса «Красные огни» (я должен был ее переводить) почти не имеет шансов на успех: символистские пьесы якобы не находят себе зрителя. Чириков предложил мне пере-

вести его пьесу на мой собственный страх и риск. Я отговорился тем, что занят. Несмотря на мой отказ, Чириков продолжал называть меня Федей и на «ты». Я и оглянуться не успел, как он усадил меня к себе на колени, стал ощупывать мои груди и неожиданно раздвинул мне ноги. Должен заметить, что он был лишь слегка нетрезв. Впрочем — honny soit![414] Свидетели этой сценки добродушно смеялись.

Я спросил Дымова, почему он так редко посещает наши обеды, и он ответил: «Не выношу грубостей Мамина». Изображал разных писателей, но не стал имитировать Флексера, хотя все об этом просили; Флексер сидел тут же и качал головой, то шутя, то всерьез протестуя. Свирский побыл недолго — у него ночная работа в его (?) газете[415]. Юшкевич, видно, нигде не появляется без своей жены; держался олимпийски безучастно и ни разу не улыбнулся. Он запамятовал мое имя и отчество, но хорошо помнит, что пять лет назад сделал какую-то запись в моем альбоме. Зато очень мил был курчавый студент по имени Дмитрий Цензор, талантливый поэт; он приходил ко мне 4 ноября, однако лишь постоял возле портье, не решившись подняться в квартиру. Лазаревский был в высоких сапогах. Присутствовали также: Ладыженский, Гарин, бывший депутат Жилкин, композитор Вильбушевич, актриса Потоцкая и др. Я ушел в пять часов; в доме было еще полно народу. — —

Вчера, для обсуждения писательского спектакля, собрались у Фальковского. Живет роскошно (Садовая ул., 32); платит за квартиру 181 руб. ежемесячно. Тихонов снова дразнил меня, повторяя свои шутки по поводу немцев; например: «Знаменитые франкфуртские сосиски делают из мозолей» или «Немцы рождаются слепыми». Кроме того, присутствовали Ермилов и Баранцевич.

С последним отправился в ресторан Неменчинского <...>

Забыл отметить, что в кабинете Фальковского, украшенном шатровыми портьерами, статуями, картинами, высокими стульями, перетянутыми сафьяном, и т.д., стоит на металлической подставке большая, элегантно переплетенная книга, на которой вытиснено: «Автографы». Но таковых в ней немного, среди них — фофановский: «*Я есмь Господь твой...*» Записано в Гатчине (в 1900-м, если не ошибаюсь, году); Фофанов уверял тогда Фальковского, что он (то есть Фофанов) — бог.

Фальковский приглашал нас на свои журфиксы — по пятницам, с двух часов.

23 ноября 1906

Сегодня, наконец, принял приглашение Зои Юлиановны Яковлевой и посетил ее журфикс. Подлинный «салон» с «холеными господами и дамами»[416] из «знатного» общества. Поцелуи ручек, расшаркивания. Five-o'clock tea[417]: серебряный чайничек, печеньице тоньше дождевого червя. Французская болтовня. Через четверть часа я улизнул sans adieu[418].

24 ноября 1906

Сидел около часу у С.Н. Филиппова («Пале Рояль», № 140). Он хорошо знал покойного Гольцева; отзывается о нем дурно: мол, эгоист, создавший себе ореол политического мученика, хотя никто никогда и не думал преследовать его за политику. Старика Юрьева, этого «короля Лира», который был создателем и душой «Русской Мысли», он попросту выгнал из редакции. Многим курсисткам, приходившим к нему за советом, он преподносил такой совет, от которого им удавалось избавиться лишь спустя девять месяцев (это мои слова; Филиппов выразился куда проще. — *Ф.*). К себе в редакцию он взял на работу молодую жену московского врача Мильковского и тут же вступил с ней в интимные отношения; более того: совратил и ее шестнадцатилетнюю сестру и жил одновременно с ними обеими, устроив таким образом ménage à trois[419]. — —

Плохо отзывался Филиппов и о Невежине. В Москве его называли не иначе как «литературная салопница». Невежин, по его словам, — лицемер и клеветник, скупердяй и завистник, страдающий самообожанием. Когда Филиппов — тому уже много лет — раскритиковал какую-то новую пьесу Невежина, тот грозился его убить. У него был тогда еще более отвратительный нарост на носу (вероятно, следствие сифилиса): бородавка на бородавке, с прыщами, из которых что-то сочилось.

Филиппов ругал и Владимира Тихонова. Несколько дней назад Тихонов занял у него два рубля, пообещав, что вернет деньги в тот же вечер; но этого до сих пор не произошло. «Он — хулиган и лжец!» Кроме того, он (Тихонов) оклеветал его (Филиппова) перед одной дамой. — —

После этого я отправился к Тихоновым — поздравить Котика с днем ангела. Присутствовали: Булацель, Косоротов (возмущался каким-то рецензентом, разбранившим в «Петербургской Газете» еще не поставленную пьесу Найденова «Стены», да и вообще ополчался на разных проходимцев вроде Маныча, которых, по его словам, немало развелось теперь в русской литературе) и Виктор Иванович Лутугин, которого — единственного из всех — супруги пригласили к обеденному столу. Приглашение было принято. Мы сидели втроем, ели черный хлеб с кильками, искусно разложенными Косоротовым, и пили пиво. Тихонов рассказал, что однажды у Ходотова он дал Манычу пощечину, а позже, когда он надевал пальто, Маныч подкрался сзади и ударил его в лицо.

16 декабря 1906

Вчера, во время репетиции «Ревизора» в Новом театре[420], Чириков сообщил мне следующее. Недавно он посетил в Москве семью Леонида Андреева. Его жена умерла при родах (мальчика) от воспаления матки — после нескольких

тяжелейших операций. Андреев часами сидел безмолвно, съежившись и погрузившись в себя. Сейчас он в Неаполе у Горького. (Он сопровождал тело жены до Эйдкунена[421].)

7 января 1907

Был вчера у Найденова (Васильевский остров, 13-я линия, д. 44, кв. 1). Мил как всегда. К сожалению, я не мог с ним ни о чем поговорить: было еще трое не-писателей, а разговор шел на «общеевропейскую» тему (Гейне). Впрочем, говорили и о Горьком, коего Найденов находит весьма образованным в литературном отношении и о котором Чехов сказал ему однажды: «Он закончил пять факультетов!» — —

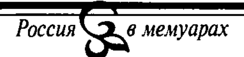
Затем — к Лазаревскому (14-я линия, д. 5). У него тоже было двое гостей, непричастных к литературе. Его свояченица Лиза (сестра жены) произвела на меня неблагоприятное впечатление: неинтеллигентна внешне и внутренне, жеманна внутренне и внешне. Упоминаю об этом, поскольку Лазаревский в нее влюблен. Мне это известно не только из его многократных устных рассказов, но также из его дневника за 1906 год, который он вчера передал мне для моего «музея»... Мне кажется, он безумен или скоро сойдет с ума. — — <...>

21 января 1907

Вчера — 49-й Товарищеский обед. Нам был предложен — исключительный случай! — другой, нежели обычно, кабинет, весьма неуютный, что сказалось на нашем настроении. Было скучно. Присутствовали: Чириков, Баранцевич (ничего не пил), Бороздин, Хирьяков, Тихонов, Червинский (неофит), Измайлов, А. Зарин (растянулся во весь рост на диване, что кое-кому не понравилось), Позняков, Ермилов, Боцяновский (неофит), Венгеров, Авенариус (ничего не ел, ничего не пил и незаметно удалился, пробыв самое большее десять минут), Невежин (у него закапала кровь из носовой перегородки — он плюнул на носовой платок и приложил его к носу), Лукьянов, Фалеев (попросил меня огласить приговор третейского суда по делу его и Арцыбашева, что я и сделал), Зацимовский, Брусянин и, в качестве гостя, Муйжель (и некто Козьмин). Из пятнадцати голосов Гусев-Оренбургский получил пятнадцать. В восемь часов он явился собственной персоной. Была отправлена телеграмма священнику Петрову — с выражением сочувствия[422].

Зарин, как обычно, собирал автографы для альбома своей дочери. В нем есть строки, записанные рукой Фофанова:

Толстой бранит Шекспира,
Толстого Иоанн[423] *—*



К чему же разум мира
И для чего он дан?

Дата: 16 ноября 1906.

Он, Фофанов, передал мне через Измайлова свою драму «*Железное время*» вместе с письмом.

2 февраля 1907

Вчера, в четверг — журфикс у Чирикова. Около тридцати человек народу. Серафимович читал свой первый драматический опыт — еще не озаглавленную одноактную пьесу, диалогизированный вариант его повести «В семье». Пьесу резко критиковали: Чириков, Дымов, Тимковский (первое знакомство). Серафимович, прислонившись к камину в парадной комнате, пытался делать хорошую мину при плохой игре. Юшкевич, слегка захмелев, производил приятное впечатление; но его жена мне не нравится. Присутствовали также: Флексер, Лукьянов, Щепкина-Куперник с мужем, Муйжель и Арцыбашев.

Кто-то рассказывал о полученном с Капри письме от Леонида Андреева, который сообщает, что Горький слег с тяжелым заболеванием (кровохарканье) и что ухаживает за ним Екатерина Павловна, его законная супруга, прибывшая с сыном на Капри; а М.Ф. Андреева деликатно удалилась в Неаполь. — —

Сегодня приходили Тимковский с женой и Молоствов, пророк Флексера, — желали осмотреть мой «музей». Остались очень довольны.

Сегодня, в четыре часа дня, зашел к Куприну. В конторе сидела в кассе его жена[424]; она сказала, что Куприн явился домой лишь полчаса тому назад и спит сейчас непробудным сном: он гулял всю ночь с молодым книготорговцем Гогой Поповым (тот, по слухам, получил в наследство от своего недавно умершего отца около миллиона и ведет теперь разгульную жизнь, — это мне приходилось слышать с разных сторон).

11 февраля 1907

Вчера в ресторане «Малоярославец» состоялся наш юбилейный (50-й) обед; присутствовало около 70 человек (я записал на меню фамилии 66-ти участников, но твердо знаю, что их было больше). На этот раз разрешено было — в виде исключения — присутствие дам: члены Обедов явились со своими женами (в кавычках и без); я привел свою дочь. Было уже семь часов, а священник Петров, чье имя в последние недели у всех на устах, все не появлялся, так что возникло опасение: а вдруг он уже арестован и отправлен в монастырь. Наконец

он появился; все приветствовали его долгими аплодисментами. Он произнес обращенную ко мне юбилейную речь и передал мне золотой жетон в виде книжечки с сорока выгравированными на ней автографами «обедающих товарищей» (ряд автографов был им получен уже после того, как ювелир закончил свою работу; кое-кто из присутствующих не получил его письма с предложением прислать автограф — в общем, мне придется дополнительно заказать гравировщику отсутствующие фамилии). А поскольку этот жетон может затеряться, я хочу переписать здесь выгравированное на нем «посвящение». На «переплете»:

«Т.—О.» (50), 10/II. 1907.

*Ф*³ (так я обычно подписываюсь)

Товарищи-литераторы.

На «титульном листе»:

Талантливому министру
иностранных дел
великой
русской литературной
республики
Ф.Ф. Фидлеру.

Позняков пришел со своими обеими (замужними) дочерьми; швырялся деньгами: угощал желающих выпить коньяком, мадерой, шерри-бренди и шампанским. За обедом писал карандашом экспромты, в связи с чем Черниговец-Вишневский сымпровизировал:

Карандашом, а не пером ты
Заготовляешь здесь экспромты.

Речь Измайлова (в стихах) вызвала шумный успех. Тост за меня поднял и Карпов (назвав меня варягом, призванным наводить порядок); а также — Невежин. Несколько дам изъявили желание поцеловать меня, чему я не стал противиться. При этом допустил оплошность: забыл, что Чебышева-Дмитриева уже целовала меня. Она возмутилась — сперва в шутку, потом — всерьез; смутившись, я заключил ее в объятья, прижал к стене и поцеловал — лицо ее в тот же миг засветилось примирительной улыбкой. Гриневская — в свойственной ей стыдливо-жеманной манере — выразила желание поцеловать меня вторично; я

доставил ей это удовольствие. Ольга Шапир воздержалась от поцелуя, сообщив другим, что утратила право целовать кого-либо: больно стара... Мы сфотографировались, причем Лазаревский и Арцыбашев, встав посередине, приняли броские позы. Присутствовали также: Куприн (пришел навеселе, но не скандалил), Брусянин, Ермилов (задолжал за угощение 1 руб. 80 коп., так что нам пришлось за него платить), Шиле (извинилась передо мной за то, что слишком много выпила 4 ноября прошлого года), Тихонов с женой (Барвинок), Лихачев, Рышков, Василий Немирович-Данченко, Будищев (забыл, что обещал привести с собой вдову Подкольского, и поехал за ней из ресторана на Сергиевскую), Серафимович, Лукьянов, Фалеев, Альбов (записал в мой альбом «Товарищеские обеды» свое первое стихотворение; ничего не пил), Зарин, графиня Муравьева, Кремлев (с очень милой женой), Филиппов (пришел после обеда и выпил лишь бутылку пива), Щеглов (прикрывал себе салфеткой лицо, когда мы фотографировались при вспышках магния), Хирьяков, Журавская, Боцяновский, Червинский, Дымов, Тэффи (пришла с Косоротовым), Кравченко (дерзил мне), Баранцевич (не пил ни капли), Галина, Чириков, Сухонин, Гусев-Оренбургский, А. Федоров, Allegro, Вилькина, Зинаида Венгерова, С.А. Венгеров и Аничков. Множество записей в моем альбоме — приведу их при случае.

Явился также поэт Василевский, но тут же улетучился, поскольку вход для гостей был вчера закрыт. Многим хотелось присутствовать в качестве гостей, но я воспрепятствовал этому, согласно общему решению на 49-м обеде.

Было очень славно и уютно.

Позняков, не стесняясь, рассказывал сидящим рядом о похождениях своей жены: «Мои друзья не посещают меня или, встретив меня, опускают глаза, потому что все они спали с Марией Романовной!»

19 февраля 1907

14 числа сего месяца священник Петров отправился к месту своей ссылки. Мне не удалось его проводить, но вчера я отправился к нему в Черменецкий монастырь. В Луге мы наняли сани и промчали, при великолепной предвесенней погоде, восемнадцать верст до острова, на котором возвышается монастырь. Петров, спеша нам навстречу, успел пройти изрядное расстояние по льду озера. Он живет не в монашеской келье, а в маленькой комнатке монастырской гостиницы; на столе у него лежала книга — речи Жореса (по-русски). Его несколько утомляет лишь церковная служба, длящаяся — с перерывами — восемь часов (заутреня начинается уже в пять), в остальном же он чувствует себя превосходно; все относятся к нему хорошо. «Мое наказание столь незначительно, что прямо стыдно!» Одновременно со мной к Петрову приехал (помимо его

жены, сына и свекра, Ксении Жихаревой и корреспондента Аркадия Вениаминовича Руманова) Василий Немирович-Данченко. Он привез с собой различные скоромные продукты и бутылку дорогого шампанского. Дорогой и в монастыре мы беспрестанно дразнили друг друга: он называл меня «Нюрнбергская девственнница»[425], а я его — «*Севильский идол*». Он ехал в санях, запряженных парой лошадей (мы — всего одной лошадью), и Баранцевич изрек: «Одна лошадь — для Немировича, другая — для Данченко». Измайлов сказал мне, что сомневается, будет ли его драма поставлена в Малом театре: старик Суворин говорил Измайлову, что ему лично пьеса понравилась, но вопрос о том, принять ее или не принять, решает якобы не он один. Такой ответ не сулит ничего хорошего, ибо Суворин все решает самолично.

2 марта 1907

Вчера — Товарищеский обед. В качестве гостей присутствовали: Скиталец (его лицо стало совсем невыразительным и никак не соответствует образу человека, исполненного жаждой деятельности, — таким он выглядит на портретах), Федор Е. Зарин, некто Румянцев и некто Гурвич. В качестве гостя пришел и Юшкевич, которому предстояло баллотироваться; во время процедуры он спокойно сидел за столом и получил 19 голосов из 20. Козьмин явился сразу же после голосования (получил 17 из 20). Ф.Д. Батюшков получил 20 из 21, Муйжель — 17 из 20, Рафалович — 16 из 20 и Александр Яблоновский — 19 из 21.

Продолжительные дебаты развернулись вокруг «дамского вопроса». Все единодушно проголосовали против полноправного участия женщин в наших Обедах. Дамам (писательницам и не-писательницам) разрешается присутствовать на правах гостей три раза в году: 14 декабря (день памяти декабристов), 1 марта (в память о вчерашнем собрании) и на последнем обеде перед летними каникулами. Особенными женоненавистниками проявили себя Баранцевич, Карпов, С. Филиппов, А. Зарин и Лихачев.

Присутствовали также: Червинский, Порошин, Лукьянов, Ермилов, Будищев, Кремлев, Рышков, Тихонов, Брусянин, Хирьяков, Измайлов, Невежин, Серафимович, Лазаревский и Арцыбашев.

Лихачев рассказал историю, случившуюся вскоре после открытия памятника Екатерине[426]. Из находившегося напротив ресторана «Старый Палкин» вышел Иванов-Классик и произнес импровизацию:

Екатерина перед нами.
Что за осанка, что за вид!
Меж исполинскими х.
Она сама, как х., стоит.



5 марта 1907

Вчера — именины Баранцевича. Позавчера Дарья Николаевна жаловалась мне, что должна съездить на день в Саблино, потому что на 16 рублей, переданных ей в моем присутствии, она не сможет устроить ужин (кроме того, из тех же денег нужно оплатить два обеда). Баранцевич собирался выставить всего двенадцать бутылок пива, и лишь когда я в шутку сказал, что один выпью семь бутылок, он дал согласие на восемнадцать; я подарил ему пять бутылок белого вина, которые он вчера у меня и забрал. Вышло, однако, в высшей степени скучно и трезво. Карпов более часа мучал публику — читал рассказ Глеба Успенского. До этого, во время ужина, он рассказывал о Невежине, попросившем его возобновить постановку его «*Непогрешимых*». Когда Карпов отказался, Невежин заявил: «Я — майор!.. Мне прострелили левую руку... Но в правой руке у меня (и он выхватил огромный кинжал) — вот это!»

Щеглов рассказал, что Невежин подарил ему свою драму «Друзья детства» с такой надписью: «Образец того, как надо писать хорошую драму»... <...>

Присутствовали также: Альбов, Сальников, Измайлов и Лихачев.

Баранцевич ничего не пил; вручил мне для хранения пакет с письмами от влюбленных в него женщин, лично ему неизвестных.

11 марта 1907

Вчера у нас обедала Томашевская. Мадам Потапенко снимает квартиру на Васильевском острове, за которую платит 65 рублей, но скоро перестанет платить, потому что это ей не под силу; она надеялась, что Потапенко будет посылать ей ежемесячно двести рублей, но не получает от него ни гроша и содержит себя переводами. Время от времени она видится со своими дочерьми, но каждая встреча длится лишь несколько минут и протекает крайне прохладно. Потапенко написал какую-то оперетту: и текст, и музыку. — —

Вчера — возобновление наших поэтических вечеров. Я не смог открыть их у себя в прошлом сентябре по следующим причинам: 1) болезнь жены, 2) безденежье, 3) нежелание. Первый вечер хотел устроить у себя И.И. Соколов, но тут на несколько месяцев заболела его жена. Вчера у него состоялось открытие сезона.

Сологуб приветствовал меня поцелуем (это о чем-то говорит, ведь недавно между нами произошло — при обмене письмами — небольшое столкновение... об этом при случае!). Поскольку он имел обыкновение подписывать свои стихи псевдонимом «*Сын дьявола*», то Черниговец-Вишневский обратился к нему с вопросом: «Ну, как поживает Ваш отец?»; на что последовал немедленный ответ: «А Вы отправляйтесь к нему и сами спросите». Все засмеялись. Присут-

ствовали также: Афанасьев (жаловался на нездоровье и ушел до ужина), Будищев (с завязанной шеей, но в целом бодр и весел; закончил роман и собирается послезавтра приняться за новый), Габрилович (Галич), Грибовский, Гриневская (в качестве неофитки), Кондратьев, Кильштет, Мазуркевич (ушел до ужина), Мейснер, А. и Ф. Зарины, Штейн, пышнотелая Тэффи, Уманов-Каплуновский с апатически выжидательным взглядом и Вентцель (читал бесконечно длинную политическую сатиру, не вызвавшую на губах у присутствующих ни единой улыбки). <...>

23 марта 1907

Вчера — первое заседание новосозданного Санкт-Петербургского литературного общества. — Баранцевич сказал, что у него был Корецкий с женой и пригласил его на сегодня (он заезжал и ко мне и, не застав меня, оставил письменное приглашение). Кроме того, Баранцевич сообщил (это подтвердил и Тихонов), что Куприн находится в Гельсингфорсе, причем с гувернанткой своей дочери. Это — не кто иная, как Лиза, то есть Елизавета Морицевна Гейнрих, милое и невинное существо, работавшая сестрой милосердия в Маньчжурии, родная сестра Маруси, покойной «жены» Мамина; есть подозрение, что Мамин и сам был влюблен в нее. Какой это для него удар! Говорят, что «Муся» желает развестись с Куприным.

Вечером мы (Баранцевич, Кремлев, Лихачев, Либрович, Шапир и прочие) ужинали в ресторане «Метрополь». Осуждающе говорили о порнографических сочинениях современных молодых беллетристов и о сексуальных извращениях. Венгеров вспомнил о Достоевском, который насиловал детей, и на вопрос Григоровича, почему он находит в этом удовольствие, ответил: «Потому что им больно!»[427]

25 марта 1907

Вчера — 52-й Товарищеский обед. Явились только Невежин, Кремлев, Измайлов, Баранцевич, Рафалович (неофит), Кравченко, Будищев, А. Зарин, Хирьяков, Альбов, Лазаревский и доктор Жихарев.

Баллотировались: Ф. Зарин и И.И. Соколов; каждый получил по девять голосов из десяти.

Должны были также баллотироваться: Л.М. Василевский, В.Л. Якимов и В.К. Измайлов, но их рекомендатели (Лукьянов, Козьмин и Гусев-Оренбургский) отказались от членства[428].

Тема разговора: осуждение порнографии в современной русской литературе. — — <...>

1 апреля 1907

Вчера — поэтический вечер у Кильштет. Присутствовали: Авенариус (ушел до ужина), Вентцель, Андрей Зарин, Мазуркевич, И.И. Соколов, Сологуб (войдя, расцеловался со мной), Уманов-Каплуновский, Кондратьев, Штейн, Тэффи (пришла и ушла с Леонидом Галичем) и Мейснер.

В качестве гостя — студент Дмитрий Иванович Коковцев.

Было скучно.

28 апреля 1907

Получив письменное приглашение от Познякова (он собирался праздновать свой 51-й день рождения), отправился вчера к нему на квартиру вместе с Альбовым и Баранцевичем. <...> Баранцевич рассказывал, как неприятно поразил его молодой Чехов, который в его присутствии покровительственно похлопал по плечу седобородого Плещеева и сказал ему: «*Ну, старче!*»

6 июня 1907

<...> Венгеров рассказывал сегодня о своей встрече с Боденштедтом, состоявшейся в 1881 году в редакции какой-то венской газеты. Боденштедт был нетрезв; говорил о своем американском путешествии: в Милуоки (Боденштедт произносил это слово как «бильбоке»[429]), куда он прибыл ночью; его встречали факельным шествием пятьдесят тысяч жителей. Потом Боденштедт стал хвастаться: «Ваш Тургенев получил известность в Германии только потому, что **я** перевел его». О существовании Льва Толстого он не имел тогда, в 1881 году, ни малейшего представления.

Венгеров говорил о сегодняшней статье Чуковского в «Речи»[430], где тот превозносит Альбова и бранит Баранцевича. Венгеров сказал: «Да, их всегда ставят рядом. Но разве так можно: у Альбова ведь огромный талант, а у Баранцевича — весьма скромный».

Семья Венгеровых озабочена судьбой их сына и брата Всеволода: он где-то скрывается: его разыскивает полиция за агитаторскую деятельность среди рабочих.

16 июня 1907

Венгеров отнюдь не восторгается Толстым-человеком, и вот по какой причине. Это было года три назад. Человеку по фамилии Дейч (не путать с известным беглецом) грозила смертная казнь за политическое преступление. Венге-

ров, уже долгое время состоящий в дружеской переписке с Толстым, написал ему, чтобы тот обратился к царю с прошением о помиловании. При этом он просил Толстого сразу же телеграфировать о своем согласии: земцы, которые как раз в то время должны были торжественно представляться при дворе, согласились сообщить царю о предстоящем прошении и тем самым предотвратить катастрофу. Телеграмма, которую ждали с величайшим нетерпением, так и не поступила, зато через две недели (!!!) пришло письмо, в котором Толстой уведомлял Венгерова, что не написал прошения, поскольку «все равно бы не помогло!»

20 июня 1907

Прогуливался с Венгеровым вдоль озера, потом — у меня.

Разговоры о том, будто Владимир Соловьев жил с Хитрово (племянницей Алексея Толстого и женой покойного поэта и дипломата, посланника при японском дворе) — неправда; он умер девственником.

Венгеров говорит, что знает лишь одного убежденного декадента — это Сологуб, у которого, по словам Венгерова, действительно садистские и педерастические наклонности; к тому же он живет, если верить слухам, со своей родной сестрой, которая в настоящий момент опасно больна (об этом пишет мне, впрочем, и сам Сологуб. — *Ф.*); в «Мелком бесе» он вывел самого себя... Остальные же — просто кривляки и, когда не «творят», — самые обыкновенные люди. Такова, например, Гиппиус-Мережковская — она всегда сама кроит и шьет свои элегантные костюмы; или Зиновьева-Аннибал — великолепно готовит еду и потому последние полгода сама вела хозяйство.

Венгеров «открыл», то есть, ввел в литературу двух известных писателей (помимо Якова Година). Его «Устои» были первым толстым журналом, поместившим стихотворение Фофанова.

Второй — Минский. С ним дело обстоит следующим образом. В 1876 году, когда Венгеров работал в «Новом Времени», Минский передал ему свое стихотворение «*Сон славянина*», и оно появилось, по настоянию Венгерова, в мае или июне того же года в этой газете[431] (в стихотворных сборниках Минского — отсутствует). Минский подписывался тогда как Виленкин, но под тем стихотворением стояла подпись Валевский. Точнее, фамилию самовольно изменил старик Суворин, объяснивший Венгерову, что Виленкин звучит некрасиво: vilain[432]... Это было первое стихотворение, опубликованное Минским... Затем, в 1877 году, «Вестник Европы» поместил в январской книжке стихотворение Минского (как оно называлось, Венгеров не помнит[433]): Минский прочитал его сначала Венгерову, тот передал Утину, тот — Гончарову (заявившему, что давно не читал таких прекрасных стихов), Гончаров — Стасюлевичу, который

и напечатал его в своем журнале. Это стихотворение также отсутствует в сборниках Минского.

Но одно из первых стихотворений известного ныне поэта Венгеров отверг. Это было в 1882 году, когда он редактировал «Устои». В редакцию явился молодой человек, по виду — ученик парикмахера, и жеманно заявил, что пишет только любовные стихи. Венгерову его стихотворение не понравилось, он показал его Минскому, а тот с возгласом «Дрянь!» швырнул на пол... Автором был Льдов.

Я спросил Венгерова, действительно ли брак Минского и Безродной был законным. «Да, — ответил Венгеров. — На свадьбе присутствовал также Альбов и пел свою "Груню с тараканом"». Я спросил, разошлись ли они официально. «Да». — «А почему?» — «Из-за распущенности Минского». — —

Когда я сообщил Венгерову, что получил сегодня письмо от Сологуба, который пишет, что его вынуждают оставить службу (он — инспектор в городском училище), старшая дочь Венгерова сказала: «Меня это нисколько не удивляет. После того, что он понаписал в "*Мелком бесе*"... Ничего себе педагог!..»

24 июня 1907

Восемнадцатилетие Милочки Венгеровой.

Венгеров довольно хорошо знал Владимира Соловьева. Он был большой оригинал, а в денежных вопросах, казалось, — не от мира сего. У него был всего один пиджак и один фрак (ему часто приходилось обедать у австрийского посланника, своего приятеля). Из белья ему недоставало порой самого необходимого. Денег у него никогда не было — он все тратил самым непонятным образом. При этом он тратил много: от десяти до пятнадцати тысяч рублей ежегодно. Он почти ничего не ел (был вегетарианцем), зато пил основательно: водку не употреблял, предпочитал дорогие вина. Он снимал небольшую комнату в «Европейской» или «Англетере», за которую, однако, платил ежедневно три рубля. Когда его кто-нибудь навещал, он нажимал на кнопку — являлся служащий с вопросом: «Чего изволите, господин профессор?» Ответ был краток: «Мозельского». Его гостеприимство приводило к тому, что гости к нему валом валили, так что Соловьеву приходилось скрываться. Он нанимал лихача (это стоило дороже, чем обычный кучер) и кружил по всему городу: заезжал то к одному, то к другому из своих знакомых или же сажал кого-либо из встречных к себе в карету и подвозил, куда тому требовалось (Венгерова он возил из редакции Энциклопедического словаря[434] на Серпуховскую улицу). За день такой работы лихач получал десять рублей. В Париже он лишился однажды за несколько минут двухсот франков; это произошло таким образом: поздним вечером Соловьев шел по бульвару, и вдруг с ним заговорила какая-то девица. Он уско-

рил шаг, но услышал позади себя умоляющий голос: «J'ai faim!»[435] Он сунул руку в карман, подал девушке десятифранковую монету и поспешил дальше. Но через несколько мгновений он услышал за собой торопливые шаги, и девицы, одна за другой, хватали его и повторяли: «J'ai faim!» И каждой из них он давал, не глядя, по монете. Потом он пустился наутек, но девицы бросились следом, — так вскоре карман его совсем опустел. А в кармане было около двухсот франков. Эту историю Соловьев сам рассказал Венгерову.

Откуда у него было так много денег? Во-первых, он немало зарабатывал своими трудами, а во-вторых, получал, по завещанию отца, часть дохода от его сочинений. Зинаида Венгерова (послезавтра уезжает за границу. Могла бы отправиться и завтра, в понедельник, поскольку совсем не суеверна, но должна сперва закончить одну работу) добавила, что у сестры Соловьева Поликсены (Allegro) имеется капитал в пятьдесят тысяч рублей — ее доля отцовского наследства.

Говорили о Рафаловиче, который, оказывается, чемпион по теннису и не раз выигрывал первый приз.

В пятидесятые годы молодой Вейнберг явился на какую-то лекцию Гервинуса, коему тогда поклонялся. Войдя в аудиторию, Гервинус первым делом внимательно оглядел присутствующих и, указывая пальцем то на одного, то на другого, произнес: «Вы еще не заплатили!» Лишь потом он приступил к лекции. Венгеров слышал эту историю от самого Вейнберга.

В 1877 году Минский и Венгеров были студентами второго курса юридического факультета Петербургского университета. Между Минским и графом Мусиным-Пушкиным (он был тогда студентом) вспыхнул спор по поводу издания лекций: Минский обронил слово «деньги», а Мусин-Пушкин совершенно невинно заметил, что выплатит ему все с процентами. Минский усмотрел в этом намек на свое еврейское происхождение, подошел к Мусину-Пушкину и ударил листком с лекциями по лицу; при этом он заявил обескураженному графу, что готов дать ему удовлетворение. Дуэль состоялась в Лесном. Секундантами Минского были Венгеров и покойный Марк Самойлов (настоящая фамилия — Варшавский). Условия дуэли: тридцать шагов и три выстрела. Противники стрелялись, но безрезультатно, и после дуэли протянули друг другу руки.

25 июля 1907

У нас ночевала Мария Степановна Карпова. Восхваляла, конечно, достоинства своего супруга (только, мол, непрактичен, а потому очень редко — от чрезмерной скромности — ставит спектакли по собственным пьесам) и осуждала писательских жен, чьи мужья пьянствуют. «А разве Ваш Карпушка (так она обычно зовет своего мужа) не пьет, более того: разве он не пил, когда был мо-

ложе?» — спросил я. — «Попробовал бы он у меня хоть раз выпить!» — «Ну, а до того как женился на Вас?» — «До того он вообще не жил! Ему было восемнадцать, когда мы поженились, в порыве страсти... но так оно и осталось!»

2 августа 1907

<...> С Достоевским Венгеров был знаком лично. Начиная с 1875 года они оба жили на Греческом проспекте в доме, расположенном между церковью и нынешним детским садом. Венгеров жил на четвертом этаже, Достоевский — на втором. Венгеров однажды навестил его и завел речь о Свидригайлове (из «Преступления и наказания»), на что Достоевский удивленно спросил: «А кто такой Свидригайлов?» Оказывается, он часто забывал фамилии своих основных персонажей. Венгеров заметил ему, что он (Достоевский) совсем не признает церковных обрядов. Но Достоевский ответил: «Нет, признаю! Даже для самого драгоценного вина требуется чаша, а для религии такой чашей является обряд...»

В 1879 году состоялся обед в честь Тургенева[436]. Все были удивлены, когда Достоевский появился во фраке. Бесконечные речи, восхваляющие Тургенева. Наконец выступил сам Тургенев с ответной речью, которую завершил пожеланием «увенчать здание реформ». Под этим выражением подразумевалось тогда введение конституции. Неожиданно поднялся Достоевский и спрашивает Тургенева: «Что Вы имеете в виду? Не могли бы Вы выразиться яснее?» Всеобщее ошеломленное молчание. Все знали о ненависти Достоевского к Тургеневу, и предчувствие скандала с самого начала носилось в воздухе. Спустя несколько минут Достоевский начал оправдываться и, обращаясь к разным лицам, утверждал, что этим вопросом не хотел сказать ничего особенного, ведь он очень любит Тургенева и ради него даже нарядился во фрак. Последний аргумент еще более расстроил присутствующих, ибо все почувствовали в этом фальшь. На следующий день газеты обвинили Достоевского в ретроградстве.

Никто, по словам Венгерова, не читал вслух так прекрасно, как Достоевский; даже мужчины плакали. (Это факт: я сам, будучи студентом, присутствовал на чтении им рассказа «Мальчик у Христа на елке»[437] и видел, как мужчины плакали.)

12 августа 1907

Вчера приходил Николай Николаевич Долгов со своей женой Лидией Михайловной; одеты, как принято в обществе. Произвели на мою жену очень благоприятное впечатление. В качестве фиктивного редактора газеты «Двадцатый Век» он должен в декабре отправиться в крепость и отсидеть там полтора года. Он мог бы, правда, бежать за границу, но не хотел обмануть доверие своего

приятеля Буша, который внес за него властям залог в десять тысяч (собственно: пятнадцать тысяч) рублей. <...> С Долговым пришел также его зять, молодой Гликберг. Публикует в «Зрителе» сатирические стихи политического содержания под псевдонимом Саша Черный. Приехал из Гейдельберга, где учился довольно долгое время. (Присутствовал на похоронах Куно Фишера.) Много путешествовал, литературно образован и симпатичен. — — — <...>

27 августа 1907

Вчера — открытие сезона в Малом театре. 5 апреля Россовский грубо и вульгарно разнес Измайлова, своего соседа по креслам, за его «Обреченных»[438]; 13 числа сего месяца Измайлов резко, но справедливо высмеял его в одной из своих пародий, направленных против критиков[439]. Сегодня они опять сидели в соседних креслах; правда, Измайлов, появившись в середине первого действия, не поздоровался с Россовским, уже сидевшим в зале. Ранее они обычно дружески болтали друг с другом.

Арабажин сообщил мне, что написал драму «Черный папа», которую здесь не разрешат к постановке. И даже за границей (сейчас ее переводят на немецкий и французский) она пойдет на сцене под псевдонимом.

8 сентября 1907

Сегодня навестил Якубовича (Нюстадтская[440], 5, кв. 14); он очень приветливо поздоровался со мной. На (американском) письменном столе — бумажный хаос, так что он не мог найти письма, полученного им двумя часами ранее (хотел его показать мне); в ящиках стола — воротнички и манишки; в книжном шкафу лежат и стоят книги, обращенные корешком влево и вправо, книзу и к стене, а под или над ними — манжеты и шапка.

Новое издание «Русской музы»[441] конфисковано в количестве пятидесяти экземпляров (около пяти тысяч ему удалось спрятать). Его привлекают к судебной ответственности по статье 129 за девять революционных стихотворений, помещенных в этой книге; ему грозит, в лучшем случае, высылка, а в худшем — каторга сроком на шесть лет; его адвокат О.О. Грузенберг настроен пессимистически.

Сказал о Вячеславе Иванове, что это вставший из гроба Тредьяковский, пишущий стихи шваброй. — —

Затем — в «Пале Рояль», где застал одного Косоротова. Он занимает убогую комнатенку (номер 173), но лишь временно: собирается через несколько дней переселиться в Москву. «Хочу быть в окружении новых людей и новых обстоятельств» (ему улыбается там какая-то писательская работа, осталось уладить

лишь вопрос о вознаграждении). Все лето провел в Одессе со своей невестой (актрисой)[442]. Но из брака ничего не вышло. «Слишком долго рассказывать. Короче, она оказалась невыносимым человеком — психопатка в современном духе. Я очень страдал душевно; моя любовь, наверное, до сих пор не угасла. Да и мои физические недуги — невралгические боли в плече и руке — я тоже приписал моему душевному потрясению». — —

У нас была Томашевская. Недавно видела в Драмсоюзе Потапенко. Он переезжает в Москву, где будет издавать какой-то иллюстрированный журнал[443]. Пьес больше не пишет, потому что они ему ничего не приносят: весь доход конфискуется в пользу кредиторов. Дина больше не шляется: вышла замуж за студента Охотникова — невероятно богатого; Туся живет у нее. — Марья Андреевна переводит пьесы французских, английских и немецких авторов, зарабатывает в год более двух тысяч и чувствует себя поэтому «так хорошо, как никогда раньше». Ее огорчает лишь то, что дочери не хотят ее навещать.

16 сентября 1907

Вчера — заседание Петербургского литературного общества. Меня выбрали членом Совета.

Затем — в «Вену». Масса народу. Косоротов остается в Петербурге. Постаревший и поседевший Сологуб: «Мне только свистни, и я приду!» Дмитрий Цензор — мил, как всегда. Познакомился с Георгием Чулковым: прост и скромен. Муйжель — любезен и приветлив... Слышал с разных сторон, что Леонид Андреев (он живет сейчас в Петербурге) сильно пьет и даже заявил, что будет пить до тех пор, пока не воскреснет его жена; за три дня промотал двести рублей — правда, не без помощи Маныча. — —

Сегодня, по договоренности, навестил Муйжеля, который подарил мне письма и портреты разных писателей. Симпатичный человек. Симпатична и его жена Лидия Александровна: высокая, стройная, молодая, красивая, с едва заметными оспинами на лице.

23 сентября 1907

Вчера я устроил первый в этом сезоне Товарищеский обед; он состоялся в ресторане «Квисисана». Участники остались недовольны: дорого и плохое обслуживание.

Присутствовали: Потапенко (располнел; собирается жить преимущественно в Москве), И.И. Соколов, Рышков, Либрович, Невежин, Брусянин, Муйжель, Сухонин, Каррик, Кравченко, Карпов, Груздев, доктора Чехов и Жихарев, Сологуб (распрощался со школой, в которой служил 25 лет, причем отнюдь не ради

писательства; будет получать ежемесячно пенсию в 41 руб.; назвал себя пролетарием, а ведь у него на Петербургской стороне четырехкомнатная квартира, за которую он платит 60 руб. в месяц). Присутствовали, кроме того, лица, о которых упоминается ниже. Было в высшей степени скучно. На предложенную анкету — «De mortuis nil nisi bene!»[444] — никто не откликнулся. Баллотировались: Беспятов (получил 18 голосов из 19), Гуревич (Яков Яковлевич; получил 17 голосов из 19), скульптор Гинцбург (19 голосов из 20) и Носков (17 из 18).

Из «Квисисаны» отправились в «Москву»: Измайлов, Баранцевич, Будищев, Венгеров, Тихонов и Щеглов. Уютно и интересно. Щеглов показал мне стол, за которым сидел вместе с Чеховым и Надсоном: в первом зале, у окна, ближайшего ко второму залу.

В связи с критикой Меньшикова в адрес Надсона Фофанов сказал однажды Щеглову:

Напрасно Надсона тиранил
Дух божества и злобы сил:
Его Буренин только ранил,
А Меньшиков его убил[445].

Щеглов вспомнил также Владимира Соловьева, сказавшего про Меньшикова: «*Вошь, которая пыжится стать мадонной*». Тихонов рассказывал о скупости Меньшикова (говорят, он получает теперь в «Новом Времени» за свои писания 30—40 тысяч рублей ежегодно): когда они оба жили в Царском, Меньшиков подбирал на улице поленья и приносил домой.

Дополнение: у Сологуба на левой руке — креп и повязка, наполовину черного, наполовину белого цвета[446]. — Потапенко спешил и ушел рано: он должен был диктовать (хотел вручить мне деньги, чтобы я оплатил его счет, но я отказался). — Венгеров был в Москве и нашел такое количество пушкинских материалов, что будет всю зиму жить в разъездах: из Петербурга в Москву и обратно.

21 октября 1907

С Зиновьевой-Аннибал, умершей 17 октября от скарлатины, я не был знаком. Впрочем, видел ее однажды, лет восемнадцать назад, когда она вышла замуж за учителя истории К.С. Шварсалона — моего коллегу по гимназии княгини Оболенской. Через несколько лет они разошлись: одни утверждают, что из-за его распущенности, другие — из-за ее психопатии. Затем она вышла замуж за Вячеслава Иванова... В последние месяцы было много неодобрительных суждений об ее повести «33 урода», где воспевается лесбийская любовь. — Единственное что у меня есть от нее, — три ее книги, которые она прислала мне летом этого года. Дарственная надпись на книге «33 урода»: «Федору Федоро-

вичу Фидлеру автор»; на книге «Трагический зверинец»: «Федору Федоровичу Фидлеру с приветом автор»; на книге «Кольца»: «Многоуважаемому Федору Федоровичу Фидлеру автор».

22 октября 1907

Сегодня — заседание Литературного фонда. Боборыкин вошел легким шагом и стал рассматривать присутствующих через стеклышко, которое держал перед левым глазам: при этом он был в очках. Обратился ко мне с просьбой («Вы ведь знакомы со всеми русскими писателями — с этим зверинцем!») — познакомить его с молодыми русскими критиками: Измайловым, Чуковским, Пильским и др. Подвижен как юноша: прыгал взад-вперед. Говорил со мной по-немецки. — Шапир просила меня поддержать на заседании Совета Петербургского литературного общества кандидатуру ее сына. — Баранцевич сообщил, что пишет драму на тему отцов и детей. Все действующие лица — безымянные. <...>

30 октября 1907

30 сентября у меня был Яков Годин, юноша с ярко выраженными еврейскими чертами; он высказал желание вступить в Литературное общество. Я в тот же день передал эту просьбу Совету, собравшемуся у Кремлева (Годин и Оскар Норвежский, который зашел ко мне вместе с Годиным, провожали меня до дома, где живет Кремлев). Однако Аничков и Венгеров рассказали о Године следующее. В «Газете Шебуева» он издевательски высмеял «среды» Вячеслава Иванова[447]. Когда от него потребовали разъяснений, он поклялся (либо дал честное слово), что не является автором статьи. Но ему предъявили неопровержимые доказательства, и он признался в своем авторстве. Вскоре появилась аналогичная статья «Развлекающиеся мужчины»[448]... После этого Совет не счел возможным допустить его к баллотировке. Такое решение было принято на вчерашнем заседании у меня дома.

15 декабря 1907

Вчера, в день памяти декабристов, я устроил наш Товарищеский обед в огромном и роскошном парчовом зале Театрального клуба (драпирован золотым и серебряным шелком). Присутствовали и дамы. Все были всем весьма довольны. Бороздин должен был произнести речь памяти декабристов; он явился, собирался начать и внезапно, когда все стали садиться за стол, куда-то исчез; что случилось, — для меня загадка. Присутствовали (кроме тех, кто будет назван ниже): Галина, Порошин, Либрович (подарил мне массу писательских писем к

нему), Кремлев (с женой), Глинский, А. Зарин, И.И. Соколов (с женой), Ладыженский, Найденов (с женой), Тихонов, Трахтенберг, Потапенко, Рышков, В.В. Туношенский (в качестве гостя), художник Денисов-Уральский (в качестве гостя), скульптор Гинцбург, Яблоновский (с эффектной женой), С. Филиппов, Василий Немирович-Данченко, Журавская, Сологуб (пил шампанское; собирается в январе или феврале в Испанию — именно там разыгрывается одна из сцен в романе, который он сейчас пишет), Щеглов, Груздев, Измайлов, священник Петров, Лихачев (прочел короткое эпиграмматическое стихотворение), Лукашевич, Баранцевич (прочел неопубликованное стихотворение А.И. Одоевского, которое я вручил ему, — оно отсутствует в издании его сочинений по цензурным причинам), Носков, Лазаревский (с женой), Бентовин, Невежин, Арцыбашев, Муйжель, Каррик, Брусянин (с женой). Позднее пришел Васюков (в качестве гостя). После ужина большинство отправилось в лотерейный зал, причем Лазаревский и Арцыбашев — выиграли. <...>

16 декабря 1907

Сегодня меня навестил Алексей Михайлович Ремизов. Восхищался моим «музеем» и бранил русских за некультурность и отсутствие у них пиетета к прошлому; русские писатели, сказал он, и понятия не имеют о богатстве русского языка. Очень любит Кузмина (известного педераста, который пользуется не только духами, но и косметикой). «Он — экзотическое растение, образчик культивации. В простоте его стиля (содержания не касаюсь) — высокая художественность. Мне очень жаль, что все осуждают его как педераста».

Он (Ремизов) говорит негромко и медленно, почерк манерный, с завитушками, лицо дегенерата. Жаловался: «В университете я неверно прочитал старый русский апокриф, и все принялись утверждать, будто я прославляю и пропагандирую гомосексуализм». Женат, имеет маленькую дочь, от которой без ума; но она живет у бабушки в Черниговской губернии: содержать здесь ребенка они не в состоянии, им и самим нередко приходится бороться с нуждой; в ближайшие дни едут ее навестить. Я подарил ему две моих книги (он принес только три своих), и он сунул их в карман, даже не взглянув на заглавия. Сказал, что многие считают его *юродивым*.

30 декабря 1907

Желая отпраздновать юбилей Карпова, я пригласил к себе вчера — для создания юбилейного комитета — трех человек. Кугель (Homo Novus) написал, что болен; Потапенко сообщил мне по телефону, что не сможет прийти; явился один Измайлов. Некто госпожа Языкова (мать секретарши журнала «Шут») рас-

сказывала ему о встрече с Некрасовым. Это было в каком-то имении; общество ожидало Некрасова. Наконец он появился, чрезвычайно мрачный, — после неудачной охоты. Хриплым голосом он изъявил, в конце концов, согласие кое-что прочитать. Но когда выяснилось, что в доме нет томика его стихов, он молча оделся и удалился.

Я прочитал Измайлову все относящееся к Некрасову в этих тетрадях. В лихорадочном возбуждении он делал какие-то записи и попросил разрешения их опубликовать. Не мог найти слов для выражения благодарности и сказал, что этот день для него — «исторический».

1 января 1908

Новый год встречал у меня Лазаревский — это получилось совершенно случайно. Он пришел, чтобы передать мне на хранение свой дневник за 1907 год, и — остался (его семья была в театре, а, кроме того, никто в его семье не воспринимает Новый год как праздник). Сказал, что минувший год был самым трудным и мучительным в его жизни. Любовь к его свояченице Лизе испарилась после того, как он узнал, что его жена серьезно влюблена в писателя И.Д. Сургучева (дело дошло до свиданий и поцелуев; впрочем, точка над i, к счастью, не была поставлена). Он чудовищно страдал от ревности. Она полностью призналась ему во всем, он (Лазаревский) указал ей на все тяжкие последствия ее неразумного поведения, после чего она ушла в себя. Теперь мир восстановлен. Сургучев, по его словам — красивый, богатый, здоровый молодой жеребец. Но в то же время — негодяй: он рассказывал Лазаревскому о своей близости с женой Чирикова (о чем ее муж и не догадывается). Одновременно ухаживает за Лизой, которая, в свою очередь, влюблена в певца Камионского (что в равной степени вызывает ревность со стороны Лазаревского).

Лазаревский рассказывал мне об этом в течение нескольких часов. Он очень суеверен. — — <...>

8 февраля 1908

Сегодня — десять минут в «Капернауме». Через Ивана Александровича Порошина познакомился с поэтом Петром Петровичем Потемкиным (в университетской форме: студент-естественник). Пил чай. Бесхитростен, скромен, немногословен, безлик. — —

Только что от меня ушел Сергеенко. Приглашал меня принять участие в его Толстовском альманахе[449] (в связи с восьмидесятилетием со дня рождения Толстого). Вчера Леонид Андреев рассказал ему, что Толстой оказал на него сильнейшее влияние: он, Андреев, вознамерился было броситься под поезд, но

прочитал «*Так что же нам делать?*» и решил записать свои субъективные переживания; так он сделался писателем.

21 февраля 1908

Вчера — Товарищеский обед в Театральном клубе.

Г.С. Петров (по-прежнему в рясе) рассказал следующее. В четверг 19-го (то есть позавчера) он был в зале Городской думы, где состоялся литературный вечер. Куприн должен был читать пушкинскую «Деревню». Он вышел на эстраду и начал: «“Деревня” Пушкина, из Беранже». И продекламировал стихотворение Беранже «Prédiction de Nostradamus»[450] в собственном переводе (напечатано в «Свободных Мыслях» от 24 декабря прошлого года[451]). Сперва публика оторопела, но потом ей все стало ясно, и в зале поднялся хохот. Полицейский, почуяв неладное, потребовал, чтобы чтец придерживался программы. Тогда Куприн как ни в чем не бывало стал декламировать «Деревню». Веселое настроение достигло своего апогея, когда полицейский стал требовать, чтобы Куприн прочитал до конца все, что положено.

Каменский рассказал свою версию (знает понаслышке) о скандальном столкновении Куприна с офицером Сахновским, а именно: за столом, где сидел Куприн со своими телохранителями, началась перебранка; Корецкий дал затрещину Манычу (или наоборот*), офицер сделал ему укоризненное замечание, и Куприн спросил его: «Почему Вы носите орден на груди, а не на заднице, которую всегда подставляли японцам?» Офицер вызвал его на дуэль и дважды передал ему свою визитную карточку, которую Куприн, не читая, дважды порвал и выбросил. Офицер хотел его ударить, но присутствующие его удержали. Конец у этой истории счастливый — благодаря усилиям Батюшкова. — Сообщил, что по распоряжению дирекции Куприну, Корецкому и Манычу запрещено посещать Театральный клуб.

Карпов сказал мне, что не откажется от должности режиссера в том случае, если Малый театр перейдет в другие руки; но если во главе дела останется Суворин, — уйдет.

Кроме того, за обедом присутствовали: Рышков, неофит Руманов (его только что избрали, и Петров вызвал его по телефону), Владимир Тихонов, Невежин, Брусянин, С. Филиппов, Кремлев (считает голосование недействительным, поскольку этот пункт не был указан в разосланных повестках: заявил, что пять дополнительных голосов за Елисеева нельзя принимать в расчет, ибо Герценштейн проводил ревизию у себя дома, а не в присутствии членов общества), скульптор Гинцбург, гипнотизер Фельдман, Порошин, Будищев, Хирьяков и карикатурист Каррик... Буквально мелькнули Трахтенберг и Беспятов.

---

* Да, наоборот: Маныч Корецкому.

Дополнение к скандалу с Куприным. Офицер доложил о происшествии в своем полку, и полковой суд одобрил вызов на дуэль. Однако Батюшков выступил в качестве посредника, Куприн принес извинения и — инцидент был исчерпан. Владимир Тихонов (он тоже не был очевидцем) подтвердил все вышесказанное и добавил: «У Куприна стоят по обеим сторонам два ангела: черный — Маныч, втягивающий его в любой скандал, и белый — Батюшков, вытягивающий его из любого скандала... Но Куприн — хулиган!»

И только в одном Батюшков не смог ему помочь. Куприн был письменно уведомлен об исключении из членов Театрального клуба, правда, с какой-то педагогически забавной оговоркой: *до исправления*. После чего Куприн написал в дирекцию Клуба, что, дескать, уже исправился: не посещает более ни притонов, ни борделей.

5 марта 1908

Вчера — именины Баранцевича. Будищев рассказывал, что проиграл все выигранные в прошлый раз деньги. Когда я сказал Лихачеву, что в ближайшую субботу в Литературном обществе Вячеслав Иванов читает доклад «Два направления в современном символизме», Лихачев ответил: «Очень хорошо, что ты меня предупредил: значит, в этот день я могу свободно располагать своим временем!»

9 марта 1908

Вчера в Литературном обществе Вячеслав Иванов читал доклад о современном символизме, причем каждое четвертое слово было иностранное, что вызывало у многих усмешку или покачивание головой. Он извинился, что не ответил на мое письмо (в конце декабря): смерть жены, сказал он, полностью оторвала его от литературы и лишь теперь понемногу он опять возвращается к ней. Когда один из оппонентов сказал, что одиночество ослабляет человека, он провел рукой по своему высокому лбу и смахнул большим пальцем две слезинки в углах опущенных глаз. Читая, он был похож на Шекспира (портрет с высоким лбом и зачесанными на сторону волосами). Ремизов говорил о дочурке Наташе так, будто речь шла о его возлюбленной. Беглое знакомство с А.А. Блоком и апологетом педерастии Кузминым (пришел и ушел с какой-то дамой. Неприятно пожимает руку четырьмя протянутыми пальцами. Оригинальное, птицеобразное лицо, в котором, однако, нет ничего патологического: глаза изпод пенсне словно две ореховые скорлупки с отверстиями; короткие волосы, гладко зачесанные от висков к темени, напоминают крылышки; **кажется**, был накрашен — во всяком случае, очень искусно и деликатно; я, по крайней мере,

пристально наблюдал за ним, стоя рядом, и не смог **убедиться**, что он накрашен). Сидел (то есть я сидел) с Андреевским, которого не видел много лет. Он совсем не изменился. Сказал: «Да, когда мы встречались у Мережковских, это был воистину литературный дом. А это (кивок в сторону зала) — просто бедлам! А нынешняя публика! Когда появлялись книги вроде "Анны Карениной" или "Карамазовых", редко, бывало, увидишь в каком-нибудь доме экземпляр, да и тот — неразрезанный. Лермонтов, Тургенев, Достоевский и — в те времена — Толстой понятия не имели, что значит подлинная известность. А нынешние писатели? Стоит появиться их первому произведению, как они уже всем известны, а сама книга тут же расходится в количестве пяти тысяч экземпляров. А кто они, эти знаменитости? Леонид Андреев, чей "Царь-Голод" — просто глупая вещь — он лишь дурачит публику своей наглостью! Он показывает ей *фигу*, и публика в восторге! А еще этот Горький, чьи произведения — просто ученическая работа! Я собирался написать критическую статью: "Два литературных Митрофанушки — Максим и Леонид"[452]; однако так и не написал».

17 марта 1908

Вчера — в Куоккала у бывшего священника Петрова. Туда и обратно — вместе с Баранцевичем, А.В. Румановым (представитель «Русского Слова» в Петербурге) и Михаилом Михайловичем Гаккебушем (редактором «Биржевых Ведомостей»).

Петров только что вернулся из Гельсингфорса, но, несмотря на легкую усталость, выглядел свежо и держался любезно. На всякий случай выходит из дома лишь в сопровождении своего «*телохранителя*» — сенбернара Каро. В Куоккала полно тайных агентов. Кажется, Петров не слишком доволен своим недавним визитом в Ясную Поляну: Толстой употреблял слова «революционер» и «демократ» как ругательные и называл Леонида Андреева *круглой* бездарностью. Спорить с ним (Толстым) бесполезно.

Мы могли бы уютно посидеть за столом, попивая коньяк, шерри-бренди и шведский пунш и закусывая разными консервами, но тут неожиданно появился Чуковский, за ним — его гости: Allegro, Наталья Ивановна Манасеина с дочерью и ее женихом Успенским, который до этого резко критиковал Петрова; но долг гостеприимства обязывал сохранять любезность. То же касается и Баранцевича, которого Чуковский подвергал суровой критике, вовсе отказывая ему в таланте, за что Баранцевич на него очень злился; теперь же они дружески беседовали друг с другом. Чуковский даже понравился Баранцевичу.

Все отправились гулять к морю, причем Чуковский шел на лыжах, а затем ухватился за наши сани.

Мы приехали двенадцатичасовым поездом, а уехали уже в половине пятого. То есть уехали вчетвером; Чуковский живет в Куоккала.

Гаккебуш рассказывал, что Брешко-Брешковского выставили из «Биржевых Ведомостей»; ему протежировал Бонди, но Брешко явно деградировал.

18 марта 1908

Сегодня был Булацель. <...> Пришел и Владимир Павлович Кранихфельд. Восхищался моим «музеем» и рассказывал о Толстом. Он никогда его не посещал. В Москве, на Плющихе, они жили недалеко друг от друга. Он часто видел Толстого на улице. Не раз сидел с ним рядом на империале конной дороги — но ему всегда недоставало мужества заговорить с ним.

25 марта 1908

Вчера — Товарищеский обед в Театральном клубе. Было невероятно скучно. Присутствовали лишь: доктор Чехов, Руманов, Туношенский (ударение на «о»), Фельдман, Гинцбург, Рышков, Порошин, Будищев, Хирьяков и Лихачев (его дочь лечится в каком-то госпитале под Гельсингфорсом; ей прописан полнейший покой: запрещено даже писать родителям и получать от них письма).

Явился Булацель и, вызвав меня вниз к лестнице, сообщил: А.Ф. Зарин «сидит» (приговорен к полутора годам в крепости за свою революционную литературную деятельность)[453], а его семья осталась без гроша. Булацель просил меня довести это до сведения участников Обеда: не согласятся ли они оказать помощь. Я выполнил его просьбу. Полное молчание. — —

Сегодня с часок сидел в «Капернауме». Один из официантов (он знает меня уже много лет) рассказал, что Пильский, Маныч и прочая компания не появляются здесь, после того как Старцев опубликовал статью, разоблачающую жизнь богемы (см. мою тетрадь с вырезками); уверял, что Старцев написал чистую правду[454]. Впрочем, эта шайка наведывалась сюда еще раз и разошлась, ничего не заплатив.

Пришел Каменский, сел за мой столик, выпил стакан чаю, съел миндальное пирожное и изрек следующее. «Будь я богат, — сказал он, — я всюду скупал бы свой последний, только что изданный сборник рассказов "Солнце"», платил бы даже по три рубля за экземпляр, а затем уничтожил бы весь тираж, потому что это — "собачье дерьмо"». — Позавчера, во время тургеневского вечера в Театральном клубе, Леонид Андреев прохаживался по залам под руку с какой-то молодой дамой и принимал поздравления: он — жених. — Арцыбашев скоро уезжает в Крым. Он посещает «Вену», ничего не пьет, но тем усерднее играет на бильярде. Его «жена», которую он заразил туберкулезом, поправляет здоровье в больнице. Его законная жена (единоутробная сестра его жены в кавычках) требует от него для себя и их сына отступного — десять тысяч рублей.

Арцыбашев не в состоянии выплатить такую сумму, поскольку за первое издание романа «Санин» получил всего три тысячи (издатель мигом заработал четыре тысячи: весь тираж в десять тысяч экземпляров был продан за один месяц). За второе издание он получил теперь тоже три тысячи. Арцыбашев, по его словам, — крайне непрактичный человек.

Все это рассказал мне Каменский; он пришел с молодым студентом по фамилии Раппопорт, которого представил мне как «писателя-интервьюера» (пишет под псевдонимом Регинин).

Во время моего отсутствия приходил Мамин, коего я не видел целую вечность (другие, как и я, — тоже). Выпил две бутылки пива. На вопрос моей жены, пишет ли он что-нибудь, безутешно усмехнулся и махнул рукой: «Да, мелочи!.. Зато раньше я писал много!» Осенью они снова переселяются в Петербург.

31 марта 1908

Вчера из Литературного общества отправился вместе с Сологубом в Кружок поэтов. Дорогой я предложил ему поехать со мной на месяц в Италию. Он не возражал, тем более что для какого-то романа ему надо изучить жизнь на Болеарах. Получает от «Шиповника» триста рублей ежемесячно[455]. Расчет производят в начале мая; если окажется, что ему причитается что-либо сверх полученного, он поедет.

Вечер состоялся у Уманова-Каплуновского; решено было легализоваться. Потом читали стихи — сплошь товар второго сорта. Федор Зарин рассказывал, что его брат Андрей временно выпущен под поручительство (которое взял на себя другой их брат, инженер). Ясинский, коего я не видел целую вечность, сидел за ужином возле меня, ел не-вегетарианскую еду, не пил ни капли и с тоской вспоминал о старых временах, когда он еще не был «оклеветан» в глазах моей жены. Его сын Максим, попавший возле Лесного в железнодорожную катастрофу, стал невменяемым, тогда как раньше был очень талантлив и внушал большие надежды. На издании своего журнала[456] Ясинский потерял сорок тысяч рублей. — Выяснилось, что Черниговец-Вишневский нынче юбиляр (пятьдесят лет литературной деятельности), и все ex abrupto[457] принялись его чествовать. Афанасьев с видимым удовлетворением (но оно могло быть наигранным) рассказывал, что десятого числа нынешнего месяца, когда он праздновал свой юбилей, к нему явилась с поздравлениями редакция газеты «Свет» (банда черносотенцев!); пришел и Фофанов, который сразу напился и при каждом слове поминал «мать»; потом он пошел за сигаретами, его ограбили, избили и т.д. (см. мою тетрадь с газетными вырезками). Вентцель записал мне следующие свои эпиграммы на Дедлова (Кигна):



Илл. 33. Фидлер в своем кабинете. Фотография. 1907



Илл. 34. З.И. Бухарова. Фотография К.А. Шапиро. Начало 1900-х гг. «Милому Федору Федоровичу с чувством искреннего, дружеского расположения. Зоя Бухарова. 22-го марта. 1905»



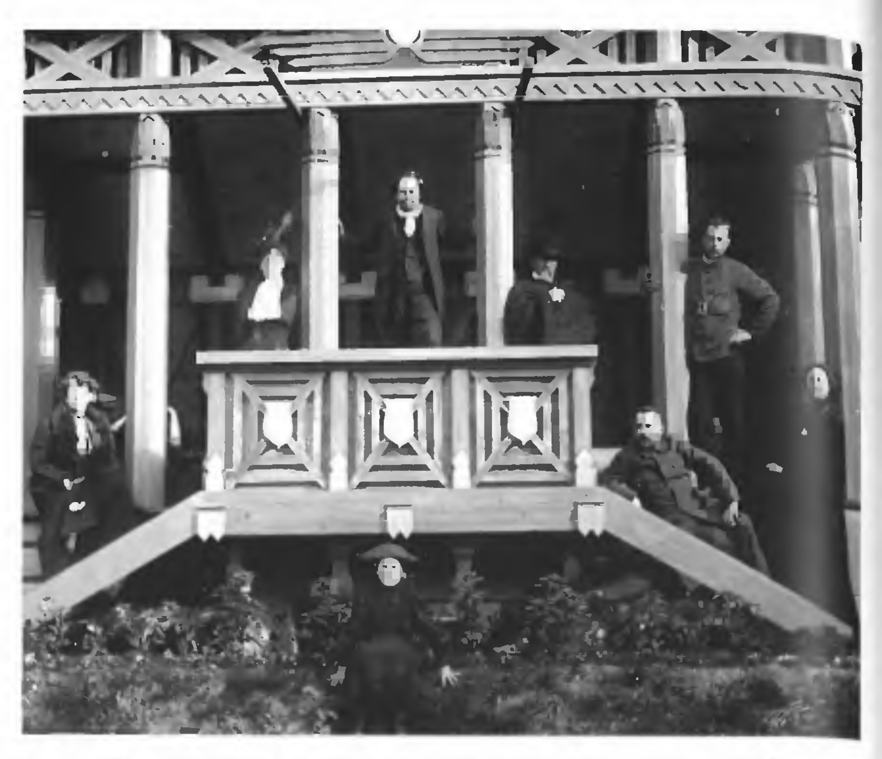
Илл. 35. Б.А. Лазаревский и Фидлер. Фотография. 1906 (?)



Илл. 36. К.В. Лукашевич. Фотография А. Лоренса. Ок. 1900 г.
«Милой, симпатичной Любови Михайловне Фидлер
с теплым чувством — Клавдия Лукашевич. 1906 г. 7 марта»



Илл. 37. В.В. Стасов. Фотография. Начало 1900-х гг.
«Дорогому Дару Божию и Музыканту (Федору Фидлеру) от прилежного слушателя и читателя. В. Стасов. Старожиловка. 10 авг[уста] 1906»



Илл. 38. В беседке у Репина в Куоккала. Фотография. 1906.
Слева направо: Шилкина, Л.Н. Яковлева, Е.Н. Чириков, И.Е. Репин, Фидлер, Б.А. Лазаревский, В.Г. Чирикова (Иолшина).
На траве — неизвестная.
На обороте запись Фидлера: «У И.Е. Репина в Куоккале 16/29 авг|уста 19|06. В середине: Чириков, рядом: И.Е. Репин, внизу: я, слева от меня: Лазаревский»



Илл. 39. А.М. Федоров. Фотография Д.С. Здобнова. 1900-е гг.
«Сердечному милому Федору Федоровичу Фидлеру с нежной любовью.
А. Федоров. СПб. 7 окт[ября 19]08»



Илл. 40. Фотография. На обороте надпись Фидлера: «В.С. Лихачев (со стаканом), М.Н. Альбов, д-р С.С. Жихарев (с папиросой), Ф. Фидлер (у стола). В саду дачи Ф. Фидлера в Старожиловке 2 авг[уста] [19]09»



Илл. 41. Г.А. Галина. Фотография С. Когана (Ялта). 1900-е гг.
«Милому другу поэтов Ф.Ф. Фидлеру О. Галина».
На обороте помета Фидлера (синий карандаш): «4 ноября 1909»



Илл. 42. Берта фон Зутнер. Фотография. 1900-е гг.
«Mit freundlichem Gruss an Dr. F. Fiedler Bertha von Suttner 5./6.1910»
(«Д-ру Ф. Фидлеру. С дружеским привством Берта фон Зутнер.
5 июня 1910». — *нем.*)



Илл. 43. Ф. Сологуб и Ан.Н. Чеботаревская. Фотография. 1910.
«Милому Федору Федоровичу Фидлеру Федор Сологуб.
30 сентября 1910 года».
На обороте помета Фидлера: «Харьков, 1910»



Ил. 44. П.А. Кожевников. Фотография Д.С. Здобнова. 1900-е гг.
«Федору Федоровичу Фидлеру, крайне интересному собирателю
и в своем роде unicum'у Петр Кожевников. СПб., 2 октября 1910 г.»



Ил. 45. П.П. Потемкин. Фотография Д.С. Здобнова. Ок. 1910 г.
Надпись на обороте: «Федору Федоровичу Фидлеру
с уважением П. Потемкин».
Помета Фидлера (красный карандаш): «4.XI.[19]11»



Ил. 46. Слева направо: Вас.И. Немирович-Данченко, Г.С. Петров, И.Д. Сытин. Фотография (открытое письмо). 1910.
«Al Egregio signor Fidler (sic! — *K.A.*) “il tedesco della Russia” Suo amico sincero Basilio Nemirovich Dancenco 26 Agosto [1]910 Venezia» («Уважаемому господину Фидлеру, “русскому немцу”, его преданный друг Василий Немирович-Данченко 26 августа [1]910 Венеция» — *итал.*). На обороте помета Фидлера: «Снято в Карлсбаде в июне 1910»



Илл. 47. К.М. Фофанов. Фотография Д.Н. Здобнова. 1910.
На обороте помета Фидлера: «К.М. Фофанов
и знаменитый кулинар. Снято за год до смерти К.М. Ф[офанова]».



Ил. 48. Группа литераторов на юбилее Д.С. Здобнова.
Фотография. 1911.
Слева направо (первый ряд): К.И. Арабажин, Н.М. Лисовский, Фидлер, Е.Н. Чириков, Д.С. Здобнов, И.И. Ясинский, И.А. Гриневская, Е.П. Карпов, П.М. Невежин; (второй ряд): В.В. Уманов-Каплуновский, В.А. Мазуркевич, В.Н. Гордин, И.И. Соколов, В.В. Муйжель, А.Е. Зарин, Л.И. Андрусон, А.Д. Апраксин, Н.Н. Вентцель, А.А. Измайлов, Б.Б. Глинский.
«Глубокоуважаемому Федору Федоровичу Фидлеру признательный Д.С. Здобнов в воспоминание 24 марта 1911 г.»
На обороте надпись Фидлера: «Юбилей бескорыстного фотографа литераторов Д.С. Здобнова 24 марта 1911.
Нижний ряд: Невежин, Карпов, Гриневская, Ясинский, юбиляр, Чириков, я, Лисовский, Арабажин.
Верхний ряд: Глинский, Измайлов, Вентцель (Бенедикт), Апраксин, Андрусон, А.Е. Зарин, Муйжель, И.И. Соколов, Гордин, Мазуркевич, Уманов-Каплуновский».



АВТОРУ КНИГИ «МЫ»

Решите, мудрые умы,
Зачем взбрело в башку ему
Назвать свои этюды «Мы»,
Когда он мог назвать их «Му».

Поводом для этой эпиграммы послужил выход книги в свет. Другая эпиграмма — более позднего происхождения:

ДЕДЛОВУ

Наш Дедлов от младых ногтей
В союзе с Музою своей
Стал уловлять сердца людей.
И вот ловец теперь уж сед.
Но где же лов? Его все нет,
А налицо один лишь «дед».

Присутствовали также: Краснов (ушел до ужина), И.И. Соколов (чувствовал себя неважно), В.И. Анненский, Коковцев, Грибовский, Кондратьев, Мазуркевич, Тэффи со своим Галичем и Гриневская. — —

Сегодня зашел к Венгерову. Он сообщил, что Леонид Андреев жаловался ему, что «*затравлен*»: получает множество писем от девушек и женщин, которые просят его сделать им ребенка.

Потом к Вейнбергу. О Льве Толстом: «Я всегда говорил, что он — комедиант. Писатель он гениальный, а философ — незначительный».

7 апреля 1908

Вчера зашел к Флексеру-Волынскому (он принимает по воскресеньям от двух до пяти). У него сидел Молоствов. Вместе пишут книгу о Толстом[458] объемом в шестьдесят печатных листов; она должна появиться осенью, со множеством иллюстраций. Сергеенко нашел, наконец, покупателя для своего толстовского альбома; его приобрела за пятнадцать тысяч рублей контора Сойкина, которая в течение почти трех лет ежемесячно выплачивала Сергеенко пятьсот рублей.

Флексер рассказал, что был позавчера у Леонида Андреева, читавшего свой «Рассказ о семи повешенных». На чтении присутствовали: Чириков, Блок, Чулков, Тан и много других. «Меня возмутило рабски благоговейное молчание всех присутствующих, когда он кончил читать (Щепкина-Куперник даже расплакалась — я еще поговорю с ней об этом!). Все *звери* во мне были *раздразнены*, и тогда я взял и выложил ему все, что думаю!» Находит, что рассказ надуман,

выдержан в кричащих тонах и вовсе не достоин таланта Андреева. «Андреев — прапорщик литературы; а ее генерал — Куприн!» Андреев гоняется якобы не столько за славой, сколько за гонораром (ему платят тысячу рублей за лист). Как человек он очень мил, а в его самообожании виноваты близорукие критики и друзья, не способные ни на какую критику... Его невеста (урожденная Денисевич), «чувственная красота», — разведенная жена какого-то адвоката[459]. Обручение состоится в ближайшие дни (не в Петербурге); пасхальную неделю супруги проведут на Кавказе. — — —

Потом — к Карпову, встретившему меня таким крепким поцелуем, что мне свело челюсти. Он только что возвратился из Варшавы и очень доволен своим пребыванием там в качестве режиссера Плещеевской труппы[460]. С Малым театром порвал окончательно, хотя старик Суворин и делал попытки сближения. «Лишь по настоянию Мани (его жена. — *Ф.*) я смог выдержать так долго. А сколько мне пришлось претерпеть! Я не осуществил ни одного из моих художественных замыслов! Но теперь все будет иначе. Мне предлагают деньги на создание нового театра. И это будет воистину новый театр!»

«Маня» (то есть Мария Степановна), сидевшая рядом, воскликнула: «Скоро ли, наконец, сдохнет этот подлец Суворин!» (Он:) «Манька (на этот раз не "Маня". — *Ф.*), перестань!» — «Собственноручно бы задушила этого пса!» — «Манька, перестань!» — «А Малый театр все равно будет нашим!» — —

Потом — к Альбову, куда пришел и Баранцевич. Пытается самым мелким образом отомстить Литературному обществу за то, что его не выбрали в Совет. (Несколько раз повторил: «Они меня вышвырнули — ну, погодите!») По просьбе Билибина, редактора-издателя «Осколков», который сейчас тяжело болен, Баранцевич занимает его место. И вот в одном из последних номеров «Осколков» появляется его «передовица», в которой написано, что Литературное общество проводит свои заседания в приготовительном классе гимназии Гуревича; мол, у них *в одном кармане смеркается, в другом заря занимается* (старое русское речение, знакомство с коим Баранцевич, однако, не обнаруживал до юбилейного спектакля по пьесе Карпова «Рабочая слободка»; во всяком случае, он несколько раз повторил эту фразу, когда мы в санях возвращались с ним из Театрального клуба). Свою «передовицу» он подписал скучно придуманным Казбич (**Ка**зимир Баранце**вич**)[461]. — —

Сегодня встретил Червинского. Отправились завтракать в «Капернаум». К нам подошел Каменский. Я представил обоих друг другу. «Мы уже знакомы, — прозвучало в ответ, — встречались у Шеллера-Михайлова». И оба принялись его поносить — впрочем, вполне добродушно. Шеллер всегда хвалился своей благотворительностью, которая, однако, не так уж бесспорна. Однажды Каменский получил от него заказ: подготовить к печати роман Анатолия Лемана «*Полая вода*». Несколько недель корпел он над рукописью и за всю работу, в которую

вложил немало труда, получил от Шеллера пятнадцатирублевую золотую монету (тогда она еще имела хождение). Червинский рассказал, что отдал Шеллеру целую поэму — «*Жемчужные росы*». Шеллер обещал заплатить ему по пятнадцати копеек за строчку, но тоже дал всего пятнадцать рублей. Каменский поведал, сколь притворна любезность Шеллера. Часто бывая в редакции «Живописного Обозрения», он (Каменский) не раз видел, как Шеллер усаживает на стул перед своим письменным столом какого-нибудь сотрудника, дружески похлопывает его по плечу, а когда тот уходит, обращается к остальным с вопросом: «Ну, что вы думаете об этом мерзавце?» Червинский сказал, что это правда.

Каменский рассказал про новое бахвальство Владимира Тихонова (он слышал эту историю от него самого). Однажды Тихонов сидел с дамой в ресторане. Они прокутили шестнадцать рублей. Но когда дело дошло до расчета, Тихонов оказался в затруднительном положении. Выяснилось, что у него с собой всего шесть рублей. Оставалась последняя надежда: а вдруг он не вынул кошелек из кармана пальто? Он — в гардеробную. Ничего нет. Но вдруг в кармане пальто он нащупал дыру. Он запустил в нее руку и вытащил снизу из-под подкладки кучу медных монет — в сумме не менее сорока двух рублей! На возражение, что он должен был все же чувствовать эту ощутимую тяжесть, Тихонов спокойно отвечал: «Нет, не чувствовал. Монеты проваливались в дыру в течение нескольких месяцев и мало-помалу скапливались внизу, так что я привыкал к этой тяжести постепенно».

Каменский уверял, что ежедневно получает одно-два письма от молодых девушек (в основном курсисток), которые признаются ему в любви или назначают свидание. На свидания он не ходил ни разу, зато принимал посетительниц у себя дома (его жена с двумя детьми — в Крыму) и исполнял их любовные прихоти — «правда, не с каждой, у меня ведь не так много сил».

Жаловался, что сильно задолжал одному «очень южному человеку» (то есть еврею).

Рассказал следующую историю. Позавчера к нему пришел человек (а накануне была пирушка) и потребовал от него обещанный пасхальный рассказ для «Одесских Новостей» (за который ему, Каменскому, было обещано сто рублей и выплачено двадцать пять рублей аванса). У Каменского ничего не было готово, но все же он сел и за день сочинил пасхальный рассказ (хотелось получить оставшиеся 75 рублей). «Но это, во-первых, вовсе не пасхальный рассказ, а во-вторых, герой убивает себя лезвием бритвы. Не правда ли, удачный пасхальный сюжет?!»

Сообщил, что хотя и продолжает писать, но не собирается в течение ближайших полутора лет «продаваться на рынке».

Сборник его рассказов «Солнце» («дерьмо»), появившийся около месяца тому назад, выходит теперь вторым изданием.

22 апреля 1908

Ко мне ненадолго заходил Цензор. Любезен и мил. Хочет перейти в христианство. «Не знаю, как и почему я стал евреем; я почти не помню своего детства, и у меня никогда не было ничего общего с еврейством. Почему же я должен страдать — из-за кого, во имя какой идеи?!» Пришел в партикулярном платье, но со студенческой шапочкой на голове. Университет посещает редко, гораздо чаще — Академию художеств, поскольку обладает талантом живописца; лето из-за отсутствия денег проведет в городе (в Петербурге); собирается написать мой портрет.

27 апреля 1908

Сегодня явился Куприн в сопровождении Марьи Андреевны Пузик (вдовы Подкольского)... Куприн, как сообщил мне сын Пузика, мой ученик в гимназии Гуревича, часто навещает их семью. Видимо, они знакомы давно, поскольку Марья Андреевна рассказывала мне и моей семье, что Куприн — ее муж был тогда уже психически болен — говорил мальчику, что перестанет называть его на «ты», если он будет учиться на двойки. <...>

Из Литературного общества поехал к Грибовскому на поэтический вечер (в другой коляске сидел Сологуб с Вилькиной-Минской). Когда мы втроем поднимались по лестнице, я с удивлением сказал Вилькиной: «На Вас меховая ротонда?» (правда, на улице было всего четыре градуса), и Сологуб тут же поправил: «Не *рот-онда*, а *плеч-онда*!» Потом я спросил, откуда у нее эта вещь, не *из Парижа* ли? Тогда Сологуб, в свой черед, спросил: «Почему из *пар-ижа*, а не из *газ-ижа*?»

Поэтические «Вечера Случевского» — легализованы. По требованию градоначальника президентом был избран отсутствовавший Черниговец-Вишневский (как самый старший, к тому же — юбиляр: 50-летие писательской деятельности), его помощниками — я и Сологуб; секретарями — Уманов-Каплуновский (так сказать, полицейская часть), И.И. Соколов (ведение альбома) и Кильштет (хозяйственная часть).

Когда кандидатуры обсуждались перед голосованием, Сологуб не возражал против своей кандидатуры. Когда же голосование закончилось, он поблагодарил за оказанную ему честь и заявил, что не может ее принять, то есть не может стать вице-президентом общества, в которое не приняты «его ближайшие литературные соратники — Кузмин и Ремизов». Сколько ни пытались его переубедить, — бесполезно. Вместо него был избран Вентцель (Бенедикт).

Присутствовали также: Тэффи со своим Галичем (ушли до ужина; не дождавшись ужина, ушел и Сологуб — провожать Вилькину), В. Анненский (Кри-

вич), Бухарова (которую я и И.И. Соколов называли Зоинькой, она же в ответ ласково подымала на нас глаза), Кондратьев, который завтра (то есть сегодня) женится, Мейснер и С.В. Штейн. —

4 мая 1908

Вчера Вейнберг изливал передо мной горькие жалобы: в воскресенье, 27 апреля, в Академии наук состоялось торжественное заседание памяти Жемчужникова, где Вейнберг произнес посвященную ему речь. Сколько было писателей? Двое: сам Вейнберг (по необходимости) и Стасюлевич. От Литературного фонда, от Кассы взаимомопомощи, от Литературного общества, от кружка «Вечера Случевского» — ни единой души!.. Ну конечно!!! — —

Вчера в Театральном клубе я устроил последний в этом сезоне Товарищеский обед. С дамами. Потапенко появился лишь на минуту и возложил на меня ответственность за речи политического содержания, коль скоро таковые будут иметь место. Лихачев предложил тост за сидевшую тут же юную Александру Петровну Кропоткину как дочь известного революционера. Измайлов просил меня поехать вместе с ним за границу. Присутствовали также: Хирьяков, Журавская, Томашевская, Туношенский, Фельдман, Будищев, Невежин, Порошин, Кондурушкин (неофит; принес мне свою книгу), Беспятов (принес мне свой портрет), Ладыженский, Тихонов, Венгеров, Рославлев (неофит), Чеботаревская, Сологуб, Гинцбург, Вилькина-Минская, Allegro, Зинаида Венгерова, Андрей Зарин (отправляется на этих днях отбывать свой тюремный срок — полтора года), Брусянин (также отправляется на этих днях в тюрьму; срок — полтора года[462]), Шиле, Карпов, Владимир Немирович-Данченко, С.Н. Филиппов, И.И. Соколов, Барятинский и еще несколько дам, не имеющих отношения к литературе, — всего 34 человека. Царило оживление; много смеялись. Особенно когда Гинцбург, обращаясь к Кропоткиной, цедил сквозь зубы какие-то звукосочетания, долженствующие быть английскими.

8 мая 1908

Выйдя сегодня из конторы Общества спальных вагонов, столкнулся на Невском, напротив Гостиного двора, с Леонидом Андреевым. Он шел рядом с молодой некрасивой женщиной (видно, что не его жена) в распахнутом пальто, в характерной куртке, загорелый, пышущий здоровьем и жизненной силой, весь его облик — воплощение своеобразной мужской красоты. Все прохожие («все», — разумеется, преувеличение!) оглядывались и пялились на него. Он приветствовал меня словами: «А, Федор Федорович!» — «Вы еще помните меня?» — «Конечно. Но узнал Вас не сразу: Вы отпустили бороду!..» — «Все эти

месяцы я пытался навестить Вас. Недавно говорил об этом с Морозовыми». — «Да, мне передавали». — «Но я совершенно *затравлен*. Сейчас переезжаю за город и вокруг меня — гора ящиков. Дома у меня вообще какой-то бедлам. Приезжайте ко мне на Черную речку. Вы ведь у меня уже были. Я выстроил себе новый дом — недалеко от прежнего». — «А когда к Вам можно приехать?» — «В конце мая». — «В это время я буду в Италии, вернусь лишь в конце июня». — «Ладно, в конце июня. Тогда и договоримся, когда мне придти к Вам. Но я приду — непременно, непременно!»

8 июля 1908

Я покинул Петербург 29 мая и, вернувшись вчера из-за границы, поехал прямо сюда, в Старожиловку.

До Берлина мы (то есть я и Измайлов) ехали вместе с Клавдией Лукашевич; при ней находились ее дочь Зинаида, сын Павел и их немецкая гувернантка. В Берлине мы провели вместе несколько дней. Потом мы с Измайловым отправились в Лейпциг, а семейство Лукашевич — в Швейцарию. < ... >

14 июля 1908

В двух минутах ходьбы от нас, на Зайцевской даче, живет С.Н. Филиппов со своей «женой» Натальей Ивановной Порохиной и дочуркой Верой; она ходит к моей жене и рассказывает ей всякие истории (об этом — в другой раз). Сегодня ходил с ним на Чертово озеро и выпил три бутылки пива в ресторане «Медведь». Он рассказал следующие истории.

Однажды он посетил старика Плещеева (в доме на углу Спасской и Пантелеймоновской[463]). На пустом письменном столе стоял лишь портрет Виктора Гюго в простой деревянной рамке. На стене висел лавровый венок в серебряной оправе. На вопрос Филиппова, где же все остальные юбилейные реликвии, Плещеев ответил: «*В ломбарде*». Потом пришел сын Плещеева Александр и стал просить Филиппова (чьи рецензии он перепечатывал в своей театральной газете[464] без указания источника) нанести ему визит. Когда он ушел, Плещеев сказал Филиппову: «Не ходите к нему... это для Вас не компания!..» Александр уже тогда занимался (и, по слухам, доныне занимается и даже кормится) тем, что сводил французских актрис и балерин всех национальностей с русскими великими князьями, от которых у него множество портретов с благосклоннейшими надписями — в роскошных рамках и с золотой короной сверху они украшают стены его кабинета.

Сергей Андреевич Юрьев (с головой Лира) был в высшей степени забывчив. Однажды во время вечеринки у Чаева он попытался надеть себе на голову

спящего на рояле кота... В другой раз к нему зашел знакомый и удивился: почему в комнате так воняет? Оказалось, что это вальдшнеп, которого Юрьев подстрелил три недели назад и забыл вынуть из охотничьей сумки. <...>

Иван Сергеевич Аксаков, хотя и заступался за крестьян, был большой *барин*. Поэтому он и сказал Некрасову:

Друг, ты поешь о народе,
А говоришь ты с ковра![465]

Когда-то Филиппов поместил в «Русском Курьере» уничтожающую рецензию на чеховского «Иванова»[466], в результате чего театр Корша исключил пьесу из своего репертуара. Позднее они встретились в Ялте, познакомились и стали добрыми друзьями (у Филиппова есть письма Чехова, хранящиеся, наряду с другими вещами Филиппова, на одном из московских складов, и он обещал — уже в который раз! — подарить эти письма мне). Они вместе посещали в Ялте бордель, и Филиппов удивлялся, до чего «возмутительно бессердечное обращение» позволял себе Чехов по отношению к проституткам. <...>

Теперь несколько слов об Измайлове.

Мы представляем собой противоположности только в двух отношениях: он любит красное вино, я — белое; он предпочитает фиакр, я — трамвай.

В Германии, сидя в вагоне, он зубрил немецкие фразы, из которых ему, впрочем, ни одна не пригодилась. Совсем ничего не знает; путает, например, «heute» и «heilig», «reif» и «rein»[467]. По-французски тоже не говорит ни слова... Да и с географическими его познаниями дело обстоит не лучшим образом: он был уверен, что Тироль находится в Швейцарии, и перепутал Карлсбад с Баден-Баденом (думал поэтому, что одна из сцен в «Дыме» Тургенева разыгрывается в Карлсбаде, а не в Баден-Бадене).

Пока мы ехали, он писал бесконечные открытки — на удивление четким почерком. В жару спал совершенно голым. Единственную фразу на немецком языке он произнес в Берлине. Была ночь. Я закашлялся, и он, полусонный, сказал: «Nicht so laut... bitte!»[468] Это «bitte» после паузы — свидетельство его мягкого характера.

В «Биржевых Ведомостях» он (Измайлов) имеет твердое жалованье — двести рублей ежемесячно; сверх того, получает шесть копеек за строчку. В «Слове» ему платят за строчку десять копеек, а в «Русском Слове» — пятнадцать.

15 июля 1908

Продолжение об Измайлове. Вечерами, в гостинице, он обычно рассказывал мне о своих встречах с русскими писателями и их рассказы о других писа-

телях. Я записывал за ним следом, перебивая его лишь для того, чтобы сделать запись; кое-что записано буквально под диктовку. <...>

Всеволод Соловьев часто видел Тургенева в доме своего отца, знаменитого историка. Писатель производил на него неприятное впечатление: его высокий рост разительно контрастировал с его голосом (фальцетом) и неестественным кокетством. Однажды Ф. Корш упрекнул Тургенева в том, что в одной из своих критических статей он с похвалой отозвался о «трезвой правде» Решетникова. Тургенев замахал руками и воскликнул: «Ничего не могу возразить Вам на это, поскольку не читал ни единой строки Решетникова»... Соловьев уверял, что Тургенев был актером, желавшим лишь нравиться и играть в обществе первую скрипку.

Всеволод Соловьев говорил Измайлову, что Достоевский — глубоко мистическая натура, смесь небесно-духовного с инфернально-чувственным... Однажды Достоевский рассказал Соловьеву, что был недавно у одного хироманта, который с удивительной точностью описал ему все его прошлое и предсказал в будущем великую славу — такую, о какой ему и не мечталось; впрочем, в отношении болезни Достоевского предсказания были довольно мрачными. Достоевский тогда сказал: «Я этому не верю, но все равно рад!»

Кроме того, Всеволод Соловьев рассказывал Измайлову, что однажды в присутствии его брата Владимира (тоже большого мистика) вдруг сами загорелись свечи на столе, за которым они сидели (в комнате никого больше не было), а потом сами погасли.

У Всеволода Соловьева имелась разноцветная почтовая бумага. Обыкновенно он делал так: укрепив перед собой на столе один лист, опускал на него руку, державшую карандаш. Потом заставлял себя абсолютно ни о чем не думать. Однако рука его что-то писала, часто так неразборчиво, что прочитать написанное можно было, лишь перевернув лист и держа его на свет. Он показал Измайлову несколько таких листков; на одном из них Измайлов прочел предсказание русско-японской войны (вернее: русско-китайской; это было за два года до начала войны, но содержались намеки и на русско-японскую), на другом — высказывание Николая I: «С горечью взираю на участь моего несчастного внука (то есть Николая II. — *Ф.*). Меня окружали плохие советники, его будут окружать ужасные».

Всеволод Соловьев рассказывал Измайлову: однажды во сне ему пришло в голову стихотворение из восьми строк; он тотчас же встал и записал его. Утром к нему зашел его брат Владимир и сообщил, что этой ночью ему привиделось во сне стихотворение, которое он немедля ему прочитает. «Когда он прочитал его, у меня волосы поднялись дыбом: это было мое собственное стихотворение!» — закончил Всеволод свой рассказ... Как называлось это стихотворение, Измайлов не помнит. Знает лишь, что оно не было напечатано и находится в

принадлежащей Всеволоду маленькой записной книжке в пергаментном переплете.

Всеволод Соловьев никогда не мог простить своему брату, что его (Владимира) посмертная слава полностью затмила славу Всеволода — настолько, что в некоторых некрологах Владимиру был приписан ряд произведений Всеволода. <...>

В Риме живет некто Николай Иванович Марков, он тоже что-то пишет — рассказы, корреспонденции, но главным образом — статьи и заметки, посвященные его «жене», оперной певице Ван-Брандт. Измайлов знаком с ним лично. И вот Марков явился к нам в гостиницу около десяти утра, слонялся с нами целый день по Риму, а потом нас ожидал обед (в девять вечера!) у этой удручающе любезной пары. <...>

16 июля 1908

Продолжение об Измайлове.

От Анны Григорьевны Достоевской он знает следующее. Когда ее муж писал роман «Подросток», с ним начали заигрывать «Отечественные Записки» (Н.К. Михайловский уже тогда играл заметную роль). К Достоевскому отправился Некрасов. Далее Измайлов дословно передал мне рассказ Анны Григорьевны. «Я никогда не видела Некрасова и потому стала подглядывать в замочную скважину и подслушивать. В ту пору мы дьявольски бедствовали и договорились заранее, что согласимся на любой гонорар. Некрасов предложил 250 рублей за лист, и я увидела, что *дело идет на лад.* Федор Михайлович сказал: “Я согласен, но я не заключаю ни одной сделки, не посоветовавшись предварительно с женой. Сейчас я выйду к ней на миг”. Я едва успела отпрянуть от двери. Замахав на него руками, я зашептала: “Соглашайся, соглашайся, соглашайся!” Он засмеялся и спросил, откуда мне все известно. Тогда я призналась, что подслушивала за дверью!»

Кроме того, Анна Григорьевна рассказывала Измайлову такую историю. Однажды, когда они очень нуждались, Ковалевский объявил, что явится к ним с визитом. Она втайне от мужа заложила свою лисью шубу и устроила роскошный ужин. Достоевский не спросил, откуда она взяла деньги, лишь несколько раз украдкой пожал ей под столом руку. Спустя несколько дней Ковалевский, в свою очередь, пригласил их на ужин. На улице стоял жестокий мороз. Достоевский стал требовать, чтобы она надела свою лисью шубу, она же накинула на плечи какое-то жалкое пальтишко. Так все вышло наружу, и Достоевский ее ужасно бранил.

Еще один рассказ Анны Григорьевны. У Достоевского осталось много неопубликованного, но она не собирается при жизни все это печатать. В частно-

сти — одну сцену из «Бесов». После посещения архиерея Тихона Ставрогин (прямо Свидригайлов из «Преступления и наказания!!!) находит на лестнице своего дома восьмилетнюю девочку, потерянную гувернанткой. Он приводит ее в свою комнату и насилует (акт насилия изображен с натуралистической достоверностью). Катков написал ему, что при всем своем восхищении талантом Достоевского он считает публикацию этой главы совершенно невозможной. Достоевский посоветовался со своими друзьями Страховым и Победоносцевым (мнением последнего он особенно дорожил), и они убедили его воздержаться от публикации, поскольку описание такого рода уже не относится к области искусства, а кроме того, читатели заподозрят, что Ставрогин и автор — одно и то же лицо... Эта глава сохранилась у Анны Григорьевны в корректуре «Русского Вестника».

В предисловии к своим «Праведникам» Лесков упоминает одного писателя, который в сорок восьмой раз умирает от своей *мнительности.* Этот писатель — А.Ф. Писемский. Писемский был с Лесковым на «ты», Лесков же до последних дней обращался к нему на «вы». Лесков выручал Писемского, когда тот предавался обжорству или пьянству. В отношении своего здоровья Писемский отличался болезненной мнительностью; в особенности он боялся холеры. Всеволод Соловьев часто приезжал к нему в Костромскую губернию, где Писемский очень радушно его принимал, но сразу же предупреждал о возможной холере. Писемский был литературным отцом Всеволода Соловьева. Он часто бывал в доме историка Соловьева, его отца... Писемский говорил: «*стрелят*» вместо «*стреляет*», «*подпират*» вместо «*подпирает*», «*хватат*» вместо «*хватает*». Его любимое словцо было «*суще*» (в значении «верно», «как следует»).

Лесков говорил: «Тысячу раз я давал себе слово больше не писать. Однако писатель подобен кающейся блуднице: наступает вечер, и его снова тянет на Невский. Так неодолимо тянет к перу и писателя». — — — <...>

И немного — о немецкой литературе!.. В Инсбруке мы остановились в «Золотом орле». Хозяин показал мне боковую комнату на третьем этаже (№ 28), с видом на маленький мост через реку Инн. Некогда здесь ночевал мой кумир Гейне[469].

Конечный вывод в отношении Измайлова: чрезвычайно симпатичен, безукоризненно честен, как спутник начисто лишен мелочности, но как выходец из среды духовенства несколько узок и педантичен. Словом, — замечательный человек!

17 июля 1908

Ну и, наконец, о Горьком (запись сделана сразу же после визита к нему, поздно вечером, на Капри, в отеле «Бристоль», комната № 15)...

Нет, сперва еще коротко об Измайлове.

Чем ближе мы подъезжали к русской границе, тем более возрастал его страх перед таможенным контролем. Кораллы, камеи и т.п. он рассовал по всем карманам; распорол верхний шов на брюках и зашил туда золотую цепочку от часов; на груди под жилеткой спрятал две запрещенные книжки Горького; к лодыжкам ног прикрепил какие-то гребешки из дорогого дамского гарнитура. Но все прошло наилучшим образом. — — —

Капри, вторник, 24 июня/7 июля [1908]

Раньше Измайлов не был знаком с Горьким (лишь видел его однажды в Петербурге в ресторане Максимова) и потому очень обрадовался, когда я предложил ему (еще в Петербурге) навестить его. Однако он опасался, что Горький его не примет, потому что он, Измайлов, не слишком лестно отзывался о его последних произведениях. Пока мы поднимались по Виа Круппо[470], он был весьма возбужден. В четыре часа я позвонил в дверь и получил ответ от работника и горничной (оба — своеобразного вида), что господа ушли и вернутся не раньше чем в семь-восемь вечера. Но я тем не менее поднялся по лестнице, а Измайлов последовал за мной. Мы уселись на веранде, желая перевести дух. Какой-то человек принес нам аполлинарис (я попросил стакан aqua fresca[471]), и я объяснил ему, что знаю Горького и Марию Федоровну уже много лет. Тогда он попросил наши визитные карточки. И через три минуты появился Горький; он вошел, как обычно, чуть небрежной вихляющей походкой и приветствовал меня сердечным поцелуем. Я представил ему Измайлова, и тут же начался разговор о литературе. Минут через пять вошла Мария Федоровна (выглядит все такой же молодой и привлекательной), подсела к нам и включилась в беседу.

С коротко остриженными волосами Горький производит здоровое и даже грубоватое впечатление. Вместо сапог — кожаные сандалии. Поверх мягкой голубой рубашки с галстуком — дорогой суконный сюртук белого цвета с темно-синими полосками; точно такие же брюки. Выглядит моложе и свежее, чем в Куоккала. Но по-прежнему кашляет и курит все те же сигареты.

Я не мог все время участвовать в разговоре, потому что сидевшая возле меня Мария Федоровна обращалась ко мне с различными вопросами.

Сперва мы пили чай с фруктовым соком и печеньем, потом на веранде (неповторимый вид: море, лежащее глубоко внизу, скалы Фараньоли, монастырь, развалины замка Тиберия и т.д.) — полбутылки белого вина.

Я забыл упомянуть, что каждый человек и в порту, и в городе (матросы, рыбаки, официанты, извозчики) знает Горького не только в лицо, но и по различным его произведениям.

Держался Горький, как всегда, естественно, хотя и напускал на себя легкую грубоватость. Часто употреблял для украшения речи такие выражения, как «черт его знает» или «черт его дери» как в одобрительном, так и в бранном смысле.

Мы дважды спросили его, стремится ли он обратно в Россию, и он отвечал скорее энергично, нежели искренне или убедительно: «Вовсе нет! Вовсе нет!» Он предпочитает Италию: из-за здорового климата, красот природы, национальных черт характера и т.д. Однако русскую литературу он ставит значительно выше литератур всех других народов. «В литературе любой другой страны писатель отталкивается от своего предшественника. Однако в России — черт знает почему — каждый крупный писатель идет своим собственным путем. Попробуйте-ка вывести Глеба Успенского из какого-нибудь другого писателя. Его талант, проникнутый любовью к людям, облетел, словно раненная дрожащая птица, всю Россию!.. Наступит время, когда все другие литературы преклонятся перед русской и признают ее высшее духовное господство!»

Американцев и англичан, которых обслуживает туристская контора Кука, он называл «кукишами».

Его излюбленное словечко: «*понимаете ли*».

Он повел меня в свой маленький, но уютный кабинет, где записал в мой новый альбом «В пути»: «*Жизнь прекрасна — что скажешь правдивее и ценнее этого?*

А. Пешков.

Capri, 1908
июль/7».

Потом выразил сожаление, что не может подарить мне ни одного из своих последних произведений, ибо сам не располагает таковыми (это правда; я оглядел его книжные шкафы, в которых много историко-литературных сочинений, в особенности — по русской литературе; среди них — библиографические редкости. Я заметил лишь около десятка стоящих подряд экземпляров его сборника «Пьесы»). И один из экземпляров этой книги (содержание: «Варвары» и «Враги») он подарил мне со следующей надписью:

«*Федору Федоровичу Фидлеру*
который своею любовью к литературе русской вызывает чувство глубочайшего уважения к нему. —

М. Горький.

1908. Capri».

Измайлов, который еще в Берлине купил последний его роман, «Исповедь», и дорогой читал его в вагоне, вырвал из этой книги титульный лист и, прочитав вышеприведенные слова, попросил Горького сделать на нем какую-либо

запись. Горький вышел в свой кабинет, через некоторое время вернулся и, сказав «Извините», протянул ему лист, на котором было написано:

«Александру Алексеевичу Измайлову.

Может быть, Вам это не понравится, но я желаю Вам больше духовного роста и больше любви к русской литературе. Жму Вашу руку».

Я привожу запись почти дословно. Говорю «почти», ибо не списал ее сразу же, а записал позже. Измайлов прочитал ее мне вслух и затем, в ту же секунду, дал мне ее прочитать. Во всяком случае, достоверность смысла не подлежит ни малейшему сомнению. Измайлов был потом рассержен и не дал мне сделать точную копию: «Зачем другим знать, какие он мне пишет неприятные вещи?!» Так или иначе, но тот автограф — мне, а этот — ему!

Разговаривая, Горький постоянно делает носом резкое «тнх». Произносит «Бéрлин».

Его посетил Райнер Мария Рильке вместе с Эллен Кей[472]. Оба ему очень понравились.

О Мамине отозвался так: «Это настоящий человек, черт его дери, *широкая* русская натура! Его “Пепко”, черт его дери, *хо-ро-шая книга!*» (Он делает сильный нажим на первое «о». Свое высшее одобрение он вообще выражает словом: *хó-ро-шо, хó-ро-шо*!)

О Каменском: «Он не нравится мне как человек и не нравится как писатель. Он принес мне “Четверо” с просьбой напечатать эту вещь в “Знании”. Я отказался и посоветовал ему отложить рукопись с тем, чтобы, вернувшись к ней через пару лет с более зрелым мировоззрением, ее переработать. Как же он поступил? Изменил заглавие, принес рукопись Пятницкому и стал уверять, что я уже читал и одобрил. Однако я еще раньше сообщил Пятницкому содержание повести, так что она не была принята.

О Брешко-Брешковском Горький отозвался с пренебрежением — как о писателе, так и о человеке.

Как только я представил Измайлова, Горький сделал ему комплимент, сказав, что его книгу «Кривое зеркало» (пародии на современных русских писателей) не следовало так называть, потому что она — прямое, а не кривое зеркало. Когда же Измайлов не вполне вежливо (из-за свойственной ему деликатности, ибо бесцеремонность часто происходит от робости) спросил Горького, разделяет ли он религиозное миросозерцание своего героя в «Исповеди», то на несколько секунд над нами нависло что-то вроде грозовой тучи. Горький сухо ответил, что героя вовсе не следует отождествлять с автором, а Мария Федоровна, которая грациозно, словно готовая к прыжку тигрица, покоилась в кресле, сказала с ледяным вызовом: «Лишь у автора бездарной книги могут спросить, на чьей стороне его симпатии». Однако беспомощно смущенный вид Измайлова рассеял грозовую тучу. Разговор возобновился.

Горький предложил Измайлову сигарету, и тот взял, неумело сделал несколько затяжек (он вообще не курит) и затем спрятал погасший окурок.

Оба почти силой оставили нас обедать (часы уже показывали девять). Супа не было. За столом, кроме нас четырех, сидели дочь и сын Марии Федоровны и еще двое незнакомцев; все общество потешалось над одним из них, который только что побрился. Кроме того, по столу расхаживал и обедал с нами попугай Пепито: он разгуливает, где ему вздумается, и относится к обоим «супругам» прямо-таки с трогательной любовью.

Было совсем темно, только луна светила. Нас сопровождал вниз неуклюжий увалень, сын Марии Федоровны (помнится, я уже упоминал здесь о нем, когда несколько лет назад навещал Горького в Куоккала). Он довел нас до ресторана «Кот Хиддигайгай» и покровительственно похлопал хозяина по плечу. Да и с остальными он держал себя снисходительно-приятельски.

Дорога к нашей гостинице шла все время под гору, и Измайлову удалось на ходу помочиться.

Горький сказал, что он сейчас ничего не пишет: отдыхает. «Я и без того написал уже больше, чем Боборыкин, и успел надоесть читателям».

С большой любовью он говорил о Чехове. Об Андрееве тоже, хотя и с известной сдержанностью. «Слышишь, Алеша!» — радостно сказала Мария Федоровна, когда я рассказал ей о моей встрече с Андреевым. «Слышишь?» — сказала она печально, когда я сообщил, что братья последней жены Андреева слывут шарлатанами. Горький никак не реагировал на эти возгласы.

Ему чрезвычайно нравится последняя повесть Гусева-Оренбургского («Сказки земли»), которая должна появиться в «Знании», «*Хó-ро-шая вещь*, черт его дери!» Он вообще его очень любит. Написал несколько приветственных слов для моей жены и при этом отчетливо вспомнил о ней и своем первом (и последнем) визите ко мне, вплоть до тех блюд, что были поданы тогда на обед (например, жареная гусятина) и о тех, кто обедал с нами (Альбов и Баранцевич). Привожу эту деталь как доказательство его поразительной памяти.

От участия в международном чествовании Толстого со стороны Италии Горький отказался — в сдержанно-холодном тоне.

19 июля 1908

Кое-что о Петере Альтенберге.

Это было в Вене, в пятницу, 4/17 числа сего месяца. В большом магазине, где торгуют открытками, я приобрел множество почтовых открыток с портретами писателей (первое, что я делаю в любом городе!) и обнаружил среди них две с изображением Альтенберга; он выглядит на них большим и мужественным. И когда мы ехали с Измайловым по городу на извозчике и проезжали по Херрен-

штрассе мимо «Кафе Централь», я вспомнил, что Альтенберг — об этом мне говорили многие — завсегдатай этого кафе. Мы отпустили извозчика, вошли и заказали себе кофе гляссе. Стол, за который мы уселись, оказался, как сообщил нам официант, тем самым, за которым обычно сидит Альтенберг, — прямо напротив входной двери. (Кстати: в этом кафе я был уже в 1885 году, во время моей первой заграничной поездки, с покойным А. фон Рейнгольдтом.) Альтенберг живет напротив — в гостинице «Лондон». Я послал ему с официантом свою визитку и получил от портье ответ: господин Альтенберг еще спит (было четыре часа дня), но скоро его разбудят и примерно через четверть часа он появится. Прошло четверть часа, и Измайлов заявил, что больше не будет ждать — все равно, мол, он не сможет участвовать в беседе. И хотя я советовал ему занять место за каким-нибудь отдаленным столиком, он вышел на улицу.

Тут явился Альтенберг, человечек среднего роста. Официант представил нас друг другу. Он сел напротив меня, держа в руке мою визитку и три письма; официант подал ему еще два письма и поставил перед ним чашку кофе. Он вынул из кармана нечто вроде баночки и высыпал из нее в кофе какое-то белое вещество, которое сразу же растворилось. На мой вопрос, что это такое, ответил: «Сахарин. Я все время его употребляю — для очищения организма»[473]. Он попросил официанта (подчеркиваю: попросил) достать для него бутылку санатогена[474] и пояснил мне: «Не могу жить без санатогена. Но он так дорог, а я так беден, что мне по неделям приходится без него обходиться — и тогда я совсем разбит. Я вообще не чувствую почвы под ногами — во всех отношениях!» На мой вопрос, с кем из здешних писателей он общается, воскликнул: «Ни с кем! Ни за что! Шницлер, Гофмансталь, Салюс и Беер-Хофман — одна клика: они не просто не замечают меня — они объявили мне бойкот! Как писатель я для них вообще не существую; я для них — самый заметный в Вене юродивый. Я не одеваюсь как щеголь — Вы видите, на мне даже нет жилета! Кроме того: я чту женщин, а для них женщины — лишь отбросы, отхожее место. Я всегда шел собственным путем!»... Узнав, что я был в Италии, Альтенберг позавидовал мне. «Однажды я собрался в Венецию. Все было готово: бесплатный билет туда и обратно, необходимое количество денег от одного мецената — и все же я не поехал». — «Почему?» — «А потому что подняться, одеться, умыться — это для меня прямо целое событие. Таким образом, я никогда не покидал Вены, если не считать, что двадцать одно восхитительное лето я провел в Гмундене».

На каждое из трех своих писем он наклеил, кроме обычной, еще и особую марку и пояснил, что это марки благотворительного фонда имени убиенной императрицы Элизабет («которую я высоко чту!») в пользу бедных и больных детей. «На каждое мое письмо я наклеиваю такую марку — не могу видеть, как страдают дети. Впрочем, скажу: хоть я и против телесных наказаний, но советовал бы каждому родителю пороть своего ребенка до полусмерти, чтобы тот

учил иностранные языки, скажем, французский и английский. Это важнее, чем знание географии, истории и т.д. Все прочие знания можно получить благодаря знанию языков!»

Когда он услышал, что я был у Горького, он воскликнул: «Ах, Вы счастливец! Это мой бог! Единственный, с кем я чувствую родство, кто обогащает меня! Шиллер, Гете, Шекспир — у них уже не найдешь нового! А вот “На дне” я смотрел восемь раз в берлинской постановке и каждый раз обнаруживал в этой пьесе новые, неизведанные красоты!»

Жаловался, что у него мало друзей, к тому же никто из них не читал ни одной его строчки. Зато — много приятельниц, благородных женщин: они хорошо его понимают, он не видит в них самок и состоит с ними (одна из них живет в Лондоне) в оживленной переписке.

В связи с этим он показал мне свою только что изданную книгу «Auswahl aus meinen Schriften»[475]; на шмутцтитуле — длинное посвящение, написанное им для какой-то женщины. Оформление книги ему очень нравится: край переплета немного загнут, поэтому страницы совсем не пылятся. <...>

Тут пришла барышня, которую Альтенберг представил мне как Веру, или Веронику; она села за наш столик и попросила принести ей фруктовой воды. Явился еще какой-то господин, которого он представил мне как редактора и настойчиво в чем-то убеждал (причем Альтенберг все время сидел, а редактор стоял перед ним), сперва тихо, потом все громче, так что я слышал такие фразы, как «Вот она, людская низость!» или «Бросить меня, старого больного человека!» (я старался из вежливости вести разговор с барышней, но она отвечала мне односложно, прислушиваясь к тому, что говорил Альтенберг). Во всяком случае, у меня сложилось впечатление, что речь идет о каком-то благотворительном учреждении, которое отказало ему в дальнейшей поддержке («потому что я — поэт!»).

До этого, когда мы еще сидели вдвоем, и я, вынув две только что купленные открытки с его портретом, сказал, что он, по-видимому, весьма популярен в Вене, он воскликнул: «Есть еще и карикатура на меня, но это ничего не доказывает! Меня здесь никто не знает. В то время как о моей второй книге было написано во всех немецких газетах, здесь не появилось ни строчки, ни одной печатной строчки!.. Но вот одна русская дама мне пишет, что моя книжка “Как я это вижу” вышла в русском переводе[476] и пользуется большим успехом у русского студенчества».

Он курит и пьет, «хотя мне не следует» (выпил две чашки кофе и не стал курить сигарету, которую взял у меня; я же курил и выпил два раза по полпива).

Он являет собой до безалаберности нервное существо, но начисто лишен манерности и кокетства.

У буфетной стойки он с величайшей готовностью расписался на одном из своих изображений и сделал запись на листочке бумаги для моего альбома автографов («В пути»), который я оставил в гостинице, не зная, что встречусь с Альтенбергом:

«Что я понимаю под выражением “культура женской души”: не причинять мужчине, к которому она душевно привязана, никакого страдания **вплоть до той минуты**, когда она искренне и смело скажет ему: **Все кончено**!!!

17/8 (вместо 7. — *Ф.*) 1908. Петер Альтенберг».

Пока он (Альтенберг) писал это у буфетной стойки, барышня, кажется, склонная впадать в истерику, спросила меня, не знаю ли я статского советника Нукова из Одессы. Он уговаривает ее отправиться туда в качестве его компаньонки, но вид у него весьма подозрительный: носит потертый костюм, живет без багажа в сомнительной гостинице «Националь» и не имеет денег. Я посоветовал ей воздержаться от этого шага.

Вернулся Альтенберг, и они оба покинули заведение.

Я тоже покинул его минут через десять и увидел на улице — Измайлова; он стоял и ждал меня, хотя мы договорились, что он возьмет у кафе извозчика и поедет домой.

28 июля 1908

Позавчера приехал Баранцевич (я назначил ему свидание в «Капернауме», откуда мы вместе поехали за город); сегодня он отправился в свое Саблино. <...> С.Н. Филиппов и я проводили его (Баранцевича) до вокзала. До этого я уже предупредил Баранцевича, что Филиппов будет бранить не только все русское, но и всех русских писателей. Так оно и случилось; при этом мы с Баранцевичем обменивались веселыми взглядами. На парголовской возвышенности, в беседке ресторана «Медведь», мы выпили несколько стаканов пива и при каждом писательском имени, которое я называл, Филиппов восклицал: «Негодяй!» или «Подонок!», или «Мерзавец!», или «Вор!», или «Бездарный наглец!» Всеми этими выражениями он наградил Владимира Тихонова.

Перед тем как идти провожать Баранцевича, мы завтракали у нас в саду. Отношение обоих к Измайлову — резко отрицательное. Конечно, они ничего не могли предъявить ему в нравственном плане, но называли его совершенно незначительным критиком: ему, мол, недостает литературного образования и у него мало эстетического вкуса. Бранили его также за то, что он уделяет слишком много внимания современным русским писателям. Дело в том, что о них обоих он ничего не писал. Deinde ira![477]

Говорили об Антоне Чехове, и Баранцевич заявил, что Чехов — *родоначальник* современных литературных хулиганов. Так, в присутствии Баранцевича

Чехов покровительственно похлопал старика Плещеева по животу и спросил: «Ну, как дела, старче?» Филиппов согласился с Баранцевичем и рассказал, как высокомерно держал себя однажды Чехов по отношению к старику Суворину. Это было в Москве... Впрочем, я твердо помню, что уже записывал этот эпизод четыре года назад, летом, в Майоренгофе.

2 августа 1908

Говорил с Венгеровым. Он пригласил Горького и Леонида Андреева в члены юбилейного комитета (80-летие Льва Толстого). Горький уведомил телеграммой о своем отказе, Леонид Андреев — письмом о своем согласии.

4 августа 1908

Получив письменное приглашение, доехал вчера поездом до Райвола и оттуда извозчиком — до Черной речки (Ваммельсуу). Уже издалека виден массивный, не совсем обычный дом под красной кирпичной крышей и с башней — явно недостроенной. В прихожей мне навстречу быстро вышел Леонид Андреев, в высоких сапогах, перехваченных в верхней части ремешками, в шляпе, венчавшей голову, в черной плюшевой (или бархатной) куртке с большими круглыми пуговицами посередине (по правому и левому боку — перпендикулярно расположенные карманы). Он радостно приветствовал меня и сразу же стал показывать мне многочисленные комнаты, давая при этом пояснения. Прежде всего должен сказать о внутренней отделке дома: все, что об этом говорится, — сущая болтовня; во-первых, дом еще вообще не готов ни снаружи, ни внутри (в одной из комнат работали плотники), во-вторых, нет ни единой росписи — ни на стенах, ни на потолке, а в-третьих, — ничего из ряда вон выходящего. Правда, нет и ничего банального, и нордический стиль, как его называет Андреев, выдержан последовательно вплоть до меблировки (таковы, в особенности, стулья в столовой — самого обычного вида). Все — массивно, просторно, светло, эстетично. Молодой архитектор Поль[478] исполнил все это по рисункам Андреева. «Я доверил ему все дела по строительству: он производит закупку, расплачивается с поставщиками, рассчитывается с рабочими и (со смехом) несет ответственность за мои долги!» Самое большое помещение в доме — его рабочая комната (у русских она всегда называется «кабинет»); через полированные стекла — прекрасный вид вдаль на обе стороны, на леса и поля, и речку где-то внизу (моря из этой комнаты не видно). Он подвел меня к огромному детскому портрету, который он выполнил по крохотной и совсем поблекшей фотографии: на портрете изображен он сам. На одной стене висят не обрамленные вырезки из русских газет и журналов (их примерно восемь): это карикату-

ры как на него самого, так и на постановку его пьесы «Жизнь человека». (В моем «музее» таких карикатур куда больше, и я обещал Андрееву лишние экземпляры, если найдутся.) В рамке стоит портрет Берты Зутнер с надписью:

«Леониду Андрееву с искренним восхищением. Август 1905». И ниже:

«Пусть громогласно
Звучит везде:
Долой оружье!
Война нужде!»

Это он получил от нее в благодарность за «Красный смех».

На полках и в шкафах стоят книги в полном беспорядке; многие тут же на полу в пачках.

Нам подали два стакана чая. Узнав, что я был на Капри, Андреев не задал ни одного вопроса относительно Горького и его семьи. Сам же отозвался о Капри в высшей степени неодобрительно: мол, наслаждаться красотами этого острова можно не более пяти дней; он провел там пять месяцев и страшно скучал, ведь даже гулять там негде: все время приходится подниматься в гору... Я показал ему вчерашний номер «Слова» (он получает почту в три часа), где сообщается, что в качестве редактора альманахов «Шиповника» Андреев отрицательно отнесся к роману Сологуба «*Навьи чары*», так что продолжение появится не в альманахе, а в виде отдельной книги. Андрееву эта заметка явно не понравилась: «Во-первых, я более не редактор "Шиповника". Во-вторых, продолжение называется "Капли крови" и представляет собой самостоятельный роман. В-третьих, я действительно в разговорах с сотрудниками альманаха не слишком лестно отзывался о "Навьих чарах"; но я надеялся, что это останется между нами. И вот об этом узнал Сологуб! Это, наверно, задело его очень болезненно!»

Тут появилась его жена. Он поспешил навстречу и поцеловал ей руку в знак приветствия (должен заметить, что я пришел в час дня и видел в столовой кипящий самовар). Она не красива, но миловидна. Пикантность, лишенная неприятного привкуса. Немного декадентская прическа; чтобы привести ее в порядок, потребуется минимум час времени. Плечи и роскошная грудь обтянуты тканью, через которую просвечивает тело. Держится естественно и приветливо. Курит. Когда он, обратившись к ней, сказал «Аня», я заметил, что в газетах ее зовут «Матильда Ильинична». Андреев пояснил, что так ее звали в семейном кругу, тогда как в свидетельстве о рождении и в брачном свидетельстве стоит «Анна». — Она напомнила ему, что надо заполнить парижскую анкету, на что он сказал: «Вот ты и напиши!» И она стала писать. На вопрос, сколько у него детей, он сказал: «Напиши — трое, нет, на всякий случай, лучше — четверо!» На вопрос, есть ли у него награды, Андреев сказал: «Напиши, что на выпускном

экзамене в орловский гимназии я получил единицу по тригонометрии!.. Собственно, я никогда не ладил с математикой! Письменные экзамены я просто *скатал*, а на устном провалился. Я начертил на доске черт знает какие знаки и сопроводил их буквами. Учитель велел мне прочитать вслух, что я написал. И я стал читать: cos α, sin β. А когда он спросил меня, что означают эти cos и sin, выяснилось, что я вообще ничего не знаю про косинус и синус! Экзаменатор отомстил мне тем, что велел написать на доске несколько чисел и перемножить их; и пока я выполнял это задание из программы приготовительного класса, все члены экзаменационной комиссии потешались надо мной». — «А сколько Вы получали за русские сочинения?» — «Четверки и пятерки».

Она принесла пухлый том (всего их четыре), в который вклеены рецензии на сочинения Андреева и статьи о нем (с самого начала его писательской деятельности).

Андреев удалился на миг, когда в комнату зашел его маленький сын от первого брака (я видел его четыре года назад... Забыл отметить, что вилла находится недалеко от дома, в котором он проводил лето с первой женой четыре года назад). Анна Ильинична ласково потрепала и погладила мальчика.

Тут пришли Репины. (Участливо расспрашивали о здоровье моей жены.) Между двумя землевладельцами завязался долгий разговор, который мало меня интересовал: о строительном материале и где его достать; о преимуществе того или другого сорта цемента; о задвижках на оконных рамах; о стоимости работ и т.д. Я уловил лишь, что Андреев собирается обить внутренние стены комнат серой тканью и что вся вилла в завершенном виде будет стоить тридцать восемь тысяч рублей.

Мы прошли через сад, заросший овсом, и спустились к красивой реке. Репин сказал, что на месте Андреева выбрал бы для виллы более удобное место, и Андреев ответил: «Вы имеете в виду — здесь? Да, поначалу я так и хотел сделать. Но потом рассудил иначе. Дело в том, что какие-то частицы красоты всегда нужно оставлять про запас. Если бы дом стоял здесь, я мог бы разом любоваться всей этой красотой. А так, прогуливаясь, я теперь все время наталкиваюсь на потаенные прелести». Репин полностью согласился с ним.

Когда мы стояли на балконе виллы, я стал озираться по сторонам, делая вид, будто что-то ищу. «Что Вы ищете?» — «Ищу шест с доской, на которой, как уверяют газеты, написано "Вилла Аванс"!» — «А, газеты! Однажды в редакции "Шиповника" я, получая аванс, сказал в шутку, что назову свою виллу "Аванс"; ну а люди приняли мои слова всерьез!» — «Да Вы и не можете назвать ее "Аванс" хотя бы по той причине, что Вы, судя опять-таки по газетам, проиграли все Ваши авансы в карты!» — сказал я улыбаясь. — «Да, да! При том, что я совсем не играю в карты!.. А когда я однажды совершал литературное турне, меня

превратили в аванс-туриста (авантюриста)!»... Он засмеялся. Он вообще много смеется и шутит... Должен признаться: Андреев вовсе не выглядит таким серьезно-задумчивым и преисполненным мировой скорби, каким его изображают на различных портретах.

Еще когда мы сидели у него в кабинете, он рассказал, как нелегко приходилось ему в роли редактора «Шиповника». Люди являлись не к назначенному часу определенного дня, а когда им вздумается: рано утром или поздно вечером; и так — в течение всей недели. При этом — вовсе не по редакционным делам. Многие просили денег и грозились покончить с собой. «Что я мог поделать? Если б я шел навстречу каждому просителю, мне пришлось бы частенько выплачивать до тысячи рублей. Этого я, конечно, не мог, и сам называл себя в такие дни палачом. Особенно тяжко мне приходилось, когда я *палачил* начинающих авторов. Вы и представить себе не можете, до чего бездарные вещи попадали ко мне на просмотр! Часто, в полночь, ложась в постель, я брал с собой одну такую рукопись и думал перед тем, как приступить к чтению: "Господи, сделай так, чтобы я написал совершенно негодную повесть, но хоть раз пошли мне взамен пристойную рукопись!" Напрасно! Утром я вынужден был сказать молодому человеку или молодой девушке, сидевшим передо мной с трепещущим сердцем: "Не годится!"; и видеть, как они бледнеют и гаснут. Да, я их *палачил*».

Я спросил, как долго продержатся эти высокие гонорары и могут ли они еще более возрасти. «Возрасти? Вряд ли, — ответил Андреев. — Самые высокие гонорары получаем мы, я и Алексей (то есть Горький); тысяча рублей за лист или рубль за строчку. Мне предлагали уже и полторы тысячи, но я воспротивился. Следующий по величине гонорар получает Куприн: семьсот пятьдесят рублей; но скоро и ему будут платить тысячу. "Знание" могло платить раньше очень высокие гонорары, потому что каждая книга выходила тиражом в тридцать тысяч экземпляров, и весь тираж раскупался; а в последнее время покупателей поубавилось».

Я спросил, доволен ли он постановкой «Жизни человека» в Московском Художественном театре. «Не очень. Куда более удовлетворила меня постановка в Театре Комиссаржевской». — «А почему Вы позволили режиссерам делать то, что полностью противоречит Вашему замыслу, ясно выраженному в книге? Почему Вы допустили, чтобы вместо столь характерной размеренной польки играли абсолютно декадентскую мелодию?» — «А что можно сделать? Я сопротивлялся изо всех сил, но мне сказали, что постановка осуществляется в стиле Бердслея и звуки польки никак не подходят».

Появился Репин со своей пучеглазой «женой» Натальей Борисовной Нордман, пишущей под псевдонимом Северова. Она предложила нам подписать коллективное поздравительное письмо Льву Толстому к 28 августа. «С удоволь-

ствием!» — сказал Андреев и подписал. Я тоже подписал, хотя и не без усилия. Дело в том, что ручка у Андреева в том месте, где вставляют перо, — треугольной формы, поэтому держать ее было крайне неудобно (мне, во всяком случае). Я спросил: «Вы всегда пишете этим поленом?» — «Всегда. Вот уже пять лет. И всюду беру его с собой; оно побывало даже в Италии». — «Но если им долго писать, пальцы сводит от напряжения!» — «Нет, смотрите, как надо»... И, зажав перо между указательным и средним пальцами, он изогнул руку и стал писать, держа его под углом.

Тут Северова воскликнула: «Давайте все вместе пошлем на этой открытке привет Горькому!..» Без малейшего раздумья Андреев ответил: «*Ну его!* Я его не люблю!»

Мы изумились и молча направились к обеденному столу. Сервиз — самый дешевый; салфетки — не первой свежести. Кушали: *борщ* почти без свеклы, но с ватрушками; *битки*, в коих больше белого хлеба, нежели мяса, с зеленым горошком и картофельным пюре и — малиновое мороженое. Никаких напитков — ни единой капли! Ни водки, ни вина; даже кваса не было! На столе отсутствовал даже графин с водой. Через час после еды подали чай.

За обедом Северова отважилась задать вопрос: «Как же так получилось, Леонид Николаевич, что Вы перестали дружить с Горьким?»... И Андреев ответил: «Когда со всех сторон началась направленная против меня *травля*, Горький сказал, что моя репутация будет восстановлена в готовящемся к изданию сборнике "*Литературный распад*". И что же? Книга выходит в свет, а в ней — ни одной горьковской статьи, зато помещена чудовищная ругань в мой адрес! Мне не только отказывают в литературном таланте, но и выводят меня чуть ли не мошенником! Я написал Горькому и спросил, это ли обещанная реабилитация моего имени и чем он может объяснить невероятные выпады против меня. На это письмо я до сих пор не получил ответа!»[479]

Но когда затем, после мучительной паузы, стали говорить о недавно появившейся «Исповеди» Горького, Андреев восхищенно воскликнул: «Какая прелесть! Какая прелесть! И какой безупречный стиль!»

В кабинете висит фотография, на которой он изображен вместе с Горьким. Репин показал на Горького и сказал, что тот выглядит здесь как маляр (я тоже хотел об этом сказать, но не решился). Андреев пояснил, что Горький и вправду был маляром и в качестве такового фигурирует в своем паспорте. При этом Андреев показал нам великолепно переплетенный экземпляр «*Мещан*» с дарственной надписью Горького, начинающейся словами: «*Хорошо сказал Гейне: Бей в барабан и не бойся*» (первая строчка известного стихотворения). Далее следует: «*Цеховой малярного цеха и бывший академик*»[480].

С 15 августа Андреев снова начнет работать; сейчас он ничего не пишет. Посетители бывают у него редко: слишком далеко!

6 августа 1908

Вчера на городской квартире обнаружил толстый пакет с Капри: Горький прислал для моего «музея» множество писательских писем к нему (выполнил то, что обещал устно). Сегодня я поблагодарил его и привел вышеприведенный похвальный (разумеется, только похвальный) отзыв Андреева о нем... Возможно, это поможет им помириться друг с другом.

(В квартире лишь 8° тепла, оттого — такие каракули!)

Дополнение к записи, посвященной Андрееву.

Будущим летом он собирается засеять семенами цветов огромную поляну перед своим домом, ныне почти целиком заросшую овсом. Хочет, чтобы у него был ухоженный сад с клумбами, грядками и т.д.

У него есть лошадь, которую он при мне запряг в обыкновенную финскую повозку; его кучер довез меня до станции Райвола — семь верст лошадь пробежала за полчаса.

Андреев подарил мне: 1) «Царь-Голод» с надписью; 2) «Красный смех», написанный на ремингтоне и с его собственноручными поправками; в текст вклеено несколько репродукций с антивоенных картин Гойи; 3) три своих редких юношеских фотографии и 4) свою самую последнюю фотографию (фотограф — Здобнов), размером более аршина, с любезной надписью.

Эту фотографию он несколько раз обернул газетной бумагой. В таком виде я и поставил ее рядом с собой на скамью в вагоне. Пограничная станция Белоостров. Входят три таможенника. Между их главным и мною завязывается такой разговор: «Это что такое?» — «Портрет». — «Какой еще портрет?» — «Фотографический». — «А кто на нем?» — «Мой добрый знакомый». — «Кто именно?» — «Писатель». — «Как зовут?» — «Леонид Андреев». — «Покажите». С большим трудом я распаковал портрет. Цербер глянул Андрееву в лицо, прочитал дарственную надпись и гордо повернулся ко мне спиной. Двое других последовали за ним и вышли из вагона, предоставив мне тщетно биться над свертком и приводить в порядок растрепанные газеты (снаружи лил дождь).

Но главное не это. На скамье, рядом с портретом, лежали не завернутые в бумагу обе книжки Андреева. К ним не было проявлено ни малейшего внимания — а ведь, казалось бы, именно на русско-финской границе должны особо интересоваться нелегальной литературой!

31 августа 1908

Вчера — именины Измайлова. Его возлюбленная (ее зовут Клавдия Владимировна[481]) очень привлекательна и пикантна; вела себя весьма бойко. Пела вместе с Баранцевичем, который был навеселе (у него в Саблино гостит Альбов:

избавился от своего кашля и чувствует себя хорошо). Присутствовали еще: Тихонов, Карпов, Невежин, Василий Немирович-Данченко, Фаресов, Будищев, Брешко-Брешковский, Лихачев и Рышков.

7 сентября 1908

Сегодня зашел к Мамину (с мая он живет по адресу: Верейская[482], 3, кв. 16). Застал его на улице у подъезда: он возвращался с прогулки. Немного отяжелел, но бодр настолько, что поднимается по лестнице (они живут на четвертом этаже) живее меня — мне пришлось пару раз остановиться, чтобы перевести дух. На его письменном столе лежала рукопись, а рядом — раскрытый русско-финский словарь; он работает сейчас над какой-то повестью. «Тетя Оля» утверждает, что он писал в течение всего лета. Она очень довольна их летним отдыхом в Келомякках[483]: Мамин пил мало, часто совершал прогулки и весьма окреп и телом, и духом. Я предложил ему устроить празднование его юбилея, но она решительно отклонила мое предложение. «При его скромности, — сказала она, — это обернется для него одними неприятностями». Она позволяет ему выпить ежедневно две рюмки водки и три-четыре бутылки пива. Я спросил ее, как обстоит дело с Лизой («женой» Куприна), и она ответила: «Ее имя нельзя произносить в этом доме!» Развод с «Мусей» идет полным ходом... Пока я с ней разговаривал, Мамин сидел в столовой с Булацелем (тот еще ранее навестил меня, так что мы вместе отправились к Мамину); перед ними стояло несколько бутылок пива. Мы выпили в общей сложности шесть бутылок, причем лицо у «Тети Оли» приняло весьма озабоченное выражение. Мамин весело болтал обо всем на свете, и то, что он страдает забывчивостью, не проявилось ни разу; лишь под конец он стал повторяться. Рассказывал про Терпигорева-Атаву, шутившего таким образом: он произносил не «*курсистки*», а «*курсиськи*». Сожалел, что куда-то пропали десять писем Салтыкова к нему; «это был единственный редактор, который хорошо со мной обращался».

Он (Мамин) усвоил отвратительную привычку: плюет в стоящую на столе пепельницу! Правда, в нашем присутствии он не позволял себе ничего подобного. — — <...>

16 сентября 1908

Вчера зашел Мамин с Аленушкой. Выпил несколько бутылок пива. Леонид Андреев, по его словам, — «вообще никакой писатель». Толстой — всего лишь *букашка* рядом с Достоевским, «которого я тоже не люблю, но это — самый великий писатель из всех, какие были и будут в России». <...>

О Толстом: несколько лет тому назад Мамин имел обыкновение звать его «comte Léon»[484] и утверждал, что Толстой смертельно заболевает каждый раз, когда чувствует, что его слава улетучивается. <...>

27 сентября 1908

Вчера у меня обедали Альбов и Измайлов. Первый верит в «сглаз»; однако «сглазить» может лишь тот, у кого черные глаза. С ним дважды случалась история: человек, у которого черные глаза, делал ему комплимент и говорил, что он (Альбов) прекрасно выглядит; а через несколько часов Альбов чувствовал себя больным... Измайлов (как обычно, куда-то спешил) сообщил, что десятого числа нынешнего месяца у Льдова было 30-летие писательской деятельности, однако он категорически воспретил помещать в газетах какие-либо юбилейные статьи. Кто-то из его друзей (Льдов не назвал его имени) украл у него множество стихов (в рукописи) и опубликовал под своей фамилией. — —

Сегодня вечером у меня собрался Совет Петербургского литературного общества, а именно: Анненский, Батюшков, Богучарский, Венгеров, Герценштейн, Пантелеев и Кранихфельд. Поскольку еще никогда в жизни я не был так загружен, как в нынешнем учебном году (48 часов еженедельно), да и вообще у меня нет ни минуты покоя (болезнь моей жены), то я вынужден был отказаться от секретарства. Присутствующие выразили сожаление, искренне поблагодарили меня и выбрали секретарем Кранихфельда, коему я и передал все документы.

4 октября 1908

Вчера — первый вечер Петербургского Литературного общества в новом ресторане (Фонтанка, у Семеновского моста[485], рядом с печально известным танцевальным рестораном Марцинкевича, над номерами для проституток. Я единственный возражал против выбора этого помещения). Большое недовольство вызвала огромная антилиберальная картина в зале: евреи пьют кровь христианской девочки. Это тенденциозное полотно на тему ритуального убийства прикрыли сперва бумагой, затем — простыней. Мережковский пришел, разумеется, в сопровождении своего alter ego — Философова. Молча протянул мне руку (мы не виделись несколько лет); я так же молча ответил официальным пожатием. Не обменялся с ним ни единым словом, зато успел перемолвиться с Венгеровым. Сологуб явился со своей Чеботаревской (с недавнего времени эта пара живет вместе в одной квартире. Что эти извращенцы нашли друг в друге, — не знаю). Он приветствовал меня поцелуем. Самое привлекательное в этом заведении, конечно, — буфет. — Батюшков объявил собранию, что я по недостат-

ку времени слагаю с себя секретарские обязанности. Мне похлопали — в знак благодарности. <...>

7 октября 1908

Вчера приходил Градовский; восхищался моим музеем и обещал, со своей стороны, способствовать его пополнению. Так трогательно рассказывал моей неизлечимо больной жене о собственной «неизлечимой» болезни и своем воскресении из мертвых (заболел, когда ему стукнуло пятьдесят шесть), что ее глаза увлажнились и лицо дрогнуло. Странное впечатление произвел на меня его рассказ о том, что царь принял в дар его книгу «*Итоги*»[486]. На мой удивленный вопрос, зачем он послал царю свое сочинение, ответил: «Он окружен одними черносотенцами. Пускай узнает, что происходит в либеральном лагере»... Хм! — — — <...>

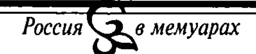
12 октября 1908

Сегодня был Жихарев. <...> Был и Мамин. Пришел трезвый, ушел навеселе. Я спросил: «Какое из своих произведений ты считаешь лучшим?» — «Они у меня все лучшие». — «Ну, тогда — какое самое любимое?» — «“Аленушкины сказки”. Их диктовала сама любовь. Остальные продиктованы опытом, знанием, жаждой славы, нуждой... А это — любовью!» — «А из твоих романов? Наверное, “Золото”?» — «Нет». — «“Хлеб”?» — «Нет... “Пепко”»... Я прочитал ему отзыв Горького о его книге. Мамин выслушал похвалу совершенно равнодушно и сухо сказал: «Когда-то мы были знакомы. И он знал эту книгу. Я описал в ней богему. Горький думает, он один изобразил *босяков*. Ну, нет!»

«А Чехова ты хорошо знал?» — спросил я. «Хорошо? Нет. Его никто не знал хорошо. Все, писавшие о нем воспоминания, — лгут. Это был *хитрый, лукавый* человек. Если он говорил, что пойдет направо, то шел налево. Я *раскусил* его сразу же после нашего первого разговора!» <...>

27 октября 1908

Вчера — именины Мамина. Как обычно, теплый прием, омраченный острыми испытующими взглядами «Тети Оли». Мамин держался со мной невероятно участливо и нежно: я был и до сих пор остаюсь в очень подавленном состоянии, физически и морально, что вызвано болезнью жены, связанными с этим неизбежными волнениями и дополнительной педагогической нагрузкой (сорок восемь часов в неделю). До ужина Мамин, кажется, ничего не пил. Но во время ужина принял различные напитки и стал вести себя нервно (он сидел



рядом со мной). <...> Он произнес тост за Ватсон как за единственного человека, который принял участие в его горе, заставлявшем его обливаться слезами отчаянья (в те дни, когда умирала Маруся, его «жена», а он был квартирантом у Ватсон).

Художник Денисов-Уральский запел *«Солнце всходит и заходит»*. Мамин тут же позволил себе несколько оскорбительных замечаний в адрес Горького. Тогда я сказал (собственно, для того, чтобы привлечь внимание гостей к факту, весьма лестному для Мамина), что ему следует благосклонней говорить о том, кто недавно на Капри отзывался о нем как о человеке и писателе с невероятной симпатией. Мамин на мгновение смолк при общем почтительном молчании. Но когда Денисов-Уральский продолжил песню, Мамин начал пищать, выть и рычать. Все расстроились.

Из писателей присутствовал еще Баранцевич. <...>

1 декабря 1908

Вчера, в воскресенье, когда мы обедали, пришел Мамин. Дед его прабабки по материнской линии был шведский солдат, попавший в плен под Полтавой и отправленный Петром Великим на Урал. Его прозвали Воинсвенский (воин — солдат; свенский — шведский). А отцовская линия восходит к татарину по имени Маминь (ударение на втором слоге).

Когда я предложил ему устроить писательский юбилей, он воскликнул: «Федор, прекрати, иначе я разобью тебе голову табуреткой!» Он, вообще, терпеть не может юбилеи такого рода: «Всегда идешь на них, как на похороны. Поднимешься из-за праздничного стола и уже слышишь, как слева и справа шепотом поносят юбиляра!»

Он (Мамин) рассуждал об учителе русского языка в Стоюнинской гимназии (где Аленушка посещает курсы в качестве вольнослушательницы, хотя у нее нет аттестата зрелости), который задал такую тему: характер Анны Карениной. «Как может юная девушка, имеющая о любви и браке лишь инстинктивное понятие, постичь характер женщины, совершившей супружескую измену?!»

Он получил втайне от «Тети Оли» солидный гонорар и попросил меня — после многолетней паузы — пойти сыграть с ним в бильярд. Когда мы ехали мимо дома 41 по Николаевской улице, я заметил свет в квартире Василия Немировича-Данченко и предложил Мамину зайти к нему. Он с радостью согласился. Немирович-Данченко встретил каждого из нас поцелуем, свежий и бодрый — нынче такого не встретишь и среди сорокалетних. У него были гости: присяжный поверенный Маргулиес и экс-депутат князь Бебутов (который пожертвовал все свое состояние, несколько сотен тысяч рублей, на освободительное движение). Мы тут же принялись рассматривать достопримечательности,

привезенные Немировичем-Данченко из Японии: книги, картины, материи и предметы искусства из бронзы и слоновой кости. С восхищением осмотрели и остальные комнаты (Мамин впервые был в этой квартире). Описав рукой круг, Немирович-Данченко сказал: «К чему мне все это — ведь я почти все время в разъездах? Хорошо, если б нашелся какой-нибудь *дурак*, готовый купить у меня это по себестоимости; а я сам, который покупал все это, — тоже дурак».

Потом мы перешли в столовую, увешанную по правой стене красочными изображениями обнаженных женщин, и пили чай. <...>

Ему надо было уходить, и мы распрощались (оба господина ушли ещё раньше). По поводу квартиры Немировича-Данченко Мамин сказал, что она обставлена «как у французской проститутки».

Мы пошли в трактир «Старый Палкин» (на углу Николаевской и Разъезжей) и сыграли там партию в бильярд. Осушив первую бутылку пива, Мамин воскликнул: «Официант, Вы зачем подали нам пустую бутылку?!» А после второй бутылки: «Официант, кто-то выпил наше пиво!» Официант смеялся.

Я чувствовал усталость и отправился домой. Мамин, однако, остался сидеть в бильярдной комнате перед новой бутылкой пива.

В пятницу Немирович-Данченко вернулся из-за границы; он провел шесть недель в Кави ди Лаванья под Генуей в обществе Амфитеатрова и бывшего священника Петрова. Теперь в течение нескольких месяцев будет жить в Петербурге.

У Немировича-Данченко в присутствии двух совершенно неизвестных ему людей Мамин держался, как всегда, непринужденно и лишь порой выпаливал какую-нибудь непристойность.

2 декабря 1908

Вчера умерла Зоя Юлиановна Яковлева. <...>

Она была маленького роста, шарообразная. Чем серьезней старалась себя держать, тем смешней это выглядело. Комически-серьезным выражением лица напоминала обезьянку. Она сама сказала мне однажды с присущим ей наивно-важным видом, что ее называют обезьянкой. Когда мы ставили «Ревизора», то не могли до последней минуты получить разрешение от градоначальника Лауница. Она вызвалась нам посодействовать, и это сразу же у нее получилось. Все тогда приписали это тому обстоятельству, что она занимается сводничеством, оказывая такого рода услуги великим князьям.

Я не раз бывал на ее журфиксах (о чем есть несколько строк в этих тетрадях), а однажды навестил в неназначенный час, и она показала мне парочку своих обезьянок. Когда это было и о чем мы с ней говорили, я сейчас не помню: должно быть, в индексе к тетрадям той поры ее имя оказалось по ошибке пропущенным. Она рассказывала о своем покойном муже — да, но что именно? Как-нибудь, если выдастся время, поищу эту запись.

29 декабря 1908

Вчера — к Василию Немировичу-Данченко. Он убрал из столовой изображения голых женщин и вместо них повесил японские акварели. Сказал, что Баранцевич празднует свой юбилей каждые пять лет (пять лет тому назад — что я забыл отметить в этих тетрадях — Баранцевич предпочел, чтобы его чествовали в газетах, но, ожидая, что кто-то, возможно, явится к нему с поздравлениями, приготовил у себя дома легкую закуску; насколько помню, почти никто не пришел. — *Ф.*). Кроме того, он сказал по поводу Баранцевича: «Счастливец! Он верит во все эти лживые юбилейные комплименты!»

У Василия был также его брат Владимир. Тема беседы: Московский Художественный театр.

Затем отправился к Мережковским, чтобы вручить Зинаиде мою книгу «Russische Dichterinnen»[487]. Было двенадцать часов. Портье сказал, что супруги дома. Я позвонил шесть раз, нажимая на обе кнопки (то есть двенадцать раз), и прождал десять минут: никто не открыл мне дверь. Я сказал портье, что служанка, наверное, куда-нибудь вышла, а господа на кухне и не слышат звонка. На это он возразил, что у них три служанки, но Дмитрий Сергеевич принимает «по деловым вопросам» лишь в воскресенье с пяти до семи. Я оставил книгу и пошел к Альбову, который как раз собирался начать ежедневную прогулку (с неизменным кофе и чтением газет). Мы отправились гулять вместе. Имея в виду плохую погоду, я сказал, что с отчаянья можно и напиться, а он даже стал пародировать Лермонтова:

Быть пьяным? На время? Не стоит труда,
А вечно пьянеть невозможно![488]

В Литературном фонде встретил Баранцевича. Сидели в «Капернауме». Он доволен своей поездкой в Выборг (где провел ночь), но не стал распространяться по поводу пребывания там; подозрительно лишь, что он ездил вторым классом. — В октябре он опубликовал рассказ «Без семьи», в котором описаны обстоятельства его собственной жизни. В последнее время он вообще пишет легко и много. Так, он разом продиктовал Вере рассказ о том, как наборщики проводят праздничные дни (эту поверхностную тему подсказал ему управляющий одной типографии). — Из «Капернаума» — ко мне, чтобы отобрать газетные вырезки, касающиеся его самого и его юбилея. Отдельные рецензенты, по его словам, пишут, будто в «Невесте на гастролях»[489] он подражает Чехову. «Ха-ха! Ведь Чехов — мой литературный сын!» — —

Сегодня был Мамин (с Аленушкой). Я шутливо пригрозил ему, что устрою для него юбилей; на это он воскликнул: «Федор! Твой нос смотрит в правую сторону — я сделаю так, что он будет смотреть в левую!» Все время одни шут-

ки, например: «Баранцевич празднует свой юбилей каждые девять месяцев»... Ходит по комнате, легко опираясь на палку. Спускаясь по лестнице, ставил на каждую ступеньку обе ноги, одну за другой. Однако выглядит очень бодро и свежо, лицо — розовое, без *«пьяного сала»*.

4 января 1909

Вчера — костюмированный вечер у Сологуба. Его адрес: Гродненский переулок, 11, кв. 7; вход прямо с улицы (других квартир на этой лестнице нет; лишь огромный зал с украшенными лепниной стенами и таким же потолком оправдывает высокую ежемесячную плату в 135 руб., в том числе за отопление: хотя здесь все равно и сыро, и холодно). Мебель в зале — style moderne[490], три окна с красными занавесками, рояль штуттгартской фирмы «Липп», маленькие живые пальмы, альбом открыток с изображением Богоматери. В кабинете — на стенах — множество репродукций с Ледой и лебедем, изображенными в различных позах. В книжном шкафу на трех полках Словарь Брокгауза и Ефрона, стоящий в странной последовательности, не так, как у всех, то есть тома идут не с 1-го по 29-й, а наоброт: с 29-го по 1-й, на второй полке — с 60-го по 30-й и т.д. В передней — рождественская елка со стеклянными шарами. Вешалка, не выдержав груза, повалилась, поэтому шубы частью отправились в ванную комнату (там ползали черные тараканы), частью — в кабинет, где они скоро съехали с оттоманки на пол, а на них расположились господа и дамы. В общем, царило веселье, очень непринужденное (не разнузданное!), хотя никто не был пьян (кроме художника Билибина — он, как утверждали, пришел нетрезвым); да и напитков оказалось не так уж много — самое большее десять бутылок настоящего вина и ни капли водки или пива. Присутствующих было более сорока человек (разослано сорок семь приглашений).

Мережковские пришли не костюмированными. Он почти совсем не изменился за три года, проведенные за границей. Она тоже не изменилась, разве что самую малость; а может, так кажется, потому что она была немного накрашена. Разглядывала публику через круглое увеличительное стекло, которое на манер монокля подносила к правому глазу. Обещала подарить мне записи, сделанные во время путешествия к отцу Иоанну Кронштадтскому, недавно скончавшемуся, а также — варианты своего знаменитого стихотворения «Небеса унылы и низки...» Пыталась сыграть на рояле польку «Фолишон-Фолишонет» — эту мелодию я напевал в пятилетнем возрасте. Был, конечно, и третий из их союза: Философов (не костюмирован). Тэффи, эффектно одетая боярыней (я назвал ее Василисой Мелентьевой[491]), бренчала на рояле что-то допотопное. Рядом с ней был, конечно, Леонид Галич (не костюмирован). Всех интересней

нарядилась Allegro — горьковским Лукой из пьесы «На дне»; пришла, разумеется, в сопровождении Манасеиной и Зинаиды Венгеровой. Ремизов явился в костюме самоеда: глубоко тронул меня тот сердечный тон, каким он говорил со мной. В царском одеянии (изображая, должно быть, Феодора Иоанновича) расхаживал взад-вперед М.А. Кузмин, апологет мужеложства: его движения (он много курил) были нежны, голос — ласков, а лицо (в этот раз, скорее всего, — подкрашенное) с томными глазами — привлекательным и вовсе не отталкивающим, как в прошлый раз; во время ужина он сидел за столом, не снимая костюма и островерхой, украшенной бисером шапки. Чулков явился в красном домино. Блок не был костюмирован. Он боролся с разными людьми, в том числе — с Дымовым (не костюмирован), уложившим его на обе лопатки; это было не нарочитое, а подлинное единоборство, коему оба предавались порой прямо-таки со страстью. Чеботаревская (в костюме черного пажа и светловолосом парике) выглядела весьма аппетитно. Сам Сологуб (не костюмирован) сидел безучастно: лишь во время ужина он разговаривал то с одним, то с другим (мне же — honny soit[492] — он признался в любви). Кроме того, присутствовали: Сюннерберг (не костюмирован; лицо — интеллигентное; публикует стихи под псевдонимом Эрберг), бывший режиссер Мейерхольд, несколько художников из «Шиповника» (Билибин, Добужинский, Александр Бенуа, Бакст) и другие. Дымов имитировал (уверяя, что это экспромт) Бурдеса, Волынского, Фальковского и Чирикова; во время ужина изображал официанта. Танцевали лихо (в том числе и под мой аккомпанемент) — вальс, польку, мазурку, гран-рон, кэк-уок, матчиш и т.д. Много дурачились (пели и **по-немецки** — «Was kommt dort von der Höh'...»[493]). И вообще, эти декаденты, изображающие себя в книгах какими-то сверхчеловеками, вели себя жизнерадостно, как самые обыкновенные люди. — Я пришел домой только в шесть утра, выскользнув из-за стола первым: половина общества удалилась еще до ужина.

Весь пол был усыпан пестрыми конфетти, а во время ужина цветной серпантин так и летал от одного конца стола к другому, обвивая головы — особенно Блока.

В кабинете на широкой спинке дивана восседала Зинаида Мережковская, а на самом диване, слева и справа от ее ног, расположились двое мужчин.

19 января 1909

<...> Василий Немирович-Данченко лично не знает Горького; лишь однажды на Невском они были в спешке представлены друг другу. Кроме того, Немирович-Данченко сообщил (вчера), что его брат Владимир посетил недавно Андреева и был очарован его простотой и любезностью.

25 января 1909

Вчера был Мамин <...>. Свеж и здоров. «Помаленьку» пишет: рассказы для детей. Уверял, что «довольно не восприимчив к физической боли». Когда Аленушка появилась на свет, врач-акушер сказал, что мать и ребенок, скорее всего, умрут. Мамин возразил ему: «Что касается матери, — не знаю. Но ребенок останется жить, в нем — отцовская кровь. Уже триста лет течет в жилах моих предков поповская, то есть здоровая крестьянская кровь!» <...>

После смерти отца ему пришлось содержать семью. В течение пяти лет он давал частные уроки, по двенадцати часов в день, для того, чтобы заработать сто рублей в месяц.

Назвал себя «*литературным неудачником*». «Десять лет подряд редакции возвращали мне мои работы (беллетристику)! Но позже они все равно были напечатаны!»

Меньше всего он заработал на своем любимом произведении — романе «Хлеб», возможно потому, что за книгу была назначена слишком высокая цена (2 руб.). Лучше других до сих пор расходится «Белое золото». Эта повесть (предназначенная в сущности для юношества) принесла ему уже несколько тысяч рублей; за каждое из приблизительно двенадцати изданий он получил от 400 до 500 рублей.

Он (Мамин) был первым, кто ввел в литературу «*босяков*», например, в рассказе «*Башка*», «еще до того, как Горький на свет родился».

Изрекал разного рода афоризмы: «Трудно вообразить себе более необразованного человека, чем русский критик». <...>

Мы говорили о Василии Немировиче-Данченко. В юности он закладывал приобретенные в рассрочку вещи (рояли, пианино и проч.), угодил под арест и был на четыре года сослан в Архангельскую губернию, где и женился. Там он написал «Соловки»[494], разом прославившие его имя. — Все это рассказал Мамин. Он очень любит Немировича-Данченко как человека и высоко ценит его как писателя: «Большой талант, блестящий стилист!.. Хорошего писателя от плохого я отличаю по выразительности, сочности прилагательных. Впрочем, глагол тоже подчас играет известную роль. Великолепен в этом Сергей Владимирович Максимов в книге “Год на Севере”». <...>

31 января 1909

Вчера зашел к Сологубу. Он как раз переводил Мопассана («Сильна как смерть»). «Ты пишешь? — спросил я. — Может, я помешал?» — «Нет, я пишу всегда...» Поэтические «Вечера Случевского» он посещает теперь крайне редко, потому что ему там скучно («Не услышишь ни одного нового слова») и потому

что его друзья Блок, Городецкий и Кузмин (последний испытывает финансовые трудности; живет в «Северной Гостинице», причем без супруги, точнее, супруга — Ауслендера) не приглашены в члены Кружка... Сологубу предложено основать Союз современных поэтов, члены которого должны единодушно избираться учредителями. Но он не потерпел бы в своем обществе какого-нибудь Рославлева, потому что у того — как человека — *дурная слава*. Да и Цензора тоже: он ничего не имеет против него как человека, но считает, что он не принадлежит к их школе... Позавчера он (Сологуб) мог бы праздновать 25-летие писательской деятельности. Его первое стихотворение «Лиса и еж» было напечатано 28 января 1884 года в журнале «Весна». И он показал мне несколько чисто заполненных тетрадей, в которые уже ровно двадцать пять лет заносит без исключения все, что им напечатано (что, где, когда, под какой подписью). Он хотел бы опубликовать (!) весь этот библиографический перечень (чтобы он не погиб — например, при пожаре), но издание двух-трех печатных листов обошлось бы ему в сто рублей[495]. Увидев сомнение на моем лице и не услышав одобрения с моей стороны (я даже посоветовал ему напечатать всего двадцать оттисков), он робко сказал: «Можно было бы издавать общую автобиблиографическую серию; а моя библиография стала бы первым выпуском. Не сомневаюсь, что многие последовали бы моему примеру». Никогда не знал, что он до такой степени сосредоточен на себе самом... Постановку своей пьесы «Ванька и Жеан»[496] в театре Комиссаржевской он еще не видел... Рассказал историю из своей учительской жизни. Кто-то из его учеников однажды написал: «Перед домом сидели трое калек: один слепой, другой глухой, а третий лысый».

От Сологуба, передавшему мне по экземпляру «*Тяжелых снов*» для Баранцевича и Альбова, я отправился к Баранцевичу, который как раз закончил диктовать Вере очередной акт своей пьесы. <...>

1 февраля 1909

Зашел без четверти три к Василию Немировичу-Данченко, он как раз поднялся с постели: вернулся в семь утра, был на двух балах. <...> Самым талантливым из прозаиков считает Сергеева-Ценского: «Манерность уйдет, а талант останется». Самый талантливый из поэтов — Брюсов. Лучшие места в «Мелком бесе» Сологуба — о Недотыкомке; «но до Достоевского ему не удалось подняться»... Очень любит и Мамина. Он вышел ко мне из спальни в длинной, доходящей до щикотолок ночной рубашке. — —

Явился (ко мне домой) Мамин. Он — единственный, кто совсем ничего не пожертвовал в мой «музей». То немногое, что у него есть (фотографии, письма), он отдает теперь Аленушке — она собирает литературную коллекцию. — Уверял, что осенью его навестил известный провокатор Азеф: пришел незнакомый

человек, что-то сказал, глянул по сторонам, будто что-то высматривая, и ушел, не разъяснив причины своего появления; теперь Мамин опознал его по портретам, помещенным в газетах. — С большой готовностью пишет каждый раз в моем альбоме («У меня»). — Рассказывал, что поймал большую рыбу, которая называется «петух»; ее зажарили и подали к обеду. И Куприн проглотил ее в одиночку: «Восемь фунтов! В жизни не видал такого обжорства и такой бесцеремонности!»

24 марта 1909

Вчера Сологуб письменно пригласил меня к себе — сообщил, что хочет прочитать свой последний рассказ «Старый дом». Он не указал, когда начнется чтение, поэтому я пришел уже в половине девятого. Мы сидели в гостиной. Я спросил, будет ли Сергей Городецкий. «Нет, нынче вечером он сам принимает гостей». — «А Блок?» — «Нет, его жена больна». — «А Мережковские? — «Нет, всю эту неделю они сидят дома».

2 апреля 1909

Вчера — в Московском Художественном театре («Ревизор»). Прямо передо мной, в шестом ряду, где в первый раз сидел Философов, на этот раз сидела Гиппиус-Мережковская, которую Философов подвел к креслу. Я отчетливо слышал, как они все время говорили друг другу «ты». Она болтала со мной и безобидно шутила. То же — с С.А. Андреевским, подошедшим к ней со словами: «*А вот и Зина!*» Левый ус у него длиннее и толще правого.

6 апреля 1909

Вчера пришел Булацель с известием, что Сальников тяжело заболел и пару часов тому назад доставлен — благодаря хлопотам Коринфского — в Военно-медицинскую клинику. — Сегодня снова был Булацель. Врач уверяет, что состояние больного безнадежное: уремия; никого не узнает; использованы уже двадцать две кислородные подушки.

Приходил также Мамин. Он заказал в типографии Стасюлевича допечатку нескольких своих книг и задолжал ей семь тысяч рублей; это его крайне заботит.

Он (Мамин) сказал, что начал писать лет на двадцать позже, чем следовало бы; писатели-народники (Златовратский, Успенский и другие) уже *всю пену сняли*, так что критики не знали, «*в какое стойло поместить*» его, Мамина.

Спросил, не переведен ли его «Пепко» на какой-либо иностранный язык. «Судьба **этой** книги меня особенно интересует».

Сказал, что самая мучительная обязанность — обязанность присяжного заседателя (ибо с завтрашнего дня я буду присяжным), поскольку в этом случае приходится иметь дело с самым строгим судьей: собственной совестью.

Он выпил несколько рюмок водки и несколько бутылок пива. А я, чувствуя себя неважно и устав от дневных трудов, отправился в постель в самом начале ужина.

11 апреля 1909

Вчера на Волковом кладбище, вблизи Литераторских мостков, хоронили Сальникова. Гроб стоил всего десять рублей — это устроил Булацель, которому смерть Сальникова вообще доставила немало хлопот. Он добился того, что «Новое Время» бесплатно напечатало объявление о смерти, а старик Суворин прислал вдове пятнадцать рублей. Кроме того, она получила еще пятьдесят рублей от Литературного фонда и столько же от Фонда императора Николая.

На кладбище я говорил с Котляревским; он возмущался запущенностью писательских могил и сокрушался, что Литературный фонд ничего не в состоянии сделать для умерших, поскольку и живые нуждаются настолько, что далеко не всем можно помочь.

На похороны Сальникова явилась его вторая «жена», Татьяна Прокофьевна, которую лет восемь назад он сменил на нынешнюю — Александру Васильевну. Его первой женой, полагаю, законной, была писательница Анна Доганович, которая уже около восьми лет живет с Кругловым. От нее у Сальникова есть сын, сейчас ему 29 лет, он тоже был на кладбище (очень похож на отца).

Речь у открытого гроба держал Годлевский. Присутствовала также Шиле со своим Павловым — он уже напился и начал скандалить; выдавал себя за врача. Кроме того, присутствовали (все после похорон отправились в ресторан «Москва» на поминки, но никто ни единым словом не помянул покойного, за исключением молодого врача Николая Павловича Студенцова, рассказавшего о вскрытии трупа; Студенцов тоже писатель и сделал невероятно много для какого-то совершенно ему незнакомого умирающего пациента, вплоть до денежных пожертвований): Булацель, Коринфский с женой (она хотела ехать домой, он не хотел; в конце концов она осталась), Мамин (сразу же стал говорить пошлости и непристойности), Баранцевич и Альбов.

С двумя последними — ко мне. Альбов хотел что-то записать в мой альбом, но у него не вышло: «Не могу написать даже слова, не могу даже читать, когда на меня смотрят. Продиктуйте мне!» И Баранцевич продиктовал ему начало и середину записи, я — окончание... Баранцевич, насколько я мог заметить, даже не попрощался с покойным. Альбов же, пока читали заупокойную, стоял в стороне; а когда стали закрывать гроб, он подошел сзади и бегло поцеловал покой-

ного в лоб: «Не могу видеть мертвого, с которым был дружен: меня неотступно преследует необычное выражение его лица». — —

Встретил сегодня Будищева. Несколько месяцев назад он опубликовал юмористическое стихотворение «*Что думает Измайлов, когда ему не спится*», но, щадя Измайлова, исключил следующие две строфы:

Кто только нынче не моден?
Всех бы их, право, за борт!
Годин, который не годен,
Гордин, который не горд.

Лохвицкой (Тэффи), не Мирры,
Тут же пленительный бюст.
Этой все снятся вампиры
С жалом одним вместо уст.

20 апреля 1909

Гиппиус-Мережковская написала мне очень любезное письмо, предлагая навестить ее в один из воскресных дней в пять часов. Вчера я пошел к ней. Она кое-что подарила мне для моего «музея»; то же сделал и Философов (он живет у Мережковских и обращается к ним на «ты»). Сказала, что никогда не была «женой Мережковского», ибо печаталась еще до замужества. За одно издание полного собрания сочинений ее мужу предложено пятнадцать тысяч, а ей — десять тысяч; однако сделка не состоится, поскольку их издатель Пирожков объявлен банкротом, а его склад опечатан; вопреки письменному соглашению, Пирожков издавал книги Мережковского тиражом не четыре, а двадцать тысяч экземпляров и таким образом причинил ущерб в сорок тысяч рублей; видимо, Мережковский подаст на него в суд. Присутствовал Ремизов, который сетовал на нехватку денег; она (Гиппиус-Мережковская) призывала его *смириться*: устроиться на службу в какую-нибудь контору или магазин. Мы сели пить чай. Тут вернулся домой Мережковский. Оба супруга (в особенности она) участливо расспрашивали меня о здоровье (вернее, болезни) моей жены; при этом с тоской помянули прошлое. Когда прощались, Мережковский обнял и поцеловал меня со словами: «Передайте этот поцелуй Вашей жене!» Оба держались очень естественно и сердечно. С Мережковским мне почти не удалось поговорить, поскольку у него был некто Данилов, полубезумный сектант (много публиковавший в «Руси» по вопросам богословия). Постоянно ходит босой по улицам; со времени, когда он жил в Якутске как политический ссыльный, сохранил привычку всегда ходить с непокрытой головой — для того, чтобы не снимать шапку перед начальством; кроме того, утверждает, что таким образом его голова ближе к небу.

29 апреля 1909

Вчера в десять вечера пришли Мережковские, не навещавшие нас в течение многих лет. Держались естественно, были милы и сердечны, и потому вечер оказался очень приятным. Не только дамы (она и моя жена) обменялись поцелуями, но даже он, поцеловав на прощание руку у моей жены, поцеловал ее затем в губы со словами: «Храни Вас Господь!» («Такого не говорил еще ни один писатель!» — сказала мне позже Люба.) Почти все время было посвящено осмотру моего «музея»; даже за ужином (она выпила стаканчик наливки, он — полтора стакана белого вина) рассматривали редкие портреты писателей. Она (Зинаида) насмешливо отозвалась о самоуверенной позе Волынского-Флексера (злые языки утверждают, что несколько лет назад у них, будто бы, был роман, и не раз замечали, как Зина торопится в темноте прошмыгнуть в его квартиру); он же — три раза подряд — назвал его «*наглецом*». О Чулкове Зинаида сказала, что он выглядит столь же непривлекательно, как и Флексер-Волынский. Оба рассказывали о своей жизни в Париже, где они провели два с половиной года. Минский ужасно скучает (ему, как эмигранту, нельзя вернуться в Россию), ожесточился и ни с кем не водит знакомства. Бальмонт скандалит: выливает в ресторанах вино на ковер, бьет посуду и бросает горшки с цветами из своей квартиры прямо на улицу, так что ему не раз уже приходилось иметь дело с полицией; куда-то надолго исчезает из дому, по неделям отсутствует, пьет и слоняется черт знает где. Мережковские рассказывали также, как они праздновали Пасху в кругу еврейских писателей. Был приглашен и Куприн в надежде, что он явится, как обычно, пьяным и можно будет вволю посмеяться над ним, православным. Но вопреки ожиданию Куприн пришел трезвый и принялся хвалить русскую Пасху как праздник примирения и братства. На что Флексер насмешливо заметил, что русская Пасха — всего лишь праздник яйца и свиньи. — Он (Мережковский) стал расхваливать моей жене Гомбург, где не раз и успешно лечился, употребляя при этом с детской непосредственностью такие выражения, как «запор» и «очищение желудка». Перед тем, у меня в кабинете, Мережковский уделил живейшее внимание портретам; некоторые из них он снимал со стены; углубился также в чтение собственных неопубликованных юношеских стихов. Она (Зина Мережковская) изучала свои письма к разным писателям. — Примерно через неделю супруги отправляются в Баденвейлер. «А Философов с Вами?» — спросил я. — (Он:) «Разумеется. Мы трое всегда вместе». — «Почему же сегодня он не пришел с Вами?» — «Он должен писать статью об Аксакове»[497].

Мережковский одобряет переводческую конвенцию с Германией. «Вот видите: я опять получил двести марок за моего “Леонардо да Винчи”» — и он торжествующе показал мне две свежие голубые банкноты. Чувствуется, он вообще

не равнодушен к деньгам. Когда я снова — спустя столько лет — посоветовал ему сфотографироваться, причем у Здобнова, который фотографирует всех писателей, он сказал: «Да, да, схожу как-нибудь. Говорят, он дает каждому дюжину карточек бесплатно».

10 мая 1909

Вчера пришла старая, вечно юная и неизменно пухленькая Алекса́ндра Николаевна Пешкова-Толиверова; у нее было много мужчин, с коими она вступала в супружеские отношения, в том числе и великий Гарибальди. Жалобы на бесконечные денежные трудности с любимым детищем, доставляющим ей немало забот, — детским журналом «Игрушечка»; в качестве кредитора ее всех безжалостней донимал Галич (Леонид Габрилович). Жестоко подвел ее и Василий Павлович Гайдебуров (Гарри): несколько лет назад она выписала ему вексель на две с половиной тысячи и — попала впросак: он до сих пор ничего не вернул; тот же Гайдебуров взял четыре тысячи в долг у своей бывшей конторской служащей, а когда она месяца три назад явилась к нему за деньгами, он приветствовал ее возгласом «Сволочь!» и залепил такую пощечину, что она скатилась по лестнице. — За этими рассказами последовали воспоминания приятного свойства, в особенности — о Татьяне Петровне Пассек (от которой Пешкова-Толиверова и наследовала журнал «Игрушечка»), женщине, обладавшей исключительными сердечными и душевными достоинствами. Однажды к ней (Пассек) пришел Лесков в роскошной собольей шапке; все стали ею восторгаться, что доставляло ему явное удовольствие. Тогда десятилетний внучек Пассек (позднее он женился на дочери Пешковой-Толиверовой) взял ножницы и срезал украдкой все волоски на шапке. Лесков, скрежеща зубами от ярости, назвал его «*мерзавцем*», но Пассек спокойно сказала ему: «Если хочешь, я возмещу тебе ущерб, но не позволю называть моего внука мерзавцем». (Она, Пассек, была со всеми «на ты».) <...>

22 июня 1909

Пять лет назад Альбов написал пролог к драме, переделал его потом в самостоятельную одноактную пьесу и дал ей название «Поэт». В свое время (что наверняка отмечено мною в этих тетрадях) он отдал ее Карпову для отзыва (иначе говоря, для постановки в Малом театре); однако Карпов не уловил в ней живого биения пульса. — Сегодня, сидя у меня, Альбов попросил Коринфского написать для этой вещи, предварительно ее прочитав, какое-нибудь пародийно-декадентское стихотворение. Коринфский взял рукопись (она была вложена в толстую картонную папку, скрепленную в трех местах), открыл ее и обнаружил в ней двух толстых живых клопов.

Я спросил Альбова, пишет ли он «Под солнцем». «Да, время от времени. И только для того, чтобы как-то забыться. Впрочем, я не столько пишу, сколько стилистически вылизываю то, что уже написано. Сомневаюсь, что я справлюсь с этим сюжетом: он слишком велик и превосходит мои силы. Не я владею сюжетом, а сюжет — мной»[498].

О Льве Толстом Альбов сказал: «Он — большой художник, но он не трогает меня, не захватывает, не возбуждает. Он холоден и оставляет читателя холодным, ибо у него нет души — все головная работа». Зато он громко плакал, читая «Муму» Тургенева, а также — «Униженных и оскорбленных» Достоевского.

28 июня 1909

Был сегодня в Куоккала у Репина. Он водил меня по своей мастерской, затем усадил перед новым портретом Л. Толстого (декабрь прошлого года). Меня удивили кроткие глаза Толстого, и Репин заверил, что в последнее время у них всегда такое выражение; каждый раз, читая что-нибудь трогательное, Толстой плачет. Я вспомнил фотографию, выставленную на Невском, на которой Репин и Брешко-Брешковский изображены сидящими перед этим портретом, и Репин объяснил смущенно: «Он привел фотографа и попросил меня сняться вместе; мне было неловко отказаться». В парке, в Храме Изиды, давали «кооперативный чай», придуманный и устроенный Нордман-Северовой[499]; получилось довольно жалко. Было около двадцати человек (в том числе О.Л. Д'Ор, с которым я бегло познакомился в «Капернауме» года два тому назад). Репин произнес речь в защиту памятника Александра III работы Паоло Трубецкого[500]. Был и Чуковский. Он пришел не только без шляпы (которую вообще не взял с собой), но и — босиком; его ноги были черными от грязи (прошел дождь), и зрелище это было в высшей степени неэстетичное. Он проводил меня до станции, причем люди, увидев его, изумленно останавливались. Когда мы вошли в лес, где была мокрая трава, он нагнулся и хотел засучить мне брюки — я, конечно, не допустил этого. О чем говорили? О пустяках, потому что я смертельно устал.

29 июня 1909

<...> Сегодня приехал Чуковский со своей женой Марией Борисовной. На голове — красивая шляпа, на ногах — безупречные туфли. За обедом выпил лишь полстакана пива и полстакана вина, но стал уверять, что захмелел. Ни в его взгляде, ни в речи это никак не проявлялось. Однако во время прогулки по Шуваловскому парку он, способный на своих длинных ногах одолеть любое расстояние, вдруг заявил, что ему не взобраться на Парнас[501]. Поэтому мы дошли

только до «гриба»[502], под которым он сперва посидел, а затем опустился на траву и прислонился к дереву. Альбов всю дорогу пыхтел следом за нами. Много смеялись и шутили, но ничего характерного Чуковский не произнес. Подарил мне письмо Ремизова, написанное ему две недели назад (15 июня); по забывчивости он все это время носил его в кармане сюртука и только сейчас вскрыл конверт.

10 июля 1909

Коринфский (уже много лет собираюсь это отметить) представляет собой и внешне, и внутренне чрезвычайно деликатное существо. Я никогда не слышал, чтобы он бранился или кого-нибудь ругал. Сегодня, во время прогулки в Парголово, я хотел ударить Кадета, мою непослушную собачонку, но Коринфский подошел ко мне с дрожащим лицом и буквально плачущим взглядом и стал умолять: «Не бей! Не бей!»... Кроме того, должен сказать, что я еще ни разу не уличил его во лжи.

22 июля 1909

Альбов просил Коринфского написать для него декадентское стихотворение. Вот оно:

Бесстыдно-чистая — из темно-светлой дали
Плыла бескровная луна...
Моя далекая, — была близка Она,
Как трепет струн моей печали!..

Я ждал, я звал Ее... Созвучий горизонт
Горел над дымкой думы властной,
И в глубь беззвучную души безумно-страстной
Червь злой тоски вонзал свой зонд...

Я звал... Я ждал... Ее! Немые отголоски
Ласкали сердца злую степь...
И вот с души моей скользнула цепь,
Всплеснулись новой жизни всплёски!..

Я сердцем пил Ее — жемчужину очей —
Из чаши, зренью недоступной,
И — полн великою мечтою целокупной —
Был весь в огне Ее лучей...

Бесстрастно-страстная соперница печали, —
Как песнь, растаяла Она...
Луна кровавая! Безумная луна!
Жгут жизнь огней твоих спирали!..

Дорогой Мих[аил] Нил[ович]! Старался притвориться «декадентом», но, кажется, ничего не вышло из этого: не гожусь даже в подражатели их глупости!.. Если, паче чаяния, надумаете приписать эти стихи своему «декаденту», то предоставляю их в полное Ваше распоряжение, — с тем только, чтобы моего имени там не было. Это никак не я (хотя и моя рука!)... Ваш Апол[лон] Коринфский. 27.VI. 09.

Альбов думает, что не сможет воспользоваться этим стихотворением: оно, по его словам, не вполне бессмысленное, недостаточно глупое. <...>

24 августа 1909

<...> Зашел к Альбову. <...> От Альбова пошел к Карпову. Поразительно свеж и физически, и духовно. За лето, находясь в Крыму, закончил драму, название которой еще окончательно не определено; полностью написал еще одну драму. Ему предложили где-то должность режиссера, но он отказался: «Раньше я ставил только чужие пьесы, теперь хочу ставить свои»! Пока я сидел у него, постоянно звонили в дверь: приходили разные люди и предлагали свои услуги в качестве актрис и актеров; но всем им было отказано прямо с порога... Рассказывал о Чехове. Однажды во время маскарада в каком-то театральном обществе к нему (Чехову) подошла жена Потапенко (Марья Андреевна) в полумаске и пригласила поужинать с ней. Но Чехов довольно грубо ей отказал и потом признался Карпову, что сразу узнал ее, но испытывает по отношению к ней неодолимую антипатию. —

Карпову хороша известна скандальная история вокруг Театрального клуба (о ней сейчас пишут в газетах[503]), поскольку он был председателем Ревизионной комиссии и досконально изучал все документы. Потапенко, по его словам, не безгрешен; главный виновник — Трахтенберг; ни в чем не виноваты Рышков и Плещеев... Карпов очень жалел Коринфского: «Славный и добрый человек!»

26 августа 1909

Вчера зашел к Венгерову. Он жаловался на свои финансовые дела, которые идут *очень-очень туго*: раньше он получал у Ефрона твердое жалованье, теперь получает лишь за каждый том Пушкина.

Вечером — у Ходотова в его новой квартире (Глазовская[504], 5, кв. 9) с большим роскошным кабинетом. Он прочел мне отрывки из своей новой драмы «Госпожа пошлость»[505]. Его «жена», Александра Константиновна Янушева, уезжает в начале сентября в Ригу — у нее ангажемент в тамошнем городском театре; здесь же Ходотов из деликатности не пожелал способствовать ее карьере.

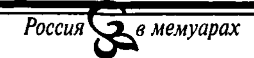
27 августа 1909

Вчера умерла Ольга Николаевна Чюмина, внешне некрасивая, но душевно прекрасная женщина, о которой мне ни разу не приходилось слышать ни одного циничного замечания.

В появившихся сегодня некрологах год ее рождения указывается по-разному: 1858 и 1862. Мой вопросник она заполнила следующим образом:

Имя и отчество	*Ольга Михайловна*
Фамилия	*Чюмина-Михайлова*
Псевдоним	*Оптимист*
Число	*26*
Месяц рождения	*декабря*
Год	*1864*
Место	*г. Новгород*
Начало литер[атурной] деятельности	*1883 г., в газете Аксакова «Русь»*
Главные станции на жизненном пути	*Вышла замуж в 1886 г. На 13-м присуждении Пушкинской премии Академии наук получила почетный отзыв, на 14-м — половинную премию имени А.С. Пушкина. В 1888 г. вышла 1-я книжка стихов, в 1898 г. — вторая. В 1904 г. — первый том «Драматических сочинений и переводов». С 1886 г. сотрудничаю в «Вестнике Европы»*
Подпись	*О. Чюмина*
Число, месяц, год, место	*СПб., 5-е января 1905 г.*

Ей было 45 лет, но выглядела она старше, даже если не принимать во внимание ее страшную болезнь (рак). <...>



30 августа 1909

Вчера состоялись похороны Чюминой. Ее муж — живое воплощение скорби, ходят даже слухи, что он хотел лишить себя жизни. У открытого гроба говорил Фофанов, непрерывно постукивая палкой о доску, на которой стоял; он произнес примерно следующее: «Она искала царство Божие на земле и нашла его в земле. Но Он — там, там!» (при этом он простирал руки к небу). Кажется, он был трезв. Я видел его только в профиль, когда он протискивался сквозь толпу к гробу, а потом обратно; вскоре он исчез с кладбища. Среди присутствующих: Allegro (выглядела как экзотическая монахиня в черном), К.К. Арсеньев, Венгеров, Котляревский, Цензор, Ходотов (передал мне в церкви во время заупокойной службы пакет писательских писем к его «жене»), Шапир, Чебышева-Дмитриева, Гриневская, Галина, Измайлов, Кондурушкин, Червинский и другие.

После похорон я поехал с Баранцевичем, Арабажиным и Ходотовым в ресторан Неменчинского (у Пяти углов); там мы застали Ляцкого. Все говорили задушевные теплые слова об усопшей как о женщине и человеке.

Баранцевич ночевал у меня. Сегодня он ругал Ежова за его бранные отзывы о родителях Чехова[506]. О самом же Чехове сказал, что это был замкнутый в себе эгоист, а как писатель — талант второго ранга. <...>

31 августа 1909

Вчера вместе с Баранцевичем отправился к художнику Ивану Кирилловичу Пархоменко, пытающемуся, кроме того, быть литератором. Мы стояли восхищенные перед его портретом Толстого, когда вошел Фофанов (совершенно трезвый, но, как обычно, растрепанный) и, глянув на портрет, воскликнул: «Толстой-Саваоф!» Затем он задал странный вопрос: кто к кому ездил при создании портрета — Толстой к Пархоменко или Пархоменко к Толстому? Когда кто-то сказал, что Толстой проживет еще восемнадцать лет, Фофанов воскликнул «Дай Бог!» и размашисто перекрестился. Затем Пархоменко показал нам светлоголубую фланелевую блузу (он получил ее от Софьи Андреевны, поскольку на полотне она лишь эскизно намечена), и Фофанов благоговейно поцеловал ее рукав... Сам Фофанов на портрете Пархоменко изображен без бороды. Когда я спросил, в чем дело, Фофанов ответил: «Бороду мне *нечаянно* оторвал мой сын». Я спросил, в каком состоянии пребывает его жена, и Фофанов ответил: «Она снова собирается жить со мной вместе, моя дорогая жена (три последних слова он произнес по-немецки). Я не смог выучить немецкий язык по учебнику Эртеля; но я выучил его по твоим переводам моих стихов!» Он говорил, как обычно, слегка завывая и так непонятно цедя слова сквозь черные обломанные зубы,

что я не понял и половины. Засаленные манжеты и грязный воротничок, брюки с бахромой, зато свежий яркий галстук. — —

Дополнение к записи о Пархоменко. Он рассказывал: каждый раз, когда Толстой садился, чтобы ему позировать, он немного закручивал вверх кончики своих усов.

2 октября 1909

Сегодня в Литературном обществе познакомился с Сергеевым-Ценским. На вид — предприимчивый цыган, хотя не пьет и не курит. Он прислал мне письмо с отказом от участия в «Первых литературных шагах», и я повернул разговор в это русло. Он сказал: «Литература — бесполезнейшее занятие. Любой учитель, чиновник, портной и т.д. приносит обществу больше пользы, чем писатель. А если я все же пишу, то потому, что не пригоден ни к чему другому».

17 октября 1909

Сегодня у меня был Д.Я. Айзман; я познакомился с ним вчера в Литературном обществе. Восхищенно осматривал мой «музей». На все лады расхваливал свою жену, говорил, что она — его лучший друг и советчик во всех литературных делах. Его первый рассказ был отклонен Н.К. Михайловским как не подходящий для «Русского Богатства», но затем включен в его первый сборник, изданный редакцией того же журнала.

Потом пришел Луговой. Одобрительно осматривал мой «музей». Войдя, он тотчас спросил меня, где висит портрет Веры Рудич: он в восторге от ее стихов. Сразу же стал говорить о себе, в особенности — о своей чудовищно огромной драме «Максимилиан Мексиканский»[507], которая лежит в несгораемом сейфе какого-то банка (за что он ежегодно платит 28 руб.). Эта драма уже обошлась ему в десять тысяч: чтобы целиком отдаться работе над ней, он отказался от редактирования «Нивы» (где получал ежегодно шесть тысяч); к этому следует прибавить покупку дорогих книг, необходимых как материал. В «Максимилиане...» он изложил свое «общее мировоззрение». — Он (Луговой) тратит ежемесячно по двадцать рублей на почтовые расходы. — «Я никогда не признавал никаких авторитетов. Если бы даже мне предложили взглянуть на Христа или самого Бога, я не польстился бы на такое зрелище. Единственный, кого я хотел бы видеть, — это Ницше; конечно, я вижу его заблуждения, но его искренность вызывает у меня величайшее восхищение». — —

Вчера в Бологом умер Арсений Иванович Введенский. Я его не особенно любил. Он был мне неприятен из-за своей язвительности и злобы по отношению к русским писателям. Как-то раз, зайдя в мой кабинет, он взглянул на стену, увешанную писательскими портретами, и воскликнул: «А, вот они, *мер-*

завцы!» Мне не нравилось также, что в последние годы он навещал меня (да и других) лишь тогда, когда ему нужен был «бронзовый вексель»; когда же мне это, наконец, надоело и я отказал ему в векселе, он перестал навещать меня. <...>

1 ноября 1909

Сегодня у меня был Сологуб — примерно с час осматривал мой музей. Увидел в гостиной фотографию, на которой он изображен вместе с Чулковым, Блоком и Сюннербергом, спросил: «Зачем ты это обрамил и повесил на стену? На кого я тут похож?!» — «Сказать по правде, немного на *буржуя*». — «На буржуя?! *Просто мазурик!*»... По-прежнему отказывается написать что-либо о своих «Первых литературных шагах»: «Там есть несколько интимных пунктов». — «Можешь не отвечать на них». — «Нет, о самом себе мне нечего написать!»... Он за то, чтобы дома, окружающие Кёльнский собор, были оставлены на своем месте: иначе можно испортить могучее впечатление... Выглядит совершенно как женатый человек.

4 ноября он (Сологуб) не сможет быть у меня; накануне вечером он отправляется со своей «женой» в Киев, где состоится представление «Мелкого беса»[508]. Тут я подсунул ему альбом («4 ноября» и «17 сентября» — есть у меня и такой, где расписываются все наши гости[509]) и предложил сделать следующую запись: «Физически в Москве, мысленно здесь». — «Физически: звучит как-то слишком материально!» — возразил он и написал: «*Видимо в Москве, невидимо здесь, у милого Ф.Ф.Ф. Федор Сологуб*».

15 ноября 1909

Вчера, в девять вечера, ко мне пришел Бунин. Не выпил ни капли — боится холеры. «Я боюсь ее не сердцем, а головой».

1 декабря 1909

Вчера неожиданно умер Иннокентий Федорович Анненский (брат нашего Николая Федоровича, от которого я никогда не слышал даже упоминания о его блестящем брате). Я знал его еще в ту пору, когда он преподавал русский язык в гимназии Гуревича (1890). В учительской он всегда пытался ораторствовать, при этом весьма манерно. Во всем его облике до самого конца (я виделся и говорил с ним в последний раз несколько недель тому назад в Литературном обществе) было какое-то жеманство: он держал голову так, будто у него прострел в шее или он «проглотил палку, которой его побили»[510]; к тому же — аффектированное грассирование и произношение в нос. В писательских кругах я никог-

да его не встречал, и о нем там никогда не говорили. У меня нет ни одной его книги (по крайней мере, ни одной с автографом). Отсутствует он и в моем большом альбоме автографов. <...>

На своем портрете (1907) он называет меня «*старый собрат*».

2 декабря 1909

10 сентября исполнилось 25 лет с того дня, как я начал преподавать в гимназии Оболенской. 6 ноября того же года я был утвержден в казенной должности. Мой юбилей был отпразднован в этой гимназии 14 ноября нынешнего года во время ежегодного акта; устроительницы — мои теперешние ученицы — преподнесли мне огромный букет из 25 белых роз в хрустальной вазе и адрес. (Каждый класс хотел сделать мне памятный подарок, но это запрещается предписаниями свыше.) В воскресенье, 15 ноября, княгиня[511] устроила торжественный обед; от коллектива учителей мне вручили адрес и золотой жетон с бриллиантами. После обеда меня чествовали бывшие ученицы, при этом подарили: два огромных букета, адрес, большой нож для разрезания страниц из тончайшей слоновой кости с рукояткой из червленого серебра, массивный золотой пенал (с красным карандашом) и массивное золотое перо с сапфиром. А 25 ноября в гимназии Гуревича учителя преподнесли мне золотой жетон.

Три фотографа фотографировали меня в моей квартире. <...>

21 декабря 1909

Вчера зашел в художественный магазин Савицкого на Литейном, чтобы приобрести почтовые открытки с портретами писателей. Встретил там Сологуба — он покупал цветные открытки с изображением мадонны. Мы отправились в «Дерби», где выпили полторы бутылки барзака. Когда он признался, что собирает одновременно и мадонн, и «*голышек*», а я процитировал Минского «Святая без стыда, вакханка без страстей...»[512], он сказал: «Мадонна и должна быть без стыда: если она начнет стыдиться, она уже не девственница». Несколько недель тому назад он отказался писать для моих «Первых литературных шагов», но теперь я уговорил его, и он согласился. «Шиповник» собирается издавать его сочинения в десяти томах; за это он получит в течение ближайших лет шестнадцать тысяч рублей. <...>

3 января 1910

<...> Сегодня я вернулся домой лишь в полвосьмого утра: был на костюмированном балу у Сологуба. Куда менее интересно, чем в прошлом году! Сологуб произвел сенсацию: облачился в костюм римского сенатора и полностью

сбрил бороду; его обычно неподвижное лицо приняло индивидуальное выражение, кроме того, он стал выглядеть моложе, по крайней мере, лет на десять; вокруг его подбородка и рта появилось нечто добродушно-радостное. Не костюмированными явились лишь двое: жена Аничкова и я. Сам Аничков нарядился странником Акиром (герой романа, который он теперь пишет): крестообразный посох в руке и средневековый папирусный свиток за поясом. Макс Волошин (пользуясь случаем, познакомился с ним) — тибетец в подвижной маске. А. Кондратьев — Гектор в тяжелом шлеме, панцире и с мечом. Граф А.Н. Толстой — Вакх в леопардовой шкуре, единственном одеянии на розоватом цветущем теле. Тэффи — вакханка: более обнажена, нежели костюмирована (пришла без своего Галича; значит, уже не вместе). Она столь цинично позволяла касаться различных частей ее тела и сама столь бесстыдно хватала других, что я был безмерно счастлив оттого, что не взял с собой свою дочь. В разных углах дивана сидели и обнимались парочки, не преступая, впрочем, запретной черты; особенно привлекали внимание актер Нувель с женой А.Н. Толстого. Потемкин в черном трико, худой и долговязый, катался по полу возле женских ног; он стоял на руках и тянул ноги кверху, стараясь держать их ровно, потом, опустившись на правую пятку, вытягивал перед собой левую ногу и, придав себе вращательное движение, целую минуту кружился вокруг своей оси как волчок. Барятинский — молодой иерусалимский еврей времен Христа; за те годы, что я его не видел, вовсе не изменился. Яворская, его жена, — Ночь, обнаженная чуть ли не до середины живота; далее, до лодыжек, ее тело облегала тонкая белая ткань; в руках — длинное темное покрывало. Верховский — паяц, наполовину в зеленом, наполовину в красном. — Это все «именитые» лица. Да, еще Зинаида Венгерова: глубокое декольте, черный прихотливый костюм с имитацией множества драгоценных камней. Чеботаревская в коротком одеянии из пестрых лоскутьев. Кроме того: Манасеина с мужем (его грудь и тело обвивала огромная змея — очевидно, символ его врачебной профессии); несколько художников и актеров. Из столпов декадентства и модернизма — никого. Под мой аккомпанемент на рояле гости танцевали кэк-уок, матчиш, парагвай и пр. Четыре юные гречанки с вуалями исполняли брачный танец вокруг колонны, изображавшей алтарь. Яворская предалась мелодекламации. Только в пять утра пригласили к столу, но ужин оказался столь скудным, что многим не досталось ни еды, ни питья. Когда я сидел «без дела», ко мне подошел Сологуб, поцеловал и сказал: «Сожалею, что мы с тобой уже пили на брудершафт!» — «Почему?» — «Хотел бы сделать это сейчас». <...>

16 января 1910

Вчера в Литературном обществе Муйжель, показав на свою жену, сказал, что она — устроительница всех его дел, ибо сам он слишком забывчив. Богучарский

сообщил, что его высылают из Петербурга[513]. Батюшков рассказал мне, что Куприн, живущий в его имении, решительно отказывается принять участие в моих «Первых литературных шагах»: мол, сюжет слишком деликатен, публике же следует интересоваться его произведениями, а не совать нос в личную жизнь; однако он ответил Раппопорту на отдельные вопросы анкеты, которые тот сразу же записал (хотя до сих пор ничего мне не передал). Присутствовал также Чириков: он приветствовал меня поцелуем и ничего не пил, кроме чаю; он и его жена Иолшина читали что-то из Чехова (был чеховский вечер). Сологуб пришел выбритый (лишь на верхней губе совсем немного щетины), вместе с Чеботаревской, но в скором времени бесследно исчез. — — —

17 января 1910

Только что от меня ушел Косоротов. Он рассказал о своей ссоре с Куприным. <...>

Сегодня у меня был Баранцевич. Он обнаружил у себя новую болезнь: подагру; ездил даже в Лигово, чтобы показаться доктору Денисевичу, который сразу сказал, что он совершенно здоров.

Сегодня Чехову исполнилось бы пятьдесят лет. Для меня он всегда был «*миленький маленький Чехов*», но нынешняя печать (разумеется, только русская) ставит его даже выше Тургенева и Толстого. О людях такого сорта Баранцевич сказал: «*Что они с ним носятся, как дурак с писаной торбой?!*» Когда я в шутку предложил ему воспеть Чехова стихами в моем альбоме, он ответил: «*Ну нет! Пусть этим занимаются молодые, не помнящие родства*». —

Вчера он должен был читать на каком-то чеховском вечере, но отказался и не пошел: «Я бы там совсем затерялся среди актеров!»

3 февраля 1910

Вчера после утомительного ежегодного заседания Литературного фонда я отправился по приглашению Карпова и С.Н. Филиппова в ресторан Первого товарищества официантов (бывший — Неменчинского) на Садовой. Филиппов говорил Карпову комплименты по поводу его «Светлой личности»[514], которые так пришлись Карпову по душе, что он заказал на всех бутылку шампанского. Горячо спорили об идеалах старых писателей и бранили молодых за отсутствие оных; о евреях было сказано, что они вредят языку и литературе. Говоря о сцене убийства в «Преступлении и наказании», Филиппов вдруг воскликнул, совершенно неожиданно: «Евтихий Павлович, давайте выпьем на брудершафт!» Выпили. Карпов назвал Глеба Успенского «кристальной душой» и рассказал о Чехове (шумное чествование его памяти он считает «вакханалией») следующее.

Однажды они вместе гуляли по Москве, и Чехов заметил, что Карпов, по его мнению, поступает неправильно, отказываясь сотрудничать в двух ретроградных газетах. «Я ведь тоже пишу для разных *нужников*!» — сказал он. Накануне его (Чехова) рокового отъезда в Баденвейлер он (Карпов) посетил его, и Чехов посетовал, что Художественный театр (Станиславский и Владимир Немирович-Данченко) стал ему неприятен, ибо не понимает его и не ставит его произведений.

В ресторане нам принесли счет на 16 руб. 55 коп. — чистый грабеж (несколько кусочков сыра, к примеру, — полтора рубля). Я обратил на это внимание Карпова, но он сказал «Брось!», без возражений все оплатил и даже дал жулику-официанту два рубля чаевых. — — —

Сегодня зашел к Сологубу. Он чисто выбрит и не собирается отпускать бороду. В столовой на стене — два больших лавровых венка: из Москвы (от Незлобина) и из Харькова: трофеи его недавнего пребывания в этих городах в связи с постановками его «Мелкого беса». (В Киеве ему тоже вручили лавровый венок, но он оставил его где-то в дороге — венок оказался слишком неудобен для транспортировки.)... 4 января Цетлин сказал*, что собирается приобрести права у всех современных русских писателей, в том числе и у Сологуба, уже продавшего их «Шиповнику». Я немедленно написал об этом Сологубу, но он мне ничего не ответил, потому что в то время готовилась его поездка по провинции... Сегодня он сразу же заговорил об этой сделке. Сказал, что она наверняка не состоится, ибо Цетлин не заплатит ему столько же, сколько заплатил Леониду Андрееву (сто тысяч рублей), тем более что он (Сологуб) собирается запросить за десять томов еще больше, чем Андреев (сто двадцать тысяч). И тут Сологуб погрузился в коммерческие расчеты, из которых я почти ничего не понял; но ему все же удалось доказать, что низкая продажная цена для него была бы невыгодна. Его книги не расходятся, по его словам, столь стремительно, как книги Андреева, зато спрос на них устойчив и постоянно растет. Он говорил безо всякого самовозвеличивания, даже скромно, но с полной убежденностью и опираясь только на цифры. Будь у него эти деньги (сто двадцать тысяч), он купил бы себе дом. Но сделка расстроится, потому что «Шиповник» не уступит его «Просвещению», не получив от этого прибыль; сам же он собирается полностью отстраниться от этих переговоров... Сказал, что пишет очень медленно; за долгие годы у него скопилось множество сырого материала, а потому впечатление, будто он пишет много и быстро, — иллюзия... С невыносимо медлительной аккуратностью он завернул в бумагу второй том своих сочинений и перевязал пакет розовой ленточкой.

* Миллионер Натан Сергеевич Цетлин, глава издательской фирмы «Просвещение», *у Василия Немировича-Данченко* 4.I.1910.

20 февраля 1910

Сегодня меня навестил Вячеслав Иванов. Раньше у него была шевелюра, как у Моммзена, теперь от нее мало что осталось. Извинялся, что до сих пор ничего не написал для «Первых литературных шагов»: он, дескать, совсем безалаберный человек (несколько раз повторил эту характеристику), постоянно забывающий о своих намерениях. Осматривал мой «музей» и рассыпался в похвалах. С огромным интересом читал свои письма к разным писателям. Очень хорошо говорит по-немецки. Тема нашего дальнейшего разговора: задуманное мной издание русских поэтов. Держал себя очень просто и естественно.

25 февраля 1910

Вчера зашел в редакцию «Биржевых Ведомостей». Комната Измайлова — узкая и пустая; ничего лишнего. Над простым письменным столом — предупредительная надпись: «Здесь пишут, а не говорят». Он как раз писал, и мы почти не разговаривали: он был «занят по горло».

Затем — в Академию художеств, в мастерскую Гинцбурга. Он в это время лепил бюст Ясинского, который ему позировал. Его ручная зеленоволосая обезьянка уселась мне прямо на колени. Подарил мне кипу писательских писем к нему.

С Ясинским заехал сперва в редакцию «Биржевых Ведомостей», где он забрал и подарил мне множество писательских писем к нему. Потом поехали ко мне. Дорогой он рассказывал о постоянных сотрудниках газеты. Главным и всемогущим лицом является Бонди, родственник Проппера (издателя); стало быть, тоже еврей, хотя и выдает себя за потомка крестоносцев. Он протежирует своему приятелю Брешко-Брешковскому, поскольку тот поставляет ему девушек. Позиция Измайлова в газете достаточно прочная, хотя Бонди подчас сокращает его статьи, а то и вовсе не печатает. <...>

28 февраля 1910

Договорившись с Ясинским, нанес ему сегодня визит. Он все еще живет на Головинской[515], 9 (Черная Речка), в собственном доме — я был у него однажды лет пятнадцать назад. Собственно, это два стоящих друг против друга деревянных дома с множеством комнат. В первом живет его сын Яков (Максим уехал в далекую экспедицию) вместе с сестрой (девушкой, о существовании которой я узнал лишь сегодня; ей примерно четырнадцать лет); в двухэтажном доме позади живет он сам вместе с женой Клавдией (о ее существовании я тоже узнал лишь сегодня; она не вышла, сказавшись больной). Оба дома являют собой —

изнутри и снаружи — картину медленного распада; все — холодно, пустынно, безотрадно; я бы и даром не стал там жить! Разрозненные предметы старинной мебели, столь же разрозненные тарелки и бокалы. На стенах здесь и там — маленькие картины, написанные маслом (русских художников), а также — картинки его собственной работы. На застекленном балконе — увесистые кипы прекратившихся журналов, которые он некогда издавал. Все запущено и дышит затхлостью.

Он уверял, что спокойно мог бы существовать на доходы от издания этих журналов, но тут грянул 1905 год, и он потерял своих подписчиков. Теперь у него семь с половиной тысяч рублей долгу. <...>

Остальной разговор — о его картинах.

Он подарил мне письма Салтыкова, Гончарова, Чернышевского и других.

Его сын Яков — довольно странное существо; в лице у него есть что-то экзотически красивое и привлекательное. Переводит с немецкого, французского и английского языков; собирается изучать скандинавские языки.

Очутившись на улице, я вздохнул с облегчением.

7 марта 1910

Сегодня пришел Баранцевич, чтобы вместе со мной посетить выставку и посмотреть «Данаю» Порфирова. Уверял меня дорогой, что его любовная история оказывает на него благотворное влияние: стал терпимее и добродушнее по отношению к жене, так что они больше не ссорятся. С выставки поехал к Василию Немировичу-Данченко. Ему удалось как-то договориться с Цетлиным, который сейчас выпускает четыре его романа, а будущей зимой — пять (по тысяче рублей за том, всего — девять тысяч рублей). Притом все это — переиздания старых его произведений, например, «Царей биржи», о которых он сказал: «Придется в них кое-что переделать. Выпады против евреев, которые не вызывали в то время никаких возражений, не отвечают сегодня духу времени; их следует хотя бы смягчить». Какая-то восхитительная юная балерина буквально вешается ему на шею. «Но это меня не трогает — все это я уже пережил; это для меня — лишь повторение старого, но тогда это было прекраснее. Когда-то я имел дело с одной актрисой, и когда мы с ней разговаривали, она все время перебивала себя: "Что я говорю? Это ж не мои слова! Это из той или другой роли!" Вот так и с этой балериной: все, что она говорит мне, я уже слышал много лет тому назад от одной или другой!» <...>

Он, Немирович-Данченко, сообщил, что его родственница, графиня Тизенгаузен (разведенная Уманова-Каплуновская), недавно сказала ему, что он лишь пишет разумно, а когда говорит — становится глуп и туго соображает — при этом она вложила ему в руку карандаш, чтобы его слегка загипнотизировать. —

Уверял меня, что Чехов очень любил его как человека, а как писателя — совсем не любил. О плодовитом Боборыкине сказал так: «Похоже, что он принял слабительное и готов облегчиться в любой редакции, причем весьма *жидко*».

30 марта 1910

Сегодня у меня был Вячеслав Иванов. До чего же красиво этот человек говорит по-немецки и даже пишет, и даже стихами! Вписал несколько стихотворных строк в альбом «У меня» (я, конечно, помогал ему находить рифмы). Он хотел бы уехать в Италию, примерно на год, чтобы заняться только литературой (хочет дописать две греческие драмы, а также роман). Здесь же его постоянно отвлекают и беспокоят: то Поэтическая Академия, то Религиозно-философское общество, где совершенно незнакомые люди подчас советуют ему, как жить. Необычайно высоко ценит Стефана Георге, причем, скорее, как «мастера» (слова), нежели как поэта. Уверял меня, что в декадентстве Андрея Белого и Александра Блока нет никакого шарлатанства; это поначалу позволял себе Брюсов, но теперь он серьезно относится к своим стихам, надеясь, что его выберут почетным академиком.

8 апреля 1910

Вчера, на премьере «Шантеклера»[516], не было совсем никого из мира русских писателей — одни критики: Л.Я. Гуревич, Мазуркевич и Измайлов. Последний сообщил мне, что недавно Сологуб получил от Проппера за короткий рассказ 266 рублей (т.е. по рублю за строчку). Когда он спросил меня, не могу ли я предоставить в его распоряжение какой-либо неопубликованный афоризм Горького, я ответил, что, может быть, подойдет фраза из письма Горького ко мне, касающаяся его (Измайлова): «*Писатель должен иметь острые глаза*» (в статье Измайлова Горький отметил ряд неточностей относительно окрестных каприйских пейзажей). На это Измайлов, в сильном раздражении, воскликнул: «Истинные олимпийцы в литературе скромны и благодарны за любое упоминание о них в печати. А *разная сволочь*, которая лишь печати и обязана-то своей славой...»

10 апреля 1910

Вчера, наконец, я принял участие в заседании Совета Петербургского литературного общества. За это время исключено примерно девяносто человек, которые в течение трех лет не только не платили членские взносы (десять рублей ежегодно), но не удосужились даже заплатить вступительный взнос (два рубля). Совет проявил великодушие, сохранив членство для тех, кто внес всего

два рубля. К ним относятся: Галина, Муйжель, Потемкин, Рышков (несмотря на огромные гонорары, которые он уже не один год получает со своих пьес), Сергеенко, Владимир Тихонов, Фальковский, Цензор, Чулков, Южаков и — чета Мережковских. На все письменные (в письмах и в печати) и устные напоминания он, богач Мережковский, отвечал, что не намерен платить: мол, он — писатель (остальные, кто платит, — стало быть, нет?!) и приносит пользу Литературному обществу.

21 апреля 1910

<...> В понедельник на чеховском утреннике Московского Художественного театра[517] весь писательский мир начисто отсутствовал, за исключением нескольких театральных критиков (рецензентов), Чирикова и Рышкова. Когда я заговорил с последним о его сценических успехах, он сказал: «Ах, что Вы! Через два года никто больше не захочет ставить мои вещи!»

Вчера был на спектакле Московского художественного театра; давали Островского «*На всякого мудреца довольно простоты*». Владимир Немирович-Данченко (я упрекнул его в том, что он не выполнил своего обещания: не прислал в мой «музей» письма писателей) уверял, что чрезвычайно занят и уже в течение четырех лет не в состоянии привести в порядок свой письменный стол. — Василий Немирович-Данченко сказал после первого акта: «Какое старое, наивное *письмо*! Сегодня так никто не станет писать!» Говорил с Бентовиным о Потапенко (отсутствовавшем). Вся дирекция Театрального клуба во главе с Потапенко, ее председателем, подала в отставку, вернее, обязана была подать в отставку; остались лишь Трахтенберг и Туношенский. Директором избран Карпов (с жалованьем 2 400 рублей, вместо 6 000, которые получал Потапенко), его помощником — Рышков. Что теперь делать Потапенко — он должен ведь содержать свои многочисленные семейства?! <...>

24 апреля 1910

Вчера неожиданно пришла Виницкая — я не видел ее приблизительно десять лет. Нисколько не изменилась ни внешне, ни внутренне. «Я такая же дура, как и раньше. А в практических делах я не просто дура — идиотка!» <...>

К счастью, мне не пришлось слушать эту болтовню чрезмерно долго — я спешил в театр (Московский Художественный: «Царь Феодор»). В буфете увидел Кузмина; он стоял и курил. Я подошел к нему с сигаретой, желая прикурить. Небрежным движением он протянул мне свою сигарету. Когда я прикурил и сказал «спасибо», он, наполовину отвернувшись, даже и бровью не повел. Тогда я сказал вызывающе: «Мы с Вами немного знакомы!» — «А где мы встреча-

лись?» — спросил он холодно, но без высокомерия. «Меня зовут Фидлер». — «А, да, да!» Я молча оглядел его снизу доверху и отошел в сторону. Он не был накрашен.

[«Белый олень» под Дрезденом,] 9/22 июня 1910

Среди «пациентов», находящихся здесь в санатории Ламана (настоящих больных, к коим отношусь и я, очень мало), — актер Эмануэль Райхер, который вместе с Германом Баром завтракал у меня в Петербурге девятнадцать лет назад. Пил с ним кофе в кондитерской. Он рассказывал о Германе Баре. Свою пьесу «Концерт» Бар называет «ужасной», а деньги, которые она приносит, — «греховными». Пьеса эта нравится публике, а чем больше какая-нибудь из его пьес, говорит Бар, нравится публике, тем беспомощнее она в художественном отношении; его лучшие драмы якобы те, что приносят наименьшую прибыль.

[«Белый олень»,] 21 июня / 4 июля 1910 (понедельник)

Со среды здесь находится Берта фон Зутнер (живет в Докторском доме, комната 29). Я тщетно пытался опознать ее по тем портретам, которые мне известны. Наконец горничная показала мне на нее. Она сидела на веранде дамской купальни. Я представился как давний ее корреспондент (в связи с немецкой литературой в Словаре Брокгауза и Ефрона[518]). На вид ей значительно меньше 67 лет, но она гораздо полнее и будничнее, чем на фотографиях. Она и сама говорит, что вполне здорова, только «потолстела и обленилась» и пытается здесь избавиться от лишнего веса. Когда я заговорил об ее покойном муже Гундаккаре, глаза ее увлажнились: «Мы жили с ним душа в душу». Высказала наивное мнение, что Г.С. Петров лишен сана за свои антивоенные тенденции, и добавила: «Реакция и военщина идут рука об руку». Разговор перешел на мою жену, и она попросила: «Заверьте ее в моей искренней симпатии». В этот момент компаньонка напомнила ей, что пора принимать ванну, и я удалился, пожав ее рыхлую руку.

[«Белый олень»,] 25 июня / 8 июля 1910

Завтра я покидаю «Белый олень» и санаторий Далай-Ламана[519] примерно в том же состоянии, в каком прибыл сюда пять недель назад.

С Эмануэлем Райхером и Бертой Зутнер я мог бы беседовать бесконечно долго, но их постоянно занимали разговором другие отдыхающие, — я же не хотел навязываться.

10/23 и 11/24 июня я был в Карлсбаде, где проводил время в обществе московского издателя Сытина и Г.С. Петрова. Эти встречи подробно описаны в моих письмах домой; со временем приведу из них соответствующие места. А также то, что относится к литературе.

20 июля 1910

Сегодня день св. Ильи, поэтому я отправился в Куоккала, чтобы навестить именинника Репина. Но сперва зашел к Чуковскому (дом Анненкова, в котором некогда жил Чириков, напротив бывшей дачи Горького). Чуковский сказал, что Репин, по его мнению, даже в день своих именин не отступит от правила — принимать только по средам; он почти ежедневно позирует ему, вчера тоже состоялся сеанс, но Репин и словом не намекнул на то, что нынче ожидаются гости; и поэтому будет верней, если мы не станем рисковать и воздержимся от прогулки в «Пенаты», до которых все же не близко.

Несколько недель тому назад Чуковский в третий раз стал отцом (сын Борис). Когда я пришел, он сидел за столом и писал; радостно поспешил мне навстречу (босиком). Из скромности он ничего мне не дал для «Первых литературных шагов». Тем не менее, рассказал о себе следующее. Это было в год освобождения[520]. Голодный и без гроша в кармане он слонялся по Невскому проспекту как раз в тот момент, когда возле Казанского собора начались волнения. У ресторана «Доминик» какой-то казак занес над его спиной нагайку. Чуковский зашел к Руманову, который был тогда литературным сотрудником Телеграфного агентства, и рассказал о том, что происходит. Руманов попросил его сесть, записать все, что он видел, и потом сразу выдал пять рублей. «Таким образом своим первым литературным гонораром я обязан казацкой нагайке». Ему с женой приходилось тогда очень плохо: не было даже самого необходимого. Еще до этого Чуковский принес в редакцию «Нивы» тетрадь стихов, переведенных им с английского, и отправился туда в робкой надежде, что хотя бы некоторые из них будут приняты и он получит несколько рублей. В редакции он застал А.М. Федорова, который пообещал ему свое содействие. Но тут появился Розинер, вернувший Федорову его стихотворение: мол, слишком политическое, поэтому не можем его напечатать. Разочарованный, Федоров удалился. Однако Чуковскому Розинер сообщил, что все его стихи приняты и выдал ему немедленно более ста рублей (106). Не помня себя от счастья, Чуковский помчался домой; ему даже не пришло в голову взять извозчика: «Извозчики существовали в то время для кого угодно, только не для меня».

Вместо того чтобы идти к Репину, Чуковский предложил мне зайти к Короленко: он уже около месяца живет в Куоккала в доме, который снял Н.Ф. Анненский, и ведет дела «Русского Богатства». Но в ближайшие дни он уезжает к

себе в Полтаву, поскольку Анненский вернулся позавчера из-за границы (лечился в Наугейме).

По дороге Чуковский (он шел босиком) сообщил мне, что Свирский все еще живет в Куоккала, но с ним почти никто не общается; визиты к Репину ему пришлось прекратить.

Мы заговорили о Лазаревском. Однажды Короленко бранил его за то, что он всем рассказывает о связи своей покойной жены с Сургучевым, и добавил: «Наши жены тоже нарушали супружескую верность, но мы ведь не болтали об этом!» Чуковский засмеялся: «Вы только что предъявили обвинение Вашей собственной жене!» — Но он спокойно ответил: «Ну и что здесь такого?!»

Затем Чуковский рассказывал про какого-то человека: «Он не был знаком со мной лично, но прочитал в газетах, что я — *сволочь*». Он сказал это небрежным тоном, как нечто само собой разумеющееся, даже не улыбнувшись.

Так мы дошли до дачи Н.Ф. Анненского (№ 5), расположенной недалеко от моря, и поднялись на пустой балкон. Через минуту появился Короленко, с ремингтоном в руках, коим пользуется не он, а Татьяна Александровна Богданович, племянница Анненского. С ней вместе к нам вышла и жена Анненского Александра Никитишна и сказала, что ее муж как раз лег вздремнуть. Тем не менее, через десять минут появился Анненский собственной персоной, с раскрасневшимся лицом — видно, со сна. Короленко принес две бутылки пива, и мы впятером их выпили (Короленко — ни капли). Короленко курил мои сигареты и рассказывал, рассказывал без конца. Между прочим — следующее. Дело было в восьмидесятые годы. От одной дамы Короленко узнал, что Толстой чрезвычайно ценит его как писателя и рад будет с ним познакомиться; и если Короленко к нему придет, он *разрешит его сомнения*. «Однако у меня уже тогда не было сомнений, которые Толстой мог бы разрешить, поэтому я не пошел к нему». Но он все-таки навестил его, в Москве. Гольцев носился тогда с планом нового журнала, а Короленко и Златовратский были отправлены к Толстому, чтобы привлечь его к сотрудничеству. Толстой вышел к ним, беседуя с художником Ге, и при виде гостей сказал ему, что Короленко тоже явился, чтобы получить совет, как жить по совести. «Я чувствовал себя очень неловко, когда изложил ему дело совсем другого рода». О последующем разговоре с Толстым Короленко сказал: «Я слушал и слушал, и при этом думал: как можно быть таким гениальным и одновременно изрекать такие глупости?»

Короленко все говорил и говорил (ничего относящегося к литературе). Мы уже попрощались и стояли у балконной двери. Другие тоже стояли. Но рассказ длился так долго, что Анненский не выдержал: сперва облокотился на стул, потом сел. Наконец мы ушли.

Чуковский посоветовал мне сегодня же отправиться к Леониду Андрееву («он всегда говорит о Вас с большой симпатией!»), потому что завтра Андреев

переселяется на взморье, где проведет несколько недель. Но было уже поздно: шесть часов. Из кондитерской я связался по телефону с домом Андреева и спросил его: «Зимой Вы любезно приглашали меня к себе — сохраняет ли силу Ваше приглашение летом?» — «Конечно, конечно! К сожалению, завтра я уезжаю. Но примерно дней через десять, когда вернусь, буду очень, очень рад Вас видеть».

9 августа 1910

Получив любезное письменное приглашение, отправился сегодня в Райвола, а оттуда — в Ваммельсуу (Черная Речка) к Леониду Андрееву. Он как раз праздновал свой день рождения (39 лет), но из писателей не было никого; только представитель издательской фирмы «Прометей» по фамилии Михайлов и эмигрант Головин; кроме них — сестра Андреева с детьми. Он был весьма озабочен: у сына Вадима начались желудочные колики, так что он извивался и кричал; через час, однако, успокоился, и отец тоже успокоился. Нежные чувства проявлял он по отношению к своему второму сыну Савве, действительно очаровательному (это ребенок от второй жены, недавно родившей ему еще и девочку; а ее другая дочь — от первого брака). Андреев был в голубой плюшевой куртке и суконных брюках такого же цвета. Волосы — почти до плеч. Сильный, кряжистый, здоровый, подвижный. В его просторном кабинете — несколько двухметровых страшных картин Гойи, которые он сам нарисовал углем. И стулья, на которых приходится сидеть не где хочешь, а где они стоят, — их нельзя сдвинуть с места. Портрет Берты фон Зутнер, который я видел у него два года назад, исчез; впрочем, на стенах вообще нет ни одного писательского портрета (да и нигде их не видно). Была половина первого; все пили чай и кофе. Андреев все время пил крепкий чай с *вареньем*; а когда я сказал ему, что это вредно, ответил: «Он почти не действует на меня, потому что я привык — подобно царю Митридату, глотавшему без всяких последствий большие дозы стрихнина». Кроме того, он непрерывно курил. Большая лужайка перед домом совсем не изменилась: узкая гирлянда цветов по краю главной дорожки, кое-где — березки. Мы оба сперва спустились по лестнице (120 ступенек) к реке и осмотрели с берега моторную лодку, которую он купил за полторы тысячи: несколько дней тому назад она наскочила на камень и сейчас не работает. Потом полезли наверх и посидели, высоко над рекой, на белой скамейке. Андреев рассказал о своих писательских доходах. Все свои сочинения — как уже напечатанные, так и готовящиеся к печати — он продал Цетлину за сто тысяч рублей; все, что он еще напишет, он имеет право печатать где угодно и за любой гонорар, но потом это переходит в собственность Цетлина за дополнительный гонорар в тысячу рублей за лист. В первые годы он зарабатывал пером двенадцать тысяч ежегодно; эта сумма стремительно возрастала, так что в прошлом году его до-

ход составлял сорок тысяч рублей (а в позапрошлом — пятьдесят тысяч). Особенно много приносят ему драмы. «Да, я и моя семья хорошо обеспечены». Участок вместе с домом и всей обстановкой обошелся ему в семьдесят пять тысяч рублей. Но у него еще остались незначительные долги. «Когда я начал это строительство, за мной был долг “Знанию” — две тысячи рублей!» — «Ну, а Вы довольны покупкой и строительством в целом?» — «Да. Но, по правде говоря, у меня есть другое желание: я очень люблю путешествия и очень люблю в то же время мою семью. Постоянно путешествовать с семьей, однако, невозможно по разным причинам. Я очень люблю море, и его ярость меня не трогает. И вот мне хотелось бы иметь большую яхту, куда я мог бы перенести всю свою семейную обстановку. В этом плавучем доме, окруженный моей семьей, я путешествовал бы вдоль всей Европы: то в Стокгольм, то в Амстердам, то в Мессину и т.д. Встанешь на якорь и в течение нескольких недель знакомишься со страной. Но на это у меня слишком мало денег, даже если бы нашелся покупатель, готовый приобрести все, что Вы здесь видите».

На часах была уже половина четвертого, и звуки трубы возвестили нам об обеде; он происходил на веранде (там висит и маленький гонг). Закуски, за исключением редиски, не было никакой. Суп из цветной капусты, к нему пирог с капустой или саго, форель, птица, яйца и дыня. (Остатки мороженого с тарелки мужа и своей собственной Анна Ильинична соскребла обратно в глубокую жестяную вазочку, в которой подавалось мороженое.) На этот раз был полный сервиз и одинаковые салфетки (не так, как два года назад!). Но и на этот раз не было ни капли водки, пива или вина — несмотря на день рождения! За столом нас обслуживал интеллигентного вида молодой человек, но без формы, которую носит прислуга; повара в белом одеянии я увидел позднее. В промежутках между отдельными блюдами Андреев курил. Курила и его мать, сидевшая рядом с ним: на вид она совсем не интеллигентна, да и по одежде — «дама», напоминающая няню, с грубым, почти пропитым голосом; сперва я подумал, что она неграмотна, но она прочитала несколько писем, которые тем временем пришли... Андреев жаловался на насморк: «Как будто в носу у меня сидит верблюд!» Однако насморка у него не было видно и слышно.

Он повел меня в маленькую комнату с окном. «Отсюда я могу видеть, когда к дому приближается интервьюер, и тотчас спрятаться... Из этого окна можно даже стрелять!» — добавил он с угрожающей улыбкой. Раньше, предаваясь мечтам о яхте, он со смехом сказал: «Я бы взял на борт несколько интервьюеров и высадил бы их на *необитаемом* острове! Годика через два их можно было бы вернуть в цивилизованный мир, ежели исправятся!»

В углу стоит сейф, которому никакой огонь не опасен.

Он подарил мне, между прочим, немецкий перевод своего «Иуды Искариота» с надписью: «Фридриху Фидлеру Леонид Андреев от всего сердца»[521]. — «Ах,

если бы я мог писать по-немецки! — засмеялся Андреев. — «Вот скажем: Auf dem Strasse sind Automobilen, Ferden, Hunden und ander Tieren...[522] По-французски же я совсем не умею. Прямо как Чириков, который не знает ни немецкого, ни французского, так что в прошлом году, будучи за границей, мы объяснялись с немцами и голландцами жестами и мимикой, что нам отлично удавалось!»

Тем более я был поражен, когда увидел на столе в его библиотеке (своего рода альков, примыкающий к кабинету) сочинения Гейне в издании Реклама (в переплете).

Он также удивил меня тем, что, несмотря на свой бодрый вид, уже два года страдает от головной боли. «И бессонницей?» — спросил я. — «Как раз нет. Но было бы, пожалуй, даже неплохо, ведь я, собственно, — противник сна, который так много отнимает у нас в жизни».

Свою речь он обычно заканчивает словцом «*вот*».

«Значит, Вы ничего не пьете?», — спросил я, когда он в шутку заговорил о том, что надо бы взять на моторную лодку, когда ее починят, коньяк и бенедиктин. «Нет... разве что раза три в году... Я не употребляю алкоголь, но... злоупотребляю им!»

Уже три дня, как у него новая чернильница: круглая, обтянутая кожей, с крышкой, которая сама отскакивает. Точно такую же, лишь немного меньше, он подарил мне для моего «музея». Он пользовался ею в течение девяти лет — это он подтвердил мне и письменно. Когда же я попросил его записать на листке бумаги произведения, написанные с помощью этой чернильницы, он ответил: «Это трудно. Ведь если я пропущу хоть одно, получится, что я обидел одного из своих детей». Но он все-таки написал несколько названий.

Своим лучшим произведением считает «Елеазара».

Рассказывал о «Моих записках»[523], что их героя отождествляют с ним, автором, и считают его террористом, анархистом и т.п. «*Ничего подобного*! Все это я подаю с иронией, я написал памфлет, где все следует понимать как раз наоборот!»... И даже проницательные читатели не поняли меня. Так, Горький сказал, будто я обмазал ворота революции *дегтем*!» (т.е. дискредитировал революцию. В деревнях отвергнутый поклонник мажет ночью дегтем ворота дома, в котором живет девушка, потерявшая невинность. — *Ф.*)

О своих произведениях Андреев также сообщил следующее. Во второй части «Красного смеха» было место, где описывались взрывы бомб на одной из московских улиц. По совету друзей он исключил это место как неподходящее к целому. Прошло немало времени, и в Москве на этой улице действительно рвались бомбы, причем многие детали соответствовали написанному... Эту главу Андреев обещал подарить мне: «Не знаю сейчас, куда она подевалась, я ведь *черновиков не сохраняю*. Как только найду, непременно отдам в Ваш музей. Мы еще не научились ценить этот Ваш музей, как он того заслуживает!» И вот еще до-

казательство профетического дара, свойственного поэтам: у него есть рассказ, в котором изображается восстание команды матросов, которое спустя некоторое время осуществилось: вспыхнуло восстание на «Потемкине». Рассказ остался ненапечатанным, но, возможно, он еще сумеет его использовать.

Известно, что Скиталец (Петров) обязан своей однодневной славой исключительно Горькому: он всюду следует за ним по пятам, фотографируется с ним (у меня несколько таких открыток), подражает ему своим внешним видом и т.д. (Сведущие люди назвали его «*подмаксимовик*», и в качестве такового он фигурирует на одном из рисунков: Горький изображен в виде большого гриба, а под ним — такой же, но поменьше: Скиталец.) И вот Андреев рассказал следующее. Однажды Горький попросил своего alter ego, чтобы тот не выдавал себя за него, но Скиталец (после овации, которую ему устроила публика, увидев его на извозчике и приняв за Горького) оправдывался таким образом: «А что мне делать? Не отвечать на приветствия — сочтут грубостью! Благодарить — сочтут обманом!»

О Н.А. Морозове Андреев сказал: «Я очень его люблю, но о чем мне с ним разговаривать? Только на научные темы, что само по себе, конечно, в высшей степени любопытно. Ну а *по душе*? Мать родила его именно таким, каков он теперь. Иначе говоря: он стал таким сразу, а не в процессе становления; он все нашел, не мучаясь исканиями; и сердце его сохранило чистоту, потому что он никогда не грешил».

В дом внесли граммофон, и мы слушали, как Андреев читает из «Елеазара». Но это не его обычный голос; говоря в аппарат, он его значительно понизил. «Впрочем, выступая публично, я тоже, как правило, читаю сильно пониженным голосом. Недавно эту штуку включили в тот момент, когда я, погруженный в свои мысли, поднимался по лестнице. Я просто испугался, услышав собственный голос»... А на оборотной стороне пластинки с «Елеазаром» записана «*Нежная роза*» — пародия на цыганский романс! Ее нам тоже дали послушать. Возмутительная художественная безвкусица и коммерческая бестактность (в чем Андреев, разумеется, ничуть не повинен)!

Он (Андреев) страстно увлечен цветной фотографией. Специально для меня, то есть для моего «музея», жена сфотографировала его на веранде и приблизительно через час вручила мне готовую стеклянную пластинку (стереоскопическое двойное изображение). Уникальный экземпляр. Она отдала мне со вздохом, потому что Андреев на этой фотографии вышел очень удачно.

Кроме того, Андреев любит писать маслом. Он показал мне два портрета: Белоусова и его жены. А также — голову Иуды Искариота с двумя различными глазами; прикрывая их поочередно, видишь, что у каждого из них — совершенно другое выражение во взгляде. При этом Андреев никогда не учился ни рисунку, ни живописи.

Был уже седьмой час, и я стал прощаться. Мы расцеловались, и Андреев воскликнул: «Федор Федорович! Я *ужасно пред Вами в долгу*: еще ни разу не был у Вас! Сколько раз собирался к Вам, и всегда что-то мешало. Я ведь не принадлежу себе. Даже у Репина бываю только раз в году, а ведь он живет совсем рядом. Но теперь даю Вам честное слово — слышите: честное слово! — я скоро навещу Вас. И не на даче, а в городе. В первой половине сентября. Слышите — даю честное слово!»

2 сентября 1910

Лазаревский письменно попросил меня содействовать ему в получении гонорара от «Биржевых Ведомостей» и обратиться для этого к Гаккебушу. Сегодня я был в редакции. Гаккебуш сказал, что они просили у Лазаревского рассказ, он же прислал им психологический трактат, который они не станут печатать. Правда, за трактатом последовал рассказ, но столь порнографического содержания, что его тоже невозможно опубликовать (муж отдает в публичный дом диван, на котором его жена нарушала супружескую верность). Обе рукописи будут возвращены Лазаревскому.

Из редакции отправился с Измайловым в ресторан, где он ел омаров, но ничего не пил. Там мы встретили Ганзена, рассуждавшего о нелюбезном поведении Гамсуна, коего он переводит на русский: Ганзен по делам поехал к нему в Норвегию, позвонил ему по телефону и сообщил о своем приезде; однако Гамсун ответил: «Я никого не посещаю и не принимаю посетителей».

На Невском нам повстречался Каменский. Я рассказал ему о Лазаревском и новелле с диваном, на что он ответил, неодобрительно покачав головой: «Это он мстит своей жене после ее смерти!...» Я спросил, правда ли, что он (Каменский) написал повесть, в которой двое мужчин состоят в законном браке с гуттаперчевой женщиной. Да, ответил он, но это юмореска, написанная без всякого порнографического умысла. Он носился с этой идеей уже года полтора назад. Но примерно полгода назад Баранцевич сообщил мне о ней как о своей собственной.

26 сентября 1910

Вчера был приглашен в издательское товарищество «Шиповник», где Леонид Андреев должен был читать «Океан». Однако вместо него («Я не умею читать вслух») читал Ходотов. Андреев обнял меня: «Я собирался непременно зайти к Вам на днях. Но если б Вы знали, как я *замотался*! Сегодня ночую у Фальковского, завтра же с утра сделаю все от меня зависящее, чтобы навестить Вас. А можно ли зайти *под хмельком*?». По поводу всего общества (собралось пример-

но сто пятьдесят человек; великолепное угощение и ужин в два часа ночи) Андреев сказал «Базар!» и стал расхваливать уют и сердечность москвичей. Он пил, весьма умеренно, коньяк и красное вино. Мне удавалось лишь изредка и урывками приблизиться к нему — его постоянно окружали люди.

О самой пьесе у меня не сложилось абсолютно никакого мнения: никогда не могу воспринять то, что читается вслух (если раньше не видел этого глазами). В три часа ночи, когда началось обсуждение (под председательством Венгерова), я отправился домой.

Присутствовали актеры, художники, юристы. Из писателей были Сологуб с Чеботаревской, Потемкин, граф А.Н. Толстой, Дымов, Репин с Северовой, Н.А. Морозов с женой, Ремизов (очень бледен; жалуется на язву желудка), Овсянико-Куликовский, Тэффи, Аверченко (первое знакомство), Чуковский, Арабажин, Саша Черный (Гликберг), А.М. Федоров, Боцяновский, Батюшков, Аничков, Кожевников, С.М. Городецкий, Бунин, Скиталец (Г.С. Петров, в черном костюме), Владимир Азов.

С каждым и каждой я мог обменяться в этой тесноте (несмотря на громадные комнаты) лишь двумя-тремя ничего не значащими словами.

30 сентября 1910

Зашел сегодня на полчаса к Сологубу. Он живет теперь по соседству с нами: Разъезжая, 31 (угол Николаевской), кв. 4: большая квартира на первом этаже с десятью окнами, выходящими на улицу; ежемесячно платит за нее (без отопления) 146 руб. с копейками. — Я упрекнул его в том, что он, вопреки своему обещанию, так ничего и не дал мне для «Первых литературных шагов» (как раз сейчас поступают корректуры от Сытина из Москвы). «Для меня нет прошлого в моей литературной работе. О чем я должен был написать? Что поначалу все редакции возвращали мне мои сочинения?» — «Да, конечно». — «Зачем?» — «Чтобы ободрять молодых писателей: вот, смотрите, сперва меня не хотели печатать, а теперь я — автор “Мелкого беса”, и все журналы просят меня о сотрудничестве!» — Ободрять молодых писателей? Да их надо *истреблять*, наглецов! Ободрять такого, как Яков Годин? Или такого, как Сергей Городецкий?» — «Неужели ты не любишь Городецкого?» — «Может, я его и люблю, только он сам себя не любит. Вот критика расхвалила его “Ярь” — очень посредственная книга, в которой лишь несколько красивых стихотворений, — и он мнит себя теперь великим поэтом. Таков и Ремизов». — «Но он кажется таким скромным!» — «Вот именно: только кажется. Он очень завистлив. Или Леонид Андреев. Его “Океан” — слабая вещь. А его речь, произнесенная после чтения пьесы?![524] (Я ушел сразу же по окончании действа. — *Ф.*) Ободрять молодых писателей! Истреблять их надо! Марают левой рукой и правой ногой вместо того, чтобы работать, работать, работать!»

Вернувшись домой, застал у себя Гриневскую: она сидела за столом и обедала. Я и слова не успел проронить о моем визите к Сологубу, как она начала говорить о молодых писателях: дескать, их нужно подбадривать. «При голосовании в нашем Литературном обществе я никогда не вычеркиваю никого из начинающих: им и без того бывает трудно пробиться; да и как знать, не превратится ли со временем кто-нибудь из этих начинающих в крупного писателя!» <...>

23 октября 1910

Вчера зашел к Венгерову, чтобы вместе с ним отправиться на заседание Литературного фонда. По дороге он рассказал мне про Быкова, у которого 19-го был 50-летний юбилей писательской деятельности. Однако никакого торжества не было: Быков отказался от него, потому что в его семье существует поверие: если юбиляр отпразднует свой юбилей, то вскоре умрет. <...>

В Литературном фонде ко мне подошел Чириков с возгласом: «Скоро 4 ноября! Я приду, непременно приду!» А когда после заседания я пригласил его в ресторан, он отказался: «Меня ждут дома к обеду. Я безвыходно сижу дома, избегая всякого общения с писателями: от них лишь одни неприятности!» Как это согласуется с предстоящим визитом 4 ноября?

Ко мне обратился Александр Павлович Чехов (Седой): «Я написал воспоминания о брате Антоне. И поскольку могу подохнуть или же крыша над моей головой может сгореть дотла, прошу Вас хранить этот документ в Вашем музее». Я согласился.

Из Фонда заехал к Баранцевичу; он спешил на свидание со своей возлюбленной. Мы поговорили о статьях Буренина последнего времени, содержащих гнуснейшие выпады против Андреева (*«Драма и реклама»*[525]), и Баранцевич сказал: «То, что он оскорбляет финнов, это, конечно, плохо; но то, что он высек наглеца Андреева, это хорошо».

Альбов, к которому я зашел после Баранцевича, сказал об этих статьях, что они скорее *злостны*, нежели *злобны*.

Об Антоне Чехове Баранцевич сказал: «Это был очень скрытный человек, всегда державший камень *за пазухой*». — —

9 ноября 1910

Вчера хоронили Лихачева. Во французской реформатской церкви были: Вентцель, Уманов-Каплуновский, И.И. Соколов, Мазуркевич, Щеглов, Луговой, Лукашевич, Рышков и Сологуб. Последний обратился ко мне: «Почему у тебя на днях было столько молодых писателей?» — «Я никого не звал, но не мог

же я выставить их за порог!» — «Но ты мог им сказать: сейчас я не могу уделить Вам внимания — видите, сколько людей! Приходите в другой раз».

Уже на полпути провожающие стали теряться. На Смоленском кладбище (протестантском) из писателей остались лишь Лукашевич, Коринфский, Баранцевич и А. Зарин. После похорон мы вчетвером отправились справлять поминки в ресторан «Северной гостиницы». В воспоминаниях о Лихачеве не было ничего нового. Зарин назвал его своим «литературным крестным»: благодаря Лихачеву появилось в печати его первое стихотворение. Речь зашла о Льве Толстом, и Баранцевич сказал, что написал бы сцену с лошадью, сломавшей позвоночник (в «Анне Карениной»), гораздо трогательней. Всех нас поразил Коринфский: он писал стихи в мой альбом (под названием «Поминки»), не прекращая в то же время участия в общем разговоре. 4 ноября он не пошел ко мне, поскольку его жена хотела идти с ним вместе, а это вконец испортило бы ему удовольствие. <...>

23 ноября 1910

В сегодняшнем вечернем выпуске «Биржевых Ведомостей» Измайлов (под псевдонимом Аякс) рассказывает о вчерашнем частном сеансе у кинематографиста Дранкова, предложившего публике ряд сцен из жизни Льва Толстого («публика» состояла из самого Измайлова, его «жены» и «шурина», Баранцевича, меня и моей дочери). Совсем вскользь и незаметно Дранков упомянул, что графиня Софья Андреевна просила снимать ее вместе с мужем. Этот момент стоит отметить, поскольку в кругу посвященных лиц поговаривают, будто Толстой бежал от своей алчной жены и что она, таким образом, непосредственно повинна в его смерти. Измайлов, однако, не сообщает того, что рассказал нам об этом сам Дранков. А именно: Софья Андреевна сказала ему (Дранкову): «Говорят, что мы со Львом Николаевичем не ладим друг с другом. Чтобы опровергнуть этот слух, снимите меня, пожалуйста, вместе с ним!» Дранков так и сделал. И что же мы видим? Супруги прогуливаются. Софья Андреевна с милейшим выражением лица обращается к мужу. Однако Толстой отвечает ей ворчливо (буквально слышишь, как он ворчит!) и с плохо скрываемым враждебным выражением лица. Таким образом, картинка на пленке стала, вопреки желанию Софьи Андреевны, неопровержимым обвинением против нее. — —

Сегодня ко мне пришел издатель Николай Николаевич Михайлов («Прометей»), близкий друг Леонида Андреева, и предложил перевести в кратчайшие сроки драму «Океан» с тем, чтобы перевод вышел к середине декабря — одновременно с оригиналом. Драму издает Михайлов, который платит Андрееву гонорар десять тысяч рублей (по две тысячи за печатный лист). 9 августа Андреев либо мне не сообщил, либо же я забыл отметить, что он по договору с Цетли-

ным («Просвещение») имеет право впервые печатать каждое свое новое произведение у любого издателя; лишь после этого произведение принадлежит Цетлину, который платит ему две тысячи рублей за лист.

Михайлов рассказывал об Андрееве. Несколько дней тому назад он отправился вместе с женой (без детей) в Испанию, чтобы насладиться солнцем. Он (Андреев) работает обычно с величайшим нервным напряжением и, когда пишет, испытывает прямо-таки физическую боль. Когда он в «Рассказе о семи повешенных» описывал сцену прощания матери с сыном, приговоренным к казни, слезы так застилали ему глаза, что он не мог писать; несколько раз он принимался писать, но ничего не видел из-за слез, и сцена осталась недописанной. Когда он пишет, то мечется по комнате и, набросав на бумаге несколько строк, сам не может потом разобрать отдельные слова... Он легко пьянеет и пьет потом три-четыре дня подряд, что для него очень опасно: у него больное сердце; в такие дни к нему никто не смеет подойти, кроме жены и матери. Вот почему обе женщины самым тщательным образом следят за ним, чтобы он не брал в рот ни капли алкоголя.

28 ноября 1910

Вчера у меня был Котляревский. Советует продать мой «музей» Академии наук с тем, чтобы я до конца жизни оставался его полным хозяином; вызвался получить необходимые средства в Министерстве финансов и у великого князя Константина. — Я спросил, не стал ли он в качестве заведующего репертуарной частью нервнобольным. «Нет. Я принял эту должность, намереваясь не портить себе кровь всем тем беспорядком, который царит в наших театрах. Кроме того, я пришел к выводу, что мне никогда не достичь благой цели, которую я ставил перед собой. Не могу же я омолодить актеров, которые по тридцать лет держатся за свои роли! Есть, правда, два молодых человека, которые, как и я, желали бы оживить классический репертуар: Ходотов и Юрьев. Но как я могу поставить драму с двумя актерами! Отзывы в печати меня совершенно не волнуют; я большей частью их вообще не читаю». — По поводу слабой, только что впервые поставленной (в четверг, 25-го) драме Колышко «Поле брани» он сообщил, что постановка состоялась по приказу свыше; Колышко, по его словам, — любимчик князя Владимира Мещерского и Савиной. — Когда я сказал, что Гриневская будто бы собирается в Иерусалим, он ответил: «Чем дальше, тем лучше». Впрочем, он признает в ее сочинениях «мужское» начало, хотя это настолько контрастирует с ее внешностью, что производит комическое впечатление... Ему приходится жить на самом верхнем этаже (с лифтом, поскольку его жене трудно подниматься по лестнице): он не может работать, если над его головой раздаются чьи-то шаги.

31 декабря 1910

Письменно договорившись с Г.С. Петровым, я отправился 29-го поездом в 12.15 вместе с Баранцевичем в Куоккала. На городском вокзале Баранцевич сказал мне: «Я получил полную отставку! (слово «отставка» он произнес по-немецки: «Abschied»). Больше всего мне хочется застрелиться». — «Только не в моем присутствии: ты ведь знаешь, я не выношу резких звуков!» — «Нет, дома, в моем кресле, у письменного стола, глядя на моих близких!»... В этот момент появились Куприн и Маныч, оба — полупьяные. Мы отвернулись, и они прошли в буфет. Потом они появились уже в дороге (в вагоне 3-го класса, рядом со 2-м), без шуб (они оставили их в своем вагоне — «второго или третьего класса, не все ли равно?»). Куприн сел рядом со мной (я сидел у окна) и начал из меня «давить масло»; я опасался лишь, что он раздавит бутылку наливки, которую моя жена просила передать Петрову в подарок. Они привлекали к себе внимание всех пассажиров, в особенности Куприн; один его внешний вид выдавал в нем горького пьяницу: низкий лоб, бычья шея, опухшее лицо, короткие ноги, пропитый голос. Куприн громко, но не совсем внятно, рассказывал, что он, сидя в купе для некурящих, вынул сигарету, а какой-то генерал сделал ему замечание, сказав, что это «некурящий вагон»; в ответ на это Куприн возразил, что бывают лишь курящие люди, а курящих вагонов не бывает и что это должен знать каждый мало-мальски образованный человек. Чтобы позлить генерала, Куприн несколько раз провел по спичечному коробку спичкой, но не воспламеняющимся концом... В Белоострове, где поезд стоит всего одну минуту, Куприн хотел выйти, чтобы выпить пива; мы силой удержали его. Маныч уже раньше дал кондуктору деньги, чтобы тот купил пива; и кондуктор принес четыре бутылки. Маныч хотел открыть бутылку простейшим способом: отбить головку о край скамьи, но один сердобольный господин дал ему перочинный нож со штопором. Так мы доехали до Куоккала. На станции, согласно договоренности, нас ждал Петров с сыном. Увидев Маныча, он шепнул мне: «Так это и есть тот Маныч, которого все боятся? Но он выглядит вполне безобидно!» Поскольку было еще слишком рано, чтобы ехать к Репину (он принимает лишь с трех часов), а Баранцевич заявил, что хочет есть, Маныч (его семья живет в Куоккала) предложил отправиться к нему и сказал, что по дороге запасется всем необходимым. Я отказался под предлогом, что мне нужно зайти по важному делу к Чуковскому; тогда было решено: мы вчетвером отправляемся к Чуковскому, а par nobile fratrum[526] — домой, чтобы приготовить стол. Так и сделали.

У Чуковского мы провели самое большее четверть часа. Я выполнил свою миссию — обещание, данное жене Чирикова: отвел Чуковского в сторону, рассказал ему о предстоящем юбилее и предложил написать по этому случаю статью; но Чуковский уклонился: «Я уважаю Чирикова как человека, но не высо-

ко ставлю его как писателя». — «Тогда я прошу Вас, по крайней мере, ничего не писать против него!» — «Даю Вам слово. Впрочем, "Речь" и не поместила бы такой статьи».

Петров с сыном остались у Чуковского, а я с Баранцевичем поехал к Манычу, живущему по соседству с Репиным. Когда мы вошли, Куприн ударил одной рукой о другую и воскликнул: «Проиграл!» Вот что произошло: Куприн утверждал, что мы не придем, и они заключили пари на бутылку шампанского. Стол был уже накрыт; колбаса, сыр, ветчина, шведские кильки и кусочек семги; а также гороховый суп. Пили водку и пиво. Жены Маныча не было в Куоккала. У него (от нее) двое крошечных мальчиков, близнецов; он разом посадил их себе на колени, на что Куприн заметил: «Ты — настоящий отец семейства, а вот я — потаскун». И стал распространяться насчет детского воспитания: когда дети растут, их следует предоставлять самим себе, а не отдавать в учебные и воспитательные учреждения, поскольку даже в лучших из них дети утрачивают свою индивидуальность (свою жену и детей он называл «*моя требуха*»). При этом он рассказал, что малолетним кадетом (в первом классе) был наказан розгами за то, что, будучи в шаловливом, но отнюдь не злобном настроении, подкрался к учителю сзади и тихонько дернул его за волосы; одно воспоминание об этой сцене поныне наполняет его стыдом, ужасом и ненавистью... Тут пришел Петров с сыном, и Куприн снова воскликнул: «Проиграл!»; то есть он проиграл Манычу и вторую бутылку шампанского.

Мы вшестером пошли к Репину и застали общество за чайным столом. Все изумленно — а Репин и Нордман даже испуганно — взирали на Куприна. Через несколько мгновений Нордман подошла к Репину (он, сидя рядом со мной, только что дал мне согласие участвовать в Чириковском юбилейном комитете) и с ужасом прошептала, что Маныч требует водки. Репин смущенно пожал плечами и сказал: «Дайте им вина». Скоро я увидел полбутылки мадеры или хереса. Выпили они ее вдвоем или нет, этого я не видел. Немного погодя я пошел покурить — наверх, в мастерскую. Возле лестницы, за письменным столом, сидела Нордман-Северова, что-то писавшая; она сказала мне: «Я надписываю свою книгу, которую хочу дать Куприну — несчастному Куприну...» Позже я увидел в мастерской Куприна, стоявшего рядом с Чуковским (в январе этого года они крепко поругались в редакции газеты «Речь»), и услышал, как они одновременно говорили друг другу: «Я был не прав»... Еще я слышал, как Нордман, проходя мимо Маныча, возбужденно сказала ему: «Это неделикатно — нарушать распорядок жизни чужой семьи!» Маныч промолчал, и неожиданно оба куда-то исчезли (еще до обеда). Чуковский взвалил себе на спину какого-то человека по фамилии Ермаков и стал крутить с такой силой, что я испугался: длинные ноги Ермакова могли опрокинуть одну из стоящих вокруг картин. Репин демонстрировал обществу свои картины «Пушкин читает в Лицее перед

Державиным свое стихотворение» и «17 октября 1905 года». Потом (в шесть часов) раздались звуки тамтама и все гости (среди них — Ясинский, Шолом Аш, Майская и Брусянин, который живет в Куоккала под чужим именем, скрываясь от русской охранки) спустились к столу — знаменитому вегетарианскому обеду госпожи Нордман, не скупящейся на рекламу для пропаганды своего изобретения. Мощный круглый стол, за которым каждый должен был занять место согласно ранее вынутому билету (номер председательствующего выпал Борису, сыну Петрова). В середине стола на массивном круглом вращающемся диске стояли напитки (кофе, квас, лимонад, пиво и вино) и еда (салаты, пирожки с овощной начинкой, бутерброды с помидорами, сенной отвар, компот и неочищенные яблоки и апельсины). Обед протекал весьма оживленно. Каждый, кто в этом застолье оказал другому хотя бы незначительную услугу, должен был в виде наказания произнести речь. Кроме того, каждому пришлось сказать несколько похвальных слов о самом обеде.

Но было уже семь часов, и мы торопились на поезд, уходивший в половине восьмого. Вскоре после десяти мы вчетвером приехали в Выборг и отправились в ресторан «Эспланад». Петров заплатил за нас всех (вместе с чаевыми около тридцати марок). Он постоянно живет в гостинице «Рауха» (у него две большие комнаты), где мы и остались на ночь. Меня знобило, а Петров спал без ночной рубашки. На другое утро (30 декабря) мы гуляли по городу, в два часа пообедали — без алкоголя, который запрещен в «Рауха», затем... я лег, укрывшись шубой: оказалось, что я сильно простужен. Я заснул и проспал до половины второго ночи, когда Петров с Баранцевичем вернулись из ресторана «Эспланад» (сын Петрова тем временем уехал в Петербург, чтобы оттуда отправиться в обратный путь — за границу: он получает образование где-то вблизи Боденского озера. Баранцевич был навеселе, Петров трезв (почти ничего не пьет). Мы решили вернуться восьмичасовым поездом, чтобы успеть на похороны Скабичевского. Но оба проспали, так что мы с Баранцевичем смогли уехать лишь поездом в 11.40 (сегодня). Доро́гой Баранцевич изливал свое горе (он жаловался мне и в Выборге при каждом удобном случае): его возлюбленная окончательно дала ему отставку, причем письменно (читал мне ее письмо); мол, он очень скуп и она подыщет себе кого-нибудь пощедрее (Баранцевич тратил на нее в месяц примерно двадцать рублей).

4 января 1911

<...> Был вчера на костюмированном вечере у Сологуба. Он был одет горцем, а Чеботаревская обрядилась в короткое черное платье фантастического вида. Присутствовали артисты «обоего пола» и художники. Мне совсем не понравилась актриса Хованская: грубые черты лица и вульгарные манеры; кусала апельсин, словно яблоко, и ковыряла пальцем в носу. Потемкин выдавал ее за

свою невесту; одетый англичанином, он совершал смешные прыжки. Маскарадный костюм Ремизова состоял из — одного пушистого хвоста. Граф А.Н. Толстой нарядился японцем, Тэффи — медузой со змеями в ярко-красных волосах; лицо — набеленное, под глазами — круги, подведенные черным. Верховский держал перед своим лицом маску ибиса; поэт Бородаевский изображал боярина. Аверченко пришел без костюма, Арабажин — тоже. Был исполнен танец апашей. Но истинного веселья — несмотря на самые резвые мелодии Оффенбаха и Штрауса, которые я играл, — так и не получилось. Возможно, потому, что выпивки было совсем немного (лишь в половине пятого гости сели за стол, отнюдь не ломившийся под тяжестью блюд). Ничего декадентского и ничего циничного (как было в прошлые годы).

17 января 1911

Вчера у меня состоялось общее собрание Чириковского комитета[527], проходившее за обеденным столом (все с удовольствием налегали на еду и питье). Не пришли: Куприн, Батюшков (внезапно уехал в Крым), Карпов (желудочное расстройство после ужина у Музиль-Бороздиной), Андреев (мне позвонил его фактотум Фальковский и сообщил, что Андреев не сможет придти: подозрительные выпады против него в газетах — в связи с покушением[528] — привели его в болезненно нервное состояние, так что он лежит в постели) и Мамин (о нем — см. далее). Сперва фотограф Оцуп сделал групповой снимок. Программа юбилея обсуждалась любовно и заинтересованно (все утверждали, что этот юбилей не должен быть таким «деланным», как юбилей Ясинского, — пусть будет так, как получится. Все наперебой предлагали свои услуги на том или ином поле деятельности. Особенно — Щепкина-Куперник (ее кооптировали в Комитет). Она взяла на себя: адвокатов, Женский медицинский институт, Общество служащих в печатных заведениях и Санина, режиссера в Народном доме. Ходотов — Бестужевские курсы, университет и все здешние театры (последние привлекаются для концертного отделения после праздничного обеда), Венгеров — Литературный фонд и Петербургское литературное общество, Василий Немирович-Данченко (также кооптирован) — Московский Художественный театр и «Русское Слово», Потапенко — московский Малый театр, а также театры Корша и Незлобина в Москве, Овсянико-Куликовский — журналы «Вестник Европы» и «Вестник Воспитания», московское Общество любителей российской словесности и харьковскую газету «Утро», Баранцевич — Союз драматических писателей. Измайлов (ушел рано) составит адрес от публики. Нордман-Северова (кооптирована) и Репин взяли на себя художников... Было уютно и весело. Великий Репин набросал в моем новом альбоме («Пирог-фикс»[529]) портрет моей жены — мало сходства! Странным показалось, когда он и Нордман (верные своим либеральным принципам) пожали на прощание руку нашей горничной.

Все ушли, остался один Баранцевич. Его (отнюдь не платонический) роман снова в полном разгаре, и он снова счастлив. Только он разговорился, пришел Мамин, с опозданием получивший мое пригласительное письмо. Моя жена полагала, что если Мамин встретится у меня с Куприным, то не миновать скандала; однако ее опасения были безосновательными. Оказалось, что они оба — после совместной попойки — совершили недавно автомобильную прогулку на острова... Несмотря на мою просьбу не писать в новый альбом ничего непристойного (ведь это может прочитать моя дочь), он (Мамин) написал все же такую гнусную пошлость, что мне придется совершить фальсификацию: изменить одно слово.

22 января 1911

Зашел в «Капернаум». Куприна не было уже целых три дня. Говорят, отдыхает в Куоккала у Маныча.

Сегодня у меня был Чулков. С изумлением осматривал мой «музей». У него около четырехсот написанных стихотворений, из которых он включил в свое собрание сочинений лишь около шестидесяти. Некогда дружил с Брюсовым, «теперь же я ему руки не подам». Свеже выбрит; артистическая внешность; ни за что не желает отпустить бороду.

9 февраля 1911

Сегодня приходил Лукьянов: просил за своего сына (ученика пятого класса в реальном училище Гуревича), которого вчера Совет единогласно исключил на один месяц за неисправимо плохое поведение и постоянную грубость. Я мог сослаться только на то, что я не член Совета и решение принято единогласно.

Он (Лукьянов) рассказывал о Лазаревском — тот, оказывается, постоянно хвастается своим знакомством с Чеховым. Горький, когда он жил еще здесь на Знаменской[530], рассказывал ему (Лукьянову) следующее. Он был в гостях у Чехова в его имении и гулял с Марией Павловной по саду, где в то время велись какие-то работы. Они остановились перед кучей мусора у забора, и Мария Павловна бросила на мусор неодобрительный взгляд. Подошел Чехов и сказал: «Чего тут смотреть? Вот опять приедет Лазаревский и наболтает две такие кучи!»

14 февраля 1911

Вчера — последнее заседание комитета по празднованию юбилея Чирикова; собрались у Ходотова (после завтрака он читал отрывки из своей интересной статьи о Гамлете). <...>

Вчера около получаса у меня сидел Сологуб. Когда он спросил меня, сколько следует внести на подарок к юбилею, я ответил, что каждый решает сам, и пошутил, назвав его человеком, у которого сто тысяч рублей. На это он стал уверять меня, что был бы счастлив, будь у него хотя бы сто тысяч копеек... мол, все, что он зарабатывает пером, уходит на жизнь... Увидев у меня на полке книгу, на корешке которой стояло: «*Блок. Пьесы*»[531], он сказал: «У других блок-ноты, а у тебя — Блок-Пьесы!»

18 февраля 1911

Ну вот, теперь я могу перевести дух. Вчера состоялся юбилей Чирикова. <...> Он прошел тепло — и внешне, и внутренне. Гости даже плясали. Странным образом не было поздравления от Горького (хотя я отправил ему извещение). Тем не менее, Чириков предложил послать ему приветственную телеграмму.

11 марта 1911

Вчера Чириков устроил обед для узкого круга; приглашены были только я с дочерью, Карпов с женой и Баранцевич. Говорили о Горьком. Не от себя, а по совету других людей Чириков предложил послать ему телеграмму. Дело в том, что они в ссоре друг с другом. Горький хотел втянуть Чирикова в какую-то узкую группу и заставить его отстаивать ее интересы своими публикациями в «Знании». Однако Чириков написал ему, что он уже не ребенок и у него свое собственное мировоззрение. А если «Знание» находит его рассказы недостаточно совершенными в художественном отношении, пусть не печатает — он (Чириков) найдет для них другое место. Горький не ответил на это письмо. <...>

Была также жена Найденова Инна Ивановна. Она ищет здесь для себя ангажемент: «Хочу вернуться на сцену». Ее супруг тем временем сидит в Ялте. Опасность (болезнь почек) миновала, ему позволено жить в Москве, — но не в Петербурге.

15 марта 1911

Вчера — у Вячеслава Иванова (устное приглашение). Я опасался, что попаду в декадентское гнездо, но все было очень естественно. Сперва говорили о возможности войны, затем — о симфонии Скрябина «Прометей» и наконец началось чтение вполне осмысленных стихов. Читали авторы: Княжнин, Юрий Верховский, Чулков и еще ни разу не выступавшие в печати (sic! — *К.А.*) новички О. Мандельштам, Анна Ахматова (весьма пикантная супруга моего бывшего ленивого ученика Гумилева, который сейчас в Африке) и Мария Моравская (пи-

щала как семилетний ребенок). Гости собрались лишь около двенадцати. В полтретьего появился М.А. Кузмин, живущий у Иванова педераст-порнограф, и сразу же прошел в свою комнату. Всего лишь час пробыл Ремизов. Ужин был скромным (обычная холодная закуска в небольшом количестве; впрочем, на столе стояло также четыре бутылки вина и по полбутылки коньяка и рома); в ужине участвовал лишь Верховский. Иванов все еще живет в своей прежней квартире (Таврическая, 25), на шестом этаже, 164 ступеньки (но имеется лифт). Хозяйственные и секретарские дела ведет Мария Михайловна Замятнина, седовласая приятельница его покойной жены, Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал. В обстановке квартиры нет ничего, что бросалось бы в глаза (на стенах — гипсовая маска Бетховена, несколько гравюр Боттичелли и т.д.).

Сидя в кресле, он был очень похож на молодого Моммзена. — — <...>

20 марта 1911

Вчера — похороны Якубовича на Волковом кладбище. Примерно пятьсот человек, в том числе — Короленко, М.А. Антонович, Лазаревский (собирается через несколько недель на юг, где пробудет до ноября; его «невеста»[532] тоже в тех краях), Котляревский, Леткова, Рукавишников (из поэтов более никого!!!), Венгеров, Измайлов и редакция «Русского Богатства». <...>

Зашел к Сологубу. Он как раз завел граммофон (без раструба) и слушал в присутствии нескольких пожилых дам цыганские песни. Потом приступили к обеду. Он прочел ряд стихотворений — как серьезных, так и юмористических. Поэтический талант Якубовича (по его словам, весьма односторонний) он ставит ниже таланта Надсона. Очень неприязненно относится к идейной ограниченности редакции «Русского Богатства»: «Я мог бы послать им телеграмму соболезнования или траурный венок; но они, опасаюсь, вернут обратно»... Потом сказал: «Ни один профессор или историк литературы ничего не смыслит в поэзии»... Он и Чеботаревская обращались друг к другу на «вы», но при этом резвились, давая волю рукам, как господин и госпожа Кнопп[533].

25 марта 1911

Вчера в ресторане «Вена» состоялся ужин — по поводу 25-летия (или 35-летия) профессиональной деятельности Дмитрия Спиридоновича Здобнова, лейб-фотографа всех русских писателей. Я пришел первым. Сразу же за мной (в девять) — Коринфский, уже нагрузившийся. Он непрерывно опрокидывал в себя рюмку за рюмкой, хотя все просили его этого не делать. Прочел, запинаясь, стихотворение в честь юбиляра. Когда кто-то заметил ему, что здесь присутствует дама, он воскликнул: «Да и та Изабелла Гриневская!» (она сделала

хорошую мину при плохой игре). Потом он крикнул Чирикову: «До чего хорош Ваш рассказ, в котором проститутка празднует свои именины!» В конце концов он заснул, опустив на стол свою Авессаломову голову с огромной копной волос; позже его перенесли на диван. — Явился довольно редкий гость: Леонид Андреев (здороваясь с Чириковым, поцеловал его и во время ужина сидел рядом с ним). Выпил всего две кружки пива «Лёвенброй» (а когда подали закуску — не выпил ни рюмки водки). Мне удалось сказать ему лишь несколько слов — с ним постоянно разговаривали другие. Его спросили, пойдет ли он на «Царя Эдипа» Рейнгардта, и он ответил: «Тратить такие деньги на немцев? Нет!» (цены действительно чрезвычайно высокие). Он ушел уже в половине двенадцатого — отправился ночевать к Фальковскому, где находилась его жена (самого Фальковского на ужине не было)... Карпов выпил пива «Лёвенброй» и сказал: «Такое приятное чувство, будто сам Христос ступает голыми ступнями по твоему животу!» Он сидел возле меня. Андрееву, который не решался закурить, я сказал шутливо, как обращаются к дамам: «Леонид Николаевич, Вы не возражаете, если я закурю?» На что Карпов, обратившись ко мне, сказал громко: «*Не подлизывайся*!» На языке у меня был резкий ответ, но я сдержался. Когда я сидел и ничего не ел, он сказал: «Ешь! *Что ты лицемеришь?*» Когда он затем спросил: «*Обидел я тебя?*», — я промолчал и пересел на другое место. А когда он стал перелистывать мой альбом «В гостях», я не предложил ему сделать запись. Он и Леонид Андреев дружелюбно беседовали друг с другом. А. Зарин, устроитель празднества, записал в мой альбом, что ему пришлось доплатить за ужин семнадцать рублей из собственного кармана. На самом деле это не так: 1) когда он писал, счет еще не был составлен (я ушел одним из первых); 2) у каждого из нас он взял по пять рублей, а официанты заверили меня в том, что набор для одного человека стоит всего четыре рубля... Ясинский попросил подать ему десять лимонных долек, выжал из них сок в стакан и осушил его одним махом; впрочем, потом ел телятину... Я изумился, когда Мазуркевич написал мне по-немецки несколько строк собственного сочинения: я и не знал, что он умеет говорить по-немецки, не то что писать... Присутствовали также: Андрусон, Глинский, Невежин, Измайлов, Апраксин, несколько лет тому назад лишенный графского титула[534] (первое знакомство), Муйжель (пришел после ужина), И.И. Соколов, Уманов-Каплуновский, Вентцель-Бенедикт, Лисовский, Арабажин и Владимир Гордин.

26 марта 1911

Вчера, в три часа дня, пришел Леонид Андреев (наконец-то!). Сперва живо интересовался моим «музеем» и обещал, со своей стороны, способствовать его обогащению. Затем мы перешли в столовую, где я представил его моей жене (она

уже несколько лет мечтала с ним познакомиться). Мы пили чай, причем к стоявшему тут же коньяку он даже не прикоснулся. Он почти все время говорил один (присутствовал также издатель Николай Николаевич Михайлов); при этом любую, даже самую заурядную тему (цветная фотография, граммофон, кинематограф) он освещал по-своему, хотя и возбужденным тоном.

Жаловался, что почти ежедневно страдает головными болями, потому что у него нарушен обмен веществ; причина в том, что он не может привыкнуть к определенному режиму. «У меня все бессистемно. Работаю бессистемно, гуляю и сплю бессистемно; бессистемно женился, бессистемно влюбился и опять бессистемно женился. При этом я здоров как чернорабочий. Но что бывает со слоном, который рожден жить в джунглях, а ему приходится сидеть за письменным столом, зарабатывая себе геморрой?!»... Все его родственники — отец, дед и прадед, даже тетки — были алкоголиками; они выпили все предназначенное ему количество и передали по наследству лишь склонность к спиртному, которой в его случае нельзя предаваться безнаказанно; его дети вовсе не смогут пить... Часто ложится спать в пять или даже в шесть часов утра, потому что ему не хватает дня для работы. Спать он не любит, «раньше я любил спать, потому что мне снились прекрасные сны, куда прекраснее, чем реальная жизнь; теперь они больше не снятся»... Боится высоты: «Ноги и нижняя часть тела становятся до странного невесомыми, грудь же и голова, наоборот, тяжелеют, и меня тянет броситься вниз»... Я спросил, велик ли ущерб, причиненный ему запретом на постановку «Анатемы». «Да не менее двадцати пяти тысяч. Царь смотрел пьесу, и сомнение у него вызвала лишь одна сцена: въезд Давида Лейзера[535] (въезд Христа в Иерусалим); но ему пришлось уступить давлению со стороны Союза русского народа. Вы только подумайте, во что обошлись мне запреты на постановку “Океана”, “Саввы” и “К звездам”!»... О моей книге «Первые литературные шаги» сказал: «Хорошая и полезная книга. В ней много сознательной и бессознательной лжи и *рисовки*, также и с моей стороны, но публике это надо». — «Горький ответил мне отказом, сославшись именно на то, что публике этого не надо». — «Он лжет и знает, что лжет. Такая же ложь и в его недавнем отказе Дранкову участвовать в кинематографической съемке. Изображение писателя гипнотизирует публику. А ведь во всем, что мы пишем, и самые великие, и самые ничтожные, мы стремимся именно к тому, чтобы гипнотизировать; только один делает это искуснее, чем другой»... О Чехове, которого он знал совсем мало, сказал: «Он казался холодным, но под этим льдом таилась лава...»... О Н.А. Морозове: «Его душа — это tabula rasa, на которой ни разу не был начертан грех. Он никогда не сомневался, а потому никогда не бился и не ошибался, и вернулся из Шлиссельбурга таким здоровым — и физически, и духовно. Его спасла оптимистическая вера в окончательную победу его дела. Беседы с ним для меня бесполезны»... О Брешко-Брешковском: «Он — *пошляк*, но доброду-

шен, и этим отличается от многих писателей, которые так же тривиальны, но еще и коварны»... О Пархоменко: «Он начал писать мой портрет, но я не позволю ему продолжать, ибо он — полнейшая бездарность. Да я и не люблю его (Пархоменко): о всех писателях, чей портрет он выполнил, он говорит только плохое; это сплетник и клеветник»... Когда я показал ему альбом Элизы Ожешко, в который она вклеила цветы в память о своем возлюбленном, он (Андреев) был восхищен и тронут. «Но если бы Гриневская столь же искусно и любовно изготовила подобный альбом, я все равно бы на ней не женился!»... Приобрел билет (и весьма дорогой) на «Царя Эдипа»[536].

27 марта 1911

Вчера пришел Баранцевич. <...> Вместе с ним отправился к И.И. Соколову, у которого Хвостов устраивал «Вечер Случевского». (Собственно, Баранцевич не имел права присутствовать — это право имеют только «поэты»; но Соколов пригласил его.) Почти все читали свои стихи: сплошь бездарное переливание из пустого в порожнее. Несколько безымянных юнцов, державших себя весьма непринужденно. Впрочем, один из них, увидев меня, стал декламировать мой перевод лермонтовского «Ангела».

9 апреля 1911

У Альбова. Удивляется, что боль в горле не проходит, хотя он старательно лечится; напротив: теперь оно болит, даже если он не глотает. (Не догадывается о характере своего заболевания.) «Скоро, видимо, совсем слягу. Но в какой комнате мне лежать? Со всех сторон слышен грохот грузовиков — весь дом содрогается». — —

У Венгерова. Ругает Пархоменко: ради того, чтобы стать всеобщим любимцем, он пишет теперь и писателей-ретроградов: А.С. Суворина (у которого занял тысячу рублей), Буренина и Меньшикова... О Леониде Андрееве: «Он теперь значительно *понизил* тон, поскольку не имеет литературной свиты и все время сидит один у себя в Райвола»... Рассказал о Гриневской следующее. Это было в 1879 году. Он шел с Минским по улице, и вдруг оба остановились как вкопанные: им навстречу шла незнакомая, восхитительно красивая девушка лет двадцати двух. Это была Гриневская.

17 апреля 1911

Вчера — «Вечер Случевского» у Ясинского. Он так хлопотал по поводу угощения (очень хорошего), что на лбу у него заблестели жемчужины пота.

Когда в прихожей я снимал плащ, из соседней комнаты послышался пьяный голос Коринфского: «Фритц! Суп гороховый и ветчина!» Он (не посещавший «Вечеров Случевского» с 1905 года) был уже так хорош, что положил голову на плечо сидевшей рядом с ним на диване подруге дочери Ясинского и задремал; а когда из-под него осторожно извлекли мягкую опору, он встал коленями на подушки, положил голову на диван и продолжал дремать. Но уже минут через десять проснулся и стал прерывать читающих стихи одобрительными или негодующими возгласами. К старику Авенариусу и Кильштет он обращался на «ты» и со словами «мой друг». Он (Коринфский) поцеловал Со́логуба и заявил всем: «Он — серьезный человек, но довольно глупый!» Когда читал Гумилев, он воскликнул: «*За душу задело*!» и качнулся в его сторону, вернее, к тем, что сидели от него справа и слева, и закричал: «Где он? Я хочу пожать ему руку!» Соседи, смеясь, указывали один на другого и говорили: «Вот он!» Но когда Гумилев продолжил чтение, Коринфский воскликнул: «Ну, это уже глупо!» А когда вошел Кондратьев и представился ему, Коринфский воскликнул: «Фритц писал мне, что Вы — *черносотенец* и даже не скрываете этого!» (Так оно и было. — *Ф.*). И Кондратьев ответил с улыбкой: «Да, я — черносотенец и не скрываю этого»... Никто не обижался на него и не возмущался этими выходками и выпадами. Все лишь сожалели, что он пал так низко.

Упомянутый Гумилев был лет пятнадцать назад моим учеником в гимназии Гуревича; он посещал ее лишь до третьего класса, обратив на себя внимание всех учителей своей ленью. У меня он получал одни двойки и принадлежал к числу самых неприятных и самых неразвитых моих учеников.

И еще один мой бывший ученик был вчера — Лев Леман, сын Анатолия Лемана. Было это тоже лет пятнадцать назад и тоже в начальных классах гимназии Гуревича; он не оставил во мне неприятных воспоминаний. Он явился без приглашения (прочитал в газете о предстоящем вечере поэтов у Ясинского, взял и пришел, причем навеселе). Он (Лев Леман) выложил свою книгу «Веселая жизнь кокоток, апашей и т.д.»[537]. Все присутствующие были возмущены этим «писателем» и требовали выдворить наглеца. И Ясинский удалил его без особого шума.

Присутствовали также: Гангелин, Чебышева-Дмитриева, Коковцев, А. Зарин, Штейн (не путать с автором безумного сборника «Я»), И.И. Соколов, Анненский-Кривич (тоже мой бывший ученик, но симпатичный), Мейснер, Мазуркевич, Уманов-Каплуновский, Хвостов и др.

Когда я уходил, Ясинский сказал мне (по поводу Коринфского): «В каждом благоухающем аромате должна быть капля asa foetida![538]»

Возвращался домой вместе с Сологубом, который уговаривал меня основать новое литературное общество (нынешнее, по его мнению, никуда не годится). Сказал, что Сергей Городецкий не раз совершал по отношению к нему разные *подлости*.

29 апреля 1911

Сегодня днем, в четверть второго, я позвонил по телефону Мережковскому и попросил служанку, спросившую мое имя, позвать к аппарату Дмитрия Сергеевича. Он подошел к телефону, и между нами завязался следующий разговор. Я: «Это Фидлер». — «Знаю». — «Могу ли я зайти к Вам сейчас минут на десять?» — «По какому делу?» — «Никакого дела. Я хотел лишь поприветствовать Вас, Зинаиду Николаевну и Дмитрия Владимировича (Философова)». — «Сейчас неудобно. В это время нас не бывает дома». — «А когда вы бываете дома?» — «Между пятью и шестью, всего лучше в шесть». — «А по воскресеньям?» — «У нас не бывает воскресений: все дни одинаковы». — «Хорошо, я зайду в один из ближайших дней. До свиданья». И я повесил трубку.

После такой беседы, которая велась — с его стороны — в самом прохладном и равнодушном тоне, я, разумеется, не собираюсь к ним «заходить».

1 мая 1911

По приглашению Сологуба отправился вчера к нему на доклад Аничкова «О прекрасном и отвратительном». Присутствовали: барон Дризен, режиссер Евреинов, Сюннерберг, Гидони, Верховский и омерзительный Кузмин (оба последних явились после доклада). Было так скучно, что я не стал даже предлагать для записей мой альбом («В гостях») и ушел до ужина (без четверти двенадцать). Гостей обслуживал слуга во фраке.

21 мая 1911

Вчера на кладбище Новодевичьего монастыря состоялись похороны Фофанова. Волосы на голове и борода у него коротко острижены, потому что в них завелись насекомые. Присутствовали: Булацель, Мейснер, А. и Ф. Зарины, князь Ухтомский, Л. Афанасьев (читал у гроба стихотворение), Северцев-Полилов, Мазуркевич, Сологуб (явился, когда могилу уже засыпали землей), Антонович, Батюшков, Баранцевич, Измайлов, Ясинский, Игорь Северянин (видел его в первый раз, хотя он и присылал мне брошюрки своих полубезумных стихов; нараспев декламировал у гроба что-то декадентское), Корецкий, Коринфский (возложил роскошный венок бледно-красных роз с лентой, на ней — четыре строки покойного и надпись «от одного друга»; венок стоил 30 руб., при этом Коринфский так беден, что не может снять себе дачу; читал у гроба стихотворение) и Студенцов.

Корецкий предложил устроить поминки у него дома. На приглашение откликнулись: Баранцевич, Измайлов, А. Зарин, Коринфский и Студенцов. Вспо-

минали о диких выходках вечно пьяного Фофанова, которые отмечены в моем дневнике за многие годы — все, кроме одной: когда Льва Толстого отлучили от церкви, Фофанов опрокинул ногой в часовне гатчинского вокзала огромный подсвечник и закричал: «Вы жжете здесь свет и отлучаете от церкви Толстого?!» Из этой истории он выпутался довольно легко — ему пришлось всего-навсего заплатить за ремонт подсвечника (27 руб.)... К Корецкому пришел также Брусянин (тайком, потому что прячется в Куоккала).

Некоторое время тому назад Репин прислал мне 25 руб., с просьбой вручить их Фофанову (я получил его письмо лишь вчера на городской квартире — оно было написано 16-го, за день до смерти Фофанова). На кладбище я передал эти деньги вдове; в кармане у нее было, как заверил меня ее младший сын, всего пять копеек. — Могила Фофанова расположена рядом с могилой художника Врубеля, умершего в сумасшедшем доме. Какая ирония судьбы! Теперь обоим безумцам найдется о чем поговорить друг с другом! — — <...>

14 июня 1911

Сегодня в четверть восьмого утра тело Альбова было доставлено в город. Присутствовали только семья Святловского, моя семья и несколько деревенских женщин. Никто не шел следом за катафалком: только я с дочерью, Святловский с Натальей Александровной[539] и моя родственница ехали сзади в открытом экипаже. Без четверти двенадцать мы прибыли на Волково кладбище, где сразу началось *отпевание*, на котором присутствовали мы, Баранцевич с семьей, Пружанский, Глинский, Булацель и Измайлов. К началу погребения, во время оного и после него подошли Венгеров, Чуковский и Мария Романовна, вдова Познякова (ведь она одновременно и вдова Альбова!). Венков не было; лишь один — от «Нивы»!... Одиноко жил и одиноко умер! Конечно, никто не мог приехать в Старожиловку из города — в такую рань поезда еще не ходят! Но на кладбище! Правда, в «Речи» появилось написанное Чуковским (в разделе «Хроника»; сообщение о смерти газета не поместила) ложное известие о том, что тело прибудет на Финляндский вокзал в двенадцать часов. Однако в сообщениях о смерти, появившихся в куда более читаемых «Новом Времени» и «Биржевых Ведомостях», было ясно и четко сказано, что отпевание состоится в церкви Волкова кладбища в двенадцать часов. Нужно, конечно, учитывать и время года, но тем не менее!..

У могилы — (мы, то есть Святловский и я, нашли место за могилой Глеба Успенского. Нам было предложено место, остававшееся еще свободным: рядом с Южаковым, у ног Скабичевского; но я не согласился, поскольку между Альбовым и Южаковым в духовном отношении не было ничего общего и поскольку А. Скабичевский злился на Альбова, обвинившего его однажды — несправедли-

во! — в плагиате (использовании какого-то произведения Поля Алексиса)) — не произнесено было ни одной речи. Не появилось ни одного журналиста.

После похорон мы отправились на поминки в «Капернаум». Там был составлен и подписан следующий документ:

«Мы, нижеподписавшиеся, сим удостоверяем, что известный писатель Михаил Нилович Альбов, скончавшийся 12 июня сего года, при жизни своей и в нашем присутствии твердо заявил о своем желании, чтобы после его смерти все оставшиеся его рукописи, корреспонденция, бумаги, фотографии, картины поступили в распоряжение и собственность статского советника Федора Федоровича Фидлера, проживающего в г. Петербурге, по Николаевской улице, д. 67.

С. Петербург, 14 июня 1911 года. Председатель С.-Петербургского Литературного Общества Казимир Станиславович Баранцевич. — Александр Алексеевич Измайлов. — К. Чуковский. — Б. Глинский».

Венгеров не подписал этот документ, поскольку Альбов в его присутствии никогда не изъявлял подобного желания*.

В воспоминаниях об Альбове, коими мы обменивались, не было ничего такого, что отсутствует в этих тетрадях. Новым был лишь рассказ Венгерова. На свадьбе Минского с Юлией Ивановной Яковлевой (Юлия Безродная) Альбов лихо плясал вместе со всеми. Возвращаясь домой, он остановился у подворотни какого-то дома и спросил привратника: «Почему этот дом имеет номер семь?» Страж-цербер сердито посмотрел на него. У следующей подворотни: «Почему этот дом имеет номер девять?» — Растерянное молчание цербера. У следующей подворотни: «Почему этот дом имеет номер одиннадцать?» Цербер удивленно пожал плечами. И так далее — у нескольких домов. <...>

1 июля 1911

Был вчера в городе, чтобы получить от своего начальства разрешение на заграничную поездку (собираюсь на пару недель в Германию — искать издателя для моей громадной антологии «Русские поэты»). Обедал в «Капернауме». Встретил там Г.К. Градовского. Он очень доволен тем, что Н.Ф. Анненский более не председатель Петербургского литературного общества, поскольку и он, и другие столпы «Русского Богатства» оказывали там слишком сильное односторонне-партийное воздействие: «Анненский, Мякотин, Пешехонов и другие были паразитами на мертвом теле Михайловского и живом Короленко, которого, впрочем, я весьма почитаю; но он все время в Полтаве!» Баранцевич, нынешний председатель, не обладает, по его словам, административным талантом и полицейские власти не принимают его всерьез — ни в положительном, ни в отрицательном смысле.

* Святловский, отсутствовавший в «Капернауме», подписал 15-го сего месяца.

Мне в альбом он (Градовский) написал следующее:

«Подышите чистым, здоровым воздухом свободы за пределами отечества, но, возвращаясь домой, вспомните, что и “дым отечества нам сладок и приятен” — хотя бы в лице друзей».

Он никогда не выезжал за границу (был только в Турции и балканских странах во время Русско-турецкой войны).

26 июля 1911

Девятого числа нынешнего месяца я отправился с дочерью за границу (Берлин — Галле — Лейпциг — Дрезден и Саксонская Швейцария); вчера вернулся домой. В Берлине я сделал 11/24 июля следующую запись:

«Сидел сегодня с Максимилианом Берном в “Западном кафе” (я пил пиво, он — кофе). Он, как и прежде, настроен скептически и пессимистически по отношению ко всему, что называется современной немецкой литературой. “Мой сапожник интересует меня куда больше, чем все немецкие писатели, вместе взятые”. Сжигает все писательские письма, какие получает: “Хотел бы сжечь вместе с ними и тех, кто их написал!”. Его бывшая жена (Ольга Вольбрюк) вышла замуж в третий раз и полностью настроила против него их дочку “Манси”, так что они больше не видятся: “Мой ребенок для меня навсегда потерян”. Живет исключительно для “людей будущего”, то есть для многообещающих молодых дарований, особенно из театрального мира. Ни с кем не общается. На письма не отвечает (не ответил и на мое майское). Всех издателей считает “мошенниками” (особенно Реклама, который якобы заработал на нем “целое состояние”). Работает ужасно много, “часто до шести утра”. Жаловался: “Все меня эксплуатируют!” Но сам при этом, получив мое майское письмо, и пальцем не шевельнул для того, чтобы связаться с Фельбером (о чем я настоятельно его просил) и либо забрать у него мою рукопись “Русских поэтов”, либо заключить с ним, наконец, издательский договор». —

Посетил в Лейпциге «Погребок Ауэрбаха» и обнаружил в книге посетителей запись Измайлова, сделанную 16 июня 1908 года (когда мы были там вместе): «*Был здесь с поклоном царю и папе поэтов, великому Гете.* A. Izmailoff, schriftsteller»[540] (строчное s!).

В Лейпциге отправился к Рекламу, пытаясь в последний раз пристроить мою гигантскую антологию русских поэтов (более тридцати тысяч строк) в «Универсальной библиотеке». В прошлом году он отнесся к моему предложению отрицательно. На этот раз он был в отъезде, и я разговаривал с его заместителем Мёзеритцем, очень любезным господином, которого знаю уже много лет. Он лишил меня последней надежды издать антологию, даже при условии доплаты с моей стороны. Дескать, поэзия вообще не расходится, в особенности русская,

которой публика совершенно не интересуется; «Надсон и Фофанов лежат у нас мертвым грузом!»... Эта антология, труд моей жизни, не доставляет мне ничего, кроме горя и забот; никто в Германии не хочет ее издавать (притом, что я, разумеется, ни копейки не требую в качестве гонорара): все говорят, что оправдать огромные расходы будет невозможно и т.п. (Но зачем я это записываю, ведь это мое личное дело?!..)

Писателей, за исключением Берна, не посетил ни одного: 1) слишком мало времени, 2) все в отъезде, 3) устал, как собака, от невыносимой жары.

Не слишком удачной оказалась и моя охота за открытками с портретами писателей: посетив множество лавок и магазинов, я нашел всего двадцать пять. «Не пользуются спросом» — вот что приходилось мне слышать повсюду. Вместо писателей предлагали актеров и музыкантов. Я вежливо благодарил.

11 августа 1911

Вчера, по договоренности, мы встретились с Баранцевичем на станции Парголово, чтобы ехать в Куоккала к Репину. <...>

У Репина было неинтересно. Вокруг «table ronde»[541] собралось за обедом (лишь в семь вечера) более двадцать человек, но сплошь какие-то неизвестные мне лица. Был только Барятинский со своей женой Яворской. В Лондоне он написал «Комедию смерти» — ему самому эта вещь чрезвычайно нравится, и он отдает ее в Московский Художественный театр; потом отправляется на Штарнбергское озеро и оттуда — обратно в Лондон. Возможно, поедет и в Америку, где будет гастролировать его жена... В «Храме Изиды» вывешено предупреждение: не ступать на растущую кругом траву. Барятинский приписал карандашом: «Потому что она нужна для обеда» (за столом он тайком ел сардины, которые привез с собой). А несколько лет тому назад, когда над домом красовалась вывеска «*Пенаты*», он залез наверх и исправил «е» на «ѣ» — при явном неудовольствии Нордман-Северовой, к причудам которой следует отнести и то, что она не признает букву «ѣ» и всюду исправляет ее на «*е*». — <...>

15 августа 1911

Сегодня меня посетил Наум Маркович Осипович и принес свои книги. Необычайно разговорчив. Этим летом впервые был за границей (т.е. он был уже однажды на австрийской границе, но занимался нелегальной переправкой революционной литературы в Россию, а потому не мог любоваться окрестностями); его особенно восхитила Германия. Он — некрещеный еврей. Под влиянием отца Потапенко (который крестился, стал офицером, а потом священником) он, шестилетний мальчик, начал страдать религиозными галлюцинациями (дело

было в Херсоне и Очакове): по ночам ему являлся Христос в терновом венце и брал его с собой на небо. Но потом он стал атеистом... Часто переписывает свои рассказы, иногда — по восемь раз, так что за год ему удается написать не более шести печатных листов. Первый написанный им рассказ назывался «*Дамка*» и вскоре был переведен на разные языки. Он отправил рукопись в «Русское Богатство», где членам редакции не понравилась последняя строчка: «Собака презирает человека»; лишь Михайловский посоветовал ему не менять это место. Он подписал этот рассказ псевдонимом Гебе. Позднее, встретив Короленко, он открыл ему свое авторство, и тот сказал: «Да, если бы я знал, что Вы — автор, я без проволочек напечатал бы Ваш рассказ!» Рассказывая мне об этом, Осипович с неодобрением высказался о покровительстве такого рода... «Дамка» появилась в журнале «Мир Божий». Действие своего второго рассказа (первая его публикация) под названием «Кара-Гёол» он перенес — по совету Михайловского — в Македонию; ему пришлось спешно взять несколько «уроков» по Македонии, точнее, он усвоил несколько македонских выражений, которым его обучил один студент, и использовал их, чтобы придать повествованию местный колорит. Читатели удивлялись: «Все как у нас в России!» Цензор подозревал неладное, но не мог ничего поделать.... А рассказ «*В летнюю ночь*» — по совету В.П. Острогорского — был снабжен пометой «Перевод с хорватского», причем помета стояла только в корректурном экземпляре, представленном цензору, а в опубликованном тексте отсутствовала; Острогорский даже приготовил объяснение: мол, случайно выпало при печати. Но ему не пришлось оправдываться, ибо цензор не предъявил никаких претензий... Он (Осипович) объясняет самоубийство В.В. Гофмана (застрелился в Париже 1 августа), с одной стороны, тяжелым характером Гофмана, с другой, — следующим обстоятельством: когда Гофман гостил у него в Териоках[542], выяснилось, что он болен венерической болезнью; в последнее время он считался женихом некоей Поляковой, и, возможно, неизлечимость заболевания и толкнула его на самоубийство... Осипович упомянул также о Петре Исаевиче Вейнберге. Он был у него за несколько дней до смерти; когда он принялся его утешать и сказал, что его болезнь не смертельна, Вейнберг возразил на немецко-еврейском диалекте: «Нет, вся постройка прогнила!»

25 августа 1911

<...> Сегодня завтракал у Сологуба. Потом отправился с ним в «Шиповник», где он битый час поучал мадам Антик, объясняя ей, как можно наверняка выиграть в рулетку (он придумал на этот счет целую теорию; в начале сентября отправляется с Чеботаревской за границу и посетит Монако, чтобы играть в рулетку). Оттуда — в ресторан Соловьева на углу Николаевской и Невского, где

мы выпили пива (он — всего стакан). Рассказал о Куприне следующее. Примерно через месяц после смерти Толстого они встретились в «Интермедии», где совершенно пьяный Куприн хотел сперва поставить Сологуба на голову, а потом заявил, что второе вакантное место после Толстого принадлежит ему (Сологубу), а первое — ему самому (Куприну).

Сологуб утверждал, что *бросит* литературу, если выиграет в Монте-Карло тридцать тысяч франков. Он вообще ничего не желает знать о писателях; это, по его словам, односторонний и крайне обидчивый народ. Писать же он не бросит, поскольку это священное занятие; а вот печатать свои произведения — считает низостью. Летом, живя в Удриас близ Меррекюля, он писал только «*мелочи*», но закончил между прочим роман «*Навьи чары*».

В мой альбом «В ресторане» он записал:

Ах, на что же рестораны?
В ресторанах рано люди пьяны.

Я приписал снизу: «*Ну, а если поздно — можно?*»

Он приписал: «*Это будет "сложно"*» («сложно» — от глагола *сложить*, *положить*).

Когда я заговорил о том, сколь опасна Грушко (придет время — и она разобьет не одно писательское сердце), и описал ее прелести, он произнес похотливо: «Хорошо бы ее *высечь*». Не находит ничего физически отталкивающего в педерастии.

Полушутя сказал, что в этом году не придет ко мне 4 ноября. «Слишком много собирается людей и сплошь писатели. Многим кажется, что я их чем-то обидел. В прошлый раз жена Будищева пеняла мне, что я более известен, чем ее муж. При этом она упорно называла меня Федором Ильичом, я же знал о ней только то, что ее зовут Шарлотта. Или Яков Годин, бестактно спросивший меня, почему я не зову его к себе в гости. Не мог же я ему ответить, что он мне неприятен после истории с Вячеславом Ивановым (которого, впрочем, недолюбливаю)!»

31 августа 1911

Был вчера у Измайлова на именинах. Он и она — очень нежны друг с другом — как в присутствии гостей, так и наедине. Присутствовали: Баранцевич (мы приехали вместе, потом он заночевал у нас), Брусянин, Рышков, Фальковский, Невежин, Карпов, Фаресов, Глинский, Ясинский, Гаккебуш, А. Зарин, Конради, Л.М. Василевский и др. Все были крайне удивлены, увидев Розанова — двурушника и слугу двух господ («Новое Время» и «Русское Слово»), тем

более что Измайлов и его «жена» прямо-таки вызывающе ухаживали за ним и явно предпочитали прочим гостям. — Более ничего примечательного.

7 сентября 1911

Получил сегодня от Дмитрия Ивановича Рихтера (старый приятель Мамина) письменное известие о том, что 4 августа (уже!) в Павловске Мамина постиг апоплексический удар, а позавчера его перевезли на городскую квартиру. — Сегодня, прямо из Института[543], поехал к нему. Он сидел в столовой перед статуей Будды, в кресле-качалке, облачившись в халат, и дымил трубкой. Исхудавшее лицо, глаза больше, чем обычно, но никаких иных признаков болезни. Не может двигать левой рукой и левой ногой. Речевой аппарат совсем не затронут. Шутил в своем обычном духе, мешая смысл и бессмыслицу. Когда я рассказал (присутствующим), что еще перед тем, как жениться, он всегда ездил (вместо того, чтобы идти пешком) в расположенный по соседству ресторан, он сказал: «Федор! Не раскрывай тайны Мадридского двора!» Потом сказал: «Немецкий бог носит *жилет*, а русский — *хламиду*». Ежедневно выпивает стаканчик пива. <...>

Когда я, желая его подбодрить, упомянул о его крепкой конституции и употребил выражение «сибирская кровь», он поправил меня: «*Поповская* кровь!»... Я стал рассказывать о своем заграничном путешествии, и он спросил меня (я ожидал этого вопроса): «Так это ты украл Джоконду?»[544] А когда я сказал, что пришел к нему прямо из Института, он спросил: «А что поделывают твои классные дамы?» — «Велели кланяться!», — ответил я и ушел. — — —

Ранее заходил к Мережковским, и вот по какому поводу. В понедельник я встретил на улице Философова (он, как и прежде, живет у Мережковских), и тот сказал, что у него есть всякая всячина, предназначенная для моего «музея», и просил, чтобы я зашел к нему и забрал это между четырьмя и пятью (в это время он якобы всегда дома). Сегодня в четверть пятого я был у них. Оказалось, что он отсутствует. Я попросил служанку уведомить обо мне Зинаиду Николаевну. Она прошла в соседнюю комнату, и вскоре до меня донеслись голоса двух шушукающихся женщин. Служанка вернулась и сообщила, что Зинаида Николаевна, к сожалению, не может меня принять, потому что сидит у постели больного Дмитрия Сергеевича. — В последний раз навещаю это семейство!

22 сентября 1911

Встретил на Аничковом мосту Волынского-Флексера, покупавшего вечерний выпуск «Биржевых Ведомостей», и спросил его: «Значит, Вы пишете в “Биржевых Ведомостях” о балете?» — «Да, я уже много лет *увлекаюсь* балетом». — — —

17 сентября у моей жены именины, 10 июня — день рождения. Для этих дней я завел в 1906 году альбом, который сейчас закончился. Большая часть гостей записала лишь свои имена.

16 октября 1911

Часок у И.И. Соколова. Обычные его рассказы о похождениях с женщинами. — Вчера у князя Касаткина-Ростовского состоялся первый в этом сезоне вечер Кружка Случевского. Я отсутствовал. Коринфский также отсутствовал — 14 декабря он празднует 25-летие своей писательской деятельности. По этой причине А. Зарин собирал вчера у Касаткина-Ростовского по 50 рублей — на подарок юбиляру (Коринфскому)... К нынешнему Новому году Черниговец-Вишневский прислал Соколову свою визитную карточку со следующими стихами:

Сердечный друг Иван Иваныч!
Пошли Вам Бог довольно сил,
Чтобы под Новый год ты на ночь
Великий подвиг совершил!
Чтоб ты познал земное счастье
И сделал сына: Божий дар!
Я б принял в этом сам участье,
Да все боюся: больно стар!

28 октября 1911

Встретил на Владимирской Короленко; окладистая седая борода придает сходство с мужичком. Приехал на несколько месяцев, поскольку Пешехонов и Мякотин, двое из шести столпов, на коих держится «Русское Богатство» (лучше бы сказать «два кита», ибо редакторы считают свой журнал неким космосом, мир же, по русскому народному поверью, покоится на трех китах; ну, а здесь — на шести!), не могут участвовать в редакционной работе (кажется, оба сидят в крепости). Да и Короленко как главному редактору грозит преследование со стороны цензуры: на октябрьскую книжку «Русского Богатства» наложен запрет (и это уже в четвертый раз!)... Обменявшись несколькими словами, мы с ним расстались. Он был, как всегда, приветливо-холоден, официально сдержан. — —

Вечером у нас была Лукашевич — женщина, славная во всех отношениях. Действительно: Розанов писал ее дочери Зине весьма двусмысленные любовные письма.

3 ноября 1911

Вчера (т.е. сегодня) — незабываемая ночь!

В половине десятого отправился к Ходотову, который пригласил меня к себе. Там были только Лазаревский и Корецкий; Скиталец-Петров в это время принимал ванну. Пришел Бронштейн и заявил, что сейчас явятся Куприн и Л. Андреев: они втроем только что приехали из Гатчины, где были у Куприна (до шести все протекало чинно, потом началось-таки непрерывное пьянство). Он (Бронштейн) расстался с ними уже в городе на вокзале. Прошел, однако, целый час — никого нет. Стало ясно: они продолжают пить в ресторане. Наконец, явились: Куприн навеселе, Л. Андреев — пьяный. Ноготь большого пальца правой руки был у Куприна совсем синий. Когда его спросили, в чем дело, он небрежно ответил: «Автомобиль»; от компресса отказался. Скиталец начал читать свой (бесконечно длинный) рассказ «Гибнущий талант». Не успел он прочитать и первую страницу, как Куприн поднялся и, покинув кабинет, направился в столовую, где стол уже был заставлен явствами и напитками. Л. Андреев сидел на стуле, низко опустив голову, и — спал. Бронштейн разбудил его. Андреев встал и направился, пошатываясь, в столовую. Некоторое время спустя я тоже встал и, пройдя через (пустую) столовую, оказался в спальне. На кровати сидел Куприн, перед ним стоял Андреев; оба пили коньяк. Андреев сказал, что только что закончил свой новый роман «Сашка Жегулев». Впервые в жизни печатал на пишущей машине (ремингтоне). Работа отняла у него всего два месяца, и за это время он сочинил еще маленькую комедию, — несмотря на то, что болел гриппом. «Вы довольны романом?» — спросил я. «В высшей степени! Это — лучшее из моих произведений! Если положить все мои сочинения на одну чашу весов, а роман — на другую, то он перетянет!» (Станет ли роман эпохой в его собственном творчестве или эпохой в истории русской литературы? — на этот вопрос он так и не ответил.) Он еще два раза воскликнул «*Эпоха!*» Куприн сказал ему: «Я умен, а ты *храбр*». На что Андреев возразил: «Нет, я умен, а ты — талант. Ежели б нам объединиться, мы образовали б одно великое целое, как, например, (помедлив) Глеб Успенский!» (это была скорее всего ирония, потому что, назвав Успенского, он улыбнулся). Куприн направился в кабинет, где Скиталец как раз закончил читать, и, обратившись к нему, сказал: «Я слушал с большим вниманием и даже отметил все недостатки...» Вернувшись в спальню, я узрел там картину, достойную пера или кисти большого художника: Андреев стоял перед зеркалом платяного шкафа, разглядывая себя: он то подходил ближе, то отступал назад, то нагибался, то распрямлялся (на нем была та же голубая бархатная куртка, что и два года назад); наконец, безнадежно махнул рукой, сделал, качнувшись, шаг в сторону и убежденно произнес: «*Готов!*»* Все уселись

* То есть «Я пьян!».

за стол ужинать; Андреев сидел на самом краю, справа от меня, так что я не мог за ним наблюдать. Куприн сидел наискосок от меня. Артистка Тиме пела цыганскую песню, а Куприн, когда начинался припев, громко свистел, заложив в рот два пальца. Неожиданно он воскликнул «Allez!»[545] и швырнул графин с водкой в человека, сидевшего напротив, — тот успел ловко его подхватить (я был в таком ужасе, что не успел разглядеть, кто этот человек). Затем бросил в стену — через головы сидящих — какой-то сосуд, так что у него отвалился носик. Однако это не нарушило уютной атмосферы: все продолжали петь под гитару. Андреев подошел ко мне, обнял, поцеловал и сказал: «Четвертого я непременно приду к Вам, непременно приду, милый Вы человек! Я уже отложил для Вас разное!» Однако его жена (ее привезли тем временем из квартиры Фальковского) жалобно сказала мне: «А я-то так радовалась, что смогу наконец познакомиться с Вашей женой и Вашим музеем, — теперь ничего не выйдет!» — «Почему?» — «Леонид Николаевич будет пить теперь три дня подряд!»

Я с кем-то разговаривал в кабинете, когда в столовой послышался невероятный шум. Бросившись туда, я увидел, что Куприн и Андреев стоят, подобно двум боевым петухам, друг против друга, а присутствующие пытаются их удержать. Что же произошло? Оказывается, Куприн, желая пошутить (так, по крайней мере, утверждают свидетели, да и вообще говорили, что Куприн вовсе не такой уж пьяный, каким желает казаться), схватил Андреева и нанес ему несколько боксерских ударов; при этом он прибегнул к приему «collier de force»[546] (применять который профессиональным борцам строго-настрого запрещается!) и начал его душить — так что лицо Андреева сделалось багрово-синим. С трудом удалось вырвать его из рук Куприна и оттащить в коридор... Куприн стоял некоторое время, тяжело дыша и словно задумавшись. Потом вдруг схватил меня за сюртук, повернул и втолкнул в кабинет. Едва я мысленно приготовился к энергичному протесту, как из столовой вновь донеслись грохот и крики; я устремился туда и застыл на месте. Куприн, словно обезумевший, нанес Абрамовичу пинок в живот и ударил Скитальца, а потом — Бронштейна кулаком в лицо. Я опять метнулся в кабинет — в этот самый миг Куприн и Маныч уже катались, сцепившись, позади меня и тузили друг друга. Несколько человек (всего было примерно тридцать гостей, в том числе — четыре дамы) бросились к дерущимся и растащили их; при этом Куприн лежал на полу, и четверо мужчин с трудом удерживали его. Эта сцена так подействовала на меня, что со мной едва не приключилась истерика. И что самое страшное: кто-то, улыбаясь, успокоил меня замечанием, что это, мол, «совершенно обычное происшествие»!.. Примерно через четверть часа я увидел в кабинете Куприна и Андреева (который рыдал), а между ними стоял Ходотов и уговаривал обоих помириться и поцеловаться (Бронштейн уверял, что уже в Гатчине и затем в вагоне поезда они говорили друг другу обидные колкости). Оба стояли и молчали, тут подошла жена Анд-

реева и увела мужа в спальню... Еще через четверть часа я увидел в столовой Куприна и Маныча: они сидели друг подле друга, последний что-то говорил, Куприн же молчал, слегка наклонив голову и пялясь перед собой (это должно было означать, что его «мучает совесть»)... Тот факт, что он грубо схватил меня и вытолкал из комнаты, объяснялся таким образом: «Он очень уважает Вас и потому не хотел, чтобы в пылу этой драки и Вам досталось...» Сразу же после ужина — я сидел в это время за столом и болтал с Николаем Фридриховичем Олигером (первое знакомство) — Куприн схватил неоткрытую бутылку пива и буквально разломал ее: он хлопнул ею об стол с такой силой, что не только головка, но и горлышко бутылки (вплоть до туловища, так сказать) отлетели в сторону; он налил себе пенящийся напиток, а затем внезапно швырнул бокалом в Олигера, — к счастью, промахнувшись. На столе и на полу — сплошь осколки стекла!... Так я оказался свидетелем одного из самых отвратительных событий, которые не принесут русской литературе ничего, кроме стыда и позора. Впрочем, о безобразных выходках подобного рода мне уже не раз приходилось рассказывать в моих тетрадях, но я записывал это со слов других людей и всегда считал, что их рассказы несколько преувеличены. Теперь же я знаю, что и в этом кругу возможна самая невероятная дикость! Я никогда не был моралистом, но эта сцена так потрясла меня, что весь остаток ночи (я вернулся домой в пять утра) и на следующий день я не мог заснуть.

Забыл отметить: Андреев сообщил мне, что его жена находится на восьмом месяце беременности; когда я выразил опасение, что 4 ноября ей будет у меня тесно и душно, он сказал, засмеявшись: «Ничего страшного: родит на месяц раньше!..» О себе самом сказал: «*Я дьявольски застенчив!*» Когда во время ужина кто-то предложил почтить вставанием память недавно умершего цыганского скрипача Шишкина, Андреев воскликнул: «*К чертовой матери!*» и не встал со стула.

Когда я протянул Скитальцу (после того как он кончил читать) мой альбом для записи, он ответил: «Сделать запись? В том состоянии, в каком я сейчас нахожусь? Я, оплеванный писатель!»

Присутствовали также (кроме вышеназванных): композитор Вильбушевич, Косоротов, критик Абрамович, А.М. Федоров*, Рославлев, Андрусон, Фальковский, художник Троянский, В. Гордин, гитарист Де Лазари и др.

Когда я ушел, было без четверти пять утра. Куприн лежал в столовой на диване и орал: «В Гатчину! Вызовите мне автомобиль!» Потом, кажется, заснул. Но вскоре, видимо, проснулся, потому что подали свежие напитки (и даже водку), так что он, надо думать, стал опять буянить...**

* Он хладнокровно сказал мне, что Грушко — любовница Василия Немировича-Данченко.

** К счастью, нет. (Дополнение, сделанное позднее.)

С тревогой ожидаю я нынешнего «праздника русской литературы» (так все называют этот день) — завтрашнего 4 ноября! Что, если повторится подобная сцена?! Это просто убьет мою жену! (О том, что случилось накануне, я благоразумно умолчал.) Правда, вчера меня успокаивали: «Мы об этом позаботимся! Да ведь в **Вашем** доме подобное невозможно!» — — —

В половине одиннадцатого, когда я спал уже глубоким сном, явился крайне озабоченный Батюшков; по городу, сказал он, ходят слухи, что Куприн вызвал Андреева на дуэль, а меня (пишущего эти строки) избил до крови. Я сообщил ему все, что описано на предыдущих страницах, а также еще одно обстоятельство, которое забыл отметить: уведя своего мужа в спальню, Анна Ильинична провела с ним там не менее часа, пытаясь его успокоить; потом она позвала меня, и мы вместе с Фальковским помогли Андрееву спуститься по лестнице; после этого все трое поехали к Фальковскому. Таким образом, о вызове на дуэль мне ничего не известно... Лиза Куприна сообщила Батюшкову по телефону из Гатчины, что муж ее вернулся домой и спит как убитый; она не уверена, что они смогут завтра приехать ко мне: опасается, что такой же припадок повторится и у меня дома. Завтра утром Батюшков отправится в Гатчину, чтобы прозондировать почву... Рассказал мне о Куприне следующую историю. Несколько лет тому назад (был холодный августовский день) Куприн, гостивший у него в имении, разбил около тридцати окон: дом выглядел как после обстрела. Затем он схватил ружье и стал стрелять в потолок. Тогда Батюшков отвез его в нервную клинику (в Риге). «Раньше мне казалось, что Куприн добродушен, но теперь я знаю, сколько в нем злости», — сказал я. «Он вовсе не добродушен. Зато *отходчив* и не злопамятен. После каждого такого припадка его охватывает раскаяние, и он готов унижаться, вымаливая прощенье у того, кого он обидел...» От семидесяти тысяч, которые он получил за свои произведения от Маркса и Московского книгоиздательства, у него останется, после того как он рассчитается со всеми долгами («а он хорошо помнит, сколько у него долгов»), всего лишь пять или шесть тысяч. На эти деньги Батюшков хотел бы отправить его вместе с врачом за границу — в какой-нибудь санаторий.

4 ноября 1911

Встретил Косоротова. Он выразил сожаление, что не сможет быть у меня сегодня: «Из-за семейной трагедии, которая легко может обернуться комедией. Есть одно страдающее женское существо, но больше ему не придется страдать». По этой причине он будет поздно вечером настолько уставшим, что не сможет придти... Рассказал следующее. Позавчера (это я тоже забыл отметить), после того как Куприн набросился на него, Андреев воскликнул: «Ему надо объявить бойкот!» По этому поводу в «Пале Рояль» (в комнате Ламанского)

собралось вчера несколько писателей, решивших поначалу вручить Куприну подписанную ими бумагу, в которой черным по белому говорилось, что он — негодяй и все подписавшие не желают отныне иметь с ним дела. Однако Косоротов и А.М. Федоров стали возражать против слова «негодяй», и в конце концов решено было направить Куприну заявление о том, что его поведение постоянно позорит добрую репутацию русской литературы и что в течение ближайших семи дней предполагается созвать суд чести, а все дружеские отношения на это время прекращаются. Бумагу подписали: Косоротов, Федоров, Лазаревский, Сергеев-Ценский, Абрамович, Ленский, Скиталец, Каменский, Маныч и еще три лица (в общей сложности — двенадцать человек). Вчера вечером эту бумагу предполагалось — чтобы получить еще ряд подписей — направить в Клуб (Невский, 104)[547]. Косоротов там отсутствовал и не знает, вручен ли этот документ Куприну или нет. — —

В три часа явился с поздравлениями Вячеслав Иванов (он не знал, что у меня собираются вечером). Посидел десять минут, выпил полстакана вина и, поболтав о всякой ерунде, ушел. — —

В половине пятого зашла с поздравлениями жена Коринфского. Где он сам, неизвестно: то ли в Царском, куда они переселились еще в августе, то ли в городе. Сегодня в восемь утра он куда-то отправился, а вернулся домой ночью в четыре часа. Он разбудил ее возгласом: «Молись, человек *спасся*!» С его шубы и костюма стекала вода — ее было так много, что на полу образовалась целая лужа; оказывается, он угодил в озеро! А в восемь утра, как уже говорилось, опять куда-то ушел — в насквозь промокшей шубе!

6 ноября 1911

Позавчера — мой день рождения (52 года). Было более 120 человек (ровно столько я насчитал поименно; однако присутствовало еще девять человек, которых я не знал ни по имени, ни в лицо; какие-то люди представляли их присутствующим — кто именно? — я не помню). Многих я впервые увидел лишь в тот момент, когда они собрались уходить, а о присутствии некоторых гостей узнал лишь вчера — такая ужасная была теснота и давка. Получил в дар для моего «музея» целое собрание автографов, более ста писательских писем и множество портретов. Везде и повсюду говорили об инциденте (Куприн — Андреев), причем все тут же принимались бранить Куприна; кое-кто пытался найти и смягчающее обстоятельство: у Куприна, мол, был приступ безумия. Сам Куприн, разумеется, отсутствовал, зато пришла его жена Лиза в сопровождении Батюшкова, сообщившего мне, что ему удалось уладить эту историю: Андреев отказался подписать заявление и сказал, что прощает Куприна; таким образом, этот документ (Лазаревский принес мне черновой вариант) не был отправлен

Куприну. Сенсацией оказалось появление Леонида Андреева (его жена тоже пришла): он был все время окружен стеною народа, в основном — представительницами прекрасного пола, на этот раз особенно многочисленными (я знал лишь некоторых). Он ничего не пил. Многие лишь теперь познакомились с ним лично (по их просьбе, я представлял их друг другу), например, Василий Немирович-Данченко и Баранцевич... Наташа Грушко приветствовала меня поцелуем и тут же самым непринужденным образом стала флиртовать со всеми подряд (что, кажется, не понравилось другим дамам), в частности с Ладыженским, который, между прочим, познакомился с ней у меня, но создавалось впечатление, будто оба давно знакомы друг с другом. Весьма откровенно вела себя с Ясинским, который попросил фотографа Оцупа, явившегося с аппаратом, чтобы сделать групповой снимок, сфотографировать для него Наташу (что и произошло на лестнице). Парочка отправилась домой вместе (хм, домой ли?!)... Когда Ватсон (опять продавала билеты на какое-то благотворительное мероприятие) увидела Ясинского, она с упреком сказала мне: «И Ясинский у Вас!» А когда Ясинский расцеловался с Морозовым (тот пришел с женой), ей (Ватсон) был нанесен, видимо, удар в самое сердце!!!.. Впервые мне пришлось видеть Лугового сидящим до поздней ночи в многолюдном обществе (он не выносит табачного дыма и страдает от недостатка воздуха); при этом он заявил мне, что чувствует себя отлично... С.М. Городецкий (явился с женой и какой-то дамой) передал мне большой шелковый платок, на котором был написан акростих (на мое имя):

Ферюбку эту, Фидлер родный,
Исписанную вкривь и вкось,
Дерзну подать Вам на авось.
Лоскут хоть никуда не годный,
Есть все ж на нем строка одна —
Растрогать всех она должна.

Начальные буквы — золотые, остальные написаны черными чернилами. Этот стишок он прочитал вслух толпившимся в прихожей... Ходотов выглядел весьма подавленным (под впечатлением драки в его квартире); тем не менее, мелодекламировал под аккомпанемент Вильбушевича. Живой отклик получило выступление декламатора Сладкопевцева, читавшего свои юмористические «сценки»; одну из них он «сочинил» прямо в моем альбоме, обыграв тему «4 ноября»... Маныч был робок и неприметен.

Присутствовали также: фотограф Здобнов, Василевский (Не-Буква), Корецкий, Арабажин, Каменский (Липецкий), Владимир Гордин, композитор Александров, совладелец «Шиповника» Гржебин, Лукашевич (с семейным выводком), инспектор Училища ордена св. Екатерины Карцов, Кипен (видел его

впервые), критик Абрамович, директриса гимназии О.К. Григорьева-Витмер, Олигер (с женой), поэт Пимен Карпов, Фалеев, П.П. Потемкин, Яблочков, Караскевич-Ющенко, Архипов-Бенштейн (издатель «Журнала для всех»[548]), Сергеев-Ценский (к моему великому удивлению, ибо он никуда не ходит), Юшкевич (впервые видел его без жены), некто Матусевич, Глинский, Пружанский, И.И. Соколов, А. Зарин, граф А.Н. Толстой (с пикантной супругой), Скиталец, Ремизов, Цензор, Блок, Чебышева-Дмитриева, Тан, Будищев (с женой), Измайлов (с женой, которая опять оконфузилась, разговаривая на ужасном французском), Быков (с «молодой» женой), Северцев-Полилов, Шиле (опять принесла живые цветы), Фальковский (с женой), доктор Жихарев, Венгеров, Брусянин, А.М. Федоров, Рукавишников (с женой), Булацель (опирался на трость), Евтихий Карпов, Андрусон, Дымов, Гриневская (принесла свой большой портрет, на котором она еще молода, и неоднократно повторила, что это — ее «соперница»), Котляревский, Галина со своим Гусевым-Оренбургским, Лукьянов, Рославлев, Л.М. Василевский, Ленский, Чириков (с женой), Анатолий Каменский (с женой), Свирский (с женой), Овсянико-Куликовский (с женой и дочерью), Осипович, Чапыгин, Хирьяков, Евгений Святловский, адвокат Елисеев (дармоед!) с женой, Бронштейн, художники Троянский и Радаков, издательница детского журнала «Родник» Альмединген и др.

Вечер и ночь прошли совершенно спокойно. Я не рухнул в беспамятстве лишь потому, что выпил несколько капель для поддержания сил.

Поздравления прислали: Короленко, Н.Ф. Анненский, Лебедев, Потапенко, Философов (Мережковская-Гиппиус прислала свой роман), Жихарева, Рудич, Абельсон-Осипов, Фельдман (из Лозанны), Бухарова, Тихоновы, Репин + Нордман, Г.С. Петров (письмо из Челябинска и телеграмма из Омска), Тиандер, Мамин, Либрович, Пешкова-Толиверова, Ольга Шапир, Гнедич, Нина Булатова (не смогла придти по болезни) и др.

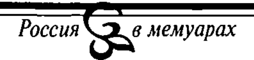
9 ноября 1911

Вячеслав Иванов пообещал 4-го, что зайдет еще раз вечером. Но вместо этого прислал следующий стишок, им сочиненный и подписанный также Кузминым:

«Duo

в честь Ф. Фидлера
от отсутствовавших на вечере 4 ноября 1911:

Мы все по Фидлеру родня —
Российская словесность



Живет до завтрашнего дня,
А дальше — неизвестность.

Вячеслав Иванов *М. Кузмин*
Таврическая 25» (последние слова рукой Кузмина).
На конверте: «*Ф-у Ф-у Ф-у и Отечественной словесности*». — — — <...>

25 ноября 1911

Выбрал, наконец, свободный часок, чтобы навестить Мамина. Половина одиннадцатого. Он сидел за письменным столом, в своем инвалидном кресле, и ел яйцо. «Тебе повезло: явился, когда у меня хорошее настроение!» — «Как дела?» — «Господь Бог и моя душа здравствуют... Да и вообще я был болен не столько телесно, сколько душевно: целых полдня ничего не писал». <...> В прихожей «Тетя Оля» попросила меня не сердить ее супруга. Жаловалась, что подчас Мамин становится сварлив до невозможности. Прошлой ночью опять выгнал из своей комнаты санитара, так что она не спит уже вторую ночь. Его выздоровление подвигается крайне медленно. Опираясь на санитара, он очень медленно проследовал из кабинета в столовую. Левая рука все еще не функционирует. Профессор Розенбах разрешил ему ежедневно выпивать несколько стаканов пива и выкуривать несколько трубок. <...>

1 декабря 1911

<...> Сегодня меня посетил датский писатель Герман Банг в сопровождении петербургской дамы по имени Теодора Краруп, поклонницы моих переводов; на ее визитной карточке значится: «peintre, artiste et journaliste»[549]. Он — элегантный маленький человечек с нервным лицом. Прекрасно говорит по-немецки. Рассказывал о своем кругосветном путешествии, которое будет длиться четыре-пять месяцев. В течение этого времени он должен написать пятнадцать путевых очерков для своего копенгагенского издателя, которые тот разошлет в различные иностранные редакции с тем, чтобы они появились в один и тот же день — одновременно с оригиналом; гонорар за все пятнадцать очерков составляет триста рублей, и эта сумма должна быть перечислена датскому издателю. Я посоветовал ему газету «Речь» (Л.М. Василевский уже вел с ним переговоры по этому поводу). Он (Банг) хочет, чтобы в каждой стране очерки публиковались лишь в одной газете; «Я никогда не был дельцом, да и теперь не собираюсь им становиться». Во время своего рассказа (мы пили наливку, которая ему очень понравилась; однако он лишь пригубил напиток, потому что врач запретил ему алкоголь) он постоянно прерывался; оглядывался на висевшие вокруг него пор-

треты и вскакивал, чтобы взглянуть на тот или другой предмет. Вообще, чрезвычайно заинтересовался моим «музеем»: «Никогда и нигде не видел ничего подобного!» Особый интерес проявил он к Чехову, которого очень любит и называет Чековым. Горький, по его мнению, пользуется незаслуженной славой... Был хорошо знаком с Ибсеном, Бьёрнсоном и Юнасом Ли. Брандеса видел лишь однажды, когда он (Банг) нанес ему визит, а тот отделался холодной вежливой фразой. Знаком также с Гамсуном и Стриндбергом. Современных немецких писателей лично почти не знает; общается в Копенгагене исключительно со своей родней.

Глядя на портреты, развешанные в моем кабинете, Банг воскликнул в невероятном изумлении: «Да разве русских писателей вообще так много»!

20 декабря 1911

Около часу провел вчера у Василия Немировича-Данченко. Он уверял, что Котляревский его не любит за то, что он в присутствии Зинаиды Лукашевич (ныне — госпожа Анисимова) подтрунивал над ним и называл его «Нестор Кукольник». А покойный Вейнберг прямо-таки ненавидел его (Немировича-Данченко). Когда Брандес решил написать о Немировиче-Данченко и запросил у Вейнберга различные сведения, тот ответил многостраничным письмом, в котором отрицал какое бы то ни было литературное значение Немировича. Об этом ему сообщил сам Брандес: несколько лет тому назад они вместе отдыхали в Карлсбаде. Утверждал, что Луговой его тоже недолюбливает. Когда Орловский писал свою «Историю русского романа», Луговой приходил к нему три вечера подряд, пытаясь убедить его в литературной неполноценности Немировича-Данченко. У него нет ни малейшей надежды, что его изберут академиком («Да мне этого совсем и не хочется»), поскольку великий князь Константин не благоволит к нему — из-за его либеральных взглядов; к тому же и Котляревский не отдаст за него свой голос. Права называться академиками заслуживают, по мнению Немировича-Данченко, лишь Мережковский и Венгеров; а Буренин — тот прямо-таки жаждет получить это почетное звание... Умереть в собственной постели означало бы для Немировича-Данченко «диссонанс по отношению ко всей прожитой жизни»; он хотел бы погибнуть «на поле битвы»... Считает Коринфского очень хорошим, даже превосходным версификатором, но не поэтом, поскольку его стихи идут от головы. — — —

26 декабря 1911

Сегодня около часу — у Василия Немировича-Данченко. <...> У него сидел Григорий Львович Кирдяцов (sic! — *К.А.*), автор политических статей в «Бирже-

вых Ведомостях». Этим летом он был в Копенгагене у Георга Брандеса, пригласившего его к обеду (обед состоял из трех блюд, без вина; Брандес вообще живет очень просто). Брандес рассказал ему следующее. Несколько лет тому назад он был в Париже у Анатоля Франса. Множество современных писателей. Явился Мережковский. Не успели их представить друг другу, как Мережковский спросил Брандеса: «А Вы в Бога веруете?» — «Извините, — говорит Брандес смущенно, — но в многолюдном обществе... Мы ведь впервые видим друг друга...» Но Мережковский настойчиво повторил: «Спрашиваю еще раз: Вы в Бога веруете?»

Немирович-Данченко сказал, что Брандес лжет. Мережковский, мол, слишком деликатен и т.д. Кирдяцов собирается устроить здесь и в Москве лекции Д'Аннунцио: по две в каждом городе, за тысячу лир, при бесплатном путешествии первым классом туда и обратно. Кирдяцов лично знаком с Д'Аннунцио и называет его альфонсом (он, по его словам, вымогает деньги у любящих его женщин, среди них, — Э. Дузе, которую он бессовестно осрамил в романе «Огонь»).

28 декабря 1911

Сегодня навестил Мамина. Прежде чем «Тетя Оля» позволила мне пройти к нему, я сидел с ней в столовой; она без конца жаловалась на Мамина. Его упрямство и капризность, по ее словам, невыносимы. На днях он выгнал — из ревности к ней! — уже третьего санитара, до крайности необходимого... <...> Когда я зашел к нему в комнату, он, лежа в постели (с коротко остриженной седой головой) и читая «Новое Время», встретил меня словами: «Целых три месяца ни один черт у меня не показывался!» (Впрочем, за последнее время у него были двое посетителей: Д.И. Тихомиров и Корецкий — последний, однако, по деловой надобности: купил у него права на несколько забытых рассказов, напечатанных в старых газетах). <..> Приобняв меня за плечо левой рукой, он медленно проследовал в столовую, причем я скандировал «Марсельезу», а он декламировал четыре первых стиха из «Гренадеров» Гейне (по-русски, разумеется). У обеденного стола мы опустили его в мягкое кресло; он проглотил лекарство, съел маленький бутерброд с икрой, выпил стаканчик пива и закурил трубку. «Тетя Оля» рассказывала о происках Лемке[550]. Все остальное протекало мирно и не заслуживает упоминания.

21 января 1912

<...> Воспоминание о скоропостижно и загадочно умершем Германе Банге. Увидев на стене портрет Ксении Морозовой (урожденной Бориславской, бывшей моей ученицы по Екатерининскому институту), он воскликнул: «Какая кра-

савица!» и, встав коленями на оттоманку, пытался разглядеть портрет. Я снял портрет со стены, и он снова воскликнул: «Какая красавица!» Торопясь на обед к редактору «St. Petersburger Zeitung» (Кюгельгену), он забыл у меня белую трость (впрочем, я обнаружил ее в передней под столом лишь после того, как он уехал в Москву). Nolens volens она пополнит теперь мое собрание писательских тростей... Я попросил его оставить автограф на своем портрете (почтовой открытке, где он еще неузнаваемо молод), и он написал: «La vie est triste — enfin soyons gais. A monsieur Fiedler son bien devoué Herman Bang»[551]. А 2 декабря Теодора Краруп передала мне подлинный его портрет с надписью: «Tous mes compliments les plus respectueux. Herman Bang»[552].

1 февраля 1912

К нам зашла Наташа, но не по поводу корректуры своей книги[553] (в нее мы даже не заглянули), а, видимо, для того, чтобы излить душу. Позавчера утром она пыталась покончить с собой. <...> Поначалу она не хотела открывать причину. Лишь после того как, уткнувшись головой в подушку, она всплакнула на моей оттоманке, а я, держа ее за руку, произнес несколько утешительных слов, она тоже взяла меня за руку и сказала: «Вы — единственный, кто относится ко мне душевно и кому я могу довериться». Потом стала рассказывать. Она родом из богатой киевской семьи. Ее отец служил на железной дороге. Потом его перевели в Рыбинск. Его финансовые дела шли все хуже, он вынужден был взять (оскорбительное, по ее словам) место *станового пристава*, и, находясь в этой должности, *растратил* шестьсот рублей — все для того, чтобы спасти свою семью (у ее родителей — шестеро детей). <...> Дело, начатое против него, тянется уже шесть лет; вскоре состоится судебный процесс. Мысль об отце никогда не покидала ее за все эти годы. Она уехала в Петербург (уже из Вологды, куда переселилась семья), чтобы стать здесь либо актрисой, либо писательницей; этот наивный замысел, конечно, не осуществился. <...> Дала мне письменное обещание, что не станет более покушаться на свою жизнь, и поспешила на свидание с отцом, который сейчас находится здесь. <...>

13 февраля 1912

Сегодня обедал вместе с Баранцевичем в ресторане Соловьева на Николаевской. Один из официантов сказал мне, что в 1-м кабинете сидит Куприн, уже захмелевший. Я предложил Баранцевичу заглянуть туда, но он отказался: «Какое мне дело до пьяного Куприна?» — и ушел. В крохотном кабинете сидели Котылев (за бутылкой настоящего английского эля, но трезвый), Ялгубцев (наполовину трезвый), Трозинер (трезвый), интеллигентного вида дамский порт-

ной по фамилии Катун (трезвый; угощал всех коньяком), симпатичный юноша в очках по имени Михаил Пепенин, поэтические устремления которого поддерживает Вячеслав Иванов, и опухший полупьяный Куприн. Как только я сел, Куприн вскочил со стула, потянул юношу (Пепенина) за рукав в мою сторону и крикнул ему «На колени!», сам опустился на колени, перекрестился и поцеловал мой университетский значок; юноша проделал то же самое. <...> Все это отняло у меня не более получаса. Куприн потребовал мой альбом и хотел вписать туда какую-то непристойность, но я воспротивился. Тогда он попросил Пепенина увековечить себя; и тот сделал это следующими строками:

Я тебя не звал и не хотел позвать
Но пришла — так посиди Я рад
Будем золотую сказку вспоминать:
«Цвел зеленый виноград».

11 марта 1912

Вчера — поэтический вечер у Вентцеля. <...> При выборе новых членов Наташа получила тринадцать голосов из четырнадцати (один — против). Гость Владимир Нарбут прочел, завывая, несколько своих стихотворений, что вызвало общий смех.

12 марта 1912

Вчера в зале губернской земской управы (Кабинетская[554], 18) состоялось чествование Бальмонта (в связи с 25-летием его писательской деятельности), прошедшее весьма удачно. Я послал Наташе пригласительный билет, и она явилась (сперва зашла за мной, но не застала дома) в элегантном черном платье, с красными гвоздиками на груди, в длинных белых перчатках и большой белой мягкой, совсем без украшений, фетровой шляпе, придававшей ей сходство с Пьерреттой[555]. Она возбуждала всеобщее любопытство. Я представил ее нескольким лицам, которым она посылала от меня рекомендательные письма и свою книгу для рецензирования, в том числе — Арабажину, Вячеславу Иванову и Сергею Городецкому. Последний сразу же заговорил с ней в доверительном тоне, прогуливался с ней, держа ее под локоть, мчался с ней рука об руку вниз по лестнице, потом снова взбегал с ней наверх, целовал ее левую руку, протянутую для поцелуя, и т.д.; она обещала навестить его. Она (Наташа) протянула Цензору, который мимоходом с ней поздоровался, гвоздику со своей груди, хотя для этого не было ни малейшего повода. Композитору Гречанинову написала в блокнот свое стихотворение «*Бледной невидимкой...*» — с тем, чтобы он переложил его на музыку. Я познакомил ее с Батюшковым, Котляревским и Аничко-

вым, с которыми она тут же стала флиртовать, с Чуковским и другими. Настаивала, чтобы я познакомил ее с Флексером-Волынским, и прекратила свои просьбы только тогда, когда я сказал, что он пишет большие критические статьи, а не рецензии. Городецкий, казалось, воспринял ее как легкую добычу и не отходил от нее (т.е. от нас) ни на шаг. Я шепнул ей, что мы должны сделать вид, будто идем ко мне. Он провожал нас до моего дома, уговаривая ее поехать с ним на несколько дней за город под Выборг. Наконец мы решительно попрощались с ним и вошли в подъезд. Но спустя несколько минут, полагая, что он уже достаточно далеко, мы снова вышли на улицу. <...>

29 марта 1912

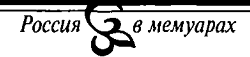
Сегодня у меня был маленький Лев Толстой, сын большого Льва. Заявил, что давно хотел со мной познакомиться. Спросил, какое сегодня число, и сказал, что цифры 2 и 9 играют в его жизни огромную роль. Курил и пил пиво (один стакан). Разговор шел о моем «музее» и болезни моей жены; он сказал, что не исключает возможности ее выздоровления, но для этого ее следует отправить на лечение к его тестю Вестерлунду в Энкёпинг. Говорил о завещании, которое Чертков уговорил подписать безвольного отца. Кроме всего прочего, Лев Николаевич страдал забывчивостью: думал, что один из его друзей, умерший пятнадцать лет тому назад, еще жив, путался в своих внуках и изумился, увидев Льва Львовича, уже пять дней находившегося в Ясной Поляне (во время его последнего пребывания там).

1 апреля 1912

Вчера́ — поэтический вечер у И.И. Соколова. Умов хвастался, что ему предстоит дипломатический экзамен. Зоя Бухарова (ушла до ужина — у нее больна дочь) поцеловала меня по поручению доктора Жихарева (он ее лечит). Лебедев рассказывал, что Коринфский пьет по-прежнему; сейчас он болен (температура — 40°). Семейная пара помышляет о том, чтобы в августе снова переселиться в Петербург (в Царском им слишком скучно). — Царила скука. — — <...>

4 апреля 1912

Вчера в Московском Художественном театре повстречал Блока. «Я пришлю Вам второй и третий тома моих сочинений одновременно, как только появится третий. А второй не стану посылать отдельно, потому что терпеть его не могу». — — <...>



21 апреля 1912

Зашел на часок к Волынскому (Флексеру). Он живет (видимо, бесплатно) в меблированной квартире уехавшего в Италию Пятницкого. О Горьком и Андрееве, которых сейчас совсем не читают (а значит, не покупают), он сказал, что своим эфемерным успехом они были обязаны газетной рекламе; они поддались духу момента и стали изображать несуществующих людей («босяков») в искусственной среде; а такого подлинного писателя, как Чехов, будут читать и через сто лет.

24 апреля 1912

Нашел в бумагах Альбова несколько писем Шмелева, ставшего теперь очень известным, а также несколько журнальных оттисков его рассказов с надписями: «*Знатоку души человеческой, глубокоуважаемому Михаилу Ниловичу Альбову*». На всех — одна и та же дата: 21 августа 1908... Характерно, что Альбов в моем присутствии ни разу даже словом не обмолвился об этом Шмелеве! Может, завидовал?

27 апреля 1912

Был вчера в Царском Селе и навестил Корецкого. Жена уехала в Петербург искать служанку; он был дома совсем один. Отпер мне дверь, но не распахнул ее, а тут же отступил назад: боится простуды. У него что-то с почками (температура выше 37°); пьет только минеральную воду. Не желает обращаться к врачу, поскольку его болезнь началась не теперь и он пользуется старыми рецептами. Совсем не может писать. Говорит, что непременно вернется в Петербург в начале августа: мол, в Царском Селе слишком скучно. — Крошечная, но, как обычно, уютная и в высшей степени чистая квартира.

Сегодня меня посетил (видел его впервые; портретов не существует (sic! — *К.А.*)) Александр Александрович Навроцкий. Устно подтвердил свое предложение, сделанное мне письменно несколько лет тому назад: перевести его пятиактную драму в стихах «Иезуиты в Литве». Сошлись на том, что он будет платить мне 75 руб. за акт; выплата — по завершении каждого акта. Он написал эту пьесу 35 лет назад и предпринимал за это время всевозможные попытки поставить ее в России, — ни одна не увенчалась успехом. Теперь надеется, что ее поставят в Германии, а затем она появится и на русской сцене. Он сам позаботится о постановке драмы в немецком переводе; в конце июня отправляется с этой целью в Берлин. Взял с меня слово: если он умрет на пути в Берлин или обратно, забота о судьбе его драмы ложится на меня. В качестве издателя жур-

нала «Русская Речь» он потерял за три с половиной года 37 тысяч, а в качестве арендатора театра Неметти в 1905 году (где собирался ставить «Иезуитов в Литве») за две недели — целых 22 тысячи.

17 мая 1912

У меня был Навроцкий и выплатил мне гонорар за перевод двух первых актов своей драмы — ничтожной вещи, которую никто в Германии и не подумает ставить на сцене (хотя он всерьез на это рассчитывает). Сказал, что никогда не станет фотографироваться, поскольку при съемке крошечная частичка того, кто фотографируется, переходит благодаря солнечным лучам на его фотографию; и тот, в чьих руках окажется эта фотография, может делать тогда с изображенным на ней человеком все, что ему вздумается, даже погубить его — для этого требуется лишь произвести над фотографией определенные манипуляции... Я сидел, а он, стоя передо мной, чрезвычайно интересно говорил целый час об оккультизме, астрологии, камне мудрецов, алхимии и т.д., гармонически согласуя все это с тайноведением Христа. Никогда бы, глядя на него, не подумал, что он так образован!

9 июля 1912

Уехал 17 июня за границу и лишь сегодня вернулся в Старожиловку. Вот записи литературного содержания, которые я делал там на отдельных листках и теперь переношу в дневник. — Сначала общее!

Еще отсюда (из Старожиловки) я отправил Наташе Grouchko* несколько открыток с адресами и датами, чтобы она регулярно могла сообщать мне о состоянии своего здоровья (16-го ее оперировали). Из Берлина я непременно хотел отправить ей приветствие на открытке, где изображен памятник Шиллеру, Лессингу или Гете, но не нашел ни одной такой открытки, даже в центральных магазинах. Мне предлагали взамен памятники Бисмарку, Мольтке и др. Я, разумеется, отвечал: «Спасибо».

Далее я отправился в Дюссельдорф — исключительно ради реликвий, связанных с Гейне. В Дуисбурге ко мне в вагон подсел пятнадцатилетний гимназист из Кельна — он ехал в Дюссельдорф на выставку торпедных лодок. Я заговорил с ним о Гейне. Выяснилось, что из стихотворений Гейне он знает лишь «Лорелею» и «Гренадеров». Оправдывался тем, что Гейне в гимназиях запрещен... В Дюссельдорфе я посетил самые крупные книжные и писчебумажные

* Je suis ne umeu. Так написала мне Наташа 6 августа 1912. Это означает: Je suis не *умею*... И — Грушко.

магазины и в результате бесконечных поисков нашел лишь дом Гейне и его бюст в Музее кустарного искусства (все — видовые открытки). В ответ на мои возмущенные, раздраженные и назидательные реплики мне говорили: «Гейне никто не спрашивает!» Когда я искал дом Гейне на Болькерштрасе[556] и не сразу его нашел (забыл номер дома; а мемориальная доска такая невзрачная и темная, что ее не видно), выяснилось, что никто из прохожих даже не знает о его существовании. Один прилично одетый господин спросил меня: «Дом Гейне? А что там? Ресторан?»... Наконец я оказался у дома 53 напротив булочной; через ворота шириной не более метра я проскользнул во двор и приблизился к священному для меня строению (я уже бывал здесь однажды: в 1900 году). Я поднялся по крутой лестнице со стершимися ступенями и истлевшими старыми деревянными перилами, которых касался мальчик Гарри[557], и заглянул в приоткрытую дверь квартиры. Там я увидел двух мальчиков. Это сыновья поденщицы, которая как раз отсутствовала — мыла где-то полы. (Двенадцать лет назад здесь жил маляр, и мне удалось тогда бросить во внутреннее помещение лишь беглый взгляд.) Три крохотные, убого обставленные комнатки (во времена Гейне их было только две, — пояснил мне старший из мальчиков). В последней комнате, слева, в глубине, где стоит теперь большая кровать, — родился Гейне; это мне тоже сообщил мальчик. «Бывают ли посетители?» — спросил я. «Бывают, но редко». («Бедный Гейне! Где же твои англичанки в зеленых шалях и с чаевыми?!» — подумал я[558].) Мать платит за квартиру 33 марки в месяц. На всем — и внутри, и снаружи — печать распада. И только широколиственная акация, посаженная в детстве Гейне, жизнерадостно возвышается над фронтоном здания. Во времена Гейне передняя часть дома выходила на улицу; на месте, где теперь булочная, был тогда сад.

В Вецларе взрослые гимназистки не могли мне сказать, где находится домик Гете (мы как раз стояли напротив, но я не заметил доски). Гимназисты, сопровождавшие девушек, спросили меня: «А кто это такой, папаша?»

В Веймаре мне удалось найти лишь одну-единственную открытку с изображением Ницше. Да и вообще весь мой нынешний урожай по части открыток с портретами писателей — очень скуден. «Писателями публика не интересуется, — говорили мне всюду, — а только артистами, музыкантами и князьями».

То же и в Париже. Не мог найти ни одной открытки, связанной с Руссо (недавно праздновали его юбилей). Хотел послать Наташе открытку с надгробием Гейне (я, разумеется, посетил его могилу на Монмартрском кладбище — она ухожена: свежие венки, гирлянды и цветы в горшочках), — поиски оказались тщетными!

В Париже нанес визит другу моей юности Леопольду Бернштаму, который стал теперь знаменитым скульптором. На своем портрете Д.Д. Минаев написал ему 24 октября 1882 года:

Всем начинающим скульпторам,
Собравшимся ревнивым хором,
Тебе завидовать не грех,
Ваятель. Ждут тебя успех
И слава, и венок лавровый.
Тебя сумеет оценить
Суд самый строгий и суровый,
В искусстве восхваляя новый
Талант, и будешь, может быть,
Ты на Руси вторым Кановой.

В воскресенье, 24 июня / 7 июля, посетил Минских (Отёй, улица Жорж Санд, 32). За красивую квартиру из пяти комнат он платит ежемесячно 135 франков (без отопления). Мебель куплена здесь по случаю, а потому в стиле нет никакого единства. Он растолстел (я видел его в последний раз в памятный день 9 января 1905 года), она — постарела и поблекла; но оба все же неплохо сохранились. Когда мы здоровались, Минский надолго прижался щекой к моей щеке. Первый вопрос у обоих был об амнистии для эмигрантов, которая ожидается в связи с предстоящим юбилеем дома Романовых; они страстно хотят на родину. Говорить все время приходилось **мне** — о писательских делах. Они рассказали лишь, что Ахматова и Чулков влюблены друг в друга. Я сообщил им про Наташу. Когда они стали меня расспрашивать, какие у нее глаза, а я не знал, что ответить, они рассмеялись: «Это — верный признак, что Вы в нее влюблены!»... Сегодня они целый день заняты, но завтра мы снова увидимся. <...>

В Берлине (на пути в Париж) навестил Максимилиана Берна. Абсолютно ничего нового по сравнению с тем, что я писал здесь год назад. Ни с кем не общается и ругает всех на свете, особенно издателей. Подарил мне свою книгу «Десятая муза» и хвастался ее успехом (80 тысяч экземпляров), а также — своим умением приспособиться к вкусу широкой публики. — —

В Ашаффенбурге навестил Вильгельма Гольдшмидта. Также — абсолютно ничеего такого, что я не отметил бы здесь два года назад. Разве только то, что он, как и прежде (в декабре прошлого года ему исполнилось семьдесят, и по этому поводу один бульварный иллюстрированный листок поместил его портрет, на котором он так же похож на себя, как я на Кавальери), надеется, что сможет еще написать нечто значительное. Стремится вырваться из обстановки маленького городка. Каждый третий здоровается с ним на улице, но сам он ни с кем не общается, за исключением одного учителя истории. Как всегда, мелочен и наивен. Не имеет ни малейшего представления о социально-политической ситуации в России. —

В Берлине (накануне моего отъезда в Россию) на углу Фридрихштрассе и Миттельштрассе совершенно случайно столкнулся с Григорием Спиридоновичем Петровым. Радостно обнялись и многократно расцеловались. Часок поси-

дели вместе (он спешил в «Винтергартен», где его ожидал секретарь, которого он взял с собой за границу лишь для того, чтобы доставить ему удовольствие), — в «Скандинавии», где он пил только воду («Аполлинарис»). Плохо отзывается о своих прежних восторженных поклонниках и друзьях, потому что они его забыли. Его не тянет даже в Петербург; все тамошние писатели, по его словам, — хулиганы, начисто утратившие свое достоинство. Он (Петров) надеется, что посетит еще Лондон и Париж. Не любит Измайлова как человека и не ценит как критика. — —

Веймар, 3/16 июля. Сегодня посетил Иоганнеса Шлафа (Лассен-штрассе, 31), с которым познакомился в Берлине много лет назад. Ходил с ним пешком (туда и обратно) в Тифурт[559]. Не мог разделить его восхищения красотами пейзажа: у нас под Петербургом есть места гораздо красивее. Он живет в Веймаре всего семь лет и за это время написал очень много: несколько повестей и романов и большое научное сочинение по астрономии, в котором доказывается, что Солнце вращается вокруг Земли (бесконечно долго рассуждал о пятнах на солнце); эта книга, по его словам, эпохальная. С театром он больше не желает иметь дела и в течение ряда лет не был ни на одном спектакле; посещает только концерты*. Общается в Веймаре только с Вильгельмом Хегелером (тот получает за свои романы в последнее время по 25 тысяч марок). Чрезвычайно высоко ценит Гейне как лирического поэта и совсем не ценит как сатирика: «Мне вообще любая сатира не по душе. Тогда уж лучше бить как следует!» Показал мне шрам на голове — через правый висок до самого лба; это, будучи еще студентом, он получил на дуэли за какую-то свою выходку. — Он (Шлаф) не женат (всем хозяйством в его просторной и красивой квартире ведает его в высшей степени невзрачная сестра). При этом он жил с различными женщинами, с одной — целых два года. Он соединялся с ней иногда пять раз за ночь, причем она испытывала удовлетворение шесть раз. Был даже обручен с одной девушкой: «Но это была такая особа, что могла бесконечно тянуть жилы из человека». Свою огромную симпатию к России объясняет тем, что сам, возможно, славянского происхождения: Слав, а не Шлаф. — Переписывается с Флексером (не знал, что Волынский — его псевдоним), но никогда с ним не виделся. Прочел (разумеется, в переводе) его книгу о Достоевском[560] и написал ему после этого восторженное письмо («Я ведь весьма экспансивен»). Однако их переписка закончилась, когда он, Шлаф, написал, что у него другое, чем у Волынского-Флексера, мнение по поводу Леонардо да Винчи. — Тогда в Берлине у него начиналось нервное заболевание (мне казалось, я вижу перед собой безумца). — Ни разу не был в доме Шиллера (в Веймаре)! — Делает странные ударения в словах (напри-

* Когда я сказал ему, что его «Вейганд» не был понят у нас в России, он ответил: «У нас в Германии — тоже».

мер: «рокóко»), тогда как французские слова произносит на чисто немецкий лад (например: «декаданкс»). — Во время нашего многочасового разговора курил одну сигарету за другой. — Отлично помнит меня, потому что обладает, по его словам, великолепнной памятью и глубоко вбирает в себя все впечатления, даже самые поверхностные. — Он «не церковный, но религиозный человек». — Выглядит как Червинский + Куприн + Буренин, но в лице его совершенно нет выраженных индивидуальных черт, так что, если теряешь его из виду, сразу же забываешь о нем. — — — <...>

28 июля 1912

Позавчера в Куоккала внезапно умер Н.Ф. Анненский. Народу собралось гораздо больше, чем можно было ожидать в это время года (около двухсот человек на Финляндском вокзале и столько же на Волковом кладбище). Множество венков (среди них — два серебряных). После похорон отправился с Венгеровым и Баранцевичем в «Капернаум». Мы говорили о бесконечных каламбурах покойного, и я сказал, что в большинстве случаев они были игрою слов. Возражая мне, Венгеров привел в качестве примера высказывание Анненского, сказавшего по поводу столь же почтенных, сколь и скучных критиков: «Если бы Боцяновский женился на Колтоновской, они произвели бы на свет Ганжулевич». Про Ашешова (представившего мне на кладбище свою молодую жену) Венгеров сказал, что тот долгое время жил с Волпянской (ныне — мадам Жилкина), а затем женился на ее дочери. Я спросил Венгерова, какого он мнения о Лернере как человеке. «Он полусумасшедший и совершенно нетерпим в любом обществе, ибо тотчас вступает в перебранку со всеми; недавно он написал оскорбительные письма Щеголеву и Брюсову». <...>

2 августа 1912

Вчера был в Куоккала. Разговаривал с Брусяниным. Он живет там по паспорту своего друга, студента. Пока что его никто не тревожил.

У Репина было довольно скучно. Разговаривая с кем-либо, Нордман-Северова то и дело восклицала: «*Какая прелесть!*» Во время ужина провозгласила тост «за тех, кого мы не съели!»... Был и Невежин. Когда речь зашла о его «Второй юности», он сказал, скромно разводя руками: «Говорят, эта пьеса бессмертна. Что ж, я описываю в ней страсть, а страсть — бессмертна». — — <...>

17 августа 1912

<...> 5/18 июня в Берне скончался один из самых милых людей, каких я только знал, и один из немногих, которые любили меня совершенно бескоры-

стно, — гипнотизер Осип Ильич Фельдман. У меня множество его писем, но я их не привожу, поскольку он, строго говоря, совсем не писатель (хотя и опубликовал несколько маленьких рассказов, которые даже я не знаю). — — — <...>

13 сентября 1912

<...> Встретил графа А.Н. Толстого. Собирается на зиму переселиться в Москву. «Но 4 ноября приду непременно!» В издательстве «Шиповник» должны были нынешней зимой выйти еще три тома его сочинений, но он бойкотирует это издательство — не видит другого способа защитить себя от их притеснений.

18 сентября 1912

Вчера — именины моей жены. Неожиданно рано пришел Измайлов (без Клавдии, отправившейся на именины своей дочери). Когда я сказал, что Куприн тоже будет, он выразил сомнение: несколько часов назад он говорил с ним по телефону и почти ничего не понял: голос Куприна звучал как у пьяного. Но Куприн все же пришел с Лизой. Он был не пьян, но явно навеселе. Сразу же потребовал пива, которое ему, разумеется, подали. Говорил с Измайловым не в своем обычном тоне (презрительном по отношению ко всем остальным), но один раз назвал его «хитрый византиец». Особенно часто позволял себе сатирические выпады против А.М. Федорова (он тоже должен был прийти, но не пришел, возможно, постеснялся: два дня назад состоялась премьера его драмы «Любите жизнь», а вчера и позавчера все газетные рецензенты — в том числе и Измайлов — разнесли ее в пух и прах). <...> Он (Куприн) потребовал, чтобы я показал ему его письма к другим лицам, передавшим их в мой «музей»: «Хочу знать, за что люди ненавидят меня». Я показал ему несколько писем, он прочитал и сказал успокоившись: «*Ну, это ничего*!» Потом сказал: «В моем завещании я высказываю пожелание, чтобы после моей смерти обо мне не писали воспоминаний и не печатали моих писем, по крайней мере, пока живы мои близкие...» Я спросил, почему он не принял моего приглашения поехать в Париж. «Потому что у меня не было ни гроша — не только на поездку, но даже на пребывание в Ницце». В кабинет вошла Лиза, и он принялся танцевать с ней танец, который видел в Ницце. Потом попросил нас выйти и остался наедине с женой и Корецким: явно хотел занять денег. Но Корецкий (за ужином не выпил ни капли) сумел ускользнуть домой, не привлекая к себе внимания, — он сам сказал мне об этом; узнав, что Корецкий скрылся, Куприн очень разозлился. За ужином говорил он один, проявляя при этом поразительную наблюдательность: он видел и слышал все, что происходило на другом конце стола. Гово-

рил же он о борьбе и той ауре, которую создают мужские и женские тела «во время любви»: от мужчин исходит якобы козлиный дух, от женщин — аромат нарцисса. При этом он пил водку — из бокала, в который подливал тминную настойку. Поскольку он позволил себе в мой адрес несколько дерзостей, называя меня то «немцем», то «жалким переводчиком», я слегка рассердился. За столом (мы сидели рядом; я на узкой стороне стола, а он справа от меня на углу), когда он захотел мне что-то шепнуть на ухо и скомандовал: «Наклонись-ка ко мне!», я холодно ему ответил: «Сам наклонись!» — «Не могу, иначе свалюсь». — «Тогда я попрошу нашего слугу тебя поднять». — «Что? Поднять? Меня?» (Это прозвучало угрожающе, и в воздухе запахло скандалом.) Тогда я сказал более мягко: «Ну да, я ведь не могу поднять даже спички с полу, потому что врач запретил мне нагибаться. Как же мне поднять несколько пудов?!».. Он успокоился, однако подошел к моей жене и сказал: «Он, видите ли, попросит слугу! Да в любом другом доме я вышвырнул бы всех гостей в окно! Но ваш дом для меня — священное место. Поцелуйте меня!»

Лиза уехала в половине двенадцатого (внизу ждал автомобиль), чтобы успеть на последний поезд в Гатчину, отходящий ровно в двенадцать. Куприн ни за что не хотел ехать с ней вместе, и она тайком попросила меня не отпускать его и оставить у нас ночевать. В самом дружественном тоне я предложил ему это и несколько раз повторил свою просьбу (поддержанную моей женой), но он отказался: «Я никогда не сплю в чужом доме. Потому что у меня кровохарканье. Зато у меня нет геморроя!» — «Но как ты доберешься сейчас до Гатчины?» — «Товарным поездом... или на машине»... В половине второго он покинул нас, слегка шатаясь. Мы расцеловались на прощанье.

Перед ужином Куприн с воодушевлением говорил о Чехове и восхищенно прочитал вступление Мамина к «Аленушкиным сказкам». Заявил, что охотно станет членом комитета по организации намеченного мною юбилея Мамина... О своей готовности войти в юбилейный комитет объявили также Измайлов и Карпов. <...>

Куприн явился в высоких обитых сукном сапогах: страдает ишиасом. Я назвал его «Кот в сапогах». — Он предложил мне для моего музея двенадцать тысяч рублей (примерно год назад мадам Овсянико-Куликовская предлагала мне десять тысяч).

Корецкий собирается купить себе дом на Троицкой площади[561] за 210 тысяч рублей. Просил меня съездить с ним на Рождество в Берлин, Лейпциг и Дрезден: ему надо закупить клише.

Куприн сидел на оттоманке. Рассказывая, он скользнул взглядом по портрету Наташи и спросил мельком: «Кто это?» — «Поэтесса Грушко». — (Полупрезрительно:) «*Ах, эта*!!..» — (Я, строго:) «Ты ее знаешь?» — «Нет, только читал». — «Ну и что?» — «Нравится»... И он продолжал свой рассказ.

По поводу Наташи. Кроме поздравительной телеграммы я получил от нее вчера рано утром письмо, в котором она, между прочим, пишет, что скучает в Вологде и хочет скорей вернуться в Петербург... Пробыв в Вологде всего лишь два дня?!..

За ужином на противоположном конце стола сидела подруга моей дочери Мирра Эберхардт со своим женихом Данцелем. Они держались совсем неприметно, тем не менее Куприн спросил меня шепотом: «Кажется, любовная парочка?» Я подтвердил. Когда Данцель проходил мимо нас, он грозно окликнул его: «Подойдите сюда! Как Вас зовут?» — «Данцель». — (Кивнув головой в сторону Мирры, почти дружески:) «Я благословляю Вас!»

В мой альбом «У меня» он вписал, между прочим, шесть строк своего перевода верленовского стихотворения «Les sanglots longs...»[562] (написал с ошибкой: Verlain вместо Verlaine, sanglos вместо sanglots!) и хвастался, что никто еще не перевел это место так тонко и художественно, как он. Вписал также первую строфу своего перевода стихотворения Гейне «О, не клянись! Целуй меня...»[563] При этом он заставил меня прочитать эти стихи вслух по-немецки и самоупоенно воскликнул: «Дословно!» <...>

24 сентября 1912

Вчера в Гатчине. Сперва к Тихонову. Он возлагает величайшие надежды на свой ежемесячный журнал, который начнется с января[564]; приступает к этому делу, не имея ни гроша в кармане. «Все журналы, основанные без денег, процветали; а все те, у кого были деньги, — потерпели крах». Толстая, словно бочка, Котик разделяет его оптимизм. Но еще больше говорили о трех их собаках: это был бесконечный гимн их красоте, уму и талантам. (Тихонов вновь заставил меня потрогать толстую лапу Полкана, подобно тому как некогда Ноздрев велел Чичикову потрогать нос его собаки.) С семьей Куприных они не обмениваются визитами. Тихонов вызвался проводить меня к Будищевым. Он хотел проехать это короткое расстояние, но в конце концов пошел пешком, двигаясь куда медленнее, чем я, поскольку у него больное сердце (дома соблюдает строжайший режим; ничего не пьет, лишь изредка позволяя себе стаканчик красного вина). Дорогой он обменивался приветствиями с разными полицейскими чинами и дворцовыми служащими. Он уже много лет не видел своих обеих — ныне уже совершеннолетних — дочерей от Анны Ивановны: «Они не интересуются мной даже из любопытства!»

У Будищевых новая квартира, напротив прежней. Я предложил Шарлотте отпраздновать юбилей Будищева во второй половине ноября, потому что нужно отдать преимущество умирающему Мамину (26 октября... В «Биржевых Ведомостях» появилась статья, извещающая о переносе юбилея Будищева также

на октябрь). Она согласилась. Рассказывала про Куприна. Несколько дней назад он явился к ним совершенно пьяный; за ужином, в присутствии юной девушки, говорил страшные непристойности и даже погладил Шарлотту по шее, сунув ей руку под платье. Тогда она попросила его покинуть их дом. Он опустился на пол и стал причитать: «Меня гонят отсюда, меня гонят отсюда!» На днях они помирились, причем Куприн обозвал ее педантичной немкой, а она отпарировала: «Лучше быть педантичной немкой, чем русской свиньей!»... Мы заговорили о Лизе Куприной, и Шарлотта с Тихоновым стали уверять меня, что сердце у нее не доброе и не злое, поскольку у нее вообще нет сердца; она не образованна, безынициативна и не понимает своего мужа, отчего он и пьет: он влюблен в нее — и только.

Куприн договорился с Будищевыми, что ему позвонят по телефону, когда я приду (я еще позавчера объявил о своем визите). Так и сделали. Он пришел совершенно трезвый. Проявлял по отношению ко мне (в течение всего времени) уважение и почтительность: входя в комнату, всегда пропускал меня вперед, наливал мне первому и т.п.; всего один раз назвал меня «немцем». Согласился войти в комитет по организации юбилея Будищева (как и Тихонов). Будищев же, со своей стороны, войдет в юбилейный комитет по Мамину. Все единственно просили и умоляли, чтобы я не обременял их заседаниями: мол, времени нет и они готовы дать лишь свое имя. Куприн пьяный и Куприн трезвый — два совершенно разных человека... Тихонов рассказывал о своей встрече с Сенкевичем на Женевском озере; он представился ему на пароходе, который шел от Террите в Женеву, и был чрезвычайно удивлен, а потом и смущен, когда Сенкевич сказал ему, что знает его (Тихонова): читал, мол, его статью о себе в «Новом Времени»...[565] (Тихонов хвалил демагога Болеслава Пруса, противопоставляя его аристократу Сенкевичу)... Куприн сказал о Брешко-Брешковском, что тот никогда не сказал ни о ком ничего плохого; Тихонов согласился и стал изображать Брешко-Брешковского, подражая его голосу и манере держаться. Позднее Куприн сказал, что Шиллер не более чем какой-нибудь Брешко-Брешковский; зато Гете равно велик как поэт и как ученый... Нас позвали к обеду. Тихонов отказался от приглашения и отправился домой. Куприн выпил водки и предложил мне принять православие. Он недоволен Марксовым изданием своих сочинений: «Там наполовину дрянь, которую надо бы выбросить, особенно то, что я писал вначале...» 17 числа нынешнего месяца Ксения Жихарева довезла его в фиакре от нас до Соловьевского ресторана (угол Николаевской и Невского), где Куприн вышел. В ресторане он встретил портного Катуна и переночевал у него.

Куприн продиктовал мне нижеследующее стихотворение, которое сочинил несколько лет назад в Ялте за пасхальным столом у некоей Варвары Констан-

тиновны Харкевич (sic! — *К.А.*). Куприн и Бунин писали эти строчки поочередно (Бунин всегда любил хорошо поесть):

В гостиной у Варвары Константинной
Был убран стол отменно чинный:
Была икра, сосиски, сыр, сардинки,
И вдруг ото всего ни крошки, ни соринки!
Все думали, что это крокодил, —
А это Бунин в гости приходил! — — —
Мораль сей басни такова:
Когда, о римляне, приходят к вам этруски, —
Вы говорите им любезные слова,
Но прячьте далее закуски!

Куприну позвонили по телефону из дома и сообщили, что пришли гости. Он убедил меня поехать с ним, пообещав кое-что для моего «музея». Он спотыкался и в своем широком пальто из плотного сукна и такой же шляпе напоминал шофера... Дома его ждал певец Чупрынников с женой. Куприн был с обоими очень вежлив. После обеда пришел Будищев с Шарлоттой. Я спросил Будищева, сколько он получает в газетах за свои рассказы построчно. «Двадцать пять копеек». — «А сколько выходит за лист?» — «Триста рублей». — «Разве этот гонорар не слишком низок для такого писателя, как Будищев?» — «Нет, меня он вполне устраивает».

В комнату вошла Ксюша, дочь Куприна, и стала кричать на отца за то, что он не купил ей куклу (магазины в воскресенье были закрыты). Затем она демонстративно вышла. Дерзкое, с холодным эгоистическим взглядом, неприятное четырехлетнее существо!

Лиза спросила меня, правда ли, что ей по-прежнему нельзя навещать Маминых. Я подтвердил. Тогда она сказала, что визит к ним устроит ей Муся Иорданская, с которой у нее было несколько очень дружеских телефонных разговоров. — — —

Сегодня вечером я пригласил к себе «Тетю Олю», чтобы обсудить ряд деталей по устройству юбилея Мамина. Она категорически заявила: пока она живет с Маминым, вход в ее дом для Куприных закрыт. Аленушка, по ее словам, жаждет увидеть Лизу (свою тетю). И стоит Лизе хоть раз появиться у Маминых, как и Аленушка начнет посещать Куприных. А этого не должно случиться, потому что дом Куприных — безнравственный дом... Куприн якобы давно уже желает встретиться с Маминым и как-то раз написал ему: поскольку его первая дочь (от Муси) назвала его «дедом», то ему хотелось бы, чтобы и вторая его дочь (от Лизы) звала его так же; потому он и хочет привести ее к нему. Мамин оставил это письмо без ответа (видимо, под влиянием «Тети Оли». — *Ф.*).

28 сентября 1912

Был сегодня у Потапенко (Саперный пер., 19, кв. 1). «Могу себе представить, зачем ты пришел: хочешь, чтобы я вошел в комитет по устройству юбилея Мамина». — «Да». — «Конечно! С удовольствием!»

На его письменном столе в рамке, в которой раньше был портрет Марьи Андреевны, — моя бывшая ученица Иппа (разведенная графиня Зубова) с ребенком. Не **его** ли это ребенок? В свое время говаривали разное. Этим летом он провел две недели в Потсдаме — у нее.

Рассказывал, что его дочь (мадам Охотникова) написала «порнографический роман» (Ксения Жихарева, она же «мадам Аверьянова», говорила мне, что та принесла Аверьянову ужасный порнографический роман, который он отказался издавать; она удивлялась, что такое юное существо способно писать такую похабщину). Туся (живет там же, где и отец, или, вернее, отец живет там же, где она) тоже, по его словам, что-то пишет. <...>

Он выкуривает за день шестьдесят папирос (глотает дым). Много лет тому назад он целых полгода совсем не курил: хотел стать певцом, и какой-то врач на юге России прижигал ему горло ляписом. Но потом приехал Чехов (это было их первое знакомство), предложил ему папиросу — и все началось сначала.

Его (Потапенко) письменный стол выглядит как мусорный ящик: сплошной беспорядок, обрывки бумаги и пыль; на подставке для хрустальной чернильницы — окурки от папирос; вокруг — пустые спичечные коробки.

6 октября 1912

Вчера, в час дня, у меня состоялось заседание Маминского юбилейного комитета. Сперва был завтрак, во время которого говорилось о чем угодно, только не об юбиляре. Потом мы сфотографировались группой. И лишь затем началось совещание. Было высказано пожелание устроить вечер в пользу Литературного фонда: писатели и артисты читают отрывки из произведений Мамина. Но это не просто осуществить, ибо выяснилось, что лишь несколько человек читали Мамина, да и те — мало; а некоторые вообще не знают его как писателя. Овсянико-Куликовский отказался писать статью о Мамине, сославшись на то, что не читал его произведений, а для чтения теперь слишком мало времени. «Зато Вы читали Федорова и хвалили его!» — заметил на это Куприн. Этот упрек он повторял неоднократно, и многие его втайне поддерживали. Дело в том, что Овсянико-Куликовский напечатал в «Речи» хвалебную статью о пьесе Федорова «Любите жизнь»[566], недавно поставленной в Александринском театре, не имевшей успеха и раскритикованной всеми газетами... Все бранили Академию наук за то, что Мамина не выбирают в почетные академики («ведь он

умирает»), отдавая предпочтение бездарностям вроде Лугового. Благодаря таким решениям, — сказал Венгеров, — Академия полностью теряет свой авторитет в глазах публики. Овсянико-Куликовский, сам академик, пытался сделать хорошую мину при плохой игре.

Присутствовали также: Измайлов, Чириков, Карпов, Потапенко и Будищев. Последний явился с Куприным сразу после полудня. <...>

Примерно неделю назад я написал письма Бунину и Л. Андрееву и предложил им принять участие в Маминском комитете (или, по крайней мере, дать свои имена). Бунин в ответ прислал мне свою книгу «*Суходол*» — без какого бы то ни было сопроводительного письма. Что же касается Андреева, то мне в шесть часов позвонила по телефону жена Фальковского и сказала, что Л. Андреев удивлен моим бестактным предложением войти в комитет, членом которого является Куприн; дескать, он охотно придет ко мне, но без Куприна. Мне казалось, ответил я, что они восстановили прежние добрые отношения, ведь с момента их ссоры прошел уже почти год.

Да, вот еще. За завтраком Куприн крикнул мне: «Уймись, немец!» На это я спокойно ответил: «Сядь на место, француз!...» Все засмеялись.

15 октября 1912

Вчера пришел Лазаревский. Чувствует себя необычайно свежим и здоровым; деятелен и творчески активен. Суетлив, как обычно, и телом, и духом. Видел в Киеве «сургученка» — так он зовет сына Сургучева и своей покойной жены. Провел лето в южной России, где не раз нарушал верность своей Ольге Афанасьевне. Женится ли он на ней, еще не решено. Он обладал ею извращенно — она боится беременности. За обедом в «Капернауме» он оставил в моем альбоме такую запись: «*Столько лет я знаком с Федором Федоровичем и только во 2-й раз встречаюсь с ним в ресторане*». — —

Поездом в половине пятого я отправился в Куоккала к Свирскому, пригласившему меня навестить его: он празднует 20-летний юбилей своей писательской деятельности. Ели, пили и танцевали, особенно в той комнате, где умер и лежал на смертном ложе Н.Ф. Анненский. Было, пожалуй, не менее шестидесяти человек; из писателей: Брусянин, Цензор, Кармен, Грин. Когда прочитали длинную телеграмму от Корецкого с заключительными словами «Ваш верный пес», Л. Д'Ор сухо заметил: «Плеоназм! Просто: пес!» Всеобщий смех. Будищев продиктовал мне текст телеграммы, отправленной им недавно в Москву Сумбатову (Южину) в связи с его юбилеем:

За здоровье пью Сумбатова,
Драматурга тароватого.

За артиста пью, за Южина,
В ком талантов ярких дюжина.

Присутствовал, кроме того, художник Бродский. Репина не было.

Очень красива была ответная речь Свирского, которую он завершил тостом за свою жену, и сказал, что обязан всем ей — верной спутнице его жизни. Он поцеловал ее со слезами на глазах, и все гости искренне захлопали. <...>

17 октября 1912

Навестил Мамина. Когда я с ним поздоровался, он не поднял глаз, уставившись перед собой неподвижным взглядом. «Митя, разве ты не видишь Федора Федоровича?» — спросила жена. — «Нет» (едва слышно). Он еще более похудел; лицо напоминает пергаментную маску, шея — куриную ножку. Лежит на водяном матраце. У него два пролежня; один — над копчиком — причиняет ему сильную боль, поскольку все время гноится и его нужно чистить. Лепетал каждые три минуты: «Оля, *плохо мне*!» Не мог отхаркаться; у него началась отрыжка. «Тетя Оля», как обычно (во всяком случае, в моем присутствии) любовно ухаживала за ним и подбадривала его морально. Она стала меня уверять, что сегодня он чувствует себя куда лучше, чем в воскресенье, когда его жизни грозила серьезная опасность; теперь же она миновала, — так сказал ей врач (Компанеец). По ее словам, Мамин равнодушен к своему предстоящему юбилею; «Слишком поздно!» — вот все, что он говорит по этому поводу. Сказал доктору Жихареву, что юбилей состоится на Волковом кладбище (однако поговаривают, что сразу же после смерти Маруси он купил себе рядом с ее могилой два места). Уходя, я сказал ему: «Маменька, классные дамы скучают по тебе и спрашивают, почему ты не приходишь». — «Потому что они плохо со мной обошлись!» — ответил он. Мы договорились с «Тетей Олей», что 26-го я приду с представителями Юбилейного комитета. Если ему будет совсем плохо, мы перенесем это на другой день. — —

Потом зашел к Венгерову. Недели полторы назад Аня, жена Всеволода, вернувшись из Вологды, рассказала, что Наташин отец забрал себе все деньги партии националистов[567] и скрылся из города. А вчера я получил от нее письмо, датированное 12-м числом, где она между прочим пишет, что в данный момент в прихожей стоит ее подвыпивший отец и ругается с тещей. Раз в неделю (иногда — два раза) я получаю от нее письмо. В частности, написала мне, что Наталья Васильевна Маркова не имеет ничего общего с Наташей Грушко! Жалуется, что ей ужасно тяжело живется в новой семье: свекровь то и дело бранится, так что она, Наташа, совсем не может работать; у нее подкашиваются ноги; она попала в болото: мне следует за нее молиться. Уверяет, что ее отец, хотя и

принадлежит к правым (он создал в Вологде объединение националистов), но подлецом никогда не был. Умоляет, чтобы я записал ее в Красный или Голубой крест (хочет отправиться на фронт сестрой милосердия), иначе она просто убежит из дома, окажется в сумасшедшем доме или лишит себя жизни.

Да, но что я могу для нее сделать? Она обречена! В моих письмах к ней я пытаюсь и в шутку, и всерьез отговорить ее от мысли стать сестрой милосердия. Это у нее, скорее, импульс, нежели внутреннее убеждение. <...>

Явилась Гриневская и вскоре, вслед за ней, — Ватсон. Последняя бранила Арабажина: он якобы осмелился открыто заявить, что Буренин не был убийцей Надсона[568]; в другой раз он защищал в какой-то газете статью, подписанную Solus, то есть собственную статью, поскольку Solus, как и К. Арн, — его собственный псевдоним (однако он сделал вид, что не знает, кто такой этот Solus). Когда эта воинственно крякающая утка удалилась, Гриневская рассказала следующее. Во время какого-то публичного вечера памяти Некрасова, на котором должна была читать и Гриневская, Ватсон стала убеждать публику, чтобы та шипела, когда Гриневская выйдет на сцену, — потому что Гриневская — «нововременка»[569]. Так и произошло. — —

Сегодня, когда я был у Мамина, Аленушка засунула себе в рот не просто пальцы, а прямо всю руку, и там стала ею двигать; затем, говоря на ломаном немецком, вдруг сунула правую руку себе под платье и стала чесать ногу; потом опять стала чесать ногу — левой рукой... Я спросил, ухаживает ли и она за отцом: «Нет, папа сердится, когда я подхожу к нему; он не может меня видеть!» (Значит, он отстраняет ее с напускной резкостью; да и чем может помочь ему беспомощное существо?... Впрочем, Жихарев рассказал мне недавно, что Аленушка ему жаловалась: она прочитала отцу какой-то написанный ею рассказ, а он назвал его очень слабым, — так что она расплакалась.)

2 ноября 1912

Прошлой ночью, в час, умер Мамин. Сегодня я навестил его семью и узнал следующее. В течение вчерашнего дня он тяжело задыхался и не мог выплюнуть мокроту. Сердце и пульс (позавчерашней ночью) совсем останавливались. Вызвали врача, который сделал три укола кофеина: безрезультатно. Помог лишь четвертый укол — камфары. Стало слышно, как бьется сердце; грудь тяжело вздымалась; он задыхался. Один глаз закатился. «Тетя Оля» держала руку на его плече, и он тихо выдохнул: «Держи сильней, до боли!» Потом он (Мамин) успокоился и заснул. У родственников опять затеплилась надежда. Днем он то и дело начинал плакать, не говоря при этом ни слова. В полночь его приподняли так, чтобы он полулежал. У кровати дежурила сестра его жены. Около часу ночи он сделал два глубоких вздоха, в час — третий, и все было кончено.

Он выглядит очень хорошо (его заморозили). Свой юбилей он воспринял совсем апатично. Лишь однажды, когда жена предложила ему выслушать текст какой-то телеграммы, он сказал: «Читай!»; другие же телеграммы не стал слушать: «Позже!» И когда она захотела показать ему фотографию нашей группы, он опять сказал: «Позже, когда поправлюсь». И все-таки по нему было видно, что он рад юбилею.

4 ноября 1912

Сегодня хоронили Мамина. На кладбище Александро-Невской лавры была страшная толкотня, хотя толпа на девять десятых состояла из столичной черни: ведь в тот же день, что и Мамин, умер Антоний. Я устал, как собака, а потому уехал, не дожидаясь, когда гроб опустят в землю. Но я видел могилу, тесно примыкающую к могиле Гончарова: это облицованный камнем склеп, в котором покоится металлический гроб Маруси (Мамин приобрел это место еще двадцать лет назад, когда она умерла). Рядом с могилой стоял временный деревянный крест с идиотской надписью: «*С[анк]т. петербургский потомственный почетный гражданин*» и т.д. Вчера и сегодня к его гробу несли обвитые лентами венки — из металла, фарфора и живых цветов. О таких почестях покойный и мечтать не мог. Среди прочих присутствовал Баранцевич, с которым я не поздоровался: он стоял в стороне от меня и, вероятно, меня не заметил; во всяком случае, он не подходил к людям, с которыми я разговаривал.

6 ноября 1912

Позавчера — мой день рождения (53 года). Могу назвать 120 человек, чьи имена мне известны, на самом деле народу было больше; четверых или пятерых я вообще не знал (и они меня наверняка тоже), поскольку порой являлась вдруг группа, состоящая из шести или даже восьми человек, и мне представляли из них какого-нибудь икса или игрека. Присутствовали: Евтихий Карпов (с женой) и Н.А. Карпов, Маныч с Григорьевой-Витмер, Ксения Жихарева (со своим бывшим мужем, врачом), Овсянико-Куликовский (с женой и двумя барышнями), Липецкий (привел с собой Григорова, который внешне представляет собой миниатюрную копию Горького), спутница покойного Германа Банга (не помню сейчас ее имени), художник Денисов-Уральский, князь Бебутов, богатый коллекционер рукописей Юргенсон, корреспондент франкфуртской газеты Эдгар Мешинг, фотограф Здобнов, адвокат С.П. Елисеев (любитель угоститься на чужой счет), д-р В.В. Чехов, Сутугин, юная поэтесса Липина[570], Е.А. Ляцкий, Будищев, Рославлев (с женой; не выпил ни капли алкоголя), Тэффи, Рукавишников (с женой, удобно устроившейся среди мужчин в углу, где пили пиво, — к вящему неудовольствию пьяного, но державшегося в рамках приличий Булацеля), Ватсон и Ольнем, философ В.Н. Сперанский, скульптор Гинцбург, Дымов (с женой),

Рудич, Сологуб (один; ни за что не хотел фотографироваться вместе со всеми в группе), Венгеров с сестрой Зинаидой, Олигер (с женой), Грин, Годин, Андрусон, Измайлов (с «женой»), Аверченко, Брусянин, Регинин, Евгений Френкель, Милль, А. Зарин, Быков (с женой Зинаидой Ц.), Сладкопевцев (с большим успехом исполнял свои «сценки» и имитировал канатоходца и жонглера), Коринфский (пришел трезвый, несмотря на то, что принимал участие в поминках по Мамину, и пил у меня весьма умеренно), В.П. Лебедев, инспектор Екатерининского института Карцов, Гриневская, Оссендовский, Гребенщиков, В.Н. Лодыженский, Белоусов (из Москвы), Лукьянов, Невежин, Мейснер, Шиле, Чапыгин, Потапенко, Арабажин, Ленский, Студенцов, Лазаревский, Луговой (с женой), Василевский Не-Буква (с женой), Пружанский, Цензор, И.И. Соколов (привел с собой Кильштет), Пешкова-Толиверова, Чебышева-Дмитриева, Бухарова, Котляревский, профессор Кареев, граф Л.Л. Толстой (маленький сын великого отца), Айзман (с женой), Караскевич-Ющенко, Хирьяков, Яблочков, Бронштейн, жена Чирикова (он отправился к театру военных действий), Анатолий Леман с женой (Марк Басанин), Ходотов с Вильбушевичем и др. Наташа пришла с длинноносой дочерью профессора Шрёдера и, здороваясь, поцеловала меня в губы. Щеку ее украшал кусочек черного пластыря, что мне совсем не понравилось. На ее пальце (это меня весьма удивило) — два обручальных кольца. Но я не успел спросить ее об этом — мне вообще едва удалось перемолвиться с ней парой слов. Она почти ни с кем не флиртовала. По ее просьбе я познакомил ее с Анатолием Леманом, прочитавшим ей мистико-астральный доклад, коему она благоговейно внимала. На лестнице она вела «интимный» разговор с Вильбушевичем — он прочел ей назойливый психологический доклад; после этого я сказал ей: «Вы опять впустили в свою душу незнакомца в галошах?!..» Она уехала домой уже в половине первого вместе с профессорской дочкой, своей подопечной.

Баранцевич отсутствовал (кажется, его впервые не было у меня в этот день) и даже не прислал поздравления. Зато поздравления прислали: Я.Я. Гуревич, Ремизов, Лукашевич (у нее болезнь легких; явился, правда, ее семейный выводок из шести человек), Философов, Феддерс из Киева, Григорий Спиридонович Петров из Варшавы, Тихонов с женой из Гатчины, Пантелеев и другие.

Я получил в подарок сотни писательских писем, множество книжек с автографами и немало портретов. В обморок я не рухнул лишь потому, что дважды принял лекарство, укрепляющее силы. <...>

22 ноября 1912

Наташа спит в гостиной — как и вчерашней ночью. Вчера за обедом она выпила с моей дочерью на брудершафт*... <...>

* За совместные проказы я прозвал их Макс и Мориц.

Позавчера, в девять, она поехала со мной в фиакре к Овсянико-Куликовскому, который решил вспрыснуть свой въезд в новую квартиру (Гончарная, 22, кв. 10). На мой вопрос, не желает ли она совсем у нас поселиться, она сказала, что изобразит, будто хочет вернуться на Княгининскую[571], и останется в том случае, если моя жена и дочь будут уговаривать ее остаться.

У Овсянико-Куликовского я пробыл до одиннадцати часов; среди прочих присутствовали: Айзман, Горнфельд, Жилкин, супруги Ковальские, которые пишут совместно... Табличка на двери Овсянико-Куликовского отражает энергичный характер его супруги; на ней написано: «*И.Л. и Д.Н. Овсянико-Куликовские*».

Затем (позавчера) поехал с Наташей к Авенариусу, у которого состоялся первый «Вечер Случевского». <...> У Авенариуса было тоскливо. Целая группа черносотенцев (Кильштет, Грибовский, Хвостов (читал оду великому князю), Радченко, отвратительный Уманов-Каплуновский, милый Вентцель-Бенедикт, Мазуркевич; кроме них — Мейснер, Цензор, Катанский, Курдюмов, Умов, И.И. Соколов, А. Зарин, Кривич-Анненский и Гумилев. Кильштет объявила, что следующий вечер состоится у нее и она пригласит Сыромятникова (отъявленного прохвоста!). Мое сообщение о предстоящем юбилее Будищева было воспринято в высшей степени прохладно. <...>

У Авенариуса мы с ней при всех говорили друг другу «ты». — —

<...>

25 декабря 1912

Вчера у Корецкого познакомился с Юлией Евгеньевной Писаревой (племянницей покойного критика). Приятно-смазливое личико, даже отдаленно не напоминающее фотографии. Уже несколько недель она живет у Корецкого, и он, кажется, в нее влюблен (пытается при любой возможности гладить и целовать ей руки). Заверял ее в своей сердечной привязанности, она же внимала его словам с расстроганно благодарной улыбкой. В моем присутствии (и в отсутствие жены) подарил ей какое-то украшение в продолговатом футляре. Я предположил, что ей примерно девятнадцать лет, самое большее — двадцать один. На самом деле ей тридцать два года; у нее пятнадцатилетний сын (шестнадцатилетней девушкой она вышла замуж за военного, с которым уже шесть лет в разводе). Подарила мне три своих книги. — — — <...>

29 декабря 1912

<...> Вчера провел часок у Венгерова. Он говорил о Вячеславе Иванове, уехавшем в ноябре за границу, потому что его падчерица Вера Шварсалон ждала ребенка; а отец ребенка — сам Вячеслав Иванов!!! Иванов просил своего друга

М. Кузмина жениться на Вере. Однако тот отказался, да еще стал болтать направо и налево о «кровосмешении». За это в начале декабря он (Кузмин) получил в театре Рейнеке пощечину от Сергея Шварсалона, брата Веры (о чем сообщалось в различных газетах). <...>

4 января 1913

<...> Сидел с полчаса у Ходотова. Неуспех и уничтожающую критику своей пьесы «*Наследье родовое*», премьера которой состоялась позавчера[572], он приписывает исключительно тому, что актеры неверно поняли свои роли (он не присутствовал ни на одной репетиции). —

Затем — часок у Владимира Тихонова. В середине декабря он переселился сюда: Фонтанка, 86, кв. 47. Квартира находится в том же доме, что и редакция, расположенная внизу во дворе. Он ждал меня и принял, тем не менее, в поношенном халате с большими дырками на локтях. О своем «Кругозоре», первый номер которого должен выйти 15 числа этого месяца, он сам не сказал ни слова; кажется, дело с подпиской продвигается весьма туго (Котик сообщила мне в редакции, что у них тысяча подписчиков и что для начала это совсем неплохо); во всяком случае, он вздыхал: «Ах, если бы кто-нибудь мог одолжить мне сейчас две тысячи рублей!» Когда я спросил его, помирился ли он с Амфитеатровым, он ответил: «Нет. Впрочем, мы и не ссорились. Мы просто разошлись друг с другом. А если уж я с кем-то разошелся, мне с ним никогда не сойтись». При этом он показал мне два карандаша, один красный, другой голубой, которыми Александр III подписывал различные резолюции, а также — толстую сигарету того же императора (эти «реликвии» он получил в Гатчине от какого-то придворного лакея). — —

Затем — часок у доктора Жихарева. Ему уже приходилось слышать разговоры об инцесте Вячеслава Иванова. Рассказал, что пару лет назад, в одном обществе, его (Иванова) спросили: правда ли, что он — гомосексуалист? Он не ответил на этот вопрос определенно, но прочитал целый научный трактат о гомосексуализме, носивший весьма апологетический характер. Если при этом учесть, что у него жил Кузмин, скандально известный гомосексуалист, то...

Я говорил с ним (Жихаревым) о Наташе и рассказал ему про несколько ее экстравагантных выходок в то время, когда она жила у нас (об интимных подробностях я умолчал; о Бубликове и Юргенсоне не упомянул ни единым словом). <...>

13 января 1913

Вчера — юбилей А.Е. Зарина: 25-летие писательской деятельности. Количество и стоимость подарков превосходили в десятки раз литературную ценность

юбиляра, пригласившего гостей (вероятно, из опасения, что участников обеда в его честь соберется совсем немного) к себе домой. Завершая свою ответную речь, Зарин неожиданно воскликнул: «А где Фидлер?» Я сделал шаг вперед, он подошел ко мне и обнял со словами: «Хочу в твоем лице поцеловать всех русских писателей!» Все захлопали, я же почувствовал себя крайне неловко... Присутствовали: Будищев, Коринфский, Авенариус, Мазуркевич, Измайлов, Рышков, Брусянин, Булацель, Грин и другие. Некоторые спрашивали, хорошо ли я провел рождественские дни в Финляндии — с Наташей. И.И. Соколов (внешне — джентльмен, внутренне — хам) сказал, что я развлекался больше, чем мне положено, поскольку весьма похудел. — — <...>

19 января 1913

Вчера Овсянико-Куликовский давал бал (в день рождения своей дочери). Были и гости в масках, из писателей же обрядился (в костюм Пьеро) лишь один Ковальский. Чириков сказал мне, что многочисленные письма признательных читателей для него гораздо дороже, нежели самые восторженные отзывы в печати. Присутствовали также: Щепкина-Куперник, Кохановский, Арабажин, Рославлев (состоял из одних картонных кубиков, воплощая «кубиста» или «эгофутуриста»). Сургучев ухаживал за его женой (я выпил с ним, и мы вместе отправились домой). Волей-неволей пришлось выпить и с Великопольским, который уселся рядом со мной. Зато удалось уклониться от знакомства с Лернером, иначе я мог бы дать ему пощечину... Овсянико-Куликовский и его жена в качестве хозяев держались необычайно просто и любезно. — —

27 января 1913

Вчера снова посетил Ватсон, у которой не был уже много лет, — она праздновала именины. Должен признаться, я не слишком охотно появлялся там в этот день, как и 1 декабря (в день ее рождения), хотя она постоянно делала мне упреки по поводу моего отсутствия. Визиты к ней представляли для меня интерес, когда еще были живы Мамин, Михайловский, Южаков и Острогорский. Но когда их не стало, — чего ради мне туда наведываться! Члены редакции и сотрудники «Русского Богатства» образовали группу, которая становилась все более узкой; шушукаясь друг с другом, они с холодной вежливостью отстраняли от себя каждого «непосвященного» и лишь в лучшем случае снисходили до того, чтобы сказать ему несколько слов. Поэтому я чувствовал себя там все более и более одиноко.

Вчера, однако, атмосфера была не столь затхлой, как обычно. Ибо, кроме фаланги «Русского Богатства», там оказались и другие «зовущие к бою» — Овсянико-Куликовский, Сургучев (он все время крутился возле какой-то анемичной,

неинтересной и даже почти уродливой молодой женщины, которую и отправился провожать домой), Кондурушкин, Батюшков, Леткова и Ольнем (последняя, хотя и принадлежит к «группе», но производит очень приятное впечатление своей объективностью). В столовой было так тесно (огромное число безымянных гостей, в основном женщин), что пробраться вдоль стола было абсолютно невозможно; поэтому Ватсон забралась на диван и стала по нему ходить; этим воспользовался актер Самойлов (полупьяный — другим я никогда его и не видел), стащил ее с дивана на пол, обнял и расцеловал — ко всеобщему веселью.

2 февраля 1913

Сегодня зашел к Венгерову и попросил его войти в комитет по устройству юбилея Овсянико-Куликовского. Он согласился, «хотя я не слишком его люблю; он совершал недостойные поступки, причем под влиянием своей деловой супруги, которая просто каналья; впрочем, если бы не она, он давно бы спился»... Он (Венгеров) обещал поддержать Наташино заявление, поданное в Литературный фонд на стипендию для Высших курсов[573].

Вместе с ним я поехал в гимназию Гуревича, где проводилось ежегодное собрание Литературного фонда. Котляревский и Батюшков согласились стать членами Комитета (по организации юбилея Овсянико-Куликовского), а также поддержать заявление Наташи. <...> Таким образом, ее дело можно считать решенным, — лишь бы нашлась еще одна свободная стипендия!

10 февраля 1913

Сегодня в час дня у меня за завтраком (как обычно в подобных случаях) прошло заседание Комитета по устройству юбилея Овсянико-Куликовского. Не смог явиться лишь Котляревский: ему пришлось куда-то уехать. Глуховатый и близорукий К.К. Арсеньев олицетворял собою декорацию. Котляревская подарила мне свою фотографию, где изображена с кошкой, сидящей у нее на коленях, и сказала: «Это моя постоянная сотрудница». Измайлов уверял, что никогда более не станет членом юбилейного комитета, и добавил: «Плюнь мне в глаза, если я хоть когда-нибудь устрою юбилей в свою честь!» Чириков чувствовал себя неважно: бронхит. Присутствовали также: Максим Антонович Славинский (сотрудник редакции «Вестника Европы»), Кохановский, Венгеров и Батюшков. Нас фотографировал Булла. <...>

15 февраля 1913

Почти ежедневно встречаю по утрам издателя П.П. Сойкина. Сегодня я спросил, как продвигается его иллюстрированное, в отдельных выпусках, изда-

ние Толстого. «Вышло всего четыре выпуска, но и они обошлись мне в семьдесят тысяч — благодаря господам Сергеенко и Волынскому-Флексеру. Первый урвал себе целых двадцать тысяч. Хоть они и не раздели меня полностью, но все же раздели. Единственно честным человеком оказался покойный Молоствов».

18 февраля 1913

Вчера портной Александр Иванович Катун, сумевший возвысить своё ремесло до уровня искусства и к тому же ловко его рекламирующий, праздновал в своей квартире 25-летний юбилей своей деятельности, способной осчастливить многих людей. Любопытствуя увидеть чуждую для меня среду, я принял его приглашение, однако ушел уже в десять. Из писателей присутствовали: Гриневская (в белом платье с черной шалью на груди), Хохлов, Лазаревский (когда нас фотографировали, он хотел непременно встать рядом с Куприным, что ему в конце концов удалось), Тулин, Трозинер. Куприн явился (с женой) совершенно трезвый и был таковым еще в десять часов, когда я уходил. Во время службы он поцеловал протянутое ему Евангелие. Забравшись на мой стул, он (Куприн) прочитал шутливое стихотворение, соответствующее празднеству. Записывая его в мой альбом, он прочитал на обратной стороне листа запись Грузенберга, в которой встречается слово «изречение». Над первой «е» он написал «ѣ», но зачеркнул эту букву, когда я рассказал ему о записи Чехова в моем старом альбоме (Чехов исправил слово «изречение» в записи Суворина). <...>

21 февраля 1913

Был вчера в Куоккала. Сперва у Свирского. Он увлечен сочинением афоризмов; создает их в день не менее десяти. Бранил Баранцевича за скупость, эгоизм и «дипломатичность». Тихоновский журнал «Кругозор» назвал — «Круговздор». Венгеров прислал ему типографски отпечатанный циркуляр с просьбой предоставить автобиографические сведения; просьба оставлена без внимания: «Он должен собственноручно написать мне письмо». Подарил мне около пятидесяти писем писателей к нему. К Репину идти не хотел, хотя они ладят и он навещает его довольно часто. «Почему ж Вы не идете?» — спросил я. «Не успел нынче приласкать жену», — улыбнулся он.

У Репиных позавчера «праздновали» день отмены крепостного права. В саду устроили санную карусель (сани прикреплены к вращающейся длинной штанге) и ледяную горку. Примерно пятьдесят рабочих и крестьян с женами и детьми (каждый шаг приходилось делать с осторожностью, чтобы не наступить на них). Все пожимали всем руки, вернее, они пожимали всем руки и чувствовали себя, то есть вели себя как дома. К «обеду» пригласили лишь в четверть седьмого. Раньше здесь подавали горячее (жаркое и вареное), теперь — только хо-

лодное, причем — сырое. На вертящемся столе в банках были: листья капусты, резаные соленые огурцы, консервированные яблоки и брусника; в мисках: моченый горошек и овес; на десерт — пряники, орехи и монпансье. Ни капли алкоголя, только лимонад местного производства. Стоял невероятный гвалт: большие и маленькие руки тянулись и хватали еду, наталкиваясь друг на друга. Нордман-Северова помянула царя-освободителя, и присутствующие почтили его память вставанием. Кто-то вспомнил о почивших мучениках за свободу, и все, по предложению Репина, прокричали и пропищали им «*Вечную память*». Один из гостей произнес тост за ныне здравствующих борцов-освободителей, и опять-таки Репин предложил пропеть им «*многие лета*» и задал тон всеобщей какофонии. То была песня, «что камень может размягчить иль ярость в сердце заронить»[574]. Все это празднество отдавало каким-то лицемерием, не способным согреть душу, и это было видно по каждому из гостей. К тому же все остались голодными. Нордман-Северова вышла к «обеду» в цветном «финском» костюме, подозрительно отдававшем Голландией, так что Репин восторженно воскликнул: «*Бабка-голланка*»[575]. Всем любопытствующим она демонстрировала ногу, которую ставила на стул, призывая восхититься ее лаптями; Фальковский, воспользовавшись случаем, ущипнул ее — вполне пристойно — за лодыжку. Она (Нордман-Северова) стала девически стройной и, словно девушка-подросток, бросала всем, особенно Репину, томные взгляды и придавала своему голосу зефирный шелест. Все — маскарад!

Арабажин снова (впервые — на юбилее Мамина) высказал мне свое недоумение по поводу того, что его не выбрали в члены юбилейного комитета для чествования Овсянико-Куликовского; он подчеркнул, что *обижен*; я обещал ему, что на ближайшем заседании комитета предложу его кандидатуру... Чуковский сообщил мне, что Дорошевич предлагает ему каждую неделю помещать в «Русском Слове» по статье: гонорар — пятьсот рублей ежемесячно (то есть рубль за печатную строку). Согнув длинные ноги, он присел на корточки перед своим маленьким (очаровательным) сынишкой и стал размахивать длинными ручищами.

Нордман-Северова предложила тост за тех «бесталанных, что работают ради нас, подвергая свою жизнь опасности», — за трубочистов. И тут же появились два салонных трубочиста, которые перед тем вымазали себе на кухне щеки золой, держа в руках по безукоризненно чистой метле.

Была также Гриневская: в черном платье, с пестрым шелковым платком на груди.

17 марта 1913

<...> Вчера у меня был «музыкальный вечер»; играл на скрипке сербский вундеркинд, девятилетний Милан Иованович, чьим «импресарио» является Булацель. Игра мальчика имела всеобщий успех... Потапенко — с ним пришла

его дочь Туся (курит) — рассказывал за ужином, что Антон Чехов был одно время женихом Лидии Алексеевны Авиловой (это говорил ему сам Чехов). Но «к счастью» (чеховское выражение) брак не состоялся. — Василий Немирович-Данченко (он пришел поздно с какого-то ужина и ушел часа через два: спешил в какое-то общество) рассказал, что номер комнаты в его московской гостинице оказался 139; увидев этот несчастливый номер (13 да еще 1+3+9=13), он тотчас заподозрил неладное — так оно и вышло: он упал, выходя из ванной комнаты, затем извозчик опрокинул сани и он вывалился наружу, и, наконец, ему пришлось оплатить вексель знакомого, за который он поручился. Чириков и Карпов пришли со своими женами и были в довольно приподнятом настроении. Ксения Жихарева привела с собой сибирского писателя Вячеслава Шишкова. Была и Лукашевич. Наташа флиртовала с каждым, но в исключительно пристойной форме; при этом все то и дело смеялись. <...>

22 марта 1913

Встретил сегодня Волынского (Флексера), который отправился вместе со мной в фотоателье Буллы. Узнав, кто это, Булла сфотографировал его несколько раз; потом снял нас вместе*. <...>

27 марта 1913

Около получаса провел у Потапенко. Спросил его: «Ну что, проводил мою даму на поезд?[576]» — «Да, и даже посадил в вагон». — «А много было провожатых?» — «Ни одной живой души». — «Ну а сам-то живой добрался до дому? — «Что ты хочешь сказать?» — «Она может *зафлиртовать* тебя насмерть?» — «Хаха, нет. Она (Наташа) очень мила... А у меня все отношения с женским полом заканчиваются трагически — браком...» — Спросил, кто она такая и чем занимается (то есть не имеет понятия о ее жизни).

О современных писателях Потапенко отозвался так: «Между ними нет *единения*. Всюду — крупные и мелкие партии, крупные и мелкие фракции! Все неискренни (таков стал в последнее время даже Чириков, который раньше мне очень нравился), все завидуют друг другу. При этом соперничают не ради известности, а ради денег»... О Леониде Андрееве: «Он очень одарен. Но поскольку всегда выдумывал невероятное, — черпая из головы, а не из сердца, — он и должен был непременно прийти к *краху*, который теперь наступил»... О Куприне: «Он пропил свой талант, его мозг совершенно отравлен алкоголем»... О Коро-

* Он поднялся по очень крутой лестнице без малейшей одышки. Когда я выразил свое удивление, он сказал, что всегда поднимается «так», и одолел одним махом две ступеньки.

ленко: «Я никогда не считал его особо талантливым; конечно, у него есть несколько описаний, в которых замечательно передано настроение. Но ему недостает фантазии. Его признают лишь в определенных кругах».

Когда он (Потапенко) находился вместе с Антоном Чеховым в южной России, где звук «и» произносится как «ы» («*мыло*» вместо «*мило*»), Чехов имел обыкновение шутить: «C'est très savon» («*Это очень мыло*», т.е. «*мило*»).

Он (Потапенко) должен выплатить до десятого апреля 1700 рублей за поместье, приобретенное Тусей (была два года замужем, теперь разводится со своим мужем). «Да за две недели заработать пером такую сумму — это не под силу самому Потапенко», — сказал я, улыбаясь. «Написать-то — сущие пустяки, — ответил он, — а вот куда все это пристроить?» — «А сколько ты получаешь за лист?» — «Минимум двести, максимум триста рублей». — — —

Сегодня у меня был Владислав Дмитриевич Кохановский. Мы часто встречались во время подготовки юбилея Овсянико-Куликовского (он действительно активно содействовал его осуществлению, тогда как другие члены юбилейного комитета и пальцем не шевельнули). Бесцветный человек! Но у него есть две отличительные черты. Во-первых, он постоянно поглядывает на свои усы, двигая их верхней губой то справа налево, то наоборот. Во-вторых, все время повторяет как вопрос последние слова своего собеседника, что вызывает постоянное раздражение. Например: «Я был вчера в театре». — «В театре?» — «Да, смотрел "Венецианского купца"». — «Венецианского купца?» — «Да, с Поссартом». — «Поссартом?» — «В роли Шейлока». — «Шейлока?» — «Это было прекрасно». — «Прекрасно?» — «Публика была в восторге». — «В восторге?» — «Его вызывали без конца». — «Без конца?»

Он подтвердил то, что я слышал и от других (в частности от Овсянико-Куликовского). После банкета явилась с поздравлениями депутация упраздненной военно-медицинской студенческой организации. Чириков немедленно предложил устроить сбор средств в пользу неимущих членов этого объединения; и сразу же было собрано около ста рублей. Но при этом кто-то сделал ему оскорбительное замечание, так что дело дошло до ссоры. Мадам Чирикова разрыдалась. Сам Чириков был довольно пьян и, когда мы стали фотографироваться группой, высунул язык; так и увековечил себя.

Сегодня ко мне заходил Константин Константинович Фофанов (сын покойного Фофанова), который пишет эго-футуристические стихи под псевдонимом Олимпов. Очень напоминает отца — чертами и выражением лица, жестикуляцией, интонацией, манерой речи и письма. Но он гораздо нежней, спокойней, чище и умеренней. Облик подлинного поэта с ниспадающими до плеч волосами. Ему двадцать три года. Пьет лишь изредка, и притом пиво. Носит широкополое демисезонное пальто; слева на отвороте длинного черного сюртука — металлический треугольник с черной надписью «Эго». Весьма симпатичен. К со-

жалению, я мог уделить ему лишь несколько минут, поскольку был очень занят. — —

Сегодня — письмо от Наташи. Бездушная чепуха, например: «Умираю от любви» и рядом — К. (видимо, означает Кони). Заявляет, что Потапенко в роли провожатого был ей приятен. Кажется, ее отец на свободе.

18 апреля 1913

Вчера в Михайловском театре видел Леонида Андреева. Во время первого антракта он стоял в коридоре, а я пытался прошмыгнуть мимо него (в сегодняшнем «Herold» напечатана моя критическая рецензия на позавчерашнюю премьеру его пьесы «Екатерина Ивановна», с треском провалившейся; мне было перед ним стыдно, причем заранее!), однако он дружески окликнул меня, протянул руку и поблагодарил за поздравительную открытку, которую я послал в связи с недавним юбилеем — 15-летием его писательской деятельности; тут, на мое счастье, к нему подошли другие люди — и я откланялся.

21 апреля 1913

Сегодня меня посетил оккультист Константин Константинович Владимиров, чья специальность — графология (его рекомендовал мне Н.А. Морозов, который им очень интересуется). Если послушать его рассказы, выходит, что он творит прямо-таки чудеса. Не говоря ему, кто это — он или она (тем более — писательница), я прочитал ему начало последнего Наташиного письма ко мне (всего три-четыре строчки, по которым абсолютно ничего нельзя заключить). Он сослался на то, что — прежде чем дать правильную характеристику — внимательно, с лупой, изучает дома каждый письменный документ. А сейчас, бросив на него беглый взгляд, он может сказать лишь следующее: «*Двойственное существо*... Глубокая внутренняя борьба с собой... Ненормальные семейные отношения». Я дал ему исчерканный черновик (фрагмент, без подписи) — перевод стихотворения Шваба «Непогода» (Наташа переводила у меня дома). — Он сказал, что через неделю представит мне подробный ответ.

27 апреля 1913

Сегодня днем, без четверти час, зашел к Сологубу; он еще спал. Однако, услышав мой голос, тотчас высунул голову из спальни, расположенной рядом с прихожей, и попросил остаться. Вскоре он появился... Он вполне удовлетворен своей лекционной поездкой по тринадцати городам — как в моральном, так и в материальном отношении. Мы заговорили о провале «Екатерины Иванов-

ны», и он (Сологуб) сказал, что зрители вели себя подобно Хаму вместо того, чтобы прикрыть, как Сим и Иафет, наготу своего отца. Публика должна быть благодарна Андрееву за наслаждение, которое он доставил ей рассказами «*Жили-были*» и «*Большой шлем*».

Конечно, Андреев — «гений глупости, грубости и *пошлости*» (он дважды повторил эту фразу), но все же талантлив. Чехов — тоже, хотя и он пошловат, поверхностно остроумен и алчен (особенно в своих письмах, которые все так хвалят). О Потапенко с его талантишком и говорить не приходится: он уже много лет занимается литературной проституцией... «Наша публика — *свинская*, неблагодарная, бескультурная; а вот поляки — взяли и подарили Сенкевичу целую виллу!.. Скромный писатель имеет в десять раз больше права ездить экспрессом первого класса, чем какой-нибудь богач, не причастный к литературе»... «Василий Немирович-Данченко не лишен таланта, но почему он — садист?» — (Я, в величайшем изумлении:) «Василий Немирович-Данченко — садист?» — «Да. Все считают, что я — единственный садист среди писателей. Неверно. Немирович-Данченко тоже садист, и молодой А.Н. Толстой тоже — в своих сочинениях, разумеется»... «Русский народ *не выносит* садизма и физического страдания, оттого наша революция и не увенчалась победой: мы дрожим от страха, завидя кулак городового»... «В России нет честных противников — друзей и врагов, одни подлецы»... Обо всем этом мы говорили за завтраком, который Чеботаревская (сама так и не вышла) велела подать в кабинет Сологуба: сардины, ветчина, швейцарский сыр, апельсины и бутылка барзака (последнего мы выпили лишь по стакану — я торопился в гимназию Оболенской — принимать вступительный экзамен). Здороваясь и прощаясь, он поцеловал меня. — — <...>

12 мая 1913

Сегодня у Ясинского — закрытие «Вечеров Случевского»; в три часа пополудни состоялся общий обед. <...> Было довольно скучно, несмотря на выставленную Ясинским батарею бутылок. (Я и даром не стал бы жить в этом неуютном обветшалом доме с запущенным — но совсем не на поэтический лад — садом и в этом отвратительном хулиганском районе!) Присутствовали: Гриневская (приветствовала меня поцелуем), Чебышева-Дмитриева, Кривич, Кильштет (объявила всем, что я терпеть ее не могу), Авенариус, Уманов-Каплуновский, Вентцель, Курдюмов, Хвостов, Кондратьев, Штейн, Цензор, Мейснер. Наташа была в новом черном демисезонном пальто.

<...>

Потом я выпил калашниковского портера со Штейном, и он записал мне в альбом («В ресторане»): «*Пусть не останется в области благих намерений пред-*

положение милого Федора Федоровича приступить к опубликованию его богатейшей летописи русской литературы, материалов его литературного архива. Простой и бесхитростный любитель русской литературы, я стану ждать как праздника выхода в свет первого выпуска задуманного издания — и я убежден, что таких, как я, сотни и сотни. Верьте этому, дорогой Федор Федорович, — и с Богом!» <...>

[Павловск,] 24 мая 1913

Здесь, на Славянской[577], 8, у Гаккебуша роскошная меблированная квартира.

Вчера он зашел к нам и попросил зайти к нему в два часа: у него именины и он устраивает по этому поводу обед. Измайлов сказал мне: «*Брось* ты свою Наташу: она тебя недостойна!» Он ничем не мотивировал свой совет; во всяком случае, еще ничего не знает о «семейном союзе»[578]. Мне захотелось отправить ей коллективное приветствие от писателей (как я делал уже не раз), и я написал на почтовой открытке:

Пьем здравие Наташи — поэтессы!
Приветствие от «Биржевой» ей прессы!

Измайлов (он всегда охотно подписывал подобные послания) отказался поставить свою подпись, поэтому я не стал передавать этот листок дальше. Потом он конфиденциально сообщил мне, что Корецкий пригласил его в редакторы «Пробуждения» и он не знает, как поступить; я посоветовал заключить эту сделку, но обеспечить себе при помощи нотариально заверенного контракта полнейшую независимость, исключив возможность какого бы то ни было вмешательства со стороны Корецкого. Кроме того, Измайлов намекнул мне о своей тайне, сказав, что сможет вынести совместную жизнь с Клавдией Владимировной еще самое большее год, что получает от кого-то соблазнительнейшие любовные послания и тому подобное.

Сергей Городецкий и его жена Нимфа образуют — при всей странности черт ее лица — симпатичную пару; он (как и прочие) бранил эго-футуристов и счел непростительным, что Сологуб и Брюсов заступаются в печати за какого-то Игоря Северянина. Присутствовали еще Арабажин и Ашешов. После обеда и ликеров мы стали пить кофе на веранде, а моя дочь тем временем нас фотографировала. Потом все отправились в парк. В аллее перед музыкальным павильоном Гаккебуш предложил гостям покататься на велосипедах, в том числе и на трехколесном (сам он предпочел двухколесный). Никто не хотел садиться на велосипед, пока я, решившись, не стал разъезжать под общие аплодисменты. Городецкий взял семейный трехколесный велосипед, посадил перед собой жену и хотел укатить с ней — навсегда. Арабажин, Ашешов и Измайлов отправились в город. Гаккебуш попросил меня занять для него место рядом со мной на музы-

кальном концерте, что я и сделал. Но кончилось первое отделение, он так и не появился, и я, продрогнув без пальто, поехал домой.

Гаккебуш — воплощенная любезность, притом что нисколько не желает казаться таковым (большинство же людей — наоборот). Уверял, что Измайлов уже не любит свою Клавдию, даже физически; то, что она глупа и необразованна — наименьшее зло, главное же — ее бестактность, *пошлость* и внутреннее *мещанство*.

Он был очень, очень мил.

Я рассказал о моем споре с Потапенко по поводу некрасовского «*Я стою потихоньку*». Все сказали, что я прав, а Потапенко не прав[579].

Когда я забирался на трехколесный велосипед, Гаккебуш обратился ко мне на «ты».

26 мая 1913

Зашел сегодня к Гаккебушу, чтобы передать ему фотографии, изготовленные Ритушей[580], и тут же уйти. Но он отпустил меня лишь через два часа. Сказал, что Измайлов как критик не имеет собственного мнения по отдельным вопросам, не говоря уже об эстетических взглядах. Он каждый раз приспосабливается ко вкусам публики: если писателя широко читают, он его хвалит; если интерес к нему падает, начинает его бранить. Впрочем, он (Гаккебуш) любит Измайлова как человека... Сумбатов, художник Рерих и Мережковский, по его словам, — полные бездарности и сами сознают это; отсюда и трагизм их жизни. В особенности это относится к Мережковскому, образованному, начитанному, умному и беззаветно любящему литературу.

Он (Гаккебуш) ежегодно получает от Проппера 18 тысяч рублей, не считая трех-пяти тысяч, которые получает как *пайщик* «Биржевых Ведомостей». Ради этих денег он трудится с раннего утра до позднего вечера; при этом любит свою работу.

Они боготворят своего семилетнего сына Мишу и любят его какой-то прямо обезьяньей любовью и столь трепетно, что это доходит до комизма. <...>

Сейчас я читаю (вторично) «Идиота» Достоевского, и местами меня просто поражает сходство — как внутреннее, так и внешнее — между Настасьей Филипповной и Наташей. Не случайно Наташа бредит этим своим прототипом. И хотя многое в ней от восприимчивости и подражательности, но существенные глубинные основы у них обеих — родственны.

7 июля 1913

Сегодня — часок у Гаккебуша. <...> Он рассказывал, что в марте нынешнего года он и Сергей Городецкий, путешествуя по Италии, встретились в Риме с

Вячеславом Ивановым. На какой-то выставке, которую они посетили, Городецкий сказал, что понимает Пушкина. Иванов возразил, что он, Городецкий, — либо мерзавец (потому что лжет), либо безумец. Городецкий, глубоко обидевшись, вызвал его на дуэль. Но вскоре конфликт был улажен за двумя бутылками шампанского.

31 августа 1913

Вчера — именины Измайлова. Когда я стал подниматься к нему, то увидел, что на лестничной ступеньке сидит пьяный Куприн, прислонившись спиной к стене; перед ним стояли Я. Годин, некто Вержбицкий и портной Катун (вся компания только что подкатила на автомобиле). Увидев меня, Куприн залепетал: «А!.. Давай сюда твой альбом!» Но я прошмыгнул наверх. Минут через пять явилась и эта компания. Куприн тут же направился к буфету; он хмелел все заметней. Увидев мерзавца Розанова (которого он здорово разделывал в своих эпиграммах), он попросил, чтобы его представили. Я испугался, что он влепит ему оплеуху, но вместо этого, пожав ему руку, он сказал: «Давайте поцелуемся!» — и прижался лицом к его лицу. Я слышал, как Розанов произнес комплимент по поводу его таланта, но также и упрек — в связи с его пьянством. До скандала дело не дошло. Позже я увидел в прихожей такую картину: Вержбицкий сидел на стуле; рядом сидел Куприн, опустив голову на его (Вержбицкого) живот, и спал, в то время как Вержбицкий (он был относительно трезв) держал над головой Куприна гитару и пел под собственный аккомпанемент «Крамбамбули»[581]; ему подпевал Годин (хмельной, но в меру), шутовски размахивая руками и ногами. Верный страж Катун (совершенно трезвый) сидел тут же. Примерно через час Куприн вновь метнулся к буфету и выпил; потом сел, прислонил голову к стене и заснул; кто-то из жалости подложил ему под голову свернутую салфетку. Катун пообещал, что отвезет его ночевать (как уже не раз бывало) к себе домой. Корецкий напился как сапожник и вел себя прямо-таки неприлично; несколько раз он пытался остановить меня, но я уклонялся и вообще с ним не разговаривал. Совершенно пьян был Евгений Венский: он лил мимо стакана в тарелку с закуской (впрочем, так же делали и Куприн с Корецким); но в остальном — ничего шокирующего. Все пожимали руку мерзавцу Розанову и беседовали с ним, в том числе и Будищев (он не выпил ни капли).

Присутствовали также: Арабажин, Боцяновский, Бонди, Карпов, Аверченко, Радаков, Брешко-Брешковский, Невежин, Брусянин, Цензор, Гриневская (которую мне пришлось провожать домой), Глинский, Регинин (он женился и весьма одомашнился), Северцев-Полилов, Фальковский и другие. Измайлов настойчиво просил, почти заклинал меня, чтобы я помирился с Баранцевичем; я отказался. О том же просил меня и А. Зарин: «Он жалуется, что без тебя ему совсем одиноко!»; я отказался. <...>

От всего этого я почувствовал себя так неуютно, что даже никому не предложил сделать запись в моем альбоме «В гостях». Впервые!

Жена (или «жена») Фальковского рассказала мне следующее. «Жена» Горького вовсе не бросила его, когда — после их разрыва — к нему на Капри приехала настоящая жена. Мария Андреева всего лишь вернулась в Россию, чтобы поработать в качестве актрисы и помочь Горькому, чьи финансовые дела совсем плохи; он, дескать, пишет ей нежнейшие письма, и она собирается вновь поехать к нему. А его настоящая жена приехала якобы для того, чтобы тем временем ухаживать за Горьким: его болезнь (чахотка) становится все более угрожающей; возможно, он переселится в Норвегию, поскольку южный климат для него вреден. — — <..>

14 сентября 1913

В половине четвертого пришла Наташа. <...> Копаясь в старых вещах Потапенко, она нашла несколько писем от писателей (среди них — письмо Чехова); а в кухне на стене — засиженную мухами фотографию, на которой изображена группа сотрудников какого-то журнала[582] (среди них — Чехов), с собственноручной подписью каждого.

Таков Потапенко: ему ничто не дорого! (Впрочем, это мои слова.)

28 сентября 1913

Вчера — в Литературном обществе.

Овсянико-Куликовский рассказывал, что еще в детстве хотел написать драму, сделав главным действующим лицом Ивана Грозного; окруженный призраками погубленных им людей, царь восклицает в глубоком страхе: «*Малюта, Малюта! Пришлось мне круто!*»... Чулков признался мне, что больше не пишет стихов — вот уже три года. Сообщил, что Вячеслав Иванов переселился в Москву, а его падчерица родила за границей мальчика... Жданов рассказал мне, что его исторические романы расходятся «блестяще», а его издатель (Николай Николаевич Михайлов) платит ему так щедро, что через два года у него (Жданова) будет постоянная рента в пять тысяч рублей... Мне сообщили с разных сторон, что весной Ясинский баллотировался в Общество, но с треском провалился — благодаря агитационной работе Ватсон.

30 сентября 1913

Встретил нынче Котылева. Держа в руке пакет с рукописями, он спешил — торопился отыскать для них издателя: это разные сочинения (проза) умершего

Соломина, их требуется издать отдельным томом в пользу его нуждающейся семьи. Котылев кое-что рассказал о Соломине. Он был близким другом загадочного Гапона, и у него (Соломина) была *ряса* Гапона с пятном крови одного рабочего (9-е января на Дворцовой площади). Эту рясу взял к себе Брешко-Брешковский и — продал какому-то англичанину, собирателю редкостей, а сам уверяет, что ее кто-то у него украл.

Потом встретил Льдова. Он провел несколько лет во Франции, Голландии и Германии. И вот по какой причине: с невероятным трудом ему удалось создать журнал «Огонек» (издатель — Проппер); но когда он наладил издание журнала, его *выставили*, сославшись на отсутствие контракта. Эта неблагодарность и несправедливость произвели на него такое действие, что ему пришлось лечить нервы за границей.

17 октября 1913

Собирался сегодня заглянуть на четверть часа к Сологубу, а провел у него целых два часа. Он был очень рад нашей встрече; приветствовал меня поцелуем... С известным (вернее: скандально известным) футуристом Игорем Северяниным (настоящая фамилия — Лотарев) он разошелся. «Не люблю, когда при мне кладут ноги на стол!» Похвала Сологуба (в предисловии к стихотворному сборнику Северянина[583]), как и похвала Брюсова, настолько вскружили ему голову, что он счел себя гением и совсем перестал совершенствовать свое мастерство. Минувшей весной он принимал участие в лекционном турне Сологуба по южной России и Кавказу и выступал с чтением своих стихов; теперь, около месяца назад, он должен был совершить такое же турне по западной части России (откуда только что вернулся Сологуб); но в самый день отъезда неожиданно отказался от поездки, чем навлек на своего импресарио большие неприятности. Он (Северянин) пьет так сильно, что его организм уже не может принимать пищи. Несколько лет назад у него был роман с дочкой какого-то портье, родившей ему младенца; она требовала через суд, чтобы он взял на себя заботу о ребенке, но он отказался признать свое отцовство. Теперь у него сын от какой-то портнихи; он и в этот раз хотел отречься от матери с ребенком, но Сологуб и Чеботаревская уговорили его взять обоих к себе[584]. Теперь «жена» содержит его трудом своих рук, сам же он существует лишь за счет родственников, предоставляющих ему бесплатное жилье и 50 рублей ежемесячно (которые он пропивает); никакого гонорара за стихи он не получает...

Весьма несдержанно отозвался Сологуб о поведении Бунина на юбилее «Русских Ведомостей» в Москве. Сперва говорил о речи Бунина, в которой тот клеймил модернистов за страсть к рекламе и прибыли, а сам, по словам Сологуба, — один из главных рекламистов, и к тому же скряга, готовый торговаться из-за

каждой копейки гонорара. Потом — о конфликте с приставом: мол, не пристало Бунину козырять тем, что он — почетный академик. «Это не только глупо, это позорно и *гнусно*!»

Мне пришлось позавтракать вместе с ними, однако я выпил лишь стакан сотерна и бутылку пива. Общий смех не замолкал ни на минуту; рождались импровизированные рифмованные юморески и тут же заносились в мой альбом. Сологуб держал себя как человечнейший человек. В завтраке участвовал (кроме Чеботаревской, разумеется) еще и Лундберг, живущий у Сологуба.

28 января исполняется тридцать лет писательской деятельности Сологуба. Я вызвался устроить ему юбилейное торжество, но он отказался; «Нет необходимости», — сказал он без твердой уверенности, слегка улыбаясь. Кроме того, в это время он будет, скорее всего, выступать с лекциями в Сибири... Омерзение вызывает у него Годин — он кажется ему грязным как изнутри, так и снаружи... Пером он (Сологуб) пишет только стихи; а прозу — карандашом.

6 ноября 1913

Позавчера — мой день рождения (54 года). Присутствовало, насколько мне удалось сосчитать, 130 человек (мои близкие утверждают, что 150). Ветераны этого дня удивлялись невероятному количеству совершенно незнакомых лиц, главным образом — особ женского пола, которых сегодня я даже не узнал бы (жены, дочери, сестры и прочие родственницы). Итак, среди **прочих**, присутствовали: пишущая об искусстве Базанкур, «парижанин» (так его называют) Евгений Петрович Семенов, Вяткин, Грин, Шпицер, старик Дрожжин (приехавший из деревни специально ради этого дня) с племянником (московским студентом)[585], Бурмистров, Рунова (с какой-то незнакомкой), Пружанский, Свирский (с женой), Глинский, Эрберг (правильно: Сюннерберг), Сологуб с Чеботаревской, Годин, Липецкий (с женой), Андрей Зарин (с дочерью), Ленский (с неизвестным), Невежин (с огромным накладным носом), известный в прошлом революционер Александр Германович Лопатин, шлиссельбуржец Н.А. Морозов (с женой Ксенией), шлиссельбуржец М.В. Новорусский, который пробыл в тюрьмах больше, чем на воле, В.В. Водовозов, Мурашев, известный врач и поборница женских прав А.Н. Шабанова (с приятельницей, также врачом), Карасевич-Ющенко, Кондурушкин, Колтоновская и ее супруг, А.П. Колтоновский, крайне редко появляющийся на публике, Баранцевич, некто Логвинович, Батюшков, князь В.В. Барятинский, Хирьяков, Венгеров, Гриневская, Лазаревский, Быков с женой Зинаидой Ц., Кармен, А.П. Каменский, Бухарова, Овсянико-Куликовский (с женой), критик С.А. Адрианов, Андрусон, Фальковский, Леткова (Султанова), Кормчий, Брусянин с женой, Булацель, Саксаганская, Чапыгин, Черевкова, Студенцов, Мазуркевич, Цензор, Галина, Бронштейн (с вдо-

вой Соломина — говорят, она пошла по рукам), Жихарев с бывшей женой, Л.М. Василевский, желающий походить на Горького Григоров, Лукашевич (с дочерью Лидией), Василий Немирович-Данченко, Гребенщиков, Измайлов с «женой» (бросалось в глаза нелепое украшение у нее на голове), граф Л.Л. Толстой (сын своего отца), Кохановский, инспектор Екатерининского института Карцов, Сысоев, Лебедев (с женой), Нордман-Северова (ела только хлеб и помидоры), доктор В.В. Чехов, Ходотов, проф. Кареев, Ольнем, Ватсон, Шиле, А.Е. Кауфман, Н. Карпов, Юркин[586], издатель Цетлин, скульптор Гинцбург вместе с Альмединген и т.д. и т.д., и т.д. Наибольший успех имели выступления певицы Лодий; пел и некто Розов. <...>

Поздравления прислали: художник Репин, Томашевская, Гаккебуш, Пешкова-Толиверова, Горнфельд, Котылев, лейб-медик Сиротинин, Куприн, Феддерс, Ладыженский, Бонди, Рудич, некто Марианна Филипп (кто это?)*: «*Шлем привет новорожденному, с незапамятных времен в музагеты посвященному, Фебом свыше вдохновенному*», Чирикова (он — в Крыму), Потапенко (хватило тактичности не явиться), Уманов-Каплуновский, Будищев, Евтихий Карпов, Чебышева-Дмитриева, Либрович и др.

Подарки: множество книг, портретов, писательских писем и прочих приношений в мой «музей», а также — цветы... <...>

Я не съел ни кусочка и выпил за весь вечер лишь три стакана пива. Не только комнаты — коридор и прихожая были так же забиты народом; люди стояли и сидели даже на лестнице (в квартире можно было задохнуться), где нас и снял фотограф Булла, причем два раза; третьего и четвертого снимка не получилось, поскольку вся лестница наполнилась дымом от магниевых вспышек. Перед тем, как фотографироваться, Наташа обняла мою дочь, которой это не понравилось. Весьма расчетливо и дипломатично! Однако на фотографии они стоят рядом, без объятий[587].

Когда я сказал Грину (очень интересный человек, которого я почти не знаю), что Сологуб считает его талантливым писателем, он ответил: «К сожалению, не могу отблагодарить его тем же комплиментом!»

11 ноября 1913

Вчера, в воскресенье, я откликнулся на неоднократные приглашения Мережковских и посетил их (Сергиевская[588], 83, квартира 17, прямо у Таврического сада). Я показал Зинаиде моих «Russische Dichterinnen», где датой ее рождения указан 1868 год (согласно ее собственноручному свидетельству). Но она заявила, что родилась в 1869 году. Правда, это не точно, поскольку церковь в

* Опечатка. Следует читать: Аполлон. Это — телеграмма от Коринфского.

Белёве, где хранились все документы, давно сгорела, а служивший в ней священник давно умер... Рассказала то, что сообщили ей надежные свидетели. Позапозавчера (в пятницу) в кабаре «Бродячая собака» чествовали Бальмонта (после прочитанной им лекции «Океания»). Тут к нему подошел Петр Осипович Морозов и представился: «Морозов». Бальмонт решил, что перед ним шлиссельбуржец Н.А. Морозов и завел с ним разговор о его «Звездных песнях». Недоразумение быстро разрешилось, и Бальмонт сказал ему: «Мне не нравится Ваш голос». Потом добавил: «*Старичок*, иди спать!» Тогда Морозов плеснул ему в лицо вином из своего стакана и ударил по щеке. Подскочил Городецкий и, в свою очередь, ударил Морозова. На помощь Морозову поспешил его сын, и началась всеобщая потасовка. Сологуб ожидал Бальмонта позавчера вечером у себя дома. Бальмонт не приехал, и Сологуб отправился за ним в «Северную Гостиницу»; там ему сообщили, что Бальмонт явился лишь в пять утра, в разорванном сюртуке, и стал бить оконные стекла в своем номере. Он (Сологуб) поднялся к нему и увидел, что Бальмонт спит непробудным сном в комнате с разбитыми стеклами, а рядом сидит, дрожа от холода, его спутница, Елена Цветковская... Листая мой альбом «В гостях», Зинаида наткнулась на запись Чеботаревской и сказала: «Она, видно, писала пьяная?» Мне показалось, что все трое (она, ее муж и Философов) не слишком ладят с Сологубом... Когда говорит Мережковский, Философов благоговейно ему внимает, а когда говорит Философов, благоговейно внимает Мережковский. Зинаида обращается к Философову на «ты» и зовет его «Дима», он тоже обращается к ней на «ты» и зовет ее «Зина». Все трое почти непрерывно курили. Затем пришел некто Брянчанинов, и начался разговор о сотрудничестве всех троих в его журнале. Я поспешил откланяться.

Зинаида подарила мне кое-что для моего «музея» и обещала еще больше при условии, что я сам зайду и все заберу. Мережковский сказал мне: «Поцелуйте от меня Вашу жену!» — «Сделайте же это наконец сами!» — «Охотно, но мы почти никуда не ходим!»... Манерность и чопорность отсутствовали — по крайней мере, до прихода Брянчанинова — почти полностью.

От Мережковских отправился к Сологубу. Он как раз составлял протест по поводу инцидента в «Бродячей Собаке», обвиняя администрацию в том, что она допустила оскорбление Бальмонта. Я тоже подписал протест. Когда я передал ему то, что рассказала мне Зинаида Мережковская о скандале, связанном с Бальмонтом, он, всегда сохраняющий хладнокровие, рассвирепел: «Она еще судачит о разбитых стеклах! А в остальном это происшествие ее совсем не тронуло? До чего же *подлый* язык у этой сплетницы! Лучше бы эта *троица* рассказала о собственных темных делишках!»... Затем он (Сологуб) и она (Чеботаревская) рассказали мне следующее (они ушли до скандала, но знают подробности от самого Бальмонта и его Елены, которые были у них вчера днем): оскорбление Бальмон-

ту нанес не П.О. Морозов, а его сын. И отца, и сына избили якобы до крови, причем у Морозова украли бумажник, в котором было девятьсот рублей. Все были пьяны — кто больше, кто меньше. Поначалу сражение шло в узком кругу, но в помещение вошли несколько пьяных актеров варьете и стали кричать: «Бей кого попало!» И завязалась настоящая битва. Одни дамы попадали в обморок, другие истерически кричали. — —

Сегодня, в одиннадцать утра, я был у Бальмонта в «Северной Гостинице» (комната 61, обыкновенная, с одним окном). Он еще лежал в постели, но сразу же, получив мою визитную карточку, принял меня. Присутствовала Елена Константиновна Цветковская, худое невзрачное существо. (Под кроватью виднелся ночной сосуд.) Он приветствовал меня поцелуем и, вообще, всячески проявлял радость оттого, что видит меня. Сделал мне скрытый упрек — в связи с тем, что я до сих пор не перевел его для «Universal-Bibliothek». Оба подтвердили то, что рассказал Сологуб, уточнив и дополнив рассказ Мережковских. О вечернем визите Сологуба и разбитом окне — ни слова. Я провел у него всего полчаса — торопился в гимназию Оболенской... Елена утверждает, что слова «Старичок, иди спать!» Бальмонт (она все время зовет его не «Константин Дмитриевич», а «Бальмонт») сказал не Морозову, а кому-то другому (она назвала его имя, которое я не запомнил, поскольку оно мне ничего не говорит), после чего выскочил сын Морозова и бросился на поэта. Бальмонт сам говорит, что Морозов с самого начала ему не понравился: «Со своими академическими фразами... Покровительственно признал мой “талант”. Тогда я все же сказал ему: “Мне не нравится Ваш голос”. — “Я в этом не виноват”. — “И тем не менее, он мне не нравится”».

Бальмонт твердо обещал навестить меня сегодня между 8 и 9 часами и выпить со мной стаканчик вина («но не больше!»). Однако до сих пор — уже без четверти десять — его нет, и я отправляюсь спать. Он не может противостоять наплыву посетителей; вероятно, кто-то перехватил его и задержал. А может, забыл мой адрес; я сказал ему: «Адрес прежний», но он ведь не был у меня более десяти лет. Сологуб тоже сказал мне (по телефону), что наверняка придет... Когда я спросил Бальмонта, не хотел бы он пригласить еще кого-нибудь, например, Сологуба, он ответил: «Да, я люблю его». Но и он (Сологуб) не появился. А ему следовало бы придти — хотя бы ради того, чтобы обсудить странное письмо Городецкого в сегодняшем номере «Биржевых Ведомостей»: всех подписавших протест он вызывает на *третейский суд*... Вчера Сологуб сказал мне: «Русские писатели недостойны твоей любви, потому что не любят друг друга».

Вчера же, около десяти вечера, я поехал от Сологуба (и вместе с ним) к Свирскому, созвавшему разных писателей с тем, чтобы учредить союз против эксплуатации со стороны издателей. Пока шли дебаты, Сологуб заснул. Во всяком случае, он все время сидел с закрытыми глазами (мы сидели рядом), и все ут-

верждают, что он спал. Собралось около пятидесяти человек. Ничего примечательного. <...>

Дополнение: Сологуб сообщил, что позавчера к нему заходил Блок, все же отказавшийся подписать протест.

12 ноября 1913

Вчера вечером, без четверти одиннадцать, когда я уже ложился спать на оттоманке в моем кабинете, явился Бальмонт со своей Еленой. Он был совершенно трезв. Моя жена уже легла, но он хотел «пожать ей руку; я закрою глаза»; тогда я сказал, что это не вполне уместно, и визит в спальню не состоялся. Он сказал мне: «Я ужасно рад, что ты зашел ко мне. В моей душе бушевала сотня чертей, но ты их всех успокоил...» О Мирре Лохвицкой (мы были одни в кабинете, снова утратившем спальный вид) Бальмонт сказал, что любил ее и продолжает любить до сих пор: ее портрет сопровождает его во всех путешествиях... Когда мы пили чай в столовой, он настоял на том, чтобы в прихожей продолжал гореть свет. Чай, впрочем, был поводом: я пил пиво, а Бальмонт вперемешку — наливку, пиво и белое вино, затем в обратном порядке: вино, пиво и наливку, прихлебывая время от времени чай или воду. Развешанные по стенам столовой цветные карикатуры на писателей, которыми все восхищаются, он не удостоил вниманием, кроме изображения самого себя: «Терпеть не могу карикатуры: они — как отхожие места. В следующий раз, когда я приду к тебе, принимай меня, пожалуйста, в другой комнате!» На мои слова, что его сын был моим учеником, он не прореагировал ни словом, ни звуком... У него было при себе четыре пенсне; каждое имеет свое назначение; в футляре для них — три отделения... Одет, как всегда, элегантно (в разговоре Елена упомянула о разорванном сюртуке). По плечам рассыпаются кудри, но на голове уже просвечивает лысина... Все, что он вчера записал мне, он сочинил, не сходя с места. Помнит мельчайшие детали десяти- и пятнадцатилетней давности. С Амфитеатровым они теперь — лучшие друзья, хотя некогда он (Бальмонт) хотел размозжить ему (Амфитеатрову) голову канделябром... Крайне несдержанно отзывался о Философове — особенно о его позавчерашней статье в «Речи», где Бальмонт поставлен на одну доску с падким на скандалы футуристом[589]. «Это *заведомый н[егодяй?]!*»... Он говорил Елене «Вы», затем неожиданно сказал ей «ты» и обратился ко мне: «Могу ли я говорить ей здесь “ты”?» — «Ну, разумеется», — засмеялся я. Его экзотическое путешествие, длившееся двенадцать месяцев, стоило ему девять тысяч — на двоих (по четыре с половиной тысячи на человека). Отсюда (Петербург нравится ему гораздо больше Москвы) он едет ненадолго в Москву, а потом — надолго — в Париж: «У меня там жена и дочь!»

Без четверти двенадцать пришел Сологуб. Я спросил его, какие он предпринял шаги в связи с третейским судом, затеянным Городецким. — «Вообще ника-

ких». — «Как так? — «Да я просто не пойду на этот суд». — «А разве так можно?» — «Это меня не волнует»... Бальмонт, слегка помедлив, сказал, что письмо Городецкого нравится ему больше, чем наш протест. Лицо Сологуба не дрогнуло. Немного погодя, Сологуб пригласил его прийти в среду, в 11 часов вечера, в общество адвокатов — любителей искусства по адресу: Басков переулок, 2а (с тем чтобы его там чествовали); но Бальмонт смущенно ответил, что вряд ли сможет прийти, поскольку недолюбливает адвокатское сословие. Кроме того, с утра до вечера его осаждают разные люди — посетители и т.д. Лицо Сологуба не дрогнуло. Он (Сологуб) подал мне знак, и я вышел с ним в кабинет. Здесь он сказал мне: «Послезавтра ты должен во что бы то ни стало доставить туда Бальмонта!» — «Да как же я это сделаю?» — «Если не ты, так кто же?!»... Удобно устроившись на краю моей оттоманки, он воскликнул: «Как здесь уютно! Совсем не хочется уходить!» Потом попросил, чтобы я показал ему какие-нибудь непристойности (словесные или в картинках), хранящиеся в моем «музее». «Ничего подобного не держу». — «Это почему же?» — «Потому что у меня взрослая дочь, которая во все сует нос». — «Ну и что?» — «Но ведь она — барышня!» — «Ничего страшного». — «Ну уж нет!»

Мы вернулись в столовую. И началось бесконечное чтение стихов. Бальмонт вынул из кармана сюртука черную тетрадь и читал, читал, читал (не так напевно, как некогда, но все еще весьма своеобразно); мне запомнилось стихотворение «*Сердце капризное*». Потом Сологуб вынул из кармана своего сюртука несколько листков и читал, читал, читал. Мне запомнилось стихотворение «*Две проститутки и два поэта*». Собственно, я слишком устал. В конце концов общество это заметило — в три часа ночи — и стало расходиться. В прихожей, одеваясь, Бальмонт спросил меня о значении слова «schüchtern»[590]. И, получив от меня разъяснение, произнес:

Ich bin so zart,
Ich bin so schüchtern,
Und es ist schad:
Ich bin so nüchtern![591]

Прощаясь, я расцеловался (с Бальмонтом и Сологубом). Присутствовала еще одна пожилая тощая дама, которую Бальмонт привел с собой и представил мне как свою антрепренершу (она занимается здесь организацией его лекций).

Еще одно. По поводу нашего протеста и возражения Городецкого Бальмонт заявил: «Я попал в идиотское положение!» Придя в возбужденное состояние, он решил выразить свое мнение об инциденте и сказал, что желает составить текст и отнести его в редакцию «Речи». Но мы стали его отговаривать: мол, сейчас ночь и в редакции никого нет. Его намерение осталось неосуществленным.

За «чаем» мы много шутили и смеялись.

Пока Бальмонт читал свои стихи, Сологуб сидел с закрытыми глазами, хотя и открывал их время от времени. Вероятно, у Свирского он тоже не спал.

23 ноября 1913

Вчера — день рождения моей дочери. Чтобы доставить удовольствие жене, я пригласил на обед Баранцевича, хотя он стал для меня совсем чужим человеком. <...> Скиталец немного пел своим сочным басом, Лазаревский голосом и манерой речи изображал Арцыбашева и Чирикова и уверял, что во время своего пребывания на Капри Сургучев вступил с Марией Андреевой, «женой» Горького, в близкие отношения... Студенцов тоже пел... Наибольший успех имел академик (скульптор) И.И. Гинцбург своими юмористическими сценками: трудолюбивый портняжка и старая кокотка, занятая прической; каждый взгляд и каждый жест — прямо-таки произведение искусства.

Сегодня зашел к Каменскому. В среду он отправляется в Париж, чтобы вместе с Идой Рубинштейн экранизировать свой рассказ «Леда»; надеется заработать за один месяц десять тысяч рублей. Затем, избавленный от всех повседневных забот, собирается, наконец, взяться за роман и написать его за полтора года (тридцать листов); он многого ожидает от этого произведения: «Раньше я грубо обращался с литературой, теперь же хочу работать всерьез»... Рассказывал о своем романе с Еленой Ивановной Княжевич, нынешней «женой» Арцыбашева, длившемся ровно месяц («от менструации до менструации»), когда она была еще актрисой в здешнем театре «Фарс», после чего он «сбыл» ее Арцыбашеву. Получив письмо от Арцыбашева (которое он, Каменский, мне тут же и подарил), он сознался в том, что у него были с ней близкие отношения; это письменное признание Княжевич изъяла у Арцыбашева и отправила жене Каменского... Она чувствовала себя ужасно потерянной. Здесь у нее были также романы с Аверченко, Бонди и Регининым... Корецкий, говорят, живет с Писаревой.

26 ноября 1913

Участвовал вчера в банкете, устроенном в честь Эмиля Верхарна; торжество было назначено на половину двенадцатого в Hôtel de France[592], где и остановился Верхарн (в номере 96). Пришло более восьмидесяти человек, но лишь немногие знали его в лицо (по портретам), и когда невзрачный маленький человек вошел в банкетный зал, ни одна рука не шевельнулась в знак приветствия; я захлопал первым, все тут же присоединились. Евгений Петрович Семенов представил меня Верхарну как «лучшего переводчика русских поэтов на немецкий язык», и мы перебросились с ним парой совсем незначительных слов по-французски и по-немецки; я подарил ему мои переводы (в переплете): Некрасова,

Тютчева, Фета, Майкова и Полонского; после банкета я протянул ему его фотографию, и он украсил ее автографом...

Перед банкетом Жданов подошел к Барятинскому и попросил его просмотреть речь, которую собирался произнести; Барятинский пробежал глазами несколько строк и заявил, что так не годится, — французский текст изобилует ошибками. И все-таки Жданов прочел свою речь. Тем элегантнее был французский язык других ораторов: Батюшкова, Набокова, Мережковского (Зина, сильно накрашенная, сидела по левую руку от Верхарна), Евгения Семенова, Шиле, Милюкова и Аничкова. Последний мирно сидел рядом со своей бывшей «женой» Тырковой (Вергежский). Кроме того, присутствовали не отмеченные в газетах: Ляцкий, Гумилев, Потемкин, Леткова, Ватсон, Сургучев, Щеголев, Зина Венгерова, Гриневская, Сергей Маковский (молодой рамолик) и другие.

30 ноября 1913

Вчера в Литературном обществе... Жданов сообщил мне, что ежегодно зарабатывает пером двенадцать—пятнадцать тысяч — «без малейшего усилия». За годы 1907—1909 он заработал якобы сорок пять тысяч. Его «*Два миллиона в год*»[593] были недавно трижды переизданы в течение всего лишь десяти дней. Не пьет ни капли алкоголя, поскольку это вредно сказывается на писательской работе. Великопольский сказал мне, что читал недавно в одной газете, будто Наташа (он, впрочем, называл ее Натальей Васильевной) написала драму «Мать», которую будут ставить в Александринском театре, ибо эта вещь очень нравится Савиной[594]. — Чириков приветствовал меня поцелуем. Он только что вернулся из Крыма, где решил поселиться и начинает строительство (близ Фороса). В июле он выдал замуж свою дочь. Наверное, в первые дни после разлуки он и его жена чувствовали себя одиноко, — предположил я. «Представь себе — нет! Наша семья так велика, что мы даже не заметили отсутствия одного из нас!» — Евгений Петрович Семенов рассказывал, что в день банкета Брюсов просидел у Верхарна до десяти вечера. В самом торжестве он (Брюсов) участия не принимал — это было ему не под силу из-за его душевного состояния. После самоубийства поэтессы Львовой он сразу же покинул Москву. (Незадолго до ее смерти он издал под псевдонимом Нелли ее стихотворения, до такой степени напоминающие его собственные, что многие думали, будто он сам укрылся за этим псевдонимом[595]; пришлось ему выступить с опровержением в газетах[596].) В тамошних газетах сообщалось, что она по телефону просила Брюсова (коим восхищалась и была увлечена) приехать к ней и грозила покончить с собой, если он не приедет; он не приехал, и она застрелилась. —

Двадцатого числа сего месяца состоялся юбилей Владимира Петровича Лебедева — 25-летие его писательской деятельности. Несмотря на то, что в тече-

ние нескольких лет он редактировал антилиберальную русскую газету в Гельсингфорсе, в политическом отношении он все же совершенно безобиден. Я не поехал на юбилей (отправил поздравительную телеграмму), ибо знал, что столкнусь там с откровенными черносотенцами. И Лукьянов подтвердил, что среди прочих нравственных выродков (вроде Грибовского) видел там мерзавца Меньшикова. Коринфский добросовестно выполнял свои обязанности устроителя: пил только херес... Ольнем рассказала мне, что много лет тому назад, живя на юге России, слышала страшные вещи о выходках, которые позволял себе Куприн в пьяном состоянии. Поэтому она чрезвычайно удивилась, узнав, что Давыдова готова отдать ему в жены свою дочь Мусю, и просила Ватсон предупредить Давыдову и объяснить ей, какой у нее будет зять. Ватсон выполнила ее просьбу, на что Давыдова якобы ответила: «Все русские писатели — пьяницы!» — —

2 декабря 1913

Вчера — день рождения Ватсон. Множество ярых в прошлом революционеров: Н.В. Чайковский, М.В. Новорусский, Н.А. Морозов (взял с меня слово совершить с ним полет на аэроплане), Г.А. Лопатин (поразительно юн физически и духовно; подвижен и свеж) и другие. Был и Бунин; через несколько дней он покидает Петербург, потому что здешняя (впрочем, как и московская) суета не позволяет ему писать, а его тянет к работе. Котляревский уверял, что был у меня 4 ноября, но смог прийти якобы лишь в трем часам ночи и был крайне удивлен, увидев в вестибюле только одно пальто. «Наверху лишь господин Булацель», — сказал ему портье. И Котляревский ушел ни с чем. Чириков (с гвоздикой в петличке) пробыл совсем недолго; возможно, потому, что увидел Сургучева. Последний жаловался мне на Лазаревского. Когда он, Сургучев, был на Капри, Лазаревский написал Горькому письмо, полное жалоб: мол, он, Сургучев, убил его жену, сделал сиротами его детей, разрушил его семейное счастье и тому подобное. Все эти непрошеные иеремиады произвели на Горького очень неприятное впечатление. <...> Сургучев рассказывал, что Горький разругался со своим старым приятелем К.П. Пятницким: каждый считает другого виновным в неуспехе изданий «Знания»; в Неаполь был вызван даже русский консул, коему оба изложили свои претензии друг к другу. Мария Федоровна, по его словам, никогда не любила Горького и сошлась с ним только потому, что он был знаменитостью; это — бессердечная демоническая женщина. Когда его первая (законная) жена — «чрезвычайно симпатичная особа» — приехала к нему на Капри, казалось, что супругам вновь улыбнется былое семейное счастье; но это только казалось; многолетняя разлука привела к тому, что они стали духовно совсем чужды друг другу. И вот Горький сидит на Капри, одинокий, больной,

глубоко страдая оттого, что его не признают как писателя... С.А. Адрианов явился со своей невестой (обручение должно состояться в начале января), горбатой, но пикантной Зоей Петровной Лодий, превосходной певицей; он сиял в предвкушении семейного счастья... Были также: Муйжель (с женой), усердно тянувший белое вино, и Ф.Д. Батюшков, выпивший всего лишь стакан чаю («я стараюсь употреблять меньше жидкости»)... Помирился с Я.Я. Гуревичем. Дело в том, что я уже не преподаю в его учебном заведении, где работал двадцать четыре года (был там в последний раз в мае). Его бестактность вынудила меня написать ему летом письмо, в котором изложены горькие истины (перепишу его сюда, как только в этом возникнет необходимость). Я подошел к нему и сказал: «Сколько раз в этот день я сидел вон там за столом, ведя дружеский разговор с твоим отцом!.. Под впечатлением этого воспоминания протягиваю тебе руку в знак примирения». Не говоря ни слова, он пожал мне правую руку, мы поцеловались, и он погрузился в глубокую задумчивость.

30 декабря 1913

Ну вот, исполнилось и желание Лазаревского (странное желание), чтобы меня непременно посетил Сургучев. Сегодня он (Сургучев) был у меня. Выпил за завтраком две рюмки водки, полстакана коньяка и бутылку бордо, подаренную Немировичем-Данченко (я пил только пиво). Восхищался (как и все!) моим «музеем» и обещал богатые приношения. Говорили преимущественно о русской литературе. Он всегда отклонял предложения написать рецензию, ибо один беллетрист не может, по его словам, проявить объективность и справедливость по отношению к другому беллетристу. Этим, сказал он, грешит Зинаида Гиппиус: под псевдонимом Антон Крайний она разносит своих коллег-писателей в пух и прах; при этом ее собственные прозаические сочинения очень слабы; впрочем, у нее есть прекрасные стихи... Сообщил, что Горький снова один: его законная жена Екатерина Павловна бросила его (не найдя в нем того, чего ожидала) и находится сейчас в Москве вместе с сыном. (Подарил мне ее телеграмму к Горькому, в которой содержится просьба сохранять в тайне ее московское пребывание.)... Сургучев пришел ко мне со склада товарищества «Знание», где подводились итоги за год; ему показали различные счета, из которых явствует: произведения Горького, которые много лет назад шли нарасхват, сейчас вообще не находят покупателей... Он (Сургучев) не читал ни Сологуба, ни Боборыкина... О Лазаревском не сказал ни слова; о Лидии Николаевне сказал только то, что в рассказе «*Сон*» описан ее визит к нему в Ставрополь. <...> Об Измайлове сказал, что он был бы первым русским критиком, если бы не *разменивался на мелочи*, то есть не писал бы ради гонорара обо всем на свете и не завидовал бы (как беллет-

рист) другим беллетристам. А.Р. Кугель (Homo Novus) преследует Измайлова, поскольку он, Измайлов, должен уплатить за публикацию «Торгового дома»[597] сто рублей (остальные драматурги дают ему свои произведения безвозмездно); говорят, он хвалит Арцыбашева за его «Ревность», поскольку получает с каждой постановки определенный процент... Мережковский, по его словам, держит себя недоступно, как бог... Впрочем, ни одному из названных выше авторов он (Сургучев) не отказывает в таланте. Посвящение во втором томе его сочинений (*М. Ж.*) относится не к нынешней его «жене» (*Т.*), а к предыдущей.

2 января 1914

Вчера обедал у В.Д. Черевкова по случаю его именин. Присутствовали только Овсянико-Куликовский, Диксон и какой-то профессор Залевский. Тема разговора: избиение министра культуры Кассо и его роман с госпожой Денисовой, а также — позавчерашнее возвращение Горького. По предложению Овсянико-Куликовского стали «сочинять» коллективное стихотворение, которое Овсянико-Куликовский записал и в мой альбом. После обеда, в четверть десятого, поехали с ним ко мне домой, где пили пиво. Он продиктовал мне единственный экспромт, который — по просьбе жены — написал в первый год своего брака:

Ты у меня стихов просила. —
Но стих мой бледен и убог...
Но погоди, о друг мой милый:
Когда-нибудь настанет срок, —
И у меня в груди проснется
Родник поэзии святой,
И вольно стих тогда польется,
И до тебя он донесется
Свободный, страстный и живой.
А до тех пор лишь в малой дозе
Найдешь поэзию во мне.
Так лучше потолкуем в прозе
С тобой, мой друг, наедине!

Говорили о предстоящих выборах новых почетных академиков. Обсуждаются следующие кандидатуры: Мережковский, Куприн и Леонид Андреев. Попытка предложить Лугового и Allegro — провалилась. Говорят, что Горького восстановят в звании академика, коего он был лишен. Когда я с упреком спросил, почему не избирают Василия Немировича-Данченко, Овсянико-Куликовский ответил: «Он слишком мелок, да и главным образом — корреспондент». — —

Зашел к Василию Немировичу-Данченко — он как раз завтракал со своим братом. Владимир приехал сюда из Москвы на выходные дни — в виде исключения, ибо ежегодно проводит это время в Берлине или Ницце (для отдыха). Он сказал мне: «Когда же Вы, наконец, приедете в Москву и заберете у меня целый ящик писательских писем для Вашего музея?»... Речь снова зашла о выборах в почетные академики, и я, исходя из своего глубочайшего внутреннего убеждения, сказал, что Василий должен быть избран. На это Василий спокойно возразил: «Этого никогда не будет, я для этих господ — слишком неудобная фигура. Ведь мои письма из Маньчжурии[598] немало способствовали революционному взрыву 1905 года!» Об Овсянико-Куликовском он (Василий) сказал: «Он — лицемер. Хвалит меня в глаза как писателя и в то же время поместил в "Вестнике Европы" рецензию Адрианова на мою книгу "Вооруженный народ", где мне предъявлен упрек в том, что я чересчур сгустил краски. Как будто существуют достаточно густые краски для описания ужасов войны!»

13 января 1914

Вчера я устроил небольшой ужин; по моему приглашению в нем приняли участие: Василий Немирович-Данченко, Батюшков, Карпов с женой и Овсянико-Куликовский с женой. Случайно пришла Бухарова, с которой я расцеловался и вообще флиртовал (под общий смех).

Я предложил организовать юбилейное — пусть даже очень скромное — торжество в честь Гриневской, но мое предложение было отклонено: мол, преждевременно, да и незаслуженно. Даже на лавровый венок подписался лишь один Карпов. Овсянико-Куликовский смеялся: «Я всегда путаю: Беха-Улла, Изабелла, Бела-Уха»[599]. <...>

Чириков и Карпов в ссоре. Когда Карпов в сезон 1912/1913 года был режиссером в театре Рейнгардта, к нему явилась Иолшина (жена Чирикова) и попросила взять ее в труппу. Он не мог выполнить ее просьбу, поскольку она объявилась слишком поздно: ее амплуа уже было занято... С тех пор они прекратили посещать друг друга. (В минувшем декабре, когда я был у Чирикова и спросил, будет ли Карпов, он ответил таким раздраженным «Нет!», что я удивленно отпрянул назад)... О Мамине Карпов сказал: «Это колоссальный талант, более яркий, чем талант Короленко и Чехова». Альбов, по его словам, гораздо значительнее Баранцевича (о страсти последнего к юбилеям говорилось насмешливо и презрительно)... Он много читает и образован не только в литературном отношении. Но с его лингвистическими познаниями дело издавна обстоит неважно. Уверял, что проехал через всю Германию с одним-единственным словом «Jich bietje» (то есть: «Ich bitte»[600]). Вчера, говоря об одной больной девушке, он употребил выражение «Mater della rosa» (dolorosa)[601]. <...>

18 января 1914

Вчера — в Литературном обществе. — Ждали Герберта Уэллса, но он не приехал. По этому поводу было немало шуток, ибо никто (за исключением Батюшкова, составившего адрес, Милюкова и Каррик) не говорит по-английски; Уэллс же, по слухам, изъясняется исключительно на своем родном языке. <...>

Ну вот, и я удостоился «чести» — визита двух футуристов. Вечером явился Олимпов (сын Фофанова) и привел с собой Василиска Гнедова. Своим ясным лицом и своими ясными глазами Олимпов, одетый в чистый черный сюртук с металлическим эго-треугольником на обшлаге слева, вообще производит приятное впечатление — ни малейших признаков ненормальности. Лишь изредка, когда он приходит в возбужденное состояние, в его взгляде сквозит что-то странное. Гнедов был одет довольно неряшливо, в грязных сапогах; при этом несколько раз подозрительно почесывал себе шею под воротничком (без рубашки). Черты его лица, весьма даже симпатичного, отличаются некоторой мрачностью и фанатичностью — но все же никакой ярко выраженной психопатии. Он любит Гейне, хотя знает его только по переводам; все они, на его взгляд, — плохие. Он согласился со мной, когда я назвал его (Гейне) подлинным футуристом (в высоком смысле этого слова); ему очень понравилось то, что я процитировал из Гейне: «Дай мне поцеловать твое белое сердце! Белое сердце, ты меня понимаешь?»[602] Ницше он тоже знает. Записал мне в альбом стихотворную импровизацию, зарифмовав слова «*коромысло*» и «*дуга*»: по смыслу. Сказал, что рифмовать можно не только по звуку, но и по внешнему облику и даже по вкусу (например: «горчица» и «хрен»)... Олимпов сказал, что его мать все еще находится в клинике для душевнобольных. Показал письмо Репина к нему, содержащее столь восторженный гимн в его (Олимпова) славу, что у меня появились сомнения: уж не тронулся ли Репин рассудком? Он называет Олимпова не только поэтом милостью божьей, но и божьим помазаником (как поэта)!.. Олимпов рассказал, что недавно во время одного из публичных выступлений футуристов он сообщил публике, что это он сотворил Солнце; после чего полицейский пристав вывел его из зала. «За нарушение общественного спокойствия?» — спросил я с невиннейшим выражением лица. «Нет, за богохульство... Но он тут же отпустил меня, так что дело не имело последствий».

Когда оба в прихожей надевали пальто, я спросил Олимпова, где он живет. «На Петербургской стороне». — «Но это ведь далеко». — «Да. И поэтому... не дадите ли нам два рубля на трамвай?» — «Сожалею, но за два дня до двадцатого числа наш брат тоже сидит без гроша в кармане». И оба убрались восвояси... Да, Гнедов говорил еще что-то о цикле своих стихов «Засахаренная крыса»[603].



24 января 1914

Присутствовал вчера на антифутуристическом вечере. Получилось нелепо и скучно, потому что пародистов и карикатуристов (каковыми вольно и невольно являются эти хулиганы от искусства!) невозможно пародировать и выставлять в карикатурном виде точно так же, как невозможно умертвить покойника... Войдя в артистическую комнату, увидел Наташу — она сидела на диване рядом с Тусей Потапенко. <...> Зал, заполненный до отказа, приветствовал Куприна продолжительными аплодисментами. Он был трезв, по крайней мере, с виду. Читал свои крымские стихотворные юморески — ему хлопали незаслуженно громко. <...> Вокруг него все время толпилась молодежь, внимавшая его пошлостям как откровению. Портной Катун сказал мне, что отвезет его к себе домой. — Когда на сцену вышел Баранцевич, его встретили аплодисментами человек десять, не более, да и эти аплодисменты тут же затихли. — —

Сегодня в четыре встретил Будищева. Мы поехали (он совсем не может ходить; чувствует себя, впрочем, неплохо) в расположенный поблизости ресторан Соловьева (на углу Невского и Николаевской), где Будищев надеялся застать Куприна. Но его там не оказалось. Вчера же — мне сообщили об этом официанты — он появился часов в восемь вечера, а потом сидел с двенадцати до самого закрытия вместе с Катуном и его женой.

Будищев заказал стакан слабого чая. Когда подали чай, ему показалось, что для него это все равно слишком крепко (он все еще не пьет и не курит), и он попросил разбавить его кипятком. В связи с этим написал мне в мой ресторанный альбом:

Я с Фидлером сижу в веселом ресторане,
Но у меня — увы! лишь жидкий чай в стакане!

Будищев вполне доволен своей жизнью. Говорит, что мог бы писать ежедневно по рассказу, — так много у него разных сюжетов. Пишет с удовольствием: «Чувствую в себе юношескую силу!» Получает триста рублей за печатный лист. С уверенностью смотрит в будущее: жена и сын будут навсегда обеспечены продажей прав на все его сочинения. Сейчас он уступил бы их за шестьдесят тысяч. Они не устареют, как это часто случается, потому что он никогда не стремился передать интерес к определенной сиюминутной ситуации, а сюжет и события у него никогда не зависели от содержания момента. И еще потому, что главным, по его словам, всегда оставалось для него изображение души: «*Положение моих героев всегда находилось на острие бритвы*»).

<...>

27 января 1914

Вчера был приглашен на журфикс к Гаккебушу в его новую роскошную квартиру (плата — свыше трех тысяч, включая отопление). Там встретил Вячеслава Иванова, приветствовавшего меня поцелуем. Однако вместе мы побыли лишь минут десять — он куда-то спешил. Выглядит гораздо моложе, чем обычно, и уже не напоминает профессора из «Fliegende Blätter». Более одухотворенного лица я не встречал ни у одного из русских писателей. Написал мне в альбом четверостишие; собирался написать еще что-то (сравнив меня с радугой, соединяющей две страны), но не успел из-за недостатка времени.

У Гаккебуша никого больше не было (кроме его приятеля Василия Федоровича Рубахина); обед протекал довольно скучно.

Гаккебуш рассказал мне (еще до прихода Рубахина), что ему удалось скопить всего лишь примерно шесть тысяч рублей, но его собрание живописи оценивается знатоками в тридцать тысяч. В его кабинете висит написанный Репиным портрет Ясинского, подаренный на юбилей, однако Ясинский, которому портрет не понравился, продал его Гаккебушу. «Воистину Репин свел здесь воедино все отрицательные черты Ясинского: его хитрость, коварство и неискренность!» — — — <...>

1 февраля 1914

Вчера пытался покончить с собой Любяр (подлинное имя: Лозина-Лозинский). Он был у меня 8 января сего года и принес три своих стихотворных сборника. Симпатичный, образованный, интересный молодой человек, но несколько мрачен и пессимистически настроен. В тот день я ничего не записал о нем, поскольку его визит был почти полностью посвящен осмотру моего «музея». Припоминаю лишь его слова о том, что он очень любит Гейне и собирается его переводить, ибо существующие стихотворные переводы почти все без исключения неудачны. Его очень тепло рекомендовал мне Сургучев, хвалил его талант и энергию; к сожалению, у него чахотка. — —

На переменах в гимназии княгини Оболенской я чаще всего разговариваю со старейшей учительницей Елизаветой Федоровной Литвиновой, доктором математики (пробовала себя и в литературе). Она лично знала Некрасова и Огарева, преподавала одной из дочерей Герцена (покончившей с собой) и т.д. «Муся» Иорданская, урожденная Давыдова и бывшая жена Куприна, — вовсе не дочь Александры Аркадьевны и Н.К. Михайловского, как уверяла молва. Ей было уже несколько лет, когда ее мать познакомилась с Михайловским. Это происходило на глазах у Литвиновой в редакции старого «Северного Вестника»[604], куда Давыдова поступила на секретарское место только ради того, чтобы

познакомиться с Михайловским (будучи дамой состоятельной, она не нуждалась в заработке). Когда он однажды появился в редакции, она тотчас в него влюбилась — настолько, что ничуть этого не скрывала и вскоре вступила с ним в интимную связь... Вполне возможно, что «Муся» — дочь Надсона, с которым у Давыдовой также был роман... (Я, Фидлер, сомневаюсь в этом, поскольку у Надсона есть стихотворение, написанное для «Муси», когда девочка говорила уже не только по-русски, но и по-немецки. Надсон умер вскоре после того, как состоялось его знакомство с Давыдовой.) Согласно другой версии, «Муся» — дочь Карла Юльевича Давыдова и одной из его консерваторских учениц; говорили, что ребенок был подкинут Давыдовым, а потом воспитывался в детском приюте. По слухам, Карл Юльевич и Александра Аркадьевна нарушали супружескую верность направо и налево и все же умудрялись сохранять наилучшие дружеские отношения.

5 февраля 1914

Уже несколько дней здесь находится (разумеется, по издательским делам) А.М. Федоров. Сегодня он заглянул ко мне на четверть часа; завтра утром возвращается в Одессу. Выглядит после своего длившегося более трех месяцев путешествия по арабско-африканскому миру (с дороги он прислал мне несколько видовых открыток с приветствиями) загорелым, обветренным, энергичным и крепким; то, что он якобы растолстел, как боров (так он написал в моем альбоме), — поэтическая гипербола... Я сказал, что высказанное им у меня в последний раз опасение (что он утонет) не оправдалось. И все-таки он чуть было не стал жертвой несчастного случая: за Константинополем поднялся такой сильный ветер, что аппарат по очистке воздуха сорвался, полетел в сторону рукомойника (у которого как раз стоял Федоров) и разбил его вдребезги.

Близ Басры у него был сон: ему привиделось, что сын тяжело заболел; он послал домой запрос (по беспроволочному телеграфу) и получил успокаивающий ответ; на самом деле в ту ночь у мальчика случился сильный сердечный приступ, так что жизнь его была под угрозой. «Я не лишен так называемых предрассудков: верю в сны, предчувствия и т.д. Однажды я говорил об этом с Антоном Чеховым, и он согласился со мной; мы были бы, сказал он, куда восприимчивее к так называемым сверхъестественным явлениям (ведь сверхъестественны в сущности и беспроволочный телеграф, и радий, и т.п.), если бы мелочи повседневной жизни не сделали нас такими толстокожими...» — «Сколько пришлось заплатить за все путешествие?» — «Немногим более тысячи рублей». — «Так много?» — «И вышло бы еще больше, не имей я различных льгот на проездные билеты. Но я не только верну себе эти деньги, но и получу еще значительную прибыль. Помимо высокого душевного и духовного наслаждения,

это путешествие обогатило меня множеством сюжетов, из которых я несколько уже использовал — в стихах и прозе. Я создал даже несколько картин»... Он (Федоров) обещал «Ниве» написать воспоминания об Аполлоне Майкове. Тогда я прочитал ему (по рукописи) пассаж из моих воспоминаний, имеющий отношение к нему, Федорову: историю, рассказанную им после похорон Майкова, когда мы вместе возвращались домой с кладбища, и он подтвердил мне все, что тогда рассказывал. Впрочем, есть одно место, которое он желает исключить из своих воспоминаний, а именно: Майков сказал ему однажды, что Россия — столь колоссальная страна, что нити, тянущиеся со всех сторон, следует связать в один узел, а держать этот узел должна одна-единственная рука. Федоров робко возразил ему, что эти нити не должны быть все же затянуты на шее отдельных народов, населяющих Россию. Тут Майков вспылил: «Я весьма терпим по отношению к другим политическим убеждениям, но это...» Его, вопреки обыкновению, громкий голос захлебнулся — кто-то вошел в комнату... Федоров назвал Майкова своим поэтическим *восприемником*[605].

8 февраля 1914

Сегодня встретил Чуковского. Мы отправились к фотографу Булле, чтобы увековечить себя на *одном* снимке. Перед тем как сфотографироваться, я спросил его, не желает ли он пригладить свои космы. «Нет, потому что тогда я буду не я». Когда мы сидели перед аппаратом, фотограф посоветовал ему чуть спрятать руки, иначе на снимке они получатся слишком крупными. Но он ответил со смехом: «Руки — это лучшее, что у меня есть!» Он вообще много шутил. И одновременно жаловался, что здесь, в городе (он приехал сюда на несколько дней и остановился в «Пале Рояль»), он не может ни работать, ни спать. Многократно заверял меня в своей любви и преданности. Купил для меня свой портрет (с работы Репина) и надписал его: «*С завистью и негодованием*». Почему же с «*негодованием*»? — спросил я. «Ну, потому что Вы остаетесь предметом моей зависти — ведь Ваш музей не принадлежит мне!» Я предложил ему вместо «*глубокоуважаемому*» написать «*глубоконеуважаемому*», но он сказал: «Лучше я поставлю это слово в кавычки». И поставил кавычки.

9 февраля 1914

Участвовал вчера в ужине германо-романистов (в связи с днем основания университета). Присутствовали, среди прочих: ректор Гримм, мой старый приятель Браун, Аничков, испанист Д.К. Петров, Батюшков, Лапшин. Говорились речи на всех языках — живых и мертвых. Был и Гумилев, записавший мне в альбом «В ресторане» следующий бессмысленный и бесформенный акростих:

Федор Федорович, я Вам
Фейных сказок не создам.
Фею ресторанный гам
Испугает — слово дам.
Да и лучше рюмок звон,
Лучше Браун, что внесен, } Что означает сей
Есть он, все иное — вон, } бред?
Разве не декан мой он?!

Тот же Гумилев привез меня в кабаре «Бродячая собака», где я оказался в первый и последний раз. Тесно, душно, противно, неинтересно. В этом человеческом месиве видел Цензора, Щеголева, Ашешова и Иорданского, обнимавшего какую-то дамочку.

13 февраля 1914

Был вчера в Куоккала у Репина, которого ни разу не видел в такой ярости: он топал ногами, сжимал кулаки и кричал, потому что в столовой зажгли чадящую керосиновую лампу. (Нордман-Северова лежит с легочным заболеванием в одной из петербургских больниц и отказывается пить молоко — видит в этом посягательство на материнские права коров!) Мы отправились на берег залива, и Чуковский прокатил меня в санках по замерзшей ледяной поверхности. Присутствовали также: певец Шаляпин, скульптор Аронсон, художник Бродский, Юрий Репин (сын Ильи) и гравер Матэ. <...>

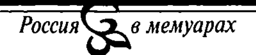
2 марта 1914

Сегодня утренним поездом, прибывающим в 11 час. 35 мин., на родину — после восьмилетнего пребывания за границей — возвратился Минский. На вокзале его встречали: Зина Венгерова (страстно поцеловала его), Сологуб с Чеботаревской, «Дитя» Слонимская с мужем, Тэффи со своим Галичем, Арабажин, сыновья Венгерова (он отсутствовал, ибо по-прежнему его недолюбливает), два знакомых студента и барышня по фамилии Грюнвальд. Вот и все... В зале ожидания Сологуб произнес путаную речь о жданно-нежданной радости. После чего Минский сказал: «Я очень, очень рад!», и на глаза его навернулись слезы. На нем была шуба с настоящим парижским воротником из кошачьего меха. Он опасался, что в Вержболово[606] начнутся придирки, но ничего подобного не случилось — его даже не попросили открыть чемодан; ему пришлось заплатить лишь три рубля штрафа за паспорт. С ним вместе до Вержболово ехал Бальмонт, а дальше уже без него; он должен был прибыть сюда сегодня в восемь утра. Зина

расплатилась с носильщиком и уехала с Минским в ландо. — —

Арабажин сказал мне, что весьма доволен своей профессурой в Гельсингфорсе[607] и — vice versa; его раздражает лишь постоянная езда туда-обратно (он проводит два дня в Гельсингфорсе и четыре здесь)... Да, вот еще... Когда поезд прибыл, все бросились к последнему вагону, я же остался стоять на месте, так что вагон, в котором ехал Минский (второго класса), остановился прямо передо мной и я оказался первым, кто его приветствовал. Мы расцеловались. — — <...>

На вокзале Зинаида Венгерова пригласила всех к себе (в четыре часа на чай). Подали чай и торты, но ни капли алкоголя. Я воистину не знаю, что сообщить здесь об этом five o'clock... А.В. Руманов отговаривал Минского, желающего выступить в ближайшее время с докладом, от этого намерения и советовал подождать до сентября, мотивируя тем, что Минский не знает нынешних условий в России; он говорил порой с таким апломбом, что Минский смутился и растерялся. Одновременно Руманов дал ему несколько практических советов: как обойти закон о штрафах за неоплаченный паспорт и, более того, — вообще избежать уплаты денег (сумма штрафов за восемь лет составляет более двухсот рублей)... Арабажин пытался развеять сомнения Минского, Зины Венгеровой и мои относительно поэтического величия Шевченко, что ему, впрочем, не удалось... Рафалович записал мне в альбом свое приветственное стихотворение Минскому, в котором говорится прямо противоположное тому, что в нем должно говориться; все были изумлены двусмысленным пассажем (об этом — позже, когда альбом закончится)... Сологуб (возложил мне, сидевшему за столом, руки на плечи) [и Чеботаревская] упрекали меня за то, что 17 февраля (именины Сологуба) я не пришел к ним, и решительно требовали, чтобы я посетил их завтра вечером, в десять часов... Присутствовали также: Слонимская и два неизвестных и безымянных лица... Все время звучал смех. Минский рассказывал, что покойный В.А. Фаусек однажды сказал ему: «Надсон посвятил мне такое стихотворение: "*Фаусек — хороший человек*". Могу гордиться тем, что являюсь обладателем самого плохого стихотворения Надсона!»... У Минского весьма своеобразная манера сморкаться (отличавшая его, впрочем, и раньше): быстро-быстро, как белочка, он проводит носовым платком по волосам на губе и бородке и сразу, тем же самым платком, — по кончику языка; этот последний жест он делает не потому, что у него кашель, а по привычке, и даже тогда, когда во рту у него нет никакой мокроты, — в результате слизь, вытекающая из носа, соприкасается с языком. Отвратительно! Он сильно поседел и отрастил брюшко, но в остальном нисколько не изменился. В нем, как и прежде, отсутствуют сердечность и добродушие; слегка запрокинув голову, он держится, как обычно, напыщенно и холодновато.



8 марта 1914

Вчера — в Литературном обществе. Доклад должен был делать Гумилев, а Анна Ахматова, его жена, — читать свои стихи; но оба не явились. С. Городецкий (пришел с женой) заявил Батюшкову и мне, что ему потребуется величайшее самообладание для того, чтобы прочитать объявленный доклад: дескать, он буквально потрясен следующим событием. Бальмонт должен был повторить в зале Тенишевского училища свой доклад «Поэзия как волшебство», который уже имел огромный успех (у широкой публики и прессы). Он (Бальмонт) и Городецкий договорились пообедать вместе в шесть, оттуда поехать в Тенишевское училище, а оттуда — в Литературное общество. Но когда Городецкий (с женой) приехал в «Северную Гостиницу», где остановился Бальмонт (комната 90), он застал его в номере абсолютно пьяным (я вчера заезжал к нему в половине одиннадцатого утра, но прислуга объяснила, что он не ночевал в гостинице и до сих пор не вернулся) и притом в такой позе, что жене Городецкого было просто невозможно зайти в комнату. Чтобы протрезвить Бальмонта, Городецкий в течение двух часов катал его в автомобиле по городу. Бальмонт сокрушался и говорил, что какие-то два *негодяя* заставили его пьянствовать с ними. Поездка в автомобиле привела его в чувство. Но когда они приехали в Тенишевское училище (на улице стояла огромная толпа людей, не сумевших достать входной билет) и вошли (опоздав на полтора часа) в переполненный зал, то смена воздуха мгновенно оказала обратное действие: он опять совсем опьянел. Публика встретила его аплодисментами и свистом. Он с трудом взобрался на кафедру, *промычал* что-то похожее на слово «поэзия» и зашатался. Тут вышел какой-то господин и заявил, что доклад состояться не может, потому что Бальмонт болен. Его отвели в *исполнительскую*, где он закричал: «Здесь нет никого, кроме меня, Бальмонта!» (кто-то спросил, где Городецкий) и стал бросаться на дам со стиснутыми кулаками. В конце концов, два господина доставили его домой, а Городецкий поехал в Общество... Сюда пришли и другие люди из Тенишевского училища, подтвердившие, что был безобразный скандал: публика кричала, свистела, била в ладоши, требовала обратно деньги и т.п. — —

Во время своего доклада (я был единодушно избран председательствующим) Городецкий неудачно выразился, сказав, что символисты — Азефы. В зале раздался ропот и послышались крики протеста. Против такого «поношения» писательского цеха выступили, между прочим, Пяст и Кремлев. Когда Чеботаревская (Сологуба не было — он читает лекции в провинции) крикнула из публики несколько протестующих слов и Городецкий предложил ей выйти и высказаться, она заявила, что разговаривать с ним — ниже ее достоинства... Когда позднее я сказал Городецкому, что ее враждебное чувство по отношению к нему возникло, по моим наблюдениям, не сегодня, он ответил: «Вы правы».

Либеральные газеты умолчали о скандале с Бальмонтом (это событие стало вчера величайшей сенсацией, ибо ничего подобного никогда не было); но «Новое Время» рассказало об этом. Правда, слово «пьяный» не упоминается, но ясно прочитывается не только между строк, но и буквально между слов.

Один из моих коллег рассказал мне, что его коллега по гимназии Гуревича (Струве) был вчера с несколькими учениками на лекции Бальмонта. И он, и ученики (абитуриенты) рассказывают следующее. Публика уже весьма нервничала из-за полуторачасового опоздания Бальмонта. Недовольство возросло еще более, когда Бальмонт, не говоря ни слова, в течение пяти минут пялился в зал. «Он невменяем!» — послышались голоса. «Как грубо!» — отвечал Бальмонт, откинувшись назад с презрительной ухмылкой. Затем он пролепетал несколько слов, которые никто не понял. «Уведите его!» — послышались голоса. К нему подошли два абитуриента, деликатно взяли под руки и попросили немного отдохнуть в исполнительской. Но он гордо воскликнул: «Я — Бальмонт, Константин Бальмонт!» А тем, кто стал упрекать устроителей за то, что они выпустили пьяного к публике, он ответил: «Здесь нет никаких устроителей! Я — единственный устроитель, я, Константин Бальмонт!»... Сбор с доклада предназначался наполовину для неимущих учеников гимназии Гуревича (сын Бальмонта окончил в ней курс и был моим учеником). И что теперь? Зал, билеты и прочее — за все это было заплачено, так что вместо прибыли получился убыток... Пристав Шебеко составил протокол: «Доклад не состоялся по причине того, что лектор находился в совершенно пьяном состоянии».

9 марта 1914

Завтрак начался у меня сегодня в половине второго, а закончился в половине пятого. Сологуб прибыл (вместе с Чеботаревской) прямо с Николаевского вокзала (он читал лекции в Вологде и еще где-то); они не виделись целую неделю, и Чеботаревская прижималась к нему, требуя поцелуев, он же с довольной улыбкой уклонялся от объятий. Глядя на это, я сказал: «Что за нетерпение! Через пару часов вы окажетесь enfin seuls[608] и пусть тогда будет après nous le déluge!..»[609] Он (Сологуб) называл себя «Азеф», точно так же его именовали и другие — разумеется, в шутку, так что все смеялись. Мы вообще почти все время хохотали, причем громче и искреннее других — Сологуб (широко открывая рот, так что дыра, образованная двумя отсутствующими верхними зубами, прямо-таки зияла). (Я убежден, что человек, способный так невинно, непосредственно, от души смеяться, не может обладать злым сердцем.) Минский тоже хохотал, но в его смехе не слышалось и не ощущалось естественности, а во взгляде не было того добродушного блеска, какой излучали глаза Сологуба. Василий Немирович-Данченко — он явился лишь после трех из окружного суда, где с

интересом следит за процессом «Охтенской богородицы»[610], — ничего не ел, зато прилежно тянул наливку, причем он и Сологуб то и дело подливали друг другу, так что графин скоро совсем опустел. Минский выпил буквально одну каплю, и то потому, что Немирович-Данченко, не видевший его восемь лет, предложил выпить за его здоровье; он (Минский) налил себе в рюмочку белого вина и лишь пригубил его... Немирович-Данченко предложил устраивать писательские ужины, и мы тотчас составили список из тридцати человек, которых следовало бы пригласить к участию. Предложенные мною Баранцевич и Потапенко были отклонены. О Баранцевиче Зина Венгерова сказала, что он стал ужасно груб. Недавно, например, он выплачивал ей тантьемы[611] в ресторане Союза, и когда она взяла деньги и спрятала их, не пересчитывая, он напустился на нее: «Ну, конечно! Женщины, ведь, привыкли, что за них платят мужчины!»

Наташа не пришла и даже не откликнулась — ни письменно, ни телефонным звонком. Теперь я свободен от каких бы то ни было обязательств по отношению к ней!

Бальмонт тоже не пришел, хотя я дважды приглашал его — письменно и устно (через коридорных в его гостинице); в письмах я просил его известить меня по телефону в случае, если что-либо помешает ему прийти. Он не пришел, поскольку ему стыдно, — таким было всеобщее мнение.

В моих (опубликованных) воспоминаниях о Надсоне[612] я сообщаю, что петербургские писатели составили протест, адресованный Буренину в связи с его пасквильной статьей против Надсона[613]; однако этот протест не был отправлен. Это рассказал мне некогда Н.К. Михайловский и добавил, что инициатором протеста был Минский. Последнюю деталь я опустил в своих воспоминаниях, ибо не смог узнать по этому поводу никаких подробностей. Летом, из Павловска, я письменно просил Минского сообщить, как обстояло дело с этим протестом и располагает ли он его текстом[614]. Но он не ответил на мое письмо. И вот сегодня я спросил его, по какой причине он промолчал. «Это секрет». — «Что секрет, причина Вашего молчания или история самого протеста?» — «Все секрет», — ответил он уклончиво.

Зина Венгерова сказала, что суфражистка, изрезавшая «Венеру» Веласкеса, была права[615]; кроме того, подлинность картины представляется спорной, а ее художественные достоинства вообще невелики.

Минский уверял, что в Париже невозможно встретить на улице женщин со следами слез на лице (поскольку мужчины обходятся с ними по-рыцарски); здесь же их видишь на каждом шагу.

11 марта 1914

Был вчера у Сологуба. Подойдя к его дому, я увидел Зинаиду Венгерову — она расплачивалась с извозчиком; Минский стоял у ворот. Собственно, в его

честь и должен был состояться вечер, устроенный Сологубом. Присутствовало около двадцати человек, в том числе — профессор Фаддей Францевич Зелинский (ушел перед ужином), Тэффи (на пальцах — большие, с орех, драгоценные камни; читала свои стихи), Щеголев, Владимир Гиппиус (читал свои стихи), Чулков, Сюннерберг, Эмма (sic! — *К.А.*) Эммануиловна Розенфельд, печатающаяся под псевдонимом Миртов (роман «Яблони цветут»), Василий Немирович-Данченко. Звучали напыщенные хвалебные речи в честь Минского (коим Зинаида Венгерова внимала с зардевшимися щеками), превозносивщие его как поэта и деятеля освободительного движения. Говорили также Сологуб и Аничков (последний бранил молодую поэзию). Ответ Минского — холодная работа мозга.

Да и вообще было холодно — в прямом и переносном смысле. За ужином на всех не хватило еды (к тому же весьма обычной). Зато угощали импортным вином, белым и красным, и даже — шампанским.

Я тоже произнес тост (по поводу «седых волос» Минского, которым все славословили): «Я пью за бывшие седые волосы[616] человека, который не тридцать, как Минский, а целых пятьдесят лет несет знамя красоты и свободы: да здравствует Василий Немирович-Данченко!» Тост был встречен аплодисментами (не столь громкими, как я надеялся).

11 апреля 1914

Вчера — в Московском Художественном театре. Пьеса Андреева[617] вообще не имела успеха: когда спектакль закончился, аплодировало лишь около десятка зрителей, а порядка пяти шипением выражали свой протест. В амфитеатре (справа за креслами) рядом с Марией Андреевой сидел Горький. У него был настолько скромный и невзрачный вид (в дешевом сюртучке, хотя с воротничком и манжетами), что я несколько раз проходил мимо, не замечая его. Лишь когда все стали выходить из зала, мы столкнулись. Он тоже не узнал меня: в 1908 году на Капри я был плотнее, с тех пор похудел. Лишь когда я назвал себя, он воскликнул «Федор Федорович!» и крепко пожал мне руку. «Добро пожаловать в Россию», — сказал я. Он с благодарностью приложил руку к сердцу. Здесь нас разъединила стремящаяся к выходу толпа.

13 апреля 1914

Сегодня у нас обедал Жихарев. 9-го числа сего месяца его посетил Куприн, которого он, согласно договоренности, подверг осмотру. Жихарев обнаружил у него дефекты в работе сердца и почек и слабую реакцию при ударе по коленной чашечке; но у Куприна, по его словам, удивительный запас здоровья — на годы вперед (поразительно крепкая конституция). <...> Куприн пришел со сво-

им спутником Вержбицким (который был у него и 8 числа); тот принес с собой гитару. Оба пели цыганские романсы, а потом исполнили дуэт Онегина и Ленского (на дуэли). Куприн был Ленским; сраженный пулей, он весьма умело рухнул на пол. Потом оба танцевали танго. Потом скрылись в уборной. Когда Жихарев отыскал их, они стояли там, прижавшись друг к другу, и Куприн объяснил: «*Ищем повод разнежиться и расплакаться*». До этого было выпито изрядное количество коньяку.

Кроме того, Жихарев рассказал, что видел собственными глазами, как оглушительно провалилась премьера «Чайки». С ним в театре был Мамин. А по окончании представления оба отправились в «Малоярославец». За соседним столиком сидели старик Суворин и Чехов (ходила легенда, что после спектакля он спешно отправился на Николаевский вокзал и — даже без головного убора — укатил прямо в Москву; значит, было не так!). Его внешний вид не выдавал внутреннего волнения. Он несколько раз подходил к Мамину и шутил с ним. Мамин представил Чехову Жихарева и предложил что-либо ему пожелать. И Чехов процитировал самого себя (кажется, из «Иванова»): «Не женись на актрисе и не женись на еврейке!»... А сам-то? Женился впоследствии на актрисе, которая — еврейка (Книппер)! — —

В обеде участвовал и Баранцевич (он лишь вчера покинул больницу). <...>

Вчера, когда я зашел к Карпову, я видел у него групповую фотографию: Карпов сидит в обществе печально известного В.В. Протопопова и князя М. Волконского, черносотенца; все остальные — неизвестные лица.

18 апреля 1914

Гулял сегодня по лютеранскому Смоленскому кладбищу и посетил могилу Клингера — мощный серый обелиск (очень хорошо сохранившийся) с надписью (столь же хорошо сохранившейся) золотыми буквами:

Friedrich Maximilianus
Klinger

Natus die 18 Febr. 1752
Denat die 13 Febr. 1831.

Ingenio magnus
Probitate maior
Vir priscus

Hoc monumentum posuit amans uxor et grata[618].

23 апреля 1914

Сегодня, по предварительной договоренности, навестил Муйжеля (9-я Рождественская[619], д. 10, кв. 10). В светлой уютной квартире стоит деревянная мебель в русском деревенском стиле — Муйжель заказал ее в Печерах[620] и собственноручно расписал... Он подарил мне более пятисот писательских писем к нему. Пока мы извлекали их из огромной бельевой корзины, отделяя от неписательских, он дал мне еще пачку и шепнул, чтобы я скорее их спрятал, потому что эти письма — от женщин. С тем же многозначительно озабоченным выражением попросил меня принять на хранение письмо от жены Чирикова; его (Муйжеля) жена хлопотала в этот момент в соседней комнате (в столовой). Он передал мне, кроме того, ряд писем от Ольги Мар, но когда я их тут же прочел, то не нашел в них абсолютно ничего сомнительного или компрометирующего... Муйжель сказал: «На мой юбилей (впрочем, он состоится лишь через пятнадцать лет, так как я начал писать десять лет назад) я хотел бы получить хорошую гитару»... И мать, и отец испытывают нежнейшие чувства к сыну Марку.

3 мая 1914

Вчера — заключительный вечер в Литературном обществе. Меня избрали председателем; доклад читал Логвинович — о Зинаиде Гиппиус-Мережковской как поэтессе. Доклад представлял собой мешанину иностранных слов, а также математических и философских аксиом, из которых явствовало только одно: душа Гиппиус-Мережковской хаотична, но сама она — гениальный поэт. Публика покачивала головой или откровенно смеялась. Некоторые признались, что абсолютно ничего не поняли в реферате. Когда все закончилось, Лукьянов написал мне в альбом (под псевдонимом Златокудров):

Доклад о Гиппиус, и что ж?
Увы, такая дребедень,
Что ничего не разберешь...
Да, наступил последний день!

5 мая 1914

Вчера — последний из «Вечеров Случевского» в этом сезоне (за минувшие месяцы я ни разу не принимал в них участия). Организатором был Ясинский, устроивший обед. Мы разгуливали без сюртуков по саду; я — с осторожностью, ибо кругом валялись осколки стекла. Ни за что на свете я не согласился бы жить в этом доме и в этом районе!.. Никто не прочитал ни одного стихотворения. Нас снимали киноаппаратом. Присутствовали: И.И. Соколов (я лишь поздоровал-

ся с ним, пожав руку), Лебедев, Мазуркевич (рассказывал грязные анекдоты), Кривич, Гриневская (с сильно напудренными щеками), Шульговский, Берхман (первое знакомство), Курдюмов (с моноклем в глазу; увивался вокруг Берхман), Коковцев, Уманов-Каплуновский, Хвостов, Цензор, Тамарин (Окулов), Быков, его жена Зинаида Ц., Вентцель (Бенедикт), Чебышева-Дмитриева — целая коллекция насекомых, точнее, инфузорий!.. Ничего примечательного.

7 мая 1914

Сегодня меня вызвала к телефону Наташа и сказала, что в связи с предстоящим десятилетием со дня смерти Чехова она указала «Ниве» на мой «музей» и просит меня дать несколько редких фотографий и т.д. Я ответил, что редакция могла бы обратиться ко мне напрямую; впрочем, ничего им не дам.

9 мая 1914

Вчера в Медицинской Академии[621] защищала докторскую диссертацию жена бывшего священника Г.С. Петрова. В связи с этим он тоже приехал — разумеется, тайно, ибо срок его ссылки заканчивается лишь в феврале следующего года... В четверть десятого он влетел ко мне с корзиной цветов и двумя букетами для моей жены (впрочем, корзину нес наш портье) и просидел до без четверти одиннадцать, чтобы прямо от нас отправиться на Николаевский вокзал: он уезжал одиннадцатичасовым поездом в Могилев, где у него нынче вечером лекция. Физически и духовно он сохраняет юношескую подвижность, то же можно сказать, несмотря на седые волосы, о его лице, одним словом, — молодой человек, энергичный и предприимчивый, как всегда, и даже, насколько можно, в еще большей степени. Он по-прежнему хочет объехать всю Россию с лекциями (которые повсюду, как мне известно из отчетов местных газет, имеют невероятный успех). С этой целью он держит при себе двух секретарей: одному платит тысячу рублей в месяц, другому — пятьсот. Как-то раз в поезде он разговорился с незнакомым господином, который стал его уверять, что Петров благодаря своим лекциям стал миллионером. Петров, улыбаясь, опроверг его слова, но господин заявил, что знает это наверняка, потому что живет в Коктебеле напротив его виллы. «А я живу в самой вилле». — «Да кто Вы такой?» — «Тот самый Петров»... Картина!

Петров рассказывал, кроме того, о своем недавнем посещении Ясной Поляны. Графиня Софья Андреевна водила его по всему дому и, указав, среди прочего, на какую-то книжную полку, рассказала следующее. Толстой строго-настрого запретил ей протирать книги на этой полке и даже прикасаться к ним.

Но однажды, воспользовавшись его отсутствием, она «из женского любопытства» стала там рыться и обнаружила за книгами — иконку Божьей Матери. Этой иконкой его благословили, когда он отправлялся на Кавказскую войну... Моя жена стала его (Толстого) бранить за отсутствие твердых убеждений, но Петров возразил: «Это — трогательное благочестие и набожная робость: нежелание открыть посторонним взглядам то, во что он некогда верил. Так мы храним — с благодарностью и грустью — любовное письмо, много лет назад написанное нам девушкой, которая позже скомпрометировала себя своим поведением и оказалась недостойной нашей любви!»

Добродушный, но бездарный и ограниченный Студенцов узнал о предстоящем визите Петрова и, набравшись бесстыдства, тоже явился к нам. Ему ведь было известно, что мы не видели Петрова целый год и у нас могут быть сугубо личные темы для разговора, но все же пришел. Тем самым я лишился возможности поговорить с Петровым о том, о чем не хотел ему писать. Что ж, придется отложить эту возможность еще на год... Конечно, Студенцов ничего об этом не знал: и все же — так бестактно вторгаться в мой семейный круг!..

11 мая 1914

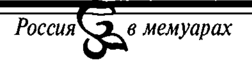
Позавчера ко мне заходил Белоусов, но не застал дома. Вчера мы встретились, и он предложил пообедать с ним в «Северной Гостинице», где он остановился. Обед состоялся; в нем участвовал также Свирский. <...> Между прочим, Свирский сказал: «Если бы Куприн обладал фантазией Л. Андреева, он был бы гениальным писателем». В моем альбоме («В ресторане») он сделал такую запись: «*Театр — это школа, в которой люди обоего пола обучаются притворству*». А Белоусов написал:

Опять альбом!!! Но что же делать?
И все-таки пишу в альбом.
Но кто прочтет — я в том уверен —
Меня не обвинит ни в чем.

Свирский уверял, что рассказ Куприна «На покое» он переработал в драму самостоятельно — Куприн якобы даже не прикоснулся к тексту[622]. Этот слух полностью соответствует действительности: говорят, что на премьере пьесы в Александринском театре[623] Куприн сидел наверху и сам себя освистывал, дуя в ключ.

13 мая 1914

Сегодня в 2. 25 умер Володя Тихонов <...>.



14 мая 1914

Под псевдонимом Мордвин Тихонов публиковал некогда свои фельетоны в «Новом Времени», отмеченные — в духе этой газеты — весьма язвительным тоном по отношению к немцам. Сегодня «Речь», «Биржевые Ведомости» и «День» поместили довольно сочувственные некрологи о покойном, но ни в одном из них даже словом не упомянуто о его прежнем сотрудничестве в «Новом Времени».

Сегодня на состоявшуюся в два часа панихиду явились из нововременцев лишь черносотенка Смирнова (вдова актера Сазонова) и Кривенко. Присутствовали также: Баранцевич, Батюшков, Бентовин, Рышков, доктор В.В. Чехов, князь Ухтомский (сделал мне комплимент по поводу моих воспоминаний о Полонском, появившихся сегодня в «Биржевых Ведомостях»), Червинский, Л. Урванцов, Мазуркевич, Флексер, Муйжель, Сургучев со своей юной, остроносой и непривлекательной возлюбленной и Потапенко с Наташей. Во время службы оба несколько раз перекрестились. Проходя мимо них в комнату, где лежал покойник, я молча пожал им обоим руки (они стояли в прихожей).

19 мая 1914

Встретил Черниговца-Вишневского (не видел его несколько лет), после конференции в институте зашел к нему домой (Стремянная 11, квартира 19), и мы вместе отправились в «Капернаум», где он не выпил даже стакана пива. Ему 75 лет. Все видит в мрачных тонах. Желудок, почки и пузырь работают превосходно. Зато все более слабеет память. Ему нечего добавить к своим воспоминаниям об известных писателях (Тургеневе, Достоевском, Островском, Лескове). Из своих нецензурных стихов помнит лишь отдельные строчки. Да и мыслит так, будто камни в голове ворочает. До своей отставки (1895) он вел нравственный образ жизни (боялся, что заразится), зато потом стал вовсю распутничать. Совсем ничего не пишет. Сделал первую запись в моем шестом ресторанном альбоме:

Альбом без заголовка!
Пусть будет как обновка
Тебе, мой славный стих.
Давно не брал я в руки
Ни в радости, ни в муке
Уж ни пера, ни крандаша (sic! — *К.А.*).
И голос мой давно уж стих,
И в теле замерла душа!

17 июля 1914

3 июня я уехал вместе с дочерью за границу и сегодня вернулся домой — в имение Луцк (в шести верстах от Ямбурга[624]). Все нижеследующее копирую с моих случайных записей:

24 июня/7 июля я был в Леванто, где посетил Амфитеатрова. Он живет рядом с вокзалом, в роскошном трехэтажном доме, который называется «Вилла Оливье»; платит ежегодно всего три тысячи лир. <...> В разговоре принимали участие: Зиновий Пешков, *приемный сын* Горького, и старший сын Амфитеатрова, который тоже занимается писательством... В мой альбом «За границей» он написал следующее: «*Большое Вам спасибо, дорогой Федор Федорович, что вспомнили и навестили товарища, так давно отрезанного от родины и русской литературной среды. Всего Вам хорошего и привет России. Сердечно. Ал. Амфитеатров*».

Явившись к Амфитеатрову на обед, я встретил в прихожей уходящего поэта Бенелли. Амфитеатров представил нас друг другу. Мы пожали друг другу руки и разошлись. До этого он написал мне в альбоме (который я оставил у Амфитеатрова):

O notte cupa,
senza risonanze,
senza memorie,
senza ombre di sogno...[625]

3/16 июля в Риме на площади Сан Сильвестро в ресторане «Гамбринус» (мы сидели прямо на улице под балдахином) рядом с нами обедали три господина, говорившие по-русски. Кроме того, мой сосед прекрасно говорил и по-итальянски. Я обратился к нему с вопросом, хорошо ли он знает город. — «Да». — «А может, Вы знаете Первухина?» — «Это я и есть». — «А я — Фидлер». «О, рад познакомиться!» <...>

Мы заговорили о Лазаревском, которого год назад Горький не захотел принять у себя на Капри. «Я тоже его не принял». <...>

В Вене я отправился в кафе «Централь» и спросил официанта о Петере Альтенберге. «Теперь он живет не напротив, а в гостинице на Грабене[626]». — «Но ведь он заходит сюда?» — «Нет, он больше вообще не посещает кафе». — «Почему?» — «Ему запретил врач — из-за дыма, опасного при его нервозности». — —

Сегодня, как уже говорилось, мы вернулись домой. Не доехав до Петербурга, мы сошли в Гатчине (на станции Варшавской железной дороги), чтобы пересесть на поезд до Ямбурга (по Балтийской дороге). И поскольку в нашем распоряжении был целый час, мы решили навестить Куприна. Он приветствовал меня поцелуем и крикнул дочери, игравшей на веранде: «Немец пришел! Он сейчас тебя съест!» Но девочка не испугалась, лишь спокойно посмотрела на меня холодным, самоуверенным взглядом.

Он весь горел, как в огне: хочет ехать корреспондентом на фронт. Отправил в этой связи телеграмму в «Русское Слово» с предложением своих услуг; редакция ответила, что известит его о своем решении. <...>

Наш извозчик, которого я спросил, знает ли он Александра Ивановича Куприна, ответил: «Да кто же его не знает!» — «То есть?» — «Такого *седока*!» — «То есть?» — «Он щедрее всех в Гатчине!»

26 августа 1914

17/30 июня в Локарно умерла Наталья Борисовна Нордман, «жена» художника Репина, известная под псевдонимом Северова как писательница, пропагандистка вегетарианства и Бичер-Стоу обслуживающего персонала, за что ее, как правило, высмеивали. Когда я последний раз был в Куоккала (ранней весной), она лежала в больнице с легочным заболеванием, и кто-то рассказывал, что врачам нелегко дается ее лечение: она даже не желала пить коровье молоко, видя в этом ущемление телячьих прав. <...>

Вчера я послал Куприну сделанный мной прозаический подстрочник «Легенды о старом замке», указал размер и предложил перевести это стихотворение Гейне (оно ни разу не переводилось на русский[627]) — ввиду его сенсационного интереса с нынешней точки зрения. Мое письмо могло прийти к нему лишь вчера поздно вечером. Тем не менее, только что, в десять утра, он позвонил мне по телефону и прочитал свой перевод. Кажется, он получился удачным («кажется» — поскольку я не разобрал отдельных слов). Собирается напечатать его в «Сатириконе» и посвятить мне[628]. <...>

27 августа 1914

Только сейчас узнал из поступившего ко мне несколько дней назад отчета Кассы взаимопомощи литераторов (сокращенно: Писательская похоронная касса), что умер Виктор Эдуардович Форселлес, писавший под псевдонимом Фирсов. Это произошло, по-видимому, уже в апреле нынешнего года. В газетах не появилось ни единой некрологической заметки — настолько он был неизвестен. Тем более что в последние десять—пятнадцать лет он занимался делами, не имеющими ничего общего с литературной деятельностью. Он не только переводил со шведского языка, но и писал оригинальные повести и рассказы — некоторые из них выходили отдельными книгами.

Эти книги лежат у меня где-то далеко. Его портрет висит слишком высоко. Его письма ко мне содержат приветствия, поздравления, рекомендации — все в самом обычном духе. Среди них — два деловых письма: он предлагал мне приобрести участок земли на кавказском побережье Черного моря, являясь



Илл. 49. Группа литераторов в квартире Фидлера. Фотография. 1911.
Сидят (слева направо): К.С. Баранцевич, Н.Б. Нордман-Северова,
Т.Л. Щепкина-Куперник, И.Е. Репин, С.А. Венгеров;
стоят: А.А. Измайлов, Д.Н. Овсянико-Куликовский, И.Н. Потапенко,
Фидлер, Вас.И. Немирович-Данченко, Н.Н. Холотов.
На обороте помета Фидлера: «16 янв[аря] 1911. У меня»



Илл. 50. Группа писателей. Фотография. 1911.
Слева направо: В.В. Муйжель, Б.А. Лазаревский,
И.А. Белоусов, Фидлер.
На обороте помета Фидлера: «У меня 25 сент|ября| 1911.
Муйжель, Лазаревский, Белоусов, я»



Илл. 51. Н.П. Студенцов. Фотография А. Меркеля. Ок. 1910.
«Любя Русскую Литературу, нельзя не любить Федора Федоровича Фидлера. И, любя Ф.Ф. Фидлера, нельзя не любить Русскую Литературу. 1911 г. 6.XII. Н.П. Студенцов»



Илл. 52. Н.В. Грушко. Фотография Д.С. Здобнова. 1911.

«Друг, помолись за меня...
Я за тебя уж молюсь...
25 дек[абря] 1911 г. Н. Грушко».



Дорогому
Федору Федоровичу
Фидлеру

Снято
16 июля 910

С. Городецкий

Жарко было очень, в городе. 14.III.912

Илл. 53. С.М. Городецкий. Фотография, наклеенная на картон. 1910.
«Дорогому Федору Федоровичу Фидлеру. Снято **16 июля [1]910.** Жарко было очень, в городе. С. Городецкий. 14.III.1912»



Илл. 54. В.В. Уманов-Каплуновский.
Фотография (открытое письмо). Ок. 1910.
«Искренне уважаемому Федору Федоровичу Фидлеру.
В. Уманов-Каплуновский. 1912.IV.11»



Илл. 55. И.М. Булацель. Фотография Д.С. Здобнова. 1900-е гг.
«Фрицу фон дер Фидлеру, на анденкен, от увядающего собутыльника
фон дер И.М. Булацеля. 5.III.1913»
("на анденкен" — на память; от нем. Andenken)»



Илл. 56. Фидлер и А.Л. Волынский. Фотография К.К. Буллы. 1911



Илл. 57. Стены квартиры Фидлера, увешанные портретами писателей



Ил. 58. Групповой портрет. Фотография М.Ф. Фидлер. Павловск. 1913.
Стоят (слева направо): А.А. Измайлов, С.М. Городецкий, Ю.А. Гаккебуш, А.А. Городецкая, К.И. Арабажин; сидят: Н.П. Ашешов, М.М. Гаккебуш, Фидлер, И.Д. Новик.
На обороте надпись Фидлера: «Стоят: Измайлов, С.М. Городецкий, жена Гакк[ебуша], жена Город[ецкого], Арабажин.
Сидят: Ашешов, Гаккебуш, я, Новик.
Павловск, 23 мая [19]13»



Илл. 59. И.И. Соколов. Фотография Д.С. Здобнова. 1900-е гг.
«Милому моему другу Борису Борисовичу Глинскому. Октябрь 1913.
По роже видно, что было выпито. Ив. Соколов»



Илл. 60. Группа писателей. Фотография. 1914.
Слева направо: Ф. Сологуб, Н. Минский, З.А. Венгерова, Фидлер, Ан.Н. Чеботаревская.
На обороте надпись Фидлера:
«У меня. 9 марта 1914. Сологуб — Минский — Зин[аида] Венгерова — я — Анаст[асия] Чеботаревская»



Ил. 61. Группа писателей у дома И.И. Ясинского. Фотография. 1914. Слева направо (первый ряд): В.А. Мазуркевич, Н.Н. Шульговский, В.П. Лебедев, Н.Н. Вентцель, И.И. Соколов, В.В. Уманов-Каплуновский, И.И. Ясинский, неизвестный, Т.К. Берхман, В.В. Курдюмов. Второй ряд: Хвостов, неизвестный, В.И. Кривич, А.К. Случевская, А.Ф. Мейснер, Е.А. Чебышева-Дмитриева, Д.И. Коковцев. Третий ряд: П.А. Быков, З.И. Быкова, И.А. Гриневская, Д.М. Цензор. (Остальные лица не атрибутированы.) На обороте — запись Фидлера: «4 мая 1914 у Ясинского. Первый ряд: Мазуркевич, Шульговский, Лебедев, Вентцель, И.И. Соколов, Уманов-Каплуновский, я, Ясинский, Берхман, Курдюмов. За Вентцелем — Хвостов. За Умановым-Каплуновским — Кривич. За мной — Шура Случевская. За Ясинским — Мейснер, Чебышева-Дмитриева, Коковцев. Сзади: Быков, его жена, Гриневская, X, Цензор, X»



Илл. 62. Собрание писателей в квартире Фидлера.
Фотография К.К. Буллы. 14 октября 1914.
Слева направо (сидят): Фидлер, И.Н. Потапенко, Е.П. Леткова-Султанова, А.Н. Кремлев, С.А. Венгеров, Т.Л. Щепкина-Куперник, К.В. Лукашевич, Д.Н. Овсянико-Куликовский, Е.Н. Чириков, Н.В. Корецкий; (стоят): Ф.Д. Батюшков, В.В. Муйжель, Ре-Ми (Н.В. Васильев), А.Т. Аверченко, А.М. Хирьяков, Н.Н. Ходотов, А.А. Измайлов, И.А. Гриневская



Илл. 63. И.А. Бунин. Фотография ателье «Доре» (Е.К. Попова). 1915. «Дорогому Федору Федоровичу Фидлеру Ив[ан] Бунин. Москва, 9 апр[еля] [19]15 г.



Илл. 64. Фидлер. Фотография. Февраль 1916.
На обороте надпись Фидлера:

«Qui est ça, o grosser Gott?
Из Бедлама идиот!

Ф^{3}.»

(первая строчка: «Кто это, о Господи?» — *франц., нем.*)

якобы одним из главных организаторов этого предприятия. С тем же предложением он обращался одновременно к Альбову; но мы почуяли неладное и потому не стали землевладельцами. (Когда-то давно, будучи офицером, Форселлес совершил кражу денег из полковой кассы, за что, между прочим, лишился своего баронского титула... В моих старых дневниковых тетрадях об этом есть подробные заметки). — В моем большом альбоме автографов он оставил 28 октября 1895 года такую запись: «*Легче написать хорошую повесть, чем сносное изречение для такого сборника*». — — —

5 числа сего месяца умер Евгений Святловский, переводчик Ренана и Марка Твена. У меня нет ни одной его книги, ни одного портрета, ни одной записи в альбоме. Его письма ко мне не содержат абсолютно ничего примечательного, любопытно разве что начало письма от 18 сентября 1910 года: «*Милый Фриц, податель сего, мой сын, Михаил Николаевич Попов...*» и т.д. Он никогда ничего не говорил мне о своем внебрачном или приемном сыне... Или, например, концовка письма от 18 апреля 1912 года: «*Твой* E-vieux[629] (*прежде подписывался* E-jeune[630])».

29 августа 1914

Встретил на Невском Сологуба; он медленно шел со своей Чеботаревской. Она выглядит старой и больной, и как раз совершала небольшую оздоровительную прогулку. Какого рода у нее заболевание, она не сказала (видимо, какой-то женский недуг). Я предложил зайти в ресторан, и оба сразу же согласились. Но Сологуб вскоре одумался: «Нет, у меня рукава *продраны*». — «Так ведь ты не обязан снимать пальто». — «Нет!» И он указал рукой на свое и вправду потрепанное демисезонное пальто. — —

Я отправился в Соловьевский ресторан (угол Николаевской и Невского). За одним из столов сидели: актер Судьбинин, «Яша» Бронштейн, Кранихфельд и Куприн. Последний, увидев меня, воскликнул: «А, наш славный немец! Ну, давай быстро свой альбом, я напишу туда какую-нибудь *похабщину*!» — «Нет, ты не сделаешь этого — этот альбом читают мои жена и дочь. Но я заведу для тебя другой альбом и назову его “Куприниана”».

Перед ним стоял полупустой фужер с пивом, и он был совершенно трезв. Другие — тоже. Он (Куприн) назвал Ведекинда «Выкиденд» (напоминает «выкидыш»). Восхищался Сашей Черным: «Это настоящий и большой поэт! Когда его читаешь, испытываешь такое чувство, будто в баню, где моются толстые потные купцы, напустили вдруг чистой, свежей воды!»... В тот момент, когда он раздумывал, что бы написать мне в альбом, Бронштейн обнял меня и сказал, что я принадлежу к тем людям, которых нежно любят. И Куприн написал, повторив в первой строчке слова Бронштейна:

Есть нежно любимые люди,
О них мы стыдливо молчим...
Но каждой развязной паскуде
Осанну кричим.

Затем он сказал: «Я хочу записать для тебя мой самый любимый афоризм!» И написал в моем альбоме: *Жарко Гусу, жарко и гнусу*... «А знаете ли вы, что такое "гнус"? Это гусеница, ужасно вредная для капусты, — ее можно истребить только огнем. Значит, один и тот же огонь заставляет страдать и червя, и бога».

Кроме того, он (Куприн) написал мне:

ПОЭТАМ (теперь)

Стих свой любовно обвей розами ты Кашемира,
Золотом, пурпуром скрасив — в печку без страха бросай!

Когда я обратил его внимание на то, что второй стих — не чистый пентаметр (слово «пентаметр» было ему непонятно, как и слово «дистих», и он говорил лишь «гекзаметр»), он стал возражать, цитируя при этом настоящие пушкинские пентаметры, например, «*Слышу умолкнувший звук*...», и никак не хотел понять, что пушкинская «*тень*» и его (Куприна) «*скрасив*» ритмически не имеют друг с другом ничего общего. Мои спокойные объяснения он полусерьезно-полушутливо прерывал возгласами: «Замолчи! Ты в этом ничего не понимаешь! Ты — *мул*!» — «А ты — мулица!» — ответил я холодно. «Немецкое остроумие!» — насмешливо сказал он. В конце концов он, кажется, согласился со мной, однако спросил жалобно: «Зачем ты назвал меня *олухом*?!» Присутствующие стали возражать и упрекать его в том, что он несправедлив ко мне. Тут он обнял меня, поцеловал и воскликнул: «Да я ж его люблю!» Когда я уходил, он сказал, держа мою руку в своей: «Надеюсь ты не сердишься на меня за то, что я лучше тебя разбираюсь в гекзаметре?!»

Повторяю: он был совершенно трезв (за время нашего разговора он выпил лишь наполовину второй фужер). Свидетелями «перебранки» были Бронштейн и какой-то офицер (он диктовал ему свой — довольно грубо сделанный — перевод «Легенды замка»); Судьбинин (который пригласил Куприна к себе на семь часов, пообещав коньяк и вино) и Кранихфельд ушли за полчаса до этого. Кранихфельд записал мне в альбом отрывок своего перевода из «Зимней сказки» Гейне («Восходит солнце у Падерборна»[631]):

Печально угрюмое солнце зашло[632]
За далью полей Падерборна.
И правда — нелепа задача лить свет
На шар тупоумный и вздорный!

Засветит лишь солнце с одной стороны
И луч свой направит в другую,
Уж первая снова от света спешит
Укрыться во тьму гробовую.

. . . .

На пурпурном фоне игравшей зари,
Сквозь легкую дымку тумана
Мне чудился крест и страдалец на нем,
И кровь источившая рана.

Твой образ, страдалец, терзает мой ум
Глубокой мятежной тоскою.
Безумец, ты вздумал нам счастие дать
Своею отвагой слепою.

Да, скверную штуку сыграла с тобой
Комиссия ревностных клерков.
И черт тебя дернул, по правде сказать,
Хулить государство и церковь.

Но если б теперь ты явился, когда
Знаком нам станок типографский,
Ты мог бы ученье свое изложить
В каких тебе вздумалось красках.

Наш цензор поставил бы крест на местах,
Где к миру не видно приязни,
Любовью б хранила цензура тебя
От зверской мучительной казни.

«Напечатан ли этот перевод?» — спросил я. — «Нет». — «Почему?» — «Потому что он плох».

7 сентября 1914

Встретил в Соловьевском ресторане (Николаевская, угол Невского) Тинякова. Наружно и внутренне он был совершенно трезв, хотя пил уже восьмой фужер (за 20 коп.). Назвал англичан пиратами, а французов — дегенератами и *оборванцами* и так восторженно принялся хвалить немецкую культуру, промышленность, науку и искусство, что мне пришлось попросить его говорить тише. В моем альбоме он оставил запись: «*Война? Война должна быть свирепой...*» К нашему столу подсел его старый знакомый Николай Николаевич Киселев, автор рассказов, изданных в двух томах, молодой человек, который все время молчал, а в моем альбоме написал следующее: «*Ничего не бойся, никаких слов*».

28 сентября 1914

Вчера нас посетила «Муся» Иорданская, бывшая жена Куприна, с которой он развелся. Летом она часто виделась с Горьким, отдыхавшим поблизости (в Мустамяках[633]). Ради своего сына-подростка он собирался вновь сойтись с Екатериной Павловной, законной матерью их отпрыска, и поэтому просил ее приехать из Парижа, где она нашла себе нового спутника жизни в лице какого-то социал-демократа[634], — к нему на Капри. Но вскоре в их характерах и взглядах обнаружилось такое несогласие, что они опять расстались и хозяйничать в доме продолжает Мария Федоровна... С Андреевым он, Горький, не помирился. Года два назад Андреев ездил на Капри специально для того, чтобы укрепить узы былой дружбы. Поначалу все шло хорошо, но скоро опять наступило взаимное отчуждение. Когда Горький вернулся из эмиграции, Андреев предложил ему поселиться у него на вилле, но Горький даже не ответил на его письменное приглашение... Этим летом «Муся» хотела помирить обоих и в определенный день позвала их к себе; но Андреев не явился: он внезапно заболел (факт!).

1 октября 1914

Сегодня у меня обедал Чириков. Доктор Жихарев, только что благополучно вернувшийся из Германии, рассказывал sine ira et studio о своем пятинедельном заключении в Лихтенфельде (его арестовали по подозрению в шпионаже). Чириков осуждал русский шовинизм и псевдопатриотизм, все время высказывался в пользу немцев и уверял, что в газетах и книгах следует сообщать не только о немецкой жестокости по отношению к русским путешественникам (все эти рассказы, по его словам, носят обобщенный и тенденциозно преувеличенный характер), но и о тех многочисленных случаях, когда к русским относились не злобно, а, напротив, по-доброму... Он (Чириков) страшно пострадал от войны в финансовом плане: незадолго до объявления войны Московское книгоиздательство, желая продолжать издание его сочинений, вступило с ним в переговоры. Но из-за того, что началось 20 июля[635], переговоры так и не завершились. Это для него страшный удар, поскольку он привык проживать тысячу рублей в месяц. У него нет никакого капитала (если не считать домика в Финляндии и домика в Крыму). Его драмы приносят ему ежегодно от 1800 до 2000 рублей дохода.

6 октября 1914

Сегодня, в половине пятого, я посетил Леонида Андреева в клинике нервных заболеваний Герзони (Пески, 5-я ул.[636], 4; пятый этаж, последняя дверь слева от лифта, возле туалета). Он как раз проходил электрическую процедуру. Его

жена в третий раз сообщила мне, что у него сильные невралгические боли в левой руке, что спать он может только на спине и страдает от сердечной недостаточности вследствие перенапряжения и слишком короткого отдыха этим летом в Эсбо (Финляндия). Здесь он обязан подчиняться строжайшему режиму. Но это «ужасно дорого»: одна комната с питанием (впрочем, очень хорошим) обходится ему ежедневно в семь рублей; врачам приходится платить особо. Тут появился Андреев, свежий и крепкий, опять, как и раньше, с бородкой, и крайне любезно со мной поздоровался. Я стал с ним советоваться (хочу в ближайшее время собрать у себя различных писателей и обсудить вопрос, каким образом могут русские писатели in corpore[637] смягчить ужасы военного времени? Не денежными взносами — у них самих сейчас нет денег — но пожертвованием своих книг с автографами или устройством открытой лотереи, или постановкой одной из написанных ими пьес, причем все роли в спектакле будут исполняться писателями, и т.д.). С последним моим предложением он (Андреев) не согласился, сказав, что за немногими исключениями (например, Чириков) русские писатели не обладают актерским талантом и будут выглядеть смешно; «это то же самое, как если бы я стал исполнять джигитовку, притом что я сижу на лошади, как пес на заборе!» С идеей устроить лотерею он согласен, но сказал, что от нее не следует ждать большого финансового успеха. В собрании у меня дома он не сможет участвовать, поскольку ему запрещено любое общение с людьми (запрещено даже принимать посетителей). Однако, к немалому моему удивлению, ему разрешают курить, так что он, как и раньше, непрерывно курит одну сигарету за другой. Полностью согласился со мной в том, что все стихи, рассказы и драмы, которые служат нынешнему моменту, лишь возбуждают низменные инстинкты; «все они — не настоящая литература!»... Он ничем не может обогатить мой «музей»: «У меня сейчас лишь анализы мочи, да и те мне нужны. Но когда я выйду отсюда — это произойдет, вероятно, месяца через полтора — приезжайте ко мне в Финляндию и забирайте что угодно»!» Шутил по поводу лотереи: «Второй приз мог бы дать право на полуторачасовое созерцание любого писателя с близкого расстояния. А первый приз позволил бы даже ощупать и обнюхать писателя!»

Вчера встретил на Загородном Батюшкова. Он стал жаловаться, что его финансовые дела в плачевном состоянии: должен заботиться о детях своего покойного брата, чье имение идет с молотка, и т.п.; в конце концов, ему пришлось сдать квартиру, в которой он занимает теперь одну комнату. Вместе с ним провел часок у Венгерова. Его материальное положение немного улучшилось: возобновилась редактируемая им «История литературы» (в Москве)[638]. Основная тема разговора, конечно, — война.

Строго объективные суждения обоих, кое в чем даже защищавших немцев, произвели на меня мало-помалу умиротворяющее действие. Впрочем, среди всех

русских писателей я знаю лишь одного, кто брызжет на немцев слюной и желчью, — Баранцевича.

11 октября 1914

Встретил Грина, еще более исхудавшего лицом. «Пивной жирок исчез благодаря запрету на продажу пива»[639]. — «Но пива-то можно достать, сколько душе угодно». — «Где?» — «Ну, в ресторанах первой категории, например, в том, что напротив, у Соловьева. Или по соседству — в “Капернауме”». — «Меня не пустят ни в тот, ни в другой после моих скандалов»... Конечно, ему приходится нелегко, тем более что он совсем неспособен выразить нынешний момент как писатель-беллетрист. —

Войдя в комнату Лазаревского, я увидел, что он диктует какой-то хрупкой барышне (впрочем, ей уже 24 года, и она пять лет замужем). У него нет ста рублей, чтобы оплатить учение дочери, которой грозит исключение из гимназии Лохвицкой-Скалон. У него нет даже демисезонного пальто — когда я сидел у него (в шубе), он показал мне свой прозрачный тоненький летний плащ... И все же, по его словам, ему превосходно *пишется.*

12 октября 1914

Зашел к Сологубу, чтобы пригласить его на предстоящее собрание писателей, которое должно состояться в пятницу у меня дома... Когда я полушутя сказал, что мало кто из русских писателей способен заработать пером такую кучу денег, он возразил: «У меня нет ничего. Критика ненавидит и травит меня сильнее, чем кого бы то ни было. Многие вредят мне своими злонамеренными, хотя и доброжелательно звучащими утверждениями, будто я — писатель для немногих избранных. Потому и читают меня лишь немногие»... Подарил мне свой перевод «Пентесилеи» Клейста (перевел также «Разбитый кувшин» и «Кетхен из Гейльбронна», но они еще не напечатаны[640]). Как ему, не знающему немецкого языка, это удалось? Чеботаревская объяснила, что дословно переводила каждую строчку, а он затем перелагал прозу в ямбы; сказала, что ей самой приходилось прибегать к помощи словаря.

От Сологуба пошел к Мережковским, у которых застал Измайлова. Он явился к ним с предложением писать для «Биржевых Ведомостей» заметки на военную тему. Мережковский сказал, что ему нужно подумать, зато Зина с готовностью согласилась, но потребовала сорок копеек за печатную строку. Ко мне она не сможет прийти, поскольку я назначил заседание на два часа дня. «В два часа я только встаю с постели и лишь после трех чувствую себя человеком». Заяви-

ла, что Леонид Андреев талантлив, но не умен. Была довольно сильно накрашена, в платье стиля «бебе», открывающем ноги.

С Измайловым заехали на четверть часа в «Капернаум». Он совершенно очарован ею (Зиной): она, дескать, — самая восхитительная, самая поэтичная писательница, какую ему доводилось видеть (их знакомство состоялось лишь нынче; до этого он видел ее один-единственный раз на вечере памяти Полонского, устроенном Кружком Полонского). Правда, отдельные части ее головы и тела не вполне отвечают идеалу красоты, но в целом все выглядит столь возбуждающе, что ради нее он готов на супружескую измену. Холодность и закрытость Мережковского ему не понравились (Мережковский спросил Измайлова, как его отчество, хотя перед этим Измайлов передал ему через горничную свою визитную карточку).

Как держали себя Мережковские по отношению ко мне? Я нагрянул к ним неожиданно. **Она** приветствовала меня дружеской улыбкой и протянула руку; **он** — сделал вид, что встает со стула, однако продолжал сидеть и серьезно пожал мне руку. Наедине со мной, когда никто не видит, он держится куда непосредственнее.

17 октября 1914

Сегодня в два часа дня у меня состоялось собрание писателей. Поскольку Всероссийское литературное общество закрыто на время войны и мы, таким образом, не являемся официально утвержденной корпорацией, и, следовательно, не имеем права публично выражать свое мнение и т.д., было решено создать новое писательское сообщество, имеющее особую цель — помощь раненым. Кремлев предпримет все необходимое для обращения к городскому голове. <...>

21 октября 1914

Вчера — пятидесятилетний юбилей писательской деятельности Шиле. Она живет в квартире, состоящей из одной — правда, весьма просторной — комнаты и крохотной кухни. По стенам развешаны укрепленные иголками и гвоздями портреты писателей и картинки с изображением военных событий, а между ними ползают в огромном количестве тараканы, называемые по-русски «пруссаками» (я в шутку сказал, что столь любовное отношение к «пруссакам» со стороны юбилярши свидетельствует о недостатке у нее патриотизма; все посмеялись). В комнате сидели тридцать человек; из писателей были только Карпов, Коринфский, К.А. Максимов, Якимов (ему, бывшему ассистенту профессора Эберлиха во Франкфурте, недоставало слов для восхваления любезности, с какой тот к нему относился), Лавринович, Л. Урванцов, Лукашевич. Последняя,

не называя имени, дала мне понять, что Баранцевич (он отсутствовал, хотя и прислал поздравительную телеграмму — несколько штампованных слов) агитирует против меня: считает возмутительным, что какой-то немец созвал у себя 17-го числа писательское собрание. Я ответил, что он — негодяй: знает, что оба моих деда были французами (пришли в Россию с Наполеоном, попали в плен и остались здесь навсегда), но стремится направить против меня, мнимого немца, черносотенные инстинкты интеллигентской толпы. — — Присутствовал также Николай Васильевич Чайковский, «дедушка русской революции». Оглашена была приветственная телеграмма от Куприна (Шиле имела наивность послать ему приглашение). После того как был прочитан адрес, Шиле стала кланяться в пояс: обходя гостей по кругу, она останавливалась перед каждым вторым или третьим и благодарила. Это было трогательно. Состоялся и скромный ужин, с бутылкой крымской мадеры и — удивительная, высшего класса, редкость при нынешних строгостях! — бутылкой пива; правда, пиво уже успело прокиснуть, тем не менее его выпили из маленьких стаканчиков. Вместо подарка юбилярше преподнесли в ридикюле 90 рублей... В четверть двенадцатого я был дома.

22 октября 1914

Сегодня у меня полчасика сидел Сологуб. Он не только не записывает свои расходы, но и не учитывает полученные гонорары. <...> «Сбережений у меня нет — я все проживаю». Отказывается принять участие в писательском спектакле, если таковой состоится. «Я не актер». — «Ну, хотя бы крохотную роль, например, два слова: “*Письмо от графини*”!» — «Я и тут наверняка ошибусь и скажу: “*Графпись от мафини*”».

5 ноября 1914

Уже две недели назад я лично и с помощью других распространил известие о том, что в этом году четвертое ноября не будет праздноваться. Поэтому вчера явились всего четыре человека, отметившиеся в списке у портье: Цензор (оставил поздравительное стихотворение), Брусянин, Кохановский и Тиандер.

Зато позавчера, накануне дня рождения, у меня собралось несколько гостей, мною приглашенных. Не пришли (из тех, что хотели прийти): Потапенко с Наташей (он написал, что у нее грипп), князь Барятинский (желудочное заболевание), Коринфский (написал, что у него запой), Карпов (отравился рыбой; прислал поздравительную телеграмму), Будищев (поздравил телеграммой), Куприн (поздравил телеграммой; у него бронхит), а также Аверченко, Батюшков, Гинцбург и Ходотов (эти четверо ничего не написали и не прислали)... Вчера

меня поздравили (письменно и телеграфом): Караскевич-Ющенко, Уманов-Каплуновский, Шабанова, Щепкина-Куперник, Шиле, Бухарова, Белоусов (из Москвы) и бывший священник Петров (из Вильны). Позавчера были: Венгеров, Котляревский, Жихарева, Ксения Морозова. Записи в альбоме «4 ноября»:

Измайлов (дружески болтавший с Чириковым):

Все изменилося под нашим зодиаком, —
Казенки заперты по манию царя.
Победно наш казак бежит за австриаком.
И стало третие — четвертым ноября.

Мы празднуем Geburst[641] *уже на сутки раней,*
Мы водку бережем, как царственный елей, —
И скоро старый Фриц, сознав тщету стараний,
Тряпичникам отдаст хваленый свой музей.

Он, Измайлов, сообщил мне по секрету, что Баранцевич повсюду дискредитирует меня как немца и чуть ли не подозревает в шпионаже... Клавдия, спутница жизни Измайлова, не стесняясь, демонстрировала свою безграничную глупость.

Овсянико-Куликовский сказал, засмеявшись: «Geburst — Wurst[642]») и написал под этим дивным словом:

«После великолепных стихов Измайлова не рискую выступать со своими стихами и только замечу, что А.А. Измайлов смешал рождение с колбасой, что является подозрительным симптомом германофильства А.А. Измайлова».

Хирьяков:

О Фидлер, друг, призыв напрасен твой:
Стихоточивою я не снабжен главой.

Сологуб:

Измайлову — язычнику! —
Читатель, не поверь:
Ну для чего тряпичнику
Откроет Фидлер дверь?
Найдет другую шельму —
Отдаст музей Вильгельму.

Чеботаревская:

Ничего я не сочинила,
Война мне рифм не подарила...
Но Федор Федрыч так же мил,
Хоть день он свой переменил.

Гриневская: *Всегда радуюсь твоему рожденью, и все числа для меня — 4-е.*

Она обратила мое внимание на слово «ты». <...>

Конечно, мы говорили главным образом о войне, причем не только без квасного патриотизма и черносотенства, но даже оправдывая (то есть опровергая «жестокости») немцев, чья культура находится на высокой ступени развития и заслуживает всеобщего уважения.

Пива (в связи с запретом на продажу) не было вовсе, зато была наливка, заготовленная моей женой еще летом, до объявления войны, и водка — Булацель и Лазаревский достали в аптеке две фляги! Много бутылок белого и красного вина*, на которые я — забавы ради — наклеил различные этикетки рейнских вин (я получил их несколько лет назад в Асмансхаузене от хозяина нашей гостиницы Шруппа). Все удивлялись, откуда у меня это добро, и хвалили отменное немецкое вино... Ох, знатоки!

Опять-таки ради забавы я развернул печатное объявление: «*Просят не говорить по-немецки*». Под общий смех гости стали произносить целые немецкие фразы или отдельные слова. Кто-то зачеркнул «*не*», а кто-то приписал: «*и по-турецки*». — —

Вчера градоначальник утвердил основанное у меня новое Общество русских писателей для помощи жертвам войны. В общем, могу не без оснований считать, что являюсь основателем этого Общества (если бы я не проявил инициативы, писатели вряд ли объединились бы и по сей день) и что оно родилось 4 ноября, в мой день рождения. Правда, учредителями в этом документе значатся: Котляревский, Овсянико-Куликовский и Венгеров (ибо прошение, вернее, заявление было подписано только ими троими). —

<...>

14 ноября 1914

Вчера вечером у Лукашевич — заседание учредителей нового (рожденного, то есть зарегистрированного, 4 ноября) писательского Общества для помощи жертвам войны. Она внесла триста рублей наличными — Кремлев их принял. Корецкий же выписал чек на тысячу. Оба сделали это, не привлекая к себе внимания, почти украдкой. Когда начались споры о том, кого пригласить на первое общее собрание, которое состоится на следующей неделе, Потапенко сунул мне записку с «просьбой» — предложить Наташу. Только я собрался это сделать, как моя соседка, Щепкина-Куперник, предложила ее кандидатуру. Когда я попросил ее, Щепкину-Купернику, подарить моему «музею» какую-нибудь реликвию, она предложила мне туфлю, в которой венчалась (с Полыновым,

* Я запасся целой сотней бутылок.

которого превозносит и устно, и в печати); но затем сказала: «Нет! Мой муж хранит ее на своем письменном столе!»... Позже рядом со мной сидел Сологуб, твердивший про себя: «*Ять... ять... ять...*» Потом, повернушись ко мне (исполняя секретарские обязанности, я писал): «Напиши какое-нибудь слово с буквой *ять*!» — «Напишу, если попадется!» — «Напиши слово с буквой *ять!*» — «Ну вот, пожалуйста: Вѣнгѣров!» — «Ха-ха-ха!» И с его навязчивой идеей было покончено... Кто-то предложил избрать Горького членом Совета, но Батюшков стал уверять, что Горький откажется, поскольку он против войны с **таким** патриотизмом и против оказания помощи. Мне, однако, поручили письменно запросить Горького по этому поводу. — —

Присутствовали также: Венгеров, Котляревский (беседовал больше с Зинаидой, дочерью Лукашевич, в соседней комнате), Хирьяков, Чириков (мне не удалось обменяться с ним и парой слов, поскольку он пришел и ушел во время заседания и сидел на другом конце стола), Гриневская и Леткова.

Потапенко упрекнул меня: мол, я их не навещаю. — —

<...>

15 ноября 1914

Мне было поручено позвонить Мережковскому по поводу его кандидатуры в члены Совета. Сегодня я позвонил ему. Он попросил сперва назвать других кандидатов, настоятельно рекомендовал Горького (которому я вчера написал) и, в конце концов, согласился, но заметил, что по недостатку времени будет лишь изредка участвовать в совещаниях. — —

В конце октября, во время заседания в Литературном фонде, ко мне подошел пожилой человек и заявил, что много слышал обо мне и моем музее и желает со мной познакомиться. Оказалось, что это бывший эмигрант, этнограф и беллетрист Семен Акимович Раппопорт, пишущий под псевдонимом С. Ан-ский. Сегодня он был у меня. Принес мне в подарок реликвии, связанные с Петром Лавровичем Лавровым, — в течение нескольких лет он был его секретарем. Час, который он провел у меня, ушел на осмотр моего собрания. О войне судит чрезвычайно либерально. Зверства немцев (по крайней мере, в Польше) — злостные выдумки патриотов; немецкие солдаты вели себя, по его словам, в высшей степени корректно: никого не обижали, за все платили и даже мыли полы, прежде чем покинуть постой. Бесчинствовали же русские казаки: убивали и грабили евреев, уничтожали их имущество (погром), бесчестили девушек, отрезали старухам груди и бросались ими как мячиками. —

Пришел также поэт Александр Балагин (коему бывший священник Г.С. Петров много рассказывал обо мне в Ташкенте) и просил разрешения ознакомиться

с моей коллекцией. Еще на школьной скамье он опубликовал какое-то длинное стихотворение, за что его исключили из гимназии. Знает несколько живых восточных языков. Вызывает большую симпатию своей скромностью и любовью к литературе. Ему всего 21 год. Когда он в своей шубе стоял передо мной в прихожей, я вдруг понял, кого он напоминает внешне: Оскара Уайльда. «Это отмечали и другие, — сказал он, — одна особа, как загипнотизированная, долгое время преследовала меня по этой причине». — «Пока Вы ее не удовлетворили?» — улыбнулся я. «Ах, нет, я этим не увлекаюсь; кроме того, я не курю и не пью!» (У меня невольно закралось подозрение, что он, возможно, подобен Уайльду и в тайной наклонности, которой тот отличался; но я, разумеется, промолчал.)

19 ноября 1914

Сегодня, в ответ на мой запрос, Тизенгаузен сообщила мне, что получила от Немировича-Данченко телеграмму из Варшавы: он жив и здоров. — — Горький ни словом не откликнулся на мое письмо, потому и не фигурирует в списке кандидатов. <...>

24 ноября 1914

Сегодня у меня обедал Сургучев. О Чехове: «Подобно тому, как среди врачей есть специалисты по левой ноздре, так и Чехов — специалист в описании определенного класса людей, к тому же великолепно знающий свое дело...» Уверял, что Измайлов не только жаден до денег, но и завистлив, поскольку сам в качестве беллетриста не имеет ни малейшего успеха... Сказал о Баранцевиче, что он — литературный *обмылок*. Если бы он выплачивал гонорары, лицо его было бы искажено завистью и ненавистью к счастливому получателю денег... По его словам, Горький на Капри собственноручно вскрывал письма к своей жене (законной), читал их или попросту утаивал. При денежных расчетах с Пятницким вел себя просто нечестно... В январе ему (Сургучеву) придется, по-видимому, идти на войну. «Пойдете охотно?» — «Нет. Не потому, что я боюсь смерти. Но я боюсь всех этих ненужных страданий: голода, жажды, мороза, бессонницы, изможденния и неперевязанных ран! И кроме того: я — один из самых миролюбивых людей на свете, а вынужден буду убивать тех, кто не причинил мне ни малейщего зла, скажем — Августа Шольца, моего переводчика, приславшего мне деньги. А ему придется убивать меня — того, кто дал ему возможность заработать. Почему такая несправедливость?!..» Ему тридцать три года... «Вы знаете немецкий?» — «Всего одно слово: “Donnerwetter”![643]».



28 ноября 1914

Вчера состоялось первое собрание рожденного (т.е. зарегистрированного градоначальником) в день моего рождения Общества русских писателей для помощи жертвам войны. При выборах в Совет голоса распределились следующим образом: Батюшков — 55, Венгеров — 50, Богучарский — 48, Котляревский — 47, Пешехонов — 44, Кремлев-Шантеклер — 36, Овсянико-Куликовский — 35, Леткова — 31, Водовозов — 30, Чириков — 29, Потапенко — 28, Хирьяков — 27, я — 26, Лукашевич — 25, Щепкина-Куперник — 21, Л. Андреев — 20, Философов — 19, П.Б. Струве — также 19, Блок — 14, Василий Немирович-Данченко — 13, Карпов — 10, Мережковский — также 10, Корецкий — 9, Сологуб — 1 и Зинаида Мережковская — также всего 1.

Ватсон громким голосом (как обычно) рассуждала о том, что организационный комитет позволил себе предложить в совет Общества своих кандидатов; в ответ ей заметили, что даже Литературный фонд буквально навязывает голосующим своих кандидатов. — Сказал Наташе несколько незначительных слов, при этом мы обменялись с ней комплиментами по поводу того, что оба похудели и это, мол, нам к лицу. Вокруг нее все время увивался Великопольский; лицо Потапенко выражало при этом полное равнодушие. — Сургучов упрекнул меня в том, что организационный комитет включил Мережковского в список кандидатов; дескать, он сам поставил на себе крест после того, как «Новое Время» напечатало несколько его писем к покойному старику Суворину[644]. — Сологуб неустанно дразнил меня — говорил, что хочет написать мне *экспромт* на манжете или воротничке, и никак иначе. Разумеется, этого не случилось.

После собрания Корецкий на автомобиле привез нас (то есть меня, Яблочкова и Регинина) к себе домой; мы пили коньяк, вина и ликеры и увлеченно болтали до трех часов ночи. Ни одного слова, враждебного по отношению к немцам. Скорее наоборот!

2 декабря 1914

Вчера — день рождения Ватсон. Как обычно, около 75 человек, в основном безымянные. Присутствовали: «революционеры» — Н.А. Морозов (приветствовал меня поцелуем, даже тремя), Чайковский, Новорусский и Лопатин. Далее: Ольнем и Леткова, Сургучев (флиртовал в прихожей с какой-то дамой), профессор Кареев и Тарле, и, наконец, разные мелкие представители «Русского Богатства». Вина было предостаточно.



20 декабря 1914

Рекомендовал вчера «Тете Оле» Гинцбурга в качестве создателя надгробного памятника Мамину, и она попросила меня вступить с ним в переговоры. Сегодня я отправился к нему. Он согласился; завтра она придет к нему, чтобы договориться об условиях.

Еще ни разу я не видел Гинцбурга, этого, как правило, добродушно спокойного, ироничного человека, в таком язвительно-возбужденном состоянии. «Знать больше ничего не желаю про наших писателей. Ведь они, *хамы*, стали угождать правительству, лгут, клевещут и занимаются травлей под маской патриотизма. На сто лет вперед подавили свободу в России! Уже теперь вся наша интеллигенция — рабская, что же будет после войны?! Германская жестокость, германское бескультурье! Ха—ха—ха! Да ведь немцы в этом отношении — просто несмышленыши по сравнению с нами. Что вытворяют наши казаки в Польше, что творили англичане в Индии?.. А Вы — еще собирали у себя писателей и создали Общество для помощи жертвам войны. Никогда не стану членом этого Общества, да и Вам советую из него выйти. Потому что я против войны, этой лицемерной затеи, когда под предлогом помощи Сербии хотят аннексировать Галицию. Тут я полностью солидарен с Горьким, полностью!.. Да, да!»

19 января 1915

Сегодня у меня был Юрий Николаевич Зубовский. Сотрудничая в провинциальных газетах, он зарабатывает около двухсот рублей; имеет, кроме того, сбережения. В декабре он посетил Горького в Мустамяках. Горький собирается основать Лигу против антисемитизма; президентом должен стать Леонид Андреев, а он, Горький, — вице-президентом. Секретарем предполагалось избрать Сологуба, но это намерение трудно осуществить, поскольку Сологуб — сотрудник суворинского «Лукоморья». «А помирились ли Андреев и Горький?» — спросил я. — «Да, Андреев приезжал к Горькому за день до моего визита»... Давеча, 6 декабря, Зубовский ушел от Корецкого после меня. Тот якобы говорил Кремлеву всякие гадости прямо в лицо и указал на дверь, после чего Кремлев удалился; потом самым грязным образом оскорблял свою жену, а под конец расплакался и стал горько жаловаться, что его никто не любит. — —

Вчера отправился с ответным визитом к сыну Чернышевского. Его кабинет представляет собой истинный музей: множество предметов, относящихся к его отцу: произведения, портреты, дневники, письма, рецензии на его труды и т.д. Тем более странно, что он не предпринял никаких усилий для того, чтобы отыскать квартиру, в которой был арестован его отец. (Я и сам занимался этими поисками, но не смог найти ничего достоверного.) Он знает лишь то, что не раз

говорила мать: квартира находилась якобы на третьем этаже*, с окнами на улицу, состояла из шести просторных комнат, за которые они платили ежемесячно всего пятьдесят рублей <...>. Роман «Что делать?» писался вовсе не за моей конторкой, как я думал[645], а в Петропавловской крепости. И отнюдь не тайком: начальство само доставляло отдельные куски рукописи в редакцию «Современника», где их тотчас же и отправляли в печать (еще до того, как роман был дописан). Он завершен 4 апреля 1863 года — именно эта дата и была проставлена. А ровно через год Каракозов совершил покушение на царя. И тогда прокурор Муравьев предположил, что Чернышевский заранее знал об этом дне; мол, дата в какой-то степени символическая. — —

Сегодня зашел к Потапенко, чтобы расспросить его о некоторых, не вполне ясных для меня местах в его воспоминаниях о Чехове, опубликованных прошлым летом в «Ниве»[646]. Он с величайшей охотой удовлетворил мое любопытство. Согласно его разъяснениям, человек с «трагической улыбкой» — Щеглов. Писатель, который работал, держа на коленях своего ребенка, — это он сам, Потапенко. Миллионер, который постоянно учтивейшим образом напоминал Чехову о его долге, — это москвич Морозов (но не Савва). Московский издатель журнала для юношества и владелец виноградников — Дмитрий Иванович Тихомиров. Другой издатель, предававшийся высоким идеям, — Ф.Ф. Павленков, плативший ему (Потапенко) 500 рублей за 5000 экземпляров каждого тома его рассказов. «Друг Л. Толстого», фигурирующий в ненапечатанных письмах Чехова как N, — П.А. Сергеенко. А дама, в присутствии других упрекавшая Чехова в дружбе с другим писателем, — Александра Аркадьевна Давыдова. История получилась примерно такая (Потапенко уже не помнит отдельных деталей — лишь то, что в общих чертах рассказывал ему Чехов): Короленко хотел сблизить Чехова с «Русским Богатством» и для этого свел его с Н.К. Михайловским. Это было в гостинице «Пале Рояль». У Михайловского они застали Давыдову (она «жила» тогда с Михайловским), и та стала упрекать Чехова в дружбе со стариком Сувориным. Чехов настолько растерялся от этой бесцеремонности, что потерял дар речи. Но с «Русским Богатством» он уже не сближался. — <...>

2 февраля 1915

Сегодня, по договоренности, посетил Сергея Городецкого. Я пришел на полчаса раньше назначенного времени, когда он еще не вернулся с прогулки. Его жена (он зовет ее Нимфа, на самом деле ее имя — Анна Александровна) давала мне пояснения к картинам мужа, висевшим на стенах (портреты, карикатуры, итальянские виды) и прочла нараспев несколько своих стихотворений

* Нет!

(она выступает в литературе под псевдонимом Бел-Конь Любомирская). Показала мне также сплетенную из соломы *плеть*, приобретенную в Венеции. «Этим Сергей Митрофанович стегает меня», — сказала она с улыбкой. У нее очаровательная дочурка. Ее сестренка (дочь Городецкого от другой женщины) живет в Лесном. Она (Нимфа) держалась просто, любезно и доверительно. Говорила о Сологубе. Однажды во время маскарада, куда она явилась в декольте, позади нее оказался за ужином Сологуб, который провел ей по спине большим и острым стальным пером; «из садизма», — пояснила она. Они уже давно не общаются. Им (Городецким) в высшей степени неприятен у Сологубов напыщенный тон самообожествления; особенно не нравится ей склонная к саморекламе Чеботаревская, «эта Вера Чеберяк» (скандально известная преступница в деле Бейлиса)... Пришел Городецкий и начал выгребать из шкафов и папок всякую всячину для моего «музея». О Потапенко Городецкий сказал, что это «поджаренный каштан» и что у него «руки как у преступного шулера»... Затем мы поехали в макаевский винный погреб, где я недавно сидел с Корецким, и были страшно разочарованы: ни капли алкоголя! Я пил сельтерскую, а чета Городецких — лимонад. Я предложил найти рифму на слово «*сельтерская*»; Городецкий не мог ничего придумать, а я все же придумал:

Молчит свирель тверская:
Пред нами сельтерска́я.

Городецкий написал в мой альбом («В ресторане»):

Две бутылки лимонада,
Сельтерской — одна.
Вот и все тут пытки ада!
На дворе весна.
Тает, льется, и туманы
Словно молоко.
Мы втроем сидим, не пьяны.
Разве нам легко?

Фидлер курит и вздыхает.
Нимфа в грусть вошла.
Лампа тусклая, плохая
Старого стекла.
Серый дым гнетет мне темя,
Скучный гул кругом.
Словно в чеховское время,
Мнится, мы живем.

А живем мы в дни большие,
Бо́льшие, чем мы.

В дни, когда со всей Россией
Бьются силы тьмы.
В дни, когда гремит победа,
Воля ширит грудь.
Кто такие дни изведал,
Тот счастливым будь.

И шучу я, в тон писакам,
Написавшим здесь,
Говоря, что скорбным мраком
Я пронизан весь.
Мне вина совсем не надо:
Тешкой закусил
И с бутылкой лимонада
Полон вещих сил.

7 февраля 1915

Зашел сегодня к «старику» Михаилу Алексеевичу Антоновичу (Пушкинская, 18, кв. 16). Да, он был у Чернышевского (вместе с доктором Боковым, умершим несколько недель назад) в тот самый момент, когда его арестовали. Квартира Чернышевского находилась на нынешней Большой Московской в доме, который выходит на Малую Московскую, в бельэтаже (несколько ступенек по парадной лестнице), дверь справа (значит, окна справа от лестницы, если стоишь к ней лицом).

«Вы курите?» — спросил я Антоновича. «Никогда не курил. Зато пил — всегда. Выпил бы и сейчас, если б можно было достать...» Мы сидели в гостиной, и я, показывая направо, в сторону его кабинета, где на стене висело несколько портретов, спросил: «Наверное, это редкие портреты писателей шестидесятых годов?» — «Нет, самые разные. Между прочим — портрет *Государя Императора*. Портреты писателей были тогда конфискованы во время спешно проведенных обысков или же их еще раньше уничтожили владельцы. Только так, думаю, мне удалось избежать ареста».

8 февраля 1915

Сегодня обедал в Лесном у Лукашевич. Позже зашла на полчаса Щепкина-Куперник с дочерью московской актрисы Ермоловой. Рассказывала, что Чехов (Антон) был влюблен в «Лику» Мизинову и дважды просил ее руки. Однако она отказала ему: хотя она его и любила, но все же не так, как обычно любят «будущего мужа». Теперь — вот уже целых 12 лет — она замужем за режиссером Саниным. <...>

12 февраля 1915

Вчера в Александринском театре — премьера «Слепой любви»[647]. <...> Пьеса настолько дилетантская во всех отношениях, что я почти убежден: Потапенко, умеющий отделывать сценические произведения, даже не коснулся ее своим опытным пером. Впрочем, премьера прошла с успехом, хотя и чисто внешним: аплодировали лишь чванливые, далекие от искусства «театралы», не пропускающие ни одной премьеры, да несколько горластых клакеров с галерки. Автора даже вызывали на сцену — отдельные визгливые крикуны «сверху» и зрители из нашей ложи (я все это время сидел безмолвно, как рыба, и даже не шевельнул ладонями). Наташа выходила на сцену несколько раз в сопровождении актеров. Сначала была бледна, потом раскраснелась. В своем простом, без украшений, черном платье с широким отложным белым воротничком она напоминала школьницу; точно так же держалась на сцене. Она благодарила публику не поклоном, исполненным достоинства, а наивным кивком головы, глядя при этом в зал с удивлением и любопытством. Эта ее непосредственность была почти трогательной; ну, а что касается самой пьесы — ниже всякой критики. <...>

Потапенко после долгих поисков нашел меня в фойе и нервно спросил, что думает об этой пьесе Измайлов; к счастью, кто-то подошел к нам, и разговор принял другой оборот, так что мне удалось уклониться от ответа... За исключением постоянных рецензентов в театре не было ни одного писателя.

19 февраля 1915

Сегодня Измайлов вернул мне семьдесят девять неопубликованных писем Чехова из моего архива — они понадобились ему для биографии Чехова, которую он пишет. Нужные места он начитал на диктофон (это, по его словам, отнимает меньше времени, чем копирование). Некоторые из них чрезвычайно важны... Я спросил его, был ли он вчера на премьере «Зеленого кольца» (пьеса Гиппиус-Мережковской)[648]. «Да». — «А правда ли, что эта вещь — *ерундистика*?» — «Да. Но я побранил ее сегодня очень сдержанно. Ведь и он, и она — нужные люди для “Биржевых Ведомостей”». На днях его посетил некто Максимов, опубликовавший под псевдонимом Евгеньев целую книгу о Некрасове[649]. Он был недавно в Саратове у «Зины», вдовы Некрасова, которая в разговорах с ним оказалась на удивление откровенной. Она сообщила следующее. Тургенев хотел помириться с Некрасовым. Некрасова предупредили об этом, и он после долгих колебаний согласился принять Тургенева. Но когда тот вошел в комнату, где лежал больной, Некрасов, которому жить оставалось совсем недолго, протянул к нему — с непримиримо-скорбным выражением лица — обе руки, словно протестуя, так что Тургенев отшатнулся и, стоя в дверях, робко осенил

его крестным знамением. Об этой примечательной сцене и рассказывает Евгеньев в своей статье, только что напечатанной в пятом номере «Солнца»[650], при этом лишь деликатно намекая на свое посещение вдовы (по поводу непримиримости и протеста). (Значит, *вот как* выглядело «примирение» обоих, а вовсе не так, как описал его Тургенев в своей «Последней встрече» — одном из «Стихотворений в прозе». — *Ф.*)

Из пятитомного (sic! — *К.А.*) собрания писем Чехова[651] Измайлов вырезал все места, нужные ему для его биографии как источник сведений: «Стоимость испорченных книг куда меньше, чем сумма, которую стоило бы мое время, затраченное на копирование этих мест». <...>

19 марта 1915

Соболезнования[652] прислали: Сологуб, Тюфяева-Пешкова и Ксения Жихарева.

Отправился вчера с Венгеровым к Репину в Куоккала. Вместе с нами в поезде ехал Чуковский. Репин, в шиллеровом воротничке, выглядит помолодевшим. Затем, после чая, Чуковский повел меня и Венгерова к себе. У него собственный домик недалеко от залива, стоивший ему более девяти тысяч рублей (четыре тысячи он еще должен Репину). Показывал нам, к великому удивлению Венгерова («Откуда это?»), множество ненапечатанных рукописей Некрасова. Затем снова к Репину (пока мы отсутствовали, он писал позирующего ему Н.Н. Евреинова), где нас ждал очень вкусный вегетарианский обед, без капли алкоголя (видимо, и там[653] его можно достать только по медицинскому рецепту). После обеда Евреинов изображал футуриста Бурлюка и всячески дурачился. — Возвращаясь, встретился в вагоне с Леонидом Андреевым, который ехал с женой и братом (в военной форме) в Петербург или, как я говорю, в Питер. Он, однако, все время называл его Петроградом (слово, которым пользуются лишь ура-патриоты). Его (Андреева) все еще мучает невралгия в правой руке, так что он не может писать. Примерно через пять минут (на пограничной станции Белоостров) я вернулся к Венгерову в наш третий класс (Андреев ехал вторым). Узнав, что моя жена умерла, Андреев с упреком спросил меня, почему я своевременно не известил его об этом.

23 апреля 1915

Вчера, в сороковой день смерти моей жены, у ее могилы состоялась обычная бессмысленная панихида. Булатцель и Коринфский давно уже говорили, что хотели бы присутствовать, — и вот я известил их, и они приехали на кладбище. Оттуда все отправились ко мне завтракать. <...>

Сегодня впервые посетил Ремизова: Таврическая, 7, квартира 23, на шестом этаже, но с лифтом. Его кабинет напоминает лабораторию Фауста. Между окнами — широкая стена с выступом до середины комнатки; на ней — шкуры диковинных земноводных и морских животных, сказочные маленькие уродцы, черти, гигантский гребень ведьмы и прочие подобные вещицы. «Что это все такое?» — «Игрушки», — ответил он с непонятной скользящей улыбкой, сам похожий на какое-то корневище. «Я не могу Вам их сейчас показать и дать объяснения, потому что днем они спят и просыпаются только вечером», — добавил он столь таинственно, что мне стало просто жутко... Я предложил ему написать что-нибудь в мой альбом («В гостях»), но он сказал: «Я нарисую Вам цветок». И в течение целого часа вырисовывал цветными карандашами и чернилами какое-то диковинное растение... Сказал: «Многие наши писатели будут после войны стыдиться своих выпадов против немцев!»... Он не сразу вышел ко мне, потому что был не вполне одет: возился с какими-то поясами или повязками в области желудка или живота, который болит так, что отдает в пояснице. — — <...>

24 апреля 1915

Дополнение к записи о Ремизове. На одной из боковых стен — три вырезанных из газеты высочайших манифеста. Над письменным столом — старые иконы и несколько церковных свечек с клубнеобразными утолщениями. — — <...>

29 апреля 1915

Чуковский предложил мне провести ближайшее лето в Куоккале и вызвался найти комнату. По этому поводу мы с ним обменялись письмами. Сегодня я ездил в Куоккала, но безуспешно: в пансионах «Олесино» и Ридингера не нашлось ничего подходящего; а снять комнату в какой-нибудь семье я не мог, поскольку еще никто не переехал на дачу с семьей. Мы гуляли по берегу, и Чуковский показывал мне укрепления, возведенные, чтобы защититься от разлива речки, на берегу которой находится его владение, и приливов моря. Затем мы обедали, причем он проявил себя как нежный отец и довольно властный супруг. Рассказывал про последний «поэзовечер», устроенный в прошлую субботу Игорем Северяниным: попасть на этот вечер было труднее, чем на концерт или выступление Шаляпина. Почти исключительно — девицы; при появлении явно подвыпившего поэта они пожирали его такими сладострастно восхищенными взглядами, что, «наверно, могли забеременеть от одного созерцания».

Потом снова обедали — у Репина. (У себя дома Чуковский весьма презрительно отозвался о Баранцевиче — писателе и человеке.) Присутствовали еще два человека. Было неинтересно, и я уехал домой с поездом, отходившим в 7. 49.

6 мая 1915

Сегодня — заседание Общества русских писателей для помощи жертвам войны. Я с упреком заметил Цензору, что в его последнем стихотворном сборнике «*Стяг священный*» слишком много патриотизма и слишком мало поэзии, что он поддерживает инсинуации шовинистической уличной прессы, что ни один либерально настроенный человек уже не обвиняет немцев в жестокостях и вандализме, что он потакает низменным инстинктам, распространяет клевету и ложь и т.п. Он во всем согласился со мной. «Да, я краснею от стыда за эту книгу. Я написал эти стихи сгоряча, когда все поначалу верили неистовым обвинениям нашей печати и считали Вильгельма кровожадным зверем, антихристом. Но теперь пелена упала с моих глаз — слишком поздно, ведь книга уже вышла и тем самым, как и каждая книга, представляет собой документ эпохи. Для меня, когда я писал свои стихи и печатал их по отдельности, было оправдание: этого требовал дух времени и мой собственный темперамент, который так легко увлекает меня. Но то, что я напечатал книгу теперь, когда мнение всех честных людей о немцах переменилось, — для этого у меня нет оправдания! Я могу отчасти исправить свою ошибку лишь тем, что вслед за этой книгой опубликую другую — в противоположном духе; и это произойдет очень скоро — осенью, может быть, даже раньше. Вероятно, я кажусь теперь черносотенцем и хулиганом патриотического пошиба, — так думаете Вы, и так наверняка думают еще многие и многие, — но это на самом деле не так. Я просто очень горяч, очень несдержан. Мои стихи, написанные в год революции, доказывают, к какому я принадлежу лагерю... А теперь?!.. Да, я глубоко сожалею, что опубликовал эту книгу». — —

Венгеров прочитал письмо Сергея Городецкого к Комитету (такова была настоятельная просьба автора письма). Городецкий отказывается от дальнейшего участия в Обществе, поскольку редакция «Невского альманаха»[654] отклонила его стихотворение «Пушкину»... В этом стихотворении он обращается к Пушкину на «Вы»!.. Уже на Пушкинском вечере (29 января), когда он читал это стихотворение, все были поражены этим «Вы»[655]. Я тоже выразил Городецкому свое удивление, однако он заявил, что обычное «ты» не только банально, но имеет еще и пренебрежительный оттенок... Присутствующие (на сегодняшнем заседании) одобрили решение редакционного комитета, отклонившего стихотворение, что и было занесено в протокол.

Лишь когда заседание окончилось, ко мне подошел Сологуб и приветствовал шутливыми словами, на которые я не реагировал и, холодно пожав ему руку, молча отвернулся. Он это явно заметил. Да и на прошлой неделе в Художественном театре я держался по отношению к нему и его «жене» «в высшей степени вежливо, но прохладно»: молча поздоровался и прошел мимо. Почему? Отчасти потому, что после своей рифмованной прозы в книге «Война»[656] он стал мне неприятен. Отчасти потому, что он считает меня quantité négligeable[657]. Правда, он заверяет меня и устно, и письменно (в письмах и надписях на книгах) в своей любви, но он никогда не приглашает меня, устраивая у себя какой-нибудь званый вечер. Такой вечер состоялся у него несколько дней назад (об этом сообщалось в одной газете). В течение этого года он дважды собирал у себя гостей, один раз — в честь М.М. Ковалевского, а еще раньше — по поводу своих именин (среди прочих был приглашен и Василий Немирович-Данченко, рассказавший мне об этом). Тогда я написал ему:

«19 февр[аля 19]15

Любезный Федор Кузьмич!

Поздравляю тебя с прошедшим днем твоих именин.

Извиняюсь, что не сделал этого своевременно. Но о состоявшемся торжестве я узнал только что — от твоих гостей.

Преданный Ф³».

Впрочем, я был пустым местом не столько, кажется, для него, сколько для нее, Чеботаревской. Сразу после того, как они «поженились», она умудрялась не замечать меня в Литературном обществе и, встречаясь со мной, делала вид, что не узнает меня или вовсе не знает, как меня зовут. Сперва она приглашала меня на костюмированные вечера; но у меня было такое чувство, будто мне отведена там роль тапера. Должен, с другой стороны, признать, что в тех случаях, когда я оказывался у них... без других гостей... она всегда вела себя по отношению ко мне очень приветливо и гостеприимно. Он тоже. — —

Венгеров принес на сегодняшнее заседание (и, разумеется, подарил мне) свой только что появившийся «Словарь»[658] ... Закончив читать предисловие, я сразу же позвонил ему. «Предисловие к твоему “Словарю” тронуло меня настолько, что я... хочу поцеловать тебе руку. Прощай». И я тут же повесил трубку. —

На заседание явился также Регинин. Собирается навсегда переселиться в Америку. «Не могу дышать нынешним русским воздухом!» — —

Моя жена никогда не любила Сологуба — скорее, как человека, нежели как писателя, считая его деланным и манерным; она нехотя уступала мне, когда я приглашал его. А я приглашал его очень часто, созывая гостей.

8 мая 1915

Вчера — премьера «Осенних скрипок» Сургучева в Художественном театре. И пьеса, и спектакль утомительно скучны. После третьего акта несколько голосов из глубины зала и с галерки стали требовать автора на сцену, и он тотчас же появился, сопровождаемый шипением, и поклонился, возводя глаза к небу... Чуковский вслух назвал автора литературным евнухом, ощупывающим мягкие места. Он, Чуковский, дружески сообщил мне, что нашел для меня всего за сто рублей меблированный дом в Куоккала, который прошлым летом стоил более трехсот. Я ответил, что в таком огромном жилище повешусь от одиночества (моя дочь будет жить в Павловске, а мать уже поселилась под Ямбургом)... С.А. Андреевский сам рассказал мне, что закончил четвертую и последнюю часть своего произведения под названием «Книга о смерти»; она увидит свет после его смерти (он начал ее много лет назад, когда был еще жив князь А.И. Урусов): это не философско-религиозный трактат, не излияние души, не беллетристика — это и то, и другое, и третье, к тому же настолько оригинально, что современники ничего не поймут...[659] Сологуб прошел мимо меня в сопровождении какой-то дамы и приветливо спросил, понравилась ли мне пьеса... «Не могу судить по первому акту», — был мой ответ. Когда я сказал Фальковскому, что, судя по его внешнему виду, дела его хороши, он ответил: «Я ужасный неудачник, зато очень сильный человек. Все мои планы разбиваются; жизнь мстит мне за что-то, но я оптимист и поэтому буду продолжать борьбу!» Потом, узнав о смерти моей жены, сказал: «Вы — мученик, и Вам простится много грехов, если они у Вас есть!» То, что я стал вдовцом, оказалось новостью и для Арабажина, выразившего мне живое сочувствие.

11 мая 1915

Я не предполагал, что Богучарский настолько известен и любим (на литературных вечерах и собраниях я встречал его крайне редко, и в моем дневнике почти нет упоминаний о нем). Доказательством служат сегодняшние похороны. Множество людей, множество огромных венков, увитых лентами (на могилу водрузили даже целое дерево, поставленное в кадку, с большими бледно-голубыми цветами). У могилы звучали речи, содержавшие намеки на приближающуюся революцию и почтительные отзывы — без произнесения самого слова — о немцах; Калмыкова особенно сильно подчеркивала любовь к человеку взамен

любви к отечеству и указывала при этом на клевету в отношении немцев и искусственно нагнетаемую ненависть к ним (опять-таки не называя вещи своими именами)... Водовозов смеялся над объявлениями, вывешенными во всех магазинах, учреждениях и т.д.: «Просьба не говорить по-немецки»; рассказал мне, что был недавно в Сибири и все, к кому бы он ни обратился по-русски, отвечали ему по-немецки: «Sprechen Sie deutsch?»[660]; после чего разговор продолжался на немецком языке... Снова обнаружилось, что многие даже не слышали о смерти моей жены, либо их ввела в заблуждение «Вера Михайло́вна»[661]... Барятинский (со своим неизменным спутником Хирьяковым) сказал, что не желает быть погребенным ни в усыпальнице своих предков, ни на Волковом кладбище... Горький был не просто в «европейской» одежде, но и в лайковых перчатках! (Все прочие представители мужского пола на кладбище были без перчаток!) Он окинул меня совершенно безразличным взглядом, и я спросил: «Алексей Максимович, Вы не узнаете меня?» — «Н-нет». — «Фидлер!» — «А, Федор Федорович! Как же Вы похудели!» (Да, действительно, я похудел настолько, что даже люди, которые видят меня в десять раз чаще, чем Горький, не узнают с первого взгляда.) К нему подошли другие люди, поэтому разговор не удалось продолжить. Он отсутствовал, когда тело выносили из морга, его не было и в церкви при «отпевании» — он появился лишь на кладбище у открытого гроба*. — — <...>

16 мая 1915

Только что говорил по телефону с Потапенко. «Как живешь?» — спросил я. «Я не живу, я пишу». — «Тогда я завидую твоей живучести». — «Да, из писа́теля я превратился в пи́сателя. Однако жить все равно хочется, и я надеюсь еще кой-что сделать, серьезное! Но для этой цели я должен сперва заняться разведением свиней!»... <...> Он (Потапенко) упрекал меня в непрактичности: по его словам, я не в состоянии извлечь материальную выгоду из моего архива. Считает, что я должен даже продать мой «музей». «Чтобы купить себе золотую цепь и удавиться?» — спросил я... Вчера я получил в подарок для моего «музея» интересный документ: расчет Чехова с журналом «Осколки» (указание номеров журнала, в которых печатались его вещи, и количество строк в каждой из них). Когда я сказал ему (Потапенко) об этом, он посоветовал продать этот документ Лидии Филипповне Маркс. Я ответил, что бесплатно предоставил его сегодня в распоряжение Измайлова (факт). Он посмеялся над моей непрактичностью...

* Стоявший у входа в церковь Н.А. Морозов, увидев меня, поздоровался со мной и расцеловал. Однако поговорить с ним не удалось, поскольку в этот момент он беседовал с дамой.

Когда полчаса назад я сообщил Венгерову (по телефону) об этом приобретении, он сказал: «Я тебя *зарежу*!»

5 июня 1915

Прогуливался с Венгеровым в направлении Курорта[662]. Весь его архив, который обошелся ему более чем в пятьдесят тысяч рублей наличными[663], получит после смерти Венгерова его семья; он желает, чтобы архив был продан не по частям, а целиком в какое-нибудь государственное учреждение...[664] Рассказывал следующее. Готовится литературный сборник в пользу евреев[665] . Многие писатели (среди них — Андреев, Горький и Сологуб) приняли в нем участие — как обычно, безвозмездно; гонорар потребовал только Куприн.

8 июня 1915

Сегодня гулял с Измайловым по лютеранскому Смоленскому кладбищу, осматривая могилы знаменитостей (Максимилиан Клингер) и менее известных людей. Могильные памятники и царящая всюду чистота ему очень понравились. — Потом пили у него квас. <...> Он рассказывал, что в своей «*Попрыгунье*» Чехов изобразил семью, хозяйка которой состояла в связи с художником Левитаном; это было известно всей Москве, кроме мужа-рогоносца[666]. После появления рассказа семья отказала Чехову от дома... За свою биографию Чехова, которая издается у Сытина, он будет получать 25 копеек за экземпляр, т.е. 250 рублей за каждую тысячу проданных книг. «Всего-навсего?» — спросил я с удивлением. «Это очень хорошая цена».

14 июня 1915

Сегодня я показал Венгерову 55-ю (переплетенную) тетрадь моих «Газетных вырезок» (в течение уже многих лет я вклеиваю в эти тетради самые разные биографические материалы о писателях). «Тебе нравится?» — спросил я, после того как он просмотрел тетрадь. Он молча подошел ко мне, схватил обеими руками за шею и сказал: «Готов задушить тебя от зависти!»... Увидев воспоминания Быкова о покойных русских писателях[667], он отрезал: «Почти все — выдумка!» Меня удивила его недальновидность: появившийся в третьем номере «Журнала журналов» хвалебный гимн, посвященный реакционному стихотворению Городецкого «Сретенье царя» (явная ироническая сатира или сатирическая ирония, в которой автору как писателю либерального лагеря вынесен смертный приговор[668]), он (Венгеров) принял за чистую монету. (Как ни странно, но ядовитое содержание этой статьи ускользнуло даже от бдительного ока военного

цензора, разрешившего публикацию...) Сегодня в гостях у Венгерова были его дети и сестры. Зинаида (на днях она возвращается — через Финляндию, Швецию и Норвегию — обратно в Англию, где живет постоянно все последние годы) держала себя в высшей степени англофильски и чуть ли не германофобски (в том, что касается мнимых зверств немецких солдат), а ее сестра Изабелла (профессор музыки в здешней консерватории, давно связанная тесной дружбой с А. Шницлером и его семьей) выступала, напротив, германофильски (скорее даже австрофильски — она много лет жила в Вене) и называла выдумкой все газетные статьи о немецких зверствах; на этой почве любящие сестры постоянно бранятся. Более того: во время войны Зинаида возвратилась из Англии русской патриоткой, но пелена постепенно спала с ее глаз (это сообщил мне Венгеров).

Либрович рассказал, что собирался писать обо мне для одного из здешних журналов: дескать, Фидлер предал Россию Германии (своими переводами русских поэтов). Но потом он отказался от своего намерения: такую шутку могли бы в нынешнее нервозное время с его слепым патриотизмом (Петербург не является исключением) принять всерьез, и тогда мне пришлось бы плохо... И он прав. Временами я сам начинаю опасаться за себя и судьбу своего «музея» — ведь у Баранцевича и Будищева могут найтись единомышленники.

18 июня 1915

Гулял с Томашевской по пляжу. Она с юных лет была закадычной подругой Марьи Андреевны Потапенко. Много рассказывала о самом Потапенко. О его эгоизме: он поддерживает отношения с человеком ровно столько, сколько тот ему нужен. О его полнейшей атрофии во всем, что касается денег: он способен без зазрения совести выдать вексель на любую сумму. О его бесконечных любовных похождениях. Его первой «женой», которую он соблазнил, была Ламбси[669], дочь богатого помещика Харьковской губернии. Потом — какая-то Ольга Николаевна (фамилии Томашевская не помнит), незначительная актриса московского Малого театра. Потом он крутил роман с Межениновой[670] (теперь она замужем за режиссером Саниным) — знакомством с ней он обязан Чехову. С ней он жил уже в пору своего брака с Марьей Андреевной, что привело к полному разрыву (они обвенчались — после многолетнего гражданского брака — в церкви при Бехтеревской клинике). И еще — с моей бывшей ученицей Софьей Иппа, вышедшей замуж за графа Зубова (говорят, он до сих пор влюблен в нее); она долго жила в Берлине, где без особого успеха выступала как пианистка; затем посещала школу театральной пантомимы и имела в каком-то частном спектакле такой успех, что ее пригласили в Копенгаген на роль Фенеллы (в опере «Немая из Портичи»[671])... Потом — о Тусе. Ее муж, барон Розен, хотел спокойно-уютной жизни (говорят, он вообще очень приличный человек), она же хотела, чтобы у них в доме была одна богема, в результате чего они и развелись. Ей приходится теперь туго: Пота-

пенко ей ничего не дает, обедает она у матери, а живет даром в квартире, которую ее сестра Дина оплатила на год вперед, сама же вскоре съехала... Мать Марьи Андреевны (Колобрьер) была полубезумной женщиной: она выгнала из дому всех своих детей. Так Марья Андреевна оказалась в доме старика Суворина — гувернанткой при Борисе и Насте, которых учила английскому языку. Там она и познакомилась с Потапенко.

23 июня 1915

Был сегодня в городе и встретил на Невском Волынского. «Что поделываете?» — спросил я. «Работаю с утра до вечера, чтобы не видеть и не слышать всего того ужаса, который творится вокруг. Эта слепая ненависть к немцам, которым мы, русские, — да и не только мы — обязаны нашими главными духовными богатствами и святынями, эта безответственная клевета в газетах, даже в “Биржевых”, где я **вынужден** сотрудничать, — насчет немцев, в жестокость и варварство которых я не верю... Прочь, прочь из этой *кошмарной* действительности — к Микеланджело и Леонардо, Апокалипсису и пророкам!... Возьмите Пятницкого, у которого я живу. До чего тупой, толстокожий, необразованный человек! Рассуждает о немецком языке! О языке, где малейшее слово полно смысла, языке, на котором писали величайшие философы всех времен и народов!.. Прочь, прочь!» — «И все же заходите ко мне!» — «Да, да, с наслаждением! С Вами я смогу говорить, *отвести душу* — мы поняли бы друг друга с полуслова!» — «Тем более за стаканчиком пива». — «Как, у Вас есть и пиво? От него мой язык развяжется еще более! И мы будем говорить, говорить без конца! Будем читать Шиллера!!...» Я никогда не видел этого хладнокровного философа в таком возбуждении; его просто лихорадило!.. Он торопился в типографию «Биржевых Ведомостей», потому что всегда сам правит свои корректуры. К сожалению, нынче вечером мы оба заняты; а завтра я вновь уезжаю за город.

28 июня 1915

Гулял с Либровичем. Оказывается, он еще и немецкий писатель. Будучи студентом дрезденского Политехникума, он опубликовал в Гамбурге компилятивное сочинение «Поцелуй и поцелуи», затем — том своих рассказов под названием «Марлит» (она играет в каждом из них известную роль)[672].

30 июля 1915

Вчера — в Куоккала. У Чуковского. Он лежит — несколько дней был болен ангиной, которая прошла, но так его обессилила, что он, поднимаясь с посте-

ли, испытывает головокружение. Однако бодр и весел. Ни одного дурного слова о немцах, скорее, напротив... Потом — к Репину. Здесь то же самое: ни одного дурного слова. Меня даже просили сыграть «Стражу на Рейне»[673] (я оставил просьбу без удовлетворения). Евреинов безобидно кривлялся и, жестикулируя, напевал мелодию немецкого марша при вступлении в Варшаву. Постоянно звучали немецкие слова и даже фразы — и не только за обеденным столом, но еще и раньше, когда гости возлежали в саду на огромном ковре или сидели на подушках. Почти все гости были безымянные. Кто-то сказал Репину, что в его суждениях нет более прежней злости; на это Репин ответил: «Я всегда был злой, как собака!»... Когда мы уже собрались уходить, появился футурист Хлебников и стал нести какую-то чушь о мистике числа 317. — —

В полдень зашел к Волынскому. Он сидел, уже надев брюки, но еще не сняв ночной рубашки, в своем большом кабинете (квартира Пятницкого, Знаменская, 20, кв. 29) и что-то писал, окруженный фолиантами (один из них — греческий). Я попросил его не беспокоиться, но он тем не менее сразу же пристегнул воротничок и надел сюртук. Расхваливал Философова за его критическую статью (в сегодняшней «Речи»[674]) по поводу в высшей степени порнографического рассказа Сологуба «Слепая бабочка», только что появившегося в популярном еженедельнике «Огонек»[675] (редактор — Бонди). Уверял, что он (Сологуб) — педераст не только на бумаге; рассказал также, что много лет назад, когда в «Северном Вестнике» появились «Тяжелые сны»[676], он (Волынский) изъял ряд страниц, на которых подробно описывался акт мужеложства; в книжном издании романа Сологуб восстановил эти сцены и посетовал в предисловии на то, что его произведение было сокращено в журнальном варианте... Он (Волынский) уверяет также, что Мережковский писал старику Суворину куда более компрометирующие письма, чем те два, которые «Новое Время» напечатало год назад[677], — в них Мережковский предстает в наинеблагоприятнейшем свете (по поводу этого инцидента в писательских кругах тогда сильно покачивали головой). Однако в суворинском архиве лежат не только подобные письма Мережковского, но и письма его жены Зинаиды Гиппиус, которая нередко навещала тайком старика Суворина. «Она всегда была авантюристской», — завершил Волынский свое повествование. Я же, пока он рассказывал, вспомнил давние времена, когда поговаривали о том, что Зина наставляет своему мужу рога, тайком навещая Волынского. И тотчас, закончив рассказ, Волынский показал мне переплетенный экземпляр Зининой книги «*Новые люди*» и указал на обращенное к нему печатное посвящение (1895) и на ее вклеенное тут же письмо, о котором он лишь многозначительно заметил: «Очень интересно!» Затем спрятал книгу обратно в ящик, содержащий, мне показалось, и другие редкости. Так, он вынул из него и показал редкую фотографию (которую, впрочем, я видел у него

несколько лет назад): у повозки стоит, держа в руке прут, Лу Андреас-Саломе, а в повозку впряжены Ницше и Пауль Рэ. Фотография сделана в Швейцарии (в Люцерне, как подсказал мне мой беглый взгляд). Эту фотографию Волынский получил в подарок от Андреас-Саломе; он пояснил, что оба были влюблены в Лу, но она предпочла Рэ, хотя вышла замуж за профессора Андреаса. Одновременно она дала ему ряд писем Ницше к ней, с которых он сделал копии... Волынский забывчив. Когда он был у меня в последний раз и разглядывал фотографию, на которой мы изображены вместе, то нашел, что вышел на ней весьма удачно и спросил меня, как ему получить фотографию. А сегодня, когда мы случайно упомянули нашу общую фотографию, он стал уверять, что ни разу ее не видел (а ведь сразу после того как я получил эту фотографию у фотографа Булла, мы отправились к нему, и он украсил ее своим автографом)... Речь зашла о предстоящем издании полного собрания его сочинений, и Волынский сказал, что ни в одном магазине давно уже не найти его книг, все давно раскуплены. У меня же хранится газетная вырезка (отыскивать ее сейчас нет времени) такого содержания: для погашения долгов Хаима Флексера распродается с публичного аукциона его собственность, состоящая из изданий его сочинений. Эти книги, насколько помню, распродавались по весу бумаги. Значит, они достались публике не книготорговым путем. Или же Волынский считает, что и то, и другое равноценно? Или сознательно говорит неправду?

Мы коснулись — теперь это обсуждается в открытую — вопроса о возможности вступления немцев в Петербург. Я сказал, что мы оба не должны опасаться насильственного изъятия наших библиотек, ибо наши собрания обнаруживают слишком много дружественного по отношению к немцам. «Да меня и в Берлине знают!» — заметил спокойно Волынский. И мы с ним приняли решение — не бежать из города.

4 августа 1915

Сегодня — похороны популярного артиста Варламова. Я был и на вокзале, и на кладбище. Не ради покойника — какое мне дело до шута и фигляра! — но в надежде, что увижу писателей. Не встретив ни одного живого писателя, я решил навестить умерших. На могиле Фофанова сохранился венок, возложенный в день похорон, с лентой, по которой выведена надпись: «*Мои надгробные цветы Должны быть розовой окраски*»[678]. Но не то что розовых — на могиле нет вообще никаких цветов, за исключением какого-то белого полевого растения (крохотные, напоминающие котят, белые цветочки образуют маленькие пучки). Высокая некошеная трава. Так же запущена и могила Случевского с выветрившейся надписью на гнилом деревянном кресте: «Камергеру Высочайшего Дво-

ра». Зато могила Чюминой, на которой множество свежих садовых цветов, а на земле — упрятанные под стекло венки, производит впечатление, будто появилась лишь несколько дней назад.

15 августа 1915

Уже долгое время — и с разных сторон — до меня доходили слухи, что Евдокия Аполлоновна Нагродская желает со мной познакомиться, но считает неудобным первой посетить меня (поскольку не знает, желаю ли я этого). И вот сегодня, навестив в Павловске мою дочь, я воспользовался случаем и пошел к Нагродской. Она как раз выходила из дома (Садовая, 35) и пересекала улицу, направляясь в парк, расположенный напротив. Я представился ей. Она очень обрадовалась и познакомила меня со своей спутницей, Татьяной Генриховной Краснопольской (известной плагиаторшей[679]; это та самая полуобнаженная дамочка, которую я видел недавно в театре рядом с Измайловым). Сперва мы сидели на какой-то площадке у пруда, потом пошли к ней и, расположившись на веранде, стали пить чай. Она (Нагродская) — полногрудая женщина с толстыми губами; жесты — резковато-вульгарны; но в целом — привлекательна. Она сама говорит, что имеет обыкновение высказывать свое мнение резко и напрямик и напоминает этим неловкого дьякона Ахиллу из лесковских «Соборян». И она доказала это, спросив меня: «Как бы Вы восприняли контраст такого рода: прекрасная, как фея, идеально чистая девушка вдруг *рыгает*?»... Сказала, что критики (впрочем, ей не приходилось читать ни одной серьезной рецензии на какую-либо из ее книг) всегда ставят ее рядом с Вербицкой: их персонажи действительно во многом схожи и по характеру, и по сути, но если Вербицкая возвышает их до уровня героев и героинь, то она их высмеивает, лишая героического ореола. Занимается писательством всего лишь четыре года. Свой роман «Бронзовая дверь» (переведенный на немецкий с рукописи[680]) она не стала публиковать отдельным изданием, опасаясь, что за прославление анархических взглядов ее отправят в ссылку. Она (Нагродская) — дочь Головачевой-Панаевой (которую Панаев продал Некрасову[681])... Она рвет все личные письма, полученные ею от других писателей, и весьма не одобряет публикацию таких писем после смерти автора; писателя, говорит она, следует оценивать лишь по его сочинениям... Сказала о Каменском, что он очень талантлив, но, к сожалению, мало образован. Когда было упомянуто имя Лазаревского, она пренебрежительно сказала: «Ну, этот!» С большим презрением отзывалась о Брешко-Брешковском... Сказала, что сделала предварительные заготовки к задуманному ею роману из эпохи первых тамплиеров... Создается впечатление, что она образованна не только в литературном отношении, но и во многих других. Часто бывала в Германии и восхищена Нюрнбергом. О немцах — ни одного язвительного сло-

ва... Проводит лето в загородном доме своей замужней дочери, у которой три собаки и четыре кошки, но нет детей.

29 августа 1915

Сегодня состоялись похороны полуписателя (или совсем не писателя) Леонида Ивановича Лутугина — самые грандиозные после похорон Н.К. Михайловского. Их целью, как и тогда, стала политическая демонстрация. Нескончаемые речи у гроба были посвящены не внешнему врагу (о немцах никто вообще не сказал ни слова), а внутреннему, то есть правительству; звучали и предсказания скорой революции.

На кладбище недолго поговорил с Горьким, все время державшимся в стороне (на этот раз он был без перчаток). На мое приглашение посетить мой «музей» и увидеть самого себя он ответил, улыбаясь полупольщенно, полупрезрительно: «Это интересует меня меньше всего».

Ляцкий сказал мне, что весьма озабочен: в Курляндии у него осталось шесть тысяч книг и множество важных литературных материалов. Я ответил с улыбкой: «Если немцы отправят их в берлинскую Королевскую библиотеку, то они сохранятся там лучше, чем здесь!» — «Это было бы наименьшим злом! А ежели наши соотечественники все это разграбят и сожгут, — что тогда?!»

Была ужасная сутолока, так что с другими писателями мне удалось обменяться лишь несколькими словами.

31 августа 1915

Вчера, по приглашению именинника Куприна, отправился к нему в Гатчину. Было воскресенье, теплый летний день. Мы все сидели в саду и пили вино и пиво. Едва Куприн закончил читать свою эпическую сатиру на прохвоста и наглеца Маныча, как тот вошел в сад (Лиза запретила ему появляться у них). Наступило всеобщее замешательство (дамы сидели чуть в стороне от нашей сирени). Куприн подошел к Манычу, дружески поздоровался с ним, взял под руку и повел в ту часть сада, что перед домом. Потом возвратился без него. Минут через десять, воспользовавшись удобным поводом, он отвел в сторону свою жену. В результате переговоров, которые велись шепотом, Маныч вновь появился на поверхности; он держался с непринужденностью, подобающей старому другу дома. Все любезно его приветствовали.

Кто были другие гости? Известный футурист Николай Иванович Кульбин (не позволивший себе ни одной «гениальной выходки», напротив: и внешне, и внутренне — самый обыкновенный человек), карикатурист Радаков, Пильский (в офицерском мундире; держал раненную на войне правую руку на перевязи),

Рославлев и Котылев; позднее присоединился «Яша» Бронштейн. За обедом — я, сидя за соседним столиком, в нем не участвовал, ибо мне предстоял еще ужин у Измайлова, — усердно пили рябиновку, красное и белое вино и пиво и говорили на повседневные темы. Куприн, который вел себя весьма сдержанно, заявил: «Сколь я мил в качестве гостя, столь же не любезен в качестве хозяина». Выразил готовность поехать со мной к Измайлову, а затем остаться у меня на ночь. Он приглашал и остальных примкнуть к нам, но согласился лишь один Маныч... После обеда Куприн взял у Лизы денег, и все отправились на Варшавский вокзал к поезду, отходившему в 8. 28. Куприн ехал с какой-то старой знакомой, учительницей. Однако, когда мы прибыли, он объявил даме, что должен на минутку отлучиться, но непременно вернется к приходу поезда (который сильно опаздывал). После этого он исчез, хотя мы все пытались его отыскать. Кульбин (врач по внутренним болезням, служит при Генеральном штабе) предположил, что Куприн внезапно почувствовал себя плохо и потому отправился обратно домой. Конечно, он бодро пил вместе со всеми, но пьяным все-таки не был, так что лицо его не успело раскраснеться и вздуться. <...>

Войдя в кабинет Измайлова, я увидел Баранцевича; он мрачно сидел на корточках, прислонившись к углу письменного стола. Я прошел мимо — разумеется, не здороваясь — и, пройдя соседние комнаты, подсел к обеденному столу и утолил, наконец, свой голод. Кроме пива, не было ни капли алкоголя, зато напиток Гамбринуса[682] наличествовал в достаточной мере... Я застал: Муйжеля, Грина, Брусянина, Ясинского, Карпова, Фаресова, А. Зарина, Гриневскую, Лазаревского (он рассказывал, что отправил свою старшую дочь — жениха забрали в армию — в Киев, чтобы она закончила гимназию. Производит впечатление тронувшегося умом человека!) и — Потапенко вместе с Наташей (высокая прическа). Потапенко рассказал, что они провели лето не под Киевом — он махнул рукой на задаток в 25 рублей (правда, они туда все же поехали, поскольку у них были бесплатные билеты), а в Ессентуках и Кисловодске, где он лечил свою подагру. Клавдия («жена» Измайлова) жаловалась всем, будто я — единственный, кто смог противостоять ее прелестям; при этом, сидя на диване, она откидывалась назад и вытягивала перед собой ноги. На лицах присутствующих можно было прочесть: «О, глупая Фрина!..[683]»

В той пустынной местности, где живет Измайлов, и раньше было не найти извозчика, а теперь — и подавно. И поскольку последний трамвай отходит в полночь (остановка прямо у дома Измайлова) и везет меня без пересадки до самого дома, я решил этим воспользоваться и без четверти двенадцать спросил у Потапенок, поедут ли они со мной. Довольно высокомерно Наташа сказала: «У нас есть автомобиль!» Затем они пошептались друг с другом и пригласили меня поехать с ними. Помедлив, я согласился... Кряхтя, Потапенко стал спускаться по лестнице (вставая обеими ногами на каждую ступеньку), потом заку-

тался в теплое пальто с меховым воротником, сел в автомобиль и покрыл себе ноги пледом (было двенадцать градусов тепла); мне пришлось занять место рядом с ним, а Наташа села впереди, возле шофера (автобиль был открытый). И вот мы помчались с невероятной скоростью: бесконечное расстояние от Смоленского кладбища до моей квартиры мы проделали — Потапенко смотрел на часы — за двадцать минут. Ветер дул нам в лицо с такой силой, что мы совсем не могли разговаривать.

20 сентября 1915

Заходил Тиняков. Его отец, живущий в Орловской губернии, имеет годовой доход в шестьдесят тысяч рублей, но посылает сыну ежемесячно не более сотни, ибо тот заделался писателем да еще пьет. Сильно страдает теперь от сухого закона, раньше пил куда больше: двенадцать бутылок пива в день были для него нормой, но иногда дело доходило до двадцати, у него начинались галлюцинации (предвестники белой горячки), и тогда он делал небольшой перерыв.

22 сентября 1915

Встретил Мейснера. Сожалеет, что включил стихотворение «*С крестом*» в свою книгу «*В паутине религий*»[684] и что вообще написал его (немецкая сестра милосердия убивает тяжело раненных русских солдат); говорит, его сбили с толку клеветнические газетные сообщения о жестокостях немцев. Да и разрушение Реймского собора тоже оказалось невероятным преувеличением. В его прочих литературных произведениях «патриотическая» тема отсутствует.

Встретил также Окунева. Четыре с половиной месяца он был солдатом и принимал участие в четырех сражениях (теперь — по состоянию здоровья — признан негодным к службе). Награжден Георгиевским крестом. «За какое проявление храбрости — не понимаю. Я ведь большой трус, ужасно боюсь смерти и потому избегаю любой опасности». — «А что Вы можете рассказать о жестокостях немцев?» — «Ничего, потому что не видел никаких жестокостей и ничего не слышал о них. Зато видел немало зверств со стороны русских; например, казаки и *гвардейские части* разграбили и сожгли город Броды, убили и *изнасиловали* жителей».

1 октября 1915

<...> «Вечера Случевского» в прошлом году состоялись самое большее три раза. Я не откликнулся ни на одно из приглашений, столь ненавистны стали мне антинемецкие выпады со стороны некоторых рифмующих патриотов-черно-

сотенцев. Но сегодня все же пошел. «Вечер» был назначен на четыре часа у Ясинского. Все протекало мирно и тихо, не считая нескольких «патриотических» выходок, которые позволили себе Хвостов и Авенариус (ренегат!). Справедлив был Коковцев, весьма либерален Шульговский. Кроме того присутствовали: Быков с женой, Чебышева-Дмитриева, Гриневская, Берхман, Маргарита Лапина, Тэффи, редкий гость Льдов (удивительно похож на Сарду в последние годы жизни), Измайлов (в течение многих лет не появлялся ни разу, да и вообще, думаю, был всего один раз). Клюев (первое знакомство; крестьянин; живет в деревне, удаленной на четыреста верст от железной дороги), Пимен Карпов (первое знакомство), Уманов-Каплуновский, Мейснер, Курдюмов (с моноклем), Городецкий, Садовской, Кондратьев. К счастью, отсутствовали «патриоты»: Грибовский, И.И. Соколов и Кильштет. Не было и Мазуркевича — видимо, по причине траура. Кто-то уверял, что жена его погибла не «по ошибке», а сама лишила себя жизни: за две недели до смерти она уже покушалась на самоубийство; вторая попытка удалась... Жалели Цензора: по сообщению «Биржевых Ведомостей», он упал вчера с трамвайной подножки и разбился о мостовую; его жизнь в опасности... Неожиданно распахнулась дверь, и вошел — Цензор! Он и в самом деле свалился с подножки, но повреждения, полученные им, незначительны. (Значит, опять эти лживые, падкие на сенсацию «Биржевые Ведомости»!) Ясинский (будучи гостеприимным хозяином, он не присел ни на миг. На обед подали ромовый пунш) защищал краткость стихотворения; «лучше всего, когда оно приближается к молчанию»... Но как темно было в двух его комнатах, освещенных керосиновыми лампами! А «Министерство внутренних дел» находится в саду и такое грязное, что никакое «заседание» невозможно.

6 октября 1915

Сегодня Измайлов пригласил меня на обед. У изголовья его постели, под электрической лампой на стене, висит зеркало размером с эту тетрадь, так что каждую секунду он может созерцать самого себя; рядом, в маленьком шкафчике, — несколько пузырьков, содержащих, по-видимому, медицинские капли... Были также оба народных поэта (после обеда я позвал их к себе): 27-летний Николай Алексеевич Клюев (в ситцевой рубахе, похож на Дукмейера) и 20-летний Сергей Александрович Есенин (приятное мальчишеское лицо с доверчиво-наивными глазами из-под светлых курчавых волос). Оба — старообрядцы. Делая запись в моем альбоме «В гостях», оба употребили слово «*Спас*», написав его, однако, с маленькой буквы; по просьбе Измайлова и моей они исправили ее на заглавную. Когда мы ехали в трамвае, Есенин, сидящий рядом со мной, посмотрел на меня, словно завороженный, и робко назвал меня на «ты». Жи-

вет как простой крестьянин недалеко от Рязани. Клюев (о нем я уже рассказывал) живет со своим 75-летним отцом в избушке на берегу реки; он берет из нее воду, готовит еду, стирает белье, моет полы — словом, ведет все хозяйство. Не курит, но ест мясо (в его забытой Богом деревне не растут даже огурцы и капуста) и пьет пиво (у меня). В юности он носил на теле вериги; на мой изумленный вопрос, для чего он это делал, ответил просто: «*Для Бога*». Увидев у меня обрамленный автограф Гейне, он обратился к Есенину и сказал ему с упреком, относившимся, казалось, не только к Есенину, но и к нему самому: «Из семи строк сделано четыре! Смотри, как люди писали!» Оба восхищались моим «музеем» и показались мне достаточно осведомленными в области литературы. Взглянув на гипсовую голову Ницше, Есенин воскликнул: «Ницше!»... Видимо, Клюев очень любит Есенина: склонив его голову к себе на плечо, он ласково поглаживал его по волосам.

4 ноября 1915

За последние годы мой день рождения почти утратил свой прежний литературный характер. Именитые писатели стали растворяться в толпе безымянных. Являлись не только начинающие авторы, но и люди богемы, репортеры и хулиганы. Многих я вообще не знал — ни в лицо, ни по имени. А многие не знали меня — ни по имени, ни по внешнему виду; наверное, через пару недель они вообще бы не опознали меня. Многие принадлежали к разряду нахлебников, которые ходят в гости лишь для того, чтобы выпить да закусить. Многие являлись для того, чтобы с кем-то встретиться или уладить свои литературно-финансовые дела (ибо среди моих гостей были редакторы, режиссеры и издатели). Самые близкие из моих «старых» знакомых жаловались мне, что им вовсе не удалось в этот день поговорить со мной и даже найти себе стул, чтобы сесть и спокойно посидеть. Большинство «поздравителей» покидало мой дом уже пятого, чтобы следующий раз показаться в нем четвертого ноября и затем снова бесследно исчезнуть на целый год. Приходили лица, не имеющие ничего общего с литературой: родственники, а то и просто знакомые писателей — из любопытства.

Вся эта кутерьма стала для меня в конце концов слишком утомительной. И уже в прошлом году я провел реформу: за несколько недель до дня рождения я начал распространять слухи (или способствовать распространению слухов) о том, что четвертого у меня ничего не будет; а сам втайне и под страшным секретом пригласил самых близких и дорогих мне людей на третье число. То же самое я сделал и в нынешнем году. Сверх того, я пропустил приглашенных еще через один фильтр: не позвал тех, кто не откликнулся на смерть моей жены.

Венгеров, войдя, спросил меня озабоченно: «Волынский здесь?» — «Нет». — «Тогда я могу подарить тебе это». И он вручил мне пятый выпуск «*Русской ли-*

тературы XX века», в которой помещена статья о Волынском, написанная Венгеровым. — Булацель принес склянку с медицинским спиртом, а Коринфский — две бутылки мадеры. <...>

Из тех, кого я пригласил, не смогли прийти и поздравили меня письменно: Лукашевич (прислала бутылку мадеры), Бухарова и Ксения Жихарева.

Поздравления, кроме того, прислали: Мейснер, Уманов-Каплуновский, Феддерс и Томашевская.

Лазаревский поздравил меня сегодня по телефону и выразил сожаление, что не смог прийти. Я не приглашал его, поскольку недавно он поместил в «Новом Времени» (!!!) льстивую статью, посвященную покойному князю Олегу[685]. Не пригласил я и Сологуба по причине его сотрудничества в «Лукоморье» — тайно распутничающей сестре «Нового Времени», открыто предающегося распутству; и еще потому, что за последнее время он ни разу не позвал меня, хотя и устраивал у себя публичные вечера (а ведь он всегда, и устно, и письменно, заверял меня в своей любви; должно быть, виной тому — Чеботаревская; она точно так же заявляла о своей любви ко мне, но считала и считает меня — я всегда это чувствовал — quantité négligeable).

А. Зарин (я не пригласил его, поскольку он не проявил участия, когда умерла моя жена) спросил сегодня по телефону, можно ли ему прийти; я поблагодарил его и сказал, что должен срочно ехать в Финляндию. — — <...>

9 ноября 1915

Недавно мне позвонила по телефону Яворская и пригласила в свой театр, чтобы посоветоваться насчет выбора пьесы в пользу студентов; играть в ней должны только писатели. Я не пошел. Выбрали «На дне» Горького. Он, кажется, согласился поддержать спектакль и словом, и делом.

Сегодня звонила Наташа, которая участвует в спектакле. Сообщила, что нынче состоялось чтение. Когда несколько человек предложили привлечь меня, Лазаревский заявил: «Нет! Фидлер больше не в моде: 4 ноября у него не было ни одного человека!» Наташа возразила ему: «Да, верно: 4-го не было ни одного человека. Зато накануне было тридцать человек, и все — именитые и признанные писатели!»... Он ничего не сказал!...

Кроме Лазаревского, в спектакле участвуют и другие сотрудники «Лукоморья», например, Рославлев. Возможно, Чириков этого не знает (он должен играть Луку); во всяком случае, сегодня его не было. Зато была его жена, Иолшина; она тоже занята в спектакле... И вот Наташа попросила меня объяснить Иолшиной, каково истинное положение вещей, — от этого будет зависеть ее участие в спектакле.

14 ноября 1915

Сегодня звонила по телефону Наташа и сообщила, что будет играть (роль Анны). Чириковы — тоже. Лазаревский и Рославлев — тоже. Яворская заявила, что спектакль в пользу студентов-беженцев[686] — *общественное дело*, и здесь не должно быть никаких политических пристрастий. — <...>

16 ноября 1915

Согласно нашей договоренности (по телефону), зашел Волынский, чтобы взять у меня на время «Жизнь Иисуса» Штрауса. Провел полтора часа. Он продал свои произведения Книгоиздательству писателей в Москве за 14 400 рублей, т.е. в течение трех лет будет получать ежемесячно по 400 рублей (выплата уже началась); предполагается десять или двенадцать томов, тираж — 3000 экземпляров; однако печатать их начнут только после войны.

По поводу влияния Михайловского (Н.К.) на молодое поколение он сказал, что «быть философом среди готтентотов» — нехитрое дело. Измайлов, по его словам — «литературный хроникер», но не историк литературы. Горькому предстоит в скором времени громкий процесс с его многолетним бывшим другом Пятницким, требующим от него пятьдесят тысяч рублей за товарищество «Знание». Пятницкий располагает в высшей степени компрометирующими документами, которые низвергнут Горького с пьедестала в глазах либеральной публики. В Италии Горький вел якобы непомерно расточительный образ жизни, словно «каприйский король». Все, что он давал революционерам, он брал не из своего, а из чужого кармана.

Его (Волынского) любимое выражение — немецкое «Gedankengang»[687]... Ложась в постель, он сразу же засыпает; и как бы поздно он ни ложился, в восемь утра он уже на ногах. Долго распространялся насчет русского балета и его (Волынского) значении для русской хоре— (а не хорео-) графии; при этом его правая бровь вздымалась выше, чем левая. Вообще говорил интересно и остроумно.

22 ноября 1915

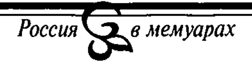
Вчера заходил ко мне Бунин (еще с кем-то) и сожалел, что не застал меня дома; сказал, что вечером возвращается в Москву. — Я же был в это время в Толстовском музее[688], где перед публикой выступал И.И. Горбунов-Посадов. Он не сразу узнал меня (мы не виделись, кажется, лет двадцать), но потом радостно расцеловал. Его суждения были интересными и пламенными и отличались антивоенной и вообще либеральной направленностью.

Вчера — вечер поэтов у В.П. Лебедева, который угощал прямо-таки великолепно (очень много вина). Коринфский захмелел в самом начале вечера, так что выносить его болтливость и дружелюбие становилось подчас просто невыносимо. Я спросил Гумилева, принимавшего участие в военных действиях на трех фронтах, приходилось ли ему быть свидетелем жестокостей со стороны немцев, и он ответил: «Я ничего такого не видел и даже не слышал. Газетные враки!» — «Значит, немецкую жестокость Вы испытали лишь тогда, когда были моим учеником в гимназии и получали у меня единицы?» — спросил я. Он подтвердил, засмеявшись... Да и вообще, — к моему немалому удивлению, — никаких антинемецких выпадов. Исключением был лишь Вентцель (Бенедикт), прочитавший язвительную сатиру на Вильгельма; за его выступлением последовала безмолвная тишина, ни звука, ни жеста, и аплодисменты раздались лишь тогда, когда он сразу же после этого прочитал сатирическое стихотворение, направленное против печально известного Распутина... Присутствовали также: Курдюмов, записавший мне в альбом **немецкое** стихотворение собственного сочинения; он явился с Марией Лёвберг, бывшей моей ученицей, и прилежно пил вместе с ней (кажется, они в близких отношениях), Гриневская, Ясинский, Авенариус, И.И. Соколов (мы поздоровались, но за весь вечер он не проронил ни слова и ничего не читал), Уманов-Каплуновский, Коковцев (напился), Булацель (трезвый!). Кондратьев, Мейснер, Федор Зарин (в военном мундире), Случевская, Берхман, Хвостов, Быков с женой, Зинаидой Ц., и Мазуркевич. Последний получил недавно за свои произведения пушкинский *почетный отзыв*. Когда его стали поздравлять, он прямо-таки разозлился: «Да что мне делать с этой бумажкой? Я ведь рассчитывал на пятисотрублевую премию!»[689] — — —

Сегодня меня навестил Горбунов-Посадов (пробыл недолго, потому что вечером уезжает в Москву). Остался таким же идеалистом, но совсем поседел (напоминает Василия Ивановича Семевского, хотя полнее, чем он, и ниже ростом). — —

Гумилев был моим учеником в гимназии Гуревича лишь один учебный год: 1896–1897, и притом только в первом классе. Его четвертные отметки у меня были такие: 3, 2, 3, 2; годовая оценка: 3— ... Если память мне не изменяет, его исключили за неспособность к учебе, то есть любезно предложили ему покинуть гимназию (хорошо помню, что и другие учителя жаловались на него в учительской). О его поведении не могу сказать ничего плохого. И все-таки он был одним из самых несимпатичных моих учеников. Меня он тоже недолюбливал — я видел это по нему, хотя он особенно не проявлял своих чувств.

Лёвберг окончила гимназию Оболенской в 1909 году. Она была одной из самых болтливых моих учениц (не переставая, болтала со своей соседкой Вольф; их называли Макс и Мориц[690]. Однажды она воспела меня в стихотворении, написанном по-русски[691]).



4 декабря 1915

Сегодня завтракал у Василия Немировича-Данченко вместе с его братом Владимиром, который приехал четверть часа назад и остановился у Василия. Владимир (пил только чай) рассказывал о Владимире Тихонове, с которым у него едва не приключился скандал; это было в ресторане «Вена», куда Немирович-Данченко пришел с Куприным. За соседним столом сидел Тихонов (уже слегка разогретый); он демонстративно произнес: «Вот сидит глетчер рядом с вулканом! (то есть Куприным)»... Его (Владимира) попросили подойти к телефону. Вернувшись в столовую, он сообщил, что разговаривал с Мережковским. Тот сказал ему, что работает сейчас над романом, главный герой которого — Бакунин; но он назовет его Кубанин[692]. Художественный театр как раз рассматривает его (Мережковского) драму «*Будет радость*», и актеры погружаются в нее с каждым днем все глубже и проникновеннее, хотя многое в этой вещи — от холодного рассудка[693]. Однако он, Немирович-Данченко, никогда более не поставит ни одной пьесы Гауптмана, поскольку тот подписал заявление немецких ученых и писателей, оправдывающее вандализм и варварство войны, которую ведет Германия[694]. В Берлине он (Гауптман) радушно принимал весь коллектив Художественного театра[695]. Он предоставлял свои новые пьесы в распоряжение Немировича-Данченко так быстро, что они могли появиться одновременно и на русской, и на немецкой сцене. «Это был интересный, славный человек! А теперь его для меня более не существует. Даже его портрет я убрал из моего кабинета»... Мы говорили о покойном С.Н. Филиппове, и я рассказал, что он так ненавидел, презирал и поносил русскую нацию, как это вряд ли позволил бы себе самый ожесточенный человек нерусской крови. На это Владимир заметил, что и с ним в последнее время случалось нечто подобное: он бранит Россию, противопоставляя ее Германии и высоко превознося кайзера Вильгельма... По поводу невероятно высоких цен на продукты питания Василий сказал, что с этим безобразием легко покончить: требуется лишь перед каждым магазином и банком соорудить виселицу и вздернуть на ней торговцев и банкиров...

Уже долгое время я замечал, что он плохо отзывается о С.Г. Петрове; прямо, однако, не высказывается, а довольствуется лишь короткими сатирическими и насмешливыми репликами на его счет. — —

Только что скончался (давно умерший для литературы) критик М.А. Протопопов; у меня нет ни его портрета, ни одного письма — только запись в большом альбоме автографов, сделанная 5 июля 1895 года:

Для любви одной природа
Нас на свет произвела!



Денег дай, денег дай
И успеха ожидай!

Сердца влюбленные смежает
Не цепь, а тонкий волосок. — —

Владимир Немирович-Данченко заверил меня (впрочем, я слышу это на протяжении ряда лет), что в его письменном столе приготовлены для меня два больших ящика, набитые письмами писателей: однако, чтобы получить их, я должен сам приехать в Москву... Он сохраняет писательские письма, полученные за последние двенадцать лет; все более ранние он уничтожил (за исключением писем Чехова).

18 декабря 1915

Сегодня завтракал у Нагродской. В ее жестах, внешности и голосе есть что-то вульгарное, но все же чувствуется, что она — тонкая натура. Овдовела в девятнадцать лет, будучи матерью двоих детей; чтобы прокормить их и себя, работала на кухне, торговала ягодами на рынке и пела в оперетте у Пальма; в 27 лет вышла замуж за нынешнего своего мужа. Она не считает себя писательницей, потому что все приходит к ней «изнутри», а не «свыше», и еще потому, что не может писать ради денег. Подарила мне письма к ней разных писателей. За свою квартиру (Мойка, 91, квартира 16) платит, вместе с отоплением, 250 рублей ежемесячно. Среди писем — несколько фамильярно дружеских от М.А. Кузмина, известного педераста, а кроме того — автограф Юркуна. «Муж Кузмина», — сказала Нагродская, улыбнувшись так, словно речь шла о чем-то общеизвестном. И, конечно, об этом знает в городе каждый, кто принадлежит к литературному миру. «А разве он больше не "живет" с Ауслендером?» — спросил я. — «А он с ним никогда и не жил...» Показала мне рукопись своего нового романа, в котором почти нет поправок. «Вы нигде не найдете у меня точки с запятой: я не люблю этот знак. Разве что в напечатанном тексте, но это значит, что его добавил корректор; сама я корректур не читаю». Уверяла, что совершенно равнодушна к любой азартной игре (и как таковой, и в жизни). Да и к половой сфере относится якобы весьма прохладно.

20 декабря 1915

Завтракал у Потапенко. <...> Наташа вернулась из Вологды; ее муж не явился к началу процесса[696]. <...> Наташа сказала, что Гинцбург недавно изваял ее

бюст... Когда я заметил, что это — большая честь, она высокомерно ответила: «Да, для него!»

27 декабря 1915

Примерно две недели назад у меня был Василевский (Не-Буква), редактор-издатель «Журнала журналов», и просил меня дать ему что-нибудь для рождественского номера. Я разрешил ему скопировать (разумеется, бесплатно) несколько записей из моего большого альбома автографов, и вот они напечатаны в № 36, причем в новогоднем номере предполагается поместить новые записи[697]. — Сегодня мне позвонил Сологуб. Я сразу же понял, что ему надо: чтобы его запись не печаталась — «в журнале, где меня травят почти в каждом номере!» Я сказал, чтобы он успокоился: его запись представляет собой длинное стихотворение («*В одеянии убогом...*»), которое Василевский не стал копировать.... «Почему ты не приходишь?» — «Не бываю в тех краях». — «Приходи!» — «И ты приходи!» — «Ладно». Конец разговора.

30 декабря 1915

Еще три года назад Наташа просила меня представить ее Репину. Недавно она спросила, не собираюсь ли я к нему на рождественской неделе. Я ответил, что собираюсь. Она попросила взять ее с собой. И вот сегодня поездом в 1. 20. мы поехали в Куоккала. Наташа была в беличьей шубке, поверх — белый платок, которым она подвязалась, и порой, особенно когда она вскидывала голову и поднимала руки к груди, походила на Скорбящую Марию (деревянная статуя в нюрнбергском Германском музее). Дорогой она вела себя естественно и сердечно; о прошлом не было сказано ни слова; да я и не испытывал ни малейшего желания ворошить старое. В соседнем купе ехал Гинцбург с двумя дамами; он подсел к нам. <...> Репин радостно приветствовал меня и ее (Наташу) и сразу же после чая устроил в верхнем ателье сеанс: Наташе было предложено занять место на подиуме (Репин собственноручно установил правильное освещение так, чтобы ей не пришлось спускаться), и вот несколько его гостей, и мужчины, и женщины, принялись — во главе с самим Репиным — набрасывать ее портрет (преимущественно углем). Это продолжалось до половины шестого. Потом все спустились вниз, где Гинцбург тем временем уже обрядил несколько человек в маскарадные костюмы. Сам он изображал Леду — в черном облачении и с белой простыней. Я сел к роялю и заиграл марш, галоп, вальс, венгерку и т.д., и все стали танцевать; даже Репин присоединился, когда начался grand rond[698]. Кроме того, Гинцбург изображал женщину-канатоходца, силача, жонглера, глотателя шпаг и др. Потом перешли в столовую, где посередине стола

красовалась елка, украшенная блестками и хлопушками. Какая-то женщина пела русские песни, Репин ей подпевал. Он вообще был весьма возбужден — явно под воздействием Наташи, которая, впрочем, держалась скромно и просто. Когда по окончании трапезы я стал прощаться с Репиным (мы должны были успеть на поезд, отходящий в 7. 40, и на улице нас уже ждал извозчик в санях) и произносить обычные благодарственные слова, он сказал: «Не Вы — я должен благодарить Вас за такую гостью!» Гинцбург, собиравшийся ехать этим же поездом (следующий идет лишь около одиннадцати и прибывает в Петербург — поскольку он регулярно опаздывает — в час ночи, а то и позже), неожиданно передумал (какой-то костюмированный гость, только что появившийся, исполнял танец) и решил остаться. Наташа, явно польщенная тем, что Репин ее рисовал, тоже хотела остаться, чтобы выпросить у него портрет (этого можно было добиться, лишь действуя постепенно). Она уже наполовину приготовилась к отъезду, но я сказал, чтобы она осталась: мне нужно ехать, а Гинцбург, конечно, доставит ее домой в целости и сохранности. Она, правда, сказала: «Не сердись! Не то я лучше поеду сейчас с тобой!» Я успокоил ее. К тому же подошел Репин и стал прямо-таки умолять, чтобы я остался или «оставил» Наташу. И я уехал, вполне довольный... За обедом, когда мы с ней, разговаривая, обращались друг к другу на «ты», кое-кто из гостей поинтересовался, не родственники ли мы. Нет. Так почему же Наташа говорит мне «ты»? «Потому что все его очень уважают... а я его люблю», — ответила она наивно, и гости засмеялись.

Потапенко позвонил и сказал, что Наташа вернулась домой лишь в два часа ночи, причем — без портрета: она не решилась попросить его у Репина.

Был и Чуковский, но он появился незадолго до обеда, а исчез сразу же, как обед закончился, — «пошел спать», пояснила мне его симпатичная супруга. По ее словам, он страдает ужасной бессонницей (потом целый день не способен написать ни строчки) и никакое снотворное ему не может помочь.

28 января 1916

Опять — спустя много лет — заглянул на полчасика к Гриневской. Был час дня. Она как раз завершала туалет в своей спаленке и вышла ко мне в гостиную в тонкой, как бумага, голубоватой накидке. Усевшись на оттоманку против меня, она во время беседы то и дело поглядывала на себя в зеркало шкафа. Даря мне свой стихотворный сборник «*Поклон героям*»[699], стала уверять, что эти стихи написаны кровью сердца, так что многие читатели плачут (даже мужчины). Отвела от себя упрек в квасном патриотизме: мол, она — дитя России, и если ее матери так плохо, дочерний долг — ее защищать. При этом она расхвалила немецких женщин, коих русские так поносят; по ее словам, они лучше русских женщин не только как жены, матери и хозяйки, но и более воспитаны в эсте-

тическом и научном отношениях. — Вопреки моему предупреждению, что я не понимаю на слух того, чего не читал глазами, прочитала мне ряд стихотворений из своей книги. Она (Гриневская) готова была еще долго распространяться по поводу своего «Баба» (собирается выпустить за собственный счет второе издание), но я отговорился тем, что меня ждут в институте мои ученицы (что правда), и — скрылся.

4 февраля 1916

Вчера у меня обедал Немвродов. Превосходно говорит по-немецки и весьма благожелательно настроен по отношению к немцам. Ни капли квасного патриотизма. — —

Сегодня завтракал у Потапенко. (Сегодня четверг, и у меня с двенадцати до двух — пауза.) Он не чувствует пока особой радости, хотя решение о его неплатежеспособности аннулировано: ему предстоит еще выплатить какие-то суммы, которые он занял для приостановки процедуры банкротства. Мечтает лишь об одном: добраться как можно скорее до своего имения (полтора часа на поезде через Двинск[700], не доезжая Риги, до которой еще два с половиной часа), чтобы полностью — и теперь уже не ради денег! — отдаться литературе. Впрочем, от зданий в его имении почти ничего не осталось: русские (не немецкие!) солдаты постепенно сожгли весь строительный материал (доски и балки деревянных строений). — Наташа в Полтаве — идет бракоразводный процесс. Но ее мать уже несколько недель живет у него (приехала лечиться). Застал там же и ее отца.

28 марта 1916

24-го Измайлов попросил меня прийти в Союз городов[701] и принять участие в проведении лотереи в пользу солдат. Там я говорил с ним не более минуты: он весь был поглощен регистрацией пожертвованных книг — работой, которую мог бы выполнить любой, мало-мальски умеющий читать и писать. Скрутив с Ясинским по пятьдесят билетов (для лотереи), мы перешли улицу, чтобы выпить квасу в ресторане «Доминик». По отношению к немцам он настроен отнюдь не враждебно.

Сегодня звонил по телефону Потапенко и просил меня узнать у Горького адрес его врача Манухина. Я спросил, почему он сам не желает этого сделать, — ведь он наверняка знаком с Горьким. «Да, знаком. Но он ненавидит меня». — «За что?» — «Когда он написал, что Московскому Художественному театру не стоит инсценировать Достоевского, поскольку он чрезвычайно действует на нервы[702], — я, отвечая на какую-то анкету[703], шутливо заметил, что Горький,

окажись он министром просвещения, прикажет сжечь все сочинения Достоевского. Говорят, он тогда страшно на меня разозлился».

Горький ответил мне (по телефону), что Манухин в Москве. — —

Сегодня провел часок с Измайловым. Он приятельствует с митрополитом Питиримом чуть ли не со школьной скамьи, не раз навещал его и вновь собирается к нему сегодня вечером. Когда я сказал ему (Измайлову), что Горький «ненавидит» Потапенко, он ответил: «Вполне возможно, ведь Горький никого не любит? Никого!» — «А ты виделся с ним после нашего визита на Капри?» — «Нет. Но знаю, что меня он тоже не любит»...

Измайлов сказал, что Андреев находится на лечении в частной клинике (Тверская, 10) и что к нему никого не пускают. В отличие от Наташи, у которой опустились все внутренности, у Андреева, напротив, они поднялись (кишки, легкие, печень — все, что внутри). <...>

7 апреля 1916

У меня нет ни одной книги и ни одного портрета Виктора Викторовича Протопопова, умершего вчера в Москве... Лишь запись, оставленная им в моем большом альбоме автографов 12 ноября 1902 года

Накануне двухсотлетия русской печати:

...Трудно и медленно там угасал
Честный бедняк сочинитель.

(«В больнице», Некрасов.)

У меня нет также ни одного письма от него — за исключением следующей записки от 5 ноября 1902 года:

«*Милостивый Государь*

Прилагая при сем три рубля покорнейше прошу Вас записать меня участником обеда в честь И.Л. Щеглова-Леонтьева.

Готовый к услугам

В. Протопопов».

Мы встречались с ним достаточно редко, хотя он не раз приглашал меня к себе — взглянуть на его театральный музей. В последние месяцы мы договорились по телефону, что я приду к нему с визитом (а он — ко мне, чтобы осмотреть мое собрание). Однако время, которое он мне назначал, совпадало с часами моего присутствия в учебных заведениях. Мой визит пришлось перенести на нынешние пасхальные праздники; он уехал в Крым, должен был вчера вернуться и вот — умер.

Его самая известная драма называется «Черные вороны». Не менее ста раз она шла на сцене театра Неметти, пока ее не запретили из-за происков жуликов-«иоаннитов» (разбойная секта попа Иоанна Кронштадтского). Поэтому я был невероятно удивлен, прочитав сегодня в «Биржевых Ведомостях» утверждение Измайлова, что эта пьеса никогда не ставилась[704]. Я осторожно указал ему по телефону на его ошибку, на что он раздраженно ответил: «Ну, нельзя же все знать!» и «Невелика беда, если сорок идиотов прочтут мою заметку!» — «К коим отношусь и я?» — спросил я со смехом. «Конечно, нет!» — засмеялся он. Какая невнимательность и... небрежность!

26 апреля 1916

Встретил Тинякова; он удовлетворенно показал мне на связку книг, которую держал под мышкой, — он только что приобрел их у антиквара: «Гердер» Гайма (по-русски)[705]. Его полемические выступления в «Журнале Журналов» привели к тому, что двери либеральных изданий для него закрылись. «Значит, буду сотрудничать в черносотенных газетах! Например, в “Земщине”. Потому что меня тянет к работе!» — «Мне кажется, Вы ежемесячно получаете от отца определенную сумму, причем вполне достаточную?» — «Да, но я **должен** работать!» — «Так работайте и откладывайте Вашу работу до того времени, когда либеральная печать забудет Ваши заблуждения и снова начнет Вас печатать. Вы сможете тогда использовать готовый материал». — «Заблуждения! Да ведь я ненавижу евреев по зрелому убеждению!»... Оказывается, он не читал «Натана» Лессинга[706]. Тем не менее весьма образован в литературном отношении.

6 мая 1916

Гаккебуш (теперь он официально именуется Гореловым) попросил меня подготовить для «Биржевых Ведомостей» к 17-му, т.е. к пятой годовщине со дня смерти Фофанова, мои воспоминания о покойном. Сегодня я отдал ему написанное. Сказал, что вся редакция страшно скорбит о том, что Измайлов покинул их газету, потому что он — «очень хороший человек»; в «Биржевке» он получал ежемесячно двести рублей (плюс гонорар — построчно). Я стал говорить Гаккебушу, что среди неопубликованных стихов Фофанова, которые я включил в свою статью, есть восторженный гимн Николаю II, но он оборвал меня словами: «Это я не буду печатать!» — —

Когда я пообещал Измайлову предоставить ему к 17-му мая два автобиографических письма Фофанова ко мне, он очень обрадовался. А сегодня он с сожалением сообщил, что не сможет их напечатать: как раз в это время Государственная Дума возобновляет свои заседания, поэтому в газете совсем не ос-

талось свободного места. — Тогда я предложил свой материал Корецкому для «Пробуждения», и он с радостью его принял[707].

10 мая 1916

<...> Наташа была в Куоккала у Репина; она ездит туда каждый понедельник и вторник и позирует ему; он пишет ее портрет — в виде богоматери! (Как тут не смеяться!) <...>

31 мая 1916

Сегодня приехал в город из Ермоловки (в среду, 25 мая, я поселился там вместе с дочерью в одной из писательских дач[708]). Набрал номер Василия Немировича-Данченко и спросил, как он себя чувствует. Какой-то господин ответил, что он лежит и, видимо, проведет в постели еще целую неделю: разрыв связок на ноге и кровотечение. Но никакой опасности.

Затем я позвонил в редакцию «Биржевых Ведомостей» Ясинскому. Да, Гаккебуш (то есть Горелов, урожд. Гаккебуш) ушел из газеты. Главными редакторами являются Проппер и его сын. Он, Ясинский, — редактор отдела литературы и внутренней жизни. Флексер-Волынский — редактор отдела эстетики и философии.

26 июня 1916

На другой писательской даче живет Журавская; каждое воскресенье к ней приезжает муж, Виктор Вениаминович Португалов, и остается до следующего утра. Сегодня она рассказала мне следующее: вскоре после свадьбы Мамина она спросила его, как он чувствует себя в роли супруга. «Как медведь в бонбоньерке. *Ни стать, ни сесть* — все время боишься разбить какую-нибудь совершенно ненужную вещь — из тех, что расставлены или разложены по комнатам!»

3 июля 1916

В нашем коридоре, напротив комнаты моей дочери, живет Леонид Михайлович Григоров — тот самый, которого еще несколько лет назад в Литературном обществе называли «подмаксимовик»: и выражением лица, и манерой одеваться он подражал Горькому, пытаясь таким образом сделать себе рекламу... Он стучится в дверь напротив куда чаще, чем допускают приличия, но делает это, похоже, не столько из хамства, сколько по наивности, ибо вообще не получил никакого воспитания (а крохи образования приобрел самостоятельно; он —

самоучка). Чтобы выжить, ему, как и Горькому, довелось в свое время исполнять самые простые и низкооплачиваемые работы (служил, например, в Одессе приказчиком в обувном магазине). Ему 37 лет, хотя на вид — 25. Разгуливает без головного убора, и даже на станции. Не стесняясь, поет и свистит в коридоре. Охотно играет с моей дочерью и другими в теннис. — <...>

Что еще сказать о Венгерове? Его младшая дочь Женни (братья и сестры зовут ее почему-то Верой) изучает санскрит и дает своему брату Сергею уроки греческого языка (он уже год как студент, но до сих пор не сдал гимназический экзамен по греческому, который назначен теперь на сентябрь... если только его раньше не отправят на фронт; он уже призван). Еще недавно Женни ходила «в невестах», но из этой истории ничего не вышло: жених потребовал, чтобы она бросила все ученые занятия, — она же не согласилась на это условие. Впрочем, она не была в него «влюблена».

8 июля 1916

Вчера сюда переехал Марк Криницкий — в другое здание: из чистого предрассудка он отказался от тринадцатого номера. Сегодня я с ним познакомился. Первое впечатление — весьма благоприятное. В последнее время он постоянно жил в Москве (его семья еще там) и лишь совсем недавно переехал в Петербург. Он сказал о себе: «*Я ни в чем не имею вкуса: ни в вине, ни в табаке, ни в женщинах, ни в музыке. В музыке я даже слеп*». Последнюю фразу он повторил дважды. С ним и мужем Веры Евгеньевны Копельман, нашей управляющей, мы говорили о войне и особенно о немцах. Никто из них не проявляет враждебности к немцам, скорее, напротив — симпатию.

9 июля 1916

Настоящее имя Криницкого — Михаил Владимирович Самыгин. Сегодня я совершил с ним прогулку в Курорт, где он пытался найти меблированную комнату для своей жены с десятимесячным сыном, однако безуспешно: никто не хотел сдавать комнату из-за ребенка. В четыре часа мы пришли ко мне. Делая запись в мой альбом, он что-то смахнул с пера, а затем вытер пальцы о волосы. (Я впервые видел писателя, олицетворяющего собою старомодную промокательную бумагу.) Потом рассказал мне (по собственной воле) свою биографию. Ему сорок два года. Окончив Московский университет, он намеревался остаться при кафедре философии, но это не получилось. Он стал учителем русского языка и литературы и в течение семнадцати лет преподавал в гимназиях Орла, Коломны и Рязани. (Сейчас у него ежемесячная пенсия в сто рублей.) Он хотел вычистить «Авгиевы конюшни» в учительской среде, искоренить «передоновых»[709]

и с этой целью писал докладные записки в Министерство народного просвещения, чем вызвал к себе ненависть всех провинциальных учителей. Поэтому он не имеет ни одного ордена, хотя и дослужился до статского советника. Педагогическая деятельность отнимала у него так много времени, что он ничего не читал из современной литературы и почти ничего не писал. Наконец, от усталости и невозможности осуществить свои реформаторские планы на ниве педагогики он заболел и вышел в отставку.

После этого он целиком погрузился в литературу и за три года написал восемь томов. Живет отдельно от жены. «Вы разведены?» — спросил я. «Нет, я принципиально против любого официального развода». От этой жены у него семнадцатилетний сын Сергей, две дочери (воспитываются в институте в Москве) и еще один несовершеннолетний сын, который учится в гимназии. Теперь же у него (Криницкого) «гражданская» жена и от нее — десятимесячный ребенок. Сергей живет с ним, а не с матерью («из чего Вы можете сделать вывод, какой у нее характер!»). Он воспитывал его в руссоистском духе, никогда ничего не приказывал, лишь советовал. Сергей — очень добрый, даже благородный юноша, но вспыльчивый и бесцеремонный. Более всего желает защищать угнетенных. Год назад он бросил гимназию (не закончив учения) и стал санитаром. Увидев на улице, как офицер избивает солдата, он вмешался и так оскорбил оскорбителя, что тот вызвал его на дуэль. Он (Сергей) сильно ранил его саблей в плечо. Теперь по совету отца он будет сдавать экзамены на аттестат зрелости в одной из здешних гимназий, но — экстерном: он сам опасается, что не сможет подчиняться школьной дисциплине. Однако год, проведенный в армии, сделал Сергея (посетовал отец, который вообще против любой войны) чрезвычайно грубым... Криницкий рассказывал также о себе как писателе (впрочем, не у меня, а во время нашей прогулки). Свои романы он печатал преимущественно в московской газете «Вечерние Известия», причем отдавал их в редакцию не в законченном виде, а по частям: разработав в уме общий замысел и отдельные детали, он каждый раз писал продолжение. Литературную работу он считает священнодействием, а саму литературу — храмом. Подарив кому-нибудь одну из своих книг, он никогда потом не спрашивает, понравилась ли она. «Это то же самое, как если бы священник после службы спрашивал у прихожан, хорошо ли он говорил». Поэтому у него сравнительно мало знакомых в московских писательских кругах. «Ибо лишь немногие там — жрецы, большинство же паразиты искусства». Значительным поэтом считает Брюсова, с которым был некогда дружен. Игорь Северянин, по его словам, тоже выдающийся поэт, и он хорошо понимает его поклонниц, которых ошибочно считают психопатками: это неверно хотя бы по той причине, что сексуальный момент не играет у них при этом никакой роли. Сказал, что Бунин не заслужил звания академика[710]; а если бы и заслужил, то все равно должен был бы от него отказаться в знак про-

теста против исключения Горького, как это сделал в свое время Чехов, добровольно покинувший Академию Наук... Свой только что завершенный роман «Женщина в лиловом»[711] он (Криницкий) — после того, как все глубоко продумал, — начал писать с конца и закончил началом. Стихов он никогда не писал, во всяком случае никогда не печатал. — Знает наизусть «Лесного царя» Гете, хотя и уверял, что почти не владеет немецким... Сказал, что резкая критика со стороны незнакомого человека для него намного приятней, чем похвала друга.

17 июля 1916

14-го у меня в гостях был Криницкий со своей молодой женой. Короткие и курчавые волосы, нос с чуть заметной горбинкой. Почти ничего не говорит. Они сняли две меблированные комнаты в Сестрорецке (соседняя станция).

Сегодня он снова был у меня и принес свою книгу «Маскарад чувств»[712]. Просидел полных два часа и все это время рассказывал историю своего знакомства с Брюсовым. Оно завязалось, когда Криницкий был еще студентом первого курса. С самого начала Брюсов питал к нему глубочайшее расположение. (Криницкий был тогда невзрачный и хилый юноша, обросший волосами и совсем беспомощный; он служил мишенью для всеобщих насмешек.) Он только что выпустил свою первую книгу — «В тумане»[713]. Брюсов словом и делом содействовал дальнейшей литературной карьере Криницкого. «Он заботился обо мне, как нянька, и отношения между нами были самые нежные». Брюсов настойчиво отговаривал его ехать учителем в Тулу, считая, что он отупеет в провинции. Однако Криницкий уже был женат, имел ребенка и не имел никакого дохода, — и вынужден был поступить на службу. Брюсов несколько раз навещал его в Туле. Потом он сообщил ему в письме, что собирается жениться, но женится лишь в том случае, если он, Криницкий, посоветует ему сделать это; а потому, писал Брюсов, он должен приехать к нему в Останкино (дачное место под Москвой). Невеста (его нынешняя жена — ее зовут Жанна) была гувернанткой в доме родителей Брюсова. Однажды вечером она призналась ему в любви, после чего произошло «грехопадение». Спустя некоторое время она пыталась покончить с собой, бросившись в останкинский пруд, однако Брюсов успел ее спасти. Криницкий поехал в Останкино. Брюсов оставил их обоих на час друг с другом. Во время разговора она держалась с ироническим превосходством, но тем не менее понравилась ему — прежде всего своей любовью к Брюсову. И когда Брюсов спросил его мнение, он посоветовал ему жениться. (Когда Криницкий приехал в Останкино, калитку ему открыла молодая девушка и спросила, чего он желает. Но как только он назвал свое имя, она побледнела и задрожала: это и была Жанна, которая знала о цели его приезда.) И свадьба состоялась. Присутствовать на ней Криницкий, однако, не мог (ему не удалось

отпроситься на службе), и потому он послал Брюсову открытку, в которой поздравил его с «*торжественно-печальной*» свадьбой. (Что и говорить, весьма необычный поздравительный стиль! — *Ф.*). Брюсов писал ему, что во время свадьбы он прочитал это поздравление присутствующим, и оно вызвало большой интерес. (Охотно верю! — *Ф.*) Прошли годы — Криницкий провел их в провинции. Брюсов продолжал писать ему, как и прежде. Однажды Криницкий приехал в Москву и, как обычно, отправился прямо с вокзала к Брюсову. Тот встретил его, скрестив руки, и заявил, что желающие поговорить с ним должны в письменном виде предупреждать его об этом за неделю, а затем ждать, когда подойдет их очередь. Однако увидев, какое впечатление произвели его слова на гостя, он попытался смягчить их парой любезных шуток, в которых все равно проскальзывала насмешка над «провинциализмом» Криницкого. В книге «Tertia Vigilia» Брюсов посвятил каждому из своих знакомых один раздел и лишь ему, Криницкому, — ничего, что чрезвычайно удивило Криницкого: появление книги приходилось на время их теснейшей близости. Однажды Криницкий встретил Брюсова в Москве, когда тот был уже видным членом редакции «Русской Мысли». Но едва лишь он заикнулся о своем новом, только что законченном романе, как Брюсов прервал его: «Мы завалены материалом на год вперед!» А раньше сам рекомендовал его в различные журналы. В другой раз Криницкий оказался в Москве на один день, а Брюсов в тот вечер делал доклад. Все билеты были распроданы. Криницкому, однако, удалось добраться до комнаты, в которой выступающие ждут своего выхода (*исполнительская*); оттуда он рассчитывал при помощи самого Брюсова пройти в зал. Но у двери, раскинув руки, стояла Жанна, которая не пропустила его к Брюсову: «К нему никто не должен сейчас входить — он сосредоточен!» Когда, ничего не добившись, Криницкий вернулся обратно, студенты-распорядители стали над ним смеяться: они с самого начала язвительно предупреждали, что его не пропустят в зал. Криницкий и Брюсов всегда были на «Вы»... У Криницкого хранится множество интимных писем Брюсова; он хочет их все подарить мне (сейчас они еще в Москве). Он до сих пор считает Брюсова значительным человеком.

<...> Криницкий рассказал также следующее: псевдонимом он пользуется начиная со своей первой книги («В тумане»). Он укрылся за псевдонимом из страха перед критикой... Некогда, желая полностью отдать себя изучению философии, он проштудировал всего Спинозу (по-латыни). Однажды он слушал Николая Яковлевича Грота, объяснявшего своим адептам новое определение времени. Никто не решался возразить, лишь Криницкий сказал, что он, Грот, не понял Канта. Грот отомстил ему: после доклада Криницкого о этике Спенсера он публично заявил, что у Криницкого отсутствуют элементарные научные познания... Будучи студентом, Криницкий вместе со своим приятелем Леони-

дом Николаевичем Никоновым посетил Толстого (в его московском доме в Хамовниках). Элегантно одетый слуга ввел их в маленькую, убого обставленную комнату, расположенную справа от передней. Появился Толстой и сразу же, даже не протянув им руки и не предложив сесть, заявил, что у него нет времени для разговора: все, что они желают узнать, можно найти в его сочинениях. Тут Криницкий собрался с духом и признался, что они сомневаются в существовании бога и пришли за советом. Услышав это, Толстой сел и «с грацией аристократа и бывшего военного» закинул ногу за ногу. Одновременно он предложил сесть своим посетителям и начал проповедовать: все существующее бренно, все бесследно проходит, а потому все бесполезно. К земной жизни стремились вавилоняне и ассирийцы, а что от них осталось?! Стоит какой-нибудь бацилле попасть мне в рот — и со мной будет покончено, и со всем тем, к чему я стремился на этой земле и что я делал, словом, со всей моей беллетристикой, ибо и она бесполезна. Поэтому человек должен стремиться лишь к Одному, и это Одно — Бог. Такое разъяснение их не удовлетворило. Вернувшись домой, они дословно описали свой визит к Толстому. Вероятно, этот документ и поныне находится в бумагах Никонова, который живет в Петербурге и которого он, Криницкий, совсем потерял из виду... Двенадцать лет Криницкий страдал от нервного расстройства, он стал почти невменяемым... Мне показалось странным, что он, прочитавший в оригинале всего Спинозу, попросил меня перевести употребленное мной выражение «jalousie de métier»[714].

18 июля 1916

Сегодня у меня сидел профессор математики Константин Александрович Поссе. Он живет в другой писательской даче, прямо под комнатами Венгерова. Жаловался, что почти каждую ночь, с полуночи до двух часов ночи не может заснуть: над его головой шумно расхаживают в уличной обуви, двигают мебель и швыряют на пол различные тяжелые предметы... В связи с этим оставил в моем альбоме деликатную запись — жалобу без обвинения:

«Живу в доме Литературного фонда и изучаю звукопроводность настилки, отделяющей нижний этаж от верхнего. Убедился, что только притупление слуха мешает мне слышать дыхание верхнего жильца».

Он просил меня ничего не говорить Венгерову. И я не стал ему ничего говорить, когда двумя часами позже он повел меня в пансион «Парк», чтобы познакомить со своей матерью. Ей 86 лет, но она еще вполне бодра, неплохо видит и слышит. Ее воспоминания (написанные по-немецки) имели, по слухам, немалый успех в Германии. Пишет, однако, с ошибками орфографического и этимологического свойства (кое-что записала в мой альбом «В гостях»). На ве-

ранде — в присутствии других людей — мы говорили по-русски (это для нее не совсем просто); но в саду, оставшись втроем, — по-немецки (вполне бегло). Она интересуется всем на свете.

На пути в пансион и обратно Венгеров рассказал мне следующее: женихом Женни был беллетрист Холщевников. Возможно, она не отказала бы ему, если бы его любила; она неплохо к нему относилась, но не «любила». Да и вообще: «Женни — это цветок, а из цветов нельзя приготовить суп!»

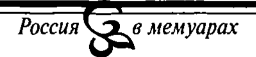
Он (Венгеров) давно уже не страдает лунатизмом, но неоднократно просыпается ночью в ужасе, что в комнату проникли воры, хватается за бумажник, который держит под подушкой, и пересчитывает деньги (принадлежащие Литературному фонду)... Со вздохом высказал свое убеждение, что Германия в этой войне будет уничтожена — англичане возьмут ее измором. «И не станет больше немецкой уютности!» (он произнес эти слова по-немецки)... <...>

Венгеров уверяет, что унаследовал любовь к литературе от своей матери и стал писателем под ее влиянием... Он обращался к ней на «Вы» (во время нашего визита).

4 августа 1916

Вчера я был в городе и вечером зашел к Карпову. Несколько недель назад он вернулся с Кавказа (Ессентуки), где лечился; погружен в подготовительные режиссерские работы (с конца марта он — главный режиссер Александринского театра), хотя почти вся труппа в отъезде. Прочитал со второго апреля сорок рукописей драматических сочинений, представленных авторами. На Кавказе работал исключительно над своими воспоминаниями о Савиной[715]. Его старший сын Володя (актер) призван на военную службу; однако он заявил, что не будет стрелять, поскольку он против любого убийства; ему грозит дисциплинарный батальон.

Пока мы пили чай (ни капли алкоголя), пришел Георгий Чулков. Он тоже призван, но в качестве санитара Красного Креста при Союзе городов (или нечто в этом роде — я полный профан в области военного дела со всеми его деталями), так что он лично не будет участвовать в сражениях... Он пришел просить Карпова, чтобы тот взял под защиту его драму «Невеста» (постановка должна состояться в конце сентября)[716] от нападок со стороны актеров (так, Аполлонский, например, потребовал, чтобы Чулков выбросил целую сцену). Карпов обещал ему свою поддержку. Меня же он, Чулков, попросил принять на хранение двадцать толстых папок: это — черновики его произведений, уже опубликованных; но в них, по его словам, — много существенных вариантов. Сказал улыбаясь: «Плох тот солдат, который не надеется стать генералом. Как знать, может, какие-то вещи будут опубликованы через пятьдесят лет после моей смерти,



и моей жене и ребенку, которым я не оставил *ни кола, ни двора*, хоть что-то достанется». Сообщил, что нынешним летом (sic! — *К.А.*) Сологуб обвенчался где-то на Волге со своей Чеботаревской.

8 августа 1916

Сегодня я познакомился с Владимиром Львовичем Бурцевым; он сидел у Венгерова и пил чай. <...>

Сегодня меня посетил Павел Павлович Гайдебуров, душа и плоть *Передвижного* театра, гастролирующего сейчас здесь (труппа арендует театральную площадку, которая расположена между двумя нашими домами и также принадлежит Литературному фонду). В литературу его (Гайдебурова) ввел Владимир Соловьев, напечатавший несколько его стихотворений в «Вестнике Европы». Утверждает, что был моим учеником в гимназии Гуревича, но я его совершенно не помню; знаю только, что в мою бытность преподавателем он действительно там учился. —

Война застигла его и его жену (сестру покойной Комиссаржевской) в Карлсруэ, где ему пришлось подвергнуться допросу. Никаких других неприятностей с немцами у него не было. Напротив: два офицера любезнейшим образом объяснили ему, как можно беспрепятственно добраться до Швейцарии, — там он столкнулся с куда большими трудностями из-за алчности швейцарцев. — —

Венгеров, здравомыслящий историк литературы и профессор, сделался рецензентом: опубликовал в «Речи» несколько откликов на здешние спектакли гайдебуровской труппы[717]. Недавно, уже отправив свою рецензию, он вдруг вспомнил, что употребил несколько чересчур резких выражений и отправился — была уже ночь — в редакцию, чтобы исправить соответствующие места.

31 августа 1916

В этом году Измайлов собирался праздновать свои именины 29 или 31 числа, но — вопреки своему намерению — устроил празднество вчера. Было около 75 человек (каждый получил печатное приглашение); среди них — очень много друзей Измайлова (очевидно, сотрудники «Листка») с женами. Большинство гостей рассчитывало попасть на беспримерно роскошный банкет, ибо Измайлов отмечал не только свои именины, не только серьезное повышение по службе, но и новую квартиру (Екатерининский канал[718], 10, кв. 7; впрочем, он сохраняет за собой квартиру у Смоленского кладбища). Но увы! прием (в том, что касается угощения) был донельзя прост: минимум обычнейших яств и напитков. Конечно, и то, и другое могло быть изысканным и обильным, но: чем больше средств у человека, тем мелочней он становится![719] По этой и не только

по этой причине настроение у всех было отнюдь не оживленное — скорее, подавленное. К тому же Измайлов проявил вопиющую бестактность, пригласив к себе одновременно Г.С. Петрова и мерзавца В.В. Розанова (злостных недругов). Петров был явно в плохом настроении, беззастенчиво зевал в присутствии Лукашевич и развеселился только тогда, когда стал ей рассказывать смешную историю о споре своей жены с госпожой Манасеиной по поводу какой-то канавы на их участке в Коктебеле (в Крыму). Дисгармонию создавали также подонок Брешко-Брешковский и беспринципный Лазаревский. Последний подошел ко мне, когда я сидел за столом, сообщил, что сделался дедушкой, и добавил, что имеет для меня подарок к семнадцатому сентября. «А что это?» — спросил я. — «В последнее время я довольно много рисую. Это рисунок с видом Волкова кладбища». — «Видимо, могила моей жены — семнадцатого сентября она всегда справляла свои именины».— «Нет, это ворота при входе на кладбище». — «А при чем здесь семнадцатое сентября?» — «Ну... так...» И — улетучился. Потапенко тоже подошел ко мне и сказал, что они вернулись в город уже 3 сентября, поскольку дом, который они сняли не глядя, принес им в нынешнее холодное и дождливое лето немало забот... Не знаю, похудела ли или пополнела Наташа: мой взгляд задержался на ее лице самое большее три секунды. Когда я вошел, она радостно воскликнула «А!», и мы обменялись рукопожатием; но при этом не сказали друг другу ни слова. Обратно мы отправились втроем (пешком!); однако к нам присоединился Муйжель; он бесцеремонно взял Наташу правой рукой под левый локоть и пошел с ней рядом, я же шел с Потапенко — впрочем, недолго: я свернул влево и сел на ночной трамвай (было без четверти час)... Присутствовали также: Невежин, Боцяновский, Шебуев, Бонди, Баранцевич (разумеется, ни взгляда, ни слова!), Гриневская (накрасилась, как двадцатилетняя девушка), А. Зарин, Карпов и др.

Кто-то заметил Измайлову, что редакторская работа его, по-видимому, совсем изматывает. «Физически да, а духовно меньше, чем раньше, когда я часто обдумывал по ночам мои критические статьи. Теперь все идет своим чередом: вечером, закончив работу, я спокойно засыпаю, не думая о завтрашнем дне».

5 ноября 1916

Вчера — самый грустный день моего рождения за последние тридцать лет. Я собирался праздновать его дома и пригласить около двадцати человек, но врач категорически запретил мне не только малейшее волнение, но и любое движение, потому что я на днях простудился. (Опухшие ноги — следствие плохой сердечной деятельности.)

Итак, я праздновал этот день в больнице, заказав себе для этого «торжества» три бутылки красного вина. Но поздравить меня явились лишь (помимо Жихарева, Карцова и родных): Лукашевич, Булацель (он лежит рядом, в главном

здании, — плохо с ногами), Журавская и Венгеров. Поздравления прислали: Шиле, Гриневская, И.А. Бунин, Н.А. Морозов (с женой), В.В. Чехов, Карпов и Уманов-Каплуновский. (Прислали — вместе с цветами — поздравления и мои ученики.) — А где ж остальные сто человек, которые этими вечерами и ночами сидели у меня и пили за мое здоровье, и воспевали меня в стихах и прозе? — —

Так как срок моего пребывания в этой бесплатной палате Крылова[720] уже подходит к концу, то Котляревский, которого я ни о чем не просил, стал ходатайствовать за меня в Академии наук и Литературном фонде; в итоге обе организации решили оплатить мое дальнейшее пребывание здесь (по 45 рублей каждая = 90 рублей в месяц)... Я привык слышать, что Котляревский много обещает и мало делает. Что ж, тем более я благодарен ему за эту неожиданную услугу!

7 ноября 1916

Вчера вечером сидел часок у Корецкого. Его жена (она всегда говорит только правду!) рассказывала: недавно позвонил Куприн и сообщил, что собирается ее навестить вместе с Манычем — мол, пусть готовит яичницу. Она ответила, что мужа нет дома, у нее же нет и минуты свободного времени для приема гостей. «Тогда дайте десять рублей». — «Это можно». — «Еще с одним нулем». — «Не могу; максимум двадцать». — «Ладно; сейчас кого-нибудь пришлю»... Этот Маныч разгуливает в военном мундире, украшенном Георгиевскими крестами. Когда и за что он их получил, никто не знает. Говорят, что он дружен с печально известным Распутиным, который якобы не только выхлопотал ему выгодную должность в газете Протопопова «Русская Воля» (обладающей миллионным капиталом), но и познакомил с самим царем, и тот будто бы часто приглашает его к себе на обеды в узком кругу и просит рассказать какой-нибудь анекдот. В наше время неограниченных возможностей и такое вполне возможно... Пьяный Распутин, танцующий под аккомпанемент гитары в исполнении Маныча.

Корецкий рассказал о Куприне следующее. Когда тот проснулся у него 9 мая (после банкета), то глянул вокруг себя мутными глазами, перекрестился и воскликнул: «Слава тебе, Господи, наконец-то я проснулся в приличном доме!»

14 ноября 1916

Смотрительницу здешнего отделения зовут Анна Яковлевна Макеева[721]; она — единственная сестра Надсона. Примерно две недели назад она нанесла мне визит, после чего посещала не раз, а сегодня пригласила к себе. У нее — маленький музей Надсона (письма, рукописи, портреты, вещи). <...>

Она (А.Я. Макеева) рассказывала мне (причем не только сегодня) о властолюбии Ватсон, «ревновавшей» ее к покойному Надсону. Брат и сестра нежно любили друг друга, однако Ватсон постоянно пыталась их поссорить: она кле-

ветала ему — и часто с успехом — на сестру, едва закончившую тогда институт. Например, она убедила Надсона не отвечать на ее (сестры) письмо, а вернуть его в разорванном виде. Даже его последнее письмо к ней, которое он — по слабости — диктовал, не было отправлено, и она получила его лишь после смерти брата.

15 ноября 1916

Рядом со мной в коридоре, в комнате № 25, проходит курс лечения Анна Борисовна Мессарош — в 1860-е годы она издавала первый женский журнал («Женский Вестник»). Узнав, что я тоже здесь, она пожелала со мной познакомиться. Я дополз до ее комнаты. Ей 82 года, но она еще вполне бодра. Когда ей было 30 лет, она страдала от приступов астмы (с кровохарканьем); профессор Здекауэр посоветовал ей курение; она стала курить, и болезнь исчезла; с тех пор и до сего дня (то есть 52 года) она курит (глотая дым) — «как паровоз»... Рассказывала о забывчивости Полонского (уже в первой половине шестидесятых годов). Однажды, придя к ней домой, он вытащил из кармана своего сюртука вместо носового платка — пару носков. В другой раз у нее в прихожей он нагнулся, взял свои галоши и тщетно пытался натянуть их на руки — как перчатки. <...>

Крайней забывчивостью отличался и Глеб Успенский: он постоянно брал авансы и затем посылал в разные редакции — либо главы одного и того же произведения, либо продолжение разных произведений, так что редакторам приходилось отыскивать нужные фрагменты и «выкупать» их друг у друга.

9 декабря 1916

В последние дни я был опасно болен. Родные убедили меня составить новое завещание (с учетом интересов моей дочери). Активно и самоотверженно во всем участвовал Булацель, лечивший здесь в течение шести недель свою больную ногу <...>.

Душеприказчиками избраны Венгеров и Измайлов (в части, относящейся к моему «музею»); оба охотно согласились. Измайлов приходил вчера и сегодня (клялся честью, что написал мне к 4 ноября длинное письмо, которого я так и не получил); сегодня приходил Венгеров. Оба дали мне необходимейшие практические советы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] С.А. Бердяев опубликовал под псевдонимом Аспид поэму «Надсониада» (Киев, 1886). Однако после смерти Надсона он каялся и прославлял поэта в стихотворении «Mea culpa!» («Моя вина!» – *лат.*): «У дорогой и заветной могилы / Родины нашей достойного сына – <...> / Вдруг вспоминается мелкая ссора, / Чуждая смысла и цели меж нами: / Ныне стыжусь я ее как позора, – / Раб, удрученный страстями...» (Дело. 1887. № 4. С. 85).

[2] См.: *Фруг С.* Стихотворения. СПб., 1885.

[3] Участок на Волковом (Волковском) православном кладбище, место погребения выдающихся деятелей литературы, науки и искусства. Название «Литераторские мостки» появилось в 1870-х гг. С 1935 г. – музей-некрополь (ныне – филиал Городского музея скульптуры).

[4] Имеется в виду известное стихотворение А.Н. Плещеева «Вперед! Без страха и сомненья...» (1846), ставшее гимном революционно настроенной интеллигенции. Ср. запись от 23 мая 1902 г.

[5] Имеется в виду кипарис у дома, в котором жил Пушкин (август–сентябрь 1820 г.). Ср.: «В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я посещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество» («Отрывок из письма», напечатанный в качестве приложения к поэме «Бахчисарайский фонтан»).

[6] С 1871 г. – Малая Итальянская (с 1902 г. и поныне – ул. Жуковского).

[7] Фидлер присутствовал на одной из последних лекций Вл.С. Соловьева в Петербургском университете.

[8] Вечный двигатель (*лат.*).

[9] «Скорбящая» (*лат.*).

[10] Помни о смерти (*лат.*).

[11] Имеется в виду запрещенная цензурой статья Л.Н. Толстого «О жизни» (1886—1887).

[12] Фидлер обыгрывает немецкую пословицу «Undank ist der Welt Lohn» («Неблагодарностью платит мир»).

[13] Из стихотворения «Ангел» (1827).

[14] Написанный по-немецки очерк Фидлера о Тургеневе публиковался в 1889 г. в приложении к газете «St. Petersburger Herold» (№ 3, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 33, 34, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 53, 55, 57, 60). На рус. яз. работа не издавалась.

[15] Юбилейное торжество состоялось в театральном зале Литературно-драматического общества.

[16] Имеется в виду пьеса «Смерть Агриппины» (СПб., 1886), поставленная в 1888 г. в Театре Литературно-художественного общества.

[17] См.: *Шекспир В.* Отелло, венецианский мавр / Пер. П. Кускова. СПб., 1870; Стихотворения П.А. Кускова. СПб., 1886.

[18] См.: *Семевский В.И.* Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века: В 2 т. СПб., 1888.

[19] Имеется в виду А.И. Трейгут, домоправительница Гончарова. После смерти мужа у нее на руках осталось трое малолетних детей, в судьбе которых писатель принял живое участие (см. также запись от 28 июня 1904 г.).

[20] Имеется в виду Ф.А. Викторова, впоследствии – З.Н. Некрасова (ср. запись от 23 ноября 1896 г.).

[21] Имеется в виду история брака А.Н. Плещеева с Е.И. Даниловой.

[22] «Зачем Господь, чья власть освящена искусством...» (*нем.*).

[23] См.: *Ясинский И.И.* Полное собрание повестей и рассказов: В 4 кн. СПб., 1888.

[24] С 1918 г. — ул. Некрасова.

[25] См.: *Нотович О.К.* Любовь: Философско-психологический этюд. СПб., 1888. Книга выдержала девять изданий, последнее вышло в 1906 г.

[26] Имеется в виду книга «Dichtungen von Puschkin, Kryloff, Kolzoff und Lermontow» (см. вступ. статью).

[27] Имеется в виду Ф. Боденштедт.

[28] Имеется в виду кн.: Песни Мирзы-Шаффи с прологом Фридриха Боденштедта в переводе Н.И. Эйферт. М., 1880.

[29] «Поэма графа А. Голенищева-Кутузова» (*нем.*).

[30] Сорт пива.

[31] Название петербургского района (по обе стороны от нынешнего Суворовского пр.).

[32] См.: *Лихачев В.С.* За двадцать лет: Сочинения и переводы. 1869—1888. СПб., 1889.

[33] Имеется в виду кн.: *Леман А.* Рассказы. СПб., 1888. Большую часть ее занимает очерк, посвященный Гаршину («Статья о Гаршине»). На с. 67 сказано: «Гаршин сидел неподвижно. На лице его отразилась скука, почти брезгливость».

[34] «Школа женщин» (*франц.*).

[35] В связи с романом Н.Н. Каразина «Голос крови», печатавшимся с 11 сентября 1887 г. в газ. «St. Petersburger Herold». Публикация состоялась без авторского разрешения на перевод и была приостановлена в октябре 1887 г.

[36] вдвоем (*франц.*).

[37] С 1923 г. — ул. Восстания.

[38] Имеется в виду перевод П.А. Козлова (1-е изд. – М., 1889; 2-е изд. – СПб., 1889).

[39] Имеется в виду рецензия Скабичевского на кн. Фофанова «Стихотворения» (СПб., 1889), напечатанная в газ. «Новости и Биржевая газета» (1889. № 87. 30 марта. С. 2). Признавая за Фофановым «талант небольшой, но все-таки талант», Скабичевский писал, что «по части образования, начитанности, широты миросозерцания, вообще, всего того, что ставит поэта впереди века, делает его учителем и пророком по отношению к своим современникам, — по части всего этого у г. Фофанова царит полнейшая торричеллиева пустота. При таких условиях г. Фофанову только и остается, что быть робким чижом и чирикать на заре про себя».

[40] В оригинале — «чужь».

[41] Деревня к северо-западу от Петербурга, место дачного отдыха петербуржцев в XIX в. С начала 1960-х гг. – в черте городской застройки; ныне – часть города.

[42] Горькая вода будапештского источника (против запоров, ожирения и пр.).

[43] «Родина там, где хорошо» (*лат.*).

[44] Слово «немцы» в печатном тексте отсутствует. «Коломяги, – пишет автор анонимной заметки, – это нечто вроде "идеальной Аркадии", где дачные мужья могут совершенно спокойно предаваться мирной игре в кегли и истреблению пива, а дачным кумушкам решительно не о чем сплетничать» (Новости и Биржевая газета. 1889. № 159. 13 июня. С. 3).

[45] См.: *А.* Новости иностранной литературы: (Новый журнал по всемирной литературе) // Новости и Биржевая газета. 1889. № 160. 14 июня. С. 2.

[46] См.: *Чуйко В.В.* Современная русская поэзия в ее представителях. СПб., 1885.

[47] Буквально «бог из машины» (*лат.*) — о лице, появляющемся неожиданно и благоприятно влияющем на исход событий.

[48] Комический персонаж немецкого народного театра.

[49] «Спурий Карвилий Руга» — пятиактная драма Дукмейера, изданная в Германии в 1889 г.

[50] «Нечто вроде фантазии» (*итал.*). Известная соната Бетховена.

[51] Поселок, расположенный при впадении р. Тосны в Неву.

[52] В других записях Альбов и Соловьев-Несмелов названы «тюленями» (см. запись от 16 декабря 1890 г. и др.).

[53] С 1918 г. — пл. Восстания.

[54] В очерке, посвященном памяти Фофанова, Фидлер уточняет, что поэт подарил ему свой портрет, выполненный фотографом Ю. Штейнбергом (*Фидлер Ф.* Черты из жизни Фофанова. (По моим литературным дневникам). К V-летию со дня кончины поэта // Биржевые ведомости. Утр. вып. 1916. № 15565. 18 мая. С. 2.

[55] Псевдоним, прозвище, условное имя (*франц.*).

[56] То есть сотрудников газеты «Новости и Биржевая газета».

[57] Буквально: «Вдруг ее шатнуло, вдруг качнуло» (*нем.*). В оригинале: «Пошатнулась, оступилась».

[58] См.: *Данилевский Г.П.* Соч. СПб., 1890. Т. 7; *Он же.* Из Украйны: Сказки и повести: В 3 т. СПб., 1860.

[59] Пьеса М.И. Чайковского.

[60] См. запись от 8 ноября 1890 г.

[61] Букв. «чистая доска» (*лат.*). Нечто нетронутое, свободное от всяких влияний.

[62] В воскресных номерах «Нового времени» регулярно печатались в то время стихи Фофанова. Стихотворение «Пепел» («Кто чашу горя в жизни не пил...») с посвящением Фидлеру появилось 20 января 1891 г. Дата под стихотворением: «Январь 1891 г.». Вошло в сб. Фофанова «Тени и тайны» (СПб., 1892. С. 165).

[63] Сладкая анисовая водка с приправами.

[64] Имеется в виду рецензия на кн.: *Спиноза Б.* Переписка / Пер. с лат. Л.Я. Гуревич; вступит. статья И. Колеруса; ред. и примеч. А.Л. Волынского. СПб., 1891.

[65] См.: *Михеев В.* Песня о Сибири. М., 1884.

[66] Драма Е. фон Вильденбруха (1891).

[67] Имеется в виду труппа Мейнингенского театра, неоднократно гастролировавшего в России.

[68] Начальная строчка известной немецкой песни, написанной Карлом Зимроком (1840).

[69] То есть в ресторане «Ломач». Ср. запись от 14 января 1893 г.

[70] См.: *Ясинский И. (М. Белинский).* На смерть ребенка // Живописное обозрение. 1891. № 19. 12 мая. С. 319.

[71] Памятник в Люцерне изображает умирающего льва с обломками копья между ребер. Сооружен в 1821 г. по проекту Торвальдсена в память о швейцарских гвардейцах, погибших при обороне королевского замка Тюильри в 1792 г.

[72] Я тоже художник! (*итал.*). Употребляется, чтобы подчеркнуть свое призвание в той или иной области.

[73] Я — человек (*лат.*). Начало известного афоризма: «Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо».

[74] Текст письма в оригинале дан по-немецки.

[75] с иголочки (*франц.*).

[76] Слегка комичен этот господин (*нем.*).

[77] У Фофанова: «Небо блещет — точно море, / Море — точно небеса».

[78] Издание не состоялось.

[79] По собственному усмотрению (*лат.*).

[80] Из поэмы «Борис Годунов».

[81] См.: *Тихонов Вл.А.* В наши дни: Повести и рассказы. СПб., 1892; *Он же.* Военные и путевые очерки и рассказы. СПб., 1892.

[82] Имеется в виду рецензия на немецкий перевод пьесы А.С. Суворина «Татьяна Репина» (1888), помещенная в журнале «Allgemeine Theater-Revue für Bühne und Welt» (1892. Jg. 1. № 1. S. 48–49) под псевдонимом Егор Шугой (Egor Schugoy), за которым укрылась Е.А. Шабельская.

[83] Имеется в виду натурализм — новое течение в немецкой литературе, возникшее в середине 1880-х гг.

[84] Под псевдонимом Apostata (Отступник – *лат.*) М. Гарден публиковал в конце 1880-х — начале 1890-х гг. публицистические статьи в журнале «Die Gegenwart».

[85] Имеется в виду роман «Кулисы» (СПб., 1886).

[86] Имеется в виду кн.: *Минский Н.* Стихотворения. СПб., 1887 (2-е изд. – 1888).

[87] См.: *Скабичевский А.М.* История новейшей русской литературы (1848–1890). СПб., 1891.

[88] Произведения под таким названием у Златовратского нет. Возможно, речь идет о повести «Мечтатели» (Русское богатство. 1893. № 4).

[89] Речь, видимо, шла о журнале «Северный вестник», официальным редактором которого в 1891–1895 гг. значился Альбов, тогда как идейную позицию журнала (полемика с Н.К. Михайловским, выступления против позитивизма, переоценка русской общественной мысли и публицистики XIX в., пропаганда новейших течений в области философии, литературы и искусства и др.) определял А.Л. Волынский.

[90] «Дурной тон» (*франц.*).

[91] Имеется в виду М.Г. Гейнрих.

[92] Об этих литературных работах Чехова сведений не имеется.

[93] См.: *Мережковский Д.* О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. СПб., 1893.

[94] «Нищий сидел у дороги и просил милостыню» (*нем.*). Фраза воспроизведена Фидлером так, как ее произнес Чехов, т.е. с характерными фонетическими ошибками.

[95] Имеется в виду драма «Строитель Сольнес» (1892).

[96] Имеется в виду: *Меньшиков М.* Без воли и совести: («Палата № 6». Рассказ А.П. Чехова) // Книжки Недели. 1893. Январь. С. 199—226.

[97] Первоначальное название романа «Дикое счастье» (Вестник Европы. 1884. № 1—4).

[98] Пьеса Л. Гангхофера и М. Бросинера (1890).

[99] Ныне — Суворовский проспект.

[100] Рассказ М.Н. Альбова (1885).

[101] Повесть Л. Захера-Мазоха «Die Hyäne der Pussta» была напечатана (под заголовком «Женщина-гиена») в девяти номерах газ. «Новости и Биржевая газета» (1893. 28, 29 сентября, 4, 5, 13, 15, 19, 26 и 27 октября; имя переводчика не указано).

[102] Общественный клуб, в котором устраивались литературные вечера, музыкальные концерты, приемы именитых гостей и т.д. Размещался во второй половине XIX в. в доме Елисеевых (Невский пр., 15).

[103] «Знать его означает любить, и я его люблю!» (*франц.*).

[104] Имеется в виду пребывание во Франции в октябре 1893 г. русской эскадры (это событие вылилось в демонстрацию франко-русского сближения).

[105] Имеется в виду натурализм как литературное движение.

[106] Статья С.А. Андреевского «Гюи де Мопассан» печаталась в газ. «Новое время» (1894. № 6531. 6 мая. С. 2; № 6538. 13 мая. С. 2; № 6545. 20 мая. С. 2). Вошла в его сб. «Литературные очерки» (СПб., 1913). Следовательно, Мережковский был знаком со статьей Андреевского до ее появления в печати.

[107] о себе, на свой счет (*лат.*).

[108] Речь идет о публикации рассказа Успенского «Про одну старуху» (1872; в немецком переводе — «Бедная старуха») в еженедельнике «Das Magazin für Literatur» (1892. № 37. 10. September. S. 585—588; пер. П. Стычинского). В предыдущем номере была напечатана статья П. Стычинского под названием (в пер. с нем.) «Ветеран шестидесятых годов — эпохи “Бури и натиска” в русской литературе» (1892. № 36. 3. September. S. 571—572).

[109] Здесь и далее — названия рассказов и очерков Г.И. Успенского, помещенных в третьем томе его «Сочинений» (СПб., 1891).

[110] Первая строчка стихотворения «Поэту» (1830).

[111] «Двух станов не боец, а только гость случайный» – начальная строка стихотворения А.К. Толстого (1858).

[112] Из стихотворения «Листопад» (1870), написанного Г. Лейтхольдом.

[113] С 1923 г. – мост Белинского.

[114] Название лекарства.

[115] Небо, девушка, идти, стоять (*нем.*). Фидлер воспроизводит произношение своего собеседника и приводит в скобках правильный вариант.

[116] Перевод из Гейне (стихотворение «Где?») опубликован в октябрьской книжке «Вестника Европы» (С. 740) вместе с двумя оригинальными стихотворениями В. Мартова («Пред грозой» и «Опять»).

[117] С 1923 г. — ул. Чайковского.

[118] Азартная игра в карты или в кости.

[119] С 1918 г. – ул. Марата.

[120] Первая публикация: Северный вестник. 1895. № 3. С. 136.

[121] Ныне – ул. Пушкинская.

[122] См. запись от 7 октября 1894 г.

[123] С мая по ноябрь 1894 г. в «Петербургской газете» печатался роман «Христовым именем (очерки из жизни петербургских нищих)», принадлежавший перу Я.А. Харламова (позднее этот роман был издан отдельной книгой). В связи с тем, что роман публиковался анонимно, Мамин-Сибиряк посчитал его автором Н.А. Лейкина (многолетнего сотрудника «Петербургской газеты»).

[124] не попрощавшись (*франц.*).

[125] Предположительно А.М. Федоров, постоянно проживавший в Одессе, но, возможно, приехавший в Петербург из Москвы. Ср. запись от 11 марта 1897 г.

[126] См.: *Сологуб Ф.* Тени. Рассказы и стихи. СПб., 1896.

[127] В новогоднем номере «Нового времени» Буренин опубликовал (под псевдонимом Граф Алексис Жасминов) написанную онегинской строфой «Новогоднюю фреску» под заголовком «Tout Pétersbourg» («Весь Петербург»). И.Н. Потапенко были посвящены следующие строки:

Здесь был Похоменко, строчивший
Две дюжины романов в год,
Свой гонорар давно вперед
Во всех журналах захвативший,
Как поступают все они —
Дельцы печатной пачкотни

(Новое время. 1895. № 6768. 1 января. С. 2).

[128] *Тешка* — брюшная часть рыбной туши.

[129] Портрет Чехова писал Н.И. Кравченко (ныне – в Музее Пушкинского Дома).

[130] С 1923 г. — ул. Чехова.

[131] Напиток, похожий на коньяк (*франц.*).

[132] Водка, настоянная на черносмородинном листе.

[133] См.: *Барвинок К.* Атосса. (Эскиз) // Живописное обозрение. 1894. Т. II. № 28. 10 июля. С. 24–26.

[134] мужского рода (*лат.*).

[135] См.: *Минский Н.* Портрет («Я долго знал ее, но разгадать не мог...») // Северный вестник. 1895. № 3. С. 176.

[136] В своем завещании, озаглавленном «Моя посмертная просьба», Лесков просил прощения у всех, кого «оскорбил, огорчил или кому был неприятен», прощал всех, кто его обидел по недостатку любви или убеждению», и завершал словами о боге, в которо-

го верил и которому служил «в духе и истине, поборая в себе страх перед людьми и укрепляя себя любовью по слову господа моего Иисуса Христа».

[137] Имеется в виду кн.: Путешествие на Восток его императорского высочества государя наследника цесаревича. 1890—1891 / Автор-издатель Э.Э. Ухтомский. Иллюстрировал Н.Н. Каразин. Т. 1—3. СПб.; Лейпциг, 1893—1897. (Начиная со 2-го тома издание называлось «Путешествие государя императора Николая II на Восток».) Печаталось в лейпцигском изд-ве Ф.А. Брокгауза.

[138] То есть свободолюбивые настроения (надежды на конституцию, реформы и т.п.).

[139] *Меррекюль* (Мерекюль) – дачный поселок в Эстляндской губернии на берегу Финского залива (ныне не существует: уничтожен в ходе боевых действий во время Второй мировой войны).

[140] обещание (от *франц.* promesse).

[141] Имеется в виду Русское литературное общество, помещение которого находилось на Гороховой улице.

[142] Фидлер имеет в виду Постоянную комиссию для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам при Императорской Академии наук (*см.*). Выражение «рептилии» (в политическом смысле) восходит к Бисмарку; позднее «рептилиями» стали называть журналистов, поддерживающих политику правительства, а фонды, оказывающие им финансовую помощь, — «рептильными».

[143] См.: *Случевский К.* Стихотворения. Кн. 1–4. СПб., 1880–1890.

[144] Имеется в виду русский броненосец «Русалка», затонувший во время бури в Финском заливе 7 сентября 1893 г.; при этом погибло более 150 человек.

[145] Французская игрушка, распространенная в 1880-е гг. Ср. в рассказе Баранцевича «Cri-cri»: «Несколько лет тому назад появилась в Париже и облетела все европейские города преглупейшая игрушка, называвшаяся “cri-cri”». Далее сообщается, что эта игрушка «издавала звук, похожий на скрип коростеля» (*Баранцевич К.С.* Соч. СПб., [1908.] Т. 1. С. 241).

[146] См. вступит. статью, с. 7.

[147] Слова в угловых скобках напечатаны на визитке.

[148] Имеется в виду М.Я. Алексеева.

[149] Критическая статья Д.С. Мережковского о Надсоне неизвестна (в юности Мережковский дружил с Надсоном и пользовался его покровительством).

[150] Немецкое выражение, означающее «занять деньги», «взять в долг».

[151] страшно сказать (*лат.*).

[152] Из драмы Шиллера «Вильгельм Телль» (4-й акт, 3-е действие).

[153] Имеется в виду «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона (1890–1907). Статья о П. Линденберге помещена во втором дополнительном томе (СПб., 1906).

[154] Имеется в виду роман «Николай Негорев» (впервые: Отечественные записки. 1871. № 1—4).

[155] Имеется в виду младший сын К.С. Баранцевича, болевший в то время дифтеритом.

[156] *Бронзовый* (или дутый) *вексель* – вексель, выданный заведомо неплатежеспособному (либо вымышленному) лицу. Выдача такого векселя рассматривалась как уголовное преступление.

[157] См.: *Страхов Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. 1—3. СПб., 1882—1896.

[158] Фраза из драмы Шиллера «Вильгельм Телль» (4-й акт, 3-е действие).

[159] Имеется в виду известный труд А.Н. Пыпина «Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х гг.» (1875; 4-е изд. — 1909).

[160] Из драмы Шиллера «Пикколомини» (5-й акт, 1-е действие).

[161] См.: *Мясоедов А.Д.* Иван Стамезкин. Вырвавшееся признание. Извозчик: [Повести]. СПб., 1896.

[162] Имеется в виду взрыв, прогремевший 8 ноября 1892 г. в полицейском комиссариате на Rue des bons enfants (Улица добрых детей — по названию Колледжа добрых детей на той же улице, основанного в 1208 г.). Используя бомбу замедленного действия, анархист Эмиль Анри пытался произвести взрыв в помещении горной компании Кармо на улице Опера́; однако бомба была обнаружена и доставлена на Улицу добрых детей, где и взорвалась (при взрыве погибли пятеро полицейских).

[163] «Камо грядеши?» (*лат.*).

[164] Ныне — Нарва-Йыэссу (с 1945 по 1991 гг. – Усть-Нарва).

[165] Нашумевший процесс (1892—1896) против удмуртских крестьян, жителей села Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии, обвиненных в ритуальном принесении человеческой жертвы языческим божествам. В защиту крестьян выступал В.Г. Короленко; все обвиняемые были оправданы.

[166] Табльдот *(франц.)* — общий стол в пансионе, гостинице и т.п.

[167] Скандальная история, вызванная статьей В.П. Мещерского «Его высокопревосходительство» (Гражданин. 1896. № 13. 15 февраля. С. 1—2), в которой братья А.А. и П.А. Половцевы усмотрели пасквиль на их отца, А.А. Половцева. 19 февраля 1896 г. братья явились в квартиру Мещерского (старший — с палкой, младший — с нагайкой). Считая себя оскорбленным, Мещерский подал жалобу мировому судье. Суд признал братьев виновными по двум статьям Устава о наказаниях (насилие и самоуправство; нанесение обиды действием) и приговорил каждого из них к аресту на две недели.

[168] Имеется в виду инцидент в редакции «Северного вестника»: в начале февраля 1896 г. М.Н. Шелгунов (сын Н.В. Шелгунова), явившись в редакцию, вызвал Л.Я. Гуревич для разговора и плюнул в нее. Поводом для инцидента послужили воспоминания Н.А. Тучковой-Огаревой о Герцене, напечатанные во второй книжке «Северного вестника» за 1896 г.; в них утверждалось, что М.Н. Шелгунов — внебрачный сын А.А. Серно-Соловьевича.

[169] Имеется в виду журнал «Русское богатство».

[170] Это не роман, а сборник рассказов и очерков.

[171] Ныне — Социалистическая ул.

[172] Курортное место в Тюрингии (Германия), недалеко от г. Гота.

[173] «У меня нет денег» (*искаж. нем.*).

[174] Имеется в виду стихотворение А. фон Коцебу «Ausbruch der Verzweiflung».

[175] В.П. Буренин высмеял Мережковского (в частности — строки, указанные Фидлером) в критическом очерке «Образчики поэзии, беллетристики и критики “новой умственной эпохи”» (Новое время. 1896. № 7380. 13 сентября. С. 2). Цитируются строки

из стихотворения Мережковского «Перед грозой», опубликованного в журнале «Северный вестник» (1896. № 9. С. 36).

[176] Чистокровная, подлинная (*франц.*).

[177] Речь идет о детских рассказах «Арабчик», «Баран-барабан» и «Михрютка»; вместе они публиковались в сборнике Вл. Тихонова «Боевые товарищи человека» (СПб., 1908).

[178] То есть П.И. Вейнберга.

[179] Имеется в виду день рождения Фидлера (4 ноября).

[180] В зале Благородного собрания Достоевский выступал 14 декабря 1879 г. (литературно-музыкальный вечер в пользу слущательниц Высших бестужевских курсов); на этом вечере Достоевский читал отрывок из «Униженных и оскорбленных». Рассказ «Мальчик у Христа на елке» Достоевский читал 16 декабря на литературном утре в пользу Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Ларинской гимназии; наряду с Достоевским, читали П.И. Вейнберг, Д.В. Григорович, А.Н. Плещеев и др. (см.: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского 1821—1881. СПб., 1995. Т. 3. 1875—1881. С. 357—358).

[181] См.: *Щеглов И.* Около истины: Повесть // Русский вестник. 1892. № 2. С. 80–141.

[182] П.П. Гнедич был не редактором, а автором «Истории искусств» (впервые – СПб., 1885 г.; неоднократно переиздавалась).

[183] Имеется в виду история отношений З.Н. Гиппиус и А.Л. Волынского (Флексера), начавшаяся в 1894 г. и завершившаяся разрывом весной 1897 г.

[184] Замысел не осуществился.

[185] Гнусность, низость, подлость (*нем.*).

[186] Из пушкинского стихотворения «Ответ анониму» (1820).

[187] Отсюда и гнев (*лат.*).

[188] Речь идет о Пушкинской премии Академии наук (присуждались премии по 500 и 250 руб.). Некоторым авторам, выдвинутым на премию, но не получившим ее, давали почетные отзывы.

[189] Этот «романтический набросок» был опубликован в «Северном вестнике» (1897. № 10. С. 1—6).

[190] Имение Шевино находилось в Лужском уезде Петербургской губ., близ станции Преображенская Балтийской ж.д. (ныне – г. Толмачево Лужского р-на Ленинградской области). Мережковские провели в Шевино лето 1897 г.

[191] Традиционное немецкое приветствие, которое поют в день рождения, чествуя именинника.

[192] В то время широко дебатировался вопрос о присоединении России к международной литературной конвенции, регулирующей вопросы международного авторского права: перевод произведений, распространение их за границей и др.

[193] Вместо слов «со слезами на глазах говорил о недавно умерщем Ольхине» первоначально было написано: «где Мамин внезапно разразился истерическим плачем».

[194] См.: *Линев Д.А.* Исповедь преступника. СПб., 1877.

[195] Стихотворение И.С. Тургенева (1876).

[196] См.: *Грибовский В.М.* (*Гридень*). Студенческие рассказы. СПб., 1898.

[197] Имеется в виду Н.П. Боголепов.

[198] Некрупная игра (*франц.*).

[199] С 1889 г. права на публикацию всех произведений В.М. Гаршина перешли к Литературному фонду, который в последующие годы издавал его сочинения.

[200] 27 марта на общем собрании Союза взаимопомощи русских писателей обсуждался доклад Юридической комиссии Союза (председатель – В.Г. Короленко) «О нуждах русской печати»; текст доклада решено было направить министру внутренних дел.

[201] В своем дневнике Фидлер регулярно (особенно в 1890-е гг.) копировал полученные им письма немецких писателей (см. вступит. статью).

[202] Согласно особому статусу, которым пользовалась Финляндия, входившая в состав Российской империи, на ее территории был принят западный календарный стиль; в связи с этим в своих записях, сделанных в Финляндии, Фидлер указывает (здесь и далее) как старый (русский), так и новый стиль.

[203] Видимо, речь идет о гонококках.

[204] Один, в одиночку (*итал.*).

[205] См.: *Н. М*[*ихайловский*]. Записки профана. Десница и шуйца Л. Толстого // Отечественные записки. 1875. № 5. С. 106—149; № 6. С. 300—334; № 7. С. 164—203.

[206] Это письмо Л.Н. Толстого к Некрасову неизвестно (переписка сохранилась частично).

[207] Имеется в виду А.А. Давыдова.

[208] распорядитель манежа (*франц.*).

[209] Имеется в виду: *Селиванов Н.А.* Драматургия г. Потапенко // Новости и Биржевая газета. 1898. № 298. 30 октября. С. 30. «Пьеса г. Потапенки, — утверждал автор этой рецензии, — несомненная и очевидная бездарная пошлость и пошлость самая противная, потому что она претендует на “серьезное отношение к себе”».

[210] Я прошу (*нем.*).

[211] См. запись от 22 октября 1898 г.

[212] Имеется в виду народная кукольная комедия о докторе Фаусте, известная в репертуаре немецкого кукольного театра с середины XVIII в.

[213] Я любил тебя! (*искаж. нем.*).

[214] Известное стихотворение Пушкина (1820).

[215] Что позволено Юпитеру, не позволено быку (*лат.*).

[216] Что позволено Юпитеру, не позволено Иегове (*лат.*).

[217] Имеется в виду одноименный роман Флобера (1862), героиня которого, дочь карфагенского военачальника, олицетворяет собой экзальтированную чувственность, окрашенную в религиозно-мистические тона.

[218] См.: *Независимый* [*И.И. Ясинский*]. Этика обыденной жизни. СПб., 1898.

[219] Возможно, речь идет об эпиграмме В.П. Буренина на Амфитеатрова:

Своей фамилии взамен
Ты кличку взял Old Gentleman;
Верней бы искренне и прямо
Назваться русской кличкой Хама.

(см.: Дневник А.С. Суворина / Текстологич. расшифровка Н.А. Роскиной. Подгот. текста Д. Рейфилда и О.Е. Макаровой. СПб., 1999. С. 336).

220 *Фингал* — псевдоним Н.И. Потапенко; *Мур* — псевдоним В.П. Лебедева.

221 Внезапно, неожиданно, без подготовки (*лат.*).

222 См.: Пушкинский сборник. (В память 100-летия дня рождения поэта). СПб., 1899. С. 34–43. Стихотворение помещено под заглавием «Искушение» («Восстав от вечери последней...»).

223 Текст этого стихотворения, представляющего собой эпиграмму на князя В.П. Мещерского, приводится в записи Фидлера от 28 апреля 1897 г.:

Позор и стыд для всей Европы!
В деяньях пакостных твоих
Как педераст е..шь ты ж..ы,
Как «гражданин» ты лижешь их.

224 Вот как делается критика! (*франц.*)

225 «Черт возьми!.. Бутылку пива!.. Колоссально!.. Не будем об этом!.. Какая, голубка, сапожкам цена? Талер, два гроша да к ним поцелуй!» (*нем.*).

226 Ср.: Аристотель писал, что «Демокрит, хотя при объяснении возникновения мира, по-видимому, и прибегал к помощи случая, но для более частных (явлений) утверждал, что случай не является причиной ни одного из них и сводил (эти явления) к другим причинам. Так, например, причиной <...> того, что у лысого разбился череп, [он считал] то, что орел сбросил на него сверху черепаху, желая разбить ее щит» (*Аристотель*. Физика II, 4).

227 Слово «регулы» происходит от *лат.* regula – норма, правило.

228 Роман впоследствии был назван «Антихрист. Петр и Алексей».

229 Игра слов: «холуйская поэзия» – «холическая поэзия» (*франц.*).

230 Черновой набросок стихотворения, которое в новейших изданиях Пушкина публикуется полностью в тексте незавершенной прозы «Египетские ночи».

231 Имеется в виду газета «Приднепровский край».

232 Буквально: «Значит, в Вас нет нужды» (*нем.*). В оригинале игра слов: Noten — benötigen.

233 все кончено (*франц.*)

234 «Жизнь богемы» (*франц.*). Имеются в виду «Сцены из жизни богемы» (1851) А. Мюрже.

235 Я люблю Вас (*франц.*).

236 «Только алкоголь творит дух» (*франц.*). Игра на многозначности слова «esprit».

237 Против строк «Надеюсь “развернется море” / Вновь “бесконечной белизной”» — помета Фидлера: «Из стихотворения Вейнберга “Бесконечной пеленою”».

238 «Аврора» — дача в селе Елизаветино Гатчинского у. (Балтийской ж. д.), где жили Мережковские летом 1898 г.

239 Устаревшее и шутливое выражение, означавшее «идти нетвердым шагом, шатаясь».

240 От *итал.* admirare — восхищаться.

241 мужем королевы (*франц.*).

[242] «Раб» (*нем.*).

[243] делец (*нем.* Macher).

[244] Имеется в виду драма Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» (1783).

[245] Приводим это место в переводе Б. Пастернака:

Мефистофель (танцуя со старухой):

Я видел любопытный сон.
Ствол дерева был расщеплен.
Такою складкой шла кора,
Что мне понравилась дыра.

Старуха:

Любезник с конскою ногой,
Вы — волокита продувной.
Готовьте подходящий кол,
Чтоб залечить дуплистый ствол.

[246] Имеется в виду один из вечеров русской музыки в концертном зале при ж.-д. вокзале в Павловске (Павловский воксал), еженедельно проводившихся в 1892–1903 гг. (здание театра сгорело в 1930-х гг.).

[247] Имеется в виду книга А.Л. Волынского «Русские критики» (СПб., 1896) – собрание его статей 1892–1896 гг., посвященных истории русской критики.

[248] См.: Сборник журнала «Русское богатство» / Под ред. Н.К. Михайловского и В.Г. Короленко. СПб., 1899 (переиздан в марте 1900 г.). В сб. вошли произведения Н.К. Михайловского, В.Г. Короленко, Д.Н. Мамина-Сибиряка, Л. Мельщина (Якубовича), статьи А.Г. Горнфельда, В.А. Мякотина и др.

[249] В августе 1899 г. вышел № 5 «Русского богатства», задержанный цензурой на три месяца.

[250] См.: *Wengerow Z.* Das jüngste Russland // Das Magazin für Literatur. 1899. № 30. 29. Juli. S. 697–702.

[251] См.: *Коринфский А.* Бывальщины. Сказания, картины и думы. СПб., 1896. 2-е изд. – 1899; 3-е изд. – 1900.

[252] Цикл рассказов и повестей «Медовые реки» публиковался в конце 1899 г. и в течение 1900 г. в журн. «Русское богатство».

[253] То есть срочное сообщение письмом или телеграфом.

[254] См.: *Альбов М.Н.* Сирота: Эпизоды из жизни одной человеческой группы. СПб., 1903.

[255] Медицинское средство для лечения желудка и печени.

[256] Острое словцо, острота, каламбур (*франц.*).

[257] Государство — это я (*франц.*). Изречение, приписывемое Людовигу XIV.

[258] Игра слов (*франц.*).

[259] Сладкая водочная настойка из свежих фруктов.

[260] Обыгрывается немецкое слово «Muttersprache», означающее «родной язык» (букв.: «материнский язык»).

[261] См.: Божественная комедия. Поэма Данте Алигьери в новом стихотворном переводе О.Н. Чюминой. С 135 большими рисунками Г. Доре и многочисленными политипажами в тексте: В 6 вып. СПб., 1901—1902. (Общеполезная библиотека «Родины»).

[262] Отечественные записки (*франц.*). А.Н. Плещеев был секретарем редакции «Отечественных записок» (1872–1884).

[263] В октябре 1899 г. началась Англо-бурская война, завершившаяся в мае 1902 г. подписанием договора, по которому южноафриканские бурские республики (Трансвааль и Оранжевая Республика) были превращены в английские колонии.

[264] с любовью (*итал.*).

[265] Закон или обычай среди народов, исповедующих ислам.

[266] То есть член Сморгонской академии (по названию города Сморгонь) — тайной организации, существовавшей в СПб. в 1867—1869 гг. и насчитывавшей в своих рядах около 50 человек (среди них — П.Н. Ткачев, В.Н. Черкезов и др.). Ни один из замыслов «Академии» (взрыв царского поезда, побег Н.Г. Чернышевского с каторги и т.д.) не был осуществлен.

[267] От *нем.* dumm (глупый).

[268] Бессовестный аббат (*искаж. франц.*). Обыгрывается название известной пьесы В. Сарду и Э. Моро «Мадам Сан-Жен» (1893; рус. перевод — 1894).

[269] Предшествующий, предыдущий (*франц.*).

[270] Мое ничтожество, моя скромная персона (*лат.*).

[271] Фидлер (Fiedler) по-немецки означает «скрипач».

[272] *«Прекрасная Елена»* — оперетта А. Мельяка и Л. Галеви, муз. Ж. Оффенбаха (1864); *«Перикола»* — опера-буфф, слова А. Мельяка и Л. Галеви, муз. Ж. Оффенбаха (1868); *«Орфей в аду»* — опера-фарс, текст Г. Кремье, муз. Ж. Оффенбаха (1858).

[273] «Я не видел этой машины, но жду другую, которая увезет меня еще выше» (*франц.*).

[274] См.: Жизнь поэта-крестьянина С.Д. Дрожжина (1848–1900 гг.), описанная им самим. СПб., 1900.

[275] Имеется в виду кушанье из рыбы, облитое соусом.

[276] любовных прыщей (*франц.*).

[277] Ныне не существует: вошла в застройку 1960-х гг.

[278] Холм, на котором стоит дом (ныне — дом-музей) Ницше.

[279] «Новый русский Парнас» (*нем.*).

[280] То есть Т.А. Майзель и В.М. Дорошевич.

[281] В связи с закрытием газеты «Северный курьер» и последовавшей затем попытки Барятинского покончить жизнь самоубийством (застрелиться).

[282] Имеется в виду соответствующая страница в рукописи дневника Фидлера.

[283] В марте 1901 г. шумно отмечалось 25-летие «Нового времени» как «суворинской» газеты.

[284] Бальмонт Н.К.

[285] Имеется в виду постоянная выставка Общества поощрения искусств, где в сентябре 1883 г. выдавались разрешения на вход в церковь Волкова кладбища и на кладбище (в связи с похоронами И.С. Тургенева).

[286] Опущены стихотворения «Сквозь строй» и «В застенке», включенные позднее в сб. Бальмонта «Только Любовь» (М., 1903; фактически — 1902).

[287] «Стихотворения Майкова» (*нем.*).

[288] В 1901–1906 гг. Барятинский был номинальным антрепренером в Новом театре Яворской.

[289] «есть, пить, появляться на людях», т.е. самое необходимое (*франц.*).

[290] По пьесе («романтической трагедии») Шиллера «Орлеанская дева» (1801).

[291] Пьеса В.С. Лихачева (1902).

[292] 25 февраля 1902 года Горький был избран почетным академиком по разряду изящной словесности, что вызвало возмущение Николая II. В начале марта Академия наук признала выборы недействительными. В знак протеста Короленко и Чехов отказались от звания почетного академика.

[293] внутреннее противоречие (*лат.*).

[294] С 7 по 10 мая 1902 г. в России находился с официальным визитом (во главе французской эскадры, прибывшей в Кронштадт) президент Франции Эмиль Франсуа Лубе; в царских резиденциях (Петергоф, Царское Село, Гатчина) ему был устроен пышный прием. 9 мая он посетил Петербург, где его приветствовали толпы народа. Официальные круги использовали визит Лубе для пропаганды франко-русского союза, заключенного в 1891 г.

[295] «Такой почтенный человек и — без украшения?» (*франц.*).

[296] Из «маленькой трагедии» Пушкина «Скупой рыцарь» (1830).

[297] «Милостивый государь, господин Виктор Гюго проявил интерес к Вашему письму. Он поручил мне отправить Вам его портрет, выполненный в технике офорта, — один из наиболее похожих среди всех, какие существуют.

Примите мои наилучшие уверения. Ришар Леклид» (*франц.*).

[298] Речь идет о романе «Игрок», который Достоевский успел представить Стелловскому 1 ноября 1866 г., т.е. в последний день, установленный условиями контракта.

[299] Так в царской России иронически называли политическую полицию. Германдад (Святая Германдад) — союз кастильских и арагонских городов против дворянства в XIII—XV вв.; позднее — отряды испанской жандармерии, охранявшие безопасность дорог.

[300] Неподалеку от Саблино находилось, в частности, имение Пустынка (Шлиссельбургский у. С.-Петербургской губ.), принадлежавшее А.К. Толстому и перешедшее по наследству к семье Хитрово.

[301] Баранцевич редактировал в 1902—1903 гг. журнал «Живописное обозрение».

[302] «Подражание Данту» – произвольное название, под которым в посмертном издании Пушкина (Т. IX. СПб., 1841. С. 175–176) помещены два фрагмента 1830 и 1832 гг. («В начале жизни школу помню я...» и «И дале мы пошли, и страх объял меня...»

[303] Имеется в виду сицилийский принц Танкред (? – 1112), участник первого крестового похода.

[304] Имеется в виду туалет, уборная.

[305] Позор тому, кто плохо об этом подумает! (*франц.*).

[306] Татарская деревня на окраине Ялты (ныне – в черте города).

307 Правильно: «Ходит вечер избочась...»; впервые напечатано в январской книжке «Современника» за 1860 г. Это стихотворение Случевского, наряду с другими его стихами, опубликованными в «Современнике», вызвало ряд издевательских пародий.

308 От немецкого «Wunsch» — желание.

309 «поэт-лауреат» (*лат.*).

310 Имеется в виду судебная реформа 1864 г.

311 В 1874–1883 гг. Лесков состоял членом особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг, издаваемых для народного чтения. Уволен после публикации статьи «Поповская чехарда и приходская прихоть. Церковно-бытовые нравы и картины. (Рассказано по официальным источникам)» (Исторический вестник. 1883. № 2. С. 263–293).

312 «Слава всехристианнейшему королю русской литературы» (*нем.*).

313 наоборот (*лат.*).

314 См.: *Буренин В.* Критические очерки. В области театра // Новое время. 1903. № 9963. 28 ноября. С. 2; № 9970. 5 декабря. С. 2.

315 Пьеса Г. Гауптмана (1902).

316 См.: Новый путь. 1903. № 12. С. 204–209 (рец. А. Смирнова на поэму И. Гриневской «Баб»).

317 Волей-неволей, поневоле (*лат.*).

318 До бесконечности (*лат.*).

319 В 1853 г. Н.Ф. Павлов, муж Каролины Павловой, был арестован и затем сослан в Пермь под надзор полиции – за картежную игру и хранение запрещенных книг и бумаг (вернулся в Москву в 1860 г.). Расследование было возбуждено после обращения его тестя к московскому генерал-губернатору (роль Каролины в этом деле остается не конца проясненной).

320 Балет Ц. Пуни, впервые поставленный П.А. Гердтом в СПб. театральном училище (1899).

321 Из Фета (*нем.*).

322 Персонаж пьесы Чехова «Вишневый сад».

323 Имеется в виду Симеоновский мост через Фонтанку (ныне — мост Белинского). Ср. примеч. 113.

324 «Если вы ничего не желаете мне сказать» (*франц.*).

325 Имеется в виду последнее из тургеневских стихотворений в прозе, озаглавленное «Русский язык» (1882).

326 Ныне — Майори (Латвия).

327 Ныне – Дубулты (Латвия).

328 Санаторий, лечебница (*нем.*).

329 танец живота (*франц.*).

330 «Сирень» — книга очерков и рассказов С.Н. Филиппова (М., 1893).

331 Вероятно, имеется в виду Пелагея Евдокимовна, сожительница Пальмина (которую он шутливо именовал Феклой Ивановной).

332 См.: *Ежов Н.* Антон Чехов. (Мое с ним знакомство, встречи, воспоминания) // Новое время. 1904. № 10185. 10 июля. С. 4.

333 Вероятно, имеется в виду журнал «Свет и тени», в котором Чехов сотрудничал в 1882—1884 гг.

334 См.: Чехов-гимназист // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1904. № 384. 29 июля. С. 6 (перепечатка из газ. «Донская речь»).

335 «Я умираю» (*нем.*).

336 Видимо, А.Н. Колодкина.

337 В настоящее время — Вильнюс.

338 Под псевдонимом Никита Бобринский Вилькина опубликовала в «Новом пути» два рассказа: «Боря умер» (1903. № 5. С. 67–83) и «Пафос жизни» (1904. № 3. С. 97–120).

339 Роман «От поцелуя к поцелую» (СПб., 1872; 2-е изд. – СПб., 1902) К.К. Случевский издал под псевдонимом Серафим Неженатый.

340 Ныне — пер. Марии Ульяновой.

341 Для себя, про себя, себе на пользу (*лат.*).

342 Имеется в виду В.В. Муйжель.

343 Имеется в виду журнал «Живописное обозрение».

344 Лекарство от кашля.

345 8 января 1905 г. группа писателей и общест. деятелей (Н.Ф. Анненский, М. Горький, А.В. Пешехонов, В.И. Семевский и др.) пыталась добиться приема у министра внутренних дел П.Д. Святополка-Мирского и просить его не допустить кровопролития на улицах столицы. Встреча не состоялась (писателей принял товарищ министра К.Н. Рыдзевский, затем – С.Ю. Витте). Через несколько дней начались аресты. Горький был арестован 11 января 1905 г. в Риге и препровожден в Петропавловскую крепость; в тот же день в Петербурге были арестованы и другие участники депутации. Я.Я. Гуревич подвергся аресту в связи с обыском в редакции газеты «Сын отечества», куда он представил материал о событиях 9 января.

346 Мост через р. Мойку на Невском проспекте; современное название — Зеленый мост (с 1918 по 1998 г. — Народный мост).

347 Имеется в виду кн.: *Краснов П.* Из западных лириков: Переводы. СПб., 1901. На с. 163—164 помещены стихотворения «На мотив философии» («Когда моя душа, до моего рожденья...») и «Но встречусь я с тобой, о чем-то благодатном...» под общим заголовком «Из Платона».

348 Имеется в виду известное стихотворение Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam...» (1822). В переводе Лермонтова: «На севере диком стоит одиноко / На голой вершине сосна...»

349 Искусственно созданная деревня на берегу р. Славянки в Павловском парке (ныне – в составе поселка Тярлево).

350 Ныне – Дзинтари (Латвия).

351 Речь идет о З.В. Сильвестрове.

352 «Идет Вентцель» (*нем.*).

353 Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя! (*лат.*).

354 И вот является немец с русской плеткой (*нем.*). Написав эту фразу по-немецки, Фидлер подчеркнул ошибки в окончаниях.

[355] В оригинале ошибочно: 19/31 мая.

[356] Повесть появилась в шестом сборнике товарищества «Знание», заполнив его почти целиком.

[357] Город в северо-западной части Финляндии, на границе со Швецией.

[358] Имеется в виду Женя Кякшт. В записи от 13/26 июня 1905 г. Фидлер называет его «младшим сыном» М.Ф. Андреевой.

[359] С 1948 г. – поселок (районный центр) Рощино Ленинградской обл.

[360] Имеется в виду повесть Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского» (1904).

[361] 6 июня 1905 г. Николай II принял депутацию от Съезда земских и городских деятелей, проходившего в Москве. Члены депутации обратились к царю с заявлением о необходимости конституции.

[362] См.: У Максима Горького // Биржевые ведомости. 1905. Утр. вып. № 8871. 12 июня. С. 3. Заметка представляет собой пересказ статьи французского писателя Клода Анэ, который посетил Горького и М.Ф. Андрееву в Ялте в апреле—мае 1905 г.

[363] Фидлер имеет в виду воспоминания Куприна о Чехове, напечатанные в третьем сборнике товарищества «Знание» (СПб., 1904: фактически – январь 1905 г.); книга посвящена памяти Чехова.

[364] Имеются в виду законная жена Н. Гарина-Михайловского и его гражданская жена (В.А. Садовская).

[365] Слова Геслера из драмы Шиллера «Вильгельм Телль» (д. III, сц. 3).

[366] П.Е. Кулаков.

[367] С 1929 г. — ул. Рубинштейна.

[368] С 1925 г. – Осло.

[369] «В память о столетнем юбилее» (*нем.*).

[370] «Столетие» (*нем.*); от *лат.* centenarius.

[371] Кишки, внутренности (*франц.*). От *лат.* intestinum.

[372] Память, воспоминание (*нем.*).

[373] Внутренность (*нем.*).

[374] С 1923 г. — ул. Блохина.

[375] Имеется в виду газета «Новое время».

[376] Возрадуемся (*лат.*).

[377] По-немецки: Kühlstaedt.

[378] Комитет Литературного фонда (12 человек) избирался на общем собрании и ведал в течение года всеми делами Фонда.

[379] «Ich grolle nicht...» («Я не ропщу...») — первая строчка известного стихотворения Гейне (цикл «Лирическое интермеццо»; 1821).

[380] Имеется в виду Владимирский пр.

[381] Хорошему поэту Фидлеру старый театрал Виктор Крылов. 18 окт[ября] 1898 (*нем.*).

[382] Две нации объединяются, / близкие твоей душе. / Русские произведения благодаря твоим трудам / становятся немецким шедевром. / Получая поэтическое наслаждение, / ты делаешь свою работу шутя. / И в немецкой стихии ты остаешься русским, / а в русском бьется немецкое сердце. 17 мая 1899 (*нем.*).

383 Сельтерская вода *(нем.)*.

384 Вон! Выйдите вон! *(нем.)*.

385 Войдите! *(нем.)*.

386 С 1954 г. — г. Хмельницкий, центр Хмельницкой области на Украине.

387 Правильно, по-видимому, Гржегоржевский.

388 Местечко в Староконстантиновском у. Волынской губ. (ныне – центр Волочиского р-на Хмельницкой обл. на Украине).

389 В марте—апреле (по старому стилю) 1906 г. Фидлер ездил в Германию.

390 Деревня Старожиловка или Изора (в свое время излюбленное дачное место под Петербургом) находилась приблизительно в получасе ходьбы от ж.-д. станции Парголово. Ныне не существует – вошла целиком в застройку Парголово-2.

391 В течение 28 лет В.В. Стасов проводил в Старожиловке каждое лето. Он жил в доме крестьянки Елены Безруковой; в 1908 г. на этом доме стараниями Фидлера была установлена мемориальная доска.

392 Неточная цитата из пушкинского стихотворения «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...» (1830). У Пушкина: «Она торопит миг последних содроганий!»

393 С 1872 г. Стасов заведовал художественным отделом Имп. Публичной библиотеки.

394 См.: *Будищев А.Н.* Степь грезит. СПб., 1912.

395 См.: *Венгерова П.Ю.* Из далекого прошлого. (Отрывки из семейной жизни») // Книжки Восхода. 1902. Кн. 10. С. 28–41; Кн.11. С. 70–82. Отдельное изд.: *Венгерова П.* Воспоминания бабушки. Иерусалим; М., 2003 (другой перевод – СПб., 2005).

396 Видимо, Н.Ф. Пивоварова.

397 О.Н. Чюмина получила в 1901 г. половинную Пушкинскую премию Академии наук за перевод «Потерянного и возвращенного рая» Мильтона (СПб., 1899).

398 То есть с Максимом и Зиновием Пешковыми.

399 Правильно: Гогунцова.

400 Имеется в виду Е.С. Кругликова.

401 Дачное место под Петербургом.

402 Ср. в дневнике Б.А. Лазаревского (запись от 16/29 августа 1906 г.): «Репину позировала какая-то барыня Шилкина» (ИРЛИ. Ф. 145. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 116).

403 Имеется в виду кн.: *Бирюков П.И.* Биография Л.Н. Толстого. СПб., 1906. Т. 1. (Второй том был издан в 1908 г.).

404 С 1926 г. – Днепропетровск.

405 С 1924 г. – Московский вокзал.

406 «Дайте мне!» (*нем.*).

407 «Официант — пива!» (*искаж. нем.*).

408 «Гарсон — сюда, коньяку!» (*искаж. франц.*).

409 В 1888 г. при Академии наук была учреждена премия Андрея Киреева, завещавшего премировать лучшие пьесы на проценты с оставленного им капитала. Состоялось только одно присуждение – в 1915 г.; были награждены (по одной тысяче рублей) П.Д. Боборыкин, П.М. Невежин и И.В. Шпажинский за драматургическую деятельность в целом.

410 Царевококшайск – центр Царевококшайского у. Казанской губ. (до 1919 г.). С 1927 г. – г. Йошкар-Ола, столица Марийской автономной республики (ныне – Марий Эл). Название этого города воспринималось в дореволюционной России как символ захолустья, глухой провинции.

411 См. примеч. 5.

412 Впервые опубликовано: Перевал. 1907. № 8/9. С. 51–58.

413 Вероятно, имеются в виду Драматические курсы М.А. Риглер-Воронковой, художественным руководителем которых Ю.М. Юрьев состоял в середине 1900-х гг.

414 Позор тому! (*франц.*). Начало известного французского выражения «Позор тому, кто плохо об этом подумает!» (см. примеч. 305).

415 Речь идет о петербургской «Новой газете», издателем которой значился в то время А.И. Свирский. Фидлер, видимо, сомневался в том, что Свирский является реальным ее издателем, — этим и вызван поставленный им вопросительный знак.

416 Цитата из стихотворения Гейне «Schwarze Röcke, seidne Strümpfe...» (в переводе П. Вейнберга: «Черные фраки, чулочки...»), образующего пролог к «Путешествию по Гарцу» (1825).

417 Послеобеденное чаепитие (около пяти часов вечера) (*англ.*).

418 Не попрощавшись (*франц.*).

419 Брак втроем (*франц.*).

420 Имеется в виду спектакль литераторов, в котором принимал участие и Фидлер.

421 Пограничная станция в Восточной Пруссии. Ныне — пос. Чернышевское Калининградской обл.

422 Указом духовного суда при Санкт-Петербургской консистории от 9 января 1907 г. священник Григорий Петров был отправлен в трехмесячную ссылку в Череменецкий монастырь (ср. запись от 19 февраля 1907 г.).

423 Имеется в виду о. Иоанн Кронштадтский.

424 В квартире Куприных на Разъезжей размещались редакция и контора журнала «Современный мир».

425 Средневековое (возможно, более позднего времени) приспособление для пытки или умерщвления человека, представляющее собой женскую фигуру с укрепленными внутри гвоздями. Наиболее известное устройство такого рода демонстрировалась до 1945 г. в Нюрнберге.

426 Имеется в виду памятник Екатерине II в Петербурге, открытый в 1873 г. (скульпторы — М.А. Чижов, А.М. Опекушин).

427 Легенда о том, что Достоевский изнасиловал якобы малолетнюю девочку, а затем каялся в своем поступке, бытовала в свое время в литературных кругах и основывалась, видимо, на рассказах или «видениях» самого писателя, его «исповеди» И.С. Тургеневу (возможно, мнимой) и подкреплялась, кроме того, сюжетом известной главы из «Бесов» («У Тихона»). Немалую роль в распространении этой легенды сыграл И.И. Ясинский.

428 В марте 1907 г. группа участников Товарищеских обедов (кроме названных — Е.Н. Чириков и А.С. Серафимович) вышли из объединения в знак протеста против того, что к участию в Обедах не допускались женщины-писательницы.

429 Игрушка и соответствующая игра (*франц.* bilboquet).

430 См.: *Чуковский К.* Подпольный байронизм // Речь. 1907. № 131. 6 июня. С. 2.

431 См.: *Минский Н.* Сон Славянина («Он горько рыдал... Роковые виденья...») // Новое время. 1876. № 194. 12 сентября. С. 1.

432 Злой, нехороший, противный (*франц.*).

433 Имеется в виду поэма «На родине» («Средь гор, тропинкою лесной...») (Вестник Европы. 1877. № 1. С. 200–209).

434 Имеется в виду Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

435 «Я хочу есть!» (*франц.*).

436 Имеется в виду обед в честь Тургенева, организованный петербургскими профессорами и литераторами 13 марта 1879 г. в ресторане Бореля.

437 См. примеч. 180.

438 См.: Петербургский листок. 1907. № 93. 5 апреля. С. 4 (подпись: Н. Р–ский; раздел «Театральный курьер»).

439 См.: *Измайлов А.* Шаржи и пародии // Свободные мысли. 1907. № 13. 13 августа. С. 2–3. Пародируя стиль таких известных писателей и критиков, как Андрей Белый, Буренин, Введенский, Волынский, Мережковский и Чулков, Измайлов делает к шаржу на Россовского примечание: «Автор, извиняясь, вводит это имя, разумеется ничего общего с литературой не имеющее...» и т.д. (С. 3). Вошло в кн.: *Измайлов А.* Кривое зеркало. СПб., 1908 (текст газетного примечания о Россовском опущен).

440 Ныне — часть Лесного пр. и Чугунной ул.

441 Имеется в виду сб. «Русская муза. Собрание лучших оригинальных и переводных стихотворений русских поэтов XIX века» (Сост. П.Я. СПб., 1904).

442 Имеется в виду Е.М. Градова.

443 Имеется в виду «Живописная неделя».

444 «О мертвых ничего, кроме хорошего» (*лат.*).

445 О нападках В.П. Буренина на Надсона см. примеч. 568. М.О. Меньшиков также критически отзывался о Надсоне в своих статьях в «Неделе», написанных после смерти поэта (см.: *Меньшиков М.О.* Нравственное вдохновение // *Меньшиков М.О.* Критические очерки. СПб., 1899. Т. 1. С. 189–24. См. также: *Меньшиков М.О.* Поэт неудачной эпохи // Новое время. 1912. № 12882. 22 января. С. 2; и др.).

446 В связи со смертью сестры О.К. Тетерниковой, умершей в июне 1907 г.

447 См.: *Вакх* [*Годин Я.В.*] Оргиасты. Новая симфония. (Плагиат из Андрея Белого и др.) // Газета Шебуева. 1906. № 3 (ноябрь). С. 5.

448 Вторая статья была также озаглавлена «Оргиасты» (см.: Газета Шебуева. 1906. № 4 (ноябрь). С. 4–5).

449 См.: Международный Толстовский альманах. О Толстом. М., 1909 (составитель — П.А. Сергеенко). Фидлера среди участников альманаха нет.

450 «Предсказание Нострадамуса» (*франц.*).

451 Предсказание Нострадама на 2000-1 год. Стихотворение A.N. (sic! — *К.А.*) Куприна. (Из Беранже) // Свободные мысли. 1907. № 32. 24 декабря. С. 2.

452 То есть М. Горький и Л.Н. Андреев.

[453] В 1908 г. А.Е. Зарин привлекался к суду по обвинению в публикации и распространении статей «бунтовщического» содержания. С мая 1908 г. отбывал одиночное заключение в петербургской тюрьме «Кресты» (ср. запись от 4 мая 1908 г.).

[454] Имеется в виду нашумевшая статья Г.Е. Старцева «Наша литературная богема» (Свободная молва. 1908. № 5. 18 февраля. С. 1; подпись: Гр. С—в). Через неделю было опубликовано (под тем же названием) письмо за подписью А. Каменского, А. Куприна, Б. Лазаревского, П. Маныча, П. Пильского, А. Рославлева, И. Рукавишникова и других писателей, назвавших статью Старцева «литературным доносом»; однако Куприн и Рукавишников печатно заявили о своей непричастности к этому письму (см.: *Старцев Гр.* Наша литературная богема // Свободная молва. 1908. № 6. 25 февраля. С. 3); см. также: Литературная богема // Свободная молва. 1908. № 7. 3 марта. С. 3.

[455] Видимо, за роман «Мелкий бес» (выпущенная в 1907 г. отдельным изданием, эта книга в дальнейшем неоднократно переиздавалась «Шиповником»).

[456] Имеется в виду журнал «Беседа».

[457] Сразу, вдруг, разом (*лат.*).

[458] В действительности книга «Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество» была написана Н.Г. Молостовым совместно с П.А. Сергеенко (Вып. 1—3. СПб., 1909—1910; вып. 4—10 сохранились в рукописи).

[459] Имеется в виду К.С. Карницкий.

[460] В 1907—1909 гг. А.А. Плещеев возглавлял драматическую труппу, гастролировавшую в Варшаве.

[461] См.: *Казбич* [*Баранцевич С.К.*] Осколки современной жизни // Осколки. 1908. № 14. 5 апреля. С. 3–4.

[462] В.В. Брусянин был приговорен в 1908 г. к двум годам крепости по делу «Московской газеты»; скрывался в Финляндии под чужой фамилией (до амнистии 1913 г.).

[463] Улицы Спасская (с 1923 г. – ул. Рылеева) и Пантелеймоновская (с 1923 г. – ул. Пестеля) продолжают друг друга и не образуют «угла». В действительности – угол улиц Спасской и Басковой (ныне — ул. Короленко).

[464] Имеется в виду газета «Театральный мирок».

[465] Неточная цитата из стихотворения «Публика» (цикл «Песни о свободном слове», 1865—1866). У Некрасова:

Друг! Ты стоишь на рогоже,
Но говоришь ты с ковра...

[466] См.: Русский курьер. 1887. № 325. 25 ноября; подп.: РП.

[467] «сегодня», «святой», «зрелый», «частый» *(нем.)*.

[468] «Не так громко... пожалуйста!» (*нем.*).

[469] Гейне останавливался в инсбрукской гостинице «Золотой орел» 6—7 августа 1828 г. на пути в Италию.

[470] Широкая дорога (спуск на южный берег), проложенная в скалах на средства Ф. Круппа в 1880-е гг. и получившая название «Дорога Круппа».

[471] свежая вода (*итал.*).

[472] Визит состоялся 12 апреля 1907 г. (н. ст.).

[473] П. Альтенберг разработал в 1900-е гг. собственную «оздоровительно-эстетическую» программу, включавшую в себя ряд рекомендаций, рецептов и пр.

[474] Питательная добавка в пищу.

[475] «Избранное из моих сочинений» (*нем.*). Книга была издана в Вене в 1908 г.

[476] См.: *Альтенберг П.* Как я это вижу / Пер. с нем. Оскара Норвежского. СПб., 1908.

[477] Отсюда и гнев! (*лат.*).

[478] Имеется в виду А.А. Оль.

[479] Речь идет о сб. «Литературный распад» (Кн. 1. СПб., 1908), в котором против Л. Андреева выступил Луначарский, особенно нападая – в статье «Тьма» – на пьесу «Царь-Голод». Андреев болезненно переживал критику в свой адрес и воспринимал ее как «травлю», – об этом свидетельствует, в частности, его большое «исповедальное» письмо к М. Горькому от 23 марта 1908 г., на которое последний так и не ответил; в отношениях между писателями наступил разрыв, длившийся более трех лет.

[480] Текст записи приведен неточно (видимо, по памяти). После цитаты из Гейне следует: «Алексей Пешков, житель нижегородский и арзамасский, цеховой малярного цеха, бывший академик и твой товарищ» (см.: Летопись жизни и творчества А.М. Горького. Вып. 1. 1868—1907. М., 1958. С. 395).

[481] К.В. Елаго.

[482] В 1953—1954 гг. улица носила имя Мамина-Сибиряка.

[483] С 1948 г. — Комарово.

[484] «Граф Леон» (*франц.*).

[485] Мост, расположенный по продолжению Гороховой ул.

[486] См.: *Градовский Г.К.* Итоги. Киев, 1908. Т. 1. В книгу вошли фельетоны, военные мемуары, воспоминания о встречах с современниками, столкновениях с цензурой и т.п.

[487] «Русские поэтессы» (*нем.*)

[488] Парафраз двух последних строк из стихотворения Лермонтова «И скучно, и грустно, и некому руку подать...» (1840).

[489] Одноактный водевиль, поставленный в 1908 г. в Новом театре.

[490] Современный стиль (*франц.*).

[491] Героиня одноименной пьесы А.Н. Островского и С.А. Гедеонова (1867).

[492] См. примеч. 305 и 414.

[493] Кто там спускается с горки...» (*нем.*).

[494] См.: *Немирович-Данченко Вас.И.* Соловки: Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами. СПб., 1875.

[495] См.: Библиография сочинений Федора Сологуба. СПб., 1909. Ч. 1. 31 с.

[496] Имеется в виду пьеса Ф. Сологуба «Ванька-ключник и пан Жеан» (1909).

[497] Статья Философова, посвященная С.Т. Аксакову, была написана в связи с 50-летием со дня смерти. Вошла в кн.: *Философов Д.В.* Старое и новое. Сборник статей по вопросам искусства и литературы. М., 1912. С. 148–161.

[498] Произведение Альбова под таким названием неизвестно.

[499] Увлеченная модными в то время идеями кооперации, Н.Б. Нордман-Северова приглашала к себе по средам гостей и устраивала «кооперативный чай» в складчину.

500 Конный памятник Александру III, выполненый Паоло Трубецким, был открыт на Знаменской пл. (ныне – пл. Восстания) 28 мая 1909 г. С 1937 г. памятник находился в служебных дворах Русского музея; с 1996 г. – в сквере у Мраморного дворца.

501 Искусственный холм в районе Парголова под Петербургом (ныне – промышленно-складская зона).

502 Беседка в Шуваловском парке, сооруженная в 1905 г.

503 В 1909 г. часть членов Союза драматических и музыкальных писателей выступила с резкой критикой деятельности Театрального клуба, задуманного в свое время как культурное учреждение, но превратившегося якобы в ресторан, «игорный притон» и т.п. Возник и вопрос о расхищении общественных денег. Созванное в марте 1910 г. чрезвычайное собрание членов Союза приняло решение отделиться от Театрального клуба, после чего Клуб перестал существовать.

504 С 1952 г. — ул. Константина Заслонова. Ранее Ходотов жил на Коломенской ул., 42.

505 В пьесе угадываются реальные персонажи (А.И. Куприн, М.К. Куприна, Ф.Д. Батюшков и др.). Премьера состоялась в Александринском театре 5 ноября 1909 г.

506 Имеется в виду статья Н.П. Ежова «Антон Павлович Чехов: (Опыт характеристики)», напечатанная в журн. «Исторический вестник» (1909. № 8. С. 499–519) и вызвавшая возражения и протесты со стороны известных литераторов, так что через несколько месяцев автор вынужден был оправдываться (см.: *Ежов Н.* Моя статья о Чехове. (Беседа с читателями) // Исторический вестник. 1909. № 11. С. 595–607).

507 См.: Максимилиан — император мексиканский: Политическая трагедия Ал. Лугового // Маяк: Лит.-публиц. сб. / Издание А. Лугового. [СПб., 1906.] С. 3—165.

508 «Мелкий бес» был впервые поставлен в ноябре 1909 г. в киевском театре Соловцова (режиссер – Н.А. Попов).

509 День именин Л.М. Фидлер.

510 Из поэмы Г. Гейне «Германия, зимняя сказка» (Гл. III).

511 М.А. Мещерская.

512 Последняя строка стихотворения Н. Минского «Портрет» (см. примеч. 135 и запись от 9 января 1905 г.)..

513 После обыска и ареста в ноябре 1909 г. Богучарский с женой выехал из России (в феврале 1910 г.) и до января 1913 г. жил в Софии.

514 Комедия (политическая сатира) Е.П. Карпова (1909), поставленная в Александринском театре

515 С 1952 г. — ул. Лисичанская.

516 Пьеса в стихах Э. Ростана (1910), поставленная в Театре Литературно-художественного общества (перевод – Т.Л. Щепкиной-Куперник; режиссер-постановщик и исполнитель главной роли – Б.С. Глаголин).

517 Московский художественный театр, гастролировавший в Петербурге, устроил 19 апреля 1910 г. в Михайловском театре «утро», посвященное 50-летию со дня рождения Чехова. Перед публикой выступили Вл.И. Немирович-Данченко и С.А. Андреевский; исполнялись рассказы Чехова и сцены из его драматических произведений.

518 Фидлер имеет в виду свое участие в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, для которого он написал ряд статей о немецкой литературе.

519 Игра, основанная на созвучии слов: Ламан и Далай-лама.

520 Имеется в виду 1905 год.

521 Надпись сделана на нем. языке (с ошибками).

522 На улице были автомобили, лошади, собаки и другие звери (*искаж. нем.*).

523 Повесть Л. Андреева. Впервые: Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1908. Кн. 5. С. 165–262.

524 Имеется в виду выступление Андреева (авторские пояснения относительно замысла и символики пьесы) после чтения «Океана» 25 сентября 1910 г.. в помещении издательства «Шиповник».

525 См.: *Граф Алексис Жасминов* [*В.П. Буренин*]. Драма и реклама: Нечто в новом стиле // Новое время. 1910. № 12419. 8 октября. С. 4; № 12426. 15 октября. С. 4; № 12433. 22 октября. С. 4.

526 Благородная пара братьев (славная парочка) (*лат.*). Слова из сатиры Горация (2, 3, 243).

527 Имеется в виду юбилейный комитет, созданный для празднования 25-летия литературной деятельности Е.Н. Чирикова.

528 Имеется в виду покушение на Л.Н. Андреева: 30 декабря 1910 г. в писателя стрелял один из его рабочих (видимо, в состоянии умственного расстройства).

529 Название альбома придумано Фидлером по аналогии со словом «журфикс».

530 С января 1904 г. и до отъезда из России в начале 1906 г. Горький снимал (вместе с К.П. Пятницким) квартиру на Знаменской ул., 20.

531 Имеется в виду кн.: *Блок А.* Лирические драмы. СПб., 1908.

532 Видимо, О.А. Мирошниченко.

533 Персонажи стихов Вильгельма Буша.

534 В 1886 г. А.Д. Апраксин был приговорен к ссылке в Сибирь за подделку векселя, затем помилован, но лишен графского титула.

535 Главный герой пьесы «Анатема».

536 Драма Софокла (в обработке Г. фон Гофмансталя), поставленная в 1910 г. М. Рейнгардтом; в марте 1911 г. театр Рейнгардта гастролировал в Петербурге; представление «Царя Эдипа» (с С. Моисси в главной роли) на сцене петербургского цирка Чинизелли стало заметным культурным событием.

537 Правильное название: Веселая жизнь: Сборник рассказов из жизни золотой молодежи, кокоток, апашей и пр. СПб., 1910.

538 зловонного снадобья (*лат.*).

539 Гражданская жена Е.В. Святловского.

540 А. Измайлов, писатель (*нем.*). Слово «писатель» написано с ошибкой, отмеченной Фидлером.

541 «круглого стола» (*франц.*).

542 С 1948 г. — Зеленогорск.

543 Имеется в виду Училище ордена св. Екатерины (Екатерининский институт).

544 Картина Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») была похищена из Лувра в августе 1911 г. итальянцем Винченцо Перуджа. В 1913 г. на суде похититель заявил, что действовал из патриотических соображений, желая вернуть в Италию ее национальное достояние.

545 «Вперед!» (*франц.*).

546 «силовой захват», буквально — «силовой ошейник» (*франц.*).

547 Помещение Литературно-артистического собрания.

548 Правильно: «Новый журнал для всех».

549 художница, артистка и журналистка (*франц.*).

550 Что именно имеется в виду, — неясно.

551 «Жизнь печальна — будем же веселы. Господину Фидлеру преданный ему Герман Банг» (*франц.*).

552 С самыми почтительными приветствиями. Герман Банг» (*франц.*).

553 Имеется в виду: *Грушко Н.* Стихи. СПб., 1912.

554 С 1923 г. — ул. Правды.

555 Женщина в маскарадном костюме Пьеро.

556 Улица в Дюссельдорфе, где родился Гейне (адрес в начале XX в. — Болькерштрассе, 53).

557 Со дня рождения и до своего крещения в июне 1825 г. Гейне носил имя Гарри.

558 См.: *Гейне Г.* Идеи. Книга Le Grand (1826). 6-я глава.

559 Замок под Веймаром.

560 Имеется в виду: *Волынский А.* Ф.М. Достоевский. СПб., 1906 (2-е изд. – 1909; нем. перевод – 1910).

561 С 1923 г. — пл. Революции.

562 «Долгие рыдания...» (*франц.*).

563 Из цикла «Лирическое интермеццо» (1822).

564 Имеется в виду «Кругозор».

565 См.: Новое время. 1899. № 8308. 14 октября. С. 7 (прилож.). Подпись — Мордвин. Статья представляет собой рецензию на кн.: *Сенкевич Г.* Волк. Разные дороги. Юмористические заметки из портфеля Воршиллы / Пер. П.В. Грибоедовой. СПб., 1899.

566 См.: *Овсянико-Куликовский Д.* Литературные беседы // Речь. 1912. № 253. 15 сентября. С. 3 (статья целиком посвящена драме А.М. Федорова «Любите жизнь»).

567 Вероятно, имеется в виду «Союз русского народа».

568 Незадолго до смерти Надсона В.П. Буренин резко и оскорбительно писал о нем в своих «Критических очерках» (см.: Новое время. 1886. № 3841. 7 ноября. С. 2; № 3855. 21 ноября. С. 2–3) и др. статьях, что было воспринято в литературных кругах как «травля», ускорившая кончину поэта. Буренина долгое время называли (в особенности М.В. Ватсон) «убийцей» Надсона.

569 То есть сотрудница газеты «Новое время».

570 Имеется в виду М.В. Лапина.

571 С 1922 г. – Детская ул.

572 Премьера состоялась в Русском драматическом театре А.К. Рейнеке.

573 Имеются в виду Высшие женские (Бестужевские) курсы (первое женское высшее учебное заведение в России; 1878–1918). Обращение Н.В. Грушко в Литературный фонд связано с тем, что Фонд систематически выделял стипендии для поддержки неимущих и малоимущих студентов.

574 Цитата из «эзоповой басни» М.Г. Лихтвера «Кошка и хозяин» (1762).

575 Повивальная бабка (от названия первых акушерок, вывезенных Петром I из Голландии).

576 Имеется в виду Н.В. Грушко.

577 Ныне – ул. Васенко.

578 Фидлер имеет в виду «союз» между И.Н. Потапенко и Н.В. Грушко.

579 В опущенной записи от 22 мая 1913 г. приводится спор между Фидлером и Потапенко: «Я сказал, что некрасовское "*Я стою потихоньку*" — неверно в языковом отношении, поскольку наречие выражает действие, а глагол — неподвижное состояние. Потапенко возражал и ехидно заметил что-то по поводу немецкого лексикона, на что я спокойно объяснил ему, что он недостаточно владеет русским языком. Спор протекал весьма благодушно».

580 Имеется в виду Маргарита Фидлер.

581 Старинная студенческая песня.

582 Ниже приписано карандашом: «Русская Мысль».

583 Имеется в виду сб. «Громокипящий кубок» (М., 1913).

584 Видимо, в устном рассказе Ф. Сологуба отразились кратковременные (в 1908 г.) отношения Игоря Северянина с Е.Т. Гутцан, плодом которых была дочь Тамара (в замуж. – Шмук), и его роман с Е.Я. Золотаревой в 1912–1915 гг. (в 1913 г. у них родилась дочь Валерия, в замуж. – Семенова).

585 М.С. Дудоров.

586 Вероятно, описка Фидлера; имеется в виду Ю.И. Юркун.

587 Последняя фраза приписана Фидлером позднее.

588 Стихотворный сборник Н.А. Морозова (М., 1910).

589 См.: *Философов Д.* Василиск и Вилли // Речь. 1913. № 308. 10 ноября. С. 2. Статья посвящена футуристу Василиску Гнедову и дирижеру-вундеркинду Вилли Ферреро. «Почему у нас исчезла всякая литературная среда? – спрашивал автор. – Почему с такой легкостью, в усладу жадной до скандалов публики, ей устраивают «литературные представления»? И разве Бальмонт держал себя не как истый "футурист"? Чем он лучше Василиска Гнедова?»

590 Робкий (*нем.*).

591 «Я такой нежный, / Я такой робкий, / Но жаль / Я все еще трезв!» (*нем.*).

592 Гостиница «Франция» (*франц.*).

593 См.: *Жданов Л.* Два миллиона в год. (Нищий миллионер). Сказочные были текущих дней. Фантастический роман. СПб., 1913 (3-е изд. – 1914).

594 Драма, о которой идет речь, получила название «Слепая любовь» и была поставлена в Александринском театре в феврале 1915 г. (см. запись от 12 февраля 1915 г.). В спектакле участвовала М.Г. Савина.

595 В действительности автором стихов, составивших сборник «Стихи Нелли» (М., 1913), был именно Брюсов, усиливший предпринятую им литературную мистификацию посвящением («Надежде Григорьевне Львовой свои стихи посвящает автор») и стихотворением «Нелли» (за подписью «В. Брюсов»).

[596] Имеется в виду, скорее всего, письмо Брюсова в газ. «Речь» (1913. № 326. 28 ноября. С. 6). Возражая С. Городецкому, угадавшему подлинного автора «Стихов к Нелли», Брюсов заявлял, что псевдоним «Нелли» принадлежит не ему, «но лицу, не желающему пока называть свое имя в печати».

[597] Пьеса И.Д. Сургучева, поставленная в 1913 г. в Александринском театре.

[598] В 1904–1905 гг. Вас. Немирович-Данченко находился в Маньчжурии в качестве корреспондента газеты «Русское слово», в которой регулярно появлялись его корреспонденции. После статей о поражении русских войск под Вафаньгоу вынужден был покинуть армию.

[599] «Беха-Улла» – название поэмы-трагедии Гриневской (СПб., 1912).

[600] Прошу (*нем.*).

[601] Игра слов: Mater dolorosa — скорбящая мать (*лат.*). Mater della rosa — Мать розы (*лат., итал.*).

[602] Заключительные строки стихотворения 1833 г. «Nimmer glaub' ich, junge Schöne...» («Нет, красавица, не верю...»; пер. А. Мейснера), вошедшего в цикл «Анжелика» (сб. «Новые стихотворения», 1844).

[603] Имеется в виду книга: Засахаре кры. Эгофутуристы: [Альманах]. СПб., 1913 (В. Гнедов — один из участников сборника).

[604] То есть до 1891 г.

[605] Здесь – в устаревшем значении «крестный отец» (воспринимающий ребенка из купели при крещении).

[606] Пограничный пункт на прусской границе (ныне — г. Вирбалис в Литве).

[607] В 1913—1919 гг. Арабажин был профессором русского языка и литературы Гельсингфорского университета.

[608] наконец одни (*франц.*).

[609] после нас хоть потоп (*франц.*).

[610] Имеется в виду дело сектантки Дарьи Смирновой, обвиненной в изуверстве, стяжательстве и других преступлениях. Убежденная в том, что в нее вселился дух божий, «Охтенская богородица» принуждала своих последователей к изнурительному посту, безбрачию и т.д. Дело Смирновой вызвало известный резонанс в интеллигентской среде (в богословской экспертизе участвовал В.Д. Бонч-Бруевич). Приговором С.-Петербургского окружного суда Смирнова была признана виновной и сослана на поселение.

[611] Отчисление условленного процента от общего дохода (в частности — с постановки театральных произведений).

[612] См.: *Фидлер Ф.* Литературные силуэты. II. Семен Яковлевич Надсон // Биржевые ведомости. Утр. вып. 1913. № 13929. 31 декабря. С. 2; Литературные силуэты. Из воспоминаний Ф.Ф. Фидлера // Новое слово. 1914. № 1. С. 73–75.

[613] См. примеч. 568.

[614] В связи с нападками Буренина на Надсона ряд близких к поэту литераторов (среди них – С.А. Андреевский, Н. Минский, Н.К. Михайловский и др.) написали письмо-протест, которое было направлено Л.Н. Толстому, отказавшемуся его подписать. Документ не был опубликован (рукописный текст сохранился).

615 Имеется в виду английская суфражистка Мэри Ричардсон, в феврале 1914 г. варварски изуродовавшая (топориком, спрятанным в муфте) «Венеру» Веласкеса в лондонской Национальной галерее.

616 Вас.И. Немирович-Данченко к середине 1910-х гг. был почти лысым.

617 Имеется в виду пьеса «Мысль» (1914).

618 «Фридрих Максимилиан Клингер. Родился 18 февраля 1752. Умер 13 февраля 1831. Высокого таланта, еще большей скромности муж преклонных лет. Сей памятник воздвигнут любящей и благодарной супругой» (*лат.*).

619 С 1923 г. — 9-я Советская.

620 Видимо, Печоры (б. Петсери) Псковской губ.

621 Имеется в виду Военно-медицинская академия (до 1881 г. — Медицинская хирургическая академия).

622 Рассказ Куприна «На покое» (1902), в котором описана жизнь старых актеров в богадельне, был впоследствии переделан в пьесу (основную работу выполнил А.И. Свирский, Куприн же отредактировал уже готовый текст).

623 Премьера состоялась 8 февраля 1908 г.

624 С 1922 г. — г. Кингисепп Ленинградской обл. (центр Кингисеппского р-на)

625 О глубокая ночь, / без отзвуков, / без воспоминаний, / без призрачных сновидений (*итал.*).

626 Одна из центральных улиц Вены.

627 Речь идет о стихотворении Гейне «Schlosslegende» из сб. «Новые стихотворения» (1844); цикл «Современные стихотворения». Фидлер ошибается: «Легенда замка» не раз переводилась на русский язык; к началу XX в. существовали переводы Д.Д. Минаева и П.О. Морозова.

628 Свой перевод (название – «Дворцовая легенда») Куприн опубликовал в «Новом Сатириконе» (1914. № 37. 11 сентября. С. 8). Подпись под стихотворением: «Перевел и перевод Ф.Ф. Фидлеру посвящает А. Куприн».

629 Е[вгений]-старый (*франц.*).

630 Е[вгений]-молодой (*франц.*).

631 Глава XIII поэмы Гейне «Германия. Зимняя сказка» (1844).

632 В оригинале — «взошло». Ср. в переводе В. Левика: «Над Падерборном солнце в тот день / Взошло, сощурясь кисло».

633 Ныне – ст. Горьковская.

634 Имеется в виду А.М. Коваленко.

635 В этот день началась Первая мировая война.

636 То есть 5-я Рождественская (ныне — 5-я Советская) ул.

637 в целом (*лат.*).

638 Имеется в виду изд. «Русская литература XX века (1890—1910)», выходившее под ред. С.А. Венгерова в Москве в 1914—1918 гг. (Т. 1—3, вып. 1—8).

639 В сентябре 1914 г. были введены ограничения на торговлю спиртными напитками.

640 Ф. Сологуб переводил драмы Клейста для собрания сочинений немецкого писателя, которое готовилось в издательстве К.Ф. Некрасова (издание не состоялось). Пере-

вод «Пентесилеи», выполненный совместно с А.Н. Чеботаревской, появился в журн. «Русская мысль» (1914. № 8/9. С. 150–240). Пьесы «Разбитый кувшин» и «Кетхен из Гейльбронна» составили второй том «Собрания сочинений» Клейста, выпущенного в 1923 г. издательством «Всемирная литература».

641 Искаженное сокращение немецкого слова «Geburtstag» (день рождения).

642 Колбаса (*нем.*).

643 Черт побери! (*нем.*).

644 См.: Новое время. 1914. № 13606. 27 января. С. 4; № 13607. 28 января. С. 4.

645 В январе 1915 г. Фидлер приобрел для своего «музея» конторку Н.Г. Чернышевского.

646 См.: *Потапенко И.Н.* Несколько лет с А.П. Чеховым. (К 10-летию со дня его кончины) // Нива. 1914. № 26. С. 510–515; № 27. С. 531–538; № 28. С. 551–556.

647 См. примеч. 594.

648 Премьера состоялась в Александринском театре.

649 См.: *Евгеньев В.* Н.А. Некрасов: Сб. статей и материалов. М., 1914.

650 Имеется в виду еженедельник «Солнце России». См.: *Евгеньев В.* У З.Н. Некрасовой: (Из личных впечатлений) // Солнце России. 1915. № 260 (5). Февраль. С. 3—4.

651 Имеется в виду шеститомное собрание писем Чехова, выпущенное Книгоиздательством писателей в Москве в 1912–1916 гг. (под редакцией М.П. Чеховой). Шестой том (содержавший письма за 1900–1904 гг.) вышел в 1916 г.

652 В связи со смертью Л.М. Фидлер (14 марта 1915 г.).

653 То есть в Финляндии.

654 Имеется в виду следующее издание, осуществленное Обществом русских писателей для помощи жертвам войны: Невский альманах жертвам войны. Писатели и художники. Пг., 1915. (В книге более 70 участников.)

655 Стихотворение Городецкого «А.С. Пушкину» было издано отдельной брошюрой (Пг., 1915). По поводу данного инцидента см.: *С.Ф.* «Вы» и «Ты»: Литературный инцидент (мнения пушкинианца П.О. Морозова, проф. С.А. Венгерова, Федора Сологуба, П.Е. Щеголева и Ф.Д. Батюшкова) // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. № 14830. 7 мая. С. 4 ; см. также: *Ред Н.П.* Еще о «Ты» и «Вы»: (Письмо в редакцию) // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. № 14834. 9 мая. С. 6.

656 См.: *Сологуб Ф.* Война. Стихи. Пг., 1915.

657 Ничтожная величина; нечто, не стоящее внимания (*франц.*).

658 Имеется в виду следующее издание: *Венгеров С.* Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). Второе, совершенно переработанное иллюстрированное издание. Т. I (вып. 1—3). Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки. (Аарон — Куликов). Пг., 1915. Т. II (вып. 4—5) вышел в 1918 г. (до статьи «Павлов»). Издание осталось незавершенным. Окончание «Предварительного списка...» хранится в Пушкинском Доме.

659 Автобиографическая «Книга о смерти» была, действительно, опубликована после смерти автора. См.: *Андреевский С.А.* Книга о смерти. Ревель–Берлин, [1922]. Сокращенное изд.: *Андреевский С.А.* Книга о смерти. (Мысли и воспоминания). Т. 1. Л., 1924.

Полное коммент. изд.: *Андреевский С.А.* Книга о смерти. Изд. подготовила И.И. Подольская. М., 2005 (серия «Лит. памятники»).

660 Вы говорите по-немецки? (*нем.*).

661 Возможно, имеется в виду В.М. Соколова.

662 Дачное место на берегу Финского залива. Летом 1915 и 1916 г. Фидлер жил на Даче литераторов (станция Ермоловская Приморской ж.д.; ныне не существует).

663 Вероятно, имеются в виду затраты, которые С.А. Венгеров — включая субсидии, поступавшие весьма нерегулярно, — употребил к тому времени на свой «архив», включавший в себя переписку и рукописи ученого, биобиблиографическую картотеку (к 1915 г. — около двух миллионов карточек) и др.

664 В сентябре 1920 г. С.А. Венгеров передал свою библиотеку и свой архив Российской книжной палате, директором которой он в то время являлся. В настоящее время все венгеровские материалы хранятся в Пушкинском Доме.

665 См.: Щит: Литературный сб. / Ред. Л. Андреев, М. Горький, Ф. Сологуб. М., 1915; 2-е изд. — 1916; 3-е изд. — 1916. (В сборнике более 30 участников.)

666 В рассказе Чехова «Попрыгунья» отразились отношения Левитана с художницей С.П. Кувшинниковой.

667 Литературные воспоминания П.В. Быкова о русских писателях печатались в 1913—1915 гг. в различных периодических изданиях и составили (изданную посмертно) книгу: Силуэты далекого прошлого. М.; Л., 1930.

668 См.: *Князев В.* Определившийся поэт. (Критическая заметка) // Журнал журналов. 1915. № 3. С. 3.

669 Правильно — Лампси.

670 Правильно — Мизиновой.

671 Опера Э. Скриба и Ж. Делавиня; музыка Д.-Э. Обера (1828)

672 См.: *Librowicz S.* Der Kuss und das Küssen. Hamburg, 1877. Том рассказов под названием «Marlitt» не выявлен.

673 Национальный гимн кайзеровской Германии (с 1871 г.). Автор текста — М. Шнеккенгрубер; музыка — К. Вильгельма.

674 *Философов Д.* Сюжетец! // Речь. 1915. № 207. 30 июля. С. 2.

675 *Сологуб Ф.* Слепая бабочка // Огонек. 1915. № 30. 26 июля [пагинация отсутствует].

676 См.: Северный вестник. 1895. № 7—12.

677 См. примеч. 644.

678 Из стихотворения Фофанова «Элегия» (1886).

679 В 1915 г. Т.Г. Краснопольская неоднократно обвинялась в плагиате: оказалось, что ее роман «Над любовью» (1914) содержит целые пассажи из книги Колетт, а опубликованный под ее именем рассказ «Рыцарь» на самом деле принадлежит перу Лескова (см.: *Венский Е.* Kradenaja kobyla. Новое воровство в литературе // Журнал журналов. 1915. № 12. С. 3).

680 См.: *Nagrodskaja E.* Die bronzene Tür. Berlin; Leipzig, 1912 (переводчица – А. Рамм-Пфемферт).

681 Сплетня, бытовавшая в литературных кругах.

682 Сказочный фламандский король; с его именем связывается изобретение пива.

683 Греческая куртизанка, известная своей красотой и служившая, по легенде, моделью для статуй Венеры, выполненных Праксителем. Образ Фрины использовался в западноевропейском изобразительном и музыкальном искусстве.

684 См.: *Мейснер А.* В паутине религий. Думы и краски. Шестая книга стихов. СПб., 1915.

685 См.: *Лазаревский Б.* Светлой памяти князя Олега // Новое время. 1915. № 14212. 3 октября. С. 5 (приложение).

686 В оригинале — Studenten-Flüchtlinge. Каких именно «беженцев» или «беглецов» имеет в виду Фидлер, не вполне ясно. В печати говорилось о благотворительном спектакле, сбор с которого «поступит в пользу студенческих землячеств» (Обозрение театров. 1915. № 2394. 17 ноября. С. 15).

687 Образ мыслей (*нем.*).

688 *Толстовский музей* в Петербурге (первый в России музей Л.Н. Толстого) был создан группой частных лиц, объединившихся в Общество Толстовского музея. Открылся в марте 1911 г. и размещался в доме на Васильевском острове. После 1917 г. перешел в ведение Академии наук. В начале 1930-х гг. формально присоединен к Пушкинскому Дому. В конце 1930-х гг. и в течение 1950-х гг. толстовские автографы — согласно постановлению Совнаркома — были переданы в Гос. музей Л.Н. Толстого в Москве.

689 См. примеч. 188.

690 Имеется в виду стихотворение В. Буша (1865), повествующе о проделках двух шалунов — Макса и Морица.

691 См. вступит. статью, примеч. 12.

692 Речь идет о пьесе «Романтики», поставленной на сцене Александринского театра 21 октября 1916 г.

693 Премьера состоялась 3 февраля 1916 г. (режиссер-постановщик – Вл.И. Немирович-Данченко).

694 Имеется в виду опубликованное в начале октября 1914 г. обращение «An die Kulturwelt!» («К культурному миру!»), которое подписали, наряду с известными немецкими учеными и художниками, такие писатели, как Г. Гауптман, Р. Демель, Г. Зудерман и др.

695 Речь идет о гастролях МХАТ в Германии в 1906 г.

696 Имеется в виду бракоразводный процесс Н.В. Грушко с ее первым мужем.

697 Афоризмы. Впервые появляющиеся в печати записи из альбома литературного музея Ф.Ф. Фидлера // Журнал журналов. 1915. № 36. С. 12—13; Афоризмы. (Из альбомов литературного музея Ф.Ф. Фидлера) // Журнал журналов. 1916. № 1. С. 8. Среди «афоризмов», воспроизведенных в обоих номерах «Журнала журналов», – записи М. Горького, Лескова, Мамина-Сибиряка, Мережковского, М.А. Протопопова, Скабичевского, А.С. Суворина и др., позднее перенесенные Фидлером из альбомов в дневник и отчасти представленные в настоящем издании.

698 Большой круг (*франц.*) — фигура в общем танце.

699 См.: *Гриневская И.* Поклон героям. Стихи. Пг., 1915.

700 С 1920 г. – г. Даугавпилс.

[701] Всероссийское объединение (полное название — Всероссийский союз городов помощи больным и раненым воинам), созданное в августе 1914 г. представителями органов городского самоуправления для содействия правительству в организации снабжения армии и помощи раненым и беженцам.

[702] Речь идет о статье М. Горького «О “карамазовщине”» (Русское слово. 1913. № 219. 22 сентября. С. 4), вызвавшей ряд откликов в русской печати, в том числе – негодующих.

[703] Потапенко имеет в в виду анкету газ. «Биржевые ведомости», озаглавленную «О выпаде г. Горького против Достоевского. Мнения писателей» (Биржевые ведомости. Веч. вып. 1913. № 13792. 8 октября. С. 3). Горький ответил своим оппонентам заметкой «Еще о “карамазовщине”. (Открытое письмо)» (Русское слово. 1913. № 248. 27 октября. С. 2–3).

[704] См.: Биржевые ведомости. Утр. вып. 1916. № 15488. 7 апреля. С. 3.

[705] Имеется в виду двухтомное исследование Р. Гайма «Гердер, его жизнь и сочинения» (1877—1885; рус. пер. — 1888).

[706] Имеется в виду известная драма Лессинга «Натан Мудрый» (1779).

[707] См.: Пробуждение. 1916. № 17. С. 524–525 (опубликованы письма Фофанова к Фидлеру от 3 апреля 1888 г. и 1 марта 1905 г. с кратким комментарием последнего). .

[708] См. примеч. 662.

[709] Ардальон Борисович Передонов – главный персонаж (ставший собирательным образом) в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес».

[710] Бунин был избран почетным академиком Российской академии наук (по Отделению русского языка и словесности) осенью 1909 г.

[711] См.: *Криницкий М.* Женщина в лиловом. М., 1916 (2-е изд.: М., 1917; переизд.: М., 2003).

[712] См.: *Криницкий М.* Маскарад чувств. М., 1915 (4-е изд – М., 1916; переиздано в Риге в 1930 г.).

[713] См.: *Криницкий М.* В тумане: Рассказы. М., 1895.

[714] Профессиональная зависть (*франц.*).

[715] См.: *Карпов Е.П.* М.Г. Савина. (Страничка из воспоминаний) // Голос минувшего. 1916. № 11. С. 29—61.

[716] Премьера состоялась 19 сентября 1916 г.

[717] Имеются в виду рецензии С.А. Венгерова «Идейный театр» (Речь. 1916. № 194. 17 июля. С. 5) и «Любовь к “слабейшему”» (Речь. 1916. № 212. 4 августа. С. 3), помещенные в разделе «Театр и музыка»; первая рассказывает о Передвижном театре Гайдебурова и Скарской, вторая – о спектакле «Кандида» (пьеса Б. Шоу) в театре Литературного фонда на станции Ермоловская.

[718] С 1923 г. — Канал Грибоедова.

[719] По-немецки: «Es schrumpft der Mensch mit seinen grössern Mitteln!» Обыгрывается известная фраза Шиллера из пролога к «Валленштейну»: «Es wächst der Mensch mit seinen grössern Zwecken» (букв.: «Чем выше цели у человека, тем значительней он становится»).

[720] По завещанию В.А. Крылова одна из палат Мариинской больницы (ее называли «Крыловской») бесплатно предоставлялась в распоряжение больного.

[721] Правильно: Мокеева.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 1:

ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ, ИЗДАТЕЛЬСТВА И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

«Theater-Revue für Bühne und Welt» — см.: «Allgemeine Theater-Revue für Bühne und Welt»

«Universal-Bibliothek» («Всеобщая библиотека») — серия дешевых изданий нем. и иностр. авторов при изд-ве «Реклам» 560, 614

«**Zeitschrift für Slawistik**» («Славистический журнал») — журнал, издававшийся шесть раз в год Институтом истории лит-ры и языкознания Академии наук ГДР. Ныне издается четыре раза в год группой нем. славистов (Берлин, 1956 — по настоящее время) 10

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 2: КЛУБЫ, УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ГОСТИНИЦЫ, РЕСТОРАНЫ, ТРАКТИРЫ, КОНДИТЕРСКИЕ И МАГАЗИНЫ *

* Поскольку большинство учреждений, упомянутых в указателе, находилось в С.-Петербурге, название города, эпитет «петербургский» и т.п., как правило, опускается.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

---

* Именной указатель охватывает всех упомянутых в дневнике Фидлера лиц, имеющих отношение к истории, литературе, театру, изобразительному искусству и т.п., а также — независимо от полноты сведений, которые удалось получить, — их родственников и второстепенных лиц (домовладельцы, квартирные хозяйки и т.д.). Фамилии владельцев кафе, ресторанов, гостиниц и увеселительных заведений читатель найдет в Предметном указателе 2. Исторические и мифологические персонажи, прототипы известных литературных героев (например Борис Годунов) в Указатель не включены. Отсутствуют также сведения о лицах, фамилии которых не удалось установить.

Лица, идентификация которых вызывает сомнения, отмечены вопросительным знаком (перед фамилией, в скобках).

Даты жизни русских авторов (до 1918 г.) указаны по старому стилю. Слова «русский» и «немецкий» при характеристике деятелей русской или немецкой культуры, как правило, опускаются.

Характеристика лиц, широко известных, в указателе не дается.


Россия в мемуарах

СОДЕРЖАНИЕ

Фидлер Ф.Ф.

ИЗ МИРА ЛИТЕРАТОРОВ
Характеры и суждения

Дизайнер обложки
С. Кистенев
Редактор
А.И. Рейтблат
Корректор
Л.Н. Морозова
Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев
Верстка вклейки
А.Ю. Никулин

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlobooks.ru

Формат 60×90/16
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 54. Тираж 2000. Заказ №3028
Отпечатано в ОАО «Типография “Новости”»
105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

[illegible]

...nzelnen Blättern aufgestellt, ...

...taten; solche Blätter sind über ...

...zwanzig Jahren.) Nun findet sich in ...

...Ausschnitt aus d. „Hirsch. Wedom." ...

...ten Tschechows betreffend. daraus ...

...5 hatte (die höchste Nummer!). Nun...

...deutsche Kunden. Ich hatte nachfrag...

...angen. In einem dieser Hefte (hin...

...Beweis dafür. Möglich, daß Tsch. nach...

...paar deutsche Umgangs-brocken sich...

...an den Dr. Schwörer: „Ich sterbe ...

...Klasse einen Kurs hatte"... Bi; sehr...

...lichen Schlendrian in bezug auf die ...

[illegible]

...registriert und in einem großen Kor[illegible]

[illegible]

(Buch) [illegible]; ich sammle sie fast [illegible]

[illegible] Portrait schrieb, kann ich jetzt nicht bringen [illegible]

[illegible] Vorrede [illegible]. B. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] für [illegible]

[illegible]

[illegible] Akademie u. der religiös-[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (des Worts). [illegible] in der [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

d. 8 April 20.

[illegible]

россия в мемуарах

Ф.Ф. Фидлер

ИЗ МИРА ЛИТЕРАТОРОВ

Переводчик и педагог Ф.Ф. Фидлер (1859 —1917) — одна из центральных фигур петербургской литературной жизни 1880-х — 1910-х годов. В его дневнике, впервые публикуемом на русском языке, запечатлены колоритные, нередко интимные подробности литературного быта и частной жизни русских писателей того времени: Н. Лескова, Я. Полонского, К. Фофанова, А. Чехова, Д. Мамина-Сибиряка, А. Куприна, Л. Андреева, Вяч. Иванова, З. Гиппиус, Д. Мережковского, Ф. Сологуба, М. Кузмина и многих других.


ISBN 978-5-86793-544-3
9 785867 935443